

ЮХАН БОРГЕН

мастера современной прозы

ЮХАН БОРГЕН





**МАСТЕРА
СОВРЕМЕННОЙ
ПРОЗЫ**



**МОСКВА «ПРОГРЕСС»
1979**

МАСТЕРА СОВРЕМЕННОЙ ПРОЗЫ ● НОРВЕГИЯ

Редакционная коллегия:

**Андреев Л. Г., Барабаш Ю. Я., Засурский Я. Н., Затонский Д. В.,
Клышко А. А., Мамонтов С. П., Марков Д. Ф., Палиевский П. В.,
Чельшев Е. П.**

ЮХАН БОРГЕН

МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД

РОМАН

ТЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ

РОМАН

ТЕПЕРЬ ЕМУ НЕ УЙТИ

РОМАН

ПЕРЕВОД С НОРВЕЖСКОГО

Составитель К. Телятников
Предисловие Э. Панкратовой
Редактор С. Белокриницкая

Борген Ю. Избранное. Пер. с норвеж.

В том входят романы, составляющие трилогию о Вилфреде Сагене, которая является вершиной творчества крупнейшего современного норвежского писателя. В ней исследуется характер буржуазного интеллигента-индивидуалиста, постепенно утрачивающего всякие этические критерии. Романы печатаются с небольшими сокращениями.

© Составление, предисловие и перевод на русский язык
издательство «Прогресс», 1979

Б $\frac{70304-661}{008 (01)-79}$ 135-79

4703000000

ПРЕДИСЛОВИЕ

Юхан Борген (род. в 1902 г.) — крупнейшая фигура в современной норвежской литературе. Трудно переоценить ту роль, которую он играл на протяжении более полувека в духовной жизни своей страны. Регулярное сотрудничество в прессе, прежде всего в левой радикальной газете «Дагбладет», театральные постановки и телевизионные передачи, активная работа на радио: радиопьесы и выступления в еженедельной воскресной программе (особенно дорогие Боргену тем, что у микрофона он чувствует себя как бы живым собеседником людей в самых глухих уголках Норвегии) — вот только некоторые аспекты творческой деятельности Боргена. А главное — это, конечно, книги, созданные писателем, книги, в которых его мастерство проявилось в самых различных жанрах: здесь романы, новеллы, драмы, публицистические статьи, эссе, фельетоны... Но разносторонность творчества писателя даже не столько в широте жанрового охвата, сколько в присущем ему особом даре перевоплощения. Искусство Боргена многогранно, полифонично. Несмотря на стилевое единство, гармоничное созвучие излюбленных тем, мотивов, образов, отличающее Боргена, как любого большого мастера, внутренняя сущность его героев предстает в столь различном освещении, а образ автора-повествователя столь многолик, что это дало повод норвежскому исследователю Вилли Даллу высказать остроумное замечание о якобы существующем коллективном псевдониме «Юхан Борген». «А группа подлинных авторов, — говорит Вилли Далл, — могла бы включать в себя лирика, политика, клоуна, двух-трех детей, просто человека, умудренного жизненным опытом, а может быть, и кого-нибудь еще» *.

* Willy Dahl. Fra 40-tall til 70-tall. Norsk prosa etter 2 verdens krig. Oslo, 1973, s. 43.

Борген прочно связан с традицией — общескандинавской и норвежской. Его творчество непосредственно восходит к Ибсену, сыгравшему важную роль не только на начальном этапе формирования норвежского реализма, но и предвосхитившему, в особенности своими поздними драмами, некоторые характерные черты развития реализма XX века в целом. Юхан Борген продолжает и линию Гамсуна, отражая в своем творчестве нечто очень национальное, сокровенное, присущее исключительно Норвегии. Имя Боргена можно поставить рядом с такими норвежскими классиками старшего поколения, как Сигрид Унсет и Юхан Фалькбергер.

Вместе с тем Боргена справедливо называют самым европейским из норвежских писателей. Ему меньше, чем кому бы то ни было, свойственна национальная замкнутость или ограниченность. Творчество этого писателя находится в общем русле развития европейского романа. У него есть точки соприкосновения с Томасом Манном, который, как известно, проявлял интерес к норвежской литературе, творчески воспринимая опыт норвежских классиков. Так, его роман «Будденброки» был написан под непосредственным влиянием истории о норвежском торговом доме «Гарман и Ворше», рассказанной в цикле романов А. Хьеллана. По-своему преломились в творчестве Боргена искания таких сложных европейских художников, как Джойс и Пруст. Из современных писателей особенно созвучно Боргену творчество Макса Фриша — оба писателя постоянно «продумывают и проигрывают» жизненные возможности своих героев, стремятся запечатлеть трудноуловимую, изменчивую сущность современного человека, убеждены, что в конечном счете человек сам творит свою судьбу.

Слава Юхана Боргена давно перешагнула границы Скандинавии и стала не только европейской, но и мировой*. Книги Боргена издавались во многих странах. Советский читатель также знаком с его творчеством: в 1968 году был издан роман «Маленький Лорд», в антологиях и журналах публиковались новеллы Боргена, а в сборник радиопьес «В стороне» была включена его пьеса «Малодушный». Произведения Боргена переведены на языки республик Советской Прибалтики.

Юхан Борген родился в Христиании. Детство его протекало в одном из фешенебельных районов города — Весткант. Впечатления и раздумья, связанные с респектабельной буржуазной средой, к которой принадлежал писатель и от которой стремился впоследствии оторваться, легли в основу его творчества.

* Свидетельством тому служит, в частности, монография о писателе, вышедшая в США, в серии «Зарубежные писатели XX века»: Randi Birn. Johan Borgen. Twayne's world authors series. New York, 1975.

Литературная деятельность Боргена началась с занятий журналистикой, приверженность к которой он сохранил на всю жизнь, считая ее и увлекательной, и важной для оттачивания писательского мастерства. Как писатель-беллетрист он дебютировал сборником новелл «Во тьму» (1925), написанным в стилистической манере Гамсуна и повествующим об одиночестве и трагических заблуждениях человека. Более зрелым произведением, в котором уже наметилась основная проблематика дальнейшего творчества Боргена, стал роман «Если подвести итог» (1934). В нем содержится едкая сатира на лицемерную мораль буржуазного общества, сочетающаяся с глубокими раздумьями о человеческой личности и смысле ее духовных исканий. Писатель говорит о необходимости для каждого человека сделать свой нравственный выбор, определить свое отношение к миру. Аналогичные вопросы ставятся в написанных Боргеном в эти же годы пьесах «Чиновник Ли», «Андерсены», «Пока мы живем».

Трагически «непостижимые» для многих норвежцев события апреля 1940 года, когда в страну вторглись фашистские захватчики, явились переломным моментом в сознании нации в целом, в сознании представителей норвежской интеллигенции в частности. В годы войны и оккупации, когда происходило четкое разграничение политических позиций, для Юхана Боргена, как и для подавляющего большинства писателей, не было иного пути — только борьба с оккупантами. Юхан Борген сразу же стал активным участником движения Сопrotивления.

Одной из целей немецких фашистов и местной националистической партии во главе с Квислингом (это имя на многих языках стало синонимом слова «предатель») было насаждение нацистской идеологии в Норвегии. В противовес ему общей задачей творческой интеллигенции, несмотря на различие политических и эстетических взглядов, стало сохранение норвежской культуры. Активную роль в этом играл Союз писателей, который открыто выступил против изъятия из школьных программ многих произведений норвежских авторов, поддерживал забастовку деятелей театра, боровшихся против немецкой цензуры; им был осуществлен организованный бойкот «нацифицированных» издательств, практически заставивший их прекратить свою деятельность. Союз писателей помогал преследуемым деятелям культуры, а также распространял нелегальную литературу.

В начале оккупации Борген не оставляет легальную публицистическую деятельность — в газете «Дагбладет» продолжает цикл получивших широкую известность еще в предвоенные годы живых и острых сатирических эссе, очерков, фельетонов, публиковавшихся под псевдонимом Мумле Госегг (в 1936 году был издан сборник этих произведений под названием «60 Мумле Госегг»). Мумле Госегг, или Мумле Гусиное Яйцо, —

человечек, вылупившийся из гусиного яйца, — фольклорный персонаж, олицетворяющий народный юмор, смекалку, жажду познания. Основные герои этих очерков — простодушная и добросердечная лавочница Фру Юхансен и живой, непосредственный ребенок Маленькая Ингер, ставшие почти классическими фигурами в норвежской литературе, — давали возможность Боргену выразить то, о чем в обстановке оккупации нельзя было сказать прямо. Говоря эзоповским языком и затрагивая на первый взгляд нейтральные, незначительные темы, писатель рассказывал читателю между строк о том, что происходит в мире, и давал этому свою оценку, проводил мысль, что есть в стране силы, противостоящие врагу. Вскоре газета «Дагбладет» была запрещена, а Юхан Борген, выполнявший задания руководителя Сопrotивления, вместе со многими своими соратниками был арестован и посажен в фашистский концлагерь Грини. Об этом тяжелом периоде своей жизни он написал впоследствии книгу «Дни в Грини» (1945). Освобожденный через полгода, Борген сначала сотрудничает в нелегальной печати, но, зная, что новый арест неминуем, вскоре бежит в Швецию, где продолжает борьбу. Он принимает участие в сборнике «По ту сторону норвежской границы» (Стокгольм, 1943). В предисловии к этой книге один из составителей, Кнут Хергель, писал: «Пусть норвежский национальный дух, норвежская культура находятся в подполье и изгнаны за пределы родной страны, но они не сломлены, и представители норвежской интеллигенции во весь голос заявляют об этом». В 1943 году, когда в рядах норвежского Сопrotивления усилились настроения усталости и сомнений, Борген выступил с книгой «Это приносит плоды», где доказывал необходимость подпольной борьбы. Получила общественный резонанс также его книга о поэте-коммунисте Нурдале Григе, погибшем в боевом полете над Берлином в декабре 1943 года. С Григом Борген встречался в разные годы и испытывал к нему неизменную симпатию. Книга «Нурдал Григ» вышла в 1944 году.

Роман «Лета нет и не будет», опубликованный в 1944 году в Швеции, — первое художественное произведение об оккупации. В этой книге изображена норвежская столица, жизнь которой парализована с приходом оккупантов, дается исполненное напряженного драматизма описание деятельности группы Сопrotивления. Главный герой — Кнут Люсакер, студент, увлеченный музыкой. Первоначально его духовные искания носят чисто умозрительный характер; постепенно он втягивается в нелегальную деятельность, сохраняя, однако, внутреннюю пассивность, позицию стороннего наблюдателя. Но в решительный момент Кнут делает важный нравственный выбор. В нескольких шагах от спасительной шведской границы он поворачивает назад, чтобы, рискуя жизнью, продолжить борьбу вместе с товарищами.

В романе «Тропа любви» (1946) осмысляется недавнее прошлое, затрагивается проблема социально-психологических корней фашизма в Норвегии. Жизнь маленького норвежского городка обрисована в юмористическом ключе, хорошо знакомом читателям по фельетонам, подписанным «Мумле Госегг». Но постепенно становится ясным, что персонажи романа не столь уж безобидны: сонный, аполитичный городок представляет прекрасное поле деятельности для всякого рода политических авантюристов и в конечном итоге может стать почвой для возникновения неонацизма.

Вопрос об истоках фашизма, о том, как случилось, что в Норвегии смогла существовать квислинговская партия, и почему человек мог стать предателем своей родины, — «большой» вопрос для норвежской литературы. На него пытаются дать ответ романы «Моя вина» Сигурда Хёля (1947), «Былое — это сон» Акселя Сандемусе (1946), «Пять лет» Ингвала Свинсосо (1946) и ряд других произведений. Но наиболее глубоко эта тема разработана в многоплановой трилогии Юхана Боргена о Маленьком Лорде — самом значительном произведении послевоенной норвежской литературы. Трилогии предшествовали сборники новелл «Медовый месяц» (1948), «Новеллы о любви» (1952), «Ночь и день» (1954), упрочившие известность писателя.

Трилогия о Вилфреде Сагене — вершина творчества Юхана Боргена, его центральное произведение, ставшее уже хрестоматийным. В 1955 году вышел роман «Маленький Лорд» — книга об истоках, о начальном этапе формирования личности Сагена. Роман имел огромный успех как у читателей, так и в литературной критике; ему была присуждена премия Северного совета. Первоначально у Боргена не было намерения писать трилогию. По выражению писателя, только уступая «многочисленным просьбам», он написал продолжение истории о Маленьком Лорде, и писать было так же легко, как катить с горы камень.

«Камень неумолимо катился с горы вниз, и я написал два тома за два года, в то время как у меня было по пять театральных постановок в год плюс радиопередачи», — вспоминает писатель.

Уже в «Маленьком Лорде» было заложено зерно тех больших проблем, которые нашли освещение в последующих частях трилогии. Герой, четырнадцатилетний мальчик, похожий на рафаэлевского ангела, — «Маленький Лорд» (роман задуман отчасти как пародия на сентиментальную книгу Элизы Бёрнетт о примерном ребенке «История маленького лорда Фаунтлероя», 1386) растет в тепличной атмосфере богатой буржуазной семьи, насквозь пропитанной лицемерием: каждый играет свою роль в соответствии с тем, чего ждут от него окружающие. Таков, например,

дядя Мартин, крупный финансовый делец, опекун мальчика, претендующий до некоторой степени и на роль духовного наставника Вилфреда. «Толстый, благодушный, он предал бы всех встречных и поперечных, а потом, сидя в удобном кресле и покуривая сигару, принялся бы сокрушенно разглагольствовать о том, что народ беден и общество под угрозой». Незаурядной натуре мальчика (которому тем легче подыгрывать окружающим, изображая вундеркинда, что он почти с младенчества, как и остальные, усвоил свое «амплуа») претит как буржуазный практицизм дяди, так и «игра» матери и других родственников, старающихся уберечь его от реальных жизненных событий и впечатлений. Отсюда и стремление сознательно нарушить лицемерные заповеди окружающих, соединенное с присущей подростку жаждой самоутверждения, что выливается в злобные проделки, вроде кражи сумки с газетами у почтальонши, поджога на хуторе, ограбления табачной лавки во главе ватаги уличных мальчишек.

Герой не приемлет окружающих и всячески старается не допустить их в свой внутренний мир. «Они не подозревают, с какой страстью Вилфред мечтает замуроваться в одиночестве так, чтобы в святая святых своей души быть совсем одному и превратиться в твердый камень, покрытый лоском вежливости и предупредительности...» «Они» — так с ранних лет привыкает Вилфред называть всех остальных людей. Пытаясь отстоять свое «я» от ближайшего окружения, он начинает чувствовать себя чужим всем людям вообще.

Маленький Лорд постоянно анализирует собственные поступки и их мотивы, пытаясь постигнуть свою внутреннюю сущность. Вилфред вытаскивает из воды сына садовника Тома, что делает его чуть ли не героем в глазах многих, но отдает себе отчет, что сделал это не из естественного человеческого желания спасти тонущего, а ради самоутверждения. Размышляя о своей дружбе с простодушным Андреасом, мальчиком из небогатой семьи, Вилфред признается себе, что он «хотел в полной мере вкушать радостную возможность превратить сострадание в капитал». Впрочем, в душе Вилфреда иногда возникают искренние добрые порывы по отношению к Андреасу, а в особенности к фру Фрисаксен — пожилой женщине, живущей в убогой хижине на берегу моря. Фру Фрисаксен всегда была чужда социальных условностей, ей органически присуща доброта, чувство собственного достоинства, искренность. Наверное, эти качества и привлекли к ней Вилфреда, как некогда и его покойного отца, возлюбленной которого она в свое время была. У Вилфреда, как оказывается, есть и сводный брат, Биргер. Находясь вдали от фру Фрисаксен, в Христиании, Вилфред чувствует, что «соскучился по ней, по ее лицу, то старому, то совсем молодому». Он мечтает переукрасить ей дом, ловить для нее рыбу. Но этим намерениям не суждено было осуществиться:

когда Вилфред приезжает, он находит фру Фрисаксен мертвой в занесенной снегом хижине. Ростки добра очень робки в сердце Вилфреда, он не ищет пути к другим людям, все больше замыкаясь в себе, культивируя свой индивидуализм, свое одиночество, свое «я». Символом одиночества, замкнутого духовного пространства, проходящим через всю трилогию, становится стеклянное яйцо, игрушка, некогда любимая его отцом и подаренная Вилфреду фру Фрисаксен. В конце первой части трилогии Вилфред, попавший в сомнительную компанию, избитый и ограбленный, спасается бегством, ощущая, как разбилось стеклянное яйцо, в котором он как бы находился. За своей спиной он слышит слова: «Теперь ему не уйти». Это пророческие слова. Они дают название последней части трилогии, они же завершают ее, подводя черту под жизнью самого героя.

Несмотря на первоначальное отсутствие единого замысла, все части трилогии органически связаны между собой. Во втором романе, «Темные источники», писатель не только рассказывает о дальнейшем формировании личности героя, но во многом разъясняет и углубляет написанное ранее. В воспоминаниях Вилфреда эпизоды детства и отрочества наполняются еще большей значимостью. Все новыми и новыми штрихами, конкретными выразительными деталями обрисовывает Борген социальную среду, тщательно выстраивая социальный, точнее, социально-психологический роман.

Вместе с тем во второй части трилогии с особенной силой начинает ощущаться и ее эпический, исторический аспект. Стремясь воспроизвести характерные черты эпохи, насытить повествование живым содержанием тех дней, Борген много работал в университетской библиотеке, перечитывая старые газеты, но при этом главным для писателя оставалось воссоздание общего духа, атмосферы времени. Значимость реализма Боргена не в правдоподобию отдельных деталей или даже событий, больших и малых, а в широте художественных обобщений, в тонком показе глубинных процессов в недрах норвежского общества.

Автор рисует картину Норвегии в эпоху первой мировой войны. Голос его исполнен едкой иронии и сарказма, когда он пишет о «буме», неслыханных спекуляциях на бирже, всколыхнувших жизнь обывателя, который в те дни, когда гибли в бессмысленной бойне норвежские моряки на судах, зафрахтованных Англией у норвежского правительства, вдруг понял, что поставил на неверную лошадку, «скрипучую клячу порядочности». Еще чудовищней выступает буржуазное лицемерие в это время массового обнищания одних и легкого обогащения других. С одной стороны, безработные: «озябшие, одетые чуть ли не в лохмотья здоровенные мужчины переминаются с ноги на ногу на тротуаре», а с другой — «ублагодотворенные изысканным домашним обедом» Вилфред и его мать идут смотреть, как искусная тетя Кристина учит стесненных в средствах до-

машных хозяек использовать суррогаты, «чтобы готовить пищу, напоминающую ту, какую им хотелось бы есть».

«Да, жизнь была прекрасна для тех, кто обитал в маленькой столице маленького государства... К концу третьего года мировой войны светлые источники били с небывалой силой». Слова о светлых источниках саркастическим рефреном часто звучат в романе, перекликаясь с его названием. Норвежское слово «kilder» имеет много оттенков значения. Это и силы, и истоки, источники и родники. «Светлые источники» — это живительные силы природы и в то же время ироническое наименование той силы, которая забила в душе внешне добропорядочных людей, толкая их к источникам легкой наживы — биржевым спекуляциям.

Источники, родники, темные и светлые, — образ, помогающий проникнуть в глубинную сущность той борьбы между добром и злом, которая достигает своего апогея в душе героя. Время, когда он еще не окончательно порвал с миром других людей и пытался доставить радость близким, щедро оделяя их своим драгоценным «я», названо в романе временем, «когда в нем еще били светлые источники». Вилфред испытывает нечто вроде симпатии к другу детства Андреасу и другу новых времен Роберту, есть проблески искреннего чувства в его отношении к Селине, которую про себя он называет «орхидеей, возросшей на навозной куче».

Но Вилфред не видит смысла в поисках добра, постоянно упрекает себя за вмешательство в судьбы тех, до кого ему нет дела. Он как бы балансирует между безднами добра и зла, оставаясь равнодушным к содержанию этих понятий, «как равнодушен к этим друзьям, которых он любит, когда зимой хочет отогреться». Вилфред тщательно подавляет в себе гуманные порывы. «Сердце Вилфреда окаменело, стало таким, как он хотел. Теперь он был сам по себе, другие были другими».

Вилфред, «победоносный одиночка», начинает жить по ту сторону добра и зла. Кульминационной является сцена, где он готов убить случайно спасенного им ребенка. «Он стоял, высоко подняв ребенка и чувствуя, как все его тело наливается силой, бьющей из темных источников, чувствуя мрачную уверенность, что все вокруг было и будет зло». Вилфред заставляет себя идти до конца, по-нищшеански переступив «слишком человеческое», выбирая зло. Хотя герой не совершил убийства, по морально созрел для него: в его сознании произошли необратимые изменения. При этом Вилфред чувствует себя как бы убийцей собственного сына. И дело не в том, что он выдавал себя за отца ребенка (что в какой-то мере помогало ему скрываться и от полиции, и от сомнительных «коллег» по копенгагенскому ночному клубу), а в том, что он таковым себя ощущал. Для него это беспомощное существо — «самое слабое звено» в цепи его связи с человеческим родом, той связи, которую он хочет порвать и о которой постоянно размышляет. Вилфред снова и снова воз-

вращается к мыслям об отце, покончившем с собой, обвиняя его вместе с другими, рождавшими «сыновей, обреченных жить в мире, с которым они сами не сумели совладать». И его совершенно не заботит судьба собственного сына, живущего в Париже, как мы узнаем уже на страницах последней части трилогии. Гораздо в большей степени его занимает сводный брат Биргер, к которому первоначально он испытывает противоречивые чувства, Биргер, «которого он презирал и по которому он тосковал». Позднее Вилфред приходит к выводу, что Биргер — простая и целостная натура — «рознится с ним в главном». В своем разнuzданном индивидуализме Вилфред желает физически уничтожить человека, который, как он считает, самым фактом своего существования «оскорбил его одиночество», лишил его уникальности, и Вилфред намеренно оказывается причастным к его аресту как борца Сопротивления.

Настоящий духовный брат героя — немецкий офицер Мориц фон Вакениц. Что касается этого персонажа, то в отношении его «умственных исканий» не может быть никаких иллюзий: они носят совершенно определенную направленность. Этот помещик из Померании, философствующий то о своих батраках, в которых он не видит людей, то о том, что «недоедание и скверный кофе... — причина противоестественной стойкости здешнего Сопротивления», а понятие национальной независимости Норвегии — всего лишь «иллюзия», носит мундир вермахта и служит черному делу фашизма. Мориц фон Вакениц в чем-то импонирует Вилфреду, в чем-то вызывает его отвращение. Это худшее «я» Вилфреда, доведенный до логического конца его крайний индивидуализм и эгоцентризм.

Крах личности Вилфреда неизбежен, не могла спасти его и Мириам, к которой он хранит в самых глубинах своего существа нечто вроде многолетней привязанности. Мириам — человек, исполненный большой духовной силы и благородства. Она известная скрипачка, и пафос ее искусства — в утверждении гуманизма, высоких моральных ценностей. От природы одаренная натура, Вилфред и сам может быть назван «человеком искусства»: вундеркинд, играющий Моцарта на домашнем концерте, трехлетний малыш, шепчущий: «Ватто», глядя на живописную группу родственников на прогулке; исполнитель модных песенок в кабаре, автор нескольких книг, имевших шумный, но непродолжительный успех... В наибольшей степени привлекала Вилфреда живопись. На какое-то время он приобретает известность как художник, автор нескольких формалистических картин. Эти картины несут на себе роковой отпечаток незавершенности, но главное — в них отразились темные глубины личности Вилфреда, надломленность и двойственность его души. Мириам начинает понимать, что его искусство есть «отрицание жизни и любви», и с ужасом отшатывается от Вилфреда — человека, который духовно мертв. Тема искусства, творческой личности у Боргена какими-то гранями соприка-

сается с темой общего кризиса буржуазной культуры в романе Томаса Манна «Доктор Фаустус». В живописи героя Боргена, так же как и в музыке, созданной Адрианом Леверкюном, отразилась изнанка его души, выявились симптомы его внутренней деградации.

Так же важна в трилогии и тема границы, выступающая во многих эпизодах как в конкретном, так и в переносном, глубоко символическом смысле. Двигаясь вместе с группой других беженцев в сторону спасительной границы нейтральной Швеции, Мириам размышляет о взаимоотношениях людей, поставленных в нечеловеческие условия: «Неужто страх за собственную жизнь должен непременно ущемлять естественную человечность, подавлять чувство общности и сострадания?»

Пограничная ситуация, нравственный выбор между этическим и эстетическим в терминологии Киркегора (последнее интерпретировалось как лишнее моральных критериев) во многом определяли искания героев норвежской литературы. Однако у Боргена, писателя-реалиста, в отличие от религиозного датского мыслителя, понятия этического и эстетического употребляются не в отвлеченно-метафизической трактовке, а приобретают сугубо реальный, жизненный смысл. Совершается выбор между сопротивлением, борьбой с врагом или покорностью и предательством.

В образе Вилфреда Сагена писатель заклеил тех, кто так и не смог сделать правильного нравственного выбора: в решительный час Вилфред пытается остаться вне борьбы, быть «самим по себе». И этим он обрекает себя на преследование с обеих сторон, становится почти в прямом смысле загнанным, затравленным зверем, которому нигде нет места, что и приводит его к гибели. В конце трилогии Вилфред стреляет в себя из револьвера, даже и здесь полагаясь на волю случая (он не знает, заряжено ли оружие).

В романе есть персонажи, четко противостоящие Вилфреду. Это прежде всего «седой великан» по прозвищу Лось, который почти с самого начала оккупации переводит беженцев через шведскую границу. В прошлом «участник классовых боев», он знает цену богачам и метко характеризует Вилфреда: «Есть такая порода людей, они ни за тебя, ни против... Может, они одновременно и «за» и «против», для них это своего рода спорт». У него ни на минуту не возникает сомнений в смысле подпольной работы, в оправданности жертв — без громких слов, спокойно подвергает он свою жизнь каждодневному риску и одобряет товарищей по борьбе. Еще более характерна фигура Кнута Люсакера, героя романа «Лета нет и не будет», эпизодически появляющегося на страницах романа «Теперь ему не уйти»: в качестве связного он выполняет ответственные задания руководителей Сопротивления. Кнут Люсакер имеет нечто общее с Вилфредом, принадлежа к той же социальной среде, но в отличие от него он нашел свое место в Сопротивлении, как и многие дру-

гие: Биргер, Андреас, Том, а также и Роберт, первоначально ловкий делец из нуворишей, по-своему добрый, мягкотелый, легко входящий в любую роль, которую ему предлагает жизнь. Борген дает картину военного времени в Норвегии во всей ее полноте и сложности, и образ Роберта не однозначен: с ним, как и с некоторыми другими персонажами, связан вопрос и о тех участниках Сопrotивления, которые, действуя в интересах своей страны, «дальновидно» не забывали и собственных, личных целей и выгод.

Образ Вилфреда Сагена — это образ большой обобщающей силы и глубины. В общем философском плане критика сопоставляла Вилфреда с Пером Гюнтом, имея в виду ту беспринципную жизнь, которая роднит его с героем Ибсена. Сам Борген говорил о возможности некоей ассоциативной связи Вилфреда с Гамлетом, который не может принять решения, сделать выбор. Многозначительно в связи с этим звучит монолог Гамлета на последних страницах трилогии. В чем-то образ Вилфреда объясняет трагедию Гамсуна, замкнувшегося в своем солипсизме и сохранявшего иллюзии о внеисторическом гуманизме немецкой культуры, что привело писателя к чудовищным политическим заблуждениям, а в итоге — к позору коллаборационизма.

Но конечно, в образе Вилфреда важнее всего конкретное социально-психологическое, историческое содержание. Вилфред не хотел стать таким, как его буржуазное окружение; неприятие этого окружения толкало Вилфреда к людям дна, внешне противостоящим лицемерной респектабельности и порядочности. Но тем не менее он кровно связан со своей средой; именно поэтому люди и жизненные пути, подлинно противостоящие буржуазному миру, не смогли привлечь его к себе. В своем циничном нигилизме он с усмешкой воспринимает рабочую сходку, свидетелем которой становится в Копенгагене, так же он воспринимает и деятельность Сопrotивления во время войны. Объективно сознавая кризисные явления того общества, в котором живет, он не способен поверить ни в какие политические идеи. Бесплодность его исканий очевидна. Трилогия Боргена — обличение социальной среды, порождающей крайних индивидуалистов, людей с гипертрофированным «я», чья духовная и физическая гибель глубоко закономерна.

Тема вины, личной ответственности человека за происходящее с ним и в окружающем мире занимает центральное место в последующих романах Боргена. Так, в «экспериментальном» романе со знаменательным названием «Я» (1954) — Борген пытается здесь проникнуть в суть человеческой личности, изображая ее потенциальные возможности как пережи-

тые реальности, — герой, Матиас Роос, «в поисках утраченного времени» постоянно размышляет о прошлом, пытаясь понять, с чем связано разрушение его личности. Постепенно ему становится ясно, что он виноват в нем сам: он позволил «миру зла» разрушить лучшее в себе. «Мир зла» конкретно обозначен в романе: это работа героя на капиталистическом предприятии, выполнявшем заказы для фашистской Германии.

Значительным событием в норвежской литературе стал роман «Голубая вершина» (1965). Роман написан в более традиционной реалистической манере, нежели предыдущий, но также сосредоточен на проблеме личности.

Война выступает здесь не просто как воспоминание прошлого, а как та суровая реальность, которая сыграла трагическую роль в судьбах героев. Война столкнула их между собой, наложив отпечаток на и без того сложные взаимоотношения, заставила по-новому осмыслить свою роль в происходящем. При этом глубоко личное и социальное предстает в романе в тонкой и неразрывной связи. В нем есть и сатирический протест против сытых и самодовольных в «государстве благоденствия», и в то же время огромная любовь к родной стране, символом которой в романе выступает голубая вершина, олицетворяющая одновременно и те духовные высоты, к которым стремятся герои. Роман был воспринят многими как произведение о норвежском (и шире — скандинавском) национальном характере и о месте Норвегии в мире.

Проблема анархического индивидуализма, моральной ответственности человека за совершенное преступление (даже если оно не наказуемо юридически), честности перед самим собой поставлена в романе «потока сознания» «Красный туман» (1967).

Верой в подлинные жизненные ценности, критикой буржуазного лицемерия и стандартизации жизни проникнуты романы о духовных исканиях современного человека, написанные в 70-е годы: «Моя рука, мой желудок» (1972), «Шаблоны» (1974), а также сборник новелл «Счастливого пути» (1974) и др.

Борген много и плодотворно работает. О его трудолюбии и трудоспособности ходят легенды. Полушутя-полусерьезно один из критиков назвал его «чудом XX века». Ежедневно Борген пишет по 7—8 часов в день, обязательно просматривает новую книгу и около десятка газет. Живя на небольшом острове Асмалё, достаточно далеко от Осло, писатель не прерывает живой связи с действительностью. Борген постоянно чувствует ритм нашего времени и живо откликается на его события. «Молодой человек со старым лицом» — так часто называют Боргена, имея в виду не только его внешний облик: худощавую, все еще стройную фигуру и избо-

рожденное глубокими морщинами лицо, но прежде всего его душевный настрой, находящий отражение и в том, что он пишет. У Юхана Боргена нет никакого стремления быть «мэтром». Борген находит общий язык с литераторами младшего поколения, признавая их право на новые идеи, самостоятельные творческие поиски, оставляя, впрочем, за собой право не следовать всем новым веяниям, идти своим путем. И в этом он разочаровал некоторых молодых писателей-модернистов, надеявшихся, что автор в достаточной степени условного романа «Я» станет их духовным наставником и единомышленником.

«С годами хочется быть писателем не для группы избранных, а чтобы многие читали и понимали тебя» — так сказал Борген в одном интервью.

В 1947 году в составе первой послевоенной норвежской делегации деятелей культуры писатель посетил Советский Союз и явился одним из авторов книги «Из Ленинграда в Армению» (1947). В ней он отразил как главные впечатления от поездки «энергию, доброту и упорство» советских людей, объединенных общей идеей, и «неисчислимые возможности страны, успешно залечивающей тяжелые раны, нанесенные войной». И в последние годы Борген проявляет интерес к нашей стране, многое сделал для популяризации в Норвегии как русских классиков, так и современных советских писателей.

В книгах Юхана Боргена — тревоги за судьбы всего человечества, каждого человека в отдельности. В них — уверенность, что все события, происходящие на земле, большие или малые, касаются каждого и все несут за них ответственность. Все связано в мире, и Норвегия, Скандинавия не являются идиллическим островом среди бушующих на земном шаре бурь, как порой кажется сытому обывателю. Боргена называют совестью нации. Когда писатель получил премию Северного совета за сборник «Новые новеллы» (1967), корреспондент «Дагбладет» спросил его, чего бы, кроме этой премии, он хотел лично для себя. Борген ответил: «У меня единственное желание — чтобы на земле был мир». И этой благородной цели служит вся жизнь и творчество писателя-гуманиста.

Элеонора Панкратова

МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД



LILLELORD

Oslo

1955

Перевод Ю. Яхниной.



ЧАСТЬ
ПЕРВАЯ
МАЛЕНЬКИЙ
ЛОРД

1

Дядя и тетушки, отдуваясь, вваливались с холода в дом. Дыхание клубами пара вырывалось у них изо рта, пока они миновали узкую прихожую, где их встречала горничная. Потом они, притоптывая, входили в большой квадратный холл с камином, над которым красовалась голова лося, и с коврами на стенах. Тут было тепло. Тут пахло жильем.

Маленький Лорд стоял на ковре посреди гостиной и сквозь закрытую дверь слышал, как проходят гости. Он до мелочей представлял себе, что происходит, по мере того как родственники один за другим появляются в прихожей, принюхиваясь к запаху дома — запаху деревянных стен и ковров — и прислушиваясь к отдаленной суете в кухне, где готовится семейный обед: суп из спаржи, форель, жаркое из оленины. Он знал, в какую минуту кому из гостей горничная Лилли помогает снять пальто, как дядя Рене говорит ей с ласковым кокетством: «Нет, нет, милая девушка, тысяча благодарностей, но я еще не настолько стар...» — и вешает свое подбитое соболем пальто в гардероб слева от входной двери, а толстяк дядя Мартин, хотя он гораздо моложе, с нескрываемым удовольствием принимает помощь Лилли — все, что может избавить его от лишних усилий... И тетки: вот они здороваются друг с другом, сначала кивая в зеркало очередному отражению, а потом уже подавая руку, как полагаются, и кто-то говорит о холоде, о том, что вот-вот пойдет снег.

Маленький Лорд видел все это явственнее, чем наяву, и слышал отчетливее, чем если бы и впрямь голоса звучали с ним рядом. Сам он стоял посреди гостиной, именно там, где ему надлежало стоять, когда они войдут, — маленький хозяин дома, как бы случайно оказавшийся на месте как раз в ту минуту, когда горничная откроет дверь гостям. Каждый раз неизменный ритуал. А потом из внутренних комнат появится мать с таким видом, точно ее застали немножко врасплох, и с минутным опозданием, как и подобает хлопотунье хозяйшке... Стоя посреди комнаты, он наслаждался ожиданием. Каждый нерв трепетал в нем от радостного предвкушения встречи с гостями. Под самыми окнами, выходящими на залив Фрогнеркиль, он услышал шум поезда, идущего в сторону Скарпснун. В любое другое время он помчался бы к окну в эркере, расположенном ступенькой выше гостиной, чтобы полюбоваться, как из высокой трубы паровоза дождем сыплются искры, пляшут в ранних зимних сумерках, а потом гаснут где-то вверху или вдоль снежных полос по обе стороны железной дороги, а иногда гораздо дальше — в парке, где-то между павильоном и старым фонтаном, рядом с которым разросся орешник.

Но сегодня нет, сегодня не до искр. Сегодня он будет стоять посреди гостиной, потому что ему полагается здесь стоять, и он любит эти минуты, и кто-нибудь из родных скажет: «А вот и маленький хозяин дома». Это скажет тетя Кристина. «Маленький хозяин дома уже на посту», — скажет она, распространяя вокруг себя дурманящий аромат какао и ванили, а может, ему только чудится этот аромат, потому что тетя Кристина делает «домашние конфеты» в своей маленькой кухоньке, и на улице Конгенсгате у нее свой магазинчик, и все говорят, что она «достойна восхищения». В былые времена тетя Кристина играла на лютне и пела в шикарных ресторанах за границей, и кто-то однажды сказал, что она достойна восхищения, хотя несколько... впрочем, да, да... Тут мать искоса метнула быстрый взгляд, который должен был означать, что ребенок здесь и он слушает. Но мать знала, что ребенок знает, что после обеда взгляд у тети Кристины становится бархатистым, голос мурлыкающим, она незаметно сбрасывает под столом туфли и всем корпусом подается вперед, открывая бездонное декольте.

Он видел сквозь закрытую дверь, как дядя Рене, повесив пальто, потирает свои узкие руки, переплетая пальцы, как, проходя мимо зеркала, с минуту рассматривает кончики своих нафабранных усов, потом маленьким гребнем, который то появля-

ется, то исчезает в его колдовских руках — в этих руках может неожиданно появиться и исчезнуть любой предмет, — приглаживает редкие пепельные волосы, начесывая их на лоб быстрыми движениями, для которых словно и созданы эти руки; потом дядя Рене постоит в дверях, собираясь войти, но вдруг в последнее мгновение с подчеркнутой вежливостью пропустит вперед тетю Шарлотту, которая зашуршит шелками многочисленных юбок, а дядя Рене скажет: «*Mon petit garçon*»*, — вздернет черные брови — мать однажды обмолвилась, что он их красит, — и подмигнет ему с насмешливым видом, который, собственно говоря, ровно ничего не означает, но это подмигивание приятно Маленькому Лорду, оно тоже неотъемлемая часть всего происходящего — да, и оно тоже...

Потом дядя Мартин в щегольских, туго натянутых брюках, стиснутых на талии узкой жилеткой, отпустит свое замечание насчет «мужеского пола»; но это произойдет уже после того, как появится мать.

Только тогда, значительно позже остальных — Маленький Лорд знает, что это делается для того, чтобы подчеркнуть свою скромность, — появится тетя Клара, черная, плоская, и чем сердечней встретит ее мать, тем старательней она будет показывать, что считает себя лишней...

Стоя посреди гостиной, Маленький Лорд слышал шум удаляющегося поезда. Скоро пройдет другой поезд из Скарпснун, на мгновение отбросив длинный мерцающий луч света на залив Фрогнеркиль, уже затянутый матовым льдом, почти совсем без снега. И этот шум извне только увеличивал радостный трепет от ощущения, что он *дома*, что он *у себя*, от сборища гостей, от запаха жаркого, от воспоминания о приглушенном чмоканье бутылок с красным вином, когда их открывали примерно час тому назад... от мерцания разноцветных ламп в восточном стиле, которыми украшен эркер. Огни ламп освещали медный поднос, и страшные бенгальские маски, которые давно уже перестали его пугать, и танцовщиц из мейсенского фарфора, которые грациозно застыли в неровном освещении, продолжая свой прелестный танец на этажерке; взрослые либо совсем не замечали их, либо рассеянно скользили по ним взглядом, а он — нет, он часто повторял их пленительные движения, потом вдруг застыл в прыжке, и сама эта неподвижность была олицетворенным движением, олицетворенным прыжком.

* Мой мальчик (*франц.*).

Он знал каждого из тех, кто сейчас войдет в комнату, знал, что они скажут и как они одеты, и прежде всего их запах; каждую из своих теток он мог узнать по запаху духов. И, несмотря на это, в последние мгновения перед тем, как открывалась высокая белая дверь, выложенная светло-синими и коричневыми шашками, он просто изнывал от нетерпеливого ожидания. Однажды он даже намочил штаны от волнения, и ему пришлось здороваться с гостями, ощущая влажное прикосновение бархатных штанишек, но это было давно, три года назад, ему тогда минуло одиннадцать. А теперь он стоял посреди гостиной в котюмчике из темно-голубого сукна с белым полотняным воротником, на который ниспадали золотистые локоны, с отполированными ногтями, в сверкающих лакированных туфельках, стоял не шевелясь, потому что должен был стоять здесь и быть гостеприимным хозяином, каждый раз будто ненароком, каждый раз замирая от радостного ожидания.

Вдали послышалось пыхтение поезда, идущего из Скарпснун. Потом поезд загрохотал под самыми окнами. Вот сейчас затанцуют искры. Он знал это. Он стоял спиной к окну и видел это сквозь три грани стекла, видел спиной. Мало-помалу шум замер, удалившись в сторону города. Дверь отворилась. Мелькнула рука Лилли, потом скрылась. На пороге стоял дядя Рене, который с легким замешательством пропустил вперед тетю Шарлотту, и та зашуршала шелками своих юбок.

Маленький Лорд сразу исчез в этих шелках. Он охотно позволял тете Шарлотте обнимать себя — ему нравилось окунаться в это шелковое шуршание, которое вблизи, когда тетка прижимала его к себе, к самой своей груди, превращалось в перезвон колокольчиков. Ее нежность в эти минуты была неудержима; поднимая голову, он видел в глазах тети Шарлотты слезы — мать как-то сказала, что тетя очень хотела иметь ребенка. Дядя Рене переживал эти мгновения восторга, стоя чуть позади. Потом выступал вперед, церемонно кланялся, подавая руку, произносил: «*Mon petit garçon*». Потом насмешливо вздергивал слишком черные брови, потирая руки, шел в эркер и глядел в окно на замок Оскарсхалл. Вскоре, за столом, наступит минута, когда можно будет властью наглядеться на непостижимые пальцы дяди Рене, которые околдовывали все, к чему прикасались: тонкую ножку бокала, вилку, — или смотреть, как он еле заметным, но тем более выразительным движением поднимает руку, чтобы «сказать несколько слов»... Все, к чему прикасался дядя Рене, обретало жизнь и блеск. На мгновение его рука ласково

погладила икону, висевшую над полукруглой нишей эркера, обставленного в восточном стиле. — Как нелепо выбрано место, — в который раз пробормотал он.

Вошел дядя Мартин. В ту же минуту на пороге другой двери появилась мать. Маленький Лорд часто пытался понять, уже не сговариваются ли они, ведь, по словам матери, они были когда-то братом и сестрой, то есть, само собой, они остались ими и теперь, но было как-то странно: этот толстяк — и вдруг брат. Дядя Мартин подошел к племяннику. Одежда сидела на нем в обтяжку, образуя морщины, вроде сборок на платье голубой дамы Матисса, висевшей на стене («И это называется искусством?»). Дядя Мартин подошел к племяннику, через его голову поздоровался с сестрой, сильно дернул его за локоны и заявил: — Ей-богу, Сусси, давно пора остричь кудри этому юному Самсону, чтобы он стал наконец существом мужеского пола!

Мальчик прекрасно знал, какое в эти минуты выражение у матери, хотя его собственный взгляд был прикован к тому месту на брюках дяди Мартина, где все морщины сходились в одну точку. Глаза матери приветливо улыбались гостю, но к приветливости примешивалось раздражение, и в то же время в них лучилась нежность, когда она опускала их на сына, который так и видел смену этих выражений, хотя сам не отрываясь пожирал взглядом интригующую точку на брюках дяди Мартина.

Дядя Мартин небрежно добавил: — Впрочем, если ты хочешь заставить парня изображать Маленького Лорда Фаунтлерея, пока он...

Но тут следом за своим осанистым мужем вошла тетя Валборг. Она была крошечного роста и единственная, чей взгляд находился на уровне глаз самого Маленького Лорда; она ласково, но повелительно сказала: — Мартин! — В ответ на что дядя Мартин, пожав плечами, нехотя произнес: — У всякого свой вкус, — в приливе внезапной общительности подошел к дяде Рене и стал недоуменно разглядывать розовую статуэтку, одиноко стоявшую на черной подставке под пальмой. Под взглядами дяди Мартина статуэтка уменьшалась и теряла смысл, но, когда дядя Рене, подняв статуэтку, принялся вертеть ее в своих тонких пальцах, она стала расти и рассказывать историю о даме, которая защищалась от лебедя, защищалась, но ей это доставляло удовольствие... Эта история тоже принадлежала к миру волнующих загадок.

Тетя Валборг задержала руку мальчика в своей пухлой руке. Тетя Валборг не могла смотреть на него сверху вниз. Поэтому она казалась ему ровней. Она улыбнулась и сказала: — Я вижу, ты становишься выше меня, малыш, впрочем, это не так уж трудно! — И тетя Валборг добродушно рассмеялась.

Маленький Лорд быстро поднялся на возвышение в эркере и, став спиной к окну, сказал: — Добро пожаловать!

— Еще не все собрались, дорогое дитя! — воскликнула тетя Кристина, только теперь стремительно впорхнувшая в комнату. Она на лету прижала его к себе, обдавая запахом какао. У мальчика было такое чувство, будто они по очереди погружали его: тетя Шарлотта — в шуршание своих шелковых юбок, тетя Кристина — в аромат какао, а дядя Мартин — в лицемерие своего туго обтянутого живота...

— А вот и тетя Клара, — сказала мать, нервно поглядывая в сторону двери, где в этот момент с обдуманным запозданием появилась тетя Клара — в черном платье с белым жабо, плоская, с лорнетом на шнурке, коротко облизнув сухие губы кончиком почти белого, точно посыпанного пеплом языка.

Маленький Лорд спустился со своего возвышения, подошел к тетке и спросил вкрадчиво, как от него и ждали: — Тетя Клара, можно мне поглядеть на твой медальон?

— После, дитя мое, что за нетерпение! — Но, приговаривая так, она ласково трепала его по щеке, а это свидетельствовало о том, что она растрогана, и о том, что она всегда и везде останется учительницей. Тетя Клара преподавала немецкий и французский и отличалась прямизной осанки и суждений. («Ну что твоя грамматика, — шепнул дядя Мартин дяде Рене, стоя позади пальмы, — только все неправильные глаголы куда-то подевались».)

Вынув свой маленький, обшитый кружевом платочек, тетя Клара приложила его к носу. Этот белый с легкой горбинкой кос и кружевной платочек в глазах Маленького Лорда составляли нечто нераздельное, как и аромат «Марии Фарина», который в ту же минуту свежей струйкой проплыл в душном воздухе комнаты. Жилы на руках тети Клары образовывали увлекательнейший ландшафт, точно географическая карта с горами и реками, от них тоже слегка веяло «Марией Фарина»... запахом, таким не похожим на сладкие, любимые духи матери «Эс Буке» Бейли. Духи хранились в комнате матери, во втором сверху ящике комода. Когда Маленький Лорд был поменьше, он выдвигал самый нижний ящик, взбирался на него, и тогда

кончик его носа приходился как раз вровень со вторым ящиком. В ту пору мать была ему даже еще ближе, чем теперь, когда она стояла в гостиной, заполняя пространство между дядями и тетками.

Аромат матери был щедр и вездесущ, не то что мимолетный освежающий аромат тети Клары, которым веяло каждый раз только тогда, когда она открывала свой маленький, расшитый жемчугом ридикюль и запах «Марии Фарина» волнами расходился от ее кружевного платочка.

Маленький Лорд испытывал приятное чувство от всех этих контрастов, от сознания, что в его надежно защищенном мире все явления находятся в устойчивом равновесии. Вот сейчас гости будут беспокойно слоняться по комнате, рассеянно оглядывая друг друга, пока невидимая сила — он прекрасно знает, что это горничная Лилли, — не распахнет высокую створчатую дверь в столовую и мать не скажет: «Прошу всех к столу!»

А сейчас текли минуты, насыщенные уютом и ожиданием. Все они были здесь. Все. Сейчас он доставит кому-то удовольствие, снова по-детски надоедая тете Кларе — ведь от него этого ж д у т, — и скажет: «Ну тетя Клара, ну можно я посмотрю на твой медальон?»

И он это сказал. И она ответила, как и следовало ждать: — И как тебе не надоеет, малыш, разглядывать этот медальон.

Она осторожно сняла через голову тоненькую золотую цепочку и открыла медальон, в нем находился второй такой же медальон, только чуть поменьше, а в том еще один. И мальчик протянул: — О-о!

В самом последнем медальоне тоже была щелочка, а значит, и его можно было открыть. Мать сказала однажды, что там фотография и что это трагедия тети Клары. Но Маленький Лорд знал, что он не должен спрашивать, можно ли открыть последний медальон. Он знал это, как знал тысячи других условленных вещей. В мире очень многое было оговорено заранее.

Смутно, смутно понимал он в эти счастливые минуты, что существует еще какой-то другой мир: покрытый льдом залив Фрогнеркиль, улицы, школа... И что мальчики из его класса, когда они принимают гостей, одеваются по-другому. Он знал это. Знал, что они бросаются чем попало, бьют стекла и рвут штаны. Он знал, что дома у Андреаса нет этажерок с танцовщицами, что по субботам в семье Андреаса едят селедку и не пьют

вина из сверкающих бокалов. Он знал, что кое-кто из сверстников зовет его девчонкой за его локоны и одежду. Знал, что слова дяди Мартина о «мужеском поле» намекают на это же обстоятельство.

Однажды, давным-давно — ему тогда было десять л е т , — когда гости пили кофе и пальцы дяди Рене особенно ловко играли тонкой кофейной чашкой, Маленький Лорд возьми и скажи: «Он плюхнулся на задницу и как покатится вниз...» Мать изменилась в лице так, точно вот-вот упадет в обморок. Тетя Клара стала часто-часто облизывать губы, и кончик ее языка то появлялся, то исчезал, как кукушка на стенных часах в столовой, зато дядя Мартин разразился зычным хохотом и крикнул: «Браво, малый!» — сунул красноватую руку в жилетный карман под круглым брюшком и выудил оттуда монетку в десять эре. Поступок дяди вызвал страшную панику: прежде чем мальчику разрешили дотронуться до денег и опустить монету в копилку, ее продезинфицировали нашатырным спиртом.

Маленький Лорд был пристыжен. Не тем, что произнес грубое слово, а тем, что позволил им проникнуть в свою тайну.

Потому что он знал то, о чем не подозревали ни мальчишки, ни тетки, ни дяди, ни мать: он знал немало *таких* слов. В его голове бродило немало *таких* мыслей. У него была еще одна жизнь — *такая* жизнь, вовсе не похожая на ту, какую они себе рисовали.

Створчатая дверь в столовую распахнулась точно по волшебству. Открывшие ее руки были невидимы. Мать сказала: — Прошу, — точно сама была застигнута немножко врасплох. И гости, опережая Маленького Лорда, двинулись к двери, к чудесным ароматам, тяжелыми волнами хлынувшим им навстречу. Он шел позади всех, как бы управляя ими чуть заметными дирижерскими движениями, которых они не могли видеть. Почти бессознательно имитировал он походку дяди Мартина, который шел вразвалку, и элегантные, скользящие шаги дяди Рене, грамматически четкое вышагивание тети Клары и шуршал невидимыми юбками позади шелестящих юбок тети Шарлотты. Он пританцовывал, следуя за ними, полный дружелюбного презрения, и чувствовал себя невыразимо счастливым от двойственного стремления нравиться и насмехаться. Уже в самых дверях, проходя мимо горничной Лилли, он высунул язык, в то же время делая вид, будто хочет обнять девушку, и казалось, он го-

нит перед собой стадо, гонит к столу, туда, где канделябры льют мягкий свет на синеватый фарфор.

— Мэ-э-э! — неслышно проблеял Маленький Лорд вслед любящим родственникам, которые шествовали в столовую.

2

Маленький Лорд стоял в столовой у окна, выходящего на восток, сознательно подставляя лицо слепящему свету солнца. Он еще не ел, и все вызывало в нем тошноту: сама комната, ее запахи, мысль о том, что надо идти в школу. За спиной он слышал тиканье стенных часов с кукушкой, и каждая отсчитанная секунда болезненно отзывалась в нем. Перед секретером матери на стуле, обитом кожей с золотым тиснением, валялся ранец из тюленьей кожи, ремни его свисали вниз. Терпкий запах кожи тоже тяготил в это утро Маленького Лорда. Он услышал на лестнице шаги матери и понял, что она с минуты на минуту появится в дверях. В нем вспыхнуло раздражение.

— Разве ты не собираешься в школу, Маленький Лорд?

— Называй меня Вилфредом, — холодно сказал он, не оборачиваясь. Слова вырвались у него неожиданно для него самого.

— Но, сыночек... — Он услышал ее приближающиеся шаги. Его настроение вдруг круто изменилось. Он подошел к ней со слезами на глазах.

— Прости, мама.

— Но уже половина девятого... ты опаздываешь.

— Мама! — Слезы блеснули снова. Он позаботился о том, чтобы они не полились градом, а только повисли на ресницах, и горло перехватила приятная сладкая судорога. — Мама, я не могу сегодня пойти в школу.

Она ласково обвила его рукой за плечи. Они вместе вернулись к окну.

— Смотри, м а м а , — сказал он, кивком указав ей на влажные темные ветви, сквозь которые просачивались солнечные лучи. — А знаешь, в моем гербарии недостает некоторых растений — чистотела... и еще других. Нет, сейчас вовсе не рано, их можно выкопать из-под талого снега на Бюгдэ.

— Тогда мне завтра придется написать записку в школу, что ты болен, — сказала она. — А это будет ложь.

Он видел, что она побеждена. Видел по ее глазам. Видел по всему, и по черному платью тоже — сегодня один из ее «мяг-

косердечных» дней, один из дней, когда она ходит на кладбище на могилу отца. Он передернул плечами.

— Почему ложь? Не ложь, если ты напишешь, что у меня болит горло.

Она тоже слегка передернула плечами, движением своих округлых женских плеч в точности повторяя движение худых детских плеч сына, полное своеволия и легкомыслия.

— И вообще, мама, — он пошел следом за ней от окна в глубь комнаты, — зови меня, как хочешь, зови меня Маленьким Лордом.

Мать обернулась к нему, на лице у нее было огорчение.

— Мой брат Мартин, наверное, прав. Пора называть тебя твоим настоящим именем.

Ему стало не по себе — неуютный мир действительности вдруг надвинулся на него. Умоляюще протянув к ней обе руки, он повторил:

— Называй меня Маленьким Лордом!

Она облегченно вздохнула.

— Ну, раз тебе самому так хочется, сыночек. — Она подошла к секретеру.

— Тебе нужны деньги для лодочника.

Взяв синюю фарфоровую чашку, самую дальнюю справа в ряду чашек, она вынула из нее ключ и отперла секретер. Ребристая крышка, как по волшебству, скользнула вверх. Он любил, когда предметы действовали так красиво и безотказно. Из левого верхнего ящика она извлекла коричневый кошелек и из среднего отделения, закрывавшегося маленькой медной защелкой, достала две монетки по пять эре. И сразу повеяло тонким ароматом от крошечной книжечки с листками пудры, лежавшей в открытом заднем кармашке вместе с крошечными отгрызками двух красных карандашей — сентиментальное воспоминание, сбереженное на память о триумфах молодости на больших балах. Потом она снова закрыла секретер, заперла его и спрятала ключ на место, в чашку на каминной полке.

— Неужели ты еще не ел?

Она нажала кнопку возле буфета с резными створками, где посреди целой выставки серебряных бокалов и фужеров из богемского хрустала стоял роскошный серебряный судок.

— Я ждал тебя, мама, мы позавтракаем вместе. Когда ты приходишь, у меня появляется аппетит.

И в ту же минуту это стало правдой. Он почувствовал приступ голода, как бывает, когда миновало что-то неприятное, и

тревогу в ожидании того, что ему предстоит; по спине и по ногам забегали сладкие мурашки. Подали горячий кофе, мать и сын с удовольствием принялись за еду, в безмолвном единодушии отстраняя все неприятное.

— Мама, мне не хочется, чтобы на тебе сегодня было черное.

Она в замешательстве поглядела на него. Он высказал вслух ее собственные мысли, он часто высказывал вслух ее мысли как раз в тот момент, когда они рождались в ее голове.

— Сегодня такая хорошая погода. По-моему, ты должна переодеться. Правда.

В этом «правда» был намек на какой-то давний уговор, остатки детского языка, когда-то полного для них обоих особого смысла.

Сын учтиво встал, едва мать кончила завтракать. Он слышал, как она поднялась по лестнице и вошла в свою комнату на втором этаже. Тогда он бросился к камину, взобрался на стул, выудил из чашки ключ и отпер секретер. Через минуту он уже сжимал в руке четыре монеты по двадцать пять эре и пять по десять. Он хотел было убрать кошелек обратно, но тут ему пришла в голову новая мысль. Взяв из заднего кармашка бальный карандашик, он нашел в кошельке клочок бумаги, где были записаны расходы, и приписал к ним аккуратным, без наклона, почерком матери три цифры на общую сумму полторы кроны. После этого он положил все на место, слез со стула и, нахвистывая, подошел к окну как раз в ту минуту, когда горничная Лилли вошла в комнату, чтобы убрать со стола.

Она с удивлением остановилась.

— Разве ты не идешь в школу? — спросила она.

— Как видишь, милая Лилли, — ответил он, обратив к ней сияющее лицо.

— А хозяйка знает, что ты опять прогуливаешь?

— Фу, Лилли, какие слова ты говоришь. — Он, улыбаясь, подошел к ней. — Сегодня я поеду на Бюгдэ собирать растения для гербария, погода как раз подходящая. — Она с презрением фыркнула. Он подошел к ней поближе. — А знаешь, Лилли, после мамы, но ведь мама гораздо старше тебя, ты самая красивая дама из всех, кого я знаю.

— Дама! — фыркнула побежденная Лилли.

— Конечно, дама, — настойчиво повторил он и, щуря глаза, придвинулся к ней вплотную. — А знаешь, я думаю, твой

отец был какой-нибудь знатный человек — министр или богатый бакалейщик. У тебя такие руки, такие движения...

— Ты опять за свое, — сказала Лилли, составляя тарелки полными красными руками. — Ей-богу, у тебя не все дома. — Она постучала по лбу, там, где прядь золотистых волос выбивалась из-под наколки. — Просто-напросто не все дома, — повторила она, чувствуя, как в ней расцветает дочь министра.

— Обними меня, — вдруг потребовал он; она была теперь совсем рядом с ним. Лилли быстро повернулась и с неожиданной нежностью склонилась к нему. А он с безотчетным пылом прижался к ее тугой груди, жадно впитывая ее запах. Стыдливо высвободившись из его объятий, она выпрямилась.

— Ей-богу, ты спятил, — тихо проговорила она.

— Допустим! Или, лучше сказать, у меня не все дома. — Он быстро отошел в сторону, но снова повернулся к ней, и в глазах его горело желание.

В эту минуту вошла мать в светлом бежевом платье и серых туфлях.

— Ты еще не ушел? — спросила она.

— Я ждал тебя, мама, чтобы ты помахала мне в окно, — ответил он. — Да, вот это платье ты и должна была надеть сегодня, — быстро добавило он. — Правда, Лилли?

Обе женщины обменялись торопливым, смущенным взглядом.

— Ну, теперь я пойду, — сказал он. — Лилли, милочка, будь добра, сделай мне три бутерброда, все равно с чем, но лучше всего один с копченой лососиной и два со швейцарским сыром.

Он вышел в прихожую, чтобы надеть пальто и шапку. Оттуда бегом поднялся в детскую за французским электрическим карманным фонариком, который дядя Рене подарил ему на рождество. После его ухода, оставшись вдвоем в комнате, мать и Лилли в смущении избегали глядеть друг на друга.

Он медленно брел вниз к Скарпсону в своем новом сером пальто. Перевозчик курил, сидя на берегу. Прежде чем отчалить, он потребовал, чтобы ему показали деньги. Знает он этих мальчишек. Когда они доплыли до середины залива, как раз до того места, которое было видно из окон их гостиной, Маленький Лорд приподнялся в лодке и помахал рукой. Он не мог видеть мать, но знал, что она его видит. Он долго махал ей, а потом сказал перевозчику:

— Может, я вернусь с вами обратным рейсом! — Он положил еще одну монету в пять эре в ящичек, стоявший на сиденье.

— А мне-то что, — отозвался лодочник. Его скрюченные пальцы, сжимавшие весла, заканчивались длинными когтями. И сам он походил на какого-то добродушного диковинного зверя. Весь год, исключая зимние месяцы, когда лежал глубокий снег, он плавал на своей лодке от берега к берегу, обеспечивая связь Скарпсну с небольшой бухточкой на другом берегу.

Маленький Лорд проворно прыгнул на берег и с минуту постоял на виду на каменном причале. В город собирались переправиться четверо взрослых пассажиров. Он проскользнул в лодку следом за ними и спрятался за их спинами, на случай если кто-нибудь из домашних все еще стоит у окна. Оказавшись снова на городском берегу, он быстро перешел Драмменсвей, там, где была ближайшая остановка трамвая. Протянув кондуктору десять эре, он получил пять сдачи. Вилфред сошел у Атенеума, перешел к гостинице «Гранд», а там сел в зеленый трамвай, на котором было написано «Грюнерлокке», устроился впереди, рядом с жога́тым, и стал жадно глядеть на рельсовый путь, втягивавший в себя трамвай и его пассажиров. В подростке с новой силой вспыхнуло возбуждение. Он чувствовал его по сладкому ознобу во всем теле. Стоя в вагоне, он громко подпевал в такт громыханью трамвая. День был нов и необычен во всех отношениях. Маленький Лорд предпринял одну из своих тайных вылазок в места, о существовании которых мать и тетки не подозревали, к людям, взрослым и мальчишкам, в существование которых они до конца не верили. Опасные, незнакомые места, полные опасных, чужих запахов, и люди, которые разговаривают другим языком, по-другому одеваются, по-другому живут, вообще совсем *другие*...

Маленький Лорд сошел на площади Улафа Рюэ. Он уже бывал здесь прежде — раза четыре — по таким же делам. На улице Марквей он зашел в какую-то подворотню, аккуратно подобрал свои локоны и спрятал их под шапку. Потом свернул на улицу Торвалда Мейера. Он знал, что там, в убогих переулочках, ведущих к Делененг, на пустырях или возле домов он встретит мальчишек, несущих судки с похлебкой или какие-то свертки. Там он найдет то, что ищет: однодневных друзей, которые по-другому говорят и вообще *другие*. Здесь он насладится приключениями, которые уже не раз дорого ему обходились, но от которых он не в силах отказаться.

Его поиски увенчались успехом. Он свернул в сумрачную грязную улочку, которая упиралась в темную грудю досок, за ними высилось здание, окруженное лесами, вокруг стояли кадки с известью. Проходя мимо, он понял, что мальчишки уже там, в темных дверных проемах. А потом он услышал голоса за своей спиной — стайка мальчишек дразнила и грозилась.

— Воображала! Маменькин сынок!

И обычные издевательские выкрики, что-то вроде «...твою мать», которые он не совсем понимал. В горле у него пересохло от страха, но он продолжал идти прямо, не оборачиваясь, и чувствовал, что ватага, идущая за ним по пятам, растет.

Эти мальчишки говорили на другом языке. Учиться они ходили после обеда в какую-то народную школу. Они во всем отличались от него, и каждый раз, встречаясь с ними, он испытывал к ним глубокое отвращение. Сегодня он умышленно решил надеть свое новое серое пальто, чтобы не просто разозлить их, а привести в бешенство.

В голосах за его спиной все громче звучала угроза, самые смелые отважились подойти ближе, кто-то уже дернул его за пальто, один попытался, как бы случайно пробежав мимо, подставить ему ножку. Это был коротыш, которого другие называли Крыса. От него едко пахло перцем, должно быть, от старых застиранных штанов.

— Небось не остановишься — слабо! — кричали сзади все громче и громче. Маленький Лорд принуждал себя не ускорять шага, ему хотелось побежать, но он подавлял в себе это желание. Он шел напрямик к громадным штабелям досок, которые высились впереди. Между досками зияла дыра. Она терялась во мраке. Сохраняя невозмутимый вид, он первым углубился в провал. Отсюда не было выхода. Поблизости не было взрослых, которых можно позвать на помощь. Тут он должен претерпеть то, что замышлялось против него, или одержать немедленную победу.

Теперь ватага настигла его. Один вырвался вперед и при каждом шаге наступал ему на пятки. В дыре становилось все темнее и темнее, а в голосах за его спиной звучала глухая вражда.

Но как раз в ту минуту, когда темный проход уперся в стену, он резко повернулся, выхватил из кармана фонарик и направил его слепящий луч прямо в лица своим преследователям.

Он даже сам не рассчитывал на такой эффект. Те, кто шел впереди, отпрянули. Задние застыли на месте, разинув рты. Все-

го их было девять мальчишек, пестрая ватага: рваная одежда, нечесанные головы, грязные кулаки и худые, бледные лица, на которых написаны голод и ожесточение.

По ватаге прошел стон. Он погасил фонарь. Тьма обрушилась на них спящими огненными вспышками. Он снова зажег фонарь, опять потушил, спрятал в карман.

Они стояли лицом к лицу в полной тьме. Мальчик из одного мира и девять мальчишек из другого. Ему удалось на мгновение взять верх. Ни один из них прежде не видел карманного электрического фонаря. Ни у кого из них в доме не было электричества. Он знал это. Рассчитывал на это. Это был его козырь. Он пошел с него. Противники изнывали от желания вступить в переговоры.

— Сколько хочешь за фонарь? — спросил один.

— А можно поглядеть? — В голосе второго звучало даже некоторое почтение.

Маленький Лорд в темноте вложил фонарь в протянутую руку. Мальчик не знал, как его зажечь.

— Вот так, — сказал Маленький Лорд, нажав кнопку. Дощатый свод осветился вдруг, как сказочная пещера, и в мерцающем свете лица мальчишек изменились до неузнаваемости. Казалось, они впервые видят друг друга, их солидарность была сломлена. Маленький Лорд погасил фонарь. Мальчишка продолжал сжимать в руках волшебную палочку, но в его руках палочка лишилась волшебной силы. Возбуждение пронизывало темноту.

— Дай поглядеть, — произнес чей-то голос во мраке. Фонарь перешел в другие руки. Маленький Лорд понимал, что на сей раз мальчишка сумеет зажечь свет. Тогда очарование рухнет. Еще, может, и не отдадут фонарь.

— Ладно, ребята, — бросил он в темноту. — Что будем делать?

Он услышал незнакомые вотки в собственном голосе, услышал голос незнакомого парня, того самого Вилфреда, с которым изредка ему удавалось свести знакомство, почувствовал в себе силу этого парня, его стремление верховодить.

— А ну-ка, давай сюда фонарь, — сказал он, наугад протянув руку в темноту.

Чья-то рука нашарила его руку. Фонарь снова оказался у него. Он на мгновение зажег его, потом молниеносно снял колпачок, вывинтил лампочку и снова надел колпачок.

— Держите, — сказал он. — Кто еще хочет поглядеть?

Жадные руки потянулись к фонарю. Мальчишки нажимали на кнопку, на хрупкий рычажок, передавали фонарь из рук в руки. Фонарь не зажигался. Они стали ссориться, обвинять друг друга в том, что фонарь сломали. Между прежними приятелями, членами одной дружной ватаги, не осталось и следа взаимной поддержки. По их лицам, взволнованно обращенным к нему, Вилфред чувствовал, что они ждут команды, приказа.

— Ладно, дайте-ка я взгляну, — коротко бросил он, быстро водворил лампочку на место и снова на мгновение зажег фонарик. Он успел разглядеть ребячьи лица, которые за эти минуты повзрослели и стали воинственными, искаженные жаждой сильных ощущений. Однажды Вилфреду пришлось пережить в такой компании полное поражение. Тогда кто-то предложил ловить мяч шапкой, а он знал, что стоит ему снять шапку, и длинные локоны рассыплются по плечам. Дело кончилось дракой, исход которой был предрешен, и его бегством по длинным грязным улочкам, где все преимущества были на стороне преследователей.

Стало быть, надо было предложить что-нибудь верное.

— А что, если двинуть в молочную на углу? — холодно сказал он.

— К Юнсону? — переспросил кто-то.

— А то к еврею, папироснику, — наугад предложил он. Он помнил, что где-то на улице Тофте была табачная лавка, фамилия владельца кончалась на «вич». Он делал ставку сразу на все — на неприязнь к «еврею», на охоту покурить, которую он смутно угадывал в мальчишках, на жажду приключений, а то и просто сладостей, на детское или уже взрослое стремление вырваться из повседневности, стать чем-то другим.

— Пошли к еврею, — произнес сиплый голос из темноты.

В дыре, где они стояли, тревожно пахло гнилым деревом. Запах грязной одежды и потных, возбужденных тел увеличивал духоту и без того спертого воздуха. На какое-то короткое, пьянящее мгновение Вилфред почувствовал, что здесь, сейчас он может заставить девятерых мальчишек сделать все, что ему заблагорассудится, даже против их собственной воли.

— За мной, — коротко бросил он, прокладывая себе путь среди них. Они робко расступились, а потом, что-то бормоча, последовали за ним. И когда опять впереди забрезжил свет, он с внутренним ликованием понял, что роли не переменятся даже теперь, когда они вернутся в привычную обстановку. Именно теперь, и даже особенно теперь, все будет им казаться иным:

улица, дома по обе ее стороны и он, в первую очередь он. Он идет впереди, а трое или четверо мальчишек не отстают от него ни на шаг. Вилфреда вдруг осенило.

— Вы будете моими адъютантами, — бросил он тем двоим, кто шел ближе к нему.

Кого он имел в виду? Те, что были посильнее, хоть и шли позади, пробились вперед к самому выходу из дощатой пещеры:

— А я? А я?

— Ты будешь телохранителем, — небрежно кивнул Вилфред верзиле с сильным голосом. Это он наступал ему на пятки, он первым пытался зажечь фонарь. Теперь сильный голос повторил:

— Телохранителем.

Кто-то из идущих сзади спросил:

— А что будем делать с евреем?

Маленький Лорд ответил первое, что пришло в голову:

— Сопрем какую-нибудь мелочь. Для начала.

Кто-то из ватаги с благоговением повторил:

— Для начала.

Они понимали, что это значит: за мелкой кражей последует кое-что почище.

На углу возле табачной лавки Вилфред вдруг сообразил, что всей гурьбой вваливаться в лавку нельзя. Он обернулся к мальчишкам, сгрудившимся вокруг него.

— Со мной пойдут трое. Остальные пока рассыпьте по парку.

Обращенные к нему лица тускло маячили перед ним, он их не видел, не воспринимал как лица. В резком свете они казались плоскими овалами, разинутые рты жадно ловили его приказания. Все хотели оказаться в числе троих. И все боялись. Он трепетал от нервного напряжения, понимая это и понимая, что тот, на кого падет выбор, будет дрожать от восторга и в то же время желать очутиться на другом краю света.

— Т ы , — изрек он, тяжело опустив руку на плечо сиплого.

Тот, кого звали Крыса, попытался улизнуть, но опоздал.

— И т ы , — произнес Вилфред, подтащив Крысу рукой, отяжелевшей от ощущения власти.

Оставалось выбрать еще одного. Все потупили глаза, кроме бледного малыша, смотревшего с мольбой, точно под гипнозом...

— Ладно-ладно, и т ы , — заявил Маленький Лорд, словно нехотя соглашаясь на благодеяние. Бледный мальчуган еле удержался на ногах, когда на его плечо легла рука Вилфреда.

Вилфред кивнул остальной ватаге.

— Сбор в парке по одному, — сказал он. — А покамест держите! — Он швырнул им несколько монет по десять эре.

Мальчишки ринулись подбирать деньги, стали драться. Потом наконец ушли, нехотя, с облегчением и разочарованием, с сомнением и доверием в одно и то же время.

Четверо коротко посоветовались, потом поочередно с независимым видом прошли мимо лавчонки на углу, заглядывая внутрь. Маленький Лорд подождал, пока из лавки вышел покупатель. Потом кивнул головой и с небрежным видом вошел в лавку.

Хозяин табачной лавки, стоявший у полка, вежливо оглянулся и испытующе посмотрел на юного покупателя.

— Покажите мне, пожалуйста, карты, — сказал тот, подходя к прилавку. — И еще мне нужно четыре пачки сигарет «Баткари» для отца. Четыре пачки кипрских.

— Очень сожалею, молодой человек, — вежливо сказал хозяин, — но ты слишком молод, чтобы покупать сигареты.

— А у меня есть записка от отца, — сказал Маленький Лорд, сунув руку во внутренний карман пальто. Он слышал, что мальчишки уже в дверях, что они идут.

— Покажите мне, пожалуйста, карты вон с той полки, — попросил он.

Хозяин повернулся спиной и, прихрамывая, с трудом заковылял в дальний угол лавки.

Маленький Лорд обернулся к сиплему.

— Хватай его, — неуверенно шепнул он. — И держи.

Сиплый бестолково тарачил глаза. Торговец взгромоздился на маленькую табуретку, чтобы дотянуться до полки.

— Делай, как я сказал, — шепнул Маленький Лорд, — когда я скажу «пора». А ты, — обернулся он к Крысе, — беги к кассе позади прилавка и хватай, сколько успеешь. Ну, я говорю: пора!

Сиплый, как кошка, перемахнул через прилавок и схватил старика торговца со спины. Крыса побежал следом и зачерпнул из кассы полную пригоршню монет.

Третий, бледный малыш, без кровинки в лице, попятился к двери.

— Держи и убирайся, — шепнул Маленький Лорд, сунув ему десять эре. Мальчишка исчез за дверью. Громadne башмаки застучали по улице. Маленький Лорд оглянулся. Снаружи в лавку никто не заходил. Солнце скрылось. Начал накрапывать мелкий дождь.

— Теперь уходите. Поделитесь с остальными, — жестко сказал он двум перепуганным мальчишкам. Потом, когда дверь за ними захлопнулась, он двинулся навстречу торговцу, который, пошатываясь, вышел из-за прилавка. С минуту они стояли, глядя друг на друга: четырнадцатилетний подросток — со страхом и упрямством, шестидесятилетний старик — с испугом и обидой. Потом Маленький Лорд занес руку для удара. Раз, два. Оглушенный торговец рухнул спиной на прилавок. Маленький Лорд быстро зашагал к двери и у входа посторонился, пропуская в лавку пожилого рабочего. Он вежливо придержал для него дверь, а потом помчался к Делененг, в сторону, противоположную парку, где условился встретиться с мальчишками.

С минуту он помедлил на углу, понимая, что теперь-то, именно теперь и начнется тревога, поднимется крик, из окон и дверей будет высовываться головы. Начнут обшаривать все улицы, все пустыри, где обычно шныряют мальчишки.

Он быстро перешел улицу. У него еще оставался шанс, но шанс последний. Когда раздались крики, он уже свернул в переулок, юркнул в какую-то подворотню и очутился во дворе, огороженном дощатым забором, возле которого стояли два мусорных ящика. Маленький Лорд вскочил на один из них, не без труда перемахнул через забор и очутился в другом дворе. Отсюда он вышел на незнакомую улицу и стал соотносить, где находится. Теперь он отчетливо слышал крики, голоса без слов. Он пошел влево, по другой стороне улицы, пересек пустырь и оказался перед группой больших доходных домов. Войдя в подворотню, он очутился среди старых деревянных домов, окружавших небольшой дворик с колонкой посередине. Вилфред подставил руки под струю — руки были в крови. Он плотнее надвинул на голову шапку и на минуту задумался. В это время из деревянного дома вышла горбатая женщина с зеленым металлическим чайником, она шла к колонке.

— Простите, — сказал он, вежливо поклонившись. — Не будете ли вы добры дать мне напиток? — Он согнулся в поклоне так низко, что женщина не могла видеть его лица. Пораженная непривычным тоном, она решила принести кружку и заковыляла к дому. Ему вдруг не захотелось ее обманывать. И когда она вернулась с кружкой, он напился воды и, вынув двадцать пять эре, протянул их женщине.

— Большое спасибо. Это вам за вашу любезность.

Женщина, разинув рот, смотрела ему вслед, пока он шел между деревянными домишками маленьким проулочком, окаймленным с двух сторон стеной влажных деревьев. Он вышел на улицу, где никогда прежде не бывал. Теперь он больше не слышал криков. Теперь все было где-то позади, в каком-то другом месте, в другом мире. Но этот мир может его настигнуть, если он не будет начеку. Он по-прежнему держался южного направления с небольшим уклоном на восток. У него было какое-то физическое ощущение направления. Дорога привела его к воротам кладбища Софиенберг; улица по обе стороны была безлюдна, и он вошел в ворота. Морозящий дождь сгустился в сплошной туман. Он стал на колени у одной из могил. Теперь он снова услышал крики. Может быть, это были те самые крики. Может, его заметили. Он вытянулся на земле у надгробия и, впившись пальцами в холодную землю, пробормотал: — Сделай так, чтобы они не пришли. Только не в этот раз.

Крики удалились. И казалось, в нем сразу произошел перелом. Он прочел надпись на могильном камне: «Ракел Йенсен...» Преклонив колени перед могилой, он прошептал: — Благодарю тебя, милостивый боже!

Он поднялся с земли и, пригнувшись, побежал между могилами, чтобы выйти с кладбища через другие ворота. Сквозь просветы в штакетнике, тянущемся вдоль улицы Софиенбергате, он увидел черную каску полицейского.

Блестящее острие каски странно выделялось на фоне коричневатого-серого безлиственного пейзажа.

Каска невозмутимо приближалась к нему, и его охватило вдруг неожиданное ощущение безопасности. Полицейский — да он для того и существует, чтобы даже здесь, в этом неспокойном, бедном районе города оберегать покой почтенных граждан...

Маленький Лорд выпрямился во весь рост и, приосанившись, вышел из ворот прямо навстречу полицейскому, словно ища у него защиты.

Это были захватывающие минуты, хотя Вилфред не спасался бегством и не дрался, а просто положился на волю случая. Повезет — значит повезет. Не повезет — тогда случится то, что он никогда не додумывал до конца. Он вверялся мрачной неизвестности.

Полицейский не обращал внимания на Вилфреда. Он шествовал своим размеренным шагом вдоль серых стен домов. Подросток расправил плечи и почувствовал, как его лицо скрив-

лось в высокомерной гримасе. Он все еще внутренне балансировал между чувством страха, сладко нывшим во всем теле, и тягой к своему привычному миру, к безопасному существованию, которому он мог радоваться только тогда, когда удавалось что-то ему противопоставить. Вот и сейчас он представлял себе свой теплый, светлый дом на Драмменсвей, неотделимый от него уют, который он так любит. Представлял себе и то, как теперь у него появится новая тайна, еще одна тайна — скверный поступок, о котором знает он один.

Он быстро спустился к площади Скоу, чтобы сесть в трамвай, идущий к дому. В его голове теснились всевозможные планы, он их принимал, потом отбрасывал. Сегодня он уже кое-что сделал — ударил бедного старика. Он не испытывал ни малейших угрызений совести или сострадания. Ведь опасность еще не миновала. Ему надо спасти собственную шкуру. Спасать от угрозы. Правда, угрозу приходится создавать самому, ну что ж, ничего не поделаешь, зато теперь он счастлив: в его жизни опять появилось что-то такое, что избавляло его от ощущения, будто все знают о нем всё.

Скоро, он это понимал, окружающей его реальностью снова станут только мать и, родной дом, а все остальное станет чем-то далеким, отойдет в прошлое.

Но лишь на время, пока новая дерзкая затея не начнет требовать выхода, и ради нее он поставит на карту все свое безмятежное существование, потому что мир, в котором он живет, должен быть полон тревог и таить в себе то, что знает лишь он один.

Он медленно брел по центру города и чувствовал, как его охватывает блаженное умиротворение. Он шел навстречу чему-то приятному, и ему хотелось делать людям приятное. В бумажном магазине на Эвре-Слотсгате он купил листок почтовой бумаги, конверт и марку за десять эре. Усевшись за высокую конторку, предназначенную для клиентов, он стал писать изящным наклонным почерком фрекен Воллквартс, — почерком, который каждую букву превращал в живое существо, дружелюбное и улыбающееся.

Фру Сусанне Саген

Улица Драмменсвей

Христиания

Я пишу Вам эти несколько строк только для того, чтобы уведомить Вас, что Ваш сын Вилфред прекрасно успе-

вает во всех учебных дисциплинах и при этом отличается примерным поведением.

Преданная Вам

Сигне Воллквартс

На углу улицы Карла Юхана он опустил письмо в почтовый ящик, а потом сел в трамвай у Атенеума. «Право же, мама заслужила эту радость», — подумал он и, приподняв шапку, встряхнул рассыпавшимися по плечам локонами.

3

Звонок.

Мать опустила «Моргенбладет», которую держала развернутой над чашкой кофе, и прислушалась. Она и сын одновременно услышали, как открылась дверь, ведущая из коридора в холл, и Лилли вышла в прихожую.

Потом открылась входная дверь. Потом раскатистый голос почтальона, смешливый звонкий голосок Лилли... При этих привычных звуках Маленького Лорда обдало жаркой волной блаженства. Он чувствовал, что он у себя дома, чувствовал это во всем. И было в этой уверенности что-то такое, что изгоняло все другие ощущения, отдаляло их, лишало той реальной плоти, которая придавала им весомость в неустойчивом равновесии его мира. Дома с ним не могло случиться ничего дурного.

Легонько постучав в дверь, Лилли положила на край стола принесенные почтальоном письма. Мать бросила на них рассеянный взгляд поверх газеты. Это были письма с марками фирм, письма из того мира, который *искал* ее, но ни на что не посягал, — любезные приглашения, которые, по желанию, она могла принять или отвергнуть. Магазин шелка, торговый дом «Стеен и Стрём» предлагали свои новые модели к предстоящему придворному балу.

Наконец она обратила внимание на единственное письмо без фирменного штампея. Косой изящный почерк на конверте пробудил в ней любопытство, она вскрыла конверт и быстро пробежала письмо.

Глаза Маленького Лорда были устремлены на сваренное всмятку яйцо. Он старался каждый раз зачерпнуть ложкой рав-

ное количество желтка и белка и откусывать каждый раз совершенно одинаковый кусочек поджаренного хлеба, посыпая его одним и тем же количеством соли. Взрослые всегда посмеивались над его попытками растянуть свои гастрономические утехы. Вот и сейчас он поймал на себе материнский взгляд и тотчас потянулся к чашке сладкого чая пополам с молоком.

— Нет, я не потому, сынок, — сказала мать.

Он поднял на нее глаза с выражением точно рассчитанного удивления.

— Что-нибудь случилось, мама? — спросил он. Теперь вид у него был слегка встревоженный — это тоже входило в его намерения.

— Случилось... видишь ли... Нет, я не могу тебе сказать. — Лицо матери приняло многозначительное выражение.

— Какая-нибудь неприятность? — На глазах у него выступили заготовленные на всякий случай слезинки. Он чувствовал себя в ударе.

— Неприятность... нет, что ты, сынок! Ничего неприятного, поверь мне! — Теперь ее глаза сияли. Она была удивительно хороша. Радость волной прилила к его сердцу, потому что он доставил радость ей.

— Но тогда скажи, в чем дело, мама, — попросил он. — Раз нет ничего неприятного.

Она встала и, напевая, подошла к окну. Ее переполняло такое счастье, что ей приходилось таиться от сына. Нет, это письмо должно остаться тайной между нею и школой; наверняка фрекен Воллквартс не хочет, чтобы она посвящала мальчика в их переписку. Но зато она должна написать ответ, вот это она сделает. Она напишет учительнице письмо, расскажет ей, как она счастлива, и попросит ее по-прежнему заботливо опекать ее ненаглядного прилежного мальчика. Ей хотелось сделать что-нибудь еще, например послать фрекен Воллквартс подарок, какую-нибудь безделушку, но не подделку, а настоящую драгоценность.

И вдруг она почувствовала себя беспомощной и никчемной по сравнению с такой вот учительницей, человеком образованным, наделенным опытом и знаниями — всем тем, что она упустила в своей беззаботной жизни. В приливе педагогической ответственности ей захотелось завести с сыном разговор о чем-то поучительном.

— Ты вот почитай газету, — неожиданно сказала она. — Подумай, какая разница в семейной обстановке, в окружении...

Да, Маленький Лорд, я хочу, чтобы ты имел хоть некоторое представление об этих вещах.

И она решительно села рядом с ним, развернув «Моргебладет».

— Посмотри, что здесь написано... Несколько мальчиков в районе, который называется Грюнерлокке... я даже не знаю толком, где находится этот район, где-то очень далеко, на другом конце города... Они ворвались в табачную лавку — подумай, сынок, среди бела дня! — *избили* бедного продавца, *украли* у него деньги и... Ну неважно, я просто хочу, чтобы ты знал, что такие вещи случаются. Подумай, твои сверстники, даже моложе — мальчики лет десяти-двенадцати, написано в газете... О мой родной, любимый сынок!

Она снова встала, взволнованная нарисованной ею же самой картиной. Наклонившись над сыном, она прижала его к себе. Он слышал, как она пробормотала:

— Бедные, бедные дети!

Он слышал ее слова будто сквозь вату. Судорога свела ему внутренности. Все это вышло слишком неожиданно. Напечатано в газете. И главное — она восприняла это таким образом.

Судорога свела ему внутренности. Рвота подступила к горлу. И прежде чем он успел справиться с собой, все, что он съел: яйцо, молоко, чай — все оказалось на тарелке.

— Сынок! — Она испуганно отшатнулась. — Что с тобой?..

— Прости, мама, — пробормотал он сквозь слезы, которые на этот раз выступили просто от физической слабости и изнеможения.

— Мальчик мой, это я виновата, я не ожидала... неужели на тебя такое впечатление?.. — Она обтерла его чистой салфеткой, нажала кнопку звонка. — Маленькому Лорду стало дурно. Будьте добры... — Она указала на тарелку. — Это моя вина, — с огорчением пояснила она. — Я прочла в газете о грубых и страшных вещах, о мальчиках...

Но Маленький Лорд ни за что не хотел пропускать школу — нет, только не сегодня.

— Все прошло, м а м а , — сказал он, вставая.

— Мой мужественный мальчик, — с гордостью сказала она. — И все-таки, может быть, это слишком большая нагрузка...

И вдруг ему вспомнилась висевшая у него в детской цветная гравюра, изображавшая адмирала Нельсона. Одноглазый

адмирал, весь в крови, пытался приподняться у подножия мачты, а вокруг неподвижно неслись черные пушечные ядра.

— Не стоит об этом говорить, мама, — решительно сказал он.

Идя к выходу, он остановился неподалеку от стола. На краю его лежала газета. На белоснежной скатерти она казалась грязным клочком бумаги, грубым вторжением в чистоту фарфорового царства, непредусмотренным отголоском мира, который не имел права на существование, когда Маленький Лорд находился у себя дома, где все было так хорошо.

— Нет, мама,— еще раз повторил он. — Все в порядке, я совершенно здоров. Я не хочу пропускать школу из-за такого пустяка.

Это вновь направило ее мысли к тому, к чему хотел сын, — она вспомнила о письме. Она снова взяла в руки конверт и с минуту постояла так, осязая его как источник радости и поддержки в мире, который таким зловещим образом напоминал им о себе.

— Береги же себя, мой мальчик,— сказала она ему в след. — И пока — передай от меня привет фрекен Воллквартс.

Шестнадцать мальчиков сидели вокруг стола в пятом классе частной школы сестер Воллквартс. Все основные учебные дисциплины в школе преподавали сестры Воллквартс, Сигне и Аннета. Фрекен Сигне Воллквартс, преподававшая норвежский и священную историю, сидела во главе стола, с досадой оглядывая светлые и темные мальчишеские головы, стриженные ежики и волнистые челки, мальчишек с грязными обкусанными ногтями и мальчиков, которые аккуратно сложили на столе руки, гладкие, как лайковые перчатки. Сегодня в классе царила та общая рассеянность, которая беспокоила ее больше всего, больше, чем неприготовленные уроки или внезапное упрямство, больше, чем дух противоречия. Хотя, собственно говоря, дух противоречия был ее узкой специальностью.

Ее горестные мысли то и дело возвращались к благовоспитанному мальчику — Вилфреду Сагену. Вилфред никогда не проказничал, был хорошо одет, хорошо воспитан, но склонен все преувеличивать, и от этого даже сама его вежливость казалась дерзкой. Может, все это объяснялось тем, что Вилфред два года занимался с домашними учителями и слишком поздно попал под опеку фрекен Воллквартс.

Она смотрела на золотые локоны, ниспадавшие на белый воротник. Ей уже не раз приходила в голову мысль написать матери Вилфреда, разумно ли позволять мальчику так отличаться от других своим внешним обликом, и она даже советовалась об этом с сестрой. Но потом они сообща решили, что вопрос об ученической прическе не входит в компетенцию пользующегося безупречной репутацией учебного заведения сестер Воллквартс — школы для мальчиков с программой обучения в объеме пяти классов, как это значилось в школьном проспекте. Этот проспект заблаговременно, до начала учебного года, рассылался определенному кругу интеллигентных семей, которых он мог заинтересовать.

В классе было душно. Окно, затененное длинными соломенными жалюзи, было приоткрыто. Но в эту раннюю весеннюю пору самый воздух казался каким-то неживым — теплый, притихший и чуть мгlistый. «Теплый, притихший и чуть мгlistый», — мысленно повторяла фрекен Воллквартс. Точь-в-точь сегодняшняя духовная атмосфера в ее классе.

Пора было перейти к письменной работе, которая даже в старших классах школы фрекен Воллквартс неизменно включала чистописание.

Перья заскрипели по бумаге. Скрипящие перья каллиграфически выводили короткие поучительные сентенции, почерпнутые из прописей Олсена и Ванга. «Здание государства зиждется на законе», — написано было на одной строчке. А на другой: «От разговоров о халве рот сладким не станет (арабская пословица)».

Перья скрипели. Фрекен Воллквартс посмотрела на часы, большие серебряные часы, висевшие на тонкой шейной цепочке и прятавшиеся в кармане ее белой блузки.

— Все заполнили страницу?

Ученики подняли головы — кто настороженно, кто смущенно, кто с облегчением... В настроении всего класса чувствовалась какая-то скрытая оппозиция.

— Кто кончил, поднимите руку!

Маленькие руки в чернильных пятнах потянулись вверх. Только несколько учеников в замешательстве опустили головы и схватились за перья.

— Как, Вилфред, ты не кончил?

— Нет, фрекен Воллквартс, — вежливо ответил он. И она в то же мгновение поняла, что именно эта самоуверенная вежливость больше всего ее раздражает. Никто из учеников не назы-

вал ее по фамилии, а он своей подчеркнутой корректностью как бы ставил ее на место, как бы держал на расстоянии.

— Почему же ты не кончил? — спросила она с необычной запальчивостью. Теперь ученики смотрели на нее с испугом — они уловили непривычные нотки в ее голосе.

— Потому что я не начинал, фрекен Воллквартс, — ответил Вилфред ясным и звонким голосом. Кое-кто из мальчишек прыснул, другие, оцепенев от страха, уставились в тетрадки.

Во время своего обучения в педагогическом училище Сигне Воллквартс из курса педагогики усвоила правило: прежде чем дать волю гневу, надо сосчитать до пяти... Выполнив эту заповедь, она спросила с принужденным дружелюбием:

— Почему же ты не начал? — И, не получив ответа, добавила. — Покази.

Вилфред послушно встал и невозмутимо подошел к учительнице. Он протянул ей тетрадь по чистописанию. На чистой странице сиротливо красовались каллиграфически списанные один раз прописи.

— Но чем же ты, скажи на милость, занимался все это время?

— Думал. — Он ответил без запинки, без тени смущения.

— Думал? Но о чем?

— Я не могу сказать, фрекен Воллквартс. Извините. Я очень сожалею.

Но он не опустил головы, как другие мальчики, когда они в чем-нибудь винулись, и не отвел глаз. И сама форма «сожалею» была непривычна для ее слуха.

— Ничего не понимаю, Вилфред. Ведь ты сидел и писал.

— Я делал вид, будто пишу.

Не притаилась ли в самой глубине этих ясных голубых глаз легкая ироническая улыбка? Не скрывались ли за этой изящно отшлифованной невинностью испорченность и упрямство? Ей трудно было в это поверить. Вообще Вилфред был исполнительный мальчик, отличавшийся сообразительностью и редким умением точно выражать свою мысль. Ее сестра особенно ценила его способности к ботанике и зоологии. Правда, он очень не любил засушивать растения для гербария.

Фрекен Воллквартс овладела собой.

— Идите на перемену. Потом мы займемся священной историей.

Мальчишки шумной гурьбой высыпали из класса, и, как только, спустившись по каменной лестнице вниз, они очути-

лись на посыпанном гравием школьном дворе, обсаженном вековыми липами и обнесенном зеленым штакетником, гул сменился смехом и криками.

...Фрекен Сигне любила эти звуки. Они свидетельствовали о том, что детям весело, они чувствуют себя свободно и в то же время не выходят из границ приличия. Сестры Воллквартс славились своими либеральными педагогическими принципами, согласно которым ученикам разрешалось играть во дворе в вольные игры при условии, чтобы игры не переходили в драку. Учительница из-за жалюзи поглядела в окно и тайком стала наблюдать за Вилфредом: мальчик стоял под липой. Ее вдруг поразило его сходство с одним из рафаэлевских ангелов: правильный, мягко очерченный профиль, слишком длинные загнутые ресницы, очень темные по сравнению со светлыми локонами, горделивая и грациозная осанка. Во всем его облике было что-то неземное, и однако... Она не знает, в чем тут дело, эта порода ей незнакома. Ни следа угодливости, просто воспитанный, исполнительный мальчик, хотя его нельзя назвать по-настоящему послушным. И однако, под этой изысканной оболочкой скрывается почти что грубость...

Ей никак не удавалось отчетливо сформулировать свою мысль, больше того — ей не хотелось мириться с тем, что поведение Вилфреда Сагена выходит за рамки ее жизненного опыта и воображения.

А что, если написать письмо фру Саген? Однажды она ее видела на каком-то концерте. Та была с Вилфредом, со своей сестрой и зятем. На них обратила внимание подруга фрекен Сигне, и все из-за этого зятя, старого щеголя, насколько она могла разглядеть, в том французском стиле, который в Христиании считается светским, краснбая и болтуна. Она еще подумала тогда: как странно, есть какое-то сходство, вернее, не сходство, а какое-то духовное родство между этим пожилым господином и маленьким Вилфредом. И она вспоминает, теперь почти со стыдом, как она поспешила объяснить подруге, что знакома с этими людьми: юный ангелочек — ее ученик, причем один из лучших!

Притаившаяся у окна за жалюзи фрекен Сигне вдруг почувствовала себя одинокой. Одинокой в мире Воллквартсов и в том мире, в который она никогда не была вхожа, который даже презирала, но к которому тянулось все ее существо. Профессор Воллквартс был ученым-дарвинистом, человеком радикальных взглядов, он имел возможность подготовить своих дочерей

для общения с самым избранным обществом. Возможность духовную, но не экономическую. Он оставил им бесценное наследство — прекрасное образование. И ничего другого. Сестры вступили на педагогическое поприще с покорностью, которая с годами превратилась в тихую радость...

Фрекен Сигне вышла на лестницу и стала звонить в медный колокольчик. Игры в ту же минуту прекратились. Она обратила внимание, что Вилфред не участвовал в них. Он по-прежнему стоял под большой липой, рассеянно и с иронией глядя на возню соучеников. Зато в отличие от остальных детей он не сразу отозвался на звонок. Он медленно обернулся лицом к лестнице, как человек, который чувствует, что за ним наблюдают, потом неторопливо поднялся вверх. Проходя мимо учительницы, он вежливо поклонился. В ее памяти вдруг отчетливо всплыла одна из заповедей педагогического училища: никогда не выделять одного ученика из всех, придираясь к нему или проявляя чрезмерное внимание.

Урок шел своим чередом: кто-то не приготовил домашнего задания, кто-то вызвал смех неправильным толкованием текста, но такие досадные мелочи неотделимы от будней учительницы.

Сигне Воллквартс это понимала. Она относилась весьма снисходительно к тому, что ученики путаются, излагая историю дочери Иаира или жертвоприношения Авраама. Сама она отнюдь не была сторонницей популяризации этих сложных тем в том виде, в каком они подавались Бреттевилле Йенсеном и Свенном Свенсеном в их переложении Ветхого и Нового завета. Но поскольку эти вопросы входят в программу по священной истории... Учебное заведение сестер Воллквартс по праву гордится тем, что выпускает учеников, отлично подготовленных для продолжения образования в средней школе.

На сегодняшнем уроке шел опрос. Ученики отвечали один за другим. Дошла очередь до благовещения, до щекоотливого момента с появлением архангела Гавриила. Фрекен Сигне невольно отыскала взглядом Вилфреда. Вот кто может тактично ответить на вопрос.

— Итак, он сказал Марии: «Я архангел Гавриил...

— ...посланец божий».

— Правильно. А дальше?

— А дальше они бросили его на растерзание львам.

Она в упор посмотрела на ученика, чтобы понять, нет ли в ответе злого умысла.

— Вилфред, это произошло с другим.

Вилфред не отвел глаз.

— А я думал, это было с архангелом Гавриилом.

— Это был Даниил. Пророк Даниил. Его бросили на растерзание львам.

— Фрекен, — возбужденно сказал один из мальчиков, поднимая грязную руку. — А в нашей Библии с картинками написано, что они бросили его в пропасть ко львам.

— Не в пропасть, а в пропасть. — Фрекен Воллквартс нервно теребила серебряную цепочку от часов.

— Да, фрекен, но разве можно бросить кого-нибудь в пропасть?

На нее уставились любопытные, лукавые глаза. Она хотела было растолковать детям, что существительное «пропасть» и глагол «пропасть» — это вовсе не одно и то же.

— И под картинкой так написано.

— Под рисунком Доре, — пояснил Вилфред.

Фрекен Воллквартс сама не могла бы объяснить причину внезапно охватившего ее гнева.

— Вилфред, — сказала она, — это к делу не относится. На картинке, о которой вы говорите, изображен пророк Даниил, она нарисована французским художником Гюставом Доре — родился в тысяча восемьсот тридцать третьем, умер в тысяча восемьсот восемьдесят третьем году. Но она не имеет никакого отношения к архангелу Гавриилу.

Теперь она видела его лицо прямо перед собой. И ей казалось, что оно на ее глазах преобразается в другое лицо, в лицо с картины, виденной ею где-то, не то в мюнхенской Пинакотеке, не то в галерее Ватикана...

Вилфред сказал громко, без малейшего смущения:

— Я ошибся. Извините меня, пожалуйста, фрекен Воллквартс.

Продолжая опрашивать учеников, она думала: «Я должна написать письмо, пусть это неприятно, но я должна. Эти люди слишком высокомерны». Все ее незлобивое существо было охвачено чувством протеста, ей уже давно не приходилось испытывать ничего подобного. Она сама подумала с ужасом: «Неужели это из-за того, что они богаты?»

Дверь из соседнего класса отворилась. На пороге стояла фрекен Аннета Воллквартс. Она сделала несколько шагов к сестре.

— Извини, Сигне, — сказала она. — Мне нужен кто-нибудь из учеников твоего класса — твоего пятого класса, — чтобы рас-

сказать моим пятиклассникам об отряде позвоночных млекопитающих. — Фрекен Аннета с предательской улыбкой покосилась на открытую дверь: она с умыслом говорила, не понижая голоса. — Можно мне одолжить на полчаса твоего Вилфреда?

Вилфред поднялся, скромно поглядывая на фрекен Сигне.

— Если фрекен Воллквартс позволит, — он сделал еле заметное движение рукой, — я с большим удовольствием.

Мирная школа напоминала сейчас готовую взорваться бомбу. Даже в расположенных за стеной младших классах, где занятия вела помощница сестер Воллквартс, на несколько мгновений умолкло мерное чтение, как будто там через стену был получен какой-то сигнал. Весь первый этаж мирного учебного заведения словно подменили. Фрекен Сигне уловила это и невольно подумала, что бывают дни, когда господь бог отворачивается от ее питомцев. Она рассеянно слушала учеников, повторявших по нескольку раз одни и те же ответы, она была занята своими мыслями, причем думала теперь с откровенным злорадством: «Я напишу письмо и не стану показывать его сестре». Мысленно она уже составляла письмо. Ее долг — сообщить матери о том, что носится в воздухе.

Но это был один из тех дней, когда все мысли передаются сквозь стены, когда особые струны улавливают их и воплощают в слова. Стоя у доски в соседнем пятом классе, Вилфред уверенно давал пояснения к висящей рядом с доской таблице, а сам думал: «Она напишет домой, я знаю. Она напишет сегодня же вечером и опустит письмо на углу Лёвеншолсгате и Фрогнервей».

Он думал об этом с тем внутренним спокойствием, в котором уже заложена решимость. Он привык к тому, что мысли передаются сквозь стену, это случалось и дома. Они с матерью умели угадывать. Надо только уловить подходящий момент. Ты чувствуешь, что этот момент настал, по собственной обостренной, настороженной восприимчивости; Вилфред привык замечать в себе это состояние. Настороженность рождала потом спокойствие. И вот теперь, отделенный стеной от фрекен Сигне, он чувствовал, ничуть этому не удивляясь: она напишет домой. И он испытывал блаженное торжество при мысли о том, что они не знают, что можно знать то, что знает он. Это ограждало его одиночество. Он знал: письмо она напишет сегодня вечером. Он самодовольно улыбался таблице отряда позвоночных и спокойно встречал ненавидящие взгляды маль-

чишек, униженных демонстрацией его заведомого превосходства.

То же самое чувство приятного спокойствия он испытывал вечером, сидя в комнате матери. Она перелистывала «Дивохо», он читал в еженедельнике «Шиллингс магасин» о физиологии ангелов. До этого он на мгновение заглянул в просторную голубую кухню и с испугом увидел, что горничная Лилли приводит в порядок его новое серое пальто. На плите грелись два утюга. Он быстро захлопнул кухонную дверь, предоставив челяди продолжать свои разговоры. Он только успел вежливо кивнуть мадам Фрисаксен, которая приехала в гости к служанкам и пила кофе на краешке кухонного стола вместе с кухаркой Олеанной.

— Не пойму,— говорила Лилли, — и где это он ухитрился так вывозиться, неужто на Бюгдэ? Видно, елозил на животе, листья собирал. Даже дыры протер.

Сидя на табуретке рядом с мадам Фрисаксен, Олеанна пересказывала печальные новости, вычитанные ею из газеты, которую она выписывала для себя лично, — «Христиания нюхед от авертисментс блад».

— Беда с этими оборванцами из Грюнерлокке, — говорила она мадам Фрисаксен. — Теперь они все валят на какого-то чужого парня. Будто пришел откуда-то со стороны. А примета всего одна — пакет с завтраком. Там какие-то доски лежали, он из кармана фонарь вынул, а пакет возьми и упади. А в нем бутерброды — один с лососиной, а другие два с сыром. В газетах так и написано.

Лилли подняла голову от пальто. Она промолчала. Но мысли лихорадочно завертелись в ее мозгу, и ей вдруг стало страшно.

Она промолчала и на другой день, когда раздался звонок почтальона и баловень дома, опередив ее, открыл дверь — как видно, он стоял в холле и увидел почтальона из окна.

— Тут только для мамы, — сказал он, быстро перебрав письма, потом бросил на нее просительный взгляд и совершенно другим тоном добавил: — Отчего это Лилли с утра не в духе, неужели сердится на своего Маленького Лорда?

Лилли вздернула подбородок и вышла.

Ей было досадно, что она упустила почтальона.

Она не видела, что Вилфред сунул в карман одно из писем и, напевая, понес остальные матери.

Маленький Лорд уверенной рукой вскрыл конверт. Он сидел на краю незастеленной кровати. Читая письмо без малейших угрызений совести, он пытался почувствовать то, что испытала бы на его месте при этом чтении мать. Не его мать, а любая мать вообще. Эксперимент вызывал у него приятное щекочущее чувство, словно он качается на зыбком облаке в пространстве, наполненном прозрачным светом, в лучах которого окружающие предметы начинают казаться опасными.

Фру Сусанне Саген

Я считаю своим долгом написать Вам несколько слов по поводу Вашего сына Вилфреда. Его поведение в последнее время внушает глубокую тревогу мне и моей сестре.

Вам, как и мне, конечно, известно, что способности Вашего сына выше всяких похвал. Он во многих отношениях гораздо более развит, чем его соученики. Впрочем, он и старше большинства из них на год или даже на два.

Но зачастую поведение Вашего сына настолько отличается от поведения его товарищей, что, несмотря на весь наш педагогический опыт, Вилфред просто ставит нас в тупик. По-видимому, он не совсем понимает, как ученику следует вести себя в школе. Как раз сегодня возник очередной инцидент, когда он держал себя неподобающим для ученика образом. Пусть лучше Вилфред сам расскажет Вам, что произошло. Впрочем, сегодняшний инцидент отнюдь не случайность. Скорее, в нем проявилась скрытая оппозиция против школьной дисциплины, а может быть, и против школы как таковой. Извините меня, что я прибегаю к Вашей помощи, но я самым настоящим образом прошу Вас обратить внимание на эти недоразумения. Мы с сестрой будем искренне рады, если в результате Вашего разговора с сыном его поведение в школе изменится к лучшему.

Искренне уважающая Вас

Сигне Воллквартс

Маленький Лорд осторожно поднес к лицу листок простой линованной бумаги; на него повеяло запахом школы. Радостное предвкушение недозволенного затрепетало в нем, наполнило

комнату, преображая ее. С портрета на стене отец с черной бородкой над высоким форменным воротничком смотрел равнодушно, безучастно, взглядом в одно и то же время добрым и строгим. Вилфред бесшумно подкрался к двери, запер ее, сложил в стопки разбросанные по столу книги, вынул ручку из пенала, при этом все время настроженно прислушиваясь к звукам в доме.

Фрекен Сигне Волквартс

Я с большим огорчением прочитала Ваше письмо, касающееся моего сына Вилфреда.

Заверяю Вас, что не премину воспользоваться Вашим любезным советом и приложу все усилия, чтобы добиться изменения его поведения в школе.

Очень прошу Вас до поры до времени сохранить нашу переписку в тайне от моего сына и от кого бы то ни было другого.

С искренней признательностью

Ваша Сусанна Саген

Опустив письмо в почтовый ящик, Маленький Лорд с легким сердцем двинулся дальше по улице. Вечера становились заметно светлее. Это всегда наполняло его легкостью и радостью, точно в ногах начинала звучать музыка. Написав это письмо, сделав этот маленький прыжок — прыжок совсем маленький, но такой, что уж назад хода нет и никакие объяснения теперь ему не помогут, — Вилфред как бы поставил под удар им самим установленный порядок. Но именно этого он и хотел — он сделал то, что надо было сделать.

Улицы вкусно пахли свежей пылью, осевшей после дождя. Все вокруг, казалось, излучало радость, стремилось радовать именно его, потому что он намеренно вступил на опасную дорожку. А теперь Вилфред решил навестить своего друга Андреаса, тот жил на Фрогнервей, в одном из доходных домов почти у самого парка.

В доме Андреаса стояло пианино — унылая черная коробка. Однажды хозяева попросили Вилфреда сыграть — говорят, он прекрасно играет. Он опустил вниз вертящийся табурет, который наверняка использовался для каких-то других целей, и сыграл мазурку Шопена на расстроенном инструменте, который до того надрывал душу, что Вилфред вдвойне на-

слаждался этой невысказанной сценой. Отец, мать Андреаса и два его брата благоговейно слушали, а потом мать Андреаса, поднявшись, сказала: — Инструмент немного расстроен. У нас никто не играет... — А Вилфред ответил, что у пианино прекрасный звук, разве что при случае можно подтянуть некоторые струны... И ее глаза потемнели от благодарности, потому что на нее повеяло дыханием того мира, где принято лгать из вежливости.

По дороге Вилфред забавлялся тем, что заглядывал в окна первых этажей. Он видел там мужчин без пиджаков, которые читали за обеденным столом при свете керосиновой лампы, отбрасывающей унылый свет на стол и на читающего человека. Кое-где он видел детей, на цыпочках крадущихся по комнате, или кончик листа пальмы-латании, прячущейся в углу. Он знал, что склонившийся над столом читающий человек — это *отец*.

Это из-за него ходили на цыпочках дети. А строгие мужчины, взирающие с фотографий на стенах в рамке света, отбрасываемой висячей лампой, — это отцы отцов. Они красовались на стенах, вызывая к продолжению неукоснительной строгости.

Вилфред упивался безмятежной радостью при мысли о том, что у него нет отца. Он чувствовал нечто вроде благодарности к матери: ведь это она устроила так, что их только двое. Старая фотография отца на столике с трубками в курительной комнате говорила ему еще меньше, чем портрет маслом, висевший в детской. Короткая борода над форменным воротничком еще в какой-то мере была признаком строгости, которую отец хотел на себя напустить. Но не было ли в этом портрете чего-то еще, чего-то прямо противоположного? Эта мысль не раз мелькала у Вилфреда, когда он задумывался об отце, но всякий раз он забывал посмотреть на портрет и проверить свое подозрение, даже избегал этого. Он предпочитал исподтишка подглядывать в окна на чужих отцов и на чужие портреты на строгих стенах. Наверное, ежедневное пребывание в доме этих мужчин влечет за собой какие-то роковые последствия.

Для Маленького Лорда воспоминание об отце сводилось к легкому облачку сигарного дыма в холле по утрам. Это был приятный ненавязчивый запах, который днем становился слабее. А потом вообще рассеялся, как рассеялось воспоминание об отце. Так отец и сохранится навсегда в его памяти как ароматное облачко, мимолетное и ни к чему не обязывающее.

И сын будет думать о нем с благодарностью за то, что облачко рассеялось, а не нависает над ним угрозой возможного возвращения и катастрофы.

Этим весенним днем Вилфред брел по длинной печальной улице, испытывая ленивое блаженство. Он любил эти грустные улицы, они приводили его в хорошее настроение. В их тоскливой протяженности было что-то, что вызывало в нем радостный отклик, развлекало гораздо больше, чем общепринятые развлечения вроде цирка.

Теперь он знал, почему ему пришлось в голову навестить Андреаса. Он сделает вид, будто хочет узнать, что задано на завтра по географии, но на самом деле он хочет украдкой поглядеть на отца Андреаса. Тот любил в послеобеденное время сидеть в столовой в качалке темного дерева. Столовая была их единственной общей комнатой — когда мальчики туда входили, отец делал веселое лицо, прищуривал один глаз и пощипывал жидкие усики, кончики которых то и дело отвисали книзу. Потом он спрашивал, как поживает Вилфред, здоровы ли его родные. И тут в доме Андреаса становилось вдруг нестерпимо грустно. Вот этим-то мгновенным ощущением и хотелось сегодня насладиться Маленькому Лорду, а потом ему предстоит обратный путь в свой счастливый, богатый дом. Затхлый запах непроветренной столовой еще долго будет преследовать его, напоминая обо всем неприятном, от чего он избавлен в жизни. Это приведет его в чудесное настроение, и он совершенно забудет о том, что ему могут грозить какие-то неприятности.

Сами запахи в подъезде на Фрогнервей были полны для него необъяснимой привлекательности. Здесь пахло не бедностью, как у дверей на Грюнерлокке, где он вел свою тайную жизнь. Здесь пахло *скукой*. Он с наслаждением смаковал самое это слово. Входные двери с матовыми стеклами, на каждой с внутренней стороны серые занавески на медных прутьях, а снаружи продолговатые медные таблички со следами постоянной чистки вокруг фамилий, выгравированных наклонным шрифтом, очевидно для красоты, — все это излучало скуку, которая привлекала Вилфреда, потому что от нее в любую минуту можно было спастись бегством. И в этот раз, как много раз прежде, он не верил всерьез, что позвонит к Андреасу. Страх перед всем этим чуждым миром одолеет его прежде, чем он решится позвонить, И вот он уже перед дверью, уже позвонил... Он стоял перед входной дверью, впившись глазами

в рисунок на серых занавесках с внутренней стороны. Раздались шаркающие шаги по длинному коридору, где в стены вбиты крюки, на которых в вечном полумраке безжизненно повисли пальто.

Он все еще мог пуститься наутек. Однажды он так и сделал: в смятении помчался вверх по лестнице, а тем временем в дверях появилась нечесаная старуха и с недоумением огляделась вокруг. Потом она в своих шлепанцах заковыляла по площадке и стала вглядываться вниз, в пролет лестницы, в точности как он рассчитывал. А он в полной безопасности стоял у перил этажом выше и наблюдал за ней, пока женщина, что-то бормоча, снова не исчезла за дверью.

Но когда он в тот раз оказался на улице, ему стало немного жаль старуху в войлочных туфлях.

И теперь Маленький Лорд стоял и слушал, как шаги приближаются по коридору. Та же самая старуха — кажется, ее зовут Мария — выглянула украдкой в щелку. На дверь была накинута цепочка. Вилфред снял шапку и низко поклонился.

— Здравствуйте, Мария. Извините, что я вас побеспокоил. Я только хотел узнать, дома ли Андреас?

И вдруг лицо, на которое он смотрел, сразу помолодело. Оно расплылось в открытой улыбке, такой детской, что морщины противоречили его выражению, точно на портрете Франса Хальса, который висел у них дома в курительной.

— Господи, да ведь это наш барчук пришел! — радостно сказала старуха и на мгновение притворила дверь, чтобы снять цепочку. («Уж такой вежливый этот Вилфред, фру, ну ни одному из приятелей Андреаса за ним не угнаться».) — Дома, дома, Андреас уроки делает, милости просим, заходите.

В комнате Андреаса у Маленького Лорда от любопытства захватило дух. Братья жили здесь втроем, все поделив поровну: книги, инструменты, картинки, вырезанные из журналов и книг. Один из братьев Андреаса набивал чучела птиц. Войдя в комнату, Вилфред сразу же почувствовал острый запах формалина.

— Противно воняет? — спросил Андреас. — Я уже не чувствую, принимаюсь.

— Хорошо! — ответил Вилфред, глубоко втянув носом воздух.

— Оскар у нас совсем ополоумел. Продает теперь чучела в музей... — Из-за круглых в стальной оправе очков Андреас посмотрел на Вилфреда со смесью гордости, смущения и энтузи-

азма. Из всех своих одноклассников Вилфред больше всех дружил с Андреасом. Это был преданный, немного слишком робкий оруженосец. Он весь искрился добротой.

Мальчики быстро справились с заданием по географии. Теперь они сидели друг против друга за ветхим столом. На несколько секунд воцарилось молчание, как бывает, когда один пытается понять, что у другого на уме.

Вилфреду стало стыдно. Но он не собирался отказываться от своего намерения.

— А что твоя мать... она еще в больнице?

— Вчера вернулась, но она лежит.

— Надо бы поздороваться с твоим отцом...

Мальчики помолчали, в смущении глядя друг на друга. Вилфред знал, что думает Андреас: «Почему он вечно хочет «поздороваться» с моим отцом?»

— Поздороваться или, вернее, попрощаться...

— Он сейчас спит в столовой после обеда.

— А мы только заглянем, мы на цыпочках.

И опять неизменная церемония: двое мальчишек на цыпочках крадутся по маленькой буфетной, где стоит покрытый клеенкой стол и высокий светло-голубой буфет со стеклянными створками, из-за которых выглядывают несимметрично расположенные остатки сервиза, сохранившегося от старых времен... Потом тихо открывается дверь в столовую.

— Спит...

И снова — в который раз! — та же картина: в старой качалке в углу под пальмой сидит мужчина, вяло свесив левую руку над упавшей на пол газетой. Склоненная голова уперлась подбородком в грязноватую крахмальную рубашку, а усы, которым полагается быть лихо подкрученными кверху, свисают чуть ли не до подбородка, ушедшего в воротник. Над спящим до половины скрытая пожелтевшими на концах пальмовыми листьями фотография в рамке — наверное, *его* отец.

— Пошли...

Шепот за спиной спящего. Надо идти, нельзя его будить. Но Вилфред не слушает, он *должен* постоять еще несколько минут, впитать в себя эту картину. На стареньком трехномом столике, покрытом белой скатертью, белая чайная чашка со стершейся позолотой, на тарелке окурки сигареты, аккуратно потушенной, прежде чем куривший заснул; на столе не прибрано («Пусть, вечером все равно ужинать»), а над ним висячая медная лампа, в настоящую минуту она не горит, но неот-

делимое от нее уныние пропитало и гнутые канделябры, и тиниственный изгиб медного резервуара.

Толчок в спину. Тихий шепот: — Пошли!

По телу Вилфреда пробежал сладкий и тревожный холодок — предвестник страха: вот как *бывает* в жизни, вот как может быть. Уступая настойчивым толчкам в спину, он прикрыл наконец дверь и сказал:

— Я просто хотел поздороваться с твоим отцом, но я вижу, он спит.

Он посмотрел в жалкое лицо друга. За очками читалась немая мольба: «Не думай, что в этом вся наша жизнь».

— Мне очень нравится у вас, — сказал Вилфред. — У вас как-то уютно.

Настороженный взгляд — и в ответ детский, открытый взгляд Маленького Лорда, подтверждающий его слова. И вот уже и очки, и взгляд Андреаса выражают одно — счастье.

— Правда, у нас очень здорово, — сказал Андреас.

Они вместе вышли на улицу. Уже почти совсем стемнело.

— Заходи как-нибудь ко мне, — сказал Вилфред. Теперь это был Вилфред. Глаза были уже не детскими и не добрыми.

— Ладно, — сияя, воскликнул Андреас. — Послушай, Вилфред, — продолжал он, — чего я тебе скажу. Наши ребята тебя боятся, но это все ерунда...

Вилфред приподнял руку.

Длинная улица с одинокими островками фонарей уходила вниз, точно ущелье. Тротуар из утрамбованной земли казался черным и холодным.

— Мой дядя Рене говорит: «Если ты в самом деле хочешь сказать что-то важное, не торопись!»

— Плевал я на твоего дядю. Ты мне нравишься. Вот и все, что я хотел сказать.

Неужели это Вилфред? При свете фонаря Андреас увидел белую тонкую руку. Она поднималась над ним, рядом с ним, точно для какого-то тайного знака. И потом она ударила — совсем легко — по щеке Андреаса. Не то ласка, не то наказание.

Потом он увидел спину друга, удаляющегося по улице. Тяжелая злость против воли вспыхнула в Андреасе. И против воли он крикнул приятелю вдогонку: — Маленький Лорд! — не то насмешка, не то ласковое прозвище.

Приятель не обернулся. Вот он выплыл в свете ближайшего фонаря. Но не обернулся. Андреас подумал: «Если он сейчас обернется...» Но тот так и не обернулся. Слышал или нет?

— Маленький Лорд! — крикнул Андреас громче. Но приятель уже скрылся вдали.

Андреас послюнил пальцы и вытер щеку. Потом сплюнул. Стекла очков вдруг запотели, он сорвал очки. Потом, сжав кулаки, обернулся лицом к входной двери, у которой они только что стояли вдвоем. Стояли всего несколько минут назад. Он снова сжал кулаки и дважды ударил себя по щеке. Потом, снова надев очки, провел рукой по лицу и, тяжело ступая, стал подниматься по крутой лестнице вверх, на третий этаж.

А Вилфред быстрыми шагами шел вниз по Фрогнервей. Под каждым фонарем, отбрасывавшим на тротуар четырехугольник света, он соразмерял шаги так, чтобы не наступить на границу света и тени.

Он делал это машинально и в то же время сознательно. Он физически ощутил ту минуту, когда его друг перестал смотреть ему вслед. Он всем своим нутром чувствовал, что на этот раз не совершил никакого промаха, не пересолил, а просто довел все до той границы, до которой хотел. Он совершил чудовищные поступки, но именно те, какие стремился совершить.

Он вовсе не хотел обидеть Андреаса, никоим образом. Он хотел сделать его своим другом, не посвящая в этот сан, одарить его чем-то — подарком, милостыней, — но не пускаться с ним в откровенность. Он повидал его отца. Насладился запахом формалина в комнате братьев. Теперь он пошлет цветы матери Андреаса. Он хотел в полной мере вкусить радостную возможность превратить сострадание в капитал. Он знал, что прислуга Мария, сошедшая со старинной картины, чтобы отпирать дверь и накрывать на стол, поддержит его во всех его добрых деяниях.

Но он знал, что, совершив все эти добрые дела, сразу пресытится собственным удовлетворением.

— Разрази меня гром, дядя Мартин! — сказал он громким голосом. — Разрази меня гром, дядя Мартин. Ты преклоняешься перед Наполеоном. Презираешь Талейрана...

Он не вкладывал в эти тирады никакого смысла. Просто произносил их, подпрыгивая на ходу. Так, вприпрыжку, в радужном настроении, он двигался под березками по улице Элисенбергвей. Он продолжал скакать и дальше, теперь уже молча, пока не увидел почтовый ящик. Маленький Лорд скорчил ему рожу.

Дома он позвонил условленным образом: один короткий звонок, один длинный. Он услышал шаги Лилли, потом матери — бег к двери наперегонки. Мать опоздала, Лилли опередила ее.

Он сразу отметил резкий переход в настроении матери: сначала радость, потому что он пришел, и тут же напускная строгость — почему пришел так поздно.

— Спасибо, Лилли. Прости, мама. Знаешь, я был у Андреаса. Его мать вернулась из больницы. Она так хотела меня видеть.

— Мальчик мой, мой добрый мальчик.

Быстрый взгляд Лилли, которая уходит к двери, ведущей в коридор.

— Ах да, Лилли, спасибо, тебе пришлось повозиться с моим пальто, я перелезал через забор на Бюгдё.

Взгляд Лилли, подобревший и в то же время испуганный, встретился с его взглядом.

По дороге в гостиную, проходя через вторую дверь, он сказал:

— Знаешь, мама, это какое-то особое чувство, когда приходишь домой, после того как побывал у приятеля... Понимаешь, сама атмосфера, что ли... Это ведь так называется, правда?

Но когда он в одной рубашке стоял под портретом отца, по его спине вдруг пробежал холодок. Вся комната поплыла перед глазами. Он забрался на стул рядом с кроватью и снял картину с гвоздя. Потом положил ее на стул лицом вниз.

Ему не спалось. Не потому, что он чего-то боялся. Просто ему не спалось, оттого что все было так, как было.

Он зажег ночник и босиком пошел через комнату к столу. Выдвинув правый ящик, он достал оттуда семейный альбом с фотографиями. Он стал перелистывать плотные страницы, пока не дошел до фотографии, где был изображен усатый мужчина, сидящий с ребенком на руках. Под фотографией было написано: «Отец и Маленький Лорд».

Он взял со стола мягкий желтый карандаш и пририсовал мужчине короткую бородку. Потом покосился на портрет на стуле, повернутый вверх серо-коричневым холстом. Не поворачивая портрета, он видел его еще отчетливей.

«Отец и сын», — написал он в альбоме под фотографией почерком матери.

Неужели три недели, от четверга до четверга, могут тянуться так долго?

Маленький Лорд иногда целыми днями томился в болезненном напряжении, ожидая музыкального вечера у дяди Рене. Однажды там присутствовала Боргхилд Лангорд. Услышав, как Вилфред играет какую-то пьеску Глюка, она сказала:

— Просто поразительно, как этот мальчик все понимает. Предполагалось, что мальчик этого слышать не должен. А может, наоборот?

На эти вечера часто приходили те, чьи портреты печатались в «Моргенбладет». Каждый третий четверг... Но неужели три недели, от четверга до четверга, могут тянуться так долго? Счет времени для Маленького Лорда всегда был загадкой. Он измерял время четвергами. И еще было важно отдалять то, что таило угрозу. Четверги помогали и тут.

Да, все, что таит угрозу, надо стараться держать в отдалении. Спаси меня, дорогой господь бог, дорогая мама, дорогой кто угодно и что угодно, только спаси меня!

Или наоборот: не спасай меня — пусть это случится! Пусть грянет гром. Пусть полиция явится в музыкальную гостиную дяди Рене, где стоит мебель с позолоченными ножками. Пусть полиция явится в гостиную — суровые мужчины с раздвоенными бородами, в мундирах и касках.

— Есть здесь некий Вилфред? Мы пришли арестовать его. Он видел эту сцену. Видел во всех подробностях. Видел, как гости разевают рты, приподнимаются со стульев, чувствовал взгляд каждого из них, точно стальное лезвие в своем теле, и как он сам встает с маленького табурета у рояля и говорит:

— Вилфред — это я. Не позволите ли вы мне сначала доиграть Моцарта?

В музыкальной гостиной дяди Рене был высокий потолок и белые стены. В музыкальной гостиной вообще все было окрашено в белый и золотой цвет. Когда-то Маленький Лорд думал, что это рай, самый настоящий. Но даже и потом он всегда считал, что в обители господа бога должна быть похожая обстановка.

В салоне дяди Рене не было никаких пальм, никаких картин на стенах, только бюст Бетховена на белом комодe с ин-

крустированными пузатыми ящиками. У комода были гнутые золоченые ножки, как у всей остальной мебели. Ножки, казалось, выгнулись от избытка блаженства да так и застыли навсегда в самую сладкую минуту. Ро-ко-ко! В этом слове слышалось воркованье голубей, звук, полный неги, хорошего настроения, праздничного подъема, который охватывал каждого, кто вступал в этот зал.

У дяди Рене не подавали обильного угощения. Только чай с тостами в перерыве. До перерыва обычно слушали Баха, Брамса и прочих композиторов на «Б». Зато после наступали волнующие мгновения Дебюсси, Цезаря Франка или прозрачных, чуть однообразных сонат неизвестного автора, написанных, как знали все, самим дядей Рене. Но это была тайна, и горе тому, кто обмолвится об этом... На вечера приходили трое штатных музыкантов из оркестра Национального театра: альт, скрипка и виолончель. За рояль садился кто-нибудь из гостей. Дядя Рене — никогда. Он играл на скрипке или флейте. Маленький Лорд знал, что музыканты иногда посмеивались над дядей, хотя он играл очень хорошо. Ему казалось, что дядя и сам это знает. Но у дяди Рене было великолепное свойство — ни на что не обращать внимания. Он был такой, какой он есть.

Однажды на вечер к дяде Рене был приглашен поэт, и Маленький Лорд весь день ходил, робея от ожидания. Он знал взрослых, которые писали музыку, но стихи — никогда. В этом было что-то неестественное. Но когда поэт в перерыве начал читать стихи, оказалось, что это похоже на музыку. У поэта были широкие скулы и пронзительные голубые глаза, которые долго глядели на каждого. И вот когда он читал в перерыве «Гобелен», а потом о девушке по имени Эльвира, которая собирается на бал, Маленький Лорд подумал, что слова — это иногда еще больше, чем музыка, потому что они и музыка, и слова.

А иногда, наоборот, музыка как бы говорила словами; однажды играли сонату Шопена b-moll, и, когда дошли до «Траурного марша», мир разверзся.

В ту пору мать часто читала вслух то, что газеты писали о корабле под названием «Фолгефоннен», который потерпел крушение. И вот, сидя в темном уголке, Маленький Лорд слушал, как музыка рассказывает о волнах, которые захлестнули накренившуюся палубу и со скорбным всплеском поглотили людей. И, сидя в этом уголке, он вдруг понял, что ничто в мире, ничто происходящее на самом деле не может быть таким зна-

чительным, как его воплощение в музыке, ставшей словом.

Слова становились музыкой, музыка словами, но они становились еще и чем-то большим — становились всем. Под сводом, который возводили над ним слова и музыка, вмещалось все, и он чувствовал, что под этим сводом он один и никто не может до него добраться. Пусть придет, кто хочет, — сестры Волл-квартс, полиция, старухи из Грюнерлокке, — никто из них не проникнет под волшебный свод; пришельцы только будут кружить по заколдованному кругу, повинуюсь закону, который правит всем и в конечном итоге приводит все к счастливому концу...

— А вот молодой человек, который хочет сыграть нам Моцарта!

Он должен был играть с «оркестром». И у него впервые сладко заняло сердце, оттого что другие начали, а ему предстоит вступить и с этой минуты как бы перенять главенство у трех взрослых музыкантов, играющих за деньги. Он много раз предвкушал эту сцену, каждый раз замирая от смертельного страха и торжества в предчувствии этой минуты и последующих, когда он как бы одиноко возвысится над всеми, а остальные будут молча внимать ему или, наоборот, его сопровождать.

Но все вышло по-другому. Он мог воображать невесть что, только пока играли другие, тогда он мог улавливать в звуках слова или картины и толковать их по своей прихоти. Но в эту минуту — нет.

Он забыл про капитанский мостик. Он стал частицей арифметической задачи, которую можно разрешить только сообщая. И когда он ударил по клавишам, не он стал ведущим, казалось, даже не он вообще играет. Тут были не другие и он и уж тем более не он и другие — тут были *они*.

Они вместе действовали, вместе отсчитывали такт, повинуюсь законам, которые ни один из них не мог подчинить себе. И Вилфред вышивал узор своего Моцарта по канве, которую он не мог выбирать или обсуждать, его дело было играть, хорошо или плохо. При этом он даже не боялся, что где-нибудь сфальшивит. Он попал под действие незримого закона.

Пальцы повиновались этому закону, но ему повиновалось и что-то в душе Вилфреда, как будто он все время отчетливо сознавал, что совершалось здесь в эту минуту. Впервые в жизни он не порхал где-то под сводом над другими существами. Он был частью инструмента, а тот был частью единства инстру-

ментов, и ожидание одного вызывало отзвук в другом согласно узору, которому не было конца.

И когда они кончили и маленький толстый альтист встал и зааплодировал, а тощий скрипач сгреб руки мальчика в свои и поднес, точно для обозрения, к самому свету канделябров, Вилфред не чувствовал ни усталости, ни радости, ни гордости, а только что его руки, голову, горло переполняет какой-то жаркий трепет, который рвется наружу. Он на ходу чмокнул мать в щеку, вышел из салона и побежал, точно его гнал страх, в уборную и заперся в ней. Потом, дрожа, упал на колени на пол и расплакался. Но когда он поднялся и высморкался, он все-таки не забыл потянуть за фарфоровую ручку и спустить воду, чтобы кто-нибудь услышал шум, тогда они решат, что он пошел в уборную просто по своей надобности. Чувство, пережитое им, он ни с кем не смел делить.

Но самое странное, что шум спускаемой воды, казалось, смыл куда-то Моцарта. А Вилфред остался стоять ожесточенный, холодный и чуть пристыженный.

Никогда прежде с ним не случалось ничего подобного. Никогда больше он не будет играть в присутствии других. Вилфред вдруг почувствовал, что где-то проходит граница между обыденным и подлинно прекрасным, что он ни разу не достиг этой границы и никогда не достигнет. Он не знал, где эта граница проходит, не знал, кто находится по эту, кто по другую ее сторону. Знал только, что сам он никогда не достигнет границы прекрасного. Но он не страдал от этого сознания. Оно принесло ему даже какое-то облегчение.

Вилфред на цыпочках прокрался в прихожую, взял пальто и шотландскую шапочку. Быстро перебросив пальто через руку, чтобы никто не успел выйти и остановить его, он тихонько отпер парадную дверь и, прижимаясь к самым перилам, спустился по лестнице с веранды причудливой старой виллы дяди Рене. Он слышал, что за желтыми занавесками снова раздается музыка. Теперь это был Дебюсси. Когда Вилфред вышел на дорогу, ведущую к городу, флейта дяди, приглушенно выговаривавшая свою жалобу, все еще доносилась до него.

На дороге, обсаженной деревьями, было темно и приятно. Вскоре показались огни городских фонарей. Все было тихо. Было хорошо. Он согрешил против чего-то или кого-то, может быть, против Моцарта. Больше он не повторит этот грех. Он не раскаивается. Но больше он его не повторит.

Но зато другие грехи... Все желания разом нахлынули на него, и, подстегиваемый ими, он побежал вприпрыжку, изнывая от восторга и томления. Мир был полон запретов и полузапретов и того, что было почти дозволено; мир, полный возможностей, лежал перед ним в ожидании. Мир греха, мир грехов. И он радовался ему... Впереди Вилфред увидел высокую красивую женщину, она шла одна. Ему захотелось бросить ее на дорогу, овладеть ею, он ускорил шаги, чтобы догнать ее. Но когда он оказался за ее спиной, решимость его исчезла. Он остановился, наклонился и стал завязывать шнурок, чтобы она снова ушла как можно дальше.

Но он понимал, что мог это сделать, мог, и сладкое болезненное чувство переполняло его при этой мысли.

С пылающими щеками и пересохшим горлом добрался он до городских улиц. Тут он немного успокоился. Но понемногу его снова охватил страх при воспоминании о том, что он натворил, — ведь его могут разоблачить. Он старался прогнать этот страх, вызывая в своем воображении картины всевозможных наслаждений и забываясь в них. Он чувствовал себя еще маленьким и слабым, но зато полным упорства и страстного желания. Он совершит все. Все, что захочет.

Только никогда, ни в чьем присутствии не станет играть Моцарта.

6

Фру Сусанна Саген отложила в сторону «Моргенбладет» и опасливо покосилась на часы, стоявшие под стеклянным колпаком на каминной полке. На круглом столе уже стоял наготове чайный поднос со старинным сервизом из фарфора и серебра. Поджидая брата, она против обыкновения закурила египетскую сигарету.

— Мартин, — спросила она его, когда он позвонил по телефону. — Что за таинственность? Разве мы не можем поболтать за обедом в воскресенье?

Но Мартин стоял на своем. Он хотел поговорить с сестрой, когда Вилфреда не будет дома. Стало быть, он хочет говорить о Маленьком Лорде «на правах крестного отца и опекуна». То, что он назвал его Вилфредом, не предвещало ничего доброго, словно брат задумал отнять у нее ее маленького сыночка.

Когда в дверь позвонили, она не двинулась с места. В эти

последние секунды перед тем, как нарушат ее одиночество, она жадно впитывала в себя все то, чем была напоена атмосфера этих комнат, где она провела большую часть своей сознательной жизни. Эта обстановка олицетворяла ее жизнь, олицетворяла все, что входило для фру Сусанны в понятие жизни, и, почуввав смутную угрозу какой-то частице того, что ее окружало, она ощутила себя львицей, дремлющей в своем логове. А в то, что ее окружало, входил и Маленький Лорд, и равномерное тиканье часов на камине, и запахи дома, и даже его неизменная температура.

Мартин, улыбаясь, вошел в комнату; костюм из серого твида, высокий воротничок, в галстучке крупная жемчужина. «Стало быть, сегодня он преуспевающий делец в английском вкусе», — невольно подумала фру Сусанна. Она была свидетельницей различных периодов в жизни своего энергичного брата. Но какую бы роль он ни играл, какой бы костюм ни носил, в нем всегда чувствовался человек преуспевший, оптимизм которого рядился в разнообразные формулы вроде: «здравый смысл», «практический взгляд на вещи», «понимание реальных возможностей»... Она все это знала наизусть, помнила с детства, которое отнюдь не было таким уж безоблачным, слышала в течение всей своей взрослой жизни, которую многие считали даже чересчур безоблачной.

— Чашку чаю?

— Спасибо. — Он взял со стула, па который собирался сесть, лежавшую на нем развернутую газету, бросил взгляд на ту колонку, которая, судя по всему, привлекла внимание фру Сусанны, и, все так же стоя, стал читать официальным тоном, который должен был выразить его безграничную иронию по отношению к сестре, столь далекой от жизни.

— «Король танцевал первую кадрили со статской советницей фру Линдвиг, визави — адмирал Дауэс и фру Инга Скъелдеруп, первый вальс с супругой землевладельца, госпожой П. Анкер Ред; второй вальс с супругой капитана Л'Оранж, вторую кадрили с мадам Террес Ривас, супругой мексиканского посла, визави — управляющий епархией Блер; третий вальс с фрекен Хагеруп, третью кадрили с супругой члена Верховного суда фру Шеел, визави — председатель муниципалитета Христиании адвокат Хейердал. Первый танец после ужина с супругой землевладельца госпожой Кай Меллер...»

— Сядь. Нехорошо быть таким нетерпимым, — сказала сестра. — Что тут смешного, если женщине хочется прочитать от-

чет о придворном бале. Ты-то знаешь, что было время, когда мы сами...

— А кто сказал, что я смеюсь? — добродушно возразил брат, складывая газету. — Но я готов побиться об заклад, что ты даже не взглянула на последние опубликованные данные о числе погибших на «Титанике».

— То, что ты называешь реальной жизнью, дорогой Мартин, — сказала фру Сусанна, наливая брату чай, — это попросту всякие прискорбные вещи, и ничего больше. Какая мне польза, если я узнаю точно, сколько жертв на этом ужасном корабле, — тысяча или полторы.

— Ты права, совершенно права. Но дело не в этом, а в том, что послужило причиной гибели корабля, то есть погоня за рекордами или за прибылью. Как это вышло, что были посланы заведомо фальшивые сообщения, будто корабль цел и пассажиры невредимы? А все для того, чтобы кое-кто успел обделать свои дела на лондонской и нью-йоркской бирже.

— Ты опять начитался «Сосиал-демократен», — беззаботно возразила она. — Меня даже удивляет, что ты при твоих взглядах так легко поддаешься агитации этих людей, стоит в мире чему-нибудь случиться. Но я думаю, ты не для того в самый разгар работы бросил контору и среди бела дня навестил свою одинокую сестру-вдову, чтобы поболтать с ней о придворном бале или гибели «Титаника»?

Он с некоторым смущением поглядел на гладкое и в каком-то смысле слишком юное лицо сестры, по привычке положил себе в чашку два куска сахара, пытаясь не потерять нить мыслей в этой обстановке, которая, с одной стороны, всегда выбивала у него почву из-под ног, а с другой — отвечала его тяге ко всему приятному.

— Представь, что я как раз хотел поговорить с тобой о чем-то сходном, — заметил он. — Как раз о неприятном мире действительности, который существует *вопреки* приятным иллюзиям. Если говорить напрямик, дорогая, меня беспокоит Вилфред.

— Маленький Лорд? — переспросила она, как бы поправляя брата.

— Да, наш Вилфред, твой Маленький Лорд. Мы все души не чаем в мальчике — ты, его мать, я, его родной дядя, моя жена Валборг, муж тети Шарлотты — Рене... Мне не надо тебе говорить, как все мы привязаны к нему, каждый по-своему... то-то и оно, что каждый по-своему... Так вот, позволь сегодня мне, человеку более практическому...

— Мартин,— сказала она. — Меня раздражает твоя манера делать вид, будто тебя перебивают всякий раз, когда ты не хочешь высказаться до конца.

Он серьезно посмотрел на насмешливое лицо сестры. Кажется, между ними до сих пор сохранились те же отношения, что были когда-то в детстве, та же взаимная привязанность, та же отчужденность, словно их разделяет невидимая черта.

— Высказаться далеко не так просто, — сказал он устало и для подкрепления сил одним духом осушил чашку чая. — Я и сам до конца не уверен в том, что собираюсь тебе сказать, но, если ты согласна меня выслушать... словом... Возьми, например, Рене с его изысканными интересами... В один прекрасный день забавы ради ему взбрело в голову прочитать мальчику целую лекцию о французских импрессионистах... В результате сегодня Вилфред как свои пять пальцев — кстати, очень красивых пальцев — знает всех художников, от Клода Моне до Гогена, включая Ван Гога, Сезанна и этого вашего Анри Матисса, который... — Он смущенно покосился на картину, висевшую над диваном. Странная современная живопись была предметом его мук. А теперь еще в университет допустили этого чудовищного Эдварда Мунка с его мазней. — Пожалуйста, не перебивай меня.

Она невозмутимо, с той же насмешливой улыбкой отставила чашку.

— Ты права, ты меня не перебивала. Это просто дурная привычка... — Он вынул из жилетного кармана шелковый носовой платок и отер им лоб. — Так вот что я хотел сказать. Вы забываете ему голову живописью, музыкой и даже сведениями о возрасте благородных бордоских вин. Как девчонку, заставляете носить локоны, называете его... Я понимаю, это отчасти трогательно и, как говорится, способствует общему развитию... Его тетка Кристина закармливает его конфетами, да и не только конфетами, а всей своей кондитерской особой, которая — извини, но все-таки... словом, не совсем нашего круга. Так вот, я хочу сказать, что в нашей действительности, которая требует от подрастающего поколения трезвого взгляда на вещи, и, поверь мне, все более трезвого, по мере того как общество, в котором мы с тобой ведем столь приятное существование, изменяется, и — еще раз повторяю, поверь мне, — не в нашу пользу... Так вот, в этой действительности вы создаете вокруг мальчика совершенно нереальную атмосферу изнеженности — извини, но, уж раз я начал, я должен высказаться до конца. А дело в том, что все мы его любим, все считаем, что он очаровательный, ода-

ренный мальчик, но каждый из нас, а ведь все мы абсолютно разные люди, любит его, исходя из своих эгоистических, а вовсе не его личных интересов. Право же, так и подмывает спросить: а где же, собственно говоря, сам мальчик, где Вилфред под этой милой, ласковой оболочкой, под этим умением настраиваться на любой лад и прекрасными манерами? Где он, говорю я? *Что* он собой представляет? И главное — к чему он будет пригоден?

Фру Сусанна Саген глядела прямо перед собой. Насмешливая улыбка погасла на ее лице. На мгновение ее охватило чувство собственной неполноценности, как бывало, когда она думала об учительнице своего сына фрекен Воллквартс. Но стоило ей вспомнить о фрекен Воллквартс, как она вспомнила что-то еще, и в глазах ее вспыхнуло молчаливое торжество, которое все сильнее овладевало ею по мере того, как брат продолжал говорить. Глаза ее сияли так, что вопреки своему обыкновению рассуждать пространно, переходя ко все более абстрактным материям, брат осекся.

— Знаешь что,— наконец сказала она, вставая. — Ты заслужил глоток того самого виски, которое твои англосаксы так любят ставить в счет компаньонам, с которыми они вудут дела.

Она спокойно вышла в столовую и вернулась с бутылкой, сифоном и стаканом. Мартин с облегчением посмотрел на принесенные ею предметы, охотно наполнил стакан и тут же отхлебнул половину. Он обратил внимание, что сестра держит в руке еще листок бумаги, обыкновенной почтовой бумаги. После того как он выпил виски, сестра протянула ему листок.

— Прочти, — негромко сказала она. Рука, державшая листок, слегка дрожала.

— «Фру Сусанна Саген... Я пишу Вам эти несколько строк только для того, чтобы уведомить Вас, что Ваш сын Вилфред прекрасно поет...»

Он перечитал текст два раза, чтобы выиграть время. Потом допил свой стакан и прочел письмо еще раз.

— Я рад,— сказал он устало. — Вряд ли тебя надо убеждать, что я от души рад, если мальчик делает успехи в школе и учительница одобряет его поведение.

— Так, может, вовсе не так уж глупо, что его родная мать и еще кое-кто проявляют некоторую заботу и о его... ну, словом, эстетическом воспитании?

Она говорила мягко, не подчеркивая своего торжества. Теперь это было излишне.

Мартин встал, бросил взгляд на свои золотые часы с двойной крышкой — чувствовалось, что у него гора свалилась с плеч. Главное, он выполнил свою миссию. В какой-то мере он потерпел поражение. Ну что ж, тем лучше.

— Дорогая Сусси. — Он наклонился к сестре, коснувшись губами ее щеки. — Не могу тебе сказать, как я счастлив и какой камень упал у меня с души. Спасибо, что ты выслушала мои соображения, которые, признаюсь, в настоящую минуту кажутся мне менее убедительными. С другой стороны, ты сама понимаешь, как крестный отец мальчика и его опекун...

— И как человек практический, — прибавила она с прежней насмешливой улыбкой.

Он помолчал, вновь нахмурившись. Было во всей атмосфере, окружавшей сестру, что-то огорчавшее и раздражавшее его и в то же время вызывавшее его, восхищение.

— Сусанна, — вновь заговорил он серьезным тоном. — Я ни разу не спрашивал тебя об одной вещи... Ведь чаще всего мы встречаемся на людях... и кроме того...

— Я не перебиваю тебя, — заметила она. Она смотрела на него веселым и уверенным взглядом. Письмо учительницы она спрятала обратно в конверт, надписанный аккуратным каллиграфическим почерком. Этот почерк на мгновение привлек взгляд Мартина.

— Если не хочешь, можешь не отвечать, — продолжал он. — Но что, по сути дела, мальчик знает о своем отце?

Она слегка отступила назад, повернулась и подошла к окну. С минуту она постояла так, глядя на Фрогнеркиль, где только что сошел лед и фьорд под лучами теплого апрельского солнца лоснился, как масло.

— Он знает то, что знают все, — спокойно сказала она, возвращаясь к брату. Теперь она говорила серьезно, но без всякой горечи. — Он знает, что его отец был один из благороднейших людей на свете и к тому же человек состоятельный, который всегда исполнял свой долг по отношению к родным и к обществу, и его близкие до сих пор не могут примириться с этой утратой.

Последние слова она произнесла со слезами на глазах, но повелительно и твердо.

— Он помнит его? — понизив голос, спросил Мартин.

— Не знаю. Ведь ему было всего три года...

Брат и сестра стояли теперь совсем рядом. Он слегка потрепал ее по щеке.

— Собственно говоря, я ничего особенного не имел в виду.

Ну ладно, мы поговорили о том, что меня беспокоило. Ты выслушала меня, спасибо. И в то же время ты меня успокоила — отчасти...

Не договорив, он двинулся к выходу, у дверей еще раз взглянул на свои часы, повернулся и спросил:

— Маленький Лорд хоть немного интересуется Оскаром Матиссенем?

Она коротко рассмеялась.

— Боже мой, с чего это вдруг?

— Да как тебе сказать, я просто подумал... А почему бы нет... Ты обратила внимание — он опять выиграл в Давосе все забеги и улучшил свои собственные рекорды в Хамаре и Фрогнере на дистанции пятьсот и тысячу пятьсот метров.

— Ты удивительный человек, Мартин,— сказала она. — Представь, я не обратила внимания. Да и с какой стати мы с Маленьким Лордом будем интересоваться этим Матиссенем?

— Все им интересуются, — сказал он, снова повернувшись к выходу. Теперь он был слегка раздражен. — Все обыкновенные люди. Они рассказывают о нем, называют его Оскаром. Ну ладно, до свиданья, еще раз спасибо. Не надо звать горничную, я сам найду дорогу.

Выйдя на улицу, Мартин завел мотор своей новенькой машины марки «пежо», а потом опустил на сиденье за руль. Он быстро, но осторожно продвигался к центру, то и дело подавая сигналы автомобильным рожком. Пешеходы совершенно беззаботно бродили по мостовой, так что водить современную быстроходную машину по улицам Христиании было далеко не безопасно.

Мартин ехал в сторону улицы Карла Юхана. Его вдруг поразила мысль, насколько устойчив мирок, в котором по-прежнему живут его соотечественники. Они по-прежнему тешат себя приятными мыслями, стараются повыгодней обделать свои дела, и на их лицах нет и следа тех страстей и горестей, которые бросились Мартину в глаза у жителей Берлина, Лейпцига и Парижа, когда нынешней зимой он ездил по делам в эти города. А кто из них, например, принял близко к сердцу здравую статью Б. В. Неррегора в последнем номере «Моргенбладет», где тот утверждал, что, хотя англичане пока еще обладают преимуществом на море, немцы вскоре снова догонят их в производстве страшных военных машин — дредноутов и так назы-

ваемых супердредноутов. По расчетам Неррегора, некоторое равновесие установится года через два, то есть к тому времени, когда будет полностью закончено строительство Кильского канала. Англичанам было бы выгодно, писал он, начать войну сейчас же и не ждать 1914 года, если уж политики считают войну неизбежной, а на это указывает многое...

Но ни одно из подобных соображений, казалось, не печалит жителей этого сытого города, где, впрочем, полно людей, которых никак нельзя назвать сытыми, особенно в восточных районах. Но что знает об этом, например, его сестра Сусанна? Подзревает ли она, что эти восточные районы вообще существуют? А Маленький Лорд? Да он, наверное, даже не догадывается, что в двух шагах от него есть мальчишки, которые живут совсем другой жизнью: они не едят на камчатной скатерти и им не вешают два раза в неделю на спинку стула аккуратно сложенное чистое белье...

Он попытался вспомнить о письме, которое ему показала сестра. Но теперь мысль о нем наталкивалась на смутное ощущение, что здесь что-то неладно.

На Стортингсгате ему пришлось сбавить скорость из-за множества пешеходов, а на Принсенгате возле Атенеума машина вообще поползла черепашим шагом. Мартину надо было добраться до угла улицы Толлбудгате и Шиппергате, где помещалась его солидная экспортно-импортная фирма. Да, солидная, но надолго ли? Казалось, что тревога за племянника, который был для Мартина совершенной загадкой, стала отбрасывать свою тень на все вокруг.

На углу улицы Недре-Слоттсгате ехать стало просто невозможно. Толпа была такая густая, что пришлось остановить машину. Сидя на высоком сиденье, Мартин озирался по сторонам и, пользуясь заминкой, решил закурить сигару. Но автомобиль так сотрясаясь под ним, что зажечь сигару оказалось совсем не просто.

Окруженное гикающей толпой, на него медленно надвигалось выкрашенное красной краской чудовище, его тащили четыре лошади. Мартин сразу догадался, что перед ним первый пожарный автомобиль, он читал о нем в газетах. Со своей наблюдательной вышки он с любопытством следил, как странный экипаж, который волокут четыре сильные лошади, медленно продвигается вперед под крики толпы, парализуя на своем пути уличное движение.

В этом зрелище было нечто такое, что совпадало с недавни-

ми мыслями Мартина: механизмы, которые все еще не используются на родине, толпа, которая приветствует наступление нового времени, не задумываясь о том, чем оно чревато.

Крики затихли вдалеке. Мартин стряхнул пепел с сигары и снова взялся за руль.

Еще раз, путая четкий ход его мысли, в памяти всплыл адрес, надписанный на конверте, который ему показала сестра. Так вот оно что — загвоздка была в чернилах, в этих зеленовато-черных чернилах, которые были в ходу в городских конторах; они выглядели совсем иначе, чем блеклые синие чернила, которыми пользовались в школе. Мартину не хотелось думать о письме, но оно внушало ему тревогу. Тревогу внушал Вилфред.

Однако, когда он добрался до угла, где помещалась контора, мысли его потекли по другому руслу — это были мысли о товарах, о курсах, об еще одном, вполне реальном мире, и при этом, понял он вдруг, более реальном, чем вялый мирок его родного города. Приятный запах жареного кофе ударил Мартину в нос на улице Шиппергате. Вот *это* была действительность.

Сусанна Саген стояла в эркере у окна и смотрела на залив Фрогнеркиль. Ее тоже осаждали тревожные мысли. Не о Маленьком Лорде — когда она убирала письмо обратно в секретер, она даже не удержалась от мгновенной торжествующей улыбки... Дело было в том чуждом, беспокойном духе, который всегда вносил с собой ее брат Мартин. Ох, этот Мартин с его поездками, деловыми связями, вообще со всем запахом окружающего мира!

Мысли двоякого рода сменяли друг друга в голове фру Сусанны. Во-первых, ей было не по себе оттого, что ей слишком назойливо напомнили о реальности этого мира, о жизни вообще... Разве изо дня в день, из года в год она не делала все возможное, чтобы заслониться от жизни? Конечно, она влачит бесполезное, а значит, никому не нужное существование. Но с другой стороны, нет у нее ни мужества, ни аппетита принимать участие в этой суете сует, пусть даже в ее удовольствиях. А ведь когда-то она даже путешествовала...

Но было еще и другое, беспокоившее ее в этом мире, с которым ей все труднее было примириться, и это другое тревожило даже безмятежные души ее брата и иже с ним — пресловутый мир начинал вести себя не по правилам. Ее взгляд упал на гаету.

Нельзя сказать, что обитателей благословенного севера волновали отголоски итало-турецкой войны, погоня за обнаглевшими автобандитами в плодородной Франции или подвиги господ Амундсена и Скотта, которые внесли сумятицу в географические представления, включив в привычную картину мира еще и полюса. Нет, но в самой атмосфере появилось что-то новое, оно впервые докатилось сюда, в Норвегию, и как бы нарушало ту изоляцию, которая прежде была здешней основой основ и которую, впрочем, всегда можно было нарушить по собственной воле, то есть если ты хотел совершить путешествие за границу... А теперь здесь, в Норвегии, где живется так уютно, ты почему-то обязан давать какую-то оценку происходящим вдалеке событиям. Немцы, англичане и французы спорятся между собой, и тебя тоже ставят перед необходимостью выбора: если тебе по душе одно, изволь бранить другое... Из приятного единства, которое доньше звалось «заграницей», вдруг откуда ни возмись выделились разные страны со своими удивительными столицами и маленькими городками, богатыми историей, разные нации со своими особенностями, которые надо предпochсть или отвергнуть... Как это так?.. Неужели все это должно касаться тебя лично?.. Казалось, разговоры о предстоящей войне перестали быть темой светской беседы и переросли в разговоры такого рода, при которых мужчины за стаканами виски начинают повышать голос и даже забывают о том, что принадлежат к хорошему обществу... Да, подобные случаи уже бывали. И насколько помнит фру Сусанна, речь шла о такой далекой и неинтересной теме, как Кильский канал...

Без всякого перехода ее мысли скользнули к домашним заботам... В том же самом обществе у дам зашел разговор о прислуге — должны ли служанки учиться, и вообще об их свободном времени, которое за последнее время вдруг стало предметом обсуждения. Фру Сусанне почему-то вздумалось отстаивать либеральную точку зрения. У нее ведь были две постоянные, надежные служанки — кухарка Олеанна и горничная Лилли, а когда бывали гости, еще приходила помогать девочка Осе, бесхитростное создание. Сусанне и тут повезло — как и во всем прочем. Кстате, кто ей это сказал?

Ну да, конечно, Кристина. Вот еще одно тревожное явление — милая Кристина, вдова ее младшего брата, болезненно-го и утонченного, который умер, не дожив до тридцати лет. Она женщина достойная, что бы там о ней ни говорили... Ну, словом, все, до чего тебе нет дела, ни с того ни с сего вдруг

заявляет о себе и вторгается в твое спокойное существование. Фру Сусанне всегда везло. В отношении служанок. И вообще во всем. А теперь... Вся эта тревога... Да и служанки тоже.

Взять, хотя бы Лилли. Она недавно откровенно надерзила хозяйке. Надо было привести в порядок одежду Маленького Лорда, кажется, чулки, и вот эта грубиянка заявила, что от «маменькиного любимчика» только одно беспокойство и наверняка он ничуть не лучше других мальчишек. Вздор, конечно, не надо обращать внимания. Глупая девчонка сама тотчас пожалела о своих словах.

И все-таки у фру Сусанны было сейчас неприятное чувство, что все тревоги так или иначе, как в фокусе, собираются вокруг Маленького Лорда, ее ненаглядного сына: и Кильский канал, и далекие страны, которые вдруг стали ближе, и проблема служанок, и вся эта болтовня о трудящихся классах, которые *наступают*... Впрочем, понятно, почему это так: Маленький Лорд — ребенок, он будущее, это ему придется пережить то, о чем со страхом размышляют взрослые.

И все же, подумать только, неужели ее Маленькому Лорду придется иметь дело с какой-то там классовой борьбой и Кильским каналом!

Она тряхнула головой, отгоняя от себя назойливые вопросы. Кажется, звонят?

— Мама! — крикнул он из дверей. — Ты не слыхала, что я пришел?

Она не сразу узнала сына, хотя свет падал прямо на него.

— Ну да, мама, — сказал он, стремительно подходя к ней. — Я сам это сделал, то есть, конечно, не сам, а попросил парикмахера Рейнскоу на Тострупсгор...

До нее не сразу дошло случившееся. Маленький Лорд был наголо обрит — то есть, конечно, не наголо, но локоны исчезли, исчезли даже почти все завитки.

Он по-детски выпятил губы:

— Ну разве мне не идет, мама?

Она тотчас прижала его к груди, ощупывая ладонями стриженую голову. Ее пронзила мысль: когда он появился в дверях, он был похож на своего отца. Она так глубоко ушла в свои мысли, что ей на мгновение показалось, будто вошел ее покойный муж.

Он по-детски поднял к ней лицо, ожидая поцелуя.

— Очень идет, — сказала она и, нагнувшись, поцеловала его. — Очаровательно.

— Лилли говорит, что у меня голова как капустаный кочан, — объявил он с восторгом.

Она слегка отстранила его от себя, разглядывая в убывающем свете дня милую голову.

— Очаровательно, — сказала она. — Раз уж ты это сделал... Он вдруг резко повернулся к чайному столику, где стояли пустые чашки.

— Здесь был дядя Мартин, — сказал он. — Пахнет его сигарами... Мама, ты огорчена?

— Нет, сынок, — ответила она. — Я не огорчена.

Она вдруг подумала о Кильском канале.

— Ты ведь помнишь, мы с тобой как-то говорили, что когда-нибудь мне придется расстаться с локонами.

Они и в самом деле говорили об этом, как и о многом другом. Ее поразила мысль, как часто они говорят о том о сем, ничего всерьез не имея в виду.

— Парикмахер спросил, хочу ли я взять с собой локоны.

— И ты взял? — В ней на секунду вспыхнула нелепая надежда.

— Да нет, мама, на что они нам? Поверь мне, лучше раз и навсегда избавиться от них.

Это верно, лучше навсегда избавиться. Ее брат Мартин это одобрит, это отвечает его точке зрения на «мужеский пол». Длинные локоны у взрослого мальчика — это не реальная жизнь, это мечты.

— По-моему, тебе эта стрижка очень к лицу, сынок, — сказала она, но в голосе ее не было убеждения.

— Я ведь уже не маленький, — разочарованно сказал он.

Она думала о своем. Она слышала, что он говорит, но слова его скользили мимо нее, как многое другое. Кильский канал. Ведь это тоже только слова, сеющие тревогу.

— Это будет твой первый бал без локонов, — вдруг сказала она.

— Бал? Ах да...

— Не собираешься же ты его отменить, хоть ты и считаешь себя взрослым?

Теперь в ее голосе явственно слышалась горечь. Он чувствовал, что его застigli врасплох, ему стало грустно, он не решился причинить ей еще и это огорчение.

— Конечно, нет, — сказал он. — Если, по-твоему, мы должны его устроить... мы можем объявить, что это будет последний бал.

— Как хочешь, — коротко сказала она и пошла в столовую. Дурацкие слова надвигались на нее, осаждали ее, требовали, чтобы их приняли в расчет. Она почувствовала прилив жалости к самой себе, горячие, утешительные слезы подступали к глазам. Они прогонят дурацкие слова — Кильский канал, локоны, взрослый, последний бал.

Сын смотрел ей вслед, вздернув брови. Потом пожал плечами, подошел к окну и стал смотреть на залив. В этом прозрачном весеннем свете ему вдруг ясно представилось, что по ту сторону Бюгдэ лежит целый мир.

7

В ту весну среди знакомых и родственников фру Саген гвоздем сезона стал последний бал у Вилфреда Сагена. Прежде этот бал давался в честь окончания семестра в школе танцев, но сейчас его устраивали по случаю окончания сезона, в точности как у взрослых.

На самого Маленького Лорда эти балы налагали разнообразные обязанности и поэтому были лишены для него той беззаботной праздничности, которой отличались сборища взрослых. К тому же на детских балах непременно гостями были две двоюродные сестры и три двоюродных брата, не говоря уже о близнецах дяди Мартина и тети Валборг — Микаэле и Фредерике. В пасхальные каникулы они приезжали из английской школы, где получали воспитание, которое, по понятиям дяди Мартина, должен получить светский человек. У Вилфреда каждый раз было такое чувство, что юноши отбывают на этих детских балах повинность, навязанную им «провинциальными родственниками». К тому же гости являли собой пеструю смесь переростков, одетых в матросские костюмы и некое подобие итонских мундиров, и ученики танцевальной школы терялись и тускнели в этой толпе хотя бы потому, что слишком хорошо знали друг друга и не могли пускать друг другу пыль в глаза отполированными ногтями и блестящими лакированными ботинками.

Маленький Лорд заполнил свою бальную карточку, как подобает образцовому хозяину дома, включив туда кузину Фриду, кузину Эдле и трех долговязых дочерей дипломата, живших наискосок от их дома. На балу для них было очень трудно найти кавалера — во время танца они, казалось, превращались в

сплошные коленки и локти, да вдобавок они даже не пытались научиться норвежскому языку. Тут уж Маленькому Лорду приходилось притворяться, не щадя сил. Когда он находился среди сверстников, у него вообще был только один способ оградить свое одиночество — чувствовать себя чужим среди них. Но из двери, ведущей в гостиную, на него смотрела мать, а чуть подалее, возле буфета, стояла тетя Кристина и тоже смотрела на него своими ласкающими бархатистыми глазами. По какому-то давнему уговору она всегда помогала принимать гостей на детских балах. И когда под этими перекрестными взглядами Вилфред проходил в танце в столовую, где уже отодвинули стол, он чувствовал себя вознагражденным за притворство и усилия. Взгляды женщин говорили ему: «Мой послушный мальчик», «Мой рыцарь!»

Ему немного досаждало, что мать никак не хочет отказаться от своего обыкновения сервировать перед котильоном горячий ужин, хотя между остальными родителями существовало молчаливое соглашение подавать только бутерброды и пирожное с кремом, да еще в перерывах между танцами обносить гостей глинтвейном и малиновой водой. («Если детям подавать по полкурупатки, когда цена на них поднялась до восьмидесяти эре за штуку, уж очень накладно станет устраивать детские балы!») По комнатам каждый раз пробегал шепоток, когда гонг созывал всех к столу, причем за длинным, празднично убранным столом «дамы» чередовались с «кавалерами», в точности как у взрослых, и у каждого прибора стоял стакан с красным вином. Все влюбленности, которые Маленькому Лорду довелось пережить на этих балах, слились в его воспоминаниях с куропаткой в соусе, с желе, которое имело какой-то винный привкус, и с жирным ванильным кремом, который он разлюбил, с тех пор как порос. Во всем этом была какая-то фальшь: и во влюбленностях, которые он измышлял из года в год, и в его наигранном взрослом тоне, который не имел ничего общего с привычным притворством, и в смешных бумажных шапочках и блестящих картонных орденах — во всем том, что приводило в восторг гостей и к чему его «английские» кузены относились с увлечением, которое он не мог принять за чистую монету. Сам он забавлялся этим как бы издалека, но не без гордости за мать, что не забывал подчеркнуть каждый раз в своей коротенькой застольной речи. И все это повторялось из года в год почти без изменений.

Котильон окончился. Танцы, значившиеся на бальной карточке, были исчерпаны. За ужином молодежь развеселилась, скованность исчезла, наступили последние, не стесненные правилами полчаса, когда каждый танцует, как хочет. Это был тот необузданный финал, когда может случиться все что угодно. («У фру Саген засиживаются до полуночи, не доведет это до добра».)

Маленький Лорд, увешанный орденами, проскользнул в самый дальний уголок курительной и оттуда устало прислушивался к шуму, доносившемуся из столовой. Он отдавался в ушах чем-то чужим и детским. Это был его первый бал без локонов. И последний детский бал. Какое-то завершение чувствовалось во всем, что его окружало, — дело было не только в локонах и в «сезоне», но и... он сам не знал в чем. Стоя в дальнем углу курительной, он думал об этом и не знал: в чем же? Его взгляд упал на терракотовую Леду с лебедем — нет, все равно он не понимает, в чем дело. Вот сейчас он ведет себя как предатель — убежал от гостей, ему с ними скучно, было скучно целый вечер, он все время притворялся. И вдруг ему показалось, что он понял настроение матери в тот день, когда она была так встревожена. Здесь побывал дядя Мартин. Его посещение вселило в нее тревогу. Дядя Мартин представлял окружающий мир. Это пугало мать. Дядя уже много лет настаивал на том, чтобы остричь локоны... Дядя Мартин был связан со всеми силами взрослого мира, но дядя не был другом. По убеждению дяди Мартина, дети должны пройти в Англии через некую машину, которая делает их пригодными для делового и светского обихода, но тогда прощай то драгоценное одиночество, к которому так стремится Вилфред.

Прислушиваясь к тому, как шумят расшалившиеся гости, Маленький Лорд выскользнул на террасу, выходящую к морю, и залюбовался гладью залива, черной и сверкающей под звездным небом. Где-то в дали фьорда шумела моторная лодочка, передвигавшаяся из тьмы во тьму. Три огонька — вот и все, что он различал со стороны Бюгдэ, да еще мягкие очертания гор в районе Королевского леса. «Скотный двор», — сказала как-то тетя Кристина о полуострове. Эти слова запали Вилфреду в душу. Оттого что их произнесла Кристина, в них чудилось что-то таинственное, чем веяло от всего ночного пейзажа, что-то притягательное и запретное, на что она, может быть, только намекнула: ведь по субботам Бюгдэ был местом отдыха для низших классов. А может быть, дело было в быстром косом взгляде

де матери — когда мать бросала такой взгляд, говорящий спотыкался на полуслове, а она считала, что сын ничего не замечает, — может, от этого взгляда недоговоренные слова и становились такими притягательными и в горле пересыхало...

Маленький Лорд перегнулся через перила террасы, чтобы укрепить засохшую ветку палиантовой розы, которую трепал ветер. И тут он увидел, что на каменных ступеньках лестницы, ведущей к морю, кто-то сидит. Позади него в комнатах танцевали отчаянный тустеп. Фру Симмерманн за роялем из кожи лезла вон, чтобы перед концом бала веселье достигло своего апогея. Отдаленные звонки в дверь давно возвестили, что кое-кто из прислуги уже пришел и теперь сонно подпирает стены в холле или украдкой подглядывает в дверь на танцующих — слуг посылали ночью, чтобы доставить домой румяных девочек с розовыми бантами и переростков в матросских костюмах, а те стеснялись, что ходят с провожатыми. Кто-то позвал Вилфреда из комнат.

Ощущая спиной разыгравшуюся в комнатах привычную церемонию, он перегнулся через перила, чтобы лучше видеть. Неслыханное происшествие усугубляло таинственность обстановки — на ступенях их лестницы у моря сидит кто-то посторонний. Наконец-то Вилфред снова один на один с тайной, ему чудится в ней прикосновение к чему-то греховному. И вдруг он понял сразу две вещи: на ступенях сидит тетя Кристина и она плачет.

Его первым побуждением было скрыться. Он всей душой ненавидел такое положение — а он часто в него попадал, — когда ты оказываешься посвященным в нечто большее, чем то, на что ты рассчитывал. Но в ту же секунду его затопила нежность, и он позабыл обо всем, даже и о том, что из-за закрытой двери его невятно окликают чьи-то голоса.

Под его ногой скрипнула половица. Она тотчас встала и начала подниматься навстречу ему по низкой лестнице.

— Это ты, Кристина? — с притворным удивлением спросил он, но на сей раз голос плохо ему повиновался. — Я просто вышел подышать, — быстро добавил он. Они сошлись на верхней ступеньке. Узкая полоска света упала на лицо Кристины, осветив один глаз; слез в нем уже не было, но он был темный и заплаканный.

— Ты тоже, мой мальчик? — сказала она и сильно потрепала его по плечу. Его вдруг обдало жаром — это было совсем непохоже на то безразличное чувство, какое он обычно испы-

тывал, когда одна из тетушек прикасалась к нему. У него перехватило дыхание.

— Тебе не холодно? — спросил он, глядя в темноту, туда, где должен был находиться ее подбородок. Он протянул руку, пытаясь в этой непривычной ситуации просто установить с ней какой-то контакт. Рука его уперлась в мягкую грудь. Всего секунду задержалась его рука на груди Кристины, прежде чем он отдернул ее, точно ему перебили запястье. Тело его отделилось от террасы, где они стояли, и вихрем закружилось в багровом пространстве. И прежде чем он сообразил, что делает, он обвил Кристину за шею и притянул к себе ее голову. Прижавшись губами к ее губам, он снова, стремительно кувыркаясь, закружился в пространстве.

— Мальчик мой, что ты! — сказала она, высвобождаясь из его объятий. Вокруг нее стоял аромат ванили и какао, как бы защищавший их от всего остального мира. Последние отчаянные звуки тустепа пронзили ночной воздух вместе с топотом ног, в последней бешеной скачке несущихся по полу.

— Ты не сердись на меня, Кристина? — прошептал он ей. — Тебе холодно? — Он чувствовал, что она дрожит. И сам он дрожал тоже. Теперь из комнат доносились отчетливые крики. Несколько голосов звали: «Вилфред!», «Маленький Лорд!»

— Беги скорей! — шепнула она. Быстро провела рукой по его голове, потом жала его руки в своих мягких горячих руках. — Я не сержусь. Ничуть. Наоборот...

Она с силой подтолкнула его в спину, и он тут же скользнул в комнату, прокравшись между золотистыми портьерами, так что никто не заметил, как он вошел, а когда его окликнули снова, он уже стоял посреди комнаты.

— Где ты был? Что ты делал? — сыпались вопросы, в них не было упрека, только любопытство. Собрав все свои силы, он ответил, что ему стало жарко и он вышел подышать. А сам подумал: «Я летал».

Большинство гостей были уже в прихожей, где их второпях одевали сонные, недовольные слуги. Пальто выглядели серыми и будничными рядом с нарядными матросками, светлыми платьями и красными лентами. И эта будничность, казалось, мало-помалу гасит огоньки праздничности и веселья, которые еще теплились только на румяных щеках и в огорченных глазах, по мере того как «спасибо» и «до свиданья» замирали на лестнице; две-три коляски, ожидавшие у дверей, укатили прочь, остальные гости уныло побрели восвояси под охраной служа-

нок, а наиболее самостоятельные, за которыми не присылали прислугу, группами по четыре-пять человек тоже разошлись по тихим ночным улицам.

Мать и сын вернулись в комнаты. В столовой служанки расставляли по местам стулья и стол. Тетя Кристина тоже была здесь, он на мгновение увидел ее в приоткрытую дверь. Из распахнутых окон в столовую струился свежий воздух, раздувая шторы и рассеивая запахи детского праздника.

— Ну как, ты доволен, мой мальчик?

— Очень, мама, громадное спасибо за сегодняшний вечер. Она испытующе поглядела на него.

— Ты надолго отлучался?..

— Здесь было так жарко. Все эти дети!

Это слово вырвалось у него невольно. Услышав его, он сам удивился. Мать не сводила с него глаз. Она подошла к дверям и сказала, обращаясь к тем, кто хлопотал в столовой:

— Я думаю, на сегодня хватит, остальное можно убрать завтра. Спасибо за помощь. — Потом она что-то вспомнила, быстро подошла к секретеру и взяла деньги. Поденщица низко присела, служанки также поблагодарили за чаевые. — А тебе, Кристина, сердечное спасибо, что ты и на этот раз помогла мне. Мне и Маленькому Лорду.

Стоя в гостиной, он точно в первый раз услышал сейчас имя «Кристина» — так красиво оно звучало, так певуче и таинственно. Тетя Кристина вошла в комнату. С минуту они стояли лицом к лицу. Он почувствовал непривычное смущение. Но оно тут же сменилось каким-то пьянящим головокружением, которое вновь налетело на него, наполнило сладостным чувством и оторвало от земли. Он сделал шаг вперед, но она едва приметно подняла руку. В то же мгновение мать подошла к ним ближе.

— А теперь, малыш, пора спать! — это прозвучало так неожиданно, как звучали иногда словечки дяди Мартина, когда он в шутку заводил с Вилфредом мужской разговор. В них было что-то ненатуральное. Маленький Лорд тут же надел личину благовоспитанного мальчика. Не глядя на Кристину, он протянул ей руку.

— Спасибо за сегодняшний вечер! — В дверях он обернулся. — Спасибо, мама! — На мгновение его взгляд задержался на обеих женщинах. Когда его глаза встретились с глазами Кристины, он почувствовал внутри какой-то толчок. — Спокойной ночи, — шепнул он, уходя.

Женщины остались вдвоем, отчужденно глядя друг на друга.

Сусанна сказала:

— У меня странное чувство от того, что это его последний детский бал! — И так как Кристина не отвечала, добавила: — А теперь мы можем выпить перед сном по стаканчику портвейна, мы это заслужили.

— Спасибо, Сусанна, сегодня что-то не хочется, — неожиданно ответила та. — К тому же я очень устала, пожалуй, я вернусь к себе.

— Но, дорогая... Тебе постелили в комнате для гостей. Ты ведь всегда... И потом одна, по улицам...

Кристина пожала плечами:

— Ты считаешь, что мы живем среди разбойников... Нет, серьезно, мне лучше пойти домой.

Фру Саген постояла с минуту на лестнице, ведущей на улицу. Она провожала взглядом женскую фигуру, упорно сохранявшую молодость. Кристина перешла дорогу, обернулась и помахала ей. Сусанна постояла еще немного. Улицы были пустынные, ни души, спустилась ночь. У фру Саген вдруг возникло такое чувство, словно дом за ее спиной утерял с ней связь, словно что-то ушло в прошлое. Она не привыкла обременять себя мыслями и поэтому не поняла, что происходит, даже не вполне отдавала себе отчет, что вообще что-то происходит.

Она не привыкла обременять себя мыслями. Но инстинкт ее был всегда настороже, и он подсказывал ей: что-то ушло в прошлое и будущее зыбко и неопределенно. И когда она снова прошла по комнатам, ей показалось, что никакого бала здесь не было и дети, недавно танцевавшие здесь, — это призраки, точно все, из чего складывался ее мир, терялось в чем-то неосознаваемом и зловещем.

Она подошла к камину, судорожно ударила кочергой по последней тлеющей головешке: так вернее избежать пожара. Потом выпрямилась, чтобы поставить на место кочергу, и тут взгляд ее упал на две фотографии: на одной был изображен ее муж, Кристиан Фредерик Саген, молодой человек в форме капитана военно-морского флота, на другой — Маленький Лорд с мягкими локонами, падающими на плечи. Она постояла, переводя взгляд с одной фотографии на другую. То на одного, то на другого смотрела она, и стоило ей чуть внимательней всмотреться в одного, как она тотчас спешила перевести взгляд на

другого. В каком-то смысле отец и сын сливались для нее в одно, в каком-то смысле оба уходили от нее куда-то вдаль.

Потом вдруг, быстрым движением подобрав шлейф, фру Су-санна прошла через пустой холл и стала подниматься вверх по лестнице.

8

Мир действительности все теснее обступал Вилфреда. Многое теперь становилось ему понятней. Казалось, весна, озарив мир своим светом, высветлила предметы и явления, и он вдруг увидел все совершенно отчетливо. Иногда ему хотелось действовать миру наперекор, а иногда наоборот — уступать всем и всему подряд. Даже собственное тело он ощущал то как близкого друга, то как злейшего врага, оно было попеременно источником наслаждения и позора. И в этом сплетении резких переходов от радости к отчаянию он все острее чувствовал тревогу, разлитую в окружающем мире. Он замечал откровенную настороженность в лице дяди Мартина и даже то, что дядя Рене ведет себя как-то сдержанней, когда Вилфред по старому уговору приходит к нему и они вдвоем углубляются в замечательные книги по искусству и вместе подробно разбирают «Даму в голубом» или какой-нибудь натюрморт Брака, вызывающий у Вилфреда дрожь восторга, стоит ему мысленно расположить все беспокойные элементы картины согласно скрытому в ней музыкальному принципу.

Настороженность и сдержанность...

Даже мать перестала быть тем надежным другом, к которому можно прибегнуть во всех случаях жизни, и, к своему стыду, Вилфред чувствовал, что это его вина, потому что в нем исчезла прежняя доверчивость и все его мысли стремятся к тете Кристине, полной таинственных бездн — бездна между округлостью груди, бездна в глубине глаз, бездна тайного горя, о котором знает он один, да и, собственно, если разобраться, тоже ничего не знает.

Весь мир вокруг него был полон смутных предощущений, мир догадывался о том, что кроется в его душе, в его поступках. Мир — джунгли, где *разоблачение* следит за тобой своим желтым глазом, подстерегает, окружает, шаг за шагом подступает к тебе все ближе и в один прекрасный день или в одну прекрасную ночь отрежет тебе все пути и опутает сетью вины.

Вилфред стал прекрасно учиться в школе. Это с ним случилось всегда перед наступлением летних каникул. Каждый год, подстрекаемый честолюбием, он старался оказаться лучшим на экзаменах. Он хотел порадовать мать. Но в этом году он стал прилежным скорее из духа противоречия — чутье подсказывало ему, что теперь мать не так безоговорочно верит в него, как прежде. К тому же это был последний год его учения в школе сестер Воллквартс. С осени он пойдет в «настоящую» школу, к великому удовольствию дяди Мартина.

В этом кипении противоречий надо было хоть отчасти навести порядок. Маленький Лорд решил обставить должным образом свой уход из школы — «sortie», как выразился бы дядя Рене. Всегда следует позаботиться о том, чтобы «sortie» был в порядке. Особенно когда ни в чем остальном порядка нет.

Однако школьные успехи не приносили Вилфреду облегчения. Постоянные похвалы сестер Воллквартс стали тревожить его: как бы они не захотели снова написать матери, чтобы ее успокоить. От того, что он все время был начеку, он устал, под глазами у него легли тени. Каждое утро он напряженно ждал у дверей почтальона — вдруг он принесет письмо, которое разоблачит подмену первого письма. Но горничная Лилли тоже ждала у дверей, и каждое утро между ними разыгрывалась молчаливая и враждебная борьба — кто скорее добежит от своей двери до прихожей и первым встретит почтальона. Он чувствовал, что Лилли что-то знает или угадывает. Ему уже не везло, как прежде, во всех его тайных предприятиях; казалось, удача и беззаботность одновременно покинули его. Прежнее притворство, доставлявшее ему такое удовольствие, теперь как бы сменилось маской, и эта маска сводила все притворство на нет, потому что кричала во всеулышание: «Я притворяюсь!» Нет, решительно все теперь оборачивалось против него. Однажды, когда он вернулся домой из школы, мать встретила его с письмом в руке. Листок был смят, как видно, она несколько раз перечитала письмо, что-то в нем ее смутило.

— Ничего не понимаю, мой мальчик. Я получила письмо от твоей учительницы, она пишет, что теперь она тобой довольна, что ты делаешь успехи по всем предметам и, возможно, все-таки будешь первым на экзамене.

Он попытался принять привычное беззаботное выражение.

— Ну и чудесно, мама! — с наигранной беспечностью крикнуло он. — Неужели ты не гордишься своим сыном?

— Но я не понимаю,— повторила она. — Разве ты не все

время был прилежен и послушен? Ведь не так давно она писала...

Он мог броситься ей на шею, прибегнув к испытанному средству — слезам и признаться во всем или почти во всем, что действовало особенно убедительно. Но искушение сдать позиции столкнулось в нем с противоположным стремлением — оставить загадку открытой, испугать ее этим средством замедленного действия. И он равнодушно произнес:

— Да, одно время у нас с нею что-то не клеилось. Наверное, она считает, что писала тебе об этом.

Мать застыла с письмом в руках. Он видел, как ее пальцы нервно комкают листок. Он знал ее руки, любил их, как любил все в ней, и руки рассказали ему, что она мечется между желанием поверить ему и невозможностью поверить. Он знал, что довольно одного его слова — и она с готовностью поверит во все хорошее, отмахнется от сомнений и тревог и забудет их, как это бывало часто, как это бывало всегда.

Но он не произнес этого слова. Что-то в нем отказывало ей в утешительных словах. Что-то в нем упорно твердило: «Тебе тоже пора стать взрослой, как твой брат Мартин, как — да, как тетья Кристина. У нее-то ведь есть горе».

Горе — ему тоже хочется иметь горе. Одно, но настоящее горе, а не эти мелкие горести, которые только вызывают в нем тревогу и страх каждый раз, когда он переступает порог какой-нибудь двери. Он хочет быть как тетья Кристина: иметь горе. Или разделить ее горе, утешить Кристину, нет, взвалить бремя на свои плечи и нести в одиночку! А у нее пусть не будет горя, пусть она просто обвеивает его своим ароматом и манит безднами и тайной своей груди.

— Я буду первым на экзамене, мама, не беспокойся об этом, — коротко бросил он и вышел из комнаты. За дверь он остановился. Через закрытую дверь он видел, как она стоит с загадочным письмом в руке. Он знал — будь в этом письме написано что-то дурное, она горой встала бы за него, поддержала бы его против всех. Но там было написано что-то хорошее, чего она не могла объяснить. Скоро она все поймет — поймет, что он переменялся к ней, что он живет своей собственной жизнью, полной наслаждения, жизнью, состоящей из тайных поступков. Так пусть это случится. Пусть его счастливое детство рухнет разом.

Он прошел через прихожую и по лестнице поднялся к себе. Между письменным столом и кроватью он остановился и рас-

терянно огляделся по сторонам. Его райский уголок вдруг предстал перед ним в совершенно новом свете — здесь все было так непохоже на захламленные комнатухи, где его товарищи ютились со своими родными, здесь все сверкало чистотой, все безраздельно принадлежало ему. Здесь все настолько *свое*... Но теперь это была просто детская, из которой он уже вырос.

И все-таки оп все время помнил о том, что он еще может спуститься вниз, подкрасться к матери, положить голову ей на грудь, прижаться к пей и сказать... Да нет, говорить нет нужды. Довольно того, что он будет рядом с ней.

Но он не хотел. Ноги хотели, а мысль упрямылась. Мысль была как ошестинившаяся шипами шишка, вроде той, что венчала старинную булаву, которой вооружали стражников, — одна такая булава стояла в холле у дяди Рене. Казалось, этот шар, со всех сторон утыканный шипами, так и рвется в ночь, крушить и ломать все на своем пути...

В дверь постучали. На пороге стояла фру Сусанна Саген. Он впервые мысленно назвал ее полным именем, как постороннюю даму. Он не заметил, что выражение ее лица изменилось. Письма у нее в руках не было.

— Я забыла тебе рассказать, пришло письмо от Сагенов из Копенгагена,— сказала она. — Они спрашивают, не собираемся ли мы — или ты — провести лето у них в Гиллелейе.

Он сразу попал в ловушку, если только это была ловушка.

— Но разве... разве мы с тобой не поедем в Сковью?

Он увидел, что глаза ее в ту же секунду наполнились слезами. И только тут оп осознал, что она пришла уже с иным выражением лица.

— Значит, ты хочешь, как всегда? — тихо переспросила она.

И вот он уже в ее объятиях. Так, как прежде. Впрочем, не совсем так, как прежде. Потому что теперь он сознавал, что поступает, как прежде.

— Конечно, х о ч у , — сказал он громко, но каким-то странным голосом без выражения, настолько странным, что даже сам подумал, не заметит ли она. Но она не заметила. Она прижала его к себе и сказала, чуть ребячась:

— Я не знала, захочется ли тебе в этом году. И потом с их стороны так мило, что они нас приглашают.

Он неловко высвободился из ее объятий, он чувствовал себя обманутым. Но сейчас этого нельзя было показывать. Как по

команде, к нему вдруг вернулось милое детское притворство, он сказал:

— Это будет какое-то ненастоящее лето, если мы не проведем его в нашем Сковлю.

Он попал в точку. Его охватило торжество при мысли о том, что он убедил ее, что все в порядке, все осталось по-прежнему. Он был рад, что обрадовал ее.

— Помнишь, мы один-единственный раз жили летом в Гиллелейе и как мы скучали по Сковлю. Ведь ты тоже скучала, правда, мама?

Да, он попал в точку. Он видел, что к ней вернулась рассудительность, что она как бы повзрослела за них обоих, раз он по-прежнему оставался ребенком.

— Тогда я сейчас же напишу ответ, скажу, что мы очень благодарны за приглашение, но что мы... ну, что-нибудь придумаю.

— Придумай, мама! — радостно крикнул он. — Ты ведь лучше знаешь, что написать.

Они стояли лицом к лицу — она всего на полголовы выше его, снова помолодевшая, беззаботная. На какое-то мгновение, самозабвенно погрузившись в то, что когда-то объединяло их, они как бы слились в одно существо.

— Значит, решено, — коротко сказала она и повернулась к двери.

Она вышла. Он понимал, что она хотела скрыть свое волнение. Он сел на край кровати, ощущая внутри себя растущую пустоту.

Всего одно лето провели они в Дании у дальних родственников отца, неизменно любезных и таких чужих людей... Дни и ночи напролет он тосковал по милому старому деревянному дому в Хюрумланне. Вот там было настоящее лето! Большой заросший сад с высоченными деревьями, которые отбрасывали такую густую тень, что, когда ты шел под ними по траве, казалось, ты пробираешься по морскому дну... Это и было настоящее, единственно возможное лето. И наверное, никогда в жизни Вилфред не сможет представить себе лето по-другому. А проемы в резных перилах террасы! Изображая сторожевого пса, он просовывал туда голову и лаял по-собачьи, но в один прекрасный день голова уже не прошла в отверстие! А золотистые тропинки, на которые ложились солнечные блики, а два крошечных холма — это были Синайская гора и мыс Доброй

Надежды, а два маленьких ручья — Тигр и Евфрат! А на дне старого сгнившего колодца, куда братья бросили Иосифа, жил страшный зверь по имени Какаксакс... А старая беседка среди лип, торжественно шелестящих кронами, — день и ночь все тот же ровный шепот, за которым ему чудились лица и имена. А на лужайке перед дверью в кухню большой каштан, под ним зеленый деревянный стол, на котором чистили рыбу и осенью перебирали ягоду. А запах зеленой листвы, когда, бывало, заберешься на дерево и собираешь вишни в корзину, висящую на ближайшей ветке... А яблоки, запах только что сорванных яблок, рассыпанных на некрашеном деревянном полу, вымытом и выскобленном до блеска в ожидании нового щедрого урожая... А берег, в который, после того как пройдут большие суда, ударяют грозные волны... Когда-то из-за этих волн Вилфред убегал далеко-далеко от берега, так он боялся волнения на море, а потом, наоборот, море захватило все его помыслы, стало манить к подвигам... Старая, выкрашенная в коричневый цвет купальня с прогнившими перилами, которую каждый год чинили без всякого толку... И тот первый раз, когда он прыгнул с мостков в воду и после этого геройского поступка вынырнул с локонами, прилипшими к затылку, и увидел глаза матери, сверкающие от гордости...

А тихие вечерние прогулки под темным пологом листвы, сладкий запах жасмина в разгар лета, таинственные тени деревьев, которые к наступлению сумерек разрастались до невероятных размеров, обретали душу и что-то нашептывали всем вокруг. А завтраки на открытой верхней террасе, куда прилетали маленькие птички, отваживавшиеся клевать крошки прямо со скатерти. Ручной еж по имени Юнас...

Так было каждое лето. И все они как бы слились воедино. Это было в одно и то же время и воспоминание, и непреходящее состояние, блаженство реальное и в то же время чуточку выдуманное, ведь ничто на свете не бывает только тем, что оно есть на самом деле, даже флаг, который по традиции поднимали каждое воскресенье. Летом все было чем-то большим, чем на самом деле, все имело какое-то особое значение, было еще чем-то «как будто», и это «как будто» было всамделишнее и важнее, чем деревья, море, ползущие тени, это было богатство, лишенное форм и очертаний, все радости в одной радости, бездонной, не задающей вопросов.

Сидя на краю кровати, Вилфред чувствовал огромную пустоту. Точно все прошедшие летние каникулы скопились у него

в душе и превратились в ничто, да, будто все счастье, пережитое им в воспоминаниях, вдруг взорвалось с глухим хлопком и обратилось в прах.

Он испугался, потом его охватил гнев: мать расставила ему ловушку, и он угодил в нее с руками и ногами. А почему бы в самом деле не поехать к чудачковатым датским родственникам, пусть они совсем чужие, тем лучше. Ведь это самый простой способ убежать от всего, что приступает к нему с угрозой. Он уже готов был вскочить и броситься к матери, чтобы уговорить ее изменить решение. Он знал, что, если он попросит, она согласится.

Но он не двинулся с места. Он вдруг почувствовал, что не в силах увидеть слабую улыбку, которой она постарается скрыть свое разочарование. И потом эти родственники отца — он не знал наверняка, любит ли она их, а они ее. В том-то и беда с отцом — он о нем ничего не знал.

Да еще вдобавок в Сковлю, как каждое лето, наверняка придет тетя Кристина. Мысль эта, пугающая и сладкая, пронзила его вдруг как молния. Сначала он об этом не подумал. Не принял в расчет. По отношению к ней у него вообще не было никакого расчета. Он знал это наверняка. И думал об этом не без гордости...

Но мало-помалу его уверенность стала таять — теперь он был все меньше и меньше уверен, что здесь не было расчета. Но и это подозрение пробудило в нем какое-то злорадное удовольствие.

И в тот же миг на него нахлынули воспоминания о тяжелых минутах, пережитых в Сковлю, о страхах, преследовавших его там в темноте. Больше того, он заново переживал эти минуты. Протекшего с той поры времени как не бывало — он явственно ощущал все, вплоть до запаха бревенчатых стен, обшитых панелями и обтянутых шелком, причудливую атмосферу бревенчатых хором, превращенных в комнаты в стиле рококо с французскими лилиями в рисунке обоев, с кушетками и стульями на гнутых ножках, все белое и блекло-золотое, и все сверкает, сверкает в полном противоречии с внешним обликом этого крестьянского дома, построенного в псевдонациональном стиле, украшенного резьбой и напоминающего огромные часы с кукушкой. Бревна и шелк! Снаружи — замок тролля, внутри — бонбоньерка. Впрочем, это противоречие всегда казалось есте-

ственным, дом просто не мог быть другим, в нем тоже было нечто непреходящее. Но однажды дядя Рене обронил замечание насчет стиля, и все засмеялись. И вот тут Маленький Лорд впервые *увидел* дом, но полюбил его еще больше, точно заколдованного уродца, пристанище для безобразнейшего из владык земли...

А осенние ночи, когда сумерки плотно обступали дом, окутывая его непроницаемым мраком! В ту пору у них гостили двоюродные братья. Они спали вместе с Вилфредом в большой комнате окнами на восток — кровати стояли вдоль трех стен. Ему полагалось ложиться раньше всех — он был самый младший и й, — а они ревниво оберегали свои права. Он старался забиться в какой-нибудь уголок, чтобы его не нашли. Но в конце концов чей-нибудь голос говорил: «А ну, Маленький Лорд!» И неизбежное свершалось.

А потом он шел через пустой холл, где тускло светила одинокая лампа, еще увеличивавшая темноту. А потом лестница — он жался к самым перилам, чтобы она не скрипела; потом длинный холодный коридор наверху и, наконец, детская... Он стоял посреди комнаты, замирая от страха. Окна зияли провалами в темноту, а за ними шелестели свою вечную песню липы вокруг беседки. Одним прыжком он подскакивал к окну, спустил сначала одну, потом другую штору, выдворяя ночь на улицу. Но тусклые синие шторы тоже как бы источали крошечную тьму. И он снова стоял в полном смятении, не смея шевельнуться, не смея раздеться, зажечь лампу и вообще что-нибудь предпринять.

Коробок спичек на комод! Утешительное крошечное пламя, которое в ту же минуту съезживалось, отказываясь светить для него... Большой белый абажур — он осторожно снимает его, чтобы не задеть стекло лампы, в темноте бережно отставляет его в сторону, снова зажигает спичку и быстро подносит к лампе, так что пламя вспыхивает со свистом. Потом счастливые, благословенные мгновения, когда пламя разгорается, и он надевает на лампу белый стеклянный колпак, и свет все шире расплзается вокруг. А потом зловещее открытие, что свет все-таки ложится очень скупо и за пределами светлого круга лежат темные поля. И от этих пятен еще страшнее, чем когда совсем темно.

Вилфред стоял возле самой лампы, глядя на ее тусклый свет, и чувствовал, как кровь стучит в висках. Вот-вот придут двоюродные братья. Он услышит, как они поднимаются вверх,

когда скрипнет третья снизу ступенька, — они не жмутся к перилам, а идут посреди лестницы. О, эти бесконечные минуты, бесконечное ожидание, полное невыразимого страха. Далекий шум моря отдавался в его голове так, точно она раскалывалась изнутри. Из углов к нему протягивались чьи-то руки, и даже запертая балконная дверь не могла защитить его от грозного *извне*, которое ломилось в дом. К нему не долетало ни запаха, ни звука, в которых он мог бы найти опору. Безграничное одиночество все росло, вытесняло последние крохи мужества. Страх разрушал Вилфреда изнутри, его собственные очертания расплывались и таяли, и самое ужасное было в том, что он был не в силах пошевелиться, чтобы противостоять этому процессу полного уничтожения и доказать себе, что он существует.

И тут раздавался скрип ступенек: они! Его охватывало ликование. Спасен. Снова спасен, но на сей раз в самую последнюю секунду. И тотчас комната вновь обретала границы, а он сам — утраченные очертания, он снова жил.

Но тут его охватывал новый приступ страха: а вдруг его застигнут на месте преступления, уличат в том, что он трусит. Он действовал с быстротою молнии — сбросил ботинки, отшвырнул их ногой под кровать, а сам в одежде юркнул в постель, натянул перинку до самого подбородка, лежит не шевелясь, дышит тяжело и ровно, точно заснул глубоким сном, и только сердце громко колотится.

Но братьев не так легко обмануть.

— Маленький Лорд! — на всякий случай шепчут они. В ответ слышится ровное дыхание. — Мы знаем, ты не спишь.

Грозные шаги приближаются к постели. Братья рывком дергивают перинку.

— А-а! Лежишь одетый! Маменькин сынок боится темноты!

Унижен! Снова унижение — бог знает в который раз. Унижен в глазах старших братьев.

— Маменькин сынок боится волн! Маменькин сынок плещется в купальне вместе с мамой! Маменькин сынок боится ходить в темноте в уборную и устраивается под ивой!

Это была правда, чистая правда. Он лежал, осыпаясь градом насмешек, и чувствовал себя так, точно палачи живьем сдирают с него кожу. Все это правда — он трус, он боится воды, боится темноты, боится всего на свете. А противные долговязые отпрыски дяди Мартина не упускают случая покуражиться над ним. Они знают, что он не может ответить, ведь ответить — значит выдать себя. Он и вправду однажды устроился под боль-

шой ивой, потому что не решился пройти дальше по обсаженной кустами тропинке до продолговатого строения, где помещалась уборная, там, рядом с двумя отверстиями, предназначенными для взрослых, находилось маленькое детское сиденье, к которому вела лишняя ступенька. В тот вечер по тропинке ползали ежи и скакали лягушки и летучие мыши так низко проносились над кустами сирени, что, казалось, вот-вот схватят его и умчат с собой. В конце концов он устроился под деревом, почти посередине тропинки. А на другой день кто-то попал ногой в оставленные им следы, и братья стали дразнить его «Г...к», когда поблизости не было взрослых, да вдобавок рассказали эту историю Эрне и Алфхилд, девочкам, которые жили в белом домике за забором, и теперь девочки, одетые в светло-голубые платья, от которых всегда пахло утюгом и голубизной, при появлении Маленького Лорда зажимали носы и, выпятив губки, вполголоса бормотали: «Г...к».

Он и в самом деле купался с матерью в разошедшей купальне, которая внутри пахла отсыревшим деревом. Он бояливо спускался по крутой деревянной лестнице к матери, которая стояла внизу по грудь в воде, и па ней был купальник в красную и белую полоску, на котором солнечные блики, проникавшие сквозь решетку купальни, образовывали рисунок в клеточку; она заманивала его на скользкое дно, чтобы исполнить унижительный танец трусов: «Прыгай, гусенок, утенок, танцуй, а ну-ка станцуем, а ну-ка подпрыгнем, а ну-ка на корточки сели — плюх!» И на этом «плюх» голова его оказывалась под водой, мир летел куда-то в пропасть, а он в смертельном страхе желал только одного — перестать существовать. А потом он снова живой и невредимый оказывался на поверхности и видел перед собой смеющееся лицо матери... Какое предательство было в этом смехе! Сначала заманила под воду, а потом смеется! И вдруг сверху громкий хохот: это братья прокрались в купальню, чтобы поглазеть, и теперь с самого верха, оттуда, где находится подъемный механизм купальни — грозная якорная цепь над железными рельсами с облезшей красной краской, — смотрят два смеющихся лица. И мать говорила двум зубоскалам с упреком, слишком мягким:

— Вот погодите, настанет день, и Маленький Лорд будет плавать как рыба, куда лучше вас!

Нет. Никогда он не будет плавать. Пусть, как всегда, держат его на помочах возле мостков. А он сделает то, что сделал недавно: они слегка ослабили помочи, чтобы посмотреть, не дер-

жится ли Вилфред хоть немного на воде, а он взял и нарочно стал тонуть; нарочно опустил на самое дно и уцепился за трухлявое бревно — к нему когда-то привязывали лодки, а теперь оно сгнило и затонуло. Он ухватился за бревно, решившись умереть на этом месте, и, сколько они ни тянули за помочи, не шевельнулся. Он сильнее их. В его власти умереть. А потом пусть делают что хотят.

Он не помнил, чем кончилась та история, но кто-то нырнул в воду, разжал его руки и вытащил на берег. Он плакал от стыда и злобы, когда пришел в себя.

Нет, он не будет плавать. Он скажет им, что хочет научиться, наденет большой пробковый пояс, оттолкнется подальше от берега, проплывет немного на поясе, а потом сбросит его и пойдет ко дну. А осенью море выбросит его на берег у маяка, и они найдут его посиневший и раздувшийся труп. Пусть тогда мама играет в «гусенка» с трупом, пока он не развалится на части, как это было с трупом собаки, который они однажды нашли на берегу, — Вилфред никогда не забудет эту собаку...

Все правда. И то, что он как безумный бежал далеко-далеко в глубь берега от набегавших волн, этих страшных морских призраков, которые, разбиваясь о длинную отмель, превращались в пенистые чудовища и, разевая пасти, гнались за ним, чтобы проглотить его.

И еще многое другое было правдой, только они этого не знали, и он дрожал: а вдруг узнают? Он так боялся грозы, что в нем все сжималось от страха, когда гроза еще только собиралась и никто ее не чувствовал, разве что мать, — она тоже нервничала во время грозы. Да, он так боялся грозы, что боялся даже солнечной погоды в июле, потому что кто-то однажды сказал, что жара и солнце электризуют воздух, и поэтому в ясной погоде он видел источник грядущего страха и боялся солнца.

Да, все, из-за чего братья смеялись над ним, и еще многое другое было правдой. Унижениям Маленького Лорда не было конца. Чего стоил, например, тот случай, который произошел, когда ему было пять лет. Он тогда хвастался, что научился хорошо читать, и мать гордилась им и давала ему газету, чтобы он читал оттуда вслух, а он тайком прочитал восемнадцать увлекательнейших выпусков о приключениях Ника Картера, короля сыщиков, и добрался до девятнадцатого: «Морис Картер, король преступников». Его попросили почитать вслух матери, двоюродным братьям и теткам, собравшимся после обе-

да на открытой террасе. Каждая страница выпуска была напечатана в два столбца, разделенных не чертой, а узким белым пространством. Маленький Лорд читал уже довольно долго, когда дядя Мартин встал со стаканом в руке, сказав: «Что за ерунду читает мальчик», — подошел, не выпуская из рук стакана, и заглянул ему через плечо. И тут он обнаружил, что мальчик читает строчки целиком, соединяя два столбца в один, и так он прочел все восемнадцать тетрадей — это одаренное дитя... И какой же тогда раздался смех — тут были ручьи, каскады, потоки смеха, которые, казалось, затопят все; и, спрятавшись за спинами взрослых, взвизгивали и завывали братья.

Тогда Маленький Лорд спокойно встал, хотя весь пылал от стыда, забрался на гору, взял в правую руку камень, левую положил ладонью на выступ горы, занес руку с камнем и изо всех сил ударил по кончику безымянного пальца, так что сломал верхнюю фалангу и потом пришлось снимать ноготь.

Он испытал наслаждение — наслаждение от того, что его унизили. В то лето единые прежде чувства раздвоились для Вилфреда: радость через мгновение окрашивалась печалью, а страх — блаженством.

Унижение может обернуться удовольствием — пожалуй, если поразмыслить, Вилфред понял это очень давно. Наверное, еще тогда, когда в разгар летнего дня, совершенно один взобравшись на высокую прибрежную скалу, он бросал вверх большие камни, чтобы поглядеть, не упадет ли один из них ему на голову. Он до тех пор бросал камни и зажмурившись напряженно ждал, пока один из них в самом деле не угодил ему в голову, и мир взорвался. Весь в крови, в полубомороке лежал он на скале, волны боли, то мучительные, то сладкие, то синие, то красные, прокатывались по его телу, а в открытой ране на голове усиливалась глухая боль, и волосы слиплись от крови.

И когда он крал, было то же самое — и страшно, и сладко. В эти годы, полные мучительных страхов, он часто крал. Однажды в теплый июльский день, когда море лежало в легкой дымке, мать поехала в город за покупками и взяла его с собой. В два часа они стояли на Стурторв и видели, как на шпиле Магазина стекла опустился золоченый шарик — это означало, что пробило два. Потом они вошли в магазин, и он правой рукой держал за руку мать, которая разговаривала с продавщицей, а левой крал с прилавка маленькие солонки из разноцветного стекла со звездочкой на дне: желтые, зеленые и красные солонки. И ему было хорошо и приятно. И ему было хорошо, когда,

взяв иглу, он проткнул ею переднюю шину велосипеда, прислоненного к забору. Из шины со свистом вырвался воздух. Но когда из дома вышел Микаэль и увидел, что стало с велосипедом, на котором он как раз собирался куда-то поехать, было просто стыдно и ничуть не приятно и признаться было нельзя, потому что никто бы ему не поверил и все стали бы приставать, зачем он это сделал.

А однажды он украл слоника из кости, стоявшего на полочке у дяди Рене, и тащился через весь город до Ватерланна, чтобы продать его старьевщику, но старьевщик пригрозил ему полицией, и тогда было просто страшно и нисколько не приятно. Всю осень он проносил слоника в кармане, каждую ночь перепрятывал его в новый тайник, пока не догадался написать записочку от имени «отца» и пойти к другому старьевщику, по соседству с первым. Там он продал слоника за восемь крон, и это было захватывающе и страшно, и на этом дело кончилось. И все-таки это было приятно. Хорошо было идти ко дну и думать, что никогда не всплывешь на поверхность, хорошо было гибнуть. Но всплыть на поверхность вопреки всему, вновь войти в соприкосновение с окружающим, с тем, что по-настоящему хорошо, с теми, кому хорошо от хорошего, — вот это было совсем неприятно. Очень неприятно.

Они это знали. Братья, а пожалуй и все на свете, умудрились знать про него все.

Но тайн его они не знали. Их не знает никто. Надо только уметь хранить тайну. Они не знали про грозу и про то, что он бросает вверх камни, пока в тот день не нашли его в крови и он стал рассказывать о камне, который упал с неба, о метеорите, об огромной птице, и так как они ему не поверили — о чужом мальчишке, о великане с камнем в руке, о чудовище...

Его тайн они не знали. Не знали о девушке с апельсином.

Длинный пустынный коридор с тусклым газовым рожком в самом конце. В ту пору семья жила тут; в конце длинного коридора — уборная, потом прихожая, оттуда короткая лестница вниз, на улицу, где сыро и холодно. Вдоль одной из стен в коридоре полки, тесно уставленные банками, а в них заспиртованные гадюки: каждая изящно изогнулась в своей банке в полутьме.

Пока он шел в ту сторону, где было холодно, он почти не боялся: во-первых, газовый рожок светил впереди, во-вторых, ему надо было «в одно место», как это принято говорить... Зато на обратном пути, когда рожок оставался позади и длинная тень, вздрагивая, ложилась на банки с гадюками, а впереди было темно и идти в темноте надо было долго и он уже начинал сомневаться, есть ли в конце дверь и кончится ли все благополучно, даже если он доберется до двери, откроет ее и увидит холл, ярко освещенный висячей лампой и светом из всех выходящих в него и распахнутых дверей, — вот тут Маленький Лорд просто леденел. Пока тянулся коридор и рожок был позади и становилось все темнее, впереди был безысходный страх. То, что могло поглотить его, было впереди, а надежды никакой... Вдруг в конце коридора не окажется двери... Разве можно в темноте знать наверняка, есть ли там дверь, что, если она ему только пригрезилась...

И вдруг по левую сторону коридора появилась полоска света. Она появилась в простенке между полок с гадюками в неверном свете рожка. Он услышал приглушенный смех. Там жили служанки, Эмма и Мария. Он никогда не мог поверить до конца, что они там *живут*. Днем это были просто «служанки» — девушки, которые чистили обувь, готовили еду, убирали. И вдруг оказывается — они тут живут, они выступили из темноты и стали реальностью. Но главное — в них было спасение, потому что в дверной щели мерцал свет.

Он вихрем ворвался в комнату — там стояли две кровати. Он никогда прежде не бывал в комнате служанок. Кровати стояли у стен, справа и слева от двери, впереди было окно со шторой, на шторе рисунок — ваза, расписанная цветами. А перед окном комод, и на комодe две гипсовые лошадки, скрестившие шеи.

Та, которой принадлежала постель слева, уже легла. Это была Мария. Она буркнула что-то неприветливое и отвернулась к стенке, она спала. Но Эмма еще не легла. Она собиралась лечь. Она стояла в корсете и штанишках, обшитых кружевом. Откровение, полное очарования и неожиданности, обещающее защиту и — он почувствовал это в ту же минуту — таящее опасность.

Это была Эмма. Она улыбнулась, она все поняла.

— Ты испугался? — спросила она. И в ту же минуту растегнула корсет, как это делала мать. — Ты испугался? — спросила она. И еще она сказала: — Не бойся! — А он прижался

головой к ее груди и почти заставил ее опуститься на кровать. Она сказала: — Я отведу тебя в детскую и уложу, нянька, конечно, уже легла. — Теперь он понимал, что слово «нянька» она произнесла враждебно и с презрением.

А он прижимался к ней, к Эмме, зарылся в нее лицом, боясь, что она уйдет и уведет его отсюда. Ему было хорошо — в одно и то же время спокойно и страшно. И Эмма сказала: «Ну, милый...» — незнакомым ему голосом и снова: «Ну, милый...» И голосом, все более незнакомым: «Ну, милый, милый...» Голосом, который он никогда не слышал. А он все теснее прижимался к ней из страха перед темным коридором, перед газовым рожком и гадюками в банках, из страха, что опять будет то, что уже было и что не имеет ничего общего с тем сладким страхом, который ты чувствуешь, когда опускаешься на дно, когда ты цепился за что-то глубокое-глубокое, далекое-далекое и бесконечное, откуда никто не возвращается.

А голос говорил: «Ну, милый!»

А он лежал среди водорослей и цеплялся, цеплялся за какой-то глубинный мрак, который нельзя выпустить из рук, в котором смерть и жизнь, страх и отрада и в котором хочется утонуть.

Была Эмма, был голос, была Эмма, был рожок в конце коридора и сам длинный коридор. В соседней кровати похрапывала Мария.

Была Эмма. Она предала его. Она сказала Марии, которая тем временем проснулась:

— Ей-богу, мальчишка рехнулся, ведь ему всего пять!

А однажды вечером она стояла с садовником под навесом у сарая и говорила: «Ну, милый...» — тем же самым голосом. Он это знал всегда и теперь. Времена смешались, слились в одно.

Но в тот вечер она была очень ласкова к нему. Она проводила его в детскую и уложила в постель в тот тяжелый миг, когда он вновь вынырнул на поверхность, когда он понял, что жизнь идет своим чередом, сладкое погружение в небытие кончилось, а страхи, что были прежде, не кончились.

А может, все окружающие знают все и просто прикидываются незнающими, чтобы вытащить на свет божий то, чего он стыдится. Но Эмма была ласкова с ним. Она уложила его, укрыла перинкой и сказала:

— Раз мамы нет дома...

И вдруг он почувствовал запах апельсина. Не выдумал, а именно почувствовал. Хотя от Эммы пахло не апельсинами. От нее пахло медом. Но дело было в другом. В том, как он увидел Эмму в первую минуту, когда вошел.

И вдруг, сидя на краю кровати, он поднял глаза и увидел перед собой на стене картину, скверную дешевую олеографию. «Девушка с апельсином»... Время и пространство слой за слоем вдруг стали расплываться, сливаясь воедино. Так вот в чем дело — картина эта висела над кроватью у Эммы и последовала за семьей Вилфреда на Драмменсвей.

Это была все та же картина, глупая картина, наполнявшая его сладким отвращением каждый раз, когда его взгляд случайно падал на нее, и которую он не имел решимости выбросить. Картина-дешевка, черноглазая девушка с апельсином в руке, потрескавшаяся олеография в комнате у Вилфреда — Вилфреда, который накоротке с танцовщицами Дега, который может смаковать синий цвет Боннара. «Девушка с апельсином», отвратительное создание в простой позолоченной рамке, это была Эмма, его стыд и блаженство, его страх перед длинным темным коридором.

Он сердито вскочил, подошел к картине, чтобы обеими руками сорвать со стены и, сломав раму о колено, растерзать в клочья и выкинуть за окно.

Но когда он уже стоял, весь дрожа, перед девушкой с апельсином, она на его глазах вдруг изменила выражение, *приобрела* выражение: да ведь это Кристина, тетя Кристина, во всяком случае, могла быть Кристиной, она похожа на нее...

Чепуха. Это была дешевая копия одного из банальных «шедевров», этакий прямоугольный уродец, который кочевал из одной комнаты для прислуги в другую, чтобы прикрыть пятна на обоях.

И все-таки сходство с Кристиной было. Оно было в таинственно шепчущем взгляде. Разве у Кристины карие глаза? Ну конечно, карие. Ведь он это знал всегда. Руки, чуть вялые, держат апельсин, не сжимая его. Нежные руки Кристины тоже прикасались ко всему очень мягко. Лишенные энергии и лишненные добродетели, конфетные руки...

Он стоял перед картиной со смутным чувством протеста. Его худые мальчишеские руки бессильно повисли. Только что, минуту назад, он хотел разорвать ими дурацкую картину, те-

перь он снова поднял их и ласково провел по потрескавшейся поверхности. Но стоило ему коснуться пальцами апельсина, как его обожгло холодным пламенем страха и наслаждения. Девушка с картины, девушка из комнаты служанок смотрела на него с невозмутимым удивлением.

Опустившись на колени перед кроватью, он зарылся лицом в выпуклый рисунок вязаного покрывала. И когда избавительные слезы брызнули у него из глаз, ему показалось, что он несетя на волнах через моря и страны, через земли, освещенные солнцем, которое темнеет от собственного жара и понемногу становится темно-красным. Но волны несли его все дальше по воде, сквозь чистую синеву и пятна света, просеивали его сквозь ветви фруктовых деревьев, несли к стране, залитой лунной зеленью, где свет был тенью, а тень светом, где было так отрадно постепенно превращаться в ничто и где был предел всему.

— Кристина! — рыдал он.

9

Он проснулся сидя на полу — там, где заснул. И сразу вспомнил, что произошло. Ему и прежде случалось вот так внезапно засыпать после сильных душевных потрясений.

Лунный свет ложился широкой полосой на стол и на пол с плюшевым ковриком у кровати, который от лунного света казался зеленым. Он вынул карманные часы, повернул циферблат к свету. Стрелки показывали час. Неужели кто-нибудь заходил сюда и видел его спящим в этой позе? При этой мысли он содрогнулся, она была ему отвратительна, как всякое разоблачение.

Он подошел к двери. Слава богу, заперта: должно быть, когда мать вышла, он в раздражении запер дверь. Очевидно, он проспал обед, ужин и все на свете. Наверное, они подходили к двери, осторожно стучали, но его никогда не будили, если он вдруг неожиданно засыпал днем. Они знали за ним эти приступы «спячки».

Взяв в руки ботинки, он спустился по лестнице, прошел через прихожую в гостиную. Гостиная была залита лунным светом. Каминные часы под стеклянным колпаком показывали пять минут второго. Он посмотрел на свои собственные часы. Они по-прежнему показывали час. Очевидно, остановились в ту минуту, когда он проснулся. Мысль эта вдруг наполнила его

тревогой. Весь дрожа, он стоял в холодном свете луны и думал: «Пока я спал, я был жив, а теперь?»

Ему вдруг не захотелось возвращаться наверх, в свою комнату. Он посмотрел в окно на темную гладь Фрогнеркиля, прорезанную острием лунного луча. А что, если взять велосипед и гонять на нем по ночному городу, пока не почувствуешь себя свободным как ветер! Вилфред действовал быстро, чтобы не передумать. Взял на каминной полке спички, по-прежнему держа ботинки в руке, пробежал через прихожую, сорвал с вешалки серое пальто, тихо открыл замок и, крадучись, выбрался на лестничную площадку, где стоял велосипед. Наружная дверь была заперта.

Верхняя дверь тоже захлопнулась за ним. Он попал в западню на лестнице из восьми ступенек, которые он не мог видеть, но ощущал явственной, чем тогда, когда вихрем взбежал по ней, перепрыгивая через две или три ступеньки, или, задумавшись, медленно спускался вниз.

Его мысль работала особенно остро, как у зверя в капкане. Кровь билась приятными толчками — его радовала необычность происходящего. Он выудил самый тоненький ключик из велосипедной сумки с инструментами и всунул его в старый замок на входной двери, напряженно размышляя о том, как выглядит замок внутри. При случае надо это выяснить. Кто знает, может, в один прекрасный день ему придет в голову взломать замок не для того, чтобы выбраться из дома, а чтобы забраться в дом.

Когда замок поддался, его охватило ликование. Он не надеялся на успех. У него мелькнула мысль, что удача всякий раз его удивляет. Он выкатил велосипед на улицу и тихо прикрыл за собою дверь.

Карбидный фонарик не зажигался. Ну и бог с ним. Было светло от луны. Он сунул спички в карман и вскочил на велосипед. Ему вдруг стало страшно весело. Он летел наперерез острым теням деревьев, стоявших вдоль аллеи, точно поднимался по лестнице без ступеней. Это было легче легкого. Веселье клокотало в нем, он выехал на Драмменсвей и запел во все горло. В какую сторону ехать? Пусть решает луна!

— Пусть решает луна! — пел он, довольный своей выдумкой. Энергия била в нем через край, он решил взять подъем и только на улице Лёвеншолсгате почувствовал, что мышцы устали и он запыхался, тогда он сбавил скорость и отдался свободному бегу велосипеда.

Хутор Лилле Фрогнер как бы парил в лунном свете. Вилфред решил поехать по узкой тропинке, которая шла вверх по холму через весь хутор между жилым домом и службами. Дорожка здесь была вязкая, жарко пахло коровами. Шины скользили, так что ему пришлось слезть с велосипеда и вести его. Между службами было совсем темно, лунный свет сюда не проникал. Он все медленней шел по скользкой тропинке. Он запыхался, но ему все доставляло какое-то безотчетное удовольствие.

Возле служб он остановился, переводя дыхание и втягивая носом запахи скотного двора. Это была полоска крестьянской земли между виллами и желтыми дачками, сдающимися в аренду, а рядом тянулся выгон, где весной и осенью паслись овцы. Вилфреду хотелось увидеть эти дома, увидеть ложбинку, по которой он шел, увязая, в полной темноте, осмотреть все. Он чиркнул спичкой и, когда она вспыхнула, огляделся вокруг. Он чиркнул еще одной и жадно стал разглядывать непривычную обстановку: темно-красную стену сарая, которая поднималась вверх, к свету луны, и терялась где-то в темноте, а с другой стороны — темно-серый угол обветшалого жилого дома. Он зажег спичку за спичкой, охваченный жадным желанием увидеть, которое вдруг превратилось в какую-то одержимость. Ему хотелось видеть все, насладиться ощущением того, что он видит, хотелось все залить ярким светом. Он стал зажигать сразу по две спички.

Но ему все было мало, ему хотелось видеть больше. Он зажег спичку и осмотрелся вокруг, нет ли поблизости какой-нибудь лучинки, которую можно зажечь, чтобы заглянуть в проем между домами, — мало ли что там происходит, интересно посмотреть.

На тропинке чуть повыше лежала куча веток. Он поворошил их дрожащей рукой. У него осталось всего три спички. Если он хочет разжечь костер, надо быть экономным. Он положил велосипед на землю, а сам опустился на колени. Первая спичка вспыхнула и тут же погасла.

Его охватил страх — а вдруг он не увидит? Вторую спичку он бережно заслонил рукой и поднес ее снизу к тоненьким веточкам. Они стали тлеть, но не загорались.

Он вытянулся плашмя возле кучи ветвей. Длинные прутья еле-еле тлели. А ему хотелось, чтобы здесь, среди домов, где терпко пахло скотом и навозом, вспыхнул свет, отблеск которого радостно заполыхает в его сердце. Ему хотелось слышать треск огня и видеть. Да, видеть, как в языках пламени ожи-

вает все вокруг, в том числе и эти дома, в которых идет своя жизнь.

Наконец от третьей спички ветки занялись. Лежа на животе, он стал осторожно раздувать огонь, пламя вспыхнуло, стало больше, не то чтобы совсем большое, но больше. Ему стало безумно весело — наконец-то!

Вилфред перевел настороженный взгляд с костра на красную стену сарая, которая прежде возвышалась тенью в темноте, — теперь пламя отбрасывало на нее свой отблеск. И в этих легких вспышках пламени стена ожила, точно он вызвал ее к жизни из тьмы, чтобы она стала *видимой*. Так пусть же все станет зримым, оживет и засверкает вокруг него! Радость билась теперь в каждой клеточке его существа. Он совершал огромное беззаконие, и оно как бы тоже засверкало ярко и радостно над всеми его мелкими прегрешениями.

Тут он услышал шаги. Скрипнула дверь. Вилфред вскочил, грубо возвращенный к действительности, которая на время перестала для него существовать. Пытаясь затоптать костер, он при этом схватился за руль велосипеда. Теперь он услышал, как позади открывается дверь, почувствовал, как чуть повыше его плеча из двери протянулся луч света. Но Вилфред был уже в седле! Он мчался в темном враждебном пространстве. Колеса буксовали на скользкой тропинке. Но вот под ним оказалась твердая почва, и он стал взбираться на Бундеюрдсбакке. Теперь ему придется сбавить скорость, но через несколько минут он доберется до деревянных построек в районе Брискебю; там он сможет укрыться между наставленными как попало домишками, под деревьями, которые отбрасывают в лунном свете длинные тени.

Когда он добрался до этих низких домиков, все было тихо, никто его не преследовал. Он лег на землю, прислушался, потом, не теряя времени, снова сменил направление и повернул налево. Он вдруг утратил ясность мысли, а как отчетливо он все сознавал прежде! «Я делаю глупость», — подумал он. Но не мог сообразить, что же ему предпринять. Дорога Брискебюевой тянулась по открытой местности. Ураниенборгская церковь была залита лунным светом. «Мне надо было спрятаться среди тех домов», — думал он. Лунный свет заливал старую кузницу у подножья холма, где начиналась улица Индустригате. Можно было прочесть вывеску — «Кузница» было написано на ней. По правой стороне Индустригате снова потянулась беспорядочная череда деревянных домишек. Но Вилфред опять не стал

прятаться за ними, он совершенно потерял присутствие духа, ему со всех сторон чудились голоса. Улица, по которой он взбирался вверх, была просто грязной канавой; он старался держаться обочины, где земля была тверже. Пешие его не догонят, ну а конные? А автомобиль? У полиции теперь есть автомобили, он читал об этом. Он читал о французских автобандитах, которые грабят банки, — за ними охотятся по всей стране с огнестрельным оружием... Вилфред тоже автобандит, и его будут преследовать на автомобилях. Он налег на руль и мчался сквозь ночь, точно злой дух, нечистая сила. В нем звенели страх и ликование, которые поднимали целую бурю в его крови.

Он остановился на незнакомой улице. Нигде ни души. Теперь он понял, что никто его не видел. Никто его не преследовал. Человек на хуторе Фрогнер, как видно, затушил костер и вернулся в дом.

Но что тот человек подумал? Кто мог развести костер? При этой мысли вся его радость улетучилась. И снова вернулся опустошающий страх перед последствиями. Перед последствиями, о которых он всегда забывал в минуты возбуждения. Теперь их накопилось много, их еще не обнаружили, но они сомкнутся в единую цепь — *последствия*, все последствия сразу...

Он слез с велосипеда и подошел поближе к одному из домов, чтобы прочитать название улицы. Соргенфригате.

Название поразило его. Вот это название, вот это слово: «соргенфри» — свободный от забот. Беззаботный. Мечта, надежда...

А может, на свете есть много беззаботных людей? Людей, не знающих забот? Впрочем, он ведь хотел познать настоящее горе, но вместо этого растрачивал себя в мелких горестях, проистекавших от его же собственных проделок. Холодея от страха, он вдруг подумал: «А на что я, собственно, рассчитывал, зажигая костер?» Ему мерещился охваченный пламенем скот, мечущийся в дверях хлева, слышалось мычание коров, привязанных в стойлах. Неужели он этого добивался? Он стоял, стискивая холодный руль велосипеда. Луна висела совсем низко, на улицах стало почти темно, но уже подкрадывался рассвет.

Когда он снова вскочил на велосипед, сиденье под ним покачнулась, как видно, крепление ослабло, когда он бросил велосипед на землю возле костра. Он снова слез с велосипеда, нашел в сумке тяжелый гаечный ключ и стал подкручивать гайку. В ту же минуту из темноты вырос полицейский.

— Ты что же это, молодой человек, едешь без фонаря? — Полицейский был маленький крепыш с черной бородкой, выглядывавшей из-под черной каски с блестящим острием. — Да и вообще, что ты делаешь на улице в такой час?

Маленький Лорд похолодел, и в то же время мысль его заболела с прежней отчетливостью. «Теперь я Вилфред, — пронеслось у него в голове. — Опасность». Он вскочил на велосипед, нажал на педали. Но полицейский оказался проворнее, он ухватился сзади за багажник. Велосипед резко накренился. Одна нога Вилфреда уперлась в землю. Тогда он быстро повернулся и гаечным ключом, который был у него в руке, изо всех сил ударил по пальцам, которые вцепились в багажник.

Пальцы разжались; через мгновение полицейский снова попытался схватить велосипед, но на этот раз промахнулся. Подросток на велосипеде уже был на пять шагов впереди. Полицейский пустился за ним вдогонку, но расстояние между ними все росло. Вилфред чувствовал такой прилив сил, когда море по колено. Он свернул в первую же улицу, по ней стрелой спустился вниз, туда, где шли трамвайные линии, и снова повернул, оставив полицейского далеко позади. Где-то вдали в ночи верещал одинокий свисток.

В нем снова вспыхнуло торжество. Он летит на горячем скакуне, а за ним несется погоня: топот подков, множества подков! Но им его не догнать. Он не оборачивался. Улица, по которой он теперь мчался, была коварная — вся в колдобинах. Он вглядывался в темноту впереди, все время опасаясь какого-нибудь подвоха: еще, чего доброго, свалишься на землю. Но им его не догнать. Жребий брошен. Странное спокойствие охватывало его, пока он летел, да, именно летел, точно Блерио через канал, с шапочкой, сдвинутой на затылок!

Вилфред притормозил и огляделся вокруг. Улица была безлюдна. Он спрятал велосипед под кустами в каком-то парке, навесил на цепь замочек и сунул ключ в карман. Потом стал подниматься вверх по крутому склону, где не было видно тропинки, точно он шел по низкорослому лесу. Неужели он оказался за чертой города? Позади ни свистка, ни голосов. Только низкая луна, которая поднималась и становилась видимой по мере того, как он сам поднимался вверх.

На вершине — это оказался Блосен — Вилфред опустился на землю и стал глядеть на фьорд, залитый лунным светом, — совершенно новый мир. Совершенно незнакомое зрелище — шпиль Фагерборгской церкви вблизи, а вдали, посреди города,

величавый зеленый купол церкви св. Троицы, в нем отражается свет луны. Такой странный и незнакомый мир, что все двинулось вспять, назад, к той минуте, когда Вилфред днем уснул в тоске. Кристина — он не вспоминал о ней все это время. Девушка с апельсином...

Смертельно усталый, взмокший от пота, он склонился к самой земле. Но приступ усталости так же внезапно прошел. Все, что разыгралось на хуторе и на улице, не то стерлось из памяти, не то затянулось какой-то пеленой. Зато восстановилась связь с тем, что произошло дома, в его комнате. Прошлое — оно нахлынуло на него там, точно он впал в забытие. Теперь оно всплыло снова, все то, что надвинулось на него тогда, от чего он пытался отгородиться сном.

Между прошлым и нынешней минутой было какое-то сходство. И теперь он понял, в чем оно. Ему снова, как тогда, предстоит принять решение. Он выпрямился, вдыхая ночной воздух...

Он вспомнил осень, которая пришла вслед за тем летом, полным унижений. Тогда-то он и стал пай-мальчиком, — мальчиком, который делал то, чего от него ждали, потому что в глубине души он уже начал смутно угадывать, что где-то на самом дне унижения таится своего рода торжество, а страх и боль изподволь превращаются в храбрость и во что-то приятное.

Да, так все и началось. А потом первый день в школе, куда его привела мать, и фрекен Воллквартс задавала ему вопросы. Да, он поступает в школу несколько позже обычного, зато он свободно читает и пишет и немножко знает французский. У него была гувернантка. Он способный и скромный мальчик, который вежливо кланяется и при этом не страдает чрезмерной застенчивостью. Теперь Вилфред все это сознавал совершенно отчетливо, и ему даже начинало казаться, что он с первой же минуты действовал по обдуманному плану.

А потом он впервые был в гостях и вел себя так галантно, что дяди изумленно подняли брови, а тетки пришли в экстаз. Он вспоминал всю свою программу, в которой, казалось, не было места случайностям. И домашние будни — теперь он перестал бояться двоюродных братьев. Тогда ему было семь, и они могли запугать его чем угодно, а теперь ему было восемь! Теперь он мог позволить себе держаться самоуверенно, впрочем соблюдая меру. Было такое магическое слово, «спасибо», и еще дру-

гие слова: «большое спасибо» и «огромное спасибо», они действовали безошибочно. Он научился говорить: «У тебя новое платье? Какое красивое!»

Труднее было научиться прыгать с лыжного трамплина. Труднее было научиться плавать.

Жуткая бездна внизу под ногами, которая готова поглотить тебя, как только ты оторвешься от утлой площадки трамплина.

Трамплин у них дома в саду возле железнодорожной насыпи... Крошечный трамплин, который соседский мальчик Дик построил под его руководством и с которого они летели, как им казалось, с головокружительной быстротой... Дик был родом из Голландии, он никогда не видел настоящих трамплинов, а сам Вилфред... Мать сидела в эркере у окна, занимаясь рукоделием, и одобрительно глядела на него. Но сам трамплин ей не был виден; вот Вилфред прыгнул, упал, быстро стряхнул с себя снег внизу, где она его не могла видеть, потом быстро взобрался на холм пониже трамплина и потом быстро-быстро съехал вниз к самой ограде, чтобы она не догадалась — а может, она догадывалась? — что он падал.

Еще прыжок, еще один. Он падал, стряхивал с себя снег, требовал, чтобы Дик отмерял длину прыжка, взбирался чуть выше, хитрил, оттягивал очередной прыжок, а когда замечал, что мать смотрит на него, принимал непринужденную позу. Мать кивала ему, он ей. Снова наверх, снова прыжок. Выше, еще выше. Прыжок. Падение. Падение. Опять падение. А голландец Дик хохочет, он никогда не видел настоящих трамплинов и падает еще до того, как прыгнуть.

И как потом двоюродные братья брали его с собой в Хюсебю на трамплин Сташунсбакке и другие трамплины, где мать уже не могла ободрить его взглядом. Варезки, шапка-ушанка, а к пуговичке привязан пакет с завтраком. И зловещий трамплин, бездна страха. Последняя бездна — путь в небытие.

Братья внизу, они уже прыгнули. Они смеются, потешаются: — Ну, а ты чего ж? Трусись?

И вот он взбирается, неотвратно движется к трамплину, к пропасти, к краю пропасти... И потом — великое ничто. Прыжок, смерть. Четыре метра. И-и-их!

Чувство счастья, когда он понял, что жив и скользит на спине, раскорячив ноги с лыжами. Потом быстрый, полный горечи подъем к вершине, мимо трамплина, выше, еще выше. И опять. Страх. Снизу крик: — Готово! Прыгай!

Прыжок. Падение. Прыжок. — Корпус вперед, Маленький

Лорд! — Он наклоняется вперед. Падает на спину. Снова встает. Прыжок, падение. Снова подъем. Страх. Прыжок, бездна, смерть. Падение. Наклон вперед. Падает на спину. Бойтся. Бойтся. Бойтся. Но он решил на это. И он не отступит.

Зачем? Решился, и все тут. Решился прыгать с трамплина, плавать, стать лучше всех. Кого всех? Всех вообще. В школе, на трамплине, в воде. Лучше всех.

Целый год страхов. Целая зима... Год стараний. Он готов убить того, кто догоняет его и вот-вот обгонит... И когда на другое лето он научился плавать, ощущение, что он оторвался от всего земного. Боевое крещение, победа...

Вода мягко обволакивала ноги, под ним внизу была мглистая бездна, он был в море, оторвался от берега. И не боялся... Это была самая большая его победа, самое яркое переживание. Оно почти изгнало в то лето все остальные страхи, пока он не привык плавать, и тогда страхи понемногу, ползком вернулись обратно.

И дядя Мартин сказал, сидя с неизменным стаканом на открытой террасе:

— Вот это я понимаю, малыш стал настоящим мужчиной!

Сказал, как бы преодолевая глубокое сомнение, и все-таки сказал. А мать ответила:

— Меня это ничуть не удивляет, я никогда в этом не сомневалась.

Только крошка тетя Валборг с грустью наблюдала за его успехами:

— По-моему, Маленький Лорд насилует себя, он переутомляется ради нас.

Это была правда — он из кожи лез вон, но не ради них, а ради самого себя, чтобы стать большим, чтобы над ним перестали смеяться, чтобы развернуться в полную силу и овладеть всеми тайнами, что ждут его впереди. В эту зиму он всячески избегал испытующего и сочувственного взгляда тети Валборг. Она единственная уловила частицу правды, может быть, потому, что была так мала ростом и не могла смотреть на него сверху вниз, с большой высоты.

Он старался ускользнуть от наблюдения, не глядеть им в глаза, зато с преувеличенным пылом бросался выполнять любое поручение. В школе он умышленно разыгрывал из себя первого ученика, который безудержно рвется к знаниям. Причем он все время чувствовал и знал, что сестрам Воллквартс это не по нутру, хоть они и осыпают его похвалами. Он это знал, но

в его программу входило ослеплять их, чтобы они не могли заглянуть ему в душу и он мог хранить свои тайны про себя.

Зато он накапливал тайны. Тайну он создавал из всего, из самых невинных вещей. Без всякого аппетита, но по всем правилам хорошего тона он ел нелюбимые блюда так, чтобы они думали, будто он их любит. («Маленький Лорд просто обожает суп из томатов...») Ему доставляло тайное удовольствие обводить их вокруг пальца, особенно оттого, что это давалось так легко, стоило лишь быть начеку. («Мальчик немного нервный, фру, я боюсь, не переутомляется ли он...») — «Что вы, доктор, вы представить себе не можете, как он охотно ходит в школу, как любит бегать на лыжах и прыгать с трамплина!»)

А он ненавидел все это. И смертельно боялся. Когда приближался момент прыжка, у него было такое чувство, будто из него выкачивают все внутренности, а когда ему в первый раз пришлось вместе со всем классом участвовать в лыжных соревнованиях по бегу и прыжкам с самодельного трамплина возле Трюванн, он от страха наложил в штаны, пока ждал в лесу своей очереди. Зато впоследствии он нежно поглядывал на полку, где стоял маленький серебряный кубок, и время от времени усердно его начищал. Это было свидетельство — он занял пятое место. Он знал, что лучших результатов ему не достигнуть. Знал, что, когда ему исполнится десять лет и их поведут на трамплин в Лилле Хеггехюллер, он будет разоблачен, потому что невозможно оставаться одним из первых, когда так трусишь.

Тем не менее кубок был доказательством, доказательством того, что он сделал еще шаг на пути к цели, к тому, чтобы навсегда избавиться от боязни разоблачения и насмешек, а это позволит ему наконец зажить своей собственной жизнью в мире тайн, так, чтобы ни один человек на свете не подозревал, кто он и что у него на уме.

Он коллекционировал свидетельства, отметки, поощрения. В хрестоматии читал несколько уроков вперед, дома страница за страницей зубрил карманную энциклопедию, в словаре Мейера выискивал иностранные слова и научился без запинки произносить «максимальный», «тривиальный», «тенденциозный», не поглядывая нерешительно на взрослых, как это делают дети, когда отваживаются употребить незнакомое выражение.

Когда-то он в ярости сломал себе палец, потому что его уличили в незнании, больше он таких промахов не допускал. Об-

суждая с дядей Рене «представителей постимпрессионизма», он теперь уже твердо знал, о ком идет речь. Он понял, что усвоить можно все: манеру поведения и даже характер.

Вилфред встрепенулся от холода — он сидел на камне на вершине Блосена. Луна уже совсем скрылась где-то внизу, на северо-востоке брезжил утренний свет. Он опять потерялся в воспоминаниях, как дома, возле кровати.

И вдруг он отчетливо вспомнил все, что произошло этой ночью. Ему грозит опасность. Он, по всей вероятности, поджег хутор, ударил бородастого полицейского в каске. За ним выслана погоня. Перед ним вдруг возникло слово *«разыскивается...»*.

Нет, он не потерялся в воспоминаниях. В воспоминаниях обо всех своих унижениях и о том, как он их преодолел, он обрел силу. Теперь опять, как в те годы, когда ему было шесть, потом семь лет, как все эти годы его воображаемых успехов, он стоял перед выбором, перед началом новой борьбы за свой тайный мир. На его стороне были все преимущества, у противника — никаких, потому что он один знал то, что он знает, потому что он прилежный, хорошо воспитанный, послушный мальчик и хорошо одет. Он не какой-нибудь оборванец, который стоит, потупив глаза, когда его о чем-нибудь спрашивают, и уже из-за этого кругом виноват. Вилфред один, у него нет сообщников, подозрение никогда его не коснется, если только он сумеет по-прежнему держаться особняком, притворяться и скрывать раздражающие его противоречия, которые клокочут в нем и вот-вот взорвут его изнутри...

Он довольно быстро нашел дорогу к дому. Утро было холодное и ясное. В кармане пальто он нащупал ключ от велосипеда. Пусть велосипед пока полежит в кустах, потом он его оттуда возьмет. Ехать на велосипеде в такую рань по безлюдным улицам небезопасно. Пожалуй, даже лучше послать за велосипедом кого-нибудь другого — Андреаса, например. Пожалуй, на этом велосипеде до поры до времени ездить не следует — насколько Вилфреду известно, ни у кого из его знакомых нет велосипеда марки «Рали». Вообще можно будет после экзаменов дать его на время Андреасу. Вскоре они с матерью уедут на дачу, а пока Вилфред обойдется без велосипеда. И Андреас будет доволен и благодарен. Маленький Лорд шел по дороге, вздрагивая от холода, но при мысли о том, что он обрадует Андреаса, ему сразу стало тепло.

И все-таки ему не следует шататься по улицам. Надо идти домой. Да, да, велосипед он отдаст Андреасу. Но сейчас пора домой. Если бы он мог сослаться на какое-то поручение, а то вдруг он кого-нибудь встретит, например бородатого полицейского...

На улице под уклоном раздались чьи-то шаги. Он нырнул в подворотню. Шаги приближались — вдруг это полицейский? Он побежал в глубь двора, три ступеньки вели к какой-то двери, она была заперта. Он съезжился в дверной нише. Шаги приближались, потом стали удаляться. Подбежав к воротам, он взглянул на улицу и увидел спину разносчицы газет, которая брела вдоль домов. На ремне подрагивала висевшая через плечо тяжелая сумка. Он облегченно перевел дух. Женщина остановилась, опустила на тротуар тяжелую сумку, потом взяла пачку газет и вошла в дом. Сумка осталась на тротуаре.

И вдруг Вилфреда осенила новая мысль. Женщина отперла входную дверь своим собственным ключом. Это был большой доходный дом, она не скоро вернется обратно, ведь ей надо рассовать газеты во все почтовые ящики.

Он одним прыжком подскочил к сумке, выхватил оттуда пачку газет. В дверях торчал ключ — как видно, женщина, уходя, снова запирает дверь. На мгновение ему пришло в голову повернуть ключ в замке и тем самым выиграть время. Но в этом не было нужды, у него в запасе не меньше десяти минут. Да и к тому же женщина не заметит пропажи газет, пока содержимое сумки не подойдет к концу. Он бегом обогнул ближайший дом и свернул на улицу Тересегате, безлюдную и унылую в разгорающемся утреннем свете. Пробежав целый квартал, он снова свернул за угол, на улицу Юсефинегате у стадиона Бислет. Теперь, если он встретит кого-нибудь из местных жителей, он замедлит шаги и станет разглядывать номера домов... Он трудолюбивый мальчик из бедной семьи, который до занятий в школе разносит газеты. Вилфред самодовольно ухмыльнулся, продолжая оглядываться по сторонам. Надо было войти в роль, но не переигрывать. Войти в роль. Он где-то вычитал это выражение. Его задача — теперь он ее знал твердо — войти в роль.

Но ему никто не встретился. Ему не пришлось входить в роль. Ни души не было видно на этих улицах, где, должно быть, все уже ушли на работу. При этой мысли он снова ухмыльнулся. Ему было над кем потешиться — над людьми, живущими другой жизнью, над людьми своего круга, над самим собой.

Было над кем потешиться. А он не прочь издеваться над кем попало, когда страх отпускает его.

Теперь страх его отпустил. Потому что Вилфред принял решение. Теперь, как тогда. Мысли, которые он передумал за минувшие день и ночь, пошли ему на пользу, он понял, что нынешний год похож на то лето — теперь тоже речь шла о том, чтобы самоутвердиться и быть смелым, способным, и тогда никто не будет строить на твой счет никаких догадок и окружать тебя подозрениями. Тогда никто не сможет влезть тебе в душу, а ты за спиной у всех будешь делать то, что тебе вздумается, и еще тайком смеяться.

Он вдруг вспомнил болванов-преступников из приключений Ника Картера. Они размахивали револьверами, прятались в темноте, а потом вылезали на свет божий так, что первый попавшийся бородач полицейский мог их сцапать. По правде говоря, совершенно все равно, как читать эти книжонки — вдоль или поперек. Эта мысль обрадовала его. Она сняла с его души груз — остатки груза давних времен. Он переложил стопку газет в правую руку и поднес к глазам указательный палец левой руки, который когда-то сломал в приливе стыда. Кончик пальца был чуть более плоским, чем остальные, и ноготь перерезала еле заметная вертикальная трещинка. Но палец не был изуродован, и кто не знал этой истории, ни за что бы ничего не заметил.

Он криво усмехнулся. В том-то все и дело: никто ни о чем не подозревает, если не знает наверняка или не умеет угадывать. У Вилфреда есть тайный палец, но и душа у него тайная. Он весь — тайна.

Вступив на аллею, ведущую к их вилле, он быстро оглянулся, потом сунул пачку газет под шаткие мостки, переброшенные через канавку возле соседнего дома. Здесь их никто не найдет. А как-нибудь при случае он их отсюда достанет. Он посмотрел на часы — четверть седьмого. Через четверть часа проснутся служанки. Тогда он позвонит в дверь и скажет Лилли, что проснулся спозаранку и вышел прогуляться: ему-де не спалось, он слишком долго спал накануне. Может, он произнесет всю эту длинную фразу, а может, всего несколько слов, смотря по тому, как поведет себя Лилли. Может, его тон будет ласковым, даже заискивающим, а может, высокомерно-пренебрежительным — в зависимости от поведения Лилли. Теперь он верил в свою звезду, в успех своего притворства. Период нерешительности миновал. Это была слабость, теперь он от нее избавился.

Он подошел к двери, которую ночью открыл без ключа. В дверной ручке торчала «Моргенбладет». Значит, у женщины, приносящей им газеты, нет своего ключа. Это тоже вызвало у него насмешливую ухмылку. Он сел на лестницу и стал ждать, пока будет половина седьмого. Потом он позвонит в дверь и заставит Лилли поверить своим рассказам. Потом он немного отдохнет у себя в комнате, умоется и пораньше спустится вниз, к матери, отдохнувший и полный решимости. Он приведет ее в хорошее настроение разговорами о летних планах. И выведает у нее, не собирается ли тетя Кристина летом к ним в гости — в Сквлю.

Мысль эта обдала его жаром. Он сделает так, чтобы мать и в нынешнем году пригласила Кристину. А почему бы нет? Но прежде всего он приведет мать в хорошее настроение, она это заслужила. Он поселил в ней тревогу. Теперь в этом нет нужды. Просто в тот момент он колебался, его одолели сомнения. А теперь он будет доставлять ей одни только радости и угождать ей во всем, и жить своей тайной жизнью так, что ни она и никто другой об этом не догадается.

Он сидел на лестнице. До половины седьмого оставалось еще пять минут. Зевнув, он бросил взгляд на газету, которую держал в руках. И тотчас увидел небольшой заголовок:

«ПИРОМАН НА ВЕЛОСИПЕДЕ»

На мгновение лестница качнулась под ним. Но он взял себя в руки. Это было как на трамплине: «Корпус вперед!»

Буквы медленно становились по местам. Арендатора на хуторе Лилле Фрогнер разбудил свет огромного костра... Пироман испугался и вскочил на велосипед... Молодой парень лет семнадцати... В районе замечены какие-то бродяги...

Насмешливая ухмылка снова искривила его губы. Болваны! Им даже в голову не приходит, что поджигателю всего четырнадцать и что это школьник из обеспеченной семьи, проживающей на Драмменсвей. Он едва не рассмеялся вслух, но тут его взгляд упал на заметку, напечатанную чуть пониже:

«НАПАДЕНИЕ НА ПОЛИЦЕЙСКОГО»

И снова лестница закачалась под ним, а танцующие буквы вытянулись в длинные черточки. Он снова овладел собой... Ударил каким-то тяжелым предметом... скрылся в темноте. Не пироман ли это из Фрогнера?

Он попытался усмехнуться, подумал, что они со своей стороны постарались сделать что могли.

Но улыбка не получалась. Надо научиться и этому — научиться улыбаться всегда, даже когда тебя никто не видит. Просто чтобы быть наготове... Он прочитал: «...хорошо одетый, лет шестнадцати, но на улице Соргенфригате было очень темно...»

Вот теперь ему удалось улыбнуться, удалось вполне. На улице Соргенфригате было темно, вот здорово, вот здорово, но Соргенфригате было темно хоть глаз выколи, темно и уныло. Душа Вилфреда пела от безудержного ликования.

Но и восторг надо уметь сдерживать, все надо уметь сдерживать, замуровать в душе, оберегая тайну. Он посмотрел на часы. Без двадцати семь. Решено: как бы ни повела себя Лилли, он напустит на себя беспечный вид. Ведь он одержал победу. Он беззаботный мальчишка, возвращающийся с прогулки.

Он легко вскочил, взбежал по лестнице с газетой в руке, позвонил решительно и отрывисто. У дверей послышались шаги.

— С добрым утром, милая Лилли. Принимай разносчика газет!

10

В частной школе сестер Воллквартс шел экзамен.

Из большой угловой комнаты, выходящей окнами на улицу и на школьный двор, вынесли оба стола. Вместо них вдоль стен расставили стулья для воспитателей и родителей, приглашенных присутствовать на устном экзамене. У торцевой стены за маленьким столом, заваленным книгами и бумагами, бок о бок сидели сестры Воллквартс. Фрекен Аннета то опускала лорнет, то прикладывала его к глазам, смотря по тому, куда был направлен ее взгляд, в книги или на экзаменующихся. Это ее движение придавало всей процедуре ритм, в котором как бы чередовались: рывок — оценка, рывок — оценка. Учеников по двое вызывали из соседнего класса. Отвечая на вопросы, каждый экзаменующийся стоял посреди комнаты.

Маленький Лорд наслаждался церемонией. Наслаждался присутствием посторонних взрослых людей — это придавало экзамену привкус спектакля, а ведь он знал программу назубок. Наслаждался тем, что его мать восседает среди сонма матерей и затерявшихся среди них двух или трех отцов с зонтиками, зажатými в коленях. Наслаждался ненавязчивой элегантностью матери, которая так выделялась на фоне этих незнакомых людей, украдкой косившихся друг на друга. Повернувшись спиной

к зрителям и лицом к сестрам Воллквартс, Маленький Лорд смутно улавливал запах материнских духов, который как бы обволакивал его собственную, находившуюся в центре внимания особу, придавая ему какую-то необычайную вкрадчивую уверенность.

Но еще больше удовольствия доставляла ему последующая церемония, когда вслух оглашались результаты экзаменов и взрослые внимали им в безмолвии, ежесекундно менявшем свою окраску. Всех учеников тогда собирали в угловой классной комнате, и они стояли, сбившись в кучку, у окна, выходящего во двор, время от времени издавая приглушенные возгласы. Теперь они по очереди выходили на середину класса и декламировали стихотворение по собственному выбору — либо из школьной программы, либо из того, что читали дома. Многие ученики любили декламировать псалмы, отчасти потому, что псалмы с их непопятными строками прочнее засели у них в памяти, отчасти смутно угадывая, что, выбрав «божественное», они скорее расположат к себе слушателей.

Маленький Лорд чувствовал какое-то особое блаженное спокойствие, когда вышел на середину класса и, на сей раз повернувшись лицом ко всем взрослым гостям, объявил название выбранного им стихотворения.

— «Крестьянская дочь», старинная датская народная песня, — твердым голосом объявил он.

Шепоток ожидания пробежал по классу. Фрекен Аннета Воллквартс доверчиво кивнула, бросив взгляд на сестру, которая кивнула тоже, но менее уверенно. Всегда этот мальчик выберет что-нибудь необычное. Впрочем, слова «народная песня» внушали сочувствие и свидетельствовали о высоком уровне развития мальчика. Вилфред принадлежал к числу тех учеников, которые не ограничиваются изучением школьной программы.

Маленький Лорд начал:

Однажды был я в чужих краях
И ночлега искал в пути.
На хутор крестьянский я забрел,
Хотел там приют найти.
Хозяйская дочь приняла меня.
На беду я зашел в их дом.

В зале кто-то хмыкнул. Маленький Лорд продолжал:

Спросил я девушку: «Где твой отец?»
«На тинге», — она сказала.
Спросил я девушку: «Где твоя мать?»
«Уснула», — она сказала.

В зале возникла неуловимая тревога. Маленький Лорд чувствовал ее и в рядах взрослых слушателей, и за своей спиной, среди учеников. Он заметил смущенный взгляд, которым обменялись сестры Воллквартс, но невозмутимо продолжал:

И пива она принесла тогда,
И поставила мне вина.
И пошла хозяйская дочь на гумно,
И постель постелила она.

Теперь шепот стал громким. Одна из сестер Воллквартс приподнялась, но Маленький Лорд усталился в стену перед собой. Упорствуя в своем желании продолжать чтение, он чувствовал приятное покалывание во всем теле. Еще ни разу ни на одном выпускном экзамене не было случая, чтобы ученика прервали, не дав дочитать до конца стихотворение, выбранное им самим.

«Послушай, гость молодой, меня,
Исполни, что я прошу!
Не то сейчас своей рукой
Тебя я жизни решу!»

— Маленький Лорд! — Фрекен Сигне поднялась теперь во весь рост. — Сколько строф в этом стихотворении?

— Семнадцать, фрекен Воллквартс.

Фрекен Воллквартс растерянно шевельнула губами, не в силах принять немедленное решение. Кое-кто из родителей усталился в пол, другие смущенно переглядывались. Маленький Лорд продолжал:

Она схватила за горло меня
И вынула острый нож.
«Исполни тотчас желанье мое,
Иначе ты умрешь!»

— Маленький Лорд! Довольно! Мы уже выслушали тебя, хватит!

Это был голос фрекен Сигне. В нем звучали металлические нотки, но шушуканье в зале почти заглушало его. Маленький Лорд вполне мог не расслышать замечания, поскольку к заключительной части торжества был возбужден, как все ученики.

И снял тогда я куртку свою,
И рубаху красную снял...

— Вилфред!

На этот раз он уже не мог не расслышать. Точно очнувшись от глубокого транса, он взглянул в упор на фрекен Сигне Воллквартс.

— Да, фрекен Воллквартс?

— Довольно с нас твоей датской песни. Я полагаю, ты не совсем понимаешь... Я хочу сказать, она не совсем подходит...

Ее взгляд растерянно скользнул по собравшимся. Кое-кто из гостей, опустив голову, прятал улыбку. В старых деревьях на школьном дворе щебетали птицы. Вилфред вернулся к товарищам, стоявшим полукругом в конце зала.

— Следующий!

Вперед выступил Андреас. Он был бледен.

— «Нищий Уле» Йоргена Му, — пробормотал он тихо и невнятно.

— Громче, Андреас!

— «Нищий Уле» Йоргена Му.

Это прозвучало ненамного громче. За окном во весь голос щебетали птицы.

— Хорошо. Начинай.

Все знали, как любит Андреас это стихотворение. Вообще у учеников гораздо большей популярностью пользовались бодрые, задорные стихи вроде «Фанитуллен», «Дровосеки», «Пряжа». Впрочем, никто никогда не слышал, чтобы Андреас читал свое любимое стихотворение вслух. Но он постоянно бормотал его себе под нос.

— «Я помню...» — прошептал кто-то, чтобы ободрить его.

— Никаких подсказок! И так...

Сестры Воллквартс снова стали хозяйками положения. Случилось происшествие, выходящее из ряда вон. Необходимо было добиться того, чтобы экзамен снова пошел гладко, дабы торжественная церемония выпуска произвела положенное по традиции впечатление. Все взгляды с надеждой устремились на Андреаса, молча уставившегося в пол. По губам многих можно было прочесть роковые вступительные слова. И вдруг, как заведенная машина, Андреас начал:

Я помню, когда я ребенком был,
К нам нищий пришел бездонный...

В группе у окна вспыхнул смех. Родители сдержанно усмехались. Сигне Воллквартс, решительно выпрямившись, отрезала:

— Тихо!

Но это больше подействовало на взрослых, чем на учеников.

— Ты сказал «бездонный», Андреас. Смеяться тут нечего, это бывает! — Грозный взгляд обежал собравшихся. — Ты ого-

ворился, надо было сказать... Впрочем, продолжай. Или вот что — начни сначала.

Я помню, когда я ребенком был,
К нам нищий пришел бездонный...

На этот раз уже никто не сдерживал смеха. Сама фрекен Аннета улыбнулась. Но общее веселье нарушил резкий голос ее сестры:

— Ты, конечно, хотел сказать «бездомный». Поэт вспоминает здесь грустную историю о том, как легкомысленные дети прибили гвоздями к лестнице деревянные башмаки нищего Уле и он упал и разбился насмерть. Так ведь?

Краска волной залила щеки Андреаса. Он стоял, то стискивая, то разжимая кулаки.

— Так ведь, Андреас? — В ласковом голосе затаилась угроза.

— А я всегда думал, что «бездонный», — тихо сказал Андреас. — Мне потому так и нравилось.

Раскаты хохота потрясли стены комнаты. Андреас, первый ученик по арифметике, страстный любитель географии, а может, на свой лад и поэт, стоял совершенно растерянный, точно вокруг него рухнул целый мир таинственности и красоты.

«Бездонный», — передавалось шепотом из уст в уста, и в этом недобром звучном шепоте была насмешка и презрение. Очевидно, у сестер Воллквартс не укладывалось в голове, что ученик в здравом рассудке мог так странно перетолковать детские воспоминания Йоргена Му.

— Не может этого быть, — заявила ледяным тоном фрекен Воллквартс.

Вилфред, стоявший среди других учеников, вдруг почувствовал, что фрекен Сигне совершает предательство: она предает одного из учеников, обрекая его на презрение товарищей и насмешки взрослых.

— Фрекен Воллквартс, — громко сказал он. — А я тоже всегда думал, что там написано «бездонный».

Воцарилась мертвая тишина.

— Чепуха, Вилфред, — решительно сказала фрекен Сигне.

— Прощу прощения, но я так думал. Я же не виноват.

Опять происходило нечто неслыханное. На экзаменационных торжествах в школе сестер Воллквартс всегда царили гармония и благолепие и ученики вели себя чинно. Что за дух все-

лился вдруг в собравшихся? Родители еле сдерживают смех, а ученики ведут себя одни как дураки, другие как упрямцы.

— Следующий! — объявила фрекен Аннета. Она произнесла это негромко и без гнева, но тоном, не допускающим возражений. Пора было положить конец скандалу...

Всю остальную часть торжественной церемонии в голове Маленького Лорда напряженно роились мысли. Он равнодушно прислушивался к чтению стихов: ученики то бубнили их без всякого выражения, то читали с заученным пафосом, который еще больше резал ему слух. Он знал все эти стихи наизусть и привык произносить их по-своему. Он равнодушно слушал своих товарищей, а мысли напряженно сменяли одна другую в ожидании катастрофы.

Чего он добивался, когда решил прочитать свою странную народную песню? Правда и то, что он на самом деле любил эти не совсем понятные ему предания, которые напечатаны в толстом томе с картинками, будившими его воображение. Том стоял в книжном шкафу на самой верхней полке справа. Книга принадлежала ему, однако стояла в таком месте, до которого ему было не так-то легко добраться.

Ему нравилась дерзкая песня «Крестьянская дочь», но в его намерения вовсе не входило вызвать гнев сестер Воллквартс в этот день, последний день в школе, где, в общем, ему было совсем неплохо и он очень многому выучился. Дни и ночи напролет он обмирал — да, да, именно обмирал от страха, что учительница так или иначе вступит в контакт с матерью и каким-нибудь образом обнаружатся его махинации с письмами и все его проделки, которым теперь положен конец. Он смутно понимал, что, стоит одному камешку сорваться вниз, в пропасть полетит все, а он будет разоблачен и в глазах тех, кого он любит, окажется просто испорченным мальчишкой. Стоя среди остальных учеников, он мучился и старался понять, неужели он добивался этой катастрофы? Разоблачения, которое положило бы конец его двоедущию...

Нет, это было не так. Он создал себе тайное существование и как раз в течение нынешней зимы и весны придавал ему желанную форму. Причем это было только вступление к тем неизведанным переживаниям, которые должны принести ему свободу и которые ждут его в ближайшем будущем. Ни за что на свете он не хотел бы навлечь на себя гнев этих людей как раз

в ту минуту, когда от них зависело, чтобы не вышло никакой беды.

И все же он совершил этот поступок. В первый раз за всю преступную весну он испугался самого себя, потому что его собственные замыслы вышли у него из повиновения. Он знал, что глупая шутка с народной песней была им обдумана заранее. Зато вторая, с «бездонным» нищим, произошла помимо его воли. Но и та и другая были чреваты опасностью. Он сам себя не понимал. Чего он добивался этой песней? И еще одно: разве он не установил для себя твердый принцип — не позволять себе никаких необдуманных поступков, все должно быть взвешено заранее...

Он почувствовал на себе взгляд Андреаса. Тот на мгновение обернулся в его сторону. Глаза Андреаса излучали смущение и благодарность. Бледная улыбка скользнула по лицу приговоренного, — приговоренного быть дураком.

Маленький Лорд подумал: «Он мне благодарен. При случае я могу его использовать».

Пока взрослые прощались, он ни на шаг не отходил от матери. Он хотел любой ценой помешать ее разговору с учительницами. С необычной для него неловкостью он вторгся между ними как раз в ту минуту, когда мать прощалась за руку с сестрами Воллквартс. Он извинился, но и не подумал отойти в сторону. Ему удалось по возможности сократить церемонию.

— Маленький Лорд, что с тобой, ты не в своем уме! — сказала мать. — Ты прекрасно знаешь, что сначала прощаются взрослые.

Но он упорствовал и не отпускал ее от себя. Сестры Воллквартс кисло-сладко улыбались, пытаясь спасти остатки своего авторитета.

— Это возбуждение после экзамена, — пробормотала фрекен Аннета с вымученной любезностью.

Мать и сын молча вышли на улицу. В солнечном свете все вокруг показалось вдруг каким-то сиротливым. Радостный день, день, который всегда был праздником, внезапно затаил в себе угрозу.

Мать остановилось.

— Маленький Лорд, — сказала она, — я жду твоих объяснений.

— Мама, но ведь фрекен Воллквартс так гадко поступила с Андреасом!

— Я о другом. Это еще куда ни шло. Ты хотел выручить друга. Но ты прекрасно знаешь, о чем я говорю. О народной песне.

Они стояли рядом на тротуаре, посыпанном гравием. Сколько раз они вдвоем проходили здесь, в том числе четыре раза после экзамена, и всегда у них было хорошее настроение и они предвкушали предстоящие удовольствия.

— Разве мы не пойдем сегодня к Ролфсену есть булочки?

— Не знаю, — ответила она и медленно пошла вперед по улице. Две тяжелые подводы с грохотом пронеслись по неровной мостовой. Пока продолжался шум, он успел собраться с мыслями.

— Мама, — сказал он, — если бы я прочел это стихотворение на музыкальном вечере у дяди Рене...

— Ну и что же тогда? — холодно спросила она.

— Вы бы только посмеялись.

— И не подумали бы.

— Ты в этом уверена? — невозмутимо спросил он.

Она с огорчением бросила на него взгляд сверху вниз. Собственно говоря, теперь ей уже почти не приходилось опускать глаза *вниз*. Когда он успел так вытянуться?

И снова — тревожное чувство, что все неотвратимо меняется.

А потом вдруг радость: как хорошо, что пока все остается так, как есть.

— Конечно, мы пойдем к Ролфсену.

Он взял ее под руку — доверчивое, нежное прикосновение; рука мужчины, кавалера, в одно и то же время пробуждающая тревогу и отчасти утишающая ее.

— Четыре булочки? — спросил он тоном искусителя.

— Четыре.

— Самые большие, по восемь эре?

— Самые-самые большие.

— И шоколад со сбитыми сливками?

— В такую жару?

— Мама, как можно без шоколада со сливками?

— Ну раз так, хорошо. Пусть будет шоколад.

Они пошли в ногу, рука об руку, слегка склонившись друг к другу, точно жених с невестой. У Ролфсена на Эгерторв они заняли столик в самом дальнем зале с мраморным потолком и зеркалами в золоченых рамах.

— Знаешь, мама, куда бы я в жизни ни попал и что бы мне ни пришлось есть и пить, а все-таки никогда и нигде мне не будет так хорошо и вкусно, как здесь, — сказал он, смакуя булочку, крошки которой прилипли к его губам.

Она посмотрела на него, растроганная и вместе с тем встревоженная. В нем была какая-то фанатическая тяга к удовольствиям и наслаждениям, иногда пугавшая ее, у нее мелькнула смутная мысль: «А что, если в один прекрасный день речь пойдет уже не о шоколаде. И не я буду рядом с ним...»

Но мысли ее всегда отличались тем, что приходили и мгновенно исчезали, а раз они исчезли, значит, их вовсе и не было, ей только показалось, что они постучали в дверь... Так бывает, когда ждешь визита надоедливых родственников, — тебе то и дело мерещится, что кто-то стоит у порога. Но так как она не любила задумываться о неприятностях, она, выглянув за дверь, убедилась: никого...

— А потом, мама, пройдемся по набережным, мы так давно не гуляли там!

И они пошли вдоль набережных — целое путешествие пешком с востока на запад, В заливе Бьервик рядом с большими красными буями таинственно покачивались на волнах парусники, ошестинившиеся реями, а на корме старого грязно-серого «Конгсхавн № 1» что-то красили и натягивали новые паруса, чтобы снова пустить корабль в ход на оживленной трассе, ведущей в Конгсхавн Бад с его театрами и парками. Маленький Лорд во всем ловил признаки приближающегося лета, но особенно чувствовались они в запахе моря, жарком и упоительном, пропитанном всеми оттенками дегтя и пеньки. Огромные железные краны, черные трубы, торчащие вверх, на палубах закопченные люди в шерстяных штанах и куртках, разноязыкая речь. Он часто в темноте прокрадывался сюда и видел, как какие-то странные дамы с помощью матросов поднимались на палубу, и при этом вокруг говорились непонятные слова на всевозможных языках. А он мечтал, как проберется на какой-нибудь корабль и отправится путешествовать. Он встречал других мальчишек, которые тоже слонялись по пристаням, и в глазах их была та же тоска, и они узнавали друг друга по выражению глаз, и, разыгрывая из себя взрослых мужчин, обменивались подхваченными на лету словечками и морскими рассказами. Может, они и не верили друг другу, это роли не играло. Каждый из них приближался к самой границе какой-то неведомой страны, и они завидовали друг другу, что побывали там.

Время от времени вдруг шепотом рассказывали о ком-то, кому и в самом деле удалось убежать. И в газете проскальзывало сообщение...

А теперь Маленький Лорд гулял здесь об руку с матерью. Было светло, жара начинала спадать. И вот идя так и угадывая названия кораблей еще до того, как мог взглянуть буквы, он вдруг был поражен мыслью, что пристань — это два совершенно разных места, смотря по тому, в каких обстоятельствах ты здесь оказываешься, и корабль — две совершенно разные вещи, и он сам — два совершенно разных человека. А мать? Он испытующе посмотрел на нее — головка на стройной шее, выглядывающей из выреза костюма, обшитого узким бархатным кантом; под серой вуалью, прозрачной, как намок, видна каждая черточка. Неужели и она тоже два разных человека? А все остальные? А все остальное? Неужели во всем без исключения две, три стороны, а то и больше? Может, желтая фокмачта на «Бонне» кажется желтой только ему, а для других она, предположим, синяя? Или если для других она тоже желтая, то только потому, что они так договорились между собой? А что на самом деле означает «желтая»? Верно ли сказать о фру Саген — «изящная дама в серо-голубом костюме, со свежей округлостью щек и мягкими голубовато-серыми глазами в тон костюму»? Правильно ли сказать о ней «остроумная», «добрая», «уступчивая», «любезная»... Это в самом деле она? Она в самом деле такая? А если нет, то... Ведь вот он сам сейчас идет в ярком свете дня, и у него нет почти ничего общего с тем, кто рыщет здесь по улицам и пристаням в сумерках, с горлом, пересохшим от волнения, и глазами, в которых светится жажда познать все на свете — и ведомое и еще неведомое, собравшееся в единый пламенеющий фокус...

— Маленький Лорд, что же ты не угадываешь?

— Это «Бонн».

— Я и сама в и ж у . — Она отдавалась игре почти с таким же пылом, как и о н . — А вон там дальше, у Виппетанге?

— А-а, это новый «Христианияфьорд», его все знают.

Высокий и элегантный корабль, гордость нации, двумя желтыми трубами возвышался над всеми остальными кораблями. А еще совсем недавно здесь царили одни только датские трансатлантические пароходы, «Король Фредерик Датский» и как их там еще, черные махины с красным кругом на трубе.

— А вот угадай еще, вон тот, подальше, у которого виден только самый кончик трубы? — спросил он.

— Но ты же сам говоришь — виден только кончик трубы.

— А я знаю, это «Король Ринг», — торжествуя, угадал он.

Но тут она решила, что он ее обманывает. Ей захотелось поймать его с поличным. Они ускорили шаги, она — в каком-то злорадном нетерпении, которого сама не могла бы объяснить, — должно быть, это были смутные укоры совести, из-за того, что она прежде не была достаточно строга.

Но это оказался «Король Ринг». Когда они подошли ближе, перед ними предстали желтые буквы на черном фоне.

— Маленький Лорд! — сказала она смущенно и в то же время с облегчением. — Откуда ты знаешь все эти корабли?

— Мальчик очень быстро схватывает, — передразнил он чуть скрипучий голос фрекен Сигне.

Мать и сын обменялись быстрым взглядом. Она едва заметно покачала головой и обвела глазами весь летний пейзаж вокруг — все, что вызвало к беззаботности и напоминало о том, чем она владеет сейчас... Не признаваясь самой себе, она непрестанно мучилась страхом, что все может стать другим, страхом перед неотвратимым и неизбежным.

— Мама, — предложил он. — Пойдем через Рюселоквей, посмотрим то место, где погибла маленькая Гудрун.

— Милый, но ведь это ужасное место!

— Посмотрим, мама! А хочешь, пойдем прямо берегом?

Мать бросила на него негодующий взгляд.

— Ты прекрасно понимаешь, что такой дорогой мы не пойдем, по крайней мере я.

Перед ними открылись ряды деревянных домишек, по узким переулочкам сновали незнакомые люди, *другие* люди, непохожие на них самих. Они прошли по улице Сегате, миновали Западный вокзал и свернули на Рюселоквей. Тут они заглянули в провал между торговыми рядами. Понизив голос, Маленький Лорд рассказал ей о притаившемся в глубине люке, который ведет в канализационный сток. Люк забыли запереть в тот злосчастный день, когда маленькая Гудрун вздумала спрятаться здесь, а когда девочку нашли, ее тело было наполовину обглодано крысами...

— Откуда ты знаешь все эти подробности? — подавленно спросила она, когда они пошли дальше, содрогаясь от ужаса. — Мы старались как можно меньше говорить об этом при тебе.

Он весь клокотал от возбуждения, которого сам не мог бы объяснить. Казалось, оба его существования стали сливаться воедино, и при этом он и мать увлекал на стезю беззаконий.

— Мама, а что, если нам пойти в Тиволи? — задыхаясь, выпалил он.

Она взглянула на него с ужасом:

— В Тиволи? Как ты можешь это предлагать? Ведь ты был со мной в Национальном театре, слушал «Лоэнгрину»! Кому еще из твоих товарищей посчастливилось слушать эту оперу?

— Знаю, мама, знаю, и все-таки давай пойдем! Посмотрим «Divertissement exotique», жизнь в мавританском гареме и чайный домик в Нагасаки с пятью настоящими гейшами.

— Что ты мелешь, мой мальчик? По-моему, ты сошел с ума!

— Пойдем, мама, правда же! А потом ты расскажешь об этом дяде Мартину. О мистических тайнах индийских факиров.

— Откуда ты все это взял? Что это за выдумки?

— Мама, ну вот ей-богу же, это идет в Тиволи.

И снова ей захотелось поймать его с поличным. Все это выдумки, да еще самого дурного свойства, он просто ее морочит. Она резко остановилась, объявив:

— Хорошо, пойдем и посмотрим, что там играют.

Воцарилось томительное молчание. На этой улице в просветах между домами уже не было солнца. А когда они вышли на Стортингсгате и свернули к освещенному каменному portalу Тиволи, уже стал чуть-чуть заметен свет газовых рожков вдоль балюстрады ресторана на открытом воздухе. Простонародная толпа, от которой несло пивом, толпилась у афиш.

— Пожалуйста, посмотри, м а м а , — с обидой сказал Маленький Лорд. Это были первые слова после долгой паузы. И перед ее изумленными глазами предстали яркие афиши в резных рамах:

DIVERTISSEMENT EXOTIQUE
МИСТИЧЕСКИЕ ТАЙНЫ ИНДИЙСКИХ ФАКИРОВ
ЖИЗНЬ В МАВРИТАНСКОМ ГАРЕМЕ
Гвоздь программы: ЧАЙНЫЙ ДОМИК В НАГАСАКИ
ВПЕРВЫЕ В ЕВРОПЕ — НАСТОЯЩИЕ ГЕЙШИ!

Ее первым смутным побуждением было извиниться перед ним, потом она испугалась:

— Но откуда ты это знаешь, Маленький Лорд?

— Мама, да ведь это каждый день печатают в газете, на четвертой странице «Моргенбладет». А знаешь, что идет в синематографе? «Разбитые сердца».

И тут она рассмеялась. Своим звонким, детским смехом, в котором не было ничего, кроме готовности радоваться. Казалось, огромное бремя упало с ее души и осталось одно только чувство неимоверного облегчения. Значит, все эти таинственные сведения каждый день печатались в ее собственной надежной «Моргенбладет», а ее одаренный, все подряд читающий сын, конечно, читал и объявления. Казалось, она нашла объяснение всему, даже непристойной народной песне, которая так возмутила почтенных сестер Воллквартс. Бог с ними, они добросовестно исполняют свой долг. Она готова была быть снисходительной ко всем на свете, после того как ей пришлось признать правоту своего дорогого сыночка, который просто все жадно впитывал своим острым детским зрением: названия кораблей, газетные объявления, стихи и афиши. И с чего ей вздумалось бить тревогу?

Она стиснула его узкую руку, и ей вдруг страстно захотелось совершить какое-нибудь озорство, как в былые дни, когда она еще выходила в свет, в те счастливые и страшные дни, когда жизнь ее была каскадом дней и ночей, бурным водопадом... по сравнению со спокойным ручейком ее нынешней жизни в Христиании, жизни, струящейся к старости, о которой она редко задумывалась.

— В самом деле, а почему бы нам не пойти в Тиволи? — неуверенно предложила она. Но тут же отступила. — Впрочем, до восьми часов еще долго ждать.

— Мама, ведь сегодня два представления, разве ты не видишь? В субботу два представления. Так написано в афише.

Она и этого не заметила. Как многого она не замечает! А ребячьи глаза и уши — все-то они видят, все слышат.

— Ах да, сегодня суббота, — сказала она, не желая показаться совсем глупой в глазах своего сообразительного кавалера. Они протиснулись к дверям вместе с остальной публикой, бок о бок с чужими людьми, среди чужих запахов. Войдя внутрь и поднимаясь по лестнице, они чувствовали себя как два сбившихся с пути школьника. Портье в адмиральской фуражке надорвал их билеты. Перед ними был зал со столиками, выкрашенными в серебристый цвет, и стульями на гнутых ножках. К ним подошел официант в белой куртке, из которой он вытаскивал блокнотик, а из-за уха карандаш.

— Возьми рюмку хереса, м а м а, — шепнул Маленький Лорд.

— Рюмку хереса, пожалуйста, — машинально повторила она.

— А для молодого человека? — Официант склонился над столиком, приветливо улыбаясь.

— И мне тоже хереса, — шепнул Маленький Лорд.

Она повторила. Правда, официант вздернул бровь, а может, ей только показалось.

— Ты сошел с ума! — сказала она со счастливой улыбкой.

— Ты ведь можешь сама выпить две рюмки, — возразил он.

Она украдкой оглядывала незнакомую обстановку. В зале становилось душно от запаха пота и табачного дыма. Какой-то толстяк в котелке с маслянистым взглядом, повернувшись к ней спиной, перешагнул через ее ноги. Ее охватила приятная дрожь. Почему-то она вдруг подумала о тете Кларе и всей ее грамматической строгости. Народу становилось все больше, табачный дым начал струиться над столами, объединяя их между собой. Маленький Лорд напевал вполголоса среди общего шума.

— Что с тобой, Маленький Лорд, ты поешь за столом?

Он запел громче. Он пел: *wollen, sollen, können* * — на мотив собственного сочинения, в каком-то залихватском ритме.

— Я вспомнил о тете Кларе, — крикнул он.

— Почему? — пораженная, воскликнула она.

— *Ich bin, du bist...* ** Не знаю... Сам не знаю... — напевал оп. Он был полон лихорадочного ожидания, которое все росло, по мере того как вокруг разрастался шум. Громкие голоса заказывали пиво, селедку, водку, мясную запеканку, рыбу и снова селедку и пиво, пунш и кофе и снова селедку и пиво.

И вдруг по залу пробежал шепот. Между двумя жирными затылками в котелках Маленький Лорд увидел дирижерскую палочку. Казалось, палочка прорезала плену дыма, чтобы установить тишину. И в ту же минуту взвизгнули флейты. Шум и крики тотчас возобновились, смешиваясь со звуками музыки и вступив с ними в борьбу не на жизнь, а на смерть. Клиенты знаками подзывали официантов, которые безостановочно сновали между столиками, поднося на вытянутой руке блестящие подносы. Все знали, что надо обеспечить себя гастрономическими утехами до поднятия занавеса. Крики и музыка сливались в каком-то нечеловеческом грохоте. Разговаривать было невозможно. На серебристом столике между матерью и сыном изящно расположились высокие бокалы с хересом. Фру Саген и Вил-

* Хотеть, долженствовать, мочь (*нем.*).

** Я есмь, ты еси... (*нем.*).

фред переглянулись, рассмеявшись от удовольствия, — их все здесь приводило в восторг.

И вдруг стало тихо, как в церкви. Красный занавес раздвинулся, и на сцене при свете бенгальских огней предстали демонические фигуры четырех факиров в сверкающей одежде из желтого шелка. Раздались выкрики и аплодисменты. Потом снова воцарилась тишина. В зале, точно условный сигнал, слышалось только причмокивание мужчин, обсасывающих мокрые от пива усы. Один из факиров поднял руку. Можно начинать.

Все номера принимались с восторженным ужасом. Маленький Лорд как очарованный смотрел на сцену, и, когда факиры исчезли за кулисами, его онемевшие ладони были влажны от пота. Он не мог хлопнуть, не мог вымолвить ни слова. Проколотые щеки, летающие змеи, парящие в воздухе человеческие тела, лишившиеся своего веса, как бывает в самых потаенных грезах, — все это наполняло его ужасом и блаженством куда более сильным, чем то, которое он испытал, слушая пение самого Петера Корнелиуса в «Лоэнгрине». Сквозь табачный дым он временами различал лицо матери. Когда впечатления были слишком сильны, она наклонялась над столиком. Потом шепнула ему в самое ухо, стараясь перекрыть шум аплодисментов:

— Ну как, мой мальчик?

— Изумительно, мама, чудесно! — Он испугался, что она хочет уйти.

Но когда начали показывать «Жизнь в мавританском гареме» и на сцене появились пять тощих девиц явно немецкого происхождения, в оранжевых шелковых шароварах, на нее напал безудержный смех. Окружающие с негодованием оборачивались к ней. Ярко-красное освещение на сцене и картонные мавританские декорации произвели впечатление на публику. Мать и сын смущенно уставились в стол, не смея взглянуть друг на друга. Они ни в коем случае не хотели раздражать простонародье, в ряды которого дерзнули затесаться. Маленький Лорд осторожно нащупал руку матери и сжал ее в своей. Этого оказалось довольно. Они снова фыркнули. К счастью, в этот момент одалиски затянули монотонную восточную песню, которую энергично подхватили деревянные духовые инструменты в оркестре. Зал был в восхищении и от зрелища, и от музыки.

Восторг достиг кульминации, когда появились «настоящие гейши». Зал был покорен. Передвигаясь по сцене мелкими

японскими шажками, они делали такие обольстительные движения, что два затылка впереди Маленького Лорда покрылись крупными каплями пота. Он как зачарованный не сводил глаз с этих двух затылков, которые в возбуждении иной раз так близко наклонялись друг к другу, что заслоняли от него гейш. Ему казалось, что он разглядывает незнакомый ландшафт с реками, горами, влажными ущельями и глубокими котловинами, покрытыми растительностью. Его охватил тот же сладкий страх, как тогда, когда он был в зверинце Куньо и ему дали подержать месячного львенка — было и страшно, и упоительно...

— Маленький Лорд, куда ты смотришь?

Он тихонько показал пальцем. В прищуренных глазах матери мелькнуло отвращение. Она схватила бокал — он был пуст. Сын поспешил придвинуть ей свой, но заметил, что она побледнела.

— Хочешь уйти, мама?

Она кивнула. Со всевозможными предосторожностями они стали прокладывать себе путь среди множества ног; кое-кто даже не шевельнулся, чтобы освободить им проход, другие чуть-чуть отстранились,

Но когда они вдвоем вышли на Драмменсвей, их снова охватило то же безудержное веселье; вечерний воздух был весь напоен светом, а перед ними расстиралось небо, пламенеющее закатом. Они шли, смеясь, навстречу закату. Люди оборачивались им вслед, но они не обращали на это внимания. Рука об руку шли они, смеясь, навстречу уходящему солнцу, возвращаясь после вылазки в чужую опасную страну к себе домой, в свой надежно защищенный, устойчивый мир... Они свернули на свою родную аллею, обсаженную старыми деревьями, со следами старой, обсохшей по краям колеи, — к своему дому.

— Я никогда в жизни не забуду этого вечера, м а м а , — сказал Маленький Лорд.

СТЕКЛЯННОЕ ЯЙЦО



11

Он узнал ее сразу, как только пароход показался из-за мыса. Она стояла на баке между ящиками и бочками — единственная женщина среди мужчин, одетых в грубую холщовую одежду. Соломенная шляпа с узкими полями затенена вуалью, концы которой повязаны вокруг шеи, поверх зеленого костюма накинут плащ на золотистой подкладке. Все это предстало перед ним словно на картине, которую он все время рисовал в воображении, и он подумал, что, хотя для загородных прогулок тетя Кристина постоянно выбирает английские костюмы, в ее облике всегда сохраняется что-то домашнее.

Но когда маленький пароходик, курсировавший по фьорду, подошел ближе, Вилфреду вдруг показалось, что это не она, и он даже подумал, что она ему просто пригрезилась, ведь он неотступно ждал, что в один прекрасный день увидит ее стоящей вот так на баке. Но дама, которую он увидел, оказалась вдруг меньше ростом и, пожалуй, немного старше...

Она кивнула. И он почувствовал мгновенное разочарование. Его поразило то, что издали она больше похожа на себя, чем вблизи.

Но в ту минуту, когда маленький трап был переброшен на берег и Вилфред протянул к ней руки, он почувствовал, что это все-таки тетя Кристина, вернее, нет — просто Кристина, а вовсе не «тетя». В эти недели томлений и грез, которые преобразовали все, что его окружало, Вилфред совсем перестал думать о ней как о вдове своего дяди.

Боцман протянул ему два увесистых чемодана — стало быть, Кристина собирается пробыть здесь долго. Вилфред приблизил к ней загорелое лицо, она ответила на его поцелуй.

Подняв голову, он заметил, что на них смотрят с верхней палубы.

— Между прочим, я всю дорогу сидела на чужом месте. На свежем воздухе легче дышится...

Что-то кольнуло его в сердце. Значит, это правда, что Кристина бедна? Само это слово казалось ему странным в применении к людям их круга. Разве можно быть бедным, не будучи... ну, одним словом, другим?

Они вместе поднялись по крутой тропинке, ведущей в гору: она, прелестная и беззаботная от одного того, что очутилась в новой обстановке, он — ее кавалер, несущий тяжелую поклажу.

Позже, когда они сидели на веранде за завтраком, сидели прямо друг против друга за белым плетеным столом, покрытым серой льняной скатертью, ели омаров, браконьерски выловленных вершей, а потом пили чай с повидлом, ему казалось, что она непрестанно преображается у него на глазах.

Один раз Кристина встала из-за стола, чтобы взять сумочку, которую забыла в прихожей. Оставшись с ним наедине, мать раздраженно сказала:

— Что ты так уставился на Кристину? Можно подумать, что ты хочешь ее съесть!

Когда Кристина вернулась, Вилфред уже ни разу не взглянул на нее. Он смотрел куда угодно: на море или в противоположную сторону, в сад, где птицы затихали, по мере того как солнце поднималось все выше; день обещал быть жарким.

Застигнутый на месте преступления, он был пристыжен и уязвлен. В эти дни каникул, которые он провел здесь наедине с матерью и немногочисленными друзьями с соседних дач, он совсем забросил свои лихорадочные упражнения по самозащите. Ничто не напоминало ему здесь опасную действительность со всеми ее нераскрытыми тайнами, от которой он спасся бегством. В Скволлю все было по-другому, это была тихая обитель. Но почему мать назвала гостью Кристиной, а не тетей Кристиной?

Мать проводила Кристину в ее комнату наверху, горничная стала убирать со стола. Оставшись один, Вилфред почувствовал себя гораздо более одиноким, чем ему хотелось в этот день.

Он вышел в сад и побрел по тропинке вниз к старому колодцу — его ветхая крашенная коричневой краской пирамида маячила позади белесоватой осинової рощи.

Вот тут Вилфред и понял, что происходило за завтраком, понял, как менялась все время Кристина. В ту минуту, когда у белой изгороди мать раскрыла ей навстречу объятия, она стала «тетей» Кристиной, той дамой, какой она была, когда пароход пришвартовался к берегу. Но потом, когда Вилфред подал ей повидло и поджаренную булочку и они на секунду встретились взглядом, она перестала быть «дамой» и стала «женщиной», предметом дерзких грез, которые не оставляли его с той минуты, когда, очнувшись холодным утром на камнях Блосена, он принял важное решение — самоутвердиться, не оставляли и теперь, когда под предлогом того, что он собирает растения для гербария, он в одиночку бродил по Сковлию, чтобы уклониться от шумных игр в кругу детей и молодежи в первые буйные дни каникул. Для многих его сверстников в эти дни жизнь как бы возрождалась вновь после перерыва. Зимой в городе они не виделись друг с другом, но здесь встречались каждое лето, и теперь им казалось, что не было ни школы, ни зимы. Это ощущение объединяло их всех.

Но порой, когда они поверяли друг другу какие-то пустячные секреты, накопившиеся с прошлой осени, Вилфреда охватывало чувство, что он чужой среди своих сверстников и даже тех, кто постарше. Он был чужд их неведенью, их ребяческим школьным проделкам и невинным порокам. Раньше он этого не понимал. А теперь он смутно чувствовал, в чем дело: нынешнее лето озаменовано тем, что он принял решение, которое навсегда преобразит его, окончательно сформировав в нем *новую* личность. Заикнись кто-нибудь об этом в присутствии его приятелей, это привело бы их в ужас.

Теперь Вилфред мог видеть мать и Кристину из сада: они вдвоем стояли у большого окна на втором этаже. Его отделяло от них больше ста метров, и он видел тетю Кристину. А по другую сторону высокой изгороди раздавались голоса его товарищей — звонче всех звучал голос резвой и серьезной Эрны. Что-то кольнуло Вилфреда в сердце. Так случалось всегда в присутствии Эрны. С той поры как они вместе играли детьми, каждое лето между ними «что-то было», — было, но ничем не стало, детская влюбленность, которая прежде забавляла Вилфреда, но за последние несколько недель превратилась вдруг во что-то более требовательное. Он осторожно подкрался к живой изго-

роди и раздвинул листья вяза. Эрна стояла в кругу молодежи, раздумывавшаяся, оживленная, в чистеньком голубом платье до колен. «Ребенок», — подумал он. И в ту же минуту в первый раз, хотя видел ее каждый день эти три недели, Вилфред заметил, что она вовсе не такое дитя, как он предполагал. И он вспомнил взгляд, которым она смерила его, когда они встретились первый раз в этом году, — оценивающий взгляд с головы до ног вроде тех, какие нынешней весной бросала на него мать...

Молодежь собиралась на острова на двух лодках. Возьмут с собой завтрак, будут купаться, собирать птичьи перья и захватят острова — это была ежегодная игра, в которую они нарочно вносили драматизм, делая вид, будто кто-то мешает мореплавателям, прибывшим на двух невинных белых лодчонках с провиантом: корзинками с едой и фляжками с соком, — высадиться на двух голых скалистых островах во фьорде.

И снова укол в сердце. Вилфреду захотелось окликнуть своих сверстников, выйти к ним на дорожку, по обе стороны которой тянулся газон, аккуратно выложенный по краям белыми раковинами; он хотел крикнуть, что поедет с ними.

— Надо зайти за Вилфредом, — предложил кто-то из мальчишек.

Но Эрна, надув губки, возразила:

— Да ведь к нему приехала эта его тетя...

Она сказала «тетя» таким тоном... Неужели Вилфред выдал себя? И неужели эти «женщины» — мать и маленькая девчонка Эрна — настолько наблюдательны и подозрительны? А может, в них просто говорит инстинкт или как это там называется... Неужели они улавливают неуловимую связь, тайную даже для самого Вилфреда, тайную настолько, что, пожалуй, он еще и не осознал ее, во всяком случае той частью своего сознания, которая принадлежит будничной действительности! Ведь даже наедине с собой Вилфред не связывал принятое им решение и томившее его желание и себя самого, каким он был в реальной жизни. Даже самому себе он не признавался в том, что герой его мечтаний — он сам, что это ему суждено пережить упоительные и стыдные минуты. Если голова его и была дни и ночи напролет занята этими мыслями, то так, словно речь шла о ком-то другом.

Вилфред почувствовал прилив нежности и раздражения одновременно. Он выпустил из рук ветки вяза и оглянулся на дом. В окне уже никого не было. Молодые голоса по ту сторо-

ну изгороди тоже стали удаляться по направлению к морю и лодкам.

Он встал с колен. Ну так что ж! Разве не к этому он стремился — быть одиноким, быть тем, кого никто не знает? Но он вдруг почувствовал, что перестать быть ребенком больно, ведь он не принадлежал еще и к взрослым. Что же делать? Надо ли вообще принадлежать к какому-то кругу? Или просто надо быть самим собой...

В приливе внезапной самоуверенности Вилфред повернул обратно к дому. Он будет услужлив и неуязвим. Именно в такие минуты, когда он хладнокровно и быстро принимал решения, ему сопутствовала удача. А в минуты слабости все шло прахом... Идя к дому какой-то новой для себя, плавной походкой, неестественно подняв голову, он вдруг вспомнил обо всем, что произошло этой весной, о заметках в газетах, которые появились вскоре после истории с «поджогом», о статье в «Моргенбладет», автор которой сокрушался о малолетних преступниках: увы, зачастую это дети из обеспеченных семей, которые ведут сомнительную ночную жизнь. Автор писал о новых веяниях времени и о том, что «полиция напала на след».

Вилфред засмеялся, вздернув подбородок: так или иначе это не его след. Скорее всего, это след каких-нибудь маленьких хватунишек, которые в потемках шушукуются на углах. Но это не его след. Обстоятельства играли Вилфреду на руку. Чернобородому коротышке полицейскому не обнаружить Вилфреда с помощью всех своих «следов». Полиция сцапает каких-нибудь мальчишек из бедных кварталов, которые ходят в народную школу, или глупых озорников из приличных семей, которые, набедокурив ради забавы, не умеют держать язык за зубами.

Вилфред стал быстро рвать цветы в той части сада, которой не касалась рука садовника и которая была предназначена для детских игр и беготни. Он рвал все, что попадалось под руку: клевер, златоцвет и одуванчики; лютики и дикий лен довершали эту пеструю смесь — воплощение детского восторга.

— Алло! — весело окликнул он дам, которые в эту минуту появились на веранде. Он помчался вверх по лестнице и, когда запыхавшись, взбежал на второй этаж, почувствовал, что у него «сияющее» лицо.

— Тете с приездом! — И Вилфред почтительно протянул ей букет. И поймав взгляд матери. В нем не осталось и следа раздражения, ее глаза говорили сыну: «Мой хороший, умный мальчик». И тут же заметил взгляд Кристины, говоривший совсем

другое. Она опять стала Кристиной, а не тетей Кристиной, хотя стояла бок о бок с матерью, принимая от него букет, и, как ему показалось, вспыхнула. Он заметил, что у нее через руку перекинут темно-красный купальный костюм.

Купальня была тем самым местом, где в это лето, напоенное мучительным желанием, казалось, может случиться все. Купальня с ее теплым и влажным воздухом, в котором смешались запахи прогретого солнцем дерева и морской воды. Здесь от всего веяло тайной, даже от стен, покрытых разводами стершейся краски, и от ветвей деревьев, которые складывались в какие-то манящие и запретные узоры, даже от насмешливо подмигивающего овального зеркала в зеленой раме, от пятнистого зеркального стекла, которое искажало и уродовало лица, — от всего веяло чем-то зловещим и соблазнительным, чего Вилфред прежде не замечал. Тревожный мерцающий зеленый свет на дне, где Вилфред когда-то пережил минуты позора... Морская трава, пробивающаяся между балками, вечно движущаяся, завлекающая и засасывающая... Все горячило в нем кровь. Узенькая скамейка, раскрытая клеенкой, которая обжигает холодом и где можно растянуться после купанья, подстелив мохнатое полотенце. Все таило в себе возможность неожиданностей. Мечты и надежды на неожиданность, сливаясь воедино, теперь постоянно воспаляли и томили его. А цветные стекла из красных, зеленых, синих и пронзительно желтых квадратов! Как страшно и упоительно смотреть сквозь них на берег и на скалы, видеть, как они меняют окраску в зависимости от того, через какое стекло ты смотришь, переходя от пламенно-красного к приглушающему синему, потом к прохладному зеленому... и вдруг прыжок к темно-желтому с его предгрозовой окраской, которая сковывает страхом каждую клеточку твоего тела. И тогда ты глядишь в обыкновенное стекло, и вся природа становится вдруг безопасной и глупой, как будни.

Когда Кристина купалась, Вилфред бродил вокруг. Он не подглядывал, подглядывать было бессмысленно: Кристина погружалась в воду у самого выхода из купальни, и даже плечи ее были прикрыты темно-красной тканью купальника, а волосы шапочкой... В платье и то она казалась менее одетой. Но зато какое блаженство стоять за скалой возле купальни и знать, что она там, внутри. А потом смело шагнуть к купальне, рвануть дверь и увидеть ее: белую, мягкую, обнаженную, и тогда...

Каких только вариантов не предлагала ему фантазия: улыбка, раскрытые объятия, груди, плоть... Или испуганный крик, руки, которые стараются прикрыть наготу. А не то притворный гнев, возмущение, которое он должен победить... А с его стороны наигранная робость, а может, даже удивление, будто он и не подозревал, что она там, восторг и растерянность оттого, что она так прекрасна, или, наоборот, слепой натиск, грубость, насилие!

Все было возможно, могло стать возможным! Но главное, главное — то единственное, то неслыханное, что все завершит и все преобразит.

Кристина всегда купалась в одиночестве. Мать жаловалась на ревматические боли, но на самом деле она просто не умела плавать. Вилфреду было ее жалко — вообще она любила плескаться возле купальни. Но жалость вытесняло темное блаженство, наполнявшее его, когда он предавался своим мечтам... А может, наоборот, в купальне будет он. Она придет, а он будет стоять там посреди купальни, и она увидит его в том возбуждении, в каком он находился теперь почти всегда. Он возникнет перед ней — неожиданная и гротескная непристойность, и она испугается, а может, что еще лучше, на мгновение лишится чувств, и тогда он бросится на нее, сорвет с нее одежду, свободное летнее платье с пуговичками, обтянутыми материей, у выреза на спине. Он однажды дотронулся до них и знает, как их надо расстегивать... А то еще лучше: она застынет на месте, скользнув по нему взглядом, все поймет и лишится воли перед лицом этого детского желания, которое напугает ее и в то же время докажет ей, что он уже не ребенок.

Но была еще другая Кристина, непохожая на созданный его воображением белоснежный образ в душном сумраке купальни. Была еще Кристина-девочка, та, которая плакала на ступеньках лестницы, выходящей к морю. И к этой Кристине он испытывал прилив нежной и безгрешной любви, преданности, готовности утешить и по-мужски защитить от житейских невзгод. Он находил для нее тысячи слов. Слов заимствованных и непосредственных, тех, что он вычитал, и тех, что сами просились на язык, полные утешения, мудрости и рыцарской нежности к тому, кто слабее и кто страдает.

Образ такой Кристины тоже иногда возникал в нем, а иногда иной, женщины в полном расцвете сил, но и тогда она не была «тетей» Кристиной, а просто женщиной, беззащитной, с которой жизнь порой обходилась жестоко, но которую Вилфред готов взять под свое крыло, мужественное и ласковое. А между

этими Кристинами было еще множество других Кристин, так же как и в нем самом жила смесь разных людей: насильника, любовника, старшего брата, даже опекуна и супруга. И были в нем бесконечные переходы от одного состояния к другому, соответствующие сменам ее образа и сменам ситуаций, настолько разнообразных, что всех дней и ночей в мире не хватило бы на то, чтобы перебрать их в мечтах.

Воздух был напоен словами, теми, что Вилфред не мог ей высказать.

Он протягивал ей через стол салатницу, и простое «пожалуйста» застревало у него в горле. После обеда он бродил в саду под деревьями, вновь упиваясь словами народных песен, таинственных и волнующих, смысл которых наполовину от него ускользал.

У Скамелля пять сыновей.
О жизни их неправой
Среди соседей богача
Идет худая слава.

Что-то нравилось ему в этих строчках, в не совсем понятной «жизни их неправой», в грозном и мрачном «идет худая слава». А когда он, томясь, кружил вокруг купальни, зная, что Кристина находится внутри, другие строки из песни об Эббе, сыне Скамелля, упрямо и навязчиво напоминали о себе.

За облаками спит луна,
А Эббе все не спится.
Идет он к йомфру Люсьелиль,
Идет в ее светлицу*.

Это имя, Люсьелиль, завораживало Вилфреда своим звучанием, Люсьелиль — это Кристина, которую он будет защищать, и та, которой он насильно овладеет в светлице или в купальне.

Она была его Люсьелиль! Вилфред бродил, твердя это певучее имя. У имени был привкус меда и ванильного крема, от него рождалось такое же чувство, как когда смотришь сквозь красное стекло! Вилфред убаюкивал себя им, засыпал в нем, как в мелодии, сотканной из сплетенных лиан, и пробуждался с ним, и тогда оно звучало, как призывная фанфара. В этом имени был драматизм, воображение подхлестывало этим именем образ Кристины, и он становился кровавым, зловещим, трагическим.

* Перевод Е. Суриц.

В лесу Вилфред встретил Эрну. На ней было голубое платье, прохладное, как колосья овса, от него пахло стиркой и юным телом. Его поразил этот контраст. После царства пламенно-красного на него повеяло свежестью голубизны.

Она сказала:

— Ты теперь совсем не приходишь к нам.

Они стояли, почти касаясь друг друга, в пронизанном светом лесу, где тропинки круто сбегали вниз к морю. И от близости Эрны ему вдруг захотелось вырваться из плена желанья и необузданных мечтаний.

Она сказала:

— Из-за этой твоей тети...

Оба стояли, расшвыривая ногами сучья и хворост. Вилфреду вдруг стало стыдно. Почему она сказала «тетя»? Что это за дар у женщин, у матери, у Эрны (одна — дама уже не первой молодости, другая — девчонка), что это за дар угадывать то, в чем ты сам себе не признаешься до конца, хотя это наполняет твою жизнь? И снова ему пришло на память слово «инстинкт».

Она сказала:

— Мы могли бы вместе поехать на острова...

— Мы? — неопределенно переспросил он. — Всей компанией?

— Мы, — повторила она. Разговор не клеился. И вдруг она заплакала.

— Что с тобой, Эрна? Отчего ты плачешь?

Она отвернулась от него и пошла прочь. Он стал подыматься следом за ней по крутой тропинке. Спокойная влюбленность, повторявшаяся из лета в лето, вдруг, как бы накопившись за много лет, слилась в огромную волну сострадания, стыда, удивления и вины. Это не было предусмотрено планами Вилфреда и застигло его врасплох. Освещенный лес вокруг стал вдруг тем, чем он был на самом деле, а между стволами блестело море и пахло хвоей, муравьями и горным пастбищем. Чары развеялись.

Они очутились возле старинного, сложенного из камня стола. Это была ничейная земля на границе двух частных владений.

Эрна села на деревянную скамью у стола. Вилфред не решил сесть рядом с ней и, обогнув стол кругом, опустился на высокий пень, нечто вроде табурета, как раз напротив нее. На темном столе валялись маленькие острые камешки. Дети использовали их вместо грифелей, когда играли на этом столе в «кре-

стики и нолики». А лучшей доски, чем этот стол, вообще было не сыскать.

Эрна не смотрела на Вилфреда и что-то чертила на столе острым камешком. Он тоже взял в руки маленький камешек. Казалось, между ними возник молчаливый уговор. Почти не сознавая, что он делает, он нацарапал: «Я люблю». Он сам не знал, что при этом имел в виду, и сидел, уставившись в написанные им слова.

И вдруг она подняла на него блестящие глаза.

— Я написала три слова, — сказала она, заслонив свою надпись левой рукой.

— Я тоже! — сказал он и быстро дописал: «Эрну», — делая вид, будто просто обводит какое-то слово еще раз.

— А можно я посмотрю, что ты написала?

— Можно, если ты покажешь, что написала ты...

Они медленно встали и обменялись местами. Каждый обошел стол вокруг, не спуская глаз с другого. Оба одновременно остановились и склонились над столом.

— Вилфред! — простонала Эрна и побежала ему навстречу вокруг стола. Они упали друг другу в объятия неожиданно для самих себя и застыли, прижавшись друг к другу. Он провел губами по чистым, как лен, девичьим волосам, и его рот наполнился ароматом голубизны. Ни один не смел отстранить голову, губы каждого медленно ползли по щеке другого, пока не встретились в поцелуе. Ее губы были чуть жестковатые, шершавые и соленые от морской воды. Это был поцелуй, который не имел развития и продолжения, это просто была минута, к которой они стремились через все летние месяцы, проведенные вместе. Ни тело, ни руки не участвовали в поцелуе, только губы слились.

Так же внезапно они отстранились друг от друга и замерли в смущении. Потом снова оба разом посмотрели на стол: теперь каждый мог видеть обе надписи одновременно. Они снова неловко рванулись друг к другу, но не обнялись, а просто стояли близко-близко, ее макушка касалась его подбородка.

— Это правда? — выдохнула она. — Правда, что ты любишь меня?

А он выдохнул в ответ:

— Правда, что ты любишь меня?

И оба в один голос начали повторять: «Правда! Правда!» — пока слова вообще не утратили всякий смысл, и оба замолчали, смущенно и счастливо улыбаясь. Она спросила:

— Значит, мы помолвлены?

Слово вызвало трепет в его душе, неожиданный, пронзительный.

— Да, мы помолвлены, — решительно сказал он и снова устремился к ней. Но она отошла в сторону и торжественно сложила загорелые шершавые от соли девичьи ладони.

— Благодарю тебя, боже! — тихо сказала она.

— Почему ты благодаришь бога?

Обернувшись к нему всем корпусом, она ответила:

— Потому что об этом я молила бога с того лета, когда мы встретились здесь с тобой в первый раз.

Чудовищная невинность!.. Рука в руку они молча обошли маленькую лужайку вокруг стола. Они почти не глядели друг на друга, они смотрели на море, сверкавшее между вершинами невысоких сосен на склоне холма, смотрели на короткую торчащую травку, по которой они брели, смотрели на свои ноги, ступавшие по этой травке. Их счастье было таким полным, что они не осмеливались говорить о нем, а обменивались редкими словами о каких-то посторонних мелочах. Они были так погружены в свое счастье, что только изредка позволяли себе какое-нибудь сдержанное проявление нежности: прижаться лбом ко лбу, осторожно провести рукой по волосам. Все для них было полно ожидания. Они были всемогущи, могли ждать, ждать всего от жизни, которая простиралась перед ними, долгая и бесконечная.

Принудительная невинность! В них пело воспоминание обо всех минувших летних месяцах. В них пело детство. Оно окрасило их любовь в светло-голубой цвет и держало их души в сладком плену. В этом раю они резвились когда-то, здесь играли в классы, чертя подошвами по непокорной траве. Теперь этот рай возродился вновь. И если в этом раю и жил змей, он в страхе притаился где-то поодаль, в стороне от светлой лужайки, по которой они бродили — двое детей, рука в руку, душа в душу.

Недолговечная невинность... Точно их притягивал магнит, кружили они вокруг стола и вдруг одновременно остановились и увидели, что они написали. Оба почувствовали прилив стыдливой гордости от собственной отваги. И когда их взгляды вновь встретились лад столом, оба залились жарким румянцем: только в эту минуту их слова стали правдой, признание стало полным, стало опасным...

Обманчивая невинность!

Крадучись, приблизились они теперь друг к другу не с открытым, бесплотным объятием, как в первый раз, а пламеня внутренним жаром. И теперь их ноги, руки, губы слились не в прежнем неумелом порыве: то, что было лишено плоти, вдруг обрело плоть и заполнилось ею настолько, что все поплыло перед их глазами, и они упали на жесткую траву.

— Нет, нет! — прошептал он, не разжимая объятий.

«Да, да! — простонала она, прижимая его к своему хуленькому девичьему телу. Все испуганные змеи плотоядно выглянули из райских кущей, вытянув свои жала.

Мгновение — и оба одновременно выпустили друг друга из объятий, точно повинувшись общей воле. Теперь они, задыхаясь, стояли рядом и глядели друг другу в глаза без стыда, но не без страха, полные новым признанием, которое изменило все. И когда они снова побрели по тропинке, они уже не взялись за руки. Теперь на каждой клеточке их трепещущих тел громадными буквами было написано: «Не трогать — смертельно!» Теперь они, задыхаясь, спускались по узкой тропинке, и, стоило им случайно задеть друг друга пальцами или локтем, их прикосновение высекало искры, от которых мог загореться весь окружающий лес.

Они простились у ее калитки. Летний день подернулся тонкой дымкой, поднимавшейся с моря. Бледные сумерки начали подкрадываться к фруктовым деревьям и ягодным кустам. Они простились, обменявшись робким взглядом, полным взаимных обещаний.

На обратном пути к дому Вилфред вдруг вспомнил о словах, нацарапанных на столе, которые выдавали их тайну. Они разглашали их удивительную, новую тайну всему миру. Он вернулся в лес, чтобы стереть их. В сосновом лесу быстро сгущались сумерки, и море уже не поблескивало так весело между верхушками деревьев. Поднявшись наверх по тропинке, он услышал, что кто-то спускается ему навстречу. Он опустил было голову и хотел незаметно юркнуть мимо, но что-то в звуке шагов заставило его посмотреть вверх.

— Тетя Кристина!

Он хотел произнести эти слова самым непринужденным тоном, но еле выговорил их.

— Добрый вечер, мой мальчик, — спокойно ответила тетя

Кристина. Они остановились друг перед другом, она стояла чуть выше, так что он снова почувствовал себя перед ней ребенком о м . — Ты не проводишь меня до дому?

Он посмотрел на нее в полной растерянности, не зная, что делать.

— Мне надо в лес, я там кое-что забыл, — пробормотал он, запинаясь. И быстро стал подниматься по тропинке, не дожидаясь ее ответа. Она продолжала медленно спускаться вниз, что-то напевая. «Будто знает какую-то тайну», — подумал он.

Когда он поднялся на лужайку, где стоял стол, надписи по обе стороны стола были стерты. Остались только два еще влажных пятна.

12

В душе Вилфреда буйно расцветало смятение. Он попался. Хуже того: его тайна не принадлежит больше ему одному. И главное — нет у него уверенности в том, что эта тайна — правда. Еще совсем недавно это была правда — ликующая, мучительная, перехлестывающая через край правда. Но увиденная глазами Кристины любовь к Эрне стала казаться ошибкой ему самому.

Этого не мог сделать никто другой. Она ведь шла как раз отсюда, привлеченная к каменному столу — чем? Инстинкт, тяга к выведыванию правды, желание свести на нет то, что подернуто позолотой тайны.

Ведь были же на каменном столе две надписи.

Вилфред стоял, растерянно склонившись над столом, ни в чем больше не уверенный. Он пригнулся совсем низко к одному из влажных пятен и различил тончайший след трех чудовищных слов, нацарапанных его собственной рукой. В эту минуту они были лишены для него всякого смысла, да и Эрна больше не была реальным существом. Прозрачный лес оделся серебристо-серыми сумерками, и море уже не подмигивало ему, весело улыбаясь, а тускло отсвечивало, как шифер.

Вилфред с трудом перевел дыхание и застонал. А потом большими скачками помчался вниз в отчаянной надежде нагнать Кристину, прежде чем она дойдет до ограды, откуда начинается дорога. От ограды до дома рукой подать, и он не успеет объясниться с нею. И вдруг он увидел перед собой на тропинке светлое платье. Что такое? Неужели он так недолго

пробыл наверху, у каменного стола? Или это она шла так медленно? И что вообще он должен ей объяснять — ведь она даже не подозревает о той тайне, которая связывает его с нею самой!

И тут он понял, что она знает, что он идет следом за ней. Она не могла слышать его шагов — он бежал совсем бесшумно в легких спортивных тапочках. Но она все время знала, где он находится, ощущала это спиной.

И вдруг Вилфред почувствовал, что его губы растягиваются в улыбку. Его охватила странная самоуверенность.

— Ау, тетя! — окликнул он, доверчиво продев руку под ее локоть. Она не вздрогнула, она даже не утруждала себя притворством. — А что, если мы с тобой пойдем чудесной дальней дорогой вдоль берега, пока еще не совсем стемнело?

Показалось ему или нет, что ее рука трепещет в его руке? Он не стал додумывать эту мысль до конца, ему не хотелось рисковать тем ощущением непобедимости, которое овладело им. Кристина покорно подчинилась его руке, которая, чуть сжимая ее локоть, вела женщину по тропинке, так густо заросшей осинкой и ольшаником, что они образовали спускающийся к морю туннель. Что заставляет их идти так близко друг к другу, только ли то, что тропинка в этом месте так узка? Но эти вопросы смутно маячили где-то вдали. Вилфред не мог позволить им подступиться к себе и поколебать вновь обретенный покой. Каждый шаг был начинен взрывчаткой. Медленно, легкой походкой, нога в ногу шли они к морю, манившему их тихим предвечерним шепотом.

В каждом мире таился еще мир, и в одном из них были он и она. Все миры сплелись в каком-то странном единстве. Но главным и неповторимым был тот, где находились они.

Кто из них остановился — она сама или это он ее остановил? Еще несколько шагов, и они спустятся к морю, а там будет уже поздно. И вдруг они оказались лицом к лицу: они были одного роста, глаза смотрели прямо в глаза. Он взял ее голову в свои ладони и вдруг почувствовал во всем теле такую слабость, точно тело неожиданно стало таять.

— Ты гадкий мальчик, — тихо сказала она.

— Да, — прошептал он.

— Очень гадкий мальчик.

— Да.

Их лица не касались друг друга, только губы осторожно сближались и прижались друг к другу нежно и властно. Потом губы у обоих одновременно вдруг обмякли и разжались.

— Очень гадкий мальчик, — повторила она, после того как они постояли с минуту, переводя дух.

— Да, — опять прошептал он. И на этом «да» она поцеловала его открытые губы губами, тоже медленно открывшимися в поцелуе.

— Очень, очень гадкий!

— Да! Да!

— Гадкий!

— Да!

— Гадкий, глупый мальчик!

Он снова прижался губами к ее губам как раз на слове «глупый», раздвинув губы в открытом «а» в ответ на ее призывное «у».

— Глупый...

Ее губы были растянуты в звуке «ы», когда он произнес свое «у», точно вонзив кинжал в ее улыбку. Каждая клеточка их тела жила в этом поцелуе, который завладел всем их существом, подчиняя себе. Но его онемевшие руки неумело прокладывали себе дорогу в панцире ее одежды. Еще немного, и его неопытный организм не выдержит ожидания. Испуганно дрожа, он чувствовал, что минута упущена. А она не помогала ему, только шептала какие-то невнятные слова в последнем порывистом объятии, в котором вдруг разрешилось все, и Вилфреда охватила бесконечная усталость.

И в ту же минуту она отстранила его от себя, вся дрожа. От ее взгляда вдруг повеяло холодом, влажный рот обмяк. В эту минуту она казалась такой одинокой и беспомощной, что, оправившись от трепетного смущения, он вновь рванулся к ней. Он сам не понимал зачем — было ли это стремление к новой примирительной ласке, была ли это жалость к ней, а может, и к самому себе, или дуновение вновь пробуждающегося желания?.. Но она подняла руку и шлепнула его по щеке довольно сильно — это была почти пощечина. И потом стала быстро подниматься под лиственным навесом по тропинке вверх, все быстрее и быстрее, пока наконец не пустилась почти бегом... Она ни разу не обернулась.

И вдруг дурман рассеялся — осталось одно только детское недоумение. Он медленно спустился по тропинке к морю, перебрался через скалистый уступ на отмель, заросшую водорослями, и пошел вброд по воде, которая накатывала на него прохладны-

ми волнами, пока не стало так глубоко, что он поплыл, как был, в одежде. Он выбрался на сушу на одном из островков в шхерах и вытянулся на пригретой солнцем скале, обращенной в сторону, противоположную берегу. Там его никто не мог видеть. Мысль, что кто-нибудь его увидит, была для него невыносима. Он был слишком на виду, слишком прозрачен. Но даже здесь ему казалось, что чьи-то глаза следят за ним. Сбросив тапки, он связал их шнурками, повесил на шею и снова пустился вплавь, подальше от всего, что пыталось проникнуть любопытным взглядом в пространство, лишенное покрова тайны.

А потом он лежал на мысу, под маяком, в последних лучах вечернего солнца, разложив рядом с собой одежду и ожидая, чтобы она просохла и чтобы что-то изменилось в его душе и в окружающем мире. Но ничто не менялось, и одежда не просыхала. Солнце уже утратило свою мощь, как и он свою. Он сидел под скалой, окруженный миром, который, казалось, на глазах убывал, становясь чем-то студенистым и расплывчатым. Он не чувствовал стыда, не искал оправданий, которые мало-помалу могли бы его утешить. Он не испытывал ни печали, ни радости. Он был открыт, беззащитен и от этого опустошен; и нет у него больше тайны, которую надо оберегать от чужих глаз, втихомолку наслаждаясь ею.

— Да это никак Вилфред?

Он в испуге вскочил. Голос раздавался с моря. Это была мадам Фрисаксен в своей лодке. Несколько раз в неделю она проверяла три фонаря маяка. Ее весла всегда были обмотаны чем-то вроде шерстяных манжет. Соседи прозвали их напульсниками мадам Фрисаксен. Говорили, что, с тех пор как ее муж утонул, она не может слышать скрип весел в ключинах. Она обратила к Вилфреду загорелое лицо в паутине морщинок, вспыхнувшее ярким пламенем в красном вечернем солнце.

— Я испугала тебя? — добродушно спросила она.

На секунду он почувствовал себя хозяином положения из-за своей наготы.

— Извините, фру Фрисаксен, — вежливо сказал он, слегка поклонившись. — Моя одежда промокла, я голый. — Но он и не подумал нагнуться, чтобы подобрать одежду с земли.

— Меня тебе стесняться нечего, — ласково сказала фру Фрисаксен. Она посмотрела на фонарь, который бросал свои бледные лучи сквозь шесть стеклянных граней, но не стала причаливать к берегу, а просто опустила весла, и ее лодка чуть покачивалась на волнах. Он заметил, что на кормовой банке

лежат рыболовные снасти. И вдруг фру Фрисаксен в своей белой лодочке, на которой играли отблески вечернего солнца, оказалась ему воплощением покоя и устойчивости, всего того, в чем не было места страху или желанию.

— Пожалуй, я еще успею выловить мерлана, пока солнце не село, — сказала она все тем же ровным суховатым голосом. — Передай привет своим.

— Спасибо, фру Фрисаксен. До свиданья, — вежливо ответил он, на этот раз нагнувшись, чтобы подобрать одежду и не стоять перед ней нагишом в лучах заходящего солнца. Ему показалось, что иначе это будет выглядеть как подчеркнуто грубая выходка.

Ее лодочка бесшумно заскользила прочь, к тому месту, где ловились мерланы, — оно находилось на траверзе мыса между маяком и маленькими островами. Неподалеку от островков и брал мерлан. Фру Фрисаксен была неколебимо уверена в этом. Под вечер в дождливую погоду рыба кишела повсюду и брала на любую приманку, но в ясные солнечные летние вечера она брала только там. Вилфред смотрел, как фру Фрисаксен облюбовывала место, потом остановилась, бросила якорь, насадила наживку на крючок и опустила его в воду. В каждом ее движении сквозила какая-то счастливая доверчивость, уверенность в том, что в мире существует порядок. Вилфред никогда прежде не задумывался об этом, просто глядел на нее, как на картинку — женщина в лодке.

И все-таки изменилось в нем что-то или нет?

Интересно, тетя Кристина... Чувствует ли она то же, что и он? Или нечто подобное... то, что они оба чувствовали... что должно было случиться, могло случиться... Изменилось что-то или нет? Верно ли, что она не сердится, не огорчена, не смущена и ей не стыдно, а просто у них обоих появилась общая тайна, глубочайшая тайна, которая соединила их настолько близко, что получается все равно как если бы тайной владел один человек. А может, это еще лучше, чем владеть тайной в одиночку? Ведь когда у Вилфреда появится великая тайна, он все равно будет делить ее с кем-то еще — с другим, с другой. В этом-то и состоит величие тайны, что в ней участвуют двое. Двое! Мы! Слово звучало в нем, как песня, как заклинание, он все время повторял: «Мы!» — сочетание двух звуков, между которыми существовала какая-то таинственная связь. Об этом он тоже никогда прежде не думал, о том, что слово «мы» состоит как раз из двух звуков. Плотно смыкающее губы «м»

как бы растворяется в протяжном «ы». А в слове «три» — как раз три звука, три буквы, сочетание, в котором третий лишний, буква «р» посередине слова как бы вторглась между двумя другими и подглядывает. Э-р-на! И опять, возбуждаясь все больше и больше, он повторил слово «мы», которое стало для него символом встречи двух полов. «Мы! Мы!» — повторял он по два раза подряд. Магия звуков, которая лишь смутно вырисовывалась в непонятных стихах, теперь стала для него открытием целого мира. Ему хотелось колдовством превратить слова в поступки и поступки в слова и тем самым полнее ощутить и те и другие. Говорить означало действовать. Мы! Двое!

Теперь он видел фру Фрисаксен в чуть-чуть ином свете. Она была освещена лучом умирающего солнца. Маленькая женщина в золотой чаше. Он видел, как она вытянула на борт лодки сверкающего мерлана. Она была одна, совсем одна, спокойная, но одинокая отшельница в лодке. Вилфред стал натягивать на себя еще влажную одежду, прикосновения которой он так страшился, но оно неожиданно доставило ему еще одно приятное ощущение. Одевшись и натянув на себя влажные тапочки, он с чувством превосходства помахал одинокой женщине в лодке. Она помахала ему в ответ и тоже с торжеством подняла кверху рыбу. Тогда он беззвучно захлопал в ладоши, размашисто двигая руками, чтобы она увидела, что он аплодирует. Она благодарно кивнула ему. Он повернулся и пошел в глубь берега, повторяя удивительное слово, которое вновь обдало его тело жаркой волной сладкого томления:

— *Мы! Мы!*

— Ты, кажется, флиртуешь с фру Фрисаксен?

На этот раз он не вздрогнул. Это был голос матери. Он доносился к морю со стороны скал, со стороны так называемого бастиона, где мать любила гулять одна. Он улыбнулся ей с наигранной самоуверенностью.

— Где ты был, мой мальчик?

Летний вечер и голос слились в одно. Закат — мать... Он бежал глубокую впадину, где играл ребенком («ребенком, ребенком!»), вдруг обрадованный тем, что может утешить кого-то, кто бродит в одиночестве, утешить женщину, которую он любит.

— Но ты весь мокрый! Ты упал в воду?.. Я тебя не видела целый вечер. Где ты пропадал?

— А ты? — ответил он вопросом на вопрос. Он вложил в свой вопрос то мягкое умиротворение, каким был окрашен вечер, это был ненавязчивый, заботливый вопрос, ласка, перед

которой она не сможет устоять. — Где ты пропадала целый день?

Он знал, что она не устоит.

— Как это целый день! — возразила она. — Да ведь еще в полдень...

Он это знал. Знал, что заставит ее перейти от нападения к обороне. Но он вовсе не собирался ее обманывать. Ему просто не хотелось, чтобы она его допрашивала. И тут же он почувствовал, что она не намерена его допрашивать. Она спросила по привычке, потому что соскучилась без него. Он обнял ее и сам заметил, что нарочно старается делать это не слишком умело.

— Мама, я тебя люблю!

— Как давно это было! — тихо сказала она.

— Что было давно?

— Все! Как давно ты мне этого не говорил!

Они вместе поднялись по усыпанной гравием дорожке, ведущей к дому, прочь от моря, от заката, от фру Фрисаксен.

— Тетя Кристина уже легла, — небрежно заметила она.

Не слишком ли небрежно? Откуда в нем эта вечная подозрительность? И тут же ответил себе: от его собственной нечистой совести.

— А я все-таки еще немного выше тебя, — сказала она смеясь. — Хочешь, померимся по всем правилам?

В тусклом сумеречном свете они стали спиной друг к другу, прижав макушки ладонями. Но они никак не могли прийти к соглашению, кто же все-таки выше, и стали в шутку ссориться.

— Позовем Кристину, пусть она нас рассудит, — предложил Вилфред.

Он заметил, что мать на мгновение как бы поникла.

— Тетя уже легла, — сказала она, понизив голос. — Не надо никого будить.

Они подошли к дому обнявшись — Вилфред испытывал при этом опять какое-то новое чувство счастья. Оно было плотским, но лишено того тревожного томления, какое теперь постоянно владело им. Ее волосы на каждом шагу щекотали его щеку. Они шли, точно старая любящая пара, охваченные безмятежным будничным покоем, который не хочет знать никаких страстей. Они шли к дому, а он все время видел мать перед собой:

как она беспокойно бродит вокруг бастиона, где она вечно бродила тогда, когда он был маленьким, боясь за него, потому что он еще не умел плавать, и на берегу ей мерещились всякие опасности — она была начисто лишена тяги к морю. «Я люблю ее!» — пело в нем. И воспоминание об Эрне всплыло перед ним. О ее жестких губах. Потом вспомнился город: пламя за темным амбаром в ночной тьме, одинокое бегство во мраке — все это разом всплыло, как неприятное напоминание о том, что все эти вещи сосуществуют во времени. В комнате тети Кристины горел свет, приглушенный темно-синими занавесями. Разные миры сосуществовали в одном мире, и Вилфред понимал, что надо уметь сохранять границы между ними. В каждом мире должна быть своя тайна. Она должна быть невыдуманной тайной и принадлежать ему одному.

— Мама, — окликнуло н . — Мама!

— Наверное, это трудно, — вдруг сказала она.

Он сделал вид, будто не слышит.

— А что, если мы с тобой съедим по кусочку рыбы, которая осталась от обеда?

Она бросила на него радостный взгляд — материнский взгляд, обращенный к сыну, который вот-вот ускользнет от нее.

— Ты проголодался?

— Еще как!.. А ты можешь выпить рюмку «Либфрау-милх». — Он сказал это наудачу, по вдохновению.

— А ты?

— Я выпью молока. Сейчас я все принесу.

— Да, но откупоривать бутылку ради меня одной...

Теперь она была в его власти. Он подумал об этом без всякого торжества, а просто с любовью.

— Я открою ее так, что не будет заметно. А кроме того, для очистки совести ты можешь налить рюмку и мне.

Да, теперь она была в его власти. И когда он склонился над ящиком со льдом, в котором стоял смешанный запах свежего льда, старого цинка и замороженного мяса, лежавшего на коротких досках, точно мосты, переброшенных поверх льдин, и увидел одну-единственную золотистую бутылку, покоящуюся на льду, как вышший соблазн, предназначенный специально для этого вечера, он быстро и властно подумал о Кристине.

«Сойди вниз, — мысленно приказал он . — Сойди вниз и в одно мгновение разрушь все, для этого ты и создана, моя любимая».

— Дай мне бутылку, я сама ее открою, раз уж тебе хочется, чтобы я выпила вина.

— Иди в столовую и садись, мама! — Он ласково шлепнул ее по спине. — За кого ты принимаешь своего сына? Может, ты боишься, что я испорчу пробку?

В радостном возбуждении он говорил очень громко. Она зашикала на него. Они стояли над старым ящиком со льдом, как два заговорщика. Он шепнул:

— Ладно, иди и садись!

— Иди на цыпочках! — шепнула она в ответ. — А то тетя может услышать!

Он бесшумно поставил бутылку на стол, слегка дрожа от прикосновения влажной одежды. Расставил на подносе блюда, не забыл графинчик с уксусом, но забыл стакан для молока.

— Нет, не сюда, — патетически сказал он, войдя с подносом в столовую.

Он кивком показал ей, где она должна сесть: на белой софе в стиле рококо. Потом расставил на столе лакомства. Потом налил в рюмки вино, себе чуть-чуть — мать не хотела, чтобы он приучался пить. Потом снова наполнил ее рюмку, подал ей блюдо с холодной форелью. И пока она накладывала себе рыбу, он протянул через стол, руку и погладил золотисто-каштановые волосы матери с ощущением блаженства, которое шекотало пальцы, не рождая мучительного отзвука во всем теле.

Мать поглощала еду. Поглощала с такой жадностью, что он испугался. Она глотала пищу не прожевывая. Она ела, как голодный мужчина, роняя маленькие кусочки нежной рыбы.

— Я вижу, ты проголодалась! — сказал он.

За окном шелестела летняя ночь. Сумрак уже по-настоящему сгустился. Только теперь он заметил, что на пиршественном столе — на их пиршественном столе — она зажгла две свечи.

— У меня такое чувство, будто я целый день не ела, — весело сказала она. — Будто все время чего-то боялась.

— Боялась?

Она подняла рюмку.

— Проклятый инстинкт! — беспечно сказала она.

— Инстинкт? — переспросил он с испугом.

— Тебе этого не понять, — ответила она. — Ты ребенок. Ты этого не знаешь. Это словно какой-то страх, боишься того, что миновало, боишься, что все минует... А знаешь, выпей немного вина, хотя бы пригуби.

Он пригубил. Они через стол обменялись взглядом.

— За твоё здоровье, мой мальчик! — сказала она; в мягком свете свечей глаза ее излучали тепло.

— Знаешь, мама, что я тебе скажу, — произнес он торжественно. — Ты красивее всех.

— Кого всех? — удивленно спросила она.

— Всех.

— Маленький Лорд! — сказала она.

Он понял, что она хотела произнести это беспечным тоном. И сделал вид, будто она и произнесла это беспечным тоном. Он поднял рюмку, коснулся ее губами, почувствовал успокоительный холодок золотистого напитка и желание выпить еще. «Эрна!» — в ту же минуту подумал он.

Она спросила:

— О чем ты думаешь?

— Не знаю, мама. О том, что нам здесь очень хорошо.

— Какая славная девочка Эрна, — сказала она.

Он вздрогнул, но заметил, что она не обратила на это внимания. Проклятый инстинкт! А может, это просто случайность? Ему хотелось выяснить это сейчас же: неужели все, что происходит, в тот же миг становится известным кому-то другому? Неужели люди, состоящие в родстве, настолько похожи, что ничего не могут скрыть друг от друга?

— Почему ты сказала это именно сейчас? — спросил он, улыбаясь настойчивость в собственном тоне.

— Почему? Сама не знаю, — ответила она и вдруг с испугом посмотрела на часы. — Мальчик мой, а знаешь ли ты, что тебе давно пора быть в постели!

Он знал, что она ответила правду и понимает, что он ей верит. Казалось, любые слова и фразы представляют собой шифр, понятный им обоим. Им двоим. Мы! Двое! Волнующие слова. Они снова увели Вилфреда далеко-далеко.

— Кстати, она заходила и спрашивала тебя.

— Кто? — Он ощупью пробирался назад через разнообразные миры.

— Как кто? Эрна! Мы же говорили о ней...

— Когда, мама? Когда это было?

— Примерно... да, пожалуй, недавно, с час назад. Впрочем, она даже ничего не спросила.

— Зачем же она приходила?

Проклятый инстинкт. Проклятый, трижды проклятый инстинкт. О чем догадалась эта робкая девочка, которая, казалось, была лишена какой бы то ни было проницательности?

— Зачем она приходила? Наверное, навесить... меня. Она принесла очаровательные анемоны.

Он посмотрел по направлению материнского взгляда и увидел букет в зеленой вазе на белом кабинетном рояле. Раньше Вилфред не заметил цветов. Эрна напоминала о себе. Она отныне как бы присутствовала в их доме.

Мать осушила рюмку и стала убирать со стола. Чары, связывавшие их, развеялись, осталась взаимная подозрительность, а может быть... Вилфред не мог поверить, что она что-то знает, сознает или хотя бы улавливает.

— Впрочем, я вспомнила, она говорила что-то о поездке на острова. Кажется, они собираются туда завтра.

— А ты поедешь с нами, мама? — неожиданно спросил он.

— Я...

— Не говори этого! — быстро перебил он.

— Чего — этого?

— Ты знаешь.

— Ну хорошо, предположим, знаю. Все равно, я уже слишком стара для таких пиратских вылазок. Я думаю, мы посидим дома — тетя Кристина и я.

— Тогда и я тоже.

— Но почему? — Она этого ждала и вдруг добавила: — А может, мы и поедем, во всяком случае Кристина. Ее ведь не было, когда заходила Эрна...

Точно она сказала: тебя и ее не было дома...

— Тем лучше, мама, мы побудем дома с тобой вдвоем!

Но на этот раз в его голосе не было уверенности, и он не сумел одержать победу. Чтобы ложь была правдоподобной, надо в нее верить.

Она сказала: — Уже поздно. — Голос был решительный и пустой, шифра больше не существовало. Они молча сидели за квадратным столом, не имея сил подняться и уйти.

— Ну, пора... — наконец выговорила она, вставая. Они вместе поднялись по лестнице вверх. Из дверей комнаты Кристины просачивалась полоска света. В прохладном сумраке их руки встретились в беглом ласковом прикосновении.

— Спокойной ночи, — прошептали оба одновременно.

13

Вилфред проснулся. «Я не поеду с детьми на острова», — было первое, что он подумал. Теперь он называл их детьми.

Он окинул взглядом книги, стоявшие на полках, и уселся читать историю французского искусства, подаренную ему дядей Рене. Но сегодня ни репродукции, ни изысканные комментарии к ним, которые он понимал только наполовину, ничего не говорили его сердцу; и все-таки он принуждал себя читать, все время настороженно ожидая, что с минуты на минуту что-то случится. За окном вставало свежее ясное утро, но он старался не обращать внимания — время игр миновало.

Но как раз когда он рылся на полках и в шкафу, на глаза ему попались старые игрушки, к которым он не прикасался уже много лет, и теперь он взял их в руки с какой-то священной грустью. Это был линкор «Акаса», который он когда-то сам смастерил, — линкор с трубами, прибитыми большими гвоздями, и сложной системой капитанских мостиков, причем на самом верхнем стоял японский адмирал с раскосыми глазами, вырезанный из коряги. И еще здесь были целлулоидные и деревянные торговые суда с парусами и гребными винтами, банками и такелажем. Все эти сокровища были предметом зависти мальчишек, но Вилфред великодушно разрешал им ломать игрушки одну за другой. Сам он никогда не любил в них играть.

И тут он услышал шумные голоса детей и молодежи за окном. Смесь и болтая, они поднимались по тропинке, идущей с берега; теперь Вилфред слышал и плеск весел на море. Товарищи искали его, они шли за ним. И вдруг Вилфреда охватил смертельный страх, — страх перед тем, что ему придется оказаться лицом к лицу с Эрной, и не только с ней, но и со всем тем, что связано с Эрной, а ему это вдруг надоело — надоело, и все тут! Он стал лихорадочно перебирать в уме всевозможные отговорки: болит голова, надо дочитать книгу, просто хочется побыть дома... Он выглянул в окно и увидел, что они уже близко, девочки и мальчики и кое-кто постарше, значительно старше самого Вилфреда, в красном, синем и зеленом, с разноцветными полотенцами, платками, шарфами и удилищами, а один даже с трубой, в которую он непрерывно трубил. Мать окликнула его. Потом он услышал, как она говорит с ребятами. Объясняет, что Вилфред у себя наверху, сейчас она сходит за ним. Потом она снова окликнула сына.

Он почувствовал себя точно зверь в западне. Некуда скрыться от этой лавины нежных чувств. Тетя Кристина — где она сейчас? Уж не лежит ли в постели с головной болью? От этой мысли Вилфреду стало не по себе, он не хотел встречаться с

Кристиной в доме, но ему хотелось встретиться с ней в другом месте, в каком-нибудь невыносимом месте, за пределами возможного — в игорном доме, например... Воображение рисовало ему фантастические картины, а сам он беспомощно стоял между столом и окном, не решаясь выглянуть в сад, не решаясь откликнуться на зов матери.

А она продолжала звать его. Что-то говорила молодежи и звала Вилфреда:

— Маленький Лорд! Вилфред!

И вдруг он почувствовал, что все-таки не может вот так предать ее. Но ему не хотелось кричать в ответ, он вообще не любил перекрикиваться. Взяв подмышку историю искусства, он сошел вниз и встретил всю ватагу на лестнице, ведущей на террасу. Среди молодежи стояла его мать. Он испуганно стал вспоминать придуманные им отговорки, но здесь, при солнечном свете, среди товарищей, все они казались несостоятельными.

— А вот и Вилфред. Одну минутку, я приготовлю ему завтрак на дорогу!

Он бросил быстрый взгляд на мать, но она глядела мимо него, прислушиваясь к гомону молодых голосов. Потом быстрыми шагами ушла в дом за едой для Вилфреда. Он почувствовал против нее холодную злость: она предала, продала его, пытаясь недорогой ценой достичь цели и вновь толкнуть его к детям, и все ради того, чтобы избавиться от жестокого страха, о котором она проговорила вчера вечером.

— Эрн на берегу, улодок, — сказал кто-то.

Что значат эти слова? Разве кто-нибудь что-нибудь знает? Да и о чем им знать? И снова Вилфред почувствовал глухую ярость против подозрений, которые его окружают. Они оскверняют его, отнимают его чудесное смутное одиночество.

— А мне какое дело? — холодно сказал он. — Я собираюсь остаться дома и читать историю искусства.

Те, кто стоял близко к нему, разинули рты от изумления. При свете солнца слова Вилфреда звучали нелепо и неправдоподобно. Между тем мать уже вернулась с корзинкой, куда были уложены бутерброды, и холодным соком в термосе. Вся эта предусмотрительность лишь доказывала Вилфреду, что она хочет насильно свергнуть его обратно в детство.

— Ну же, поторапливайся, Маленький Лорд... Нет, нет, мы остаемся дома, тетя еще не вставала, завтрак ей подали в комнату, у нее голова болит.

— Мама, ведь я тебя просил...

Но она сунула ему корзинку в руки и тотчас обернулась к остальным. Молодая красивая мать среди молодежи.

— Поезжайте с нами, фру Саген, — крикнул кто-то. Другие одобрительно зашумели. Но она замахала обеими руками. Она в одну секунду нашла уйму отговорок: завтра к ней приедут гости, а сегодня ей надо заняться садом и родственница заболела, да, да, тетка Вилфреда... — А вы смотрите будьте осторожны! На лодке Йоргенсена старый керосиновый мотор. Умеет ли кто-нибудь из вас с ним обращаться? — Ее голос заглушили самоуверенные возгласы — этого она и добивалась. Все должно было потонуть в шуме и звонких прощальных возгласах. Ни минуты передышки, и казалось, что это она организовала поездку, хотя все было давно-давно продумано до мелочей и товарищи просто зашли за Вилфредом, ведь Эрна еще вчера должна была предупредить его о поездке.

Да, да, Эрна приходила, но она едва успела предупредить сына. Впрочем, не беда — ведь Вилфред здесь. — Да, но он собирается засесть за уроки! — Слыханное ли это дело! Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! — И от ее смеха поведение Вилфреда показалось всем невероятно комичным. Вечно юная фру Саген подняла на смех своего мрачного сына и развеселила всех.

Она пошла вместе с ними по тропинке, составляя как бы центр их компании и при этом стараясь держаться как можно дальше от сына. Она вела молодежь за собой, увлекала своим беспечным смехом, своей готовностью радоваться всему окружающему, которая заражала всех. Гостивший у Йоргенсена молодой человек, в кремовых парусиновых штанах, с первыми признаками бороды на щеках, в несколько секунд был сражен наповал и, не таясь, ухаживал за ней, пока они шли к причалу, где стояли лодки. Старенькая моторка Йоргенсена должна была тащить на буксире две лодочки, но трое мальчишек во что бы то ни стало хотели плыть отдельно, на паруснике, и старались разглядеть еле заметное облачко где-то в дали фьорда: оно обещало ветер.

Точно веселый свадебный поезд, отчалила компания от берега, и казалось, пока неотразимая фру Саген стоит на деревянных мостках, где на сваях весело играют солнечные блики, что-то заставляет ребят бурно веселиться. Все потешались над мотором — он наконец завелся, сердито пыхтя и выбрасывая в летний воздух облака синеватого дыма, которые поднимались вверх, отмечая их путь. Потом фру Саген медленно пошла по

тропинке, ведущей в гору. Они еще что-то крикнули ей с лодок, но она уже не слышала.

Веселье в лодках как-то сразу сникло. Тяжелое тарыхтение мотора пронзало летний воздух. Вилфред в последний раз увидел на тропинке узкую спину матери — в ней не чувствовалось торжества.

— Развеселая у тебя м а т ь , — крикнул кто-то из мальчишек, стараясь перекрыть шум мотора и одобрительно глядя на Вилфреда. Вилфреда передернуло. Горькое чувство, вызванное ее предательством, сменилось желанием встать на ее защиту. Но когда он внимательней взгляделся в веснушчатое лицо Тома, сына садовника, он прочел на нем только восхищение и детскую почтительность, кривящуюся за грубоватой манерой выражаться. И тут же почувствовал прикосновение руки Эрны к своей руке, лежавшей на борту. Рука Эрны была холодна. Все это время Вилфред старался не глядеть на нее. А теперь посмотрел в робкое детское личико, покрытое матовым загаром, который отличает тех, кто постоянно живет у моря, от тех, кто, приезжая на уик-энд, сразу становится похожим на мулата. В этой девочке было что-то очень здоровое, что на свой лад тоже притягивало Вилфреда. Льняные волосы, льняное платье. Вся девушка точно лен. Что-то холодное и невинное и в то же время зажигательное было в спокойных голубых глазах, которые не умели хранить тайн.

— Ты не хотел ехать? — спросила она.

— Но ведь тебя не было с н и м и , — пылко возразил он. Он опять почувствовал, как им овладевает вдохновенное притворство, которое снова и снова вовлекает его в игру. Да и притворство ли это? Разве не естественно, что он по уши влюблен в Эрну именно здесь, в этой рамке синевы и серебра. Она ведь просто создана для нее — само воплощение утренней свежести, олицетворение лета с ног до головы. Он доверительно склонился к ней, стараясь перекрыть шум мотора.

Она почти вплотную прижалась губами к его уху. Это ничего не удивляло, так как они сидели возле шумного мотора.

— Я все время думала о т е б е , — серьезно сказала она.

Почему ее слова вызвали в нем раздражение? Потому ли, что не он первый их произнес, или просто потому, что в них был призыв, на который он не мог не ответить?

— А я о тебе, — смущенно шепнул он в о т в е т . — Всю н о ч ь , — добавил он. Это звучало неплохо. Ее глаза потемнели и увлаж-

нились. Она провела рукой по его руке, лежавшей на борту. Ее рука была жесткой от соленой воды...

— Всю ночь напролет, — хрипло повторил он.

— Значит, ты не спал? — огорченно спросила она. В его ушах ее слова отозвались плоской иронией. Но он прекрасно понимал, что в Эрне говорит забота о нем, доверие и ничто иное. Он оторвал короткий шелковый шнурок от спортивной рубашки и обвязал его вокруг запястья Эрны — то ли чтобы вознаграждать ее, то ли чтобы утешить. Он и сам не знал зачем, но тщательно закрепил его морским узлом, который он здесь научился завязывать.

— Вот! — сказал он. — Теперь ты его никогда не развяжешь.

Безмолвная и взволнованная, она смотрела на желтоватый шнурок. Она погладила его пальцами другой руки, прижалась к нему щекой и взглянула на Вилфреда мечтательными и правдивыми глазами. И он ответил ей решительным взглядом. Теперь он убедил себя в том, что любит ее.

Под громкие воинственные крики они высадились на острове. Впереди шел мальчик с трубой, за ним сын садовника Том со знаменем, на котором был нарисован череп и кости. Том водрузил его на холмике, сложенном из камней, посередине островка. Взявшись за руки, они приглушенными голосами запели магическую песню в знак того, что завладели островом. Чистейшее ребячество. Мальчики постарше сначала смущенно снизошли до участия в хороводе, но вскоре стали заводилами. Вилфред тоже вовлекся в общее веселье. Он даже сам предложил играть в следопытов. Одна партия должна была оставлять на своем пути клочки бумаги, другая — находить спрятавшихся по этим следам. Но бумажки пришлось класть под камни, чтобы их не унесло ветром, и к тому же на открытом островке прятаться было почти невозможно. Только в двух местах островок перерезали неглубокие ущелья, на дне которых скапливалась влага и валялись прибитые морем доски и стеклянные шарики от кошелькового невода. Найти тех, кто прятал бумажки, оказалось слишком легко, и поэтому молодежь затеяла другие игры — весь их смысл был в том, чтобы дать выход избытку сил, который ребята накопили за зиму, пока зубрили уроки и дышали воздухом школы.

Эрна негромко окликнула Вилфреда. Она стояла, склонившись над холмом, поднимавшимся от песчаной отмели, и сделала Вилфреду знак, чтобы он не шумел. Он на цыпочках подбежал к ней и заглянул вниз, туда, где было гнездо чайки, — там лежало яйцо, оно двигалось. Было совершенно ясно, что скорлупа вот-вот треснет, еще минута — и проклюнется птенец.

В одно мгновение Эрну и Вилфреда окружила кучка молодежи — все, не отрываясь, следили за таинством, совершавшимся на их глазах в маленьком взбаламученном гнезде. Полные сознания торжественности момента, наблюдали они за чудом: из скорлупы вылупился большущий птенец, влажный и липкий. И вдруг оказалось, что он чуть ли не в два раза больше яйца, в котором лежал. Он покачулся, сделал несколько шагов, потом пополз, потом попытался приподняться в гнезде. Эрна схватила Вилфреда за руку, она еле держалась на ногах от волнения. Это таинство в каком-то смысле было обращено к нему и к ней, словно они стояли над собственным первенцем и наблюдали, как он, трогательный и беспомощный, ползком выбирается в мир, населенный взрослыми людьми и опасностями.

И вдруг в воздухе поднялся страшный шум. Прежде чем они поняли, в чем дело, над их головой раскрылся огромный зонт белых крыльев рассерженных и крикливых птиц. Некоторые чайки, отчаянно метнувшись вниз, грозили им своими клювами. Кое-кто из мальчиков схватил камни и палки, чтобы отогнать разъяренных чаек. Но Эрна возмущенно вступилась за них.

— Идемте отсюда, — сказала она, все еще взволнованная и торжественная. — Они защищают птенца. Он, наверное, последний в этом году. Оставим его в покое.

Стая птиц провожала их, пронзительно крича, пока они не отошли на довольно большое расстояние от гнезда. Эрна села на горку и стала глядеть в сторону моря — от нее веяло умиротворением, какого Вилфред прежде в ней не замечал.

— Я никогда не видела ничего более трогательного, — сказала она. — Бедные птицы обезумели в своей отваге, и все для того, чтобы защитить одного-единственного беспомощного птенчика. Неужели это просто инстинкт?

Он вздрогнул. Опять это слово.

— Откуда ты взяла это слово — инстинкт? — спросил он.

— А разве это не так называется? Когда они, да и мы тоже, делаем что-нибудь, сами не зная почему? Когда мы угадываем...

— При чем здесь «угадываем»? Чайки просто защищают своего птенца! Что тут особенного?

— Ничего... Но ведь они как-то узнали, что птенец в опасности.

— В том-то и дело, что они ничего не узнали. Птенцу вовсе не угрожала опасность. Никто из нас не сделал бы ему ничего плохого.

— Ну а если бы сделал?

— Но мы же не сделали. Во всех этих догадках нет никакого толку,— сказал он. — И к тому же вы всегда угадываете неверно.

— Мы? — переспросила она. — Вилфред, ты на меня сердиться?

Он привлек к себе ее голову. Оглянувшись по сторонам, они обменялись торопливым поцелуем. И тут же услышали рядом крики — их товарищи стали искать в расщелинах других птенцов и, как видно, что-то нашли.

— Почему ты сказал «вы», Вилфред?

Он погладил ее по руке.

— Просто потому, что, по-моему, все слишком усердно занимаются догадками. Не надо этого делать, — ответил он. И тут же подумал: «Странно! Мы сидим и, как два старичка, спорим о чем-то, что мы не смеем назвать своим именем, а ведь на самом деле это страшно важно».

— Пошли завтракать! — крикнул наконец кто-то.

— Нет-нет! Сначала искупаемся! — закричали другие. Началась возня с купальными костюмами и трусами. Прежде все они купались голышом. А теперь вдруг заметили, что стали взрослыми и что среди них много чужих.

Взрослые городские мальчишки плавали, как они называли, по-индейски — это означало, что они шумно барахтались в воде, почти не двигаясь вперед. Скоро и остальные захотели плавать по-индейски, и поднялся такой шум и плеск, что капли воды, точно радуга, стояли над бурлящим водоворотом тел и фыркающих голов. Потом решили плавать взапуски под водой, потом стали играть в салки. Потом по одному, отдуваясь и неуклюже ступая, стали выбираться на берег. Сверкая мокрыми телами и отплевываясь, они брели к отвесной впадине, где девочки уже распаковывали корзинки с провизией, смешивая все запасы, чтобы не знать, кто что привез, и всем есть из общего котла.

— А Том? — спросил вдруг кто-то. — Где же Том?

Первым это спросил кто-то из воды. Те, кто занимался едой, продолжали болтать и кричать.

— Куда делся Том? — раздался голос с горки, где четверо мальчишек загорали на солнце. И вдруг все разом замолчали. Кто-то сказал:

— Вот его одежда.

Кто-то коротко окликнул: «Том! Том!» Потом крики стали протяжными: «То-о-ом!» И потом из глоток, перехваченных смятением, вырвался общий вопль: «То-ом! То-м!»

На острове стало тихо. Кто-то босиком бесшумно побегал на вершину холма, чтобы оттуда оглядеться, другие бросились на берег и на горку. Никто уже не кричал, все искали. Но Тома нигде не было.

Вилфред почувствовал, как ледяная рука сжала его за платье. Он посмотрел Эрне в глаза — в них было отчаяние. И что-то еще. Мольба?

Вилфред тоже испугался, но головы не потерял. Он опять услышал нестройные крики, унылые, просительные, словно товарищи пытались вызвать дух исчезнувшего Тома из скалы, под которой они шарили, разыскивая его.

Усилием воли, которое отозвалось в нем почти физической болью, Вилфред попытался сосредоточиться. Одежда Тома. Ее нашли далеко от вороха одежды остальных мальчишек и девочек, которые раздевались за каменистой грядой на южной стороне островка.

И вдруг Вилфред понял, понял то, что мог только предполагать: у Тома не было купальных трусов. Вилфред увидел перед собой дом садовника — маленькую хибарку. Купальные костюмы и другие подобные предметы роскоши в этом доме не водились. Наверняка Том стеснялся купаться вместе с остальными...

Вилфред заметил, что сжимает руку Эрны. Резко выпустив ее, он, ни слова не говоря, бросился прочь. Он бежал к северной оконечности островка — узкому мысу, полого спускающемуся в море. Он быстро бежал по скалистому грунту, старательно выбирая, куда поставить ногу. Он бежал, ликуя от сознания, что его осенила верная догадка, в то время как другие брели наобум. При этом он все время видел перед собой маленький домик садовника на равнине. Он бежал быстро, но в то же время разумно расходуя силы, так что, когда он добежал до мыса, у него еще хватило дыхания. Тут он резко остановился и заглянул в воду. С подветренной стороны вода была тихая и прозрачная, как стекло. Он отчетливо видел дно, темные водо-

росли, чуть колеблемые течением. Перебираясь с камня на камень, он глядел в воду и по плану, участок за участком обыскивал каменистое дно, покрытое водорослями.

И вдруг он увидел Тома. Том лежал спиной кверху, голый и белый, Худые ноги, искривленные изломанным лучом света, казались длинными и дрожащими.

Вилфред оглянулся в поисках помощи. Но услышал только крики, которые доносились с противоположной стороны островка. Он осторожно зашлепал по илистому дну, шаг за шагом, чтобы не упасть. Здесь оказалось глубже, чем он думал. Там, где лежал Том, он уже не доставал до дна. Вилфред быстро нырнул, обхватил Тома за шею и приподнял верхнюю часть его туловища так, что тело Тома уперлось коленями в дно. В голове Вилфреда мелькали обрывки воспоминаний о том, как надо поступать при спасении утопленников: взвалить пострадавшего на спину и плыть со своей ношей к берегу.

Том оказался тяжелее, чем Вилфред предполагал. Он все время сползал вниз. Но как раз в ту минуту, когда Вилфред хотел обхватить Тома другой рукой, он ногами нащупал дно. И через несколько секунд он уже стоял на маленькой подводной скале у самого мыса, до пояса вытащив Тома из воды. Теперь оставалось только добраться вброд до берега, волоча усталыми руками холодное тело, тяжелое и вялое.

И в ту же минуту он увидел на гребне холма Эрну. На синеве неба пламенел ее желтый купальник. Усталое тело Вилфреда мгновенно налилось торжеством, теперь ему были нипочем любые трудности.

Эрна обернулась и замахала ему. Вилфред, задыхаясь, обессиленный, волочил безжизненное тело, все время вспоминая то, что читал в «Карманном справочнике для юношей» о приведении в чувство утопающих.

Когда первые из тех, кто искал Тома, сбежали с горки вниз, Вилфред уже перевернул утопленника на живот, положив его так, что ноги Тома были приподняты, а голова лежала внизу, на сухой кромке скалы. Вилфред сидел верхом на Томе, упиравшись коленями в землю. Мальчики подошли ближе. Крики умолкли. За мальчиками прибежали и девочки. Вилфред чувствовал, как позади него, вокруг него полукругом в несколько рядов столпились взволнованные, испуганные, беспомощные дети, ожидающие, что он сотворит чудо. А он целеустремленно и ритмично делал утопленнику искусственное дыхание. Но правильно ли он действует? Так ли написано в книге?

Вилфред настолько устал, что с трудом удерживался, чтобы не рухнуть ничком на мокрое тело. Но он не мог уступить место другому, не решался остановиться или спросить, нет ли здесь кого, кто умеет лучше делать спасательную гимнастику. Чей-то глухой голос стал подавать советы, но очень неуверенно. Вилфреду казалось, что речь идет не о жизни Тома, а о его собственной жизни. Справится ли *он*, одолеет ли *он*...

И тут изо рта того, кто лежал под ним, полилась вода. Вилфред уже не помнил, кто это. Это было чье-то тело, чья-то голова, упирающаяся в камень внизу, он повернул ее так, чтобы камень не закрывал рот. Вода хлынула сильнее. У парнишки началась рвота,

Вилфред стал переворачивать Тома. Теперь и другие принялись ему помогать. Тома повернули на спину, но его голова беспомощно поникла набок. Вилфред плашмя лег на Тома, прислушиваясь, не бьется ли сердце. Он не слышал его ударов, но чувствовал, что Том жив. Глаза Вилфреда застлал красный туман. Он хотел позвать на помощь, но провалился куда-то в пропасть, смутно чувствуя, что его тоже начало рвать.

— Мама, да я вовсе никуда не прыгал и вообще не сделал ничего такого, о чем вы говорите, я просто пошел вброд по воде и вытащил Тома на берег.

От этих разговоров Вилфреду становилось не по себе. Они с матерью и тетей Кристиной пили после обеда кофе. Дети все еще громко кричали где-то неподалеку, рассказывая родителям и всем, кому не лень было слушать, как Вилфред спас Тома. Садовник и его жена уже заходили к Сагенам. Они не могли отлучиться из дому больше чем на полчаса. Оба плакали слезами благодарности. Доктор сказал, что Том был на волосок от смерти. Не окажись поблизости мужественного человека, они лишились бы Тома, единственного своего сокровища.

Да и само возвращение домой... После напряженных минут, которые разрешились сдавленным воплем ликования, возвращение домой превратилось в триумфальное шествие, когда всеми вдруг овладела неодолимая потребность прославлять одного. Как только Вилфред пришел в себя на островке, он сразу сказал, что ничего особенного не сделал, даже не плавал, а просто вытащил Тома волоком на берег. Но чем решительней он протестовал, тем больше убеждались остальные, что на островке был совершен подвиг. Будни, и без того яркие, требовали еще

большого блеска. Дети жаждали окружить Вилфреда ореолом героизма. Вилфреду и сейчас еще вспоминалась Эрна в лодке на обратном пути домой. Она сидела, вперив в него взгляд своих голубых глаз, не говоря ни слова, ничего не видя и не слыша от восторга и счастья, что именно он совершил этот подвиг.

Вилфред охотно прошелся бы по солнечной тропинке через поляну к дому садовника, чтобы убедиться, что Том жив-здоров, но не решался как раз из-за того, что родители Тома были так переполнены благодарностью. Вилфред понимал, что они примут его, как некий принудительный дар, на который они обязаны перенести часть своей всепоглощающей любви к Тому. Том еще лежал в постели, ему не разрешили вставать, хотя он уверял, что совершенно здоров и хочет гулять и играть с остальными детьми.

Но садовник и его жена в отчаянии требовали, чтобы Том хоть несколько дней полежал в постели. Казалось, они решили держать сына на привязи и не выпускать его из виду, хотя страх за него они пережили задним числом, когда страшиться уже было нечего.

Мать Вилфреда сияла. Она не хвасталась и вообще была немногословна, но призналась Кристине, что гордится сыном.

Кристина выслушала рассказ о происшествии, смущенно улыбаясь. Она как бы чувствовала себя не вправе присоединить свой голос к хору похвал. Беда ведь случилась не на ее глазах. Поэтому Кристина не принимала участия в разговорах о судорогах и искусственном дыхании. Но и она, казалось, лучится радостью, и радость эта обращена к Вилфреду, который понимал ее душевное состояние.

— Иными словами, ты вообще ни при чем? — сказала Кристина с иронией. — Ты просто случайно вошел в воду, вытащил Тома на берег и вернул его к жизни?

— Нет, именно не случайно. Я сначала *подумал*. В этом вся разница. Я подумал, что Том стесняется купаться голым. И подумал, что у него нет купальных трусов.

— И тебе осталось только пойти и вытащить его на берег, — сказала мать.

— Да.

— Но как ты мог угадать, что у него нет купальных трусов?

— А я вовсе не угадывал. Я просто увидел это.

Мать и Кристина обменялись взглядом поверх ликерных рюмок. О чем подумали они обе — каждая на своем краю слишком обширного поля их общих догадок?

— Твое любимое словцо, — с легкой тревогой заметила мать. — Ты видел, ты видишь...

Вилфред смутился. Он чувствовал, что они пытаются его разгадать. А он всем своим нутром ощущал, что эта его способность *видеть* была одним из путей, ведущих в царство тайны. Во всяком случае, для него, Вилфреда. У других, наверное, по-другому. *Видеть, знать* — это очень важно. Видеть не только глазами, знать не только то, что тебе известно.

— По правде говоря, мне не хочется больше обсуждать эту тему, — сказал он. — Я очень рад, что Том жив и здоров, по-моему, он славный парень, хотя я почти совсем его не знаю.

Вилфред встал из-за стола и вышел в сад. Он знал, что сейчас обе женщины молча глядят друг на друга и думают, что понимают, в чем дело. А понимают они это так: Вилфред — скромный мальчик и не хочет, чтобы его хвалили за то, что сделал бы на его месте любой другой, сделал или мог бы сделать, если бы додумался до этого. Он видел, как они сидят, давая волю своей потребности кем-нибудь восхищаться, и знал, что они горько ошибаются. Горько для него самого. Потому что как раз такого рода фальшь не входила в его планы. Слово «банальность» мелькнуло в его мозгу. Он поморщился...

Но его грызла еще какая-то другая мысль, которая опять завладела им, как только он остался один. Она смутно мелькнула у него еще в те драгоценные секунды, когда на мысу он изо всех сил пытался сосредоточиться, но Вилфред до сих пор не разобрался в ней. Что-то вроде: «Только бы не загубить дело!» Нет, тут было еще и другое, что-то мучительное. В лучах спускающегося к горизонту солнца Вилфред брел к берегу, где началось короткое приключение. Да, вот в чем дело: хотел ли Вилфред, чтобы кто-нибудь пришел к нему на помощь, когда он брел по воде в поисках Тома?

Нет, Вилфред не хотел ничьей помощи.

Ну а если бы ему не удалось вытащить Тома в одиночку, неужели он предпочел бы, чтобы Том погиб, лишь бы не прибегнуть ни к чьей помощи?

Вилфред не знал. Но знал, что был рад, когда никого не оказалось поблизости.

А потом? Потом, когда он склонился над «трупом», делая ему искусственное дыхание по правилам, которые он помнил смутно и никогда не проверял на практике, — хотел он, чтобы кто-нибудь более сведущий пришел ему на помощь, подал совет?

Нет, он не хотел этого. Когда один из старших незнакомых ему мальчиков глухим голосом стал подавать советы, Вилфред выслушал их с раздражением, словно преодолевая в себе внутренний протест.

Впрочем, этот парень и сам ничего толком не знал и говорил, просто чтобы что-нибудь сказать.

Ну а если бы на берегу оказался кто-то и в самом деле более опытный, более уверенный, более сильный...

Но такого не оказалось.

Ну а если бы?..

Неужели Вилфред предпочел бы, чтобы Том умер, чем прибегнуть к чужой помощи?

Неужели он думал только о том, чтобы самоутвердиться?

Вилфред снова быстро зашагал по тропинке: эти быстрые шаги давали какую-то разрядку его душевному напряжению. Неужели же он и вправду был почти готов убить Тома — это он-то, который так героически его спас? Неужели в этом и состоит подлинная правда, и она настолько мучает Вилфреда, что ему невыносимы похвалы его сообразительности и решительному поведению?

А ведь в каком-то смысле теперь, после всего случившегося, он привязался к Тому, хотя, когда они шли купаться, ему и дела не было до веснушчатого парнишки с белой кожей. Когда Вилфред стоял на коленях над полумертвым телом, как бы загоняя его обратно в жизнь, не обращался ли он с Томом как со своей собственностью, не видел ли в нем просто ступеньку к славе?

Вилфред застонал, продолжая расхаживать по тропинке. Ведь если даже в ту минуту он не осознавал до конца мотивы своего поведения, все-таки он почти сознавал их. Теперь он все отчетливей понимал это, одно за другим отвергая все возможные оправдания и чувствуя незаслуженность всеобщих похвал. Оправдания и похвалы рядились в оболочку чужих слов; он вспоминал, как его одобрительно похлопывали по плечу, как восхищенно смотрела на него Эрна, как мать истолковывала его скромность. Все это было мучительно, неуместно и не имело к нему никакого отношения.

Отчего Вилфред отвергал все это?

Оттого ли, что хотел быть честным до конца?

Вилфред отшвырнул какой-то камень, вложив в удар всю силу своего презрения; описав дугу, камень упал в море.

В том-то и дело, что Вилфред мучил себя вовсе не для того, чтобы быть честным до мозга костей, а для того, чтобы разрушить нечто, что росло на его глазах, принимая искаженные формы, как раз подходящие для того, чтобы сойти за правду.

Вилфред дошел до мыса, где стоял маяк. Он почувствовал смутное удовлетворение, оттого что добрался как бы до последнего слоя истины. Вся радость угасла в нем. Зато он чувствовал в душе прочный и твердый камень, угловатый и острый, — надежная опора, на которую можно опираться вечно. Камень был таким же твердым, как скала, на которой Вилфред стоял, но он не имел неопределенных продолговатых очертаний мыса, который ласкало море, освещенное закатом. Это был маленький твердый камень с острыми краями, как раз такой, какой надо иметь внутри с ебя, — точка опоры и в то же время оружие...

С противоположного края мыса к Вилфреду протянулась мягкая тень лодки. И в ту же минуту он увидел, как белая лодочка мадам Фрисаксен быстро выскользнула из-за маяка. Сама мадам Фрисаксен, поджарая, загорелая, сидела вполоборота к нему, бесшумно скользя к тому месту, где водились мерланы. Когда лодка огибала мыс, женщина увидела Вилфреда в красном свете заката. Она опустила весла.

— Никак наш спасатель ходит и ищет, где бы еще найти утопленника? — добродушно сказала она. А может, в ее голосе звучала ирония?

Вилфреда обдало жаркой волной. Что было в этой отверженной женщине, что доставляло ему такую радость?

— Добрый вечер, фру Фрисаксен! — крикнул он с холма, на котором стоял, и вежливо поклонился. — А вы, верно, вышли за мерланом, фру Фрисаксен?

Он чувствовал, что ей льстит, когда ее называют «фру». Взрослые, обращаясь к ней, всегда называли ее «мадам».

— Правду ли рассказывают, что ты вытащил из воды маленького Тома? — спросила она.

— Да, но я его волоком тащил, фру Фрисаксен, там было совсем неглубоко.

— Ну да, понятно, — тихо сказала она, и ее голос отчетливо разносился над водой. — Понятно, — повторила она и снова взялась за бесшумные весла, еле-еле пошевеливая ими, так, чтобы держаться на некотором расстоянии от мыса, — Пожалуй, Тому повезло, — заметила она.

— Пусть не будет тебе сегодня удачи, фру Фрисаксен, — крикнул Вилфред весело. — Ни одной рыбы за целый вечер!

Она ответила ему лукавым кивком. Она поняла его. Хорошего улова желать не полагается — это дурная примета.

— Т ь ф у , — крикнул Вилфред и сплюнул в море.

Лицо фру Фрисаксен расплылось в широкой улыбке, такой непривычной на нем, что, казалось, оно все пошло трещинами. Потом она еще раз кивнула и бесшумно поплыла к мерлановой впадине, на поверхности которой играли багряные блики.

И снова Вилфред стоял, глядя вслед одинокой женщине в лодке, женщине, которая жила в другом мире, не похожем на шумный мир дачников; да и вообще слово «мир» как-то не подходило к ней. Казалось, она плывет в мерцающую страну утрат, в страну, которая существует сама по себе, без всякой связи с окружающим. Она тихо плыла, освещенная холодным солнцем.

«Пожалуй, — сказала она, — пожалуй, Тому повезло».

Да и вообще она ни словом не высказала своего одобрения Вилфреду, взглянув на происшедшее с точки зрения Тома, а может, и его родителей. Садовник и его жена были единственными в этих краях, с кем она поддерживала отношения.

А что она на самом деле думала о великом событии, которое в течение недели, а может и дольше, будет предметом болтовни дачников?

Наверняка ничего не думала.

И вдруг у подростка, который как загипнотизированный смотрел на крошечную лодку, похожую на золотую каплю в вечерней синеве, мелькнула ликующая мысль: «Фру Фрисаксен наплевать на все». Наплевать, и точка. Ей вполне хватает собственного крошечного существования.

Вот в чем было дело. Она источала таинственную прелесть равнодушия, покоя. В этом смысле в ней было сходство с родным дядей Вилфреда, Мартином, хотя у того это выражалось по-иному. Круг, в котором существовал дядя Мартин, был широк, сюда входила и биржа, и иностранные торговые фирмы — огромное поле деятельности, приносящее радости и огорчения тебе и другим. Но на самом деле дядя окружал себя делами, просто чтобы его оставили в покое, да еще и потому, что на деловые темы принято говорить. А на самом деле ему было плевать на все с высокого дерева. Кстати, это было его любимое выражение. Музыка, изысканные произведения искусства, которые повергали других в трепет, которые действовали на дядю Рене так, что было видно, как он бледнеет под напором впечатлений... даже нищета и опасности, о которых дядя Мартин так любил пространно рассуждать... ему было плевать на все. Вил-

фред понимал это теперь, стоя на берегу, совершенно опустошенный и в то же время исполненный внутреннего ликования оттого, что на свете существуют такие люди. Наверное, они и есть подлинные эгоисты?

Взрослые очень часто рассуждали об эгоизме. Они произносили это слово с таким видом, точно им попало гнилое яблоко.

А они просто не понимают, что такое эгоизм!.. Они думают, это значит заботиться прежде всего о собственной выгоде. Они не подозревают, с какой страстью Вилфред мечтает замуровать себя в одиночестве так, чтобы в святая святых своей души быть совсем одному и превратиться в твердый камень, покрытый лоском вежливости и предупредительности, которых они от него требуют. И вот, когда он станет независимым от них, превратится в камень, не думающий о других камнях, они будут видеть в нем только доброту, обаяние и геройство. И еще он хочет стать богатым, как дядя Мартин, потому что дядя, видно, и впрямь очень богат, но имеет самые непритязательные привычки, чтобы они говорили: «Ах, как он скромен, как много добра он делает втайне!» Быть богатым, уверенным в себе и никогда не задавать себе вопросов, что хорошо, что плохо. Да и вообще, зачем его так старательно учили всему тому, чему другие не учатся, — музыке, например (чего стоит хотя бы та весна, которую он провел с матерью во Франции еще до поступления в школу...), если не для того, чтобы он мог использовать свое раннее развитие, о котором они так любят говорить, и стать жестким, как камень?

Вилфред снова вышел на дорогу, и в эту минуту его окликнули из-за садовой ограды родители Эрны: они ужинали за крошечным столом под высоким каштаном, с которого вечно что-нибудь падало в тарелки. Они ели блюдо под названием геркулес — хлопья, политые молоком. Вилфреду пришлось согласиться отведать этого геркулеса, который застревал у него в горле. Отец Эрны был директором какого-то учебного заведения и знал почти все, что касается вопросов воспитания, а то малое, чего он не знал, он изучал во время ежегодного пребывания в Англии, куда его посылали совершенствоваться, — там в некоем институте с 15 по 30 июня сообщались дополнительные сведения по вопросам воспитания.

Отец Эрны разглагольствовал о характере, о закалке и еще о чем-то, что он именовал чистотой духа. Единственный во всем поселке, он ходил голый по пояс, растирал себя песком и ел

только сырую пищу. Он наставительно похвалил Вилфреда за его поведение. По-видимому, оно явилось результатом того бойскаутского спортивного духа, обладая которым человек всегда твердо знает, как ему следует поступать.

Девятилетний братишка Эрны, которого заставили полоть грядки с редиской, хитро навострил уши.

Вилфред осторожно покосился на Эрну. Впервые за все время их знакомства он уловил на ее лице выражение, в котором была не только искренность. Неужели она всегда так стыдится этого граммофонного оракула, над которым любят потешаться, потягивая на балконе виски, дяди Вилфреда и прочие самоуверенные господа, которые тоже знают все на свете, только на свой лад? Даже мать Эрны, которая, подчиняясь своему мужу, в дни, когда у них бывали гости, надевала нечто вроде национального костюма, рассеянно помешивала в тарелке свою порцию хлопьев. Все считают, что отец Эрны говорит глупости, а может, на самом деле это не так уж глупо? Если бы Вилфред не боялся, что его выдаст насмешливый голос, он вполне мог бы начать поддакивать ему, как он поддакивал домашним оракулам.

— Я совершенно согласен с вами, что нет оснований славословить того, кто пришел на выручку своему товарищу, — заявил Вилфред. В душе он сам посмеивался над тем, что употребил выражение дяди Мартина «славословить». Когда в разговоре со взрослыми он употреблял выражения других взрослых, в глазах его собеседников появлялась растерянность. Эрна бросила на него быстрый взгляд. Была ли в нем благодарность или страх, что он станет потешаться над ее отцом?..

Отец Эрны одобрительно хмыкнул и отправил себе в рот полную ложку хлопьев с молоком. Он напоминал Вилфреду корову, жующую жвачку. Воспользовавшись подходящей минутой, Вилфред добавил:

— Но английское движение бойскаутов вовсе не приводит меня в восторг.

На лице Эрниного отца появилась снисходительная улыбка, какой улыбаются педагоги, когда несведущие люди подвергают сомнению их идеи.

— Ах вот как, нашему юному другу не нравится движение бойскаутов! — Он оглядел членов своей семьи и поманил к себе младшего сына, сидевшего на грядке, чтобы и он мог извлечь пользу из поучения. Это был маленький лохматый разбойник, который жадно пялил глаза на вазу с черносморозинным ва-

ренъем. — Да позволено мне будет спросить нашего юного героя, знаком ли он с основными заповедями Бейден-Пауэлла? — И он ласково, но решительно положил руку на взъерошенную голову младшего сынишки.

— Я внимательно прочел их, — беззаботно ответил Вилфред. — Все, что там сказано о честности и чистоте, похоже на то, что говорится в других книгах. Но по-моему, для нормальных мальчишек это слишком скучно. Это похоже на обычные правила поведения.

Директор даже подпрыгнул на своем стуле. Забавно было подразнить его чуть-чуть, самую малость.

— По-моему, люди — и в особенности молодые — устроены более сложно и поступки их вызваны различными мотивами, поэтому прописные истины этого Бейден-Пауэлла оставляют их равнодушными.

Эрна опустила глаза в тарелку, ее младший брат переминался с ноги на ногу, то ли оттого, что его разбирал смех, то ли от нетерпения. Отец собирался уже осадить спорщика, но, должно быть, какая-то мысль остановила его, и он ограничился тем, что сказал:

— Как видно, дома ты слышишь суждения другого рода. А среда оказывает огромное влияние на взгляды молодежи.

— Вот именно, — примирительно поддакнул Вилфред.

Пора было откланяться. Он знал, что к родителям Эрны детей и подростков зазывают только для того, чтобы читать им наставления. Но когда он поднялся из-за стола, какой-то бесенок толкнул его под руку:

— На нас, детей, действительно влияет то, что мы слышим дома, но часто в противоположном направлении.

Он вежливо простился с матерью Эрны, поблагодарив за чудесное угощение. Хозяин дома смотрел на него снисходительно. Вилфред чувствовал себя как бабочка, насаженная на булавку. Останься он здесь еще минут десять, и он будет причислен к педагогическим «казусам», о которых столь часто рассуждает ежемесячный журнал «За здоровье духа и тела». Журнал весь этот год присылали к ним домой, на Драмменсвей. Вилфреду никогда прежде не приходило в голову, что посылал его, конечно, отец Эрны.

Вилфред шел домой между двумя рядами вязов, составлявших зеленую изгородь, давясь от смеха при воспоминании о бравом отце Эрны, который черпал свою патентованную мудрость из ежегодного июньского курса лекций при институте в

Кенте. И вдруг листва зашуршала, и Эрна, раздвинув ветви вяза, оказалась перед ним на тропинке.

— Как тебе не стыдно смеяться над моим отцом! — сказала она. Ее щеки пылали от негодования. Она была прелестна.

— А я не смеялся. Я просто поспорил с ним немножко. — Вилфред тоже рассердился.

— А для отца это одно и то же. Как ты не понимаешь, ведь ему никто никогда не перечит.

— Тем более давно пора это сделать, — равнодушно возразил Вилфред. — Вам и самим, как видно, надоели его рассуждения о здоровье.

Теперь они стояли совсем близко друг от друга. Вид у Эрны был огорченный и покорный. Гнев ее уже улегся.

— Ты считаешь, что он очень глупый? — спросила она.

Вилфред посмотрел на нее примиренным взглядом. С такой преданностью ничего не поделаешь. Она готова была признать, что каждый по-своему прав.

— Не глупее других, которые из себя что-то строят, — ответил он. — Ты знаешь фру Фрисаксен?

— Эту гадкую женщину... — Эрна в ужасе смотрела на него.

— Она ничего из себя не строит, — сказал он. — Да и ты тоже, но ты еще не стала взрослой.

Она обрадовалась и в то же время смутилась.

— А ты, Вилфред, — спросила она, — разве ты что-нибудь из себя строишь?

— Конечно, — ответил он, притянув ее руками за шею. С минуту они постояли, сблизив головы. Ее позвали из дома. Она сразу же наполовину скрылась в листве. В этом доме послушание было не только теоретическим понятием.

— Передай привет твоему братцу, — шепнул Вилфред. — Этот маленький разбойник вряд ли станет бойскаутом.

Она обернулась к нему. Казалось, она составляет одно целое с листвой деревьев.

— Вилфред, — тихо сказала она. — А ты не дашь мне почитать эту твою историю искусства?..

На мгновение он оцепенел. Потом почувствовал, что растороган:

— Ох, да не читай ты, пожалуйста, таких книг, я и сам их читаю ради форса.

Голоса, окликавшие Эрну, зазвучали ближе. Она беспомощно покачала головой, потом мгновенно исчезла в зелени.

— Я искала котенка! — услышал он ее голос.

«Вот тебе и искренность!» — озорно подумал он. В теперешнем своем радужном настроении он наконец отважился додумать свою мысль до конца: «Когда я вытаскивал Тома из воды, я тоже строил из себя героя — ведь я знал, что Эрна вот-вот появится на берегу».

14

Тетя Кристина страдала мигренями. Мигрень разыгрывалась у нее от каждого пустяка. Мать едва заметно улыбалась, когда Кристина бродила по комнатам в поисках удобного местечка, чтобы прилечь. А Кристина смиренно говорила, что самое обидное — страдать одной из двух болезней, которые другим всегда кажутся притворными, — бессонницей и мигренью. Вечно находится кто-нибудь, кто слышал, как ты храпишь в пять часов утра.

Для Вилфреда наступила маленькая передышка. Его безудержное желание на время угасло, поскольку в дело вмешалась болезнь. Состояние Кристины было не настолько тяжелым, чтобы взывать к рыцарской стороне его чувств. К тому же тетя слишком обстоятельно описывала симптомы своей болезни. Вилфред вообще никогда не понимал, что за охота людям излагать подробности своих недугов.

Но мир, в котором он жил этим летом на даче, мир, в котором он видел путь к отказу от своих прежних грехов и великому преображению, рухнул. Кристина принесла ему разочарование, потому что, избегая его теперь, она невольно напоминала ему о его неудачном посягательстве. Эрна принесла ему разочарование, потому что ее трогательная преданность обезоруживала его жажду насилия; Вилфреда преследовали греховные видения, а ему дали поиграть бабочкой. Мать принесла ему разочарование, потому что все время была настороже, подозревая его даже в том, в чем он не был повинен. А из тех детских игр, которые прежде доставляли удовольствие им обоим, Вилфред вырос.

Но по сути дела, источник всех разочарований был в нем самом. Вялые потуги воображения уже не рождали прежних видений. Сокровищница его детства потеряла былой ореол. Даже старая игра с дарами моря приняла новый оборот. Прежде случайные предметы, принесенные со дна морского, с кораблей, из чужих стран, попадая на сушу, приобретали ореол та-

индивидуальности, даже если это был какой-нибудь старый тюфяк. Все, что было связано с морем, манило и обещало. Теперь Вилфред опять возлагал все свои надежды на море, словно в облике предметов, какие он обычно с торжеством приволокал домой — стеклянных шариков, домашней утвари, — к нему могло вернуться детство. Он понимал, что сам противоречит себе, когда, готовясь покорить новый мир, ожидает радостей от того, что кануло в прошлое. Да и попытка найти эти радости оказалась тщетной. Предметы, которые Вилфред приносил домой, оставались тем, чем они были, — прозаическим протестом против грез, которой он хотел насладиться вопреки всему.

Однажды он принес домой поплавок от невода, и кто-то из взрослых спросил, стоит ли собирать всякий хлам. Почва ушла у Вилфреда из-под ног. Но в ту же минуту он вновь обрел свою победную уверенность — только взрослые с их плоской глупостью могут оказаться такими банкротами перед чудесами жизни. И однако, отныне, когда выброшенные морем сокровища начинали уже наполняться смыслом, преобразаться в соответствии с его смутной мечтой, чей-то чужой голос, который в то же время был и его собственным голосом, нашептывал ему: «Стоит ли собирать всякий хлам?..» В Вилфреде сосуществовали две силы; одна предавала другую. А его влекло по очереди то к одной, то к другой: к той, что создавала волшебный ореол, и к той, что убивала его.

Оставался один выход — стремиться совсем к другому, к тому, что опустошало душу, оставляя в ней сухой темно-красный привкус, терзавший тело и мысли. Но это другое нельзя было коллекционировать, тут нельзя было ждать, пока оно преобразится в соответствии с твоими мечтами. Тут нужно было действовать.

Но тетя Кристина страдала мигренью, а Эрн была бабочкой.

Ничто не помогало Вилфреду убежать от того, от чего он хотел убежать. Газеты снова заговорили о дурацких весенних проделках, после того как целых три недели они пережевывали только визит британских кораблей. А теперь газетные колонки опять запестрели заметками о сбившейся с пути молодежи вперемежку с сообщениями о последнем побеге Элиаса Теннесена из тюрьмы в Ботсе. Газеты писали, что знаменитый вор стал идолом всех мальчишек, даже дети порядочных родителей теперь занимаются воровством и кое-чем похуже. Вся молодежь Христиании из спортивного интереса в большей или меньшей степени подражает французским бандитам...

Спортивный интерес!..

Дядя Мартин, ссылаясь на свою неизменную «Социал-демократен», заявил, что общественность не потерпит, чтобы выгораживали детей имущих классов. Бедные дети, вздохнула мать.

В один прекрасный день Маленькому Лорду пришло письмо. Он обнаружил его в желтом деревянном почтовом ящике у причала. Внутри ящика пахло разогретым на солнце деревом, почти как в купальне.

Письмо лежало на самом дне ящика, кроме него, здесь валялся только потрепанный номер «Городского миссионера», брошенный сюда по ошибке с месяц тому назад. Маленький Лорд несколько раз прочел адрес на конверте, прежде чем решился дотронуться до письма. Невидимая рука стиснула его сердце. Письмо — это обязательно какая-нибудь неприятность. Судя по крупным, округлым, неровным буквам, письмо написано детской рукой. Письмо от школьного товарища — все возможные варианты вихрем проносятся в голове Вилфреда. Но в глубине души он прекрасно знает, от кого письмо.

Он не сразу распечатал конверт, а, осторожно держа письмо в руке, оглянулся по сторонам. Южный ветерок легонько играл его волосами; на молу, где ему был знаком каждый камень и глубокие рытвины — следы троса — на сваях, все было прежним. Все было прежним и все стало другим из-за письма: возникло новое состояние, изменившее прежнее состояние, и без того насыщенное тревогой. Во времени произошел сдвиг. Маленький Лорд вновь возвращен к тому неприятному, что случилось весной, нераскрытое снова всплывает на поверхность, и от этого начинает сосать под ложечкой.

Он побрел вверх по первой попавшейся тропинке между двумя давно не крашенными оградами. Тропинка вывела его на площадку, откуда открывались широкие дали и где все дни, кроме воскресных, не было ни души. Это была небольшая утрамбованная впадина с вытоптанной, запыленной травой. И вдруг Вилфред бросил письмо на землю и быстро зашагал прочь. У него мелькнула мысль, что если сделать вид, будто ничего не произошло, то и в самом деле ничего не произойдет. Когда он обернется, письма уже не будет в помине, позади он увидит только темную пыльную площадку с реденькой травой. Но когда он обернулся, письмо как ни в чем не бывало лежало

на прежнем месте, и он стремглав помчался назад за письмом, чтобы никто его не опередил. Вилфред вдруг понял, что никто не должен пронюхать, что ему пришло письмо. Письмо летом — это целое событие. Каждому хочется хоть краешком глаза увидеть, что в нем такое написано.

Вскрыв конверт, Вилфред сразу убедился, что письмо от Андреаса, и тут же понял, что речь в нем пойдет о велосипеде, который он одолжил Андреасу с условием, что тот возьмет его из тайника на Блосене, где он остался после злосчастной ночи, когда Вилфред пытался «совершить поджог и напасть на полицейского», как писали в газетах. Андреас сообщал, что к ним два раза приходила полиция и спрашивала насчет велосипеда. В первый раз это было уже давно, недели через две после экзамена в школе, в другой раз — когда Андреас вернулся в город, — они всей семьей гостили в деревне у теток в Тотене. Как видно, кто-то из полицейских приметил красивый английский велосипед и теперь узнал его. Андреас не скрывал от Вилфреда, что много ездил на нем.

Вначале Андреас все отрицал, а потом признался, что нашел его на Блосене и взял покататься, но в первые вечера возвращал на место. Полицейские ведь знали, что велосипед английской марки и не похож на обычные, норвежские. Отец Андреаса потребовал, чтобы сын рассказал всю правду полиции или хотя бы родному отцу. Но Андреас ни за что не скажет правду никому на свете, потому что он подумал — а вдруг Вилфред что-нибудь натворил? А он, Андреас, не из тех, кто предаст друга...

И подпись — «твой друг Андреас».

Внутри у Вилфреда все дрожало мелкой дрожью. Только руки твердо держали письмо. «Друг», — подумал он с чувством вины и стыда. Но в следующую минуту он успокоился, к нему вернулось присутствие духа и ожесточение. Друг? А на что он нужен — друг? Вилфред одолжил Андреасу велосипед на неопределенный срок. Он доставил Андреасу удовольствие, у того ведь нет велосипеда. Теперь у Андреаса из-за велосипеда начались неприятности. Какое до этого дело Вилфреду? Разве он тогда нарочно хотел навлечь подозрения на Андреаса, в случае если полицейский заметил велосипед? Разве он хотел навлечь на Андреаса беду?

Нет, Вилфред этого не хотел. Сейчас, стоя на площадке наверху холма, он был твердо в этом уверен. И в то же время понимал, что ему недаром хотелось, чтобы Андреас взял велоси-

пед с Блосена. У самого Вилфреда в ту пору было дел по горло. А вообще он не из тех, кто предает друга...

Это Вилфред не из тех, кто предает друга? Да, Вилфред. Он не из таких. И Андреас не из таких. Они друзья, они всегда выручают друг друга. Андреас выручил его. Теперь черед Вилфреда. А может, его черед еще не наступил? Андреас еще не отделался от этой истории. Пусть выпутывается как знает. А потом уже настанет черед Вилфреда. Тогда будет выпутываться он. Так они и выручают друг друга.

Вилфред разорвал письмо на мелкие клочки, чтобы окончательно покончить с этим вопросом. В самом деле, чего ждет от него Андреас? Ничего. Впрочем, в письме нет ни слова о том, что он чего-то ждет. А может, там и написано об этом? Все равно уже поздно — письма нет. Да и вообще, что Вилфред может сделать? Скоро, очень скоро полиция перестанет копаться в этой истории. Ведь пожара не произошло, а дураку полицейскому за это время пришлось, наверное, пережить другие приключения. Да и по правде, все это уже давно никого не интересует. Мало ли что пишут газеты? Сам Вилфред давно с этим покончил. Его сейчас волнуют вещи поважнее.

И вдруг, обрушившись на него, точно девятый вал, которому не видно границ, перед Вилфредом встало все разом: Эрна, Кристина, мать, полиция... Чувства, слова, все, что он говорил, все, что он делал... Точно кто-то другой говорил и действовал за него, свергнув его в какие-то чудовищные дебри. Он стоял, обеими руками сжимая клочки письма: «Что это со мной?»

Его охватил страх. Он упал на колени, в пыль, зарывшись пальцами в гравий и траву, словно желая похоронить в них обрывки истерзанного письма, похоронить самого себя со всеми своими горестями и угрызениями: «Что это, что это со мной!»

И вдруг, овладев собой, он встал, охваченный бессильным гневом против всех. Ему хотелось убить — да, да, убить всех по очереди, убить хитроумным и невероятным способом, а заодно положить конец соблазнам и нежностям, которыми его допекали, и остаться одному с ясной душой и чтобы поблизости не было родственников и самоотверженных друзей, которые готовы наложить в штаны из-за проделок Вилфреда. Он вырвет с корнем всякую преданность в самом себе и в других и останется один в этом идиотском мире, который опустошит по своему усмотрению.

Вилфред увидел маленький белый пароход в дали фьорда. Пароходик обогнул бакен в середине фьорда, и отсвет солнца на мгновение блеснул во всех его окнах. Потом повернулся в другую сторону и исчез. И Вилфред вдруг почувствовал себя усталым и покинутым. При виде мирного пароходика все его пылкие мстительные чувства развеялись. «Бедный Андреас сидит теперь в городе, — подумал о н , — и не знает, что делать». И он увидел перед собой лицо оробевшего Андреаса, который читает «Нищего Уле». Увидел отца Андреаса под пальмой в столовой, где на буфете стоит нечищенная посуда из накладного серебра, — как он сидит, прикрывшись газетой, точно защищаясь ею от окружающего мира.

И вдруг мир, от которого этот человек пытался защититься, обрушился на него, и все потому, что какой-то мальчишка на другой улице, совсем в другом мире вытащил камешек из кладки фундамента, желая смутить покой, нарушить равновесие того устойчивого окружения, которое не находит отклика в мятущейся мальчишеской душе. Не удивительно, что отец Андреаса потребовал объяснений у сына. Он и без того хлебнул горя в жизни.

И все-таки Вилфреду казалось совершенно несправедливым, что он, вкусивший сладость превосходства над другими, должен попасть в беду во имя того, чтобы поддержать семейный мир в столовой на Фрогнервей. Какую ценность представлял собой его друг Андреас? Вилфред даже не помнит толком, как он выглядит.

Предать. Предать друга...

А может, все это пустые слова? Не созданы ли подобные слова, которые только затуманивают смысл понятий, именно для того, чтобы люди, подобные отцу Андреаса, могли спокойно дремать в качалке, заслонившись газетой от мух? «Каждый должен уметь постоять за с е б я , — говорит дядя М а р т и н . — Каждый должен крепко стоять на ногах». Вилфред окинул взглядом свои худые загорелые ноги. Крепко ли он на них стоит? И верно ли, что это его собственные ноги?

Да, Вилфред крепко стоит на ногах. Все это неприятности временные, и, одолев их, он придет к великой независимости и одиночеству. Проклятое письмо. Даже его клочки не дают Вилфреду покоя. Хорошо бы побыстрее разделаться с ними. Он отшвырнул их в сторону, чтобы развеять по ветру. Но ветерок принес их обратно, точно облачко, и они расположились почти по кругу — белые клочки бумаги, исписанные глупым почер-

ком, синими чернилами. Чудеса! Ветер будто нарочно вдруг переменял направление...

Снова подобрав клочки письма, Вилфред скомкал их, а потом сунул в карман, решив, что сожжет их дома. Нет ничего проще: поднес спичку, цирк — и с письмом покончено.

Покончено. Покончено. Но только не для Андреаса. Жизнь Андреаса состоит сейчас из страха и дурных предчувствий. Письмо было не угрозой, а воплем о помощи того, кто просит, чтобы его спасли. Правда, тут речь не о том, что кто-то немой и бледный лежит ничком на дне. И не о том, чтобы совершать героические поступки. Здесь речь идет о простой порядочности.

Порядочность? От кого Вилфред слышал это слово? Что за мука! Что за мука — вечно слышать под оболочкой слов какое-то жужжание. Чужие слова навязывали себя, требовали, чтоб он их употреблял, и отчасти даже подменяли собой смысл. Как он мог добраться до сути вещей, когда над нею громоздилась такая уйма слов, слов, которыми пользовались взрослые и которые Вилфред присвоил до того, как обзавелся собственными словами, потому что вечно торчал среди взрослых.

Дядя Мартин. Опять дядя Мартин. Это он говорил о порядочности. Но дядя Мартин богатый, уверенный в себе толстяк...

Может, в этом весь смысл — стать толстяком?

Толстяком, как дядя Мартин, или бедняком, как фру Фриксаксен, или и толстяком и бедняком. Но главное — несокрушимым. Вилфред все стоял в нерешительности, и ему казалось, что лучи солнца просвечивают его насквозь. Раки, меняющие панцирь, — где-то он читал о них? Они забиваются под скалы и камни, но они беззащитны даже перед мелкими рыбешками. А он-то думал, что сам он...

Да нет, он был прав! Его не увидишь насквозь. «Бог видит все», — твердила фрекен Воллквартс, впрочем, не утруждая себя доказательствами. А что, если бог, в которого не верит даже мать, в данный момент смотрит сквозь Вилфреда, но не замечает ни его, ни письма... О письме известно только самому Вилфреду. А тот трусишка в городе и его безвольный отец — что он, Вилфред, знает о них, кроме того, что написано в письме, которого вроде бы и не было? Какое ему дело до пальм и запаха супа, до этой смеси бедности и неряшливости, его влекло к ним одно только любопытство! Вдобавок у Андреаса на руках бородавки. Если бы тогда на дне моря лежал Андреас, Вилфред ни за что не дотронулся бы до его бородавок. Он по-

старался бы спасти его от смерти, но до бородавок не дотронулся бы.

«Нищий бездонный!» Вилфред увидел перед собой потерянное лицо Андреаса во время экзамена, снова представил себе, как земля разверзлась у Андреаса под ногами, когда он открыл свою сокровищницу — «Нищего Уле» — и увидел, что она пуста, это пережил когда-то сам Вилфред из-за Ника Картера. Что ж, Вилфред и в самом деле постарался в тот раз спасти приятеля от смерти, несмотря на всякие там бородавки.

Ах, злосчастный Уле! Окаянная, проклятая, мерзкая страсть соваться в чужие дела. А ведь Вилфред решил охранять свое одиночество. Вот и предоставил бы дураку самому распутываться с «бездонным нищим». Разве не так поступил бы дядя Мартин? Толстый, благодушный, он предал бы всех встречных и поперечных, а потом, сидя в удобном кресле и покуривая сигару, принялся бы сокрушенно разглагольствовать о том, что народ беден и общество под угрозой, и о том, что вот-вот разразится война, о которой сейчас все так много говорят. А может, война не такое уж бедствие? Она камня на камне не оставит от того, во что люди ушли с головой, так что они волей-неволей выползут из своих нор и пойдут защищать родину...

И вдруг письмо приобрело в глазах Вилфреда новый смысл. Он вдруг понял, что стоит перед выбором. Чего тут только нет: мать, Эрна, Кристина, школа, консерватория; дядя Рене написал матери, что для Вилфреда в этом году в консерватории есть место. Но Вилфреду не хочется снова вступать в отношения с этим Моцартом — гениальным ребенком, о котором по их настоянию он прочел кучу книг и которого без конца муштровал папаша, вздумавший сотворить из него чудо. Письмо — Вилфред разорвал его в клочки. Каждый раз, когда он оказывался перед выбором, он все рвал в клочки, чтобы это все не наседало на него, не принуждало его делать выбор. Может быть, и остальные люди поступают так же и поэтому мечутся от одного решения к другому, всегда только *делая вид*...

Не считая фру Фрисаксен. Или отца Андреаса. Эти не притворяются.

Но те, кто не притворяются, — неудачники. А остальные всегда что-то из себя строят, куда им это удается. Но может, даже на это у них не хватает умения. Вот у них и бывают срывы. Наверное, именно в эти минуты лицо у них становится расстроенное, они отвечают невпопад или начинают злиться. Так

бывало с матерью. И с тетей Кристиной. И с фрекен Воллвартс, которая изображала сплошную доброту и понимание, и вдруг от доброты не оставалось и следа, она становилась решительной, твердой, и за ее любезностью чувствовалась подавленная злость, такая, что ученики цепенели от страха...

Размышляя, Вилфред не заметил, как дошел до противоположной стороны узкого перешейка. Здесь над берегом нависали скалы и было темно даже днем. На этой стороне не строили дач, здесь были болота и камни, болота и камни, а дальше, по другую сторону равнины, тянулся длинный и мелкий рукав фьорда, где вода пузырилась и пахла тиной. Там, в глубине фьорда, жила фру Фрисаксен, а посреди равнины на клочке земли, расчищенном от камней и осушенном ценой тяжелого многолетнего труда, стоял домик садовника.

Вилфред сделал крюк, чтобы стороной обойти дом садовника. Мысль о Томе и его благодарных трудолюбивых родителях была для него невыносима. Он слышал лай садовникова щенка. Но когда он очутился перед красным домиком фру Фрисаксен, решимость вдруг покинула его. Он и сам не знал, что привело его на этот берег, куда не заглядывал ни один дачник. Теперь он заметил, что домик вовсе не красный, а серый и только на северной торцевой стене, куда почти не проникало солнце, сохранились следы красной краски. Значит, фру Фрисаксен так бедна, что не может даже покрасить дом. Или просто не хочет. «На мой век хватит», — верно, думает она. Она ведь не из тех, кто станет *делать вид*.

Вот этого Вилфред и хотел. Хотел посмотреть на дом. Дом был серый. Серый цвет ему подходил, да и вообще это был красивый цвет, почти серебристо-серый. Одно окно было заколочено досками. Разбитое стекло другого заткнуто тряпками и газетами. Чуть подалее от берега, где было глубже, Вилфред заметил белую лодочку фру Фрисаксен, впрочем, она тоже была серая. Здесь, в тени скал, она уже не походила на золотую чашу. Далеко же приходилось плыть женщине каждый день до маяка и впадины, где водились мерланы!

Да, далеко. Дом был развалюха, лодка ветхая, а путь долгий. Вот как мыкала свою жизнь фру Фрисаксен. Теперь Вилфред знал ее невзгоды. Ничего примечательного. Здесь, на отшибе, обрела она свое одиночество. Поскольку она не смогла одержать победу над жизнью, конкурируя с другими людьми, она одержала ее вне конкуренции. Одержать победу можно над чем угодно, лишь бы взяться за дело так, чтобы то, над чем ты

хочешь одержать победу, стало достаточно маленьким и легко одолимым. А значит, победителем может быть каждый.

Теперь Вилфред это понял. Он повернулся, чтобы тем же кружным путем вернуться назад через равнину. Пушица кивала ему со всех маленьких кочек; с топкой трясины, тянувшейся среди них, напевая, взлетела красноножка. Он нащупал в кармане обрывки письма. И тут же почувствовал на себе чей-то взгляд.

Он так быстро обернулся, что успел увидеть, как морщинистое лицо фру Фрисаксен отстранилось от окна, где стекло было цело. Он тотчас решился, быстро шагнул к двери на южной стороне дома и громко постучал. Фру Фрисаксен сразу же открыла дверь.

— А-а, это вон кто! — сказала она, не выказав удивления.

— Он самый! — весело подтвердил он, передразнивая ее интонацию.

— Стало быть, твоей матери нужно пособить по хозяйству. Небось большую стирку затеяли?

— Я просто зашел к вам в гости, фру Фрисаксен, — ответил он после минутного колебания.

Кажется, она насторожилась? А может, была тронута?

— Коли так, заходи, — сказала она.

Вилфред неуверенно переступил порог. Он слишком привык угадывать задние мысли людей. Они любезностью прикрывали неприязнь или прятали радость под личиной равнодушия. Но фру Фрисаксен даже не предложила ему сесть. Да и сесть было некуда. На столе лежали порванные сети, они свисали на пол и на прибитую к стене скамью. В комнате было чисто и прибрано, но сидеть было не на чем. Медный крюк над плитой был начищен до блеска. Пахло чем-то сладковатым, как у Андреаса на Фрогнервей.

— Вот мой дом, — сказала она. — Тебе небось любопытно было поглядеть, как живет фру Фрисаксен.

— Да, — признался он.

— А твоя мать знает, что ты здесь?

— Нет.

Он стоял посреди просторной кухни, и ему доставляло огромное удовольствие говорить правду.

— Вон что! — сказала фру Фрисаксен. — Ну, вот ты и поглядел.

А может, в ее голосе все-таки проскользнула недружелюбная нотка? Дверь в комнату была приотворена. Покосившись

на нее, Вилфред увидел край постели, покрытой темно-серым шерстяным одеялом.

— Там я сплю. И больше там ничего нет, — сказала она.

— Я знаю, — ответил он,

— Знаешь? Откуда?

— Я просто сообразил.

Что-то сверкнуло в ее глазах — грубоватое дружелюбие, напominвшее ему выражение, какое было в ее взгляде, когда она плыла за мерланами в лучах заката.

— Вон что! — сказала она. — Стало быть, ты смотришь да наматываешь себе на ус!

— Да.

Вилфред растерял всю свою изворотливость. Впрочем, ему даже и не хотелось выдумывать, представляться. Он стоял точно в трансе.

— Так вы и живете, фру Фрисаксен? — наконец выговорил он.

— Как так? — Она постояла, вглядываясь в него. — Ты спрашиваешь, все ли тут мое хозяйство? Ну да, сынок, все, с тех пор как умер Фрисаксен.

Он подумал: «Вот тут бы ей самое время вздохнуть, уж мои обязательно вздохнули».

— А давно он умер? — спросил Вилфред.

— Осенью будет пятнадцать лет.

Вилфред наслаждался ее непритворной суровостью.

— И никто никогда не навещает вас, фру Фрисаксен? А вдруг вы заболете?

— Хочешь сказать — а вдруг я помру? Пожалуй, пройдет недели четыре, а то и пять, пока кто-нибудь заметит.

Он подумал: «Я хочу, чтобы она предложила мне сесть, Я должен ей понравиться».

— Я замечу, фру Фрисаксен, — сказал он. — Я сразу замечу, если не увижу вашей лодки.

— Полно, — быстро сказала фру Фрисаксен. — Одно дело замечать, что ты здесь, а другое *не замечать*, когда тебя *нет*.

Он рассердился, потому что она была права.

— А я замечу! — повторил он,

— Ну что ж, тебе видней.

Он вдруг сообразил, что они спорят на довольно неподходящую тему. Чего ради он привязался к бедной женщине?

— Извините, — сказал он и повернулся к двери, чтобы уйти. На стене прямо против окна висела фотография, прикреплен-

ная кнопкой. Молодой человек, почти мальчик, в матросской форме на фоне вывески кафе, и на заднем плане по тротуару идут три женщины и мужчина. Вилфред демонстративно остановился, может, сейчас что-то объяснится.

— Это Португалия, — сказал он.

Она сняла фотографию со стены и поглядела на ее обратную сторону.

— Откуда ты узнал? — В ее прищуренных глазах теперь светилось откровенное добродушие.

— Я не узнал, а догадался, я видел женщин в таких головных уборах на картинках Опорто.

— О-пор-то, — медленно, по складам произнесла она, отстранив фотографию как можно дальше в вытянутой руке. — Правильно, угадал. Это мой сын, Биргер. Давненько оно было.

— Я вижу.

— Видишь? — Теперь она и вправду была удивлена. — Откуда ж ты это видишь?

— А тут написано: тысяча девятьсот десятый год, рядом с «Опорто». Значит, два года назад.

— Подумать только, два года... — сказала она, опустив руку, в которой держала фотографию. — Неужто так давно?

— А где он теперь?

— С тех пор я не имела о нем вестей. Тогда он плавал юнгой.

Два шага до двери казались Вилфреду огромным пространством. Он просто представить себе не мог, как одолеет их.

— Это для вас большое горе, фру Фрисаксен! — сказал он. Проклятые слезы! Они подступили к глазам по старой привычке, по привычке притворяться в тех случаях, когда он считал, что уместно прослезиться.

Она смотрела на него в упор — узкие губы вдруг ожили, чуть дрогнув, и слегка запали, «точно простроченный с изнанки шов», подумал Вилфред, чтобы подавить слезы.

— Ну что ж, до свидания, фру Фрисаксен, — сказал он, протянув ей руку. Она коротко ответила на его пожатие. Ее рука на ощупь была жесткой, как коряга. Он быстро вышел, бесшумно прикрыв за собою дверь. Потом медленно, точно в бреду, двинулся прочь. Низенький домик садовника плавал перед ним в какой-то дымке, оранжереи парили над равниной, точно мираж. Ему надо было куда-то скрыться, чтобы дать волю слезам. Но он не соображал, куда идет, и просто медленно плелся

куда глаза глядят. С фьорда низко над землей пролетела морская птица. «К дождю», — подумал он.

Услышав шаги за спиной, он быстро обернулся — это была фру Фрисаксен. Она держала в руке какой-то предмет — стеклянное яйцо.

— Я подумала, может, тебе пригодится, — сказала она задыхаясь и протянула ему яйцо. — Он его очень любил, Биргер.

Проклятые слезы — скрывать их было поздно. Он стоял, сжимая в руке стеклянную игрушку, и не сдерживал слез. Женщина стояла прямо перед ним в колючей траве — только тут он заметил, что она ниже его ростом. И в то же мгновение он перестал стесняться своих слез, которых не должен был видеть ни один человек на свете. В присутствии фру Фрисаксен такие вещи вдруг теряли значение.

Все это продолжалось какую-нибудь минуту, потом она повернулась и пошла; глаза ее были сухи, и вся она была какой-то высохшая. Она затрусила к своему дому, что-то бормоча себе под нос, именно не бежала, не шла, а трусила мелкими шажками. Он обратил внимание, что на ногах у нее не ботинки, а толстые носки, обмотанные бечевкой.

— Спасибо! — крикнул он как во сне. Голос ему изменил, звука не получилось. Он сделал несколько шагов ей вдогонку. Но она уже скрылась за дверью дома. Будто ее и не бывало.

Вилфред стоял, сжимая в руке стеклянное яйцо и все еще не смея взглянуть на него. Ему опять казалось, что какие-то существа вокруг него видят его насквозь. Рак без панциря. Равнодушный взгляд фру Фрисаксен сменился взглядом отовсюду, громадным зрачком, и Вилфред оказался внутри этого огромного, всевидящего зрачка, которому он был открыт со всех сторон. Вилфред поднял руки над головой, чтобы заслониться от него. Но тот не исчезал. Так он и шел, подняв руки, но глаз глядел со всех сторон. Вилфред шел, все ускоряя шаг, потом пустился бегом, сжимая в поднятом кверху кулаке чудесное гладкое яйцо; он бежал по равнине, через болото, к скалам, где было темно и холодно. Рук он не опускал, спортивные тапочки мало-помалу промокли. Над равниной носились чайки, они описывали вокруг беглеца низкие круги, вились над его головой, следуя за ним, точно враждебная туча, но, впрочем, не трогали его, а просто не отставали ни на шаг, и они со своими пронзительными криками и гоготаньем тоже составляли как бы часть всевидящего ока, пока все окружающее пространство не

превратилось в огромный белый глаз, уставившийся на него в упор.

Нырнув под скалистый навес, он бросился ничком на землю и перевел дух. Так он лежал долго. Здесь было что-то вроде пещеры, куда всевидящий глаз не мог заглянуть. Теперь Вилфред вытащил стеклянное яйцо, которое прикрывал своим телом, и поднес его к мутному свету, проникавшему из отверстия. Внутри яйца был маленький белый домик, домик из сказки. Вилфред встряхнул яйцо, и оно все заполнилось снегом. В сплошном снегопаде стоял домик внутри яйца — маленький самостоятельный мир, защищенный снегом и оболочкой яйца. Мир в снегу. Вилфред подождал, пока снегопад улегся, и снова легонько встряхнул яйцо. Снегопад начался снова. Точно загнипнотизированный, смотрел Вилфред на яйцо. Погибший юнга Биргер... А может, он плавает себе по морям и у него просто нет открытки, чтобы послать матери? Может, он тоже укрылся в мире, который принадлежит ему одному и куда он не хочет впустить никого другого, а прежде таким принадлежащим ему одному миром было стеклянное яйцо с чудом снегопада, которым он любовался в долгие темные осенние вечера при свете керосиновой лампы в домике на берегу залива, когда смотритель маяка приводил в порядок запутавшиеся сети, в которые он под конец попал сам. Говорят ведь, что его тело нашли в сетях, в которых он запутался, точно рыба. Откуда-то издалека отсутствующая душа Биргера слышала материнский зов, голос всех матерей — они зовут и зовут сыновей в тоске, которая заставляет тех уходить все дальше. Разве сам Вилфред не слышит эти голоса? Даже сейчас. А может, это музыка: напевающий Моцарт, напевающий, напевающий, бесконечная филигрань звуков... Да нет, ведь это дождь. Это дождь шуршит у входа в пещеру, где притаился Вилфред. Наконец-то он начался, живительный летний дождь, слезы громадного глаза, окружившего Вилфреда со всех сторон.

Он опустил руку в карман и нащупал влажные обрывки письма Андреаса.

Стеклянное яйцо — казалось, оно все привело в ясность. Вилфред увидел перед собой другую пещеру, сложенную из досок, где он забавы ради пытался подбить мальчишек на преступление. Письмо от Андреаса. Муж фру Фрисаксен, запутавшийся в сетях. Биргер, который все глубже погружался в свой одинокий мир, настолько, что он ни разу даже мельком не вспомнил о своей морщинистой матери в сером домике, когда-

то выкрашенном красной краской. Отец Андреаса, в одиночестве сидящий под пальмой. Вилфред еще раз повернул яйцо, на маленький домик снова посыпался снег. В этом замкнутом пространстве, заполненном падающим снегом, было какое-то захватывающее одиночество. Быть может, сейчас где-нибудь в Пенсаколе в пустынном баре сидит юнга Биргер и, вспоминая свое стеклянное яйцо, чувствует, что попал в такой же точно мир, и, зачарованный собственными бесчинствами, не решается подать о себе хоть маленькую весточку. Он тоже попался в собственные сети.

Теперь и Вилфред почувствовал, что вокруг него затягивается сеть. Затягивается все туже и туже и вот-вот закроет отверстие пещеры. Сжимая яйцо в руке, он, согнувшись, выполз наружу. Дождь все лил. Он давно уже смысл всевидящее око, преследовавшее Вилфреда. Чайки низко проносились над берегом, не обращая на него внимания, когда он шел назад, к перешейку в сторону островов.

Не успел он переступить порог дома, как почувствовал, что что-то случилось. Ни в прихожей, ни в гостиной, ни в столовой не было ни души, пусто было и на веранде. Тут он увидел мать, быстро спускавшуюся по лестнице со второго этажа. Лицо ее было сумрачно.

— Почему ты не пришел к обеду? — спросила она.

— Разве уже так поздно? Я не знал...

— Поздно? Мы пообедали четыре часа назад. Где ты был?

— У фру Фрисаксен, — вырвалось у него.

— У мадам Фрисаксен? С чего вдруг?

— Не знаю. Она дала мне вот это.

Мать, не глядя, взяла в руки стеклянное яйцо.

— Тетя Кристина уезжает завтра утром, — сказала она.

Он понимал, что должен спросить почему. Но вдруг почувствовал, что не в силах. Ему казалось, что он все еще стоит в кухне фру Фрисаксен, улавливая сладковатый запах тимьяна. Вот в чем дело. В доме Андреаса тоже пахло тимьяном. Они клали его в гороховый суп.

— Я тоже поеду завтра в город, — сказал он.

— В город? Это еще зачем?

— Я получил письмо от Андреаса. Я должен ему кое в чем помочь.

Он почувствовал, что мать вот-вот потребует, чтобы он по-

казал письмо. Он вывернул карман, несколько клочков бумаги упало на пол. Он выудил из кармана остальные.

— Андреас просил меня приехать. У него неприятности в школе.

— Чепуха,— сказала она. — Во всяком случае, завтра ты не поедешь. Может быть, как-нибудь потом. Кристина собирается в горы к тете Валборг и дяде Мартину.

«Как она сказала? — быстро подумал он. — Может быть, поедешь, но не завтра, то есть когда Кристины не будет в городе». Ему пришлось очертя голову ринуться в пропасть.

— Почему Кристина уезжает? — спросил он.

Мать ответила с каким-то облегчением:

— Твоя тетя жалуется, что у нас скучно, а у нее очень короткие каникулы.

Неужели Кристина так и сказала? Так откровенно — или, наоборот, именно не откровенно? Может, она потому и решила быть просто невежливой, чтобы только не проговориться, что ей не по себе от того недосказанного, что висело в воздухе и ничем не завершилось, — ведь с того самого дня она избегала Вилфреда.

— Так или иначе, я должен съездить в город, — холодно сказал он, сжимая в руке обрывки письма.

— Ну и отлично,— ответила она. — Мне тоже надо съездить в город, мы поедем вместе. Ты зайдешь к Андреасу, пока я буду у парикмахера.

Мать по-прежнему сжимала в руке удивительное яйцо. Он сам не мог понять, почему не взял его обратно. Он протянул руку. Но она вдруг подняла яйцо, разглядывая его на свет. Потом встряхнула его, пошел снег.

— Боже мой, — сказала она. — Это яйцо...

— Отдай мне его, мама,— попросил он. — Оно мое. Раньше оно принадлежало Биргеру.

— Биргеру? — переспросила она, впившись взглядом в сына. Потом стала внимательно рассматривать яйцо, нащупывая пальцем тонкую линию, нацарапанную на стекле. Вилфред не заметил ее прежде. Это была буква «С».

— Это игрушка Биргера, — повторил Вилфред. Он рассердился. Мать хочет отнять у него все, чем он владеет в одиночку.

— Это яйцо, умирая, держал в руке твой отец, — сказала она.

С той минуты, как Вилфред расстался с матерью на площади Эгерторв, он почувствовал, что сегодня у него будет удачный день. Посещение кондитерской удовольствия им не доставило. Чем больше усилий прилагали оба, чтобы обрести прежний тон, тем меньше он им удавался. Дело облегчало только то, что оба это скоро поняли и отказались от своих попыток.

И вот теперь мать смотрела, как сын легкой, непринужденной походкой идет по улице — взрослый юноша!

Три дня, которые прошли с того вечера в Сковлю, оказались для нее менее тягостными, чем она предполагала раньше, если вообще она когда-нибудь отдавала себе ясный отчет, что в один прекрасный день ее маленький сынок так или иначе узнает правду об отце. Но мальчик проявил душевную зрелость, какая еще полгода назад привела бы ее в ужас. Его первый вопрос был не о смерти отца, а о Биргере и фру Фрисаксен. Казалось, у него из головы не идет эта женщина, о существовании которой сама она с годами принудила себя забыть. Он просто спросил, сколько ей лет. И когда она ответила ему правду, что смотрительша из домика у залива примерно одних лет с ней, он как бы сразу понял все остальное:

— Значит, Биргер — сын моего отца?

Потом она сама удивлялась, как это вышло, что смысл всей истории по-настоящему дошел до нее только с той минуты, как он задал этот вопрос. Именно «истории». Она всегда думала об этом как об «истории», а не о том, что живет на свете мальчик, на шесть лет старше ее любимого сына, который приходится ему сводным братом, если те предположения... И теперь, когда по прошествии долгих лет случившееся стало для нее куда более очевидным, чем в ту пору, когда оно случилось, не говоря уже о тех годах, когда оно превратилось просто в расплывчатое воспоминание, эта очевидность вдруг перестала причинять ей боль. Замурованное в глубине души оскорбление превратилось в смутное любопытство: ведь эти люди в каком-то смысле продолжали жить прежней жизнью. Отщепенка мадам Фрисаксен перестала вдруг быть неким отвлеченным понятием в лодке, зрелищем, с которым приходилось мириться как с нежелательным явлением природы, несколько портящим вечерний пейзаж, но имеющим самое смутное отношение к чему-то в далеком прошлом. Она вновь превратилась в ту самую женщину,

которую в былые годы дачники приглашали для разных мелких услуг и которая привлекала к себе бесстыдные взгляды кое-кого из мужчин своеобразной бесовской прелестью, которую так ненавидят другие женщины, но которая, к их утешению, быстро вянет. Она была пожизненной карой зрителя маяка Фрисаксена за его юношеское легкомыслие и истинной причиной того, — по крайней мере так утверждали злые языки, — что суровый фавн впадал во все более глубокую меланхолию, пока в один прекрасный день его не *нашли*, — так всегда говорилось в ту осень. О подробностях умалчивали, они были слишком тягостными. Но так уж получилось, что это создание носило имя Фрисаксена, и так или иначе мадам Фрисаксен считалась вдовой уважаемого человека, государственного чиновника. Что же касается ее сына...

Но когда Маленький Лорд спросил: — Значит, по-настоящему его фамилия Саген? Почему же ему живется не так хорошо, как мне? — фру Сусанна вышла из себя. Боже праведный! Где он только набрался таких идей? Как он представляет себе заведенный в мире порядок? Правда, эти идеи проникли даже в стортинг, но порядочные люди чураются их, и, уж во всяком случае, ему, зеленому юнцу, не пристало вбивать их себе в голову.

Хотя, впрочем, что, собственно, он вбил себе в голову?.. Когда позже она спросила сына, с чего вдруг он стал размышлять над подобными вопросами, он ответил:

— А я вовсе не размышлял, мама. Наверное, я просто угадал все это, сам того не зная; мы же всегда все угадываем. Не спрашиваем, не отвечаем, а намекаем и угадываем, как полагается воспитанным людям,

На это ей нечего было возразить. Она понимала, что еще полгода назад она была бы потрясена не горем, но разочарованием от того, что сын живет в каком-то своем мире, по соседству с их общим миром, в мире, полном догадок и еще бог весть чего. Может, вообще этот его мир совершенно не похож на все то, что ей известно.

А теперь она уже подозревала, что дело обстоит именно так, хоть и не верила в это до конца, как вынуждена была бы поверить, если бы это открытие ошеломило ее своей внезапностью. А стало быть, и она со своей стороны, сама того не подозревая, смутно угадывала, что что-то изменилось в ее отношениях с сыном и вообще вокруг. Когда позже, немного успокоившись, они вдвоем сидели в гостиной, ей вдруг вспомнился ее

брат, Мартин. Может, именно к этому он и хотел подготовить ее своими постоянными напоминаниями о том, что мальчик вырос и что вообще он необычайно рано развился. Фру Сусанна представляла его себе таким маленьким Моцартом за клавирами. Он, мол, и в самом деле рано развился, но на свой собственный лад, а вернее сказать, на ее собственный... Пустые мечты...

Насколько он взрослый, она по-настоящему поняла лишь тогда, когда с благодарностью почувствовала, что ей не придется отвечать на вопрос, который ей всегда казался самым мучительным. Меж тем вопрос даже не облекся в форму вопроса. Вилфред сказал ей, явно подчеркивая, что разговор окончен:

— Я понимаю, мама, что отец умер скоропостижно. Но сегодня вечером мы об этом говорить не будем.

Все пролитые слезы — теперь ей хотелось их забыть. И все невысказанные вопросы. Ей было приятнее вспоминать, как сын подошел к ее креслу, сел на подлокотник, взял ее руки в свои и сказал:

— Бедняжка, тебе тоже пришлось нелегко.

Это «тоже» продолжало ее мучить. Кого он имел в виду? Это создание в лодке или ее пашенка, плавающего невесть где? А может, самого себя? Неужели ее Маленький Лорд не был счастливым? Неужели мир, в котором они жили, был обманом, был всего лишь псевдосуществованием, которое изредка становилось подлинной ж и з н ь ю , — ведь ей иногда казалось, что и ее собственная жизнь реальна лишь постольку, поскольку она сама верит в нее в своем ленивом отвращении ко всему неприятному.

Она глядела вслед сыну, пока он переходил площадь Эгерторв под лучами пыльного августовского солнца. Видела, какой он высокий, стройный, какая у него легкая и изящная походка. Она украдкой старалась уловить, замечают ли это прохожие. Но прохожие были озабочены тем, чтобы на перекрестке улиц Акерсгате и Карла Юхана не попасть под колеса телег и автомобилей, которые непрестанно мешали друг другу из-за разницы в скорости.

Очувтившись возле стортинга, Маленький Лорд обернулся и кивнул. Она почувствовала прилив гордости — материнской и девичьей одновременно, — которая тут же сменилась чувством собственной заброшенности. Он быстро зашагал в сторону Атенума, чтобы там сесть на трамвай, ведущий на Фрогнервей,

где живет этот самый его друг, с которым ему почему-то приспичило увидаться.

Сойдя с трамвая на Фрогнервей, Вилфред неожиданно увидел Андреаса и его отца, выходящих из дома, в котором они жили. Вилфред растерянно остановился на противоположной стороне улицы. Он шел сюда с таким чувством, что сегодня ему будет везти во всем. Сегодня им владел победоносный дух, та обаятельная ребячливость, которая помогает ему осуществить любую ребячливую затею. Но при этом он твердо рассчитывал, что застанет Андреаса дома одного. Как глупо. У Вилфреда оставалось два часа до той минуты, когда он должен встретиться с матерью дома на Драмменсвей, то есть ровно столько времени, сколько ему нужно, чтобы привести к какому-то концу историю с Андреасом.

К какому концу? Об этом он не задумывался. Он вовсе не собирался приносить себя в жертву или проявлять благородство. Просто он придет к другу, а там будь что будет, он отдаст себя на волю судьбы. Но как видно, у судьбы были свои планы на его счет.

Отец с сыном зашагали в сторону площади Фрогнер. Вилфред перешел дорогу и побрел следом за ними на почтительном расстоянии. Был полдень, площадь была по-летнему безлюдна. Если один из них вздумает оглянуться, укрыться негде.

Но ни один из них не оглянулся. Они шли медленно, чуть понурившись, и так, точно направлялись к определенной цели. Во всяком случае, ясно было, что они не просто прогуливаются. Теперь они свернули на улицу Нобельсгате, и Вилфред ускорила шаги, чтобы не потерять их из виду.

Добежав до угла, он почти нагнал их, поэтому остановился и немного пропустил их вперед. Потом снова зашагал следом за ними, отставая метров на десять—пятнадцать. В конце улицы они свернули налево, туда, где начинались дачные домики. Он быстро свернул следом за ними. Но они исчезли. Зато Вилфред оказался перед невысоким домом со скромной вывеской: «Отделение полиции».

Вилфред похолодел. Вот оно что. Он явился в последнюю минуту, а может, уже опоздал. Но главное — он все-таки приехал. Как все изменилось по сравнению с прошлым! Теперь он ни на минуту не стал затевать свою прежнюю любимую

игру, будто, если захочет, он может изменить решение и не идти дальше. Он знал, что выход у него один. И все время видел перед собой лицо фру Фрисаксен.

Вилфред вошел в коридор, где стояла урна и на стене было три деревянных крючка. Он постучал в дверь. Рослый полицейский в форме открыл ему. Вилфред через его плечо заглянул в комнату. Там на двух табуретах сидели Андреас и его отец. Вид у обоих был совершенно потерянный.

— Я видел, как эти люди вошли сюда, — сказал полицейскому Вилфред. — Владелец велосипеда я. А это мой школьный товарищ, Андреас. Он написал мне письмо, это я одолжил ему велосипед.

А немного погодя все шло уже именно так, как Вилфред себе рисовал заранее. Коротышка постовой тоже оказался здесь. В штатской одежде он напоминал беспомощного гнома. Маленький Лорд, прямой, как струна, отвечал на все вопросы: как его зовут, почему его велосипед оказался там-то и там-то и что он делал в этом районе города. Спокойно, не задумываясь, он объяснил, что въехал на велосипеде на холм, чтобы осмотреться, но растянул себя связку на ноге, положил велосипед под кусты и запер на замок. Потом сел на трамвай у стадиона Бислет, доехал до центра, а там пересел на трамвай, идущий до дома. Из-за растянутой связки он попросил товарища взять велосипед и разрешил ему покататься на нем. Коротышку полицейского спросили, тот ли это мальчик, которого он ночью видел на улице. Полицейский, пытаясь напустить на себя грозный вид, шурился на Маленького Лорда из-под кустистых бровей. Вилфред сильно вытянулся с весны. Полицейский вглядывался в открытое, честное лицо, так непохожее на то, которое вспоминалось ему после ночного происшествия на Соргенфригате. Потом помотал головой.

— Это не о н , — объявил коротышка.

Отец Андреаса предложил мальчикам угостить их ситро и пирожными, которые продавались в павильоне в парке Фрогнер. Он вытащил коричневый кожаный кошелек, из тех, где мелочь вытряхивают в крышку, и расплатился сразу после того, как им подали то, что они заказали.

— Пожалуйста, не стесняйся, — сказал он Вилфреду, когда тот отказался выпить целую бутылку ситро. Это было первое самостоятельное высказывание, которое Вилфред услышал из

его уст. Даже пригласил он мальчиков только после того, как сын втихомолку подтолкнул его в бок. Лицо Андреаса за стеклами очков сияло, ему не терпелось излить душу другу. Он выпил так много воды, что ему сразу же понадобилось выйти в уборную, в маленьком сарайчике в глубине двора. Вилфред остался один на один с его отцом, устало потиравшим рукой бледный лоб.

— Значит, это тебя зовут Маленьким Лордом? — спросил отец Андреаса и тут же улыбнулся неловкой улыбкой, которая казалась какой-то неестественной, точно механизм, управлявший ею, многие годы не был в употреблении.

— Меня так прозвала мать. Да она и сейчас еще иногда меня так называет.

— Андреас часто рассказывает о тебе. Это хорошо, что вы дружите.

Вилфред сидел как на иголках. От слова «дружите» его чуть не вывернуло наизнанку. Он даже не ожидал, что его самоуверенная ложь в полиции увенчается таким успехом, вернее, он смутно предчувствовал это, как всегда в дни своих удач. Но зато он никак не рассчитывал, что влипнет в интимную беседу с этим жалким беднягой, к которому он испытывал глубокую неприязнь.

— Андреас — славный паренёк, — промямлил он. Он с ужасом думал, что славный паренёк сейчас вернется, удовлетворив свои естественные потребности, и с удвоенной энергией примется откровенничать заодно со своим папашей.

— А как мама Андреаса, ей лучше? — осторожно спросил он.

По лицу мужчины прошла тень.

— Она никогда не поправится, — ответил он. — Только не говори этого Андреасу.

Стало быть, и эти двое тоже притворялись, тоже играли в ту игру, которая была принята в кругу Маленького Лорда. Но эта игра казалась ему особенно убогой при воспоминании о темной столовой на Фрогнервей. Не лучше ли этим людям быть, как фру Фрисаксен, равнодушными и нелюбезными?

— Да-а... — вздохнул мужчина, шурясь от августовского солнца, проникавшего сквозь деревья в парке. — Нам-то это не страшно, по соседству такой роскошный парк.

Мальчик мгновенно восстановил ход его мыслей: все уезжают на лето из города, а семья Андреаса только короткое время гостила в Тотене — хвастать нечем. Теперь они вернулись в свою

хорошую городскую квартиру, им не страшно и в городе посидеть, ведь у них под боком роскошный парк, остановка трамвая у самого дома, а молочная лавка в том же дворе...

— Да, конечно, тому, кто живет в таком районе, вполне можно летом оставаться в городе, — сказал Вилфред.

Мужчина так и просиял.

— Вот и я говорю — парк роскошный, и вообще... — Он сделал неопределенное движение. — К тому же мы ездили в Тотен, — добавило он. — Андреас очень любит Тотен.

Неужели он вправду так думает? Вилфред украдкой покосился на него. Андреас всей душой ненавидел Тотен, а сестру матери называл «жирной врединой», она большую часть времени проводила на скотном дворе, а своих гостей заставляла день-деньской таскать воду. К тому же в доме кишели мухи...

— И потом в городе нет мух.

— Вот именно! Нет мух! — Отец Андреаса еще больше обрадовался. В эту минуту вернулся Андреас, готовый поглотить еще одну порцию пирожных и ситро. — А мы с твоим другом как раз говорим о том, как славно у нас в городе, — сказал отец. — Чего стоит хотя бы то, что мух нет!

Андреас бросил быстрый взгляд на друга. Неужели Вилфред проболтался, что в Тотене спасу нет от мух и на каникулах хоть беги оттуда? Вилфред сразу увидел, как лицо Андреаса подернулось тревогой. Значит, он тоже пытается щадить отца и скрывает от него правду?

— ...просто я говорю, что, хоть ты и любишь Тотен...

Снова этот благодарный блеск в глазах. Неужели Вилфред так и не отучится совать нос в чужие дела и помогать людям выпутываться из их собственной лжи? Почему эти два проигравшихся игрока не могут играть друг с другом в открытую? Почему бы Андреасу не узнать, что его мать безнадежно больна? Зачем им изо дня в день делать вид «будто бы», ведь эта игра не избавляет их от необходимости каждую минуту быть начеку, чтобы не причинить боль другому?

Отец Андреаса бросил взгляд на часы. Вилфред подумал: «Ах ты старая конторская крыса! Да ведь ты отлично знаешь, который час, в твоей башке сидит будильник, он жужжит и жужжит, как муха, и ты *всегда* знаешь, который час. И все-таки ты скажешь: «Глядите-ка, а ведь время-то уже...»

— Глядите-ка, а ведь время-то уже...

Вилфред посмотрел на свои часы.

— Половина первого! — воскликнул он, сделав испуганное лицо. Кажется, этот папаша, которого так легко купить, снова бросил на него благодарный взгляд?

— Твоему отцу, наверное, пора в контору... А меня ждет мать, — сказал Вилфред. Он решил, что лучше всего избавиться от лишних объяснений, да и самому так проще убраться во-свояси. Но на лице Андреаса появилось нескрываемое разочарование. Все чувства этих людей были перед Вилфредом как на ладони, настолько, что ему даже казалось, будто сам он играет фальшиво.

— Стало быть, с тем делом покончено, — сказал отец Андреаса, вставая.

Вилфред подумал: «Небось считает теперь: вот какой я ловкий, отпустил подходящее к случаю замечание и в то же время обошелся без объяснений, которые были бы неприятны и мне, и им».

— А наверное, неприятно чувствовать, что тебя подозреваю т, — сказал Вилфред, дерзко глядя прямо в глаза взрослому. — Я хочу сказать, когда внешние обстоятельства могут обернуться против тебя.

— Ты умный пар е н ь , — спокойно ответил тот, протянув Вилфреду руку. Вилфред пожал ее. Рука была вялая-вялая и чуть влажная.

Мальчики еще посидели за столом. Оса купалась в лужице пролитого ситро. Тихо шелестели старые деревья. Назойливое августовское солнце слепило глаза. Андреас доверительно улыбался из-за круглых стекол в металлической оправе.

— Здорово ты утер нос полицейскому! — сказал он.

Вилфред холодно посмотрел на него.

— Это проще простого, когда говоришь правду, — сказал он. У Андреаса сделался такой вид, точно на него вылили ушат холодной воды. Он хотел что-то сказать, но осекся. Вот так он выглядел тогда, когда, стоя посреди класса, читал стихи о «нищем бездонном».

— Я заработаю на собственный велосипед, — неожиданно сказал о н . — Я поступлю на склад, где работает отец.

Наконец-то он заговорил как человек. Вилфред искренне обрадовался.

— Вот это здорово,— сказал о н . — Просто замечательно. И отец твой молодчина.

— Молодчина? — Было совершенно очевидно, что Андреасу не приходило в голову смотреть на это под таким углом зрения.

— Конечно, молодчина. Не позволяет тебе слоняться без дела и жить на чужой счет, как... — Вилфред сделал гримасу. Он почувствовал, что увлекся, но отступить было поздно. — Мой дядя Мартин говорит, что близятся большие перемены, что трудящиеся классы... Словом, что настанут совсем другие порядки и таким, как мы, которые живут тем, что им досталось от старых времен, придется чертовски скверно, а народ потребует своих прав. Он говорит: Англия будет воевать с Германией. У Англии шестьдесят шесть военных кораблей, а у Германии всего тридцать семь. Он говорит, что Англия должна напасть теперь же, пока Германия не накопила силы и пока еще не открыт этот самый Кильский канал.

— Война? Неужели будет война? — Мальчики уставились друг на друга, взволнованные всем тем, что было связано в их представлении с войной и ее бедствиями.

— Будет, но не у нас, а у Англии с Германией, а может, в ней будут участвовать и другие страны, говорит дядя Мартин. У России пятнадцать кораблей, а у Австро-Венгрии тринадцать...

— Откуда ты все это знаешь?

— А разве у вас дома об этом не говорят?

— О войне не говорят. Отец считает, что политика...

— А об искусстве?

— И об искусстве не говорят.

— О чем же у нас тогда говорят?

Андреас задумался.

— Да мы вообще мало разговариваем дома, — наконец сказал он. — Понимаешь, отец... у него и так... Да и мать.

— Но ей ведь лучше?

— Это отец так думает. Брат слышал, как доктор... Она не выздоровеет... Только не говори отцу!

Вилфред смотрел в открытое лицо, для которого сохранение тайны было нелегкой задачей. Неприязнь, которую Вилфред испытывал к отцу Андреаса, исчезла. Очкарик Андреас тоже по мере сил играл свою маленькую роль. Игра была не из приятных. Но, видно, она удавалась в этой семье, и они принимали как должное взаимное притворство, вовсе не такое простое.

Потом мальчики шли по улице Томаса Хефтю и болтали о будущей войне. Возбуждение Вилфреда спало. Он уже не так безоговорочно верил в пророчества дяди Мартина, да и, по правде сказать, они не слишком его волновали. Просто это была сенсация. Но Андреас продолжал фантазировать. Казалось, он смакует слово «война», словно она может принести какие-то

благотворные перемены для мира и жителей Фрогнервей. На площади Элисенбергторв Вилфред хлопнул приятеля по плечу — дальше он хотел идти без провожатых, ему хотелось побыть одному, чтобы уяснить себе, доволен ли он тем, что произошло, или, наоборот, все изменилось к худшему.

— Ладно, только не вздумай бежать к отцу и объявлять ему, что завтра будет война! — шутливо сказал он.

— Отцу? Что ты! — сказал Андреас. — Он всего боится. Мы никогда ничего ему не говорим... — Андреасу не хотелось расставаться с приятелем. Расчувствовавшись и сгорая от любопытства, он старался продолжить разговор.

— А ты сам побоялся взять велосипед? — вдруг спросил он.

Прежде Вилфред был подготовлен к этому вопросу. Но в эту минуту — нет.

— Побоялся? — переспросил он. — Что ты имеешь в виду?

— Ну, раз ты просил меня...

В Вилфреде вспыхнула злость. Лучше уж сразу перейти к нападению, чтобы раз и навсегда осадить Андреаса.

— Хорошо, что у тебя будет свой собственный велосипед, — сказал он. — Тогда тебе не придется пользоваться чужим!

Он не принял протянутой руки, не хотел дотрагиваться до бордавок. Когда он обернулся, Андреас стоял на том же самом месте с протянутой, как прежде, рукой. Вилфред быстро кивнул ему. Андреас поглядел на свою руку, потом рассеянно кивнул в ответ. Больше Вилфред не оборачивался. Он медленно шел вниз, в сторону Драмменсвей. Как и в прошлый раз, расставшись с Андреасом, он чувствовал спиной его враждебность, враждебность и восхищение, любопытство и готовность пожертвовать собой...

— А пошел он к черту! — буркнул он себе под нос голосом дяди Мартина.

16

Город притих, словно перед грозой. В новой школе, на Скковей, мальчишки из разных районов как бы приюхивались друг к другу, выжидали.

В Эттерстаде готовилось выступление французского летчика Пегу, который сделает мертвую петлю. Наметили выступление на одно из первых воскресений сентября. В новом классе было не до обычного завязывания знакомств, всех интересовало одно:

удастся ли попасть в Эттерстад и взглянуть на Пегу. В газетах писали, что зрелище будет небезопасно для публики, организаторы отвечали, что летчики такого класса в воздухе прекрасно ориентируются и французский летчик будет держаться над фьордом и над пустошью, а место огорожат, так что каждый сможет, ничем не рискуя, приехать и поглядеть.

В школе Маленький Лорд ничего не говорил о планах своего семейства. В конце лета к дяде Мартину заехал французский адвокат, улаживавший какие-то его дела в Марселе. Выглядел адвокат в точности так, как принято представлять себе французов: у него были черные усики, остроносые ботинки и до обеда он ходил в визитке. Маленького Лорда отправили показывать гостю суда викингов, защищенные рифленным навесом Университетской гавани, и адвокат Майяр пришел в восторг от благовоспитанного молодого человека, сносно болтавшего по-французски и даже умевшего различать две-три марки красного вина. Это внесло некоторые поправки в те сведения о ледяной пустыне, где круглый год ходят в невыделанных шкурах, едят сырое мясо и пьют исключительно самогон, какими француза перед отъездом снабдили его соотечественники.

Французский адвокат пообещал Маленькому Лорду в день торжества представить его летчику Пегу и подвести к самому аэроплану. Поэтому на все расспросы в школе Вилфред только пожимал плечами:

— Аэроплан — подумаешь, невидаль.

— Но ведь он сделает мертвую петлю!

Вилфред леденел при мысли, что его могут пригласить в полет. Он уклончиво замечал, что, наверное, мертвая петля дает самые сильные ощущения. Кстати сказать, Вилфред по воскресеньям ездил на Бюгдэ в открытой машине дяди Мартина, а мало кто из его сверстников мог похвалиться, что катался в частном автомобиле. Мальчишки, правда, издали узнавали на улице машины с номерами 200 и выше — говорили, что по улицам Христиании ходит уже три десятка так и, — но ездить и в них почти никому из школьников не случалось.

Во время второй совместной вылазки в город адвокат Майяр и Вилфред в кондитерской Халворсена встретили тетю Кристину. — Боже! Маленький Лорд! — воскликнула она, всплеснув руками. Вилфред понял, что встреча неслучайна, Кристина уже давно не называла его Маленьким Лордом и никогда так не поражалась случайным встречам. К тому же она чрезмерно суетилась, заказывая себе и адвокату по рюмке хереса. Вилфред

получил ванильное мороженое за тридцать эре и два пирожных по десять эре, рожок и трубочку — «это же твои любимые пирожные, ведь правда?»

Все три раза, когда она встречалась с адвокатом — у дяди Мартина, у дяди Рене и однажды у них дома на Драмменсвегге, — тетя Кристина садилась за кофе рядом с Майяром и неизменно смешила его, с нарочитой ребячливостью коверкая французский язык: дядя Рене утверждал, что Кристина отлично говорит по-французски. И вот теперь у Халворсена она снова вытягивала губы трубочкой над рюмкой хереса, делая вид, будто ей никак не совладать с французскими гласными, которыми дома у Вилфреда «во французские дни» всегда придавалось такое значение. А адвокат чертил по воздуху никотинно-желтыми пальцами, словно придавая звукам должную форму. Мало того, он несколько раз дотронулся до губ Кристины, как бы подправляя непослушные гласные. Вся кондитерская пялила на них глаза. Вилфреду сделалось противно. Он стал разглядывать роспись потолка, стараясь думать о другом. Но прежнее желание вновь вспыхнуло в нем. Снова невозможно было представить, что Кристина — его тетка. Впрочем, и всю ее детскую беспомощность тоже как рукой сняло, когда, приподняв над кончиком носа жесткую вуаль, она сидела и потягивала херес, который, казалось, вовек не кончится.

В яркий сентябрьский день вся воскресная Христиания устремилась к Эттерстаду. Вилфред с матерью, тетей Кристиной и французом-адвокатом сидели в автомобиле дяди Мартина. Однако у холма вблизи Волеренг они наткнулись на блистающих касками полицейских, которые направили их в объезд. Это была необходимая мера: грязную дорогу забили пешеходы, так что по ней было трудно не только проехать, но и пройти.

Весь Эттерстад оцепили канатами, и зрители бестолково протискивались вперед, забыв, что зрелище будет происходить высоко в небе, а потому совершенно не важно, где стоять. Но на самом верху холма, у какого-то бокового входа, француз-адвокат показал визитную карточку, и всю компанию провели через особую дверь. Вилфред не успел еще оглядеть шумную, взволнованную ожиданием толпу, усеявшую склоны, как очутился рядом с аэропланом. В деревянном ангаре стоял низенький человечек весь в кожаном, с головы до пят, и распекал трех французских механиков, метавшихся от ангара к аэропла-

ну. Но когда Вилфреда, представляя, подтолкнули к летчику, из-под кожаных одежд протянулась темная жилистая рука и суровое лицо под шлемом осветилось улыбкой. С адвокатом летчик был уже знаком, и мсье Майяр представил Вилфреда как своего юного друга из студеных стран, владеющего французским и жаждущего увидеть поднебесье.

Вилфред похолодел от ужаса. Но к счастью, летчик развел руками и, вздернув брови, проговорил что-то непонятное, что у французов вызвало взрыв хохота. Но вот на площадке раздалась взволнованные голоса. Механики подтолкнули самолет вперед и стали вертеть пропеллер под невнятные всхлипы мотора. Кто-то сунул Вилфреду кулек теплых земляных орехов — он таких еще не видел, — но во рту у него пересохло и орехи вязли в зубах. Когда он опомнился, летчик уже выходил из ангара, а когда Вилфред и его спутники тоже вышли из-под навеса — в нескольких стах метрах за канатами волновалась толпа, — бог в кожаных одеждах, в перчатках и очках сидел, плотно прикрепленный к сиденью хрупкой машины; столько у нее было засовов и ребер, что казалось, будто человека посадили в клетку. А вместе человек и машина о четырех крыльях являли собой нечто вроде огромного кузнечика.

Залитый солнцем аэроплан разбежался по летному полю. Он подпрыгивал на бугорках, набирая скорость. Только теперь стало заметно, как много тут бугорков и кочек: хрупкому сооружению в любую секунду грозила гибель. Но вот два долгих прыжка — и аэроплан почти оторвался от земли. Еще разок стукнулся он оземь тонкими колесами. И вот он уже свободно парит над склоном, скользя к скверу. Восторженный рев взлетел к небесам, и Вилфред скорее почувствовал, чем услышал, свой собственный счастливый вопль, когда кузнечик поднялся в воздух; Вилфред спохватился, что стоит на цыпочках и весь вытянулся, будто желая помочь аэроплану. Но тому уже не требовалась помощь. Победно, уверенно прочертил он долгую дугу над заливом Бьервик и фьордом. Когда он пропал в солнечном сиянии, тысячи рук, словно по команде, козырьками прикрыли глаза. Показывали: «Вон там... вон там!..» Другие смеялись: «Да вон уже он где! Но он снова летит сюда». Какой-то господин произнес: «Сто пятьдесят километров в час, да вы представляете, что это такое?..» Дама, стоявшая рядом, ответила: «Молчите, молитесь, чтоб он вернулся живым».

Тут Вилфред почувствовал, что кто-то крепко стискивает его правую руку, и, вероятно, уже давно. Он опустил глаза на

голубой цветник — целый сад тюля и цветов на бледно-желтой соломенной шляпке. Ладонь тети Кристины плотно прижималась к его ладони, руки их тесно сплелись.

— Тебе страшно, Кристина? — спросил он, отдаваясь нахлынувшей нежности.

В поднятом к нему лице было что-то такое — такое откровенное, — никогда прежде Вилфред не видел у нее такого лица. Рот приоткрылся, губы были влажны. Она дышала тяжело и неровно, и он слышал ее дыхание в напряженной тишине. Аэроплан все еще набирал высоту, почти неразличимый в синей дали. Многие смотрели на часы. Все тот же господин сказал: «Он уже десять минут пробыл в воздухе». — «Десять минут! — подхватила пугливая дама. — Значит, ему никогда не вернуться на землю». Когда машина показалась над холмом, ее встретил настороженный вой. Все пригнули головы, но тут же, снова задрав их кверху, стали смотреть в другую сторону. Теперь аэроплан летел на восток — над Эстре Акер. Кто-то сказал: «Сейчас сделает мертвую петлю».

Машина забрала чуть к северу, и теперь, когда она двигалась со стороны Грефсена, ее легче было рассмотреть. Аэроплан летел теперь против солнца, и сентябрьские лучи играли на матовой желтизне крыльев; казалось, тоненькие, хрупкие крылья вот-вот сломаются. Вопль блаженного ужаса вновь взлетел над толпой, навстречу аэроплану. Уже никто не наклонял голову. Все знали, что сейчас свершится чудо, несравнимое даже с только что пережитым. Вилфред быстрым взглядом окинул лица вокруг себя и одинаковые, неразличимые лица в толпе подале. На всех была написана ненасытная жажда сенсации, все напряглись в предчувствии невероятного; глухой рев взымал над холмом.

И вдруг все стихло. Вилфред поднял глаза и тут же увидел как аэроплан накренился и стал боком падать вниз. Он находился теперь как раз над головами зрителей, и толпа, не смевшая оторвать глаз от жуткого зрелища, ахнула и всколыхнулась. В следующее мгновение машина уже не падала, но, лежа на спине, скользила над холмами в сторону Экеберга. Можно было разглядеть летчика, висящего вниз головой за решетками аэроплана. Потом аэроплан снова исчез в солнечном сиянии, и, когда Вилфред увидел его опять, он уже летел в обычном положении. Возгласы «ура» заполнили воздух и, точно купол, повисли над толпой. Пальцам Вилфреда вдруг стало больно, будто их сломали. Рука Кристины змеей обвилась вокруг его руки.

Они оказались чуть позади всех прочих — те в волнении подались вперед. Вилфред с Кристиной стояли, прижавшись друг к другу, и ее лицо было поднято кверху, потерянное, восторженное и измученное.

Вилфред не понял, как это случилось, и длилось все не больше мгновения. Но он так остро ощутил близость ее тела, что ему вдруг показалось, будто с той злополучной встречи в ольшанике не прошло и дня. Он словно сам взмыл в воздух и потом приземлился в целостности и сохранности. Не смятенный, дрожащий, но полный блаженного восторга, самодовлеющего и в то же время чреватого сладостной катастрофой.

Он знал, что она чувствует то же, что это молчаливый сговор равных. И она тоже будто приземлилась наконец и ощутила под ногами твердую почву, по которой можно было безопасно двигаться дальше.

В те же секунды, как видно, приземлилась и машина. Скоро летчик уже стоял у входа в ангар с букетом в руках, а его соотечественники, дамы и господа, теснились вокруг и лобызали его в щеки и куда попало. Вилфред с Кристиной тоже подошли, но она не стала целовать летчика, лишь дружески пожала ему руку и не очень внятно поблагодарила за доставленное удовольствие.

Вилфред подошел к машине, которую уже осматривали механики. В ту же минуту толпа издала ликующий вопль. Прорвав ограждения, люди бросились на летное поле. Вилфред стоял возле аэроплана и смотрел, как несется людская лавина — словно огромный темный зверь, одержимый жаждой жизни. Но тут со всех сторон набегали полицейские и сторожа в форменных фуражках и преградили путь толпе, пуская в ход кулаки. Вилфред, слегка наклонясь к машине, наблюдал происходящее, и его вдруг словно осенило, что он всегда среди немногих, избранных, тех, кому улыбаются, кого не гонят, кому дозволено.

Быть может, в этом и состоит смысл одиночества — вожденного одиночества?

Два-три мальчишеских возгласа прозвенели над толпой. Вилфред увидел стайку своих одноклассников, отчаянно пытавшихся прокрасться мимо неумолимых полицейских спин в рай, где приземлился представитель небесного воинства. Как видно, они возлагали надежды на Вилфреда, святым Петром стоявшего у врат в сияющих отблесках божества.

Но взгляд полицейского упал на мальчишек, и они были

тотчас отброшены за цепь служителей закона, которые так грубо толкали непосвященных, что многие спотыкались, падали, а на них валились другие. Завороженные зрители вдруг превратились в озлобленную, крикливую толпу.

Тогда летчик выступил вперед от ангара, где спасался от натиска почитателей, усталым взглядом окинул толпу и отвесил ей нечто вроде иронического поклона. Возмущение улеглось. Раздалось новое «ура», радостный смех, и восторженные взвизги, точно стайка голубей, вспорхнули к ясному сентябрьскому небу.

Прикосновение Кристины все еще жгло руку Вилфреда. Как это было непохоже на летнюю встречу, когда неловкий мальчуган задыхался от желания подле пренебрегшей им взрослой дамы. Перемена вызрела незаметно. Их толкали друг к другу силы, неподвластные им, уже не управляемые ими.

Объявили, что француз снова поднимется, на сей раз с пассажиром. Адвокат и летчик подошли к аэроплану. По толпе прошелестел взволнованный шепоток. Адвокат в сопровождении небольшой группки двинулся прямо на Вилфреда, стоявшего рядом с чудесной машиной. Вилфред хотел было вежливо посторониться, когда взгляд адвоката упал на него.

— Вот тот юный друг, о котором я говорил, — сказал он, оживленно жестикулируя. Летчик Пегу приблизился к Вилфреду и спросил по-французски:

— Это вы, молодой человек, мечтаете подняться в небо?

У Вилфреда подкосились ноги. Поодаль он видел мать и Кристину. В руках у них были бокалы — дипломатов и гостей угощали шампанским. Он видел, что Кристина смотрит на него через головы подошедших к нему господ. Адвокат улыбнулся:

— Разве тебе не хочется?

— Oui, monsieur *, — едва выговорил Вилфред. Он и правда высказался в этом духе однажды в шальную минуту, когда они с адвокатом обсуждали предстоящее событие. Взрослые закивали друг другу и поспешили к его матери и прочим дамам. Вилфреда обжег взгляд Кристины, глядевшей прямо ему в глаза. Поняла ли она, о чем беседовали с Вилфредом эти чудачки, обращавшиеся с ним как со взрослым и словно принявшие его в свой круг? Внезапно страх и надежда увильнуть сменились неподдельным острым желанием лететь.

— А м а м а ? . . — тихо произнес он.

* Да, сударь (франц.).

— Ну, разумеется, мы спросим у твоей мамы! — Адвокат направился было к ней. Но Вилфред остановил его: — Я хочу сказать, что мама... ну, в общем, это неважно.

Мужчины переглянулись, с трудом удерживая улыбки, и стали совещаться. А дальше все развивалось так стремительно, что Вилфред не понимал, что происходит, пока не оказался внутри машины, на сиденье, несколько сбоку и позади сиденья летчика. Его запихнули в слишком для него просторный кожаный костюм, такой же, как на летчике, а на голову надели шлем. И он увидел мир сквозь огромные очки, отделившие от него окружающее и сделавшие все близкое необычным и далеким. Повернувшись на сиденье, насколько позволяли ремни, Вилфред разглядел мать среди господ в цилиндрах и дам под зонтиками, а далеко-далеко за канатами, где-то в ином мире, стояла густая, темная, безразличная ему толпа.

Механики возились у машины; один уже заводил пропеллер, он с трудом повернул его в обратную сторону, мотор кашлянул и принялся за работу.

Вилфред изо всех сил зажмурился, когда машина, подпрыгивая, разогналась по бугристому летному полю. Только раз он открыл глаза и увидел, как тяжелые стволы деревьев на окраине Эттерстада несутся навстречу с невыносимой скоростью, но тотчас опять зажмурился и только потому, что прекратились толчки, понял, что машина оторвалась от земли. Ища опоры, Вилфред шарил перед собой руками в тугих перчатках. Он застыл от леденящего ужаса и совсем нового ощущения, какого-то странного восторга, все тело свело судорогой. Мелькнула гордая мысль, что он не стал молиться богу, но тут же пришлось сознаться самому себе, что он попросту об этом забыл. А теперь поздно было, они уже летели. Вилфред знал это, хотя ощущал полет только по силе ветра. Но никакой силой, земной или неземной, не заставили бы его открыть глаза. Лучше умереть.

И тут он услышал голос. Человеческий голос пробивался сквозь вой ветра. Повинуясь усвоенным с детства правилам хорошего тона, Вилфред на мгновение приоткрыл глаза и увидел под собой и впереди землю. Кажется, в поле зрения ему попал зеленый купол церкви св. Троицы, он не разглядел точно — сразу же зажмурился. Но тотчас он опять услышал голос, на этот раз совсем рядом. Он открыл глаза и увидел кашу темно-зеленых крон.

Теперь глаза уже не зажмурились сами собой. За несколько секунд Вилфред успел увидеть, как фьорд поворачивается вни-

зу, словно на блюдце. Потом разглядел какие-то черточки и красные пятнышки на синей воде. Верно, парусники стояли у красных буйков в бухте Бьервик. Потом он заметил пароход у пристани, как две капли воды похожий на модель парохода, которой он так часто любовался в витрине Бенетта на улице Карла Юхана. А вот и город, улицы протянулись, как на чертеже. Дворец — он отодвинулся к краю блюдца и пропал из виду. И вот почти прямо под ними красная крыша порохового склада на Большом острове!

Вилфред взглянул себе под ноги. И только тут не на шутку испугался. Он увидел нечто совсем непохожее на далекую, сказочную панораму. Он увидел тонкий пол и решетку, поддерживающую крылья биплана. Тут он впервые до конца осознал, что летит высоко в небе и лишь жалкие жердочки отделяют его от мирового пространства.

Вилфред подался вперед, ему хотелось, чтобы летчик обратил на него внимание, понял, что он тоже смотрит, видит. Несколько раз он вскрикнул от сладкого ужаса, восторга, торжества, которому нет имени в бедном человеческом языке.

Но летчик его не замечал. Он слегка наклонился к рычагу, а другая рука его словно приросла к аппарату чуть пониже, с другой стороны. Тут под ними показалось посадочное поле Эттерстада, и Вилфред понял, что Пегу напрягся, готовясь к посадке.

Вилфреда снова пронзил ужас. Это самое опасное, он читал. Полет вдруг представился ему беспечной прогулкой. О, если бы она никогда не кончалась! Холм летел навстречу, Вилфред хотел было зажмуриться, но увидел людей за канатами, запрокинутые белые лица, темную массу тел — они мчались навстречу, ненавистные, страшные. Вот оно, неизбежное. Смерть.

Но мука длилась меньше, чем он ожидал. Первые сильные толчки потрясли машину, и тотчас скорость резко снизилась, и вот машина уже подпрыгивает по твердой земле. Очевидно, он вновь зажмурился, потому что, оглядевшись, заметил, что все вокруг опять выглядит так, как было, когда его вели к аэроплану. Он, качаясь, вышел из машины, все качалось, вертелось перед глазами, земля уходила из-под ног. Охваченный какой-то счастливой усталостью, он опустил на колени. Но вот он услышал выкрики «ура» — это кричала огромная толпа за канатами. Усилием воли он заставил себя приподняться. Навстречу бежали мать, Кристина, адвокат... Вилфред распрямился, его высвободили из кожаного костюма. Потом опять все куда-то

провалилось, и он пришел в себя в объятиях матери, изливавшей поток норвежских и французских слов на всех, кто стоял рядом: на Кристину, адвоката, летчика. Глаза ее горели от гнева, гордости и шампанского.

— Мальчик мой! — истерически всхлипывала она. — Мой любимый мальчик!

Вилфред решительно высвободился из ее объятий и протянул руку летчику Пегу.

— Merci, — выдохнуло он. — Merci beaucoup*.

Тут он заметил, что в шагу ему мокро и холодно. Наверное, это случилось с ним, еще когда самолет поднимался.

— Когда мы поедем домой, мама? — невесело спросил он. Он испугался, что происшедший с ним конфуз обнаружится именно теперь, когда на него устремлены восторженные взгляды толпы.

— Ну, как это было?

— Страшно было?..

— Да, мне было страшно, — вдруг сказал он. Французам перевели его ответ. Дамы радостно заворковали. Но летчик Пегу протиснулся к Вилфреду и вновь пожал ему руку.

— Этот юноша — самый храбрый из всех дебютантов, с какими мне приходилось иметь дело, — спокойно проговорил он. — Он почти все время сидел с открытыми глазами.

Фру Саген и Вилфреда пригласили в посольство, где в честь летчика устраивался прием.

— Как ты думаешь, можно мне улизнуть? — шепнул Вилфред матери.

— Улизнуть?

— Да, мне что-то... — Он поморщился. — Это же рядом с нами, так что я могу сойти, когда мы подьем.

Мгновение она пристально и озабоченно разглядывала его. Сколько уже раз видела она это выражение, словно туча, омрачавшее юное лицо, — лицо, все больше похожее на то, другое, с которого не сходила мрачная угрюмость.

— Тебе хочется побыть одному? — спросила она.

— Да, вот именно одному. — Он видел, как она разочарована. Точно ребенок!

— Мамочка, я очень огорчен. Из-за тебя.

— Из-за меня? Ну так в чем же дело?

* Спасибо, большое спасибо (франц.).

Вновь испытующе озабоченный взгляд, попытка прочитать его мысли. И вдруг Вилфред понял, что не мокрые штаны причиной тому, что ему не хочется в посольство. В небе с ним случилось нечто — какое-то озарение, прояснение.

Тем легче стало посвятить мать в маленькую постыдную тайну, ибо настоящая-то тайна была совсем другая.

— Дай я скажу тебе на ушко.

Фру Саген залилась веселым смехом и украдкой огляделась. Очаровательное простосердечие сына так пленило ее, что ей захотелось с кем-нибудь поделиться. Но она овладела собой и посмотрела сыну в глаза с той же проказливой серьезностью, как в тот раз, когда весенним вечером они забрели в Тиволи.

— Тогда беги, как только мы подедем, — сияя, шепнула она и потрепала его по щеке. Он глядел на нее недоверчиво и удивленно. Неужели эту взрослую женщину, которую он так любит, ничего не стоит обвести вокруг пальца? Неужели все и всегда так охотно попадают на удочку?

— Вот только девушек я обеих отпустила поглядеть на представление, — сказала фру Саген. Эта реплика, нарушив ход мыслей Вилфреда, вдруг рассмешила его.

— Ты права, мама, — произнес он с нарочитой серьезностью. — Жаль, если юноша-герой погибнет, всеми заброшенный, куда мать его принимает почести в посольстве.

Она опять легонько потрепала сына по щеке, обрадованная, что отмечено и это возражение. В последние годы она так редко бывала на людях, у нее столько огорчений, все неотвратно меняется на ее глазах... И сегодня ей снова захотелось окунуться в гущу событий, как прежде, когда любое, самое незначительное происшествие в жизни Христиании составляло часть ее собственной жизни.

Один в пустой квартире, Вилфред радостно упивался собственным тревожным возбуждением. Он долго лежал в ванне и вернулся в комнату, ловко и по-взрослому запахнув на голом теле халат. Наслаждаясь ощущением своей взрослости, он встал у большого окна, выходявшего на Фрогнеркиль, и загляделся на небо, подернутое светлыми тучками. Сентябрьский день еще не остыл. По глади залива пробежала темная рябь. Все было словно на иной планете. Вилфред намеренно вновь вызвал в себе чувство сладкого ужаса, охватившего его в ту секунду, когда он увидел под ногами хрупкий пол аэроплана. Он снова поднялся

на цыпочки, и к нему опять вернулась жажда воспарить, разорвать все связующие, порабощающие узы, а потом рухнуть и погибнуть в одиночестве, вдали от стеснительной близости других.

Вилфред подошел к шкафу, налил себе из графина рюмку хереса и выпил ее с наслаждением и брезгливостью. Это помогло: приятное возбуждение и ощущение взлета, которые он так боялся потерять, не проходили. Вилфреду хотелось довести эту вибрирующую тревогу во всем теле до такого предела, чтобы — да, чтобы самому почувствовать себя аэропланом, взмывающим в пустое пространство под грохот мотора.

В дверь позвонили. Вилфред спокойно, по-взрослому, выругался, небрежным шагом, как был в халате, пошел открывать. Он играл какую-то роль и сознавал это, но какую именно, сам не решил. Знал только, что сейчас ему все нипочем.

— Кристина!

Он почувствовал, что возглас прозвучал чуть-чуть наигранно и была в нем не столько изумленная, сколько утвердительная интонация, словно приход ее — результат действия его воли. Задыхаясь, Кристина вошла в прихожую, ступила на заглушающий шаг ковер.

— Ты как будто ждал меня?

— В некотором роде. Дома никого нет.

— Я знала.

Все было сказано. Ничего уже не изменить. Прежние страхи и сомнения всплыли в памяти. Но они уже ничему не могли помешать. Он притянул ее к себе.

— Мы с ума сошли, — сказала она тоном ребенка, который знает, что провинился.

— Ты думаешь?

Уверенно, как взрослый, он повел ее к своей комнате. На ней была та же соломенная шляпка с голубыми цветами, на плечах — светлая накидка. Он не предложил ей раздеться; мягко, многоопытно, он вел ее по лестнице. Но когда они поднялись к нему, он сдернул с нее шляпку, сбросил накидку на стул.

— Не так рьяно! — прикрикнула она на него, стараясь стать хозяйкой положения.

— Отчего же? — возразил он иронически. Он ощущал в себе какую-то чуждую силу. Кто был этот иной, дававший ему власть наблюдать себя со стороны?

Они безудержно целовались. Разница в возрасте вдруг исчезла. Все было совсем не так, как тогда, в ольшанике, теперь Вилфреду не приходилось стыдиться своей неопытности.

— Что с тобой, мальчик? — вдруг жалобно и неуверенно произнесла она. Ему вдруг подумалось, что она, может быть, и сейчас еще сама не знает, чего хочет. Даже сейчас ей хочется только поиграть.

— Что со мной? — жестко сказал он. Он был полон решимости, знания. — Ты прекрасно понимаешь, Кристина, что со мной! — шепнул он в самый шелк ее платья.

И она перестала притворяться. Перестала разыгрывать беспомощную, удивленную. Почти материнская нежность была в ее руках, успокаивавших его торопливые руки. Косые лучи солнца проникали сквозь гардины, осеняя белое тело, в которое он погружался. Вот она шепнула: — А вдруг кто-нибудь войдет!

Он холодно отметил про себя, что теперь сопротивление сломлено. Да и было ли сопротивление? — Никто не войдет! — выдохнул он в ответ. Слова без смысла. Ритуал. Он мог бы сказать и другое, что угодно, слова были чьи-то, не его, да и действовал не он, а кто-то другой. Действовал медленно, постепенно, обдуманно, и сам Вилфред поражался этому. Словно опыт поколений открывал ему путь к решающей минуте, совсем не так, как виделось в лихорадочных, сбивчивых, смятенных мечтах. Чужая воля управляла им, освобождая от торопливости и губительной робости новичка. Он был уже не подросток, растерявшийся перед лицом пугающей женской прелести. Кто-то чужой вселился в него и нашептывал мудрые советы о том, что спешить не надо, что надо давать, не только брать. Он наслаждался ее телом и своим и, покоясь на синих волнах блаженства, не терял сладостного контроля над их телами, слившимися в одно.

Медленно, медленно расслабились их объятия. Они вместе возвращались с небес на землю, совершая парящий полет сквозь сферы и избежав грубого перехода от блаженства к стыду. Переживание оказалось намного сильнее, чем Вилфред ожидал. Его охватило чувство непомерного счастья. Она лежала и, не стыдясь, открывала ему все тайны своего тела. Переход к нежной близости без лихорадки сделал их равными. Он это понял. Все время он знал, что ей с ним хорошо, не стыдно. Тот, чужой, все еще был в нем, нашептывал многовековой опыт страсти. И восторг победителя, властелина охватил его...

Победителя — но над кем? Мысли вернулись к тому, что только что свершилось. Ни тени разочарования. Было лишь слабое удивление, что то огромное и вправду было так огромно, но вовсе не трудно, не унижительно. Он не пережил ожидаемой катастрофы, низвержения с недоступных высот.

Но когда он вновь ощутил прилив страсти, она мягко высвободилась и села рядом на постели, пристально глядя ему в лицо.

— Вилфред,— сказала она . — Я поступила очень дурно. Но благодаря тебе у меня нет такого чувства!

Он встал перед ней на колени, утопил ее в нежных ласках, не жадных, настойчивых, как прежде, но робко восхищенных, благодарных. Ему это было необходимо — высказать ей свою благодарность, но и тут была тень расчета: так надо, так правильно. Тот же чужой по-прежнему обучал его науке страсти. И он подчинялся мягким приказаниям этого чужого. Он не чувствовал ущемления своей воли — чужак знал, что нужно Вилфреду, и желал ему добра.

— Ты посвятила меня в таинство, — сказал он серьезно. Она улыбнулась было, слишком уж торжественно это прозвучало, и он поспешно добавил: — Нет, правда, это не ребячий порыв, ты сама знаешь. Ты посвятила меня в таинство.

Она взяла его голову в свои ладони и посмотрела на него долгим взглядом.

— Может быть, ты и прав,— тихо сказала она . — Я даже думаю, что мне не в чем раскаиваться. Ты освобождаешь меня от угрызений совести.

— Конечно, тебе не в чем раскаиваться! — воскликнул он с неожиданным пылом . — То, что почти всегда страшно и стыдно для молодого мужчины, ты сделала для меня чудесным и прекрасным. Думаешь, я не знаю?

— Вилфред,— сказала она , — ты прелесть, только не уверяй, будто любишь меня, раз ты меня не любишь. Но ты самый взрослый ребенок и самый ребячливый взрослый из всех, кого я знаю.

Она говорила таким тоном, что его не мог задеть намек на возраст.

— Ты похож на *него*, — прибавила она и, улыбаясь, отстранила его лицо.

— На кого?

И снова она улыбнулась, на этот раз над его смешной ревностью, уж совсем детской.

— Да нет же, ты не то подумал, — торопливо объяснила она . — Тот человек... Ах, зачем я это говорю...

В глазах ее всколыхнулся испуг. Она смотрела перед собой — куда-то в глубину комнаты, пронизанной последними отблесками осеннего солнца. Он невольно проследил за ее взглядом; казалось, она видит кого-то, неизвестного и незаметного ему.

Косые лучи падали на портрет отца, стоявший на стуле у самой стены. Красные отсветы играли на бородке и придавали мазкам особую, красками недостижимую жизненность. Казалось, будто это лицо — слабое и вместе властное — выступило из рамы и, храня пойманное художником выражение, готово заговорить с ними и даже что-то уже говорит им обоим своим живым и горестным взглядом.

И тут Вилфред вдруг понял его. Впервые понял своего отца. Впервые в жизни ощутил темные узы родства между собой и этим запечатленным образом, некогда его пугавшим, будто исчез возраст, исчезли время и расстояние. И понял, кто был тот мудрый советчик, одаривший его опытом в новом, неиспытанном; гениальный любовник, наполнявший близких стыдом и счастьем и оставшийся для них вечной загадкой.

Вилфред медленно встал. Кристина последовала его примеру, торопливо собирая разбросанную одежду. Она проворно управилась со своим сложным туалетом, он же, совершенно голый, каким вышел из рук создателя, подошел к портрету отца, подставляя свою наготу его грешному, пронзающему взору. Но в этом взоре не было иронии, которая всегда наготове у взрослых. И уж во всяком случае, в нем не было осуждения и невысказанных попреки.

Радостно обернулся он к Кристине и ощутил нежность, впервые вытеснившую его горькую потребность самоутвердиться. Хлопнула входная дверь. Это вернулась Лилли. Вилфред тотчас узнал ее шаги и хотел было успокоить Кристину, но она подняла руку в знак того, что сама все поняла.

— Твоя мама может вернуться в любую минуту, — беззвучно произнесла она.

Он взглянул на часы. Прошел час. Впервые открылась ему головокружительная загадка времени — оно внутри человека, в крови, и только там.

— Да нет, вряд ли, — беспечно ответил он. — Мама просто упоена праздником, одно удовольствие было на нее смотреть.

Он без всякого стеснения одевался, продолжая разговаривать. Во всех его движениях было спокойствие многоопытности. Они поцеловались, стоя перед портретом отца, и оба одновременно оглянулись на него. Лучи солнца уже ушли с полотна. Теперь оно было погружено во тьму, еще более подчеркнутую соседством яркого блика на стене. Словно человек на портрете в нужную минуту сказал свое слово и удалился. Вилфред схватил холст и повесил его на стену, где он висел всегда.

— Я пойду, — шепнула она. — Одна.

— Я буду ждать тебя на углу, у кондитерской.

— Нет. Я хочу пройтись. Далеко-далеко. И одна.

— Далеко-далеко. И со мной.

— Одна — слышишь? До свиданья, Вилфред, милый.

Он стоял возле узкого окна прихожей и смотрел, как она идет по аллее. Теперь она уже не казалась обездоленной и одинокой; она шла легкой, быстрой походкой. Вот она свернула за угол. Вилфред ощущал сладость бытия. Долго еще стоял он и глядел на пустую аллею, удерживая в памяти образ Кристины, такой, какой он ее видел: в шляпке с незабудками, в накидке, ступающую легкими шагами, хранившими его тайну. Так он и стоял возле узкого окна, глядя, как спустились сумерки, как вспыхнули фонари. Так он и стоял, пока на аллее не показалась его мать.

— Ничего не случилось? — спросила она, когда он помогал ей раздеться.

— Почему ты спрашиваешь? Я все время был дома. Ну, как ты провела время с французами? Приятно было?

— Я так волновалась. Наверное, приятно, сама не знаю. Боюсь, что я уже стара для таких развлечений.

— Чепуха, мама! Ты говоришь это только для того, чтоб я сказал, что ты еще не старая.

— Ну так скажи это, скажи поскорее!

Они стояли друг против друга, мать и сын, как много раз, как всегда, и играли в старую игру: великосветская дама и ее эрзац-кавалер, как выражался дядя Мартин.

— Ты была самой красивой из всех дам в Этгерстаде, — сказал он и, обняв ее за талию, повел в комнату. — Шампанское лилось рекой?

— Глупости! — сказала она. — Кристина была красивее. Все были красивее меня. Нет, они пьют мало. Летчик вообще трезвенник. Зато говорили, говорили без конца, я за ними не поспевала, совсем отвыкла от французского.

Счастливые, умеющие забывать, стояли они друг против друга. Опять ловкие слова, которые так легко приходят на язык и так легко забываются, опять эта спокойная, тихая вода, скрывающая опасные омуты. Как тяготила его в последнее время эта игра! И вдруг он заметил, что больше его ничто не тяготит. Притворяться было удивительно Просто. Может, это и не притворство? Вилфред уже не ощущал себя одиноким защитником бас-

тиона, на который посягают объединенные силы матери, дядей и школьных учителей.

— Тети Кристины не было на приеме,— сказала она. — Ее забыли пригласить, они спохватились, им стало неудобно, ей дважды звонили.

Он окинул ее быстрым взглядом. Неужто опять этот проклятый инстинкт? Ведь она же сказала, что волновалась.

— Но у Кристины нет телефона, — сказал он резко.

— Они звонили в кондитерскую. Она часто туда заходит по воскресеньям навести порядок.

— Значит, ее сегодня там не было, — сказал он. Он сам отметил излишнюю запальчивость своего тона.

— Ну, разумеется, — легко согласилась мать.

Но теперь ему захотелось выяснить, в самом ли деле существуют эти таинственные силы, передающие от человека к человеку все тайные помыслы.

— Можно было за ней послать, если уж ее присутствие было так необходимо.

Но она опять уклонилась.

— Да, конечно,— ответила она устало. — Я об этом как-то не подумала.

Что это? Ирония? В нем опять шевельнулось недоверие.

— Впрочем, может, ее и дома не было! — с вызовом заявил он.

— Не понимаю, Маленький Лорд, — сказала она, и он отметил, что она нарочно назвала его этим именем, — почему ты так горячишься...

Спокойно, спокойно, подумал он. Не искушать судьбу, ничем себя не выдать, ведь не хочет же он, чтобы она догадалась. Ведь не хочет? Ну разумеется, нет!

— Прости,— ответил он, — видишь ли, я все еще парю в небесах.

Она бросила на него беглый взгляд, словно догадываясь о двойном смысле его ответа. Ах, и зачем только придумали это слово «инстинкт», зачем его так часто повторяют. Этот «инстинкт» только все запутывает, громоздит догадку на догадку, вносит смуту в жизнь. О, если бы все люди были просты и неразговорчивы, как фру Фрисаксен, как... да, хотя бы как Эрна...

— Кстати, знаешь, кто был сегодня в Эттерстаде? Эрна! Я видела ее в толпе за канатами. Все семейство явилось.

— И отец ее, конечно, объявил, что благодаря скорости аэроплана перестал действовать закон всемирного тяготения.

— Как не стыдно, Вилфред, — сказала она. — Я убеждена, что Эрнэ страшно тобой гордилась.

— Ну а ты, мама?

— Страшно гордилась. Но ведь ты мне еще ни слова не сказал о том, что ты чувствовал...

Опасность миновала. О Кристине больше не было речи. И Вилфреду захотелось еще чуть-чуть походить по краю пропасти.

— Что я чувствовал? — спросил он.

— Ну да, когда летал.

— А, ты об этом!

Мысли вновь потянулись к тому, о чем невозможно было забыть, и казалось, он властен своей волей вновь призвать все только что происшедшее в потемневшую комнату. Последние отблески мерцающих вод отражались в зеркале, оправленном в тусклую золоченую раму.

— Чувство это — изумительное...

— Изумительное? Но ведь тебе же было страшно!

Он глянул в зеркало. Серебристо мерцающая, переливалась в нем вода залива.

— Страшно? Да, страшно. Конечно, мне было страшно. Особенно подъем...

— Ну да... Подъем. А голова не кружилась?

Залив в зеркале стал серым. Значит, ушли последние лучи.

Собственное отражение в зеркале глядело на него выжидательно. И тут он увидел другое отражение — того, кто висел на стене в углу.

— Мамочка, — сказал он, — ты только не сердись, что я тебя спрашиваю. Скажи, отец, он... пользовался успехом?

Она тотчас встала и подошла к окну.

— Что ты имеешь в виду? Как это — успехом?..

— Ну, он... в общем, он нравился?

— Кому? — Голос был сух и отрывист. Она смотрела на Фрогнеркиль.

— Ну, дамам, и вообще...

Она повернулась к нему, но не двинулась с места. Белая, тонкая, стояла она в черном квадрате окна. Он не мог разглядеть, какое у нее выражение лица.

— Почему ты спрашиваешь? — сказала она.

Ему нужно было увидеть, какое у нее лицо. Он не хотел делать ей больно. Но остановиться он не мог.

— Что же в этом странного? Ты никогда ничего не рассказывала.

Она сделала было движение к нему, но осталась на месте. Казалось, будто во тьме за окном она ищет опоры, союзника. Тогда он подошел к ней.

— Я напугал тебя, мама?

— Чем же? Вовсе нет. Конечно, тебе хочется знать. Вполне понятно... Послушай, мой мальчик... — Она вдруг обняла его за шею; теперь они оба стояли лицом к окну. — Тебе кто-то говорил об отце?

— Вот именно, что нет. Ты, например, ни разу.

Они оба глядели на темную воду в последних отсветах уходящего дня. И говорили, словно стоя перед зеркалом. От этого им было не так одиноко.

— Отец твой очень нравился,— сказала она. — Людям. Дамам в том числе.

Как легко она увернулась от точного ответа. Вилфреда это задело. Она говорит с ним как с ребенком, да к тому же, конечно, втайне сердится.

— Можешь ничего не рассказывать, — сказал он обиженно и отошел от окна. Часы на камине грустно тикали, наполняя комнату тишиной. Он понимал, что ей больно. Но он не обязан об этом знать.

— Зачем же ты тогда сказала мне о стеклянном яйце? — вырвалось у него. Ему хотелось уйти. Ему не хотелось покидать поднебесье, где еще парила его душа, его тело. Ему хотелось побыть одному — больше ему ничего не нужно.

— История с мадам Фрисаксен тебе ведь известна, — сказала она.

— Ты права, мама,— ответил он. — Конечно, все это глупо с моей стороны. Да и не так уж я любопытен.

Ему хотелось покончить со всем этим, от всего отделаться. К нему вновь возвращалось приятное безразличие.

— Кстати, я забыл сделать уроки, — сказал он.

Вот и предлог, теперь она вполне может сказать: — Боже мой, как же так! — Она может отыгаться и напомнить сыну, что долг прежде всего, а потом уж развлечения и сенсации.

Но она отмахнулась: — Подумаешь, уроки! — Она словно приготовилась к бою. А ему хотелось все сгладить и остаться одному. Она подошла к камину, зажгла сигарету; это случалось редко...

— История эта не единственная,— сказала она . — Да и какая там «история»! Это было правило.

Вилфред сел покорно и устало, слушая почти без всякого любопытства. Она тоже села, не отрывая глаз от огонька сигареты.

— Люди так и льнули к нему. И он к ним тоже. В каком-то смысле. То есть, может, он их и презирал, не знаю, а может, просто ему никто не был нужен, он и сам-то себе не был нужен. В каком-то смысле люди заполняли его жизнь. А в каком-то смысле — наоборот. Но ты не поймешь.

Он сел поближе, вежливо пододвинув к ней пепельницу.

— Может быть, *ты* не понимала? — осторожно спросил он.

— Да. Я не понимала. Я и теперь не понимаю. Впрочем, я больше не думаю об этом. Почти не думаю.

— А я нарушил твоё спокойствие?

— Да! — Она улыбнулась. — Ты нарушил моё спокойствие. Всегда кто-нибудь нарушает спокойствие в самый неподходящий момент.

— Мама, но это ведь было так давно!

— Да, давно. Теперь это прошлое. Этого нет. И все же иногда оно возвращается.

— О, я понимаю, мама. Зря ты считаешь, что я глуповат.

— Нет, мой мальчик, я не считаю, что ты глуп, вовсе нет! — вздохнула она грустно. — Дело просто в том, что ты ребенок... И у меня никого нет, кроме тебя... Ах, я знаю, что ты скажешь... ты не ребенок. Может быть, ты прав, не знаю, я ничего не знаю! В том-то и беда, что я ничего не знаю.

Он подсел к ней на диван. Он чувствовал, что она чуть не плачет, но сдерживает слезы, не хочет расплакаться.

— Плевать я хотел на отца, — сказал он и добавил примирительно: — Как говорит дядя Мартин.

— Ах, дядя Мартин! Он столько раз меня убеждал рассказать тебе в с е . — И она грустно вздохнула.

Он сказал:

— Мама, сделай одолжение, не проводи со мной этой беседы, которую взрослые считают обязательной, когда их ребенок подрастет.

Неужели она смеется! Возможно ли? Рядом с ним во тьме раздался приглушенный беспечный смехок. Он же говорит совершенно серьезно! А ей смешно! Вот так мама! Честное слово, она неподражаема!..

— Понимаешь, в твоём отце что-то такое было, — вдруг с жаром сказала она. — Ему просто покоя не давали.

— Кто покоя не давал?

— Люди.

— Бабы?

— Да, бабы! — Она словно смаковала вульгарное слово. — Ты ведь знаешь, он был морской офицер, — добавила она так, будто это все объясняло.

— Да, на портрете он в форме.

— Ну, конечно... Но он недолго пробыл во флоте. Он ушел.

— Надоело?

— Да. То есть... Ну да, ему надоело. И он пошел в торговый флот и заработал кучу денег. Все просто поражаешься. Он был такой ловкий.

— И вы разбогатели?

— Мы и тратили много. Очень много. Я тоже виновата. Вокруг нас всегда вились люди.

Теперь он сидел как на иголках. Когда-то он многое подозревал. А потом мысли его заняло совсем другое.

— Мы всюду попевали, без нас нигде не могли обойтись. Уж не знаю почему. Мы и сами считали своим долгом попевать повсюду. И путешествия. И современная живопись — в Норвегии ни у кого ведь нет таких картин. А ты знаешь, что твой отец выступал в концертах?

Вилфред не ответил. Да, он это знал, но его это никогда не занимало.

— На все руки мастер? — вяло спросил он.

— На все. Он все умел. Все ему удавалось.

Она запнулась, будто переводя дыхание. Он вдруг испугался, что она замолчит совсем.

— Но ведь это хорошо, мама? — спросил он.

— Нет, ничего в этом хорошего не было.

Правда приоткрывалась частями. Вилфред думал — ведь она давно ждала этого разговора. К чему же скрывать?

— Ну вот, теперь ты знаешь все про своего отца, — сказала она по-детски и, по-детски довольная, добавила: — Хорошо, что ты спросил.

— Ничего я не знаю, — сказал он. — Стекло... яйцо...

Она резко встала и снова подошла к окну.

— Мы о нем уже говорили.

— Но не о том, какая связь между ним и... и всем прочим.

— Мы говорили обо всем. Кто-то, верно, взял яйцо... Украл...

Он подошел к ней, встал рядом. Он все еще парил где-то высоко над землей. Он и сам не знал, зачем задает эти вопросы. Может быть, ему просто хотелось помочь ей отвести душу, а может быть, так нашептывал ему добрый мудрец с портрета на стене.

— А потом вы все потеряли, мама? — спросил он.

— Все потеряли? Нет. На что же мы, по-твоему, живем?

Оба глядели в темень за окном. Одинокий фонарь со стороны Бюгдэ вонзал огненную иглу в черный бархат залива. Глядя прямо в темноту, Вилфред спросил:

— Из-за чего отец застрелился?

— Он не застрелился. — Она и не старалась выдать ответ за правду. Они не смотрели друг на друга, оба разглядывали огненную иглу, дрожащую в черной воде. Прогрохотал поезд, оставив за собой сноп искр; искры скоро погасли.

— Ну, спокойной ночи, мама. Уже поздно. Представляешь, я все еще парю.

Уже почти у самой двери он услышал:

— Я же не виновата.

Оглянувшись, он снова увидел ее — белым пятном в черном прямоугольнике окна. Она подошла к нему и в темноте сжала обе его ладони.

— Нам было так хорошо с тобой. Ты был ребенком.

— Да, мамочка. Но теперь я уже не ребенок.

Она испытующе разглядывала в темноте его лицо, словно ощупывала пальцами.

— Не ребенок?

— Нет, мама. Ты ведь сама знаешь. Но что с того. Нам и так хорошо с тобой...

— Н е т, — сказала она.

— Мама! Ну почему ты так говоришь?

— Нам уже не может быть так хорошо, как прежде. Моя беда в том, что я не умею применяться к обстоятельствам. Дядя Мартин всегда об этом твердит. Он говорит, что я не умею делать выводы.

— Выводы из того, что отец умер?

— Для меня он продолжал жить. Я не верила, что он умер. Пока не забыла его. Почти забыла. И тогда он совсем умер для меня, будто его и на свете не было.

— Кажется, я понимаю тебя, мама. Ты принимаешь только то, что тебя устраивает, а о прочем ты знать не желаешь. И когда что-то меняется, ты не можешь примириться.

— И давно ты это понял?

— Не знаю. Зато ты о многом догадываешься, но долго гонишь от себя уверенность, а когда уж сомневаться больше нельзя, либо закрываешь на все глаза, либо оскорбляешься.

Он ступил на зыбкую почву. На почву догадок. Он догадывался, как всегда, как догадывалась она, — неизлечимая семейная болезнь. Но если даже он угадал, она ни за что не признается.

— Знаешь, по-моему, ты не в меру проницателен! — заметила она, пытаясь обрести прежний беспечный тон.

— Зачем ты сказала мне об Эрне? Что видела ее в Этерстаде?

— Но, голубчик, раз я ее видела...

Вот какой оборот принял их разговор. А ведь он не хотел говорить на эти темы сегодня, сейчас, пока еще не ушло чувство парения. Но что бы она теперь ни сказала, он уступит и больше ни о чем не станет спрашивать.

— Собственно, я совсем о другом хотела с тобой поговорить, — вдруг объявила она. — О конфирмации.

— Мама!

— В чем дело, мальчик? — спросила она раздраженно. — Мы ведь уже это обсуждали.

— Мне очень не хочется огорчать тебя, мама, я бы все отдал, чтоб тебя не огорчать. Но как ты справедливо заметила, мы уже это обсуждали.

— Ну и почему же, мой мальчик, почему ты не хочешь?

— Если уж тебе непременно угодно знать — я не верю в бога.

Против воли Вилфреда это прозвучало слишком торжественно. Ему хотелось пощадить ее чувства. А он заговорил как в исповедальне. Это только подлило масла в огонь.

— Что за чепуха, а кто верит?

— Не знаю, не представляю, мама. Только не я.

— Дело вовсе не в вере. Твой дядя Мартин, мой брат, — думаешь, он хоть во что-нибудь верит?

— В курс акций, я полагаю. Но при чем тут дядя Мартин?

— Он твой опекун, мальчик. Он тебе вместо отца. И он считает...

Она еще посидела немного, потом беспокойно встала и пошла к камину.

— Есть еще и другое. Уж говорить, так обо всем разом: ведь ты не крещен.

Вилфред не мог удержаться от смеха. Но она не улыбнулась, и он смеялся чуть дольше, чем ему хотелось.

— Можно подумать, будто это большое несчастье.

— Конечно, несчастье. А все твой отец. В некоторых вопросах он был ужасно упрям. А я...

— Что ты, мама? — Он подошел к ней; у него как-то сразу отлегло от сердца.

— Я такая безвольная. А потом я просто забыла. Но неужели ты не понимаешь, что некрещеному нельзя подтверждаться?

Она заломила руки. Да, в самом буквальном смысле слова — встала к зеркалу спиной и заломила руки.

У Вилфреда было одно желание — помочь ей, и он сказал:

— И вы решили потихоньку окрестить меня, так что ли?

Она не отвечала.

— Мама, ты уже договорилась с пастором?

— А что мне оставалось? — сердито откликнулась она. — Пастор сказал, что это вовсе не единственный случай в его практике.

Но теперь пришла его очередь вспыхнуть.

— Значит, решили отвезти меня в колясочке в церковь и сунуть в купель? Нет, серьезно, мама, я во многом согласен тебе потакать, но...

— Ты мне — потакать? Не я ли делаю для тебя все! Угождаю тебе во всем! Вплоть до немой клавиатуры, потому что тебя, видите ли, утомляет музыка!

Что-то шевельнулось в нем. Нежность? Настороженность?

— Все так неожиданно, мама. И это же не к спеху.

Он парил. Он ощущал свое превосходство. Он мог себе позволить снисходительность, мог пойти на уступки. То, что с ним случилось, разом возвысило его над сверстниками, перевело в мир взрослых.

— Это же не к спеху, — сказал он. — Давай отложим, мне надо привыкнуть к этой мысли, ладно?

Он почти победил ее. Он видел. Почти.

— А зато я тебе кое-что пообещаю, — сказал он. — Во всем, за что бы я ни принялся, обещаю тебе быть первым. В школе, в консерватории — всюду буду лучше всех. Во всем.

Она поежилась, как бы кутаясь в невидимую шаль.

Он видел, что напугал ее. Но решение было принято.

Вилфред стал первым учеником.

Он теперь иначе распределял время. Готовил уроки полчаса до обеда и час после обеда. Потом он гулял, потом два часа играл, сначала — внизу, на рояле, потом на немой клавиатуре. Лишь раз в неделю, когда ходил в консерваторию, он не играл — так посоветовал ему учитель. Вечерами он занимался французским или читал по истории искусства, кроме одного дня в неделю, когда ходил заниматься гимнастикой. Там добиться первенства было трудновато — своего ужаса перед трамплином он так и не мог преодолеть.

В консерватории Вилфред познакомился с девочкой по имени Мириам, она занималась по классу скрипки, ее отец держал магазин трикотажных изделий. Провожая Мириам домой, на улицу Оскара, Вилфред обычно нес легкий футляр со скрипкой, и осенними темными вечерами они нередко бродили по улице Мельцера и дальше, вокруг Ураниенбургской церкви. Октябрь выдался холодный, температура опускалась ниже нуля. Иногда они забирались на каменную церковную ограду и смотрели на северное сияние над Трюваннским холмом. Обычно по дороге домой они рассуждали о музыке, но, когда северное сияние озаряло северо-восточный край неба над холмами, какой-то таинственный ток передавался от одного к другому, они брались за руки, и обоих словно омывали струи холодного света. И оба тогда не знали, о чем говорить.

Кристина уехала в Копенгаген вскоре после того знаменательного сентябрьского дня. Она заходила к Сагенам один-единственный раз, заглянула всего на минутку и ни словом не обмолвилась об отъезде. Вилфреду эту новость уже после отъезда Кристины сообщила мать как-то раз, когда он сидел над французским. Сообщила мимоходом, болтая о пустяках. Ему даже показалось, что чересчур уж мимоходом. Отъезд Кристины не произвел на него особого впечатления. В тот единственный раз, когда она к ним заходила, она выглядела усталой и даже постаревшей. Он испытывал к ней благодарность, но не любовь.

Всякий раз, когда он думал о том, что произошло, он испытывал к ней благодарность, а думал он об этом часто. Мальчишки в новой школе только и говорили, что об «этом самом», а один считал даже, что стоит сделать «это», и у тебя так и пойдут рождаться дети. Мальчишки рисовали половые органы на клочках бумаги и передавали рисунки по классу. Когда Вилфред

получил такой листок, он усмехнулся, разгладил бумажку, потом разорвал и сунул в парту. Больше ему таких рисунков не посылали.

Он благодарил Кристину еще за то, что случившееся помогло ему воздвигнуть вокруг себя непроницаемую укрепленную стену, как он решил в тот вечер, когда мать заговорила о конференции. К пастору он не ходил, он добился отсрочки крещения. Он по опыту знал, что в их семействе, где не любят сложностей, отсрочка означает забвение.

Он благодарил ее за свое постоянное теперь ощущение физического покоя и довольства. Вечерами мать иной раз украдкой недоверчиво поглядывала на сына — словно ее даже беспокоило его усердие и послушание. Случалось, она при его появлении резко обрывала телефонный разговор. Это бывало в тех случаях, когда, повинувшись чувству долга, об успехах племянника спрашивался дядя Мартин, а иногда тетя Валборг; тетю Валборг смущало благоразумие Вилфреда. Она утверждала, что молодому человеку следует иногда выкинуть какую-нибудь глупость, это необходимо. Когда мать так поглядывала на него, Вилфреду казалось, что и она разделяет опасения тетки. Бывало, она даже говорила: «Ну стоит ли так уж корпеть над французским?» Или соблазняла его синемаатографом, звала в космораму. И он не возражал, не отказывался. Он ничем себя не выдавал. Он потакал ей во всем, соглашался и немного развеесться ей в угоду. Он рассказал ей про Мириам, о том, что они гуляют по улицам. Он всячески подчеркивал, что у него нет от нее тайн. И тем достигалось, что решительно все — от начала и до конца — было притворством. В результате мать ничего о нем не знала. И она тоже. Вообще никто.

Однажды, возвращаясь домой, он встретил Эрну. Она ходила в школу по улице Профессора Даля, а жила на улице Людера Сагена. Как она очутилась здесь, на Драмменсвей, как раз после окончания школьных занятий? Вилфред насторожился, как только ее завидел.

— Решила пройтись, — сказала она, словно извиняясь.

У нее еще не сошел летний загар. Этот здоровый матовый загар напомнил Вилфреду об опасности. Они немножко прошли вниз по улице, по дороге к его дому. Вот совпадение — Эрне тоже сегодня нужно на эту улицу. Она к портнихе. А Вилфреду надо к зубному врачу, на улице Обсерватории, он только сейчас вспомнил.

Пожалуй, Эрне и это как раз по пути.

Они шли, все замедляя и замедляя шаг. Впрочем, зубной врач подождет — это не к спеху. Вилфреду пора домой. У них сегодня гости.

Они остановились, глядя друг на друга. На Эрне было светлое пальто, отороченное узкой полоской меха, и вся она была воплощением благоразумия. Засучив левый рукав, она подняла вверх руку.

Тот самый шнурок, который Вилфред подарил ей летом! Вылинявший от постоянных умываний, он все еще обвивал ее запястье. Вилфреда охватила ярость. Он стиснул руку Эрны, одним рывком развязал морской узел, который завязал тогда, в лодке, и потянул к себе тонкий крученный шнурок.

— Отдай! — крикнула она. Он отшвырнул шнурок в сторону, на рельсы, и по нему тут же проехал трамвай.

— Зачем его хранить, — сказал Вилфред жестко. Он уже отошел на несколько шагов, но оглянулся и захохотал. — погоди, я тебе еще подарю кольцо с брильянтом! — крикнул он, повернулся на каблуках и быстро зашагал прочь. На какую-то секунду она совершенно растерялась. Он это заметил. Заметил, как в глазах у нее сверкнул огонек. Вилфред снова расхохотался и пошел дальше. Он останавливался и громко смеялся, зная, что она смотрит ему вслед.

У дяди Рене опять устраивались музыкальные вечера, по четвергам, раз в три недели. Профессионалов приглашали теперь редко, и дядя Рене уже не стеснялся знакомить публику со своими собственными произведениями. Как-то одну из его пьес даже исполняли в концерте сверх программы. Он все больше входил в роль служителя муз и уже не робел перед знаменитостями. Вилфреда тоже попросили выступить. В консерватории в октябре он играл Шопена и Дебюсси. В ноябре пришлось разучивать Баха — этюды и маленькие прелюдии. Моцарта он теперь никогда не играл и, если его упрашивали, отвечал, что все позабыл. На музыкальных вечерах он играл Букстехуде и по собственной инициативе прочел несколько лекций о полифонии. Дядя Рене был недоволен, но мать вся сияла и украдкой оглядывала слушателей.

На семейных сборищах Вилфред умел угодить всем. Он рассказывал дяде Мартину, как много дал ему дядя Рене, рассказывал достаточно громко, чтоб дядя Рене мог уловить, о чем идет речь. Он выуживал в газетах биржевые новости и угощал

ими тетю Валборг, она всплескивала руками и кричала мужу через стол:

— Мартин, ты слышал, что говорит Вилфред? Чего он только не знает! Я и не представляла!

А Вилфред, делая вид, что пытается умерить ее пыл, в наступившей тишине объявлял:

— Как я завидую дяде! Какой интересной жизнью он живет. Ведь я, собственно, ничего не знаю, сужу только по его рассказам.

Тете Шарлотте он говорил:

— Как жаль, что ты переменила духи. Нет, эти мне тоже нравятся, они прелестны, но тот запах тебе как-то больше шел...

Когда входила Лилли с подносом, Вилфред проворно собирал чашки и бокалы, помогал ей вытряхивать пепельницы. В Лилли он обрел союзницу, хотя одно время дружба их висела на волоске — это было осенью, когда мать раздражалась по пустякам и ко всему придиралась. В газетах тогда много писали об испорченности молодежи, а Вилфред знал, что Лилли с ее простонародной смекалкой провести нелегко. Раза два она уже готова была ответить на замечание хозяйки какой-нибудь дерзостью о маменькиных сынках, и только взгляд Вилфреда, брошенный на нее, заставлял ее умолкнуть.

Теперь Вилфред имел в ней союзника. Только союзника, дружбы он ни с кем не заводил. Он не позволял одноклассникам лезть к себе в душу. Держался он со всеми ровно и приветливо, и в спорах его часто выбирали третейским судьей, ведь он ни к кому не питал особого пристрастия. Это Андреас ходил с умным видом, словно ему открыты какие-то тайны. Но не от хорошей жизни он напускал на себя важность. К тому же бедняга никак не мог вывести бородавки. Он травил их уксусной эссенцией, а они от этого только чернели.

Иной раз, провожая Мириам из консерватории на улице Нурдала Вруна, Вилфред готов был разоткровенничаться, сказать правдивое слово. Маленькая кареглазая девочка с пушистыми ресницами излучала странное спокойствие, передававшееся и ему. Она рассказывала о житье-бытье у них дома, об отце, правоверном еврее, который ходит в синагогу. Музыка переполняла все ее существо, звучала в ее голосе, в ее движениях. Мириам играла на благотворительных концертах в бедных кварталах и рассказывала Вилфреду, как блестят глаза у ее слушателей. Рассказывала, как соблюдается дома суббота, как затихают

в этот день родители и братья. Вилфреду передавалось ее благоговейное чувство. Хотелось понять, пережить его вместе с нею, получать и давать. Но он заставлял себя вспомнить принятое решение и, оглядев пыльные улицы, стряхивал с себя непрошеную нежность, а потом говорил Мириам:

— Да зачем она вообще нужна, эта музыка?

Но тихая девочка как будто понимала, отчего он задает этот вопрос. Она не оскорблялась, не обращала на него взоров, полных слез. Она только смеялась, совсем тихонько. Она над всем тихонько смеялась. А когда что-нибудь говорила, то не категорически, как другие, а будто случайно и ненароком. И если он возражал, она не спорила, не настаивала на своем, но казалось, что она понимает очень-очень многое. Однажды в редком лесочке позади Ураниенборгской церкви Вилфред обнял ее и поцеловал. Она не сопротивлялась, она ответила на его поцелуй. Они долго стояли обнявшись. Было холодно. Мешал футляр со скрипкой. Наконец Вилфред положил футляр на землю. Она засмеялась, но встала так, чтоб ему было удобней ее обнимать. Она отвечала ему радостно, без смущения, его охватили нежность и желание, какого он не знал прежде. Потом она отстранилась и погладила его по щеке. Сняла перчатку, еще раз погладила. Он нагнулся за футляром и увидел, что землю покрыл снег. Снег запорошил все, их головы, плечи. Мириам опять засмеялась.

— Вот зима наступила, — сказала она.

Он рассказал матери о Мириам. Не потому, что он в нее влюбился. Он рассказал, чтобы не влюбиться. Он рассказывал матери о школе, о толстом учителе гимнастики, казавшемся самому себе чудом ловкости, о том, что, когда подходишь к консерватории, на тебя из окон льется музыка, она льется отовсюду, на что попало. Вилфред все время ловил себя на том, что, говоря правду, никогда не говорит правды. И как это легко! Ему даже хотелось приврать, как бывало, чтоб внести в свои рассказы больше правдоподобия. Он знал, что она будет в восторге — ах, он проговорился!

Но он не врал. Он ловил себя на этом желании и не уступал ему. Он берегся. Нет, ей не удастся снова склонить его к уютной лжи, которая сразу превращается в понятный обоим шифр.

Зима наступила рано, снег все валил и валил. Часто, вместо того чтобы идти в театр, как собирались, они вдруг, глянув друг на друга, решали, что лучше посидеть дома. Решали без слов, только однажды Вилфред сказал:

— К тому же мне надо готовить математику.

Она ответила:

— Что значит «к тому же»?

— Мы ведь решили не идти в театр? Снег, ветер.

— Решили? Но об этом ни звука не было сказано.

Они поглядели друг на друга. Он рассмеялся.

— Разве?

Ему это было безразлично. Просто хотелось потешить ее немного доказательством их близости.

— Вилфред, — сказала она, — знаешь, это ужасно.

Отлично. Все отлично. Все идет как по маслу. Ему удалось внушить ей, что они понимают друг друга без слов, думают всегда об одном. Она рада, очень рада, «ужасное» доставляет ей удовольствие.

— Ты права, — сказал он. — Это очень интересно!

Клюнет или нет? Клюнула. Она клюет на все. Все клюют на все, когда им самим хочется. Может, и у рыбки, которая мечется по морю в поисках съестного, мелькает мгновенное сомнение при виде наивной приманки? А ведь она клюет. Очевидно, надеется на лучшее. Но не вспыхивает ли в ее жалком мозгу досада в ту самую секунду, когда она попадает на крючок, — ведь заметно же, заметно было, что тут что-то неладно...

Она сказала:

— Знаешь, тетя Кристина... Мне давно бы надо тебе сказать.

Он встрепенулся. А вдруг он сам — глупая рыбешка?

— Что такое? — Он открыл готовальню, вынул циркуль.

— Ты ведь помнишь, она ездила в Копенгаген...

Он раскрыл циркуль. Рука не дрожала.

— Так вот, она вернулась...

Он разглядывал линейку. Надо провести гипотенузу! Его занимала гипотенуза.

— Кондитерскую она оставляла на своих двух помощниц, — сказала мать. — Хочешь кофе?

— Спасибо. — Он взялся за чашку. Обычно кофе разливал он. Он встал было, но она жестом усадила его на место.

— А как же «домашние конфеты»? — спросил он.

— Ах, ты ведь сам знаешь, что домашние конфеты по большей части поставлялись фабрикой. Обман. И тут обман.

Он проводил линию по линейке. Проводил старательно, аккуратно, подперев щеку языком. Он знал, что мать на него смотрит.

— Ну, а где еще обман? — спросил он.

— Она туда ездила с французом-адвокатом.

Так. Гипотенуза. Радиус. Диаметр, окружность...

— Ездила?.. Куда она ездила?

— Милый, я же тебе рассказывала. Сразу после того, как здесь был тот летчик. Она и адвокат Майяр уехали в Копенгаген вместе.

Линейка. Циркуль. Окружность — это кольцо. Нет, это замкнутая линия. А линия — это продолжение точки. А точка — это ничто.

— Ну и что же? — спросил он.

— Ты, верно, не поймешь. Ты... ты еще молод. Но это неприятно.

— Мама! — Он поднял глаза от геометрии. — Что неприятно?

— Тебе этого не понять. Но нам ведь придется принимать ее, разговаривать с ней так, словно ничего не случилось. Ну, как же ты не чувствуешь? Конечно, это не очень приятно.

— Ну и не рассказывала бы мне, — сказал он. — И я бы ничего не знал.

Он снова погрузился в задачу. Но не вполне. Инстинкт нашептывал ему, что не следует выказывать *излишнее* безразличие.

— Я же ни разу в жизни не видел твоего брата, ее мужа, — сказал он, вставая со стула. — Может быть, ты зря так огорчаешься, мама?

Победа за ним. Не так легко она ему досталась. Где-то внутри боль, что-то кровоточит. Надолго ли у него хватит выдержки? Но сейчас — сейчас победа за ним. Погасить вулкан — как это легко и просто!

Он сжал руку матери, усадил ее на стул, пододвинул сахарницу. Подошел к полке над камином, взял оттуда египетские сигареты. Победа за ним. Она считает, что сейчас в поддержке нуждается не он, а *она*. Он зажег ей сигарету. Подошел к окну и сказал:

— Ну и снег. Даже Оскарсхалла не видно. — Потом тотчас вернулся на свое место. Только не переиграть. Зажег лампу, осветив чертеж, чтоб яснее разглядеть окружность — замкнутую линию.

— Копенгаген, — произнес он и как бы в рассеянности поднял глаза от задачи. — Наверное, они там ходили по Хюскенстредде.

— С чего ты это взял?

— А ты помнишь Хюскенстреде? Помнишь Овергаде? А Виольстреде? Ты еще купила Бодлера...

Да, да. Победа за ним. Он чуть было не переиграл. Но теперь удалось вернуть ее к воспоминаниям о его детстве.

— Если бы я могла тебя понять! — вздохнула она, отхлебывая кофе.

Снова сети. Ловко расставленные сети.

— Прости, — сказала она. — Это все геометрия...

— А знаешь, эта твоя Мириам... — снова начала она. — Говорят, ее часто видят с учителем-скрипачом...

Гипотенуза. Радиус. Круг. Рука потянулась за циркулем. Циркуль выскользнул. Она сказала:

— Кстати, звонила мать Эрны. У них будут гости, взрослые, конечно, она спрашивала, может быть, и ты...

Сети. Повсюду сети. Круг. Круг проводят циркулем. А в гладком круге тысяча мелких петель. С виду он пустой, математическая абстракция. А на самом деле в нем полно петель, он весь состоит из петель. Уж сейчас-то она наверняка думает, что накинула на эту окружность сеть и что он, бедняжка, в нее попался.

— Хотел бы я знать, к чему ты мне все это рассказываешь? — спросил он.

Она ответила:

— Я тебя не понимаю!

Будто он виноват. Будто он виноват, что она вечно роется в его маленьком мире, его собственном, неприкосновенном, хочет выкурить его оттуда, чтоб поймать в капкан. Каждый сидит в таком капкане, откуда не выйти. Сидят и подмигивают друг дружке — мне, мол, тут неплохо...

— Ты хочешь сказать, что все на свете — обман?

— Ты с ума сошел, — встрепнулась она. — Ничуть. Просто я считаю, что надо смотреть правде в глаза... Скажи, ты действительно не можешь оторваться от математики?

Он встал. А что, если выложить ей все как есть: эту ее «правду»? И сразу рухнет здание, которое он так заботливо возводил в течение осени, — здание притворства. Показать ей кое-что в истинном свете. Она бы рот раскрыла. В его власти несколькими фразами превратить ее в старуху.

Он сказал:

— Мне обязательно надо решить эту задачу по математике. Пойду-ка я к себе, там еще позанимаюсь.

Но каждый шаг по устланной ковром лестнице мог его выдать. Не так быстро. Не отдавая себе в том отчета, она прислушивается, как он поднимается по лестнице, ждет, когда хлопнет наконец его дверь. Даже в своей комнате он словно еще ощущал на себе ее взгляд. Или еще чей-то. Его хотят поймать на удочку, он, может быть, даже сам хочет попасться. Но его второе «я» бдительно следит за тем, чтоб все шло добропорядочно и фальшиво. Смертельно усталый, он сел к письменному столу и, не ослабляя над собой контроля, стал перебирать все, о чем только что говорилось... Кристина... Всего через несколько дней, может быть, на другой же день, а может, уже *тогда* она строила эти планы. Мириам. И это бы ничего, но только слишком уж все сразу. Скрипач. Взрослый. Эрна, с которой во что бы то ни стало его хотят связать, чтобы продлить его детство, из страха перед тем, что они чувят в воздухе, не зная, что оно *уже* наступило. Ему хотят добра, его хотят поймать. Если человеку хотят добра — его ловят, а потом, когда он барахтается в сетях, ему говорят: «Вот видишь, как тебе хорошо, ты в сетях, как и мы...»

Из аптечки в ванной комнате он взял две таблетки снотворного, которое принимала мать. Он впервые принял снотворное, и после короткого искусственного возбуждения навалившаяся на него страшная усталость тучей заволокла все. Он даже не смог раздеться. Мгновение спустя он проснулся и посмотрел на часы. Прошло десять часов.

Взяв деньги из копилки, Вилфред пошел в школу, но после первого же урока сказался больным и отпросился домой. Добравшись пешком до Западного вокзала, он целый час ждал поезда. Зимой паромы в Хюрумланн не шли. Талый грязный снег лежал комьями на полу вокзала и в вагоне.

Вокруг пригородной станции все занесло снегом, но на дороге виднелась свежая колея. По этой дороге Вилфред как-то летним вечером ездил на велосипеде, когда не попал на катер. Теперь дорога выглядела иначе. Трудно было представить себе, что она ведет к Сковлю.

Дорожка разветвлялась, пошли тропинки к домам в глубине побережья. Та, по которой шел Вилфред, делалась все уже и уже и наконец превратилась в неверную цепочку глубоких следов. Снег повалил снова, следы запырило. Когда Вилфред дошел до поворота направо, к дачам, следы и вовсе пропали. Дачники зимой сюда не ездили.

Он и не заметил, где оборвалась летняя тропка. Кажется, у кривой сосны. И сосну не узнать под снеговой шапкой. Да и все равно ему не туда. Правда, вначале он хотел взглянуть на дом в Сковлию, каков он зимой; в это время года Вилфред здесь никогда не бывал. Даже трудно было себе представить, что дом продолжает стоять и зимой. Снег повалил гуще, но Вилфред знал, что двигается в сторону перешейка между дачами и полуостровом. К твердо намеченной цели. Он идет к фру Фрисаксен, навестить ее. Войдет и скажет: «Вот и я». Он переокрасит ей дом, будет удить для нее рыбу, да и деньги у него есть, не так уж мало. Можно проникнуть в Сковию, там полно консервов и прочего добра, им надолго хватит. Она обрадуется, когда он войдет, не станет притворяться изумленной. Не важно, правда это про Мириам или нет, важно, что ему это сказали. Не важно, замышляла ли Кристина свою копенгагенскую поездку в день, когда посвящала Вилфреда в таинство. Что ему, жалко, что ли, пусть развлекается. Ему все равно — пусть их заманивают его в капкан, заставляют плясать под свою дудку. Уж такие они все. Такая у них жизнь. Какими бы стенами он ни обнес свой маленький мир, они будут бомбардировать их, постараются вторгнуться в его крепость, захватить его достояние и объединить со своим.

Он постучится к фру Фрисаксен. Конечно, она еще не старая, хотя ее почему-то называют мадам. Вилфред видел ее лодку на закате, чашу в золотом потоке. Видел ее красный домик, который давно уже стал серым, знал, какой этот домик внутри; он видел фотографию Биргера; в эту низенькую дверь входил когда-то отец, пригнув шею в тугом воротничке. А может быть, здесь он не носил воротничка, да и вообще не напускал на себя излишней важности.

Когда Вилфред вышел на перешеек, пурга засвистела ему в лицо. Раньше он шел под прикрытием холмов, а здесь ветер дул изо всей силы. На каждом шагу Вилфред глубоко проваливался в снег и долго вытаскивал ногу, прежде чем ступить дальше. И смех и грех, он почти не продвигался вперед.

Он остановился перевести дух. Наверное, это вчерашнее снотворное — голова какая-то дурная, трудно дышать, и от резких движений делается еще хуже. Мысли кружились по тому же кругу, что и вчера. Точка разрослась в окружности, и он кружит по этой замкнутой кривой. Он не нашел тропинки на перешейке и пошел наугад. Скоро он увидел впереди низенький домик садовника. Из труб не шел дым, к дверям не вели следы. Не было слышно и собачьего лая. Может быть, садовники, как медведи,

на зиму забираются в берлогу? Все семейство ложится на широкую кровать и проводит зиму в спячке. Как цветы, которые распускаются весной, а осенью, свернув лепестки, зимуют глубоко под снегом, не зная ни дня, ни ночи...

На всякий случай он обошел дом стороной. А вдруг благодарное семейство все-таки увидит его, станет зазывать к себе, угощать кофе! Вилфред поморщился и тут заметил, что все лицо его запырило снегом. Снег покрыл его с ног до головы, словно Вилфред сам был частью белой равнины. Остановись он — и сольется с нею.

Он не остановился. Он шел. Он забрел в сторону всего на несколько метров. Дом оказался только чуть левее, чем он предполагал. Дорожка была не расчищена. Дом до половины занесен снегом. Не так-то просто сюда пробраться.

Он постучал. Постучал снова. Потом принялся барабанить в дверь. Счистил снег со ступенек, отгреб его в сторону, потом осторожно взялся за скобу. Не заперто. Он снова постучал и прислушался. Потом толкнул дверь и вошел. Все пусто. Сеть аккуратно развешана на рогатом сучке, воткнутом в трещину на стене. Крюк над плитой потускнел по сравнению с прошлым разом. Дверь в комнату приоткрыта. Вилфред отворил ее и увидел фру Фрисаксен. Она лежала на кровати под серым шерстяным одеялом. Он узнал ее не столько по лицу, сколько по свесившейся до пола руке. Она, очевидно, умерла уже давно.

Он попятился в кухню, прикрыл за собой дверь. А когда оказался у выхода, увидел фотографию Биргера на улице Опорто. Немного похож на отца, формой лба, что ли...

Снег валил теперь еще гуще. Дом садовника пропал из виду. Но Вилфред пошел напрямик сквозь белую мглу и приблел к нему. Странные люди! Как это так? Человек умирает прямо у них под боком, без всякой помощи, а они даже не замечают, что труба не дымит?..

Но, подойдя вплотную к занесенным парникам, Вилфред вспомнил, что садовник зимою тут не живет. Он служит сторожем при какой-то больнице. Ведь Том ходит в школу... Как это он забыл! В городе он никогда не думал о взморье. Оно существовало только как воспоминание о лете и предчувствие его.

Нельзя уступать страху. Он доберется до Скволлю, позвонит сая лемсану. От дома садовника он пошел в сторону перешейка, к самой узкой его части. Надо идти прямо через холмы, тогда скоро покажутся дачи; каждая дача стоит в своей котловине.

До садовника Вилфред добрался быстро: со стороны болота

снег был не такой глубокий. А сейчас он проваливался, почти не мог сдвинуться с места. Пришлось возвращаться назад, но не к самому дому фру Фрисаксен, дом он обошел, не мог его видеть.

Своих следов он не обнаружил, их, видно, уже занесло. Снег валил теперь не так плотно, зато ветер стал сильнее. Похолодало, щеки у Вилфреда горели, а ноги и руки совсем застыли. Над берегом ключьями повис сырой туман. Если идти так, чтобы ветер дул слева, выйдешь прямо к перешейку, а оттуда через холмы до Сковлю рукой подать.

От проклятого снотворного его клонило в сон. Словно при каждом движении по телу распространялась отрава. Чтоб успокоиться, он замедлил было шаг, но так и вовсе невозможно стало продвигаться вперед; тогда он пустился бегом, но снег лежал слишком глубоко, бежать было невозможно. Лучше всего идти ровным шагом, спокойно, словно гуляешь. Спокойно, спокойно. Он же помнит здесь каждую пядь.

Ну да, он решил навестить фру Фрисаксен... Это пришло ему в голову вчера вечером, когда начала затягиваться расставленная ему сеть. Мать перегнула палку, совсем загнала его в угол. Не важно, если он и выдал себя. Зато у него созрело твердое решение. Он понял, что есть выход, есть где-то прибежище, хоть ненадолго, только оглядеться, а там — как знать, может, он проберется на борт судна. Мальчишки с пристани вечерами перешептывались о тех, кто уплыл в дальние края. Те, как видно, тоже попались в сети, выкинули что-то, а потом испугались, что их сцапают, — наверно, их держали на подозрении.

Вилфред не из тех, кого держат на подозрении. За его выходы приходится расплачиваться другим. Но это ему безразлично. Зато его вечно заманивают в капкан. Он надеялся было притворством добиться, чтобы его оставили в покое, но они и в притворстве усмотрели преступление. Преступление быть милым, ловким, обходительным — величайшее преступление. Вилфред выработал для себя целую систему мучений, чтобы стать образцом послушания, но они все равно бьют тревогу, как только чуют, что он старается отыскать в сетях дыру.

Ему просто хотелось повидать фру Фрисаксен, он соскучился по ней, по ее лицу, то старому, то совсем молодому, соскучился по матери Биргера. По-своему он даже любит ее. Он стоял тогда голый на мысу, а она гребла мимо... Она не удивилась. Грубова-тая, может быть, злая. Но зато такая, какая есть. Вот он и открыл дверь в комнату. Он никогда еще не видел покойников. А она, верно, умерла уже давно.

Там, где он рассчитывал, перешейка не оказалось. Вода, затянутая тоненькой пленкой, впитывала мокрый снег. Тут не пройти. И он пошел вдоль берега, но увидел только сырой туман над заливом. Значит, надо идти в другую сторону.

Он пошел вдоль берега в другую сторону. Надо найти пещеру под обрывом. Там можно передохнуть и даже выжать носки. Если б садовник был дома, можно было бы выпить чашку кофе, конечно, его бы угостили и хлеба бы дали. Но в доме садовника никого нет, зимой они тут не живут.

Поскорей бы найти пещеру, выжать носки.

Пещеры не было. Не было и перехода на ту сторону. Куда подевалась вся до мелочей знакомая летняя земля? Словно она ему просто приснилась. Весь Сковлю. Где холмы, через которые он собирался идти? Плоская равнина, заваленная снегом, а с другой стороны — вода, вода, вода и сырой туман.

Уж не идет ли он в обратном направлении? Он попытался мысленно перевернуть ландшафт, но ничего не вышло. Главное — собраться с мыслями, это он читал в «Карманном справочнике для юношей», главное — не терять присутствия духа. Однажды, не потеряв присутствия духа, он спас одного парнишку. Но тогда на Вилфреда смотрели. Он был на виду. А теперь вокруг никого. Он крикнул в белую пургу, но даже не остановился, чтобы услышать ответ. Если б вспомнить очертания полуострова. Он треугольником вдается в залив, и вдоль одного из берегов тянется длинный рукав фьорда. Там и стояла лодка фру Фрисаксен. А на другой стороне перешейка высились холмы, образуя границу летних владений Вилфреда.

Холмов Вилфред не нашел. Он брел туда, где, по его расчетам, тянулись холмы, но их там не было. Снег опять повалил гуще. Вилфред еле держался на ногах. Он повернул в уверенности, что сейчас выйдет к обрыву и там увидит пещеру. Ничего. Снег валил густыми хлопьями, все застилал. Вилфред с трудом передвигал промокшие ноги. Пещеры нигде не было.

Хорошо, что он занимается гимнастикой. Устал он ужасно, но все же хорошо, что он такой тренированный. Он поворачивал то туда, то сюда, но нигде не видел ни холмов, ни залива. Он метался в каком-то замкнутом пространстве. И вдруг понял, где он: в стеклянном яйце. Потому-то его и клонит в дрему — не хватает воздуха. И все стало понятно. Из стеклянного яйца не выбраться. Чем больше мечешься, тем плотнее валит снег. В стеклянном яйце валит и валит снег. Только вот маленького домика что-то нет. Маленького домика, на который падают и

падают белые хлопья. А вот и домик! Теперь все сходится. Вон он, там, в просвете. Вот снова пропал в снежном мареве и вынырнул опять. Это он, тот самый дом, а в стеклянном яйце все падает и падает снег.

Это жилье фру Фрисаксен. Он и это знал. Он это понял. Стемнело. Значит, он уже давно в пути. Поезд отходит в половине второго. Он отогнул рукав, посмотрел на швейцарские часы, привезенные дядей Мартином из Берлина. Шесть часов. Не мудрено, что уже темнеет.

А что, если снова постучать? Дверь закрыта. А вдруг ему все только померещилось? От снотворного такая странная голова. Вдруг все только привиделось, приснилось? Спотыкаясь, он добрал до облезлой двери. На крыльце почти не было снега. Это он сам счистил его. Ему сделалось так дурно, что пришлось лечь прямо в снег под крыльцом. Его стошнило. Потом охватила страшная слабость. Надо отползти отсюда, хоть немного, только бы не видеть этого дома. Но тьма сгустилась. И он подполз ближе к крыльцу. Он так устал. Надо попытаться проникнуть в дом: приснилось ему все или нет — теперь уже не важно.

Не так-то просто было добраться до дверной скобы. Она вдруг оказалась очень высоко. Пришлось ухватиться за нее обеими руками. Но вот он открыл дверь и вполз в жилище фру Фрисаксен. Он хотел погостить у нее, навесить хозяйку, покрасить ей дом, удить для нее рыбу. А теперь вот переползает через порог. В квадрате двери за его спиной бушевала снежная буря. Он на четвереньках повернулся лицом к двери и руками отгреб снег, но снегу в один миг навалило еще больше. Тогда он лег навзничь и устался в потолок.

Когда он очнулся, было темно. Он так дрожал, что никак не мог затворить дверь, не слушались руки. Потом он вспомнил о снеге, который сыпался на пол. Его почти не прибавилось. Верно, перестало снежить. Наконец ему удалось справиться с дверью. Он уже мог держаться на ногах, но его облепила мокрая одежда. Он громко стучал зубами — будто нарочно, будто это помогало согреться. Потом он стал обшаривать темную комнатушку дюйм за дюймом, покуда не обнаружил на полке коробок спичек. Потом снова лег на пол и стал ползком искать дрова. И почти сразу же нашел сухую вязанку в закутке возле печи. Он берег спички, их было всего несколько штук. Ему еще не приходилось разжигать печь.

Ему не приходилось разжигать огонь в печи. Но костер он разжигал. Засовывая в печь тонкие лучинки, он подумал, что

разжигать огонь он мастер. Прежде чем поджечь дрова, он сложил их по всем правилам. Вспыхнула первая спичка. Зашумел, затрещал огонь. У фру Фрисаксен сухие дрова, она была хозяйственная, да иначе ей бы не прожить.

Когда от печи потянуло теплом, он сообразил, что в мокром никогда не согреться. Он аккуратно разделся и развесил одежду над плитой на веревке, которую нашарил в темноте. Фру Фрисаксен хозяйственная женщина. Жила одна-одинешенька и была готова ко всему. Он все время тихонько стонал, это отвлекало. Зубы лязгали, выстукивая мелодию — та-та-та-там, та-та-та-там... «Симфония судьбы»... Последнюю спичку он приберег. Вынул из печи лучину и посветил — нет ли где свечи, но рука слишком сильно дрожала и свечи он не нашел. В отсвете горячей лучины он разглядел сети, висящие на стене, потом бросил лучину в печь.

Голому ему стало теплей. С мокрой одежды капало на плиту. Шипение плиты давало ощущение уюта. В Париже они как-то жарили баранину на вертеле, и она шипела. Одно из самых милых воспоминаний...

Но в темноте тепло не держалось. Теперь Вилфред просох, но от стен тянуло холодом, а мысли окутывала неодолимая сонливость. Он приглядывался, не найдется ли чего-нибудь, во что можно завернуться. Напрягшись изо всех сил, чтоб не впасть в забытье, он чувствовал, что в эти минуты происходит что-то важное, решающее. Отсветы огня играли на сети, она казалась густой, плотной, даже как будто теплой. И больше нигде ничего, только вот лоскут, которым, он знал, заткнуто разбитое окно в соседней комнате. Но он гнал от себя эту мысль. Не надо думать о той комнате.

Он потянул к себе сеть, выдернул из щели в стене сук, на котором она висела, попытался расстелить ее, закутаться в нее. Но она только путалась, цеплялась за пальцы. Руки у него так дрожали, что все из них валилось. Он дергал и дергал плотную сеть, но без толку. Наконец сумел накинуть ее на себя, и стало как будто теплее, все-таки не голышом.

Потом опять накатила дрема, и пришлось напрячь все силы, чтобы помнить о тепле. Стоя на коленях, он нашаривал дрова. Сеть мешала, руки запутывались, но он подбирал щепку за щепкой, не высвобождая рук, и нес их от вязанки к печке — длинный, мучительный путь.

Когда он опять проснулся, уже светало. Он лежал на полу возле печи. В ней еще тлел огонек. Было мучительно холодно.

Путаясь в сети, он встал и поплелся за растопкой. Щепку за щепкой он еще раз сложил костер, разжег, и его вновь охватило тупое сладкое бессилие.

Он проснулся опять, когда снова стемнело. Огонь погас. Его так трясло от холода, что и подумать страшно было о том, чтобы снова разводить огонь. Путаясь в сети, он пополз, ища, во что бы закутаться. Руки он сжал, грея одну о другую, — они совсем закоченели. И вот из глубины подсознания всплыла соседняя комната. Он вполз туда, дернул за край одеяла. Оно не поддавалось. Что-то тяжелое не пускало, словно кто-то держится за одеяло с другой стороны, а кто — не видно.

Он подполз к изножию, поднатужился из последних сил и забрался на кровать. Кромешная тьма; запутанными в сети руками он нащупал неподдающееся одеяло. Часть одеяла свисала свободно. Он легонько потянул, потянул еще. Он стонал от напряжения. Лоб покрылся холодным потом, и все время в ушах звучала мелодия из Бетховена — та-та-та-там... та-та-та-там...

Один раз словно воробей зачирикал или еще кто-то. Стало светлей, не так холодно. Пискнула мышь, но это когда опять было темно. Он спал чутким сном, все помня во сне, а иногда просыпался и ничего не помнил. В сознании лихорадочно сменялись мучительные обрывки картин. Но все сразу он удержать в памяти не мог, точно решал задачу на сложение, и когда появлялось одно слагаемое, другое тотчас же исчезало. Несколько раз ему казалось, что ноги упираются во что-то твердое, деревянное, будто он сует ноги в печь, а огонь давно погас и дрова остыли.

Вот залаяла собака. Лаяла и лаяла. Он подумал, что это, верно, Кора, так она лаяла, когда он был еще маленький, она подходила к нему и терлась об него холодной мордой. Нельзя, Кора, нельзя. Нельзя целовать Кору. Она умерла давным-давно. И вот он ее нашел, и никто ему не запретит целовать Кору в холодную морду.

Собака лаяла далеко-далеко, потом ближе, опять далеко и потом еще ближе. Совсем близко. Да, он в стеклянном яйце, и идет снег; снег без конца, со всех сторон. И домик, маленький домик в снегах, а в домике — хозяйка. Как уютно!



ВИЛФРЕД

18

Неправда, он не сумасшедший.

Впрочем, они и не произносят этого слова. Но почему в той больнице весь персонал ходил неслышными шагами — в мягкой обуви?

И еще они засыпали его вопросами. Вилфред догадывался: сначала они расспрашивали взрослых — мать, дядю Мартина. Но им хотелось услышать его собственную версию.

Однако услышать им не пришлось — он не отвечал. Ни им, ни кому другому. Он онемел.

В тот день, когда мать пришла его навестить, его горло в первый раз свела судорога. Значит, он не притворялся? Был сочельник, это он помнил. Предстояла трогательная сцена. Но Вилфред только мотал головой. В тот вечер и потом. Значит, он не притворялся.

Какое уж тут притворство! Разве в больнице было хоть что-нибудь притворное? И с тех самых пор он перестал отвечать. Он онемел. Случилось несчастье.

Они считали, что он симулирует. Особенно доктор Даниелсен. Человек с недобрым взглядом за выпуклыми стеклами очков — от них глаза казались огромными. Доктор Даниелсен представлял Вилфреду всевозможные ловушки, соблазняя его заговорить. Вилфред улыбается, вспоминая об этом. Бедняга доктор не знал, с кем имеет дело...

Но Вилфред и в самом деле нем. Он заперт, заперт в стеклянном яйце. А там не разговаривают.

Андреас — вот неожиданность! Он пришел в больницу навестить Вилфреда. И Вилфред не стал мотать головой. Ему захотелось узнать новости. Андреас рассказывал, а Вилфред писал на клочках бумаги вопросы и ответы. Андреас учится на вечерних торговых курсах, хочет выйти в люди. У Андреаса были новые очки, и в них он вовсе не казался таким глупым. Ему сделали операцию — удалили бородавки. Руки у него были перевязаны чистым бинтом — это куда приятнее, чем бородавки.

Потом Андреас стал приходить к Вилфреду домой. Приходил и рассказывал. Он научился говорить гораздо более связно, чем прежде. Теперь слово получил он — Вилфред был нем. Казалось, Андреас вырос от этого сознания. Он вообще как-то вырос за эту зиму. Вилфреда и нашли только благодаря Андреасу.

Оказалось, что Андреас был знаком с Томом, сыном садовника. Том тоже ходил на курсы. Он учился на счетовода. Тоже хотел выйти в люди. Том был в гостях у Андреаса, как раз когда позвонила фру Саген. Последняя надежда... И Том, благодарная душа, верная душа, всегда питавшая к кому-нибудь благодарность, вспомнил. Это было давно. Как-то летом. Очень давно. Том кое-что заметил в то лето. Он заметил, как Вилфред бродит в одиночестве по «дикой» стороне поселка. Из окна своего дома он видел, как Вилфред делает большой крюк, обходя стороной дом садовника.

Мальчики не раз говорили между собой о Вилфреде.

И когда они узнали, что родные поставили на ноги всех, в том числе и полицию (полиция! полиция!), Тому вдруг пришло в голову: а может, он там... там...

Они сговорились с отцом Тома. Взяли с собой собачонку Белку, которая вечно лаяла в саду у садовника. Отец хотел войти в дом, но собачонка стала волноваться. И вообще дом фру Фрисаксен казался таким заброшенным и опустевшим...

Когда Андреас назвал имя фру Фрисаксен, губы Вилфреда дрогнули. Какое-то слово подступило к губам, он открыл рот. Он мог заговорить, но не захотел. То есть в какую-то минуту хотел, а потом снова оказался в стеклянном яйце. И уже не мог.

На улице было морозно и солнечно. Снега не было.

А больница?

Больница была самая настоящая. Обыкновенная больница, честное слово, говорит Андреас. Где-то в Аскере. Где-то очень близко. Но самая обыкновенная больница. Только не такая большая, как та, в которой лежала мать Андреаса.

Андреас продолжал говорить. Они сидели в детской. Вилфред писал записки, задавал вопросы.

Как поживает твоя мама? — написал Вилфред.

— Спасибо, мать уже дома, правда, она не выздоровела. Только не надо говорить это при... Нет, это правда...

На открытом лице Андреаса появилась смущенная улыбка. У него был совсем не такой глупый вид. А Вилфреду больше не доставляло удовольствия его мучить.

А отец?

В лице Андреаса что-то дрогнуло. Почему Вилфреда так занимает его отец? Отец Андреаса ничуть не хуже многих других. Ему просто не везло. Несколько раз в жизни даже очень не повезло.

А каково это — видеть его дома каждый день?

Ха! Вот чудак! Все люди видят своих отцов дома каждый день. На то они и отцы. Им положено быть дома. Каждый день. Большую часть времени они работают. А потом они дома. И так каждый день.

Вилфред задумался. Такая простая мысль не приходила ему в голову. Он сидел в большом кресле в своей комнате на Драмменсвей, и в гостях у него был Андреас. И он думал о том, каково это — видеть дома каждый день такого вот отца.

Они сидели вдвоем и болтали. За окном было солнечно и морозно. Новый год.

Андреас болтал. Вилфред писал записки. Андреасу казалось, что его друг ни разу не говорил так много прежде, когда еще не лишился дара речи. Не то чтобы Вилфред приблизил к себе Андреаса. Но казалось, что ему приятно, когда Андреас приходит. Андреас приходил раз в неделю.

А о матери Вилфреда и говорить нечего. Андреас больше не боялся ее. Бывало, он дважды проглотит слюну, прежде чем заговорит с этой дамой. И не то чтобы она раньше не была любезной и все такое прочее, но просто она была какая-то непонятная.

Она и сейчас была непонятная, но как-то по-другому. В разговоре с ней Андреас изо всех сил старался найти слова за себя и за Вилфреда. Было даже приятно, что не один Вилфред говорит теперь за всех.

— Хочешь, Вилфред, я тебе еще расскажу о твоей матери?

Вилфред помотал головой. Но теперь у Андреаса появилась собственная воля. Недаром он учится на курсах и намерен выйти в люди.

— Вилфред, это жестоко. Почему ты не пускаешь к себе мать? Почему не хочешь сойти вниз? Нехорошо сидеть и трясти головой, когда тебе говорят о матери. У меня вот дома мать тоже трясет головой. Но она трясет, потому что она больна. Можно, я скажу твоей матери, чтобы она поднялась к тебе?

Вилфред решительно помотал головой.

Андреас покупал для Вилфреда сигареты. Вилфред давал ему деньги, и Андреас покупал сигареты «Соссиди» по два эре штука. Сидя в комнате Вилфреда, мальчики безбоязненно курили. До сих пор Андреас никогда не курил.

От этих посещений Андреас вырастал в собственных глазах. Он стал доверенным лицом. А что скажет Вилфред, если его навестит Том? Вилфред решительно помотал головой. А кто-нибудь другой? Кто-нибудь из класса? Вилфред мотал головой.

Исключение делалось только для Андреаса. Но Андреаса начинало разбирать любопытство. Мальчики долго сидели молча, пуская густые клубы дыма.

— Вилфред, а ты *взаправду* не можешь говорить?

Вилфред сразу же насторожился. Видно, он подпустил приятеля слишком близко, как в тот раз, когда Андреас задал вопрос о велосипеде, правда ли, мол, что Вилфред *побоялся* его взять. Пожав плечами, Вилфред презрительно усмехнулся. Потом подошел к немой клавиатуре и стал играть Баха.

Андреас следил, как Вилфред беззвучно ударяет по клавишам. Ему стало не по себе.

Андреас принес новость о заграничном враче. Он однажды подслушал ее, проходя через холл. У фру Сусанны были дядя Мартин и домашний врач, доктор Мунсен, он как раз собирался уходить. Доктор Мунсен выражал сомнения по поводу чудоддея-доктора, о котором рассказывал дядя Мартин. Мунсен говорил что-то о скандальной славе и очковтирательстве. Говорил о хорошей порции березовой каши.

Вилфред с улыбкой кивнул.

Но дядя Мартин продолжал расхваливать заграничного врача. Он живет в Вене, в Австрии. Андреас не запомнил, как его зовут, какая-то странная фамилия. Андреасу вообще не так легко было понять разговоры родственников Вилфреда: в этом доме было много такого, чего он не мог понять.

Вилфред рассеянно кивнул. Ему наплевать, как зовут врача. Доктор Мунсен раза два вел себя весьма назойливо. Он говорил с Вилфредом, как с отбившимся от рук мальчишкой, так что рассуждения о березовой каше звучали вполне правдоподобно. Мунсен однажды сказал ему: — Ты не имеешь права поступать так со своей матерью. Ты ее видел?

Вилфред ее видел. И слова Лекарсена — так у них в семье прозвали домашнего врача — были для него самым тяжким испытанием. У доктора были маленькие седые усики, и вообще он смахивал на англичанина. У него был пористый нос, и, когда он заговорил о матери Вилфреда, широкие поры, казалось, стали еще шире. — Ты ее видел? — спросил доктор.

Вилфред видел свою мать. В ее девическом облике впервые проступило что-то бабье: на ней была шерстяная шаль, и казалось, она все время зябнет. Округлые щеки впали, весь мягкий облик женщины, которая была его матерью, изменился — заострился, стал угловатым. В ней не осталось ничего от той дамы, которая пила шампанское в Этерстаде и с утра до вечера играла с сыном в игру «сделаем вид, будто бы». Он больше не был ее маленьким рыцарем. Он не был ничьим рыцарем. Он был нем.

Вилфреда навестила Эрна, это было в день его рождения. Он решительно помотал головой. Как-то раз зашла Мириам. Он помотал головой. Однажды он как начал с утра трясти головой, так и продолжал целый день, даже когда на него не смотрели. Он думал: захочу и перестану трясти. Но не мог.

Он написал в записке Андреасу: *По-твоему, я могу говорить?*

Андреас поднял руки, точно пытаюсь заслониться от удара. Он тоже стал мотать головой. Может, теперь вообще все люди трясут головой — такая пошла мода?

— Я и в мыслях не имел ничего подобного, — оправдывался Андреас. — Я просто спросил, мне тебя очень жалко.

Вилфред был удовлетворен, но во взгляде его оставался вопрос, он хотел услышать еще объяснения...

Да нет, просто Андреас удивлен. Удивлен, что это случилось именно с Вилфредом. У Вилфреда всегда был так здорово подвешен язык, он за словом в карман не лез, не то что другие. А теперь так странно — Вилфред сидит и не может вымолвить ни слова, а прежде слова так и сыпались у него изо рта. Андреасу очень хочется помочь Вилфреду.

Вот оно что! Вилфред в ответ написал записку: *А может, в глубине души ты рад — наконец-то ты без помех можешь высказывать все, что у тебя на душе?*

Андреас сразу сник. Перед ним снова был Вилфред, с которым надо держать ухо востро. Андреас вырос было в своих глазах — он выведывал новости для своего друга, выполнял его тайные поручения. И вот безмолвный повелитель сразу осадил его одним движением бровей.

— А отец говорит, что скоро будет война, — сказал Андреас.

Ага, Андреас решил взять реванш! Он и его отец! Андреас ходит на вечерние курсы, изучает делопроизводство и иностранные слова, он научился говорить «сиф», «фоб», «фактура», он уже пытался в разговоре с Вилфредом вернуть некоторые термины — он думает, что это тайный язык, понятный только посвященным.

Вилфред безмолвно рассмеялся. Ему больше не доставляло удовольствия издеваться над приятелем, тот был слишком легкой добычей. Но Вилфред выжал из Андреаса все что мог. Сигаретами он запасся. Андреас — человек исполнительный. Он ходит на курсы, хочет выбиться в люди. Андреас — это будущее! В следующий раз, когда Андреас явится, Вилфред будет мотать головой.

После ухода Андреаса Вилфред долго сидел, злорадно улыбаясь. От этой улыбки становилось легче на душе. Потом он подошел к зеркалу и стал разглядывать свое улыбающееся отражение. Потом слегка пошевелил губами, безмолвно выговаривая слова. Если при этом пропустить воздух через гортань — получатся звуки, слова. Вилфред сможет распахнуть дверь, подбежать к перилам и позвать их снизу — и все в мире изменится.

Но он не станет пропускать воздух через гортань. Во всяком случае, так, чтобы получились слова, звуки. В стеклянном яйце, в котором он замкнут, снег больше не идет, но Вилфред по-прежнему находится внутри яйца. Это случилось сразу после того, как Вилфред очнулся, очевидно, в больнице, если только это была больница. Ему тогда пришло в голову, что он может просто не отвечать на вопросы. А потом эта мысль стала нравиться ему все больше. Если бы они в ту пору энергичнее насели на него, пожалуй, он... а впрочем, кто знает. Шли дни, а может, и недели, и теперь, замечая молчаливый вопрос во взгляде

матери или кого-нибудь из врачей, присаживающихся к нему на край постели, Вилфред чувствовал, что не может выдавить из себя ни слова, ни звука. Пока он не отвечал, он держал окружающих на расстоянии. То, что не было сказано, как бы не существовало. Не существовало.

Молчание отгоняло и видения. Плиту. Сети. Сети опутывали его, окружали со всех сторон, особенно в навязчивых сновидениях...

Доктор Даниелсен спросил, знал ли Вилфред, что фру Фрисаксен умерла. Да, знал. Вилфред кивнул. Может, доктор ждал, что он заплачет? Он с удовольствием поплакал бы, но только не в присутствии врача.

Любил ли он фру Фрисаксен?

Вилфред скорчил гримасу. Эти люди задавали вопросы изнутри своего мира, а ответа ждали с другой планеты. Ну можно ли ответить на подобный вопрос? Или, например, почему Вилфред пошел туда в тот день? Он мог бы, наверное, ответить по-арабски, и то еще неизвестно. Он мог бы поступить как в детстве, когда в отместку взрослым, говорившим на недоступном им языке, мальчишки изобрели свой собственный язык, почти сплошь состоящий из согласных. По мере того как они болтали между собой на этом языке, он начинал приобретать смысл. Это был язык отверженных, тайный язык, в котором отдельные слова не имели значения, но общий смысл которого был понятен и служил для того, чтобы они могли держаться друг за друга против — да, против кого угодно...

Вот на таком языке Вилфред мог бы отвечать. В простейшем варианте имя Даниелсен звучало бы как Доданониелолсенон. В прежние времена такой язык назывался тарабарским, он был в ходу у малышей. Мальчишки постарше придумали язык более сложный, такой сложный, что сами не понимали друг друга. А интереснее всего было сочинять язык для себя одного, такой язык, что ты сам его не понимал. Этот язык был совершеннейшим выражением твоей отчужденности, свободы от окружающего мира, в нем был подчеркнутый вызов, но иногда он приобретал конкретный смысл. Однажды Вилфред шутки ради начал изъясняться этим языком во дворе школы сестер Воллквартс. Мальчишки были в отчаянии — у них даже лица вытянулись от напряжения, они пытались догадаться, что Вилфред хочет сказать.

А он ничего не хотел сказать. И все-таки в этом языке таился протест.

Вот на таком языке Вилфред мог бы ответить Даниелсену. Вдобавок доктор как-то странно подмигивал левым глазом за толстыми стеклами. Да нет, он попросту косил. Не поймешь, смотрит он на тебя или нет. Он предатель.

Все они предатели, на жалованье у матери. Может, они этого и не знают, но она сумела завлечь их в свои сети, их тоже. В сети, в которых должен барахтаться каждый. И вовсе не потому, что ей нужно всеми командовать, но все-таки каждый должен сидеть в капкане. И все сидят. И тогда все становится на свое место.

Но когда пришел дядя Рене и принес папку цветных репродукций, напечатанных во Франции новым методом, всякая охота сопротивляться у Вилфреда пропала. Он расплакался. Дядя Рене совершенно растерялся. Он вынул носовой платок, надушенный тонким одеколоном тети Шарлотты, и обмахивался этим платочком в надежде, что Вилфред вытрет им слезы. Но Вилфред проглотил слезы, высморкался в краешек простыни, кивнул в знак того, что просит прощения, а потом они весь вечер просидели вдвоем, рассматривая удивительные репродукции.

Дядя Рене был славный человек. После того как они некоторое время просидели так, обмениваясь безмолвными знаками, он тоже онемел. Сам он, конечно, этого не замечал. Но он кивал, жестикулировал и безмолвно шевелил губами, как делают глухонемые. Он был очень восприимчив к чужому состоянию. А уходя, он вопросительно приподнял папку, осведомляясь таким образом, не хочет ли Вилфред оставить ее у себя.

У Вилфреда так сжалось сердце, что он сделал вид, будто не понял, он считал, что не может принять такой щедрый дар. Тогда дядя Рене повторил свой вопрос уже громко, и Вилфред губами произнес «спасибо» почти вслух. У дяди Рене на глазах выступили слезы, и он стал делать своими прозрачными руками какие-то знаки, как бы желая выразить ими множество надежд и пожеланий, совсем непохожих на те навязчивые утешительные слова, какие Вилфреду твердили все. Те слова были чем-то средним между упреком и внушением: мол, стоит тебе заговорить — и тебе станет лучше. Каждый из них верил в это. А дядя Рене — нет.

Вилфред услышал шаги на лестнице. Это мать. Сегодня Вилфред не станет трясти головой. Пожалуй, он сойдет вниз, он

даже не прочь пройтись. За окном под шагами прохожих и колесами телег поскрипывал февральский морозец.

Она постучала в дверь. Чуть-чуть просунула голову в щелку, готовая к отказу. Ему стало противно. Но он энергично закивал.

Она уже собиралась уйти. Но теперь с удивлением чуть подалась вперед.

Вилфред все кивал и кивал. Отвращение колом стояло в горле. Но он улыбался и кивал — этакий счастливчик Маленький Лорд. Он сделал знак, что она может войти, он встал и хотел броситься ей на шею, но «тарабарский язык» удерживал его.

Она прикрыла за собой дверь, лицо ее чуть порозовело. К ней вдруг сразу вернулось что-то от былой фру Сусанны Саген, щеки и тело приобрели былую округлость. Он указал ей на свой любимый стул. А сам стал нервно расхаживать между зеркалом и окном. Ему все сильнее хотелось вернуться к прежнему притворству, настолько, что он прервал ее, когда она попыталась заговорить.

Вырвав листок из блокнота, он написал: *Я читал об одном враче из Вены, может, он мне поможет.*

Казалось, она вот-вот упадет в обморок. Она хватала ртом воздух — теперь и она лишилась дара речи. Потом она извлекла обшитый кружевом платочек, ежегодный рождественский подарок тети Клары...

— Боже мой, но это невозможно... — задыхаясь, выговорила она. — Ведь я с этим пришла к тебе, хотела спросить, согласишься ли ты. Дядя Мартин где-то слышал о нем, говорят, он делает чудеса. Вилфред, откуда ты узнал о враче?

Он пожал плечами. Все эти годы они так часто переговаривались без слов. У него даже не было нужды писать ответ. С тех пор как случилась эта беда, она тоже начала понимать, как виртуозно они выслеживали друг друга...

Прочитал где-то, — написал он и протянул ей записку.

Она прочитала записку. И у нее мелькнула мысль, что все еще может наладиться, если каждый проявит готовность быть снисходительным, готовность забыть.

Вилфред хотел было предложить спуститься вместе вниз, хотел написать это. Потом сделал гримасу, этого оказалось достаточно. Право, они оба вполне могли обходиться без слов.

Вся сияя, она пошла следом за ним. В дверях она сказала: — Там, внизу, твой дядя.

Он отступил на шаг, потом сделал движение рукой, очертив в воздухе некое подобие окружности.

— Да, да, Мартин,— подтвердила она. — Это он нашел для тебя австрийского врача, он утверждает, будто врач творит чудеса.

Теперь она взяла сына под руку. Он вздрогнул, но не отстранился. Когда они вошли в гостиную, дядя Мартин встал с места. Вот то-то и оно. Все ведут себя неестественно. Дядя Мартин вставал только в самых редких случаях. Он был по-своему учтив, но не имел привычки вставать.

— А-а! Вот и наш юный мужчина!

Вилфред сделал гримасу, предостерегая дядю. Дядя Мартин говорил, подчеркивая каждое слово энергичным движением губ. Уж не воображают ли они, что он глухой? Он немой. А вот в это они как раз не очень-то верят. Но, не веря, делают из этого дальнейшие выводы — забавно!

— Ты представляешь, наш Вилфред знал об этом венском враче — он сам предложил к нему обратиться...

Мать тоже держалась неестественно. Дядя Мартин был уязвлен.

— Тем лучше,— сказал он, — хотя вообще это имя у нас совсем неизвестно. А вот за границей... — И он сделал красноречивое движение.

Вилфред подошел к дяде, напрягая шею. Мать тотчас подала ему листок бумаги. Он написал: *Большое спасибо, дядя!* Мартин бросил на него растерянный взгляд. Дядя и племянник улыбнулись друг другу. Ну что за прекрасная улыбка! Неужели вот так улыбаются в конторах, где с утра до вечера втирают друг другу очки? Кстати, что такое «фактура»?

Вилфред подошел к книжному шкафу, вынул словарь Салмонсена, нашел слово «фактура». Кажется, Андреас не совсем правильно понимает его смысл, впрочем, он вечно все путает. Вилфред написал записку, протянул ее матери. *Помнишь — «нищий бездонный»?*

Мать рассказала Мартину историю о нищем. Дядя ее уже слышал. Но он рассмеялся, причем слишком громко — стало быть, хочет показать, что слышит впервые. Вилфред тоже растянул губы в улыбку. Больному должно быть весело, у него должно быть хорошее настроение. Теперь Вилфреду с ними легко — они его побаиваются. Это вам не какой-нибудь насморк. Вдруг мальчик сошел с ума?

А ты не можешь поехать со мной, дядя?

Таков и был их план. Вилфред это знал. Ему Андреас рассказал. Но сейчас он хотел изобразить это как прилив внезап-

ного доверия. Дядя Мартин смутился. Мать налила ему виски. Мать и дядя вечно манипулировали этим виски. Мартин закричал, точно обращаясь к глухонемому:

— Я как раз собираюсь в Австрию. Мы чудесно проведем с тобой время в Вене!

Вилфреду хотелось заткнуть уши руками. Андреас — тот по крайней мере говорил тихо. Дядя Рене изъяснялся одними губами, как глухонемые. Он вживался в чужое состояние. Мартин кричал во все горло.

Но Вилфред не зажал себе уши, а благодарно слушал дядю.

Когда мы поедем?

Мартин вынул маленький карманный календарик и стал тыкать в него пальцем, точно объясняя подслеповатому: «17 февраля. Через три дня». Вилфред несколько раз кивнул, показывая, что он понял. Он продолжал кивать, пока не почувствовал, что хватил через край. И все-таки продолжал кивать. Взрослые обменялись взглядом. Он продолжал кивать. Про себя он думал: «Может, я притворяюсь?» Он и сам не знал. Но остановиться не мог. Он сделал матери знак, означавший: «Пожалуй, я поднимусь к себе...» Обратил к ним обоим взгляд, выражающий сожаление, слегка кивнул дяде, подтверждая: идиотик не забыл про Вену.

Его вдруг страстно потянуло к нему инструменту. Немая клавиатура стала его собеседником на тайном языке. Медленно и старательно заиграл Вилфред начало одной из фуг Баха. Но он помнил ее не совсем твердо, и, когда ошибался, лицо его передергивалось. При этом он все время думал о тех двоих, что сидели внизу, наверняка глубоко удрученные. Здравомыслящий и недалекий дядя Мартин в простоте душевной представляет себе нервное переутомление как некий хаос импульсов. Больные нервы вызывают у него мистический ужас. Его отутюженные костюмы отражают его стремление видеть повсюду безупречный порядок — именно такой идеальный порядок царит в душе этого превосходного и ограниченного человека, который твердо знает все, что касается прогресса и того факта, что мир стоит перед лицом перемен. Мартин целый год потихоньку был занят тем, что старался повыгодней поместить семейные капиталы. Мать как-то намекнула на это с многозначительным выражением лица. Слово «альпари» было для нее все равно что китайская грамота и своей загадочностью повергало в полубормочное состояние.

Звуки Баха замерли под пальцами Вилфреда на немой клавиатуре. Он знал про этих людей все. Откуда? Ведь они ему почти ничего не рассказывали.

Может быть, как раз поэтому и знал. Может, если тебе не приходится догадываться самому, ты никогда ничего не узнаешь о людях. Может, тогда знание достается слишком легко и ты ему не доверяешь. А то, что ты угадал, ты знаешь наверняка. Перед немой открыты все возможности. От него не ждут никакого подвоха. А он может наблюдать.

Он может видеть мир, который от него заботливо прячут из самых добрых побуждений. Повинуясь голосу инстинкта, они старались утаить от Вилфреда как можно больше. Он не должен был знать. И именно потому, что он должен был знать как можно меньше, ему было так легко узнать о своих близких гораздо больше того, что знают дети в семьях, где все наружу и ничто не будоражит любопытства.

В этом все дело. Он и прежде это подозревал, но не был уверен до конца. Немой инструмент, полный невысказанных чувств, обострял его способность к угадыванию, потому что голос этого инструмента был тайной. Инструмент говорил запретным языком, языком, который не дано слышать тем, кто слышит только слышимое. Между Вилфредом и немой клавиатурой было некое родство, братство, они были посвященными в мире, который для других был лишен смысла. Никогда, никогда в жизни Вилфред больше не прикоснется к обычному фортепиано, которое своим шумом только глушит звуки, льющиеся из потайных источников, — эти источники бьют только для посвященных. Никогда он не допустит больше, чтобы его заповедные чувства выражались способом, который понятен всем. Теперь он знал, что нашел путь в мир, населенный образами и предметами, которые не насилуют органов чувств.

Портрет отца на стене. Как он изменился!

Где суровость, которую Вилфред когда-то угадывал в нем? Это он сам вообразил ее в своем наивном страхе перед отцами. Казалось, отцы несут на себе бремя какого-то проклятья и безмолвно перекалывают его на детей в виде чувства вины.

Отец Вилфреда был другим. «Ему не давали покоя», — сказала мать. Ну да, но и он тоже не давал им покоя. Он не любил их. В самом деле — ведь не любил? Нет, не любил, но и не пре-

зирал — тут мать неправа. Она этого не знает. Она сама сказала, что не знает. В том, как он утверждал свое «я», сказалась его незащищенность — он был пленительным, тем, кто соглашается пленять. Почему? Да потому. Что ему еще оставалось делать? Они так легко сдавались на милость победителя. А он был вежливый человек. Слишком вежливый, чтобы долго отстаивать свои права. И как видно, он сохранил свою молодость, потому что знал: в любую минуту можно уйти от всего, умерев со стеклянным яйцом в руке, с яйцом, где снег перестал идти, когда замерла рука, державшая игрушку...

Да, теперь Вилфред знал своего отца. Уж не говорили ли они и отцу, что, мол, стоит ему только *захотеть*... А может, отец говорил это себе сам, как доктор Мунсен говорил это Вилфреду, впиваясь в него взглядом, который сам доктор считал гипнотическим, чтобы заставить Вилфреда разжать губы. И может, отец отвечал им или самому себе: «Я не хочу хотеть, не хочу хотеть так многого! Захотите сами! Захотите изо всех сил!» Не говорил ли он им чего-нибудь в этом роде?

Не доводил ли его до отчаяния шурин Мартин своей активностью и своими многообразными добродетелями? Может быть, безукоризненные свойства этих людей так действовали отцу на нервы, что за частностями он начал увлечься целым, а это приводит к роковым последствиям для того, кто увидел целое. Может, потому отец и ушел в свое стеклянное яйцо, к фру Фрисаксен, в эту бесхитростную любовь, которая была еще опаснее, чем соответствующий всем правилам цивилизации брак с неотделимыми от него изменами и родственниками.

Теперь Вилфред знал своего отца! Человек оказался на перепутье, человек растерялся от обилия возможностей, человек не видел выхода и закрыл глаза, как сам Вилфред, когда летел с Пегу, потому что мы теряем сознание, если видим больше, чем взгляд может охватить зараз: будущее свое и своих близких...

И оттого, что теперь Вилфред знал отца, он подошел к портрету, который был больше похож на отца, чем сам отец при жизни, и медленно, ласково провел рукой по лицу и короткой бородке. Неизвестный художник только в одном проявил незаурядное мастерство: он сумел передать на портрете взгляд, который, должно быть, отвечал потаенным чувствам самого живописца, взгляд, который поблескивал, точно — да, точно стеклянное яйцо, но в котором все пламя угасло, успокоилось, точно снег, который уже осел на землю.

И, глядя на этот портрет, Вилфред вдруг многое понял. Портрет жил здесь, в детской, жил и глядел. Он видел все, что может увидеть такой портрет в такой детской. Он глядел на все с тайной улыбкой, которая, вероятно, становилась все мягче. Он узнавал в сыне самого себя и с ужасом и горечью заглядывал в будущее. Но и с улыбкой. Потому что была в этом взгляде скрытая улыбка, которую художник привнес то ли по недосмотру, то ли в неосознанном порыве гениальности. А в повороте головы чувствовалась не только улыбка и покорность судьбе, но и понимание неизбежного.

Отец — человек. Каким он был по отношению к своим? Нет, они не были «его», они не принадлежали ему, это он принадлежал им. Он был пойман. Но он не захотел дать себя поймать, как смотритель маяка, которого поймали сетью в море. Отец проверил сети, в которых его держали. Без злобы. У него не было намерения поймать в них кого-нибудь другого. Он просто увидел, как сети стягиваются все туже. И улыбнулся. Весело и безропотно. Такой он был человек. Но продолжаться так не могло. Нет, не могло. Нельзя жить, когда мир стал стеклянным яйцом, в котором идет снег.

Конечно, Вилфред знал отца. Узнавал все больше и больше. Почему он ни разу не доверился ему? Портрет на стене — всего только портрет. Да, но при этом в нем было больше человеческого, чем в людях, потому что эта картина была написана с тайным пониманием тех потаенных вещей, которые люди прикрывают маской, а эта маска становится второй натурой и все больше удаляет человека от того, что скрыто под ней. Вот почему такому портрету довериться легче, чем отцу, сидящему под висячей лампой и цветисто о чем-то рассуждающему.

И все-таки знал ли его Вилфред? Верно ли, что отец неустанно, с тревогой следил за каждым его шагом в этом мире, где надо во что бы то ни стало защищать свою душу? Вилфред многое мог прочесть на портрете, но только не ответ на этот вопрос. Мальчиком он однажды попытался нарисовать своего отца. Взрослые вскрикнули от изумления — он нарисовал мать.

Неужели? Но ведь он рисовал отца. Сигара — разве мама курит сигары?

То-то и смешно. Чего только этот мальчик не придумает. «Сусанна в преисподней» — назвал эту картинку дядя Мартин. Вокруг головы Сусанны клубы дыма образовали множество зловещих фигур.

Вилфред стоял перед портретом отца, шевеля губами, точно на молитве. Он уступил матери, обошелся с ней приветливо, приветливо из милости. Он скривил лицо в гримасу. Отец в ответ тоже состроил гримасу. Чуть-чуть. Еле заметно. Наверное, выражение его лица всегда было таким — чуть заметный намок, легкая ирония.

Он просил у матери прощения. Не за свое поведение: в этом повинна она сама. Она внесла смятение в душевный мир сына, потому что знала слишком много, при том что их души не совпадали. Как в математике, когда две фигуры должны совпасть, а они не совпадают, они только делают вид, будто они подобны. Оба вели себя безрассудно. Один вел себя безрассудно по отношению к другому. Вот другой и лишился рассудка.

А бывает ли так, что две фигуры притираются друг к другу? Так долго делают вид, будто они подобны, что становятся подобны? Все равно гибнут они не вместе. Они гибнут порознь. И это еще мучительней, чем если бы между ними никогда не было и тени подобия...

Вилфред просил прощения — стоя перед портретом, просил прощения у того, кто пустил на воду кораблик и сказал: «Плы-ви, ты можешь плыть, а я пойду ко дну».

Все дело было в том, что в стеклянном яйце вдруг перестал идти снег, сколько его ни встряхивай, ни взбалтывай. На этом яйце отец случайно нацарапал букву «С». Нацарапал бриллиантом. Эта буква начинается и кончается одинаково. Ее можно читать вверх ногами. Никто не заметит разницы. Странно, когда играешь Баха, ты не можешь сказать, скоро ли конец. Ты подпадаешь под власть закона бесконечности, одно звено тянет за собой другое, и только власть ритма делает какое-то из звеньев последним — если ты не прибежешь к насилью.

Отец нацарапал это «С» в рассеянности, от скуки. Имя Сусанна тоже начинается с этой буквы. Когда Вилфред был маленький, ему нравилось читать слова задом наперед и он прозвал свою мать «Аннасус». Это звучало очень красиво. Взрослые долго смеялись над любимым дитятей. Но это «С» не имело отношения к Сусанне. Отец выразил им свою внутреннюю незавершенность, свою роковую расплывчатость. Теперь Вилфред знал своего отца.

И оттого, что он его знал, он уступил матери. Она была непрактична, но умела поставить на своем. И уступил ее брату

Мартину. Вот тот был практичен. Теперь они вместе поедут в Вену, небольшая вылазка под видом деловой поездки, потому что если их постигнет неудача... Хотя дядя Мартин не задумывается над этим, он действует от чистого сердца. Заменяет отца.

Вилфред снова скорчил гримасу. На сей раз портрет не отвел. К отцу снова вернулось суровое выражение — короткая бородка, крахмальный воротничок. Как видно, отец не одобряет подобных мыслей.

Дядя Мартин заменяет отца? Ну и черт с ним, как частенько приговаривает дядя Мартин. Подумать только, он, Вилфред, пощется и над этим.

Нет, он не потешается. По-своему он даже их любит. Они желают ему добра. Будь по-ихнему. У Вилфреда остается свой мир, куда им нет доступа. Выбора у него нет — ведь они вторгаются в его душу со всех сторон, жаждут поделить то, чем не делятся. Вилфреда тянет к запретному, к *тем*, кто под запретом, Вилфред хочет остаться немым.

19

В Вене была зима. Когда они вышли из гостиницы на Рингштрассе, на улицах лежал тонкий снеговой покров. Дядя Мартин был разочарован и втайне уязвлен. Он всегда утверждал, что в Средней Европе весна наступает очень рано. В спальном вагоне он расписывал племяннику жизнь в Вене, как это способен делать человек, начисто лишенный фантазии, но по мере того как Мартин осознавал, сколь необычна миссия, с какой он едет в Вену на сей раз, его охватывала все большая растерянность. Слава богу, ради собственных детей Мартину еще ни разу не пришлось вникать в дела столь щекотливого свойства, что, кстати, вполне устраивало и самих близнецов, и тетю Валборг.

Никогда прежде понятие «опекун» не ложилось на плечи Мартина таким тяжелым бременем, как в это утро, когда он шел по городу, который так хорошо знал, со своим подопечным, о котором имел меньше представления, чем о чистильщике сапог на углу. И то про чистильщика хотя бы было известно, что тот чистит ботинки и докуривает окурки чужих сигар.

Когда они переходили улицу возле отеля, Мартин по рассеянности чуть было не взял племянника за руку. В послед-

тою минуту он спохватился и удержался, но его не покидало такое чувство, словно на него возложили обязанности пастуха и доверенная ему овечка может в любую минуту исчезнуть между звенящими трамваями или свалиться в какой-нибудь водоем.

В маленьком угловом кафе возле собора святого Стефана, где дядя Мартин любил завтракать, на небольшом возвышении стояли пюпитры; по одну сторону возвышения была стойка, по другую — обитые плюшем стулья с чем-то вроде императорской короны на спинках: в вязаных чехлах, которыми были обтянуты стулья, была предусмотрена специальная прорезь — корона и орел изумленно таращились из нее на золотистый утренний свет.

Увидев пюпитры, Вилфред вздрогнул и невольно стиснул локоть дяди, чтобы остановить его, но Мартин, вообразивший, что это попытка к бегству, крепко схватил племянника за руку и беспощадно поволок в глубину кафе, где, уткнувшись в газеты, укрепленные на подставках, перед крошечными чашечками, к которым они не прикасались, сидели молчаливые мужчины с усиками.

— Дядя, неужели будут играть? — одними губами спросил Вилфред.

По лицу Мартина скользнула улыбка.

— Не раньше двенадцати, мой мальчик, — успокоил он племянника. И успокоился сам. Но все-таки он никак не мог понять эту странную неприязнь к музыке у того, кто сам обладает выдающимся музыкальным дарованием. Мартин был не слишком музыкален, но ему не мешало, когда играют в кафе. По правде говоря, он просто не обращал внимания на музыку.

В десятый раз он втолковывал Вилфреду, что тот не должен бояться врача, к которому они идут. Конечно, в своем кругу он знаменитость, но Мартин лично написал ему и получил благоприятный ответ. Мартин понемногу начал чувствовать и себя чудотворцем, потому что выучился читать по губам племянника, когда тот хотел сообщить ему что-нибудь особенно важное. Мартин начал думать, что вообще в этом искусстве нет ничего мудреного, стоит лишь поупражняться. Впрочем, так ведь в любом деле. Наблюдательный человек чему хочешь научится. Надо только уметь смотреть.

В первые же минуты их совместного путешествия Вилфред понял, что привязан к дяде. Они уговорились, что мать не бу-

дет провожать их на вокзал. Оставшись наедине, дядя и племянник сразу почувствовали какую-то взаимную спаянность — чувство, новое для них обоих. Воспитание собственных сыновей в светском духе, пригодном для их будущей карьеры, дядя Мартин принципиально возлагал на посторонних. Поэтому водить за собой своего подопечного было для Мартина все равно что пуститься в путешествие по неизведанным странам.

Дядя Мартин то и дело поглядывал на часы. Консультация была назначена на десять, а до дома, где принимал врач, идти было не больше четверти часа. Но казалось, ни карманные часы дяди, ни стенные часы в кафе упорно не хотят добраться до половины десятого.

Когда они наконец не спеша побрели по улице, снег уже начал таять и город стал приобретать те очертания, какие были знакомы Мартину по его прежним деловым поездкам, связанным с приятными воспоминаниями. Дядя Мартин так усердно успокаивал племянника, что сам начал волноваться. Поэтому он продолжал свои успокоительные наставления, пока не довел Вилфреда до того, что тот старался не слушать дядю, просто чтобы не впасть в истерику. Вилфред вовсе не собирался в присутствии незнакомого врача кивать или мотать головой. Он вообще был готов приложить все усилия, чтобы извлечь максимальную пользу из этой поездки, хотя бы для того, чтобы дядя Мартин мог гордиться, что затея была не напрасной. За неприкосновенность своего внутреннего мира Вилфред в обществе дяди не опасался — для этого дядя был слишком простодушен.

Дом, в котором жил врач, был обыкновенный дом девяностых годов, с довольно узкой лестницей. Лестничная клетка была обшита деревянной панелью с золотой полоской, которая тянулась вдоль лестницы вверх, но местами стерлась от частого мытья и времени. Вилфреду понравилась эта лестница, лишенная всякой парадности, да и в облике дома было что-то безличное, и это с первой минуты внушило ему доверие. У Вилфреда не было обычного для пациентов из престоноародья чувства, что к нему устремлено внимание окружающих. Зато он не испытывал ни смущения, ни страха. Он был совершенно равнодушен ко всей этой затее, она интересовала его только ради дяди Мартина.

Приветливая без угодливости женщина впустила их в маленькую прихожую. К двери была прибита скромная табличка. Никаких признаков чудес. Но на женщине не было белого

медицинского халата. И у нее не было профессионального выражения лица, на котором написано, что она готова защищать своего хозяина от назойливых посетителей. Она внимательно прочитала визитную карточку дяди Мартина, опустила ее в карман передника и предложила господам присесть. На стене не было видно портрета императора Франца-Иосифа. Со времени приезда в Вену Вилфред впервые оказался в помещении, где не было такого портрета. Зато висели две репродукции Франса Хальса, Вилфред указал на них дяде Мартину. Дядя Мартин энергично закивал в ответ и, хотя в комнате было прохладно, несколько раз подряд вытер носовым платком вспотевший лоб. Визит к доктору вызвал в его глубоко здоровой натуре мучительное смятение.

Они оба не сразу заметили, что дверь открылась и доктор вошел в комнату. Первое, что бросилось в глаза Вилфреду, — это что доктор очень худой. Потом — его рукопожатие. Оно было коротким и энергичным, и в нем не было и намек на то безмолвное покровительственное заверение: «Спокойно, спокойно, дружок, уж мы вдвоем как-нибудь справимся», к какому Вилфред привык при встречах с другими врачами.

Потом они сидели в просторном кабинете, где ни на виду, ни за стеклянными дверцами не было никаких блестящих предметов, которые как бы призваны внушать пациентам, что, если мол, доктор захочет, он все может. Комната тоже была обшита темными панелями, мебель обита кожей, а на двух узких окнах висели накрахмаленные занавески, такие свежие, будто их только сегодня повесили. Доктор отодвинул свой стул от стола и переставил его чуть ближе к посетителям — его не отделяла от пациентов крепостная стена. Потом сел и стал внимательно слушать дядю Мартина, который, спотыкаясь на каждом слове, рассказывал о внешнем течении болезни. А Вилфред сидел, впившись глазами в круглую бородку доктора. Бородка была темная, хотя в ней пробивалась седина — доктору было, вероятно, за пятьдесят. И еще он смотрел на руки доктора. Вилфред думал, что у такого чудодея должны быть руки, как у дяди Рене, — прозрачные, мягкие, беспокойные руки, в которых предметы появляются и исчезают как по волшебству. А у доктора были маленькие, сильные, спокойные руки и даже пальцы не очень длинные. И в глазах не было гипнотического блеска, призванного производить впечатление на пациентов. Вилфред был немного разочарован: его тяга к сенсациям не получила пищи.

На мгновение ему захотелось совершить какую-нибудь немыслимую выходку. Уж очень разочаровал его этот худощавый человек, который вежливо выслушивал нелепые рассуждения дяди.

Когда дядя Мартин умолк, доктор встал и попросил его удалиться. В его тоне не было невежливости, и, однако, он звучал повелительно. Дядя Мартин стал ловить ртом воздух, потом начал возражать. Ведь он проделал такой путь...

Разве Вилфред один не найдет дорогу обратно в гостиницу? Впрочем, если даже не найдет, ему вызовут машину. Доктор уже протягивал дяде руку. Мартин растерянно поглядел на Вилфреда, тот кивнул — сценка его забавляла. Уходя, дядя Мартин бросил на Вилфреда взгляд, в котором явственно сквозило опасение, что они с племянником, может, и не свидятся в этой жизни.

Верно ли, что по лицу доктора пробежала улыбка? В таком случае это была лишь тень улыбки, но все-таки улыбка, как бы говорившая: «Да-да, именно это и подумал ваш дядя, а теперь поговорим как взрослые люди». Вилфред хотел поблагодарить доктора, попытался шевельнуть губами, но доктор остановил его движением руки и отошел к окну. А потом обернулся и спросил:

— Вы поете?

Вилфред энергично помотал головой и сделал движение, показывая, что он играет. Доктор тотчас подхватил:

— Я знаю. Знаю, что вы увлекаетесь и живописью...

Он решительно подошел к полке, тесно уставленной книгами разной величины, потрепанными и совсем еще новыми, и вынул громадный фолиант, лежавший поверх других. Вилфред сразу понял, что это альбом с репродукциями. Наугад раскрыв книгу, доктор протянул ее юноше.

— В Австрии тоже есть великие живописцы, — сказал он.

На картине была изображена лежащая у ручья под деревьями женщина — романтическая школа. Доктор пододвинул свой стул к стулу Вилфреда. Они стали вместе перелистывать альбом. Это был как бы пробег по истории искусства всех времен: тут была пещерная живопись Испании, и египетские фараоны с их замкнутыми и какими-то отрешенными лицами, и высеченные на камне олени с огромными животами, застывшие на бегу. Доктор листал книгу наугад. В его движениях не было

ни нарочитой небрежности, ни желания успокоить. Видно было, что книгу эту часто рассматривают, в тексте во многих местах были карандашные пометки. У Вилфреда мелькнула мысль, что доктор начинает входить в роль дяди.

И в то же мгновение доктор встал и захлопнул альбом. Он отложил его, снова подошел к окну и постоял так несколько минут, глядя на улицу.

В комнату смутно доносился приглушенный шорох шин. Доктор повернулся, сделал несколько шагов к Вилфреду и спросил:

— Sie sprechen ja deutsch?

— Aber natürlich, Herr Professor *, — без запинки ответил Вилфред.

Верно ли, что по лицу доктора пробежала улыбка? Нет, на сей раз нет. Это была не улыбка. Нечто иное. Тень понимания. Вилфред сидел, шевеля губами. Это были его первые слова за три месяца. Он был не столько удивлен, сколько растерян.

Броня равнодушия вдруг слетела с него или, во всяком случае, дала трещину. И он начал взахлеб говорить, он должен был сам объяснить этому чужому австрийскому врачу, что он не симулировал все эти месяцы, что в каком-то смысле он мог говорить, но стоило ему... и... Он смешивал изысканные немецкие обороты, которые одобрила бы сама тетя Клара, с разговорными выражениями, он снова и снова горячо убеждал врача, что вообще-то он охотно лгал и обманывал, но как раз в этом...

И тут врач улыбнулся открытой улыбкой, но не широкой, веселой улыбкой, а той, которая больше в глазах, чем на губах, и в которой нет ничего общего со всезнающей врачебной улыбкой — не утруждайтесь, мол, молодой человек, мы, ученые мужи, знаем все... Это была улыбка — ну да, в ней было не столько ободрение, сколько дружелюбие, не ученость, а мудрость...

Вилфред рассказал доктору об очень многом, о вещах неожиданных для самого себя. Ведь этот человек был посторонним. К тому же Вилфред слишком долго подавлял все эти чувства.

Время шло, а они все сидели и разговаривали вдвоем. Вилфред видел, как за окном перемещалось солнце. Раза два звонил телефон, доктор снимал трубку и спокойно и решительно

* — Вы ведь говорите по-немецки?

— Конечно, господин профессор (нем.).

отвечал невидимому собеседнику, в то же время не спуская глаз с Вилфреда. И тогда Вилфреду казалось, что доктор похож на кого-то, может, даже на отца. Что-то в выражении глаз. Нет, он был похож на фру Фрисаксен... Никаких попыток строить из себя что-то; за внешней видимостью, под нею — честность, подлинная, а не та, которую выставляют напоказ и которая сама есть не что иное, как еще одна видимость под маркой честности! Пожалуй, те минуты, что доктор говорил по телефону, произвели на Вилфреда самое сильное впечатление, потому что тогда он сам мог вволю разглядывать доктора, ощущая полную внутреннюю свободу. В присутствии этого человека не чувствуешь себя скованным, как при докторе Даниелсене в больнице или при Мунсене дома; наоборот, этот доктор раскрепощает тебя, он не носит той маски навязчивого интереса, в котором есть что-то такое натужное, что ты начинаешь чувствовать неестественное напряжение.

— Господин профессор, почему вы спросили, не пою ли я? — обратился к нему Вилфред после паузы.

Дружелюбно взглянув на юношу, тот пожал плечами.

— Почему? Надо ведь было о чем-то спросить. Ну хотя бы о музыке...

— А бывает так, что немые вдруг начинают петь?

— Бывает... Вы читали «Соловья» Ганса Христиана Андерсена?

— «Соловья»... — И Вилфред тотчас понял. И по лицу врача прочел, что тот сразу почувствовал, когда Вилфред понял. — Это правда, — заметил он, опустив глаза. — Я чувствовал себя как искусственный соловей, который поет, когда его заводят. — К его глазам подступили слезы.

— Или наоборот, как настоящий соловей, — возразил доктор. — Настоящий соловей, изгнанный интриганами.

Вилфред выговорил с трудом:

— Я стал немым в кругу своих близких, стал немым из-за них. Это они лишили меня дара речи. Они вели себя так, что я онемел!

Последние фразы он выкрикнул в запальчивости. Он был готов на все, чтобы оправдаться в глазах этого человека, который помнил «Соловья».

Доктор кивнул. Кивнул один раз, а не многократно, когда каждый кивок назойливо твердит: «Да-да, я понимаю, все понимаю». Он кивнул один раз. Но этого было довольно.

— Не кажется ли вам, что продолжать эту игру с вашими близкими довольно жестоко? — спросил он. Голос его прозвучал неожиданно сурово. Вилфред хотел было возразить, но доктор перебил его. — Когда я говорю «игра», я не имею в виду какую-то нечестную игру, я говорю о том притворстве, к которому вы прибегаете из самозащиты. Вы меня понимаете?

Вилфред кивнул. Кивнул еще и еще. Он сидел и кивал без остановки.

— Довольно, не надо больше кивать! — с улыбкой сказал врач. — К таким вещам очень легко привыкаешь. Начинаешь подражать. Подражать самому себе.

Вилфреду никогда не приходило в голову, что это можно выразить такими точными словами. Он спросил:

— Вы гипнотизер?

Тот улыбнулся.

— Не вздумайте хулить гипноз, молодой человек. Просто к данному случаю он не имеет отношения. Не бойтесь.

— А я не боюсь, — твердо сказал Вилфред.

Доктор встал и опять отошел к окну. И опять в комнате воцарилась почти осязаемая тишина.

— Вы в этом уверены? — спросил доктор, снова повернувшись к Вилфреду.

— Простите, я не понял...

— Что вы не боитесь. Вы сказали: я не боюсь.

— Я имел в виду гипноз...

— Пожалуй, вы хотели сказать вообще?

Вилфред смущенно потупил глаза.

— Конечно, я боюсь, — тихо сказал он.

— Конечно, боитесь. Все боитесь. — Врач помолчал, потом подошел к столу и сел на стул. — Вы очень развитой молодой человек, — сказал он. — Вы выросли в так называемой тепличной обстановке. Я хочу задать вам вопрос: вам самому хотелось бы пройти у меня курс лечения?

Вилфред сказал:

— Но ведь я могу говорить... — И тут же сам почувствовал, как наивно это звучит. Но врач встал и подошел к нему. И только тут Вилфред заметил, что они одного роста и, может, даже он, Вилфред, чуть выше доктора!

— Вы правы, — сказал врач. — Обещайте же мне... Впрочем, нет, вы не должны связывать себя обязательствами передо мной, посторонним человеком... Но не считаете ли вы сами, что самое разумное, если с этой минуты вы будете говорить?

Слезы, проклятые слезы. Они сейчас совершенно ни к чему. Прежде Вилфред прибежал к ним как к орудию. С помощью слез он напускал на себя растроганность, точно так же как с помощью улыбки напускал на себя, веселое настроение. А теперь они лились у него из глаз, горячие и противные.

— Да-а! — вздохнул доктор. — Если бы только мы могли плакать. Плакать и смеяться!

Он сказал это как человек, который сам об этом мечтает, как человек, который сознает свою беспомощность, но ничего не может поделать. Вилфред подумал — пора откланяться. Он слышал, что этот врач-кудесник человек очень занятой. Он встал. Врач подошел к нему.

— Я бы очень хотел послушать, как вы играете! — попросил он.

Вилфред оглядел кабинет. Но врач подошел к портьерам, висевшим позади письменного стола, и открыл спрятанную за ними раздвижную дверь. Вилфред увидел маленькую комнату, тесно уставленную мебелью, обитой золотистым плюшем, — комнату с выходящим на улицу эркером и с темно-коричневым блестящим пианино в углу. Инструмент напомнил ему буфет в доме Андреаса.

— Что вы играете охотнее всего? — спросил доктор, подойдя к стопке нот на маленьком столике. Вилфред ответил, как автомат:

— Бетховена.

— Неужели?

— А почему бы нет? — Вилфред почувствовал, как в нем шевельнулся протест против неуязвимой проницательности этого человека. — Может, вы предпочитаете Дебюсси?

Врач улыбнулся.

— Я спросил, что предпочитаете вы!

— В настоящее время Б а х а , — признался Вилфред. И снова ему показалось, что на усталом, худом лице мелькнула улыбка; была в этом лице какая-то еле заметная грусть, какая-то опустошенность и в то же время что-то очень здоровое. Этим-то доктор, верно, и напоминал фру Фрисаксен.

Вилфред сыграл одну из маленьких прелюдий, потом фугу. Он сам не заметил, как это вышло, но вдруг сообразил, что в первый раз за много месяцев слышит собственную игру. Инструмент был хороший, с чистым звуком, может быть чуть слабоватым, но таким же чистым, как сам хозяин.

Потом мысль потекла вспять. Сейчас Вилфред чувствовал то же, что когда-то с оркестром у дяди Рене. Он никого не вел за собой, и его никто не вел, но он как бы обращался к силам, которые жили в нем, не принадлежа ему, и которые находили выход в игре.

Когда Вилфред снова вернулся к действительности, возбуждение его схлынуло. Он взял заключительные аккорды.

— Извините, — сказала она. — Спасибо.

— Спасибо вам, — сказал доктор, поднявшись со стула. — За что вы просите извинения?

Вилфред стоял, все такой же смущенный.

— Не знаю. Мне, наверное, пора.

Врач помедлил, потом провел Вилфреда обратно в кабинет и закрыл дверь. Как странно — Вилфреду показалось, будто он вернулся к себе домой... Он сделал шаг к двери.

— Минутку, — сказал доктор. — Поскольку мы с вами пришли к соглашению по поводу, как бы это сказать, ваших успехов в разговоре... — Он улыбнулся. — Что если вы позвоните вашему дяде и скажете, что вы скоро будете дома?

На какое-то мгновение Вилфред почувствовал, как что-то в нем напряглось и губы вот-вот омертвеют — рот стал подергиваться.

— Мы ведь не знаем, где он, — с трудом промямлил он.

— А мы попробуем позвонить в гостиницу, — тотчас возразил доктор. — Или вот что... — Он передумал. — Я подозреваю, что ваш дядя в настоящую минуту сидит в «Кафе Моцарта» и пьет пиво.

Вилфред замер:

— Моцарт... Почему Моцарт?

— Потому что это известный ресторан и туристы воображают, будто именно там они познают Вену. А впрочем, может, они и впрямь ее познают, не знаю.

— Извините, господин профессор, — сказал Вилфред. Он сам чувствовал, как комичен его серьезный тон, но ничего не мог с собой поделать. — Вы условились с ним об этом?

Знаменитый врач рассмеялся, на этот раз откровенным, совершенно обезоруживающим смехом.

— А вас не проведешь! — весело сказал он. — Я был бы рад при случае скрестить с вами шпаги. Значит, договорились, мы звоним в «Кафе Моцарта».

И он снял трубку.

К тому времени, когда подали суп, существовали уже две версии рассказа о том, что пережил дядя Мартин в «Кафе Моцарта». Согласно первой, принадлежавшей тете Валборг, дядя Мартин едва не упал в обморок, услышав по телефону голос Вилфреда. Вторая, появившаяся на свет несколько позже, исходила от самого дяди Мартина: по сути дела, он вовсе не был так уж удивлен. Он с первой минуты твердо уверовал в чудо-доктора и, узнав об успешном результате, не растерялся, быстро уладил все свои дела в Вене и послал телеграмму сестре.

Дядя Мартин говорил чистую правду, насколько это возможно в подобном случае. Он и в самом деле сидел в «Кафе Моцарта» и в ту минуту, когда зазвонил телефон, потягивал пиво и был занят совершенно другими мыслями. Правда, вначале он очень беспокоился о Вилфреде и предпочел бы как можно скорее вырвать его из когтей этого несимпатичного субъекта — кто его знает, что он за птица. Но мало-помалу мысли Мартина приняли другое направление, разные разности то и дело отвлекали его внимание, поэтому, когда голос Вилфреда в телефонной трубке произнес: «Здравствуй, дядя!» — он ни капельки не удивился. На мгновение он просто забыл о племяннике. Зато немного погодя — да, немного погодя он вернулся к действительности и разыграл подобающую случаю готовность упасть в обморок. Так что, по сути дела, верны были обе версии.

Впрочем, об австрийском враче говорили очень мало. Семье пришлось пережить неприятности, теперь они позади. Правда, дядя Мартин упомянул о том, что венский врач предложил, чтобы мальчик прошел у него курс лечения. Врач употребил слово «травма», говорил что-то о неврозе. Но дядя Мартин решительно пресек все эти разговоры, объявив, что дар речи мальчик обрел, а розы цветут и у них в Норвегии. По лицу тети Валборг было видно, что ее огорчают рассуждения мужа.

Но теперь все позади. А разговаривать о том, что миновало, не принято. Принято говорить о том, что есть. Фру Сусанна оправилась на редкость быстро. Она больше не носила теплой шали, и в ее горделивой осанке и в мягкой улыбке,

которой она приветствовала гостей, не осталось ничего бабьего.

К сожалению, Вилфреда нет дома. Он был бы очень рад видеть всю семью в сборе, но его нет дома. Он опять с головой окунулся в школьные занятия и в музыку. Сейчас он в консерватории и придет поздно.

Но Вилфред был не в консерватории. Сначала он ненадолго заглянул в ресторан на Стортингсгате. А теперь сидел на скамье в парке Фрогнер с Мириам и спорил с ней о музыке. Он говорил:

— Неужели ты не чувствуешь, как он ломается, этот ваш Моцарт, как он ломается и кривляется, чтобы угодить публике? Я прямо так и вижу, как он пресмыкается перед своим хвастливым папашей, — и так всю жизнь. К тому же у Моцарта была несчастная любовь. И он сам этого хотел. У него все было *по плану*.

Мириам улыбалась.

Ее удивляла его злость, откровенная несправедливость почти всех его утверждений. Казалось, Вилфред умышленно старается быть несправедливым. Когда Мириам улыбалась, это означало, что она не согласна с ним, и он это знал, он все знал наперед, этот юноша, так непохожий на людей, среди которых она жила.

— И вся эта болтовня об изяществе, гармонии... — Вилфред закурил сигарету, десятую за то время, что они сидели на скамье, и устремил враждебный взгляд вдаль, в вечерний весенний сумрак, окутавший пруды легкой дымкой. — Погляди на этих лебедей. Люди стараются развести их повсюду, где только есть вода. Но чего мы, собственно, от них ждем? Гармонии, красоты движений... Мы разводим их для своего удовольствия, больше того: пытаемся с их помощью вообразить, что мы счастливы и даже что сами лебеди счастливы. Но ты погляди только, как они себя ведут. Ну да, они скользят в величавом спокойствии, в них есть что-то возвышенное, но это потому, что так уж они плавают, и шея у них такая длинная, что им приходится ее выгибать. Но ты погляди, как они преследуют, как мучат друг друга. И смотри, какие у них безобразные глаза, какие-то узкие щелки, наверное для того, чтобы они поменьше видели и вечно подозревали друг друга.

Мириам не могла удержаться от смеха. Но смех ее был не-

веселым. Она чувствовала нежность к этому юноше, хотя ей трудно было соглашаться с ним...

— Не понимаю,— сказала она. — Можно подумать, что вам доставляет удовольствие всех разоблачать, всюду находить недостатки.

— Вам?

— Ну да, вам. Не забудь, что я росла в окружении своих единоверцев, евреев. А у нас никто не любит выискивать недостатки у своих родных, во всяком случае не это для нас главное. Конечно, мы тоже иногда ссоримся, но мы не радуемся тому, что где-то что-то неладно.

Он сразу стал серьезным.

— Да, я знаю, твоему отцу пришлось трудно...

— Отцу? Ну да, и отцу, конечно, тоже. Почему ты вечно спрашиваешь об отце? Ведь и другим, хотя бы, например, моим дядям... И мамин брат хлебнул горя. В Галиции всем евреям было несладко, всем, кто беден.

— А кто не беден?

— Им тоже по-своему было нелегко. Но они хоть могли откупиться. А некоторые помогали бедным. Нам, например, помогли. И теперь мы живем хорошо.

Он мысленно оценивал ее слова. Она употребляла такие слова, как «хорошо», как «люди добры». Стало быть, люди обладают способностью забывать и скрывать, и еще одной способностью, которая знакома Вилфреду лучше, чем кому бы то ни было, — выставлять напоказ нечто противоположное тому, что испытываешь.

— Что значит «хорошо живете»?

Она с удивлением взглянула на него.

— Как это — что значит? Ну, хотя бы то, что теперь у нас есть деньги. И вообще нам хорошо жить своей семьей. Ты ведь знаешь, брат у меня известный юрист.

— А у меня приятель учится на вечерних курсах, — заметил Вилфред.

Они посидели молча, глядя на лебедей. Он прав, в них есть что-то злобное. В их движениях не только величавый покой. А прежде они всегда казались ей царственными.

— Я понимаю, что ты хочешь сказать,— заговорила она. — Тебе непонятно, что люди к чему-то стремятся. Вечерние курсы, консерватория... Но люди от этого становятся счастливее, — заключила она, довольная тем, что сумела найти объяснение.

— И вы рады этому — тому, что становитесь счастливее? Он сказал это совсем тихо. Как будто даже не ожидая ответа. Она спросила:

— Зачем ты сам портишь себе настроение?

— А я и не знаю, к чему это — стараться быть счастливее, — угрюмо буркнул он.

— Твой Моцарт, например, вовсе не был счастливым!

— Ты думаешь? А я подозреваю, что он нарочно придумывал себе несчастья.

— Вроде как ты, — сердито сказала она. — В точности как ты. Ты нарочно растравляешь свои раны.

Он упрямо возразил:

— Знаю. Но от этого я не становлюсь счастливее.

— Да ты и не хочешь быть счастливым. Людям, которые слишком себя жалеют, никогда не бывает хорошо. Они расстрачивают себя по пустякам. В этом все дело.

— Мириам, — сказал он. — А знаешь, мне кажется, я тебя люблю.

Она сидела на скамье не шевелясь. У нее была такая манера сидеть не шевелясь, когда неподвижность — не просто пауза между двумя движениями, а нечто гораздо большее. На пыльной, усыпанной гравием площадке еще лежал тонкий слой снега. Казалось, он гипнотизировал Мириам.

— Я выйду замуж только за еврея, — сказала она. — И я никогда не позволю себе полюбить другого — не того, за кого я выйду замуж.

Сжигаемый каким-то холодным огнем, Вилфред думал: «Она добра. Таким и надо быть». И от этой мысли в нем вспыхнула злость.

— Ну что ж, Менкович, который ведет у тебя класс скрипки, — еврей.

— Да, — ответила она и немного погодя добавила: — И он хороший педагог.

«Ну и что из того? — раздраженно думал он. — Что тут такого? Мы дружили, я провожал ее домой, может, я даже ее люблю. Северное сияние».

— Ты мне нравишься, когда бывает северное сияние, — сказала она вдруг, коротко засмеявшись. — Когда мы смотрим на него с ограды Ураниенборгской церкви. Тогда я тебя люблю.

Черт бы побрал этот инстинкт! Неужели он произнес слова «северное сияние» вслух? Да нет, она просто догадалась. Как мать, как Эрна, как Кристина. А может, вообще его мысли всегда так легко угадать?

— А знаешь, когда ты не хотел меня видеть, когда ты... болел... — начала она.

Он не пришел ей на помощь. Он смотрел на лебедей. Они плавали по определенной системе, описывая друг возле друга круги. Когда хотел он, не хотела она. А когда она готова была захотеть, появлялся третий. Тогда первый кидался на третьего, а она спокойно уплывала прочь. Величаво уплывала прочь.

— Я сорок пять минут стояла у двери, прежде чем решилась позвонить.

Вот как... а потом, потом... Он тоже когда-то позвонил к Андреасу в дверь, а потом убежал и спрятался на лестнице, чтобы подшутить над старой служанкой. Вот так было с ним, с тем, кто не добр.

— Ты думаешь, приятно быть немым? Сидеть и раздувать зоб, когда кто-нибудь на тебя смотрит.

— Может, я сумела бы тебе помочь, — сказала она. — Я надеялась, что смогу.

Вон что она вообразила! Вообразила, что заставила бы его заговорить. Вообразила себя смиренной жрицей храма.

— А почему именно ты?

Она чуть заметно безнадежно отмахнулась.

— Урок кончился, — сказала она. — Мне пора.

Урок кончился. Ее урок музыки. Значит, чтобы побыть с ним, она тоже прогуляла урок — она тоже солгала, она, которая не лжет. Упустила случай увидеть своего Менковича...

— Мне бы следовало растрогаться, — сказал он. — Но вообще, в самом деле пошли. Меня ждут родные. Они заклали тельца.

— Ты этого не заслужил, — сказала она, вставая.

Он тоже встал, раздраженно покосившись на лебедей.

— Библейский бездельник тоже этого не заслужил. Тем не менее ради него заклали тельца. Они всегда рады заклать тельца.

У деревянной ограды, выходящей на Киркевей, они простились. Он провожал взглядом ее фигуру, быстро удаляющуюся в сторону улицы Мунте. Глубокие дорожные колеи были полны воды, золотистой в отблеске заката.

— А твоя скрипка! — вдруг закричал он. У него в руке остался футляр с ее скрипкой. В ту же минуту перед ним выросли две могучие лошади, впряженные в большой фургон развозчика пива. Вилфред отпрянул в сторону, чтобы не угодить под копыта, вода из колеи окатила его с ног до головы.

— Ты заметила, что она золотистая? — смеясь, спросил он Мириам. Она стояла насмерть перепуганная. Она видела, как пронесся фургон. Развозчик, повернувшись на козлах, в ярости крикнул:

— Ты что, слепой?

— Не мой, — ответил Вилфред, показав на свои губы, а потом покрутил указательным пальцем у виска.

— Сумасшедший, — засмеялась она. — А почему ты сказал, что вода золотистая?

— Вот эта самая вода, — ответил он, показав на свои брюки, — эта грязь, которую нашей служанке Лилли придется считать с моих брюк, была золотистой в свете заката, ты не заметила?

Они вместе побрели вдоль Киркевей, туда, где от Майорстное начиналась березовая аллея. Розовый, как семга, закат золотил уходящие вверх длинные колеи.

— Это как с лебедями, — тихонько засмеялась она. — Но пусть колеи останутся золотыми. А лебеди пусть себе чванятся. Постарайся видеть их такими, какими они тебе запомнились вначале. Почисти свои брюки сам, и тогда тебе вспомнится, что вода была золотистой.

Глаза ее тоже были золотистыми. Два солнца, не то восходящих, не то клонящихся к закату. Вилфред сам не знал.

— Для меня они заходят, — сказал он, протянув ей скрипку.

— Кто заходит? — переспросила она, не поняв. Он быстро подошел к ней и поцеловал ее глаза.

Он стоял, махая ей рукой. Она повернулась и тоже помахала ему. Он перестал махать и только смотрел ей вслед. В конце улицы она снова обернулась и помахала ему. Он помахал в ответ. Потом пробежал несколько шагов. Потом вернулся в парк. Бросил камень в лебедей. Не попал. Откуда ни возьмись появился сторож и строго спросил:

— Кто бросил камень в лебедей?

— Я, — заявил Вилфред. — Хотите записать фамилию?

Сторож растерянно шархнул в сторону. Он остановился у дерева, наблюдая за Вилфредом, и покинул свой наблюда-

тельный пост только тогда, когда молодой человек двинулся к выходу.

— Ну и взгляд! — пробормотал сторож.

У своего дома на Драмменсвей Вилфред вдруг остановился, не решаясь войти. Он сразу представил себе своих родственников, сидящих в гостиной, как представлял их всегда, угадывая все, что они скажут, до того, как они открывали рот. Вот сейчас они сидят и ждут его возвращения. О! Они и глазом не моргнут при его появлении, каждый будет заниматься своим делом, даже разговора они не прервут, а тетя Валборг и тетя Клара будут продолжать играть в лото, потом вдруг кто-нибудь заметит его: «Глядите — Вилфред! Ну, как прошел урок музыки?»

И все потому, что они желают ему добра, чересчур усердно желают ему добра. А он должен платить им за эту любовь. Только не своей любовью. Не любовью Вилфреда. А любовью вообще. Так и с матерью. Он должен питать к ней сыновнюю любовь, не свою, а сыновнюю любовь вообще.

А может, ему следует, попросить у тети Клары разрешения взглянуть на ее медальон? Нет, это неуместно, не могут же они требовать, чтобы он снова впал в детство. Но вообще-то он на это способен. Ему вполне может прийти такая фантазия. Попросить посмотреть на медальон, на то, что внутри, и на то, что внутри второго медальона. Если Вилфред будет в ударе, он разыграет это как по нотам.

А дяде Мартину он должен выказать свою благодарность. Не прямо. Не упоминая о Вене. Это дело прошлое, это позади. А то, что позади, того больше нет.

Ну а что, если это не позади, если это не кануло в вечность? Что, если каждое пережитое мгновение представляет собой отдельный замкнутый мир, существующий сам по себе и не имеющий ни причин, ни следствий? Что, если каждое мгновение — это самостоятельный организм, само себе начало и конец, как же можно тогда его убить? Ведь это насилие. А что же делают они? Может, просто стирают пережитое ластиком? Волшебным ластиком, который не оставляет никаких следов. Фокус-покус...

Вот так же стояла у этих дверей Мириам, не решаясь позвонить. Очевидно, ему следует растрогаться? Впрочем, он и в самом деле растроган. Если она этого не поняла, тем лучше. У нее есть ее скрипач, а брат у нее юрист.

К тому же Вилфред ей не говорил, что собирается жениться. Жениться надо не раньше двадцати пяти лет. А такая, как Мириам, к тому времени уже десять лет будет матерью. Ей бы уже следовало стать матерью. Вот о чем он должен был подумать.

Нет, он не смеет войти. То есть, конечно, смеет... Можно пройти через террасу. Тогда он избавит их от необходимости разыгрывать удивление. Если он пройдет этим путем, они его не заметят. Зато он услышит, что они на самом деле говорят друг другу. Но это может оказаться неприятным.

Вилфред обогнул дом со стороны залива. Белый, без единой тени, точно кусок мела, замок Оскарсхалл маячил на фоне низкого неба. Мимо с грохотом промчался поезд. Под этот грохот Вилфред взбежал по ступенькам и остановился.

Здесь, на нижней ступеньке, сидела тогда Кристина. Она плакала — наверное, над тем, что ее жизнь уходит. А может, над чем-то, связанным с ее лавчонкой. А сейчас она сидит в гостиной. Он не видел ее с тех самых пор, когда она заглянула к ним на минутку и ушла, не простившись. Та, прежняя история забылась. Истории сменяют друг друга. Миновало — значит, дело прошлое. Фокус-покус.

Он постоял, прислушиваясь. Говорит дядя Рене. Тогда не стоит подслушивать. Лучше просто послушать. Вилфред быстро вошел через маленькую боковую дверь и сказал громко, еще не сойдя с низенького возвышения:

— Добрый вечер, здравствуйте!

И он по очереди стал обходить всех, приветливый, веселый, довольный... такой, каким они хотели его видеть. У тети Кристины в волосах появилась седина. Это было первое, что он заметил. Но он не подал виду, что заметил, зачем ее огорчать. «Стало быть, ей больше не для кого краситься», — подумал он.

Они очень обрадовались, увидев его. Почему бы ему не пойти им навстречу и не порадоваться в свою очередь? Он не стал просить тетю Клару показать медальон, но дал ей понять, что все помнит. Он легко коснулся медальона пальцами и сказал:

— Медальон... А знаешь, ты была бы мной довольна, я здорово справлялся с грамматикой в Вене...

Вот и об этом он сказал. Иначе никто не упомянул бы о Вене. А теперь он избавил их от необходимости избегать этой темы. И вышло так, будто они уже поговорили о поездке. А когда о чем-то умалчивают, получается так, точно об этом все

время говорят. Вот почему так важно уметь сказать вовремя и мимоходом. Важно уметь делать так, чтобы все радовались, чтобы всем было хорошо. Дома у Мириам хорошо. Ее родные хорошие люди. Она играет на скрипке для бедных.

Вилфред обошел всех. А теперь он пойдет в столовую, чтобы перекусить. Оставшись один, он стал корчить страшные гримасы. Но мать вышла за ним следом, и он прикрыл лицо рукой, чтобы она ничего не заметила. Теперь, когда он может говорить, ему необходимы эти гримасы. Родные не имеют права отбирать у него все разом. Когда-нибудь он сам отстанет от привычки гримасничать. Но изобретет что-нибудь другое. А под конец, может, и ничего не станет изобретать. Как отец.

Лишь бы только мать не вздумала остаться в столовой с ним наедине. Из желания порадовать ее на него может найтись приступ откровенности: «Я не был в консерватории, а сидел в парке с девушкой». И она будет радоваться его легкомыслию и тому, что у них появилась общая тайна. Потому-то он и не хочет, чтобы она оставалась с ним. Надо поскорее покончить с едой. Он охотно порадуется чем-нибудь. Но не тем малым, что принадлежит ему одному. Это такая малость, самая крошка. Вилфред выпил рюмку красного вина, потом еще одну. Он подумал: а ведь то, что принадлежит мне одному, можно раздуть, можно сделать из мухи слона.

Глухаря он запил еще несколькими рюмками вина. К сыру выпил хереса и еще стаканчик портвейна. Уже собираясь встать из-за стола, он быстро оглянулся и налил себе еще вина из бутылки, стоявшей на столе. За последнее время он приохотился к вину. Когда выпьешь, становится легче на душе. Да, из мухи можно сделать слона. Вилфред еще не знал толком как, но раздуть можно все что угодно. Когда-то он забавлялся тем, что крал, водил дружбу с уличными мальчишками. А такие вещи тоже можно раздуть. Он сложил салфетку, залпом выпил стакан портвейна и вернулся в гостиную.

Но в дверях он остановился. Кто-то назвал фамилию — фамилию пастора. Может, это была случайность, но Вилфред вспомнил о конфирмации. Он стоял в дверях — делать вид, будто не слышал, было поздно. Фамилия пастора была Стуб или как-то в этом роде. От пастора все в восторге, детей специально confirмуют в церкви Гарнисонкирке, чтобы только попасть к пастору Стубу. Удивительный пастор, такой снисходительный, не похож на священника. А это для священника высшая

похвала. И вот родные назвали имя Стуба. И Вилфред сказал:

— А ведь он мог бы заодно и крестить меня.

Воцарилась мертвая тишина. Потом тихонько хихикнула Кристина, беззвучно засмеялся дядя Рене. За ними рассмеялись мать и тетя Валборг. Тетя Клара прочистила нос.

— Ну да, я подумал о конфирмации, — сказал Вилфред шаловливо, подходя к ним поближе. — Мама у меня не очень-то пылкая христианка, стало быть, дядя Мартин, дорогой мой дядя, которому я так обязан...

Он попал в точку. Они действительно толковали о конфирмации. Собственно говоря, все они были глубоко равнодушны к обряду. Но дядя Мартин сказал, что из практических соображений, раз уж надо получать паспорт, не помешает и свидетельство о крещении, да и вообще...

Он попал в точку. Неужели это так просто — брякнул что-нибудь и сразу все уладил, и не надо ничего переживать, сколько себе по поверхности и забывай...

Он попал в точку. Надо только иметь наглость. И вовремя пропустить стаканчик. Но это им невдомек.

Он попал в точку. Мысли теснились в его мозгу, но как-то бестолково, в беспорядке. Может, дома у Мириам тоже так поступают? Сболтнут первое, что придет в голову, и дело с концом... Нет, не может быть. Не каждому везет, как ему сегодня.

Дядя Мартин сказал:

— Я думаю, мальчик прав, Сусси... Если тебе не очень трудно заняться этим... свидетельством...

Мать засмеялась. Ей ничуть не трудно. Она на все готова, лишь бы все были довольны. Мир, в котором она жила, на какое-то время вдруг неузнаваемо изменился. А теперь он снова начал входить в обычную колею. Ей совсем не трудно. Все улажено. Можно считать, что Вилфред уже окрещен.

Он играл для них. Играл то, что они просили. Когда дядя Рене попросил сыграть Моцарта, он сыграл и Моцарта. Получилось неважно, но раз дядя хотел... Вилфред еще раз поблагодарил дядю за репродукции. Хорошо, что они на отдельных листах — их можно повесить на стену.

Дядя Рене бросил на него испуганный взгляд.

Нет, Вилфред не собирается их вешать. Нельзя все время смотреть на одни и те же картины.

Дядя Рене облегченно вздохнул.

Дядя Мартин сидел с неизменным стаканом виски. Вилфред потянулся к нему через стол, чтобы чокнуться воображаемым стаканом, сказал «спасибо за все» и подмигнул. Стало быть, он упомянул об этом еще раз, уже сверх программы. Вилфред начинал переигрывать. Он чувствовал, что ему доставляет удовольствие переигрывать. Когда тетя Клара спросила его о школе, он сказал, что все идет хорошо, даже слишком хорошо — как видно, тут что-то неладно. Все засмеялись. Им нравилось, что он в хорошем настроении. Они внесли в это свою лепту. Это была их заслуга. В благодарность он должен переигрывать.

— А все дело в том, что я очень способный, — сказал Вилфред. — У нас в семье все очень способные. Посмотрите на близнецов дяди Мартина, да они же просто вылитые англичане.

Пожалуй, он хватил через край. Кажется, он поселил в них тревогу. Во всяком случае, две тетки переглянулись. Вилфред вернулся в столовую и налил себе еще вина из бутылок, стоявших на столе. Хорошо, что бутылки здесь стоят. Он вернулся, тихо сел на свое место и решил стать сдержанно-обаятельным. Ведь они в семейном кругу, их долг по отношению друг к другу быть веселыми, веселыми и обаятельными. Не боясь переиграть.

Он сделает так, что все снова будет хорошо. И будет становиться все лучше. Когда хочешь, чтобы все было хорошо, переиграть нельзя. Его предупредительность приняла такие размеры, что перед ней трудно было устоять, его молчаливая сдержанность пропитала все вокруг ожиданием. Разве он не в семейном кругу, в кругу тех, кто воссоединился после всего пережитого! Каждому из них пришлось что-то пережить. У каждого что-нибудь да было. Он по очереди подсаживался к дядям и теткам и глядел на них в упор. Он мешал теткам играть в лото, предугадывал каждый ход, продумывал за них ходы, им в смятении начало казаться, что, передвигая круглые картонные фишки, они повинуются чужой воле. Поглядев на стакан виски, который держал в руке дядя Мартин, Вилфред с быстротой молнии подал дяде сифон с содовой водой. Дядя Мартин стал нервничать и по рассеянности осушил еще один стакан. Дяде Рене Вилфред показал фокус с двумя кольцами и шелковым носовым платком. Он повторил фокус трижды, он выучил его еще в школе. Мать болтала с Кристиной, они болтали, интимно понизив голос, болтали о том о сем, как люди, которые ищут разрядки. Вилфред сделал вид, что прислушивается, — они

замолчали. Он в упор взглянул на Кристину, на мгновение раздев ее взглядом. Потом принес дамам фруктовую воду — не стоит беспокоить Лилли из-за такого пустяка. Два раза он возвращался за бутылками в столовую и каждый раз на ходу выпивал рюмку вина. Потом вернулся за стаканами для дам — про стаканы он забыл. И снова хлопнул рюмку, и еще одну. Оказалось, что он забыл про тетю Клару, пришлось вернуться еще раз.

— Да посиди ты на месте,— сказала мать. — Ты мне действуешь на нервы.

Он сел. Он сидел так нарочито неподвижно, уставившись на маленькие пасьянсные карты тети Шарлотты, что от тишины вокруг него стало больно ушам. Да, здесь все должно быть хорошо. Так хорошо, что от этой благодати должна настать мертвая тишина. Разве Вилфред не был самым юным отпрыском их рода, разве он не мог послужить примером даже для своих преуспевших двоюродных братьев — вылитых англичан? Разве он не достиг совершенства в искусстве очаровывать — сейчас он очарует их насмерть! Он неторопливо вышел в столовую, снова выпил вина — никто не скажет, что он суетится и действует людям на нервы. Наоборот, во всех его движениях была какая-то завораживающая размеренность. Он перехватил взгляд матери: исподтишка, не прерывая бесконечной беседы о том о сем, она неотступно наблюдала за ним, словно за гипнотизированная медлительностью, вызванной ее же замечанием. А он опять сидел как изваяние, смакуя выпитое вино, и ему казалось, что оно разливается по всему его телу, точно маленькие рюмки поднимаются все выше и выше по малюсеньким ступенькам.

В холле зазвонил телефон, он не вскочил, а медленно поднялся, сделав знак рукой — пусть, мол, никто не беспокоится, — и закрыл за собой дверь. В гостиной воцарилась мертвая тишина. Он слышал ее за собой, идя к телефону и сняв трубку.

— Мальчик пь я н , — сказал дядя Мартин.

Фру Саген встала и подала мужчинам сигары.

— Чепуха! — сказала она . — А что, если нам пойти в сад, поиграть в крокет?

— Если только мы разглядим шары , — с готовностью отозвалась тетя Шарлотта.

Вилфред долго не возвращался. Они стали прислушиваться.

— Придется что-нибудь накинуть на себя , — заметила Кристина.

Она подошла к двери, но остановилась. Ей не хотелось встретиться с Вилфредом в холле один на один, к тому же он говорит по телефону. Их просто гипнотизировал его телефонный разговор и то, что Вилфреда так долго нет. Когда он вернулся, все почувствовали какое-то облегчение. Услышав, что они собираются выйти, он тут же принес дамам пальто. Они будут играть в крокет, в миролюбивейшую игру, залог гармонического, безмятежного настроения. Вилфред притащил из гардероба все, что мог, целый ворох пальто и накидок, и стал помогать дамам одеться.

— Помилуй бог, мы же не на Северный полюс собрались, — сказала тетя Шарлотта.

Мать спросила:

— Кто звонил?

— Андреас, — ответил он. — Он опять забыл, что ему задано.

— Андреас? — переспросил дядя Мартин. — Это твой приятель, тот, который в очках? У него такой глуповатый вид.

Дамы уже покончили с одеванием и одна за другой, точно вереница отпущенных на свободу пленниц, потянулись на веранду, а оттуда вниз, на крокетную площадку. Галантно раздавив им молотки, Вилфред вернулся в дом. Все его хорошее настроение как рукой сняло.

— Андреас вовсе не г л у п , — холодно сказал он.

— Но я думал... — смешался дядя Мартин. — Ведь ты сам...

Вилфред почувствовал, как в нем закипает раздражение.

— Андреас очень хороший парень, — объявил он.

— Конечно, конечно, — подтвердил дядя Мартин.

— Очень хороший, — повторил Вилфред. — Он учится на вечерних курсах. Хочет выйти в люди.

Дядя Мартин сосредоточенно обрезал кончик сигары.

— Отец его человек небогатый.

Дядя Мартин затянулся сигарой и выпустил дым.

— А мать больна!

Дядя Мартин сказал, желая положить конец разговору:

— Очень жаль. Весьма прискорбно.

— Безнадежно больна, — упрямо повторил Вилфред. — И у него два брата. Один набивает чучела. Он пользуется мышьяком.

Дядя Мартин огорченно повертел в руках стакан. Он вдруг вспомнил о письме из школы, которое его сестра когда-то показала ему. Что-то в тех чернилах...

— Может быть, ты подашь мне пепельницу, — сказал он.

— Он продает чучела в музей. И вообще, по-моему, его отец пьет.

Вилфреду никогда прежде не приходило в голову, что отец Андреаса пьет. Все его хорошее настроение как рукой сняло. Он уже не был больше счастливым Маленьким Лордом. По телефону звонил директор школы. Он хотел поговорить с матерью. Вилфред ответил, что ее нет дома. В последнее время в школе возникли кое-какие недоразумения. Вилфред ждал звонка или письма. Как видно, ему никогда не избавиться от этих мелочей...

— Небогатый человек,— упрямо повторил Вилфред. — Даже просто бедный.

— Вот что, мой мальчик! — тихо сказал дядя Мартин. — Помни: никогда не следует напиваться за семейным обедом.

Вилфред уставился на него, разинув рот.

— При случае можно немного выпить, при случае можно пригласить родных на семейный обед, но соединять то и другое...

Дядя Рене, который расхаживал по комнате, разглядывая окружающие безделушки, подошел к ним ближе.

— Как нелепо выбрано место, — сказал он об иконе, висевшей над входом в эркер.

Мелочи. Они мельтешат вокруг тебя, берут тебя в кольцо. Об этом Вилфред и хотел рассказать венскому врачу — о мелочах, которые возвращаются снова и снова, цепляются друг за друга и опутывают тебя, словно сетью.

— Спасибо за совет, — сказал он дяде Мартину, когда дядя Рене снова отошел в сторону.

— Не за что,— беззлобно ответил дядя Мартин. — Вообще, насколько я понимаю, ты у нас из молодых да ранний...

Вилфред вяло взглянул на него. Дядя Мартин человек светский, он знает человеческие слабости, на свой лад он даже либерален. У него двое сыновей, с которыми ему не приходится говорить на неприятные темы. Вот человек, который не боится мелочей — он умеет с ними справляться.

— А хотя бы и так, что из того? — упрямо возразил Вилфред. Дядя Мартин пожал плечами. Подошел дядя Рене и предложил прогуляться, пока не совсем стемнело. Прогуляться втроем, в мужской компании. Дядя Мартин согласился: он был не из тех, кто любит длить неприятные минуты. «Мамин брат», — подумал Вилфред. Он сказал:

— А я, пожалуй, поднимусь наверх.

Наверху он заложил палец в рот, потом принял две таблетки аспирина. Дядя Мартин прав. Нельзя напиваться за семейным обедом. Напиваться вообще нельзя. И эта история в школе... Они втроем зашли на перемене в школьную мастерскую и устроили там выпивку. Вино принес Вилфред. Дело было довольно невинное, но один из участников попойки на уроке священной истории развоевался и заявил, что Христос был социалистом.

А уж эти директора... не могут сами навести порядок в школе. Обязательно им надо жаловаться родителям. Вилфред уже вышел из этого возраста. Он взрослый. Завтра он пойдет к директору, скажет ему наедине пару теплых слов и покончит с этой историей.

Вилфред лег на кровать. Да, пора покончить со всеми этими мелочами. Покончить — точное слово. Или покончить с мелочами, или с самим собой. С собой тоже можно покончить, если другого выхода нет. Если мелочи не поддаются. Или если их становится все больше и они растут и не хотят, чтобы с ними покончили.

Уже засыпая, он бросил быстрый взгляд на портрет отца... так тоже можно покончить с мелочами.

21

Он лежал голый, по нему ползали муравьи. В раны забились хвойные иглы.

Он медленно перевернулся, упираясь коленями в землю, и попытался уползти глубже под деревья. Но голова была такая, точно ее набили осколками стекла. Он снова упал, сдаваясь неизбежному. Причудливые тени, точно грузные всадники, проносились в мозгу, оставляя за собой сверкающие провалы.

Ссадины... Он осторожно ощупал кончиками пальцев другую руку от локтя до кисти. Пальцы в ужасе отдернулись. Потом он провел рукой под глазами. И рука, и глаза были чужими. Мелькнули короткие темно-синие вспышки воспоминаний, оставив за собой островки полыхающего пламени... Он застонал. Не может быть... Только не это... Память клубилась яростными волнами, точно расвирепешее море. Потом все снова куда-то сгнуло... потом опять всплыли какие-то обрыв-

ки, и он цеплялся за те из них, которые были менее мучительны...

«Кураре!» * В каком-то кафе ему вздумалось разыграть из себя шведа. Он подозвал официанта: «Кураре!» Подбежали какие-то люди, одетые в черное. Это было... было... где же это было?

Он рассказывал о своем отце. Точно! Подробности о своем отце: «Знали бы вы, какой он был строгий! Бывало, отстегнет манжеты, положит их на стол, а сам идет к зеркалу, за которым висят розги...» Его выкинули вон... нет, погодите, ничего подобного, его вежливо попросили уйти. Инспектор с рыжеватыми волосами, расчесанными на пробор... Нет, это было в другом месте...

Он молил бога ниспослать ему сон, безмятежный и бесконечный, и сон пришел, но не безмятежный, а пронизанный вспышками багровых молний, наполненный беззвучными видениями и не бесконечный, потому что то и дело прерывался, и в эти секунды проясняющееся сознание ослепляло нестерпимой болью.

На какое-то мгновение Вилфред даже сел, изумленно оглядывая стоящие вокруг ели, но потом на него снова обрушилось беспамяństwo, прерываемое приступами мучительной дрожи.

Забегаловки с грязными скатертями и официантами, прщеватыми и белесыми, как проросшие картофелины, — в одном из таких мест он и стал говорить по-шведски. А этих мест было много: какие-то кафе, молчаливые мужчины, перед ними маленькие бутылочки, и краснолицые, до смерти усталые мужчины за большими стаканами. Их было много, этих кафе, похожих на узкие пещеры, и все населены отцами. Вилфред с жадным любопытством разглядывал их, надеясь что-то узнать. Держался он совершенно прилично, пил маленькими стаканчиками и помалкивал. Но потом ему захотелось что-нибудь крикнуть. Где это было? Когда? Да, да, мать жила на даче, он был в городе один, приехал на пароходе, с тем чтобы вскоре вернуться на дачу, это было... да, да, возможно, что и вчера, вполне вероятно.

Ресторан «Масонская ложа». Точно. В маленьких трактирчиках, потягивая вино, он пытался выведать тайну отцов, но вел себя вполне прилично. А потом очутился в ресторане «Масонская ложа». В тот момент он все еще был хорошо одетым

* Официант (*шведск.*).

молодым человеком. Он ел одно за другим изысканные блюда и пил дорогое белое бордо. Он говорил с французским акцентом, советовался с метрдотелем и смаковал еду и напитки.

Но с этого ресторана и начались неприятности. Ресторан заполнялся; за столиками сидели хорошо одетые люди, Вилфред сам был хорошо одет, все шло отлично, он заказал коньяк.

Явился инспектор. Он наклонился над столиком, так что Вилфред увидел прямой пробор в его рыжеватых волосах, деликатно наклонился над столиком и осведомился, сколько лет молодому человеку.

Сколько лет? Двадцать один. Вилфреда часто принимали за девятнадцатилетнего, можно было спокойно прибавить года два. «Не можете ли вы чем-нибудь подтвердить это?.. Весьма сожалею, но мои обязанности... Каким-нибудь документом... — Каким еще документом? — Ну, какой-нибудь справкой. — Разве люди носят с собой справки? — Гм, в таком случае... — Какая же вам нужна справка? Может, свидетельство о крещении? Извините, но я магометанин... Впрочем, может, тут не обслуживают магометан? Я соблюдаю магометанскую субботу — слышали о ней, инспектор? В субботу я поворачиваюсь лицом к Мекке и пью коньяк...» И все-таки его не выгнали. Мужчина с прямым пробором терпеливо выслушал его болтовню и попросил расплатиться по счету. А потом решительно встал у двери и сделал ему знак глазами. И Вилфред ушел из ресторана «Масонская ложа», чинно шагая между столиками, а посетители посмеивались и, кажется, оборачивались ему вслед. А потом... Потом провал. Кажется, какой-то погребок в Ватерланне? Погребок, забитый пьяными, пивной погребок. Прогулка вдоль пристаней. Точно: он угадывал названия кораблей. Он шел, всхлипывая, вдоль таможи, увидел «Короля Ринга». Потом ему в глаза бросилась лебединая белизна «Конгсхавна» с его благородно изогнутым форштевнем. Он поднялся на палубу. Да, да, он пришвартовался именно там. Ресторан-варьете «Конгсхавн-Бад»... Там все и началось.

Он смутно помнил два круглых столика под лиственными кронами и сцену, где бойко выступали артисты, которые прекращали танцы и пение, когда мимо пронеслся поезд, — еще бы, он пронеслся прямо через парк между залом, располагавшимся под деревьями, и сценой; под громохание поезда певцы стояли с разинутым ртом, а острые смычки двух скрипачей застывали, как занесенные для удара копыя, пока последний вагон не исчезал вдали, и тогда каждый вновь принимался за пре-

рванное занятие. Да, вот как было дело... Цепи электрических лампочек между деревьями становились все ярче, по мере того как сгущались сумерки, а над ними расстилался темный бархат вечернего августовского неба, усеянный звездами среди листьев. О, какое унижение! Теперь Вилфред вспомнил все, но цеплялся за это воспоминание, потому что оно было ему приятно.

А вот дальше пошли неприятности. Появились двое...

Появились двое. Вилфред заметил их сразу. Они сидели врозь, каждый за своим столиком, за которыми сидели еще какие-то другие люди. Но все-таки они были вместе. Вилфред понял это с первой минуты. Сам он все еще сидел один. Но, по мере того как темнело, за столиками рассаживались посетители. Эти двое... Сначала подошел первый — парень в возрасте Вилфреда, вернее, в том возрасте, на какой Вилфред выглядел, — лет восемнадцати-девятнадцати. Парень в кепке; он поднял ее, подсел к столику, выпил пива. Немного погодя подошел второй, он был чуть постарше, чернявый, в соломенной шляпе с синей лептой.

Они спросили: «Сообразим?» Он не сразу понял, чего они хотят. Чернявый ткнул пальцем в свой стакан, он пил вино. Вилфред тоже выпил вина. И тут до него дошло — они хотят знать, согласен ли он раскошелиться. При этом слове парни хмыкнули, переглянувшись; тот, который был в кепке, поднял большой палец и заказал бутылку. Напиток был невкусный, парни почти все распили сами, но они держались дружелюбно, приняли Вилфреда в свою компанию.

На сцене Иса Даль пела песню о кустах сирени, ее прервал грохот поезда, идущего из Беккелага, и все было очень славно.

Выло очень славно, и ребята были славные, поначалу в них было что-то не совсем привычное, но мало-помалу они пришли Вилфреду по нраву. Он охотно заказал еще бутылку. Они пили, и всем было очень хорошо. Они опять распили вдвоем почти всю бутылку, Вилфреду больше пить не хотелось.

Но парни были славные. Приняли его в свою компанию. На сцене выступали акробаты из Малайи, они делали пирамиду. Прошел поезд. Кажется, Вилфред заказал еще бутылку, парни что-то рассказывали, особенно тот, в кепке, Вилфред точно не помнит, потом они подбили его на разговор, и он рассказал о своем суровом отце, который отстегивал манжеты перед тем, как высечь сына... Они подались вперед через столик.

— А больно он дрался?

— Еще бы! — Вилфред продемонстрировал один из отцовских ударов, бутылка упала на поднос, столик покачнулся, парни его подхватили. Все это было очень здорово.

— Вы слышали про моего отца?

— Ну да, ты же сам рассказывал. Он тебя бил.

— А про его револьвер я рассказывал? И он всегда носил с собой хлыст.

— Хлыст?

— Ну да, он много путешествовал. Верхом. У него было шестнадцать лошадей.

— Да ну! — Парни переглянулись с сомнением. — А на что ему было столько?

— Шестнадцать лошадей и десять жен.

— Десять жен? — Парни заморгали.

— Десять. Он вообще-то был магометанин.

Парни кивнули.

— Турок, стало быть?

— Нет, магометанин. Турок — это другое. У него был дворец в Бенгалии, и он командовал целой армией.

— Дворец? У него был дворец?

— В Бенгалии. И дом в Хюрумланне. И его любимую жену звали Аннасус.

— Аннасус. Аннасус. — Парни повторяли красивое имя. А чернявый сказал, что знает девчонку, которую зовут Лиспет. Если хотят, он ее позовет. Парень в кепке хотел. Вилфред тоже. Как видно, Лиспет находилась где-то поблизости. У нее была ранка в углу рта и длинные ногти. Она попросила чернявого угостить ее вином. Тот бросил повелительный взгляд на Вилфреда. Вилфред взглянул на парня в кепке. Тот ответил Вилфреду взглядом, в котором содержалось приказание и даже нечто большее. Лиспет получила вино.

О, теперь Вилфред многое вспомнил. Он вел себя прилично. Пил немного и вел себя благопристойно. Потом вдруг стал пить уже побольше. И повел себя менее благопристойно. Листва на бархатном фоне, над нею звезды, на сцене пожиратель огня, мчащийся через парк поезд, который давал гудок у Беккелага и с грохотом проносился мимо. Лиспет тоже хотела послушать об отце Вилфреда. Один из ее передних зубов был очень красивый, а второй не такой красивый. Она взяла руку Вилфреда под столом и положила себе на бедро. У него задрожал низ живота. Он сидел и угощал их бутербродами с селедочным паштетом и луком. С дерева на бутерброд упала гусеница —

Лиспет стяхнула ее на землю с грацией светской дамы... А потом? Что было потом?

Дальше больше. Вилфред стал называть ее своей Йомфру Люсьелиль, декламировал в ее честь народные песни.

— Срамота к а к а я, — фыркнула она.

Дальше больше. Вилфреду захотелось уйти.

Но выложенный гравием сад вдруг превратился в капкан. На сцене погас свет, как видно, все разошлись. Была девушка Лизбет, или Лиспет, она куда-то исчезла, и Вилфреду захотелось уйти.

Но те двое были здесь. Парень в кепке и чернявый с синей лентой на шляпе. Они и еще другие — те тоже были здесь, подстерегали у входа. Вилфред хотел уйти. Но при каждом движении наткнулся на что-нибудь.

Да, вот как обстояли дела. Кепка, парень в кепке. Он сказал Вилфреду: «Сиди на месте». Так и сказал: «Сиди на месте». Они ведь только что болтали, рассказывали друг другу всякие истории.

Приятные воспоминания вдруг рассеялись, уступив место другим, — Вилфред застонал. Кто-то из парней упомянул о каком-то подлеце и проныре. И рассказал историю, которая произошла в Грюнерлокке. Он знал когда-то одного такого проныру, такого предателя — тот тайком пробирался в Грюнерлокке и подбивал местных мальчишек на всякие мерзости. Он был как две капли воды похож на Вилфреда, только поменьше, этакая фитюлька из богатых кварталов. Однажды он убил старика еврея...

— Убил?

— Убил. Антисемит, барчук... попадись он мне теперь! Может, он еще немецкий шпион. Даром что молокосос. Ты что, не знаешь, что немцы замышляют войну? Кайзер Вильгельм замышляет войну. А капиталисты поддерживают немцев, не знаешь, что ли? А я социалист. — Это говорил парень в кепке. Лиспет при этом не было. Чернявый слушал с угрожающим видом.

— Убил? Насмерть?

— Насмерть. Бедного старика, хозяина табачной лавчонки. Он умер. Не сразу, но немного погодя.

— Убил? Убил насмерть?

— У старика был шок или как это там называется. Бедный старый еврей не то из Галиции, не то еще откуда-то. Его турки выгнали из родных мест, а может, и русские, кто их разберет. Его хоронила целая толпа. А его двоюродная сестра — впрочем,

нет, это была его племянница, дочь брата... Брат тоже еврей, он, бедняга, такие похороны устроил покойнику, а племянница до сих пор еще приходит в Делененг, играет беднякам на скрипке. Чистый ангел. Мириам ее зовут... Вот какие дела творятся в Грюнерлокке...

Но в ту пору все еще шло хорошо. Парень в кепке рассказывал, он тоже здорово надрался. Рассказывал, словно намекал на что-то. А чернявый слушал.

— Лиспет! — сказал он, обращаясь к деревьям. Лиспет появилась снова, в уголке ее рта была ранка. От Лиспет пахло луком; Вилфред смотрел на ее рот — не выползет ли оттуда гусеница.

Нет, нет, нет, нет!

— Лиспет, — сказал чернявый. Он говорил, не шевеля губами. Лиспет вышла из-за деревьев. Вилфред хотел уйти. Он встал. На сцене было темно. Пусто. Он истратил кучу денег.

Вилфред хотел уйти, но они были здесь. Зал под листвой опустел, но эти были здесь, у входа. Электрические лампочки в листве погасли. Но они были здесь. Сначала у одного выхода, потом у другого. Чернявый. А парень в кепке все говорил, говорил:

— В точности такой же тип, как ты, только поменьше. Убил бедного старика...

Чернявый был здесь, у обоих выходов сразу.

— Лиспет, — произнес он уголком губ, точно сплюнул.

И Лиспет оказалась тут как тут, точно вынырнула из листвы.

Но Лиспет и Вилфред друзья, правда ведь? И Лиспет была не прочь.

Отчего бы им с Лиспет не пройтись в Экебергский лесок...

Лиспет и он... Они взбирались по крутой пыльной дороге, потом шли какими-то тропинками. Теперь они были вдвоем. А может, нет? Лиспет повисла на его руке. Отяжелевшая, подвыпившая, она то и дело оступалась. Да, да, теперь он все вспомнил: ему хотелось провалиться на дно глубокой-глубокой ямы. За деревьями что-то шуршало. «А где остальные? — Наверно, разошлись по домам. — А парень в кепке? — Убрался в свои си. — А тот, чернявый? — Ну, он...»

Лиспет была не прочь. От нее пахло луком. Она знала в лесу одно местечко. Чуть повыше. И все щекотала Вилфреда. Все щекотала.

Насмерть? Насмерть... Что за околесицу он нес, этот парень в кепке?

А, ерунда. Он сумасшедший. Социалист или что-то в этом роде. А Лиспет знает в лесу одно местечко.

Да, он сумасшедший. Не стоит обращать внимания. Тем более Вилфреду. Вилфред барчук. А Лиспет любит только господ, она терпеть не может это мужичье. Они поднимались в темноте все выше. Тропинка была скользкой от росы.

Что это он говорил о похоронах и будто кто-то играет на скрипке?

Да просто они устроили из похорон демонстрацию — так они это называют. А на скрипке играет молоденькая евреечка, она приходит и играет для бедных. А Лиспет знает в лесу одно местечко. И опять щекочет Вилфреда.

Но из-за деревьев следили чьи-то глаза, в кустах прятались злые духи.

Вилфред хотел удрать, но она оказалась сильнее. Он хотел вырваться, но она оказалась сильной, как мужчина. В деревьях раздался шорох. И вдруг появились они. Парень в соломенной шляпе. Они появились со всех сторон. Лица — как светлые овалы в ночи. А наверху звезды, громкий шелест. И дождь искр в темноте...

По нему ползали муравьи. От этого он и очнулся. Рана под ухом сильно саднила, в нее забились хвойные иглы. Он услышал звон колоколов.

Воскресенье. А это случилось в субботу. Он должен был вернуться с парходом, который отходит в половине седьмого. Но начал слоняться по маленьким кафе. Он попытался приподняться, опираясь на руку, но рука подогнулась под ним. Он повернулся на спину и поднял руку другой рукой. На небе сверкало солнце. Как видно, рука была сломана. От запястья и выше она вся почернела от кровоподтеков.

Часы, привезенные из Берлина, часы-новинка: швейцарские часы, которые носят на руке. Вилфред поддерживал больную руку другой рукой. Часов не было. Все тело болело. Он был голый. Лежал на корнях какого-то дерева.

...И непрерывный звон колоколов... Наверное, уже не меньше половины десятого. А он лежит голый в Экебергском лесу в половине десятого утра в воскресенье. Осколки мозаики мучительно складывались вместе. Лиспет...

Ранка в углу рта. Доктор Стренен на Йоунгсгате, ребята в школе рассказывали о нем. Объявления о враче, специалисте по кожным и венерическим болезням, они читали как порнографическую литературу. Гоготали. Доктор Стренен на Йоунгсгате. Прием по воскресным дням. Делает впрыскивания. Коновал Стренен — прозвали его ребята.

Он повернулся на бок, встал. Кусты ожили, смех за деревьями, приглушенное хихиканье детей, мужской голос. Полиция. Крики девчонки. Полиция! Полиция...

Он бросился в глубь леса по другую сторону дороги. По дороге прогуливались люди. Впереди тянулся фьорд, по-воскресному синий, и по синей глубине скользили маленькие лодки. Он ринулся в другую сторону, шелестя кустами. Мчался стрелой.

Он мчался в глубь леса и стонал, одной рукой придерживая сломанную руку. Под глазом стучали и стучали молоточки. Он мчался из последних сил и наконец очутился на какой-то поляне. Тут стояли палатки, рядом — тир... Вилфред влетел в первую же палатку — раздался вопль. В палатке мылась смуглая женщина. Он бросился прочь, назад на поляну, и спрятался под навесом. Но позади него, за деревьями, были люди. Из леса быстрыми шагами вышел сторож — на фуражке околыш, в руке палка.

— Полиция! — кричали со всех сторон. Внизу кричала девчонка. Повсюду деревья, кустарники. Сторож двинулся к нему.

Вилфред помчался через поляну к карусели, нырнул под выкрашенную зеленой краской лошадь с седлом для катанья и спрятался за ней. Сторож подошел совсем близко.

— Полиция! — вопил кто-то. — Полиция! Полиция! — За кустами со всех сторон смех и крики. Вилфред снова бросился бежать.

Он бежал с ярмарочной площади вниз по склону через лес, через кусты барбариса на какую-то тропинку. Она была безлюдна. Он побежал по ней вверх — впереди среди сосен заблестела синева фьорда. Под глазами и во всем теле непрерывно стучали молоточки. Сломанная рука висела как плеть, но боли он теперь уже не чувствовал.

— Полиция! — услышал он крик где-то далеко позади и в стороне. Споткнувшись о корень, он упал, подмяв под себя сломанную руку. Боль вихрем пронеслась по телу. За ним гонятся, он в замкнутом мире, где оп больше ни над чем не властен...

Неужели это и есть его мир?..

Он снова мчался вперед, мысли бурлили в его мозгу. За ним гонятся со всех сторон, ему некуда уйти. Перед ним были скалы, обрывающиеся в сторону фьорда. Он спрыгнул с обрыва вниз. Но внизу были люди, одни прогуливались, другие сидели на скамейках. Какая-то дама обернулась и вскрикнула, все стали оборачиваться. Крики сзади и сбоку приближались. Он в ужасе остановился. Потом опять бросился бежать, но уже в другую сторону, к лодочной пристани в Гренли. Он видел красные буи в бухте Бьервик. Однажды он видел их сверху, когда-то видел их сверху. Он бежал, то и дело оступаясь, падая, сползая вниз...

Вилфред лежал на холме, поросшем реденькой травой. Внизу расстиралось море, позади высилась какая-то стена, в ней зияла глубокая ниша. Он вполз в эту нишу — там были разложены какие-то газеты, кто-то провел в нише ночь. Пустая бутылка из-под пунша, заткнутая бумажной пробкой. Он вполз поглубже, опираясь на колени и на здоровую руку. После падения у него ныла спина. Но криков сзади он больше не слышал.

Он вытянулся на животе и застонал, впившись зубами в каменную стену. И вдруг ощутил прилив какой-то странной мощи. Боль вытеснила его собственное тело, и оно взмыло к облакам, а боль осталась, боль — это и был он сам. Зеленоватые видения сменялись перед его глазами. Он уже лежал когда-то в такой вот впадине, он помнит это. Он был в стеклянном яйце. Яйцо разбилось! Снег в нем больше не шел. Падали не снежинки, а солнечный свет, он сочился отовсюду, и Вилфред чувствовал себя звучащей звездой в безграничном пространстве: поющей, звучащей звездой. Все голоса вокруг умолкли, слышно было только пение безвоздушного пространства, ласкающего его кожу, которая окрашивала кровью окружающую синеву.

Фру Фрисаксен! Он встретил ее в этом полете. Он приближался к ней бестелесным шелестом, а она плыла в своей лодке, в золоте солнца, невыразимо прекрасная, а от лодки ее исходили лучи, лучезарный нимб святости. Солнце померкло вокруг морщинистого лица, обращенного в сторону какой-то земли. Землю Вилфред не видел, но он видел ее отсвет на лице женщины, которое вдруг посвежело и разгладилось в отблеске щепочки островов с каплей солнца в синеве моря. Теперь она

тянула из воды мерлана. Он отливал серебром. В руке, которая держала рыбу, было какое-то неземное очарование.

Икона — как нелепо выбрано место.

Нельзя напиваться за семейным обедом...

Очарование, которое озаряло все вокруг, вдруг исчезло.

— Фру Фрисаксен! — простонал Вилфред онемевшими губами. Губы вспухли после падения, рот был полон крови. Он не мог говорить. Он был нем.

Все, все сделал для них маленький Моцарт, гордость и любимец своего отца. Детские пальцы, точно испуганные зверьки, метались по клавиатуре. Одобрение придворных серебром разлилось по залу.

Нелепо, нелепо выбрано место...

Маленькая девочка просунула голову в нишу. В углублении стало темно. Только вдоль ее щеки скользил луч света. Она напоминала маленькую Эрну. Эрну с шелковым шнурком, Эрну с неуместной преданностью, Эрну над тарелкой с геркулесом.

Вопль. Крик. Полиция! Полиция!

Рассудительные голоса мужчин.

— К морю, его надо искать у моря...

Яйцо разбилось. На него падали не снежинки, а лучи темного солнца. Мириам — она играла для бедных, она добрая. Владелец табачной лавки умер от шока. «Я социалист, имей в виду». «Новые времена, все меняется», — говорила мать. Дядя Мартин: «Война...»

Они были где-то рядом, но не могли найти нишу, они ходили и искали ее. Потом рука. Просунули длинную палку. Шлюпочный багор, чтобы поймать дикого зверя. Багор шарил в темноте, уткнулся в стену. «Никого». Багор убрали. С потолка бесшумно спускался паук, он ткал паутину, потом еще одну, с быстротой молнии взлетал вверх, потом спускался вниз, нитка за ниткой, паутина. Сеть — еще немного, и будет поздно. Пока еще Вилфред может вырваться. Паук взбирался вверх, сползал вниз. На глазах Вилфреда рождалась сеть, закрывающая отверстие. Он пополз на коленях к выходу, опираясь на здоровую руку. Снаружи раздавались голоса, голоса ползали вверх и вниз. Паук работал усердно. У него был крест на спине и злые глаза. Он остановился и поглядел на Вилфреда. Так они и смотрели друг на друга — тот, кто ткал сеть, и тот, кто хотел из нее вырваться.

Надо было торопиться. Он приподнялся, согнувшись, и поплыл вперед, сквозь паутину, которая натянулась и порвалась, приликая к щекам. Внизу лежало море. Свет ослепил Вилфреда. Голоса слились в общий крик. Его увидели — вот он, у стены.

— Он в крови!

Кровь текла из царапины под глазом, из руки, из многих новых ран. Он пустился бежать. Собралась толпа, масса людей, ставшая одним человеком.

Он перемахнул через ограду у железной дороги и упал на холодные рельсы. Если сейчас пройдет поезд, он не двинется с места. В первую секунду тяжесть колес, наверное, принесет ему облегчение.

Но поезда не было. Бесконечная усталость овладела им — усталость, которая должна положить конец жизни. Поезда не было. Но преследователи остановились у ограды. Пути... в жизни так много путей, распутье, разнообразные возможности. Но что из того? Пути не выбираешь, прежде он думал, что он выбрал путь в царство богатых возможностей. Но пути не выбираешь. Перед тобой путь, и вдруг ты на нем. Вилфред лежал весь в крови на этом своем пути, откуда не было выхода. Он ошибся в выборе пути.

— Быстро! Лодку!

Они были сзади и со всех сторон. Он вскочил, побежал вдоль полотна, повернул направо, потом стал взбираться на пыльный откос, поросший кустарником. Внизу, у самого берега, стояли одетые по-воскресному люди, готовые его схватить.

Он снова повернул направо, к лодочной пристани, где среди синей глади пролежала мутно-зеленая полоса канализационного стока. Тут никого не было. Вилфред прокладывал себе путь сквозь голоса. Во рту была кровь, захлебываясь, он бежал наискосок по склону над лодочной пристанью, потом вниз. И тут он прыгнул.

На берегу воцарилась мертвая тишина. Люди, изготовившиеся к прыжку, остановились. Юркий человечек с вывернутой ступней отвязал лодку. В тяжелом воздухе, пронизанном колокольным звоном, парили чайки.

На поверхности появилась голова, покрытая грязью. Вилфред поплыл. Одна его рука безжизненно висела. Крики на берегу слились в один общий крик. Целый лес рук указывал на него. Появились еще две лодки, образовавшие преграду на его пути.

— Вот он! — кричала толпа, запрудившая склон. Мужчины в лодках действовали по обдуманному плану. Один из них был усатый человек в рабочей блузе. Маленькие глазки настороженно следили за головой, поблескивающей в клоаке.

— Вот он! — вопили с берега.

Человек в рабочей блузе успокоительно поднял руку. Потом перегнулся через борт лодки так, что она накренилась.

— Теперь ему не у й т и , — сказал он.

ТЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ



DE MØRKE KILDER

Oslo

1956

Перевод Ю. Яхниной

СВЕТЛЫЕ ИСТОЧНИКИ



1

Метрдотель Валдемар Матиссен, по прозвищу Индюк, стоял в своем маленьком закутке, наблюдая за посетителями. Он стоял за высокой конторкой, спиной к залу ресторана и видел все. Над конторкой и вдоль степ его маленькой каюты была оборудована целая система зеркал, которые рассказывали ему обо всем происходящем в зале. Кое-что он видел через зеркала, вделанные в стены самого ресторана — таким образом отражение получалось двойным. Многие из того, что определяло жизнь метрдотеля, представало перед ним отраженным, иной раз даже дважды. Таким образом, большую часть времени он существовал в мире, перевернутом справа налево, и, когда, поворачиваясь лицом к залу, лицезрел ресторанный суматоху прямо перед собой, она казалась ему менее реальной.

Впрочем, в эти дни все казалось ему каким-то нереальным. Матиссен был метрдотелем старой школы и никак не мог привыкнуть к тому, что почтенных посетителей заведения, которых он знал на протяжении многих лет — знал их вкусы, их любимые блюда и напитки, — что всю эту благородную клиентуру вытеснили прилизанные юнцы, которые ведут себя бог знает как и швыряются такими неслыханными деньгами, что впору ума решиться. Матиссен стал нервно тереть заусенцы на пальцах.

Самый последний кабинет в глубине справа ускользал из-под наблюдения метрдотеля. В этом кабинете не было зеркал, да и вообще вначале этого помещения не было — оно появилось, когда зал расширили, убрав одну из внутренних стен. Кабинет этот во всех отношениях отличался от того целого, что для Матиссена составляло Зал, его атмосферу. Посвященные именовали кабинет Кабаком — в нем обычно проводили время молоденькие биржевые спекулянты, которые шеголяли днем в лакированных ботинках и однажды были застигнуты на месте преступления: запивали омаров красным вином. И если в эту эпоху упадка на всем заведении лежала печать владычества новоиспеченных богачей, то в Кабаке царили богачи самоновейшие, которые ежеминутно прожигали жизнь, чтобы увериться в своем богатстве, и все-таки не верили в него и без устали искали ему подтверждения в обильных потоках шампанского, за которое расплачивались неистощимыми кипами ассигнаций — фиктивным доказательством того, что они обладают более устойчивыми ценностями.

Собственно, одна из причин, почему такому человеку, как метрдотель Матиссен, время стало казаться нереальным, в том и заключалась, что исчезло мерило ценностей. Когда Матиссен выглядывал из своей каюты, словно кукушка из часов, он видел малыша Чарлза, занятого глубокомысленным разговором об акциях с бывалым спекулянтом вроде, к примеру, этого Роберта. Официанты называли подобного рода клиентов по именам — они и сами называли так официантов и всех, с кем им приходилось иметь дело. А у Чарлза и вообще не было фамилии. До прошлой пятницы он был чистильщиком обуви при ресторане и сидел в подвале перед уборной. В субботу в полдень он появился в ресторане среди посетителей, волосы его были смазаны бриллиантином, в накрахмаленных манжетах сверкали золотые запонки. Он проявил незаурядное умение держаться так, словно всю жизнь только и ходил по ресторанам. Лишь официанты мысленно все еще видели его во франтоватой форме чистильщика обуви и обслуживали с улыбкой, в которой сквозила не то снисходительная усмешка, не то ласковое умиление. Вообще-то говоря, каждый из них в большей или меньшей степени принимал участие в игре, в которой так быстро повезло маленькому Чарлзу. Они и сами в любую минуту могли превратиться в посетителей того самого зала, где сейчас служили официантами. Но они-то уж поостерегутся шеголять днем в лакированных ботинках и не ошибутся в выборе вин. Смышле-

ный официант за несколько месяцев узнает куда больше о том, что можно и чего нельзя, чем за свою долгую жизнь те, кто пользуется его познаниями.

Втянув голову в плечи, метрдотель Матиссен снова вернулся к своим зеркалам и заметкам, и его красноватое лицо скорчилось в неподобающую гримасу. Времена теперь таковы, что никому из посетителей нельзя отказать в неограниченном кредите, когда речь идет о такой презренной малости, как наличные. За несколько вечеров расчеты, которые вели сам Матиссен и официанты, превращались в столь сложную систему актива и пассива, что приходилось прибегать к маленьким уловкам, чтобы взыскать с клиента долги. Если ты предъявишь нынешнему богачу такую жалкую бумажонку, как счет от прошлой недели, он, пожалуй, выплеснет тебе в физиономию бокал шампанского. Зато он никогда не станет мелочиться и придирчиво просматривать сегодняшний счет — вот почему, если уж эти господа были в настроении платить, им приходилось раскошеливаться. А старые счета выбрасывались в мусорные корзины, по мере того как долги взыскивались другим способом, и не без процентов за пережитый риск.

Все новые посетители нескончаемым потоком вливались во вращающиеся двери по обе стороны зала. Это был сезон светлых гамаш, и обтянутые бежевыми и светло-серыми гамашами ноги непрерывно ступали по долготерпеливому красному ковру, осыпаемому пеплом и искрами от окурков наспех отброшенных сигарет. Теперь не в обычае было докуривать сигарету: ее отшвыривали прочь, едва только первые глубокомысленные замечания о биржевых курсах пробивались сквозь голубой дымок — им сначала жадно затягивались, а потом медленной струйкой выпускали сквозь неухоженные зубы. Было что-то птичье в этих ступающих по ковру ногах, за которыми Матиссен рассеянно наблюдал в зеркалах, — в этих скользящих, переминающихся, спотыкающихся, медлительных, торопливых и топчущихся на месте ногах в гамашах. В конце концов их движения начинали напоминать какой-то птичий балет: вот они переминаются, медлят и вдруг стремительно несутся в зал или из зала, смотря по тому, каких знакомцев обнаружил тот, кому принадлежит нога, — тех, к кому он устремляется навстречу, или тех, от кого еще решительнее мчитя прочь... В конце концов Матиссен столь многих изучил по нижней части их тела, что, пожалуй, именно ногам адресовал неприметный поклон, брезгливую мину, пожатие плеч, а в редких случаях, завидев знакомые ноги, по-

ворачивался в своем закутке лицом к залу, рассеянно поправлял галстук и выходил на манеж походкой в одно и то же время решительной и ненавязчиво скользящей, чтобы в конце концов согнуться в тугом поклоне, слегка кашлянув, с единственной целью отметить присутствие истинного друга в этом хаосе полувоспитанности и оскудения.

Вот хотя бы один из нынешних клиентов — этот самый Роберт. Фамилия? Валдемар Матиссен попытался вспомнить: Олсен, Хансен, Педерсен?.. Была же у него какая-то фамилия в ту пору, когда он, робея, раз в месяц, появлялся в местах, предназначенных для верхов общества. А потом друзья стали звать его просто Роберт. А потом он стал Робертом вообще для всех. Так теперь было принято.

Впрочем, он был славный и любезный малый, этот Роберт, и, когда хотел, держался как человек воспитанный. Прежде он работал продавцом в отделе дорогого постельного белья в одном из крупных универсальных магазинов, а до этого продавал всякую всячину вразнос, с особенным успехом торговал он этими современными «fountain-pens» — автоматическими ручками, которыми можно было писать чуть ли не месяц, не набирая чернил. Валдемар Матиссен был счастливым обладателем трех таких ручек с позолоченными перьями. Кое-кто из нынешних до того дошел в своем стремлении опростить язык, что звал их «самописками». Это тоже было в духе времени — заменять слова, вместо простых иностранных слов употреблять такие замысловатые названия на родном языке, что их и не упомнишь. Аэропланы, к примеру, стали называться самолетами, точно людям хотелось самый аэроплан стащить с небес на землю.

Было начало августа, сезон раков. Валдемар Матиссен до глубины души страдал, видя в зеркала, как нынешние процветающие клиенты терзают маленькие красные существа, которых он любил и как лакомое блюдо, и как создание природы. Он сам вылавливал их в ручье возле своего домика в Энебакке раз в две недели по субботам и воскресеньям, когда ему не приходилось дежурить и он проводил уик-энд на лоне природы. Ему нравилось это слово — «уик-энд», оно входило в моду среди приличной публики. В нем чувствовалась традиция, и в то же время от него веяло будущим, оно таяло во рту, как сладкий пудинг.

Но было сущей мукой смотреть, как эти нувориши обраща-

ются с раками — они словно бы стеснялись взять их в руки, как это делали знатоки, на которых они осторожно поглядывали. Нет, любителю раков невозможно было долго выдержать это зрелище, отвратительное во всех отношениях, как, впрочем, почти все, что происходило в стенах ресторана; а ведь когда-то здесь собирались благородные люди, которые, засидевшись допоздна, могли позволить себе назвать Матиссена по имени, в минуту благорастворения обращаясь с ним как с равным...

Валдемар Матиссен поднял голову к своим зеркалам, и тут лицо его приобрело то самое сходство с настороженным индюком, за которое персонал и наградил его прозвищем. Рука на мгновение взмыла к черной бабочке на ослепительной крахмальной рубашке, спина приобрела тот профессиональный изгиб, который соответствует стойке смиренно, и он неслышно скользнул навстречу маленькой группе, которая как раз вошла в зал через турникет с восточной стороны и теперь неодобрительно поглядывала на представившееся ее глазам грустное зрелище.

— Господин Мёллер, — произнес метрдотель, осторожно кашлянув и обращаясь к высокому тучноватому господину лет пятидесяти с благородными залысинами в седеющих волосах и с лицом дельца, прячущимся под маской жизнелюба. — Позвольте мне приветствовать вас, господа. Добро пожаловать, — продолжал он. — Могу ли я предложить вам столик?

— Мой столик... — сказал консул Мартин Мёллер с выражением почти детской обиды и бросил быстрый взгляд на самый дальний круглый столик, стоявший в нише, в простенке между окнами, где четверо недостойных сдвинули головы над чашками кофе. Компания была мужская — впрочем, в этот ранний вечерний час в ресторане вообще почти не было женщин.

— Как досадно, господин консул, что вы не уведомили меня заранее. Теперь так редко — к сожалению, слишком редко — вы оказываете нам честь своим... Если господам будет угодно присесть на минуту вот у этого столика, я тотчас... — Матиссен указал на нелепый крошечный столик у своего закутка, на котором в настоящий момент громоздились груды тарелок и салфеток. — Одну минуточку... — Валдемар Матиссен придал своей почтительно склоненной спине стремительный изгиб и полетел наискосок через зал между покрытыми белоснежными скатертями столиками с розовыми лампами под шелковыми абажурами, к злосчастному угловому столику, который считался одним из лучших, и поэтому большую часть времени на нем красова-

лась продолговатая карточка с надписью «занято». Мужская компания, которой днем разрешили занять почетный столик, по нынешним меркам, принадлежала к лучшему обществу. У метрдотеля была нелегкая задача — добиться, чтобы клиенты добром освободили место. По правде говоря, он и сам не знал, что им скажет, когда быстрым движением склонился над спиной того из мужчин, который весь день заказывал угощение и, по видимому, пригласил компанию в ресторан.

— Прошу прощения, господа, — начал он. Самый молодой из компании оторвал взгляд бесцветных голубоватых глаз от печатного листка с курсом акций, в который он было углубился.

— В чем дело, Валдемар? — спросил он, растягивая слова. — Что вас смущает? — И, обращаясь к своим старшим сотрапезникам, добавил: — Наш друг Валдемар, кажется, чем-то озабочен... Может, вам нужен добрый совет? — Хлопнув длинной белой кистью по листку, он злобно ухмыльнулся.

У Валдемара Матиссена была дурная привычка. Его короткие толстые пальцы всегда что-нибудь теребили — край промокашки, рубец салфетки. В данный момент он лихорадочно теребил заусенец на указательном пальце левой руки.

— Господин коммерсант знает, — сказал он, кашлянув, — что лично я не особенно интересуюсь — гм — нынешними бумагами... — Теперь все лица повернулись к нему в тревожном недоумении. Никто его не звал, он явился по собственному почину, что, строго говоря, было совершенным неприличием.

— Прошу прощения, господа, — повторил Матиссен, ища взглядом того, кого считал хозяином столика, — но лица, заказавшие столик, когда я разрешил вам, господа, занять его днем... — Матиссен снова кашлянул, проклятый заусенец вдруг начал отчаянно саднить. — Словом, господа, вам известно, что столик был заказан, и вот эти лица сейчас явились... — Матиссен заторопился — заторопился так, словно его жизнь зависела от того, успеет ли он опередить возражения клиентов. — Короче, они явились, и поэтому я осмелюсь просить вас, господа, быть столь любезными и пересесть — гм — за другой, за лучший столик... — Он неопределенно махнул рукой в сторону зала, который почти сплошь был заполнен группами спорящих. Только маленькие столики плыли пустынными островками в этом море темно-красных ковров и светло-красных драпировок: эти столики не были пришвартованы к стенам или колоннам, и нынешняя неуверенная в себе клиентура как-то побаивалась их, хотя, по мере того как со столов все быстрее уносили вереницы

пустых бутылок, только-только откупоренных, та же самая клиентура становилась совершенно бесстрашной.

Предполагаемый глава компании равнодушно поглядел в сторону и углубился в разговор со своим соседом — на поддержку с этой стороны рассчитывать не приходилось. Зато щеки бледнолицего юнца мало-помалу приобрели более естественный цвет.

— Вы хотите сказать, — произнес он своим тягучим голосом, — что намерены выкинуть нас вон? Так вас следует понимать, господин Матиссен?

Метрдотель с грацией отчаяния скользнул вокруг стола и доверительно, но с неукоснительной почтительностью склонился к молодому щеголю, который до наступления новых времен, наверное, продавал нижее белье.

— Господин коммерсант не понял меня, — проникновенно сказал он, чуть усмехнувшись нелепости подобной мысли. — Как можно, господа! Вы здесь желанные гости, сегодня, как всегда... Я только хотел сказать, что этот столик был заказан еще рано утром, и мы решились предоставить его вам, уступив зашей настоятельной просьбе, господа, на то время... на то время, что он свободен. Однако теперь, поскольку лица, которыми столик был заказан, явились в ресторан, я лишь позволил себе спросить, не будете ли вы столь любезны...

Щеки юного посетителя приобрели прежнюю бледность, а в пальцах мгновенно появилась стокроновая бумажка. Она скользнула из его руки в сторону опущенной левой руки метрдотеля с кровоточающим указательным пальцем. Это была минута драматической борьбы за престиж между двумя людьми: юнцом из нарождающейся аристократии, для которой деньги были ключом, открывающим все двери, и почтенным представителем дворянства благовоспитанности, для которого было вопросом чести не допускать какого бы то ни было панибратства на денежной основе. Метрдотель, лишь для вида постаравшись скрыть усталую улыбку, воззрился на переносицу молодого человека. Это средство действовало почти безотказно, когда надо было смутить противника. Оно и тут не подвело. Юнец смущенно огляделся кругом. И вдруг Матиссена осенило вдохновение. Он доверительно склонился над столом, смущенно покосившись в сторону зала.

— Я просто полагал, если господа желают кое-что получить к кофе-мokka, — таинственно прошептал он. — В отдельном кабинете...

Это было одно из тех интимных предложений, которые вносятся таким тихим голосом, что можно подумать, будто произнесенные слова только померещились.

Однако подействовали они мгновенно. Глаза бледнолицего юнца загорелись, и он благосклонно поглядел на метрдотеля.

— Господа,— сказал он негромко, но внушительно. — Наш друг Валдемар внес великолепное предложение, которое я позволю себе принять от нашего общего имени. — Он перевел многозначительный взгляд с кофейных чашек на вопрошающие глаза приятелей. — Итак, господа, *allons enfants!* * — И он встал. Остальные последовали его примеру. Между тем стокроновая бумажка неприметно для окружающих все-таки перешла из одних рук в другие, но теперь это было как бы даже знаком благосклонности со стороны метрдотеля. Он тотчас возглавил маленькую компанию биржевиков и повел их развернутым строем наискосок через зал. Шествие закончилось в самом дальнем углу Кабака, где скрытая в обоях дверь поглотила посетителей и их поводыря, который тут же с облегчением вернулся обратно и едва заметным движением приказал официантам и их подручным привести в порядок вожденный угловой столик, чтобы усадить там самых почетных клиентов. Гордый своей победой, он подошел к консулу Мёллеру и его гостям. Они заняли места за столиком, разговаривая по-английски. Поэтому многие провожали их взглядами. Страждущая нация мореплавателей стала проявлять к Антанте смешанную с любопытством симпатию после того, как немцы в ярости отчаяния повели особенно ожесточенную подводную войну.

Консул Мёллер помедлил, прежде чем усесться за столик.

— Послушайте, Матиссен,— сказал он, понизив голос. — Вы ведь знаете моего молодого племянника, Вилфреда Сагена...

— Имею честь.

— Вздор, Матиссен. Между нами говоря, эта честь весьма сомнительная. Скажите, заходил он к вам в последнее время?

— Мы не имели удовольствия...

— Послушайте, дружище, — весело сказал «дядя Мартин». — Оставим удовольствие в покое. Ни вам, ни, честно говоря, мне никакого удовольствия его частые посещения не доставляют. Я заметил, что его так называемые друзья из нынешней напористой аристократии сидят вон в том отсеке. Если он явится...

* *Здесь: пошли! (франц.).*

Метрдотель склонился к консулу в позе, которая говорила о том, что он слушает, но ничего не обещает.

— Не правда ли, Матиссен, — нервно продолжал консул Мёллер, — ни вы, ни я не слишком жаждем его прихода, а я так нынче вечером в особенности.

Небольшая купюра уже появилась было из пиджачных недр «дяди Мартина». Но доверительный жест не встретил сочувствия у метрдотеля.

— Господин консул, конечно, понимает — гм — не так легко, ну да, не так легко отказать... я хочу отметить, что молодой человек своим поведением никогда не давал повода...

— Вздор, Матиссен. — Купюра как по волшебству сменилась другой, совсем иного достоинства, и также перешла из одних рук в другие, причем проделано это было так, что несчастный метрдотель просто не в силах был этому воспротивиться. Консул с облегчением уселся за столик и привычно включился в беседу, как он мог включиться в любой разговор почти о чем угодно на трех распространенных европейских языках. — Господа, — предложил он тоном любезного диктаторства, — давайте условимся, что нынче вечером мы будем говорить обо всем на свете, кроме акций. Да, да, я готов толковать даже о промышленных займах, об облигациях и национальной вражде, только бы не касаться судебных акций. Что до них... — он с неодобрением огляделся в округ, — мне кажется, здешний воздух и так уже перенасыщен ими.

Трое гостей консула сочувственно хмыкнули. Только британский гость торопливо пробормотал, что, судя по его наблюдениям, эта тема поистине неисчерпаема для нации героев моря, но что он этим хочет лишь подчеркнуть свое отвращение к игре на бирже и к спекулянтам, которыми — он тоже это заметил — они окружены.

Между тем в Кабаке бурно нарастало веселье, и, как это иногда случается в большом и людном помещении, центр тяжести внезапно переместился туда. Человек, которого звали Робертом, сидел там за столом с адвокатами Фоссом и Даммом — это была постоянная клиентура — и с молодчиком, который еще до середины прошлой недели, кажется, служил на побегушках у мясника. И вот теперь упомянутый Роберт поднял кверху два сжатых кулака — посвященные знали, что это означает. Когда упомянутый клиент поднимал кверху палец — это значило, он требует бутылку шампанского, пять пальцев означали пять бутылок шампанского, а сжатый кулак — полуторалитро-

вую бутылку. Одной и той же неизменной марки — «Вдова Клико». Постоянные посетители понимали этот безмолвный язык, понимал его метрдотель Матиссен, каждый официант и подручный понимал его и боялся. Два сжатых кулака означали две большие бутылки «Вдовы Клико», и притом сию минуту.

Можно было подумать, что винный погребок находится тут же — впрочем, в данном случае так оно и было, потому что дежурные официанты всегда держались начеку, когда в Кабаке назревала стадия «Вдовы Клико»; бутылки, как по волшебству, появились из вращающейся двери, ведущей в кухню, хлопнули две пробки, давая сигнал старта бурной вспышке веселья, которое, впрочем, в мгновение ока могло смениться предвестниками драки. Сидевшие в Кабаке схватили громадные бокалы с такой алчностью, точно педелями томились от жажды, и только проворное вмешательство официантов помешало бутылкам попасть в неумелые руки: непривычная тяжесть полуторалитровых бутылей зачастую приводила к мокрым пятнам на скатерти. Персонал ресторана хорошо знал по опыту замашки завсегдатаев Кабака. Официанты не спускали глаз с этой особой клиентуры, чтобы вовремя пресечь ее суетливую самостоятельность. Но впрочем, у пирующих всегда можно было получить дельный совет насчет судебных акций, неизменно стоявших на повестке дня, — и это искупало те мелкие неудобства, которые причиняли персоналу напористые молодые представители деловой Норвегии.

Метрдотель Матиссен дерзал быть единственным, кого не интересуют биржевые дела. Зато своей ненавязчивой деятельностью посредника он обеспечивал себе прибыль, не сопряженную с риском, к тому же избавив себя от хлопот с бумагами. Для него были и остались загадкой все эти свежие, как морской ветерок, названия акционерных обществ и кораблей, вся эта мистерия моря, войны и риска, которая в мире, где он обретался, как ни странно, была представлена молодыми людьми, не знающими, к какому блюду какое вино подают, и юнцами с салфеткой под мышкой из числа его подчиненных, разбирающимися в тарабарщине биржевого языка настолько, что пожилой аристократ из сословия метрдотелей просто становился в тупик.

Матиссен стал нервно теревить заусенцы на обоих указательных пальцах... В чем дело, отчего он так волнуется?

Ах, да, он думает о молодом Сагене — о том, что «дядя Мартин» просил не впускать этого молодого человека в ресторан.

Матиссен решительно покинул свой наблюдательный пункт у зеркал и отправился к вертящимся дверям — сначала по одну сторону, потом, пройдя через покрытый дорожкой холл, — по другую. У каждого входа состоялась короткая приглушенная беседа с дежурным привратником, и небольшая ассигнация перешла из одних рук в другие. Только помните — никакого шума, никаких оскорблений. Скажите, что мест нет, скажите что угодно.

В этом заведении все точно сговорились заниматься денежными сделками. Всякое предложение автоматически рождало спрос. Казалось, монотонное биржевое «покупаю» — «продаю» охватило целое общество посвященных — иначе говоря, всех, кто был причастен к жизни, кипевшей в провинциальном городском «сити» с его процентными бумагами, бумажными деньгами и прочими бумажками, в «сити», отстоящем на десятки духовных километров от тихих районов города, где чиновники и прочие люди, получающие твердое жалованье, влачили доисторическое существование, основанное на старозаветных кронах и эре, которые добывались в поте лица и таяли на глазах домашних хозяек; бедные женщины в отчаянии ломали руки, ибо цены на масло фабричного производства, которое они покупали для своих больших мужей, поднялись уже до 2,5 крон за килограмм, а им самим приходилось есть китовый жир, и под его бурным натиском на пищеварение у них постоянно болели желудки.

С той минуты как от столика завсегдатаев Кабака был дан сигнал старта, по ресторану поползло тревожное возбуждение, телепатически передавшееся в самые отдаленные его точки — служащим гардероба и портье. Возбуждение это в истоках своих было отмечено печатью веселья, но оно же было чревато и скандалами. Скандал мог возникнуть от чьей-то блажи, от неправильно понятого заказа, от любого пустяка, который в разгоряченных головах разрастался до неслыханных размеров. По сути дела, эти мелкие происшествия играли роль искр, поджигавших атмосферу, перенасыщенную нервными парами. Довольство и недовольство в этих обстоятельствах вели к одному. Круги веселья и гнева пересекались под воздействием хмеля на неискушенные организмы. От внезапного разгула за столиком в Кабаке все сидевшие в ресторане заговорили громче, стараясь, чтобы их услышали, и для вящего убеждения стали энергичней размахивать руками. В такие минуты случайная причуда кажется глубоко продуманной мыслью, а самые дерзкие

заявления — плодом глубоких размышлений, основанных на долгом опыте. Судовые паи за столиками переходили из одних рук в другие, и многие спешили к телефонным будкам, расположенным за дверями зала, чтобы отдать распоряжения, измеряемые пятизначными числами. Хладнокровные маклеры, рабочий день которых продолжался круглые сутки, с бесстрастными лицами записывали распоряжения, полученные за конторками или у других ресторанных телефонов, куда их подзывали метрдотели, с невозмутимым видом пытавшиеся угадать, откуда ветер дует.

И вот в эту-то минуту в дверях появился Вилфред Саген — светловолосый, очень стройный юноша с темно-голубыми глазами и с затаенной, как у дикого зверя, силой: стоял он или двигался, в нем чувствовалась мгновенная готовность реагировать на происходящее.

Он помедлил у вращающейся двери и оглядел зал, чуть прищурясь от сигарного дыма, клубившегося под потолком. Его приход вызвал оживление за столиком в Кабаке, где два сжатых кулака тотчас снова взметнулись вверх, в свою очередь породив лихорадочную деятельность кухонного ведомства.

Метрдотель Валдемар Матиссен закрыл глаза. Не в переносном смысле, как перед лицом неприятного явления, а в самом прямом. Стоя в закутке перед зеркалом, он плотно, как от боли, зажмурил глаза.

— Сукин сын швейцар Йенсен, — пробормотал он, неожиданно прибегнув к вульгарному обороту, заимствованному из времен, когда он плавал буфетчиком на корабле. «А ведь юный бездельник даже и не заплатил швейцару, — мелькнула у него мысль. — Он из тех, что пройдет и сквозь запертую дверь».

Когда метрдотель открыл свои многоопытные, усталые глаза, он увидел, что нежеланный посетитель уже сидит со своими приятелями в Кабаке, но увидел также, что происшествие прошло незамеченным для столика с почтенными гостями.

А что, если и этих непрошенных молодых людей переместить в отдельный кабинет, где смотрят сквозь пальцы на нарушение несовершенных запретов на спиртное? Рискованное дело. Это было мрачноватое помещение для молчаливых и сдержанных гостей с тихими голосами. Нельзя здорово живешь махнуть рукой на твердо установленную иерархию, которая помогает достойному заведению держаться на плаву в тяжелые времена. Вместо этого Матиссен решительно скользнул к почетному столику, словно желая удостовериться, что все здесь идет

согласно желаниям консула Мартина Мёллера. Во время этого тактичного маневра он поймал одобрительный взгляд консула, который мог означать и то, что он вообще удовлетворен, но мог быть также безмолвным намеком на недавний уговор. Пока еще ничего не открылось. Гости консула приступили к лососине и мозельскому, неторопливо смакуя их и продолжая негромкий разговор, как и подобает посетителям дорогого ресторана. Матиссен продолжал неторопливо кружить по залу, на ходу подавая мимические знаки обслуживающим духам, обеспечивающим ничем не омраченное застолье в такие напряженные вечера. Еще в самом начале вечера Матиссену пришло в голову слово «манеж». Он и в самом деле чувствовал себя сейчас как бы укротителем, окруженным дикими зверями, с которых нельзя спускать глаз, чтобы скрытые хищные инстинкты не вырвались наружу языками пламени под действием таинственной связи, возникающей между возбужденными особями...

Матиссен придумал себе дело на кухне, где краснолицые мужчины в белых поварских колпаках сновали у раскаленных плит. Жара здесь была нестерпимой. Метрдотель с трудом перевел дух. Среди оголтелых новаторов кулинарного искусства уже велась сговоры о том, чтобы создать электрическое оборудование для приготовления пищи. Чего только не предлагали в нынешние времена фантазеры представителям ремесла, почитающего традиции. Матиссен тяжело вздохнул и стал пробираться к дверце, ведущей на черный ход, куда на минутку другую выходил отдохнуть усталый персонал кухни: краснолицые, задыхающиеся от кухонного жара повара вбирали в себя прохладу августовского вечера, любуясь мерцающими в вышине звездами. Они нехотя посторонились, освобождая место величественному шефу ресторана: для них он был не начальство, а почти посторонний, из тех презренных, что обретаются «внутри» и получают огромные чаевые, не прикладывая рук к настоящей работе. Эта враждебность тяжелым грузом давила на взвинченные нервы метрдотеля. Он был человек миролюбивый, поддержание мира стало его жизненной задачей — люди должны бесшумно скользить по мягкому ковру, пусть даже каждый из них стремится в первую очередь к собственной выгоде. Матиссен знал людей с этой стороны — только с этой. Но зато сторона эта оборачивалась самыми неожиданными гранями. Что таится, к примеру, за фасадом неизменной любезности консула Мёллера? От метрдотеля не укрылось, что окружение господина Мёллера подсмеивается над его титулом

консула — стало быть, ему не чуждо тщеславие. А может, кое-что еще? Может, если зверя раздражить, он становится опасным? Может, способен строить козни, а то и попросту уничтожить ближнего, который станет ему поперек дороги? Чем, например, объяснить такую явную враждебность консула к его молодому племяннику, красивому юноше, который держится так свободно и чуть вызывающе? Возможно, он лодырь, как вся нынешняя молодежь, но по крайней мере лодырь с хорошими манерами, воспитанный и относительно сдержанный молодой человек, который не позволяет себе открыто безобразничать на глазах у всех, как поступают нынешние законодатели нравов, его ровесники или те, кто на несколько лет старше. У служащих ресторана никогда не было повода на него жаловаться. Молодой человек не отличается общительностью, скорее наоборот — одет в броню холодной иронии, отчего с ним даже легче иметь дело. Может, и за этой физиономией тоже кроется что-то опасное, впрочем, Матиссену до этого дела нет... И однако, метрдотель, улучив незаконную минуту передышки, вдыхал вечернюю прохладу и до крови тербил заусенцы на обоих указательных пальцах, с волнением думая о том, что повлечет за собой появление в ресторане молодого человека.

Так он и знал. Он понял это в ту самую минуту, когда скользнул в узкий проход, ведущий к турникету: что-тостряслось. Понял это с обостренной чуткостью раскаяния. В зале не слышно было ни возбужденных голосов, ни звона разбитых стаканов — того, чего он пуще всего боялся денно и ночью. В ресторане стояла тишина. Как видно, произошло нечто из ряда вон выходящее. Матиссен провел тыльной стороной ладони по лбу — еще одна неожиданная вульгарная привычка у этого вышколенного аристократа. На мгновение он помешкал, потом поправил галстук с тем самым выражением и намерением, с каким укротитель львов сильнее сжимает вилы. Открыв дверь, он быстро двинулся по залу, и на лице его была написана полнейшая профессиональная невозмутимость.

Официанты Гундерсен и Баккен бросились к нему с неуместной поспешностью, которую метрдотель тут же укротил, вздернув левую бровь. Но их возбужденную мимику укротить не удалось. Взгляды их указывали в сторону злополучного столика в Кабаке, где между недавно появившимся Вилфредом Сагеном и господином Робертом заняла место особа женского пола. Определение «особа женского пола» родилось само собой, как наиболее точная в словаре Матиссена характеристика по-

сетительницы. Ибо дамой назвать ее было никак нельзя. Что там ни говори о вырождении клиентуры в эти безумные времена, в оценке женской ее половины до сих пор никакого сдвига в сторону демократизации, слава богу, не произошло.

Вновь прибывшая особа во всех отношениях привлекала к себе внимание. Темно-синяя шелковая юбка до колен произвела переполох еще тогда, когда особа под руку с Вилфредом изящно прошествовала через зал. Вдвоем они являли собой как бы вызов трудноуправляемому обществу, которое немедленно ощутило себя обществом порядочным. Теперь, когда особа сидела за столом, главным в ее облике были огненно-рыжие волосы, коротко стриженные по образцу так называемых cutting, которые можно было увидеть на самых смелых заграничных фотографиях. Они непривычно обнажали затылок, как бы намекая на наготу вообще. Слегка жестикулируя правой рукой, особа держала в ней черный, инкрустированный янтарем мундштук невероятной длины, а в ушах под пожаром волос висели две рубиновые капли, которые в воображении молодой напористой Христиании превращались в капли тигриной крови. Вообще, в глазах передового круга, чьи революционные склонности до сей поры ограничивались лишь непривычно огромными доходами и привычными дурными манерами, это было пиршество непристойности, превзошедшее самые разнузданные мечты. Прежде чем Валдемар Матиссен решил, как ему следует действовать, зловещую тишину прервал ропот, столь же непохожий на разговоры о деньгах и цифрах, как непохож шум водопада на журчание ручейка на лужайке. Женщина была из тех, что способны околдовать совет общины, вызвать скандал на семейном обеде, а избранное мужское общество заставить забыть возраст и уважение к себе.

Столик в Кабаке в полную противоположность всему остальному залу сохранял возмутительное спокойствие. Лицо и даже вся голова Валдемара Матиссена приобрели цвет и форму, которые еще более оправдывали прозвище — Индюк. Оторвав взгляд от предмета всеобщего негодования, он опасливо перевел его на столик в нише и с облегчением, какое дает надежда на отсрочку, удостоверился, что с того места у окна, где сидел консул Мёллер, особа была невидима, так как ее скрывал выступ, отделявший Кабак от остального зала.

— Гундерсен, — тихо окликнул он одного из перепуганных официантов, знаком поманив его к себе. — Кто впустил эту даму?

— Спроси лучше, кто ее не остановил, — живо возразил официант. — Молодой Саген встретил ее в вестибюле. И они болтали вроде бы не по-нашему.

Индюк насторожился. Надменное выражение постепенно исчезало с его лица.

— Не по-нашему?

Гундерсен кивнул.

— Так сказал швейцар Йенсен.

Ну погоди ты у меня, Йенсен! Впрочем, это потом. Внезапная надежда вспыхнула в душе Матиссена. Если дама иностранка, это меняет дело. От иностранки не приходится требовать, чтобы она вела себя, как местные клиенты. Не исключено, что из этого обстоятельства можно даже извлечь выгоду.

Но радость Матиссена погасла, едва он бдительным оком окинул зал из своего закутка — он заметил, что волнение клиентов явно нарастает. Тому были веские причины. Необыкновенная особа запустила свои сверкающие пальцы в темную гриву господина Роберта; было в этом движении нечто неприличное, что вызвало шумное веселье у ее сотрапезников и приглушенное перешептыванье за соседними столиками. Вся эта новая публика, к сожалению, не скрывала своего интереса к необычному. Валдемар Матиссен стал нервно теревить кровоточащие заусенцы, понимая, что от него ждут решительных действий.

Но что, если эта особа и в самом деле иностранка и по меркам своей страны выглядит, так сказать, обыкновенно?.. В молодости Матиссен немало поплавал по свету и каких только дикувинок не повидал в заморских краях... К тому же стоящий в отдалении почетный столик по-прежнему ни о чем не подозревал.

— Гундерсен, — шепнул метрдотель с профессиональной деловитостью, которая всегда передавалась его подчиненным. — Проверь, что делается со столиком номер четырнадцать. Пусть Квам поживее подаст рябчика, и не забудь — тут же разлей по бокалам бордо.

Официант Гундерсен удалился, радуясь полученной отсрочке. В десять часов Баккен сменится с дежурства, и тогда ему самому придется обслуживать Кабак. В его душе надежда боролась со страхом — останется к тому времени женщина в ресторане или уйдет? Когда Гундерсен вернулся к метрдотелю, Индюк уже снова приобрел свое характерное выражение. Бросив взгляд на злополучный столик в Кабаке, он установил, что

там разыгрываются неслыханные события. Один из не слишком воспитанных друзей господина Роберта непристойно навалился всей грудью на стол, неуклюже пытаясь дотянуться губами до лица упомянутой особы. Гундерсен в перепуге воззрился на своего шефа.

— Ширму! — прошептал тот. — Живо! Ширму к четвертому столику!

Гундерсен беспомощно тарашил глаза — тащить ширму через зал было ниже его достоинства.

— Живо, говорят тебе! — приказал Индюк, а сам уже схватил розовую шелковую ширму, которая в сложенном виде стояла у входа в его закуток. Они вдвоем понесли ее через весь покрытый ковром зал — причем шествие их напоминало восточную церемонию с несением балдахина, — одним движением развернули ширму, и Матиссен пробормотал, что молодым людям, наверное, будет приятнее, если им не будут мешать.

Зал был разочарован. С этой минуты может произойти невеста что, а они этого не увидят. Довольно громкие возгласы «Валдемар!» свидетельствовали о всеобщем недовольстве. Глядя поверх голов и раздавая направо и налево ненужные приказания, метрдотель проскользнул через враждебную зону и теперь с любезной улыбкой склонялся к столикам, которые сохраняли нейтралитет, осведомляясь, как себя чувствуют клиенты, — этот маневр всегда действовал безотказно, как на тех, к кому был обращен вопрос, так и на остальную часть этой неуверенной в себе клиентуры, которая всегда мечтала удостоиться подобной чести.

Но в эту самую минуту Матиссен увидел одну из тех бродячих крыс, от которых, кажется, не может уберечься ни один ресторан в Христиании: это был любезный, седоватый маклер, который имел привычку после кофе расхаживать от столика к столику, выискивая хотя бы тонюсенькую ниточку знакомства, за которую можно ухватиться, чтобы получить приглашение присесть к столу. И вот теперь метрдотель обнаружил, что этот навязчивый господин уверенно движется к почетному четырнадцатому столику, вопросительно поглядывая на сидящих за ним, а те поочередно отводят глаза в сторону. Но общительный маклер был не так прост — он знал, к какому средству прибегнуть. В последнюю минуту он избрал тактику сердечной фамильярности и, обвив своей левой рукой — этакая дружеская лапа — плечи консула Мёллера, протянул правую пятерню для рукопожатия, от которого нелегко было уклониться то-

му, на кого пал его выбор. Валдемар Матиссен знал: через пять минут происходящее в Кабаке станет известно консулу — и все погибнет. И снова приходилось действовать немедленно, и притом вразрез с традицией, в которой он воспитывался тридцать лет. Повинуясь наитию, он поманил к себе официанта.

— Скажи молодому Сагену, что его просят к телефону. К тому аппарату, который в вестибюле! Да поживее!

Метрдотель считал секунды, которые прошли с того мгновенья, когда молодому человеку передали его слова, и до того, когда он небрежной походкой удалился в вестибюль, где консул, который как раз поднял встревоженный взгляд, уже не мог его видеть. Консул вставил в глаз монокль, стекло угрожающе блеснуло — это не предвещало ничего доброго.

— Гундерсен, — шепнул метрдотель. — Живо к четырнадцатому, наполни бокалы. Если консул Мёллер спросит, здесь ли его племянник, говори: нет.

Монокль был теперь нацелен прямо на Матиссена, но Гундерсен уже двигался к столу. А сам Матиссен, повернувшись на каблуках, через турникет устремился в вестибюль, где была телефонная кабина. Молодой Саген уже выходил из кабины. У метрдотеля не оставалось выбора, он подошел прямо к юноше и остановил его, не тратя времени на извинения. Он рассказал все как есть, беспомощно разводя своими истерзанными руками — я, мол, тут ни при чем.

Ей-богу, молодой человек был славный малый.

— Дорогой господин Матиссен, — радостно сказал он; он всегда казался обрадованным, когда случалось что-нибудь неприятное для него, тем труднее было выпроводить его или обидеть. — Вы сами понимаете, что я никоим образом не хочу ставить вас в затруднительное положение. Но с другой стороны, нам вовсе не хочется покидать чудесный столик, за которым ваши официанты так превосходно нас обслуживают.

В эту минуту вышедший из зала Гундерсен объявил, что консул Мёллер желает побеседовать с метрдотелем. Матиссен бросил на молодого человека умоляющий взгляд, говоривший: «Ну хотя бы подождите здесь немного!» — и его поняли. Успокоить негодующего консула за четырнадцатым столиком не составило никакого труда. Нежеланного племянника в зале не оказалось. Сплетнику-маклеру пришлось самому заглянуть за ширму и с недоумением удостовериться, что племянника там нет. Вернулся он пристыженный — как видно, он обознался. С ним холодно распрощались. Впрочем, консул Мёллер и его

друзья тоже собирались уходить, и, отдав необходимые распоряжения, метрдотель со всем проворством, на какое только мог отважиться, поспешил в вестибюль — рассказать поджидавшему его там Вилфреду Сагену, как обстоят дела. Молодой Вилфред был сама любезность.

— Дорогой Матиссен, — сказал он, улыбнувшись одной из своих радужных улыбок, — да я просто выйду из ресторана, обогну здание и войду через другой вход, тогда все получится по желанию консула, а вы сдержите данное слово.

Хмыкнув с облегчением, метрдотель проводил покладистого юношу до выходных дверей, где они и расстались, как названные братья. Матиссен поспешил вернуться в зал, чтобы подобающим образом проводить консула Мёллера и его гостей, задав непререкаемый вопрос, довольны ли они, — причем задав его с таким жаром, точно от утвердительного ответа зависело спасение его души.

— Одно слово, Матиссен, раз уж мы заговорили, — дружелюбно сказал консул. — Что, мой племянник вообще не появлялся в ресторане нынче вечером?

— Уж если начистоту, господин консул, то он приходил, но, когда я дал ему понять, что, пожалуй, для него самого лучше не показываться сегодня в ресторане, он был настолько любезен, что ушел, ни о чем не спрашивая.

И эти двое также распростились, обменявшись взаимными благодарностями. Метрдотель Матиссен потер свои израненные руки, с минуту постоял, собираясь с силами, прежде чем вернуться в зал. Он был уже немолод — пошаливало сердце. Молодой человек упомянул о сдержанном слове — да, Матиссен его сдержал. Он любил держать слово. Тогда ему легче было заснуть в своей одинокой холостяцкой каморке на улице Бьеррегорсгате.

И, вздохнув, он скользнул в зал как раз в ту минуту, когда молодой Вилфред Саген вошел туда с другой стороны. Они обменялись быстрым взглядом, и метрдотель в приливе радостного подъема лично зашел за ширму, чтобы осведомиться, как себя чувствуют его клиенты.

Они чувствовали себя как нельзя лучше. Светлые струи шампанского били во всех сердцах. За столом царил бесшабашное веселье, которое не могло не передаться пожилому метрдотелю, когда он вернулся в свой зеркальный закуток. Там он схватился за сердце, на мгновение почувствовав дурноту. Да, он уже немолод, неприятные происшествия не проходят

для него бесследно — от них повышается давление. Мысли Матиссена унеслись к его домику в Энебакке.

И все-таки он спас положение! Эта буря в стакане воды тоже была отголоском волнений в широких морских просторах — Матиссен только смутно чувал их дыхание. И все же он спас положение, жизнь прекрасна, а эксцентричная молодая особа, может, и вправду иностранка...

2

Да, жизнь была прекрасна для тех, кто обитал в маленькой столице маленького государства, которое в географическом смысле лежало в стороне от остального мира; в географическом смысле — да, в экономическом — нет. К концу третьего года мировой войны светлые источники били с небывалой силой. Они, искрясь, взмывали над накрытыми столами под выстрелы пробок. В соседних странах и в далеких морях, по которым ночной порой, погасив огни, бесшумно скользили караваны кораблей, звучали совсем другие выстрелы, и на фоне общих потерь затонувшему судну придавали не больше значения, чем зубу, выпавшему из челюсти старика.

Но те, кто жил на самом берегу источников, понимали, что светлые источники не могут бить вечно. Предвестники наступления мирных времен, а стало быть, и неизбежного понижения фрахтов тревожили безмятежные души перед отходом ко сну. Эту мысль надо было гнать подальше и стараться не набрести на нее в трезвом виде.

Почтенные обыватели, которые держались в отдалении от источников и, по правде сказать, не так уж ими интересовались, были лишь шапочно знакомы с молодой Христианией, обосновавшейся на самом берегу. Но почтенных обывателей тянула к биржевому берегу сила, которую они до последнего времени презирали, как презирали напористую армию непристойных юнцов, в один день наживавших состояние. Сила эта звалась надеждой на удачу — на возможность урвать себе долю во владениях поблизости от светлых источников, пусть хоть самую крохотную долю, в соответствии с их скромными требованиями и пассивным отношением к жизни, но все-таки долю. Долю благосостояния, какого они прежде не знали, частицу той жизни, к которой стоит приобщиться, где неплохо бы занять местечко. Вожделенную частицу ценностей, которые можно превратить

в маленькую усадьбу или во что-нибудь другое, надежное, устойчивое, что заставило бы их позабыть долголетнюю гложущую зависть к фигурам, занявшим более счастливые места на шахматной доске жизни.

Вот почтенный обыватель заглядывает на минутку к одному из нынешних хладнокровных воротил — маклеру или его посреднику, заглядывает на минутку в какую-нибудь шикарную контору на Конгенсгате по соседству с обветшалыми конторами стряпчих, где полки ломятся от запыленных документов, посвященных делам и ценностям, которые когда-то казались колоссальными... Заглядывает на минутку, в замешательстве излагая свою просьбу, — так, мол, и так, не то чтобы он решил спекулировать или вздумал участвовать в общей свистопляске, а просто есть немного денег, сбережения в филиале банка на Хегдехаугсвей, он откладывает их каждое пятое и пятнадцатое число с того далекого дня, когда ему по наследству достался мебельный магазинчик...

Ледяным взглядом смотрит юнец, выражение у него такое, точно он не расслышал: что ему маленькие трехзначные числа, сбережения, наличные... все это лежит за пределами опыта и разума этого сосунка. Впрочем, почему бы нет, прошу вас, voilà. Почему бы не предложить почтенному старикану скромное местечко в задних рядах кадрили, хотя тому, кто танцует в первых рядах модный уанстеп, и не приходится ждать от него ответной услуги.

Почтенный обыватель, простившись с недостойным, с легким сердцем спускается по лестнице дома на Конгенсгате: ему уже грезится маленький клочок земли в Хаделанне и его дети, поступающие в университет.

Да, светлые источники били также и в душах добропорядочных людей, в душах тех, кто устал. Устали от собственной добропорядочности матери семейств, подстрекавшие своих робких мужей вступить в игру; устали и те, кто получал твердый доход — он и с самого-то начала был слишком мал, а теперь с каждым днем и вовсе уменьшался, потому что рос слишком медленно. С многих глаз спала пелена. В один прекрасный день обитатели Фрогнервей вдруг замечали, как обтрепался галун на плюшевой мебели обивке и вытерся линолеум на полу в столовой. Они начинали вдруг ненавидеть пожелтевшие листья комнатной пальмы, за которой долгие годы ухаживали, следуя советам вдовы Олсен, хотя эти советы не помогали пальме избавиться от желтизны.

А теперь вдруг им хотелось разделаться со всем разом: с пальмами, и с плюшем, и с овальным столиком на покато полу гостиной, где на потолке пятна сырости, а на стенах унылые, выцветшие обои, — со столиком, который когда-то казался хозяевам образчиком изысканного вкуса. Свенсены, соседи по площадке, все свезли к старьевщику, даже черную лакированную ширму с цветочным орнаментом, которая закрывала старую печку. Новая печь у них выложена светло-зеленым кафелем, а перед ней стоит курительный столик из ковanej меди, а вокруг него стулья, с такими мягкими сиденьями, что усталые ягодицы погружаются в них, точно в прохладные глубины райской кущи. И почтенный обыватель, схватив свой зонтик, потому что в августе погода ненадежна, в глубокой тревоге меряет шагами улицу своих надежд и мечтаний. В самой улице, в ее трамвайных рельсах, тускло поблескивающих в свете дня, есть что-то ветхозаветное, не стоящее многолетних чаяний и надежд. Нет, он поставил на неверную лошадку, на скрипучую клячу порядочности и твердого жалования. А на горизонте фантазии в лучах воображаемой зари ржут резвые скакуны.

Вот как получалось, что люди из хорошего общества также утрачивали привычные представления, — представления, которые были фундаментом их долгой жизни. Они даже не предполагали, что настанет время, когда этот фундамент пошатнется или даст трещину. Но такое время настало, и оно отшвырнуло прочь бесспорные истины. Само собой, эти истины вновь обретут свою ценность, когда жизнь войдет в обычную колею, лишь бы только, когда вернется эта нормальная жизнь и ее бесспорные истины, оказаться полочкой повыше, откуда удобнее сверху вниз взирать на годы добропорядочности, сдобрив самодовольство легкой приправой угрызений совести.

В этот августовский день небо над деловой Христианией было ясным и безоблачным.

Вилфред Саген простился со своими новыми приятелями, адвокатами Даммом и Фоссом, на углу Глитне и, высоко подняв голову, зашагал по Драмменсвей. В конторе указанных адвокатов — с виду она напоминала бар, отделанный карельской березой, — он встретил своего старого учителя гимнастики капитана Хагена, у которого брал уроки, когда сдавал экзамены на аттестат зрелости. У Вилфреда были некоторые затруднения с инвестированием капитала: до совершеннолетия ему еще

оставался год, поэтому покупку акций компании «Соленый простор» пришлось оформить на имя капитана. К негодованию преподавателя гимнастики, им в последнее время не везло. Дела «Соленого простора» шли вяло — может, потому, что судами распоряжались слишком осторожно, а может, этих судов и вообще в помине не было. Вилфреда это не особенно интересовало. Он вложил в дело небольшую сумму. Он не очень разбирался в игре, которой занимались люди, его окружавшие. Но наблюдать за ней было забавно. Люди эти с каждым днем суетились все больше — сегодня от радости, завтра от огорчения. Но суетились все время. Все эти коммерсанты и маклеры, эти едва оперившиеся юнцы с безвольными подбородками, проявлявшие известное знание мира, в котором они до сего дня не имели твердой опоры, забавляли Вилфреда. Сверкающие чешуей галстучных булавок, всевозможных запонок, цепочек и прочих украшений из серебра и перламутра, они напоминали ему косяк сельди. Бывало, в детстве, когда они жили в Скволлу в Хьюрмланне, он заплывал на лодке в бухту, где в кошельковом неводе барахталась пойманная сельдь, ворошил ее веслом, и перепуганные рыбины бестолково металась туда-сюда, пока наконец не уходили в глубину, где было темно, безопасно и где их не могли настигнуть ни весло, ни луч света.

Вилфред шел и думал о том, что его не слишком печалит, что он живет обособленно, вне косяка. Он вообще довольно бес печально прожил это лето. И теперь он шел, высоко подняв голову, как будто ему все трын-трава. Навстречу катил автомобиль, прижимаясь к тротуару. Автомобиль притормозил; Вилфред обратил внимание на низкую, как бы расплюсченную машину — последний крик марки «Хупмобиль».

— Ты что, не узнаешь меня?

— Конечно, я узнал тебя, Андреас, я просто твоей машиной залюбовался.

— Поздравь меня, дружище, — сказал Андреас панибратским тоном в духе времени, протягивая Вилфреду руку из открытой машины. Вилфред пожал ее, не преминув отметить, что рука гладкая, бородавок на ней нет, не то что в былые дни.

— Залезай в машину, пропустим по стаканчику, — самоуверенно предложил Андреас. Вилфред пригляделся внимательней к молодому человеку, с которым когда-то вместе учился в школе фрекен Воллквартс для мальчиков из хороших семей. Очки в круглой стальной оправе сменило пенсне американского об-

разца с зажимом на переносице. Изучая карту вин в кафе в парке, Андреас то и дело снимал и надевал пенсне.

— Как насчет бокала шампанского?

— Спасибо, мне кружку пива, и небольшую: я в шесть часов обедаю у матери.

По бесцветному лицу Андреаса скользнула тень разочарования. По сути, он мало отличался от доверчивого мальчишки, которому не везло в школе, но которому его преданный отец помог окончить торговые курсы и поступить на склад. Как видно, Андреас охладил к работе на складе. Он заказал себе бокал вермута со льдом. Вилфред предложил ему закурить, но Андреас, как и в прежние времена, отказался от сигареты. Зато из кожаного портсигара словно по волшебству явилась толстая сигара.

— Твоя мать живет все там же, на Драмменсвей? — спросил он.

И тогда Вилфред вдруг понял — Андреас всячески старается подчеркнуть, что все бывшее давно прошло.

— Все там же! — ответил он со вздохом, словно сто лет минуло с тех пор, как он одолжил бородавчатому Андреасу свой велосипед и вообще помыкал и вертел им по своему усмотрению и ю. — А вы, я слышал, съехали с Фрогнервей?

— Фрогнервей? — Казалось, Андреасу приходится рыться в памяти, вспоминая третичный период. — Ах да, Фрогнервей. Мы со стариком перебрались в квартиру на Юсефинегате. Там просторнее.

Андреас непринужденно продолжал свой рассказ. Мать его умерла. Выходило как бы само собой, что, с тех пор как их семья стала меньше, ей нужно больше места.

— Просторнее, ну как же, понятно, — согласился Вилфред. — А как поживает твой отец?

— Спасибо, как раз сегодня он должен вернуться, ходил в Швецию на яхте.

— Уж не хочешь ли ты сказать, что твой отец тоже... — Вилфред едва не сказал «спекулирует», но удержался. Он вдруг обрадовался, что именно эти люди вырвались из своих унылых будней и явно ухватились за жизнь с другого конца.

Андреас пропустил вопрос мимо ушей.

— Он навещал наших шведских родственников. Как тебе известно, наша настоящая фамилия Эрн, — сказал он.

Вилфреду стало весело. «Разве мне это известно?» — подумал он. А вслух спросил с любопытством:

— Как она пишется?

— Через «э» обратное.

— Пиши лучше через «ё».

— Зачем? — Уж не скользнула ли по озабоченному лицу бизнесмена Андреаса легкая тень неуверенности, точно отсвет былых дней, когда Вилфред одним своим замечанием сбрасывал его с вершин восторга в бездну стыда? Так или иначе эта тень быстро исчезла.

— Единственно верное правописание,—веско сказал о н . — Старик был у нашей шведской родни и получил на этот счет документы. На днях мы вернемся к нашей старой фамилии.

— И стало быть, будете называться Эрн. Андреас Эрн... — Вилфред как бы примеривался к новому имени. — Ну что ж, звучит недурно.

Андреас скромно сиял.

— По правде сказать, мне-то самому все равно. Но старик...

— Скажи, с каких это пор ты стал звать отца «стариком»?

Бросив на Вилфреда быстрый взгляд, Андреас отхлебнул глоток вермута. Потом пожал плечами.

— Отец увлекся геральдикой, знаешь, всякими там геральдическими щитами и тому подобным... — Секунду поколебавшись, он повертел в руках папку из свиной кожи, которую прихватил с собой из машины.— Сейчас я тебе покажу... — продолжал он все еще с некоторым смущением. — Я несколько дней просидел в Государственном архиве, пока старик был в плавании, и вот нашел древний герб Эрнов... — Он извлек из папки кусок картона, обернутый в папиросную бумагу, и осторожно положил его на скатерть перед Вилфредом. Это был орел — синий на золотом фоне. Вид у него был суровый, как и надлежит орлам.

— А что это он делает головой? — спросил Вилфред.

Поговорили об орлах семейства Олсен, и довольно. Только бы парень не вздумал копать в этом так долго, что потом сам пожалеет...

— Как что делает? Он ее повернул, ты же видишь. Так и должно быть. Это мне срисовал один художник.

Вилфред посмотрел Андреасу прямо в глаза. Он хотел знать, правильно ли он угадал. Он чувствовал себя предателем, оттого что не мог удержаться от иронии.

— И теперь вы закажете сервис с орлами? — спросил он, чтобы положить конец неопределенности.

— Как ты угадал? — с восхищением спросил Андреас — Я

только что его заказал. То-то старик обрадуется... — И вдруг по бледному мальчишескому лицу скользнула тень озлобления. — Небось завидуешь. Нам всем в старые времена так нравилась твоя фамилия — Саген. Может, у вас на гербе изображена пила?

— Наверняка, — весело подхватил Вилфред. — Как-нибудь загляну в архив и проверю.

Он с удовольствием замечал, что в мальчишке «старых времен» появилось здоровое чувство самозащиты. Андреас просто создан, чтобы выбиться в люди. Вилфред исполнился странного сочувствия к этому беспомощному мальчугану, который преуспел и разъезжает теперь в автомобиле марки «Хупмобиль».

— Надеюсь, ты разумно распоряжаешься деньгами, которые заработал? — серьезно спросил Вилфред. И быстро добавил, чтобы не задеть Андреаса: — А то сейчас развелось много шалопаев, которые в один прекрасный день окажутся без гроша. Ведь все это долго не продлится. Мой дядя Мартин говорит...

— А это верно, что твой дядя — сторонник немцев? — грубо перебил его Андреас. — Все говорят, что он держит их сторону. Вилфред подумал. Улыбнулся.

— На мой взгляд, он вообще не держит ничью сторону и, уж во всяком случае, не мою. Но в этих делах он толк знает.

Андреас с вызовом повертел в руках бокал.

— В каких это делах? В экспорте меди в Германию, как я слышал. В то время как наши моряки... — И он печально устался в стол.

Вилфред снова внимательно взгляделся в него. Нет, Андреас не притворялся. Ни тени иронии не было в выражении его лица — ни тени, ни когда он сочувствовал гибнущим морякам, ни когда разглагольствовал о фамилии Эрн... Вилфред решил поддержать этот тон.

— Да, все это весьма печально, — вздохнул он.

— Печально, еще бы! — запальчиво выкрикнул тот. — Будь уверен, черт побери, мы потом припомним тех, кто помогал немецким свиньям... А ты сам? — спросил он, как бы по ассоциации мыслей. — Не хочешь ли ты сказать, что сам ты не играешь на бирже?

Вилфред рассказал все как есть: что он пробовал играть, но, должно быть, покупал неудачные бумаги. Андреас на минуту задумался. Даже слепой увидел бы, что он размышляет, стоит ли помочь старому другу зашагать в ногу с временем. Но, судя по всему, он подавил в себе это желание.

— Заедем на минуту ко мне, посмотришь нашу квартиру, — предложил он вместо этого.

И снова Вилфреду передалась наивная радость, какую испытывал этот мальчишка, когда мог чем-нибудь похвастаться. Он бросил взгляд на часы.

— В шесть мне надо быть у матери, — сказал он. — И еще по дороге зайти в цветочный магазин.

Сады вдоль Драмменсвей были подернуты солнечной дымкой. В начале Фрогнервей Андреас прибавил газу. Похоже, он навеки возненавидел эту улицу, даже ту ее часть, которая лежала вдали от места его унижения в районе Фрогнер-парка.

— Чертовски дорогие цветы ты купил, — заметил он с восхищением.

— Мама любит орхидеи.

Андреас вытаращил глаза.

— Ты покупаешь цветы матери? — выкрикнул он. У него появилась неприятная манера кричать. Вилфред помнил, что раньше Андреас говорил тихо, почти шепотом.

— Ты, наверное, и сам носишь цветы на могилу матери.

— Ясное дело, — сказал Андреас, остановив машину. — Но моя-то мать умерла.

Это был маленький кирпичный домик — одна из аристократических вилл в той части Юсефинегате, которая относится к району Хомансбю. Они бесцельно прошлись по комнатам — Андреас потерял самоуверенность и притих. Вилфред подумал, что для него уже настало отрезвление. Андреас ведь был неглуп, во всяком случае не настолько глуп, чтобы не почувствовать, когда свалил дурака.

Три смежные, неопределенного назначения комнаты являли собой нечто среднее между спальней и гостиной; все три были роскошно обставлены: диваны со множеством разноцветных подушек, курительные столики и каминные щипцы, которыми никто не пользовался. Вилфред сразу представил себе, как отец и сын бродят среди этого безликого нагромождения вещей, преисполненные мятежной радости оттого, что ничто не напоминает о прошлом.

— Твоему отцу, наверно, очень нравится этот дом, — сказал он, беспомощно оглядевшись.

На лице Андреаса отразилось замешательство. Он заметил кресло-качалку. Оба одновременно заметили ее. И оба разом вспомнили столовую на Фрогнервей и спящего отца, понурого человека, прикрывшего голову газетой, чтобы защититься от

мух. И в ту же минуту Вилфреду показалось, что он чувствует знакомый запах, хотя этот запах не мог идти ни от комнат, ни от одежды, — и это пахло не бедностью, нет, это пахло скукой.

— А твой брат? — неожиданно спросил Вилфред.

— Работает в Тейене в институте. Набивает чучела птиц, ты, наверно, помнишь. Но ты вот говорил о родителе... — Андреас вдруг назвал отца «родителем» — так в былые времена иногда называли опостылевших отцов мальчишки, которых помучивала совесть: ведь отцы-то, по всей вероятности, любили своих сыновей, а те не ставили их ни в грош... — Представляешь, родитель захаживает на Фрогнервей, я застукал его на месте преступления. Как видно, он неисправимо сентиментален.

Вилфред вдруг почувствовал, что его тяготит близость этого постороннего друга, которого он когда-то допустил в свое детство и тот шебаршился где-то рядом, хотя общего у них не было ничего — разве что спертый воздух, которым они оба дышали в классе. Чего ради эти люди вечно лезут к нему со своей откровенностью? Не нужна она ему, она ему глубоко противна. Но не успеешь оглянуться, и тебе уже изливают душу. Всегда им удастся накинуть на него холодную, влажную пелену и как бы поймать его в сети. В душе Вилфреда вспыхнуло неподдельное раздражение.

— Может, ты и на качалке изобразишь орла? — спросил он.

Андреас покосился на него с недоверием. Он заглянул в честные голубые глаза своего опасного приятеля-аристократа, который когда-то не раз выручал его из неприятностей, но сам же втягивал его в них. А впрочем, втягивал ли? Самоуверенный Андреас вдруг стал менее уверен в себе. Он бросил взгляд за ограду виллы — туда, где стоял его автомобиль. Это помогло. Спасительная уверенность возвратилась.

— Может статься, — небрежно обронил он. — Отец так привязан к старым вещам. — Он вдруг повернулся лицом к приятелю, и глаза его стали похотливыми. — А я-то думал, ты купил цветы для красотки, с которой всюду ходишь, — сказал он.

Вилфреда передернуло. Убожество мужских чувств, скрытых личиной дружбы, давно уже не удивляло его, но навредило на него тоску, безграничную тоску, как, впрочем, всякая попытка влезть ему в душу со стороны друзей и вообще мужчин. Теперь он мог в два счета и навсегда стереть в порошок этого трагикомического выскочку. Он знал, что довольно слова или взгляда, чтобы его раздавить, потому что расхрабрившаяся личность завела малыша Андреаса, того самого, у кого руки

были в бородавках, а уши в чернилах, на такой тонкий лед, что он, того и гляди, проломится — будь ты хоть десять раз орел, Эрн!

— Твой отец очень любил свою качалку, — вместо этого сказал Вилфред.

И в эту же секунду Андреас задрожал, готовый вспыхнуть, чуть ли не ударить. Ноздри у него раздувались. Вилфред принудил себя смотреть на них. И на уголки губ. Бесцветные губы на слишком бледном лице, слишком короткое расстояние между ртом и носом. Теперь можно его сокрушить. А еще лучше — усугубить его неуверенность. Вилфред забавлялся.

— Тебе надо бы отпустить бороду, — сказал он. — Тебе пойдет.

И снова в Андреасе произошла перемена. Яркий румянец залил его лицо. Он истерически расхохотался.

— Черт побери, ты и это угадал — откуда? — Он подошел к зеркалу. — Вилфред и сам растерялся. — А знаешь что, — быстро обернувшись к нему, сказал Андреас, — сейчас мы с тобой, как положено старым друзьям, разопьем по стаканчику виски, по маленькому... — И, снуя со стаканами и бутылками между шкафом и столом, торопливо, чтобы Вилфред не успел его остановить, затараторил: — Вечно ты, бывало, все угадывал, отчасти это... — Он осекся, сам смутившись от того, что собирался сказать. — Отчасти это и производило впечатление на ребят, — вяло закончил он.

Вилфред пригубил виски. У него мелькнула мысль: «Мы все время говорим *не то*. Надо помочь этому парню оправиться...» Он одобрительно поглядел сквозь стакан на свет, потом бросил взгляд на приятеля.

— Как это тебе удается в наше время добывать такое виски?

И тут Андреас разразился потоком слов. О садовниковом Томе — Вилфред должен помнить маленького Тома, которого он, Вилфред, когда-то вытащил из воды (Андреас так и сказал: «вытащил из воды», а не «спас»)... Том разбогател на каком-то промышленном предприятии и построил для родителей новые оранжереи. Но садовник не пожелал оставаться садовником, он перевозит в Хюрумланн контрабандную водку и перепродает ее местным спекулянтам с большой прибылью. У него отличная моторная лодка, стоит на причале в Нерснесе. Если Вилфред хочет, он, Андреас, может устроить ему несколько бутылок, а не то ящик, несколько ящиков, надо будет только съездить к одному сарайчику в Аскере, так что, если хочешь...

Поднеся к губам ароматную жидкость, Вилфред сразу повеселел. Про него говорили, что он опьяняется не спиртным, а самим присутствием того, из чего можно извлечь удовольствие. А там, где ему приходилось бывать, виски не текло рекой. На редких семейных сборищах дядя Мартин полновластно и единолично наслаждался предметом своей невинной слабости. Что до компании Роберта и его адвокатов, то она нуждалась в шампанском, чтобы подкрепить всегдашние сомнения в надежности удачи.

— Ты мне окажешь большую услугу, — сказал Вилфред, хотя не знал, кто у кого окажется в долгу. По сути дела, ему хотелось, чтобы Андреас, оказав ему протекцию, мог подняться в собственных глазах. Попроси его Вилфред ссудить тысячу крон, счастье Андреаса было бы полным. К тому же Вилфреда тянуло ко всему запретному и ко всему, что перевернулось в жизни вверх ногами. Все эти перемены, то, что низы стали верхами и наоборот, приятно возбуждали его. Что там пророчил дядя Мартин насчет наступления рабочего класса? Пожалуй, это на свой лад оправдалось: подземные силы выползли на свет, отняли бразды правления у тех, кто до сих пор наслаждался жизнью, и, смеясь, свергли тех в пучину скуки, где до сих пор прозябали сами.

— Теперь ваш черед слизывать пенки, — сказал Вилфред. Андреас поперхнулся спиртным.

— Чей черед? — откашливаясь, переспросил он.

— Ну хотя бы садовника, да кого угодно. Слизывать пенки, вместо того чтобы пресмыкаться и батрачить в поте лица. Почему бы отцу Тома не обзавестись моторной лодкой? Поверь мне, это Великая Норвежская Революция, она будет занесена в анналы истории.

Андреас в нерешительности встал — может, Вилфред имеет в виду его, Андреаса, и семью Эри?

— Я принесу еще содовой!..

Но Вилфред тоже встал — ему пора уходить. Однако Андреас не унимался. Он отвезет Вилфреда. Ему в ту же сторону, он должен встретить старика на Дроннинген. У старика своя яхта, и большая...

Они ехали по Юсефинегате в лучах заходящего осеннего солнца. Искусственное оживление приятелей угасло, едва ветер коснулся их лиц.

— Стало быть, договорились, — вяло сказал Андреас, протянув Вилфреду руку у дома на Драмменсвей. Он намекал на

виски, скрепляя надежду на дружескую близость ниточкой, которая даже ему самому представлялась тонкой и искусственной. И по примеру «прежних времен» Вилфред всемилостивейше предоставил ему наслаждаться своим счастьем.

— Как тебе угодно, — сказал он, повернувшись к дому. Там, где дорога уходила вниз, под листвою деревьев, он еще раз увидел жалкую спину сидящего за рулем богача Андреаса, пристыженную спину, — спину, на которой было написано поражение, совсем как в детстве, когда Вилфред выпроваживал его, обронив на прощанье какую-нибудь снисходительную фразу.

Вилфред презрительно усмехнулся и с орхидеями в руках поднялся вверх по восьми знакомым ступеням.

Мать и сын сидели за столом в обшитой дубовыми панелями столовой на Драмменсвей. Не без торжественности подняли они бокалы белого бордо, как не раз прежде, как всегда. Это был маленький вводный жест — они как бы примерялись друг к другу. Они не часто обедали вдвоем, с тех пор как Вилфред уехал из дому — на время, в виде пробы, как они любовно решили сообща. Вилфред слегка отодвинул стоявшие между ними на столе цветы, чтобы лучше ее видеть.

— А не убрать ли их вообще? — предложил он, улыбнувшись чуть поддразнивающей улыбкой, как было принято между ними. — Ведь это всего лишь мой подарок... — Он встал и продолжал говорить, переставляя цветы. Описал встречу с Андреасом. Они вместе посмеялись над фамилией Эрн. — Только запомни, мама, они в родстве не с первым попавшимся орлом, а с синим на золотом фоне — это я на всякий случай, вдруг тебе придется встретиться с ними, с кем только не приходится встречаться в наше время.

Он сказал это с горькой гримаской, он говорил все, что положено говорить. Говорил, словно бы наслаждаясь унижительной процедурой повторения избитых фраз. Но смеявшаяся мать вдруг стала серьезной.

— Я знаю, что ты встречаешься с разными людьми, — сказала она.

Он посмотрел на нее с другого конца стола.

— И что же? — спросил он не без вызова. Чувство умиротворения и боевой задор вдруг слились для него в одно в этой комнате, почти квадратной, где все дышало устойчивостью и благородством пропорций.

— Я просто хотела сказать... ведь слухи доходят даже до меня, хоть я и живу взаперти и вообще не представляю, что происходит вокруг...

И вправду: годы войны и всемирного безумия прошли как бы мимо фру Сусанны Саген, не оставив на ней следа. Пожалуй, она чуть пополнила за эти годы, когда где-то вокруг, в далеком от нее мире, царил нужда; еще приятней округлились плавные линии ее фигуры, но по-прежнему не видно ни одной морщинки и выхолена так, что это выглядит почти вызывающе в эпоху, когда люди чванятся страданиями, которых сами не испытывают, — хотя бы из приличия они считают необходимым не оставаться от них в стороне и страдать.

— Я уверен, что дядя Мартин приносит тебе вести из внешнего мира, — холодно заметил сын. — Между прочим, ты раздобыла изумительных цыплят. Откуда, хотел бы я знать, берутся такие яства в нынешние времена?

— Мой брат Мартин всегда так мил. — Сказано это было как-то рассеянно, словно она хотела подчеркнуть, что думает совсем о другом.

— И связи у него, верно, недурные! — заключил Вилфред.

— Откуда мне знать... — прежним тоном отозвалась она. Отозвалась с присущей ей невинной готовностью относиться с полным безразличием к тому, откуда сваливаются на нее мирские блага.

— Но раз уж ты заговорил об этом, мой брат и в самом деле дал понять, что тебя часто видят на людях...

Это прозвучало не как упрек, а как вздох сожаления, вырвавшийся из сердца, считающего себя обязанным огорчаться в должное время по соответствующему поводу. Но в Вилфреде под влиянием хорошего вина, которым он запил отнюдь не такую уж маленькую порцию виски у Андреаса, зашевелилось беззлобное раздражение.

— В городе много говорят о дружбе дяди Мартина с немцами, — заявил он, невозмутимо отломив ломтик чуть присоленного хлеба — этот привкус соли сохраняли только маленькие пышные хлебцы пекаря Хансена, аппетитные хлебцы, на которые не оказывали действия непросеянная мука и всякие эрзацы, заполонившие во время войны пекарни норвежской столицы.

— Я полагаю, у тебя нет оснований жаловаться на твою семью, — заметила мать с ноткой негодования в голосе. Она нажала кнопку звонка, прикрепленного к низу столешницы. Слу-

жанка вошла, чтобы сменить тарелки. На столе появился сыр и нежный, блеклый осенний салат.

— Возьми, к примеру, твою тетку Клару, — продолжала фру Сусанна, когда они вновь остались наедине. — Ты ведь знаешь, что она перестала давать уроки немецкого в тот самый день, когда немцы начали эту беспощадную подводную войну против наших бедных моряков...

И снова Вилфред восхитился всеобщей национальной скорбью, которая проявлялась каждый раз, как только речь заходила о бедных моряках. Казалось, люди глотают слезы, стоит им упомянуть бедных моряков, и дрожат так, словно их самих только что окатило ледяной волной Атлантического океана.

— Она дошла до того, что уверяет, будто разучилась говорить по-немецки, — с восхищением продолжала фру Саген. — И право же, слова имеют волшебную силу: мне кажется, она и впрямь забыла язык.

— Прекрасно, — подтвердил Вилфред без тени иронии. Но мать внимательно поглядела на него.

— А твоя тетка Кристина? Как только стала ощущаться нехватка сахара и какао, она немедленно закрыла свою маленькую кондитерскую, хотя ее дела шли очень успешно. Но это еще не все — знаешь ли ты, что она преподает на Государственных курсах для домохозяек по использованию заменителей?

— Я же говорю: прекрасно, — примирительным тоном сказал он. — А кстати, мама, что, если к этому сыру мы выпьем по глоточку золотистого хереса?

Он сам встал, чтобы его принести, — проворный и ловкий в каждом своем движении. Она, как прежде, следила за ним. Во взгляде ее было нечто большее чем одобрение, нечто меньшее чем восторг, пожалуй, своего рода удовольствие оттого, что он действует так изящно и так по-хозяйски.

— Послушай, м а м а , — заговорил он, когда они поставили бокалы на с т о л . — Как по-твоему, из чего делаются эти эрзацы? — Он говорил таким серьезным и деловитым тоном, что она сразу растерялась.

— Не знаю, — ответила о н а . — Кристина недавно говорила мне, будто бы они совершенно превосходны. Наверное, это се л е д к а , — добавила она с мимолетной и совершенно произвольной гримаской. — Селедка в виде бифштекса, селедка в виде... словом, насколько я понимаю, во всех видах. Это будто бы необыкновенно вкусно, — добавила она, словно извиняясь. — Кстати, тебе следовало бы попробовать этого сыру, мой мальчик.

На мой взгляд, ты слишком исхудал, и обычно к концу лета у тебя загар гораздо темнее.

Осторожные слова, высказанные и в то же время невысказанные. Тень подозрения, упреки наготове.

— Кстати, дядя Мартин поместил кое-какие наши бумаги в более доходные предприятия, — вдруг сказала она. В голосе ее прозвучала нотка ребяческой гордости.

Он поглядел на нее в непритворном испуге:

— Ты хочешь сказать, мама, что ты тоже...

— Что тоже? — простодушно спросила она.

— ...Ты же *спекулируешь*? — Слово прозвучало резче, чем ему хотелось. Она подняла руки, словно обороняясь от какой-то непристойности, произнесенной за столом.

— Что это за выражение? — сердито спросила она. — Можно подумать, что мой брат участвует во всей этой жалкой возне, о которой столько говорят. Нет, мой мальчик, речь идет просто о том, что он поместил кое-какие бумаги, ну да, в более доходные предприятия. Но я так плохо в этом разбираюсь. Да и к тому же у тебя есть...

Он это знал. Ему авансом выделили часть того, что ему предстояло получить в наследство. Чтобы он испытал себя, пожил на свой страх и риск, как выражался либеральный опекун дядя Мартин. Нет, ему и впрямь было не на что жаловаться...

— Ты не поняла меня, мама, — сказал он проникновенно. — Я просто немного удивился, мне трудно представить, что ты тоже участвуешь в этом шабаше, в который вовлечены все. Впрочем, я ничего не имею против — ты там будешь в хорошем обществе.

Но она встревожилась. Когда они пили кофе в гостиной, она снова вернулась к его замечанию. Они сидели в эркере, выходящем на Бюгдё. Перед ними расстилалась темно-синяя бархатистая гладь Фрогнеркиля, а по ней скользили белые и красновато-коричневые яхты, возвращавшиеся из дальних прогулок. «На одной из них отец Андреаса, — подумал Вилфред. — Вот тот желтовато-кремовый лебедь, может, и есть его яхта, она довольно большая».

— В хорошем обществе? — переспросила она. — Ты хочешь сказать, что порядочные люди тоже пустились в эту... спекуляцию?

— Милая мама, — сказал он. — Выражение «порядочные люди» ты тоже позаимствовала у дяди Мартина. «Порядочные люди» уже несколько лет участвуют в спекуляциях. По правде

сказать, ты явилась к шапочному разбору. — Он бросил на нее требовательный взгляд, несколько раздраженный тем, что она не предлагает ему коньяку: он прекрасно знал, что, несмотря на ее разговоры о трудных временах, ее погреб по-прежнему полон превосходными напитками — правда, с тех пор как самым распространенным преступлением в стране наряду с контрабандой на ближних и дальних берегах стало очищать винные погреба, вина переместились из подвалов в шкафы и на полки.

— Ты ошибаешься, — сказала она с неожиданно обретенной уверенностью. Она знала, что, если сейчас подать коньяк, неприятная строптивость сына утихомирится. Она встала и, вернувшись с подносом, закончила: — Во все времена в делах был старый добрый обычай — помещать свои капиталы как можно выгодней. — Она поставила поднос на стол и, вопросительно взглянув на сына, наполнила его рюмку.

— Дорогая мамочка, — сказал он, вдыхая вожденный аромат спиртного. — Ты говоришь, как по книге читаешь, ну прямо дядя Мартин. — И, не давая ей вставить слово, продолжал: — Я тебе уже объяснил, что не имею к этому никакого отношения, но, как, судя по всему, тебе дал понять дядя Мартин, я встречаюсь с людьми, которые обделывают эти дела, и поверь мне, даже самые опытные спекулянты отнюдь не знают, какие бумаги окажутся выгодными или надежными в будущем — и даже в самое ближайшее время.

Но она была непоколебима.

— Мой брат Мартин знает, что делает, — сказала она, однако все-таки позволила налить себе маленькую рюмку коньяку.

Вилфред удовлетворенно вздохнул, чувствуя приятное жжение в горле.

— Пусть будет так, — сказал он. — Хотя по правде сказать, я думаю, что мы с тобой оба не слишком смыслим в том, о чем сейчас толкуем.

Но мать вдруг о чем-то вспомнила и, спохватившись, взглянула на часы.

— Вилфред, а ведь я обещала твоей тетке Кристине побывать в Доме ремесел. Она устраивает там очередной показ. — Она подметила испуганный взгляд сына. — Извини, пожалуйста, по, когда ты приходишь ко мне обедать, у тебя обычно столько разных планов, и я думала...

Перед ним молниеносно обнажилась гротесковая сторона ситуации. Они оба, убоготворенные изысканным домашним

обедом, будут смотреть, как искусная Кристина учит стесненных в средствах хозяек использовать недоброкачественные продукты, чтобы готовить пищу, напоминающую ту, какую им хотелось бы есть. Ему стало весело, он любил подобные противоречия, в которых никогда не было недостатка.

— Мамочка, — сказал он, улыбаясь своей самой радужной улыбкой, — да я с удовольствием пойду с тобой в Дом ремесел. — И, видя, как она обрадовалась и какой груз свалился у нее с души, добавил: — А помнишь, как мы с тобой ходили в Тиволи и смотрели индийских факиров? Сразу после выпускного экзамена в школе фрекен Воллквартс?

— Это когда ты прочитал непристойные стихи? — На нее уже нахлынули приятные воспоминания.

— Это была народная песня, мама, старинная датская народная песня. По моим тогдашним детским представлениям — гарантия добропорядочности...

— Черта с два! — радостно воскликнула она, повторяя одно из любимых выражений дяди Мартина. — Так я тебе и поверила! Но неужто ты и вправду пойдешь со мной? Кристина так долго приставала ко мне, что пришлось пообещать...

— Живо переодевайся! — шаловливо крикнул он. — Наверное, уже восемь, нельзя терять ни минуты! — Он быстро вскочил, схватил мать за обе руки и легко повернул к двери. А потом, с ласковой настойчивостью держа за плечи, повел к выходу.

Радостно обернувшись к нему, она воскликнула:

— Всего две минуты! Будь добр, убери бутылку на место!

Он исполнил ее просьбу. Только сначала налил себе полную рюмку, потом еще одну, потом убрал бутылку в буфет, стоявший в столовой. А потом с полной рюмкой в руке стал глядеть на Фрогнеркиль. Тень противоположного берега теперь закрыла всю водную гладь, и залив стал грозным и сумрачным. А он думал о Кристине, ласковой и энергичной тете Кристине, которая посвятила его в то, что называют таинством любви, в то, что не стало для него таинством благодаря ее деятельной заботе... Он почувствовал нежную благодарность при воспоминании об этой необременительной любовнице — женщине одного с ним круга, если не одной крови, соблазнительном создании со всеми безднами тела и души, которое было для него олицетворением соблазна в то лето, полное внутренней борьбы, когда он становился взрослым, куда более бескорыстной и притягательной, нежели многие женщины, моложе ее, которые пришли ей на смену в самых разных кроватях и на неудобных диванах,

в кустах и в лодках... И вот теперь, приобретя благопристойную седину, она стоит, кто знает, может, даже на трибуне, манипулируя селедкой и прочей скудной снедью и обращаясь к слушательницам, жаждущим, чтобы им разъяснили маленькие повседневные тайны нынешних трудных времен, которые многих обогатили, но большинство обрекают на все большую бедность и прозябание по мере того, как падают в цене кроны, дурацкие кроны, а эти люди так и не научились добывать их побольше, чтобы хватало на жизнь... Вилфред глядел, как подплывают к берегу лодочки в маленьких скорлупках темно-красного цвета, в лодках, купленных и оплаченных тем, что родилось от биржевых цифр, от крохотной разницы в цифрах между сегодняшней и завтрашней биржей, и что превратилось в миллионы тех самых крон, которых домохозяйки из Дома ремесел раздобыть не могут и о которых с горестной добропорядочностью мечтают во многих и многих домах.

— Поторапливайся! — услышал он оклик из дверей. — Я звала такси...

То, что они приехали в машине, усугубило противоречивый смысл их затеи в глазах Вилфреда. Он подметил удивление на лице матери, когда они вошли в зал Дома ремесел. Она настроилась на серьезный лад — она отважилась на опасное путешествие с научными целями в низшие слои общества, где обретались те, кого ее брат именовал «народом». Войдя, они увидели плотную стену темных спин: большинство зрителей сидели, но народу было столько, что всем не хватило стульев. Многие с любопытством разглядывали витрины, где были выставлены изысканные подобиya традиционных блюд. Вилфред прежде всего поискал глазами Кристину. Никакой трибуны здесь не было и в помине. Собрание напоминало скорее встречу единомышленников, нежели урок домоводства в условиях кризиса. Умиротворенное жужжание свидетельствовало о том, что собравшиеся довольны возможностью пообщаться.

Прозвонил звонок. Голоса стали смолкать. И тут они оба увидели Кристину в белом халате: округлая, опрятная, она отделилась от серой массы домашних хозяек и попросила занять места всех, кто сумеет найти место. Она произнесла эти слова с извиняющейся улыбкой, любезно, тоном человека, привыкшего выступать. Он вспомнил, что ведь когда-то за границей она играла и пела в ресторанах под аккомпанемент лютни. Теперь

ей пригодился этот опыт. Деятельной Кристине пригодились все. Сторож принес два стула для матери и сына — конечно, это распорядилась Кристина, но сделала это так, что никто ничего не заметил. В тишине еще звучали отдельные негромкие голоса. Две дамы на скамье перед ними обсуждали, как добиться того, чтобы прачки, приходящие стирать на дом, приносили с собой свои хлебные карточки. Обе считали, что те обязаны приносить их с собой, а если не хотят, так пусть не...

Кристина повелительно подняла руку и заговорила внятно и твердо — от всей ее фигуры веяло властью. Сегодня по поручению совета домохозяек она познакомит дам с точным рецептом изготовления «масла без масла» и покажет, как оно делается. После чего присутствующие смогут отведать продукт.

Пока Кристина произносила свою маленькую речь, Вилфред украдкой поглядывал на мать. Услышав про «масло без масла», он слегка скривился, но фру Саген не моргнув глазом внимательно уверенному голосу Кристины — он разносился по всему уютному, сверкающему витринами залу.

Оказалось, для того чтобы приготовить «масло без масла», надо взять двести пятьдесят граммов американского ярда, положить в него сырую картофелину и, помешивая, тушить на огне, пока жир не растопится. Рассказывая, Кристина взяла небольшую кастрюлю и поставила на газовую горелку. Она делала все очень наглядно, так, чтобы видел каждый, и помешивала в кастрюле новенькой деревянной ложкой.

— Тушите на маленьком огне четверть часа, — прозвучал ее голос. — Потом выньте картофелину. — Она это проделала. — А жиру дайте остыть... — И пока он остывал, проворная Кристина схватила другую кастрюлю, которая стояла наготове с продуктом уже в следующей стадии приготовления. — Предположим, что он уже остыл, — сказала она сдержанно шутливым тоном. — Я беру полчайной ложки питьевой соды, чтобы отбить вкус ярда. Потом, как вы видите, добавляю две капли пищевого красителя, полстоловой ложки соли плюс... — и тут она сделала шутливую паузу, — два с половиной децилитра сливок... можно консервированных, — со смехом заключила она. Дамы весело захихикали. Кристина свое дело знала — она вертела слушательницами, как хотела. — А теперь оставим кастрюлю на двенадцать часов, — вздохнула она с негромким смехом. И в ответ щедро отозвалась благодарная аудитория. — Но чтобы не задерживать присутствующих здесь дам на такой длительный срок, — продолжала Кристина, схватив кастрюлю с продуктом,

доведенным уже до следующей стадии готовности, — вообразим, что эти двенадцать часов прошли, и добавим еще полстоловой ложки соли. И тут надо подождать еще двенадцать часов!

Теперь смеялись без удержу. Это была радость будней под знаком женской солидарности. Золотая жила веселья на фоне серой повседневности с ее невкусной и дорогостоящей едой. А здесь был клуб посвященных — они одурачат злую судьбу, которая обманывает их с каждым днем все горше. Все присутствующие неотрывно смотрели в рот Кристине. Она была их предводительницей, героиней домохозяек. Они готовы были следовать за ней до окончательной готовности «масла без масла» и прочих яств «без» чего-нибудь еще.

— А теперь, дорогие дамы, прошло еще двенадцать часов...—Кристина хлопнула своими белыми руками. — Масло готово! Во вторник мы продолжим демонстрацию показом рыбной муки Накко!

Разочарование и восторг смешались в общем смехе. Женщины поднялись со скамеек и стали протискиваться вперед, чтобы попробовать готовое масло. Молодые опрятные помощницы в белых халатах выпорхнули из кухни с тарелочками и ложками. Вилфред поглядел на мать. Голос Кристины перекрывал общий гомон:

— Прошу вас, дорогие дамы, каждая может подойти и попробовать!

Теперь зал огласили вздохи и стопы восторга. Женщины устремились вперед, оттесняя тех, кто уже успел отведать лакомство. Вилфред все еще ощущал гортанью блаженный вкус обеда и коньяка.

— Мама, ты должна попробовать, — шепнул он.

Это было как когда-то в Тиволи: внутри клуба посвященных они вдвоем составляли как бы тайное сообщество, обособленное от всех, но зато и обойденное чувством товарищества, возникшего между остальными незнакомыми друг с другом людьми. Вилфред почувствовал легкий укол при этой мысли. Так бывало всегда.

К ним подошла Кристина: в руке она держала тарелку с желтой кашцей.

— Как это мило, что вы пришли! — сказала она. Но при этом метнула на Вилфреда быстрый испытующий взгляд, пытаясь предугадать смену выражений на этом лице, которой так боялись и она, и другие члены семьи и которая в мгновение ока могла превратить радость в стыд.

— Кристина! — сказал Вилфред, лучезарно улыбаясь. — Какой же ты молодец! Демонстрация была просто чудом искусства.

Она улыбкой отклонила его восторг.

— Ты думаешь, тебе удастся отделаться от меня и не попробовать? — поддразнила она. — И тебе, Сусанна!

— Да нет же, я непременно попробую! — воскликнул он, схватив тарелку и ложку и, зажмурив глаза, решительно отправил содержимое тарелки в рот. Чтобы избежать риска, он проглотил его, не жуя.

— Изумительно! — воскликнул он. — Теперь ты, мама! — Он быстро взял тарелку у одной из женщин. Фру Саген смотрела на него, лишившись дара речи. Неужели они в заговоре? Она с сомнением приподняла вуаль до кончика носа и подозрительно уставилась на желтую кашицу на тарелке. — Смелее, одним глотком, — весело подзадоривал Вилфред. — Уверю тебя...

Но она не последовала его совету, она отважно положила кашицу в рот и стала медленно жевать.

— Дорогая Кристина, — с удивлением сказала она, — право же, это чудесно, совсем никакого вкуса.

Те, кто стоял близко, рассмеялись. Замечание быстро облетело зал.

— Пусть будет так, — сказала Кристина, взяв тарелки у них из рук. — Это самое большее, чего можно требовать от пищи в наше время. — Она засмеялась. И все вокруг радостно засмеялись в ответ: они были точно цыплята, жмущиеся к наседке. Им предстояло попробовать другие блюда, те, что приготовлены из сельди.

За всеми столами чавкали и причмокивали. Возгласы восторга вознаграждали усилия организаторов. — «Совсем как мясной фарш!» — произнес чей-то голос. — «Подумать только, и это селедка», — отозвался другой. — «Селедка очень хорошая еда!» — заметил третий.

— Селедка — еда превосходная, — тотчас вмешалась Кристина. — И питательная, и полезная. Но представьте себе, милые дамы, что вы едите селедку каждый день. Я хочу сказать, селедку в виде селедки...

Единодушный вопль отвращения был ответом на ее слова. «Она снова объединила их в своем торжестве, нет — в их общем торжестве», — подумал Вилфред. В том-то и смысл того, что она делает: им кажется, будто они сами причастны к происходящему. Эта мысль засела в нем. Мастерица на все руки эта Кри-

стина, его тетка Кристина, которую он когда-то любил. Она и в Судный день будет с такой победоносной уверенностью распорядиться своей лютней или своими кастрюльками, что отвратит гнев господень. И тут на мгновение его кольнуло воспоминание, как однажды весенним вечером он застал ее, одинокую, в слезах, на ступенях веранды, а доносившиеся к ним из комнат отзвуки детского бала надували парусами легкие занавески.

— Неужели ты сама изобрела все эти блюда из селедки? — восторженно спросил он со своей неизменной склонностью переигрывать. Он знал, что это будет истолковано превратно и они решат, будто он их дурачит. Но теперь она чувствовала себя уверенной и спокойно взглянула в его сияющее лицо.

— Дорогой мой мальчик, сама я вообще ничего не изобрела, — сказала она. — И по правде сказать, я терпеть не могу, когда вещи выдают себя не за то, что они есть на самом деле. Как, впрочем, и лю ди, — добавила она.

Они постояли вдвоем в стороне от всех. Фру Саген с напряженным любопытством разглядывала столы, где стояла еда, которой, судя по всему, вынуждены питаться другие люди: для нее это было равносильно путешествию к дикарям в неведомые страны.

— Вот к а к, — неуверенно отозвался он. — И люди также?

— Да, — подтвердила Кристина без улыбки. — Суррогаты — самая скверная штука на свете, но они, безусловно, необходимы, даже если люди, подобные вам...

— А ты сама, Кристина? — поддразнил он ее. — Сама ты часто ешь селедку?

— Ем — но только в виде селедки, — ответила она в том же тоне. — Я люблю, чтобы селедка была селедкой. — Нынче вечером во всем, что она говорила, был какой-то скрытый смысл. А может, она так говорила всегда. Все это было давным-давно. Он вспомнил ее маленькую комнату на Арбиенсгате, навеки пропитавшуюся ароматом какао. Вспомнил, что она завела себе собачонку... Неужто она вот так и живет среди своих почитательниц, всегда окружена и всегда одна-одинешенька?

— Надеюсь, ты проведешь этот вечер со мной и с мамой, — предложил он неожиданно для себя самого: у него были совсем другие планы.

Она посмотрела на него, тоже с неожиданной нежностью.

— Думаешь, это будет удобно, Вилфред?

Он за руку вытянул мать из женской толпы.

— Кристина пойдет с нами! — восторженно сказал он. Фру Саген тотчас выказала радость, какую от нее ждали. — Мы угостим ее селедкой! — негромко и весело воскликнул Вилфред. Он хотел нынче вечером доставлять радость им обеим. — Только имей в виду — селедкой, которая будет селедкой... — Он бросил заговорщический взгляд на Кристину, которая засмеялась в ответ.

Мать покосилась на них с подозрением. Ее всегда пугали приливы его восторженности. «Он никогда не умеет вовремя остановиться», — говорил дядя Мартин.

— Насчет селедки ничего обещать не могу, — спокойно ответила она. — Но что верно, то верно, Кристина, у тебя золотые руки. За что ты ни возьмешься, все у тебя спорится. Неужели ты проделываешь это каждый вечер?

— Три раза в неделю, дорогая, — ответила Кристина, умеряя ее восторги, но обрадованная похвалой. — А по утрам мы готовим настоящую еду, которую распределяем среди самых нуждающихся.

Вилфреда кольнуло в сердце. Он подумал о своих приятелях и о многих, многих других завсегдатаях ресторанов, расположенных в пяти минутах ходьбы отсюда. Наступал тот самый час, когда обеденные залы заполнялись до отказа и усталые официанты, с потускневшей улыбкой подносящие шампанское бледнолицым бездельникам, которые проводят время на бирже и у немолкающих телефонов, всерьез брались за дело. Его место за столом, за любым столом, где поднятая рука означает: еще шампанского, сейчас пустует. Он вызвал бы Селину — девушку с дразнящими волосами и дразнящим телом. Но сейчас ему не хочется предавать своих. Он вернулся в свое благонравное детство, в ту его часть, где все было благонравно.

После ухода Кристины — она была верна себе: не хотела, чтобы ее провожали, — мать и сын сидели в эркере, глядя на море. Все лебеди-лодки уже стояли на причале, покрытые брезентом: детям пора спать. Она налила ему стакан неприкосновенного виски дяди Мартина, того, которым он снабжал ее для своих личных надобностей. Звук капель, льющихся в стакан, один нарушал тишину в комнате.

— Сама не знаю, — сказала она с легкой улыбкой в голосе и с легкой печалью, уместной после интересно и приятно проведенного дня, в котором участвовало прошлое.

— Чего ты не знаешь, мама?

— Да нет, я просто подумала, забыла о чем... Как по-твоему, ей это доставляет удовольствие? — И фру Сусанна вдруг взглянула прямо в глаза сыну, чтобы наконец что-то узнать — наконец и ей этого захотелось.

— Ты имеешь в виду Кристину? Думаю, что доставляет... Я понимаю, что ты хочешь сказать, мама, — перебил он сам себя. — Ты не очень-то веришь в ее деятельность, ты считаешь, что люди придумывают себе занятия, чтобы... чтобы...

— Вот именно,— сказала она, — чтобы... Ты тоже не знаешь для чего. Может, чтобы чем-то заняться — и забытья?

— Или для того, чтобы жить, мама. Для некоторых это очень серьезный вопрос.

Она проглотила пилюлю, как всегда проглатывала замечания о том, что люди нуждаются в средствах к существованию.

— Само собой,—неопределенно отозвалась она. — Все это, конечно, превосходно. А ты сам?..

Вопрос прозвучал несколько неожиданно. Так бывало с ней и прежде. Оберегаешь и поддразниваешь ее в должной пропорции, памятуя о ее отрешенности от превратностей здешнего мира, и вдруг, на тебе, она сама проявляет неожиданную прямолинейность.

— Я сам? — переспросил он.

— Да, ты сам — в житейском смысле, — сказала она, снова становясь уклончивой. Она не хотела добиваться ответа, не хотела знать всерьез.

— Хочешь повторить вслед за своим братом Мартином, что пора, мол, мальчику заняться делом?

— Дорогой мой, я имела в виду лишь...

— Да ведь это вполне естественное требование. И, учитывая, что мой опекун считает изучение истории искусств пустейшим занятием, я договорился кое с кем из моих друзей, что они приобщат меня к так называемой практической жизни. Период моих занятий искусством закончился — это было увлечение переходного возраста. — Он коротко усмехнулся.

Сегодня он хотел доставлять ей радость. Но не хотел себя связывать. Он просто хотел, чтобы, когда он уйдет, у нее на душе было хорошо и спокойно. Он вопросительным жестом приподнял драгоценную бутылку дяди Мартина, она едва заметно кивнула. Виски, прохладное и жгучее одновременно, омочило ему горло. Да, он порадует ее чем только сможет.

— Но это вовсе не означает, что надо предать забвению все, чему меня выучили вы с дядей Рене.

— Я не считаю, что история искусств — пустое занятие, — спокойно сказала она и стала глядеть на фьорд. — И, по-моему, печально и глупо, что ты перестал заниматься музыкой. Мне совсем не по душе эта нынешняя деятельность, если ты имеешь в виду ее, и меня совсем не радует, что ты водишься с людьми, которые зарабатывают так много денег.

Она произнесла это с неожиданной твердостью и против обыкновения вполне связно. Стало быть, она обо всем этом думала, он по-прежнему был предметом ее забот.

— Дорогая мама, — сказал он, усевшись на низкий подоконник лицом к морю. — Я думал, ты обрадуешься, если я чем-нибудь займусь, а в наше время единственное стоящее дело — это загребать деньги.

— Только не в моих глазах, — быстро возразила она. — Да, да, я знаю, вы говорите, что мне рассуждать легко: я обеспечена — но разве это такой большой грех? Да, к счастью, я обеспечена и рада, что могу не слышать об этих отвратительных людях, которые высунув язык мечутся между биржей и еще бог весть чем, чтобы в свободное время еще пуще щеголять своими дурными манерами... — Она поднялась в необычной для нее запальчивости и стояла, глядя на темный залив. Послышался шум поезда, который прошел под окнами, разбрасывая искры в темноте. Когда шум затих, она продолжала: — Ты думаешь, я не вижу их здесь в заливе, когда они катаются на своих роскошных яхтах? Они непристойны, они сами и их девицы... Кстати, о девицах, в «Космораме» идет чудесный фильм с Хенни Портен «Женщина, на которой не женятся».

Он почувствовал, что она глядит на него. Стало быть, она к чему-то клонит. В таком случае намек на фильм был слишком уж прозрачен. Его охватила тревога, к тому же он подумал, что пора уходить. Ночь еще только начиналась. Он торопливо допил виски дяди Мартина.

— Как видно, они считают, что настало их время! — сказал он с напускной беспечностью.

— Как видно... — Она отошла от окна. — Тебе, наверное, пора, — сказала она мягко, но с призвуком горечи. — Я хочу, чтобы ты знал одно — по-моему, тебе вовсе не надо торопиться и пускаться в так называемые практические дела — вообще в какие-нибудь дела ради этой цели.

Он подумал: «Неужели матери так ревнивы по самой своей природе? Неужели она не может примириться с тем, что у меня есть эта девушка, хотя знает, что у меня были до нее многие

другие, неужели не может примириться только потому, что слышала о ней и что она привлекает к себе внимание?» Он решил ее удивить. Он снова сел и весело сказал:

— Ты меня гонишь, мама? Да нет же, не бойся, я больше не прикаснусь к драгоценному дядиному снадобью.

Она подошла к нему ближе, успокоенная, она снова была в его власти, как в былые дни, как всегда. Она сама взяла бутылку и налила ему. Взяла рюмку и налила несколько капель себе тоже.

— И что вам только нравится в этом виски? — спросила она, поперхнувшись, и со смехом закашлялась.

Победа над ней давалась слишком легко. Он был тронут. Так, видно, бывает всегда, когда в нем бьют светлые источники и он хочет радовать, только радовать — ее, всех других, самого себя. Он сел, повернувшись к ней лицом, и взял ее за обе руки.

— В моей комнате все осталось, как прежде? — Он тут же пожалел о своих словах, он опять переиграл, он знал, что она будет счастлива, если он вернется домой. Но он не хотел, чтобы это было воспринято как намек.

— Как прежде, — радостно отозвалась она. Но она не воспользовалась его слабостью. Не стала разыгрывать грусть, чтобы одержать победу. Он почувствовал прилив нежности к ней.

— В один прекрасный день я пожелаю в этом удостовериться! — улыбаясь, заметил он. Это было уже почти обещанием. Он не собирался ничего обещать, такого намерения у него не было. Но ему хотелось ее порадовать. — Я тоже не поклонник нуворишей, — объявил он.

3

Просторная мастерская на улице Недре-Слоттсгате встретила его теплом и уютом. Поднимаясь по крутой лестнице на пятый этаж, он чувствовал, как им овладевает приятный хмель. Пространство было как бы заряжено нервным напряжением, как и он сам после целого дня притворства.

Уютом пахнуло на него из полумрака под стеклянным потолком; это была его первая попытка зажить собственным домом — так решили по обоюдному согласию, когда он съехал от матери с Драмменсвей, и это тоже была игра. Добротная старая мебель, которую ему подарил дядя Рене («Запомни, мой мальчик, все радости жизни начинаются с какой-нибудь простой, но по-настоящему хорошей вещи — пусть это всего лишь

шкафа, в который нечего положить!»), была разрозненная и потому особенно ему нравилась, она так не походила на обстановку, в которой он вырос. Он подошел прямо к шкафу и налил себе полный стакан бургундского, чтобы поразмыслить обо всех своих добрых поступках. Подаренный им Вилфреду небольшой изысканный набор вин дядя Рене назвал «приданным».

Но безмятежное настроение, какое дает чистая совесть, не приходило. Возвращаясь в мастерскую по освещенной фонарями дороге, Вилфред балансировал между покаянными мыслями и попыткой убедить себя, что все его поступки, совершенные за день, — из добрых побуждений. Кристина — ее он порадовал своим откровенным восхищением; матери доставил удовольствие, заглянув к ней еще раз вечером после их совместного выхода в свет, — то, что она так любила. Он щедро оделил своим драгоценным «я» тех, к кому был привязан. Потому что сейчас в его жизни настал период добрых дел — время, когда в нем бьют светлые источники. Он знал, что этим надо пользоваться.

Он налил себе еще стакан, понимая, что завтра будет расплачиваться похмельем. Ему вдруг не захотелось оставаться в одиночестве, он позвонил в два ресторана, пытаясь найти Селину, и просил, чтобы ей передали, что он звонил. От просторной комнаты веяло не только уютom. Вилфред остановился посередине мастерской и вдруг почувствовал угрызения, всегда подспудно сопровождавшие все его мысли и поступки. Как бы он ни старался подлаживаться под требования и ожидания окружающих, на душе неизменно оставался этот мутный осадок: ведь, по сути, расточая радости, он причинял им боль. Вся его наигранная откровенность с матерью и ее великодушная маска доверия в последние проведенные ими вместе вечерние часы — разве могли они скрыть ее беглый беспомощный взгляд, который говорил о том, что она одинока; Вилфред всегда с нервной чуткостью подмечал у нее этот взгляд в минуту расставания. Тут не было расчета с ее стороны, не было попытки заставить его разглядеть лицо мученицы под наигранной бодрой улыбкой. Кабы это было так!.. Нет, она угадывала простую истину о неизбежности расставания, ему-то эта истина была ясна как дважды два. Но ведь она изолировала себя от жизни и пользовалась выгодами своего положения. Зачем же ей угадывать правду? Слишком жаден человек, не может уяснить другую простую истину: нельзя гнаться за двумя зайцами, к примеру, не зная и в то же время пытаться все-таки капельку знать. В этом, наверное, вся суть дела.

Он подошел к телефону и позвонил в третий ресторан. Селины не оказалось и там. А впрочем, какое ему дело, что все вокруг него смешалось и пошло кувырком? Он ведет другую игру — не ту, что ведет она, не ту, что ведет его семья, впрочем, даже и не свою собственную, — но главное — это все-таки игра, и она его пока что забавляет. Андреас и его тещевый папаша, сын садовника Том, ставший маленькой шишкой в некой новомодной отрасли промышленности, и сам садовник, который предпочитает вести контрабанду спиртным, а не ухаживать за своими теплицами, — чушь какая-то, почему все это для него так живо, что не может он просто от них отмахнуться? Вилфред смотрел на телефон, тихо посмеиваясь. Плевать на них на всех, как говорит дядя Мартин. Вот только дядя Мартин и в самом деле плюет на всех и вся, причем делает это с легким сердцем, да вдобавок еще изображает человека сострадательного. У него, Вилфреда, как раз наоборот — ему нипочем не удастся избавиться от безразличных ему людей, они все кружат вокруг него, будто в точности знают, как залучить его в сети, — для этого им стоит лишь сделать вид, будто они не имеют к нему отношения. А может, это самая обыкновенная самовлюбленность — считать, что ты в ответе за чужие судьбы?..

Он еще плеснул себе в стакан из «приданого». Потом вернулся к телефону и энергично покрутил аппарат. Селина оказалась в четвертом ресторане, он потребовал, чтобы она вернулась домой. Селина всегда находилась где-нибудь по прихоти чужой воли. Но какое ему, собственно, дело до нее? Да никакого, почти никакого. Он сел и смущенно покосился в дальний угол на мольберт — самое темное пятно на его совести...

Они с Робертом подцепили Селину на благотворительном празднестве в пользу семей моряков, погибших от немецких торпед. Вилфред участвовал в этих празднествах как посредник матери — каждый раз, когда, испытывая потребность избавиться от угрызений совести, связанных с войной, она поддерживала эти светские затеи, которые начинались невинной лотереей и кончались пьянкой. Бывалые кутилы охотно посещали такие места и, выиграв корзину для яиц или какую-нибудь вышитую безделушку, притаскивали их в ресторан и показывали друзьям под общий хохот и шуточки. Они тотчас прозвали девушку Селиной в честь репродукции, которая висела у Роберта. И впрямь, когда она сидела за покрытым льняной скатертью столом, на котором красовался крендель, глядя вокруг испуганными глазами л а н и , — ее выбрали в «жертвы войны» потому, что у нее

погиб на море двоюродный брат, — она и впрямь походила на одну из натурщиц Мане. Они заговорили с ней — их позабавило ее полное равнодушие к происходящему. Она не понимала, к чему вся эта благотворительная кутерьма, а к войне относилась как к одной из неизбежных превратностей судьбы, ибо судьба не дала ей изведать более отрадные впечатления.

Забавно было приодеть ее и назвать Селиной — имя показалось им подходящим по звучанию и вполне пристойным. Впрочем, сама Селина не имела никакого представления о том, что пристойно и что непристойно. Она считала, что мир испокон веку устроен так, как он устроен, и первый свой любовный опыт приобрела благодаря насильнику-сторожу в отхожем месте на задворках дома, где она жила в ту пору. Она рассказывала об этой истории и других ей подобных, не делая из них трагедии. Ее простодушие было всеобъемлющим и граничило бы с глупостью, не проявляй она на каждом шагу свое умение приспособливаться и практическую сметку. Снабженная пятидесятикроновой бумажкой, она возвращалась в мастерскую на Слоттсгате с тряпками, из которых по воспоминаниям о последних картинках из журнала парижских мод сооружала броский вечерний туалет. То, что ее приняли в круг биржевых спекулянтов, не отличающих дня от ночи, не вызвало в ней ни злости, ни благодарности, а то, что она досталась Вилфреду, не пробудило ни унижения, ни гордости. Но однажды из какого-то их разговора за завтраком он вдруг понял, что ее мечта — быть принятой в порядочное общество!

Он тогда посмотрел на нее с каким-то безнадежным любопытством. Она взирала на все явления невозмутимым оком простодушки. Но око это с детской дотошностью подмечало все, и она с детской любознательностью впитывала все на лету. Ее без труда можно было выдать за родственницу одного из бельгийских деловых компаньонов дяди Мартина, который потерял состояние во время немецкого нашествия. На уроках французского, которые Вилфред давал ей в мастерской, Селина делала успехи почти пугающие, принимая во внимание, что она не в состоянии была усвоить ни одного грамматического правила.

Вилфред отошел от телефона, скорчив удовлетворенную гримасу. Голос у нее был обиженный. Этот оскорбленный, как бы с надутыми губками, тон она позаимствовала у своих сестер —

женщин, не отстающих от времени. Она все перенимала с раздражающей легкостью. Роберт правильно заметил: наивный человек был Бернард Шоу, когда описывал цветочницу, с таким раешным комизмом преодолевающую вульгарные привычки, вынесенные из дома отца-мусорщика. Обстановка, в которой выросла Элиза Дулиттл, — безмятежная идиллия в сравнении с набором тех унижительных случайностей, из которых составилось детство Селины. И однако, самонадеянному профессору Хиггинсу не понадобилось бы трудиться целый год, чтобы сделать из нее даму в духе времени.

Уж не потому ли, что на этих дамах лежала печать безвременья? Нет, не только поэтому. Вилфред маленькими глотками осушил громадный стакан. Он не так уж много знал о времени в целом — но зато представлял себе различия между разными слоями общества. Селина могла бы достичь любого образца, который бы ей предложили. Она прекрасно копировала изысканных дам, которые слишком подчеркивали свою изысканность, — она выставляла их на посмешище под дружный смех приятелей Вилфреда, собиравшихся в мастерской после закрытия ресторанов. Она очень похоже изображала Индюка, подчеркивая всю его вульгарную напыщенность, так что он предстал перед ними в неожиданном, разоблачающем виде: ограниченный подхалим, за всеми ужимками которого кроются трусость и жажда власти.

Талант?

Он налил себе немного вина и рассеянно поглядел в угол на высокие напольные часы, подаренные дядей Рене вместе с бутылками и стульями. Что такое талант, как не абсолютная девственность ничем не замутненного восприятия и жажда себя выразить!..

Вилфред встал и нервно заходил по ковру в броских желтых клетках, доставшемся ему за бешеные деньги от художника, который жил здесь прежде. Самого художника взял под свое крыло маклер с козлиной бородкой, меценат и любитель красоты, поднявшийся над уровнем своего времени.

Черт побери, не такое уж сокровище они приобрели. Подобрали ничтожную человеческую особь и предоставили ему, Вилфреду, возиться с ней до тех пор, пока она, судя по всему, не пропитается насквозь обывательским честолюбием, как все эти недоучки спекулянты, общество которых доставляло ему удовольствие. Яхты, автомобили и изящные моторные лодки — все это были ступени на пути к уважению сограждан, к которому

они так рьяно стремились. Все их помыслы сводились к тому, чтобы получить признание благородных в своей бедности и состоящих на жалованье рабов, которых они презирали за недостаток предприимчивости, но которыми восхищались по этой же самой причине, а также по целому ряду не совсем понятных причин, а в общем-то, пожалуй, причины эти состояли в том, что этих выскочек все еще подмывало выпить воду из чаши, которую подавали для ополаскивания рук. Может, эта жажда буржуазности и была подлинной основой их неумной энергии на биржевом рынке. Доныне их богатство еще не приносило им безраздельной радости, они ведь для того и демонстрировали его, чтобы убедить самих себя, что им не приходится зарабатывать его в поте лица, как добропорядочным людям — предмету их презрения и зависти.

Мать была недовольна его окружением, дядя Мартин — тоже. Но, может, как раз в несокрушимой наивности этих героев «сегодняшнего дня» и крылось их обаяние. Они были непосредственны и беспомощно ребячливы в своем стремлении разыгрывать господ. Казалось, они одним прыжком перемахнули через все — через юношеские стремления, учебу, надежды — и в один прекрасный день вознеслись прямехонько на вершину здания, у которого нет ни фундамента, ни стен, а вокруг — одни только леса, хрупкие, как паутинка. Они парят на этой недосягаемой высоте, и голова у них идет кругом, но, приведись им в один прекрасный день свалиться вниз, они, верно, даже не набьют себе синяков и шишек, а просто оглядятся вокруг и не станут даже очень тужить, только тихонько вздохнут и заметят про себя: «Ну вот, я и свалился...»

Эта-то свобода от всякой среды, столь не свойственная ему самому и тем, кто его окружал, и притягивала Вилфреда. Взять хотя бы Селину — у нее нет ничего, кроме сиюминутного существования, идеальный мотылек, который порхает с цветка на цветок, чуть трепеща на солнце крылышками. Если обломится стебелек или поникнут крылышки, она в следующее мгновение, может, уже и не будет знать, что с ней было раньше, и, не без удовольствия ползая по земле, отмахнется от неосознанных воспоминаний о том, что когда-то она была трепетной бабочкой на кивающей чашечке цветка.

Пора бы ей уже прийти. Вилфред устал от мерного течения этого дня, от того, что черпал из светлых источников ради тех, кто требовал его сочувствия.... Он услышал на лестнице легкие шаги, она всегда взбегала по лестнице через две ступеньки, он

любил в ней эту свободу движений, которая отражала свободу души, а может, просто безразличие, отсутствие почтения к чему бы то ни было.

А между тем она втайне стремилась к почтенному обществу...

Он широко распахнул дверь как раз в то самое мгновение, когда она собиралась взяться за ручку. И подхватил ее в объятия, как подхватывают падающего. А потом закружил по комнате, целуя ее и при этом стараясь не смазать косметику.

— В каком виде ты меня хочешь? — деловито осведомилась она. — В одежде, почти без ничего или совсем без ничего?

— Сегодня совсем без ничего! — ответил он, мгновенно охваченный желанием, которое не мог долго обуздывать.

— Пусть будет без ничего! — заявила она, выскользнув из карминно-красной змеиной чешуи. Рискованное сочетание с цветом ее волос — и она это знала. Она выбрала такую ткань ему назло — ее раздражали его разговоры о «хорошем вкусе». Но к ее вящему раздражению он с восторгом одобрил цвет. Тогда она стала изыскивать другие способы ему досадить.

— Ну вот, ничего и не осталось, — заявила она, обворожительно улыбаясь и приняв позу в духе картинки из французского журнала, который был в моде у доморощенных парижан.

— Я сказал без ничего, — сухо заметил он, но взгляд его горел невольным восхищением — восхищением перед подлинной красотой, независимым от плотского желания.

— А на мне и нет ничего, кроме туфель и чулок, — сказала она, поддразнивая его, и вскинула кверху ногу — длинную ногу в чулке и неуместной серебряной туфле. Он опустил на колени и быстро стянул с нее чулки.

— Ах, стало быть, сегодня я натурщица, — сказала она недовольным тоном и, надув губы, босиком прошествовала в угол к маленькому возвышению. Но он устремился за ней, как сердитый пес, и вернул ее обратно.

— Нет, не натурщица. — И, нагнувшись, он посадил ее к себе на плечи. Гордо, как королева, она проехала верхом по мастерской чуть ли не под самым потолком. И тут, грубо сбросив ее в громадную постель, он окунулся в упругие волны.

«Да, она свободна, — думал он, когда потом они лежали рядом за сотни километров друг от друга, вяло гадая, спит ли партнер. — Ничто не вызывает в ней возражений — ничто, так что даже противно. Свободна, как птица, — нет, та связана в

своем полете потребностью в пище и заботой о потомстве. Она свободна как ничто — неслыханное дело на земле, где люди всегда находят что-то, к чему себя привязать, — это первое, что они делают. Ее свобода — свобода без причин и без цели, и поэтому в какой-то мере бессмысленна. Чего же я хочу от нее в таком случае? Чтобы она осознала это свое свойство? Но ведь в тот же самый миг она этого свойства лишится. Тебе дали в руки прекрасную вазу. Станешь ли ты бросать ее на пол, чтобы узнать, из чего она сделана? Нет, ты просто станешь ею любоваться».

Его вдруг пронзила мысль: «Может, фру Фрисаксен тоже была такой ничем не связанной. И может, поэтому отец...»

Да, может, и она была такой, фру Фрисаксен на шхерах, подруга его извечно покойного отца, сама теперь покойница, которая лежала мертвая в насквозь промерзшем доме, где он делил с ней ее последнее ложе в надежде не замерзнуть до смерти. Может, прелесть ее тела и гениальная простота души околдовали отца и отвратили от преимуществ цивилизованной любви. Может, эта-то ее свобода и была естественной причиной их связи, — причиной, которая сильнее любых доводов. Может, именно так оно и было, и всякое его нынешнее чувственное восприятие, и всякое рассуждение было лишь отголоском того прежнего.

Он наклонился к ней, чутко вслушиваясь. Она спала. Спала, похожая на освещенное луной и пахнущее свежей стиркой белье, которое расстелили на земле и забыли. Он осторожно встал с постели, потушил свет и накрыл ее одеялом так, чтобы не коснуться подбородка. Он знал по опыту, что это ее самое чувствительное место. Он мог овладеть ею, когда она спала, гладить грудь, бедра, лоб или глаза. Но подбородок — коснись его легкая пушинка, и она в страхе просыпалась. Он в темноте склонился над ней и вдруг почувствовал какую-то глубокую связь между чем-то в самом себе и чем-то, что он вдохнул в нее. Единство душ? Ерунда. Тогда тел, страсть которых в настоящую минуту догорела, но они не расторгли своей глубинной близости. «Любить» — уместное ли это слово? В таком случае он любит также и неодушевленные предметы, если вообще на свете есть что-нибудь неодушевленное. В таком случае он любит и логику той прелюдии Баха, исполняя которую он когда-то прослыл вундеркиндом. В таком случае он любит систему форм кубизма — ее он полюбил, уловив взаимосвязь между линиями и цветом и всем тем, что он извлекал из своего нутра, когда

писал картины, которым он все это время всерьез отдавался за мольбертом.

Ему вспомнилась глупая напыщенная фраза: «Период моих занятий искусством пришел к концу. Это было увлечение переходного возраста».

Он поморщился в темноте. Потом встал и зажег затененную абажуром лампу в углу, готовясь осторожно снять покрывало с мольберта.

Может, сейчас он наконец разберется в этом? Целую неделю он не осмеливался взглянуть на картину. В глубине души он был убежден, что его попытки геометрического осмысления элементов свидетельствовали о полном банкротстве. Он ничему не учился. Вернее, учился всему понемногу — как в этой области, так и во всех других. Мальчишкой он играл «с оркестром» на музыкальных вечерах у дяди Рене. Потом Моцарт перевернул ему душу, да так, что пришлось спасаться бегством. Когда недавно он слушал с матерью игру Стефи Грейер, его бросило в дрожь от смутного понимания того, на что он осмеливался приязнать.

Он сдернул покров с мольберта. И почувствовал, понял с ликованием: есть что-то в этой всеохватывающей системе. Она верна. Во всяком случае, нет в ней наглой лжи и очковтираательства. В ней таится правда, к которой он пока еще пробирается ощупью — как пробирался ко всему, в чем пробовал свои маленькие и не такие уж маленькие дарования.

Но когда он снова завесил картину, в тусклом свете лампы уверенность исчезла. Да разве не у каждого любителя мерцает порой такая вот искра уверенности, и не она ли превращает их всех с годами в дилетантов — в выставляющих свои картины эпигонов, которых в тайный час наивной веры озарило открытие?

Вилфред погасил свет и ощупью двинулся в темноте по продолговатой комнате. Рука уверенно схватила бутылку бургундского. Он точно знал, где что стоит, точнее, чем когда видел предметы. Вероятно, потому, что они группировались перед его внутренним взором. А разве истинным художникам не присущ именно этот дар — группировать, осмыслять...

Он корчил рожи в темноте, не пытаясь себя сдерживать. Теперь никто не может ни высмеять его, ни запугать — он неуязвим. Он может строить рожи перед невидимым зеркалом и видеть — явственно видеть в темноте, как искажается его лицо, делается зловещим, презрительным и злющим-злющим. Теперь

он способен понять правду и низринуться с высот минутной веры. Так пусть же явится сознание собственного ничтожества — прочная броня, защита от опасных надежд.

Он бесшумно извлек пробку из новой бутылки и радостно хмыкнул, проделывая короткий путь от шкафа до стола. Теперь можно спокойно сесть и дожидаться, пока стекла на покато́й крыше не посереют, пропуская свет, который создает пространство с его элементами, по мере того как они по очереди выступают из темноты и *становятся* собой.

Он наслаждался тем, как это совершалось. Затянувшаяся темнота не оставляла иной мысли, кроме сознания бытия, освобожденного от мелких подробностей самодовольного знания о многом, в частности о том, что его поиски абсолютной формы — путь к тому, чтобы утвердиться вне самого себя, в глазах других. Все вокруг стремились именно к этому — не отстать от других. Может, фру Фрисаксен это было чуждо. Может, Кристине тоже — только она этого не сознает! Потому что, сознавая она это, она тотчас стала бы пленницей цели, и все бы изменилось. А бедная Селина? Высокая, стройная, богоподобная Селина, не понимающая самое себя и сознающая лишь чисто внешние признаки своего существования — разве она не стремится уже попасть в клетку к другим обезьянам и быть такой, как они?

Ему вспомнился вдруг молодой жизнелюбивый судовладелец-миллионер, Большой Бьёрн, который в пьяном виде сел за руль и погиб в своей новехонькой машине, насквозь пропоротый рычагом коробки передач. Что понял он в ту минуту в Ханеклеве, когда при свете луны его машина неслась под откос? Может, уразумел на мгновение тщету суеты? Или просто в нем бушевал гнев, ярость оттого, что его жизнь, которая ему представлялась значительной и яркой, должна так внезапно оборваться...

Роберт много толковал об этом несчастье. И Вилфред уловил в глубине его взгляда выражение, говорившее о том, что Роберт подозревает, как недолговечно их нынешнее бытие. Может, все эти развеселые господа по ночам при свете луны сидели в одиночестве, с мутным взором, но ясным сознанием, что жизнь, которую они ведут, построена на песке. Вот они и подбадривали себя разговорами об утонувших моряках. Они напускали на себя лицемерную скорбь, на самом деле скорбя о самих себе. В глубине души им не на что было опереться, ибо они чувствовали, что так не может быть, так не бывает. И в овраге при свете луны сильному, полному желаний человеку в

минуту гибели что-то открылось. И под тяжелым пологом хмеля за столом в ресторане проблеск разума вспыхнул во взгляде спекулянта, поднимавшего сжатый кулак, чтобы забили светлые источники, те, чья сухая пучина топила любое разумие...

И как же это он, Вилфред, именно он, осмелился называть этих людей наивными, недоучками, презирать их... он, со своими треугольниками, которые он извлекает из всего многообразия жизни и накладывает на плоскость холста, выдавая за ответ на все вопросы!

Кое-кто требовал от него, чтобы он подумал о будущем. Его преуспевший опекун дядя Мартин со своей непогрешимой логикой твердил: «Другие молодые люди...»

Тем более. Если другие так заботятся о своем будущем, с какой стати должен и он? Если они возлагают надежды на некую силу, которая сидит себе и ведет вселенские подсчеты, то весьма самонадеянно делать ставку на одну-единственную самостоятельную единицу — Вилфреда Сагена, полагать, что из всего этого множества именно ему выпадет честь получить местечко поблизости от престола господня... А впрочем, пожалуйста, он ничего не имеет против. Он бросил матери фразу об истории искусства, чтобы порадовать ее. А может, это станет правдой? Может, ты становишься таким, каким себя измышляешь? Желать быть художником — это и претенциозно, и дерзко в плане социальном, потому что, если ты не добьешься успеха... Кто осудит неудачника чиновника, какого-нибудь управляющего заводом или директора конторы — никто, но вот работа художника в глазах обывателя оправданна только в том случае, если публика млеет от восторга. *Искусствовед* — дело другое. Ученый, критик... Ничем не рискующий всезнайка, который берет от искусства, ничего ему не отдавая, и вершит свое махонькое дельце, не рискуя подвергнуться страшному подозрению, что он бездарь. В глазах дяди Мартина эта профессия тоже смешновата, но не безоговорочно неприемлема. Специалист по эстетике даже украшает семью, ведь он не лезет в воду, а умненько остается на берегу, где можно брезгливо морщиться, глядя на того, кто барахтается в волнах: так поступают все эти морские герои без судов, которые, раздевшись в костюмы яхтсменов, толпятся по вечерам у поручней на Дроннинген и критикуют маневры парусников во внутренней гавани.

Короче говоря, Вилфред готов быть для них кем угодно, лишь бы для себя оставаться кем-нибудь другим...

Стекла на потолке посветлели. Рассвет настиг Вилфреда, прежде чем он заметил его самые первые признаки. По улицам загрохотали тяжелые повозки для уборки мусора. В газетах писали, что городской уборочной службе не хватает 265 лошадей. У каждого свои заботы.

Предметы возрождались в пространстве, один за другим возникали они в самых неожиданных местах, в манящей нечеткости, которая приобретала форму...

Мольберт...

Его он не видел. Он еще не возник. На сундуке, стоявшем позади него, который уже появился из тьмы, выступила ваза, вернее, форма, о которой он знал, что это ваза. И все же ее существо еще было скрыто, выступала одна только форма и говорила своим языком. Вилфред любил этот час, когда предметы еще не обретали содержания и были формой, одной только формой.

Селина легко повернулась в постели. Постель казалась совсем плоской, словно в ней никто и не лежал — женщина тоже, наверное, была абстракцией, существом, которое он любовью хотел вызвать к жизни из формы, которая была создана как форма, и более ничто. Но всегда повторяется та же история, что в гётевском «Ученике чародея». Люди не умеют остановиться вовремя, не умеют, и все тут. Стоит появиться форме, как им нужно, чтобы она чем-то стала, чему-то уподобилось: вазе, картине, Селине, с ее бессмысленным совершенством. Да, именно бессмысленным, потому что в ней не было ни замысла, ни цели, она не поддавалась определению — она была, чтобы быть. И все же он пробудил ее душу, а может быть, чужую душу, которая готова была участвовать в игре и изображать других.

Ему хотелось остановить этот час, волшебный час, когда вещи существуют лишь как форма. Он хотел и ее удержать в этом мире, хотел энергично и властно. Но беда была в том, что ему удавалось только хотеть. Вещи освобождались от его воли, обретали связи, «суть», которая включала их в общее взаимодействие, наподобие колесиков в часовом механизме. Да и его собственная свобода состояла из уймы условностей — он их не соблюдал, но и от них все равно деться некуда. Все это было ему мучительно ясно в этот волшебный час, который также не мог продлиться. Он исчезал, едва Вилфред успевал его уловить. Предметы выявляли себя и переставали *быть*. Они *становились*.

Кофейник в кухонном уголке становился кофейником. Все предметы становились вещами. Вилфред почти машинально по-

дошел к раковине и налил воды в кофейник. Селина проснется от запаха кофе и решит, что наступило утро, потому что запах кофе — примета наступившего утра. Вилфред сбегит вниз по лестнице, пройдет через черный ход в булочную и получит только что выпеченные, с пылу с жару, свежие булочки, те, что вытекают из тайных запасов белой муки только для избранных. И когда она проснется, все это будет стоять перед ней — натюр-морт «новый день», который можно съесть или нарисовать — кому что нравится...

Волшебный час уже миновал. Угрюмые, укоризненные стояли теперь вещи, и каждая своей точной позой выражала свою суть: «Я шкаф, я полка, а я стол, бремя, отягощающее меня, принадлежит ночи, убери его». Так будут они говорить, призывая ему. «А я, я бутылка, а не луч света, преломленный изогнутой поверхностью, я бутылка, и я требую, чтобы на меня обратили внимание. Мое время на картине истекло с уходом ночи, я на ней не к месту с наступлением рассвета». И ваза осознает свою вазовую сущность и начнет чваниться своей функцией: «Положите в меня фрукты! Я хочу быть похожей на изображение вазы с фруктами!»

Все, все они предавали его на исходе волшебного часа. Он ходил среди них и просил их остаться прежними, но они отмахивались от него, как отмахиваются от назойливых друзей. Неужели они перестают понимать свою собственную ценность, когда рассеивается тьма? Наступает утро, а утром раздается звон колоколов, и люди спешат на звон колоколов, и утро приводит могильщика к могиле и опускает в могилу гроб, а живые спешат от нее прочь и возглашают вечную славу господу в небесах: «Мой час пробьет, мой час пробьет, его час уже пробил! Помилуй, господи, душу его! И его час пробьет, и его. А мой? Ради всех святых, подыми скорее завесу тьмы, подыми, подыми ее скорее! Слышишь, пропели петухи...»

4

Вернувшись из булочной, он с удивлением обнаружил, что она уже встала. Она была совсем одета и непривычно возбуждена.

— Звонил не то Фосс, не то Дамм — не знаю точно, который. Спросил, не хочешь ли ты взять на сегодня его лодку.

— «Сатурн»?

— Шикарную моторку, вы еще о ней говорили. Ну как — возьмешь?

Он стоял перед ней с булочками в белом пакете. Она уже поставила на стол кофейник, старательно накрыла стол. Да, все предметы обрели свою истинную суть, свою трезвую будничную суть.

— Он говорит: сегодня чудесный осенний день, может, последний в этом году, и во фьорде такая красота, — сказала она.

— А тебе-то самой хочется?

При свете дня он ни разу не видел ее такой возбужденной. У него были другие планы. Он как раз собирался навестить упомянутых любезных адвокатов и изъять из их дела свой небольшой капитал. Он чувствовал, что биржевая игра перестала его забавлять. К тому же учитель гимнастики надоел ему своим спекулятивным азартом. Мысли Вилфреда больше занимали некие кубы и треугольники. Он смущенно покосился в угол на мольберт, который грозил из-под покрова своими неосуществленными возможностями.

— Почему бы и нет? — вяло сказал он, не дождавшись ответа.

— Лодка стоит во Фрогнеркиле, — снова с необычным жаром заговорила она.

Он разлил кофе.

— Тебе бы хотелось прокатиться на лодке? — спросил он, протягивая ей булочку. От булочки шел аромат занимающегося утра... Где он слышал это выражение? Впрочем, не все ли равно. Только теперь он понял, что в ней необычного. Поверх платья она накинула заляпанный красками халат, в котором он писал картины.

— У платья очень уж ночной вид, — сказала она, заметив, что он ее разглядывает. — Знаешь, у некоторых девиц с улицы Карла Юхана есть наряд, который так и зовется: «День и Ночь». Стоит его вывернуть наизнанку, и переодеться не надо — приличное платье, можешь разгуливать днем.

Вилфред этого не знал. Он и сейчас не до конца вник в ее слова. Что-то напоминали ему нынешние обстоятельства — но что?..

— Ты не ответила мне, хочется ли тебе самой? — спросил он. — Да ты, я вижу, и яйца сварила?

Такая утренняя деловитость была ей несвойственна. Обычно они разыгрывали маленькую комедию: они птицы, он прилетает к гнездышку и кормит ее. Разыгрывали они эту сцену

без особого увлечения, но она несколько смягчала ненавистный ему ритуал завтрака в постели.

— Ключ от зажигания лежит под полосатой подушкой в кокпите,— сказала она, извлекая яйца из кипятка. — Чуть не забыла передать.

Зажигание, кокпит. Слова закладывались в нее, как в машину, и в нужную минуту выскакивали наружу. Она наверняка понятия не имела, о чем говорит.

— Стало быть, остается только сесть в лодку...

Она протянула ему солонку.

— Ну что ж,— сказал он немного погодя. — Покатаемся по фьорду...

Они завтракали в молчании. По утрам она ела с аппетитом, это тоже ему нравилось. Он терпеть не мог людей, будь то мужчины или женщины, которые по утрам, угрюмо преодолевая понурю вялость и уныние, через силу выкуривают сигарету и выпивают чашку кофе с таким видом, словно совершили невесть какой подвиг. Она приоткрыла единственное открывающееся окно на крыше. Молодец. Курить надо при открытых окнах. Свежий воздух, кофе, яйца. В известных делах надо соблюдать порядок.

— Я никогда не бывала во фьорде, — сказала она.

Он так и застыл, даже жевать перестал. Ему и в голову не приходило, что есть в городе люди, которые не бывали во фьорде, которые не имели возможности покататься на лодке: лодки не было ни у них самих, ни у их знакомых... Теперь он твердо знал, как ему следует поступить.

— Ты не можешь ехать во фьорд в таком наряде, — сказал он. Она поглядела на него. Что было в этом взгляде — благодарность? Собачья преданность? Этого нельзя допустить... Он смущенно огляделся.— Тут были деньги... — Он проследил за ее взглядом и подошел к полке под зеркалом. Потом перебрал кредитки. Господи помилуй, неужели за вчерашний день опять ушло так много денег? Он попытался сообразить, как это случилось.

— Ты брала? — осторожно спросил он.

— Да, мне надо было, — ответила она без уверток.

«Слава богу,— подумал он, улыбнувшись. — Собачьей преданности и в помине нет...»

И тут вдруг ему пришла в голову мысль: что, если заглянуть в Драмменсвей и взять ключи от дома в Сковлю, тогда у прогулки будет цель.

— Встретимся через полчаса, когда ты купишь себе нужные тряпки. Где лодочная пристань, знаешь?

— Нет,— ответила она, — я возьму такси от «Стеена и Стрёма».

Когда они обогнули Бюгдёнес, волны сразу стали круче.

— Как по лестнице идешь! — крикнула она, стараясь перекричать веселое рокотанье мотора. Она стояла чуть впереди его, на левом борту, голова возвышалась над ветровым щитом, ветер ласково играл роковыми волосами. В белом свитере и синей юбке в складку она была похожа на рекламную картинку, приглашающую совершить поездку на Ривьеру. Ничего общего с той, какой она была ночью. Маленькая брошка над левой грудью довершала простой костюм — отлитая из меди русалочка, выходящая из волн. Наверняка ей понадобилось не больше полминуты, чтобы выбрать этот наряд, и две секунды, чтобы переодеться. В темно-синей пляжной сумке, как видно, лежал купальный костюм и прочие купальные принадлежности.

Вилфред вначале нервничал, не зная, заведется ли мотор. Его раздражали советы сухопутных экспертов в блестящих фуражках и с ногтями лопатой. От них разлило пивом, и они все знали насчет гребных винтов и свечей, о чем он только догадывался по воспоминаниям, он заводил эту лодку всего один-единственный раз, да и то под умелым руководством.

— Так вот оно какое, море, — сказала она, подставляя лицо встречному ветру. Слова эти донеслись до него приглушенно, как вздох, — в них не было ни восторга, ни удивления, а некий вывод, к какому приходит тот, кто видел море на рекламных плакатах, изображающих на палубе парохода состоятельных людей, тех, кому принадлежат берега. Эти люди входят в воду и выходят из нее, не задумываясь над тем, что заявили на нее права и наложили лапу, и не подозревая, что десятки тысяч горожан не знают, что такое море, — разве только по картинкам да по прогулкам в маленьких черных лодчонках: на этих лодчонках катается простонародье, мужчины, которые по субботам пьянствуют и совершают разбойничьи высадки на побережье, где расположены виллы, а владельцы вилл к ночи изгоняют их оттуда. Вилфред никогда не задумывался над этим. Блага жизни доставались ему легко, и ему не приходилось их вожделеть, каждое становилось доступным в свое время, в свой черед. От этого он не умилялся и не злобился, может, просто

немного удивлялся. В особенности когда думал о тех благах, что люди называют природой и радостями жизни. Что за слова употребляют люди... ведь слова эти — пустой звук, они родились не от подлинной потребности. Ими пользуются как штампами для вариаций на заданную тему, все равно как десятью заповедями или кулинарными рецептами, которые впитались обывателю в плоть и кровь.

— Тебе нравится море? — крикнул он против ветра, вопросительно подняв брови, чтобы она поняла на тот случай, если не услышит.

Она ответила улыбкой. Но не той победоносной и утвердительной улыбкой, которая означала бы: «И ты еще спрашиваешь!» Нет, это уже была улыбка с цветной рекламной картинкой, точно кататься по морю для нее естественно и привычно и она лишь ненадолго забыла об этом. Интересно, умеет ли она плавать? Наверняка нет. Не очень-то выучишься плавать на городских задворках с мусорными ящиками в углу и рядом низеньких, выкрашенных в зеленый цвет уборных...

Когда они обогнули мыс в Хюрумланне, он увидел новенькие теплицы садовника. На какое-то мгновение они вспыхнули ослепившими их солнечными бликами. А потом матово поблескивающие стеклянные домики остались позади справа. Возле теплиц не было ни души, но внизу, у невысокого причала, Вилфред заметил тачку, ее ручки торчали вперед, словно щупальца. Потом показалась хижина фру Фрисаксен. И тотчас мысль его отвлеклась от лодки, от мотора, и Селина впервые за долгое время вопросительно оглянулась. Не потому ли, что он направил лодку к берегу? А может, она почувствовала, что ток, который все время шел от одного к другому, прервался, и ощутила тревогу сродни его собственной, хотя ни о чем не могла подозревать...

Замедлив ход, он повел лодку вдоль противоположного берега, чтобы разглядеть, есть ли кто-нибудь в домах. У него мелькнула мысль, что ему незачем сообщать соседям о своем посещении, во всяком случае сегодня. Как-нибудь в другой раз, в другом настроении, но не сегодня...

Украдкой покосившись на Селину, он перехватил направление ее взгляда. Она смотрела как раз на Сковлю и на пристань внизу, словно измеряла крутизну холмов, воображая, будто живет там. Вилфред подумал: «Хоть бы эти люди и увидели нас,

наплевать». Он замедлил ход и тихо подвел лодку к причалу. Стук мотора на малых оборотах гулко отзывался под крутыми мостками. Селина обернулась, вопросительно глядя на него. Он кивнул на бухту троса, аккуратно свернутого вокруг никелированной колоды на баке. Она быстро подбежала к ней — только тут он заметил, что она обута в резиновые сапожки, — и грациозно взобралась на берег с фалинем.

Она ни о чем не спросила его, когда они стали подниматься к дому. Она наблюдала за ним, пока он причаливал лодку, и наверняка запомнила, как вязать узлы, и другие приемы. Она мгновенно сообразила, что якорный конец каната должен быть как можно короче, чтобы лодка не болталась, и протянула ему гибкую руку с узкой кистью, чтобы ему легче было спрыгнуть на мостки с бака, который при толчке отдавал назад.

А потом, пока он рылся в погребе в поисках консервов и вина, она бродила по дому, осматривая его. Она не выказывала любопытства — она просто впитывала окружающее. Он долго наблюдал за ней, не замеченный ею, когда вернулся из кухни с холодными закусками. Теперь было не то, что в прежние времена, когда погреб набивали до отказа, словно в расчете на военную осаду, и все же холодное угощение не уступало меню лучших ресторанов. Оба чувствовали себя по-семейному уютно.

Но когда позже — на заходе солнца — она прыгнула следом за ним в воду с самой нижней площадки трамплина, он уловил проблеск страха в ее золотистых глазах. Он ни о чем не спросил, но сама ее поза сказала ему, что она ныряет впервые. В воде он повернулся вполоборота, чтобы не терять ее из виду, но ни во что не вмешивался и только держался поблизости. Неужели воля казаться не хуже других способна победить даже силу тяжести? Она вынырнула, отфыркиваясь, купальная шапочка надулась, точно воздушный шар. Быстро обхватив ее за талию, он поежился.

— Холодно, пошли домой.

Он тащил ее почти что волоком и поддерживал, пока у нее под ногами не оказалось дно. «Чего только не добьешься подражанием, если только умеешь подражать, — думал он восхищаясь. — Человек способен сделать все, что делают другие. Наверное, он способен увидеть природу в форме кубов, потому что так увидел ее тот, кому в глаз попал волшебный осколок...»

Он бережно овладел ею на кушетке в купальне. Мятежная мечта его детства разрешилась нежным упоением. А потом они вместе рассматривали окрестный пейзаж через красное, синее и зеленое стекла в оконце, затененном кружевной занавеской. Он чувствовал, как она содрогается у желтого стекла, сумрачно млеет перед красным — так воспринимал это в детстве он сам. Он ощущал это собственным телом, вплотную прижатым к ее телу, чувствовал, какой просветленный покой охватил ее у синего стекла, и ее вялое разочарование, когда под конец она поглядела на окрестный мир сквозь обыкновенное стекло.

— Неужто на самом деле он такой? — спросила она убито.

Потом они вместе стали глядеться в пятнистое овальное зеркало, отражавшее их изуродованные лица, и он сказал смеясь:

— Может, и мы на самом деле такие!

Но она, испуганно покачав головой, отпрянула от стекла и, поеживаясь, стала быстро одеваться.

— Ой, правда, — вспомнила она в друг, — он ведь сказал, что-бы ты оставил моторку в Снарекиле.

Он недоуменно посмотрел на нее. Они вместе пошли к причалу, где стояла моторка. Может, с этой лодкой что-то неладно? Но она глядела в сторону, будто не понимала, в чем дело.

— А еще что они сказали? — Что-то все это напоминало ему, только он не мог уловить что.

— Еще? А что еще они могли сказать?

— Гм... ну, к примеру, что моторку разыскивают.

— Нет, они больше ничего не сказали.

И она пошла к дому — прибраться, как она объяснила. Вилфред постоял, глядя на нарядную лодку, тихо покачивавшуюся на швартовах, и вдруг понял, что напомнили ему нынешние обстоятельства: тот случай, когда он одолжил своему другу Андреасу роскошный английский велосипед. Андреасу надо было только взять его в одном месте у Блосена. А сам Вилфред, разъезжая однажды ночью на этом велосипеде, натворил всяких бед: устроил небольшой пожар на хуторе Фрогнер, ударил полицейского по руке гаечным ключом. Вот он и дал на время велосипед своему другу Андреасу, к недолгой радости Андреаса. А велосипед этот был редкостный, может единственный во всем городе, — марки «Рали».

Стало быть, все, что происходит теперь, — это лишь отголосок того, что уже было когда-то. Впрочем, его не касается, что там натворили господа Дамм и Фосс, он никогда не считал, что

эти адвокаты с их отделанным карельской березой баром и сомнительными клиентами честнее других. Кстати, слово «честность» вообще не было мерилom в нынешней терминологии — его почти не произносили вслух, да и вообще о нем не вспоминали. Но как видно, что-то у них не выгорело, вот и понадобилось спрятать лодку, может, эта лодка — все, что у них осталось из имущества. Вилфред понятия не имел, кто из двоих владелец лодки.

А может, ее владельцем не были ни тот ни другой. Теперь ведь вообще никогда ничего не знаешь. Не знаешь ничего ни о ком. И это хорошо. Вилфред не прочь немного потрудиться, чтобы выручить ближнего. Он готов поставить лодку там, где они просят, готов найти еще более укромное место. Пока он возился со швартовами, Селина вернулась с сумкой и одеждой. И стояла молча, не удивляясь тому, что лодка вдруг сразу изменила облик — стала подозрительной. Так и подобало дочери эпохи, когда не задают вопросов: почему, откуда и зачем...

Весело насвистывая, Вилфред помог ей забраться в лодку. От этой лодки они оба получают удовольствие — и точка. Включенный мотор негромко затарахтел, Селина ни о чем не спрашивала.

Она не спрашивала, его ли это дом, в котором они только что побывали, и кому принадлежат другие дачи, поблескивающие окнами в лучах заката. Но когда они обогнули мыс и он медленно повел лодку вдоль противоположного берега по зеленоющей воде, она увидела хижину фру Фрисаксен — хижина была обращена к ним своей серой стеной.

— Кто здесь живет? — спросила она.

Он вздрогнул.

— С чего ты вдруг?

— Да так...

Неужто между людьми проходит какой-то таинственный ток, даже когда один из них умер? Или это простонародное начало породнило их, и Селина почувствовала свою связь с умершей, хотя со всем остальным, что находилось вокруг, она связи не чувствовала — это был другой, не ее мир.

— Тут жила одна особа, одна женщина. Она умерла.

— Давно?

— Шесть лет назад.

— Так давно, — только и сказала она. Но когда хижина уже осталась позади, она вдруг предложила: — А что, если сойти на берег и посмотреть дом?

— Уже поздно. И он наверняка заперт. Да и причал неудобный. — Вилфред громоздил отговорки, не связанные одна с другой. Каждая из них звучала лживо, они как бы не подкрепляли одна другую.

— Ясно, — тихо ответила она, как бы принимая их все разом.

Он медленным полукружием развернул лодку и снова направил ее в глубь фьорда.

— Они не сказали, когда надо поставить лодку на причол? — спросил он. Она покачала головой. Он пришвартовался в маленькой бухте между двумя полуостровами. Солнце теперь быстро садилось. Между скалистыми холмами было сумрачно. Он взял ее за руку, и они стали карабкаться вверх по узкому ущелью. Но когда они выбрались на ровное место возле участка садовника, вечернее небо было еще высоким и синим. Над крышей не видно было дыма, из ворот не выбежала с лаем собачонка. Все кругом словно вымерло: и на летних дачах, и в домах тех, кто жил здесь постоянно, — детство ускользало от Вилфреда, не давало ему обрести почву под ногами.

Дверь в хижину фру Фрисаксен была не заперта. Старые сети висели на деревянном сучке, вбитом в стену. От очага, в котором белела старая зола, веяло стылým запахом тимьяна. Его сердце сжалось от страха и тоски. Он вошел в комнату, где стояли голые деревянные кровати — изъеденные крысами столбы казались кривыми. Здесь он когда-то провел двое суток между жизнью и смертью. Но не это воспоминание лишило его сил, тут было что-то иное — какая-то иная нить прочно связывала его с самим духом этого дома.

Когда он вышел из комнаты, очень бледный — он это почувствовал сам, — то встретил взгляд поджидавшей его Селины. Они вдвоем двинулись к выходу. У дверей, как в прежние времена, висела фотография Биргера в Опорто.

— А я знаю его, — сказала она.

— Его? — Он не мог удержаться от улыбки, услышав эту равнодушную фразу, это бессмысленное утверждение.

— Он служил у Роберта, торговал с тележки сосисками.

Нелепая фраза повисла в спертom воздухе. Одна нелепость нелепее другой. А что, если он скажет ей: «Этот Биргер много лет назад утонул в далеких краях, это сын моего отца от фру Фрисаксен, да-да, сводный брат твоего друга Вилфреда Сагена»? Почему бы нет? Ему тоже ничего не стоит наговорить кучу бессмыслиц, вся беда в том, что это правда.

— Роберт... тележка... сосиски, — вместо этого произнес он. Они вышли. Теперь тьма стала опускаться и на равнину, но здесь она была похожа на темно-синий полог, протянувшийся от скал к равнине, где солнце задержалось надолго, и не было здесь пугающих теней, как в крутом ущелье.

— А ты не знала, что у Роберта тележка, чтобы развить сосиски? — спросила она. — И не одна. «Подспорье в старости», — передразнила она голос Роберта.

Он схватил ее за руку, посмотрел ей прямо в глаза.

— Это правда?

— А чего тут такого? — спросила она, легко высвобождаясь от него, но он снова впился в ее руку.

— Говори, это правда?

— Не щиплись!

Если многогранный Роберт и вправду заворачивает самыми разнообразными и неожиданными делами, почему бы не поверить и в то, что есть на свете человек по имени Биргер и человек этот, сводный брат Вилфреда, бродит по жизни теми же путями, что и он сам, или где-то совсем рядом. Вилфред почувствовал нечто вроде зависти к этим людям, к людям, которые невозмутимо следуют извилистыми путями судьбы. Такова участь безответственных — они не пытаются переоценивать ценности и ни из чего не извлекают выводов, они спокойно минуют перекрестки судьбы, где им не приходится делать выбора. Они лишь констатируют то, что видят, и как ни в чем не бывало продолжают свой путь.

— У Роберта есть еще что-то вроде загородного отеля, — сказала Селина. — Маленькая гостиница, только, кажется, она не действует...

Совершенно верно, Роберт часто говорил об этой гостинице. Раза два он даже предлагал поехать туда всей компанией, чтобы отдохнуть, как он выражался. Отдохнуть — было заветной мечтой Роберта. Всем его затеям не хватало лишь какого-нибудь пустяка, чтобы осуществиться.

— А ты знаешь, что он всегда носит в кармане книгу, которая называется «Пан»?

Вилфред знал. Они с Робертом устраивали маленькие поединки — состязались в цитировании Гамсуна. Они называли его Поэт.

— А ты знаешь, что ее написал Гамсун? — спросил он в свою очередь.

— А как же, у тебя в мастерской полно его книг.

Стало быть, она заметила, она знала. Бесенок толкнул его под руку.

— Хочешь почитать?

— Нет.

Но бесенок продолжал его подзуживать.

— Стало быть, ты утверждаешь, будто видела парня, фотография которого висит на стене? Может, ты и говорила с ним?

Но она не хотела продолжать разговор. Он замечал это и прежде: его стремление углублять простые вещи досаждало ей. В этом она походила на его мать — она не хотела ни о чем знать больше того, что случайно узнала. Как только подробности подступают к тебе, начинают тебя затрагивать, в них появляется что-то — ну да, что-то опасное, — поэтому обе женщины и отстраняли их от себя. Ничего не поделаешь.

Он замолчал и, подавленный, продолжал идти чуть впереди нее по участку садовника, не в силах заглушить беспокойства, растревоженного в нем мелочами.

— Не стоит из-за этого расстраиваться, — услышал он сзади ее голос.

Он остановился.

— Ты права. Из-за этого расстраиваться нечего. — Но что она имела в виду под словом «это» и что имел в виду он сам, ему было не очень-то ясно. Так или иначе он решил в данный момент из-за «этого» не расстраиваться. — Мы можем переночевать в Сковлю, — предложил он.

— В Сковлю?

— Там, где мы были. Я имею в виду, если с лодкой дело терпит.

— По-моему, ему вовсе неохота получать эту лодку обратно как раз сейчас.

Стало быть, она угадывает все, что происходит, как угадывает он сам. С той только разницей, что он ломает голову над тем, как найти выход — тот или другой выход для людей, которых он почти не знает, не знает даже, нуждаются ли они в поисках выхода... Она же предоставляет событиям идти своим чередом. Откуда только люди черпают этот беззаботный фатализм?

Поднявшись на холмы по другую сторону перешейка, они услышали в темноте шум мотора. Он остановил ее и взгляделся в даль. Пока они так стояли, небо усыпало звезды, ночной мрак поглотил вечернюю синеву горизонта на севере и на востоке.

Море стало черной плоскостью, которую глаз уже не отличал от суши.

Он легонько потянул ее за рукав и потащил за собой назад, вниз. К пещере под горой, где часто прятался в детстве. Однажды он забрел туда в полубеспамятстве, и ему казалось, будто он в стеклянном яйце — яйце, в котором, если его потрясти, идет снег; ему подарила это яйцо фру Фрисаксен в хижине на мысу. Оно принадлежало его отцу, он держал яйцо в руках, умирая...

Вилфред тихонько втолкнул ее в отверстие пещеры, а сам опустился на колени и стал ждать. Шум мотора приближался. Это был уже не глухой рокот машины в открытом море, а близкое бормотанье, как при медленном ходе вдоль берега, ухо даже различало удары поршня. Внезапно шум прекратился — стало быть, мотор выключили. Лодка с погашенными фонарями во мраке осенней ночи.

— Подожди меня здесь! — шепнул он и пополз к краю склона.

На фоне чуть более светлой скалы он увидел темную фигуру, бесшумно привязывавшую лодку. Руки уверенно нашли конец швартова. Вода едва плеснулась, когда человек переступил с ноги на ногу, грузно наклонился и со скрипом поволок по дну лодки какой-то предмет. Потом выпрямился и, переведя дух, стал вглядываться в даль фьорда.

Там было темно и тихо. Вилфред отполз на несколько шагов назад и поманил Селину. Теперь, вдвоем притаившись на краю склона, они следили, как человек вытаскивает на берег тяжелые ящики — два ящика, пять, шесть ящиков. Он погрузил их в стоявшую на берегу тачку и стал тяжело подниматься в гору. Оставив тачку наверху, он опять спустился вниз и посветил электрическим фонариком. На дне лодки оставался чемодан. Человек бесшумно прыгнул в лодку и вынес чемодан на берег. Потом измерил взглядом высоту холма и, казалось, заколебался. А потом, прикрыв чемодан какими-то лежавшими на берегу снастями, опять поднялся наверх к своему грузу. Тачка скрипела и погромыхивала, пока он толкал ее вверх по холму и дальше по равнине к садоводству.

Вилфред, как кошка, прокрался к причалу и сунул руку под снасти. Он беззвучно рассмеялся, выудив из чемодана бутылку, и поднес ее совсем близко к глазам. «Доктор'с Спешизл», — прочел он. Потом мгновенно вернулся назад к Селине. Теперь они различали силуэт мужчины и тачку уже у самых теплиц —

два черных, как деготь, пятна на фоне неба, чуть более светлого на северо-западе.

— Это небольшой должок, который он бы мне охотно возвратил, — сказал Вилфред, когда они снова оказались в Скволью. Звезды, сплошь усеявшие небо, пылали так яростно, словно готовились к атаке. И, когда они сидели с искрящимися стаканами в руках, повторил снова: — ...долг, который он бы мне охотно возвратил.

— А я ни о чем не спрашиваю, — сказала Селина.

Они сидели за столом, как супружеская чета, приехавшая на уик-энд. О чем думала она? Как супружеская чета... А о чем думал он? Его мысль вернулась вспять, ведь это был конец длинной цепи мыслей, толчок которой был дан в доме фру Фриксаксен, а может быть, еще гораздо раньше — в том месте, которое он должен найти, чтобы восстановить утерянную взаимосвязь, чтобы доискаться той части собственной души, где так много темных точек, а может, найти даже тот темный провал, который и есть причина вечного разлада в нем самом, причина того, с чем он не может смириться. В каком-то месте линии должны сойтись, в каком-то месте, где остался чей-то маленький должок, который разросся в вину, а та породила требования, которые становятся все ненасытнее.

— Он считал, что должен мне, — сказал Вилфред.

— А я ни о чем не спрашиваю.

На другое утро он не стал швартовать лодку в бухте Снаррекиль. Он пришвартовал ее гораздо дальше, в бухте, куда не заглядывала ни одна душа. На всякий случай. Ему нет дела до всей этой истории с лодкой, но на всякий случай он поступил именно так.

Ранним утром они вдвоем дошли до станции Аскер, чтобы сесть в поезд, идущий в город. Былолюдно: одни спешили к поезду, другие — в магазины. Ему казалось, что их с Селиной объединяет чувство одиночества в этой толпе. Те люди сознавали себя на своем месте. Они всюду на своем месте: в поезде, в магазинах, на тех жизненных путях, в которых они ни на минуту не сомневаются и где каждый поворот как бы подтверждает правильность пути. А Вилфред по дороге к станции ощущал за них обоих, насколько они чужды окружающему.

На станции он купил газету. Сообщение было напечатано на первой странице. Яркое утреннее солнце освещало газету,

которую он развернул перед ней так, чтобы они могли читать вместе. Там было напечатано, что адвокаты Дамм и Фосс арестованы. Напечатано об акционерном обществе, о судах, которых никто никогда не строил, о верфи, которой не было в помине, и о людях, которые потеряли деньги. И еще там были — уже от имени самой редакции — длинные рассуждения о лазейках в законе, о безответственных поступках, о знамении времени — обо всем, о чем они привыкли читать. Он поднял глаза от газеты, посмотрел на Селину.

— А вот и наш п о е з д, — сказала она.

Побывав у Роберта, Вилфред почти ничего не узнал. Тот был взволнован арестом двух своих друзей, но не настолько, чтобы можно было заключить, что и он замешан в этом деле. Насчет лодки он тоже не мог ничего сообщить. Когда этот расудительный фаталист радовался, в нем всегда сохранялся налет печали, зато и потрясти его было нелегко.

— Я, собственно, хотел тебя кое о чем спросить: у тебя одно время был помощник...

— Был одно время, его звали Биргер.

— А фамилия?

Роберт рассмеялся.

— Я фамилиями не интересуюсь. Так и запомни.

Вилфред сидел и смотрел на него. Неужели этому человеку все известно? Неужели всем этим людям так дешево достается знание, которого они и не домогаются, то самое знание, ради которого другие готовы положить жизнь — и все только гадают...

— Ты слишком много печешься о других, — покровительственно заметил Роберт. — Что будешь пить?

Вилфред покачал головой. Он чувствовал такую усталость, что еле держался на ногах.

— Ты и вправду не знаешь, где он сейчас?

Роберт пожал плечами.

— Ей-богу, слишком, — повторил он.

Но, возвращаясь домой из неприбранной холостяцкой квартиры Роберта, Вилфред чувствовал, как все в нем заполонило одно лишь усталое изумление — оттого что люди могут быть так близко и в то же время так далеко друг от друга, что пути их, точно пути небесных тел, отклоняются друг от друга с математической точностью и, даже пересекаясь, тотчас расходят-

ся, повинуюсь закону, который самую дружбу превращает в не-престанное расставанье.

На полу в мастерской просунутая в отверстие для писем валялась желтая бумажка. Это была военная повестка... Он скомкал ее и отшвырнул в сторону. Он уже получал и прежде такие повестки: явиться туда-то, имея при себе зубную щетку, смену белья и прочее в этом роде... Всегда тебя что-нибудь да настигнет, но, если ты сам хочешь, чтобы тебя настигло что-то или кто-то, от тебя ускользают вещи, люди. Вилфред робко покопился на занавешенный холст. А потом, как был в одежде, рухнул на кровать. «Проспать бы до лета, — подумал он, — до самого лета...»

5

Нельзя сказать, чтобы Индюк тосковал по неисправному Роберту, который отдавал распоряжения поднятыми вверх кулаками; само собой, человек он был любезный, но без него и его друзей в ресторане стало куда спокойнее. И все же... Посетителей не то чтобы стало мало — в модные рестораны Христиании по-прежнему равномерно стекалась непостижимым образом обновлявшаяся публика, но, когда зимой метрдотель по своему обыкновению обходил зал как бы для того, чтобы удостовериться, что увиденное им в зеркалах — правда, он замечал: что-то изменилось, стало иным, не похожим ни на недавние времена, ни на те далекие, когда...

Валдемар Матиссен остановился посреди зала в одном из тех приступов рассеянности, которые тревожили его самого. Так и есть: число посетителей не уменьшилось, но они стали совсем другими, и кривая доходов ползет вниз. Метрдотель огляделся вокруг. На лицах клиентов не было того отпечатка постоянной готовности к кипучей деятельности, которая так часто ставила в трудное положение администрацию ресторана. Зато атмосфера утратила свою задушевность. «Может ли стать с я, — думал Матиссен, стоя посреди зала в заведении, где он нажил плоскостопие на обеих ногах, — что я просто-напросто привязался к биржевым спекулянтам?»

Он бросил подозрительный взгляд на официантов, торопливо сновавших с дымящимися блюдами в обожженных пальцах. Может, им опять покажется, что он чудит? Не подсматривают ли за ним, не шепчутся ли по углам? Матиссен выпрямил спи-

ну и решительно двинулся к своему закутку, чтобы там поразмыслить о превратностях судьбы. Сомнений больше не было. Происходили какие-то перемены. Поглядев в зеркала, Матиссен уже не видел в них возбужденных улыбок и губ, которые безостановочно движутся в жарких спорах о курсах акций. Он видел в них людей в масках. Само собой, это тоже были представители нового времени — те, кого он презирал и которые своими стычками явно роняли достоинство его доброго старого ристалища. Но маски на них были из тех, что носят больные, — маски наигранной надежды и, что хуже всего, покорности судьбе.

Матиссен поймал себя на том, что ищет взглядом столик завсегдатаев Кабака — не появился ли там кто-нибудь из более или менее постоянных клиентов. Он вдруг понял: в минувший месяц, с тех самых пор как настал новый год со всеми его дурными предзнаменованиями, вечерами столик чаще всего пустовал. Матиссен сел и стал рассеянно перелистывать счета за последние две недели. Сосредоточиться ему никак не удавалось.

Казалось, новогодняя молитва, которую читали в городских церквях, наполнилась вдруг житейским смыслом, о котором Матиссен не задумывался. До сих пор он испытывал тихую радость всякий раз, когда по воскресеньям брал в руки газетную вырезку, где стояли предостерегающие слова: «Новогодняя молитва норвежского народа. Нужда и Опасность». По телу Матиссена тогда пробегали мурашки, и он весь так и замирал от восторженного благоговения, которого всегда втайне жаждала его душа. Он впитывал грозные слова заклинаний, произнесенных с церковной кафедры, и ему казалось: он читает какую-то мощную поэму. Слова внушали ему нечто вроде детского страха, но в страхе этом была отрада!

А теперь заклинания перестали тешить его душу. «Нужда и Опасность» — до сих пор слова эти витиевато вплетались в Жалобы на недостатки карточной системы, в разговоры об ожидаемом сухом законе и о прочем, что было связано с профессией метрдотеля, и звучали они отдаленно и поэтично, как звон колоколов в чужой стране. И вдруг они приобрели вполне реальный смысл. Люди терпели нужду, духовную и материальную, им грозила опасность, опасность грозила каждому в отдельности. Оказалось, его клиенты вовсе не так уж богаты, а может, даже просто бедны. Иначе почему они перестали вдруг приходить в ресторан? И почему те, кто приходил, надели маски? Ведь пока еще власти не обложили шампанское налогом

как предмет роскоши, и Матиссен с профессиональной точки зрения это одобрял. И все-таки многие перестали приходить в ресторан, и таких становилось все больше. А те новые, кто приходил, — они уже не были новыми, наоборот, они становились уже как бы завсегдатаями, только у них не было невозмутимой повадки настоящих старых клиентов, но не было и напористости и широты настоящих новых.

Все это подчеркивали зеркала. Теперь Матиссен это увидел. Они предвещали светопреставление. И тут он заметил, что его собственное лицо посерело и отекло. Казалось, он перенес болезнь, которая длилась месяцы, а то и годы, и теперь ослабел, и силы его подорваны. Матиссен служил своему времени. Но последние годы не были его временем. Однако он служил и им. Его зеркала перестали быть волшебными зеркалами, которые помогают генералу вести в бой свои войска, повернувшись к ним спиной. Зеркала стали разоблачать. Но пока еще об этом знал только сам Матиссен.

Он с мольбой еще раз взглянул в зеркала, и вдруг все завертелось перед ним, изображение распалось надвое и закружилось в двух плоскостях, а сам он оказался внутри вращающегося ядра. Он высунул язык, проверить, не обложен ли он. Но и язык кружился, похожий на бесцветное рыбное филе, непонятно как очутившееся во рту. Матиссен посмотрел на свои руки, они дрожали. Он стал считать свой пульс.

Впервые за свою тридцатилетнюю деятельность в качестве генерала на ресторанном поле битвы метрдотель Матиссен, шатаясь, прибрел в директорский кабинет и, сказавшись больным, попросил, чтобы его заменил на его посту старший официант Гундерсен.

Эта осень была богата событиями. В октябре Вилфред выступил с исполнением песенок в ревю у Максима в зале Басархалл. Ангажемент он получил на пари. Несколько раз случайно посмотрев ревю, он запомнил почти все песенки наизусть и даже забавы ради внес в них кое-какие улучшения. Он охотно и с успехом исполнял их в узком кругу — это было его падение с вершин Моцарта. Роберт и наследники Фосса и Дамма за столиком в Кабаке знали директора кабаре. Он был совладельцем пяти тележек, развозивших сосиски, от которых Роберт, как выяснилось, и в самом деле получал прибыль. В один прекрасный день кабаре вдруг лишилось главного молодого соли-

ста, случилось это в связи с вмешательством полиции в дела, касавшиеся только исполнителя лично. Роберт с присущей ему широтой поставил пакет акций «Морского Бриза» против десяти бутылок шампанского, поставленных Вилфредом, утверждавшим, что он будет принят в труппу после одного-единственного прослушивания. Спорили в шутку, но Роберт был из тех, кто добивается любой мелочи со всей свойственной им энергией, и на другое утро директор кабаре позвонил Вилфреду, подкрепив свои уговоры столь вескими доводами в виде наличных, что Вилфред согласился на нелепую затею.

Два вечера спустя после этой беседы Вилфред с чувством радостного задора уже вступил в сражение у Максима. Зал был длинный и узкий, и, даже когда в нем зажигали лампы, глубина терялась во тьме, над которой вился подсвеченный табачный дым. К вечеру кабаре всегда было набито битком, и только вдоль стен, до самого конца длинной кишки зала, двумя узкими полосами тянулись пустые столики.

Они считались опасными, нередко случалось, что с привилегированных мест на балконе вниз падали пустые бутылки. Опыт показал, что падают они отвесно — роняли их по небрежности, а не по злому умыслу.

На происходящее на сцене отчасти накладывало отпечаток то, что актеры начинали свое выступление импровизированными номерами, вызывавшими особый восторг завсегдатаев, потому что они вносили в программу разнообразие и новизну. Вилфреда особенно беспокоило, совладает ли он с пластической стороной выступления. Аплодисменты в зале ничего не доказывали — они были одинаково бурными и в общем дружелюбными как во время представления, так до и после него. Но пестрый букет, врученный ему бойкими чадами этой сцены, убедил его, что он одержал победу. Ее праздновали до бессмятства в опустевшем театральном зале после представления.

На другое утро Вилфред проснулся в своей мастерской с тягостным чувством, что взвалил на себя некое обязательство. По телефону позвонил Роберт и тихонько захмыкал в трубку, что было у него признаком величайшего удовольствия. Он спросил Вилфреда, как ему понравилось выступать. В душу Вилфреда закрался страх. Он был по натуре импровизатором, любителем, который в критическую минуту способен достигнуть небывалых высот. Но теперь он обязан каждый вечер быть в кабаре. От него чего-то ждут, от него зависят обстоятельства, важные для других. И так будет завтра, и каждый следующий вечер...

Для него настало трудное время. Он узнал, что такое страх перед выходом на сцену, страх перед тем, сумеешь ли ты парировать выкрики публики, если ей заблагорассудится высказаться, или заменить коллегу, которого не оказалось на сцене в нужную минуту, — со всеми этими неожиданностями приходилось считаться в представлении, которое самым непредвиденным образом менялось от вечера к вечеру.

Через неделю Вилфред должен был признать, что вошел во вкус. Ежевечернее напряжение наполняло его радостью, какой он прежде не знал, ему нравилось рискованное сотрудничество с людьми, жизнь которых была для него незнакомой и новой... Многие из этих усердных развлекателей относились к своему ремеслу с ответственностью, которая вначале удивляла его и смешала, а потом стала внушать уважение своей несомненной искренностью. Здесь были пожилые и молодые женщины и мужчины, которые продолжали романтически грезить о своей профессии, стремясь уподобиться именам, о которых Вилфред слыхом не слыхал, и лелеяли профессиональные идеалы, которые на посторонний взгляд показались бы смешными, но для них самих и их окружения были столь же непреложно самоочевидными, как для главы Фагерборгской церковной общины — жажда получить отпущение грехов перед смертью.

Вилфреду нравилось среди этих людей. К тому же он зарабатывал деньги. С веселым страхом думал он о том, что слух о его выступлениях рано или поздно дойдет до ушей дяди Мартина и всей привилегированной элиты. Правда, выступал он под псевдонимом. Но прикрывался он им или нет, в крохотной столице различные круги общества не настолько изолированы друг от друга, чтобы крылатая молва не принесла новость прямоухонько в гостиные.

И вдруг после двадцати дней изнурительной сценической деятельности Вилфред не смог извлечь ни звука из своей гортани. Табачный дым и непривычное напряжение погубили его скудные вокальные данные. Искренне огорченный директор вынужден был поручить исполнение роли таланту постарше. Очередь безымянных претендентов всегда толпилась в сумраке резервного полка надежды. И Вилфред, не успев всерьез выделиться среди безвестных, снова отступил в их ряды.

В ноябре кое-кто из друзей Роберта поехал в его гостиницу в Халлингдал. Гостиница на свой лад и в самом деле существовала. В разнообразных начинаниях Роберта всегда было зер-

нышко действительности, вот только гостиница эта так и не стала гостиницей.

Селина поехала тоже. Вилфред внимательно наблюдал за ней, когда они пешком преодолевали последние холмы, у подножия которых их высадило такси. В коричневом спортивном костюме из темной непромокаемой ткани, с маленьким аккуратным рюкзаком за плечами, она шла легким, тренированным шагом. Она снова напомнила ему картинку из журнала — беззаботное выражение лица, как подобает на лоне природы, словно бы говорило о том, что она всегда лучше всего чувствует себя в горах. А случилось ли ей вообще выезжать из города, кроме тех редких случаев, когда она навещала тетку в Грурюде? Наверняка нет. В ее словаре не было ни одного выражения, связанного с лесом или полем. Вилфред все больше и больше восхищался ее поразительным умением вписываться в любую обстановку. В течение месяца, что он выступал у Максима, она каждый вечер сидела за столиком, предназначенным для «знакомых», справа у самой сцены, и в последние вечера, когда Вилфред, располагая только средствами мимики, предоставлял наиболее активной части публики исполнять текст, самым непринужденным образом стала руководить клакерами. Несколько добавочных хлопков каждый раз помогали ему извлечь из горла слабенький звук, преодолев полнейшее безголосие, которое, впрочем, зрители принимали вполне благодушно — как еще один неожиданный оборот выступления. И каждый раз Вилфред бросал на нее мимолетный благодарный взгляд, которого она не замечала. Она смотрела куда-то вдаль, даже не на сцену, а скорее, на заднюю кулису — на ней были изображены джунгли, из которых, словно бы из чащи деревьев, почему-то полагалось появляться актерам. Селина смотрела перед собой взглядом, не выражавшим ни удовольствия, ни скуки. Вилфред не мог разгадать этот взгляд, хотя подозревал, что он вообще ничего не выражает.

Деревенская жизнь в постановке Роберта была не только полезна для здоровья. Правда, друзья собирались совершать долгие прогулки в горы, и неутомимый оптимист Роберт даже прокладывал маршруты на карте, но чаще всего они ограничивались окрестными холмами, по которым бродили группками по два-три человека. В компанию затесался пианист, который причинял им немало забот. По сцене имя его было Лукас. Роберт

завязал с ним знакомство в ресторане. Лукас первым в Христиании стяжал успех у публики, напевая под собственный аккомпанемент так тихо, что его почти не было слышно. Беда была в том, что этот «шепчущий баритон» то и дело порывался застрелиться. Он всегда прятал свой револьвер на самом видном месте, пока кто-то наконец не догадался проверить его и убедился, что он не заряжен, — тогда на пианиста перестали обращать внимание.

Но оказалось, что этот меланхолик был знаком с Мириам. Он не многое мог сообщить о ней, однако ему было известно, что она собирается дать концерт в Копенгагене и что она подает большие надежды. А когда Лукас говорил о ком-нибудь из музыкантов, что он подает надежды, глаза его увлажнились и он хватался за револьвер. Он был добродушный брюзга, и Роберт просил приятелей относиться к нему снисходительно.

Сам Роберт был, как всегда, терпим ко всему и ко всем. Он хотел отдохнуть от своей напряженной осенней деятельности и к тому же хотел знать, как смотрят его друзья на возможность открыть в этих местах гостиницу. Таким образом, поездка была предпринята не только ради удовольствия — как, впрочем, все, что предпринимал Роберт. Он любил придавать своим затеям видимость деловых планов дальнего прицела.

Снисходительные друзья нашли, что место выбрано удачно. Гостиница расположена не в горах, но и не на равнине, когда будет проложена дорога, до нее будет легко добраться, а если починить крышу и привести в порядок комнаты, дом, по общему мнению, станет отличной гостиницей.

Они выпили за это, а вечером танцевали под граммофон. Гостеприимство Роберта было ненавязчивым, но он позаботился об угощении. Он дал им понять, что намерен обосноваться здесь на зиму: ему следовало подумать о своем здоровье. И вообще подумать. Дело Фосса и Дамма оказалось не таким уж простым. Их все еще держали в тюрьме, и расследование продолжало ветвиться.

То, что Вилфреду пришлось услышать новости о Мириам, глубоко его потрясло. Его всегда волновало все, связанное с этой девушкой: ее музыкальный дар, ее серьезность, весь ее облик и характер будили в нем какое-то радостное любопытство. Он вспоминал, как, возвращаясь из консерватории морозными вечерами, они любовались северным сиянием с ограды Ураниенбургской церкви. И если он до сих пор так редко давал волю воспоминаниям, то лишь потому, что мысль о Мириам

вызывала в нем и иное чувство — давний ужас перед безобразным поступком его детства, дерзкой вылазкой с целью грабежа в табачную лавчонку в Грюнерлокке, владелец которой оказался гонимым дядей Мириам. Подобные воспоминания всегда отзывались болью в его левой руке. Он сломал ее однажды воскресным днем в августе, спасаясь от ожесточенной погони по крутым склонам Экеберга до самого фьорда. Все это случилось потому, что тогда темные источники затопили его душу. Казалось, его неодолимо влечет к подспудным ключам, бьющим в сумрачных глубинах; когда-то ему хотелось вкусить от них, потому что они таили опасность и потому что он все время ощущал их в себе. С той поры... он стал взрослым, то есть научился по временам отталкивать от себя искушения. Но бывали минуты, когда его снова ослепляли вспышки — синие вспышки прошлого, предшествовавшего ему самому; это прошлое обладало всеми приметамы прошлого, непознаваемое, но неотступное; из этих дебрей душа вышла, считая, что освободилась от них, но колючие ветки свисают с деревьев, а не то к тебе липнет и липнет паутина, все из тех же дебрей, и она временами грозит превратиться в сеть, которой тебя опутают навсегда.

Вилфреда потрясло, что он услышал имя Мириам из уст этого трагического шарлатана от музыки, он отметил, что даже для него ее имя окружено ореолом, каким, судя по всему, оно окружено для всех, кому приходилось с ней встречаться...

Поздно вечером Вилфред танцевал с Селиной в холле гостиной, который представлял собой обшитый березой зал — подделку под старые крестьянские дома. Столовая была временно закрыта в надежде на ремонт — эту смутную надежду лелеял Роберт. Они танцевали, но думал Вилфред о Мириам, думал с той расплывчатой неопределенностью, как бывает, когда мысль лишь пассивно воплощает лучшую часть нашей души, воплощает потерянный рай, ради возвращения которого потрачено слишком мало усилий. Они танцевали. Селина любила танцевать, но в отличие от добропорядочных людей, которые в танцевальном ритме подают самих себя, она полностью растворялась в танце и потому как партнерша была совершенно бесстрастна: тем свободней мысль Вилфреда ускользала куда ей задумается.

Роберт все это время играл роль деятельного хозяина. Казалось, он задался целью, чтобы гости были довольны и уверовали в его предприятие. Но он не мог долго заниматься одним и тем же делом. В один прекрасный день он решил начать про-

кладку дороги и даже нанял для этого двух жителей поселка. Он рассчитал всю работу по дням, и у него вышло, что участок будет закончен в две недели. Он и сам неплохо орудовал киркой и лопатой — он был человек сноровистый и чего только в жизни не умел. Но вдруг строительство ему надоело, и он спроводил рабочих, осыпав их заверениями в дружбе. Однако он вовсе не собирался отказываться от своего намерения жить поближе к земле. Однажды они нашли в лесу мертвую лань. Роберт искренне прослезился и тут же стал строить планы, как он будет разводить ланей для развлечения туристов. Его также очень заинтересовало объявление в газете о создании акционерного общества воздушных сообщений; вечерами у камина он рисовал друзьям заманчивые картины будущего, когда люди смогут переноситься из страны в страну, даже с континента на континент всего лишь за несколько суток. Прогресс техники неотвратим, и, что бы там ни говорили о войне, она выжимает из человеческого мозга неведомые ему прежде возможности.

А пока что Роберт хотел отдохнуть. Решил ждать у моря погоды, говорил он. По всему чувствуется, что надвигаются большие перемены. Перед отъездом Роберт навестил в тюрьме своего друга Дамма. Дамм сохранил бодрость духа. А сохранять бодрость духа Роберт считал едва ли не самым важным. Дамму почти не в чем себя упрекнуть. Так называемые вкладчики в конце концов получают свое, да и разве не сами они виноваты в своих неприятностях? Волков бояться — в лес не ходить, рассуждал Роберт, мрачновато поглядывая в камин. Но свежее пламя от подброшенного в огонь смолистого корня прогоняло его мрачность.

Моторную лодку «Сатурн», принадлежавшую арестованному другу, Роберт взял себе — так они договорились. Он незаметно вывел ее из бухты и, переименовав, поставил в маленьком эллинге по другую сторону фьорда. Впрочем, потом он обменял лодку на яхту — мотор слишком шумная штука. И вообще, парусники чище, яхту Роберт называл лебедем фьорда. Весной он собирался отправиться на ней в Копенгаген. Может, и Вилфред поедет с ним, да нет же, не как гость, раз он считает это неудобным, а как матрос, как самый простой матрос.

Роберт был неутомим в своем дружелюбии и без устали строил планы. Взять, к примеру, торговлю вразнос... Если изучить статистику — а он при случае так и сделает, у него уже собран кое-какой материал, — станет ясно, что ночная торговля, скажем, горячими сосисками удовлетворила бы насущнейшую

потребность города — ведь ночная жизнь непрерывно развивается...

Роберт мог часами сидеть, поддерживая пламя в камине и помешивая в нем кочергой, и развивать картины будущего, увлекательного и полного надежд для него самого и для всего человечества. Было в этом биржевике, к которому его гости все больше привязывались, что-то от несостоявшегося благотворителя.

Вилфреда умиротворял этот ангел света. Его поверхностные рассуждения, точно «шепчущий баритон», успокаивали душу, утомленную действительностью. Вся беда была в том, что самой действительности недоставало реальной плоти.

А если фрахты снизятся, она вообще канет в небытие...

Однажды недобрым, мутным утром прозвучали эти роковые слова. Произнесены они были случайно, без всякого злого умысла. Но они сгустились в воздухе неотвратимой, реальной угрозой. Правда, кайзер Вильгельм объявил, что война будет продолжаться, пока весь мир не признает немцев победителями. Со своей стороны американцы сулили послать тысячи аэропланов бомбардировать Эссен... Но как бы там ни было, приходилось считаться с тем, что война все-таки может окончиться. Мысль о мире тревожила страждущий северный народ. Обстоятельства могли перевернуть кверху дном золотой чан, в котором они привыкли купаться...

Грозные слова носились в воздухе. Но Роберт был слишком радушный хозяин, чтобы позволить неприятным мыслям долго тревожить своих гостей. Что бы там ни случилось — он многозначительно разводил руками, показывая, что тут, мол, ничего не поделаешь, — жизнь все равно полна возможностей для людей предприимчивых, для тех, кто смотрит в будущее. Сам он скромно считал, что наделен чувством будущего, конечно в известной мере — если представится случай... И снова мимолетная тень скользила по лицу Роберта, на которое отсвет камина бросал такие изменчивые блики, что трудно было разобрать, когда он скорбит, а когда радуется — радуется светлому будущему.

Надо признать, что в Норвегии дела обстоят не так уж плохо, рассуждал Роберт. Свободное предпринимательство приобрело большие права, что там ни говори о властях, которые установили карточную систему и намерены ввести сухой закон — иначе говоря, обесправить целый народ по части потребления спиртных напитков. Впрочем, решают вопрос не только власти,

а то, как ты сам относишься к делу. Он, Роберт, например, прекрасно понимает тех, кто взял импорт спиртного в собственные руки. Недаром говорят: своя рубашка ближе к телу — а если ты еще оказываешь помощь ближнему...

Главное — терпимость. Широта и терпимость во всем, что касается прошлого и будущего. Вилфред больше не задумывался над тем, верит ли Роберт в собственные рассуждения и надежды. Ему и самому хотелось бы задернуть над прошлым занавес и поддерживать в себе множество надежд, не пытаясь уяснить, в чем они состоят. Ему хотелось вступить в пору душевной зрелости, но вступить так, чтобы самому не проявлять решающей инициативы и не рыться в прошлом, которое таит в себе вечную угрозу, наподобие зловещих дебрей. В «Иллюстрейтед Лондон ньюс» ему попался рисунок, занимавший целую полосу: на ничейной земле в зыбком отсвете отдаленных взрывов лежит солдат. Судя по движению, в котором он застыл, солдат намеревался отползти к своим позициям, но в грозном отблеске разорвавшейся гранаты увидел — и мы это видим тоже, — что путь назад прегражден колючей проволокой, препятствием, которое воздвигли он сам и его же товарищи. Бедный солдат попал в ловушку, в собственную ловушку. Под картинкой стояла подпись: «Вперед или назад?..» Рисунок твердил Вилфреду о том, что солдат должен все-таки вернуться назад, ибо нет для него пути вперед, пока он не вернется назад: вперед он может рвануться только сообщая с другими, и лишь с того исходного места, которое прячется за рядами колючей проволоки.

А может, все-таки бывает так, что вся жизнь — только рывок вперед, движение в разных направлениях, но всегда вперед по отношению к данной минуте?.. Наверное, бывает, наверное, есть Шанс рвануться вперед, перебегая от окопа к окопу, положившись на судьбу и предоставив прикрытию служить мишенью. Может, ты однажды и сделал такую попытку: выпрямился во весь свой рост, искрясь и переливаясь бьющими в тебе светлыми источниками. Но какой-то мгlistый мрак застил свет, а сзади угрозой нависло что-то темное, похожее на сеть, с которой тут и там свисают крючки...

— С позволения хозяина, — произносил Вилфред принятую у них здесь фразу и поднимался наверх за очередной бутылкой виски. Он старался продлевать эти прогулки — нести бутылку с заключенными в ней радостями само по себе сладостно щекотало кончики пальцев. Он ведь и впрямь воспользовался пред-

ложением Андреаса, тот самолично явился в автомобиле, поднялся по крутой лестнице с тяжелым ящиком, полным радужных возможностей, и глаза его сияли торжеством. Он довольно скептически поглядел на мольберт в углу — слава богу, холст был завешен, вздернул брови по благоприобретенной привычке и спросил: — Ты что, теперь художником сделался? — тоном, каким удрученный дядюшка говорит со своим беспутным племянником.

Вилфред позавидовал ему. Позавидовал удаче этого глупого воробышки с орлиным именем. Он был из тех, что получают радости от благ земных, ибо верят, что это блага.

Андреас рассказал Вилфреду об Эрне — она уехала на фронт как добрый ангел Красного Креста. Вилфред не знал, мог бы ли он предсказать это заранее, но, если бы хоть раз вспомнил о ней, наверное, мог. Газеты писали о благородных женщинах из нейтральных стран, которые хотят внести свою лепту в войну. Эрна, конечно, должна быть среди них — кто же, как не она? Самоотверженная, чистая, храбрая Эрна, чей отец заставлял родных есть полезную пищу, которая всем была противна. Эрна, которой он подарил шелковый шнурок однажды летом, в детстве, тысячу лет назад, — в детстве, которое кончилось для него еще в ту пору; преданная, пахнущая свежим бельем Эрна — молодая женщина, которая вызывает муки совести у каждого, кто не похож на нее. Конечно, она будет утешать страждущих на линии огня и храбро держаться под градом пуль, и ее будут вспоминать калек, и Седеющие генералы будут вручать ей награды перед строем, когда кончится кровавая бойня... и она останется примером человеческого бескорыстия, до конца своих дней тайно обрученная с дипломом в золотой рамке, висящим слева над диваном и предназначенным для того, чтобы когда-нибудь, когда, быть может, новая война потребует новых добровольцев, показывать его внукам.

Вот как обстояли дела. И Вилфред позавидовал Эрне... Да, все они были достойны зависти. Расплывчатое доброжелательство его друга Роберта навязчиво завладело им самим. Заслужил ли мир те внезапные потрясения, какими он расплачивается за раздирающие его противоречия? Добропорядочное общество единодушно считает, что революционеры в России хвятили через край, и к тому же это *dirty trick* — нечестный поступок по отношению к союзникам. Правда, по имеющимся сведениям, царский режим тоже был не вполне совершенен, но ведь могли же эти русские подождать, как другие. Разве

есть в этом мире кто-нибудь, кто живет так, как ему хочется?

Таково было мнение дяди Мартина. Правда, теперь он не высказывал столь безоговорочных мнений, как прежде; он смотрел на вещи с разных сторон, и сторон этих становилось все больше в его многосложной деятельности, однако по этому вопросу он придерживался именно такого мнения. Так думали люди, его окружавшие. Так думал и его британский друг. Дядя Мартин энергично размахивал своим британским другом и таинственно обрывал собственные намеки на цели его пребывания в Норвегии.

Все и во всем достойны зависти. Может, и Мириам держится такого же мнения — в Копенгагене или где там она живет? Вилфред увидел перед собой ее нежное лицо, где строгими были только глаза, но все черты выражали доброту и нежность. Да и сам взгляд тоже, по сути, был добрым, но при этом испытующим — она не отводила его, когда другие не выдерживали, не отводила так долго, что тебе становилось не по себе, если ты хоть капельку покривил душой. Все то время, что длилась их дружба, Вилфред чувствовал себя под контролем этого взгляда. Мириам хотела навестить его, когда он был немым. Но он ее не принял.

Он смотрел на Селину, сидящую перед очагом, на ее величавую отрешенность в кругу загнипнотированных людей, которые так охотно подпадали под влияние рассуждений Роберта и собственных спасительных мыслей. А о чем думала она? Не была ли она единственным на земле человеком, который мог себе позволить не думать вообще ни о чем?

Наверное, так оно и есть. В глубинах ее души, быть может, даже и нет темных источников, разве что воспоминания о каких-нибудь ужасах, пережитых в детстве, отчего при утреннем пробуждении у нее всегда такой испуганный взгляд. И больше ничего. Никаких дебрей, из которых не можешь выбраться. Может быть, *сию минуту плюс сию минуту плюс сию минуту* и исчерпывают для нее действительность. Многие стремятся к такому состоянию души, но его нелегко достичь...

...Может, лишь ей одной, орхидее, возросшей на навозной куче, — лишь ей одной доступно уподобиться полевым лилиям...

...А в мире совершались роковые события. Было время, когда казалось: наконец устала даже сама война, сами злые силы впали в дремоту. Но теперь пошли слухи, что немцы готовят

решающее весеннее наступление на Париж. Мир содрогнется, борьба идет не на жизнь, а на смерть. Впрочем, может статься, был в этих событиях и другой смысл, и не каждому дано его понять. Норвежцы жили в стране, которая стояла в стороне от происходящего, от того, о чем они читали. Они отмахивались от прочитанного и смотрели не вперед, в будущее, а вокруг.

Несомненно было одно: что-то идет к концу, к тому или иному концу. Маленькое, местное, выросло и стало важным, а крупное, далекое, стало маленьким. Никто ничего не знал, но все ловили предвестья. Ловили их у домашнего очага, в веселых и не очень веселых компаниях, словно дети, которые грызут ногти перед грозой. Толковали о предстоящем плавании Руала Амундсена на «Мод» и, может, мечтали, уподобившись ему и его спутникам, убежать подальше от окружающего, хоть на Северный полюс. В тысячах домов люди читали «Соки земли» и говорили, что великий писатель прав — надо вернуться к земле, спуститься с облаков, отказаться от вымыслов и мечтаний. Людям нечего витать в облаках, во всяком случае теперь, когда облака лишились золотого ореола, они нависли низко, в них чудилась угроза, и края их потемнели. Дядя Мартин считал, что надо делать ставку на заключение мира — единственное, от чего можно ждать добра.

Об этом он произнес речь в день совершеннолетия Вилфреда. Этот день был отпразднован ленчем в самом тесном семейном кругу на Драмменсвей, а позднее — ужином в самом широком кругу в мастерской на Слоттсгате.

За ленчем, как и в былые времена, собрались все те же родственники, кроме тети Шарлотты, которая заболела испанкой и только прислала поздравление. Даже колдовские руки дяди Рене не могли наколдовать веселого настроения. Дядя Рене скорбел о своем дорогом Париже, он собирался поехать туда через Англию, чтобы быть вместе с любимым городом, когда придет час его гибели. Несвойственный дяде Рене пафос, как это ни странно, ни у кого не вызвал улыбки. У родных пропала охота подтрунивать над ним. Они вдруг поняли: если бы не болезнь тети Шарлотты, он бы и в самом деле уехал.

И позднее в мастерской, несмотря на свою нарочитую веселость, Вилфред не мог избавиться от тяжелого чувства. Тут собрались славные, безответственные люди, маленькие актеришки от Максима, в широте душевной они принесли пирожные; пришли его приятели по Халлингдалу, ресторанные собутыльники. Все это были случайные знакомцы, и поэтому Вилфред чувст-

повал себя свободно в их компании. К ночи явились приятели побогаче с шампанским в чемодане, как и подобает праведникам накануне Страшного суда. Все, что они затевали, возвещало близящийся крах.

6

Виновник торжества Вилфред знал, что чествование было лишь поводом собраться. Это было удобно и ни к чему не обязывало. Гости потребовали, чтобы он произнес речь, — это его устраивало тоже. Можно было всласть поиронизировать над всем на свете. В мире все шло шиворот-навыворот. Под самое рождество разразился страшный снегопад, а потом вдруг в Христианию на целую неделю пришла буйная весна. В саду на Драмменсвей даже расцвели крокусы. По возвращении из Робертовой гостиницы на сетере Вилфред с удовольствием поработал в материнском саду. Было что-то притягательное в этой непутевой весне. Она была созвучна царившей вокруг смуте. Почему бы зимой не наступить весне? Почему бы не погибнуть нескольким крокусам, когда на море гибнут и гибнут люди? Это уже не тревожит ничью совесть, а только напоминает о громадном крушении, которое суждено каждому, едва только на рынке всерьез, почувствуется страх перед заключением мира.

В своей речи на празднике в мастерской Вилфред упомянул об этом и еще о многом другом. Гостей это покорило. Он упомянул о крокусе, и это их озадачило. Он пролил несколько крокодиловых слезинок по поводу участи моряков, и тут они обозлились. Все эти грюндеры и ловцы удачи, среди которых ему так нравилось бывать, в глубине души весьма почитали мораль. Прежде чем низвергнуться в хаос разорения или попасть под надежную защиту тюремных стен, они хотели водрузить над своей жизнью знамя благопристойности. Среди них не один только бедняга Дамм имел дело с кораблями, которые никогда не были спущены на воду. Они приличия ради цеплялись за свое сострадание к норвежским морякам, смутно подозревая, что те жизнью и смертью своей оплачивали их бешеные деньги.

Нынешняя зима не имела ни начала ни конца. В своей речи Вилфред говорил и об этом. О чем он только ни говорил, рассеяно наблюдая за смущенными лицами гостей, которые в последних потугах вежливости ждали, чтобы их хозяин, он же почетный гость, замолчал и дал им возможность поговорить са-

мим. Ибо возможность поговорить всего дороже ценилась в эти времена, когда тот, кто молчал и слушал, неизбежно предавался мрачным мыслям.

Но Вилфред долго еще мучил своих гостей, сидевших за уставленным яствами праздничным столом в доме, который эти люди считали обителью искусства и духовной жизни. Мукой этого краткого молчания он хотел развеять в прах их беспечность, пусть сорвут ослепляющие их шоры и тем свободнее окунутся потом в безудержную оргию. Его выступление напоминало речь, которую перед экзаменами произносил директор школы в душном гимнастическом зале, перенасыщенном ожиданием каникул. Ну и пытка была — выслушивать его разглагольствования, когда из верхнего окна, которое приоткрывали, чтобы толпа изнывающих от нетерпения учеников не задохнулась, явственно доносилось пение скворца. Вилфред посмотрел на склоненную голову Селины, сидевшей как раз против него, на стыке составленных столов. Он пробирался сквозь нагромождение образов, натужная изысканность которых возрастала вместе с его желанием причалить наконец к берегу. Подумав: «А можно ли высказать такую мысль, которая огорчит или обрадует ее?..» — он посмотрел на ее склоненную шею. Нет, не найти таких слов, которые бы ее проняли. Всей своей повадкой она как бы говорила о том, что превратности судьбы неизбежны. Быть может, она даже не проводила грани между радостными и печальными ожиданиями.

Но позади удрученных лиц в глубине комнаты в облаках табачного дыма у очага Вилфред различал закрытый мольберт. Теперь он ненавидел свою картину. Вот где истоки его нелепого поведения — попытка абстрагировать явления в абсолютную систему, которая от подлинного художника требует полной самоотдачи, а для него, дилетанта, означает трусливую попытку ухода от той или иной самоотверженной деятельности, которая с девяти до четырех часов отвлекает человека от сознания хаоса, изнурая его здоровой, добропорядочной усталостью. Однажды он станет ученым мужем и ученостью перещеголяет всех прочих ученых мужей. В один прекрасный день всю свою тягу к организующей ясности он направит, точно свет прожектора, на искусство других. Не созданные им картины украсят его подобающим трагическим ореолом, он не доверит своего Моцарта ни одной клавиатуре, но зато направит анафему слепящего света на исполнителей, которые превзошли его самого, каким он был в ту пору, когда еще о чем-то мечтал.

Вилфред говорил и об этом, а взгляд его настороженно скользил по тем, кто слушал невнимательно, — он хотел принудить их ко вниманию в эти последние минуты. Он испытывал болезненное наслаждение властелина, терзая их своими разглагольствованиями. Может, его словеса отмечены гениальностью, а может, они — чистейший вздор. Его гости не могут этого знать — и потому молчат и задумчиво и вежливо кивают, подавляя нетерпение. Казалось, сама зима стала близиться к концу, пока он произносил эту бесконечную речь обо всем на свете, которая была так изнурительно эгоцентрична в своей кокетливой скромности, что только он сам мог до конца измерить всю глубину своего предательства. Казалось, он все говорит и будет говорить вечно, а тем временем на смену зиме придет весна, а потом и лето, а потом снова пожелтеют и увянут листья на деревьях, кроны которых пока еще стоят в снегу...

В разгаре речи Вилфред поймал себя на мысли о том, как быстро перелетает мысль с предмета на предмет, не считаясь с расстояниями, и в волшебным образом уплотнившийся миг успел подивиться тому, что может перенестись мыслью от пустыни Гоби к красным тюльпанам, пылающим в вазе на рояле, о такой же быстротой, как перелететь от этой вазы к пепельнице у ее основания, а от пепельницы — к вездесущему гипсовому бюсту Бетховена, который приходится убирать с инструмента каждый раз, когда на нем играют. В промежутках между узловыми моментами своей речи он мог переброситься мыслью к очереди безработных на Стортингсгате у дверей конторы Кристофера Ханневига, которую он видел нынешним утром: озябшие, одетые чуть ли не в лохмотья здоровенные мужчины молча переминаются с ноги на ногу на тротуаре, привлеченные сюда рассказами о новых верфях, которые великий Ханневиг строит в Америке, — и дальше мог следовать мыслью за этими людьми в их мечтах о золотой стране Америке — она, конечно, участвует в войне, но в ту самую минуту, когда человечеству вновь понадобится, теперь уже для мирных целей, весь тоннаж, который пошел ко дну за время жестокой войны между всеми странами, способными хоть что-нибудь спустить на воду, перед ней откроются неограниченные возможности. Тут неутомимая мысль автоматически дала боковой отросток — на память пришли зловещие слова кайзера Вильгельма: «Война будет продолжаться, пока весь мир не признает немцев победителями...» И словно глухой аккомпанемент к этим словам, прозвучав в это время другие, он услышал выстрел первой немец-

кой дальнотойной пушки, разрушивший парижскую церковь. Протест Шейдемана в рейхстаге. Страдальческое лицо дяди Рене, когда он вспоминал о том, что происходит на фронтах вдоль Ипра и Соммы, и утешительный подтекст в словах одного из зрителей в синематографе на улице Карла Юхана: «Ну, раз они передали командование маршалу Фошу, теперь немецким свиньям конец...» И тут Вилфреду стало совершенно ясно, что все происходящее есть результат всего происходящего, более мелкое — результат более крупного, и он услышал голос, который ответил тому, первому, где-то совсем в другом месте: «Ты смотрел в «Космораме» «Разъяренного»? Вот бы им нарваться на такого, как Вильям Фарнум...» В эту минуту Вилфред увидел четкую линию, связывающую надежду мира на маршала Фоша, поклонение грубой силе в лице киноактера Фарнума, который ведет себя на экране как скотина, и потребность в точно рассчитанном обаянии юной фрекен Герд Эггед-Ниссен, улыбка которой околдовала мужественного Псиландера в картине «Опасен для общества». ...Фильмы, фильмы, с их быстрой сменной кадров и самовластными переходами в пространстве и времени — фильмы являют собой язык эпохи! Кино — единственное из всех средств выражения обладает скоростью и независимостью мысли... И в это же самое мгновение, в эту секунду Вилфред почувствовал угрызения совести оттого, что другие, а не он воплощают все это в искусстве, создавая произведения, отражающие действительность и как бы проясняющие ее.

Может, и впрямь, пока Вилфред говорил, миновала зима. Может, и вправду под талым снегом на Бюгдэ проглянули подснежники. А его мысли уже унеслись к Рингерике, когда в далеких горах куковала кукушка и в майском воздухе разливался аромат черемухи. Из маленького поезда, курсировавшего между Лиером и Свангстранном, вышел человек и стал рвать поповник, разросшийся вдоль насыпи, а тем временем поезд, тяжело отдуваясь, взбирался по холмам так медленно, что взрослому мужчине нетрудно было его догнать — мужчине в летней панаме с сигарой во рту. Запах сигары всегда сопровождал этого человека, и была в нем какая-то дразнящая красота...

Но Вилфред говорил уже не об этом. Он предоставил вездесущей мысли коснуться многих явлений зараз, перемещаясь во времени и пространстве.

Да и вообще, продолжал ли он держать речь? Он увидел, как две-три головы обернулись к нему с надеждой — очевидно, он дал им маленькую передышку, больше он этого не допустит.

Шея Селины была все так же склонена в безропотной готовности претерпеть этот словесный поток. Оценили ли они по достоинству Боло-пашу, политического авантюриста мирового масштаба, ярчайшего выразителя своего времени? Взять хотя бы его последнюю гениальную аферу — покупку французской прессы в разгар войны при посредничестве Аббаса Хильми за две тысячи немецких марок... Вилфреду пришло в голову — пришло лишь на мгновение, как маленький юмористический переход: вот человек, который понял, где залегает золотая жила эпохи, плодоносный источник гармонии в современном хаосе. Он прыгнул в самую сердцевину райских кущ, в то время как бездарные паши провинциальной страны приплясывают на обочине, вышибаемые из колеи свойственной времени центробежной силой. Немцы не двинут свои войска на Петроград, ведь новое русское правительство заключит с ними мир, и тогда немецкие силы, занятые теперь на Восточном фронте, освободятся. А стало быть, темные воды мира докатятся до золотых берегов Норвегии — и, какой бы это ни был мир, все равно норвежцы останутся с носом...

Возмущенный вопль был ответом Вилфреду со стороны шампанских батарей вдоль стола, а друзья от Максима сидели разинув рты и по временам вяло сглатывали слюну. Они больше не участвовали в игре. Ни один из них в ней больше не участвовал. Бедные в ней вообще никогда не участвовали. Мысли Вилфреда носились по горам и долинам. А богатые сидели здесь и знали, что они тоже больше не участвуют в игре. Они находились на борту судна, столь же ненадежного, как те суда, для строительства которых они создавали акционерные общества и которые так никогда и не были построены. Теперь вихревое движение вышибало их вон из игры, они понимали это, но понимали не до конца. А ему оставалось только подразнить их на краю пропасти, чтобы они порастрясли свое самодовольство и взглянули в глаза своей гибели...

Роберт задумчиво кивал в ответ на этот словесный поток. Подобные мысли не могли вывести его из душевного равновесия. Казалось, он защищен броней веселой уверенности в тщете всех своих надежд.

Музыкант Лукас устался в потолок в неизбывной меланхолии, которую не рассеивало даже его неукоснительное общение со стаканом. Все происходящее — плод всего происходящего. Озабоченные взгляды этих мелких людишек, быть может, последнее недостающее звено в цепи событий, которая в дан-

ную минуту завершается крушением корабля «Морской бриз» в Северном море, и опять же к выгоде это или к невыгоде для Вилфреда, который стал акционером общества «Морской бриз», выиграв у Роберта пари насчет выступления в кабаре?

В сознании Вилфреда проносились века, расстояния искажались. Аромат сигары, человек, собиравший поповник вдоль железнодорожного полотна, — ведь это был его отец, от которого осталось единственное воспоминание — запах сигары. Они прозвали его Алкивиадом... Туманные намеки матери, извлеченные из-под спуда боли, но ставшие яркими воспоминаниями, едва их извлекли на свет из зловещих недр памяти, из-под спуда забвения, бережно прикрывшего старую рану...

Быть может, его пороки были тоской по чистоте? В нем уживались легкомыслие, которое навлекло несчастья на тех, кто чувствовал по-другому, и угрюмость, которая бархатистой тенью заволакивала лучистую пылкость его взгляда. Само собой, они составляли одно, проистекали из одного источника — легкость и угрюмость его нрава, его чистота и его пороки. Но люди определили точные границы, в которых все должно проявляться, — каждому душевному движению свои границы, не вздумайте их смешивать, боже вас сохрани, не вздумайте смешивать. На похоронах надо плакать, а в театре смеяться в положенных местах. Но если замерзший смех вдруг прорвется сквозь горе, подобно оттаявшим звукам в почтовом рожке барона Мюнхгаузена, тогда все волки разом завоют, готовые тебя сожрать: «Он смеется не там, где положено, он поклоняется южному ветерку, он увидел божественный отсвет в прозрачной, как папиросная бумага, коже простолоюдинки!»

Да, это правда, его отец поклонялся южному ветру. И они застигли его на месте преступления. Вот как обстояли дела. А теперь дела обстоят так, что отцовский золотой отблеск ложится на него, Вилфреда, который стоит в этом поддельном ореоле среди поддельных друзей в разгар поддельного веселья. А кто же такой он сам? Акробат на канате, балансирующий между безднами добра и зла, к которым он равнодушен, как равнодушен к этим друзьям, которых он любит, когда зимой хочется отогреться.

Вилфред посмотрел на склоненную шею Селины и увидел перед собой Мириам, услышал сумеречный аккомпанемент ее голоса. Она говорила не словами, которые произносила, прислушиваться надо было к ее голосу, который придавал краски и смысл тому, что было не внешним, а глубинным выражением

ее души. Они сидели на скамье во Фрогнер-парке и ссорились, по ее беспощадные, язвительные слова были лишь формой, которая *обнажала* суть, а суть... суть... он быстро перевел взгляд на мольберт, который явственнее говорил своим замаскированным языком, чем если бы он прямо и откровенно выбалтывал свою мысль, подобно уличному плакату. Вот оно — голос Мириам, скрытый мазками на холсте. Холст высказывался в форме, которая в первое мгновение создавала впечатление невысказанности, но в следующее мгновение и потом — как бы сказанного вдвойне: маскировка не затушевывала высказывания, а была более действенным способом высказаться, высказаться, чтобы сквозь внешнее выражение проступало все богатство смысла.

— Язык искусства... — Вилфред спохватился, что произнес эти слова вслух, позволил мыслям, вышедшим в мир слов, и мыслям, которые должны были остаться в области мысли, слиться воедино. Гости приподняли головы. Они застигли его на месте преступления. Он проиграл игру, совершил промах. Он говорил тихо, но подумал вслух. Он снова совершил непростительный грех, противоречивший задуманной им программе, — предал свое одиночество.

Да, игра была проиграна. На него обрушились крики негодования. Гости осушали стаканы, а потом через плечо швыряли их в стену. Они поднимали вверх сжатые кулаки, но это не были щедрые кулаки Роберта, которые в Кабаке означали, что сейчас забьют светлые источники, это были злобные кулаки с побелевшими суставами. Легкую победу одержали они над ним, ведь он был настолько глуп, что выпустил хищных зверей на свободу, облекши в слова свою мысль вместо того, чтобы потопом слов держать зверей на привязи. Толстяк художник, специализировавшийся на детских портретах, поднял бутылку, прицелился и направил струю в лицо Вилфреду так, что шампанское потекло по его галстуку и рубашке. Вилфред с улыбкой ответил на этот выпад, опорожнив содержимое пепельницы на покрытую младенческим пухом макушку художника, которая была прямо-таки создана для того, чтобы внушать матерям доверие своим кажущимся родством с детьми, — с детьми, которые покидали его пропахшую духами мастерскую, обезумев от страха и чувствуя себя виноватыми в тех непристойностях, какими он сыпал, пока они ему позировали...

Поединок был воспринят как сигнал к забвению хорошего тона. Не прошло и пяти минут, как прокуренное помещение превратилось в арену, где сражались быки на четвереньках и

пикадоры, размахивающие занавесками и шальями в танце, который им самим казался изящным; а потом мертвецки пьяные они валились друг на друга между стульями, и руки, искавшие опоры, ухватившись за конец скатерти, увлекали за собой все, что стояло на столах. Вазы и стаканы качались и падали, опрокидывались стулья; с длинным столом, опиравшимся на козлы, поднатужившись, одним-единственным движением плеча закончил какой-то решительный головорез. С книжных полок полетели книги, окна в потолке были выбиты с помощью томиков из собрания сочинений Гейне, которыми прицельно и методично швырялись те, кто занял позицию за печью. В надежде что-то спасти прибежал перепуганный жилец из квартиры этажом ниже, и застыл в дверях, в ночной рубашке, с всклокоченными волосами. Его тут же закатали в ковер и спустили по лестнице вниз, оттуда долго неслись его страдальческие стоны. Пожилой маклер, известный своей любовью к людям искусства, лежа под роялем, выписывал чеки с тремя и четырьмя нулями своим любимцам, лирическим поэтам, которые уснули так внезапно, как умеют засыпать только поэты после насыщенного впечатлениями дня. Да, звери наконец вырвались на свободу. Им пришлось ее долго ждать, но тем быстрее забылась неволя в разгуле свободных деяний.

Посреди комнаты, на полу, на турецкой подушке, прикрытой верблюжьей шкурой, сидела, наблюдая за происходящим, Селина в окружении перепуганных актрис от Максима, которые вначале опасались, что не сумеют вести себя как должно в таком изысканном кругу. Вилфред, у которого кровоточили губы и лоб, проложил себе дорогу сквозь эту охрану и весело опустился на колени перед Селиной. Она отнеслась к нему благосклонно. Смочив подол своего платья, она обтерла его раны, улыбаясь при этом с иронической нежностью, дразнившей его любопытство: где все-таки обретается эта человеческая душа? Волосы Селины пылали, глаза пылали тоже, а на лице царило выражение бессмысленной невозмутимости. Ступая по ломким осколкам, он повлек ее в глубину алькова, но там, на сундуке, превращенном в диван и застеленном восточным ковром, лежал один из небогатых судовладельцев и блевал, как и подобает моряку, никогда не нюхавшему моря.

Но дамы из варьете проявили необычайную заботливость. Они занялись мужчинами, которые при первых же обращенных к ним словах что-то залепетали, а дамы ласково поглаживали их под измазанной блевотиной одеждой. Они действовали, как

добрые самаритянки, с самыми лучшими намерениями, под влиянием минуты, ради того, чтобы оживить умирающих, которые в глубине души скорбели о судьбе моряков. Один только Роберт в величавом спокойствии восседал скрестив ноги на письменном столе и маленькими глотками потягивал коньяк. Он сидел, точно Будда, в одно и то же время приобщенный и непричастный к той всеобщей взаимосвязи, которую предпочел считать не унижительной, а занятой: ему всегда казалось интересным изучать поведение людей.

И вдруг Роберт закричал. Вилфред не столько услышал крик, сколько его увидел — лицо Роберта так необычно исказилось, что очнулся бы даже мертвый. Сидя на столе все в той же неизменной позе, Роберт громко кричал от ужаса. Вилфред проследил за его взглядом. Он был направлен на мольберт. Вилфред обернулся. Там стоял меланхолик-пианист Лукас, держа в одной руке кисть, в другой палитру, и мазал краской по холсту, по всей поверхности холста.

Одним прыжком Вилфред оказался рядом с ним. Он не ударил его. Не сгреб в охапку. Вплетясь со своим противником в вихревой клубок кистей и раздавленных тюбиков с краской, он расправился с ним всеми доступными ему способами борьбы. Вилфред испытывал в эту минуту не гнев, а стыд и оголтелую жажду убийства. Потом схватив тряпку с мольберта, он тщательно стер чужие мазки, но в то же мгновение обнаружил, что оставшиеся на холсте его собственные мазки издеваются над ним — в них не было ничего, кроме фальшивого благомыслия дилетантизма. На табуретке лежал нож, которым он соскребал краски. Подняв его театральным жестом, Вилфред нацелился острием в холст. И тут с облегчением почувствовал толчок в локоть, решительный, но дружелюбный. Обернувшись, он встретился взглядом с Селиной. Пламя в ее глазах угасло, они были спокойны. Отняв у него нож, она положила его обратно на табурет. Потом затянула картину покрывалом и бесстрастно повернулась к нему.

— Ты написал это однажды утром, — сказала она тихо, по так, что он услышал ее в общем шуме.

— Ты меня любишь? — спросил он.

Он все еще дрожал от страха. Она пожала плечами и отошла к роялю, где Роберт вежливо переменял позу и налил ей коньяку. А Вилфред остался на месте, вдруг явственно вспомнив все: в то утро он встал после первой ночи, проведенной с нею, и понял, что настойчивый свет, проникающий сверху, был

сам по себе символом воплощения всех вещей в форму, новую и непохожую на то невнятное оголение внешней природы вещей, которое свойственно реализму.

О господи, так это было в то утро!..

Она спасла его картину! А теперь она сидела у рояля, будто собиралась играть. Но она ведь не умеет играть. А вдруг умеет?.. А может, она просто хотела защититить от нападения самый источник звуков, как защитила малюсенький источник, фальшивый источник, мольберт, изувеченный безумным меланхоликом, который хотел одного — уничтожить то, что могут создать другие.

Вилфред оглядел царящую вокруг разруху. Она непоправима, она выглядит издевкой. День его совершеннолетия. Приращение, столь недостойное, что нет надежды когда-нибудь поменять его добрым словом. Тем лучше — мимо. Твое убежище разгромлено. Ты покидаешь свой дом и говоришь: «Я здесь никогда не жил». Так-то.

Он заботливо обошел мастерскую. Уложил поудобнее спящих мужчин и утешил плачущих женщин. Они вовсе не дурные люди, вовсе нет. Он дотронулся до руки Роберта — тот и во сне ласково и озабоченно сжимал рюмку коньяку. Погладил по голове Селину. Она не спала. Она сидела, уставившись в раскрытые ноты. Это были его детские музыкальные упражнения «Папа поет своему малышу», он сохранил их в порыве сентиментальности. Стало быть, она обнаружила ноты в беспорядке мастерской и тайком упражнялась на рояле... Трогательно.

Все трогательно. Бормочущие во сне мужчины. Бодрствующие женщины, которые провожают его взглядом. Кто-то вернулся из уборной, расположенной на лестнице, позабыв привести в порядок свою одежду. Он хотел изнурить их своей болтовней, потому что хотел овладеть душами многих, чтобы — пусть на короткое мгновение — узнать хоть что-нибудь об одной. Но он ничего не узнал, ни об одной душе...

Он вел за руку Селину. Движения ее были вялыми, но осознанными. Она была трезва и добра. На пороге под ногами у обоих хрустнули осколки стекла.

Дверь они оставили открытой, чтобы живые и мертвые могли выйти и войти. Внизу, у подножия лестницы, валялся сосед, забывшийся сном в своем ковре. Утренний воздух пахнул им в лицо. Было уже светло. Вилфреду не удалось проникнуть ни в одну человеческую душу. Каждый существует в своем собственном замкнутом мире.

Светлые сумерки стояли над Нурмаркой, когда Вилфред отстегнул лыжи, чтобы спуститься с последнего склона, где уже почти не осталось снега, в Серкедал. Впереди на западе небо отливало тусклым золотом, но, когда он обернулся по старой привычке, как бы желая удостовериться, что и то, что осталось позади, причастно к действительности, он увидел темные ели на темном небосводе. В эти весенние вечера контраст между светом и мраком был так резок, что настроение мгновенно менялось, а изменившийся пейзаж становился всеобъемлющим символом.

Вилфред спрятал лыжи за сложенные штабелем дрова и стал медленно спускаться вниз по мокрой дороге, по обочинам которой островками лежал талый снег. Вокруг в невидимых ручейках булькала вода. Да и на самой дороге в этот светлый весенний вечер лед уже похрустывал под ногами. Нынешняя зима, казалось, никогда не кончится, и все же весна уже чувствовалась и в запахах, и в свете, и в теплых порывах ветра, от которого окружающий мир становился еще более зыбким.

Вилфред медленно спускался в долину. Две красные крыши, видневшиеся на юге, ловили отблески ослепительного заката. Они напоминали ему два красных пятна на щеках Селины, стоявшей в дверях хижины, когда он расстался с ней после полудня. Скрип лыж по твердому насту заглушил ее слова, если она вообще что-нибудь сказала ему вслед. Тишина стала явственнее, когда лыжня свернула в сторону — он знал, что теперь уже не увидит ее, если обернется. На мгновение его кольнула совесть: ведь ей предстояло одной провести ночь в заброшенной хижине возле Хаукена, но это мгновение было кратким. Селина не боялась, сказала, что не боится, когда он спросил ее об этом, но только после того, как он спросил. Она вообще редко что-нибудь говорила, если он не задавал вопросов. И ей не в первый раз приходилось ночевать одной. Впрочем, он уходил промышлять для них обоих. Так у них было заведено.

Так у них было заведено. Когда во второй половине зимы Вилфред отказался от своей мастерской, пересдав ее некой буржуазной даме, которой казалось, что она живет более полной жизнью, приобщаясь к искусству, он понял: так у них будет заведено, если им вообще суждено жить вместе, если он и она будут — *они*. Месяца два они жили где придется. Ночевали у друзей, которые смотрели на вещи просто. Но беда была в том,

что те, кто смотрел на вещи просто, сами скоро исчезли. Они и на это смотрели просто. И потихоньку, почти незаметно стали исчезать в эту зиму и весну, в последние месяцы войны и золотого века. Теперь страна принадлежала тем, кто пришел на смену биржевым спекулянтам. Канула в прошлое классическая эпоха, о которой уже говорили: «В прежние времена, в ту пору, когда еще действовали энергичные биржевики...»

В ботинках у Вилфреда хлюпало. Внутри — вода, снаружи — сухо и холодно, на западе над вершинами гор — солнечный пожар, позади — замкнутое пространство долины, где еще царит зима и где живут они вдвоем в хижине, в которую они проникли, гвоздем взломав замок. Вилфред шел не торопясь. Он придет в город как раз вовремя. Раньше полуночи нет смысла забираться в дом на Драмменсвей, чтобы набить рюкзак всем, что попадется под руку. Нельзя забираться в дом, который едва-едва задремал. Дом должен крепко уснуть. Не только его обитатели, но и сам дом должен крепко уснуть — напасть на него можно только тогда, когда он отдыхает, притупив свою бдительность. Вилфред знал это по опыту.

Однако внизу, в Серкедале, он ускорил шаги. Здесь было темнее, казалось, уже настала ночь, хотя было еще рано. Прежде Вилфред время от времени хватался за карман, чтобы посмотреть на часы, которые дядя Мартин подарил ему шесть лет назад в честь семейного торжества, которое заменило конфирмацию. Но теперь он отстал от этой привычки. Часы вместе с цепочкой и старыми ручными часами перекочевали — каждая вещь по отдельной квитанции — в ломбард на Театральной улице, где доброжелательный закладчик с угрюмым взглядом (он казался «угрюмым» потому лишь, что каждый уверен: у закладчика может быть только угрюмый взгляд, и еще потому, что он носил очки с очень выпуклыми стеклами) посмотрел на Вилфреда сквозь линзы очков сурово, удивленно... Часы и всякая всячина. Однажды это оказалась шкура дикой африканской кошки, Вилфред получил ее в день своего совершеннолетия от Роберта в придачу к многочисленным байкам о хищных повадках кошки при ее жизни... Вилфред снес шкуру к тому же закладчику, а тот сказал: «Но ведь это ни то ни се...» «Почему же, это кошка», — пояснил Вилфред. В угрюмом взгляде выразилось неуверенное доброжелательство. — «Но она должна чем-нибудь служить — хотя бы ковриком перед кроватью...» Они обменялись улыбкой. Вилфред отправился домой в каморку с цементным полом при мастерской на Вилсегате, где они тогда жили,

и Селина выкроила кусок из войлока, подровняла ножницами, а сверху нашила шкуру — получилось что-то вроде маленькой пантеры, созданной специально, чтобы лежать у камина, и закладчик дал за нее шесть крон.

В долине было темно, но Вилфред знал, что сейчас не больше девяти или половины десятого. В город он придет около одиннадцати и позвонит в один-два дома. Он не хотел беспокоить Роберта, хотя тот, если бы понадобилось, отдал бы ему последнюю рубашку. Но Роберт жил «без адреса», в каком-то бараке в Руделокке, который он, по слухам, обставил весьма комфортабельно: у открытого очага лежали даже персидские ковры, — но никто не знал, приятно ли ему будет, если его убежище обнаружат. Роберт по-прежнему ждал у моря погоды. Он не обанкротился и не разбогател, не стал ни беднее, ни богаче, чем прежде...

Селина в коричневом матросском свитере — как непринужденно она его носит! Точно королева в изгнании носит рубище под невидимой горностаевой мантией... Загоревшая Селина с уже заметным животом стоит в дверях хижины, точно пародия на иллюстрацию к сентиментальной новелле. Селина держит в руках охапку дров, которую подобрала на подтаявшем снегу, — эта трущобная Сольвейг с обломанными ногтями снисходительно поглядывает на своего Пера Гюнта, который только что под пение пилы повалил дерево в лучах заходящего солнца. Они ведут себя как два вора, никогда не обсуждая своих поступков и не вспоминая о них: он помалкивает потому, что все-таки ему это не совсем приятно, ну а она? Никто не может сказать, по душе ли ей все это. Ей дана роль, и она отдается ей. Отдается ему? Нет, роли.

«Ро-ли, ро-ли», — отстукивали его шаги на дороге. Роли, которая ей выпала в жизни, все равно какой из ролей: поднимать бокал шампанского или аккуратно рвать газетную бумагу в занесенной снегом уборной с обледенелым стульчаком. И ни словечка, ни единого знака, чтобы выразить радость или огорчение.

Когда уже нельзя было найти приюта у тех, кто смотрел на вещи просто, они придумали другой выход. Правда, тогда на улице вдруг потеплело. Неделю они провели в пустом доме в Свартскуге возле Бюндефьорда. Несколько ночей на Экеберге, а две — на лодочной пристани Акерсэльв, куда пропуском послужил пароль, сообщенный приятелями от Максима... И тут Вилфреду пришла в голову мысль о Нурмарке, его точно осенило — выход, райское блаженство. Он явился домой на Драм-

менсвей, взял лыжи, простился с матерью, простился честь честью — едет, мол, проветриться, отдохнуть. Она радостно вскинула голову — сын порывает с дурными привычками и для укрепления здоровья хочет пожить на лоне природы, заняться физическими упражнениями. Сама она в последние годы уже не вставала на лыжи. По этой причине ему оказалось проще прихватить с собой и ее старые лыжи. У Селины не было лыж, и раздобыть их было не у кого.

В городе Вилфред позвонил в две-три двери. Но никто ему не открыл. Он стоял у дверей, вспоминая, как однажды школьником позвонил в дверь Андреаса на Фрогнервей, а потом убежал, чтоб подразнить старую служанку Марию, наверное, она уже умерла, многие умерли... Какая торжествующая, властная воля была тогда в нем! А теперь он звонит в двери, и самый звонок как бы предупреждает о том, что ему не откроют. Ну а *захоти* он по-настоящему, чтобы открыли? Открыл бы тогда кто-нибудь? Он знал, что воля его излучает волны, которые рождают в других желание распахнуть дверь, восторженно встретить его, быть дома, когда их дома нет. Но сейчас в нем не было этой воли. Он не хотел видеть людей. А явись они, он ничего не захотел бы от них. Может, пропустил бы стаканчик, чтобы скоротать время до наступления ночи.

Вместо этого он побрел по улицам, хлюпая мокрыми ботинками. Завидев дом на Драмменсвей, он обошел его со стороны железной дороги и увидел, что небо над Бюгдэ предвещает непогоду: в городе будет дождь, а в горах, наверное, снег, нескончаемый, благословенный снег, который на свой лад вернее всего предвещает весну. Вилфред сделал несколько шагов к берегу. Здесь однажды в горячке детского бала он встретил Кристину. Они заключили договор, который посвятил его в тайну пола, — эта тайна должна была помочь ему постигнуть мир. Он напряженно вслушивался в звуки дома. Опустился на колени на склоне, идущем к морю, и увидел распутившийся крокус. Здесь он съезжал на лыжах и падал, а мать рассеянно восхищалась им из окна, а он счищал с себя снег и горделиво пролетал последние головокружительные метры, полагая, что можно скрыть, что он падал!.. А теперь он ждал, чтобы дом умолк, как умолкает дом весенней ночью перед дождем. Старый фасад — он таил прегрешения его отца, вежливо таил дурное и хорошее и светлыми ночами был слеп и глух.

Вилфред бесшумно прокрался в дом. В потемках, закрыв глаза — так он видел зорче, — двинулся вперед, как лунатик, нащупал ручку кухонной двери, в точности зная, на какой высоте она находится, ручку скрипучей двери со сломанным замком, и на него уютно пахнуло льдом из кладовки. В то же мгновение он узнал запахи куропаток.

Стало быть, сегодня был семейный обед. Руки быстро ошупывали разнообразные кастрюли, пока не наткнулись на белую миску с трещинкой, где остатки куропаток соблазнительно плавали в застывшем сметанном соусе. Он ошупью нашел косточку, по форме напоминающую ложку, которая в детстве служила тайным черпаком охочему до лакомого воришке. И в холодной кладовке к нему вернулось детство: в промокших ботинках все равно что босиком, как бывало лунными ночами, когда он, подросток, мечтая полакомиться, в ночной рубашке пускался на незаконные деяния под надежной охраной родного крова.

Только теперь решительно раскрыв рюкзак, Вилфред фонариком осветил полки. Надо вести себя благоразумно, не покушаться на банку с оливками или таинственные баночки с икрой, любимой дядей Мартином. Он решительно схватил тефтели и консервы «Солдатский паек», ловко нашарил картошку в ящике под скамейкой. Вилфред наполнял рюкзак привычно и планомерно, ему надо прокормить двоих — а может, троих? При этой мысли в нем не пробудилось никаких чувств — ни радости, ни горя. Чему быть, того не миновать. Может, ему передана от Селины ее покорность судьбе? Он не думал о будущем. Стоя в кладовой своего детства, он ушел в прошлое. Он воровал, как и тогда, но только теперь для поддержания жизни. Под конец он все-таки взял несколько банок с оливками. И всем напоследок стянул несколько бутылок из стенового шкафчика в коридоре. В столовой он в самой невообразимой очередности отхлебнул понемногу из разных графинов, стоящих на буфете, и не потому, что не мог обойтись без спиртного, это время давно миновало, а потому, что представился удобный случай, а он хотел себя побаловать.

Но, порывшись в ящиках секретера в гостиной, он не нашел там денег. Выглянувшая из облаков над Бюгдэ луна на мгновение пришла ему на помощь. Вилфред тщательно перебрал счета и письма. Он знал: луна вот-вот скроется. Небо предвещает непогоду. Стоя с мешком за плечами, он рассеянно пробегал глазами бумаги и складывал их обратно в том же порядке. Он не хочет рыться в письмах и вещах матери, ему нужны

деньги, небольшая сумма. В одном из писем — оно было отправлено адвокатской фирмой — он прочел: «Поскольку бумаги, в которые Ваш брат, директор Мартин Мёллер, вложил деньги, оказались менее выгодными, чем предполагалось...»

Луна внезапно скрылась. Вилфред очнулся в темной гостиной на Драмменсвей. Он успел мысленно пережить разные периоды своей жизни, детство, отрочество, годы созревания. На какое-то мгновение он перестал понимать, сколько ему лет, какая сейчас пора и как он здесь оказался. Он невольно потуже затянул мешок, зажав его большими пальцами, потом в темноте положил на место недочитанное письмо и задвинул ящик. Пора уходить. Он тайком прокрался в дом, и дом этот дышит уже так, как дышит спящий незадолго до пробуждения. Что-то напряженно пульсировало в мозгу, нет, пожалуй, не там, но и не в крови. Потому что его кровь, как и быстрая мысль, отхлынула туда, где к северу от Лангли, неподалеку от Хаукена, стояла хижина, — он знал там каждую котловину, каждую тень. Его дом был там.

Его дом был там. Вилфред тронулся в путь. Он шел с тяжелой поклажей: консервы, всякая снедь... Он действовал по доброй воле, никто его не принуждал. Вот почему он нес свой груз. Рюкзак с продовольствием превратился в некий символ — какое-то задание, что ли, не вполне определимое, некий долг по отношению к чему-то. Добрые силы бродили в нем, не выявляя себя. На одной из темных улиц Вилфред остановился, почувствовав, как в нем прорезывается фраза: «Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат, оказались менее выгодными...»

Стало быть, они просто-напросто разорены, подобно многим другим, кто вздумал играть с огнем. Его холодная мать, со всем ее скрытым пылом, играла, играла совсем немного, но, как видно, этого оказалось достаточно. Ему самому, с любезного одобрения адвокатов, был выделен небольшой капитал, чтобы он мог играть, не затрагивая своего наследства. Теперь, став совершеннолетним, он мог бы потребовать, чтобы его выделили окончательно. Прежде такая мысль не приходила ему в голову, впрочем, об этом не стоит жалеть. Сколько бы у него ни оказалось денег, много ли, мало ли, ему всегда будет их не хватать. Некоторое время он прожил в мире, лишенном точного мерила ценностей, среди людей, которых можно было считать богатыми

или бедными, смотря по тому, как на это смотреть, но они располагали наличными деньгами. Он как раз и рассчитывал сейчас на небольшую сумму наличными, чтобы взять такси, добраться до дому с тяжелым рюкзаком, купить еще кое-какой еды. А его безответственная мать, должно быть, мучается сейчас бессонницей из-за письма, смысл которого ей непонятен: «Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат...»

А впрочем, как знать, чувствует ли она себя бедной? Может ли она так сразу, без перехода, понять, что значит бедность?.. Он пойдет к этим самым адвокатам, он в своем праве. Вот он стоит на улице под накрапывающим майским дождичком с рюкзаком, набитым краденными продуктами, и собирается к своему адвокату. Вилфред горько рассмеялся — он начал зябнуть под морозящим дождем. Там в горах, в заснеженной хижине, лежит Селина, прислушиваясь к шепоту елей, и чувствует, как в ней растет ребенок — у нее тоже нет будущего, но ее это не тревожит, у нее никогда не было будущего.

Вилфред повернул обратно и зашагал в сторону восточной части города. Он был сейчас в том настроении, когда по мелочам проявляешь решительность. Он надумал поспать часок-другой в квартире Роберта в Руделокке. Если Роберт дома — хорошо, если нет — тоже хорошо. В конце зимы Вилфред с Селиной нашли прибежище в темном деревянном доме Руала Амундсена в Свартскуге возле Бюндефьорда. Великий полярник путешествовал где-то среди льдов, а они пробрались в его дом и прожили в нем некоторое время, дивясь комнатам, обшитым темным деревом и оборудованным под каюты, с компасом и прочим снаряжением. Однажды, возвращаясь домой, они обнаружили, что в дом проникли посторонние: это были журналисты, полиция... Остановившись на опушке, они сразу поняли: что-то произошло, повернулись и пошли в горы.

Но к Роберту не было нужды вторгаться без спросу. Низенькое барачное строение можно было узнать еще издали — припарженный исправительный дом, вполне в духе Роберта, которому все годилось и ничто не сулило унижительных неожиданностей.

Роберт вскочил, едва услышал стук. Кто знает, случилось ли вообще спать по-настоящему этому всеобщему доброжелателю, никогда не задававшему вопросов. Он и теперь ни о чем не спросил, только помог Вилфреду спустить с плеч набитый мешок, который отяжелел от пропитавшей его влаги. Не хочет ли Вилфред выпить? Хочет. Он еще не успел ответить, а перед

ним уже стоял стакан. Вовремя поднести стаканчик — Роберт был способен и не на такие чудеса. А Роберт уже помешивал жар в импровизированной печи, которую сложил собственными руками, ловкими во всем, за что бы он ни взялся.

— Деньги? — На загорелом лице Роберта мелькнула улыбка. — Само собой. Вот только с наличными... — Изобретательный в поисках выхода, он уже шарил вокруг взглядом — не подвернется ли что-нибудь ценное, что можно заложить или продать. И вдруг просиял: — Акции «Морского бриза»!

— При чем здесь они?

Уставившись в огонь, Роберт расплылся в широкой добродушной улыбке.

— Да они же твои, дружище. Ты можешь их продать — хочешь сегодня, хочешь завтра!

Вилфреду стало совестно.

— Ведь это же было просто пари...

Лицо Роберта на мгновение омрачилось.

— Ты, может быть, думаешь... К тому же они уже давно переведены на твое имя.

Они просидели вдвоем до утра, пока рассвет не забрезжил в единственном выходящем на восток окне. Роберт извлек из кармана книжку — это был «Пан», с которым он никогда не расставался. В этом человеке самым естественным образом уживались разнообразнейшие противоречия: умиротворение и неприкаянность, интерес к акциям и любовь к поэзии, и это нравилось Вилфреду. Славно было никогда не знать, какой он сегодня, — знать лишь одно: всегда, в каждую данную минуту, он на твоей стороне. Был ли он богат или беден? Судя по всему, и то и другое вместе — вполне в духе времени. Он был на удивление осведомлен в вопросах искусства и экономики. О таких людях говорят «шалый», а может, даже «шарлатан»: этот человек щедро одаривал ближних дешевым счастьем, пока ему было чем одаривать.

На полу и в самом деле лежали роскошные ковры. В алькове стояло удобное ложе. Достоинство Роберта было в том, что он никогда ничего не навязывал. Он не благодетельствовал, а давал щедрой рукой. Он не верил в силы добра, но зато не ведал и зла. Рано утром он сам отправился реализовать бумаги.

— Возможно, немного погода их можно было бы продать дороже. Бумаги оказались надежными.

Он беззаботно сунул кредитки Вилфреду. Вилфред со своей стороны предложил поделиться.

— Давай, — охотно согласился тот и пододвинул к себе большую пачку. Сидя за столом, на котором валялись деньги, они пили утренний кофе с коньяком.— Снабдили друзья, — пояснил Роберт. Кстати, не хочет ли Вилфред захватить бутылку с собой?

Они попивали кофе и говорили о письме, которое нашел Вилфред. По лицу Роберта снова мелькнула тень, мимолетная тень огорчения, похожая на апрельскую тучку, нависающую вдруг над улыбающейся землей.

— Все дело в том,—сказал он, — что твоя мать не создана для этого.

Не создана. «А ты сам,—подумал Вилфред. —Ты или, к примеру, адвокаты Фосс и Дамм, на чье имущество, включая пресловутый бар, наложен арест, —вы, стало быть, «созданы»? Вы не ждали другого конца. Вы — пешки, повинующиеся переменчивой игре жизни, да и сами вы — воплощение переменчивых настроений и нрава».

— Ты можешь позвонить адвокату из будки у спортивного зала, — предложил Роберт.

Но из будки позвонить не удалось. У кабины ожидала очереди женщина с ребенком и корзиной. Этого оказалось довольно, чтобы Вилфред передумал. Не хочет он лезть в материнские дела, даже если они касаются его самого. Не хочет ничего знать — ни хорошего, ни плохого. Он вернулся к Роберту за рюкзаком. Они постояли вдвоем в темной комнате, в которой свет зажигали только при закрытой двери.

— А ты сам? — спросил Вилфред на прощанье. Роберт пожал плечами.

— Все меняется.—Он улыбнулся. —Но если тебе понадобится жилье...—Он сделал выразительный жест. —Только ничего не покупай в лавках по соседству, —беспечно добавил он. —Понимаешь, я, собственно говоря, здесь не живу... Пиши мне до востребования.—Вдруг он что-то вспомнил. —Твоя картина, —сказал он, указав в темный угол. Разглядеть Вилфред ничего не мог, но понял, о чем речь, и поежился. —Да и другие картины тоже. К тому же дама взяла напрокат рояль. Наверняка сверх задатка ты можешь получить еще деньги.

У Вилфреда потеплело на душе.

— Ты можешь потребовать их у нее?

Тот неопределенно кивнул, словно соображая на ходу, как прибегнуть к услугам неизвестного посредника.

— Возьми себе то, что удастся получить, — улыбнулся Вилфред. Так они и стояли, улыбаясь друг другу в полумраке. Потом Роберт быстро выпустил друга, стараясь, чтобы дверь не закрипела. Вилфред легко зашагал к стоянке такси, тяжелый мешок стал невесомым. Когда машина свернула к северу от Бугстадванн, над Серкедалом вдруг сразу засиял майский день. Где-то наверху вокруг стволов пихт с тихим потрескиванием таял снег, в истоках рек под синим ледяным покровом всхлипывала вода.

Вилфред нашел лыжи за штабелем дров и, тяжело отталкиваясь палками, стал подниматься по мокрой дороге к вершине горы, которая становилась все белее, чем дальше он шел. Тут был иной мир, не похожий на долину, освещенную солнцем мая, не похожий на пустые городские улицы под морозящим дождем, на гостиную на Драмменсвей, залитую лунным светом, или темную комнату Роберта в бараке, устланном дорогими коврами.

Но когда, перевалив через последний гребень, он легко заскользил по лыжне вдоль ручья, он не услышал ответа на условный свист. Он уже видел стену хижины, серебристую на фоне белого озера, он снова свистнул, но никто не отозвался. Он с силой всадил в снег палки, усталость после тяжелого подъема сменилась тошнотворным страхом.

Он толкнул дверь палкой и, как был, на лыжах, с трудом перевалил через порог.

При свете дня, проникавшего в хижину, он увидел Селину на скамье прямо против входа. Она полусидела, полулежала. Нижняя часть ее тела была обнажена, по ногам стекала кровь. Он споткнулся на пороге с лыжами и рюкзаком. — Это я, Селина, это я! — Споткнулся и упал перед ней. Руки его наткнулись на серый комочек, перепачканный кровью и слизью. Он хотел встать, но лыжи мешали ему подняться. — Селина! — крикнул он.

— Ну как ты сходил в город? — спокойно спросила она.

8

Умерла тетя Шарлотта.

Известие принес Роберт. Весенним вечером, освещен-

ный заходящим солнцем, он появился на пороге хижины в промокших городских ботинках и рассказал о случившемся.

— Я подумал, надо тебе сообщить поскорее. Сегодня утром объявление напечатано в газете.

Селина к этому времени уже совсем поправилась. Тогда Вилфред хотел не откладывая ехать в город за врачом, но она попросила его повременить, а на другой день попросила подождать еще: у нее, мол, все в порядке, врач ей не нужен.

Как это случилось?

Она пошла с ведром за водой, и вот, когда она поднималась от реки вверх...

Но ведь он сам запас для нее воду?

Она пошла с ведром за водой. Он не знал, лжет она или нет, и не спрашивал. Не знал, страдает ли она. Он пытался угадать.

Но, казалось, его прежняя способность угадывать с ней давала осечку, словно и угадывать было нечего. Он пытался разгадать ее, денно и ночью окружая заботой, ухаживая за ней, когда она это разрешала. Но вообще — беспокоиться не о чем. Она держалась безукоризненно. Молодая здоровая девушка, у нее вышла маленькая неприятность, но никто бы об этом не догадался. Приди Вилфред немного позже, быть может, и он ничего бы не узнал. Она ведь никогда не говорила прямо, что ждет ребенка.

При вести о смерти тети Шарлотты Вилфред не испытал большого горя. Скорее страх, и это чувство все усиливалось, пока Роберт ставил к стене свой нелепый чемоданчик и снимал ботинки, чтобы их просушить. А потом ему дали поесть и налили остатки вина. Бокалом служила чашка с отбитой ручкой, но Роберт подносил ее ко рту так, словно она была из хрусталя, смотрел сквозь нее на свет и блаженно вытягивал ноги в шерстяных носках.

Да, чувство, которое испытывал Вилфред, было сродни страху. Это была первая смерть в семье после отца. Тетя Шарлотта с ее шуршащими юбками, всегда такая ласковая. Детей у нее не было. Может, ее ребенком был дядя Рене?

Что-то вроде умиленного страха: стало быть, такое может случиться. Мысль о матери, обо всех остальных. Одним человеком стало меньше в их семейном кругу, который распался, но все же продолжал существовать. Вилфред бросил взгляд на

свои руки. Недавно они держали окровавленный комочек, который был жизнью. Теперь, когда пришла весть о смерти, Вилфред вспомнил об этом. И спросил Роберта:

— У тебя есть дети?

— Кто знает! — беспечно ответил тот.

Вилфред не смотрел на него, он задал этот вопрос, чтобы увидеть, дрогнет ли что-нибудь в лице Селины. Ничто не дрогнуло. Неужели она совсем не испытывает горя? Может, она сама все это подстроила? Но если даже так, неужели она совсем не горюет? Вилфред пытался уловить, что он чувствует сам. Что-то похожее на горе. Но не из-за ребенка, не из-за тети Шарлотты, которую он всегда любил. Горе оттого, что вот они, трое друзей, сидят здесь одни, в лесу, вместе, но за тысячу километров друг от друга. Роберт прислушался.

— Скворец в лесу? Чудеса! А может, это вы завели здесь себе собственного скворца?

Горе из-за всего, что говорится. Из-за слов, которые призваны скрывать мысли или выражать не то, что думаешь. Сам он всегда пользовался словами для этой цели, а еще для того, чтобы мучить и терзать. Надо было бы сказать ей, что он любит ее, если только он ее любит. Сейчас весна, они молоды. Да, сердце его сжимается сейчас от горя.

— А загар-то у обоих какой! Так и брызжете здоровьем!..

Роберт огляделся в полумраке хижины. Они кое-как украсили ее, она приобрела жилой вид, в ней даже чувствовался уют.

— Вы живете, как первые люди в последние времена.

Доброжелательные слова, сказанные, чтобы порадовать. Подруга сердца и добрый случайный приятель. Вот они сидят и тщатся быть вместе, и находятся за тысячи километров друг от друга. За стенами хижины весна черпает из своих светлых источников, они будут разливаться все шире, пока не наступит летняя пора. Сначала пришел страх оттого, что кто-то умер. А горе было вызвано не смертью. Вилфред думал о своей бездетной тетке Шарлотте с ее шуршащими шелковыми юбками. Имело ли значение то, что она жила на свете, а если имело, то для кого? Ни разу не произнесла она резкого слова, одни только ласковые, веселые, подходящие к случаю слова. Но при той жизни, какую она прожила, можно ли сказать, что она жила? Что изменилось бы, если бы она не жила вовсе, если бы она не появилась на свет из-за несчастного случая, из-за того,

что кто-то поднял тяжесть прежде, чем она родилась... И все-таки она прожила жизнь, бездетную жизнь, реальную, или почти реальную. Но, глядя на нее, нельзя было подумать, что она сознает: «я живу!» Наверное, у нее всегда все шло слишком благополучно. Наверное, человек не может до конца осознать, что живет, если он всегда одинаково благополучен.

— Ну а вы — долго вы намерены оставаться здесь, в глуши?

Теперь вопрос задан, правда, задали его с улыбкой, херс отличный, и сидят они все-таки вместе. Но те двое, кого касались эти слова, никогда не произносили их вслух. Задавать вопросы — опасно. Вопросы вынуждают принимать решения. А они оба не слишком склонны решать. Что-то случается само собой — а может, и не само собой. И происходят перемены.

— Хм! — Вилфред взглянул на Селину. Она стала очень тоненькой, но не худой. Кожа и волосы пламенели, как прежде.

— Пока не уедем отсюда, — ответила Селина.

Улыбка, любезный смешок. Стало быть, и она считает, что все случается «само собой». Перемены — в душе или в теле — приходят неизвестно откуда, иногда неслышно прокрадываются в щель, хотя бы, к примеру, смерть. У Роберта оказалась с собой бутылка виски. Мужчины пошли к ручью за водой. Ручей бежал так глубоко под покровом последнего хрупкого льда, что один должен был придерживать другого за ноги. Зачерпнув воды, Вилфред спросил:

— Ты узнал что-нибудь у адвоката?

Лицо его покраснело от усилия. Роберт стоял, утапывая бахромчатую кромку снега.

— Деньги, вложенные в бумаги, потеряны, — сказал он.

— Значит, у нее ничего не осталось?

— Почему ты не спросишь у нее самой?

— Телефон плохо работает.

И оба рассмеялись. Хотя смеяться было не над чем. Но они смеялись над тем, что Роберт понимает, почему Вилфред не спрашивает, почему не показывается дома и почему не может и не хочет быть с людьми, которых очень любит.

— Но на похоронах-то ты все-таки будешь?

Они поднимались вверх с ведрами в руках. Теперь начало быстро смеркаться. В котловине, обращенной на северо-запад, снег совершенно посерел. Но между котловинами маслянисто поблескивал брусничник.

— Само собой.

Она была сестрой отца, сестрой синего сигарного дыма, воспоминание о котором до сих пор сладко дразнит его обоняние. И ее запах помнит Вилфред. Брат и сестра — два разных запаха. Они подошли к двери хижины. Селина накрыла сундук шейным платком вместо скатерти.

— До чего же ты домовита, — заметил Роберт.

— Раз у тебя дом... — сказала она. Сказала без горечи, может быть, даже радостно.

— ...под каждым кустом! — закончил Роберт. И разлил виски. — Дом у нас там, где есть бутылка.

Беззаботно, уютно. Роберт проделал этот долгий путь, чтобы сообщить горестную весть, побуждаемый участием и дружелюбием. Вспомнил, что в чемоданчике есть еще бутылка. Тактичное благодеяние — впрочем, он недаром живет у самых источников. Вилфред пил с наслаждением.

— Пожалуй, вкуснее всего с водой.

— Да еще с такой водой! — вставила Селина.

Вилфред внимательно вслушался. Что это — ирония? Ничуть. Даже не ирония. Ирония — это сострадание к самому себе. А способна ли она сострадать другим?..

И снова Роберт устремился к потертому чемоданчику, который он оставил у самого порога. Одет Роберт по-городскому, чемоданчик у него тоже городской — словом, вестник из города. Оказывается, он прихватил с собой кусок говяжьего филея и бутылку бургундского, а когда он порывлся тщательней, их оказалось даже целых три. Он объявил об этом с кокетливым удивлением, почти смущенно. Если у них найдется сковорода...

Сковорода нашлась. А масло нашлось у Роберта, он получил его по медицинской справке — нет, слава богу, справку выдали не ему, до этого он еще не докатился! Он коротко усмехнулся. Кстати, он не прочь заняться стряпней. А для Селины он прихватил китайское кимоно с панталонами, если она не побрезгует. Он рылся в чемоданчике, извлекая из него поочередно один подарок за другим. Еще там оказались длинные листки с цифрами и томик Снойльского.

— Читали Снойльского? Презабавный поэт. — Роберт всегда питал слабость к старой шведской поэзии. Он ронял фразы одну за другой почти без всякого выражения.

Селина деланно ахнула, как всегда, когда речь заходила о новой тряпке. Потом решительно объявила, что переоденется в лесу. Холодно ей не будет, там теплее, чем в доме. Она умела

утверждать нелепицу таким тоном, что приходилось верить. Роберт начал колдовать над сковородкой.

— А о н а ? . . — спросил он.

— Нет. Не знаю.

— Нет... Во всяком случае, она мягкая. — Теперь он имел в виду говядину. — Одну мы наскоро подогреем, а остальные ты поставишь на верхнюю полку, так что они будут в самый р а з . — Это уже касалось бургундского.

— Не з н а ю , — повторил Вилфред, расставляя бутылки.

— Перцу, — распорядился Роберт и, получив его, добавил: — Никто вообще ничего не знает.

— Что-то знать надо! — запальчиво возразил Вилфред.

Роберт жарил мясо. В скудном свете очага он внимательно следил за сковородой.

Вилфред зажег керосиновую лампу с зеркальцем сзади. Где-то в непроглядной тьме сейчас наряжается Селина. Он почувствовал к ней вдруг прилив необычной нежности, лишенной плотской страсти. Склоненная спина Роберта рисовалась силуэтом в золотом ободке света, отбрасываемого очагом.

— Г о т о в о , — объявил Роберт о своей стряпне, когда вошла Селина. На ней было черное кимоно с золотыми драконами.

— Приманка для туристов, — виновато произнес Роберт. — Ты сама краше любого наряда.

Он опытной рукой разложил мясо, пока Вилфред расставлял на столе вымытые чашки. Селина опьянела от одного вида вина.

— Кулаки вверх! — закричала она. Но стоило ей немного выпить, как она стала трезвой. Роберт подлил ей немного вина, и ему тоже тотчас наполнили чашку. Сплошная любезность и взаимная доброта. Слышно было, как внизу журчит ручеек. В темноте ласково шелестели ели.

— Теперь дядя Рене уедет в П а р и ж , — сказал Вилфред.

Они не сразу посмотрели на него. Они думали о своем.

— Из-за этой церкви в Париже? — спросил Роберт.

— Он не может примириться с тем, что ее разрушили. Он больше парижанин, чем сами парижане.

— Ты поедешь с ним? — спросила Селина.

Вилфреду это не приходило в голову. Он не знал, что это приходило ему в голову.

— В Париж?

— Ну да...

Она спросила просто так, ни с того ни с сего, вообще она никогда ни о чем не спрашивала. А тут вдруг спросила.

— Может статься, — ответил он.

Роберт слегка вздернул брови. Во время еды он хотел покоя.

— М-мм! — промычал он негромко.

Они его поняли. И в один голос повторили:

— М-мм.

Выпили за это. Запивали еду, заедали вино. Подбросили в огонь несколько добротных чурок, глаза им застлал дым, они смеялись, ослепнув от дыма, и в голубоватом сумраке казались друг другу привидениями.

Она спросила, поедет ли он в Париж. Никто его не приглашал. Он глубоко сочувствовал дяде Рене еще с той поры, как был немым, и хотел выразить свою благодарность дяде за то, что тот открыл ему волшебную тайну импрессионизма; в этом периоде искусства крылось что-то, что было созвучно Вилфреду во всем.

— И спасибо, что ты притащился в такую даль, чтобы сообщить мне об этом.

Пустяки. У Роберта машина, он оставил ее внизу, в долине. Стало быть, и машина у него есть, машина и яхта, — может, дела его не так уж плохи?

Кстати говоря, полезно пройтись пешком десятка полтора километров. Редко ведь удается вырваться на природу. Вообще-то насчет Роберта и природы разобраться трудно — верно ли, что он ее любит? Он во всем человек городской. С другой стороны, он мастер на все руки...

— А как же гостиница? — спросила Селина.

Гостиница на месте. Он отчасти привел ее в порядок, но еще не совсем. Поживем — увидим.

— Но она твоя? — упорствовала Селина.

— Да как сказать. — По лицу Роберта скользнула привычная мимолетная тень. — Это штука сложная, теперь не всегда разберешь, владеешь ты чем-нибудь или нет. Распробуйте-ка лучше это виски. Я получил его у нашего общего друга, Андреаса.

— Получил? — Селина становилась настойчивой.

— Ну приобрел. Предприимчивый малый, этот Андреас. Машина, яхта, большими делами заворачивает. И фамилию сменил, слышали?

Машина, яхта. Стало быть, Андреас предприимчивый малый, потому что ими обзавелся. Но разве сам Роберт не заворачивает крупными делами? Нет, Роберт не из предприимчивых, он зани-

мается всем понемногу и доволен своей участью. Они послушались его совета — с наслаждением смаковали виски. Они наслаждались всем вокруг и подкладывали чурки в огонь... Подумать только — Эрн, орел, синий на золотом фоне, — здорово! Интересно, есть от этого прок — вот так взять да и поменять фамилию? Может, проснешься утром и в самом деле возомнишь себя орлом... А что, если взять себе фамилию — Мышь?

На рассвете, выйдя на улицу, они слепили чудеснейшую снежную бабу. С добросовестностью пьяных они расхаживали взад и вперед, приносили остатки снега с опушки леса, поливали снежную фигуру водой и отделяли ее, стараясь перещеголять друг друга. Вилфред занялся лицом и придал ему некоторое сходство с простодушно-демоническим Андреасом. Утренний холодок пощипывал разгоряченную вином кожу. Они ненадолго вздремнули, а потом стали наводить порядок в хижине. Вилфред проснулся, услышав, что Селина расхаживает по комнате, собирая вещи. Стало быть, так же без слов она приняла и это: все кончено, надо отсюда уходить. Роберт стоял в дверях, он вернулся с улицы, завершив свой утренний туалет, и хриплым голосом напевал какую-то бодрую песенку. Кажется, они проведут славное утро — обойдутся без предотъездной хандры.

Но когда они свернули по тропинке влево от проруби, где истончившийся лед, позванивая, таял на утреннем солнце, Вилфред обернулся, чтобы поглядеть на брошенную ими хижину, одинокую и холодную, — на ее серебристо-серой стене на мгновение вспыхнул золотистый отблеск. Снежная баба потеряла руку, которую они вылепили ей в пьяном усердии. Это уже поработало солнце. Вторая рука была поднята кверху, словно в знак прощания. И снова у Вилфреда привычно кольнуло сердце, будто он совершал очередное предательство, — всегда что-нибудь предаешь, безответственно барахтаясь среди своих жалких переживаний, попеременно хороших и дурных, но не слагающихся ни в какую сумму и ни к чему не ведущих.

Он взглянул на Селину. Она не оборачивалась. Она шла по тропинке, балансируя под бременем слишком тяжелой ноши, которую во что бы то ни стало хотела нести сама: даже в таких примитивных условиях существования приходится что-то перетаскивать с места на место. Роберт помахивал своим легким чемоданчиком, продолжая нахваливать прекрасное утро. Внизу на лесных склонах пели птицы. А в самом низу их ждал Роберт в автомобиль.

Вилфред еще раз обернулся, но уже не увидел хижины, только различил блик света как раз на том месте, где она стояла, — он создавал ощущение крова, пристанища. А потом уже не стало видно ничего, кроме холмов с бегущими по ним шальными ручьями, которые вспыхивали на солнце там, где они выплескивались из берегов и выбегали на дорогу резвыми струйками — серебристая паутина, след потайных светлых источников.

9

В крематории Вилфреду никак не удавалось настроиться на скорбный лад. Пастор страдал дефектом речи, произносил «й» вместо «ф» — возникало непривычное слово «скойбь», оно витало в зале, насыщенном запахом цветов, приобретая для Вилфреда то одно, то другое значение. Было вообще неприятно сидеть на передней скамье среди тех, кто должен скорбеть. Взять хотя бы мать, обливавшуюся слезами сверх всякой меры. Она горевала бы гораздо больше, если бы ей не надо было так сильно горевать.

В темной глубине крематория Вилфред заметил Роберта и Селину. Мило, что они пришли. Характерная черта Роберта — он как бы и соблюдал все правила приличия, и как бы не подчинялся им. Он всегда поступал так, как от него ждали, а казалось, что он повинуется порыву, влиянию непосредственного чувства. Вилфреду хотелось быть с ними, ощутить себя свободным и одиноким. А вместо этого он должен сидеть на передней скамье среди действующих лиц. Ему не верилось, что это тетя Шарлотта лежит в белом гробу, усыпанная цветами. Однако шуршанье ее шелковых юбок умолкло. Вилфред пытался услышать его сквозь слова священника. В слова эти тоже было трудно поверить. Все казалось неправдоподобным, кроме разве что дяди Рене. Он сидел как-то обособленно на самой первой скамье, почти бесплотный в своем узком черном сюртуке с шелковыми лацканами. Он становился все более прозрачным по мере того, как с фронта поступали все более печальные вести.

Ближе всех к Вилфреду сидела тетя Клара — та, которая отказалась преподавать немецкий. Странно — он только сегодня обратил внимание, что они постарели, все его родные, даже мать немного постарела, чуть утратила свою очаровательную, округлую мягкость. Одна только тетя Клара оставалась такой,

какой он ее знал всегда. Зато, наверное, она и не выглядела моложе, когда была моложе. Она сидела, обмахиваясь неизменным шелковым носовым платком, и пепельно-серый кончик языка, как всегда, облизывал пересохшие губы. Во всей ее фигуре была какая-то удивительная опрятность, гармонировавшая с этой обителью смерти. Вилфред в первый раз видел тетку не в серой одежде, но и в черном она казалась серой, и не от усталости или от возраста, а как бы от природы — благородный серый цвет.

Дядя Мартин в черном сюртуке — на коленях цилиндр с креповой лентой — сидел с мрачным видом, словно исполняя заученную роль: олицетворение скорбящей семьи. А может, у него и в самом деле на душе лежало бремя — бремя заботы обо всех родных, — так или иначе он демонстрировал скорбь. Осанстой мощи в нем несколько поубавилось за минувшие напряженные недели, но по-прежнему он являл собой монументальную противоположность одухотворенному дяде Рене с его колдовскими руками. Дядя Мартин всегда представлял собой.

Из-за прикрытия его дородного туловища выглянула тетя Валборг, она, словно сообщница, весело кивнула Вилфреду. Вилфред ответил вежливым кивком, не преминув сменить вспыхнувшую на мгновенье улыбку подчеркнутую скорбным выражением.

Он осторожно огляделся вокруг, ища взглядом Кристину. Вот она — сидит на третьей скамье справа. Она как бы тактично отделяла себя от семьи, она ведь так и не вошла в нее до конца; но ее изысканная седина придавала ей какое-то сосредоточенное и уверенное выражение, которое не надо было подкреплять скорбной миной. Где бы она ни оказалась — хотя бы на похоронах в промежутке между публичными демонстрациями рыбной муки Накко и невоспламеняющихся карбидных ламп, — Кристина всегда была на своем месте. В настоящую минуту она сидела в крематории и держалась как безукоризненная родственница.

Среди близких вышел небольшой спор по поводу церемонии похорон. Мать и дядя Мартин считали кремацию неуместной. Боже сохрани, он не возражает против самой процедуры, говорил дядя Мартин, она вполне благопристойна, и он не какой-нибудь там ретроград, но сожжение — знаю, знаю, здоровый, гигиенический обычай, и все же для людей нашего класса несколько слишком радикальный — так, во всяком случае, считает он. Но дядя Рене спокойно настоял на своем. Зато он усту-

пил их пожеланию, чтобы из часовни гроб везли на лошадях. Тут он был согласен — в подобных случаях автомобиль ни к чему.

Вилфреду казалось, что следы распри все еще разъединяют скорбящих в этот скорбный час. Он снова чувствовал в себе услужливую готовность вести себя так, как они от него ждут. Беда лишь в том, что они больше не составляют монолитной семьи, она распалась на отдельные личности. Вилфред и раньше чувствовал особенности каждого и настраивался на соответствующий лад. Но теперь различия стали как бы ощутимее: каждый в большей мере существовал сам по себе, в меньшей мере чувствовал единство с другими. И поэтому на Вилфреда нахлынуло знакомое ощущение, будто им управляют различные силы. Так бывало всегда, когда, расставшись с кем-нибудь, он угрызался, что не угодил этому человеку, и начинал играть роль, становясь таким, каким его желал видеть этот человек.

Теперь он готов играть роль для них всех — но беда в том, что каждый тянет в свою сторону. Взять, к примеру, раз и навсегда вылепленную тетю Клару — что у нее может быть общего с дядей Мартином? Она похожа на один из сухих пищевых концентратов, которые нынче вошли в моду, — они сохраняются свежими в обезвоженном состоянии. Тетя Клара раз и навсегда нашла свою форму. Какие же чувства должна она испытывать к дяде Мартину, с которым навеки обречена быть связанной семейными узами, ведь он хамелеон, ведь его скоропалительная перекраска в британские цвета должна представляться ей вульгарным ловкачеством. Уж он-то не отказался бы изъясняться на каком бы то ни было языке, — независимо от того, знает он его или нет. Он чувствует себя как рыба в воде — правда, рыбе никогда еще не приходилось быть выброшенной так далеко на сушу. «...Поскольку бумаги, в которые вложил деньги Ваш брат, оказались менее выгодными...».

Вилфред покосился на мать и взял ее за руку. Она вздрогнула, словно мысли ее витали где-то далеко, а потом горячо стиснула и погладила руку сына. Это было как раз перед тем, как начали опускать гроб — неизбежный мучительный ритуал, установленный для того, чтобы даже самых безразличных охватил ужас перед смертью и сердце сжалось при мысли о бренности всего земного.

Рука ее крепче впилась в руку сына, пока гроб исчезал в провале. Стало быть, вышло удачно, что он прикоснулся к ней именно в эту минуту. Ее слабость вызвала у него ощущение

собственной силы, словно они летели на лыжах с крутой горы и он, откинувшись назад, тормозил спуск для них обоих. И почему только никогда не удается оторвать взгляд от этой злосчастной процедуры, которая потом является тебе в кошмарах, мучительно напоминая о пределе, положенном всякому сознанию... Вилфред пытался сосчитать свечи в подсвечниках или вспомнить описание Кремации: «...Элементы тканей тела соединяются с кислородом воздуха... печь нагревается до температуры 1000 градусов Цельсия. ...Углерод тканей тела соединяется с кислородом, образуя углекислоту, которая исчезает... в общих чертах, это тот же процесс, который происходит при медленном сгорании тела в могиле...» Вилфред пытался уцепиться памятью за этот канцелярский текст. Он выучил его почти наизусть, как выучивал целые страницы энциклопедий и справочников в ту пору, когда поставил целью выучить все, что только можно узнать.

Он улыбнулся матери, чтобы вернуть ее в настоящее, но обвал мыслей уже неудержимо влек ее в бездну. Легкие, беззвучные слезы вытекли из-под вуали. И тут крематорий огласило бурное рыдание, которое тотчас распространилось по рядам.

Теперь уже всех захватило стремительное движение вниз. Все оказались во власти неумолимого закона, который нашептывает: «Сегодня мой черед, завтра твой». Только нашептывает он эти слова под маской сострадания. Вилфред знал это и не хотел ему подчиняться. Он наклонился вперед и посмотрел на дядю Рене, сидевшего поодаль. Его ведь происходящее касалось больше всех. Он не опускал глаз, они были прикованы к какой-то точке над гробом — может, он явственно видел душу, которая в этот момент медленно воспаряла, освобожденная от своей земной оболочки... а может, он прислушивался к взрывам в той парижской церкви, они, наверное, никогда не умолкали для его внутреннего слуха. А может, тут было и то и другое. Может, он смутно надеялся на воссоединение с усопшей в безотчетной вере в непреходящесть всего сущего? Дядя Рене никогда не принимал участия в дискуссиях о спиритизме, которые вошли в моду по британскому образцу. Но он никогда не высказывался в пользу сухого рационализма. Должно быть, он существовал в мире красок и звуков, всегда робко оставаясь у самой границы и не решаясь вступить в круг активных творцов, — его влекло в этот мир, но он не мог вырваться за пределы пограничной полосы, где обреталась его душа, не зная слишком высоких взлетов.

Пожав руки всем присутствовавшим на церемонии, Вилфред вышел вместе с дядей Рене. Они держались все так же рядом и во время ленча в самом узком кругу. Его устроили на Драмменсвей, у фру Саген, чтобы избавить дядю Рене от хлопот. После ленча дядя отвел Вилфреда в сторону. Они уселись каждый со своей чашкой кофе в восточном кабинете, где в свое время дядя Рене поведал племяннику так многое из того, что знал об искусстве, ради которого он в конечном итоге жил.

Дядя Рене рассеянно помешал кофе ложечкой, а потом оставил чашку, так и не притронувшись к ней.

— Я хотел бы пораньше уйти,— спокойно сказал он. — Мне было бы приятно, мой мальчик... я все еще называю тебя так по старой памяти... — Он смущенно жестикулировал своими прозрачными руками. — Мне было бы приятно, если бы мы вместе поехали на пароход — вернее, если бы ты меня проводил...

В это мгновение он стал вдруг таким беспомощным во всей своей старомодной элегантности, таким беззащитным против чужого любопытства; он был совершенно неспособен объяснить своим ближайшим родственникам, почему он принял решение уехать.

— А ты ни о чем не спрашиваешь, — поспешно продолжал он, словно желая предотвратить вопрос, который был бы ему в тягость. — Ты все угадал, как и прежде, ты всегда был большой мастер угадывать, да, да... — Он улыбнулся покорной улыбкой, как бы уступив нахлынувшим на него почти счастливым воспоминаниям о музыкальных вечерах и часах, посвященных живописи. — Мой пароход отходит в четыре часа от пристани Тингвалла, он доставит меня в Ньюкасл, теперь иначе не проедешь. Оттуда я надеюсь добраться морем до Гавра; стало быть, дня через три-четыре, самое большее через неделю окажусь на месте.

— В Париже, — сказал Вилфред. Это не было вопросом. Но он сам почувствовал, что в тоне его прозвучала неуместная нотка самой банальной зависти.

— Да, да, конечно. Вначале я думал пригласить тебя с собой. Видишь ли, твоя тетя Шарлотта... — Он опять устремил взгляд куда-то вдаль, как два часа назад в крематории. Вилфред невольно проследил за ним глазами, но его собственный взгляд уперся лишь в малайскую маску, которая в детстве всегда наводила на него страх. — ...Твоя тетя не хотела, чтобы я ехал один: она боялась за меня, а сама она в последние годы хворала. Но по правде сказать, мой мальчик, я предпочел бы

поехать туда один. У меня там нет никаких дел, и вряд ли поездка пойдет мне на пользу, но у меня такое чувство, будто... дружба былых времен, что ли, — словом, будто я предаю город, который, по сути, научил меня всему, что я знаю о жизни, поэтому я хотел быть там, когда это случится, если это случится...

В голосе дяди Рене не чувствовалось волнения, а только твердая решимость объясниться. Но именно поэтому к глазам Вилфреда подступили слезы. Многое всколыхнулось в нем — он подумал о несбывшихся надеждах, которые этот бездетный человек, вероятно, связывал с ним, полагаясь на то, что своим влиянием разовьет в нем чисто эстетические склонности, — быть может, он мечтал облагородить человеческую душу, а может, смутно желал выразить протест против того провинциального и вульгарного, что было неразрывно связано с безмятежным существованием в маленьком самодовольном обществе, которое всегда было ему чуждым. Голос дяди Рене звучал суховато, даже с оттенком суровости:

— Прощу тебя ничего не усложнять... — И вдруг в нем провалились почти мальчишеские нотки. — Я хочу сбежать, неужели ты не понимаешь, просто хочу сбежать, никому ничего не сказав. Но тебе я сообщу свой адрес, как только он у меня появится. Может, когда-нибудь в будущем я покажу тебе Париж... Может, все еще окончится не так скверно. Может, в последнюю минуту война...

Это помогло. Голос дяди сорвался от волнения. Это помогло Вилфреду. Он тут же почувствовал ясную трезвость.

— Спасибо, дядя,— твердо сказал он. — Если хочешь, я еду за твоим багажом и встречу тебя на пристани...

— Об этом я и хотел попросить тебя. Спасибо, мой мальчик. Понимаешь, я уже все уложил. Наша старушка Лина присмотрит за домом. Она в курсе... — И снова мальчишеские нотки звучали в его голосе, на этот раз, правда, сдавленном. — Ты просто возьми машину, такси... — Он порылся в кармане, извлек оттуда несколько купюр, но Вилфреду удалось вернуть их ему обратно. — Тебе даже не придется звонить. Наша Лина умеет видеть сквозь занавески. А багаж невелик, я беру с собой немного...

Он встал, и казалось, его взгляд снова ищет что-то на стене напротив. Он подошел к узкому окну в эркере и стал глядеть на залив. И вдруг какая-то смута поднялась в душе Вилфреда — волнение, протест, надежда, что дядя передумает. Он вдруг почувствовал, что ему нужен этот старый человек — ну-

жен друг, не случайный, как все его друзья, а друг, пусть не одной с ним крови, но одного семейного круга, человек, с которым он может говорить о своем отце, узнать у него о том, что он пытался угадать, никогда не решаясь узнать, и все откладывал и откладывал ту минуту, когда расспросит именно его.

А теперь было поздно. В узкой спине дяди, стоявшего у окна, была твердая решимость. Вряд ли мысли его были здесь, они, как видно, унеслись далеко-далеко, но не в Северное море, к коварным подводным лодкам, а прочь от всего будничного. Может, и ему было в чем упрекнуть себя, может, и он не сказал того единственного слова, нежного слова, которое подтвердило бы все, но которое люди никогда не успевают сказать друг другу, потому что всегда бывает слишком поздно.

Наверное, так оно и было у дяди Рене, и так, Вилфред угадывал это, было у всех. Видно, людям стали не по плечу слова, которые предназначены не только для того, чтобы скрывать, видно, привычка злоупотреблять словами укоренилась так прочно, что слова перестали быть мостиком связи между людьми, их приходится заменять прикосновением, а то и просто движениями тела, теми, что поддаются истолкованию. Может, так бывает у зверей, может, их грациозные повадки выражают чувства, а мы этого не подозреваем и ложно истолковываем их, полагая, что это ищет выхода присущая им живость и под ней не кроется ничего, кроме так называемой непосредственности.

Вилфреду казалось, что он угадывает нечто подобное этим движениям в фигуре дяди Рене. Он напоминал грациозного зверя, тонконогую гну — нет, она жвачное животное; скорее, он напоминает куницу или горностаю — что-то сторожкое, мгновенно исчезающее, ускользающее бесплотной тенью, оставляя лишь воспоминание на сетчатке глаза...

Он тоже встал, тихо кашлянув. Кто знает, долго ли им дадут спокойно побыть вдвоем в эркере. Дядя Рене мгновенно обернулся и подошел к нему с протянутой рукой.

— Спасибо, Вилфред...

И снова вернулось глупое волнение. Вилфред хотел прогнать его какой-нибудь циничной, грубой мыслью. Но дядя Рене неожиданно сказал:

— Не надо, мой мальчик.

Они постояли друг против друга.

— В следующий раз, дядя Рене, я постараюсь тебя не разочаровать, — сказал Вилфред. И пожалел о своих словах.

— Вздор, малыш! — Дядя коснулся его плеча. — Надежды

сами по себе доставляют радость тому, кто надеется. А как потом сложится жизнь... — Он легко развел руками — колдовскими своими руками, которые творили из воздуха. Потом быстро взглянул на часы. — Три, — сухо заметил он.

И как раз в эту минуту в проеме эркера, где висели портьеры из стекларуса, выросла громоздкая фигура. Они отпрянули друг от друга, словно застигнутые на месте преступления.

— А, вот вы где, — сказал дядя Мартин против обыкновения тихо.

Но когда Вилфред ехал с багажом на такси по городу, ему казалось, что он совершает путешествие сквозь пласты времени. И сквозь пласты чего-то недопонятого. Там, на пристани, его ждет человек... а может, его собственное детство? Нет, это сама жизнь, наконец-то настоящая жизнь в этом мире грез, человек, который принял решение. Может быть, легкий как пушинка дядя Рене единственный из всех не соблазнился грезами о свободе, золоте, процветании, потому что теперь и всегда был во власти одной-единственной грезы. Да, вот в чем, наверное, все дело. Потому-то даже война не сдула эту пушинку.

В весеннем воздухе вдруг снова произошла перемена. Над морем сгустилась тьма, сулившая похолодание, резкий ветер и снегопад над открытым морем. Пыль и мусор уже завивались на пристани, где взад и вперед молча сновали портовые рабочие. С палубы моряки тихо переговаривались со своими родными, впрочем, те почти не разжимали губ.

Вилфред огляделся. Тупая усталость охватила его, когда он увидел, что дяди нет. Потом он сообразил, что приехал на четверть часа раньше. Он бросил взгляд на выдавший виды английский пароход. Весь его облик, облупившаяся краска, кое-как наляпанные пятна маскировки на носу и на корме не внушали доверия. Посередине красовалось название корабля и два намалеванных норвежских флага, потускневших от соли, дыма и тяжелого морского труда. Составив вместе три кожаных чемодана, чтобы не загоразживать дорогу, Вилфред пытался совладать с охватившим его унынием.

И вдруг он увидел дядю Рене — налегке, с одним только зонтиком в шелковом чехле. Вилфред удивленно оглянулся — машины не было. Стало быть, дядя приехал сюда раньше и стоял за одним из навесов, чтобы сократить процедуру прощания. И вдруг воцарилась тишина.

Это остановили подъемный кран на баке. Крышки люков захлопывались с ритмичным стуком. Но в промежутках между ударами было тихо. Ни слов команды, ни звонков. Вилфреду стало не по себе: было что-то зловещее в этой тишине, словно уже теперь надо было таиться от врага. У сходней стоял молодой штурман с осунувшимся лицом, глаза его закрывались от усталости. Они подошли к нему, дядя Рене показал свои документы.

— А-а! Пассажир! — сказал тот, изобразив что-то вроде улыбки. — А багаж?

Дядя Рене указал на три чемодана. Штурман поднял глаза, ставшие приветливее. — Что ж, чем меньше вещей... — Он знаком разрешил ему подняться на пароход. — А молодой человек? — спросил он, когда они подошли к нему уже с чемоданами.

— Это мой племянник, он проводит меня на палубу.

Штурман, как бы извиняясь, пожал плечами.

— К сожалению...

Больно было смотреть, как дядя Рене тащит два чемодана. Худенький и беспомощный, он вскарабкался на палубу с чемоданами и зонтом, а потом, вернувшись, наклонился, чтобы поднять третий и, стоя в этой согбенной позе, бросил на Вилфреда быстрый, ободряющий взгляд. Он все еще держал в руке зонт — забыл оставить его наверху.

В эту минуту на пристани началась небольшая толчея. Дядя Рене еще не появлялся, когда родственники моряков словно по какому-то сигналу вдруг устремились вперед. Вилфред затесался в их ряды. Послышалась короткая команда. Только тут он обратил внимание, что заработал мотор, его нарастающий гул и стал сигналом для провожавших. И тут он увидел дядю Рене на самой корме: он махал рукой в перчатке. Вилфред выбрался из толпы и пошел вдоль парохода мимо сходен, которые тут же и убрали. Казалось, во время этой короткой прогулки от носа до кормы Вилфред измерил пароход земными мерами, и он стал казаться маленьким и беззащитным.

Даже до низкой палубы было все же слишком далеко, чтобы они могли пожать друг другу руки. И снова перед Вилфредом возник мучительный образ: несказанные слова, несостоявшееся прикосновение... Небольшое расстояние между их протянутыми друг к другу руками стало как бы символом расстояния между людьми. Каким бы оно ни было коротким — все равно оно слишком велико. А ведь они могли преодолеть его незадолго

перед тем, но тогда они были заняты багажом. Всегда это несчастное «слишком поздно».

И тут он увидел слезы в глазах дяди. Они уберегли от слез его самого. Что бы они ни сказали друг другу, это только умилило бы происходящее, сделало бы его неловким и глупым. Но они смотрели друг на друга, и этот взгляд был мостиком между ними. Неужели только теперь Вилфред заметил, что у дяди Рене карие глаза? Дядя всегда прищуривал их — поддразнивая, как когда-то казалось Вилфреду. Но это было давным-давно. А теперь это были две щелочки с карим пятнышком внутри. Черный дым из паровой трубы заволок фигуру в свободном пальто, стоявшую у поручней. На голове у дяди была старомодная спортивная фуражка. Но никакое спортивное одеяние не могло скрыть его хрупкую утонченность, придать ему вид бывшего путешественника. И однако, в сердце этого худого человека жило мужество и верность. И от этой мысли, больше даже чем от того, что они расставались, глаза Вилфреда наполнились слезами. Дядя Рене беспомощно взмахнул рукой. Тем временем корма парохода все дальше отдалялась от берега, и внезапно между ними оказалась бездна. Вилфреду вдруг стало стыдно, что он остается в безопасности на суше, а дядя Рене уходит в море на утлом суденышке, на палубе которого матросы спокойно делают свое дело. Капитан в поношенной форме, стоя на мостике, молча следил за тем, чтобы все шло заведенным порядком.

И вот Вилфред уже перестал различать лица. Это случилось сразу — без перехода. Корабль уже не был больше куском замызганного борта, до которого рукой подать, он стал крохотным суденышком, которое держит курс в Англию. Игрушечный кораблик неторопливо поворачивался вокруг своей оси и вдруг стал решительно прокладывать себе путь в сторону фьорда, туда, где над вскипающим белой пеной морем кружили чайки.

Еще один раз Вилфред отчетливо увидел дядю, он перешел на другую сторону палубы — ту, что была теперь ближе к суше. Увидел, как тот поднял обе руки в прощальном приветствии, и Вилфред поднял в ответ обе свои. Казалось, они, всегда избегавшие нежностей, теперь впервые обнялись.

А потом Вилфред стоял, отвернувшись к навесу, и плакал. Он слышал, как мимо идут люди, возвращающиеся в город. Какая-то женщина громко причитала, и, казалось, ее стоны пердразнивают чайки, которые летели назад, к берегу, туда, где начинался канализационный сток, — там они вернее находили

себе пищу. Овладев собой, Вилфред еще раз посмотрел вдаль, но пароход уже скрылся за темной завесой дождя, налетевшего с фьорда.

Вилфред стоял, подставляя себя внезапному ледяному душу. В одно мгновение все вдруг потемнело. Море вдали — светлый источник, только что игравший и переливавшийся серебром и синевой, — тоже стало темным. И темным стало все светлое в самом Вилфреде и вне его. Он обернулся к берегу — башня Акерсхуса темной тенью выступала на фоне неба.

ТЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ



10

Он не проснулся. Он пробился сквозь мерцающую неверным светом пелену боли. А потом снова погрузился в сон, в котором одна зловещая картина сменяла другую. Время от времени сознание его почти совсем прояснялось, и тогда он громко вскрикивал. Стон облекался в протяжное «нет», обращенное неизвестно к кому.

Один раз он поднялся с кровати, на которой лежал, и взглянул в окно, где брезжил тусклый утренний свет; свет резал глаза, хотя улица была тенистой. На вывеске прямо напротив было написано по-датски: «Мясная лавка рабочего кооператива». Под вывеской красовалась посеребренная голова быка. Вилфред был в Копенгагене.

Это не укладывалось в сознании. Он пытался удивиться, но оказалось, что удивляться утомительно, он снова бросился на кровать и надолго погрузился в дремоту. Теперь сон его был почти безмятежным, ему виделось одно и то же: люди, которые все шли и шли между ним и вывеской напротив. Но в том, как они шли, таилась угроза. И, вздрогнув, он просыпался, но снова окунался в забытие, и они снова шли и шли в одном направлении, и при этом все ускоряя шаг, словно спешили увидеть что-то, чего он видеть не мог. Навстречу им двигалась единственная фигура — это была дама, нет, простая женщина, когда

он разглядел ее получше. А когда она оказалась совсем близко, он понял, что это фру Фрисаксен из шхер, и она вовсе не шла — она плыла в своей серовато-белой лодочке, которую омывали лучи света, — золотая скорлупка, а в ней маленькая женская фигурка, залитая золотистым светом заходящего солнца... И вдруг пласты времени стали чередоваться в обратном направлении... Но он никак не мог найти в них точки опоры, это были одни обрывки, не было в зыбкой круче воспоминаний такого уступа, за который он мог бы уцепиться, чтобы восстановить разорванную связь событий: а потом дело было *так*...

Не то чтобы ему обязательно надо было уяснить почему и как... Но только ему казалось, что в цепи, которой он опутан, не хватает слишком многих звеньев, слишком многих... Но может, и цепи-то никакой нет... И вдруг он почувствовал, что начинает гримасничать, вернее, что это само собой, помимо его воли, выделяет гримасы его лицо. Он доплелся до окна и выглянул на улицу. На ней уже зажглись фонари, и люди шли медленней, и не такой густой толпой, как во сне. Он смутно различал на доме напротив серебряного быка. Они устались друг на друга в каком-то тупом взаимопонимании.

Китти. Он вспомнил это имя, произнесенное презрительным тоном, — но кто его произнес? И как, черт побери, она выглядела? А может — может, это название бара? Он смутно вспомнил помещение с крашенными золотой краской столиками, длинную стойку, а за ней фигуру, напоминавшую химеру собора Парижской богородицы, — фигуру, склоненную в профессиональной позе, и ослабившуюся физиономию, которая не сулила клиенту ничего доброго...

Он оглядел свою одежду. Шерстяной свитер грязно-желтого цвета. Поднес руку к носу и принюхался — чем это пахнет? Благородный аромат смолы, смешанный с тяжелым запахом неизвестно чьих духов. Он принюхался снова, пытаясь найти разгадку. Но запах духов возобладал над всем, оттеснив остальное в холодную мглу небывальщины. Нет, он не может вписать себя в эту картину, он тут ни при чем.

Вернувшись к кровати, Вилфред с отвращением посмотрел на серую простыню. Может — может, он просто-напросто угодил в заштатную гостиницу, из тех, где постояльцу по ошибке иной раз забывают постелить чистое белье?

Все может быть. Сев на кровать, он огляделся. Звонка не видно, на шербатом коричневом линолеуме протоптана дорожка. Нет, это не гостиница. Его взгляд упал на его собственные

брюки — синие матросские штаны, они валяются в темпом углу у двери. Кремовый пиджак, очевидно из чесучи, небрежно накинут на спинку стула, пиджака он не узнает. Впрочем, кажется, он заходил куда-то, где примерял пиджаки. Рука испуганно отдернулась, коснувшись ночного столика. Столик зашатался от прикосновения, и мир вокруг пошатнулся тоже. На полочке в углублении лежала тонкая Библия — может, все-таки гостиница... Вилфред взял книгу в руки, рассеянно перевернул несколько страниц...

«Погибни день, в который я родился, и ночь, в которую сказано: «зачался человек!»

Он поискал взглядом заголовок вверх страницы. Так и есть, книга Иова. В памяти зашевелился знакомый текст. Сколько овец и верблюдов потерял бедняга Иов? Да еще господь бог наслал на него проказу. Вилфред пугливо оглядел себя. Подозрительное одеяние — рубашка, свитер, а штанов нет... Он, пошатаваясь, побрел к стулу, где висел пиджак, и стал обшаривать карманы. В карманах было пусто. Пиджак новый, судя по этикетке на подкладке воротника, куплен у Феникса на улице Вестербро. Совершенно точно, Вестербро. Может, там он и видел Китти. И вдруг он отчетливо вспомнил, что Китти — это не женское имя, а название бара. Облегченно вздохнув, он занялся брюками. В одном из карманов оказалась пачка скомканных ассигнаций — норвежских. Он положил их на стол, а одежду развесил. Из нижнего белья вывалилась куколка с желтым личиком и темными волосами. На ней было шелковое платье, хитрые стеклянные глаза и вздернутый нос придавали ей выражение бесстыдства. Вилфред постоял, зажав ее в руке, но попытка вдуматься причинила ему такую боль, что он уронил куклу на край стола, оттуда она свалилась на пол, да там и осталась сидеть с видом невинного укора. Он с трудом наклонился. И тут взгляд его упал на небольшой бумажник из черной кожи. В нем он обнаружил толстую, аккуратно сложенную пачку датских купюр достоинством в сто крон. Его вдруг охватило безудержное веселье. Нет, он явно не похож на Иова, которого покарал господь. Сколько же все-таки верблюдов — четырехста или четыре тысячи потерял Иов при нападении халдеев? Вилфред своих верблюдов не потерял, они остались при нем. Стало быть, и проказой господь на сей раз его не поразил, и у него нет нужды скоблить себя черепицей. По булыжной мостовой загромыхал пивной фургон. Вилфреду стало еще веселее, он процитировал наизусть:

«Дивно гремит Бог гласом своим, делает дела великие, для нас непостижимые».

Несносная способность запоминать текст и буквы...

Он огляделся кругом. Может, бедолага Иов в пустыне тоже больше всего тосковал по зубной щетке... Вилфред пустил в ход кончик полотенца — оно по крайней мере было чистым. В кувшине оказалась холодная вода. Он ополоснул ею лицо, пытаясь по мере возможности почувствовать себя освеженным. Но на этом силы его иссякли, он устало рухнул на кровать и, вытянувшись на ней, постарался мысленно упорядочить последовательность событий.

Исходный пункт — бар «Китти», и тут к горлу сразу подступил какой-то тошнотворный маслянистый привкус, наверно, это джин — точно, джин, самое мерзкое, что есть на свете. Джин всегда почему-то приносит несчастье. И еще была девица. Нет, ее звали не Китти, нет, это название бара, какую-то девчонку звали Глэдис, но то была не она, там были две девчонки, а может, три или четыре, много девиц — теперь он вспомнил, и еще какой-то темноволосый кудрявый наглец, он все лез в драку. Но это было уже после. После чего? После всего того, что покрыто мраком. Там был Роберт. Может, Роберт и сейчас здесь? Нет, тогда Вилфред не лежал бы тут одиноким изгнанником, что твой Иов. Роберт не из тех, кто бросает в беде друзей. А Селина — может, она тоже здесь? Вилфред осторожно приподнял голову и растерянно осмотрелся. Конечно, ее здесь нет, комната маленькая, довольно длинная, но узкая. Он услышал за стеной чьи-то шаги и смутно понадеялся, что все разъяснится, хотя и боялся разъяснений. Нет, надо снова спокойно лечь и попытаться найти исходную точку. Машинально пошарив рукой под кроватью, он наткнулся на что-то гладкое и холодное — бутылка. Он осторожно поглядел ее на просвет: так и есть — джин. Бережно оторвав голову от подушки, он поднес бутылку ко рту. Ладно, пусть его приносит несчастье, а все же, выпив, он будто освежился под душем.

Вилфред тихо отставил бутылку на пол, и тут толчками стали пробиваться воспоминания. Но что это — какие-то слова? Да, слова, бесконечный разговор под звуки плещущейся воды при лунном свете в Христиания-фьорде. Чертова привычка удерживать в памяти слова, а не события... Не слова ему сейчас нужно вспомнить, а то, что случилось не то на Вестербро, не то где-то еще. Перед глазами вдруг возникла табличка с названием улицы — Саксогаде. Опять та же история — совершенно отчетливо

видишь название, буквы, но вовсе не то, что случилось на Сакогаде или где-то там еще. Решительно потянувшись за бутылкой, Вилфред отхлебнул глоток, чтобы разделаться со словами. Но они снова возникли с неистребимым напором. Нет, не к бару «Китти» ему надо сейчас пробиваться — это было на борту какой-то яхты. Ну да, точно, Робертова яхта «Илми». Они совершали прогулку по морю. Может, все-таки Роберт в Копенгагене? Нет, его здесь нет. Что-то где-то случилось, в этом вся загвоздка, — какая-то катастрофа.

Джин сделал свое дело. Теперь Вилфред видел картины и слышал слова в определенной последовательности, ее приходилось принять: до боли отчетливые слова и сами картины навязчиво вторгались в сознание.

«Совість...» Это говорил Роберт. Правильно, так оно и было. Вилфред вдруг увидел его у штурвала: стиснув под мышкой румпель, он наклонил голову, чтобы при полном безветрии раскурить носогрейку. И тут взошла луна. Луна уже показывалась и прежде. И тогда Селина спустилась в каюту, чтобы поспать. А Роберт сидел и философствовал лунной ночью на свой наивный и мудрый лад. Он сидел и попыхивал носогрейкой. Теперь Вилфред видел перед собой дымок, который маленькими облачками поднимался вверх в лунной ночи, такой тихой, что парус еле-еле надувался... «Совість, — говорил Роберт, и это звучащее воспоминание так властно овладело Вилфредом, что голова его откинулась назад на подушку в каком-то дремотном блаженстве, в котором было, однако, зернышко мучительной сосредоточенности — попытки удержать слова на должном месте. — Она как клейкая бумага для мух — знаешь, такие длинные коричневые полоски, крестьяне вешают их на кухне под лампой. Полоска никогда не бывает чистой, стоит ее повесить, глядь — уже села первая муха и бьется, пытаясь освободиться. Но она не освободится. А к концу дня вся бумага будет усеяна мухами, несколько новеньких еще борются, пытаясь отлепиться, но большинство сидят неподвижно, черными пятнами, словно сидели тут испокон веку».

Вилфред вдруг увидел перед собой всю картину — увидел, как он сам сидит, глядя в летнюю ночную даль, на два маяка, едва различимых на светлом горизонте. Вспомнил, что довольно рассеянно воспринял простой образ совести, нарисованный Робертом. Это его не так уж занимало. Его заинтересовало другое — склонность этого непутевого малого рассуждать обо всем на свете. Как, собственно, вышло, что Роберт ввязался в дела,

которые не давали ему ни минуты покоя и передышки? Они были не в его характере. Вилфреда поразила мысль, что Роберт чувствовал бы себя хорошо в деревне, где простые вопросы требуют простых решений. Как случилось, что именно он заразился беспокойным городским духом, зауряднейшими общими свойствами мелкотравчатой развращенной столицы? Он был никак не создан для этого. Недаром его поглощала наивная философия — мысли, которым естественно было бы кружить над бороздой, проложенной плугом...

— И одна из мух самая жирная, — решительно сказал Роберт, хмуро уставившись прямо перед собой. — Как ты думаешь, это у всех людей?

— Безусловно.

— Ну вот! Говоришь «безусловно», просто чтобы отделаться. Ты небось считаешь, что все на свете осмыслил, может, так оно и есть. Но я тебе скажу, пусть я звезд с неба не хватаю, но если я что продумал, так, уж значит, продумал до конца, можешь мне поверить...

Вилфред внимательно взгляделся в него.

— С чего ты взял, что звезд с неба не хватаешь?

— Называй это как хочешь. Думаешь, я не знаю, какого ты мнения обо мне? Но мне все равно... — Он сплунул в море. — Говорю тебе, я считаю, у каждого человека на этой бумажной полоске сидит одна особенно жирная муха, которая никак не уgomонится. И не потому, что когда-нибудь ей удастся освободиться, о нет, это не удастся ни одной. Но она как бы больше и жирнее других, она все трепыхается и жужжит. И самое странное, что вовсе не всегда самый большой наш грех родит такую жирную, беспокойную муху, иногда это какой-нибудь пустяк...

Вилфред быстро перебрал в памяти своих «новейших» мух — их была целая туча, но они были маленькие, спокойные, не трепыхались и не жужжали. Спокойные — это верно, но Роберт прав: никуда от них не денешься... И своим прежним и нынешним слухом он услышал бас Роберта.

— Однажды, когда я был мальчишкой, я участвовал в парусных гонках в Тёнсберге. Соревновались маленькие лодки — шлюпки и прочие в этом роде. И вот одна лодка перевернулась, в тот день засвежело, не так уж сильно, вроде как вчера вечером. Случилось это немного впереди нас, и мы еще толком ничего не разглядели, как троих ребят, что были в той шлюпке, подобрал один из катеров со зрителями. Но вот подходим мы к тому

самому месту, и тут парень, которого звали Юнас, и я, глядим, что-то виднеется в море, впрочем, я не был уверен, что виднеется, да и Юнас тоже, он ничего не сказал, я промолчал тоже, но на какую-то секунду нам показалось, будто в море плывет человек, я его видел отчетливо, а может, и не отчетливо, не знаю, может, и вовсе не видел, да и ни Юнас, ни я ничего не сказали, я как раз закреплял шкот после поворота, это было почти у финиша, самая захватывающая минута — мы шли вторыми в нашем классе лодок...

Роберт умолк. Вилфред заметил это не сразу. И не потому, что он не слушал, но в глубине души его больше поразило то, что у Роберта было детство, и, может быть, счастливое детство, с морем и солнцем, в Тёнсберге, и что он рассказывает об этом в первый раз.

— Ну и...

— Мы поплыли дальше.

— Как поплыли дальше?

— Мы были у самого финиша. Ведь это гонки, нервы напряжены, мы мечтали победить, ты что, не слышишь, что я говорю? Мы мечтали победить.

Роберт повысил голос в запальчивости, столь же ему не свойственной, как и вся история, которую он внезапно воскресил своим рассказом.

— Ол райт, вы поплыли дальше. Но ты же сказал, будто не был уверен, что вы видели того парня.

— Вот именно, это я и говорю. Может, мы его не видели. Во всяком случае, Юнас не сказал ни слова. Он тоже был чем-то занят. А тот, кто сидел на руле, — это он был владельцем шлюпки, — тот уж никак видеть не мог. Мы выиграли заплыв — обошли других на два корпуса. Здорово это было. Первая регата в моей жизни. И тут оказалось, что один парнишка с той лодки утонул.

— И тут на полоске появилась муха?

Роберт с досадой выпрямился.

— В том-то и дело, что нет, черт возьми. Никакой мухи — в ту пору никакой. Само собой, мы все были потрясены — мы немного знали парнишку, он был из Слагена. Но мы же не знали, видели мы его или нет. Об этом ходило много толков — как это, мол, участник парусных гонок может погибнуть на глазах у соперников, и прочее в этом роде, и газеты об этом писали. Юнас ничего не говорил, я тоже — по правде сказать, я и не верил, что вообще-то видел парня, по потом подоспело вручение

призов, это было уже в начале осени, и тут председатель клуба произнес речь о том, что случилось, и сказал — впрочем, это и в газетах было напечатано, — что совершенно ясно: никто его не видел, потому что среди моряков есть неписанный закон: когда речь идет о человеческой жизни, все остальное — время ли, деньги ли — не имеет никакого значения, и он уверен, в его клубе нет никого, кому не было бы ясно как день, что спасение человеческой жизни важнее любой победы в состязании, ну и прочее в этом роде...

Теперь Вилфред почувствовал, как серьезно говорит Роберт, и сам сказал тоже серьезно, чтобы и в самом деле помочь другу:

— И вот тут-то и появилась муха?

— Именно. Не знаю, как было у Юнаса. Мы с ним не говорили об этом, ни разу не говорили, мы каждый день виделись в школе и потом часто встречались в жизни, но ни разу об этом не упоминали. И никогда с тех пор не дружили. У нас, по сути, было мало общего. Общее было одно — муха...

Он посидел, помолчал и вдруг добавил: — Между прочим, Юнас — это тот самый адвокат Дамм, который сейчас сидит в тюрьме.

Вилфред со стоном приподнял голову, измученный попыткой сосредоточиться, — слова шелестели в строгом порядке, в назойливой последовательности. Но потом — что было потом, после слов насчет Дамма, который сидит в тюрьме?.. Может, поэтому Роберт и навещал его так часто. У них была общая тайна, они зависели друг от друга...

Вилфред стер цепочку мыслей и раздраженно уселся в постели; в комнате сгустилась тьма, но в голове заметно прояснилось. Он слышал уличный шум, голоса... Может, никакой особой беды не случилось. Они высадились на берег в Копенгагене, что ж, у них, кажется, и был такой план. Нет, что-то все-таки случилось...

Он снова лег, закинув руки за голову. Что-то случилось. Но что, черт возьми? Он пытался расслышать голос Роберта в гуле звуков, отдававшихся в голове. Но тогда вновь начала прокручиваться все та же пластинка на тему совести.

— Провались она к дьяволу его совесть! — громко выругался Вилфред, соскочив на пол. Ему снова стало весело. Он вдруг почувствовал себя свободным, по крайней мере почти совсем освобожденным от головной боли... Схватив пиджак и брюки,

он торопливо оделся. Ему пришлось слегка согнуть колени, чтобы поглядеться в осколок зеркала. Не так уж плохо он выглядит, во всяком случае в сумерках. Он пригладил пальцами волосы, даже придал им вид некой прически. Селина!..

Селина спустилась в каюту.

А дальше? Раз у него не осталось ни яхты, ни каюты, что о них вспоминать? Может, объяснение найдется где-то в городе, в этом уютном городе, который он смутно помнил с той поры, как в детстве они с матерью как-то летом останавливались в нем по дороге к отцовским родственникам в Гиллелейе...

Она спустилась в каюту. Он спустился в каюту. Они спустились в каюту... Вилфред повторял фразу, словно на уроке грамматики. Так, как же все-таки было? Спустились они в каюту или нет? Во всяком случае, куда-то они пришли. «Меродоз».

«Меродоз». Он вдруг отчетливо вспомнил это название. Увидел пузатую бутылку, которую им подали на длинной веранде гостиницы в Осгорстранне. «Меродоз?» — было напечатано на карточке вин. С интригующим вопросительным знаком. Оказалось, что это готовая смесь виски с содовой, скрытая попытка обойти закон, запрещающий подавать напитки крепче 12 градусов. Совершенно точно — они высадились в Осгорстранне, ночь была светлая, на веранде сверкали гирлянды электрических лампочек, маячили какие-то веселые люди со стаканами в руках, кто-то что-то говорил, звенели бутылки. Вот как все это было. «Меродоз»!

Кажется, Роберт сбыл с рук свою яхту.

Точно Вилфред не помнил, но что-то в этом духе, кажется, произошло. Был какой-то белобрысый прилизанный парень, его звали... Мучительная боль пронзила голову при усилении вспомнить. Они бились об заклад, чем-то менялись. Он тогда еще заметил необычный азарт Роберта. Роберт утрачивал свою невозмутимость, только когда речь заходила об обмене. Вилфред видел, как эти двое сидят, уставившись друг на друга оловянными глазами, и меняют все подряд, одержимые общей жаждой, чтобы все на свете переходило из рук в руки. Роберт встретил в том парне достойного партнера. Точно, это произошло в Осгорстранне. Темные силуэты мунковских деревьев рисовались на фоне светлой ночи. И конечно же, они бились об заклад и чем-то менялись. Роберт вел себя как молодой бычок, как ребенок. Они танцевали. А Роберт не танцевал. Он сидел и менял одно на другое; каждый раз, когда Вилфред с Селиной возвращались после танца к столику, оказывалось, что он выменял

что-нибудь еще. Он сбыл с рук свою яхту... А потом Роберт с Селиной куда-то исчезли. Может, и ее тоже сбывли с рук?..

Черт с ним. Вилфред избавил себя от акробатических усилий, потребных для того, чтобы поглядеться в зеркало, и, проворно нагнувшись за бутылкой, отхлебнул последний глоток. Это сразу подействовало. Ключ торчал в двери изнутри. Заперто. Вот что значит аккуратный человек. Если даже у него рано поутру была женщина, он сам выпустил гостью из комнаты и — как знать? — может, проводил ее до дому? Ему снова стало весело, и, заперев дверь уже снаружи, он остановился у порога. Он был не прочь отдать кому-нибудь ключ. Квартира, конечно, отличная, но неизвестно, вернется ли он сюда. Из мрака на лестничной площадке выступила старая женщина с зеленоватым лицом. Свет, просачивающийся сквозь плафон в «венецианском стиле», смутно освещал ее черты.

— Вы уходите, сударь?

Вилфред учтиво поклонился с легким налетом шутовства, в котором не мог себе отказать.

— Меня зовут... прошу прощения, сударыня, я вам не представился...

Она понимающе кивнула.

— Вас, можно сказать, представили, сударь. Вы человек аккуратный.

Он стал шарить по карманам, она жестом остановила его. Может, он уже и заплатил?

— Вы уже заплатили за месяц вперед, сударь, — тотчас сказала она. — Вы здесь желанный гость.

Он перестал рыться в карманах. Сплошная предупредительность. С чего бы это? Вопрос вертелся у него на языке.

— Спасибо за гостеприимство, — учтиво поблагодарил он. — Если комната...

— Комната будет ждать. Когда бы вы ни вернулись, она будет в полном порядке. — И старуха добродушно закивала, как бы подчеркивая свою терпимость и большой опыт. Порывшись левой рукой в своих многослойных шалах и юбках, она извлекла оттуда визитную карточку. — Если у вас есть знакомые, которые ищут квартиру...

На углу, где висела табличка с названием улицы, Вилфред остановился, с наслаждением вдыхая свежий воздух. «Улица Нансена» — прочел он. И тотчас его подхватила суতোлка улицы Фредериксборггаде, а присущий городскому животному инстинкт повлек в сторону Вестербро.

Когда он расположился в баре «Китти», там было малолюдно. Женщина в черном атласе приветливо встретила Вилфреда, мимолетным взглядом дав понять, что узнает его, — это как бы обязывало его прояснить свои воспоминания. Ему отвели угловой столик у окна, выходящего на улицу, и, хотя был вечер, Вилфред неутоленно мечтал о завтраке. Он с ужасом отстранил карточку вин и меню, стал искать сигареты. Она тут же предложила ему сигареты из ящичка на соседнем столике. Он попросил, чтобы ему подали яичницу с беконом и кофе, побольше кофе. При этом он просительно взглянул на женщину в надежде, что она не будет очень удивляться. Она понимающе мигнула. Проглотив еду, он почувствовал полное блаженство. Больше всего ему хотелось тут же и пообедать, но он решил подождать, как подобает воспитанному человеку.

Точно, это произошло здесь. На месте была химерообразная личность за стойкой бара. Вилфред вспомнил все, как будто это было вчера. Впрочем, это и в самом деле было вчера. Ему захотелось водки. Дама оказалась тут как тут. Она поставила на стол бутылку, излучая безграничное благожелательство.

Селина спустилась в каюту...

Селина спустилась в каюту... Они сидели себе и болтали о совете при свете луны. А потом один из них возьми да и обменяй яхту на что-то, что к другому отношения не имело. Другой вернулся на борт «Илми» — да только теперь у нее был уже новый владелец.

Вилфред вернулся на яхту. Белобрысый прилизанный парень... что-то на что-то меняли... К столу Вилфреда подошла девушка, она попросила прикурить. Он долго шарил, ища спички. Она наклонилась к огоньку и сказала:

— Адель просила передать привет.

Он вежливо кивнул. Ему хотелось пообедать. В меню, кажется, значились почки под винным соусом. Черт их знает, что за почки, может, человечьи, а может, кошачьи.

— Передайте и ей привет, — ответил он.

— Она придет в «Северный полюс», — сказала девушка.

Девушка была миловидная, с плосковатой грудью в соответствии с требованиями последней моды. Гладкие, соломенного цвета волосы прикрывали щеки и были подстрижены как раз на уровне подбородка.

— Вам понравилось на улице Нансена? — спросило это существо.

— Очень! — воскликнул Вилфред. — Что я могу вам предложить?

Он вдруг возрадовался всему происходящему. Все идет как нельзя лучше. Вот он познакомился с очаровательной и явно не слишком недоступной девушкой, а она передает ему привет от Адели — кто бы эта Адель ни была, очень любезно с ее стороны. И вдобавок она еще на Северном полюсе. На мгновение его пронзило воспоминание об удивительном доме Руала Амундсена — темном моряцком доме в лесу Свартсуг, где он прожил неделю, но тут возле них оказалась заботливая, как горлица, дама в атласе, которая принесла два стакана какого-то умиротворяющего напитка, хотя ему что-то не помнилось, чтобы он его заказывал. ...Столики вокруг быстро заполнились. Точно откуда-то извне был подан знак, из тех знаков, какие никогда не услышишь, но всегда заметишь их действие.

— Это у Педера уже закрыли, — мгновенно откликнулась дама.

Он многозначительно поднял брови, интуитивно покосившись на левое запястье, и только тут обнаружил, что на руке опять нет часов.

— Адели так понравились часы, — сказала сидевшая напротив девица.

«Вот она, разгадка,— подумал он. — Стало быть, ночью я был с этой Аделью».

— У вас удивительного цвета волосы, как шампанское! — сказал он, заглядывая в глаза девушке. Понимай как знаешь — то ли восторг, то ли ирония. Он стал приглядываться к своей миловидной гостье. У нее были светло-голубые глаза и светло-синее платье с пристойным треугольным вырезом, желтоватые гладкие волосы уныло свисали на глаза, ломая округлую линию щек.

— А почему вы не зачесываете волосы за уши? — спросил он и тут же пожалел, что спросил. Она сделала быстрое движение обеими руками, и он на мгновение увидел темноватый шрам на шее. Он не раз видел такие шрамы — след оперированных желез.

— Извините.

— Ладно, чего уж там... — сказала она.

Стакан в ее руке, протянутый вперед и немного в сторону, угодил как раз под струю из бутылки, которую дама в атласе уже держала на весу. Может, здесь такой порядок — заплати один раз и пей сколько влезет? «...Поскольку бумаги, в которые

вложил деньги Ваш брат, директор Мартин Мёллер, оказались менее выгодными...» Может, эта самая Адель что-нибудь знает о недостающих звеньях. Он повис на цепи, а в цепи не хватает звеньев, и многих. На сами-то звенья ему плывать, но хочется хоть недолго повисеть на чем-то прочном.

— Может, уже пора отправиться на Северный полюс? — спросил он.

Ее мимика была до вульгарности недвусмысленна. Он сейчас же протянул ей меню. Почки — стоящая вещь. Они заказали почки. Пусть будут кошачьи — не имеет значения. Заказали бутылку шампанского. На карточке значилась всего одна марка, с нее и начинался список вин, и называлась она почему-то «Номер 22». Девушка бесстрашно выпила шампанское. Он заказал для нее полбутылки портвейна.

— Пожалуй, это больше подойдет к вашим почкам...

Грянул оркестр, они пошли танцевать. Быстрым и отчаянным движением притянув его к себе, она призналась ему, что Адель сразу угадала — он из благородных. Она как бы поверяла ему личную тайну — с глазу на глаз. Он подумал: если посланница любви этой Адели довольно-таки соблазнительная девица, какова же сама Адель? Они вернулись к столику, дама в атласе, подсев к ним, выпила рюмку вина за их здоровье. Здесь все были знакомы друг с другом. Вилфред ничего не имел против этого. Девушку звали Глэдис. Из выреза на груди она извлекла газетную страницу с новыми кроссвордами, на которых в славном городе Копенгагене помешались все официанты, и спросила Вилфреда о страусе, африканском страусе из трех букв. Он сразу назвал:

— Э м у . — И увидел, как женщины обменялись взглядом: никаких сомнений — он из благородных.

— Государство в Африке из шести букв, вторая «о»? — спросила она.

— С о м а л и , — тотчас ответил он.

Теперь обе уставились друг на друга в неподдельном восторге.

Что-то большое и черное ввалилось в зал. Оно двигалось напролом среди танцующих. Женщины объявили хором:

— Эгон!

В их тоне звучало испуганное восхищение. Человек подошел прямо к их столику. Смущенно встав, Глэдис отошла к стойке.

— Куда ты, черт возьми, подевался, приятель? — пылко воскликнул парень, схватив Вилфреда за руку. — Время у же . . . — Неизвестный Эгон усталился на свое запястье, где не оказалось часов, потом грубо расхохотался. — А, черт побери! — тихо сказал он не то с восхищением, не то с досадой. Потом резко провел рукой по волосам Вилфредовой дамы, так, что обнажился шрам. — Ты что вздумала задерживать здесь этого господина, черт тебя возьми . . . — Он снова посмотрел на свое запястье, на сей раз с нескрываемой злостью.

— Господин был так любезен и угостил . . .

— Тебя, дурища? — спросил Эгон.

Вилфред почувствовал резкий прилив неприязни.

— Хотите присесть?

Эгон хотел. И хотел выпить именно то, что в эту минуту ему протянула дама в атласе. Это был покладистый парень, который, однако, гнул свою линию.

— Выпьем, Эгон? — с иронической вежливостью осведомился Вилфред. Тот не кивнул в ответ, а только приподнял стакан — его тотчас снова наполнили. Он опять выпил.

— Она ж д е т , — многозначительно сообщил он. У него были карие глаза, выразившие простодушие, — оно было бы опасным, не будь оно таким откровенно наигранным. Воротничок сверкал белизной, щеки безукоризненно выбриты. — Надо думать, твой пыл не убавился со вчерашнего дня, приятель? — спросил он Вилфреда, оскалившись ровными белоснежными зубами.

Селина спустилась в каюту. Почки стыли на тарелке перед Вилфредом. Эгон с удивлением приподнял бутылку красного вина и сделал знак кому-то, находившемуся позади. Тотчас появилась атласная дама и поставила на стол какое-то темное снадобье. Вилфред почувствовал, как в нем просыпается сладкая бесшабашность, подняв стакан, он усталился на шрам над глазом Эгона. И тут же почувствовал, что предает малютку с волосами цвета шампанского, — вечно приходится кого-то предавать.

— Ясное д е л о , — ответил он, сверкнув восторженным взглядом, таким, что не сомневался — тот видит, что это притворство. Эгон, одними губами повторив его слова, поглядел на свое запястье теперь уже с явным сожалением. — Б ы в а е т , — примирительно сказал Вилфред.

Оба ослабились всеми зубами.

— Пошли? — предложил Эгон.

Пока Вилфред расплачивался, шампанская девица уже взялась за ум: она выказывала знаки своего расположения другим. Вилфред заметил настороженный взгляд, брошенный Эгоном на пачку купюр, и нарочно поднес их чуть ли не к самому носу парня, чтобы раз и навсегда положить конец возможным недоразумениям. На улице стоял мотоцикл. Эгон с места взял бешеную скорость. Холодный ночной воздух обдувал лицо Вилфреда, устроившегося на заднем сиденье, каждый раз, когда он отворачивал голову, чтобы не чувствовать сладковатого дыхания Эгона. ...Селина спустилась в каюту.

Селина спустилась в каюту. Ну и что? Может, у них с Робертом что-то было? Оба исчезли в Оггорстранне. Ну и черт с ними. Вилфред и пальцем не шевельнул, чтобы этому помешать. Выходит, дружба Роберта тоже была притворством? Это мучило Вилфреда куда больше ревности. Но это неправда. А если правда?.. Ладно, что было, то было, такие теперь времена. К тому же никого из них здесь нет. А он сидит на заднем сиденье мотоцикла, и от холодного ночного ветерка у него проясняются мозги. Где-то пробили часы — часы на башне ратуши.

Эгон резко затормозил.

— Приехали, — сказал он, ткнув пальцем прямо в стену. Серая стена на какой-то неизвестной улице. Здесь фонари не освещали фасадов. Было почти совсем темно.

— Боишься? — спросил Эгон. Он вернулся, куда-то припрятал мотоцикл. Вилфред принял вызов. Ему смутно чудилось, что он попал в руки аферистов, — но в таком случае откуда взялись вчерашние деньги? Деньги у него. Стало быть, он среди друзей? И вдруг он увидел, что Эгон стоит где-то внизу, видна только голова, — Вилфред и не заметил маленькую подвальную лесенку. Эгон кивнул.

Самое время сбежать, вырваться на свободу, а парень пусть себе стоит под землей и кивает. Но зачем? У Вилфреда сладко екнуло сердце, он поспешно спустился вниз на несколько ступенек. Тот потянул его к маленькой, едва различимой дверце. Потом вставил в скважину ключ, и они вместе двинулись по полутемному проходу. Навстречу пахнуло слабым запахом сыра. Вилфред в растерянности остановился. Но Эгон уже подошел к двери в противоположном конце помещения. Из нее хлынул резкий свет — Вилфред шагнул ему навстречу и оказался в круглом зале со множеством зеркал. Они отбрасывали слепящий свет на покрытые белой штукатуркой простенки.

«Северный полюс», — подумал Вилфред. От просторного зала и в самом деле веяло Арктикой. И тут он услышал приглушенную музыку. Парень постучал условным стуком в низенькую дверь. Она тотчас приоткрылась, и в то короткое мгновение, пока она оставалась приоткрытой, пронзительные звуки музыки ворвались в зеркальный зал. Как видно, дверь была из толстых досок, обитая войлоком. Но вот она снова захлопнулась, и они остались в белом зале.

В тот же миг у них за спиной появилась пожилая дама в элегантном сером платье; она держала в руке блокнот с отрывными листками-карточками и автоматическую ручку. Величаво кивнув, она спросила, не угодно ли будет господину поставить здесь свое имя, она указала на карточку — это была карточка члена закрытого светского клуба «Северный полюс», — чистая формальность. Она попросила у Вилфреда 25 крон — также чистая формальность. Вилфред машинально расплатился. Черт знает сколько этих формальностей!

Эгон не отходил от него ни на шаг. Дама поставила на стол серебряный поднос с прохладительными напитками. Все трое чокнулись. Вилфред почувствовал терпкий вкус мяты. Дама сказала ему: «Добро пожаловать!» Она вполне могла сойти за жену пастора.

Плотная дверь распахнулась — они вошли в соседнее помещение. На эстраде, погруженной в полумрак, расположился оркестр — он уже не играл. Поблескивали инструменты и серебряные галуны музыкантов. Громадное помещение уходило куда-то ввысь под темные своды, лампы почти не давали света. Приглушенный свет падал на красный шелк занавеса и гнутых стульев. Вдоль стен за столиками сидели люди, когда Вилфред вошел, многие возвращались на свои места после танца. Он не столько их видел, сколько догадывался об их присутствии под красноватыми сводами.

— Ну как, нравится вам? — спросил низкий голос за его спиной.

Вилфред обернулся. Темная радость все сильнее завладевала им. Рука, обтянутая шелком, просунулась под его локоть. Женщина была высокая, крепкая, когда она выпустила его руку, он невольно оглядел ее с головы до ног.

— Великолепно, — беспечно ответил он, это могло относиться и к помещению, и к женщине. Она удовлетворенно хмыкнула. Неужели у этой женщины и впрямь такой низкий голос? — Вы, очевидно, и есть Адель? — спросил он.

— Очевидно, — отозвалась она и залилась великолепным грудным смехом. Вилфред подумал: «Такие красавицы встречаются в деревнях, в норвежских долинах». Волосы у нее были темные, глаза очень темные, почти черные. Желтое шелковое платье в обтяжку, и во всем облике что-то вопиюще непристойное. Они вдвоем прошли через зал по узкому, крытому ковром проходу, по обе стороны которого в красноватой тьме стояли столики. За некоторыми сидели люди — в основном седеющие мужчины, но было и несколько юнцов с осоловелыми глазами. И повсюду девицы, женщины, дамы — они сидели за столиками и сновали между ними на пути куда-то и откуда-то; девицы, вызывающие и робкие, много хорошеньких, несколько красивых, все в более или менее вечерних туалетах, чаще всего — в платьях, коротких спереди и сзади со шлейфом, которые только начали входить в моду в Норвегии. Здесь кишела приглушенная жизнь. Предупредительный официант, с вышитым серебряными нитками полуночным солнцем на лацкане куртки, подал какую-то темную, приправленную пряностями жидкость в высоких бокалах. Вилфред предпочел бы рюмку «Белой лошади», губы склеились от застарелой жажды, в висках горячо пульсировала кровь. Адель подняла свой бокал; он каждой клеточкой своего тела ощущал ее близость, от этого слегка кружилась голова. Вокруг на столиках и портьерах сидели и висели желтые куклы с бесстыжими глазами — родственницы той, что осталась в его убогой комнатухе.

— Нет, нет,— сказала она, угадав его мысли. — Вчера вы были не здесь. Вы вели себя немного неосторожно... — Она засмеялась коротким ласковым смешком.

— Ах, боже мой,— беспечно отозвался он. — Я здесь не затем, чтобы разгадывать загадки, захотите — вы мне все объясните.

— Поставим точку,— охотно согласилась она. — Вы так молоды — вам, наверное, лет двадцать пять?

Он не стал спорить. В эту минуту зазвучала музыка и вспыхнул яркий свет. Но едва танцоры из темных уголков зала стеклись на середину, свет снова приглушили, и теперь он беспокойно мерцал, просачиваясь сквозь какой-то вращающийся механизм, который рассеивал по полу, стенам и потолку головокружительный звездный дождь; все струилось. Казалось, ты стал насекомым в огромном кружащемся рое. Она уверенно вела его в каком-то новом танго, танец требовал от него особой готовности подчиниться, сейчас эта готовность была в нем без-

границной. Больше всего ему хотелось покорно отдаться на волю волн. Темный напиток приятно разливался по телу, прогоняя дурные воспоминания. В ее общительности была какая-то властность, которая, к удовольствию Вилфреда, освобождала его от инициативы и ответственности. «Будь что будет», — думал он. Но почему выбор пал на него? Вопрос этот смутно всплывал в нем в такт движениям танца, ему приходилось сосредоточивать на них все свое внимание. Он невольно подумал: «Такая девушка подошла бы Роберту, она бы прибрала его к рукам».

Они возвратились к своему столику, тесно прижавшись друг к другу. Едва музыка кончилась, свет опять приглушили. Вилфред заметил, что пожилые мужчины в смокингах здороваются с его дамой не без почтительности, а слуги вопросительно поглядывают на нее. На столике уже стояли новые, такие же высокие бокалы с темной жидкостью; в прошлый раз она едва пригубила напиток. Только теперь он обратил внимание, что стена позади музыкальной эстрады и маленькие квадратные поля на потолке искусно расписаны серебристыми полярными пейзажами, освещенными невидимыми источниками света. Адель давала пояснения отрывистыми, короткими фразами. Заведение это существует год, здесь бывают сливки общества, слышаны о нем и иностранцы... Теперь их много приезжает в город...

— Но почему я? — наивно спросил он.

Она пожала плечами.

— Может, вам больше нравится «Китти»?

При чем тут «Китти». Просто он не из денежных мешков.

— Как з н а т ь , — рассмеялась она.

— Увы, я знаю, — кокетливо вздохнул о н . — Я, так сказать, моряк на мели.

Она весело кивнула.

— Команду распустили, — заметила о н а . — А хозяина освободили от права собственности. Кстати, он просил передать вам привет. Ему пришлось наведаться в полицейский участок. Его уже отправили на родину.

Рассказ звучал в ее устах беззлобной шуткой. Но он вдруг вспомнил одну из подробностей плавания.

— «Меродоз», — сказал он со вздохом.

— Вот именно «Меродоз», — тотчас подхватила о н а . — Яхта была гружена «Меродозом». «Меродоз» на яхте и у всей команды! А как вам понравилось у моей тетки? — Он мял в руке

визитную карточку. — Вот именно, — поспешно подхватила она. — Квартира не слишком подходящая, но на первое время надежное пристанище. Остальная компания угодила за решетку, а вы, я думаю, предпочитаете обойтись без скандала?

Так вот оно что. Там была гнусная шайка. Вилфред вяло кивнул. Она вынула другую карточку — это был адрес на улице Гаммель-Мёнт.

— Еще одна тетушка? — спросил он.

— Может, пригодится в другой раз.

Была в ней какая-то мощная непристойность, которая ему нравилась. Наверняка она верный друг тем, к кому хорошо относится. Голоса вокруг них звучали все громче, новые посетители появились из обитой войлоком двери в темной глубине. Очевидно, уже закрылись рестораны, по старой привычке Вилфред приподнял запястье. И тут же перед ним оказались его ручные часы, она извлекла их из вышитой сумочки, лежавшей на полочке под столешницей.

— Как вы догадываетесь, я не собиралась их присваивать, — с улыбкой заметила она. — Господи, чего-чего только при вас не было! — Все эти подробности выяснились урывками. Вилфред ничего не имел против, чтобы тайное осталось в тайне. — Мы случайно оказались на пристани в то самое время, — сказала она в виде пояснения. — И присутствовали при высадке. Она была довольно странная.

— Мы? — тупо переспросил он.

— Небольшая компания... — У нее на все был готов ответ — этакий легкий дружеский щелчок. — Помочь другим не удалось бы. Полиция с «черным вороном» прибыла без промедления... — Она сделала загибающее движение руками, и он тотчас увидел все: смертельно усталых матросов, которых загоняли в «воронки», — зеленые, в грязных полосах лица при свете солнца.

Да, тогда светило солнце! Яркое солнце, слепившее глаза после душного мрака каюты. Недурной розыгрыш — как, впрочем, все в нынешнее время. Громадный розыгрыш в духе времени, дело рук безответственных, отчаявшихся людей, которые протянули свои игривые щупальца через весь мировой рынок, через все моря. Они присосались к искусству и просвещению, к бизнесу и публичным домам и еще бог знает к чему. Это были люди с берегов светлых источников, которые продолжали вести свою зловещую игру с грязью и ценностями, и игра эта заражала пугливых и оскверняла честных. Вилфред ничего не имел против этого, он был один из них — фаланга мизинца громад-

ной жадной лапы. В этой стране тоже были свои герои черной биржи, свои крупные мошенники, газеты разоблачали их, он читал об этом еще в Норвегии, и ни на кого это уже не производило впечатления... Может, это и есть как раз те седеющие джентльмены, которых он сейчас видит вокруг себя, люди, чьи портреты в один прекрасный день появляются в газетах — в профиль и анфас с оголенной шеей, и на всех лицах лежит та удивительная общая печать сходства с ошипанной птицей, которое создают фотографии на паспорте и в полицейских архивах. Он вспомнил стародавнее словечко — «добропорядочность», одно из тех понятий, которыми оперировал дядя Мартин. Интересно, как обстоит дело с добропорядочностью у этих господ и, если уж на то пошло, у его родного дядюшки Мартина? При этой мысли Вилфреду стало весело. Он заметил, что Адель наблюдает за ним.

— Но почему именно я? — настойчиво переспросил он.

Она засмеялась вызывающе и многозначительно.

— Чего не сделаешь для своих ближних! А потом, я за версту чую хорошего любовника.

Он поперхнулся вином. А-а! Была не была!

— Надеюсь, я вас не слишком разочаровал...

— Дай вам бог счастья, вы оказались настоящим Казаново и о й. — Он скорчил гримасу. За столиками в окружающем полумраке говорили теперь во весь голос. Им приходилось наклоняться совсем близко друг к другу.

— Вы, наверное, здесь что-то вроде хозяйки? — спросил он.

Она отозвалась с обычной быстротой:

— О нет, нет, вы же видели Мадам. Ту, что сказала вам: «Добро пожаловать». Она — важная дама. Нет, я... — Она рассмееалась почти беззвучно и закончила фразу уклончивым жестом.

— А этот — Эгон?

— Господи, да он наш посыльный. Как это у вас говорят — мальчик на побегушках.

— Решительный молодчик? — Его забавляла эта не вполне искренняя искренность, которая ничего ему не объясняла.

— Решительный? О господи, еще бы. Ведь это о н... — И снова поясняющее движение рук.

Вилфред с изумлением уставился на нее.

— ...«Выудил» меня? Значит, я должен его отблагодарить? Она засмеялась.

— Об этом он позаботился сам еще вчера. — И руки ее сделали бесшумное движение, как бы очищая карман.

— Ах, вон оно что! — Вилфред мотнул головой.

Он чувствовал себя все приятнее, медленно хмелея от темного зелья в высоких бокалах.

— Вам нравится наш фирменный напиток? — спросила она со смехом. Фирменный напиток украшал многие столы, за другими пили шампанское и красное игристое вино. — Немецкое дерьмо, — тихо пояснила она, проследив за его взглядом.

Официант на мгновение наклонился к ней, она отдала краткое распоряжение.

— Играть умеете? — тихо спросила она. Он невольно бросил взгляд на свои пальцы. — Нет, нет, — сказала она. — Я не о музыке. — Она сделала быстрое движение своими красноречивыми руками, и Вилфред сразу увидел, как по столу летают карты и жетоны.

— А-а, это, — вздохнуло он. — Нет.

Ее это не огорчило.

— Ничего, со временем придет... Только когда играешь, не надо пить. Вам не надо. А другие... — И снова движение рук закончило фразу. Это были сильные руки, хорошей формы, но лишённые женского очарования, такими руками доить коров.

Шум за одним из столиков сменился возней, раздались крики, в воздухе замелькали кулаки. И тут Вилфред увидел Эгона — он вырос словно из-под земли. На нем была светло-серая ливрея с галунами. Его появление произвело магическое действие. Только какой-то бледный молодой человек с осоловелым взглядом продолжал стоять, как-то неприятно булькая горлом и слепо размахивая руками. Эгон сделал почти незаметное движение, быстро и резко ударив молодого человека ребром ладони по затылку. Тот рухнул ему на руки, и оба исчезли где-то в глубине; со стороны могло показаться, будто слегка захмелевшего гостя провожают до уборной.

— ...И тайны хранить умеет, — заметила она улыбаясь. Но улыбка была несколько натянутая. Она быстрым настороженным взглядом обшарила помещение.

— Черт возьми, а ведь парня отравили, — сказал Вилфред.

— У вас острые глаза. Не утомляйте их. — Она продолжила улыбаться, но в голосе прозвучал намек на угрозу. «Пора с этим кончать», — подумал он. Помещение медленно кружилось перед его взглядом, это было довольно приятно. — Загул давно начался? — участливо спросила она.

— Какое сегодня число?

— Шестое июня.

Он вяло пересчитал по пальцам.

— Неделю или что-то вроде.

— Тогда пораньше возвращайтесь до мой, — сказала она.

Сказано это было дружелюбно, но звучало приказанием, и снова он подумал: «Пора бы причалить к берегу». Его охватила странная сонливость. Он поглядел на высокий бокал.

— Собственно, что это такое, черт возьми?

Она ласково отняла бокал.

— Это вам вреда не причинит. Эгон вас ответит... Нет, не сюда — в другую дверь.

Она поддерживала его под локоть. Он уже не пошатывался, но колени были как ватные. Она провела его мимо нескольких столиков к двери в противоположном конце помещения. Он смутно отметил это в последнем проблеске сосредоточенности. Они миновали комнату, где сидели, болтая, пять женщин. Тощая девица с грудным ребенком на коленях клевала носом. Когда они проходили мимо нее, пепел от сигареты, прилипшей к отвислой губе, осыпался на лоб ребенка.

— Лола! — сердито окликнула Адель. — Нечего тут дрыхнуть! А не то сиди себе дома с мальчишкой.

В ту же минуту на Вилфреда пахнуло ночной прохладой. В дверях, одетый в свою комически пышную ливрею, стоял Эгон.

— Отвези этого господина до мой, — приказала Адель.

Теперь они ехали в автомобиле. Эгон прекрасно вел машину, он сворачивал в пустынные улицы с властной уверенностью в том, что каждый уступит ему дорогу. Но была какая-то неувязка: Вилфред огляделся по сторонам — он не узнавал улиц. Впрочем, дело не в том, он слишком плохо знал город, но он от природы хорошо ориентировался, и, если направление было взято неверно, ему становилось не по себе.

— Куда мы едем? Разве нам не на восток? — спросил он.

Эгон за рулем усмехнулся. Он не отрывал взгляда от улицы, ложившейся им под колеса. Вилфреду хотелось собраться с силами и возразить — он смертельно устал, но ему во что бы то ни стало хотелось именно сейчас сказать свое веское слово.

Машина с визгом затормозила. Соскочив на тротуар, Эгон оказался у его дверцы прежде, чем Вилфреду удалось ее открыть.

— Сюда, — вежливо сказал Эгон, схватив его за руку. Схватил не крепко, но решительно. Вилфред понимал, что, если Эгон вздумает дать волю рукам, хватка будет совсем другой.

— Где мы?

— На Гаммель-Странд.

Точно. Теперь он различал сладковатый запах пристани и лежалой рыбы. Когда-то ему хотелось жить здесь.

Они поднялись по узенькой лестнице. Перед ними открылась дверь, покрытая желтоватым лаком. Эгон показывал квартиру, сопровождая пояснения короткими кивками.

— Гостиная. Ванная. Туалет. Ваша спальня...

Они оказались в уютной комнате с зелеными обоями — два больших эркера выходили на канал. Светлая ночь заглядывала в окна. Башня Кристиансборга уже поймала отблеск красного солнечного луча. Повернувшись, Вилфред увидел улыбающееся лицо Эгона.

— Угодно что-нибудь еще?

— Нет, спасибо, Эгон. А за этой дверью?..

— Комната фрекен Адели, — ответил тот. — Спокойной ночи.

Вилфред уронил на пол одежду и провалился в пенистую пучину. Вода обступила его со всех сторон.

11

Она ходила с ним повсюду, вернее, он ходил с нею. Она вечно что-нибудь затевала и хотела, чтобы он участвовал в ее затеях. Он относился к этому терпимо, во всяком случае, довольно терпимо.

Дома Эгон усердно им прислуживал. Вилфред и он никогда не разговаривали друг с другом. Никто бы не узнал в Эгоне развязного парня, который когда-то обратился к Вилфреду в баре «Китти». Но он мог пройти мимо Вилфреда, иронически улыбаясь, с каменным выражением лица. Вежливость его была слишком подчеркнутой, хотя ее нельзя было назвать откровенно оскорбительной. В первые дни Вилфред несколько раз пытался вызвать Эгона на разговор. Подняв прикрытые веки, тот секунду глядел ему прямо в глаза, а потом отводил взгляд с выражением, в котором было нечто среднее между угодливостью и прямым вызовом. Но если дома была она, Эгон как тень скользил по комнатам, стараясь не попадаться обоим на глаза.

Вилфред дал матери телеграмму и написал письмо. У него, мол, все в порядке, он катается на яхте с друзьями — словом, все хорошо. Он с сыновней заботливостью осведомлялся о ней и ее делах, но в этой почтительности против его воли проскальзывал оттенок иронии. Ему пришлось в голову послать ей немного денег — пусть понимает, как хочет: то ли это свидетельство его бережливости, то ли вспомоществование от посвященного, который, собственно говоря, ни во что не посвящен. И то и другое должно было ее порядком удивить.

Завтракали они вдвоем за городом или дома — легкие изысканные завтраки. Она никогда не вставала раньше часа дня. Вилфред пользовался этим, чтобы урвать время для далеких прогулок по Копенгагену, который он начал понемногу узнавать. Потом он возвращался домой, или они встречались в городе, но ни одно из тех мест, которые они посещали, он не сумел бы отыскать без ее помощи. Иногда они проводили время в кафе Лорри во Фредериксбергском саду, туда приходили художники, расписывавшие стены, а столяры чинили столы и стулья после ночных увеселений. Мимо кафе мелькали какие-то девицы, некоторые заходили в кафе, девицы были самые разные, в том числе из «Северного полюса»; одни приносили с собой кулечки с едой, другие катили детские коляски. Это были ночные птицы, которые, не сговариваясь, назначали друг другу свидания на лоне природы и болтали о ночных делах. Они сидели бледные, чувствуя себя не в своей тарелке в ярком свете дня, но это чувство объединяло их. Некоторые прихватывали с собой рукоделье. Это были маленькие мешаночки, расцветающие на лоне природы. Приходили молодые хлыщи в соломенных шляпах, пили пиво или нахально потягивали водку из запотевших стопок и ели бутерброды с креветками.

Иногда они вдвоем отправлялись в ее машине на север вдоль берега Зунда. На крыше автомобиля у них красовался газовый баллон, потому что бензина не продавали. Но у них бензин был, и баллон на крыше служил для отвода глаз. Были у нее также и сигареты, и сигары для Вилфреда, которых в Скандинавии нельзя было приобрести. Сама она днем никогда не курила и не пила, что бы она ни ела, она все запивала молоком, и вид у нее был такой здоровый и цветущий, что она вполне могла бы сойти за единомышленницу Эрниного папаши. У нее были густые темные брови, которые слишком часто сходились на переносице.

Когда Вилфред позволял себе немного выпить, они благосклонно взлетали вверх. Он купил себе новую одежду, и она была счастлива, когда он одобрил галстук, который она ему где-то раздобыла.

По воскресеньям они ехали поездом от Нёрребро по маленькой, поросшей травой узкоколейке, а потом, усевшись на берегу моря возле Принсесести, ели бутерброды, которые прихватывали с собой в коробке из-под обуви. Мимо проходили по-воскресному одетые люди, говорили: «Приятного аппетита», они отвечали: «Большое спасибо». Иногда они заглядывали в маленькие трактиры в деревушках, где по дорогам бродили гуси, и купались в Хумлебеке. И никому бы не пришло в голову увидеть в этой молодой паре, посещавшей людные места, что-нибудь позорительное.

Однажды они забрели в Тиволи и, усевшись на лужайке, стали смотреть на акробатов, тренировавшихся перед вечерним представлением. Это была итальянская труппа, составлявшая, как видно, одну огромную семью, члены которой с разных сторон стекались на солнечную лужайку. Маленький чернокудрый бамбино должен был оттолкнуться от трапеции и, перелетев по воздуху, схватиться за руки отца. Мальчонке было лет шесть, его маленькое тело хранило еще какое-то незрелое младенческое очарование. Отец, высокий, мускулистый, висел на своей трапеции, зацепившись за нее согнутыми в коленях ногами, и взлетал высоко над сеткой, расставив руки, чтобы подхватить малыша в самом поднебесье. На всех лицах было написано такое напряженное ожидание, словно предстояло нечто из ряда вон выходящее. Звон трамваев и шум далекого города, который находился совсем рядом, звучали как вестники другого мира, почти нереального в сравнении с этим миром, насыщенным волей всех этих людей.

Мальчика подкинули на трапецию, освещенную рассеянным светом солнца, он выпустил ее, на мгновение одиноко повис в пространстве, но не сумел ухватиться за руки отца. На всех артистах были грязные тренировочные костюмы в темных пятнах пота. Маленький Джузеппе снова прыгнул с трапеции, перевернулся в воздухе и — упал в сетку. Отец, проплывший на своей трапеции назад, бранился. Бранилась мать, стоявшая на лужайке, бранились дяди и тетки с порогов близлежащих палаток. Джузеппе снова прыгнул с трапеции, снова мимо отцовских рук и — упал в сетку. Жесткие петли сетки в клочья порвали его тренировочный костюм. Проступившая кровь стекала по осве-

шенному солнцем костюму. Мальчик беззвучно плакал, возвращаясь к трапеции, из носа у него текло. Он снова прыгнул и снова очутился в сетке.

Казалось, в стране артистов бушует буря, мускулы под их тонкой одеждой вспухли мочучими узлами. Маленького Джузеппе перед каждым прыжком воодушевляли криками. Они желали ему добра. Но он промазывал. И падал в сетку. Разъяренные родственники бранились и кричали, честь семьи была под угрозой, ближайшее представление сулило крах. Кровь Джузеппе смешивалась со слезами, из носа лило ручьем. Под глазами залегли мертвенные тени, лоб был изодран сеткой. Черные кудри повисли, как мокрые водоросли.

Вилфред, сам побледнев как полотно, приподнялся с железного стульчика, стоявшего у стола.

— У вас, кажется, есть общества защиты животных... — Он чувствовал, как в нем закипает праведный гнев, — его опять волнуют судьбы тех, до кого ему нет дела.

Адель властно усадила его на стул.

— Оставь и х , — сказала она.

В нем бушевала самая настоящая злость, злость против нее, против циркачей, против безжалостных требований ремесла.

Джузеппе поднялся вверх по блестящей стремянке, к нему качнули трапецию. Он казался совершенно прозрачным, голубые жилки вздулись на бледных висках, страдание было написано в каждой черточке его лица, во всех округлых чертах детского лица, которые словно окаменели. С улиц за оградой парка доносился непрерывный звон трамваев.

— погоди,— шепнула Адель, схватив Вилфреда за руку. — В следующий раз у него получится.

— Ничего у него не получится. Ты что, не видишь...

Маленький Джузеппе примерился. Он примерялся и прежде, но падал в сетку. Теперь он стоял высоко вверху и мерил расстояние с отчаянной решимостью на детском лице. До сих пор он плакал беззвучно, теперь с его дрожащих губ сорвался жалобный писк. Семья в мертвом молчании застыла на лужайке. Откуда-то из парка пришли два сторожа и садовник, они бросили работу и затаив дыхание подошли поближе. Отец снова устроился на своей трапеции, зажав ее коленями, и приготовил руки, чтобы поймать сына.

Отец раскачался на трапеции — она описала мощную дугу. Об этом человеке не думал никто, никто не думал, что он тоже

занят тяжелым трудом, работает и учит — наставник, отец. В следующую долю секунды Джузеппе тоже раскачался на трапедии, оторвался от нее, перевернулся в воздухе и — ухватился за руки отца.

Ликующий вопль огласил лужайку. Все хлынули к стремянке, с которой спускался Джузеппе. Могучая мамаша заключила сына в объятия, едва его не задушив. Братья, тетки, дядя — вся труппа тискала его, мяла, подбрасывала в воздух и ловила с восторженными возгласами. Артисты плакали, смеялись, называя его какими-то звучными именами.

Адель смотрела на эту сцену горящими глазами. В ней появилось что-то незнакомое, что сбило Вилфреда с толку.

— Ну да, конечно, — с досадой заметил он, — ты угадала. Но это получилось один раз. А в следующий раз, и потом — сколько они будут его мучить?

— Глупыш, — спокойно возразила она. — Разве ты не понимаешь, теперь он научился!

И снова — сверкающий взгляд из другого мира, смутивший и встревоживший его.

А Джузеппе уже поднимался по переносной лесенке. Когда же наконец угомонится этот мальчонка? Проворный отец был уже на месте в противоположном конце лужайки. Он снова раскачался на своей трапедии. Мальчик раскачался тоже, прыгнул, перевернулся в воздухе и — ухватился за отцовские руки. И снова ликующий вопль огласил залитую солнцем лужайку, воздетые вверх руки словно воссылали благодарность небу. Те двое снова взобрались на трапедии. Снова качнулись, оттолкнулись — встретились.

И вдруг лужайка опустела. Все семейство отправилось завтракать. Маленький мирок вступил в новую жизненную фазу. Отец с сыном замыкали шествие, отец шел, положив руку на голову сына. Джузеппе больше не плакал. Он улыбался сквозь слезы и сочащуюся кровь. Последнее, что они увидели, была рука отца на голове сына.

После этого они долго шли молча, вышли на улицу Гаммель Конгевай, рассеянно поглядывая на витрины кондитерских лавок и прачечных.

— Откуда ты знала, что у него получится? — спросил Вилфред.

Она ответила не сразу. Она шла, вскинув голову к трепещущему свету, упругой, победительной походкой.

— Мы знали это,— сказала она. — Отец... Он не упустил бы его.

— Вот как... — Вилфреду был не совсем ясен смысл ее слов.

— Не упустил бы его. Разве ты не видел — все это знали. Вся семья, садовник, который перестал копать. Никто не упустил бы его — ни один из них.

— Ты что, была артисткой?

Она засмеялась своим грудным смехом.

— Пожалуй, можно сказать и так.

Но вечерами, когда она отдыхала и у него снова выпадал свободный час, ему не терпелось отправиться в «Северный полюс». Его тянула туда не возможность покутить — он пил в эту пору очень мало: как видно, ему передалась ее профессиональная добросовестность. Он танцевал с Аделью, сидел за ее столиком, он был почетным гостем. Седеющие господа кланялись ему, искали его общества. Изредка Адель просила его потанцевать с какой-нибудь из девушек. Он шел с ней в танце до стойки бара, а там оставлял ее, якобы для того, чтобы выпить у стойки. Он замечал, что после этого ей было легче найти кавалера — он был из тех, у кого стоит перенять девушку. Если дела у девушки шли плохо, она бросала на Адель умоляющий взгляд. Но та оберегала его, видно было, что она не хочет его обесценить. Вилфреда это забавляло, но как-то со стороны.

В разгар лета, когда копенгагенцы потянулись из города, в «Северный полюс» зачастили иностранцы. Тут пригодилось его знание языков. Случалось, она просила его присесть к какому-нибудь столику, чтобы поддержать непринужденный разговор. В этих случаях она обращалась к нему не повелительным тоном, а как бы прося об услуге, в которой, быть может, он не откажет.

Иногда появлялись провинциалы — тяжеловесные, крижистые мужчины с деньгами. Они хотели погулять вволю и готовы были за это заплатить. От таких и она, и он держались подальше. Им подавали счет, и, когда они расплачивались за то, чего пожелали, заботу о том, что оставалось у них в кармане, брали на себя в игорном зале за стеной. По утрам иногда видно было, как эти люди беспомощно бродят по соседним улицам, иногда даже по этой самой улице, и растерянно тарачатся на все окна

и двери. Стало быть, у них было смутное чувство, что они угодили в руки грабителей, и они хотели сделать попытку вернуть содержимое своих кошельков...

И были соловьиные ночи, когда, тайком сбежав из заведения, они катили на велосипедах в буковую рощу и слушали волшебные звуки, льющиеся из зарослей вдоль полей. В такие светлые ночи дороги отливали тусклым серебром, они молча катили руль к рулю, а иной раз лежали на холме под открытым небом в жарком объятье. На обочине, прислоненные друг к другу, стояли их велосипеды, точно любовная пара в страстном прикосновении. И тогда всю ее властность как рукой снимало, он вообще не узнавал ее и не знал, с ним она или далеко от него. Может, в такие минуты она бывала наконец с тем, кого любила? С каким-нибудь Эгоном, а может, это был скотник с деревенского хутора ее детских лет — сладкая, мучительная мечта, пахнущая молоком и сеном...

Он ведь и сам тосковал — о ком? О Селине? Нет. В его мире все было зыбко. Адель была для него просто «кто-то». Он не всегда помнил, как она выглядит, и порой пристально вглядывался в нее, чтобы удержать в памяти ее черты.

А иногда в сумерках они сидели на холодных деревянных скамьях перед закрытыми палатками, где днем неистовствовали клоуны, вращались колеса и гремела карусельная музыка. А теперь циркачи наводили на лужайке порядок или распивали запоздалую бутылочку пива за одним из опустевших столиков. Это были люди, с которыми Адель была знакома и которые приветливо относились к нему: артисты, сторожа, маленькие смешливые певички с застрявшими в волосах блестками, ежившиеся в своих легких пальто. Вилфред научился подражать соловью, этот трюк пользовался большим успехом. Он садился к ним спиной на скамью в нескольких метрах от них и изображал соловьиную пару, переговаривающуюся в зарослях кустов. Он замечал, что Адель гордится его искусством. А если, устроившись на эстраде, он начинал импровизировать на пианино, ее радость не знала границ. В эти светлые ночи те, кому всегда приходилось развлекать других, развлекались сами. Они сидели парочками на холодных скамьях, покачивая головой и подпевая знакомым мелодиям. А он снова становился тогда маленьким Моцартом, только вместо отца у него была мать, которая демонстрировала его и заставляла родственников хлопать.

Но далеко не всегда их отношения были идиллическими. Как-то в воскресенье после обеда они сидели на траве в Феллед-

парке, вокруг расположились многочисленные семейства с собаками и играющими детьми, и Вилфреду вдруг вздумалось показать стайке ребятишек, как надо бросать бумеранг. У одного из малышей был день рождения, и он получил в подарок красивый резной деревянный бумеранг, который вызвал восторг детей, но они не умели с ним обращаться — они бросали его заостренной частью вперед. Вилфреду никогда не приходилось держать в руках бумеранг, но что-то подсказывало ему, что дети бросают его неправильно: бумеранг каждый раз камнем падал на землю, и наконец маленький герой дня в разгар своего праздника горько разрыдался. Тут в игру вмешался Вилфред и попросил разрешения бросить бумеранг. Сердце гулко забилося у него в груди — он чувствовал, что это одна из тех минут, когда все удается, если же не удастся... Заостренный кусок дерева с изящно отделанной поверхностью приобрел вдруг в его руках магический смысл. Он весь дрожал от напряжения, когда стал в удобную позу, а стайка ребятишек в нетерпеливом ожидании сомкнулась вокруг него.

Со свистом прорезав воздух, бумеранг взмыл вверх, детям пришлось заслонить рукой глаза от лучей заходящего солнца, чтобы его рассмотреть. Далеко-далеко над верхушками деревьев он сверкнул на солнце и — повернул! Теперь он приближался к ним в свистящем полете. Дети заворожено смотрели на него, потом в испуге разбежались, но снова замерли на месте. Бумеранг, похожий на маленький аэроплан, приближался, тяжело вращаясь вокруг своей оси, и наконец приземлился на траву, как раз там, где стоял Вилфред.

Дети восторженно кричали и висли на нем. Ему пришлось снова бросить бумеранг, а потом показать им, как это делается. Он взял грязную ручонку именинника и научил его правильно держать игрушку. И что же, бумеранг, пущенный слабенькой рукой, поднялся в воздух и, перед тем как упасть на землю, сделал что-то вроде поворота. Мальчонка приплясывал и прыгал от счастья и побежал показывать свое искусство матери, которая уже шла им навстречу по лужайке.

Но когда Вилфред, разгоряченный забавой и успехом, вернулся к Адели, она встретила его угрюмо. Она предложила сразу же отправиться домой. «Впрочем, может, ты предпочитаешь взять педерку и лопатку и поиграть в песочек?..» На нее вообще часто накатывала озлобленность, когда речь заходила о детях. И еще когда Вилфред каким-либо образом пытался вмешаться в чужие дела.

Однажды ночью он вышел из заведения черным ходом. У дверей стояла девушка по имени Хенни, со своим старым, потасканным любовником — она время от времени снабжала его деньгами, которые перепали ей от мужчин, у которых кровь была погорячее, а кошельки потолще. Вилфред застал их в разгар ссоры, и тут бывший красавец принялся колотить щедрую Хенни. Он был уже немолод и с виду довольно дряхлый. Но дрался он с такой яростью, что, казалось, еще минута — и он ее убьет. Хенни, к которой Вилфред вообще отнюдь не питал симпатии, переносила удары и пинки с немым упорством и, только когда тот за волосы поволок ее по тротуару, тихо вскрикнула.

Прежде чем Вилфред сообразил, что делает, он бросился на обидчика. Борьба длилась недолго — уж очень неравными были силы. Увидев, что ее бывший любовник валяется на тротуаре, Хенни с испугом и упреком посмотрела на Вилфреда. «Зачем ты это сделал!» — тихо простонала она, вновь и вновь повторяя эту фразу. Вилфреда охватила безудержная злость против этой беззащитной покорности судьбе. Он действовал быстро. Они вместе подтащили его к двери, которая была в двух шагах, и втолкнули внутрь. Но в то же мгновение на месте происшествия оказалась Адель с Эгоном и двумя девушками. И Адель впервые накинулась на него с бранью при свидетелях. Она не тратила лишних слов. Но те слова, что она произнесла, были чудовищно вульгарны. Той же ночью, под утро, она почти изнасиловала его с таким взрывом эротической энергии, что ему казалось — он больше никогда не сможет иметь дела с женщиной. И даже днем после позднего завтрака она продолжала недобролюбно брюзжать. «Барчук,— обзывала она его, — явился к рабочим людям и поучает их обхождению». Она честила его трепачом и бабником. Однако все это были нежности в сравнении с тем, что она говорила ночью. Вилфред начал злиться, он спросил ее, чего ей, собственно, от него надо, он может уехать, он от нее не зависит. Он ушел разобиженный и некоторое время бродил среди рыбаков на Гаммель-Странд, дошел даже до вала Кристиансхавна и тут увидел улицу со смешным названием — Улица над водой. Здесь сто лет назад он гулял со своей матерью. Все было сто лет назад. И нынешняя жизнь тоже. Она не имела к нему отношения.

И все же эта жизнь нравилась ему. Потому что свет ушел из его души и больше не хотел загораться. В ней не били больше легкие, светлые источники, а только глухо плескалась

стоячая вода будней, ниоткуда не пришедшая, никуда не стремящаяся. И ему это нравилось. Потому что где-то в самой глубине его души было темно, и оттуда каждую минуту могли брызнуть темные источники. Но пока их сдерживала тихая рябь будней.

Так обстояли дела, и, конечно же, это была ложь, будто он от нее не зависит. Он истратил большую часть денег, которые у него были. Он не нуждался ни в чем, но все равно деньги утекали у него меж пальцев, как это вообще свойственно деньгам. Мало-помалу Вилфред стал получать в заведении небольшие суммы, помогая то в одном, то в другом деле. Адель всячески старалась, чтобы он почаще бывал в игорном зале. Тут все решало личное обаяние — гости должны были чувствовать себя как дома, ощущать, что это их собственный, совершенно закрытый клуб, что они участвуют в его жизни, получают от него доход — бессовестное вранье, но эта иллюзия весьма содействовала тому, что под прикрытием светского общения процветал игорный дом.

Когда Вилфред вернулся домой, она курила сигарету в гостиной — это случалось редко и было дурным признаком.

— Чего мне от тебя надо? — начала она без всяких предисловий. И вскочила в запальчивости. — Да ты полюбуйся на себя в зеркало и разгляди свою душонку, свою жалкую, тряпичную, бесподобную душонку. Ты не только красавчик и мужик что надо, в тебе и бабьего ровно столько, что женщину, если в ней хоть отчасти сидит мужик, тянет к тебе и по этой причине тоже.

Он погляделся в зеркало. Не в ту минуту, а позднее. И увидел что-то расплывчато-детское, что уже исчезает под сеткой преждевременных морщин — пока еще они чуть тронули самую поверхность кожи, но расположились именно там, где им предстояло залечь. Все лицо — сплошное противоречие, гнусная рожа, он ненавидел ее и плюнул бы в зеркало, не удержи его мысль о театральности такого поступка.

Презирать самого себя? Вранье. Себя не презирают, но, похоже, он испытывал злость против тех средств, какими его наделила природа, — они так облегчают игру, что она утрачивает всякий спортивный интерес, — испытывал глубокое, хотя и противоречивое раздражение против тех своих дарований, которые холил и пускал в ход, против своего таланта к обману; а ведь некоторые усердные труженики в лепешку расшибаются, лишь бы научиться обманывать, но в результате водят за нос только самих себя.

Среди девушек в заведении была одна, которую звали Ирена, она выказывала Вилфреду некоторое дружелюбие. Адель об этом провела, она носом чуяла, что делается за версту, и видела сквозь запертые двери. Он как-то спросил у нее, почему у девушек такие вычурные имена.

— А чего в них вычурного? — возразила она.

— Ну все-таки — Адель, Лола, Ирена... Почему ни одну из них не зовут Мария?

— Как их ни зови, один черт, — ответила она, и ему запало в память, с каким холодным презрением она это сказала.

Кстати, знает ли Вилфред, что у него тоже есть кличка? Разговор происходил в гостиной, это была очередная мелкая перебранка. Нет, Вилфред об этом не знал.

— Вон что! Уж не воображаешь ли ты, что тебя зовут Вилфред? Как бы не так. Тебя зовут Вилли — Вилли, и дело с концом. Все тебя так называют, я сама тебя так зову про себя. А что в заведении о тебе в насмешку сложили песенку, этого ты тоже не знаешь? Нет? Ну так послушай:

В скорлупке по морю приплыл
К нам Вилли, парень ловкий.
Он так умен, пригож и мил,
Купите по дешевке.

Она спела куплет своим низким дразнящим голосом, неотрывно глядя на него из-под густых бровей, которые, казалось, вот-вот сойдутся на переносице. В эту минуту ее разбирала как будто даже не злость, а любопытство. Как он думает, кто сочинил песенку, спросила она.

Он понятия не имел.

Ирена, конечно, как же это он не знает, что она умеет сочинять стихи, а еще водит с ней дружбу, вон она какая молодчина, эта Ирена...

Но эти происходившие время от времени стычки оттеняли их счастливую семейную жизнь. Как случается в самых образцовых браках, ссоры сменялись периодами взаимной преданности, согласия и нежной, внимательной любви. Она была к тому же наделена здоровым чувством юмора, и это ему нравилось. Но однажды они оказались свидетелями рабочей сходки в «Эрмитаж»: какой-то рабочий деятель, трясший короткой бородкой, произнес на редкость беззубую речь, а потом молодые революционеры с кузова грузовика затагнули «Над фьордами синими». Вилфред посмеялся над ними, но она не увидела в этом ничего

смешного. Стало быть, она чувствовала нечто вроде сентиментальной солидарности по отношению к людям, которые презирали бы ее всей душой за ее ремесло.

В эту пору Вилфред снова вернулся к живописи. Заведение посещал молодой блондин по имени Хоген. Ночь за ночью сидел он в полном одиночестве, почти ничего не заказывая, но они поняли, что он вошел в сношения с теми в «Северном полюсе», кто занимался торговлей, каравшейся куда строже, чем торговля спиртными напитками. Хоген шутил сухо и печально — это нравилось им обоим. Как-то ночью он заговорил о некоторых проблемах композиции в живописи, которую он называл конструктивистской. Вилфреду сразу пришел на ум неоконченный холст на мольберте в мастерской на Недре-Слоттсгате, и он впервые высказал все, что думал о той самой теории, которая, с одной стороны, послужила основой для его работы, но, с другой — стала для него помехой в ту пору, когда в минуты вдохновения он мнил себя художником. Для Адели это было настоящим откровением. Она переводила взгляд с одного молодого человека на другого и вдруг нашла, что они, такие разные, очень схожи. Она не много поняла из того, что говорилось, но по одобрительному выражению Хогена уловила, что две родственные души обрели друг друга.

Энергичная Адель тут же взялась за дело. Она распорядилась, чтобы Эгон освободил в подвале комнату, выходящую на северо-запад в противоположном от входа конце коридора. В комнате было громадное, обращенное на северо-запад окно — это была первая в мире мастерская в подвале.

Там после разговора с Хогеном Вилфред написал три своих картины. Все три на один и тот же мотив — уступ, отделяющийся от небольшого нагорья на побережье Северной Зеландии. Адель сидела в траве под этим уступом в дневные часы, когда была свободна, и никак не могла понять, что он такого нашел в этом пейзаже. А Вилфред писал небольшой фрагмент уступа. И он предстал перед ней в новом облике, в трех новых обликах — в виде кубов и конусов, смотря по тому, как ложились на его неровную поверхность солнечные блики. А потом, когда в нелепой мастерской Адель увидела картины, уже почти законченные, она, казалось, тоже прониклась тайным пониманием этого поэтического построения на мотив — каменный уступ под косыми лучами солнца.

Да, картины были почти закончены. Он отложил их, все три, полагая, что снова вернется к ним. Но все три увяли под его

кистью на грани того, что могло бы выразить его внутреннее видение, которое так долго и мучительно искало выхода.

Хогену он картин не показал. Да тому и вряд ли это было бы интересно. По сути, он был поглощен самим собой, хотя и прикидывался, будто парит в абстрактных высотах, интересуясь чужой живописью. Но в общении это был славный малый. Адель навела справки. Он оказался сыном богатого землевладельца из Северной Зеландии. Во время войны он провел два года во Франции. В Копенгагене, возле озера Черной дамы, у него была маленькая квартирка. Вилфред с Аделью раза два заходили туда под утро после закрытия заведения — в этом безалаберном раю несколько картин стояли повернутые к стене. Хоген не показал им картин. Ему было безразлично их мнение о его живописи: он пригласил их к себе просто потому, что нанюхался кокаина, не мог уснуть и боялся одиночества.

Лето близилось к концу, в Европе чувствовалось приближение мира. Вилфреду пришло письмо от дяди Рене, он с большим запозданием получил его на почте на улице Кёбмагергаде, куда оно было адресовано до востребования. Он не часто навещался на почту: ему редко писали. В письме дядя Рене с затаенным волнением сообщал о том, что, похоже, обстоятельства должны перемениться и в мире, а для него это означало — во Франции, все наладится. Это письмо было вестником радости, посланным близкой душе, но Вилфред прочел его в толпе на углу площади Культорв, сгорая со стыда. Ему было стыдно не то оттого, что письмо дяди не пробудило в нем настоящего отклика, не то оттого, что он плохо следил за газетными новостями. В один прекрасный день газеты сообщили, что перемирие — вопрос двух-трех недель. И в нейтральном мире с его ничтожными занятиями на мгновение все как бы притихло.

Вилфред с Аделью почти никогда не говорили на эти темы, а если случалось, то вскользь, проглядывая газету. Но в эти дни она казалась подавленной, легко раздражалась, а однажды утром, когда они ехали домой — в это утро они в последний раз были у Хогена, — сказала вдруг таким тоном, точно они пришли к этому выводу после совместных раздумий:

— Так ты не против почаще бывать в игорном зале?

Он смущенно покосился на нее.

— По правде сказать, эта игра...

Но она оборвала его:

— Я не говорю, чтобы ты играл, разве только немного, для вида. Другие доходы... — И она безнадежно махнула своими красноречивыми руками.

А в общем Вилфреда это даже забавляло. Он и сам обратил внимание, что в «Северном полюсе» заметна какая-то тревога. Седеющие мужчины в смокингах больше не украшали общество своим присутствием. Вместо них зачастили мужчины помоложе, нервные юнцы, которые пили только для вида и весьма скупно тратились на девиц — они их мало интересовали. Тот, кто был в заведении своим человеком, не мог не понимать, чего ищут эти молодчики — булавочные головки зрачков в мутных глазах говорили сами за себя, как и размашистые движения негнущихся, растопыренных пальцев... За столиками в тусклом свете ламп разговоры становились все более возбужденными, и Эгону все чаще приходилось вмешиваться, когда кто-нибудь из этих господ начинал размахивать руками и говорить слишком громко. Эгон действовал незаметно и решительно. Но обслуживающий персонал и девушки теряли уверенность; им полагалось всегда находиться в движении — только при этом условии их держали на работе, у них всегда должен был быть деловой вид, будто они спешат откуда-то и куда-то. Их держали не для того, чтобы они подпирали стены.

А им все чаще приходилось подпирать стены. У молодых клиентов бывали часы подъема, тогда все шло хорошо, и в потемках за столиками визитные карточки с адресами тетюшек Адели переходили из рук в руки. Но такие часы выпадали редко и длились недолго. Ночами в заведении царила тревога и суета, все чувствовали неуверенность и страх. Адели не всегда удавалось справляться со своими нервами. Ее гневные вспышки порой напоминали истерические припадки, теперь она обрушивалась уже не на Вилфреда, у нее бывали перепалки с девушками или с официантами. Необузданные посетители создавали новые проблемы.

Только одна Мадам проплывала по залу с невозмутимо аристократическим видом. Она показывалась редко, но всегда как бы по условному сигналу — когда неотесанный элемент грозил одержать верх, тогда она проплывала по залам, приковывая к себе все взгляды. Проплыв таким образом мимо посетителей, она исчезала за дверю, за которой находился игорный зал, и случалось, что за ней тянулась вереница желающих попытать счастья в игре или, во всяком случае, переменить обстановку.

Адель попросила его об услуге. Вилфред, в общем, не воз-

ражал. Он устал от мелькания света, от мелькания девиц, от всего этого движения, которое призвано было скрыть наступившее затишье. А затишье предвещало бурю.

И ему надоело проходить через «салон», где девицы отдыхали, вытянув усталые ноги, усталые от того, что им приходилось бродить взад-вперед, разыгрывая занятость, под перекрестным огнем взглядов, в котором уже не было жара.

Ему прискучило видеть, как Лола сидит со своей сынишкой, засыпая мальчонке глаза пеплом, поникшая от усталости и безрадостного служения в храме радости.

12

Вилфред в бешенстве глядел на рулетку.

Было что-то бессмысленное в этом метании шарика, повинующегося таинственному закону — самые большие оптимисты среди игроков воображали, будто они его знают. Безнадежный взгляд, который появлялся у них каждый раз, когда им приходилось убедиться, что этот закон понятен им не больше, чем все прочие законы, внушал Вилфреду какое-то усталое отвращение. А еще отвратительнее была ребяческая страсть, снова вспыхивавшая в них, едва появлялся очередной ничтожный шанс на выигрыш. Разинутые слюнявые рты, тупые взгляды. Или жадные рты с опущенными уголками губ и глаза, в дурацкой надежде неотрывно следящие за каждым взлетом непоседы шарика.

Вилфред понемногу узнавал игроков — во всяком случае, большинство из них. Это были не те небогатые повесы, которые играют ради азарта или надеясь вопреки здравому смыслу отыграть хотя бы часть того, что потратили за вечер. Это были алчные люди, мечтавшие разбогатеть, или те, кто хотел поправить свои расстроенные дела. Выражение лиц было Вилфреду знакомо — такие лица были минувшей зимой у него на родине у сыновей солнца, когда они потихоньку стали катиться под гору, пытаясь уцепиться за последние уступы света и надежды. С души воротило от того, что все повторяется: и люди, и их поведение.

Попадались среди игроков и молодчики пожестче, таких Вилфред прежде не видел в заведении, это были мужчины с громадными кулаками, сжимавшие колоду карт так, словно это был нож. Они играли с угрюмым видом в одну и ту же игру. Правила

ее были немудреные. Банк держали по очереди, и ставки росли без помощи возлияний или порошков. Кажется, никто толком не знал, кто из этих типов и многие ли из них были своими в заведении. Вилфред, во всяком случае, не знал, а по лицам угадать было невозможно.

Но иногда случалось, что эти люди подыскивали себе партнера, при этом они походя, почти не разжимая губ, роняли скудные слова, но все понимали, о чем речь. Этими недобрыми словами они поминали тех, кто однажды ночью исчез, пройдя через муки ада, — решительные люди позаботились, мол, о них и о том, что они себе присвоили.

Может, исчезнувшие игроки были шулерами, может, все они шулера, когда им это удастся, хотя каждый вечер они начинали играть новенькой, запечатанной колодой. Вилфред ничего в этом не понимал — он не знал многих правил игры.

Но как-то ночью картежникам не хватило партнера, и Вилфред подошел к их столу. Его уже знали и тотчас пригласили играть. Перед каждым на столе лежали деньги, так у них было заведено: прежде чем садиться за карты, ты должен предъявить наличные. Здесь не любили прерывать пулюку оттого, что не хватало денег.

Все шло хорошо, пока не подошла очередь Вилфреда метать банк. Он выигрывал почти при каждой сдаче, но, когда ему пришлось стать банкометом, все проиграл. У них была особая система прикупать. Вилфреду почудилось, что ее используют только против него. Казалось, его окружает стена единства, — так было, пока он не спустил все, что имел. Здесь никакая осторожность не помогала.

Но стоило стать банкометом его соседу, Вилфреду опять начало везти. Ему сдали хорошие карты, он удачно прикупал. Игра не слишком его занимала, но ему хотелось выиграть, да ему уже и нечего было проигрывать. Игроков было шестеро, и он с ужасом ждал, когда очередь метать снова дойдет до него. При следующей сдаче ему опять повезло. Он почувствовал невнятный страх. Он слышал рассказы об игроках-профессионалах, которые дают новичкам выиграть, чтобы подбодрить их, а под конецбирают дочиста. Он не знал, то ли происходит сейчас между ним и его партнерами. Не знал, какие есть способы жульничать и сговариваться, — лица сидевших за столом были непроницаемы.

До того как банк перейдет к нему, оставалось четыре сдачи. Ему снова повезло. Куча денег перед ним росла. Теперь здесь

лежали уже крупные купюры. Два раза он удваивал ставки. Его начала бить дрожь.

Еще две сдачи, и настанет его черед, его разорение. Если бы можно было найти предлог закончить игру... Он снова оглядел своих партнеров, окутанных табачным дымом, и у него мелькнула догадка, что именно такой выход избрали те, кто исчез, те, о ком говорили, понизив голос.

Он бросил быстрый взгляд на свои руки — не дрожат ли они. Нет, не дрожат. Он попытался держать карты той же хваткой, что его партнеры. Но его руки отличались от их рук. Не было на их тыльной стороне длинных черных или рыжих волосков, не было обломанных ногтей, свидетельствовавших о насилиях и неудачах, не было шрамов.

Вилфред выиграл. Выиграл предпоследнюю сдачу. Перед ним лежали банкноты — в стопках и кучками, крупные купюры и помельче, тысячная бумажка приковала его взгляд. Но он не придвигал их к себе — он знал, это дурная примета. Оставалась еще одна сдача, потом банк перейдет к нему. Он видел, как разорение змеей подползает к нему по столу, словно все эти волосатые руки составляли единое ползучее чудовище, которое подкрадывалось все ближе, ближе, чтобы сожрать его живьем.

И тут послышался шум, кто-то из игроков, оторвав взгляд от карт, прислушался. Раздался звон разбитого стекла, из гостиной донесся пронзительный визг, затем короткое властное слово: «Полиция». Свет погас.

Вилфред совершенно отчетливо сознавал все, что он делает в этот миг, взгляд его был ясен. Он схватил деньги и, нырнув под стол, пополз по полу. Случилось это в то самое мгновение, когда погас свет. Где-то затрещала высаженная дверь.

Он ощутил резкую боль: кто-то наступил ему на спину, и он, как мышь, юркнул в маленькую дверцу, которая вела к коридору перед чуланом-мастерской. В следующий миг он, весь дрожа, уже стоял в коридоре. Обернувшись, он увидел в дверную щель, что в игорном зале вновь вспыхнул свет. Услышал крик: «Всем оставаться на месте!», быстрые шаги, падение какого-то тела. И все смолкло.

Все смолкло в этом доме, где правилом было, чтобы из комнаты в комнату не доносилось ни звука, но каждое помещение было при этом наполнено тихим жужжанием, гармонировавшим с приглушенным светом.

А теперь все умолкло. Только в мастерской он опомнился и обеими руками стал распахивать по карманам деньги. Он не

стал пересчитывать их, даже не пытался угадать, сколько их может быть.

Тут он снова услышал короткую команду. Он подошел поближе к двери и прислушался. Это девиц вызывали из их жалкого «салона», где они сидели, вытянув усталые ноги, чтобы отдохнуть от непрерывного мельканья по залу. Теперь их, очевидно, собрали в ресторане. Он так и представил себе, как их загнали в самый узкий конец зала, перед стойкой бара; ноги у них болят, глаза испуганные. На них льется беспощадный свет. Так и стоят лицом к лицу две группы — стражи закона и отверженные. Он услышал гудок первого отъехавшего полицейского автомобиля. Стало быть, кого-то уже арестовали. Еще немного, и полицейские наткнутся на него. Автомобиль отъехал от главного входа. Может быть, черный ход...

Он тихонько выскользнул в холодный коридор, отделявший мастерскую от ресторана. Он понимал, что нельзя терять ни минуты. Здесь ему было слышнее, что происходит. Картежников, видно, собрали и вывели из зала. В игорном зале, наверное, никого не осталось, но туда он не решался войти. К тому же это лишь приблизило бы его к маленькой лесенке, по которой арестованных выводили на улицу.

Он наудачу побрел по темному коридору. Это был обыкновенный погреб, в котором пахло картошкой. Наткнувшись на дверцу в противоположном конце, он долго прислушивался. Потом тихо приоткрыл ее. Перед ним оказался маленький кабинет или нечто в этом роде. Вдруг на него пахнуло духами Мадам. Запах исходил от шелковых портьер, скрывавших дверь напротив, от Ковра, от мягкого стула, одиноко стоявшего перед маленьким шкафчиком на столе.

Ясное дело, картотека — это ведь кабинет самой Мадам. Открыв шкафчик, Вилфред сгреб все карточки, которые попались ему под руку. Это были отрывные членские билеты, вроде той карточки, какую заполнил он сам. Теперь он действовал без раздумий, словно повинувшись инстинкту. Карточки он сунул за пазуху. Ему почудился шум со стороны коридора перед мастерской. Испугавшись, он перестал соображать, что делает. Он шагнул по ковру к двери напротив. Заглянул в нее — за ней оказался «салон» девиц. Пустой и холодный, с розовыми обоями и потертым диваном с бахромой. Под потолок реял дымок от сигарет.

И тут он увидел ребенка. Малыш лежал в углу дивана, словно брошенный впопыхах. На миг страх Вилфреда как рукой сняло. Вилфред видел себя как бы со стороны и действовал, буд-

то повинуюсь чьей-то команде. Он подошел к ребенку, схватил его и, не прислушиваясь больше, двинулся к двери, которая вела в коридор перед уборными у входа. Он успел мельком увидеть себя в зеркале — себя и ребенка. И в первый раз поддался панике. Может, вернуться и бросить ребенка там, где он его нашел?

Слишком поздно. Они, наверное, уже в мастерской. А может, уже в кабинете Мадам. Наверняка они поставили людей и у черного хода.

Да, он впал в самую настоящую панику. Он наугад пробежал через дамскую уборную слева. Стены здесь были выложены светло-зеленой плиткой. Но дальше плиток не было. Здесь снова тянулась сырая, неоштукатуренная стена погреба. Впереди в темноте виднелось какое-то углубление.

Он бегом вернулся назад, потушил в уборной свет, а потом ошущью стал пробираться к углублению.

Там оказалась дверь, она была не заперта. Вилфред находился в большом помещении — он ощутил это по воздуху. Где-то сочилась вода. Он пошарил в поисках выключателя, но не нашел его. Тогда он зажег спичку и, прикрыв ее ладонью, осторожно посветил вокруг. Он стоял в обыкновенном подвале, служившем прачечной, с выходами на три стороны. Он выбрал тот, что был прямо посередине и уводил от обеих наружных дверей. Должно быть, он находится теперь под другим домом, а может быть, в дальней части того же самого дома, но со стороны, обращенной к северу. Ребенка он, как сверток, держал под мышкой. Тот не издал ни единого звука.

И тут до Вилфреда донесся запах сыра — тот самый запах, который он почувствовал в первый раз, когда Эгон впустил его в заколдованный мир. С тех пор он забыл про этот запах. А теперь пронзительный дух становился все резче по мере того, как он пробирался вперед в потемках. Еще немного, и Вилфред оказался на складе сыра. Он зажег спичку и увидел, что с двух сторон громоздятся штабеля сыра. Между ними были свободные перекрещивающиеся проходы. Вилфред быстро обдумал положение. Ребенок по-прежнему не издавал ни звука. Уж не умер ли мальчик? Но тельце ребенка казалось живым и теплым. Стоя в темноте между грудями сыров с ребенком на руках, Вилфред вдруг почувствовал, как его охватило знакомое веселое возбуждение: во всех жилах и членах пробудилась та сладкая удаля, которая переполняла его энергией и трепетным счастьем, — опять он попал в немислимую историю.

В конце среднего прохода пол поднимался вверх, точно сходни и , — прогуливаясь однажды мимо такого склада, Вилфред видел похожее устройство: сыры втаскивали на эти сходни и по ним катили вверх на улицу.

Но дверь на улицу была заложена и заперта. Руки Вилфреда нащупали тяжелые железные засовы. Он приложил ухо к двери и прислушался. Все было тихо — ни криков, ни шагов сторожа. Где-то вдали послышалась сирена отъезжающего автомобиля.

И снова к нему начал подкрадываться прежний страх. Он уже не так отчетливо представлял себе дом, со всеми его ходами и выходами. Может, он опять оказался рядом со своей мастерской? Впрочем, размышлять бесполезно. Они уже в пути, эти люди, они идут, пригнув головы, с карманными фонариками и ломиками в руках, они ищут свою добычу в сотнях тайников огромного притона разврата, который они обнаружили и раскрыли, наивно полагая, что уж теперь-то нанесли уголовному миру большого города решительный удар.

Вилфред спустился по сходням вниз и нашел окно, выходящее на улицу. Оно было достаточно велико, чтобы он, при его худобе, мог в него пролезть. Может, это и выход. Другого у него, во всяком случае, не было.

Бережно положив ребенка на пол, Вилфред из небольшой груды выбрал голову сыра. Он подкатил ее к окну, за ней другую, потом третью. Потом взобрался на них, приставил локти к стеклу и надавил.

Струя освежающего ночного воздуха ворвалась в окно. Он на мгновение прислушался, потом стал извлекать из рамы осколки стекла так, чтобы образовалось отверстие пошире. Потом принес ребенка и, снова взгромоздившись на сыры, осторожно просунул малыша в окно. Ребенок слабо пискнул, продолжая крепко спать. И тут Вилфред вспомнил, что мать давала мальчику на ночь успокоительное. Если бы он хоть раз заплакал, ей не позволили бы держать его при себе. Только почувствовав, что тельце ребенка коснулось тротуара, Вилфред выпустил его из рук.

Он уже собрался последовать за ним, когда вспомнил вдруг о деньгах и карточках. Если его схватят с такими крупными купюрами — ему конец. И карточки! Он горько сожалел, что прихватил их с собой. И для чего? Но каяться поздно. Ребенок, лежавший на тротуаре, в любую минуту может заплакать. И чего ради он подобрал мальчишку? Просто мания у него ка-

кая-то спасать людей! Он скривил гримасу в темноте — ладно, ребенок послужит ему алиби. Мужчина с ребенком на руках ночью — трогательное зрелище. Но надо отделаться от крупных купюр и карточек. Соскочив с сыров, он зажег спичку. Может, спрятать их за штабелями сыров в глубине? А вдруг сыры увезут? Все равно, выхода нет. Спичка в его ладони догорела. Он, согнувшись, пробрался между штабелями сыра и сунул карточки и деньги в пространство между стеной и сырными головами. Потом, как кошка, прокрался назад к окну. Оттолкнулся ногами и стал протискиваться наружу. Он спиной чувствовал, как по коридорам подвала теперь уже целеустремленно, в погоне за ним, несутся, чуть пригнув голову, полицейские — держи его, держи! Но когда он очутился на тротуаре с ребенком на руках, вокруг не оказалось ни души, не слышно было ни звука — только его собственная кровь ритмично пульсировала в висках и на шее. Осторожно приблизив ребенка к своему лицу, он почувствовал его спокойное дыхание. Тогда он стремительно бросился через улицу. Теперь он опять сообразил, где находится. Чтобы попасть на улицу Нансена, надо было дважды пересечь широкие проспекты. Это ему удалось. Летняя ночь была темной, небо заволочли тяжелые тучи. Он перебежал от угла к углу, где мог, прячась в подъездах, при этом его не покидало ощущение, что он забавляется веселой игрой.

Но когда он добрался до дома тетки Адели, веселое настроение вдруг испарилось. Охоту играть как рукой сняло. Он еще раньше рассчитал, что в дом на Гаммель-Странд соваться нечего — полиция наверняка уже там побывала. Но он не подумал, что Адель носила адреса своих «тетушек» в вышитой сумочке. Так что, может быть, полицейские пронюхали уже и про улицу Нансена, и про Гаммель-Мёнт — наверняка они уже до всего докопались или вот-вот докопаются. Стражи закона знают, как вести охоту на людей.

Он остановился на ближайшем углу, мысли вихрем вертелись в его голове. Глупо все-таки считать, что полиция действует столь молниеносно. Прежде всего им надо, конечно, выяснить все, что касается самого заведения, чтобы пополнить досье материалами, которые оправдали бы полицейскую акцию. Газеты в здешней стране беспощадны, когда нарушается неприкосновенность жилища.

Но едва Вилфред очутился в подъезде под той комнатой, где он провел свою первую копенгагенскую ночь, он ощутил, как опасность сгущается вокруг него, словно сама августовская ночь

была врагом, сплошь состоящим из недремлющих глаз и цепких рук.

Он тихонько прокрался в подъезд с ребенком на руках. Малыш опять затих, но глаза его были открыты. И вдруг Вилфред остановился как вкопанный, услышав голоса. Они доносились с лестничной клетки этажом выше — очевидно, оттуда, где когда-то от стены, освещенной «венецианской» лампой, отделилась женщина с зеленоватым лицом. И вдруг перед ним, будто в озарении, предстало все: лестничная площадка наверху, и скудно обставленная комната, и залы «Северного полюса», откуда вымело все следы радости, и рышущие по ним полицейские, и город вокруг, и спящие за занавешенными окнами люди, и он сам, точно крадущийся зверь, в темном парадном, с ребенком на руках — два человека в ночной тьме...

Это продолжалось минуту, потом он скользнул к подножию лестницы, чтобы подслушать, что говорят. Один голос принадлежал хозяйке, она явно против чего-то возражала.

— Говорю тебе, я останусь здесь, по вкусу тебе это или нет, — оборвал ее мужской голос.

Мужской голос. Он был Вилфреду незнаком, но звучал враждебно. И тут раздался другой голос, низкий и грубый.

— Ты что, не понимаешь, старая! Он, сука, охмурил ее, а наших парней обчистил. Он всех нас выдаст...

Это был голос Эгона.

Осеннее утро прорезал вой фабричного гудка.

13

Гудок вывел Вилфреда из оцепенения: его могли обнаружить в любую минуту.

Он бесшумно выбрался из парадного и, прижимая к себе ребенка, побежал по улице в обратном направлении. Холодная усмешка застыла на его губах.

Теперь за ним гнались с двух сторон: он стал дичью, которую обложили охотники, ему не поздоровится, в чьи бы руки он ни попал.

На первом же перекрестке он свернул, ища улицы поуже, где легче укрыться за домами. Потом, снова сменив направление, двинулся на северо-восток. Светлая августовская ночь была на исходе. Небо над Зундом стало золотисто-серым. Теперь гудки пробуждающихся фабрик перекликались друг с другом.

За ним гнались с двух сторон. Он рысцой трусил по улицам, осознав вдруг, что значит быть гонимым. Усталость давала знать о себе жаркими приливами крови, ребенок стал оттягивать руки.

В глаза ему бросился маленький трактир, он был открыт. Усталость и голод властно заявили о себе — они пересилили страх. В кафе сидели двое молодых рабочих и шофер. За стойкой стояла добродушная женщина, которая тотчас принесла чашку горячего молока для ребенка. Она была из породы славных людей — из тех, что не задают вопросов. Женщина хлопотала над ребенком, помогла Вилфреду его накормить. Сам он жадно проглотил несколько толстых ломтей хлеба, мясную запеканку с луком и несколько чашек горячего кофе. Потом на мгновение вздремнул с ребенком на коленях, и снова ему казалось, что он погружается в бушующие волны, но на этот раз волны кишели цепкими руками — они вот-вот схватят его. Он проснулся, вздрогнув, когда шофер вышел из трактира: Вилфред боялся шоферов. Сунув руку в карман, чтобы расплатиться, он вдруг наткнулся на большие ассигнации и жесткие карточки. Он похолодел — стало быть, в подвале второпях он отделался не от всех карточек и не от всех крупных купюр.

Когда он оказался на улице, уже совсем рассвело. Он зашел в лавочку, купил еды и молока в пакете. В каком-то невзрачном магазинчике приобрел пеленки и одеяло для ребенка, и погрешушку, которую до поры до времени сунул в карман. Каждый раз, когда приходилось расплачиваться, он осторожно рылся в карманах — только бы не вытащить крупные купюры и злосчастные карточки. На беду, некуда их выкинуть...

Потом он направился через парк к пристани для прогулочных пароходов. По дороге он вздремнул на скамье, на которую присел, чтобы завязать шнурок ботинка. Он сам не знал, куда идет, только знал, что к пристани; в этом движении наудачу перед ним мерцала смутная цель — подальше от людей, от искушения зайти в какой-нибудь дом. Было еще слишком рано, слишком рано для чего бы то ни было. И однако — как бы не оказалось слишком поздно.

Едва он дошел до конца парка, как тотчас увидел ту самую яхту: голая, лишенная снастей, она стояла посреди бухты и без парусов и прочего убранства казалась одинокой и заброшенной — не лебедь средь лебедей, а скорее, маленький гадкий утенок среди роскошных кораблей, еще стоявших здесь, несмотря на конец сезона. Море было свинцово-серым. Собирался дождь.

Постучав в маленький сарайчик, Вилфред разбудил сторожа и представился ему как друг законного владельца норвежской яхты «Илми». Он держался дружелюбно, но был немногословен, этакий любезный молодой спортсмен, отец семейства, который предпринял утреннюю прогулку ради охраны интересов своего земляка. Сторожу нечего было возразить, он посадил Вилфреда в плоскодонку и стал грести к середине бухты. Вилфред расспрашивал о яхте и дал понять, что она попала в руки отъявленных грабителей. Сторож засмеялся, вспомнив о полицейской расправе в то весеннее утро. Он рассказал, что убрал паруса на берег, а шлюпка в целости стоит у самого причала. Вилфред щедро вознаградил его за труды, попросив, чтобы тот подогнал шлюпку к яхте. Он сам не знал почему, но ему не хотелось быть отрезанным на яхте. Почувствовав в руке деньги, сторож не стал возражать. Он проводил Вилфреда на борт, отпер ему каюту, а потом, подогнав к яхте шлюпку, привязал ее к корме.

И тут Вилфреду стало плохо — перед глазами все поплыло. Он ощупью нашел заржавевший примус, на полке над койкой обнаружил остатки спирта и керосина. Потом согрел воду в жестяном тазу и, пока она нагревалась, раздел ребенка. Завернув грязную и мокрую одежду в морскую карту, которая лежала на той же полке, он привязал сверток к тяжелой рукоятке от рифовой лебедки. Сверток мгновенно пошел ко дну. Потом он вымыл и накормил ребенка. Малыш тихонько захныкал, но, согревшись и насытившись, утих. Только тогда и Вилфред улегся рядом с ним на койку и заснул мертвым сном.

Едва он проснулся, его охватила тревога — ему всюду чудились люди. Но, выглянув наружу, он увидел лишь мутную гладь залива под морозящим вечерним дождем: вокруг не было ни души. Он привел в порядок себя и ребенка. Руки у него дрожали, нервное напряжение трепетом пробегало по всему телу. Мелкими взмахами весел он подгрел на шлюпке к берегу и поручил сторожу приглядывать за яхтой.

Утром Вилфред не решился взять такси — шоферы слишком уж услужливые свидетели. Но тут он не устоял против искушения и попросил сторожа вызвать машину.

Шоферу он назвал адрес пансионата во Фредериксберге. Он вспомнил о нем, едва проснулся: отель-пансионат. Вилфред выбрал его, соблазненный тем, как выглядит вход — это был про свет в зарослях дикого винограда. Вид у пансионата был на ред-

кость мирный. В машине Вилфред пытался сидеть так, чтобы шофер не видел в зеркале его лица. Он расплатился с ним, низко наклонив голову, торопливо вошел в сад и стал подниматься по лестнице под аркой виноградных лоз. В пансионате оказалась свободной торцовая комната, выходящая на улицу и в маленький уголок парка. Вилфред заплатил за неделю вперед, хотя от него этого не требовали. Хозяева были славные люди: они ни о чем не расспрашивали. Ему принесли в комнату еду и поставили кроватку для ребенка. Вилфред с самого начала почему-то заговорил по-датски и назвался первым пришедшим в голову именем. Наверное, это было глупо, но он действовал впопыхах.

При первой возможности он поспешил выйти — купить вечерние газеты — и в комнате жадно набросился на них. Все первые страницы занимало описание ночной облавы. Была также фотография — прибытие в полицейский участок. С газетной полосы на него смотрели растерянные лица, Адели среди них не оказалось. Тут были перепуганные гости и несколько девиц. Он узнал Ирону, но Лолу, мать ребенка, не нашел. Вилфред торопливо пробежал газетные столбцы. Журналисты не стеснялись в выражениях. Одна газета утверждала, будто была перестрелка. Мелькали слова «притон», «банда». В одном месте было упомянуто о кокаине и азартных играх — словом, журналисты старались всю. И вдруг с последней страницы буквы рванулись к нему, словно цепкие руки. Списки членов клуба найдены не были, писала газета; картотеку, как видно, похитили. Подобного рода материал, писала газета, — страшное оружие в руках шантажиста. Вилфред криво усмехнулся — недурная мысль, совсем недурная... Газета писала о людях из лучшего общества, о черной бирже и девицах легкого поведения. Можно было подумать, что разоблачили самых страшных преступников в мире. Написано было и о Мадам — пожилой даме, которая, как видно, играла главную роль в этой шайке. И ни слова об Адели. Ни слова о некоем исчезнувшем друге дома. Только утверждение, что банда, несомненно, насчитывала еще многих участников и что полиция ведет расследование.

Все это было очень похоже на правду и в то же время — вранье. Все, что было написано, в какой-то мере соответствовало действительности, кроме рассказней о перестрелке. И все же это была ложь — они писали не о «Северном полюсе», не о его девушках, не о гостиных с тусклыми красноватыми лампочками и не об игорном зале с его резким светом. Вилфред поймал себя на том, что испытывает нечто вроде привязанности к этому ме-

сту, к Адели и ко всем, кто там обретался. Неправда, что это была банда, совращавшая порядочных граждан. Они на свой лад трудились в поте лица, а те, кто туда ходили... так уж устроены люди, что их тянет к чему-то потаенному в этом мире, где все слишком на виду...

Вилфред все еще не разделался с остатками карточек. На борту «Илми» он вспомнил о них, но потом забыл, во всяком случае, не догадался спустить их за борт, В пансионате не было печи, только два радиатора. Когда он ходил за газетами, он искал глазами, где бы их выбросить, но не нашел подходящего места. На улице ему казалось, что все за ним следят. Дома было спокойнее. Он уложил ребенка в постель, а сам сел у окна и стал глядеть на дождь. Утром он мог бы уйти. Оставить ребенка и уйти, уехать домой — на родину... Но вдруг его глазам представилась другая картина: Селина полусидит-полулежит на скамье в хижине, а в окровавленной слизи лежит сероватый комок, он снова ощутил его в своих руках. И опять это вечное чувство совершенного предательства. Словно нынешний мальчонка был искуплением какой-то его вины. А почему бы ему не предавать? Что он, образец добродетели? Он вяло усмехнулся. А тут еще деньги — крупные засаленные купюры, которые припрятаны в тайнике, в подвале. Их ему тоже не хотелось «предавать».

Но при этом Вилфред знал, что было что-то еще, другое, третье или четвертое, что-то, чего он полностью никогда не поймет, — какая-то роль, что ли, которую он должен доиграть до конца. Точно некое высшее существо приказывает ему перебежать от окопа к окопу в войне, в которой он не собирался участвовать, но которая настигает его повсюду...

Зря он выдал себя за датчанина... Это было первое, что он подумал, проснувшись на другое утро. Полицейские власти разбираются в фамилиях. К тому же рискованно все время говорить по-датски — того и гляди, забудешься и выдашь себя. Едва спустившись к завтраку, он почувал опасность. Добродушная хозяйка и две ее служанки хотели знать, как зовут мальчика. — Рене...

Ответ вырвался у него прежде, чем он успел подумать. «Рене! — приговаривали они, тиская ребенка. — Какой славный малыш, такой спокойный». Да, мальчик и вправду спокойный. Что, если он оставит его ненадолго, пока сходит за газетами?

Он накопил целый ворох газет. В утреннем выпуске ничего нового не сообщали. Появились только некоторые подробности: писали, например, о куклах, которые были найдены повсюду, была помещена фотография одной из них, она смотрела на Вилфреда с газетной страницы своим печальным и в то же время хитрым взглядом. И еще писали о тех, кто действовал за кулисами банды. Но в общем, ничего нового не сообщалось. Полиция просила тех посетителей, кто ушел из заведения до начала облавы, явиться в качестве свидетелей — им ничто не грозит, но в ходе расследования могут обнаружиться ранее совершенные преступления, и прежде всего торговля наркотиками. Ночные посетители были уже освобождены, некоторые вынуждены были дать подписку о невыезде.

Да, новостей было немного. Но все же они были. Стало быть, кое-кто уже разгуливает на свободе. Всегда кто-нибудь да окажется на свободе. На свободе был Эгон и тот незнакомец, а может, и те, кто были партнерами Вилфреда в последний вечер. Они охотятся за ним в эту минуту, и не только ради денег, но ради того, чтобы он молчал. Молчания его они будут добиваться любой ценой. Спать ему больше не хотелось. Целый день он просидел у большого, выходящего на улицу окна, неотрывно глядя на дождь. Два раза в темноте ему показалось, что среди деревьев маячат какие-то фигуры, какие-то люди неуверенно поглядывают на дом. Он притоптывал ногой по полу, не зная, что предпринять. Его тревога передалась ребенку, который стал уныло, жалобно хныкать. Вилфред наклонился над кроватью в полной растерянности.

Все повторяется снова — обстоятельства опять поймали его в плен, как бывало в детстве, как бывало всегда. Не успел он понять, что к чему, а сеть уже оплела его. У него вдруг больно заныла левая рука. Это осталось с того дня, когда он висел на волоске, когда, казалось, еще немного — и ему конец. Но он уцелел. Ведь он как пробка — не тонет в воде независимо от своей воли, ореховая скорлупка... Он злобно усмехнулся. Теперь-то ему, во всяком случае, не остается ничего другого, как плыть по течению, ему, как и всем другим, оставшимся в тени. Загнанный зверь уползает в нору, плохо только — забиться в нору и видеть, что выход из нее закрыт сетью, которая вот-вот опутает тебя.

На шестой день он встал спозаранку и попросил одну из служанок присмотреть за мальчиком. Он пойдет купить коляску. Но оказалось, что в доме есть старая детская коляска, с него

возьмут недорого. Он купил коляску, женщины помогли уложить в нее ребенка. Всюду к нему проявляли участие и безотказную доброту. А эти ласковые взгляды! Какими холодными и беспощадными станут они в ту самую секунду, как что-нибудь выйдет наружу.

Он наудачу побрел по направлению к Беллахэй. У него не было определенной цели — он просто хотел оказаться где-то на окраине, где нет таящих угрозу домов и людей, которые могут оказаться загонщиками. Теперь газеты сообщали лишь мелкие подробности, связанные с облавой. Может, охоту приостановят, может, тревога уляжется, лишь бы успокоить тревогу в душе.

Дождь прекратился, был ветреный сентябрьский день, полный зловещих предзнаменований и уже по-осеннему короткий. Вилфред вдруг свернул с намеченного пути и двинулся правее. Так он дошел до холмов Биспехьерга. Здесь собирались построить большую грундтвирианскую церковь. По другую сторону холмов склон спускался к болоту. Здесь Вилфред однажды гулял с Аделью, они еще вместе ужасались, глядя, как развивающийся город атакует природу. Теперь эта городская окраина лежала перед ним во всей своей красе. Она была завалена отбросами и строительным мусором. В одном месте из земли торчал крашенный под бронзу гипсовый ангел с отбитым носом и беззащитным взглядом пустых глазниц. Кое-где уже стояли бараки из гофрированного железа, фанеры и дранки. Цементная пыль и обрывки бумаги завивались мелкими вихрями. Вилфред торопливо огляделся, но склон казался вымершим. Он нашел пустую консервную банку с искореженной крышкой. Потом лег на спину среди мусора и долго лежал не шевелясь. Потом незаметными движениями вытащил из карманов оставшиеся карточки и осторожно подержал их перед собой так, чтобы, скосив глаза вниз, можно было их разглядеть: он впервые увидел имена — они ему ничего не говорили.

Кто знает, не подсматривают ли за ним из убогих хибарок. Все так же лежа, он нащупал руками маленькую ямку, разрыл ее поглубже. Потом сунул туда банку с карточками и засыпал землей. Потом встал. Он запомнил приметы.

При этом он все время думал: «Зачем я это делаю?» Придя сюда, он вначале сам не знал, как он поступит. Никого бы не удивило, если бы он разжег из карточек маленький костер. На склоне холма там и сям тлели маленькие заброшенные костры. Но у него было смутное ощущение, что эти карточки дают в руки власть, с которой ему не хотелось так просто расстаться.

Были еще карточки в городе, в подвале. И деньги. При случае он их возьмет. Когда суматоха уляжется. Впрочем, она уже улеглась. При случае он их возьмет.

Но, вернувшись в пансионат и развернув газеты, он так и обмер. В преступном гнезде, в чем-то вроде чулана, найдены три картины. Полиция выставила их в магазине художественных изделий в центре города в надежде, что, может быть, специалисты установят, кем они написаны, или что автор объявится сам. В сложном, запутанном клубке, каким представляется это дело, нельзя пренебречь ни одной нитью. Все три газеты хором утверждали, что картины весьма своеобразны, что они содержат нечто новое и лишь немногие датские художники могли бы создать подобные холсты; журналисты пытались даже назвать наугад два-три имени — само собой, это не значит, что вышеупомянутые лица имеют хоть какое-нибудь отношение к данному притону.

Вилфред подумал о дяде Рене. Сначала, когда он прочел газету, его охватило смятение, потом он обрадовался. И снова подумал о дяде Рене — то-то бы он возгордился! Ведь это он любовно развивал в своем племяннике способности, если в нем были способности. Одна из газет обращала внимание на странную незавершенность всех трех работ — можно подумать, что их отбросили в растерянности или сомнении. Казалось, знатоки искусства тоже вышли на охоту за ним, словно все силы мира сговорились втайне разноухать то, что может вывести их к цели.

Вилфред тотчас понял — надо бежать. Не то чтобы из-за картин преследователи набрели на его след, но они как бы направились на него со всех сторон, а официально зарегистрированный пансионат — место слишком уж заметное.

Вилфред стал лихорадочно пробегать столбцы объявлений — может, где-нибудь сдается свободное жилье. Первое, что он увидел, было объявление о том, что в Харескоу сдается отдельный флигель, в нем имеются... Он не стал читать до конца. Слово «отдельный» решило его сомнения. Обратиться к... Он вырвал из газеты объявление и, бросившись вниз к телефону, назвал номер. Ему ответил густой мужской голос, в нем чувствовалось колебание. Может, Вилфред проявил чрезмерный пыл? Он постарался принять деловой тон. Упомянул о ребенке, чтобы не было недоразумений. Голос сразу подобрел. Пожалуйста, он может прийти посмотреть. Ехать до станции... Вилфреду растолковали, как пройти. Он не слушал. Он понял сразу: такой голос...

Ощущение это не покидало его и в поезде. Было в том голосе что-то такое... внушающее доверие, и одновременно доверчивое, и еще застенчивое — Вилфред не мог бы объяснить, но что-то такое, что никогда не предаст и что он сам не сможет предать...

Он сразу увидел за поворотом дороги лесистый холм и на нем два дома: маленькая вилла и отдельный флигелек, наверное летний домик, нечто вроде сторожки. Оба были бледно-серого цвета, с оштукатуренными стенами. Наверное, здесь. Он не помнил ни слова из телефонного разговора, но как было бы чудесно, если бы это оказалось здесь! Он вдруг пришел в такое волнение, что стал тихонько приговаривать с надеждой, с мольбой: «Только бы здесь!» Он поднялся по каменистой тропинке. На двери висел старомодный молоток из кованого железа. Как приятно взяться за него! Постучав один раз, он сказал себе: «Здесь!»

Дверь открыл высокий человек. Вилфред сразу понял: это он.

— Я пришел снять флигель.

Лучше бы ему прикусить язык: он заговорил по-датски! Хозяин впустил его в дом. Да, это был тот самый человек, с густым голосом. Высокого роста, слегка сутуловатый, лет тридцати. Глаза... Вилфред сразу обратил внимание на его глаза. Голубые с оттенком серого, точно льдинки, но при этом теплые. Теплые льдинки. Скрытое тепло ореолом окружало весь его облик. Оно звучало в его тихих словах. Дело в том, что он перечитал свое объявление... Дом у них совсем маленький, летний домик, довольно холодный. Он пояснял все это отрывисто, словно всячески стремился умалить достоинства флигеля, и каждое следующее пояснение подкрепляло предыдущее с помощью паузы. К тому же его жены нет дома. А его самого зовут Бёрге Виид.

— Вы писатель? — тотчас спросил Вилфред.

Тот покраснел. Его имя мало известно. Казалось, он и себя самого хотел умалить. Но все-таки явно обрадовался. Они прошли через двор к дому.

Вилфред решил сразу же. Ничего, что с ним будет жить сын? Мать мальчика умерла, она была француженка. Мальчика зовут Рене... Он высказал все разом и говорил по-датски. И назвался тем датским именем, которым назвался в пансионате. Одно влекло за собой другое. Он немало обманывал за

свою короткую жизнь, которая казалась ему долгой-долгой. Но чувствовал себя обманщиком в первый раз.

Он дал хозяину денег, почти насильно всучив ему плату за месяц вперед. Он хотел бы заплатить за два, за три, но боялся, что это покажется навязчивым. Казалось, хозяин был обрадован, что ему заплатили. Вот только его жена...

— Уверен, что ваша жена согласится, чтобы я у вас поселился, — засмеялся Вилфред. Он и в самом деле был уверен в этом. Он снова стал Маленьким Лордом, его чело осенял нимб невинности и чистоты.

— Само собой, — прогудел застигнутый врасплох Бёрге Виид.

Откуда Вилфреду знакомо его имя? Дорого бы он дал, чтобы вспомнить название хоть одной книги. И вдруг сообразил: да ведь он знает его из еженедельников, ну да, из газет и воскресных приложений, которые валялись повсюду в «салоне» у девиц. Он даже прочел несколько новелл.

— Во всяком случае, ваше имя часто мелькает в газетах, — отважно заявил он.

Бёрге Виид помрачнел. Они стояли в просторной гостиной оштукатуренного флигелька. У хозяина была манера говорить отрывисто — так, точно вся его речь состояла из мучительных признаний.

— Для газет... для них ведь пишешь просто...

— ...а сам сидишь над большой книгой! — пришел ему на помощь Вилфред.

Этого не стоило говорить. Он опять начал переигрывать.

Но его собеседник снова покраснел — покраснел от радости.

— Совершенно верно, — смущенно улыбнулся он. — Как вы угадали?

— Я часто угадываю. Это у меня привычка, дурная привычка.

Бёрге Виид посмотрел на него с недоумением.

— Угадывать все равно что знать, — возразил он. И так как Вилфред промолчал, добавил, запинаясь: — Я хотел сказать... все эти внешние факты, ну да — высказывания, что ли... так называемые доказательства... — Он пожал плечами. Этот человек не привык наспех формулировать мысли. Вилфред посмотрел на высокий чистый лоб и наивно подумал: «Философ». Но тут же спохватился. Опять его тянет к преувеличениям.

Когда вернулась жена хозяина, они все еще стояли во дворе. Ее внимание привлекла детская коляска. Она вопросительно посмотрела на мужа.

— Дело в том, что этому молодому человеку... — имя Бёрге уже за был, — понравился дом, мы, собственно, уже обо всем договорились.

Тон у Бёрге был виноватый. Вилфред смотрел на его виноватое лицо, на улыбку жены. И подумал: «Непрактичный человек, он не привык принимать решения, а она — она хочет, чтобы ему казалось, что последнее слово — за ним». Вилфред поспешил прийти им на помощь:

— Само собой, ваш муж предупреждал меня — только при условии, что вы тоже согласны... — И он снова почувствовал, как на его лице возникает улыбка Маленького Лорда — улыбка обманщика, он ее безошибочно узнал, хотя не прибегал к ней уже давно.

Ему сдали дом. Его пригласили выпить чашку чаю. Он, наконец, захочет перевезти свои пожитки.

У него никаких пожитков нет. Он быстро покосился на них — обменяются ли они взглядом после его слов? Нет, не обменялись. Это были стоящие люди.

14

Дни как будто замерли. Дома и деревья затаили дыхание. Звери недвижимы. Гонимому кажется: его преследователи отдыхают, они передумали, у них другие планы. Низко над морем парит птица, и птица кажется ему частицей того же затишья. «Птица! Каким покоем от нее веет!» — думает он. Злые силы дремлют в задумчивости, а добрые отдыхают, чтобы окрепнуть.

Люди тоже кажутся спокойнее, на них — печать умиротворения и мудрости. Даже небо, лохматившееся злыми осенними облаками, обрело что-то весеннее, сулящее свет.

Может, это обман? Может, это просто кажется гонимому? Может, так велика его собственная потребность отдохнуть, что он окрашивает своим настроением окружающее? Но разве не правда, что птица спокойно парит над волнами, что деревья дышат вольнее, а дорога вьется серебряной лентой, не таящей угрозы за поворотами? И разве не правда, что лица людей озарены светом, а их просветленные души открыты друг другу?

Наверное, это правда. Для обитателей обоих домов в Харескоу настали такие счастливые дни, что счастье должно быть подлинным, без подвоха.

У семьи в большом доме строгий рабочий распорядок, это побудило и жильца во флигеле попытаться упорядочить свою жизнь. За что только он в свое время ни принимался, но так ничего и не довел до конца. Теперь бы он охотно всерьез занялся живописью, но у него впервые нет для этого возможности. Он нянчит чужого ребенка, к которому привязан не больше, чем к найденному на дороге птенцу. Ведет свое немудреное домашнее хозяйство и аккуратно расплачивается с Маргретой Виид за все, что она покупает для него в окрестных лавочках.

Бёрге Виид и его жена редко бывали в городе. Он каждую неделю отправлял в редакцию по почте очередной рассказ, а ему регулярно присылали из издательства иностранные книги для перевода. Это давало ему постоянный доход, он целый день сидел за пишущей машинкой и работал. Случалось, он заходил ненадолго во флигель; первое время он был молчалив, разве что перемолвится с Вилфредом двумя-тремя словами о каких-нибудь мелких новостях в мире литературы и искусства. Бёрге никогда не спрашивал жильца, откуда тот почерпнул свои мысли и некоторый опыт. Но мало-помалу он начал рассказывать о себе, чаще всего это случалось после поездки в город, где он вел переговоры со своими работодателями. Вилфреду становилось все яснее, что Бёрге живет под тяжким бременем горечи. Несколько лет назад он выпустил свою первую книгу, его превознесли за нее, если не до небес, то, во всяком случае, довольно высоко, зачислив в круг одаренных. Но с тех пор он не выпустил больше ни одной книги — не было времени, не было средств. И все очевиднее становилось, что ему суждено оставаться анонимным членом международного сообщества писателей, откладывающих создание своего шедевра с осени на осень.

Рассказывал Бёрге сбивчиво, перескакивая с пятого на десятое. И все, что он говорил Вилфреду, заглянув к нему в перерыве между двумя страницами на машинке, походило на невольно вырвавшиеся признания. Он, видно, безмерно устал тянуть ляжку — искать на родном языке слова для выражения чужих мыслей, и для него было отдушиной, урвав свободные четверть часа, довериться постороннему человеку, столь далекому от литературных проблем, что это доверие ничем не грозило.

Но случалось, что во флигель заходила и Маргрета Виид. Ча-

ще всего она останавливалась во дворе возле детской коляски или прогуливалась с ней. Но несколько раз она с присущим ей решительным видом заходила к Вилфреду. Она не пыталась найти благовидный предлог для своего посещения и не задавала ему никаких вопросов, но однажды — ее муж в тот день был в городе, где улаживал свои дела в издательстве, — она вдруг напрямик спросила Вилфреда, знает ли он французский. Дело в том, что ее муж получил для перевода французский роман, но ему приходится часто заглядывать в словарь, да и она сама, хотя и помогает мужу, когда он устает, тоже не очень сильна в идиомах, и вот ей пришлось в голову...

Вилфред поостерегся взглянуть ей в глаза, поостерегся помочь ей все это выговорить. Уставившись в стол, он сказал, что в детстве учил французский язык, так что если только он не забыл... Сказал, что получил некоторое литературное образование... Оказалось, переводчики не так уж редко прибегают к посторонней помощи при переводе. Вот и сама Маргрета — не то что она переводит вместо мужа, но иной раз помогает ему. Дело в том, что он работает над книгой — над собственной книгой...

Так и вышло, что Вилфред стал время от времени наведываться в большой дом и сидеть за машинкой, а потом стал наведываться туда довольно часто. Бёрге Виид, смущенно уступая ему место, занимался своей книгой. Так и вышло, что Вилфред взял всю работу на себя и закончил перевод. Само собой, это всего лишь подстрочник, но если это немножко поможет... Так и вышло, что он перевел целую книгу. Он вовсе не хочет лезть не в свое дело, но если он может помочь... Он сидел ночами. В нем накопилось столько нерастрченных сил — целый кладезь доброй воли. К тому же тут было чему поучиться. Он работал как в лихорадке, наслаждаясь тем, что работа спорится, и еще самим процессом формулирования мысли — словно посредством чужого текста он выражал частицу самого себя. «Я могу, и это могу тоже!» — снова, как много раз прежде, думал он. Он был поражен, как легко дается ему работа. Он в самом деле неплохо знал язык, но тут еще и другое — он чувствовал, что в нем дремлют неиспользованные возможности, дар самовыражения, который он так часто хотел применить к делу, но всегда что-нибудь да мешало... Сначала было увлечение музыкой и тяжкое, опустошающее чувство, что он ее предал. Потом многие годы подряд он жадно глотал книги, о которых ему

вечно твердили, что он для них еще слишком молод... Чтение походило на марафонский бег к неизвестной цели — вернее, с единственной целью оставить позади себя десятки километров... Но, казалось, теперь он черпает силы из того, что было прочитано тогда, из бесед о книгах с дядей Рене. («Мой милый мальчик, Гамсун — это, конечно, прекрасно, и прекрасно, что ты любишь его и зовешь Поэтом, только не забывай, что и за пределами Норвегии есть литература, что есть человек по имени Стендаль...») И вот на время библией Вилфреда стало «Красное и черное», а потом «французские рассказчики», как он их называл, а потом Данте и многие, многие другие, — и все это он проглатывал с такой жадностью, что в голове едва не воцарился полнейший сумбур, а в пору выпускных экзаменов он просто превратился в начиненного литературой попугая... («Изыщная литература — это прекрасно, фру, но я боюсь, что ваш сын впадает в крайность!») Вилфред с головой погружался в книги, и книги обступали его, словно безбрежные волны, изобилующие сокровищами, которыми надо овладеть, воспользоваться... Но тут наступила полоса кутежей и случайных ресторанных и уличных знакомств, и страсть к чтению стала еще одним даром, который он предал и которому изменил...

Но теперь восхищавшие его прежде писатели вернулись к нему, точно старые друзья, это у них позаимствовал он свой литературный слог...

Так и вышло, что Бёрге Виид не перевел ни строчки в полтора романах. Сидя с рукописью Вилфреда, он все шире раскрывал глаза от изумления. Однажды вечером он пригласил его пропустить по стаканчику. Усталый застенчивый писатель утратил почти всю свою застенчивость.

— Так продолжаться не может,— заявил о н . — Вы переводите куда лучше меня. Конечно, мы кое-что покупаем для вас в магазинах, но ведь гонорар-то получаю я, а это надувательство и обман! — И он радостно засмеялся — уж не оттого ли, что был соучастником обмана? Похоже было, что так. Похоже было, что этот честный нерасторопный человек испытывает облегчение от того, что творит что-то незаконное и тайное.

— Вы все перевернули с ног на голову, — возразил ему Вилфред . — Я когда-то немного изучал язык, но у меня же нет никакого опыта, я просто немножко баловался пером...

Но Бёрге Виид был непоколебим: так продолжаться не может — он не может ставить свое имя под чужим трудом. Что же касается гонорара...

Вилфред предложил делить его пополам. Ведь имя и связи были у Виида.

Так и вышло, что Бёрге как-то пришел во флигель и показал Вилфреду рассказ. Беда в том, что на нем висит этот несчастный договор, он обязан поставлять каждую неделю по рассказу, ни один писатель этого долго не выдержит, рассказы вырождаются в пустую болтовню и штампы.

— Вы согласны со мной, Вилфред? Вот, возьмите, почитайте.

Рассказ, пожалуй, и впрямь был не бог весть какой, это Вилфред чувствовал. С другой стороны, он не считал себя судьей в вопросах литературы. Дело кончилось тем, что он попробовал втихомолку написать рассказик-другой. Теперь ему пошло на пользу то, что он всегда переписывался по-датски со своими датскими родственниками и вообще что у него была попугайская способность все перенимать, которая всегда внушала подозрение ему самому. И еще ему пошло на пользу, что он всегда жадно прослеживал линии человеческих судеб в своей оголтелой погоне за схемой, в которую он мог бы наконец их уложить и ть, — схемой, которую он повсюду выискивал ради того, чтобы хоть немного познать самого себя.

Закончив свои рассказы, Вилфред понес их в хозяйский дом — принес и молча положил на стол. А потом, заперев флигель, отправился в лес, дышавший осенней прохладой, оголенный и безлистый. Вилфреду теперь уже не было нужды возить с собой коляску, ему вообще все реже приходилось заниматься ребенком. Маргрета Виид с большим удовольствием сама гуляла с малышом.

Только по ночам ребенок оставался с ним. Вилфред сидел у колченогого стола и писал, иногда подходя взглянуть на ребенка. Мальчик расцветал не по дням, а по часам. Вилфред тщательно выполнял все, что полагается, когда растишь младенца, но дело было не только в этом. Они как-то говорили о нем с Виидами. «У малыша словно бы и душа налилась соком», — сказал Бёрге. Мальчик и вправду как бы излучал благоденствие, и объяснялось это не только тем, что его хорошо кормили...

В дверь постучали. Вилфред узнал энергичный стук Бёрге. Так стучит тот, кто долго не решался постучать, но, решившись, стучит энергично. Бёрге был таким во всем — он всегда проявлял себя не сразу, но во всех проявлениях обнаруживал силу. В этот вечер он вошел в комнату решительней, чем всегда. За

голубыми льдинками глаз лучилось тепло. В руке он держал листки бумаги.

— Это ты написал? — взволнованно спросил он.

Вилфред скорчил гримасу и бросил взгляд на ребенка, словно ища предлог, чтобы Бёрге умерил свой пыл.

— Я думал, если это избавит тебя...

Тот беспомощно развел руками. На лице его появился необычный румянец — румянец возбуждения.

— Ты не в своем уме, дружище! Да ведь это в тысячу раз лучше того вздора, что я поставляю им на заказ. Ты должен послать им рассказ под своим именем...

Вилфреду удалось усадить его на стул и успокоить.

— Пойми, твое предложение бессмысленно. Кто я такой? У меня нет никаких знакомств. Если я и впрямь могу тебя освободить, дать тебе несколько недель передышки... К тому же я... Да ведь любой человек может написать рассказ, вот, когда это становится ремеслом, тут-то и выходит наружу, многого ли ты стоишь. Но еще раз повторяю, если ты можешь использовать эти страницы...

Вилфреду удалось уговорить Бёрге — «на сей раз». И все-таки это ни с чем не сообразно, твердил Бёрге, куда ни кинь — сплошной обман. А о гонораре и говорить нечего: он принадлежит Вилфреду, ведь для Бёрге такое великое счастье — месяц передышки, когда он может засесть за свою работу.

Так они и пришли к соглашению. У Вилфреда и в самом деле есть в запасе несколько немудреных сюжетов. Он вовсе не мнит себя писателем, но ему уже не раз хотелось попробовать свои силы просто так — чтобы поупражняться. А теперь вот представился удобный случай, — так что это он в долгу у Бёрге. Он проводил взволнованного писателя до дверей, а потом они продолжали разговаривать, прохаживаясь под деревьями. Они говорили о цели, которая когда-то в лучезарном блеске маячила перед Бёрге, но с годами все тускнеет. Поговорили немного и о Вилфреде. Но над ним бременем висело фальшивое имя и то, что он с первой минуты выдал себя за другого этим наконец-то повстречавшимся ему в жизни по-настоящему хорошим людям.

У него и вправду было такое чувство, словно это он у них в долгу за душевный покой, которого они не ценили, потому что не знали, что такое непокой в душе того, кто ищет покоя не то против воли, не то по доброй воле, не понимая, откуда эта воля взялась, но чувствуя на себе ее гнет, когда она вдруг вырывается наружу из темных источников в недрах его су-

щества. Он у них в долгу за этот покой, который может стать то ли передышкой между двумя битвами, то ли приобщением к каким-то ценностям — кто знает? Вилфред знал лишь одно: он хочет выразить им свою благодарность теми средствами, которые ему представляются. Потому что источники в его душе не повинуются ему самому. Казалось, они принадлежат другому человеку, а он берет из них взаймы, — может, то неосуществленные возможности отца пробиваются наружу, подобно подземным весенним водам, которые струятся в тине под скалами, но довольно случайной трещины в камне — и оттуда бьет чистый ключ...

Вилфред брал газету, как берутся за раскаленное железо. Каждое утро он заходил за ней к хозяевам и всегда старался подольше держать ее в руках с таким видом, словно она его ничуть не интересует. А потом, набравшись мужества, читал ее. В Европе воцарился мир, некое подобие мира. Вилфред рассеянно, как бы по обязанности пробегал все, что писали на эту тему. Фотография церемонии в Компьене грозным предостережением обошла мир. Но о том, чего искал в газетах он, писали скупом: время от времени маленькие заметки, разрозненные выступления на темы о пороке, который рыщет у дверей добродетели. Добропорядочные граждане, на которых не было вины, топили свою досаду в чернильнице. И каждый раз Вилфред откладывал газету, ощущая покой, как плотную оболочку счастья.

В один прекрасный день газеты сообщили, что объявился автор талантливых картин. Им оказался молодой многообещающий художник Хоген С., само собой, он не имеет никакого отношения к зловещему подполью, в котором нашли его произведения. Дело в том, что он выставил их на продажу у торговца картинами, а там оказалось тесно. Это открытие стало сенсацией. Хоген С. был изображен на снимке возле одной из картин. Художник некоторое время жил в Париже, учился у таких-то мастеров, но это никоим образом не объясняет своеобразия его живописи и не умаляет славы, которой датчане в мгновение ока окружили талантливого соотечественника и новатора. И снова упоминали об особенностях этих картин — какой-то их незавершенности. Но художник скромно давал понять, что это, собственно говоря, наброски, он не предполагал их выставлять. Вот почему он так долго не заявлял о себе — и еще из-за тягостных обстоятельств, которые были сопряжены с находкой картин...

Вилфред прочел газету, стоя в своей холодной комнате. Он смотрел на фотографию Хогена, на репродукцию одной из картин. Картина была хорошая. Он сразу заметил, что кое-что надо исправить — соотношение частей было непреднамеренно нарушено. Он тихо постоял, пытаясь определить свои чувства. Руки не дрожат, он не сердится, не огорчается. Пожалуй, он разочарован. Неужели в Хогене? Он сам не знал. А может, тем, что это не его вытащили из безвестности на свет божий?

Он беззвучно рассмеялся. Потом отложил газету, статьей кверху, чтоб она все время была на глазах, ему хотелось проверить, выведет она его из душевного равновесия или нет.

Но газета продолжала обращать к нему речь, какой он не мог вытерпеть, — она его будоражила. Он сложил ее и положил на стол.

Она продолжала твердить свое. Он свернул ее в узкую трубочку и куда-то засунул. Но она по-прежнему обращалась к нему тоном, который был ему неприятен. Тогда он бросил ее в печку и сжег, уничтожив новость, принесенную из мира, который он отринул. Он уселся за шаткий столик. Но теперь ему доставало газеты: ее можно было подложить под одну из ножек стола — ничего другого, подходящего для этой цели, под рукой не нашлось. Писать он не мог. Он вышел во двор. Было холодно, по небу плыли облака, приближалась зима.

Вилфред дошел до станции и купил новую газету, скупил все газеты, какие были. Он с жадностью развернул их еще по пути, сообщение о новооткрытом художнике напечатали все, у некоторых оно звучало в приподнятом романтическом тоне: затаившийся гений, которого извлекли из безвестности при обстоятельствах столь случайных, что в них отразилась сама жизнь. Тут же были и фотографии, снятые в доме художника в Северной Зеландии: художник верхом, художник у мольберта на лоне природы. Создатель картин согласился сняться с величайшей неохотой, писали газеты, он застенчив и скромн. Он считает, что художник должен работать вдали от суеты. А по такому-то вопросу он считает то-то и то-то...

Наконец-то Вилфред почувствовал злость. Она не застлала ему глаза багровым облаком, а придавила его свинцовой тяжестью, бессилием. Он стоял на дороге под оголенными деревьями и чувствовал, как им все сильнее овладевает праведный гнев.

Сжимая газеты под мышкой, он не мог удержаться от смеха. Ей-богу, он испытывал неподдельное восхищение! Да и как не восхищаться хитроумно рассчитанной смелостью этого лов-

кача, сидевшего по ночам в «Северном полюсе» с суженными зрачками. Он присвоил себе чужую работу ради престижа. Не ради денег, нет, и не ради славы — в эту минуту Вилфред вдруг отчетливо это осознал, — ради того, чтобы подкрепить недостаток веры в самого себя. Вот он и додумался в своем бессилии до этой плутни: ухватиться за чужое искусство и держаться за него, пока не нащупаешь почву под ногами. Выходит, никакой он не погибающий ночью гений, а заурядный обманщик, который обманывал самого себя, играя свою жалкую игру, куда входила капелька отравы и ночная жизнь, — один из многих тысяч современных тщеславных мещан, которые играют в искусство у себя на дому и обманом присваивают себе на неделю громкое имя в стране Лилипутии.

Вилфреду было смешно. Ну а сам он? Чего стоит его собственная игра с кистью, с клавишами, а теперь со словами — со всем тем, что составляет вопрос жизни и смерти для тех, кто не играет, а *живет?*..

Он сам такой же обманщик, как все остальные...

Деревья вдоль дороги задрожали от сильного порыва ветра. Вихрь сорвал редкую листовую крышу над головой Вилфреда. И сразу все вокруг прояснилось. Ну да — обманщик. И все-таки...

Вилфред весело и прилежно корчил свои гримасы. Когда дело касается тебя самого, всегда найдется какое-нибудь «все-таки». И в ясном свете, окружавшем его, выявилось еще другое — смутная радость оттого, что у него есть тайная жизнь, пусть даже она ему во вред, радость оттого, что он не выставляет напоказ свои маленькие дарования...

Как-то вечером хозяева попросили его сыграть. Маргрета Виид, возвращаясь домой, однажды явственно слышала, как он играет. И он сыграл для них, размял одеревеневшие пальцы, которые много месяцев не прикасались к клавишам, показал свое искусство на том самом Бахе, который снова начал входить в моду, и его самого захватило шальное желание выразить себя и, может быть, *убедить* кого-то, а вернее, именно этих людей...

Он сыграл одну пьесу, другую, слегка фальшивя там, где подводили пальцы. Но, обернувшись, он увидел, что Бёрге стоит посередине комнаты, излучая то удивительное сияние, которое Вилфред с первого раза мысленно назвал ореолом. Он протянул Вилфреду обе руки в безмолвной благодарности, в удивлении, которое еще немного — и излилось бы в вопросах. Вил-

фреду стало не по себе. Конечно, он что-нибудь да ответил бы им, объяснил бы все самым простым образом: случаю, мол, было угодно, чтобы он получил воспитание в кругу, где ценили музыку и прочие эстетические удовольствия, в утонченном буржуазном кругу, который клонится к упадку и вряд ли хорошо влияет на тех, кто является, так сказать, его порождением. Но вздумай они утверждать, что он на редкость талантлив, что одарен и в этой области и в других, он оспорил бы эту нелепицу, звучащую как поклеп именно в их доме. Он вундеркинд, навеки оставшийся в пеленках, вот что он сказал бы им, сам понимая, что они истолкуют это как скромность. Но обошлось без вопросов. И все трое продолжали оставаться друзьями, которые с каждым днем все меньше знали друг друга.

В прозрачной ясности дня на дороге Вилфред вдруг увидел, что настала зима: в одно мгновение расплывчатость переходного сезона сменилась определенностью. И в нем самом все переменилось: из мира мечты, не имевшей отношения к действительности и продолжавшейся несколько месяцев, он вернулся к тому, что было реальным, — к своей защищенной жизни среди тайн, с которыми он не желал расставаться. Злая улыбка искажала его черты — пусть ее, он строил гримасы самому себе. Держа в руках газету с фотографиями Хогена, он чувствовал, как в нем зреет мрачная уверенность, уверенность в том, что мир лжив и он его частица: одновременно и добрый, и лживый, и чистый, счастливчик шулер, который балуется искусством ради чужой славы, а себе с помощью своей жалкой сноровки может наскрести денег.

Деньги. Ну конечно же, его злит одно — что этот самый Хоген превратил три несчастные картинки в деньги, в деньги, на которые Хогену, собственно говоря, плевать. Ему важен «почет»...

И сразу пришла мысль о тех — других деньгах. Интересно — сколько их там? Вилфред тотчас увидел перед собой пухлые стопки мятых купюр — деньги, не заработанные честным трудом мысли или рук. И ему страстно захотелось овладеть именно *этими* деньгами, потому что они принадлежали ему лишь отчасти, потому что на них налипла грязь, — такие деньги ему нужны.

Он смеялся, поднимаясь по холму против ветра. Чему быть, того не миновать, каникулы кончились. Он знал, что знал это

все время: *оно* грянет, налетит ураганным ветром, завивающим вихри пыли и мусора. И этот ураганный вихрь в конце концов сметет все.

Но когда он оказался возле домиков под голыми деревьями, ему вдруг все же стало жаль терять ту жизнь, какой он жил в последние месяцы. В конце концов, что значит газетное сообщение?

Ведь ничто не изменилось. Хоген считает себя в безопасности. Те немногие, кто знает правду, лишены возможности его выдать. Хоген передернул карту — ну так что ж! Ничто не изменилось. Сам он стоит сейчас в этом мирном дворе между двумя дружелюбными домами, между людьми, которые в какой-то мере зависят теперь от его добрых дел. Они даже не подозревают, какую огромную помощь оказали ему. Он в ответ тоже оказал им помощь, и эту помощь они высоко ценят: она дает возможность спокойно работать тому, кому Вилфред больше всего на свете желал бы помочь.

Словом, если Вилфред захочет, все будет почти улажено. Он написал фру Виид записку, что едет в город. Он был там за минувшие месяцы всего три раза. И каждый раз, когда он туда ездил, его ждало письмо от матери — за все время их было пять, и он, наслаждаясь своим удивительным покоем, отвечал ей, что у него все хорошо, он играет и занимается живописью, он дал ей понять, что готовится к какому-то поприщу всерьез — письма, отмеченные наигранной значительностью и преисполненным благих намерений оптимизмом, который временами был почти искренним. Пришло также несколько желтых военных повесток — знак того, что тебя всюду отыщут...

Вилфред пошел на почту, там его ждало письмо от дяди Рене. Он тотчас вскрыл это проникнутое смиренной радостью письмо, написанное рукой дяди Рене, почерк казался узорчатым орнаментом: каждое слово выписано как бы с любовью к самому его начертанию. Вилфред вышел на улицу и огляделся вокруг. До сих пор он приезжал в город ненадолго, тогда он не озирался на углах, а просто возвращался на вокзал к поезду или брал такси в убеждении, только наполовину искреннем, что все его страхи перед преследователями вымышлены.

Немного погодя он уже стоял на улице перед «Северным полюсом». Выпал скудный снежок, он таял, едва коснувшись мостовой. Вилфред зашагал вдоль домов, высчитывая, где расположен подвал. Он осторожно прошел от угла до угла, охваченный чувством сродни прежнему страху, которое неожиданно об-

радовало его. По тротуару катилась девочка на роликах. И вдруг, оступившись на покатости тротуара, она упала ничком и заплакала. Вилфред подошел к ней и помог подняться. Она с изумлением уставилась на него: она не привыкла, чтобы ей помогали. И снова, уже нарочно, улеглась на асфальт — пусть помогут снова. Но он уже позабыл о ней. Он стоял у покатоного спуска к дому, к массивной двери с мощными запорами и железной щеколдой. Вилфред обратил внимание, что в ближайшем к ней окне стекло светлее, чем в остальных рамах. Как видно, стекла никогда не мыли, поэтому то, что было вставлено несколько месяцев назад, предательски сверкало чистотой. В пяти шагах отсюда, в подвале, у стены, лежат деньги, его деньги. В газетах не сообщалось о том, что их обнаружили. Он быстро огляделся и зашагал прочь, для вящей уверенности еще прочитав название улицы. На углу он все-таки снова обернулся. Дело близилось к вечеру, темные, угрюмые люди с тусклыми глазами возвращались домой с работы. Вдалеке стукнула дверь молочной. Молочная стояла перед его внутренним взором, ему не надо было оборачиваться: он и так знал, где что расположено. Душевного покоя как не бывало. *Оно* могло грянуть в любую минуту.

Едва Вилфред вернулся домой, на пороге флигеля появился Бёрге. Ну да, мальчика они взяли к себе. Какое там беспокойство, наоборот, Маргрета так любит мальчонку. У них гости, они надеялись пригласить Вилфреда, он ведь так редко отлучается из дому. Может, он сейчас зайдет к ним? Он еще не знаком с их друзьями...

Бёрге немного выпил — совсем немного. И как всегда, выпив стаканчик, он был преисполнен пыла и доверчивости. И Вилфреду самому захотелось заразиться этим возбуждением, которое прогнало бы прочь то, другое, заразиться доверчивой убежденностью в том, что все в мире прекрасно.

— А удобно ли явиться в гости так поздно?

В комнате, куда они вошли, в глубоком кресле сидел Хоген. Они с Вилфредом сразу узнали друг друга, но никто не обратил на это внимания. Вилфред предчувствовал — не то, что он встретит Хогена, но он знал: что-то случится. Он владел своим лицом: оно ничего не выдало. Не выказал удивления и Хоген. Только на секунду отвердели бледные губы. Среди гостей присутствовала некая потресса. У нее были короткие гладкие волосы (такая стрижка считалась дерзкой и необычной), когда они

вошли, поэтесса читала стихи, Вилфреда представили знаками, чтобы ее не прерывать. Ему вручили стакан. Он слышал, как за окном ветер раскачивает деревья, и этот шум звучал аккомпанементом странным стихам, выделяя что-то зловещее в их ритме. Когда чтение окончилось, вокруг поэтессы завязался разговор. Речь шла о новой поэтической манере. Спорящие разделились на партии, стихи поэтессы еще усугубили разницу во мнениях.

Вилфред сидел спиной к Хогену и ощущал на себе его взгляд. Он подошел к Маргрете, заговорил о ребенке, извинился. Но она тоже была необычно возбуждена и многословна. Стало быть, супруги Виид и вправду находились среди друзей и чувствовали себя как нельзя лучше, в каждом его маленькая вера поднялась на одну зарубку выше. Бёрге подошел к Вилфреду с бутылками и закуской. Его усадили за стол, поставив перед ним гору всяких яств. Кто-то сказал — хорошо бы послушать музыку. Вилфреда усадили за пианино, и он сыграл Шопена. И все время ощущал на себе взгляд Хогена. В углу гостиной тихо заговорили о живописи. Когда Вилфред отошел от инструмента, ему похлопали. Теперь кто-то упомянул о трех картинах Хогена. Вилфред встал, отодвинув тарелки и стаканы. Благодатная тревога мало-помалу овладевала им, он подошел к Хогену и сказал:

— Ах, так это вы написали нашумевшие три картины — поздравляю! — Сказал без тени иронии в голосе или в выражении лица.

Хоген встал. Разговоры вокруг шли своим чередом. Ни один из них не кивнул головой, не сделал знака глазами. Но оба вышли во двор. Теперь ураган безжалостно сотрясал деревья. Облака, словно злобные птицы, метались по небу, где в просветах мерцали одинокие звезды.

— Я могу вывести вас на чистую воду, — сказал художник.

Они стояли друг против друга — Вилфред был выше ростом, тому приходилось смотреть на него снизу вверх. Перед Вилфредом был обманщик, тщеславный дурак, припертый к стене. Он выпил ровно столько, чтобы потерять осмотрительность.

— Положим, вы меня разоблачите — а дальше что? — спросил Вилфред.

— Вы правы, — угрюмо усмехнулся тот. — Вам нужны деньги? — немного погоды спросил он.

— Да.

— Стало быть, шантажируете?

— Какой же это шантаж, если вы продали картины?

— Я мог бы их продать.

— Мне нужны деньги.

— Стало быть, шантаж, — повторил тот. Вилфред пожал плечами. Желанная злость не приходила. Он сжимал кулаки, потихоньку пытаясь себя подстрекнуть. Ветер трепал волосы обоих. Они были похожи на двух петухов, которые распалют себя перед боем.

Но желанная злость не приходила. Что это с ним — уж не восхищается ли он?

— Вы спросили меня, нужны ли мне деньги, — спокойно сказал он. — Я ответил. Нужны. Но не ваши.

— Ну и ловкач же вы! — тотчас сказал другой.

Вилфред рассмеялся.

— Мы оба ловкачи. Но я не хочу, чтобы это дошло до Виинда и Маргреты. — Ядовитая улыбка скользнула по лицу Хогена. И тут Вилфред почувствовал прилив желанного гнева. — Я здесь прожил некоторое время, и мне здесь было так хорошо, как давно уже не бывало.

— Лучше, чем в тюрьме?

— Лучше.

Беглые вопросы, краткие ответы.

— Я оставляю вам картины по совершенно определенной причине, — сказал Вилфред. — Вы излагали теорию, которая мне была неясна. Она побудила меня написать картины.

— Но вы их не закончили. А я закончил.

И тут Вилфреда охватила злая радость — значит, картины погублены. В нем брезжила нелепая надежда, что однажды он снова увидит эти три холста. Но теперь к ним прикоснулся кистями глупец. Злая радость от того, что они погублены, боролась в нем с разочарованием и гневом. Он целый день предчувствовал это, предчувствовал: чему-то конец. Он недаром ходил сегодня на улицу, где подвал, он предчувствовал это и едва не забрался в свой тайник.

— Вы ничего не скажете? — спросил Хоген.

— А что мне сказать?

— Я не о том. Я спрашиваю напрямик: скажете вы им? И — газетчикам?

Глупец. Глупец, намалевавший что-то на чужих картинах, которые присвоил себе почета ради. Глупец, который укрепил

свою шаткую веру в собственный ничтожный талант обманом, а теперь трясется от страха. Туго же им приходится, глупцам.

— Какого черта вам втемяшилось в голову заканчивать эти распроклятые картины! — грубо сказал Вилфред.

За поворотом дороги показался автомобиль. На мгновение фары молнией осветили их. Им теперь приходилось говорить громче, чтобы перекрыть вой ветра, бушевавшего между домами и деревьями. Хоген приблизился к нему вплотную и почти выкрикнул:

— Хотите писать для меня картины?

Хоген думал, что шепчет, но это был шепот в грохоте урагана. Яростная мимика придавала словам какой-то противоречивый смысл. Вилфреду стало смешно. Ему вдруг захотелось хамить.

— Десять тысяч, — отрезал он. Хоген отпрянул, Вилфред наступал на него шаг за шагом. — Гоните десять тысяч крон, и я буду писать ваши чертовы картины.

Художник замахал руками, Вилфред тоже поднял руки, сжатые в кулак в упоительном приливе решимости.

Но тут же уронил руки. Кто-то вышел из дома. Треугольная полоса света упала на двор, не дотягиваясь до них. Поэтесса-модернистка беспомощно постояла в светлом треугольнике, на ветру похожая на лысого старца. Потом дверь захлопнулась, и темнота милосердно скрыла ее от их глаз. О том, что она делает у лестницы, можно было догадаться только по звуку. Руки Хогена что-то протягивали ему в темноте. Это была визитная карточка. Вилфред ощутил ее в своей руке, на мгновение прикоснувшейся к руке художника, — это было мерзко. Порыв ветра улегся.

— Нам надо бы поговорить кое о чем. — Злой огонек вспыхнул в глазах Хогена. — Кстати, известно ли вам, что завтра один из ваших *земляков* дает концерт. Некая дама, весьма талантливая. Об этом пишут в газетах. Кстати, супруги Виид с ней знакомы, ее зовут Мириам Стайн, может, и вы ее знаете, но, понятное дело, вам нельзя в этом признаться, вы ведь теперь датчанин...

Холодная молния ослепила Вилфреда. Мириам... Стало быть, она переменяла фамилию: Голдстайн на Стайн — эта дурацкая мысль первой пришла ему в голову.

— Нам надо бы поговорить кое о чем, — злобно повторил художник. Он помолчал, как бы давая улечься впечатлению от своих слов. Вилфред был застигнут врасплох — но, собственно,

что на него так подействовало? И как это так выходит, что им всегда удается нащупать его слабое место? Мириам... А может, Хоген назвал ее просто как «земляка», чтобы подчеркнуть, что ведь и Вилфреда нетрудно скомпрометировать — у него, Хогена, тоже есть на руках козыри, в случае чего он может его разоблачить...

Художник ушел, оставив карточку в руке Вилфреда.

Вилфред почувствовал было злобную радость: карточка тоже может стать козырной картой в игре. Но нет, противник обыграл его. Что он мог знать о Мириам и о нем? Ничего. Однако злобный инстинкт всегда подсказывает, когда пустить в ход наемки. Дурацкая, никчемная карточка — поздно, его обезоружили.

И вообще слишком поздно. Мирная жизнь рухнула, возврат к ней невозможен. Невозможна даже борьба на равных между двумя обманщиками — им и Хогеном. Слишком поздно. У него выбили оружие из рук.

В разгар бури он пробился к мирной передышке, как все страны мира пробились к перемирию, вымолили его себе, хотя в ту же минуту уже начали снова точить оружие. Вилфред сунул карточку в карман. Хорошо, что мирное время кончилось. Он вернулся в дом, поблагодарил хозяев. В глазах Маргреты появилось какое-то необычное выражение. Бёрге слегка захмелел. Блаженно разнеженный, он откинулся в глубоком кресле. В том самом, в каком при появлении Вилфреда сидел Хоген. Бёрге посмотрел на него блаженно, туманно.

— Куда ты дел Хогена? Уж не убил ли?

Вилфред собирался проститься с ними. Убил Хогена? Он взглянул в безмятежные глаза Бёрге; тепло растопило прозрачный ледок, Бёрге был счастлив. Но инстинкт вел его безошибочным путем.

— Нет, не убил. А он, что, ваш друг?

— Друг? — переспросили в один голос Бёрге и Маргрета, Что-то носилось в воздухе. — Нет, он просто... — сказал Бёрге.

Вилфреду хотелось броситься перед ними на колени: что-то подсказывало ему, что дружбе конец, ибо он лжец, неспособный преодолеть свою натуру. Он хотел бы объяснить им, что если и оказывал им какие-то мелкие услуги, то на самом деле это они услужили ему, а не он им, потому что его небольшая помощь в литературной работе на самом деле давала выход тем его чувствам, которые могли бы окрепнуть, сохрани он подольше желанный покой и не пробудись опять чуждые силы в нем

самом и вне его, не вторглись они туда, где ему жилось так хорошо, так безмятежно, и не лиши его крова...

Но тут открылась дверь. На пороге стоял Хоген, в шляпе. Острое личико было белым, как порошок, к которому он прибегнул, чтобы набраться храбрости.

— А известно ли вам, что мы с вашим жильцом и другом...—Голос его прерывался... —Заключили договор... Он ведь художник... Вы не знали? —Теперь Хоген повернулся к Бёрге, в его взгляде была мольба: «Помогите мне выбраться отсюда подобру-поздорову...» и в то же время злоба. — Скажи мне, и твои рассказы тоже пишет он?

15

Вилфред проснулся, сознавая все, что произошло. Слышно было, как бушует ураган. Ночь еще не миновала.

Неужели кто-то поет?

И тут всплыло воспоминание: Бёрге переводит взгляд с Хогена на Вилфреда, с Вилфреда на Хогена, протестующий и молящий взгляд, — не может быть, чтобы на свете было одно только предательство... И Маргрета — она встала с места, едва Хоген появился в дверях, словно чуя какую-то беду. И у обоих во взгляде протест и мольба.

И этот Хоген, в ту же минуту сникший, не потому, что причинил зло другим, а потому, что из-за вечной неуверенности в себе и тяге к самоуничтожению выдал себя.

Потом он ушел. А Вилфред снова спросил:

— Он вам друг?

Нет, нет, он им не друг, собственно, его привела поэтесса... Но они не спросили, что означал вопрос Хогена, пишет ли Вилфред за Бёрге. А он, Вилфред, — он и не мог бы оправдаться, тут было слишком много всего, слишком много накручено другой лжи: картины, датский язык, его фамилия, «Северный полюс», Рене...

Славные люди, эти двое. Он видел, как они стоят в дверном проеме, быть может, он лишил их последней веры... Но кто это поет?

Среди воя ветра слышался голос, тонкий девичий голосок. Вилфред лежал в кровати, весь дрожа, и сквозь пелену мыслей прислушивался к голосу. Вдруг кто-то свистнул, а потом снова запел:

В скорлупке по морю приплыл
К нам Вилли, парень ловкий...

Он откинулся на кровати, уступая отчаянию. У него было забрезжила надежда, и он поверил в нее. А потом перестал верить, потому что его обступили дурные предзнаменования. Теперь ему безразлично, что думают Бёрге и Маргрета, — выдал он их дурацкую тайну или нет. Он уже не помнит, когда в его жизни что-то было правдой.

Только теперь он наконец понял, что за окном в самом деле кто-то поет. Ночь все еще продолжалась, та самая ночь, и пение казалось неправдоподобным. И все же это была та самая ночь. За один день лопнули все связи.

И тут он снова услышал песенку — идиотский стишок:

...Купите по дешевке!

Порыв ветра смел песенку. Одним прыжком Вилфред соскочил с кровати. На дворе было все еще темно. У дверей никого не оказалось, он босиком обошел дом вокруг. Кто-то двинулся ему навстречу.

— Ты можешь поговорить со мной? — спросила женщина.

— Кто это?

— Ирена.

Она протянула ему обе руки — холодные как лед. Он ввел девушку в дом, зажег свет. Налил ей и себе по стакану, закурил сигарету и дал прикурить девушке. Мирная жизнь кончилась, он это предчувствовал еще раньше.

— Ты меня помнишь? — спросила она с ноткой кокетства. Она дрожала в легком весеннем костюмчике — он помнил этот костюм. Когда-то он питал к ней мимолетную маленькую слабость. — Мне пришлось спеть эту песенку, — сказала она, как бы оправдываясь. — Сначала я свистнула.

— Откуда ты узнала, где я живу? — спросил он.

— Они ничего не знают, — живо отозвалась она. Ему стало немного стыдно: она угадала суть его вопроса. — А я-то откуда узнала? — продолжала она. — Я тебя случайно увидела на дороге. Я тут вроде как бы работаю в одном доме... — Она неопределенно кивнула в сторону окна.

Они помолчали, покурили. Он размышлял, с какой целью она пришла. Она казалась какой-то взъерошенной в своем легком костюмчике.

— Могу я тебе чем-нибудь помочь? — осторожно спросил он.

— Это я пришла тебе помочь! — рассмеялась она. Она возбужденно подалась вперед на плетеном стуле. Стул скрипнул. Она испуганно вздрогнула. Порывистый ветер сотрясал деревья. — Они ищут тебя.

— Кто?

— Они. Я пришла предупредить тебя об этом.

— Кто «они»?

— Это из-за денег, — продолжала она. — Ты сбежал с деньгами. А других сцапали.

— Игроков?

— А Эгона нет. И еще карточки — членские билеты, ты их тоже прихватил.

— Ну и что с того? — Оба говорили быстро, задыхаясь: вопрос — ответ, вопрос — ответ. — Ну и что? — повторил он. Чего она добивается?

Она приняла обиженный вид.

— Я пришла тебе помочь.

— Допустим, — холодно сказал он, наполняя стаканы. — Что до этих проклятых карточек, я могу сказать, где они. А деньги...

— Что с деньгами? — Вопрос прозвучал слишком поспешно.

— Я их истратил. Прошло много месяцев.

— А где карточки?

С виду она была не опасна, не похожа на отчаявшегося, загнанного человека, какой она должна была бы выглядеть, будь она орудием шантажа. Он не торопясь объяснил ей, где зарыты остатки членских билетов «Северного полюса». Но ни словом не обмолвился, что там они не все. Только теперь он понял, зачем их зарыл: чтобы иметь резерв, чтобы те не добрались до денег, в случае если...

— Можешь нарисовать, как пройти? — спросила она. Он загорелся, взял бумагу, карандаш, нарисовал план. Она рассеянно сунула бумажку в карман. — Те картины, это ведь не он, не Хоген, их написал. А ты боишься сказать.

— Чего мне бояться?

— Эгона! — Она опять заторопилась.

Он на секунду задумался.

— Почему Эгона?

— Он тебя ненавидит. — Теперь следует поразмыслить. Закурив сигарету, Вилфред сделал вид, что размышляет. — Ты этого не знал? — спросила она.

— Чего именно?

— Что он ее любит. Всегда любил. А она им вертела, как хотела, гоняла туда-сюда, да еще заставляла прислуживать своим любовникам, сука проклятая...

Его поразила ненависть, звучащая в ее голосе. Она казалась такой беспомощной, такой невинной в своем легком костюмчике. Но худые руки нервно сжимались.

— Так это Эгон охотится за деньгами? — спросил он.

— За тобой! — быстро возразила она. И протянула стакан.

— А деньги?

— Значит, они у тебя?

Он спрашивал, чтобы выиграть время. Но с ней не пришлось долго возиться.

— Ты ловка! — рассмеялся он. — Выходит, если я дам тебе деньги, которые, по твоим расчетам, у меня есть, ты не расскажешь Эгону, где я живу?

— Ты думаешь, я тебя шантажирую? — произнесла она с расстановкой.

— Да, — ответил он.

Знакомая картина: они как две кошки или как собака и кошка — один отступил, другой наступает... Но в ее взгляде появилась растерянность, опровергавшая все его подозрения. Она отставила нетронутый стакан.

— Я хотела помочь тебе.

Ее растерянность была неподдельной, это от него не ускользнуло.

Он приподнялся, погладил ее по голове. Она отпрянула.

— Не надо! — выкрикнула она.

— Боишься?

— Это ты боишься. — Как две кошки. В их паре нет трусливо преследующей собаки. — Ты боишься Эгона. Всегда боялся, — сказала она. — Ты мошенничал в карты.

Она выпалила это единым духом, как что-то заранее заготовленное.

Стало быть, ее все-таки кто-то подослал и она чье-то оружие. Он торопливо размышлял о деньгах, о том, какую роль он сам может сыграть в этой игре.

— А полиция? — спросил он.

— Ну конечно, — возбужденно сказала она. — Они тоже ищут их, всех ищут: нас, тебя... Не понимаешь ты, что ли! Они искали совсем другое... порошок... кокаин. Не понимаешь ты, что ли?

Теперь она говорила почти с мольбой, словно молила: только бы с кем-нибудь заодно, только бы не в одиночку.

— Если ты заявишь о картинах...

— Я не заявлю о картинах.

— Они не верят в это! — сказала она беспомощно. — Эгон не верит.

И, глядя, как она сидит, стискивая стакан, который он ей палил, он поверил ей. Все ясно. Они думают, он явится в полицию, чтобы вернуть себе картины, они думают, он клюнет на приманку, они думают, он их выдаст. Обокрал их и выдаст. Они думают... Эгон думает, что он воспользуется случаем, чтобы спасти свою шкуру, а их отправить за решетку. Да, вот в чем все дело: они боятся. И полны лютой ненависти. Эгон, темнокудрый любовник, полон ненависти и страха.

— Я ведь сказал, где найти карточки, — устало произнес Вилфред.

— Мы проверим, — сказала она.

— Кто это «мы»? — живо спросил он.

— Они не посылали меня, — ответила она. — Но я встречаюсь с ними, они расспрашивают. — И опять в ее взгляде появилась растерянность. И он вдруг понял: тому, кто пойман, не уйти.

— Ты сказала, что где-то работаешь?

Она пожала плечами, худенькими плечами в легком костюмчике. Она успокоилась. Рассказала об арестах, о том, что Адель получила срок — восемнадцать месяцев, за сводничество, незаконную торговлю, за игру и еще бог весть за что. Она сказала об этом со злорадством, каким-то детским, несмотря на всю ее серьезность. А Мадам и впрямь дама из хорошего общества. Ей дали большой срок.

В газетах об этом не было ни слова. Вилфред не понимал почему. Она снова пожала плечами. Газеты об этом не сообщают. По возможности дело стараются держать в тайне. Ведь разыскивают остальных... Кстати, знает ли он, что Адель зовут совсем по-другому? Она родом из Швеции, из Даларна. Когда она говорила об Адели, рот у нее кривился.

Да, теперь он знал, для чего он зарыл карточки. Чтобы откупиться. Деньги и остальные карточки он хотел сохранить. И еще кое-чего он хотел. Хотел, чтобы у него было запретное прибежище, которое манило и притягивало бы его в часы, когда искушения кажутся сладкими... Он зарыл карточки и сберег их в тайной уверенности, что дурное вернется, и тогда ему по-

надобится оружие, но, если даже ничто не вернется, ему все равно нужно оружие, потому что неплохо иметь про запас оружие зла. Газеты так и писали: «... в руках шантажиста...»

— Лола умерла, — сказала она.

— Какая Лола? — Он не помнил, кто это. В самом деле не помнил.

— Мальчика зовут Рене? — спросила она.

— Сколько? — крикнул он.

Он вскочил. И стоял замахнувшись, готовый ударить, задуть. Потом уронил руки, чувствуя, как их сводит судорога. Она обвила руками его шею. И притянула к себе. В худом теле обнаружилась неожиданная сила.

Ураганный ветер терзал верхушки деревьев. Он ощущал на своих щеках ее горячие слезы. Легкий костюмчик сам собой соскользнул на пол.

Стало быть, грянуло, ну что ж — отлично. Он поднимался от дома вверх по склону с коляской — ему было зябко. Ураган улегся, но дул упорный ветер, пробиравший до костей. Он пошире расправил откидной верх коляски. Грянуло то, что должно было грянуть. Он поглядел на дома внизу с каким-то вялым состраданием. Там была защита — дружба, вера. Вспомнился рассудительный голос Бёрге нынче утром: «Этот Хоген — он вовсе не друг нам...» В надежде, что Вилфред объяснит.

Грянуло. Он хотел как бы оградить ребенка от их заботливости, чтобы мальчик тоже не стал проводником фальши в этом доме, в единственном доме, где фальшивая игра дала себе передышку, питаясь верой, смешной, но искренней — она была искренней верой, пока была.

Ирена!.. Его догадки оказались верны... Они лежали, прижавшись друг к другу в приливе блаженной доверчивости, и говорили все как есть, вернее, предполагали, что говорят все как есть. Но ни он, ни она не были властны над своей судьбой.

Существовали силы, которые им не подчинялись. Силы, в руках которых был закон, и другие силы, в чьих злобных, оголтелых, ненавидящих руках было нечто иное: эти волосатые руки сжимали карты, как нож. Враждебные силы были повсюду, Вилфред сам накликал их на себя, и так будет всегда, пока в нем самом сохраняются силы.

А она? Она никаких сил не вызывала. Эта девчонка в легком костюмчике просто сбилась с пути. Ее звали Енни. Поче-

му бы нет? Все носили фальшивые имена. У всех было по несколько имен — по два, помногу...

Какая-то пара поднималась по дороге от станции. Это были Маргрета и Бёрге Виид. Шли они медленно, Вилфред видел, что они поглощены разговором. Он вновь ощутил в себе прежнее искусство подслушивать не у дверей, а сквозь воздушные слои, улавливая колебания, которые не могут достигнуть слуха, но мгновенно передаются слушателю-угадчику, если он достаточно сообразителен и чуток.

Он слышал, как она успокаивает его, — не все, мол, обман, и Вилфред ничего не выдал. И слышал, как Бёрге, который в душе убежден, что так оно и есть, пользуясь своей мужской привилегией, высказывает самые мрачные предположения, и теперь уж просто ее долг — разуверить мужа в них, согласуясь с его собственными желаниями.

Вилфред — их блудный сын, чьи прегрешения они сейчас обсуждают; он причинил им горе, без которого родительские чувства неполноценны — слишком идиличны, а стало быть, неправдоподобны.

А теперь супруги уверовали в них. Этим-то он и оказал им услугу. Он оплатил свой долг, заронив в них каплю подозрения в том, что, может быть, он их предал.

Но доброе дело будет не завершено, если теперь он не исправит положения и не одарит их робкой надеждой, что все хорошо. Сомнение — вот она отрада родителей, сверкающий драгоценный камень, который завораживает их своими переливами, потому что они жаждут неотрывно глядеть на что-то блестящее, чтобы то, что не блестит, не одержало верх и не затмило все.

Но тут Вилфред увидел нечто неожиданное. Они дошли до последнего поворота и ускорили шаги, как бывает, когда люди приближаются к тому, чего они боятся. И вдруг навстречу им появилась девочка, маленькая фигурка в голубом пальтишке с узенькой меховой опушкой. Вилфред видел, как с минуту они стояли все вместе. И девочка тут же ушла. Бёрге окликнул ее. Вилфред видел, что он роется в кармане пальто, где никогда не было денег, и что Маргрета нашла что-то в сумочке, а девочка присела и весело побежала вверх по склону. Было в ней что-то голубое и невинное, напоминавшее Эрну, храбрую девочку на фронте; как видно, она получила свои чаевые, свою

награду — крест и ленту, свой почетный диплом, чтобы повесить в рамке... Он видел, как те двое вошли в дом с письмом в руке.

Это записка к нему от Ирены. Он это знал. Он подумал: «Я знал бы это, даже не увидев. Сегодня один из дней, когда знаешь все».

Деревья напевали песню, но не ласковую, а полную угроз. По дороге пробежала белочка, робко искушая судьбу. На секунду она оглянулась на Вилфреда. Его это вдруг страшно разозлило. Черт ее побери, эту белку, сидела бы себе тихонько на дереве, где она в безопасности. Стукнуть бы ее палкой, прикончить бы ее — а все потому, что она заносчиво искушает судьбу...

Он топнул ногой. Зверьку ничего не оставалось, как шмыгнуть к дереву. Но, чуть поднявшись по стволу вверх, белка снова безрассудно высунула мордочку. Его охватила безудержная ярость против этого несмышленного зверька. «Мерзкая тварь!» — завопил он, схватив длинный прут. Но в эту минуту коляска покатила вниз к обрыву. Он бросился за ней, вцепился в ее ручку. Его била нервная дрожь. Навязал себе на шею проклятого мальчишку...

Он все еще сжимал в руке прут. А ведь он мог бы вытащить мальчишку из коляски и закопать труп в землю. Мог бы выпилить крест и сделать на нем слезливую надпись.

Он уронил руку, державшую прут, прут упал на землю. Не все ли равно, «его собственный» это ребенок или нет. Разве можно владеть ребенком? Бёрге Виид вошел в дом, за ним Маргрета. Бёрге обернулся, приглядываясь к вершине холма.

И Вилфред вдруг подумал: «Бёрге — мой нынешний отец».

Ну что ж, тогда он в отместку разочарует этого отца. Отцы для того и существуют, чтобы разочаровываться в детях. Он видел фотографии отцов в гостиных, где они висели на стенах над живыми отцами, сидевшими в круге света от лампы, — с вечным укором в кротком взгляде, который наследовали отцы, сидевшие под лампой, и передавали дальше по нескончаемой цепочке укоров от отца к сыну... Все несчастье отцов крылось в том, что они надеялись, надеялись, что следующее поколение будет удачливым. Своим малодушным ожиданием они механически отравляли сыновей. Как ступени лестницы переходят одна в другую, бездумно и непрерывно, так они перелагали наказание на других — на полное надежд молодое поколение, потому что рождали сыновей, обреченных жить в мире, с которым они сами не сумели совладать.

Вот сыновья и разочаровывали их — и родителям было на кого свалить вину. И несчастные отцы, сбросив с души тяжелое бремя, сидели под лампой и зализывали свои раны.

Сердце Вилфреда окаменело — стало таким, как он хотел. Теперь он был сам по себе, другие были — другими.

Надо положить конец этой непрерывной цепи, этой слепой череде надежд. Надо разорвать цепь в любом месте — и лучше всего в ее самом слабом звене!

Он, как вор, погрузил руки в теплые перинки в глубине коляски, схватил лежавшего там малыша и в яростном торжестве поднял его над головой, готовый швырнуть о камни.

— Гляди, Эгон! — крикнул он. Он стоял, подняв ребенка высоко над головой.

Внизу, между своими вытянутыми руками, он видел холмы Харескоу, освещенные холодным солнцем и испещренные тенями гонимых ветром облаков. Он видел, как Бёрге вышел из дома и стал смотреть вверх, защищаясь рукой от солнца.

Он стоял, высоко подняв ребенка и чувствуя, как все его тело наливается силой, бьющей из темных источников, чувствуя мрачную уверенность, что все вокруг было и будет злом.

16

Мужчина с сигарой поднял мальчика высоко над головой и подбросил его в воздух.

Позади вскрикнула женщина. Мужчина поймал мальчика сильными руками, с улыбкой обернулся — успокоить, а потом снова подбросил мальчика вверх.

Каждый раз, когда мальчик оказывался внизу, он видел скатерть, разостланную на поросшем травой склоне и уставленную синими тарелками и сверкающим серебром, видел салфетки, сложенные башенками с синими зубцами, и высокие бокалы, в которых искрилось золотистое мозельское. Но каждый раз, когда его поднимали над краем горизонта, он видел хлебные поля, желтевшие четырехугольниками среди зеленых лугов, большие белые дома, красные амбары, аллеи, ведущие к домам, и серые от пыли дороги, сливавшиеся в одну широкую дорогу вдоль реки, а по берегу темно-зеленые деревья и густой кустарник, а над рекой синее небо с белыми замками облаков.

И вдруг все исчезало, и он оказывался внизу, где скатерть; коричневый жук прополз между тарелкой с сыром и блюдечком с оливками...

А мужчина с сигарой все смеялся, смеялся. Он стоял на самом краю горизонта, между ним и бездной была только тоненькая железная изгородь — он видел и то и другое разом. И смеялся, смеялся, подбрасывая мальчика вверх так, что тот попеременно видел поля вдалеке и скатерть вблизи. Получалось как бы два мира: один внизу, где расстелена скатерть и на ней всякие красивые и вкусные вещи, а вокруг привычный гул — голоса дядей и тетюшек, и другой мир, похожий на картинку из книжки у них дома, книжки с цветными литографиями «все-го мира»; этот мир не пугал его, нет, пока он сам взмывал вверх, к небу, но когда человек с сигарой на мгновение выпускал его и он летел вниз, а потом тот ловил его своими сильными руками — вот тогда было страшно: сначала оттого, что он парил, а потом оттого, что попадал в могучие объятия и, казалось, уже никогда не вырвется из них на свободу. Вверх и вниз летал мальчик между двумя мирами и смеялся, потому что знал — от него ждут, чтобы он засмеялся. Потом наконец человек с сигарой, перевернув его в руках, прижимал к себе так, что короткая бородка колола мальчику лицо. Сигару мужчина вынимал изо рта, но запах сигары оставался в бородке и повсюду, и теперь вот так, вблизи, мальчик видел, что бородка курчавится мелкими завитками, а лицо гладкое, загорелое и сильное — и только глаза на удивление мягкие и словно что-то выпрашивают.

Что выпрашивают? Может, чтобы он смеялся?

Он и смеялся.

На пахнущем сигарой лице вокруг глаз появлялись мелкие морщинки, а бородка дрожала в беззвучном смехе, который таился не в ней, а только в морщинках вокруг глаз. А глаза продолжали молить. Они были грустными где-то в самой глубине, вроде как глаза Кору. Где-то глубоко-глубоко глаза были печальными и беззащитными, вот почему мальчик смеялся снова и снова, смеялся все время, пока наконец человек, пахнущий сигарой, не ставил его на землю и не спрашивал: «Чему ты смеешься, малыш?» И чей-то голос позади замечал, что Маленький Лорд всегда смеется, и слава богу: хорошо быть ребенком и уметь смеяться...

Человек с сигарой испытующе глядел на него. Присев на корточки, он заглядывал ему в глаза. «Скажи «папа», — серьезно просил он.

— Папа.

— Ты любишь папу?

— Любишь.

— А ну-ка, поглядим, догонишь ты меня или нет?

Отец бежал мелкими, быстрыми шажками, вприпрыжку, чтобы казалось, будто он бежит изо всех сил.

Мальчик бежал за ним чуть медленнее, чем мог бы, чтобы не догнать отца. Они добежали до самого леса. Вокруг душно пахло сосной. Отец побежал быстрее, мальчик за ним, он увлекся и позабыл, что не хотел догонять отца. Они добежали до лесного озера, которое сумрачно поблескивало среди стволов. Отец бежал по траве вдоль берега. Мальчик мог бы поймать его сейчас, если бы тот при каждом прыжке не отбрасывал назад ноги в больших ботинках. Мальчик сделал последний рывок, поравнялся с отцом и сбоку уцепился за его ногу.

Отец остановился, переводя дыхание.

— Ты поймал меня, малыш. — Он крепко прижал мальчика к себе, потом отстранил, по-прежнему не выпуская из рук. — Что же ты не говоришь: «Я тебя поймал»?

— Я тебя поймал.

— Верно, поймал. А теперь давай искупаемся.

Отец сорвал одежду с разгоряченного тела. На белой коже темнели островки волос. Он зашлепал от каменистого берега по воде, потом поплыл, потом повернулся в воде и пошел к берегу.

— Теперь ты!

Мальчик снял рубашонку и штанишки, аккуратно сложил их, потом стянул с себя чулки и башмаки. И, дрожа, застыл на берегу темного озера.

— Смелей! Папа тебя подхватит.

Мальчик вступил в воду и, когда она дошла ему до бедер, захныкал.

— Папа тебя подхватит! — В голосе нотка нетерпения.

Еще два осторожных шага, вода поднялась выше пупка...

— Не бойся, ложись на воду, папа тебя подхватит!

...Глаза зажмурены, колени ватные, будь что будет — только не смотреть. Но в то же мгновение отец сгреб его в охапку: и вот — вокруг ни души, а они обхватили друг друга, словно дурачась в игре у костра на празднике Ивановой ночи. Ледяной холод проникает до самого сердца, еще секунда — и оно остановится. Но вот они уже опять на берегу.

— А теперь побегаем, чтобы согреться!

И они бегают по берегу, там, где трава и меньше колет ног и, — высокий мужчина с загорелым лицом и белым телом и мальчик, худенький, бледный, с длинными локонами, которые влажно шлепают его по щекам и свисают до самых плеч.

— Молодец! Теперь одеваться...

Отец закурил сигару. Голубой дымок туманом поплыл между стволами, и все стало сказочным и прекрасным, почти как на большом ковре, который висит дома на стене, хотя там люди и олени и никто не курит сигары.

Отец взял мальчика за руку. Идти обратно, туда, где накрыта скатерть, хочется долго-долго — такая красивая эта тропинка, она поблескивает золотом, и между стволами стрелки света.

— Господи, где вы пропадали?

— Купались в озере.

— И Маленький Лорд тоже? — В голосе ужас.

— А почему бы нет? — Мужчина снова присел на корточек и . — Ты купался с папой?

Мальчик кивает.

— Что он говорит?

— Что купался с *папой*. Господи, мальчик повторяет «мама» сто раз на дню...

Теперь засмеялись те, кто сидел вокруг скатерти. Мужчина тоже подсел к ним и шаловливо схватил с блюда красного омара. Где-то, по другую сторону скатерти, не то легкий вздох, не то возглас:

— Не бери его!

Отец положил омара на место.

— Ты облюбовал его для себя?

— Нет, но он так красиво лежит. Это красное пятно...

Все опять засмеялись. Всегда кто-нибудь должен смеяться. Схватив другого омара, отец оторвал одну клешню и положил обратно на блюдо.

— Ну вот, теперь у тебя и здесь сохранится красное пятно!

Прозрачный, как тень, белолицый человек по другую сторону скатерти, тот, кому принадлежит голос, — дядя Рене...

А правда, похоже на большой гобелен у них дома, хотя там олени. Впереди олень и двое мужчин, в коротких штанах и с перьями на шляпах, и две дамы, а сзади, среди деревьев, тоже олень, он бежит, и собаки тоже бегут между деревьями, и в ту сторону, и в другую, до самой глубины. А совсем в глубине река с мостиком, и маленький домик, и ветряная мельница с четырьмя крыльями, а над ней облака. А за ними маленькая-малень-

кая, такая, что почти и не разглядишь, еще одна опушка леса с крошечными оленями и собаками не больше булавочной головки, и все бегут, бегут, несутся стремглав в самой глубине картины...

Дядя Рене светлой тенью в самой глубине картины — голос, рука с белыми пальцами, играющими в воздухе, а рядом с ним в голубом шелке принцесса под вуалью — тетя Шарлотта. Юбки шуршат и поют, когда она встает. На голове у нее шляпа с цветником из роз, а еще выше арка солнечного зонтика и по краю арки узенькая полоска прозрачного тюля. Дама с гобелена. И мать, ее голос: «Мальчику не может пойти на пользу купанье в холодной воде...»

Веселый смех отца, сидящего со стаканом вина в луче солнца. «А почему бы нет?» Голос такой, будто это «почему бы нет» относится ко всему — к лишнему стакану вина, к оливкам, к сигаре. «Почему бы нет?» И короткий смешок, на который возражать бесполезно... И в ответ легкий смех матери, всегда готовой уступить.

А в отдалении, за рамкой картины, — мерный храп кучера Олсена в тени ландо; шляпа надвинута на нос так, что кажется, будто густые усы растут прямо из нее. В траве валяется пустая бутылка из-под пива. Кнут лениво отдыхает на козлах, оглобли прилонены к склону холма. А в глубине между стволами гнедые лошади, и над их блестящими спинами роятся мухи.

— Олсен, не хотите ли закусить?

Кучер проснулся с зычным всхрапом, положившим конец его скитаниям по градам и весям, встрепенулся, снял шляпу, почистил ее рукавом куртки.

— Благодарствуйте...

— Да сбросьте вы куртку, Олсен. Жарища сегодня такая...

Олсен смущенно держит куртку на руке, аккуратно ставит на траву съемные манжеты, потом кладет рядом куртку подкладкой вверх.

— Как насчет омара, Олсен?

Округлившись глаза Олсена. Он не знает, как взяться за омара. Недоверчиво пробует белую мякоть. Красное лицо расплывается в широченной улыбке.

— Понравилось, Олсен? Стаканчик мозельского?

Олсен нерешительно косится в сторону пивных бутылок, влажных после лежанья в ручье.

— С вашего разрешения...

Громадный кулачище привычным движением хватает бутылку, подносит ко рту. Мгновение, и глазам изумленных зрителей предстает пустая бутылка.

— Ай да Олсен! Вы должны научить меня этому фокусу! — Смех и восклицания вокруг «стола». ...И вдруг серебристый звук среди тотчас умолкших голосов. Это поет тетя Шарлотта:

Я снова вижу горы и долины,
Как в дни далекой юности моей...

Серебристые звуки вьются над скатертью, над краем бездны, плывут через долину, с ее белыми усадьбами и красными службами. Звуки и краски — почти белые, светло-серые и розовые. Все размыто, никаких резких очертаний.

— Ватто.

— Что сказал мальчик? Что ты говоришь, малыш?

— Ватто...

— Малыш сказал: «Ватто». — Смех, испуг, изумленные взгляды.

Дядя Рене проворно встал, перешел на ту сторону, где стоял мальчик, прищурившись, оглядел картину.

— Право же, это просто удивительно...

И снова смех, и еще кто-то встал. Мальчик выражает недовольство: если все уйдут из картины, ничего не останется...

И все опять смеются. По очереди встают, подходят к тому месту, откуда надо смотреть, и оценивают картину. В солнечном мареве звенит серебряный голос тети Шарлотты.

— Ей-богу, ты сведешь парня с ума этим твоим искусством. Три года от роду и говорит «Ватто». — Это голос дяди Мартина, который что-то жует.

— Три с половиной, — поправляет другой голос. Это говорит мать.

— Пусть три с половиной, все равно это противоестественно. — Голос дяди Мартина, который что-то жует. Этот голос все на свете знает и еще любит долбить одно и то же. — Сказал бы хоть «Мане, завтрак на траве».

— Ничего подобного, — протестует дядя Рене, — какой же это Мане? Похоже на гобелен, искрится...

— Вы все с ума посходили. — Это опять дядя Мартин. — Хотите, чтобы мы перемерли от жажды?

Еще один голос затынул песню, мужской голос, приятный, негромкий, это поет человек с сигарой:

В лесу готовят пир горой, зовут на пир гостей.
Потешить так решил старик орел своих детей.
И птицы все запели и разом засвистели,
Едва сигнал среди ветвей им подал соловей.

И снова все смеются. Всегда смех, хотя голоса вечно противоречат друг другу, и в чем-то большем, чем то, что говорится словами. Но все тонет в смехе, хотя песня еще продолжается. Смех все душит и все превращает в безделицу.

— Жутко глядеть, до чего серьезный вид у мальчонки, стоит и весь нахохлился, и все это ваше искусство...

Упрямо сжал кулачки, уже начиная злиться. Сжал кулачки и подальше, подальше от толстяка, который протянул к нему руки, поближе к человеку с бородкой.

— Правильно, малыш, держись своего отца...

Запах сигары, смешанный с запахом мозельского, запахомелей и сосен и ароматом материнских духов, волной проплывшим над скатертью. Объятие отца, неуверенное, искательное, молящие глаза. Кучер Олсен отошел обратно в тень экипажа с полной охапкой снеди и пивных бутылок. Запах Олсена в ту минуту, когда он встал, — запах лошадей, кожи и чего-то необъяснимо приятного, он прозвал этот запах «садовником». И вдруг откуда ни возьмись налетела туча неотвязной мошкеры, мошки жужжат и жалят.

— Ой, взгляните на небо!

Переполох. Крики. Наспех собирают со скатерти. Что-то хватают, роняют. Капли падают мелкими теплыми монетками. Все забрались в ландо, подняли откидной верх, словно крышу, и сидят в суматошном уюте, где пахнет кожей, а снаружи дождь поливает скатерть и бутылки. А тут еще по натянутому верху забарабанил град, и от этого контраста замирает душа. Взбаламученная тьма в небе, тьма над мокрым склоном с мокрой скатертью и плавающими в воде остатками еды, а там вдаль за железной оградой, в низу, — усадьбы и дороги в пронзительном свете солнца.

И вдруг все кончилось, снова сияет солнце, скатерть и другие пожитки сушатся на деревьях.

— Быстро управился господь бог — за три минуты!

Три минуты? Не может быть, прошла целая вечность, вечность, полная сказочных приключений. Розовый зонтик, мокрой

тряпкой валявшийся в траве, бережно поднят и раскрыт во всем своем промокнутом убожестве...

Целая вечность по богатству пережитого, целый год, а может быть, целая жизнь. Лошади под дождем и градом тесно прижались друг к другу, голова к хвосту, как гипсовые лошадки на комод в комнате служанок. Сверкающие капли в траве и на ветках, мириады блестящих капель — они повсюду, даже на паутине между двумя маленькими елочками — проход, завешенный сетью, в которую ловятся мухи, барахтаются, борются, умирают. И вдруг какой-то прохожий...

А-а! Это коробейник, кривобокий, сгорбленный человек, одна нога у него длиннее, другая короче, в ушах золотые серьги, и темные бороздки морщин на шее. Его приглашают к столу среди мокрой травы, он открывает огромный сундук, который нес на спине, и в нем тоже сверкающие камни и булавки, красные, синие, точно капли радуги, гребни в золоте и серебре, и малюсенькие медальоны с портретом короля Оскара в золотой рамке, и нитки жемчуга, и пряжки.

И опять смех: смеются, восхищаются, покупают. Продавец тоже улыбается и смеется, а ведь он лишился чудесных булавок — трех булавок, пряжки и нитки жемчуга, взамен получил какие-то гадкие деньги. Но и он и они улыбаются и смеются. Коробейника потчуют едой, вином, пивом, он все сует в отверстие в бороде — и сыр, и мясо, и хлеб, и пирожное, сунул — и как не бывало. И снова смех. — «Научите меня этому фокусу!»

Минуты, часы? Нет, вечность. Вечность по богатству пережитого.

Чьи-то руки... Рука коробейника — он держал ее за спиной, а теперь она высунулась из тьмы рукава. Это не рука, а черная клешня. Легкий вскрик. Извинения. И опять смех. Клешня крепко ухватила золотую цепь и держит ее перед глазами мальчика. Сверкающее золото в черной клешне. Из леса вылетают вороны и с протяжным карканьем парят над бездной. Здесь, на лужайке, одно, там, над бездной, другое, там кружат злобно каркающие вороны и нависла тень облаков. Они плавают в мрачном царстве, где все было залито светом, когда отец поднимал мальчика высоко-высоко, чтобы он мог увидеть все вокруг. Но с тех пор прошла вечность. Теперь там — мрак бездны. «Мрак бездны» — голос матери, читающей вслух уютными вечерами, козий сыр на столе, страшные истории и картинки, картинки без конца... светлые долины с изогнутыми деревьями, и долины, которые вдруг темнеют на глазах, а деревья извива-

ются, и какие-то гады кишат на дне долины, под буйной растительностью, где всегда промозглая сырость. «Мрак бездны»... Почти та же самая картина, которая только что была светлой и радостной, почти та же самая, но совсем-совсем другая. Ни сверкающих капель, ни игры радуги на солнце. Он сам нарисовал две картинки — много вечеров подряд сидел над ящичком с красками, над черным ящичком с волшебными таблетками акварели. Как чудесно погружать взгляд в эти разноцветные краски: сначала долго-долго смотришь на светло-синий, и душа наполняется счастливым ожиданием, потом тихонько переводишь его на темно-красный, и уже нарождается какая-то тайная угроза. Эти две картинки он готов был рисовать без конца: первая — «Светлая страна», он подсмотрел ее в книжке с картинками, но каждый раз заново преобразал и изменял, а, другая — «Мрак бездны», ее он тоже подсмотрел в одной из толстых черных книг в глубине большого шкафа, откуда веяло таинственным запахом пыли и бумаги каждый раз, когда он забирался в него, чтобы вытащить книгу, одну из толстых книг в черных переплетах... («Нет, вы подумайте только, малыш опять роется в шкафу!..»)

И клешня коробейника движется туда-сюда на страшной картинке — не то это будет, не то уже было. Клешня высунулась из рукава, ловко уложила товары в сундук и снова вскинула сундук на спину: кивок головой, беззубая улыбка — и вот он уже исчез в лесу, исчез, как и появился, частица чего-то загадочного — самого леса.

Но клешня продолжала появляться из темноты. Когда она оказалась перед ним в первый раз? Что это было — воспоминание о том, что видел он наяву, или воплощение того, что он вспомнил? Неужели он вспомнил до того, как увидел? Выходит, в увиденном воплощается какое-то жуткое воспоминание? А откуда взялось это воспоминание? Оно было всегда. Все вещи уже существуют, они появляются и исчезают пугающей чередой, появляются не из того, что было когда-то, а сами собой, откуда-то из бесконечности, где находится все...

— Господи, откуда малыш это *знает*?..

— Как он мог это *видеть*?..

— Он никогда не мог *слышать* ничего подобного...

Слова — их произносят разные голоса. Но желание убежать от клешни существовало всегда, еще до того, как он увидел клешню, появившуюся из темного отверстия рукава. Так бывает всегда: кто-то преследует и настигает сзади и кто-то впереди

пытается поймать в сеть. Паук спешит по нити своей паутины, а в ней сидят мухи, не подозревающие о беде, пока паутина не оплетет их спереди и сзади, не схватит и не опутает их. Бегство во тьме гобелена, между передним и задним планами, позади неподвижных светлых дам и оленя, позади мельницы с неподвижными крыльями, но впереди той охоты с крошечными животными в самой-самой дальней глубине картины, куда не дотянется ни одна дружеская рука.

— Но ведь Кора добрая, она не кусается...

Кора нет, но другие собаки. Все остальные...

— Но ведь все так ласковы с тобой...

Все да, но только не *те* — не те, кого они не знают: человек с клешней вместо руки, чудовище, сторожащее свою сеть, которая может оказаться повсюду, — перед любым отверстием, чудовище, готовое схватить каждого, готовое схватить *тебя*.

Человек с сигарой, и *та* прогулка с ним, прочь от охотничьих собак, в безопасность, по тропинке перешейка, где с той и с другой стороны вода, через холм Сковлию, мимо теплиц, освещенных заходящим солнцем, которое играет во всех стеклах; теплица — тоже драгоценное украшение, бриллиантовый бугорок, который благодарно подмигивает солнцу. ...Прогулка до самых дальних скал... Что это? Навстречу идет женщина. Женщина выходит из сверкания заката, выходит из солнца, и ее юная голова окружена сиянием. Она идет легкой поступью, ноги ее знают каждую неровность в здешних скалах, она сама частица этих скал. Да это же фру Фрисаксен, молодая мадам Фрисаксен, она приходит помогать, когда у них дома бывает стирка, та самая мадам Фрисаксен, что живет в красной хижине в глубине залива, где на закате сушится развешенная сеть, миролюбивая сеть, которая никому не грозит и никого не опутывает. И человек с сигарой идет ей навстречу, протянув руки, и она идет ему навстречу, прямо из солнца, словно она часть этого солнца, и тоже протягивает ему руки. Они оба — частица солнца, самый первый план гобелена, но позади них нет лающих собак, а только море, сверкающее в лучах солнца, в предвечернем закате.

— А теперь беги, играй!..

И он бежит. Замедляет шаги. Идет. Спускается вниз по песчаной отмели, где блестят перламутровым верхом ракушки, и пускает их по воде, как кораблики. Целая флотилия. Мелкие

волны, набегая, покачивают кораблики, покачивают беспорядочно и суматошно. Он пускает новые кораблики — столько, сколько может найти, вот уже вся бухточка заполнена покачивающимися, играющими перламутром корабликами, но вот один-другой кораблик, зачерпнув воду, пошел ко дну, он шлепает по воде, чтобы их спасти, но тогда другие кораблики идут ко дну, потому что, шлепая по воде, он поднимает волну. Кораблики уходят под воду, как опавшие листья. Он сунул под воду руку, ловит их и снова пускает по воде. Но теперь они тонут со всех сторон, тонущие кораблики окружают его со всех сторон — спасая один, он так взбаламучивает воду, что тонут другие. И ему приходится повсюду поспевать, внимательно следить и шарить все глубже, чтобы их выловить, выловить тонущие кораблики, они идут на дно от волнения, которое он сам поднял и все усиливает, — и вдруг вокруг него стало совсем пусто, вся его флотилия погибла, а сам он стоит по горло в воде.

— Господи помилуй! Малыш вошел в воду!

Его подняли вверх. Снова подняли вверх, в воздух, туда, где он недосыгаем для покинутых, зависящих от него игрушек.

— Кораблики!..

— Какие кораблики?

— Да он промок до нитки!

В хижине мадам Фрисаксен пахнет тимьяном. Его одежда сушится на веревке над плитой, его самого закутали в одеяла. А снаружи за дверью кричат чайки, они кружат над развешенной сетью, которая в сумраке стала темной, стала сетью, которая все-таки может опутать и поймать.

У мужчины с бородкой потерянные, молящие глаза. А у нее светлый ореол над головой даже здесь в хижине, где сумеречно и пахнет тимьяном. И опять два мира — снаружи светло, внутри темно, и светлый темнеет, когда садится солнце, а темный становится светлее, в нем различаешь всякие мелочи, в дальней комнате — край кровати, блестящий медный крюк над плитой — все то, что было всегда, иначе этого не было бы сейчас, — воспоминания стали вещами, их можно взять в руки и рассмотреть, как, например, стеклянное яйцо, которое они ему дали. Внутри яйца домик и маленький лес, а если яйцо встряхнуть, на домик и деревья сыплется снег с невидимого неба, которое тоже было всегда. И вот снегопад прекратился, и опять в яйце только домик и деревья, но он слегка встряхнул яйцо, и снег опять посыпал...

Куда они ушли? Он остался один у плиты, в этом мире, а в руке у него яйцо, в котором еще один, большой мир. Как может такое громадное вмещаться в такое маленькое? Целый мир в яйце, хотя оно меньше, чем мир вокруг, в доме, который меньше, чем яйцо. И он держит яйцо рукой с царапиной на пальце, царапиной от ракушки из той флотилии, что ушла в темную глубину, куда-то вниз. Там сквозь водоросли несутся лающие собаки, вдогонку за кем-то, кто бежит...

— Кажется, мальчик плачет...

Откуда этот голос? Из той комнаты в глубине.

И снова его подняли на руки высоко-высоко, под потолок, там пушистая паутина, и в ней тоже сидит паук, с глазами, как булавочные головки, которые неотрывно следят за тобой, а в балке трещина — еще одна пропасть, наверху, и какое-то маленькое темное насекомое ползет по краю трещины, хочет не то вползти внутрь, не то выползти наружу, внутрь трещины или наружу, никак не может решиться, но тут его снова опускают вниз, на пол, где стоит старенький табурет, который скрипит, когда мальчика сажают на него. И мальчик знает, что был здесь всегда.

Был здесь всегда. Где-то в другом мире есть дом, в котором стены обиты шелком, а у стульев позолоченные ножки, изогнутые, словно в танце, потолки там такие высокие, что до них не достанешь, даже если тебя подкинут вверх до самого неба, — это мир под небом, которое выше неба.

И человек с сигарой, тоже высокий-высокий, они идут домой, рука в руку, рука, протянутая сверху, сжала его руку, протянутую снизу.

— Хм, х м, — откашливается человек с сигарой снова и снова а . — Весело было с папой?

Кивает — но там вверху не видно кивка.

— Весело?

— Весело с папой. — Этого от него ждут. Так полагается, — смутно мерещится ему. Весело с папой, спокойно с мамой, приятно с тетями и дядями. Все хорошо. Солнце быстро садится за невысокие обрывистые скалы, отбрасывающие густые тени.

— Где вы были? — Голос матери, сладкий запах из ящика комода.

— Море.

— А где на море?

— Маяк.

— Но вы же пришли той дорогой?

Показывает в другую сторону. Какое-то напряжение в воздухе между теми, кто здесь живёт, — взрослыми. Сделать так, чтобы всем было хорошо и приятно. «Весело с папой».

Вечером у отца в руках скрипка, мать за фортепиано. «Кольбельная» Ренара. Одна из маленьких трудных пьес в большой нотной тетради, корешок ее разорвался, и страницы разлетелись по комнатам. Человек с бородкой наклонился и собирает ноты, осторожно приподняв смычок, чтобы его не повредить. Мальчик ползает по полу, собирая листки, развеянные сквозняком. Руки матери отдыхают на клавишах. Ветер стучит в окно кустом жимолости.

— Надо будет отдать переплести ноты.

Ноты водворены на место. Танцующие звуки гавота, мальчик и сам начинает приплясывать под них на диване, вытянув ноги и помахивая руками. А потом грустные пьесы, с их темными безднами и ночными бедами...

— А теперь ты, Маленький Лорд!

Мальчик с растопыренными пальцами за фортепиано. Табурет у фортепиано раскручен до отказа, он даже шатается, и на него еще подложены ноты. Зыбкий табурет, зыбкие звуки, все зыбко; отец вторит фортепиано, человек с бородкой вторит фортепиано на скрипке, а кажется, будто это он его ведет.

— Отлично, отлично — молодец...

Мужчина со скрипкой подхватил сына своей игрой. Поднял вверх, к звукам, которые рождаются под его смычком, и позволил ему побыть в этом мире, хотя мальчик еще передвигается в нем ощупью. И теперь существует только этот мир — никакого другого. Исчез маленький домик у моря с запахом тимьяна и рыбацкой сетью, он так далеко, что его просто нет. Человек с бородкой поднял его над всем. Где-то высоко-высоко прижатая подбородком скрипка и взгляд, скошенный над краем инструмента.

И вот однажды:

— Где папа?

Проходит много-много дней. Он больше не спрашивает: «Где папа?»

Что отец сделал с ним? Поднял высоко-высоко... так высоко!
И выпустил его из рук — упустил...

Вилфред бессильно уронил руки, державшие ребенка. Потом уложил мальчика в коляску, завернул, не ласково, но тщательно и аккуратно, словно тот был из стекла. Безмерная усталость охватила его. Черная птица уселась ему на плечо, придавив его своей тяжестью.

Он увидел, как внизу Бёрге Виид вошел в дом. В его сутулой спине была какая-то пришибленность.

Но когда Вилфред спускался по склону, увлекаемый катящейся вниз коляской, он уже покончил с сомнениями. Едва он оказался внизу, они оба вышли из дому. Может, стояли у окна в прихожей, а может...

Может, они *знали*, что он идет. Наверное. Потому что и у них уже не оставалось сомнений. Бёрге держал в руке письмо. Его принесла девочка. Они ждали, что он вскрыет конверт. Но Вилфред не хотел читать письмо в их присутствии, оно их не касалось.

Что бы ни было написано в письме, он от них уйдет.

Он отошел в сторону и отвернулся, чтобы прочитать письмо без свидетелей, но они все стояли на том же месте. Он вскрыл конверт, быстро пробежал письмо. Ирена назначала ему встречу у вокзала Нёррепорт. Он посмотрел на часы. И тут, услышав шаги Бёрге, обернулся.

Бёрге подошел ближе. Ему хочется кое о чем поговорить, сказал он, кашлянув. Маргрета тоже подошла ближе и встала рядом с мужем. Бёрге с надеждой смотрел на нее, словно побуждая ее заговорить. Но она отвечала ему доверчивым взглядом. Он шагнул еще ближе к Вилфреду. Ему хочется кое о чем поговорить. Мальчик...

Вилфред уже все понял. Он намерен отомстить им за их доброту. И все же — следует соблюсти известную честность. Более того, только она и может сделать разрыв окончательным и достаточно оскорбительным.

— Я солгал вам насчет мальчика, — сказал он по-норвежски.

Оба испуганно съезились, в особенности Бёрге.

Стало быть, Хоген все-таки не проболтался, видно, счел, что ему это пользы не принесет.

— Я знала, что ты не датчанин, — сказала Маргрета. Сказала почти с мольбой: пусть это будет единственным разоблачением, ведь это безделица.

— ...и не отец ребенка,— продолжал Вилфред. — И мать его не француженка и не моя жена. Его мать — как бы помягче выразиться — копенгагенская девка. Ее зовут Лола, то есть теперь уже не зовут, она умерла.

— Умерла? — переспросила Маргрета.

Только бы не дать угаснуть этой растущей враждебности. Может, признаться, что он обманывал их во всем, с первой минуты?.. Нет, это приведет к обратному результату: ведь только настоящий друг способен вот так выложить всю правду, как па духу.

— Теперь все! — объявил он. — Я ухожу. — И он отступил назад. Но опоздал. Бёрге снова шагнул к нему, такой же застенчивый, но чуть более уверенный, с голубым пламенем в решительном взгляде.

— Нет, не все. Мальчик...

И он снова обернулся за помощью. И снова она шагнула вперед, и они вдвоем стояли против него.

— Я так полюбила его, — твердо сказала Маргрета.

Тут вмешался Бёрге, теперь уже с жаром.

— Мы давно мечтали взять его к себе.

Видения проносились перед взглядом Вилфреда — видения прошлого, того, что, должно быть, предшествовало всему, пережитому им самим, и того, что было совсем недавно: несколько месяцев жизни бок о бок с этими людьми, жизни, наполненной обманчивым покоем.

— Берите его! — сказал он. Ему вдруг стало весело. — Берите, говорю, разве вы не понимаете, как меня это устраивает, это избавит меня от...

Маргрета вскрикнула, надо полагать, увидела в его взгляде что-то, что ускользнуло от Бёрге. Она шагнула к коляске, словно для того, чтобы ее защитить. Вилфред засмеялся.

— Только у меня нет никаких документов. — Он чувствовал, что голос у него вот-вот сорвется. То, что происходило сейчас, слишком перекликалось с тем, что было когда-то, поэтому ему не удавалось совладать с собой.

— Ты уходишь? — спросил Бёрге и протянул ему руку. Вилфред пожал ее, кивнул. Потом обернулся к Маргрете, правой рукой она уже держала ребенка и протянула левую. Он подарил им ребенка и получил отставку. Ему становилось все веселее.

— А твои вещи?

Он мотнул головой. И не обернулся у подножья склона, где начиналась дорога к станции, хотя знал, что они глядят ему вслед. Стало быстро смеркаться. Дело шло к вечеру.

Выйдя у вокзала Нёррепорт, он обнаружил, что явился на полчаса раньше, его это устраивало — он хотел спрятаться где-нибудь и поглядеть, одна ли она придет на свидание. В общем-то он знал, чего ей от него надо. Он согласился встретиться с ней, потому что так или иначе собирался в город.

Но пока он озираясь в поисках укрытия, она оказалась рядом с ним.

— Ты одна? — спросил он.

Она кивнула.

— Они пронюхали, где ты живешь, я для того и пришла, чтобы тебя предупредить.

— Я и так з н а л , — ответил он.

— Но я не трепалась! Я хотела тебе объяснить.

— Ах, вот как! Ты хотела мне объяснить. — Он с презрением смотрел на нее. Она была все в том же легком костюмчике, но на улице потеплело, и ему уже не было ее жаль. Она неуверенно стояла перед ним на людной площади, где поток прохожих вливался в прожорливые подземные проходы к вокзалу и выливался наружу. Из дверей тянуло спертым подземным воздухом. — Ну и что же дальше? — спросил он.

— Ты мне не веришь, — сказала она. — Но рано или поздно тебя должны были накрыть. Угостишь меня стаканчиком?

— Н е т , — отрезал он.

— Значит, не веришь.

— Не все ли равно.

Он отошел в сторону и, уже собираясь уходить, сказал:

— Они могли выследить тебя той ночью. Могли выследить теперь. А может, ты просто сговорила с ними. Не все ли равно.

Он быстро пересек широкий проспект и нырнул в узкую улицу Нёррегаде. Возможно, она сговорила с ними заманить его в ближайшее кафе, а может, они явятся прямо на улицу в назначенный час. Стараясь выиграть время, он кружил по маленьким улочкам вокруг площади Гаммельторв. Купил в какой-то лавчонке нехитрый инструмент, а на углу Вестербро взял такси.

Он не оглядывался до тех пор, пока не оказался у пологого спуска в подвал. Улица была на удивление безлюдной. Только он нащупал в кармане инструмент, как подъехал грузовик, затормозивший у входа. Двое мужчин соскочили с кузова и, отперев дверь, скрылись в подвале. Грузовик въехал задними колесами на пологий спуск. Все произошло так быстро, что Вилфред не успел решить — на пользу это ему или нет. Грузчики начали выкатывать из подвала головы сыра.

Вилфред решил, что извлечет из этого пользу. Когда рабочие поднялись наверх и на мгновение повернулись к нему спиной, он юркнул внутрь и спрятался за штабелями сыра у самой стены в глубине. Он шарил руками за спиной, нащупывая деньги и карточки, когда рабочие вновь появились в погребе. Сокровища были на месте. Шаря торопливыми пальцами по холодной стене, он чувствовал, что они здесь, — на том самом месте, куда он их спрятал в ту ночь. Рабочие вышли снова — он сунул деньги в карманы. А потом прилепился к стене, пережидая, пока они еще дважды выходили и возвращались. Наконец обоим понадобилось забраться в кузов, чтобы разместить груз, — Вилфред слышал, как они сговаривались об этом, выходя из подвала. В то же мгновение он оказался на улице. Оглянувшись, но не торопливо и настороженно, а как гуляющий, который немного сбился с дороги. Однако веселая уверенность не приходила к нему, как бывало. На улице почти совсем стемнело. Он попытался ощутить себя победителем. Деньги при нем, он в том мире, куда стремился. Вечерний ветер нагнал клочья тумана, и они клубились вокруг уличных фонарей. Фонари на этой улице стояли далеко друг от друга, между ними зияли темные провалы. Все это к лучшему. Вилфред отошел от грузовика и роковой двери, сделав на пробу несколько шагов, словно желая увериться, в какую сторону его тянет. Его тянуло в сторону города, к шумным улицам, где было много машин, людей и света. Казалось, радостное чувство все-таки вот-вот прорезется в нем.

И тут вдруг он понял — они здесь. Только не знал где. Может быть, в темных подворотнях вдоль пустынной улицы, а может быть, прямо за ближайшим углом. А может, это кто-то из прохожих, безучастно переходящих улицу в туманной дымке между фонарями.

«Это все потому, что я боюсь», — подумал он торопливо. Но само слово «боюсь» вызвало у него приступ страха. Он дрожал

от холода в легком пиджаке. «Боюсь», — отозвалось где-то в душе и опять — «боюсь», хотя он пытался задуть в себе это слово.

Он перешел на другой тротуар и зашагал по широкой поперечной улице, ведущей к улице Вестербро, потом снова свернул направо. Уютный свет лился из окон «Параплюен», веселые крики неслись с каруселей в саду Тиволи. Всюду было празднично и весело, и от души немного отлегло. Выйдя на площадь Ратуши, он почти успокоился. Тут стояли фургоны, торгующие бутербродами, люди толпились вокруг белых фургонов, над которыми мирно порхали голуби. Всюду толпа, безопасность — нет безлюдья, таящего угрозу. Разносчица газет с седыми прядями, выбившимися из-под форменной фуражки, хриплым голосом выкликала новости с первых газетных страниц.

Наверное, это все одно воображение. Он идет по городу в толпе, где у каждого уйма разных дел, он — просто один из множества поглощенных собой людей, людей, спешащих куда-то или сидящих на холодных скамьях и занятых мыслями, которые не имеют ни малейшего отношения к судебному процессу, связанному с ночным клубом и прекращенному много месяцев назад. Он нервно усмехнулся. Просто смешно предполагать, что кого-то в мире интересует его маленькое приключение, которое в конце концов сводится к тому, чтобы спасти деньги, выигранные в честной игре с бандитами однажды ночью в незапамятные времена.

И все-таки здесь было, пожалуй, даже слишком людно, он решил спуститься по Студиестреде, чтобы укрыться в старой части города с ее массивными домами. Он знает, что его внезапный страх вызван одним лишь воображением. Он хочет углубиться в старую, уютную часть города, чтобы понежить собственную душу, вызвать в ней спокойную неторопливость. В переулке Студиестреде он почти успокоился. Им уже начал овладевать былой радостный подъем. И вдруг в нем зазвучали мощные звуки: «Та-та-та-там, та-та-та-там... Та-та-та-там, та-та-та-там...»

Что это? И вдруг он понял. Проклятая Симфония судьбы. Давным-давно ее мелодия однажды вселилась в него, это было, когда в снег и бурю он пробирался к хижине мадам Фрисаксен. Тогда мелодия предвещала смерть. Он попытался отогнать звуки, начал что-то насвистывать, но мгновение спустя грозные такты нахлынули снова. Они рождались в нем самом, обрушивались на него извне, бредово-тяжкие глыбы беззвучных зву-

ков. Они черпали свою окраску из каких-то глубин его памяти, которые ожили сами собой, предвещая опасность.

Он вышел на площадь Фрюэ и в самой ее пустынности почувлял угрозу. «Та-та-та-там, та-та-та-там...» Безмолвные звуки гремели в нем как силы судьбы и смерти. К дьяволу, к дьяволу — о, если бы можно было заговорить эти звуки, принудив их к вечной немоте! Но они, наоборот, все нарастали в нем с такой мощью, словно их отбивали тысячи барабанов. Взволнованный ритм передался ногам, и он невольно побежал мелкой рысцой. Если за ним и вправду гонятся, преследователи решат, что он заметил их и спасается бегством, тогда они плотнее сомкнут кольцо. Он замедлил шаги усилием воли, которое отозвалось в нем почти физической болью. Но звуки возникли снова: вначале грозные и медленные, они вдруг стали торопливее и все убыстрялись, стремясь к зловещей кульминации, которая вновь вынудит его пуститься бегом.

Он свернул в переулок Стуре-Канникестреде, неожиданно оказавшийся безлюдным. Если они идут следом, здесь они его настигнут. На мгновение остановившись, он отер пот со лба, лоб был холодный, пальцы тоже. Сунув руки поглубже в карманы, он нащупал свои славные денежки. Ему вдруг пришло в голову остановиться под фонарем и спокойно их пересчитать. Но не успел он остановиться, как звуки Бетховена вновь нахлынули на него и погнали дальше, и снова бегом, едва дошло до того места, где ускоряется темп. В полумраке между фонарями он увидел перед собой двух мужчин. Лучше пойти прямо на них. Они стояли, негромко разговаривая. Но когда он оказался совсем рядом, они даже не повернули головы в его сторону. «Ох, уж эти немцы,— говорил один из них, — победят или нет, а все равно войну выиграют...»

Конца Вилфред уже не слышал. Он прошел дальше с чувством невыразимого облегчения. Что у людей на уме? Война, само собой, или мир, или их собственные крошечные заботы, а он насочинял невесть чего! Он победоносно остановился. И в первый раз настолько осмелел, что решился оглянуться. За ним стояли двое, другие двое, не те, что говорили о войне. Они скользнули в тень, отбрасываемую стеной дома. Страх снова овладел им — на сей раз с неодолимой силой. По другую сторону улицы, возле сквера адмирала Гедде, в темноте появилась еще одна фигура. Он не решался проверить, идут ли они следом за ним. Но, собираясь перейти Кёбмагергаде, он снова увидел две тени под аркой пассажа «Регенс». На мгнове-

ние остановившись в толпе, он попытался собраться с мыслями...

Теперь ему все было ясно. Он должен выбраться из многолюдства и снова сделать проверку на тихих улицах. Если там его никто не тронет, значит, все это одно воображение. Он может преспокойно взять такси и поехать куда-нибудь за город, подальше от холмов Харескоу, на открытый простор, где царит покой.

Вскоре он оказался в узенькой улице Ландемеркет, но, когда он уже собирался свернуть направо, он вдруг вспомнил дом на Гаммель-Мёнт, одно из пристанищ Адели. Он повернул в другую сторону и добрался до широкой Кронпринсессегаде — Росенбургский парк оказался у него по левую руку.

Безусловно, это было разумное решение. Здесь просматривалась вся улица вдоль высокой ограды. Широкая улица и сад навели его на мысли о парке, о лебедях. Когда-то он сидел во Фрогнер-парке вместе с Мириам и выворачивал наизнанку все темные стороны своей души, все дурное в ней. Тогда он имел над Мириам какую-то власть. Он пользовался ею, чтобы сгустить темные краски так, что становилось больно самому и мучительно для других. Для нее в этом мире важно было *подняться*. Да, вот в этом-то вся и разница — тот, кто верит, что можно «подняться» или «пасть»... Но он не хочет «подняться». Потому что это вечное «подняться» предполагает существование мающего «пасть». Он понял вдруг: не хочет он «подняться», он не знает, куда это ведет и зачем...

Он рассмеялся. Прислонившись к ограде парка под фонарями, он стоял и смеялся. Пусть они явятся и схватят его. Не хочет он подниматься к чему бы то ни было... Он только хочет выиграть время — больше ничего. При нем деньги, довольно много денег, может быть, целое состояние — не все ли равно! Не за деньгами он гнался, он гнался за развлечением, которое как небо от земли отличается от игры в безик с благополучными обывателями, живущими умением проделывать трюки со словами и звуками. Некоторое время он поиграл с людьми из темного мира, эти люди были вне закона, вне того, что принято. Он к ним не принадлежит, ни к тем, что по ту, ни к тем, что по эту сторону. Плевать ему на них с высокого дерева, как говорит дядя Мартин, на них, да и на всех остальных тоже, а все потому, что некто — аромат сигары — поднял его высоко вверх и выпустил из рук. Он занимался «спасением» детей и еще бог знает чем. Надеялся как-то связать себя с жизнью, которая, как

видно, существует, раз все ее признают. Но ему нет места в этой жизни, ее законы и жалкие всплески милосердия не имеют к нему отношения. Теперь он это понял — он победоносный одиночка, стоящий особняком во мраке, где люди преследуют друг друга ради собственной мелкой выгоды.

Однако он, как и прежде, сбился с пути. Что-то влекло его неизвестно куда — но все время вправо. И вдруг он понял, что они где-то рядом, что они все время были рядом, спереди и сзади, что они неотступно следовали за ним, чтобы поймать его там, где смогут с ним разделаться.

Кто-то легко хлопнул его по плечу, он повернулся волчком. Перед ним стоял Эгон — темный, громадный. Фальшивая улыбка на лице, обрамленном завитками густых волос, утратила былую угодливость.

— А ну, давай их сюда!

Он повернулся с быстротой молнии. Впереди шумела многолюдная улица Боргергаде, где бегали сопливые ребятишки, матери сзывали их домой — спать. Перед ним стоял человек, выросший прямо из асфальта. С другой стороны улицы приближался третий, это был игрок из клуба «Северный полюс».

— А ну, давай их сюда! — снова повторил Эгон прямо за его спиной.

Он мог, пригнувшись, проскочить на оживленную Боргергаде. Ему вдруг показалось немыслимым, что можно оказаться во власти трех бандитов в пятидесяти метрах от толпы. Чужие руки шарили в карманах пиджака. Он схватил было их, но его самого схватили за оба запястья. И стали выворачивать руки так, что он рухнул на колени, ткнувшись лицом в тротуар. Над своей головой он слышал приглушенные голоса: «Давай поживее!..»

Грянуло. Он почувствовал пронзительную боль — это его ударили ногой в спину. Руки его они выпустили. И еще раз ударили ногой — на этот раз в голову. Он приподнял ее и увидел впереди на оживленной улице множество ног. Он хотел крикнуть, но тут на лицо ему легла чья-то пятерня, жаркая лапа, и стала раскачивать его голову взад и вперед так, что казалось, вот-вот переломится шея.

Наконец рука выпустила его голову. Она упала, и сам он остался лежать ничком, лицом в асфальт. Он попытался закрыть рот, но не мог, он вдруг вообще совсем обессилел. Они втащили его в какое-то парадное и там швырнули на деревянный пол, все так же лицом вниз. Он хотел подтянуть под себя ноги, что-

бы вскочить, но и на это у него не хватило сил. Они считали деньги. Потом перевернули его на спину, потом поставили на колени — голова у него тряслась.

— Карточки!

Он попытался что-то сказать, но у него вырвался только невнятный стон. Его плашмя ударили по лицу ладонью. Ему удалось совладать с губами.

— Там же , — пробормотал он.

— Где?

— За сыром.

Они снова выпустили его. Он свалился, как мешок, открытым ртом в грязь. Они о чем-то шептались над ним.

— Поднимайся!

Он прополз на четвереньках несколько шагов.

— Вставай! — повторили они на этот раз с угрозой. Он пытался подчинить себе свое тело, пытался изо всех сил, но тяжело рухнул на пол, лицом вниз. В то же мгновение они рывком поставили его на ноги. Кто-то плюнул ему в лицо и размазал плевком. Потом лицо чем-то обтерли — кажется, его собственным галстуком. Его охватило властное желание бить. Изловчившись, он пнул кого-то ногой. Кто-то приглушенно вскрикнул от боли, но его тут же стали бить ногами в ответ, он снова упал, и его снова рывком вернули в стоячее положение. В руках у них был купленный им нехитрый инструмент — нож, железный ломик. Один из них легонько стукнул его ломиком по лбу.

— Хватит! — услышал он словно издалека голос Эгона.

И потом короткую команду:

— Пошли!

Он сделал несколько шагов, но колени то и дело подгибались, стучаясь одно о другое.

— А ну, иди! — погоняли его сзади.

Перед собой словно в тумане он видел оживленную улицу. Только бы добраться до нее, но расстояние казалось бесконечным.

— Иди! — понукали его за спиной.

Он шел, спотыкаясь, пошатываясь, но шел. Вокруг были люди. Эти трое, должно быть, идут позади, чуть поодаль. Он шел как в бреду. Где-то в самой глубине сознания притаилась мысль: «Теперь они оставят меня в покое. Они получили свои деньги, они знают, где проклятые карточки». Но когда он дошел до угла улицы, где струился поток пешеходов, он увидел

впереди на другой стороне Эгона. Стало быть, Эгон просто обо-
гнал его и снова готов схватить.

Он свернул направо, в людской поток. И думал: «Почему люди не останавливаются, все разом? Ведь по мне все видно». Он хотел что-то сказать, броситься вперед, крикнуть. Но ноги не слушались, и он не мог издать ни звука. Совсем рядом он видел лица, слышал голоса, кто-то сказал: «Ведь он женат на этой знатной даме — Сильвии Кнут...» Другой голос спросил: «Кто он?» И первый ответил: «Да Иоханнес Поульсен, черт побери, он собирается в турне по Норвегии». У Вилфреда мелькнула мысль: «Копенгагенцы только и говорят что о своих актерах». Он должен втащить их в свой неправдоподобный мир — не может быть, чтобы среди многих сотен людей ни один не оказал ему помощи.

В то же мгновение его толкнули в спину. Обернуться у него не было сил. Куда они намерены его загнать? Он не хотел расставаться с толпой, вокруг были дети, сопливые, неряшливые, в просторных, не по размеру, штанах. Ручные тележки с овощами и фруктами катили домой. Но ведь их толкали люди, люди были повсюду...

Должно быть, его не гонят в каком-то определенном направлении. Но они все время где-то рядом — впереди, сбоку — повсюду.

Вдруг он увидел море света и рванулся к нему — оно как-то внезапно открылось перед ним. Он уже удалился от людных улиц — похоже, это случилось давно. Он увидел афишу, много афиш. Лампочки казались звездами, потому что глаза слезились: в них попала грязь. Подолгу смотреть обоими глазами сразу он не мог. Но на афише разглядел буквы: «Мириам Стайн».

Может ли это быть? Неужели весь вечер ноги вели его именно сюда? Но ведь тут не было надежды на спасение. Верно, верно, теперь он вспомнил: Хоген говорил об этом ночью во дворе, казалось, с тех пор прошли годы — его «земляк», Мириам Стайн, дает концерт в Малом зале...

Стало быть, она стоит сейчас на залитой светом эстраде и играет. В ста шагах от него стоит и играет для нарядно одетых людей, которые слушают, полуоткрыв рот и затаив дыхание, с программкой на коленях...

Он остановился возле самой афиши. За решеткой, в выложенном камнем внутреннем дворике стоял привратник в фор-

ме. Вилфред почувствовал: преследователи на мгновение отстали, иначе ему уже дали бы тумака в спину. Но он знал: они не ушли. Где-то в отдалении, в смуте толпы ему виделся Эгон — выжидающий, громадный. Они не ведут его, нет, они следуют за ним до какого-то места, где попытаются выжать из него еще или же...

Мгновенная мысль обдала его ледяным холодом, мысль о тех, кто исчезал из игорного зала. Нет, он не считал, что их убили, но они исчезли, страхом выметенные из того мира, среди властителей которого царили свои законы. Этому кошмару надо положить конец. Ты можешь изувеченным протаситься по улицам, где полным-полно людей, где яблоку негде упасть, зная, что тебе грозит, и не найдешь ни единой души, к кому обратиться. Этому надо положить конец.

Он быстро проковылял за один из воротных столбов и укрылся в его тени как раз на границе освещенной части двора. Он собрал воедино все мысли, все силы. Он угадывал, что артистический вход должен быть где-то слева, наверное, там лестница, укромное местечко, где можно спрятаться и хотя бы несколько мгновений побыть в безопасности. Он, шатаясь, побежал к двери, хоронясь в густой тени.

На лестнице он постоял, прислушиваясь. Во дворе он нырнул в тень на границе с освещенной площадкой, там, где свет слепил глаза, — Эгон мог потерять его из виду. Между ним и теми, кто его преследовал наверняка были люди. Улица поглотила его. Может, они все еще стоят каждый на своем углу, растерянно озираясь по сторонам. Но ноги больше не держали Вилфреда, колени подогнулись. На четвереньках он пополз по ступеням вверх, пока не добрался до площадки, куда выходила серая дверь. Он медленно встал, выпрямив ноющую спину, и вцепился в дверную ручку — дверь подалась. Он стоял в полутемном коридоре. И тут издали, из темноты, он услышал музыку, нежный звук скрипки.

Он стал пробираться вперед, хватаясь за стену. Еще одна дверь, маленькая лесенка, сюда проникал свет. На верхней ступеньке он рухнул на колени. Он находился в маленькой освещенной прихожей, которая вела в комнату с обтянутой шелком мебелью и зеркалом. В лицо ему пахнул аромат цветов. Он на четвереньках вполз во вторую комнату. И вдруг звуки стали громче, мощнее, словно окружили его со всех сторон. Потом тишина. И — гром аплодисментов. И опять тишина. Дверь напротив него открылась, на пол легла полоса яркого света. И во-

шла Мириам — за ней тоже тянулся шлейф света, казалось, это он несет ее к столу, у которого она опустилась на стул. Аккомпаниатор стоял как раз в полосе света, белая манишка на груди ловила его отсвет, как при закате солнца. Но аплодисменты нарастали, обрушиваясь каскадами водопада. Она встала со скрипкой в руке и снова пошла к выходу. Он заметил, что в тени у двери стоит человек, маленький человечек в форме капельди-нера. Теперь аплодисменты рокотали, как прибой. Он снова увидел в дверях Мириам с цветами и скрипкой, в ореоле света. Она, шатаясь, добрела до стола, осторожно положила на него инструмент и прижала руку ко лбу, точно вот-вот упадет в обморок. Человечек у двери что-то сказал. Она снова встала, улыбувшись какой-то неземной улыбкой. Всю ее усталость как рукой сняло. Казалось, страстное ожидание зала влечет ее к выходу. Но вдруг она остановилась, вернулась, чтобы взять скрипку. И тут увидела Вилфреда.

Он хотел подняться с колен, но не мог. Она подошла к нему со скрипкой в руке. Аплодисменты в зале гремели бурей. Он медленно помотал головой: пусть она идет в зал. Тут он заметил, что рука, держащая скрипку, дрожит. Услышал, как гном возле двери шепнул: «Они кричат «бис»!» И вдруг гном тоже заметил Вилфреда. Он ринулся к нему.

— Нет, нет, нет! — простонала Мириам. Она стояла в полосе света, падающего со сцены, в зеленом, с золотом платье. Она быстро склонилась над ним, но он снова помотал головой и кивнул в сторону двери, показывая ей, чтобы она шла на сцену.

— Помогите ему! — шепнула она гному. И вышла. Аплодисменты загревели громче — и стихли. И снова до него донеслись звуки скрипки.

Человечек в форме нерешительно склонился над ним. Вилфред подполз к стулу. Сиденье было завалено цветами. Опираясь на руки, он приподнялся, прислонился к стулу и так и остался стоять на коленях, зарывшись лицом в цветы. Аромат их оглушил его, пронзил насквозь. Он сполз на пол, стащив за собой букеты, и так и остался лежать, засыпанный цветами. Последнее, что он услышал, был низкий звук ноты соль.

САМ
ПО СЕБЕ



18

Жизнь преступного мира идет своим чередом, и царит в нем закон удачи. Бродит в Копенгагене некий Эгон, он одурел от жажды мести, которая стала его навязчивой идеей. Ценой многотрудных усилий он вернул себе часть потерянных денег и уже успел перегрызться из-за них со своими компаньонами. Выходит, деньги ему счастья не принесли. Но не в этом суть, главное — этот достойный малый, умеющий схватить удачу на лету, а потом ее удержать, потерял жертву, на которой однажды в жизни решил выместить все несправедливости и унижения, что он претерпел на своем веку. Ни в детстве, ни в юности никто не протянул ему руку помощи — удачу он оседлывал сам. Но в его жизнь, смешав все его планы, вторглась страсть, и кто ее знает — может, эта страсть была не лишена благородства. Долго вынужден он был смотреть, как его избранница Адель одного за другим меняет любовников. Только сам этот искусный ловец удачи так и не удостоился попасть в вереницу счастливых, хотя неотлучно был при ней — верный пес, тварь, ползающая на брюхе, он в полном смысле слова развязывал шнурки ее ботинок, он застилал ей постель и чистил ее нужник. В других случаях жизни он хватал что попало со всех блюд, в которых ему отказывали, а этот лакомый кусочек день и ночь был от него в двух шагах, но так ему и не достался.

В камере Западной тюрьмы сидит девушка, по имени Адель, она вяжет не покладая рук. Руки у нее ловкие, надзиратель-

ницы пишут в своих отчетах, что она ведет себя примерно, от работы не отлынивает, и соседки по камере ее уважают. Но в отчетах нет ни звука о том, что Адель поддерживает постоянную связь с внешним миром, и осуществляет эту связь голодный бешеный пес по имени Эгон, на след которого полиции так и не удалось напасть. Он из тех темных личностей, что ведут ночную жизнь, в чем их только не подозревают, но наверное не знают ничего. Их много, рано или поздно они попадают на какой-нибудь мелочи — ну что ж, значит, не повезло; но поимка их весьма мало помогает, а то и вовсе не помогает полиции пролить свет на то, чем эти лица занимаются на самом деле. Взять, к примеру, торговлю средствами, которыми люди одурманивают себя в своем стремлении убежать от действительности, — ее быстрый рост внушает серьезную тревогу. Вполне возможно, что Эгон приложил и к этому делу свои неутомимые руки. Вполне возможно, что он помогает налаживать контакты между крайними звеньями цепочки, на которую полиции время от времени удается напасть.

Время от времени такого Эгона удастся схватить и несколько суток продержать за решеткой. А потом приходится выпустить его на свободу. Время от времени в силки ловится пташка вроде такой Адели, про которую, собственно говоря, известно лишь одно — что она обслуживала грязную ночную жизнь в городе, который всегда стремился, чтобы в его ночной жизни была доля соблазнительной грязи. Будет в нем одной Аделью больше или меньше, роли не играет. Да и одной Мадам больше или меньше — тоже не велика важность. Но так уж положено — схватить этих пташек на лету, да еще запереть и забить двери большого заведения, о существовании которого знали тысячи людей — не подозревали одни только власти.

Жизнь неимущих во всем мире тоже идет своим чередом, и в ней тоже царит закон удачи. Во всех странах развернулась мощная борьба за то, чтобы закон отныне не зависел от случая и удачи, оно и понятно: во всех странах царит великая нужда. На улицах Берлина за солодовый хлебец можно купить несовершеннолетнюю девочку; зная верные адреса, во всех городах можно кого-нибудь купить. Новая Адель унаследовала тетушек с Гаммель-Мёнт — и так во всех городах, где в перенаселенных улочках стоят покосившиеся хибары и за грязными шторами ближе к ночи бренчит расстроенное пианино. Даже обезвре-

женная, Адель держит в своих руках кое-какие нити. С печальной усмешкой вспоминает она одного из своих любовников, белокурого сметливого парня. Чего-чего он только не умел и не придумывал — залетная птица среди ее избранников, но тужить о нем не стоит. С минутным озлоблением вспоминает она, как этот барчук пожалел итальянского мальчишку-акробата на лужайке в Тиволи... Думал небось, что людям без труда дается их ремесло. И не он ведь один так думает. Это злит Адель — она не лишена социального чутья.

В газете, которую ей доставляют тайком, Адель читает о военнопленных, которые терпят нужду и исчезают где-то на востоке, о миллионах беженцев, которые застряли на какой-нибудь границе между чем-то, что было раньше, и чем-то, чего уже след простыл.

В этой лавине бедствий она разбирается не лучше, чем большинство других людей, да и по правде сказать: что ей до них.

Ей ясно одно: своя рубашка ближе к телу. А стало быть, первым делом надо обзавестись своей рубашкой. Тогда жизнь снова войдет в колею. А в общем, на свой лад Адель в этих вопросах смыслит не меньше, чем политики с сигарами в зубах, хмурые лбы на газетных страницах, ведь они-то никогда не испытали на своей шкуре, что значит дойти до предела и оказаться на грани, пусть даже эта грань — всего лишь граница между добропорядочным и недобропорядочным в этом мире.

Есть мир уголовный, и мир неимущих, и мир военнопленных, репатриированных и пропавших без вести. В этом последнем тоже царит закон удачи и надежды — надежды на сигарету и кусок хлеба, или на то, что, несмотря на рысущий свет прожекторов, ночью тебе удастся пробраться сквозь колючую проволоку, или на то, что господь бог ниспошлет тебе избавительницу-смерть. Есть еще мир политиков, тех, кто пытается навести порядок в хаосе, воцарившемся повсюду в итоге четырех лет войны, — в этом мире тоже царит закон удачи, ибо каждый может получить лишь то, что ему удастся вырвать у противной стороны, выгода одного и здесь в ущерб другому. Вот и приходится идти на уступки, то есть ловить удачу, не пренебрегая сиюминутным выигрышем в деле, ради успеха которого ты бьешься, пусть даже этот выигрыш намного меньше тех требований, в справедливости которых никто не сомневался, когда они были выдвинуты впервые.

В Париже члены Национального собрания, хмуря лбы, требуют полных репараций от побежденной Германии, где смертность увеличилась вдвое по сравнению с началом войны, где четырнадцатилетние подростки выглядят семилетними. Рейхсканцлер отвергает такие мирные условия, а в Мюнхене началась гражданская война. Но что до того читателям газет в Скандинавских странах? Ведь это происходит за тридевять земель. Египетские националисты требуют начать священную войну — но ведь и это тоже за тридевять земель. В Национальной галерее в Христиании открылась выставка Коро, его серебристо-серые тона размягчают душу. Но посетители выставки стараются держаться друг от друга подальше, а вернувшись домой, полощут рот пиродонтом, чтобы уберечься от испанки. Тетя Кристина демонстрирует этот препарат от двенадцати до двух в Доме ремесел.

То и дело позвякивает колокольчик у дверей лавчонок на маленьких улочках: люди входят сюда с деньгами и выходят с хлебом, а те, кому не повезло, рады были бы пожертвовать своим добрым именем и спасением души, только бы отведать кусочек. Так звонят во всех странах колокола победы в честь окончания войны. Они на диво напоминают тихий звон колоколов над кладбищами, где в присутствии одетых в черное родственников предают земле тех, кто не выжил.

Сегодняшний мир — это мир выживших, мир убийц и тех, кто избежал убийства. Добропорядочные семейства в нейтральных странах никогда не обагрят своих рук в крови, они только складывали их в молитве. И что же, их молитва была услышана: в один прекрасный день война окончилась. Стало быть, они молились не зря.

Сегодняшний мир — это мир писателей!.. Старшее поколение, взяв в руки перо, может теперь описать пережитые ужасы, чтобы предостеречь потомков, а те будут смаковать эти ужасы в твердом убеждении, что они никогда не повторятся. Но зато настало время восстаний. Пусть они тоже стоят крови, но уж *эта* кровь по крайней мере прольется не зря...

А молодые писатели-ясновидцы, отбросившие прочь все иллюзии, уже могут стать потерянными поколением, возложив всю вину за совершенные ошибки на своих предшественников. Что ж, они имеют на это полное право, как военнопленные имеют право вернуться на родину, как бедняки имеют право на

хлеб, а усопшие — на могильный крест с именем, иногда даже их собственным.

Точно так же Эгон имеет полное право ненавидеть всех представителей проклятого высшего класса, чьи пути иногда скрещиваются с его путями, но кому удается от него ускользнуть, а семья Саген, живущая в далекой и совершенно нейтральной стране, имеет полное право сохранить те свои капиталы, которые не были потеряны в результате сделок, оказавшихся, несмотря на самые благоприятные прогнозы, не такими уж надежными, ибо они были рассчитаны на то, что война затянется. Но что у тебя есть, то есть. Взять, к примеру, семейство Эрн, отца и сына, — что у них есть, то есть, а есть у них то, что они приобрели благодаря энергии и предприимчивости, проявленным ими при благоприятной конъюнктуре. Так разве же справедливо урезать нажитый ими капитал, повышая налоги, чтобы облегчить нищету тех, кто не проявил подобной же смелости?

Конечно, несправедливо. И несправедливость эта не единственная. В этом мире, полном новых собственников, имущему человеку не найти справедливости. Бесцеремонное поведение властей озлобляет тех, кто выбился в люди благодаря собственному усердию и дальновидности и кто не намерен дать себя обойти. Усердные и дальновидные люди в негодовании своем объединяются и протестуют. Разве обязаны они, к примеру, заботиться о семьях погибших моряков или о тех, кто сидит с пустыми руками, которые нынче не к чему приложить? Люди на суше и на море знали, на что они идут. Дядя Мартин Мёллер с этим согласен, совершенно согласен, принимая во внимание обстоятельства. Взять, к примеру, исход войны, не каждому дано было его предусмотреть. Лично он никогда не сомневался в победе союзников, вот он и пришел к концу войны целым и невредимым, а если на его совести и остались крохотные царапинки, то ведь дело все-таки обошлось без крови. То, что известно всем, никому вреда не причиняет. Есть у него подопечный, племянник, который, по слухам, дошедшим до консула, вел себя скверно в кое-каких обстоятельствах, впрочем, по слухам, он тоже выкарабкался из переделки, может, и не вполне невредимым, но тут уж, как говорится, пусть пеняет на себя... Впрочем, он все же никакой не революционер и принадлежит к хорошему обществу.

А в хорошем обществе не должен править закон удачи. Тут должны править принципы. Принципиальный человек не может примириться с дурацким сухим законом, который удалось провести безумным фанатикам, городским и сельским. В подобных чудовищных условиях приходится действовать на свой страх и риск — не допускать же, чтобы над тобой устанавливали опеку. Само собой, человек, подобный Мартину Мёллеру, не вступает в личный контакт с контрабандистами и отбросами общества, на то существуют посредники — вполне порядочные люди, все более и более порядочные с каждым звеном цепочки, приближающим их к человеку вроде консула Мёллера. Что раздобудешь, то и получишь, и, в общем, не так уж плохо жить в этих чудовищных условиях — перепадают и масло, и виски... А все потому, что не сидишь сложа руки, даже когда дело касается мелочей в области частной жизни...

Чудеса, да и только, — из переделки целыми и невредимыми вышли все — все без исключения. И бдительная полиция, благодаря которой с каждым днем законопослушные граждане все меньше подвергаются опасности; и преступный мир, как таковой, — не станут же уголовники плакать, потеряв одного из своих, которому не повезло; и политики, которые в малых и больших странах, не щадя своих сил, трудятся, чтобы облегчить бедствия миллионов, а раз эти миллионы бедствуют, стало быть, они так или иначе тоже выбрались из переделки.

Ну, о мертвых и говорить не приходится — уж они-то безусловно выпутались из беды.

В Христиании фру Сусанна Саген живет в своей прежней квартире, и это вполне понятно: с ней связано столько счастливых воспоминаний, хотя, правда, и от менее счастливых тоже куда не денешься. Она поговорила об этом со своим возвратившимся на родину сыном. Этот одаренный молодой человек, причастный к искусству — в довольно-таки разнообразных сферах, причиняет своим родным огорчения, но лишь в той мере, в какой они сами хотят огорчаться. В конце концов, как говорится, шалопайничать — привилегия юности, а молодому человеку, судя по всему, шалопайничать нравится.

— Безобразие, — негодует консул Мартин Мёллер. — Будь это в дни *моей* молодости... — Он утверждает это как нечто неопровержимое, доверчиво уповая, что его забывчивая сестра понятия не имеет о том, как он провел свои молодые годы, кото-

рые он любит изображать суровыми годами лишений, полностью отвечающими десяти заповедям и еще двум-трем в придачу.

Из всего дражайшего семейства одна лишь тетя Клара, учительница, проявила известную последовательность и покинула столицу, выразив тем самым свое презрение к беспринципности и морской болезни. «Но ведь у нее недурная пенсия», — справедливо напомнил дядя Мартин. Так что ее отъезд отнюдь не вызвал у ее родных укоров совести. Впрочем, ей по-прежнему будут рады, хоть она всегда держалась несколько особняком, молчаливо осуждая своих ближних.

В хорошем обществе никто не живет по закону удачи.

Кое-кто, конечно, *поймал* удачу, *схватил* ее на лету, но это совсем другое дело, — так и надо — ловить, хватать и не давать собой править. Уж если кто-то должен править, то позаботиться о том, чтобы это был ты сам. Взять, к примеру, всю эту болтовню о профсоюзах. Уж не профсоюзы ли будут править, когда есть люди дальновидные, с большим опытом и кругозором, в особенности по части удач. Дядя Мартин совершенно согласен с этой точкой зрения, ее высказывают и все крупные газеты в Норвегии и за границей. И само собой, надо учитывать общее положение и существующий порядок. Нельзя допустить, чтобы студенты и другие безответственные лица захватили власть на земле, — править должны те, кто *способен* править.

И вот, хотя, учитывая общее положение, в мире все идет так хорошо, что лучше не бывает, молодой человек, представитель потомственно добропорядочного круга, отринул эту прекрасную жизнь. Некоторое время он прожил в норвежской столице. Получил из Копенгагена письмо, потом телеграмму. И к весне снова исчез.

Но он вернется. В разговоре со своим приятелем, бывшим метрдотелем Матиссеном, который живет отшельником в Энебакке, он обмолвился, что должен попытаться найти не то дорожку, не то тропинку.

Невнятная речь, но старик принял ее близко к сердцу.

Он любил новую аристократию, хотя ее представители изрядно помучили его в те несколько хлопотливых лет, что выпали ему за время его долгой деятельности. Впрочем, этот молодой человек выделялся среди остальных, не было в нем напора и грубости других молодых людей. В общем, он вел себя скромно, хотя его компания и пускалась на отчаянные проделки.

Все это кануло в вечность — и компания, и те, кто ее составлял. Правда, отчаянных проделок хватает и теперь, но Матиссена они больше не касаются. Конечно, он видит, что мир соскочил с рельсов, но ведь так бывало всегда — во всяком случае, сколько он помнит. Правда, многое изменилось: в прическах, в одежде, в манерах. Но ведь на то война — ее не сбросишь со счетов. А в общем, пожалуй, все окончилось лучше, чем пророчили священники в той зловещей новогодней проповеди, которая впервые выбила Матиссена из колеи. «Нужда и опасность», — твердили они. Но все в мире относительно. Когда, как Матиссен, читаешь Апокалипсис, невольно признаешь, что в доброй старой Норвегии и принимая во внимание войну и все прочее, дела не так уж плохи.

«Все наладится», — думает Матиссен в глубине души, и так думают многие порядочные люди. В конце концов, разве они виноваты, если слухи справедливы и в других странах и впрямь дела обстоят так скверно? Конечно, отвратительный китовый жир давит на желудок, но те, кто живет не по закону удачи, стараются быть выше этого неудобства. Матиссен, например, стал вегетарианцем. Другие добрые граждане купили себе хутора, а другие — торопливо снуют по ночам в прибрежных водах на моторных лодках с потушенными фонарями. Контрабандный товар, который эти энергичные люди выгружают на берег, идет и на продажу, и на обмен. С каждым днем все сужается круг тех, кто так или иначе не имеет своей доли в этих ценностях, вытесняющих обычные денежные знаки и регулирующих экономику страны, которая могла бы совсем захиреть от всевозможных запретов и ограничений.

Но, как уже сказано, порядочные люди тут не виноваты, совершенно не виноваты.

К примеру, такой человек, как Роберт. На клейкой полоске его совести ох как много жирных мух. Но странное дело — многие из них, живые и невредимые, снялись с бумажки и улетели и больше его не мучают. Все дело в том, что полоска заполнилась уже давно, во времена его детства — светлой поры на берегу Тёнсберга, пропитанной солеными запахами моря и солнца, но, однако, испещренной и кое-какими темными точками, печальными мухами, которые навсегда остались на полоске, вроде той истории с парнишкой, утонувшим во время регаты. Собственно говоря, одна такая муха может занять всю полоску совести до конца жизни, так что для других уже и места не останется.

Это и хорошо и плохо. Всем ведь места не обеспечишь. Правда, бремя старого становится все тяжелее. Но зато, к примеру, легче сносить, что некий адвокат Дамм, которого ты все чаще вспоминаешь худосочным мальчуганом по имени Юнас из твоего детства, два с половиной года отсидит в тюрьме за то, чем вы, по правде говоря, занимались на равных. Впрочем, таких случаев много. Кое-кого посадили. А в общем-то, все одним миром мазаны. Но не идти же самому предлагать, чтобы тебя в зяли, — от этого никому проку нет. Все на свете кончается, кончится когда-нибудь и это уголовное дело. Много есть людей, что хватали удачу на лету — кто за хвост, кто за голову, а кто посередке. Удача ведь скользкая, как змея: кто-то урвал кусочек, кто-то остался с носом, а кто-то с пустыми руками, но руки на то и даны человеку, чтобы хватать. Главное — не терять оптимизма.

Роберту оптимизма не занимать стать, как для себя, так и для других. Оптимизм остался при нем, а он и не привык владеть большей собственностью. Ему не впервой все начинать сначала. К тому же при нем теперь Селина, его благоверная.

Было время, когда при нем состоял и молодой парень, по имени Биргер. Но он ускользнул от его покровительства. Парень был из породы бродяг, он не пытался поймать удачу, не та в нем была закваска. Чем-то он напоминал милейшего друга Роберта — Вилфреда Сагена, который по-прежнему причиняет ему живейшее беспокойство. Роберт считает, что так уж в этом мире заведено: сегодня ты преуспел, завтра проиграл, — это почти незыблемый закон. Но на свой лад Роберт — приверженец порядка. Он признает, что другие люди — те, кто предназначен к этому по характеру или рождению, — живут по другим законам. Роберт — сторонник упорядоченных отношений между классами, тогда ему самому удобней прибиваться то к одной, то к другой стороне. Вилфреду Сагену куда прибиваться не надо, он принадлежит к определенному кругу, но ведет он себя порой так сумбурно, что хоть кого озадачит.

Биргер — дело другое, какого он круга, не поймешь. Был он расторопным помощником, когда они вместе торговали по ночам на улицах; этот паренек многое испытал и многое умел. И матросом он плавал и чего только не повидал!.. Но в один прекрасный день покровительство Роберта ему надоело, и он исчез. Неумная у него натура. К тому же он вел поджигатель-

ские речи, а вот этого Роберт не любит. Одно дело — говорить о будущем, о том, какие перспективы открывает оно на суше и на море. Но само собой, перспективы на основе существующего порядка. Все остальное — дерзкие фантазии. Пусть ими занимаются поэты, утверждает Роберт. Разве сам он не носит в кармане книжку, с которой никогда не расстанется, книжку о лейтенанте Глане со звериным взглядом, о том, кто однажды летом в Нурланне прожил целую жизнь? Вот это человек во вкусе Роберта. Но не во вкусе Биргера. Тот разъезжал по улицам и все толковал о некоем Марксе. Но этот Маркс не по вкусу Роберту. Не согласен он с тем, что Маркс пишет про тот самый капитал, за которым Роберт гоняется с утра до вечера. Будь у Роберта небольшой капитал, каких бы он дел наворотил: и гостиницу бы открыл, и туристическое бюро, и рекламное агентство...

Однако пока что у Роберта есть только две руки и тележка для продажи сосисок. Так что на «Вдову Клико» денег не хватает, но в свое время он попил шампанского вволю, — правда, с тех пор утекло много воды. Жизнь переменчива, и надо уметь применяться к обстоятельствам. Это следовало бы зарубить на носу такому Биргеру, оно лучше, чем забивать себе по ночам голову вздорными идеями. Роберт охотнее вспоминает не о Биргере, а о Вилфреде, хотя, как ни странно, ему легко перебросятся мыслью от одного к другому из этих двух, таких несхожих молодых людей, выходцев из двух различных миров. Роберт считает справедливым, чтобы каждый из этих миров существовал сам по себе.

Но порой, когда Роберт катит свою тележку по ночным улицам, возвращаясь домой, на окраину города, где он теперь обитает, перед ним вдруг открывается небо, все усыпанное звездами, и он угадывает ход земли в просторе вселенной. И тогда Роберт внезапно начинает понимать своего молодого друга Вилфреда Сагена, который ушел из дому, чтобы отыскать тропинку...

19

Где-то, в каком-то месте была тропинка...

Дядя Рене ненадолго возвратился на родину, чтобы ликвидировать свое имущество: остаток дней он решил провести в Париже. Ему казалось, что лично он спас город от гибели.

После победы союзников он помолодел на десять лет. В норвежской столице, глядя на него, покачивали головой, а за глаза посмеивались.

Тем временем наступил новый год, и в эту пору Вилфред написал четыре картины маслом. Благодаря связям дяди Рене они были выставлены вместе с работами трех других молодых художников. В газетах писали, что появился новый самобытный талант. Вилфред со сдержанным скептицизмом прочел об этом в гостинной на Драмменсвей, комнату вдруг населили невысказанные надежды. Ему это было неприятно. У него не укладывалось в голове, что пишут о нем.

А в один прекрасный день пришла телеграмма от Мириам из Копенгагена: «Ура я так и знала». Он прочел ее в вестибюле выставочного зала, охваченный сумятицей противоречивых чувств. Что именно она знала? В тот самый день в газетах было написано, что его картины отмечены какой-то незавершенностью. Может, она знала *это*? Он сложил телеграмму и снова развернул, опять сложил и опять развернул. В сложенном виде она радостно волновала его, в раскрытом — казалась разоблачением: критики знали все, что было доступно знанию, да он и сам это знал.

Но на другой день пришло письмо, удивительное письмо, каждая строчка которого говорила о том, как хорошо знает его она, хотя в письме она рассказывала о себе, ни словом не упоминая о том, что произошло в Копенгагене. Однажды ночью в Нурланне, писала она, когда ее гонимая семья жила в этом краю, она вышла из дому, чтобы подать знак Северному сиянию. Ей сказали, что, если поманить Северное сияние, оно возьмет тебя к себе. И вот она вышла и стала махать носовым платком. Но Северное сияние не взяло ее к себе. На следующую ночь, когда мощное сияние залило своим блеском все небо, она снова вышла из дому, но уже с большой простыней, и стала махать ею. Она стояла ночью возле дома на гребне холма и размахивала простыней, охваченная таким страхом, какого не испытал, наверное, никто на свете, перед ним меркли все ужасы, о которых рассказывали взрослые. Но Северное сияние не взяло ее к себе, хотя она махала ему простыней. В горьком разочаровании вернулась она домой и плакала оттого, что Северное сияние не взяло ее к себе.

Вилфред захватил письмо с собой за город и там прочел его под безлистыми деревьями. Перед ним возник всеобъемлющий образ: маленький человек на земле, охваченный страхом и в то

же время тянущийся к этому страшному, маленькая темноволосая девочка на краю горизонта, которая машет простыней холодному пламени Северного сияния: «Приди и возьми меня...»

Что она хотела сказать ему этим письмом? Он перечел его в надежде найти хоть одно слово нежности. Его там не было, но нежность была во всем — в том, что она задумала написать письмо, написала и послала его. Это было письмо о родстве душ, а может, просто письмо-утешение, но тогда, стало быть, все-таки" в нем таился намек на его унижительное бегство с концерта в ее автомобиле, под цветами...

Он не знал, что означает письмо. Но оно определило его решение. Он в каком-то смысле забыл о своих картинах, едва их написал. А теперь они предстали перед ним во всем своем ничтожестве. Вышло так, словно письмо Мириам о родстве душ толкнуло его прочь, к тому, что он искал. Он должен найти тропинку, найти то *место*. Не должно оно ускользнуть от него, стоит ему приблизиться. Иногда ему казалось, что это место — станция железной дороги, где во все стороны движется сама жизнь. Его ссадили с поезда, а поезд умчался дальше, и никто не слышит его безмолвного вопля. Его осудили ползать среди тварей, и сам он тоже тварь, окруженная теми, кто преследует и ловит, но он лишен неповторимой индивидуальности, он остался случайным, недоделанным выражением какого-то невнятного замысла — в точности как его картины.

По пути кто-то где-то выпустил его однажды из рук — и вот это «где-то» он должен найти, пока еще не поздно.

Он написал три математически вычисленные фантазии на тему уступа в Северной Зеландии — эта тема тоже имела отношение к тому «месту» — и портрет человека с сигарой по воспоминанию о воспоминании, отпечатавшемся в его душе.

Таким образом, в этих картинах он поставил перед собой какую-то цель, крохотную цель, которая уже ускользала. Теперь он перечитывал письмо Мириам. В письме о картинах не было ни слова, но телеграмма касалась их. Ура. Странное слово для телеграммы. «Незавершенные» — написали о картинах в то же самое утро. Он и сам это знал. И не в том смысле, что каждая картина не завершена потому, что он не довел ее до конца, — на свой лад он их закончил. Критики *не могли* знать того, что сам он лишь смутно подозревал, а именно: что его картины были незавершенными по самой своей природе, потому что его догадки, вечные его догадки, всегда касались формы и внешнего проявления людей и вещей и никогда не приближались к их сути, к

его собственной сути. Он ловкий господин Имярек, манипулирующий оттенками и формой, как фокусник — своими кроликами...

В детстве, замирая от восторга, он часто пытался понять, вправду ли кролики находятся в цилиндре? Теперь он понял — это не имеет значения. Раз ты что-то видишь, стало быть, ты это видишь, но зато *видишь*, и только. Но знают ли люди о том, что цилиндр, из которого фокусник колдовством извлек кроликов, совершенно пуст?

Пока Вилфред писал свои картины, он бродил по городу, навестил места, где бывал прежде, и распил бутылочку-другую с уцелевшими завсегдатаями Кабака. Так он набрел на Роберта и Селину, они наслаждались своей новоиспеченной добропорядочностью, примиренные с бедностью в перестроенном бараке, и на этой житейской основе составили себе временный моральный кодекс. Теперь, перечитывая письмо Мириам, Вилфред знал, что все это ушло в прошлое. Письмо толкало его прочь, требовало, чтобы он нашел то самое *место*. Время не терпит.

Тогда, в Копенгагене, Мириам увезла его домой в своей машине, спрятав под цветами. Даже если бы полчища врагов стерегли его на всех соседних улицах, им было до него не добраться. Она позвонила Бёрге (он так и знал, силы добра всегда заодно: они с Бёрге были наслышаны друг о друге — когда у кого-нибудь что-нибудь случалось, звонили Бёрге Вииду), и они вместе доставили его на корабль. Мать после целого года дурных предчувствий приняла его без трагедий и не пыталась вознаградить его теперь своими попечениями — он понимал, что это ей нелегко.

Он перечитывал письмо Мириам. Дядя Рене захотел отпраздновать его выставку, было обронено словечко «вернисаж»... Вилфреда передернуло при мысли о празднестве, и старик, которого принял в свое лоно Париж, не стал настаивать. Он примирился с тем, что просто пригласил мать и сына к себе, на свою старую виллу, и они охотно приняли его приглашение. Опустевший деревянный дом на окраине города, где багаж уже обшит мешковиной и мебель обтянута пестрыми чехлами. В такой дом отрядно войти тому, кто тоже задумал подвести итог.

Хорошо, что надо сняться с места, — к этому решению приводило письмо, которое он держал в руках и которое толкало его прочь. Ему ведь давно казалось, что он должен что-то най-

ти. Поиски он начал, едва сошел на берег в Норвегии. На последние деньги, оставшиеся от тех, что ему дал Бёрге (Бёрге утверждал, будто это Вилфред заработал их своим скромным литературным трудом), он взял такси и поехал за город. Там он пошел привычной дорогой к Сквлю — по снегу, как однажды в давние времена. Надо же было где-то начать странствие.

Но, дойдя до поворота, где начинался подъем к дому, он обнаружил, что дорогу расчистили. У дома стояла машина. Он испугался — испугался, что все пережитое им было одним лишь воображением, и даже летние месяцы его детства — еще один обман, выдуманный им среди прочих небылиц. Обогнув дом с торцевой стороны, он осторожно вскарабкался вверх по шпалерам жимолости и заглянул в окно, в комнату, где сидели незнакомые люди, двое малышей и девочка-подросток с золотистыми волосами. Девочка обернулась к окну и вскрикнула, рот ее открылся в крике, беззвучном для его слуха... В то же мгновение он пустился наутек по саду, так хорошо ему знакомому, между деревьями, застывшими, словно призраки кошмара, который грезился ему всегда и от которого у него не было сил освободиться. Остановился он только у дома родителей Эрны — этот дом, где на веранде громоздились зеленые скамейки, был доказательством реальности бытия.

Да, погоня продолжалась. Все, что когда-то было, даже летние месяцы, пережитые в Сквлю, гнались за ним. Стоя в соседском саду, он это понимал. Но только теперь, держа в руке письмо Мириам, он понял, что этого еще мало, — мало только *знать* это в мире, где все цели стали терять свои очертания.

Он пошел вдоль перешейка к участку садовника, где снег уже растаял, и дальше — к хижине фру Фрисаксен. В эти предвечерние часы на холмах еще жила постаревшая зима, но в воздухе уже пахло нарождающейся весной, и он вдруг осознал зловещую правду о силах, которые его гонят. Глупо было думать, что, спасшись от каких-то бандитов в чужом городе, он разделался с преследованием вообще. Здесь, в стране своего прошлого, он впервые осознал, что великий загонщик поджидает его повсюду, и спастись от него можно одним лишь способом — найдя обетованную землю, которая обещана каждому, должна быть обещана каждому, ибо иначе днем ты не будешь знать, где приклонить голову, и ночь откажет тебе в милосердии.

Переночевал он в хижине фру Фрисаксен, а Морозным утром пошел к песчаной косе и нашел ракушки — точно такие, как те, какими мальчишкой он играл в кораблики тем летом, канув-

шим в прошлое под бременем чьих-то противозаконных чувств.

Но все это произошло уже давно. Потом Вилфред начал писать картины. А теперь перечитывал письмо Мириам, собираясь на некое «торжество» у дяди Рене, чтобы порадовать старика.

А вечером старик снова, в который раз, поразил их, обойдась без малейшей выпренности в разговоре о двух событиях — выставке, честь которой, казалось, принадлежит именно ему, и отъезде в страну, которая всегда была его землей обетованной. Они втроем уютно посидели в деревянном доме за скромным обедом и потом помузицировали для собственного удовольствия. Дядя Рене опять заиграл на своей флейте мелодию Дебюсси, но не стал мучить гостей, изображая на своем лице то, что им и так было хорошо известно: это в последний раз. Обошелся он и без тягостных речей о надеждах, которые он возлагает на Вилфреда. Он просто еще раз поднял тонкий бокал своей прозрачной рукой и по традиции сказал «несколько слов». Казалось, они сидят в усадьбе, заселенной многочисленной дружной семьей, — они трое, каждый в своем одиночестве, были представителями клана в этом пустом доме, где бродила непоседливая экономка, сама похожая на предмет обстановки, который вот-вот упакуют и увезут. Казалось, в этой белой комнате с облупившейся позолотой голуби опустились им на плечи. Вечер был полон взаимной нежности, и скупые тихие слова не мешали в эти трепетные минуты умиления и дерзновенности на короткий миг расцвести надеждам.

И пусть надежды эти будут тщетными, они никого не компрометируют — ведь никто не высказал их вслух...

И чтобы еще решительней покончить с «волнением», которое могло бы выдать их чувства, Вилфред схватил со стола бокал и произнес голосом дяди Мартина: «М-да, мой мальчик, надеюсь, из этого выйдет толк. Я со своей стороны...» — и характерным движением дяди Мартина развел руками, как бы слагая с себя всякую ответственность.

Мать и дядя Рене посмеялись, посмеялись над отсутствующим дядей Мартином, мать на всякий случай сказала: «Фу!», а Вилфред увлекся, вошел в роль, как бывало прежде, как бывало всегда, и уже не мог остановиться, и произнес небольшую речь в духе Мартина Мёллера: об искусстве, которое многим доставляет удовольствие и даже — такие примеры известны — мо-

жет прокормить того, кто им занимается, если этот человек энергичен и дальновиден...

Они смеялись, добрые души, смеялись даже тогда, когда он начал переигрывать, потому что так бывало прежде и смех вошел у них в привычку. А он смотрел на них и, переигрывая, знал, что им в тягость этот возврат к прошлому и что когда-то в давние времена другому человеку, красивому мужчине с бородкой и молящим взглядом, были свойственны те же дурные привычки — быть может, он тоже насмеялся над недостатками и слабостями своих ближних и все играл и играл тем, что, может быть, не было игрушкой, — и он об этом знал, а может, не хотел знать.

Однажды мать сказала, что почти забыла его. Это случилось во время одного из нескончаемых разговоров в гостиной на Драмменсвей. Но правду ли она сказала и знала ли она сама, в чем состоит правда? Не потому ли мать с сыном вели эти разговоры, что такова была форма их существования: у них все было сначала формой, еще до того, как наполнялось смыслом?..

Он размышлял об этом, произнося свою маленькую пародийную речь, а они смеялись, потому что эти достойные люди всегда находили способ выразить что угодно, но, может статься, за этим выражением ничего не было. Он заговорил об этом с дядей Рене, когда они пили кофе, заметив, что, может быть, форма, которую так жадно ищут все художники, это как раз...

Но дядя Рене слишком быстро угадал, что он хочет сказать, так быстро, что ничего не понял, и произнес неизбежные слова о единстве формы и содержания в искусстве. Вилфред чуть не расплакался от разочарования, хотя знал, что услышит именно эти слова. Ведь дядя Рене был просто добрый старый фокусник, с цилиндром, до краев полным всевозможных объяснений и й, — и они выпархивали оттуда, а находились они там впрямь или нет — не суть важно. Что объяснения, что кролики — все одно. Бесконечная цепь ничего не выражающего выражения.

Когда поздним вечером при свете звезд, располагающем к откровенности, мать с сыном возвращались домой, она рассказала ему о том, что продала Сковлю. Она по традиции сообщила об этом беспечным тоном, и он ничем не выдал, что за беспечностью уловил волнение и что вообще уже знал об этом. Не сказал и о том, что был изгнан оттуда и что самый дом стал частицей враждебных сил, которые его окружают. Он только пе-

респросил с оттенком ребячливого испуга в голосе: «Неужели ты продала Сквовлю?» И она тут же стала приводить уйму разумных доводов: он так долго не возвращался домой, так мало писал о своих дальнейших планах... В этих словах был намек на материнский укор, и он охотно ей подыграл. Он все понял и все одобрил. Он побудил ее привести еще новые доводы, предоставив ей одержать полную победу, и довел ее даже до того, что и она не смогла вовремя остановиться и произнесла роковые слова о том, что с этим местом связаны не одни только счастливые воспоминания. Он мог сделать вид, что эти слова не были сказаны, мог перечеркнуть их, подтвердив их с готовностью, которая означала бы все что угодно и вообще ничего. Но он этого не сделал, потому что им снова предстояло расстаться. Он предложил распить вдвоем по стаканчику, как в былые дни, чтобы завершить вечер, и, поставив графин на стол, заметил вдруг, что виски ее чуть больше впали: там, где прежде с каждой стороны был мягкий изгиб, образовалось маленькое углубление, и он склонился к ней и поцеловал виски, на которых у этой дамы, его матери, появились первые вестники старости.

— Где ты собираешься жить? — спросила она.

Он еще ни словом не обмолвился, что намерен уехать. Он неопределенно пробормотал, что хотел бы кое-что написать... Говорил ли ей дядя Рене, что нашлись покупатели на три его картины? Она предполагала, что это должно быть сюрпризом для сына, и поэтому скрывала от него, что знает. И оба поняли, что дядя Рене хотел доставить радость им обоим — он тоже оставался ребенком...

— А четвертая картина?

— Ты не видела ее? Это портрет.

— Чей?

Как бывало прежде, как бывало всегда в этой гостиной. Они сидели вдвоем, пытаясь угадать то, что оба знали.

— Почему он это сделал? — спросил сын.

И она ответила, как прежде:

— Не знаю.

Ответила по привычке без раздумий, потому что есть мысли, которые нельзя передумывать слишком часто — больше чем миллион раз. Потом эту мысль уже не продумываешь, она просто кружит по какой-то вялой окружности без центра, не сознавая, что это замкнутый круг.

Она погладила сына по шраму на лбу, который все еще был слегка заметен.

— Он не мог жить без тайн, — сказала она.

Так определенно она еще никогда не говорила. Она тут же встала, взяла сигарету, хотя курила редко, — сигарета нужна была ей для самозащиты. Он подумал: «Быть может, отец не мог жить и с тайнами тоже, и в этом состояло его несчастье».

— Может, он не мог жить и с ними тоже, — сказала она. — Без тайн он начинал скучать, а с тайнами...

В гостиной стало тихо-тихо. В темноте светилась вдали только сигнальная мачта.

— А с тайнами?

— Как видно, ему было не под силу выдержать их.

Она смотрела на шрам на лбу сына. Она ни разу ни о чем не спросила его.

— По-твоему, он был слабый человек? — снова заговорил он. Ему хотелось сказать это равнодушным тоном.

— Да, слабый. А может, и сильный. Не знаю. Вообще-то сильный.

— Мама, он подбрасывал меня на руках вверх?

— Подбрасывал вверх? Что ты имеешь в виду?

Они помолчали, но каждый чувствовал волнение другого.

— Мама, вспомни, он подбрасывал меня вверх — однажды, где-то...

Она недоверчиво улыбнулась.

— Тебе же было всего три года...

— Три с половиной.

Она кинула на него удивленный взгляд.

— Но что ты хочешь сказать? Какое это имеет значение?

— Где-то над пропастью... Нет, нет, я этого не помню, но помню, что вспоминал это. И он выпустил меня.

— Выпустил?

— Выпустил и снова поймал. И так несколько раз.

— Ты хочешь сказать, что ты упал? — Теперь она глядела на него с испугом.

— Да, упал! Нет, не тогда! Он снова подхватил меня. Но позднее...

Судорожно плеснув себе из графина, она пролила несколько капель на стол.

— Позднее — в каком смысле? Впрочем, я бы не хотела говорить на эту тему...

Но он уже не мог удержаться.

— Там еще были лошади!

— Лошади были всюду. Всегда лошади. За границей...

— Нет, мама, здесь!

Она встала, прошлась по комнате и сказала, на сей раз решительно:

— Он тебя не выпустил.— Она словно бы оборонялась. — Я не хочу говорить об этом, слышишь. Но вообще, он выпустил нас всех, всё.

Круг замкнулся. Она казалась усталой, нервной. А он хотел порадовать ее. Но почему всегда обрывают все его попытки навести мост над провалом, над которым он повис, брошенный кем-то на произвол судьбы?..

— Ты нервничаешь,— сказала она. — Это все из-за выставки.

Ей было легче от этой лжи, — что ж, он снова ей подыграет.

— Он ведь и не довел до конца... — сказала она как бы в оправдание.

На сей раз сказала твердо, чтобы извинить его, а может быть, себя. Чтобы прикрыть фиаско — она *не хотела* поверить, что оно могло оставить след на чем-то будущем. Сын на мгновение восхитился этой способностью уклоняться. Рукой он нащупал в кармане письмо Мириам. Обе — такие разные. Но каждая на свой лад отталкивала его от себя.

Легко встав, он поцеловал ее на сон грядущий.

— Я тебе буду писать, — сказал он.

20

Но он не написал письма ни матери, ни Мириам. Он как одержимый писал другое — то, что в тайниках души называл своими воспоминаниями, хотя это были не его воспоминания, а воспоминания, жившие в нем; писать их было совсем не то, что стряпать рассказы для Бёрге Вианда из Харескоу, это тоже означало искать то, что он потерял тогда, когда некто выпустил его из рук в безвоздушное пространство.

Он снял комнату у бывшего метрдотеля Матиссена в его украшенном деревянной резьбой домике в Энебакке — получилось это случайно, сосватал их все тот же Роберт. В своем неистощимом доброжелательстве он по-прежнему держал все нити в руках. Сам Матиссен перебрался в кухню, где с раннего утра воплолоса читал Откровение святого Иоанна, а в остальное вре-

мя заботился о своем новом подопечном. Для старика метрдотеля было в этом что-то символическое. Сам он после тридцатилетнего служения соблазну надеялся искупить греховную жизнь за два-три оставшихся года, которые ему сулил его врач. Каждый раз, когда его неумный молодой друг покидал их совместное уединение, старик провидел в этом окончательную погибель молодого поколения, но в терпимости своей снабжал молодого скитальца громадным кульком со съестным, чтобы в течение нескольких первых суток спасти хотя бы его брненное тело. Однажды, когда отлучка Вилфреда затянулась, метрдотель даже заглянул в его объемистую рукопись, после чего долго покачивал головой, дивясь тому, как странно устроен мир. В подобных случаях он обычно садился в поезд и ехал — излить свою наболевшую душу доброжелательному Роберту, который в свое время принадлежал к числу беспутных шалопаев, доставивших Матиссену в храме греха немало горьких минут. Но Роберт, который все мог понять, только задумчиво кивал головой, как кивал почти на все, что ему говорили. Вилфред и ему толковал, что должен, мол, найти какое-то место. Оба они — и бывший метрдотель, и бывший биржевик — жили, как удалившиеся от мира мудрецы: один при своем Апокалипсисе, другой при своей тележке с сосисками, которыми, благодетельствуя усталых путников, он торговал по ночам на Хегдехаугсвей.

То, что Вилфред превратился в писателя и неутомимого скитальца, ничуть не удивляло Роберта. Он признавал за своими ближними право на талант, которым их одарил господь бог, он признавал за всеми права на все что угодно. За собой он признал право на Селину — верного хамелеона. В течение дня она с рассеянным усердием исполняла роль хозяйки дома. Чем она занималась по ночам, интересовало Роберта все меньше по мере того, как их супружество утрачивало аромат новизны. Сам Роберт был верная душа, но лишен постоянства как в супружеской жизни, так и во всем остальном. По сути дела, он был воплощением времени, которое норвежская столица пережила в ту пору, когда под траурную песнь с моря в ней били светлые источники. Теперь это был смиренный город, в котором после веселой пирушки для многих началось похмелье. С наступлением мира норвежцы почувствовали лишения, от которых их уберегла война. Валдемар Матиссен сравнивал мир с извивающейся змеей — теперь наконец судороги дошли до хвоста, и он дергается в конвульсиях. Все явления и предметы Матиссен сравнивал с образами из животного мира, которыми населил его воображе-

ние Апокалипсис. Каясь в своем долгом служении чревоугодию, он перешел на овощное меню. Сидя при свете лампы за кухонным столом над Новым заветом, он время от времени откусывал кусочек длинного огурца, которым изредка почесывал себе спину. Зато заусенцы свои он оставил в покое и вообще отстал от дурной привычки вечно что-нибудь теребить руками. Матиссену было приятно, что у него поселился хорошо воспитанный Вилфред Саген: казалось, он подобрал на дороге птенца, которого старался отогреть на своей старческой груди, где еще с тех самых пор, как Матиссен плавал на корабле, сохранилась та-тировка — сердце и девушка.

Но Матиссену были не по душе разговоры о дорогах, вечный разговор о дорогах, которые ищет молодой человек. Старика огорчали его скитания. Сам он нашел тропинку, которая вела к праведной цели. В глубине души и Матиссен, и глубококомысленный Роберт — оба считали, что поиски пути, на которые пустился их молодой друг, следует понимать символически.

Никогда в своей жизни Вилфред не бродил так много. Ему надо найти тропинку, и найти поскорее, если он хочет хоть что-то спасти. Он ехал поездом, катил на велосипеде и шел пешком, чаще всего — пешком. Он узнавал дороги, которые тянулись без конца, пересекаясь с другими дорогами, и он пускался по этим новым дорогам из боязни упустить хоть какую-то возможность. Он узнавал страну, но видел ее как сквозь дымку, все надеясь, что она рассеется, открыв его глазам ускользящий от него пейзаж. Он искал реальную дорогу, а вовсе не символическую — ту дорогу, которая однажды предстала ему в воспоминании на холмах Харескоу, когда что-то едва не рухнуло в нем.

Если бы тогда он и в самом деле убил ребенка — чужого, нечаянно подобранного ребенка, которого он в смятении чувств навязал себе на шею, — не стало ли бы это убийство случайно состоявшимся завершением? Это было бы так гнусно, что мысль каждый раз бежала прочь от картины, возникавшей в его воображении... Но не стало ли бы оно завершением случайных импульсов, которые жестоко властвовали над знакомыми ему людьми, побуждая их совершать дикие поступки, на свою и чужую беду? Спас его случай, а может, не случай, а видение, проявление сознания, существующего вне его самого.

Воспоминание о невинности.

Вот ее-то он и искал. Спасительное видение длилось недолго. Оно как бы помогло Вилфреду против тех сил, что гнали его, помогло на мгновение бежать от рокового мгновения, но не дало ему прочной защиты от роковых сил, обитающих в нем самом.

Все это было давным-давно. Но он предал того ребенка — и его тоже. Он предал все, что приближается к нему. А Мириам? Она — некая абстракция, как его картины, как все то, что он пытался создать из эмбриона, в котором не было жизни. Все это внешние проявления, выражения, лишённые замысла. Он извлекал их из небытия, облекая в краски, в звуки, в слова, но и краски, и слова рядились в знаки замысла, не воплощая его. Лишь бы оказалось, что где-то он все-таки есть: в запахе тропинки, в освещении, в местности, которая реально существует, где-то в том месте, к которому он должен *пробиться*, двигаясь вперед или вспять.

Вилфред поселился у старого человека, который пытался заменить ему отца, — таким отцом пытался стать для него сначала Роберт, а потом Бёрге. Но когда писательство захватило Вилфреда и стало самоцелью, а не поисками, он навсегда ушел от гостеприимного хозяина, даже не простившись с ним. Он прихватил с собой свой старый велосипед и в открытых долинах увидел весну, встреча с которой могла бы наполнить его сердце радостью, а на склонах гор — уходящую зиму, которой он с восторгом любовался бы, если бы каждая набухшая почка и каждая прогалина на склоне не таили от него своих даров — все так или иначе уклонялось от него, замыкались и люди, которых он встречал. Над Вилфредом тяготела вина перед ними, и казалось, они это знают. Он шел пешком и ехал на велосипеде от долины к долине — по местам, где он бывал, и по тем, где он бывать не мог, их он вспоминал той космической памятью, с помощью которой надеялся спастись, перестав быть чистой случайностью в этом мире, каким-то неприкаянным «не-я», без своего места в жизни и без имени. И дороги разбегались перед ним в разные стороны, и ему надо было дознаться, куда ведут они все, потому что на одной из них, быть может, и ждало его воспоминание, такое насыщенное, что способно было ответить: «Да, ты в самом деле существуешь!»

Однажды, бродя лесом, Вилфред встретил Поэта. В этот удивительный день он оказался неподалеку от маленького поселка на побережье. С утра он бесцельно бродил по лесистому склону

как раз над поселком. И вдруг среди листвы увидел Поэта со шляпой в руке, тот шел почти прямо на Вилфреда. Вилфред испугался, сперва потому, что подумал, уж не пошаливают ли у него нервы и не привиделось ли ему все это, а потом — из-за того, что встретил Поэта. Он сошел с тропинки и укрылся среди деревьев.

Все так же держа шляпу в руке, Поэт остановился, Вилфред увидел под тонким, с горбинкой носом по-кошачьи изогнутые усы. «Так стоял Юхан Нильсен Нагель, — подумал Вилфред. — Именно так, доверчиво и в то же время настороженно. Что принесет следующий миг этой душе, столь незащищенной и ранимой, что даже нежное дуновение ветерка должно быть для нее как удар кинжала? Может, сейчас в лесу он ляжет на землю, и поплывет, покачиваясь на небесных волнах, и забросит в них серебряную удочку, а лодочка у него из благоухающего дерева и парус из светло-голубого шелка, вырезанный полумесяцем...»

Но Поэт поступил иначе, он быстро вынул из кармана клочок бумаги — конверт, а из другого — карандаш. Набросал что-то на обратной стороне конверта, сделал несколько быстрых шагов, снова остановился, снова вынул конверт из кармана, на этот раз не только поспешно, но и нетерпеливо, точно чего-то страшился, и долго писал на нем мелкими буквами. Поэт стоял так близко, что Вилфред различал его почерк. Он чувствовал себя словно охотник в засаде, подстерегающий пугливого зверя, лесную лань, — сделай он шаг или дохни на листок, и человек, стоящий рядом с ним, в безмолвном негодовании исчезнет, подобно видению.

Поэт вновь сунул бумагу в карман, сделал несколько шагов, тихо разговаривая сам с собой, что-то мурлыча, и потом снова стал писать. И теперь уже совсем спокойно, как ни в чем не бывало зашагал прочь.

Но самое удивительное было то, что в поселке, в маленьком отеле, Вилфред увидел его снова. Прямой и рассеянный, он вышел к ужину, и по его подвижному лицу мелькнула тень, когда он увидел за столом незнакомца. Опустив голову, Вилфред стал глядеть в сторону. В эту минуту он был так переполнен ощущением близости не только этого чужого ему человека, но и чего-то в себе самом, к чему ему никогда не удавалось приблизиться, что не мог проглотить куска. И чувствовал он уже не почтение, как несколько часов назад, в лесу, а что-то — какое-то... какое-то вознесение, что ли, — он не мог подобрать другого

слова, а его неодолимо тянуло подыскать название своему чувству. Это было... как бы узнавание утраченного воспоминания, на поиски которого его гнали силы, обитавшие в его душе. В мыслях сверкнуло слово «счастье»: так близко к ощущению счастья он еще никогда не бывал. Он в отчаянии перебирал возможности высказать свои чувства, но слов не было, в горле застрял какой-то сухой комок. Тихо встав, он вышел из столовой, и ему почудилось, что человек, склонивший в этот момент голову над тарелкой, благодарен ему за его уход.

На другой день Поэт уехал; после обеда он не показывался, должно быть писал у себя в комнате, используя заметки, сделанные в лесу. Это он написал о *тропинке*, о том, как бывает, когда ее ищут. Кто протоптал ее, эту длинную-предлинную тропу, пролегшую через болота в лесную чащу? Это он овеял томлением холмы и населил любовью леса. Когда-то Вилфред и Роберт не расставались с «Паном». Не потому ли такой трепет охватил здесь Вилфреда, что само присутствие Великого наполнило все вокруг особым смыслом?

Ни разу прежде не знал он так твердо, чего ищет, как в этот день. Уверенность не покинула его и к вечеру, когда он снова пошел в лес и ему казалось, что искомое близко. Но оно ускользало от него, и на другой день, когда ему сказали, что Поэт уехал, ускользнуло совсем. Казалось, Вилфреда осенило на лету крыло могучей птицы — отеческое крыло.

Несколько недель спустя, бродя по холмам, он вдруг обнаружил в кармане погремушку — маленькую целлулоидную погремушку с желтой костяной ручкой. Откуда, черт возьми, она взялась? Он поднес ее к лицу, прекрасно зная откуда. Но он хотел избежать ответа, причиняющего боль, поэтому старался не вспоминать, как однажды хмурым и холодным утром, когда он думал, что за ним гонятся, он купил ее ребенку. И тут его поразила мысль, что в то копенгагенское утро он недаром отправился на яхту «Илми». Потом он внушил себе, что его погнало туда страх: он боялся искать другого пристанища, предполагая, что его преследуют. На самом же деле он хотел избавиться от ребенка.

Теперь он знает, что хотел утопить ребенка. Он навязал его себе на шею без дурного умысла, разве что по беспечности — так он, во всяком случае, думал тогда. Но он привык избавляться от того, что ему мешает. Вот он и отправился к заливу, чтобы

утопить ребенка, — никто бы об этом не узнал. Он распорядился, чтобы ему подогнали шлюпку. На ней он мог переправиться на берег, и никто бы его не заметил. Позже, когда он подплыл к берегу с ребенком, он устроил из этого целое представление: вызвал такси, настойчиво демонстрировал сторожу, что при нем ребенок. Но тайное намерение гнезилось в нем. Только он ничего не доводит до конца — будь то живопись, будь то убийство...

Вилфред бродил по холмам, вспоминая, как когда-то спас от смерти маленького Тома, некоего сына некоего садовника, который превратился в контрабандиста. Его он тоже едва не оставил погибать. Когда он увидел Тома на дне, разве у него не мелькнула мысль: «Пусть себе там и останется»? Но тут он услышал крики. А потом увидел на холме Эрну в желтом купальнике, а потом оказался верхом на полумертвом Томе и милосердно вернул его к жизни на глазах у зрителей.

А Андреас? Его он предал — отчасти выручил, но тут же предал, подверг опасности, по тогдашним обстоятельствам весьма серьезной: опасности быть исключенным из школы и попасть в число отверженных. И не стать бы тогда Андреасу преуспевшим биржевиком, не носить фамилии Эрн. А его чахлому отцу под пальмой не видать ни яхты, ни геральдических украшений. А ведь для этого они в конечном счете и живут на свете, ради крохотного престижа, ради цели, которая ничуть не хуже других мелких жизненных целей, например без ошибок и мило сыграть Моцарта, чтобы увидеть, как сблизилась, аплодируя, прозрачные руки дяди Рене вместе с десятком, а то и с тысячей других рук.

Лицо Мириам, когда она со скрипкой в руке выходила в зал к зачарованным слушателям... Нет, *она* шла не за тем. Она была из другого теста. Она шла, чтобы убедиться в том, что на свете существует нечто подлинное, — шла к завершению, которое подкрепляло нечто, живущее в ее собственной душе.

Есть на свете источники светлые и источники темные. Мириам и ее сородичи веками бродили вдоль темных источников, но кое-кто из них выжил с уверенностью в том, что знает, откуда идет свет. Другие устроены так, что вообще замечают в жизни только ее светлую сторону — светлую для них самих; они глядят в зеркало источника и видят там победоносного орла, даже если сами они засижены мухами за долгие годы жизни на

Фрогнервей. Есть также на свете люди вроде дяди Рене, исполненные веры в то, что им самим не принадлежит, — какой-нибудь собор в Париже придает в их глазах смысл всему существу и надежду на причастность к нему.

В своей вере он неутомим. Удивительное дело. Эта неутомимость роднит его с Эгоном — независимо от того, из темных или светлых источников черпает каждый свою силу. А Андреас и его честолюбивый отец, которые, глядя, как заходит солнце, чувствуют неодолимую потребность приподняться на могучих крыльях, пусть хоть в самое последнее мгновение... Даже мать по-своему неутомима. Все они разменивают день за днем, не мучаясь необходимостью ежеминутно делать выбор. А Роберт? Он тоже неутомим в своем бесцветном оптимизме, в своем доброжелательстве к себе самому и к другим. Это роднит их всех, даже Селину, которую носит от одного к другому, точно подхваченный ветром трамвайный билет. Похоже, что все они неутомимы, не бывает у них чувства, что все на свете обрыдло.

Об этом можно было спросить у него — у Поэта. Наверное, он что-нибудь об этом знает, ведь он вмещает в себя всех людей. Наверняка он бросил бы на Вилфреда сердитый взгляд, буркнул бы что-нибудь вроде: «Займитесь-ка вы делом, молодой человек!» Удивительно, что при всем вопиющем безрассудстве того, что он сочинил и чем завлек молодежь, в нем самом есть что-то на редкость трезвое, и, наверное, это ему мешает. Но, если бы Вилфред осмелился задать Поэту вопрос о самом главном, о самом заветном, как знать, не увидел ли бы он тот знакомый по фотографиям бесконечно грустный взгляд, который говорит, что, может быть, даже весь его огромный жизненный опыт — бездонное ничто, не ведающее своих начал.

Никогда прежде Вилфред не ходил так много, он даже похудел от ходьбы. Это причиняло неудобства, когда ему случалось заночевать на сеновале. Весной сена уже нигде не было, и у него саднили бедра и спина, когда, лежа на жестком, он ощущал собственные кости. Ему все больше и больше хотелось взмолиться, чтобы кто-нибудь ему помог.

Время от времени, взяв себя в руки, он решался зайти на какой-нибудь хутор, чтобы попросить работы. Но в эту пору растущей безработицы по дорогам шаталось много бродяг, да и работник из него был никудышный. На одном из хуторов его обещали накормить и приютить на ночлег, если он починит

ограду и водворит на место старые ворота. Но хозяин стоял и смотрел на Вилфреда, пока он работал, и все его умение втирать очки испарилось в присутствии этого кряжистого крестьянина, знавшего толк в своем деле и подозрительно улыбавшегося, глядя на него. Зато оказалось, что в некоторых усадьбах была нужда в ком-нибудь, кто умеет играть на пианино: после войны в этих домах оказались дорогие инструменты, к которым никто не решался прикоснуться, а хозяевам хотелось услышать, как они звучат. У Вилфреда еще оставалось немного денег, вырученных от продажи картин, но купить у хуторян еду было невозможно. Во время последнего пребывания Вилфреда в Энебакке Валдемар Матиссен снабдил его продовольственными карточками, но он их уже израсходовал. Чаще всего Вилфред питался сладкими булочками, которые продавались в деревенских лавчонках и на железнодорожных станциях. Но изредка ему выпадало обильное угощение: каша с маслом, большие куски мяса с салом и подливкой. А если ему удавалось припрятать кусок мяса, чтобы захватить с собой, лучшего и желать было нельзя: тогда он садился на опушке леса со своей завернутой в просалившуюся газетную бумагу едой и, глядя на уютно освещенные окна хуторов, чувствовал полное блаженство. Но только он редко отваживался обращаться к людям, он и прежде не любил, когда его расспрашивают, а деревенские жители подробно и без церемоний расспрашивали обо всем — откуда он и куда держит путь. Неположенное это дело, чтобы, человек являлся ниоткуда и никуда не шел. Только что окончилась война, по дорогам шатается невесть кто. Вилфред никогда никого не встречал, но ему об этом рассказывали. Все, с кем он отваживался заговорить, рассказывали, что в стране царит нужда и по дорогам шатается всякий сброд — в устах хуторян это звучало обвинением.

В один прекрасный день Вилфред оказался в той долине, где жила тетя Клара, где поселилась, получив свою пенсию, стойкая тетя Клара, вечно облизывавшая губы своим пепельно-серым языком, тетя Клара, отказавшаяся говорить по-немецки в мире, который шел вразрез с ее принципами. Теперь она занималась с детьми строительного подрядчика и преподавала в местной школе. Она жила в новом домике, построенном подрядчиком и лишенном какого бы то ни было стиля или индивидуальных примет, — как раз то, что ей подходило. Вилфред в от-

далении кружил вокруг дома, был холодный весенний день, дул пронизывающий ветер, солнце едва светило, и он еле держался на ногах.

И тут вдруг на крыльце, собираясь куда-то идти, появилась тетя Клара: прямая, серая и маленькая, стояла она под блеклыми лучами солнца. Она не вытаращила глаза, увидев Вилфреда. Добрейшая тетя Клара. Облизнув губы кончиком сухого, пепельно-серого языка, она предложила племяннику зайти в дом и не стала докучать ему чрезмерной заботливостью. Она только бросила быстрый взгляд на его стоптанные башмаки, подметки которых угрожающе отставали. Она рекомендовала Вилфреда подрядчику, чтобы он репетировал его троих детей, и послала к местному сапожнику, который шил обувь из настоящей кожи. Вышло как-то само собой, что Вилфред поселился у тети Клары, и точно так же вышло само собой, что она не сочла нужным оповещать окружающих о том, что к ней случайно явился племянник, у которого каникулы и который слегка обносился в дороге.

Однажды вечером он спросил тетю Клару о Биргере. И она, которой не пришлось изведать в жизни душевных бурь, спокойно отнеслась и к разговору о тайне, которую, собственно говоря, нечего было и скрывать.

— О мальчике в свое время позаботились, — сказала она. — Его отец позаботился о нем, как положено по закону. А Сусанна вовсе не приняла это так уж близко к сердцу.

— А отец?

Тетя Клара замаялась. Он — дело другое, его вообще трудно было понять.

— Ты-то ведь не помнишь своего отца, тебе было всего три...

— Три с половиной. Впрочем, помню, Не помню — сам не знаю.

— Эта фру Фрисаксен, — сказала тетя Клара, играя тем самым медальоном, в котором скрывался другой медальон, а в нем — третий, а в самой глубине хранилась какая-то тайна, — она была, наверное, не такой уж хорошей женщиной.

— Ты хочешь сказать, тетя Клара, — и не такой уж дурной.

Тетя Клара задумчиво уставилась прямо перед собой: глаза на ее строгом лице были совсем молодыми.

— Незамужние женщины вроде меня смотрят на все эти дела, наверное, по-другому, — уклончиво отозвалась она. — Нам легче быть нелицеприятными.

— Ты думаешь, что мама...

— Что ты пристал ко мне с расспросами, мальчик! Разве я тебя о чем-нибудь спрашиваю?

Вилфред почувствовал, что тетя Клара только делает вид, будто сердится. Она налила им обоим чаю, рука ее слегка дрожала — должно быть, ее взбудоражили воспоминания о том, что мирно дремало под спудом все эти годы.

— Прости меня, тетя Клара.

— Тебе не из-за чего просить прощения. К тому же, пожалуй, ты прав, другим женщинам, хотя бы женщине в моем положении, легче, наверное, смотреть со стороны, вообразить себя на месте обеих — не только той, которая владеет всеми благами.

Вилфреду сразу вспомнилось, как затихали, обрывались разговоры у них дома, как громкие голоса внезапно умолкали, когда появлялся он. Это были разговоры о положении женщины и правах ребенка. Вилфреду вспомнилось, как при этих разговорах, умолкших, когда входил мальчик, иронически улыбался дядя Мартин, а мать надувала губки, похожая на обиженную девочку, — эхо слов и выражение лиц, не успевших перестроиться. Он вспомнил хлопотливые руки тети Клары, лихорадочно вязавшие что-то белое, — пальцы продолжали следовать ходу мысли, прервантой появлением ребенка. Станным образом, он тогда не понимал, что ребенок — это и есть он, хотя рос единственным ребенком в семье. Казалось, только теперь, когда он приблизился к воспоминанию, стало «горячо», как в игре.

— Я едва не познакомился с Биргером, — сказал он, — едва не встретился с ним.

— Ты, говорят, с кем только не встречаешься, — язвительно заметила тетя Клара. — Впрочем, меня это не касается, — добавила она, тут же спохватившись.

Вилфред встал из-за стола и, подойдя к окну, стал глядеть на серые площадки строящегося городка. Это был первый теплый вечер в долине. Девочки и мальчики медленно бродили по дороге, омытой весенним светом.

— Как по-твоему, тетя Клара, — заговорил он, — могут люди не просто встречаться друг с другом... — Она хотела прервать его движением руки, давным-давно знакомым ему движением, которое должно было пресечь всякую попытку душевных излияний. — Погоди, ответь мне на этот единственный вопрос! Как по-твоему, ты веришь, что какое-то родство душ... — Он не

решился продолжить. К тому же она прервала его на сей раз довольно резко.

— Нет,— сказала она, — в это я не верю. — И, немного помолчав, продолжала:— У тебя была выставка... — Он поморщился. Она читала статьи в газетах и, наверное, сохранила вырезки. — Твой отец был разносторонне одаренный человек.

— Но он ничего не доводил до конца.

Она посмотрела на него с удивлением:

— Что ты имеешь в виду?

— Он ведь и жизнь свою до конца не довел.

Он в первый раз произнес это вслух. И это прозвучало обвинением. Но к его удивлению, тетя Клара ответила:

— Я не такая уж набожная, по крайней мере в общепринятом смысле. Но по-моему, тоже — это единственный поступок, который противоречит божьим заповедям.

— Тоже? — переспросил Вилфред. — Я вовсе не думал его обвинять.

— Не знаю,— отозвалась она. — Так или иначе, ты не имеешь на это права. Да и она, пожалуй, тоже. Я имею в виду твою мать. Но кто-то или что-то... имеет право винить. От жизни, вот так оборванной, всегда остается что-то... что-то... Словом, не знаю...

— Скажи, тетя Клара! — воскликнул он тихо. — Скажи, что хотела сказать, непременно скажи.

— Я же говорю тебе, не знаю. Может, что-то, что каким-то образом падет на других...

Воцарилось молчание. На секунду ему показалось, что у нее дрожат губы. Она продолжала теребить свой медальон.

— Я думаю только о себе, — сказал он. — В этом вся беда.

Тетя Клара откинулась назад, словно подавляя усмешку.

— Это свойственно не тебе одному... Но вот то самое, что остается, не знаю, как это назвать, — это и в самом деле становится как бы неоплаченным долгом.

Она сказала это просто, как нечто давно для нее решенное. А в нем вдруг всколыхнулось все: тоска, смятение и в то же время жадное любопытство.

— Почему,— тихо спросил он, — почему мы так мало знаем друг о друге?

Она рассмеялась обычным своим коротким смешком.

— Кто «мы»? Ты, верно, имеешь в виду нашу семью? Твой отец...

Он напряженно уставился на угасающий свет. Теперь дорога опустела — от поселка новостроек веяло пылью и будущим.

— ... он, по-моему, жил в каком-то замкнутом мире — в мире, который замкнут в другом мире, а тот — в третьем и так далее. Помнишь деревянные матрешек, которых можно было извлечь одну из другой? — И тетя Клара улынулась.

Вилфред вспомнил желтую деревянную бабу, внутри которой находилась другая деревянная баба, а в той — третья деревянная баба. И подумал о медальоне тети Клары...

— ...но, на беду, то, что было внутри, было больше того, что находилось снаружи, каждый следующий пласт в глубине был больше того, что снаружи...

Как небо под потолком дома в Сковли, которое было выше синего неба. Всегда что-то большое замкнуто внутри маленького, от этого куда не уйдешь. Дом в стеклянном яйце.

— ...как, наверно, у всех людей,— сказала она. — Когда-то это называли душой, потом решили, что это несовременно. Может, оно и правда. Не имеет значения. По-моему, есть люди, у которых много таких... душ...

Она умолкла. Вилфред подался ближе к ней.

— И у отца?..

— Может быть,— нехотя подтвердила она. — Может быть, и у него. Душ так много, что им как бы не хватает места. Может, и у всех так. Но некоторых это взрывает изнутри... я хочу сказать прежде, чем все упорядочится.

— Ты хочешь сказать, пока не расставишь всех баб по местам? — спросил он, улынувшись.

— Я не это имела в виду, я имела в виду порядок вообще.

— Прости, тетя, я не хотел...— Он опять переиграл. — А ты веришь в порядок, тетя Клара?

— Уж художникам, во всяком случае, следовало бы в него верить, — сердито ответила она. Теперь она снова была строгой тетей Кларой, тетей Кларой его детских лет, которая аккуратно складывала салфетку, когда другие, скомкав, отбрасывали ее. Пласты времени сдвинулись в памяти Вилфреда, бесшумно меняясь местами.

Все сдвинулось, и тот замысел, который он искал, — тоже. На мгновение казалось: он вот-вот дотянется до него рукой — так было, когда он встретил в лесу Поэта, когда выяснилось,

что тетя Клара знает о большем, которое заключено в меньшем. Милая тетя Клара! Много времени утекло с тех пор, когда, стоя на крыльце своего маленького домика, она энергично махала ему на прощанье рукой. Вокруг нее все было маленьким, но как же это случилось, что он никогда не замечал, сколь велика ее внутренняя независимость... Он был благодарен ей за ее терпимость и деликатность, у других его родных это было игрой, она же не притворялась. Может, и тайна, которую хранил ее медальон, была настоящей, большой тайной.

Он много бродил в эти дни, часто возвращаясь в одно и то же место. Стояла весна, ягод в лесу еще не было. По временам ему сильно хотелось есть, его преследовали пищевые галлюцинации, но чаще голод удавалось обманывать, пососав что попало под руку — щепку или какой-нибудь цветок. Он ощущал в себе небывалую легкость, свободу почти от всех потребностей. Он все больше и больше чувствовал свою связь с деревьями, но не могучими хвойными великанами, а с невысокими лиственными деревьями, вроде тех, под которыми он видел Поэта. Он стал похож на пугливого зверя, у которого, может, и нет повсюду врагов, но тело его все равно всегда готово к прыжку.

Вилфред много бродил, но тропинки так и не нашел. Семья подрядчика и трое его детей: Клаус, Ларс и Ингер, куда ни глянь — всюду будущее, славные, добрые ребяташки, ему было жалко расставаться с ними. Он подарил Ингер маленький круглый камешек, который носил с собой. «Потри его, услышишь далекую музыку». Она потеряла камешек и явственно услышала музыку. Дети тоже стояли на крыльце, провожая его, и махали ему вслед, пока он не скрылся за поворотом дороги, это прогнало чувство одиночества и успокаивало. Но все это было уже давным-давно.

От него опять остались кожа да кости. Велосипед он продал стрелочнику на какой-то железнодорожной станции. Он был не прочь найти какое-нибудь пристанище, где мог бы сесть за свои воспоминания о будущем. Однажды он как одержимый стал писать, имея в виду что-то высказать. И все же замысел ускользал от него — тот замысел, который кроется за внешним проявлением всего сущего.

И вот однажды он добрел до Робертовой гостиницы и поселился в ней. Он писал. У тети Клары он стащил одну из газетных вырезок, где был воспроизведен портрет отца. Вилфред подолгу смотрел на него, а потом разнообразия ради писал. Робертова гостиница и в самом деле стала гостиницей, только она уже не принадлежала Роберту. Называлась она «Валхаллой» — подходящее место, чтобы окрепнуть после болезни. Новый управляющий был человеком энергичным — он и сам вложил в дело некоторую сумму.

В первую же ночь они с Вилфредом вспомнили Роберта, и этот неутомимый благодетель вдруг ожил перед глазами Вилфреда. Все, что было тогда, вдруг как-то странно ожило перед ним.

А в другие вечера Вилфред сидел у печи в маленьком кружке выздоравливающих. Зябко поеживаясь, они рассказывали о своих болезнях и были счастливы, что нашли слушателя — молодого человека, который уж наверняка не хлебнул таких бед, как они.

21

Бывали дни, когда Валдемара Матиссена снедала глупая тревога. Даже Апокалипсис не мог его успокоить. Он испытывал искушение наготовить себе яств по старым рецептам и раскупорить одну из бутылок бордо, что перезимовали в его погребе в Энебакке.

Потом он начинал терзаться, бродил как неприкаянный по пыльным дорогам и все прислушивался, не слышатся ли шаги.

В своем смятении он однажды спозаранку поехал в город к Роберту. Услужливый Роберт опять оказался точкой, в которой сходятся все пути. Он получил письмо от нового управляющего «Валхаллы». Тот сообщал о молодом человеке, их общем друге, который сидит и пишет в сумерках. Управляющий не скрывал своего беспокойства: молодой человек тощ и плохо одет, никакого режима не соблюдает, к обеду и ужину не является и, по рассказам живущих в отеле, часто бродит вокруг, разговаривая сам с собой.

Мужчины сидели вдвоем в благоустроенном бараке Роберта в Делененге — в теплое время года это было хорошее жилье, приспособленное к тому, чтобы днем принимать гостей: по но-

чам хозяин дома работал. Они сидели, предаваясь воспоминаниям о тех днях в жизни норвежской столицы, когда для властителя Матиссена все происходящее было загадкой, но зато для Роберта, обреченного и неунывающего, все было ясно как день.

Роберт был человеком действия — он тут же вышел посмотреть, на ходу ли его машина, стоявшая на соседней улице. Пока он отсутствовал, явилась хозяйка дома — Селина, дама с необыкновенными волосами и особым блеском в глазах. Ее появление привело в полное замешательство и без того смущенного Матиссена. Былые дни сомкнулись над его головой, как стоячая вода. Мимоходом напомнив о давнем знакомстве, Селина предложила гостю рюмку хереса, этого запретного в Норвегии напитка.

На лице вернувшегося Роберта была написана решимость. Поздоровавшись с женой, он спросил ее, как она провела ночь.

— Не плохо, — весело ответила она.

Матиссен тщетно перебирал животный мир Апокалипсиса в поисках сравнения, которое отразило бы подобную красоту и подобное безобразия.

Роберт задумался. На него произвело впечатление, что письмо управляющего «Валхаллы» совпало с приездом Матиссена. В этом совпадении благодетель человечества усмотрел перст судьбы. Он предложил выехать этой же ночью. Он возьмет с собой парня, который одно время был его помощником, молодого парня по имени Биргер, они смогут меняться за рулем. Ехать долго, а Матиссен вряд ли умеет водить машину.

Матиссен замахал руками — куда там, он человек старый. Но теперь он тяготился одиночеством в Энебакке. И потом, у него было смутное чувство, что надо действовать, — тогда удастся что-то спасти. У Матиссена и непутевого спекулянта, который когда-то испортил ему немало крови, оказались родственные души. Тот тоже был прирожденный отец, хотя, по сведениям Матиссена, детей не имел.

А что, если бы он не отдал ребенка Бёрге, прирожденному отцу? Что, если бы он не совершил этого пустячного предательства, которое существовало лишь по одной причине — что предавать стало для него привычкой?

Вилфред проснулся, за окном стояла светлая ночь. Ему снилось нерожденное дитя Селины и черные мухи.

Он сел в кровати, испуганно глядя в ночь. Зрелище мух было ему отвратительно, он отмахнулся от них. Он чувствовал — надо спешить. Наспех одевшись, он вышел в ночь.

Вот уже третью ночь подряд он ходил на станцию. Его преследовало навязчивое видение, будто на станции Мириам. Пологий, заросший подлеском склон круто обрывался в лесные заросли. Здесь, у обрыва, Вилфред остановился. А потом побрел вдоль него, не спуская глаз с долины. Там скрещивались и ветвились дороги, он не знал, куда они ведут. Отсюда ему был виден желтый станционный домик.

Здесь, на верху склона, была лишь одна дорога и множество тропинок — самых разных: тропинки незарастающие, которые вели к какому-нибудь жилью, и другие, которые терялись в лесу, коровьи тропы или тропки, протоптанные людьми, котормым однажды понадобилось здесь пройти.

Страстное желание *быть* здесь, просто *быть*, ни к чему не стремясь, не уходить отсюда, овладело Вилфредом. Ведь он знал еще с той минуты, когда видение предстало ему в первый раз, — Мириам нет в желтом станционном домишке. Здравый смысл твердил, что это невозможно. Только его заветное желание перенесло ее туда. Но его заветные желания больше ни на кого не влияли. А когда-то, когда он был среди своих родных и чувствовал в себе волны, которые мог направить на то, что угадывал своим шестым чувством, влияли, да еще как! Но теперь волны больше ни на кого не влияли.

Он пошарил в кармане в поисках гладкого камешка, но потом вспомнил, что отдал его: камешек пел теперь для девочки Ингер. Вместо камешка он нашел бумаги, исписанные в Робертовой гостинице. Пробежав их, он с первой же строки почувствовал сквозь гладкопись их незавершенность. Медленно-медленно стал он рвать рукопись в клочки, рвал все мельче и мельче, не ощущая при этом ни радости, ни горя. Нашел он и газетную вырезку, которую взял у тети Клары. Из той газеты, что воспроизвела портрет, — память о воспоминании. Положив газету на камень, он глядел, как муравьи ползают по глубокомысленным словам и репродукции. Нет в портрете сходства с воспоминанием, которое он хотел передать, — теперь Вилфред это видел. Муравьи ползали по нему, и он становился все более чужим.

Он чувствовал — надо спешить. Где-то прячется то место, тропинка. Он знает это место лучше всех других мест, где когда-то бывал. Впрочем, ведь и там он тоже когда-то был! И место

это ни хорошее, ни дурное — просто оно существует с такой полнотой жизни, как ни одно другое место на земле.

Он знает это место. Наверно, оно значится на карте. Его можно выгнать наружу из тьмы кошмаров, как гнали его самого. Там он сможет быть *сам по себе*. И не нужны ему тогда никакие отцы — ни рассеянный утешитель, ни человеколюбец, так и не написавший своих книг, ни преждевременно состарившийся провидец с его зловещими предчувствиями Судного дня. Ни Поэт.

Потому что тогда он сам станет победителем. А победа состоит в одном — найти, выиграешь ты на этом или проиграешь. И кто только выдумал нелепые понятия: «подняться» или «пасть»?

Нет! Мириам ждет его на станции, должна ждать! Он ускорила шаги, вышел на дорогу и потерял станцию из виду, она скрылась за гребнем холма, но он знал: Мириам — в станционном домике. Она должна быть там по той единственной причине, что иначе не может быть. Он пустился бегом. Надо спешить. Она там, он видит ее. Видит желтый домик явственнее, чем когда в самом деле его видел. И в нем видит ее, ее горячий взгляд, ее гордую шею. Она там. Он несся вниз по крутому склону, паря, как ласточка, — все хорошо. Он жаждал быть повсеместно, точно это стремление передалось ему другой кровью — кровью того, кто не спасся, потому что не хотел спастись. Но он *хочет*. Хочет, чтобы оправдалась его надежда найти свою суть над бездной, на краю которой некто предал самого себя — человек с сигарой, портрет, по которому ползают муравьи.

Он бежал лесом, выбирая кратчайшие пути, в кровь обдирая лицо о деревья, напрямик сквозь густые заросли, среди которых причудливо извивалась дорога. Ему некогда было следовать за ее поворотами. Ему надо было скорее на станцию, к желтому домику, к Мириам. Он со стоном мчался вниз по самой крутизне, туда, где кончался лес.

Вот он, станционный домик, желтеющий на солнце, окруженный со всех сторон газоном и аккуратными клумбами, выложенными белыми ракушками. Жесткий стальной блеск рельсов казался мостом надежды между всем миром и им. Вот он, домик, сверкающая тайна. Ни души вокруг, ни на платформе, ни вдоль деловито притихшего полотна. Вилфред бросился через этот мост надежды, взлетел на платформу, рванул дверь —

навстречу ему пахнуло пустотой, оставленной теми, кто побывал здесь до него.

Чего он ждал? На что надеялся? Он обхватил голову обеими руками, ощущая ее как какое-то постороннее тело, потерявшее опору и плывущее в бесконечном пространстве. Он стоял на платформе, раскачивая голову в руках и чувствуя, что это уже не его голова, а чужая, неизвестно чья... И в то же время эта чужая голова сознавала, что надо спешить.

Он поглядел на вокзальные часы. Верно. Надо спешить. Он знал, в каком месте поезд выходит из туннеля. Голова продумала все бессонными ночами без его ведома. Может, эта голова принадлежала предателю, и она обманула его, перехитрила и, пока он думал свою думу, завлекла его *своими* планами. Голова загонщика... Нет, это была голова благодетеля, того обитавшего в нем существа, которое в конечном счете желало ему добра. Голова благодетеля выбрала это место и часто показывала ему его — это было то место, где поезд выходит из туннеля, вырываясь на дневной свет, метрах в ста от станции, как раз там, где от главной дороги отделяется боковая тропинка, — тут, у самых рельсов, можно спрятаться в кустах и отсюда броситься на полотно. Вилфред постоял, глядя на часы, пока минутная стрелка не совпала с одной из цифр. Надо спешить.

И он пустился бежать. Он добрался по дороге до развилки, юркнул в листовые заросли и добрался до кустов, где его никто не мог увидеть ни с дороги, ни со станции. А если кто-то увидит его из окон приближающегося поезда, все равно будет слишком поздно.

Слишком поздно, как бывает всегда со всеми добрыми делами. Опоздает добрая воля бдительного машиниста, который затормозит, чтобы спасти, как опаздывал сам Вилфред во всех добрых делах, к которым стремился, ибо всегда ему помехой была проклятая голова с ее фантазиями. Мириам — она была предложена, чтобы продолжать жить, но ее здесь нет, и нет у него власти, чтобы желанием своим перенести ее сюда. Даже если она уже в пути. Кто бы ни был в пути куда бы то ни было, ему не спасти эту голову от ее фантазий и причуд.

Поезд был в пути — темная, целеустремленная громада. Он вышел с предыдущей станции — в эту минуту вышел со станции в долине и покатил по солнечным бликам и теням, лежащим на дорогу, в глубь горы с ее ночным мраком, который в трех шагах от него распахивается навстречу свету нового дня, занимающегося для поездов и людей.

И тут он услышал шум автомобиля. Стоя на коленях в кустах между дорогой и рельсами, услышал шум автомобиля. А потом и увидел его внизу на шоссе у станции. Миновав переезд, машина оказалась по эту сторону рельсов. Здесь она остановилась, и из нее вылез Роберт. Разделяло их с Вилфредом каких-нибудь двадцать метров.

— Пожалуй, я найду в почтовую контору и оттуда позвоню в гостиницу, — сказал Роберт кому-то в машине.

Вилфред приподнялся, собираясь бежать, но опоздал.

Из машины неуклюже выбрался другой человек — метрдотель Матиссен. Роберт повторил свои слова. Покорно кивнув, старик что-то ответил. И еще добавил, что хочет размять на солнышке онемевшие ноги. Тем временем из машины вышел еще один спутник, молодой парень со светлыми вьющимися волосами. Матиссен что-то сказал ему, а Роберт, уходя, через плечо в третий раз крикнул, что пошел звонить. Обращаясь к молодому парню, он назвал его Биргером. Тот заметил, что тоже не прочь поразмяться. Они с Матиссеном вошли в ближайшие кусты, как раз туда, где на коленях застыл Вилфред. Он отчетливо увидел лицо Биргера, который мочился в кусты, — казалось, парень смотрит на него в упор. Биргера было легко узнать по фотографии, снятой в Опорто.

Но его можно было узнать еще и по другому: по какой-то детской мягкости выражения, похожего на мольбу.

Сердце Вилфреда колотилось так громко, что они могли бы услышать его удары. А он не смел прижать руку к груди, чтобы его унять. Он был недвижим, как деревья, за которыми он прятался. Однажды он прятался среди деревьев, наблюдая за Поэтом, тогда его переполняло ощущение близости к сути вещей. Сердце Вилфреда колотилось так, словно жило своей отдельной жизнью, словно хотело выскочить из груди, обнять, позвать, утешать, молить...

Но вот старик и парень, справив нужду, вместе вышли на дорогу и медленно зашагали вслед за Робертом в почтовую контору. Вилфред был взволнован до глубины души. Он опустился на четвереньки, чтобы немного унять сердцебиение. Но вместе с волнением в нем проснулся какой-то веселый задор. Так это ради его ничтожной особы друг Роберт вновь предпринял вылазку за город. Стало быть, энергичный управляющий гостиницей донес о своем новом постояльце, и Роберт, может обеспокоившись, а может и нет, сколотил небольшую дружескую компанию под предлогом, что надо кого-то спасать. Тянет этого

Роберта беспокоиться о других. У него прямо-таки собачий нюх на страдания, которые можно утешать.

Вилфред осторожно пополз к автомобилю. Теперь и двое спутников Роберта скрылись за углом почтовой конторы. Вилфред во весь рост выпрямился в кустарнике, а потом шагнул прямо к машине и заглянул внутрь. Так и есть. На сиденье лежал потертый чемодан Роберта, тот самый, с которым он явился в лесную хижину. А стало быть, и содержимое сходное...

Вилфред торопливо оглянулся. Потом нырнул в машину и, схватив чемодан, открыл его. Так и есть. В нем лежали бутылки, и много. Он выбрал плоскую фляжку виски, закрыл чемодан, а дверь оставил, как она была, открытой. Потом попятился назад в подлесок, потом в кусты, где прежде стоял на коленях. Его разбирал смех. Все повторяется, и все становится другим. Сквозь листву виднелись станционные часы, он сверил их со своими. И вдруг все показалось ему неправдоподобным. Его решение. Скорчив две-три изощренные гримасы, он не отказал себе в удовольствии полюбоваться украденной бутылкой. Ага, любимая марка Андреаса, как видно доставленная контрабандистом-садовником в одну из светлых, таящих опасности ночей. И все вдруг снова предстало перед Вилфредом с ослепительной четкостью: та ночь, когда он в прошлый раз украл такую же бутылку, тропинка, спускающаяся к причалу, пещера. Стекло — яичко.

Все предстало перед ним с ослепительной четкостью, но это были обрывки, виденные им когда-то незавершенные картины, не имеющие к нему отношения. А ведь только что ему надо было зачем-то спешить. Но тут появился автомобиль. Так всегда — стоит дорогам разветвиться, и они скрещиваются вновь. Кто ему эти люди — друзья, или он их давно отринул? Он не знал сам. «Я позер, — подумал он, беззвучно рассмеявшись. — Да, позер. И если я сейчас брошусь из кустарника на рельсы под несущийся из туннеля поезд, я все равно останусь позером, позером, в жилах которого пульсирует чужая кровь, кровь человека, который не довел свою жизнь до конца, оборвав стук своего сердца, и вот оно продолжает стучать в моей груди — и в груди Биргера».

Вилфред опустился на колени с фляжкой в руке, не спуская глаз со станции и домика с вывеской почты. Из станционного домика вышел человек — это был стрелочник с зеленым флажком под мышкой, который он укрепил на штативе на краю платформы,

Стало быть, вот-вот придет поезд. Стрелочнику сообщили об этом по телеграфу. Поезд здесь не останавливается, вот стрелочник и вышел со своим зеленым флажком — путь свободен.

Но тут из-за угла почты показались те трое. В середине шел Роберт, сдержанно жестикулируя, — наверно, описывал, какие радости ждут их вечером, когда они доберутся до гостиницы и сойдутся у очага, устроив сюрприз Вилфреду, когда тот вернется с прогулки. Вид у Роберта был отнюдь не огорченный. Взяв под руку своего друга Матиссена, он подвел его к машине, совсем близко от того места, где прятался Вилфред. За ними следовал Биргер. Солнечный свет окружал его голову каким-то зыбким ореолом. Выражение у него было такое, словно он что-то улавливает. И вдруг Вилфред почувствовал волны. Они струились к нему от приближавшегося светловолосого парня, и сила их была так велика, что каждый толчок отзывался неодолимым волнением в самой глубине сердца.

Они разместились в машине. Роберт за рулем, светловолосый Биргер с ним рядом. Вилфред видел его лицо — казалось, оно совсем близко, будто не было разделявшего их расстояния. Вилфред прочел на нем удивление, а вовсе не революционный задор, о котором рассказывал Роберт, удивление перед чем-то близким и в то же время далеким. Потом они, как видно, вспомнили, что надо завести машину. Биргер вышел и начал крутить рукоятку. Потом забрался обратно в машину. Машина грохотала и содрогалась.

Когда они тронулись с места, Вилфред почувствовал пустоту в груди. Мир пошатнулся. Он закричал им вслед, но закричал негромко, понимая, что они не услышат. Машина тяжело тарыхтела, взбираясь по склону холма, потом исчезла. Вилфред видел по ту сторону рельсов станционный домик с часами, и тут же мысленным взором увидел дороги — как они скрещиваются и расходятся. И то самое *место*, и образ Биргера, запечатленный на глазной сетчатке. Видимое отступало перед тем, чего не было перед глазами. Стрелки часов твердили: «Надо спешить», а стеклянное яйцо с домиком в снегу говорило: «Спешить некуда». Из темной пещеры туннеля послышался приглушенный гул, точно раскаты грома. Вилфред пролез сквозь ограду, чувствуя сладкий запах лесного озера и смутный аромат сигары человека, который все отринул.

Услышав, как приближается поезд, Вилфред прижался к стене туннеля. И беззвучно закричал в оглушительном грохоте — он не хотел, чтобы пустота в груди бросила его под колеса.

Холодные капли стекали ему на затылок с каменной стены. Снаружи сияло солнце — там был мир света и страха, здесь, внутри, царил холодный мрак. Когда паровоз ринулся на него и промчался мимо, колени его подогнулись, но он сполз вниз по стене, а не вперед на рельсы. В руке он сжимал что-то гладкое, вроде стеклянного яйца, в котором можно жить и быть, мир, где падает и стихает снег. Грохот поезда не умолкал ни на мгновение, в жерле туннеля свистел холодный ветер.

Но когда поезд пронесся дальше, стало просто холодно; в туннеле холодно и темно, а снаружи — светло. Ничего не воображая, шатаясь, он побрел к свету, который ослепил его. Пальцы сорвали колпачок, которым была закрыта бутылка. Выйдя на свет, он прижал бутылку к губам, жмурясь от слепящего света солнца. В ушах звучала строка той давней песни:

В лесу готовят пир горой...

И тут он почувствовал, что ему жарко: снаружи грели солнечные лучи, изнутри согревало виски. Колени его обмякли, и он рухнул на землю у самого полотна. Он отказался от всех надежд. Он был совсем один. Время начинать пир.

ТЕПЕРЬ ЕМУ НЕ УЙТИ



VI HAR HAM NÅ

Oslo

1957

Перевод С. Тархановой



Они выходили из хижины и, пошатываясь, брели к деревьям. Выходили по-одному, нетвердой походкой, продрогшие до костей, и под сенью деревьев старались как можно дальше отойти друг от друга; ежась от холода, они тяжело ступали по рыхлому снегу. Потом смущенно оглядывались вокруг и тут, во мгле и холоде, справляли нужду. В большинстве своем старые люди, они с трудом ступали по скользкому насту, неловко — без привычки — ковыляли по лесным кочкам.

Мириам Стайн стояла на низком крыльце, которое вело в дом — род хижины для лесорубов, только не в меру большой и неудобной. Прямая, полная сил после утренней разминки, стояла она на крыльце, глубоко вдыхая воздух, и с каждым выдохом от ее сочных губ веером разлетался пар. В спортивной куртке, в брюках, она единственная из всех женщин вписывалась в пейзаж. Закурив сигарету, она приветливо кивала всем, кто, пошатываясь и спотыкаясь, возвращался назад, в хижину, где как-никак было тепло вблизи раскаленной докрасна печурки, слишком маленькой для просторной пустой комнаты с темными стенами, обычно служившей приютом парням в грубых сапогах, с топором и котомкой за плечами. Она кивала каждому, кто взбирался на крыльцо, сопровождая кивок легкой улыбкой. Ее душу переполняло сострадание, да, именно сострадание к соплеменникам — беженцам, наскоро собравшимся в путь. Она испытывала к ним сострадание с примесью

досады от того, что эти люди не могли, а может, — кто знает? — и не хотели представить себе иную обстановку, чем та, к которой привыкли: улица, лавчонка, город, где они провели свою жизнь, защищенные домом, защищенные, как они воображали, всем, что их окружало. За долгие годы они утратили страх перед преследованием. И когда преследования начались, перекинувшись и в здешние глухие места, когда и здесь началась охота на людей и всё, о чем раньше только читали в газетах, они никак не могли в это поверить. Они ходили друг к другу в гости, ошарашенные, неверящие, собирались кто в задних комнатах при лавчонках, кто — в ослепительных гостининых состоятельных семейств, там, где, пожалуй, лишь семи-свечник на столе перед зеркалом напоминал хозяевам об их происхождении, общности с другими, подобными им людьми, о былых гонениях. Да и не забыли ли они вообще, что они евреи?

Она не забыла. Она, в детстве никогда не знавшая притеснений, а после на крыльях хвалы летавшая от концерта к концерту, из города в город по всей Скандинавии, она, вкусившая сладость успеха в Англии и в Голландии, да и в самой Германии до того, как там начались преследования... вот только не во Франции... Она стояла, улыбаясь воспоминаниям, рассеянно кивая людям, возвращающимся в дом. Честолюбие ее жаждало покорить Париж, но там ей не повезло...

Нет, она не забыла, что она еврейка. Впрочем, думала ли она об этом в детстве, и после — в консерватории? Никогда. Наверно, и она тоже нипочем не вспомнила бы об этом, не случись то небольшое происшествие...

Правда, теперь и это воспоминание вызвало у нее улыбку, потому что случилось то происшествие в дни ее счастья... Как давно все это было...

Не случись оно, может, мысль, что она еврейка, огорошила бы ее столь же внезапно, как и всех прочих, кого она сейчас в душе корила за это!..

Она стояла, улыбаясь своим мыслям. Из леса вышла старая фру Ф. — худая, в тяжелой, неудобной одежде; решив, что улыбка предназначается ей, она торопливо улыбнулась в ответ, как улыбаются люди, скованные страхом. Весь вчерашний день напролет старая женщина упрямо несла сама свой старомодный рюкзак, когда вереница людей медленно пробиралась сквозь частокол одинаковых стволов, выстроившихся ровными рядами, будто намеренно преграждая путь к земле обетован-

ной, к стране, ставшей теперь для них землей обетованной, — к стране вон за тем лесом...

Из дома донеслась команда, отданная рокочущим басом и тут же повторенная пронзительным тенорком. Пронзительный тенорок принадлежал Харалдсену — сморщенному, будто высушенному на ветру, суетливому, настырному человечку. Харалдсен, судя по всему, был помощником Лося.

Вообще-то говоря, беженцам не полагалось знать ни имен, ни прозвищ своих провожатых, как, впрочем, и тех, у кого они находили приют в разных местах на окраине города. Они впервые встретились — молчаливая горстка перепуганных людей, — когда их собрали всех вместе на маленькой железнодорожной станции с красным зданием вокзала у двух пересекающихся путей. Им вообще не полагалось ничего знать. Но они как-то уловили это имя: Харалдсен. Так звали морщинистого, будто высушенного на ветру человечка, который вечно повторял все, что ни пророкочет своим звучным органом басом тот, другой — высокий, невозмутимый. Этот маленький человечек беспрерывно подгонял беженцев, донимал их резкими, сердитыми приказаниями. Мириам стояла у дома, уложив рюкзак, готовая идти дальше, и думала, что, наверно, возненавидела бы и этот голос, и, возможно, его обладателя, не будь он, как и тот, высокий, по прозвищу Лось, их спасителем — доверенным лицом Сопротивления, человеком, знающим каждую былинку, каждую кочку вдоль дороги между рекой и границей.

Скорей — в страну обетованную! Губы Мириам вновь сложились в горькую улыбку. Она знала, что все это случится. Но тоже никуда не уехала. Зная, чего следует ждать, она в душе не верила в это: не было у нее той убежденности, которая побуждает к действию. Она вообще считала, что всякое предвидение зиждется на шаткой основе: то-то и то-то случилось там-то и там-то — значит, то же самое должно теперь непременно случиться здесь. В душе жила смутная надежда: может, именно потому, что все случилось там-то и там-то, может, именно потому уже не случится здесь...

Но это случилось. Случилось одиннадцать дней назад. И все, или почти все, сразу узнали об этом. Весть переползала из дома в дом, приходили усталые, измученные бессонницей люди с оловянным взглядом, приходили в чужие дома и наставляли хозяев; их глухие голоса и мрачные взгляды подтверждали: началось. Началось и здесь тоже. Преследования евреев в Норвегии стали фактом, в Норвегии, маленькой разоренной стране,

не желавшей верить, что одно неизбежно влечет за собой другое, что логика беспощадна, как математический ряд. Измученные бессонницей люди рассказывали: удалось вывезти еврейский детский дом — отважная женщина-врач приехала за детьми на автомобиле и постепенно перевезла всех. Рассказывали, что уже начались погромы и грабежи; в квартирах верующих евреев погромщики ломали утварь, уничтожали предметы ритуала, ненавистные и недоступные пониманию невежественных верзил в мундирах; рассказывали про супругов, разлученных и порознь *отправленных*...

Мириам поежилась на утреннем холоде. Слово это... Оно вобрало в себя все — все, что знаешь, но чему отказываешься верить, о чем догадываешься и рисуешь себе в мыслях, но страшишься признать. Безжалостные географические названия будто вмерзли в мозг: злобное смертоносное Берген-Бельзен, Освенцим с его дьявольским присвистом и ватное Маутхаузен, от слов этих пересыхает горло, и в нем першит от страха. И это глумливое слово: «отправили». Отправили, будто сверток, будто хлам, утративший всякую ценность в этом мире несчетных могил. Она, Мириам Стайн, скрипачка с европейским именем, сейчас втайне дрожала от стыда: ведь она не хотела верить тому, что хорошо знала. И еще она стыдилась мысли, что она сама и, может, трое-четверо других беженцев уже давно достигли бы желанной границы, без ночевки в обледеневшей хижине, не доведись им волочить за собой всех этих стариков и калек — людей, сгубивших свое здоровье тем, что вечно цеплялись за насиженные места, за жалкий свой скарб.

Неужто страх за собственную жизнь должен непременно ущемлять естественную человечность, подавлять чувство общности и сострадания?..

Все собрались теперь на площадке перед хижинкой.

Было еще темно, но с востока, куда они держали путь, между стволами пробивался робкий свет. Символический свет... Ни разу за много лет Мириам не думала о том, что она еврейка, ни разу с тех пор, как не стало ее родного дома со всем его ритуалом, который соблюдали ее отец и братья... Но насколько искренней и глубокой была их вера? Этого она никогда не узнает. Все они уже умерли. Ее брат, живший в Париже. И прелестный Жак, сынишка его... Она теперь одна на всем белом свете. Когда-то она любила, но это давно прошло. Она выжгла в себе все, что не вело от одной сцены к другой, от одного концертного зала к другому, ко всем этим залам, где гасили свет, где сидели

люди, над которыми она властвовала с помощью смычка — волшебного продолжения ее правой руки, тогда как левая рука легко и крепко держала скрипку, ставшую истинным продолжением ее души в мире, лишенном каких бы то ни было прочих ценностей, кроме музыки.

Последние беженцы с усталыми бледными лицами вышли из дома и обступили шуплого Харалдсена, и он заговорил своим пронзительным тенорком. Велел им спокойно шагать за ним, как вчера, ни о чем не спрашивая, не переговариваясь между собой, главное, чтобы они не спрашивали то и дело, сколько еще осталось до границы. Всего их было двенадцать человек, не считая двух проводников. Вчера они шли долго, но прошли совсем немного. Шествие беженцев особенно замедляли фру Ф., не желавшая расстаться со своим вещевым мешком, и еще худой студент-медик, который к тому же мог выдать их своим кашлем: кашель напал приступами, вынуждая юношу то и дело останавливаться между деревьями и, низко склонившись к земле, зачерпывать воду в каждом лесном ручейке, в каждом ключе, еще не затянутом льдом. Было девятое декабря тысяча девятьсот сорок второго года, спустя одиннадцать дней после того, как из квартиры в квартиру, из контор в лавчонки, в библиотеки, во дворы шепотом стали передавать весть об *этом* и названия тех жутких мест, и имена людей, на чью долю уже выпал страшный жребий! Одиннадцать дней беженцы шли, прячась в разных местах, потому что граница была перекрыта, так сказали им люди. Еще одно из этих слов, которые теперь повторяют каждый день: граница перекрыта...

Вереница беженцев сразу двинулась в путь, и скоро им стало казаться, будто они бредут так всю жизнь. Была какая-то обреченность в этом унылом шествии людей, лишь уходящих от чего-то, но не устремленных навстречу новому. Впереди шел шуплый, морщинистый Харалдсен. Он особенно строго следил за тем, чтобы они не переговаривались между собой. Сам он на ходу беспрерывно бормотал что-то, то ли бранился, то ли молился богу — шедшие позади разобрать не могли. Он наводил на них страх. Кто-то говорил, что у него не все дома, рассказывали, будто он становился в позу у границы и приказывал сфотографировать его вместе с беглецами. Да, впрочем, чего только не говорили. Говорили, к примеру, что среди беженцев — знаменитая скрипачка Мириам Стайн, кое-кто слышал ее игру, другие читали о ней, хотя большинство беженцев были из тех, кто обычно не следит за такими вещами; но сейчас лесом брели

двенадцать безвестных, незнакомых друг с другом людей — их собрали на маленькой железнодорожной станции и выстроили в цепочку. Потом они долго кружили по лесу и вынуждены были искать приюта в холодной хижине. Дурные вести с границы, сказали им. Граница перекрыта: сюда прислали новые отряды пограничной полиции. Да, чего только не говорили! Никто не знал, кто все это говорил, но ночью в лесной хижине люди, лежавшие без сна на жестких скамьях, шепотом сообщали друг другу самые жуткие вести.

По лесу шла маленькая вереница безвестных, незнакомых друг с другом людей разного возраста. Шли пожилые мужчины в фетровых шляпах и длинных зимних пальто, и женщины в шубах, и еще несколько человек помоложе в нескладно сидевших на них спортивных костюмах; кроме собственных рюкзаков, они несли тяжелые чемоданы тех, кто был старше и слабее их. Случалось, путники в душе кляли друг друга: у одного — тяжелый чемодан, другой ступает чересчур медленно и грузно. Но они помогали друг другу, хоть порой и без удовольствия.

Позади всех шагал человек по прозвищу Лось, великан с седой головой и невозмутимым лицом. Он не был ни приветлив, ни хмур, просто великан — косая сажень в плечах, — крепкий, надежный. Мириам шла посреди цепочки за трогательной парой старых супругов: из всех беглецов только они шли рядом — он брел по снегу чуть левее тропки, учтиво уступая дорогу жене, но тропинка была слишком узка для подобной учтивости, и жена тоже по большей части брела сбоку от нее, иногда они взглядывали друг на друга и улыбались. Этой улыбкой они подбадривали друг друга — улыбкой, что была теперь лишь отблеском прежних счастливых дней...

Так думала Мириам, бредя между чужими людьми по лесу, в голове назойливо всплывали образы, вызывавшие во всем ее существе острую боль: может, точно так же в свое время брели люди в пустыне сорок лет подряд и состарились под гнетом воспоминаний? Может ли быть, что они шли без всякой надежды? И была ли картина, открывшаяся их провожатому за рекой, столь же безрадостной, как та, что виделась сейчас маленькому Моисею, который вел беженцев за собой и, судя по всему, уже учуял недоброе? Бедняга, он видел границу, которую самому ему не дано было перейти... Разные мысли лезли в голову, оттого что ум Мириам оставался праздным во время ходьбы, ум, полный не тревожных предчувствий, а молчаливого и трезвого

знания. Многие из беглецов, нынешних ее спутников, казались заведомо обреченными, настолько подавлены были они и равнодушны, словно начисто утратили способность представить себе какое бы то ни было будущее — хорошее или дурное. Ночью она слышала, как они перешептывались в холодном мраке хижин — одинокие люди, придавленные ужасом, который вызывали те жуткие слова.

День выдался холодный. После обильного снегопада в начале зимы повсюду лежал глубокий, но сухой, легкий снег. Непривычные ноги ступали по нему, спотыкаясь о заледеневшие корни и камни. Слабый рассвет, навстречу которому они шли, стусился между деревьев в сплошную серую пелену; этот ровный свет стирал все расстояния, навевая глубокую тоску. Невыразимо жалкой казалась эта вереница измученных людей, петлявших между стволами: постоянные изменения курса предвещали мало хорошего. Часы тянулись в холодной тоскливой мгле. Казалось, они шли вот так всю жизнь. Время от времени Харалдсен останавливался и прислушивался, и даже эта передышка была новым испытанием для измученных людей. Значит, что-то происходит там, на границе? Они напряженно вслушивались в холодную мглу. Хорошо бы впереди шел Лось, человек, одним своим видом внушающий доверие, истинный боец Сопротивления, какими они себе их представляли. Но как-то раз во время очередной остановки, когда они снова долго вслушивались в тишину, Лось, тяжело ступая по глубокому снегу, вышел вперед, чтобы глухо перемолвиться несколькими словами со сморщенным человечком, и тогда все поняли: именно он, этот маленький щуплый сморчок, знает здесь все пути-дороги. Выступив из ряда, Мириам смотрела на своих провожатых, и ей вспоминались другие случаи из ее жизни, когда все решали мужчины, а женщины оставались в стороне, будто какая-то вещь.

Вскоре после полудня беженцы подошли к прогалине, неожиданно открывшейся в этом безрадостном лесу. Отделившись от них, Лось зашагал по холму и скрылся из виду. Вскоре он снова показался и поманил их рукой, а потом отвел в хижину, где им предстояло сделать привал. Почти всех беглецов люди, давшие им приют, щедро снабдили едой — хлебом, сыром и маслом, — такую снедь по нынешним временам редко видели те, кто остался дома, в Норвегии. Путники сразу же принялись наперебой угощать друг друга, хотя всем дали с собой примерно одно и то же, и все же чужая снедь всякий раз вносила раз-

нообразии. Она казалась особенно вкусной — порождение чужого быта, чужих привычек.

Не в силах дольше смотреть на страдальческие лица, отмеченные печатью обреченности, Мириам вышла из хижины. У крыльца стоял Лось. С той стороны, от границы, подошел молодой человек. Она хотела поздороваться с ним, но он — замкнутый и неулыбчивый — направился прямо к Лосю. Он был в спортивном костюме с огромным рюкзаком. Пожилой великан и молодой незнакомец завели тихий разговор, дважды молодой оборачивался, показывая в ту сторону, откуда пришел. Потом торопливо попрощался и зашагал к лесу, из которого только что вышли беженцы.

— Господи,— вырвалось у Мириам, — ведь это же Кнут Люсакер!

Лось приложил палец к губам и еле заметно улыбнулся.

— Нынче лучше никого не признавать, — добродушно проговорил он. Потом с любопытством взглянул на нее: она была иной закваски, чем все эти испуганные люди.

— Он учился у меня играть на скрипке, — сказала она.

Лось тихо рассмеялся.

— Забудьте об этом,— сказал он. — Кнут, надо думать, в свое время лихо играл на скрипке, а все же лучше вам забыть об этом, главное — имя его забудьте.

Она молча кивнула. Она смотрела на уходящие вдаль следы больших спортивных ботинок. Значит, этот молодой человек, некогда способный и прилежный ее ученик, музыкант — один из тех, кто постоянно совершает опасные переходы. А прежде он казался ребенком — ребенком с печатью ранней зрелости на лице. Потом вдруг однажды он пропустил урок. Ей ни разу не случалось разговаривать с ним. И вот он перестал посещать уроки. Значит, он один из тех, кто поддерживает связь между отечественным Сопротивлением и свободным миром по ту сторону границы. Он — связной... так, кажется, это называется... в слове этом был оттенок торжественности и чего-то дерзновенного. Связные проносили опасные документы, им лучше было умереть на месте, если бы их схватили.

— Далеко еще? — спросила она. Это было против всех правил. Но наедине с ней Лось отнесся к этому спокойно.

— До границы самое большее час,— сказал он. — Мы думаем, пусть люди сначала передохнут. Ведь последний отрезок пути...

Вот, значит, как! Последний отрезок пути — наиболее коварный, ведь нынче все наличные силы брошены ловить людей, объявленных самыми опасными! Как раз тут они вышли из хижины, и при виде их она невольно горько улыбнулась. Эти старые люди, значит, и были дичью, за которой охотились, которой расставляли сети, стремясь во что бы то ни стало накрыть их ею в последний миг, чтобы никто не вырвался на свободу...

Сеть? Новая мысль вдруг обожгла ее. Кто вечно твердил про сети, в которые хотят поймать человека? Она сразу же вспомнила кто, но противилась воспоминанию. Вилфред, бывший когда-то ее другом. Вилфред Саген, в прошлом Маленький Лорд, с которым она познакомилась в консерватории примерно четверть века назад, тот самый, что был ее другом, тот самый, кого она однажды спасла в Копенгагене, вызволила из унижительного положения, да, ее Маленький Лорд, безответственный человек, вечно попадавший в унижительные положения, тот, что подарил ей самые счастливые дни в ее жизни. Потом она бежала от него, от всего, связанного с ним, собрав последние силы...

Ее вдруг зазнобило от какого-то внутреннего холода. Рядом с ней выстроили всех беглецов, на этот раз разделив их на две группы. Покорные и безразличные ко всему, они выполнили приказ. Одну партию возглавил Лось, другую — Харалдсен. Мириам решительно вышла из ряда, в который ее поставили, и перешла в партию Лося. Первую группу повели налево, вторую — направо. И снова впереди Мириам оказалась та самая трогательная супружеская пара. Повинуясь внезапному порыву, она подалась вперед и взяла у супругов чемодан. Они удивленно обернулись к ней, смутились, хотели возразить. Но она успокоила их улыбкой и показала на собственный рюкзак: смотрите, мол, какой он легкий! Тогда они снова повернулись и затрусили дальше: теперь, когда она освободила их от ноши, старики могли наконец идти по тропинке рядом. И вдруг ими овладело спокойствие и бесстрашие: они следуют предначертанным путем, и, что бы ни ждало их — они вместе.

Мириам в свои 39 лет чувствовала себя совсем молодой и сильной. «Молодая, уверенная в своей победе, она стоит на сцене, будто двадцатилетняя...» — говорилось в статье о ее последнем концерте. И это была правда, она знала, что это так... Огромное, безмерное знание было сокрыто в ней. Молодой и уверенной в победе она и впрямь чувствовала себя все эти годы, не ведая того страха перед публикой, о котором так много го-

ворили артисты. Он тоже понимал это, Вилфред. Как-то раз, было это в Лондоне, он поднялся к ней после ее концерта и спросил: откуда она могла все это знать... Сам он в то время, кажется, состоял при каком-то театре, писал декорации, он занимал там какую-то мелкую должность, хотя уже успел показать себя, и в тех редких случаях, когда он вдруг выступал с литературным произведением или картиной, в газетах появлялись рецензии, его называли способным...

Вдруг узкая цепочка людей вздрогнула. Обернувшись к ним, Лось поднял руку, требуя тишины. Новый повелительный знак руки, и они залегли на снегу, распластавшись, будто ворох тряпья. Лось поманил к себе Мириам, самую проворную в этой горстке немолодых людей. Знаком он показал ей, чтобы она пробиралась влево, а сам между тем, пригнувшись, двинулся вправо. Она торопливо кралась между деревьями, которые росли здесь особенно близко друг к другу — так, что протиснуться между ними было нелегко. Потом лес расступился, и показалась вырубка. Еще несколько шагов, и ей открылась пограничная просека, далеко продвинувшаяся в обе стороны. Она была шире, чем предполагала Мириам, и вырублена более ровно. Мириам ничком легла в снег на опушке леса — ждать дальнейших приказов.

В тот же миг с севера донесся выстрел. Лось, пригибаясь, побежал вперед.

— Болван, — шепотом выругался он.

— Кто стрелял? — спросила она. Выстрелы прозвучали удивительно глухо.

— Харалдсен, — ответил Лось. — Ждите здесь! — тихо добавил он и бросился к остальным — к тем, кто был позади.

Тут-то все и случилось — столь внезапно, что она даже не успела осознать, что именно случилось. Из леса за ее спиной вдруг послышались слова команды, которые кто-то выкрикивал с яростью, но так глухо и нечленораздельно, что она толком ничего не разобрала. И снова команда, окрик, выстрел... Она встала на колени с рюкзаком на спине и тяжелым чемоданом в руках, который судорожно старалась удержать, не соображая, что его лучше бросить...

Она кинулась бежать. Она бежала, пригибаясь как можно ниже, очертя голову мчась в белую пустыню. Сначала она не думала ни о чем, разве лишь — как нелепо она торчит над землей. Потом подумала: сейчас *это* случится, уже случилось с ними, сейчас это будет со мной... Вся прежняя легкость разом

слетела с нее, каждый шаг был теперь пыткой, она ловила воздух ртом, но по-прежнему не догадывалась бросить чемодан. Бесконечная пограничная просека мнилась ей океаном, а берег беспрерывно отступал к деревьям на той стороне. Теперь сзади уже не доносилось ни криков, ни выстрелов. Кругом был мир белого снега, и в этом белом мире она была одна. Бежать стало легче, на открытом месте снег лежал плотнее. Она ощутила необыкновенный прилив сил, строй деревьев на другой стороне быстро приближался, и ей уже казалось, будто сама она стоит на месте, а навстречу ей плывет чужой берег — берег покоя, спасения.

И, очутившись в лесу на другой стороне, она продолжала бежать. Она будто забыла, что пограничная просека осталась позади. Деревья здесь стояли реже, и ей не терпелось, чтобы за ее спиной их стало как можно больше. Только потом она остановилась, ловя воздух ртом и уже понимая все. Но вздохнуть никак не удавалось. Она упала на снег и, падая, поняла все до конца: их схватили, кого-то из них схватили, может, даже всех остальных схватили, ведь кто-то подстерегал их именно здесь, и они всем косяком угодили в сети. Она лежала, припав к земле, голыми руками разрывая снег, и тихо стонала. Теперь уже не только рюкзак давил ее своей тяжестью — ее угнетало бремя безграничной вины перед теми людьми — бремя предательства? Она бросила их. Но ведь ее вызвали и послали вперед. И тогда-то все и случилось. Неужели ей надо было вернуться для того лишь, чтобы вздеть кверху руки под ружейным дулом?

Выстрелы. Только это занимало ее сейчас. Она знала, что проводники на этом маршруте к границе носили с собой оружие, но пускали его в ход лишь в чрезвычайном случае.

Может, у Харалдсена просто сдали нервы? Этого она не знала. Мысли перелетали от одного к другому, прерываемые стонами и слезами; отчаянно рыдая, она припала к снегу: он забивался в рот и леденил зубы.

Тут она спохватилась, что по-прежнему держит в руках чемодан старых супругов. Значит, она перетасила его через границу без всякой пользы для кого бы то ни было — будто украла. Мириам с отвращением выпустила из рук чемодан. Потом, встав на колени, освободилась от собственного рюкзака. Она прислушалась, по-прежнему стоя спиной к тому, к чему прислушивалась. Чуть спустя она медленно обернулась в ту сторону. Пограничной просеки уже не было видно, наверно, Ми-

риам, сама того не сознавая, забежала довольно далеко на территорию Швеции. Медленно, пригнувшись, она стала красться назад по снегу. Вскоре она уже стояла у открытой просеки, попеременно оборачиваясь то в одну, то в другую сторону. Нигде никого, зато кругом — уйма следов... Мириам двинулась вдоль опушки между деревьев, пока не добралась до того места, где следы начинались. Все они шли в одном направлении. Следы были свежие. Кто-то еще, наверно, успел перебежать на ту сторону одновременно с ней. Но она никого не видела и не слышала. Видела только под ногами белый покров и впереди — опушку. А в ушах шумела кровь.

В лесу на той стороне все стихло. Отсюда туда — метров сто, не больше... Может, там, в ста метрах от нее, лежат ее недавние спутники, ничком, в снегу, как обычно в таких случаях приказывают ложиться людям в ожидании дальнейшего, а не то, может, палачи выстроили их лицом к деревьям, а потом кратчайшим путем поведут к уже ожидающим грузовикам. Но два этих мира — мир покоя и безопасности и другой — мир войны и охоты за людьми, она никак не могла отделить друг от друга... Как же так? В одном, значит, человека охраняет закон, а в другом закон велит того же человека убить. Мысль эта и негодование, ею вызванное, отняли у нее все силы, и она снова рухнула в снег, не снеся того, что знала всегда: так уж устроен свет...

Услышав шаги, она вновь припала к земле. Потом услышала также голоса, уже знакомые ей по глухим разговорам в пути, во время ночевки в хижине. К ней шли четверо из другой группы — юноша, девушка и двое пожилых мужчин. Они молча кивнули ей. Юноша и девушка улыбнулись. Перешел еще кто-нибудь границу? Видела она кого-нибудь? Вопросы и ответы скрещивались судорожно, страх и отчаяние выхолостили голоса. Один из мужчин потерял жену. Он все порывался бежать назад через просеку, но молодые не пускали его, им пришлось повалить его в снег и удерживать в таком положении. Вполне возможно, что и другие тоже перебрались через границу. Молодые знаком показали Мириам, чтобы она прошла вдоль просеки в другую сторону и там искала их.

Только теперь Мириам вновь обрела прежнюю силу и ясность мысли. Она побежала вдоль опушки леса на юг, на бегу тихо окликая недавних спутников. Навстречу ей вышел мужчина — шведский крестьянин. Не видел ли он людей, пришедших с той стороны? Да, он слышал выстрелы: что, убили кого-

нибудь? Кто-то стрелял, она не знает кто. Не видел ли он беженцев? Как же, вчера прибыла партия. А он живет в Фалле, у Фалльшё, граница там идет прямо по воде. А больше он не видел беженцев? Она показала рукой куда-то назад. Он покачал головой. Нет, оттуда больше не было беженцев. Вчера вот прибыла партия. Вопросы и ответы падали вразбивку, но постепенно складывались в слитную картину. Каждый день кто-то переходит границу, и евреи тоже. Значит, в Норвегии начались преследования евреев?

Вопросы были будто из другого мира. Это и вправду был *другой* мир. С равным успехом швед мог бы спросить, идет ли война.

Но крестьянин оказался добрым человеком и смекалистым, хоть и задавал нелепые вопросы. Наверно, простому человеку из нейтральной страны не так-то легко понять все, что случилось. Да, крестьянин оказался добрым и смекалистым малым; он спросил о ее спутниках. Вдвоем они пошли назад в лес и отыскиали их, взяли и вещи Мириам — рюкзак и чемодан старых супругов. Неужели у нее столько вещей? Он раздумчиво приподнял чемодан, проверяя его вес. Мириам показала на рюкзак — это ее. А чемодан? Впервые она вдруг четко осознала, что это чемодан старых супругов, наверно собранный ими наспех, в надежде, что удастся спастись. И вот теперь он хмуро и одиноко стоит в снегу, в чужой стране, тогда как его владельцы...

Крестьянин понял, что означает ее кивок, он сделал несколько шагов в сторону просеки, к лесу, постоял прислушиваясь. Как странно — даже этот человек из безопасной страны не мог перейти белое поле, ступив в царство охоты на людей, не мог потребовать именем закона, чтобы ему выдали горстку несчастных, ищущих спасения у него на родине.

Подожли остальные. Двое молодых по-прежнему удерживали с двух сторон человека, отчаянно рвавшегося назад. У него выступила на губах пена, глаза после бесплодной борьбы смотрели осоловело. Швед, сразу поняв все, сказал: идти назад нет никакого смысла. Сколько людей еще осталось там?

Беженцы переглянулись, впервые прямо посмотрев друг другу в глаза. Впервые принялись они считать — считать человеческие жизни. Раньше их было двенадцать, теперь — пятеро.

— Они что, застукали вас?

Они впервые поняли, что «их застукали». Но кто их застукал? Мириам никого не видела. И четверо других тоже ока-

зались у самой пограничной просеки, когда это случилось. И они тоже не обернулись, просто помчались вперед. Все снова переглянулись, точно стыдясь чего-то. М-да...

Швед обвел их взглядом.

— Ступайте на хутор,— сказал он , — вон там, у самой границы. Там норвежцы соорудили барак и столовую, Ступайте туда, придет ленсман — зарегистрируйтесь у него.

— А остальные как же?

Мириам кивнула в сторону границы. Этому человеку словно бы невдомек, что остальных нет с ними, что спутники их пропали. Беглец, потерявший свою жену, снова начал вырываться, и молодые еще крепче вцепились в его руки. Швед покачал головой. Долго смотрел он в ту сторону, где был другой мир. Потом снова показал на хутор — на этот раз они и впрямь увидели за деревьями дом. Туда им следовало идти.

А швед по-прежнему стоял у самой просеки, светлой полосой тянувшейся сквозь лес. Он хмуро улыбнулся им и замахал рукой, чтобы они уходили: пусть идут на хутор.

Медленно, понутив голову, побрели они вниз. Юноша поднял с земли чемодан старых супругов и понес. У него совсем ничего не было с собой.

2

Беглецов согнали в кучку — крошечную темную кучку, и они легли побелевшими лицами в снег. Все молчали. Таков был приказ. Три парня с угрюмыми мальчишескими лицами растерянно прохаживались взад и вперед, беспрерывно ругаясь. Что-то волновало их, словно произошло нечто непредвиденное. Кажется, они ждали кого-то. Еще они были растеряны оттого, что схватили не всех беглецов: кое-кому удалось убежать. Парни были в синих мундирах пограничной полиции, но без знаков различия.

Из-за деревьев вышел высокий, стройный человек. Казалось, его появление изумило тех троих. На вид ему было лет сорок, и держался он начальственно. Он коротко приказал что-то двоим, и те тут же удалились, разойдясь в противоположные стороны пограничной просеки. Потом он обернулся к третьему — единственному, кто остался на месте. Тот как будто стал возражать. Высокий насмешливо взглянул на него и слегка улыбнулся.

— Что ж,— сказал он , — в таком случае мы вместе отведем их назад. Велите им построиться!

Он отдавал приказания холодно и спокойно.

Охваченные ужасом беженцы наблюдали сцену, разыгрывавшуюся у них на глазах. Им приказали встать на колени на снегу, заложив руки за спину. Старые супруги стояли, тесно прижавшись друг к другу. Они будто уже решили умереть вместе. Высокий, стройный снова отдалился от них. Он тоже был в мундире, но какого-то иного рода. На вороте у него сверкали какие-то непонятные знаки. Лицо его поражало безукоризненной правильностью черт, а левая рука, которой он все время беспокойно жестикулировал, — необычной длиной. Сейчас он уходил от них, временами скрываясь за деревьями, а парень из пограничной полиции, прохаживаясь широкими шагами среди перепуганных беженцев, прокричал, что их не будут расстреливать: пусть немедленно встанут, возьмут свои вещи и строем — марш за ним, да поживей! В пустом лесу гулко отдавалась его брань. Некоторые из беженцев уже успели побывать в немецких тюрьмах с немецкими тюремщиками — тон этот был хорошо им знаком. Другие в ужасе смотрели на разбушевавшегося паренька. На вид лет восемнадцать, не больше, детски округлые щеки, крупные рабочие руки. Лицо совсем не злобное, скорее, чуть простодушное. Наверно уж, ждять недоброго надо от другого — того высокого, стройного, что шел впереди. Обычно такие вот красавчики оказывались самыми жестокими из всех.

— Шагом марш!

Военная команда звучала смехотворно по отношению к этим хилым людишкам, в большинстве своем пожилым, с трудом передвигающим ноги. Вереница беженцев медленно тронулась в путь — туда, откуда они только что пришли; теперь, когда они лишились всякой надежды, они то и дело скользили и спотыкались. Высокий, стройный снова вынырнул из-за деревьев. Двое в мундирах коротко посоветались. Похоже, они спорили о чем-то. Потом они повели своих пленных на север, вереница людей медленно тянулась по густому лесу, метрах в ста от пограничной просеки. Пленники слышали, как те двое в мундирах снова о чем-то заспорили, понизив голос. И снова беженцам приказали встать на колени, и если только кто-то посмеет пошевеливаться... Все это сердито прокричал им молодой парень, а высокий, стройный красавчик угрожающе взметнул сжатую в кулак левую руку. Вслед за этим оба вошли в лес. Самые смелые из

беженцев опасливо подняли глаза, переглянулись, пытались подбодрить остальных улыбкой. Три женщины и четверо мужчин... все понимали, что добра не жди, но никто не плакал. Старая фру Ф. почти беззвучно шевелила губами, по-прежнему цепляясь за постромки старого рюкзачка. Может, она молилась, а может, шептала проклятья.

Высокий и стройный вышел из-за деревьев один. Он приказал им встать. Лицо его было суровым. Он снова велел им изменить направление и сам зашагал вдоль цепочки, непрерывно оглядываясь по сторонам. День уже клонился к вечеру, скупой на свет декабрьский день, а сумерки вскоре сгустились в сизую мглу. Беженцам человек этот казался странным. И они страшились его еще больше, чем того крикливого, грубого паренька. Рассказывали, что среди этих дикарей, без суда и следствия расправлявшихся с несчастными людьми, были особенно жестокие самодуры, изверги, движимые чистым садизмом. Самые молодые из беженцев начали шепотом переговариваться. Однако холодный взгляд высокого красавца мигом заставил всех смолкнуть. Даже скрип ботинок на снегу стал вдруг казаться чуть ли не преступлением, в котором они сами были повинны.

Долго брели они к северу, временами справа в просвете между деревьями мелькала пограничная просека. Этот долгий путь вдоль границы, за которой им обещали свободу, казался сейчас новой пыткой. Один раз на своем пути они увидели дом, вокруг маскировочных штор, точно рамка, проглядывали полоски света. Высокий обвел их вокруг дома. Он молча отдавал распоряжения — одним движением левой руки. Потом они снова отклонились вправо, все дальше и дальше отклонялись они от первоначального направления. Внезапно всю вереницу людей захлестнул ужас, все зашумели — неизвестно, кто начал первый. Но человек в мундире повелительно, с ледяным выражением на красивом лице вскинул левую руку, и это заставило всех умолкнуть.

Неожиданно они вновь оказались у пограничной просеки. Уже стояли густые сумерки. Белая полоса мерцала перед ними в слабом вечернем свете. Высокий красавец, увязая в глубоком снегу, обогнал колонну, выбежал на просеку и вернулся назад. Затем, все так же молча, сделал знак: бегите! Ничего не понимая, они как вкопанные застыли на опушке леса. Лицо красавца в мундире исказила гримаса раздражения. Он снова знаком велел им бежать, стоявшие ближе к нему расслышали сдавленное проклятие. Наконец двое выбежали на просеку — женщина

и мужчина. За ними последовал третий. Потом двинулись и четверо остальных. Красавец в мундире сгреб в охапку старую фру Ф. и чуть ли не вынес ее на белую полосу. Первые к тому времени уже почти достигли другой стороны. Здесь, по слежавшемуся снегу, идти было легко. Красавец в мундире все время шепотом поторапливал их. Отобрав у фру Ф. ее тощий рюкзак, он тащил ее через кочки по скользкой ложбине, покрытой льдом. Первые были уже у цели, на безопасной стороне, там они бросились ничком на землю. Один хотел было вернуться назад, чтобы помочь старухе, но высокий снова сердито замахал рукой, приказывая беглецу идти дальше. Никто теперь никого не окликал, все молчали. И даже те, кто был уже в безопасности, в растерянности распластались на снегу, гадая, где же остальные. Только один-единственный силуэт метался между деревьями в полутьме в немой и надрывной пляске.

Наконец все перешли границу. Последние, застыв на опушке леса, видели, как красавец повернул назад, он шел теперь спокойно, будто по столичной улице Карла Юхана, победоносно вскинув голову: он шел с гордо поднятой головой, не страшась, казалось, решительно ничего, даже выстрела с *той* стороны — может, даже он ждал или хотел его.

Скоро он скрылся вдаль за деревьями. Он не обернулся, чтобы им помахать. Было почти темно. Но они видели, что он ушел. Они переглядывались не в силах осознать случившееся. Тут вдруг кто-то всхлипнул у них за спиной. Где-то во тьме здесь были люди, кто-то из них уже отыскал самых слабых и больных из всей группы, тех, что, однако, не ныли, не хныкали в страшный час. Откуда-то появился шведский крестьянин. Он сказал, что все видел... С ним была женщина в брюках, та самая, про которую рассказывали, будто она музыкантша, и притом знаменитая. Она спросила:

— Тот человек, что сейчас пошел назад... кто он?

Ей отвечали: ах, этот... не знаем, он появился неожиданно и стал командовать, он распоряжался без слов, одними лишь взмахами левой руки. Но женщина — скрипачка, или кто она там есть, настаивала:

— А как он выглядел?

И одна из старух в восторге прошебетала:

— Он был прекрасен, будто ангел господень!

Скрипачка и шведский крестьянин стали хлопотать вокруг них. Вдвоем они проводили их к хутору у озера. Прямо напра-

тив гумна был пограничный шлагбаум. По другую сторону шлагбаума стояли два немецких солдата. Сигареты их вспыхивали во тьме,

3

Человек быстро шагал по лесу. Он шагал прямо на север, прочь от границы. Поленницы стояли здесь плотно одна к другой, угадывались во тьме и дальше. Мгла быстро сгущалась. Подойдя к одной из поленниц, он хотел наклониться, но оглянулся, будто что-то слышав. Чуть подалее в лесу стояла женщина в лыжном костюме под коричневой кофтой, просто-волосая. Она наступила на сухую ветку, этот хруст он и услышал. Она помахала ему, чтобы он не боялся, но было слишком темно, и он ее не заметил. Он наклонился и, просунув руку под бревно, вытащил оттуда комбинезон и свитер, затем стянул с себя мундир; оставшись на холодном вечернем ветру в одном нижнем белье, быстро засунул внутрь поленницы немецкий мундир и бережно его упрятал. Затем он натянул на себя гражданский костюм и проделал все это так проворно и быстро, что, казалось, будто из земли попросту вырос другой человек. Все время он действовал одной левой рукой, но женщина не могла заметить это во тьме, она знала лишь, что перед ней человек, втайне совершивший прекрасный подвиг, и вот он неожиданно перевоплотился у нее на глазах. Вероятно, он провел в лесу весь день. У него не было с собой даже рюкзака. Она видела, что он дрожит в своей легкой одежде. Потом он растерянно оглянулся вокруг — борец Сопротивления, он действовал на собственный страх и риск у границы в час смертельной опасности, когда те, кто жили в этих краях, почти каждый день становились перепуганными свидетелями трагедий...

Мгновенно приняв решение, женщина вышла из-за деревьев. В следующий миг они уже стояли друг против друга. Сначала мужчина хотел броситься бежать. Но тут же передумал. С невозмутимостью, чуть ли не смахивающей на издевку, он принялся оглядывать поленницу, а заодно соседние с ней, словно пришел сюда за каким-нибудь делом, связанным с лесными работами.

— Позвольте мне помочь вам! — сказала она голосом, тоненьким от волнения. И когда он отвернулся, чтобы она не разглядела его лица, добавила: — Я все видела, кое-что, во всяком

случае. Вы, наверно, продрогли. А мы... мы живем тут по соседству — муж мой и я. Пойдемте со мной, отогреетесь у н а с . — Но он по-прежнему не смотрел в ее сторону, притворяясь, будто ищет что-то рядом с поленницей; она продолжала: — Мы можем спрятать вас. Идти сейчас дальше назад для вас небезопасно. Вы ведь услали тех двоих вдоль пограничной просеки... может, они подняли тревогу, да они наверняка подняли тревогу!

Он обернулся к той стороне, посмотрел в глубь леса. Между деревьев притаилась мгла. Повсюду лежал серый, зловеще-серый снег. Женщина снова заговорила, тихо и сбивчиво:

— А был ведь еще третий солдат, и вообще...

Мужчина наконец решил.

— Хорошо, — устало сказал он . — Ступайте вперед.

Она осторожно двинулась вперед, в глубь леса, временами останавливаясь, чтобы прислушаться. Белка перепрыгнула с ветки на ветку, посыпался легкий снежок — и оба испугались. Застыли на месте. Она — спиной к нему, он дышал ей теперь прямо в копну волос. Оба одновременно сообразили, что произошло. И будто невидимый ток улыбки прошел между ними, проскочила искра доверия. Они подошли к открытому холму. На склоне его стоял маленький домик, темной кочкой плавал он в белом море снега. Из домика не проникал ни единый луч света. Они снова замерли, как и в прошлый раз, разглядывая дом. Но все будто дремало — и сам домик, и низенький сарай, темным пятнышком черневший на серовато-белом пригорке. Женщина сказала не оборачиваясь:

— Я пойду вперед. Стойте здесь. Если я выйду в проход между строениями и махну рукой, значит, все в порядке.

Мужчина стоял не шевелясь, она же стала подниматься по склону к дому. Там, наверху, она скрылась из виду. Он увидел, как в одном из окон вспыхнула полоска света под маскировочной шторой. И тут же женщина вышла во двор между строениями. Смутной тенью виделась она ему на пригорке, но он разглядывал, как она махнула рукой. На миг он замешкался не в силах решиться. Затем быстро пересек открытый участок, взобрался на пригорок, ступая по ее следам, и после минутного колебания вошел за ней в дом. Она заперла за ним дверь, и они очутились в совершенно темных сенях. Но уже в следующий миг сюда хлынул свет из комнаты, в которую она вошла. Комната была маленькая, скудно обставленная городской мебелью. Женщина внезапно возникла посреди комнаты, окутанная на-

рядом из яркого света, и сказала каким-то совершенно новым, потеплевшим голосом:

— Добро пожаловать к нам!

Это была милостивая, крепко сбитая женщина в шерстяном костюме и кофте, со светлыми волосами; неожиданным было лишь что-то кукольное в слегка поблекших чертах лица. И тут вдруг что-то сделалось с ней, казалось, она вот-вот упадет в обморок. Он быстро шагнул к ней, но она отпрянула назад с выражением блаженного ужаса на лице.

— Вилфред! — запинаясь, проговорила она тем тоненьким голоском, который он слышал в темном лесу. — Маленький Лорд! — И когда он растерянно застыл на месте, то ли испугался, то ли остолбенел от изумления: — Неужели ты не узнал меня? Неужели забыл свою Лилли? Нет, это же просто...

— Лилли! — негромко воскликнул он. Но она уже успела взять себя в руки. Приложив два пальца к губам, она испуганно оглянулась. Теперь он и в самом деле узнал ее. И страсть к притворству тут же захлестнула его.

— Мог ли я не узнать тебя? — проговорил он тем же тоном, только еще тише. — Господи, мог ли я не узнать мою Лилли, фею из моего детства на Драмменсвей? — Но при всем при том он держался на редкость скованно. Будто к нему снова вернулся страх, будто все эти слова нужны лишь для того, чтобы прогнать страх. — Мог ли я не узнать самую хорошенькую из всех наших горничных... первую мою любовь, таинственную дочь некоего дипломата... или — забыл — быть может, министра?

Но это поддразнивание, отголосок былых времен, рассердило ее. На кукольном лице появилось выражение недовольства. Она сбросила шерстяную кофту на стул и обернулась совсем иным существом — маленькой и проворной женщиной, верным, хоть и несколько поблекшим отражением той самой изящной горничной с Драмменсвей, которая столь великодушно покрывала самые дерзкие из его детских проделок и наверняка — он всегда это подозревал — видела его насквозь. И в то же время в ней появилась теперь какая-то твердость, зрелость, что ли, — хозяйка лесного домика, персонаж старой сказки... Он вспомнил долгие вечера на Драмменсвей с чтением вслух и короткие волнующие дни, полные тайных преступлений.

— Это твой дом? — Он огляделся вокруг. Он уже успел заметить стандартную полированную мебель, которая будто вопила: «Плата в рассрочку, плата в рассрочку — наш идеал уютного дома, целых двенадцать предметов!»

— Ты замужем? — снова спросил он.

Почти тридцать лет прошло с той поры. Всех этих лет теперь будто не бывало. В стране шла война, здесь, в лесу, шла война — оба они только что стали свидетелями стычки. Но сейчас всех этих лет будто и не было. Худо лишь, что женщина, по-прежнему стоявшая перед ним, в силу давней привычки держится с излишней почтительностью.

— Ты... вы... наверно, озябли и проголодались.

Было ясно, что она не осмеливается заговорить с ним о том, что видела там, в лесу. И она воспользовалась обычной уловкой хозяек:

— Да вы, наверно, проголодались, я сейчас принесу вам поесть...

Она ушла. Вилфред Саген застыл на месте. Правую руку он сунул в карман костюма. Левой провел по лбу — он никак не мог осознать эту невероятную встречу. И, все так же не двигаясь с места, он увидел, как она возвращается назад с подносом, на котором несет хлеб, сыр и масло. Его искушенный глаз сразу подметил, что масло — настоящее. Значит, те, кто живет близко к границе... Он отогнал эту мысль, не все ли ему равно. Он хотел думать лишь о том, что произошло в лесу. Но происшествие это ускользало от него, словно не сам он участвовал в нем, словно оно было лишь сном или грезой.

Лилли снова возвратилась в комнату.

— Скоро будет готов кофе, — сказала она. Теперь она проносила слова слегка на крестьянский лад.

Он все так же стоял, не двигаясь с места, но она сама подошла к нему с улыбкой и тронула его за плечо:

— Вы же часто говорили своей матушке, что ничто вас не удивит, что нет ничего невозможного.

Она неловко попыталась изобразить его речь — речь не по летам развитого ребенка, каким он был в детстве. Годы отступили назад, лавиной рухнули вниз... Она усадила его на диван — на самое почетное место.

«Вечно они усаживают тебя на диван, будто в западню, в ловушку, из которой не выберешься». Но Лилли уже вернулась с кофейником.

— Я думаю о положении, в которое попал, — медленно проговорил он. Он лгал, он *пытался* думать о своем положении, но оно никак не прояснялось в его мозгу, не обретало реальности.

Лилли поднесла к самому его носу чашку с кофе. Настоящий прекрасный кофе! Тут и сомнений не может быть, что...

Он рассердился на самого себя за то, что отвлекается на такие пустяки.

Лилли сказала:

— То, что вы сделали... вот это действительно невероятно. Я была в лесу. Обычно мне удается... — Она вдруг осеклась, мгновенно смерив его подозрительным взглядом. Но для нее будто не существовало всех этих лет, хоть она и с болью следила за тем, что сейчас творилось в стране. Она вновь овладела собой: — Обычно мне удается кое в чем помочь людям. Мой муж...

— Твой муж? — Вопрос этот вырвался у него неловко, словно против воли.

— Мы ведь живем совсем рядом, это удобно. Когда я услышала первый выстрел... Я думала, беженцев надо повести дальше, к северу. А здесь граница закрыта с тех самых пор, как стали преследовать евреев.

Она говорила деловым тоном: все совершалось у нее на глазах.

— Лилли,— решительно начал он. — Извините, что я по-прежнему зову вас по имени, — нет, я уже оправился от изумления, не волнуйтесь, чего только не бывает, особенно в наши дни. У вас есть дети, Лилли? Нет, значит, что ж, не жалейте об этом. Как я понимаю, вы хозяйка небольшой крестьянской усадьбы. Здесь у вас очень славно...

В ней проступила вдруг некоторая чопорность, приличествующая, как ей казалось, хозяйке дома. Она протянула ему доску с хлебом. Да, и доска была шведского производства, там выделяют такие вещицы.

— Я вот что хотел сказать: сегодня вы видели случайное происшествие, в котором я оказался замешан, — не так ли, случайное происшествие, в котором оказался замешан неизвестный вам человек?..

Глубоко оскорбленная его словами, она вскинула голову.

— Я думала, вы поняли, что мне можно доверять, что мой муж и я...

Он прервал ее жестом левой руки.

— У меня и в мыслях не было просить вас не выдавать меня, молчать, если что-то случится. Я не хотел вас обидеть. Но ведь я сейчас в крайне затруднительном положении, вы же сами понимаете, что произошло. Сюда могут прийти, может, скоро они уже будут здесь.

Теперь она вновь была вся внимание.

— Мы можем спрятать тебя,— тихо сказала она. — У нас есть тайник... — И ей так хотелось поделиться с ним самым сокровенным, что у нее вырвалось: — Мы с мужем...

Кто-то свистнул за окном. Вилфред вздрогнул. Лилли улыбнулась. Снова раздался тот же свист, потом кто-то трижды немело прокричал петухом. Подбежав к окошку, Лилли слегка отодвинула маскировочную штору, тоже трижды. Сразу же вслед за этим послышались грузные шаги, какой-то мужчина сбивал на крыльце снег с ботинок. Потом он вошел, стянул с себя берет. Лилли быстро шагнула к нему. Он был сед как лунь. Вилфред узнал его: это был тот самый человек, которого прозвали Лосем. Он мрачно ответил на приветствие жены.

— Сегодня все сорвалось, — сказал он.

Вилфред встал. Только сейчас в ярком свете лампы мужчина его заметил. Он попятился. Лилли побледнела и съежилась рядом с рассерженным мужем.

— Ты... ты сам сегодня вел? — тревожно спросила она. Потом быстро зашептала ему что-то: хотела успокоить.

— Да, я сам вел, вместе с Харалдсенем. Этот болван начал стрелять. И все сорвалось.

Он тяжело сел, по-прежнему не здороваясь с Вилфредом. Лилли вся дрожала от радости, что сейчас ошеломит его неожиданной новостью.

Лилли начала рассказывать, сбивчиво, как попало нагромождая слова. Она не знала, что он вел сегодня беженцев к границе. Он же никогда ей об этом не говорит. Она не видела его. Она видела лишь, что одни перебрались на ту сторону, а другие стояли на коленях в снегу, и тут вдруг... она не находила слов, чтобы ошеломить его, как хотела. На глазах у нее выступили слезы. Слишком уж она гордилась своей лептой, чтобы рассказать о необычайном событии в двух словах. Она лишь то и дело показывала на гостя и бормотала что вот, мол, он сделал нечто такое... словом, все беженцы спасены! Ничего нельзя было разобрать. Но Лось все же разобрал — опытный боец, вынесший на своих плечах нечеловеческое бремя — бремя неудачи...

Мало-помалу до него дошел смысл ее слов. Преодолевая смертельную усталость, он встал, но снова рухнул на стул. Жена принесла ему кофе. Обняла его. Женщина между двумя мужчинами, которыми одинаково гордилась, сейчас должна была сделать только одно — наилучшим образом все объяснить. Настал самый великий миг в ее жизни — миг, связавший на-

стоящее с юностью, проведенной в кругу светских людей, который она презирала, по которым все же втайне гордилась.

Тяжело поднявшись, Лось пересек комнату. Казалось, его ботинки заняли все пространство. Он протянул гостю руку, похожую на медвежью лапу. Вилфред быстро выбросил свою левую и горячо пожал эту лапу. Тот отпрянул. Бросил на жену быстрый взгляд.

— Вы повредили руку? — спросил он.

Вилфред кивнул. Лилли в растерянности оборачивалась то к одному, то к другому, то к человеку по прозвищу Лось, гордости ее и счастью, то к неизменно жившему в ее мечтах сказочному принцу ее юности, порочному ангелочку, всегда ошеломлявшему ее своими выдумками и затеями... Много лет в сердце своем, или где там хранят такие вещи, она хранила его образ, и случалось, в уединенные часы обращалась к нему, скрашивая этим воспоминанием дни в тихой крестьянской усадьбе, где текла ее жизнь. Она вгляделась в это лицо, что в былые годы столько раз заставляло ее волноваться. Черты его осунулись. Это не было лицо мужчины, каким теперь представлялось ей мужское лицо. Но за складками кожи, за впадинами щек она разглядела все те же утонченные, мягкие черты, будто с книжной картинки, ту же жесткую, чуть насмешливую улыбку... все было точно такое же, может, скрытое годами, а, может, наоборот, приоткрытое? В эту минуту перед ней словно ожило прошлое в уютном доме на Драмменсвей, полном озорства и мелкой лжи.

И снова она обратила взгляд к мужу — Лося. Что-то чуждое, жесткое появилось в нем после неожиданной радости. Он редко улыбался всем лицом. Но на его лице была эта улыбка, широкая, открытая улыбка, когда он двинулся в своих огромных ботинках навстречу гостю. Теперь улыбка погасла, стерлась. Растерянно стояла Лилли между двумя мужчинами. Она спросила:

— Ваша рука?.. Может, я могу чем-нибудь вам помочь?

Гость улыбнулся:

— Премного благодарен, но это старая рана...

Впрочем, он не глядел на Лилли. Он не сводил взгляда с Лося. Лилли была трогательна в своей беспомощности. Она обернулась к мужу:

— Я сказала, что мы можем спрятать его на эту ночь. Наверно, сейчас за ним уже послали погоню...

Ее взгляд зашарил по лицу Лося. Тут было что-то недоступ-

ное ее пониманию. Муж взглянул на нее, будто очнувшись от сна.

— Конечно,— сказал о н . — Спрятать на одну ночь... Сейчас.

Втроем они выпили кофе. Оказалось, у Лилли припасена бутылочка водки. Она суетилась вокруг мужчин, чтобы как-то поднять настроение. Она снова рассказала мужу все, что видела. Она заставила даже Вилфреда выдавить из себя несколько слов. Муж ее задал всего лишь два-три вопроса. Он спросил, где гость раздобыл немецкий мундир, и Лилли снова была тут как тут, сразу же восторженно зашебетала о том, что она видела в лесу. Она была женщина между двух мужчин, и оба были ей дороги.

— И тогда я сказала, что мы можем его спрятать.

— Спрятать его...

Повторив эти слова, муж кивнул. Они чокнулись крошечными рюмками. Потом выпили кофе и снова чокнулись. Настало время ложиться спать. Муж встал, взял фонарь. Втроем они пересекли двор, Лось прикрывал фонарь рукой. В сарае потайная лестница вела вниз, в маленькую комнатку. В ней оказалось на редкость уютно. Там стоял диван, а на нем — шерстяные одеяла, тут же были электрическая плитка, стул, на стуле — несколько книг. Вилфред сразу же распознал в одной из книг свое сочинение, первую свою книгу. Секунду мужчины стояли друг против друга. Взгляд Лося был прикован к правой руке Вилфреда, загадочно засунутой в карман костюма. Он увидел, что его гость легко и привычно орудует левой.

— До завтра, — сказал он. И ушел.

Вилфред стоял в маленькой подвальной каморке и слышал, как заскрипел снег под огромными ботинками Лося.

Он долго стоял так, может, с полчаса. Стоял не шевелясь. Прислушивался.

Так и не услышав ни единого звука, Вилфред осторожно вышел за дверь и прислушался снова. Потом вернулся назад и потушил свет. И снова долго стоял в потемках и слушал. Потом подошел к раскрытой двери и ощупью взобрался вверх по лестнице. Он все запомнил. Легко отыскав наружную дверь, он вышел во двор. Небо очистилось от туч. Вилфред отчетливо видел домик на другой стороне двора. Все было окутано мраком и тишиной.

Тогда, выйдя со двора, он зашагал на запад. Он ставил ногу в снег на всю подошву, будто пробираясь по илистому дну реки. От этого при ходьбе почти не слышно скрипа. Морозило...

Грузный человек по прозвищу Лось ощупью вошел в комнату и остался стоять впотьмах, прислушиваясь к дыханию жены. Дыхание было столь безупречно ровное, что он понял: она не спит. Сбросив с себя одежду, Лось тяжело рухнул на край кровати и долго сидел так, всматриваясь в потемки. В глазах плясали искры. Только теперь он почувствовал, какого напряжения стоил ему этот день. Он так устал, что не мог совладать с этими искрами, они плясали, то угасая, то загораясь, двоились, складываясь в причудливые узоры, то вспыхивавшие, то исчезающие где-то позади сетчатки.

Дыхание Лилли утратило свою подозрительную размеренность. Она приподнялась на кровати, и слабый скрип в тишине показался непривычно громким.

— Ты думаешь, это он?

— Кто «он»? — спросил Лось.

— Он. Однорукий.

— Не знаю. Да, думаю, он. Что ты ему рассказала?..

— Господи... — Теперь она села в постели и впилась взглядом во мрак, в ту сторону, где сидел муж. — Это же Вилфред, тот самый, о котором я столько тебе рассказывала, прелестный мальчик из большого дома на Драмменсвей. Я же не могла себе представить...

— Да, да, — с досадой перебил он ее, — мы никогда не можем себе представить, что кто-то из наших знакомых — предатель. Но как ты думаешь, что он все-таки понял?

— Вилфред Саген, — задумчиво обронила она в ответ. — Он понял все. Он обо всем догадался... — И, не услышав ответа, взмолилась: — но ведь он же помог беженцам, он же спас их. Он на *нашей* стороне!

Она сидела, роняя слова в темное пространство, тщетно стараясь придать им вес, но слова были бесплотны, и от этого они, казалось, не достигали дна.

— В том-то и дело, — сказал он. — Однорукий, как его прозвали, он, может, и на той, и на другой стороне, почему мы знаем! Он вдруг появляется откуда ни возьмись, как можно знать...

— Но он же помог беженцам, — не отступалась она. — Он и вправду появился внезапно, в немецком мундире, отдал этим мерзким парням какой-то приказ, отослал их. А после сорвал с себя мундир, одежда его была спрятана под дровами. Я все это видела сама, он стоял в лесу и дрожал от холода.

Каждый из них теперь сидел на своей кровати и каждый смотрел прямо перед собой в потемках, будто ни к кому не обращаясь. Робко высунувшись из-под одеяла, она взяла мужа за руку, рука была холодная, как снег за окном, жесткая, сильная.

— Скажи правду, я тебя подвела?

Он высвободил свою руку и жесткой ладонью погладил маленькую ручку жены, утешая ее.

— Не знаю. Вот ведь проклятое дело. Если мы с тобой ошиблись, все полетит к чертям. Самое разумное было бы немедленно сматываться отсюда.

— Через границу? Ты же говорил, что никогда этого не сделаешь, даже если все...

Лось устало провел рукой по лицу. Искры по-прежнему плясали в глазах.

— Конечно,— мрачно проговорил он. — Если все вздумают отсюда уйти... Да только, если нас схватят, нужно суметь держать язык за зубами.

Лилли вздохнула. Ей вновь представились все эти картины: говорили, будто там вырывают ногти... Она дотронулась до своих пальцев. Даже за самой трудной работой здесь, в лесу, она не забывала следить за своими ногтями. Лилли так до конца и не отделалась от своей суетности столичной горничной.

— Ты ведь можешь поехать на север, к сестре и зятю...

Подняв холеную руку столичной горничной, Лилли неловко погладила мужа по лицу. Она тронула его щетину, словно проведя шелком по колючей проволоке.

— Да, да,— незлобиво, со вздохом проговорил он, — я знаю, ты этого не хочешь. Да и я не хочу. Но ведь и о других людях тоже нужно подумать.

Он не договорил. Не было нужды договаривать. Когда-то Лось пытался скрыть свою деятельность на границе и в других местах от Лилли. Подобно многим сильным мужчинам, он считал свою жену слабой, беспомощной. В этом не было для нее ничего обидного, просто ему правилось заботиться о других, хотя жизнь у него всегда была суровая, и в ней не было места для нежности.

Лилли откинулась назад, легла, стараясь приглушить тревогу.

«Если мы ошиблись», — сказал муж. Все эти годы она слышала его споры с друзьями, горячие споры о том, что бесполезно спасать какие-то единичные человеческие жизни... Спасти

горстку измученных войной беглецов, переправив их на ту сторону границы, туда, где было вволю еды, где царил мир... да многие из них, может, даже большинство, были недостойны того, чтобы ради них приносить столько жертв. Товарищи Лося знали это, все время знали, и кое-кто из них ожесточился и озлобился, они стали укорять друг друга за мелкие оплошности, допущенные в пути, в их неблагодарной роли проводников. Ни разу она не слыхала, чтобы Лось корил кого-нибудь за ошибку. Единственное, что выводило его из себя, — это когда кто-то хотел бросить свою работу, отступить, потому-де, что от этой мелкой смехотворной возни нет никакого толку. «Не о себе сейчас надо думать», — неизменно говорил он своим обычным спокойным тоном. Многих перепуганных или отчаявшихся людей одна эта фраза заставляла взяться за ум.

— Ты могла бы перебраться через границу, а я заберу тебя назад, когда здесь снова все успокоится,— сказал он. — И поскольку она не отвечала, он продолжал: — Я знаком кое с кем на *той* стороне. Уж они не станут докладывать властям.

Ответа нет. Она лежит не шевелясь и смотрит в потолок. Будто в темноте можно различить его зеленые доски. Она тогда поставила одну на другую две табуретки и красила потолок, терпеливо переставляя обе табуретки, пока весь потолок не был выкрашен приятным зеленым цветом. Было это в летнюю пору, когда муж не возвращался к ней пять дней кряду и она не знала, как вынести те светлые ночи, как лучше погасить страх и тревогу. А когда однажды утром он вернулся домой — такой худой, измученный, что она не сразу его узнала, — она огорчилась от того, что он повалился на кровать и уснул, даже не заметив, что она заново выкрасила весь потолок.

«Наверное, я никогда не пойму, как все это страшно», — подумала она, потягиваясь в кровати. Ей было приятно *все это*, приятно было участвовать в игре, но притом она считала, что защищена от наихудшего. Она пыталась представить себе мрачный подвал для пыток, где на тебя с громкой бранью накидываются палачи, вооруженные палками и щипцами. И если начнут вырывать ногти... казалось, не ей самой будет больно, а какой-то другой, незнакомой женщине; у нее защемило в груди от жалости к той чужой женщине, чувство вины захлестнуло ее. Не на нее ведь орали палачи, не у нее вырывали ногти.

— Он ничем этого не сделает! — вдруг воскликнула она в потемках.

— Кто не сделает? И чего?

Искры в глазах только сейчас погасли. По голосу Лося было слышно, что он уже почти спит. Но он тут же проснулся от ее слов. Одни и те же мысли преследовали его во сне и за любым делом, они всегда были тут как тут, будто рисунок на ткани, непрерывно разматывающейся на станке, открывая все тот же узор... Холодно и неожиданно резко он ответил ей:

— Этого ты не знаешь. И не можешь знать. Никто этого не знает. Есть такие типы, что вроде и вашим, и нашим...

Она возразила. Что значит: и нашим, и вашим? Если человек не на их стороне, значит, он *против* них, как же еще?

Он коснулся ладонью ее лица.

— Ты воображаешь: оттого, что ты когда-то знала его мальчишкой — кстати, ты сама рассказывала, он был такой пройдоха, что даже его мамаша и та понятия не имела, что он вытворяет... И если это вправду *он*, Однорукий, как его тут прозвали, то, говорят, он всю жизнь колесил по свету и водился со всяким сбродом, с богачами и еще бог знает с кем и никогда не занимался никаким путным делом, разве что писал что-то или малевал, но даже и тут не добился толку, как я слышал. Вечно он лишь забавлялся и морочил голову людям. Да они все такие...

— Кто это «они»?

От его слов повеяло холодком, как всегда, когда они касались такой темы, как классовая борьба или что-нибудь в этом роде, — за много лет она так и не научилась относиться к этому серьезно. Ее преданная девичья душа навсегда была околдована почтением к знатым и благородным людям, хоть в свое время она и сама многое видела и поняла. Зачем только муж всегда делит людей на два лагеря и готовится к бою?

— Чудачка ты,— уже беззлобно продолжал он. — Сколько лет ты живешь здесь со мной в диком лесу, в крошечной нашей усадьбе, вся работа на тебе — по дому и по двору, и, ничего не скажешь, ты с честью несешь хлопоты, а все равно...

Он не договорил. Да она и не хотела этого слышать. Тень эта весь век маячила между ними, разве что растаяла за последний год: Лось — человек из леса, участник классовых боев и стачек, должен был сражаться со смешной мечтательной слабостью к «сливкам общества» у своей маленькой крепкой женошки, так бойко управлявшейся с ведрами и дымящей плитой.

— Есть такая порода людей: они ни за тебя, ни против, — не спеша продолжал он, пытаясь разъяснить ей и заодно уяснить себе то, что и ему казалось загадочным. — Может, они

одновременно и за, и против — для них это ведь своего рода спорт, почему я знаю. Ты же сама рассказывала, что твой Маленький Лорд еще в ту пору всегда будто раздваивался, отгадывал чужие мысли и паясничал. — Лось полежал еще немного, подумал. Потом сказал: — Есть такая порода людей — в них столько злобы, что они и самих себя готовы зарезать.

— Не пойму я этого, — закрывая глаза, сказала она. Мужество вдруг покинуло ее, тоска, казалось, разом нахлынула со всех сторон, накрыла ее будто влажной простыней. — Ничего я не понимаю. Поступай как знаешь.

Снова тот же смиренный тон и та же покорность. Он не осознал этого до конца, но все же в нем шевельнулась догадка: что, если это маленькая хитрость с ее стороны? Но даже догадка эта растрогала его. Они с товарищами часто говорили: мужчина, ведущий активную работу в Сопротивлении, должен быть свободен. Но кто свободен? Может ли взрослый человек быть свободен от заботы о ком-то, от личной привязанности?.. Иногда, случалось, он ощущал укоры совести за то, что он остался человеком, с человеческими радостями и огорчениями, в мире, превратившемся в сплошной кровавый клубок, из которого не вырваться никому...

— Мы многого не понимаем, — сонно забормотал он. — Да и понимаем ли мы вообще что-нибудь? Когда они пришли в нашу страну, разве мы понимали, что нас ждет? Мы не хотели этому верить. Когда к нам сюда, на границу, устремились люди, молившие о помощи... разве мы понимали? А когда на хуторе Нюсвеен расстреляли хозяйского сына и он мертвый лежал перед домом... что мы тогда поняли? Наверно, мы и сейчас не понимаем, что речь идет о жизни и смерти.

Он говорил об этом, словно бы усмехаясь впотьмах, как будто стеснялся таких выпретенных слов. Теплое чувство подкатило к ее сердцу: с ним творится то же самое, подумала она, может, даже и ему до конца не верится, что все обстоит именно так, хоть он и в гуще борьбы.

— А можешь ты понять, — с усилием выдохнула она в темноту, — что кто-то держит их сторону, кто-то из норвежцев?

Он немного помедлил с ответом.

— Да, могу. Были скверные времена для рабочего люда. Не так уж глупо звучали посулы тех самых типов...

Она лежала, обдумывая его ответ. Ведь она просто забыла обо всем этом. И снова мысли ее отвлеклись в сторону.

Она спросила:

— А правда, что хотели его убрать? Однорукого?

Она робко произнесла эти слова — чуждые ей слова: она страшилась до конца додумать мысль... Он хотел прикоснуться к ней во тьме, но нащупал лишь простыню, закрывавшую ее, словно броня.

— Не твоего ума это дело...

Он лежал, прислушиваясь к ее дыханию во тьме, оно скоро выровнялось, и все-таки он услышал:

— А ты убивал кого-нибудь?

Он пришел в ярость.

— Мы не должны думать о таких вещах! — сказал он. — Не нашего ума это дело.

Он говорил «мы» и «не нашего ума», хотел этим успокоить ее. Но ведь легче было просто ответить: «Нет». Тут вдруг она услышала его храп, в комнате зашумело, загрохотало. Ей было грустно одной, одолевала жалость к мужу. Перед ее мысленным взором возник бледный человек с золотыми кудрями... а впрочем, кажется, теперь нет уже ни золота, ни кудрей. Лицо, возникшее перед нею во мраке, было лицом ребенка, совсем непохожее на усталое, худое лицо человека, еще недавно стоявшего в ее комнате. Однако черты, спрятанные под морщинами, были все те же, ангельские, почти беспощадно правильные черты, некогда придававшие его лицу холодную зрелость. Тогда Вилфред был ребенком. Но, пожалуй, теперь, когда он стал мужчиной, те же черты отмечали его печатью детской беспомощности. Сейчас ему, должно быть, года сорок три. Цифра эта казалась ей невероятной. Самой ей скоро уже исполнится пятьдесят — состарившаяся девочка, при ведрах и дымящей плите...

Вилфред нырнул в лес, что тянулся к северу от усадьбы. Поначалу он оставлял в снегу на безлесном пригорке глубокие следы. По ним всякий мог бы проследить его путь. Муж Лилли, тот, которого прозвали Лосем, мог поутру снарядить за ним погоню. Нетрудно догадаться, что он пойдет лесом на север, что он захочет снова вернуться в Осло. А если к тому же догадаются, кто ему помогал и с кем он держит связь? Он и впрямь был очень одинок, всегда и везде, но все же располагал кое-какими связями. Он знал, что эти простаки прозвали его Одноруким. По нынешним временам физический недостаток — немалая помеха. Речь, разумеется, не о том, чтобы научиться ловко преодо-

левать неудобства, — разве он уже давным-давно не разучил все пьесы для одноруких пианистов?

Надо будет — он и вовсе без рук обойдется. Искусственной правой рукой он умел делать почти все то же, что другие двумя настоящими руками. Главное — чтобы люди этого не замечали. По нынешним временам особая примета — большое зло.

На ходу корча гримасы, Вилфред все больше углублялся в лес. Когда ты в лесу, он уже не кажется таким темным. Вилфред изобразил на своем лице презрение и впрямь исполнился презрения. Хорошо, что он по-прежнему владеет своими чувствами. Пробираясь ощупью меж деревьев, росших плотно одно к другому, он старался разжечь в себе бесстрашие: жидкий, прозрачный лесок не мог его спрятать.

Вилфред почувствовал вдруг, что смертельно устал. Он брел между деревьями шатаясь, как какой-нибудь пьяница. Но ему нельзя шататься, нельзя прилечь отдохнуть. Холодно. Надо скорей идти дальше. Когда он доберется до хутора, он постарается связаться с Робертом. Роберт никогда ни о чем не спрашивает, Роберт выше таких вещей. А может, пет? Да что там, конечно же, Роберт выше таких вещей, хоть он и патриот, как все. Он снова на коне и, надо думать, тем или иным способом обделяет свои дела. Среди всех этих героев и борцов Сопротивления немало таких, которые ловко обделяют свои делишки. Почему не быть среди них и Роберту? Он теперь редко видится с ним и ни о чем не спрашивает, никогда — ни о чем. Может, оттого и Роберт тоже не спрашивает его ни о чем? Роберт не мастер трезво оценивать действительность, никогда им не был. Роберт, добрая душа, человек, который всю жизнь с переменным успехом проворачивал разные дела.

Да, он свяжется с ним, как только доберется до хутора. Путь займет целый день да еще ночь, и то, если повезет. Но, как знать, может, займет и больше. Ему нельзя шататься. Надо идти ровно, ведь он должен пересечь множество проезжих дорог да еще мост, а сейчас, после того, что он сделал, опасно пересекать мосты...

Все перепуталось. Это и давало Вилфреду возможность жить, на это он и делал ставку. Когда он доберется до большого хутора... Он вздрогнул при мысли: а что, если там больше нет Морица? Мориц обязан ему, Мориц — офицер, командующий частью... Но что, если его больше там нет?

Да что уж, конечно, он там. Правда, ему посулили другое назначение — ничтожный, дрянной пост у побережья при одной

из никому не нужных батарей, размещенных здесь в первое лето войны. Мориц сам не знал, что это — повышение или... Он предпочел думать, что повышение. Там он будет сам себе голова, да и делать там почти нечего. Охота им вот так переставлять людей с места на место!.. Он сам сказал это Вилфреду с одной из тех своих кислых улыбок, что, казалось, таили в себе предательскую насмешку...

Вилфред шел предрассветным лесом и думал о том, как все перепуталось: вот у него ход к офицеру — командиру воинской части. Все началось с пустяка: однажды, когда случай или его собственная страсть к опасным играм свели их вместе на том большом хуторе и Мориц произнес одну из своих длинных тирад, лихо и от всего сердца выпалив изменническую ересь, в комнате вдруг появились двое, и Вилфред, быстро сообразив, что надо делать, продолжил сам преступную тираду в точности тем же голосом — голосом Морица, с той же легкомысленной цинической интонацией, на его родном языке... и те двое застыли на месте, ошеломленные, и только переглядывались... а Мориц встал и с улыбкой заявил: «Да, вот перед нами один из этих непокорных болтунов, которые выражают идеи Сопротивления...» Он тут же предал Вилфреда, своего спасителя... и те двое вывели его во двор большого хутора, избили как следует и увезли...

Затем по приказу свыше его отпустили. Как дал понять ему Мориц, иногда могут пригодиться такие типы, как он, такие, у кого связи по обе стороны...

Значит, правда, что куда ни глянь — все прогнило, значит, в каждом механизме имелось свое ненадежное звено. И правда, в силу того, что сам он был ненадежным звеном во всех цепях, куда вставляла его жизнь, он стал играть спасительную роль посредника... Он невольно улыбнулся этой мысли — один в ледяном царстве: кто он, падший ангел? Пусть так!..

Когда же он доберется до хутора?.. Казалось, путь до него бесконечно долог... Но он знал дорогу. Случай сделал его ангелом-спасителем человека, занимавшего высокий пост, но, возможно, недовольного этим постом, впрочем, кто знает? Наверно, и он играл в ту же игру и так же смотрел на все с разных сторон, как и Вилфред, так что, надо думать, в тот самый первый раз их свел не только слепой случай.

Ведь они же с первого знакомства поняли друг друга.

Они поняли друг друга в тот же миг, когда опасность миновала — когда она миновала для Морица. Взаимная зависимость — добрый залог для дружбы. И то хорошо, что каждый

знал про другого: он запятнан, он изгой, желающий одного и делающий другое... А что могла дать Морицу война? Он владел именем в Померании, был богат, а значит, и над ним тоже нависла угроза, он был утонченный игрок, чуждый этой плоской, хоть и непомерно восхваляемой односторонности, имя которой — мораль. Можно считать, что Вилфред вызволил из беды своего духовного брата. Он подыскал ему также подружку, отыскал в джунглях, где пребывали подобные ей — презренные, лишённые нравственности и равнодушные люди — люди без родины, как называли их.

Вилфред шагал, насмешливо улыбаясь. Его уже не шатало из стороны в сторону.

Все перепуталось — но только не для простых душ. Он сразу вспомнил Лилли и ее мужа — простого человека с простыми целями и заботами. Для них, для всех, кто был с ними, Вилфред только что сыграл роль сущего ангела. Вспомнил он и о другом, что-то настойчиво рвалось в душу и грозило ее заполнить. Но он отогнал эту мысль. Он словно бы видел женщину, которая бежала по белому снегу между деревьями. Она обошлась без его помощи. Он знал, что она будет в этой партии. Вилфред многое знал из того, что творилось по обе стороны фронта. Ему было забавно все это знать. И забавно вмешиваться временами. И если был в мире человек, которого ему действительно хотелось спасти от этой безумной охоты на людей, то и это несколько не умаляло его равнодушия ко всему на свете. Где-то в пустом пространстве его души жила память о чем-то настоящем и прочном... скудные воспоминания о небывшемся.

Все эти настроения забавляли его, они помогали скоротать время в пути... После, надо думать, его осенит что-либо другое, коль скоро нет выбора. Придет время, и он отдаст себя на волю судьбы... Все происходит само собой. Первым делом его ждет отдых на большом хуторе.

5

Многие мужчины с годами обретают лицо. Роберт принадлежал к их числу, черты его лица стали тверже, образовав некую систему складок, и выражали теперь определенный характер, который он старался воплотить всем строем своей жизни. Жизнь его была соткана из множества решений, и все они принимались от чистого сердца. Его изначально смазливое лицо послушно приторавливалось к каждой очередной роли. Но пос-

ле случилось главное событие его жизни. Он был из тех, кто говорил: «Когда на карту поставлена судьба отечества...» Все горе родины, собранное вместе, подарило ему вторую молодость. И мало-помалу он обрел лицо человека, на которого можно положиться, при желании он мог бы сделать на этом карьере...

«Таких, как он, изображают на рекламах виски», — подумал Вилфред, когда они стояли друг против друга в дверях. Роберт не скрывал своего изумления:

— Как ты узнал пароль?

— Господи, право же нетрудно сообразить, что человек твоего толка открывает дверь по звонку, сигнализирующему букву «V»!* Ты что, не хочешь меня впустить?

Когда они вошли в комнату, он сразу заметил запретный радиоприемник на книжной полке, точнее, край его, выглядывавший из-под незатейливой маскировки.

— Я уже увидел его, — сказал он, когда Роберт попытался заслонить собой аппарат.

Ох уж эти патриоты с их позами и мелкой возней. Все, что они ни предпринимали, было так прозрачно — нескончаемая демонстрация боевого и беспорочного образа мыслей. И когда старина Роберт, словно по команде, скользнул к неизбежному бару, — мыслимо ли вообще представить себе этого человека без бара, даже очутись он волей судьбы в вигваме? — Вилфред сказал:

— Да, мне и правда не помешал бы глоток какого-нибудь живительного напитка, ты угадал. Но ты словно боишься меня? Роберт улыбнулся чуть смущенной улыбкой.

— Боюсь тебя? — повторил он, поднимая стакан.

Вилфред осушил свой.

— Почему бы и нет? — игриво сказал он.

Они сидели прямо друг против друга, между ними — маленький письменный стол. Из нижнего ящика стола торчал клочок бумаги — одна из запрещенных листовок, которые эти люди читали и распространяли с молниеносной быстротой словно лишь для того, чтобы вырасти в собственных глазах.

— Коли так — твое дело объяснить почему, — холодно произнес Роберт.

Вилфред подумал: «А он куражится, хотя, может, он и вправду так вошел в образ...»

* «V» — первая буква в слове «victory» — победа (англ.). По азбуке Морзе: три точки, тире.

Он протянул Роберту пустой стакан:

— Я сам при случае пришло тебе бутылку.

Роберт наполнил стакан и ответил с опозданием, слишком явным, чтобы расценить это только как дерзость:

— Я не уверен, что захочу принять твою отборную водку.

Сквозь маскировочные шторы, сквозь двойные рамы окон до них донесся топот марширующих ног. За углом топот оборвался. Но тут же послышалась песня — солдатская песня с привычным рубленным ритмом.

— Дурацкая песня! — Вилфред снова протянул стакан.

Роберт словно не замечал его.

— Это *ты* говоришь!

Опять скупой, с запозданием, холодный ответ. Вилфреда охватило беспокойство: нет, он не боялся, просто его раздражало, что он не знает, в какой мере позер Роберт слился со своей ролью «истинного норвежца».

— Что ж, сейчас самое время раскрыть мне тайну, что на самом деле ты — один из главарей Сопротивления, только не отвечай мне опять: «Это *ты* говоришь!» Дескать, Черчилль да ты, ну и еще два-три человека, имен которых ты, конечно, не знаешь...

«Какого черта, почему этот идиот не принимает мяч, когда над ним подшучивает старый друг?» Запоздалые ответы Роберта и вправду начали его пугать.

Роберт встал. Обернувшись к окну, он, казалось, сердито принюхивался к темно-синей шторе, отгораживавшей его от мира, где царило действие.

Когда он обернулся к Вилфреду, на лице его сияла улыбка. Это было неожиданно. Старая плутоватая улыбка, какой улыбаются друзьям, уже без всякой отчужденности.

— Зачем ты ко мне пришел? — спросил он.

— Зачем в нынешние времена приходят друг к другу? Поболтать. И еще — вдруг у тебя есть диван, на котором можно поспать...

— Несколько ночей?..

Вилфред кивнул.

— Если только я не помешаю...

Теперь Роберт уже без всякой просьбы налил ему стакан все той же дрянной водки.

— Конечно, — сказал он. Улыбка не сходила с его лица. — Кстате, от какой из двух сторон ты прячешься?

— От обеих.

Роберт сел. Он раздумчиво кивнул. («Господи, ему ли изображать из себя мыслителя!»)

— Ты, кажется, очень устал?

— Ты попал в точку. — Вилфред выпрямился в удобном хозяйском кресле. Его то клонило ко сну, то вдруг охватывало неестественное оживление. — А вот ты, напротив, выглядишь помолодевшим, словно заново родившимся. Может, поделишься тайной, каким кремом ты мажешься на ночь?..

Роберт рассмеялся.

— Мне диета на пользу. Пудинг из акулы или еще бог знает из чего. Из брюквы. Я думаю, все мы, кто вынужден жить на паек...

— Хочешь намекнуть, что я купаюсь в мясном соусе?

Вилфред насмешливо тронул свои скулы, словно у мертвеца выдававшиеся под тонкой кожей. Роберт подумал: «Если бы рафаэлевский ангел несколько месяцев сидел на голодном пайке...»

— Не знаю я, в чем ты купаешься, — добродушно сказал он. Вилфред встал, шатаясь от усталости.

— Разговор двух старых друзей в эти дни приобретает порой налет нездоровой враждебности... — Он оглянулся в о круг. — Ты, кажется, упомянул про какой-то диван.

Роберт вяло показал рукой в сторону портьеры.

— Если только там уже не спит кто-то другой...

Чуть погода Роберт стоял, просунув в щель между портьерами свечу, и внимательно разглядывал своего старого друга. Тот сразу же погрузился в глубокий сон — как только упал на диван. Роберт заботливо прикрыл спящего одеялом. Его угнетало тягостное чувство стыда, но он не мог понять, стыдится ли он того, что приютил сомнительную личность, человека, о котором говорили, что его не мешало бы убрать... или того, что он скрыл свое природное гостеприимство под маской холодности. Что, в сущности, знал он об этом бывшем друге своем из лучших времен, которому втайне всегда завидовал, оттого, что тот добивался всего, что желал, — рыцарь легкомыслия и незаслуженной удачи, человек, с которым он некогда делил и горе, и радость. Дружба их возникла много лет назад, в далекие годы первой войны, когда и он сам, и вся его компания беспечно плыли по воле волн — волн легкомыслия и равнодушия. И что, в сущности, знали люди, желавшие его убрать, об этом падшем ангеле, что сейчас спал на его диване таким глубоким сном,

каким спят только праведники? Это худое лицо, похожее на смутный набросок в путевом блокноте художника, хранило знакомое выражение бесхитростной робости, в свое время покорившее всех. Безмерная растерянность охватила доверчивую душу Роберта, столь уязвимую для злой воли.

Кто вообще *знает* хоть что-нибудь об этом вечно мятущемся дитяти с множеством несбывшихся дарований? Годами его чуть ли не боготворили за незаурядность, зато потом — даже не высмеивали, просто забывали о нем, как забывают всех, кто не оправдывает надежд или же совершает недозволенные виражи в своей, казалось бы, предначертанной карьере, из-за чего окружающие остаются с длинным носом — и это в награду за все их восхищение и преданность...

Роберт вздрогнул: он вдруг увидел *руку*. Чуть заметно сдвинулась портьера, и луч света выхватил из тьмы желтый, как воск, протез, покоившийся на груди спящего. И показалось вдруг, будто это и есть самая живая, единственная живая часть существа, лежащего на диване. И Роберт впервые понял, что когда-то, да и всегда, его притягивала именно эта тепличная искусственность Вилфреда, бесплотность, что ли. Необузданность его и вместе с тем утонченность, порочность, и совершенная невинность, и в придачу этот дешевый цинизм, изумлявший наивных его соотечественников, привыкших воспринимать каждое слово всерьез, при всей испорченности — на словах, и на деле — того круга, в котором оба в ту пору вращались.

И еще кое-что другое понял он, стоя вот так и разглядывая друга, потому что теперь видел его в новом ракурсе: полное безразличие спящего, казалось, еще больше обостряло его собственную, недавно пробудившуюся тягу к справедливости и добру. Трагическая участь родины, все страшные события, обрушившиеся на нее, начиная с того самого непостижимого апрельского дня... разве не угадывалась за всем этим упорядочивающая рука, встряхнувшая ватный хаос жалких и вялых судеб?

Да, так оно и есть: удар, жестокий и беспощадный, но зато он разбудил их... А что же, собственно, было прежде? Роберт провел ладонью по лбу. Он просто не помнил этого, словно прежде была какая-то странная жизнь под водой, блестящая, но и угнетающая своим коварным накалом — накалом чувства вины и укоров совести за ничтожные поступки, свои и чужие.

И тут грянула война и заставила всех вскинуть головы к грозовому небу: в жизнь, неведомо для них самих, вошло упорядочивающее начало. Оно не только отделило овец от козлиц,

перевернув сознание всех и каждого, — оно перетряхнуло весь ворох самоугодливых мыслей, подленьких забот о сексе, о выгодных сделках — весь мусор будничной суеты.

Господи, что это с ним: какой восторг и пафос из-за минутного взлета души — и это самобичевание! — ну, прямо солдат Армии спасения в исповедальне!.. Спящий будто источал иронию, окутывавшую Роберта, который застыл в просвете между портьерами, весь во власти какого-то дурмана, немощи, что ли. Подумать только, этот темный субъект, не ведающий ни добра, ни зла, разлегся на его диване и словно бы по обыкновению прав: всегдашняя его ирония вот-вот захлестнет патриота Роберта, еще недавно свято верившего в свое предназначение. Он верил в него так свято, как только мог. Он не видел ничего смешного в попытках людей, да и в собственных своих попытках сбросить иго — иго гнусного зверя, мастодонта, нагрянувшего с юга и низвергнувшего маленький, но отважный, честный народ в мерзостную трясину, с каждым днем засасывающую его все глубже.

Роберт вскинул обе руки будто для удара, но тут же их уронил. К чему пустые рассуждения. Разве сердце позволит ему оскорбить действием проклятого паразита, которого он любил...

Слово это испугало его. От стыда по телу прошла дрожь. Черт побери, что он готов был себе внушить? Какое дьявольское наваждение подсказало ему это слово: «любил»? Разве всю свою жизнь он не укладывал женщин на свое ложе, одну за другой, истый Казанова на шестидесятом градусе северной широты... И разве он и его сподвижники не рисковали много раз своей свободой и жизнью в необыкновенные эти дни с тех пор, как грязный зверь наложил мертвящую лапу на маленькую несчастную страну?..

Казалось, спящий друг непрерывно меняет облик под тяжестью разоблачений, которые сам вызвал, лежа в глубоком сне. Неужели правда — вся эта болтовня про какую-то гипнотическую силу, присущую некоторым людям? Иначе чем объяснить, что разумный человек вроде него, Роберта, вот так стоит и смотрит на спящего прохвоста, позволяя ему замутить свою душу? Или это мутная душа спящего окутывает все сущее тенью подлого подозрения, подобно простертым щупальцам спрута, таящим невидимый, но смертоносный яд скепсиса? Да, будто отравленный, будто замаранный чем-то, стоял он сейчас в своей гостиной на пороге чистенькой библиотеки, которую некогда обставлял с таким удовольствием, — она прищлась как

нельзя более кстати в нынешние времена, когда борцы, преследуемые за свои убеждения, часто просились на ночевку к друзьям...

Опять выспренние слова! С уст двуликого человека, что лежал сейчас перед ним, всегда слетали тирады, искажавшие и высмеивавшие обиходные понятия, в которые Роберт и его соратники по борьбе облекали скромные свои усилия во спасение угнетенной родины. Чем-чем, а уж этим искусством слизняк, разлегшийся на его диване, владел в совершенстве — умалять подвиги честных борцов своими подлыми сомнениями и неверием...

Роберт мог бы сейчас предупредить кое-кого — людей, утверждавших, что знают правду о Вилфреде. Он легко мог сделать несколько шагов к телефону в коридоре — позвонить одному знакомому, который даст немногословный ответ на немногословное сообщение.

Он прошел несколько шагов к телефону и снял трубку. Но все время он мыслил мыслями *того* человека, который лежал на диване в библиотеке: «Ты не сделаешь этого, конечно же, нет. Ты просто решил предпринять прогулку в шесть коротких шагов, чтобы щегольнуть своей независимостью».

Он снова раздвинул портьеру на пороге между гостиной и библиотекой, и на лицо спящего упал луч света. Челюсть у него отвисла, как у мертвеца, и, как у мертвеца, неестественно заострился нос, обнаружив легкую кривизну, которая в иное время была незаметна. Роберт уличил себя в том, что наслаждался этим недостатком; он словно бы придавал нечто человеческое существу, своим совершенством поправшему все возможности человека. Двулик и двусмыслен — таков он всегда и во всем, такова и его красота, в которой, по правде говоря, скрыто что-то отталкивающее.

Звонок в дверь. На этот раз — уже не условный сигнал. Роберт вздрогнул, но тут же взял себя в руки. Снова звонок. Он не двинулся с места. Позвонили в третий раз, раздался легкий стук. Неужели *они*? Неужели конец? Он быстро оглянулся. Снова постучали, но все так же тихо. Нет, *они* так не стучат. Они барабанят. Он быстро вышел в прихожую и распахнул дверь. На пороге стояла Селина, его же не а, — впрочем, в последние годы они были не слишком-то прочно женаты.

— Почему ты не открываешь? — Зеленые глаза сверкнули оловянным блеском.

— Я не знал, что ты знаешь...

— Впусти же меня в дом. Господи... да ведь все знают, где вы живете, хоть вы и переезжаете с места на место.

Быстрым взглядом она выхватила стол и стаканы на нем.

— У тебя гости?

— Да, у меня гость. Что тебе нужно?

— Какой гость?

— Нетвое дело, — любезно ответил он.

Она шагнула к портьеру, но он загородил ей путь. Она рассмеялась:

— Кто она: блондинка, шатенка, брюнетка? Красивая?

— Там нет никакой женщины.

Селина опять рассмеялась:

— Черт побери! С каких пор ты стал интересоваться мальчиками?

Он почувствовал, что краснеет.

— Тебе нужна моя помощь? — спросил он.

Она прохаживалась по квартире, заглянула в кухню.

— Тебе нужна женская помощь, — сказала она. — Но я надолго здесь не останусь.

— Дорогая Селина, — ответил он, — можешь оставаться здесь сколько хочешь, но только сделай милость, не шныряй так повсюду. И ответь мне на один вопрос. Люди говорят, будто ты угодила в сомнительное общество... правда это?

— Кто тебе сказал?

Она отвечала ему смело, с вызовом, как всегда.

Признаться, в свои тридцать восемь лет она выглядела ничуть не хуже своих добродетельных сестер, скорее напротив.

Он пожал плечами.

— Я хочу знать, правда ли это.

Она улыбнулась.

— Разве я устраиваю тебе допрос? А «люди» многое говорят — кстати, что ты и сам мог бы рассказать немало любопытного в случае, если... А скажи, есть у тебя ванная комната? Послушай, куда это ты собрался?

Он вернулся в гостиную с туалетными принадлежностями в руках и сунул их в изрядно потертый портфель.

— Ага, только я — в дверь, ты — за дверь. Нечего сказать, веселое будет у нас рождество.

Он спохватился. И правда, сегодня рождество, он и забыл совсем. Она тихо засмеялась. Она знала, чем сразить его, он был сентиментален, как школьник, несмотря на все свои патристические деяния. Но он уже оправился.

— Я же сказал: можешь оставаться сколько хочешь. Но не требуй от меня...

Уложив вещи в портфель, он запер его. У портфеля был теперь подозрительный вид. С таким на ночь глядя опасно выйти на улицу по нынешним временам. Они оба разглядывали портфель, думая одно и то же.

— А что поделывает там твой приятель?

Она чуть приметно откинула назад голову и снова стала казаться смелой, веселой и беззаботной; когда-то все это приводило его в восторг, много лет после того, как однажды во время морской прогулки он увел Селину у Вилфреда.

— Взгляни сама,— сказал он. Но она видела, что он нерешительно топчется на месте с подозрительным портфелем в руках.

Она направилась к библиотеке. Но почему-то помедлила, прежде чем раздвинуть портьеры. Он подумал: «Ну, сейчас будет спектакль».

Тут он увидел, что она отпрянула. Лицо ее исказилось. Она зажала рот рукой, словно хотела заглушить крик. Что-то подвечьи беспомощное вдруг проступило в элегантной женщине, одетой в короткий меховой жакет, — и где только она его раздобыла?..

Селина снова раздвинула портьеру, на этот раз уже осторожно, и на лице ее отразилась бесконечная нежность. В следующий миг это выражение сменилось испугом.

— Боже, неужели он...

— Не бойся. Он просто вкушает несправедный сон. Черт знает, где только он шляется.

Она склонилась над Вилфредом. Из гостиной ему было видно, как длинной изящной рукой она почти коснулась головы спящего. Неужто бабы никогда не перестанут молиться на этого падшего ангела? Не то чтобы сам Роберт по-прежнему был привязан к ней, хоть она и была хороша, вся лучась порочной невинностью, родившей ее с тем, кто спал там, за портьерой... Черт бы взял всех этих двуликих людей! Роберт все так же растерянно стоял с дурацким портфелем в руках. Затем растерянность сменилась гневом. Но и гнев рассеялся быстро, как всегда. Он думал: я же борец Сопротивления, к лицу ли мне такая уступчивость? Вечно они оставляют меня в дураках, эти люди, мечущие крапленые карты... Он чувствовал, что его тянет к ним, к их бесшабашному веселью, к озорству, ведь когда-то это был его мир...

И снова Селина будто прочла его мысли.

— Милый,— сказала она, подойдя к нему, — оставь ненадолго свои патриотические заботы, и мы втроем повеселимся немного, отпразднуем рождество, и вообще...

Он знал, что похож на обиженного мальчишку. Да он и был обиженный мальчишка — в свои-то пятьдесят четыре года!

— Ну, с этим вот типом нам с тобой нескоро удастся поселиться...

У него вырвалось: «Нам с тобой». Он прикусил язык. Но она тут же поймала его на слове.

— Когда-нибудь ведь он проспится! Я убегаю, надо же раздобыть что-нибудь к ужину, это не так-то просто. Вот тем временем он как раз и проспится. А ты вынь из портфеля зубную щетку и все остальное и наведи в доме уют!

Она победила. Она знала это. И он тоже. Она слегка приложилась губами к его щеке.

— Кстати, не мешало бы тебе побриться, — сказала она
А я скоро вернусь.

6

Гнусный зверь навалился на страну, отвратительными щупальцами пригнул ее к земле. Люди теперь уже привыкли к этому зверю. Не то чтобы они перестали его бояться, но они привыкли к страху. И не то чтобы они смирились со своей невыносимой долей. Но пламя, охватившее их, стало тише. Огонь, пылавший снаружи, ушел внутрь.

В новой квартире — того сверхмодного типа, который быстро становится старомодным, — старые друзья празднуют рождество. В каждом доме сейчас празднуют рождество. Люди не совсем отрешились от веселья и смеха. Очень многого теперь не купишь — ни подарков, ни еды, ни вина — всего, что обычно покупали на рождество. Но зато тем драгоценней то, что удаётся раздобыть. Женщины в этой стране вяжут теперь будто одержимые, вяжут усердно, как никогда. И пусть нельзя купить шерсти желаемого цвета и качества, всегда ведь можно распустить старые вещи и связать из них новые. Во многих домах сейчас сыро и холодно. И потому вязаные вещи очень кстати. Да и сама работа приятна — отчасти необходимая, но отчасти и бесполезная. И к тому же она заменяет курение. Ведь с куревом дело сейчас обстоит скверно. Да и со всем прочим тоже.

Одного лишь нынче не занимать — боевого настроения.

Вот ведь какое чудо — настроение не соответствует кривой, отражающей общее положение дел, скорее, наоборот — оно будто в отместку безудержно взмывает ввысь как раз в пору, когда, казалось бы, налицо все причины для тревоги и горя. Смех и веселье далеко не всегда признак благополучия. И даже самочувствие... подчас и оно не подчинено законам причины и следствия. Сколь многие люди в опасности и беде обретают бодрость духа, которой им так не хватало в пору благополучия. Они и сами это сознают и думают: «Чудно устроен человек». Беда возвышает человека в собственных глазах, позволяет ощутить себя чуть ли не героем.

В новой квартире, где трое старых друзей празднуют рождество, еды и питья вдоволь. Зато слегка недостает веселья, все будто выжидают чего-то. Может, они вовсе и не такие уж близкие друзья, впрочем, никто из них толком этого не знает. К тому же дружба их принадлежит прошлому. Старая любовь ржавеет. И дружба тоже ржавеет. Одно лишь вино в рюмках не ржавеет. Об этом усердно заботятся все трое: они с такой скоростью опорожняют рюмки, будто страшатся, что кто-то придет и отнимет у них вино.

Да, наверно, именно этого они и боятся — или, может, чего-то другого? Может, они боятся друг друга? «Будем здоровы!» — говорят они, поднимая рюмки. «Будем здоровы!» — раздается в ответ. Не самый оживленный разговор. Роберт добродушно произносит:

— Значит, надо было случиться войне, чтобы мы трое снова встретились?

Вилфред учтиво улыбается. А Селина — нет. Она не станет тратить время на зряшную учтивость, когда в рюмках ждет вино. Вилфред узнает эту ее повадку, узнает и другое — она никогда не хмелеет после первых рюмок. К тому же ей надо приглушить сильное возбуждение. А вот ему глушить нечего. Он забыл ее, забыл, насколько это может человек, которому еще далеко до маразма. Он помнит ее как живописную фигуру на носу лодки, в брызгах и россыпях воды, в свете радуги. Черты лица те же, та же фигура... Она великолепно сохранилась. Но все это не будит отзвука в его душе. Как и память о том, что когда-то давным-давно они точно так же сидели втроем в хижине в Нурмарке. Тогда они были молоды. Но никто из троих особенно не чувствует бремени лет. Идет война. Но даже и этого они будто не чувствуют. Сегодня рождество. И всякий раз, вспоминая об этом, они говорят: «Будем здоровы!»

Повсюду в городе, повсюду в стране люди сейчас говорят друг другу: «Счастливого рождества!», а на Новый год скажут: «С Новым годом, с новым счастьем!» — и значительно заглянут друг другу в глаза: что-то ведь должно непременно случиться. Что? Да хоть что-нибудь. В стране да и во всем мире. Должен произойти решающий перелом.

— С кем я? — неожиданно начал Вилфред Ты, кажется, хотел знать, с кем я? Во-первых, я ни с кем, практически я никогда ничьей стороны не принимаю. Вообще вы всегда употребляете такие выпренные выражения!

— Вы? — переспросил Роберт.

— Ну, если хочешь, все люди по нынешним временам. Они теперь рассуждают с пафосом о самых простых вещах. Все время одних презирают, другими восхищаются, на каждом шагу убивают кого-то в мысленной своей кровожадности. Я все понимаю, но, черт побери, так убивайте же на самом деле, те из вас, кто посмелей!

— Ну, ну... кажется, мы хотели приятно провести вечер?

— Сегодня рождество, — сказала Селина. Она не поднимала глаз от вина. Вынув зеркальце, она напудрилась, но казалось, взгляд ее смотрит сквозь зеркало.

— Андреас.. заговорил Роберт, — помнишь Андреаса, с которым ты учился в одном классе? Выпьем за него! Выпьем за всех наших друзей, что томятся в тюрьме!

Вилфред сидел и смотрел на Роберта, героя сотен ресторанных битв, в которых было так много раненых и так мало победителей. Он размышлял о добродушном цинизме Роберта, обращавшемся безграничной терпимостью. Из цинизма Роберт был добр и сентиментален, чуть ли не религиозен. Не цинизм ли сделал его патриотом?

— Он пострадал за?. осторожно спросил Вилфред.

— Многие из наших пострадали, — прозвучал ответ Андреасу пришлось туго.

Вилфред не посмел даже улыбнуться... Что-то непохоже на правду. Придется зайти с другого конца:

— Неужели он в самом деле?..

Клюнуло. Клюнуло, черт побери!

Роберт соорудил неприступную мину — мину человека, который знает больше, чем говорит.

— Андреасу пришлось туго, — мрачно повторил он Выпьем! — воскликнул он тут же, словно желая переменить разговор — из страха выболтать лишнее.

— А ты не думаешь, положи руку на сердце, что Андреас и без того непременно угодил бы в тюрьму, вне зависимости от всякой войны? Он в ту пору такие дела обстрипывал...

Вот этого ему не следовало говорить. Обида вспыхнула в глазах Роберта — взгляд раненого оленя. Взгляд этот негодовал: «Мало ли что было в ту войну! Кто бы в ту пору не польстился на выгодную сделку? Не надо путать одно с другим. Та война была совсем иного рода... Зато эта война настоящая!..»

Они выпили. Вилфред чувствовал, что быстро хмелеет. Его вырвали из сна, безграничного и бездонного. Две недели он жил в таком напряжении, что теперь ему казалось, будто с него содрали кожу. На большом хуторе он в этот раз гостил недолго... не то чтобы Мориц отказал ему от дома — просто служебные дела его складывались хуже некуда. Он был издерган и раздражителен да и, судя по всему, напуган. Марти, подружке его, которую привел ему Вилфред, пришлось покинуть хутор. Вмешались придирчивые начальники — из тех, на которых вдруг находили приступы нравственности. Короче говоря, из какой-то ставки был получен приказ, чтобы офицеры вели себя как следует и подавали тем пример нижним чинам.

— Неужто ты всерьез полагаешь, что все немцы — бандиты и подлецы?

Роберт прокашлялся:

— Вопрос не в том, что полагаю я, а в том, что следует принять на веру. Мораль...

— Ах, мораль? Все теперь рассуждают о морали...

— Мораль нуждается в упрощении. Я, к примеру, не убежден, что от немцев воняет. Но я радуюсь, когда люди уверяют, что это именно так. Роберт продолжал с еще большей настойчивостью: — Ты что, не понимаешь: это же военная необходимость — упростить некоторые понятия до уровня, который ты, несомненно, назвал бы вульгарным?

— И потому объявить всех, кто придерживается иного мнения, изменниками родины — так, кажется, это называется?

Роберт уже не мог больше сдерживаться:

— Да, именно так это и называется. Ты все понял совершенно верно, как всегда.

— Все вы, да и ты сам, надеетесь отделаться на веки вечные от бремени своей вины. Взять, к примеру, наши спекуляции в годы минувшей войны или достаточно вспомнить угрызения совести, донимающие тебя с детских лет: как-то раз во время

парусных гонок вы промчались мимо опрокинувшейся лодки и не остановились. А человек утонул.

Роберт снисходительно улыбнулся.

— Согласен, это кажется слишком просто. Да оно так и есть. И все же это правда. Тот самый случай из детства... И то, что в годы прошлой войны мы бессовестно наживались на чужих страданиях... Что ж, мы начали новую жизнь — иного объяснения не сыщешь.

— Кто это «мы»?

— Мы, — начал Роберт и продолжал уже без малейшего наигрыша, — *мы* это все, связанные общностью. Все, кто с нами, в противовес другим, в противовес *вам*, если я верно понял... Что ж, я готов признать: может, те заблудшие юнцы, которые дают себя завербовать на Восточный фронт, и движимы слепым идеализмом... Но вот те, что отсиживаются здесь, в тылу, да при том еще наживаются за чужой счет!..

На лице Роберта застыло выражение бесконечного презрения к подлым любителям наживы, с которыми сам он порвал навсегда.

— Вы так спешите осудить всех, кто наживается за чужой счет, — медленно проговорил Вилфред, — раньше с этим так не спешили. Я, к примеру, сколько живу на свете, всегда наблюдал, как одни наживались за счет других — соотечественников своих или же других угнетенных. Всегда кто-то в выигрыше, а кто-то — в накладе...

Роберт перебил его:

— Может, скажешь, недавнее происшествие у границы — тоже всего лишь патетический жест?.. Нет уж, будь добр, не притворяйся, будто не слышал об этом: перед самым носом у пограничной стражи появился человек в немецком мундире и освободил группу беженцев. Кстати, говорят, беднягу схватили и замучили до смерти.

Селина спросила:

— Как это случилось — с рукой твоей?

Тихие беседы и споры идут сейчас в тысячах других домов. Одни — фанатики, другие держатся умеренных взглядов, а у некоторых, похоже, вообще нет никаких взглядов. Гнусное чудовище придавило страну грязными щупальцами, и в сердцах бушует огонь... Накал, пьянящее чувство опасности...

Всюду теперь накал и всюду — опасность. Некоторым известно все, что происходит, а хорошо информированным людям известно даже больше. Многие предпочли бы вообще ничего не знать, но они ловят, глотают каждое слово, как глотали бы волнующие страницы детективного романа. Про одних говорят, будто они ходят по краю пропасти, про других — что они плывут по течению, и это тоже один из нынешних оборотов, выражающих высшую степень презрения. Но никто вслух не упоминает о таком варианте: быть и с той, и с другой стороны в тайной войне, где, казалось бы, предел возможного — не держать ни той, ни другой стороны. О непостижимом не рассуждают. И раньше об этом тоже не рассуждали — о неуправляемом разуме, не желавшем признавать никакие «стороны», а неизменно порхавшем так, словно это порхание — самоцель, в ничейной полосе, где можно до отчаяния насладиться гордым одиночеством.

Но, может, в этой тяге к одиночеству нет гордыни? Кто он — отчаявшийся одиночка в этом безупречном наборе героев и подлецов? Вилфред не знает этого. Или, может, он просто любит себя самого, и только себя, столь безудержно, что в душе его нет места дружбе — а может, напротив, он себя презирает? Он не знает и этого...

Он говорит:

— Подобные героические поступки обычно своего рода жертва...

Но Роберт настороже, он не допустит снижения идеала. Слишком велика была бы утрата.

— Далось тебе это чувство вины! — презрительно говорит он. Не хочешь ли ты убедить меня, что всякий подвиг — всего лишь своего рода искупление?

А Вилфред и этого не знает. Он знает об этом еще меньше, чем Роберт, хотя он единственный из всех знает, что же именно произошло на границе... Вот собрались вместе давние друзья, бесконечно далекие друг от друга, но, хотя они спорят решительно обо всем, кажется, будто враждебность сникает. Спор постепенно рождает подобие примирения. Как знать, может, они были еще дальше друг от друга в ту пору, когда были близки, тогда, в лесной хижине или в джунглях ресторанной жизни. Так редко человек встречается с человеком, самое большее — раз или два в жизни. А иногда встречи и вовсе не происходит...

Когда-то в Париже — будто сто лет прошло с тех пор — кучка молодых людей сделала своим кредо слова Д. Г. Лоуренса: «Я — это я. Душа моя — темный лес. Диковинные божества выходят из этого леса в световой круг признанного моего «я», — выходят, чтобы вновь скрыться в лесу. У меня достанет мужества смотреть, как они появляются и исчезают. И я никогда не позволю человечности возобладать надо мной...»

Вилфред вспоминает об этом с иронией. Он глядит на Роберта, которого, в сущности, столь мало знает, и думает: пожалуй, все люди склонны принять на веру ту или иную теорию и ловко вычеркивают из нее все, что им не по нраву.

Покладистый Роберт, никогда не вздымавший знамя той или иной идеи, самое большее — размахивавший шелковым носовым платком, с чего это он вдруг так взъярился? Чем-то устраивает его ситуация, не оставляющая ему места для сомнений, — значит, он обрел в ней спасение. Роберт говорит:

— Что за страсть сводить все убеждения к какому-нибудь неблагоприятному мотиву!..

Презрительно ухмыльнувшись, Роберт подкрепляет свои слова очередным глотком — и еще одним. Ему приятно сидеть вот так и ссориться с другом, перед которым он в свое время благоговел, когда надменный нигилизм был в моде.

— Человек должен во что-то верить! — говорит он.

Подавшись вперед, Вилфред невольно улыбнулся.

— Да, черт возьми! — воскликнул Роберт, внезапно захмелев от скверной водки. Эти твои надуманные искания для меня все равно что тьфу.. И он щелкнул пальцами перед носом у своего приятеля прежних лет.

Приличия ради вмешалась Селина. Она медленно потягивала вино и сейчас только ощутила хмель. Но она хотела, чтобы в доме царил мир. Ради этого мира она взяла воинственный тон.

— Не ссорьтесь на рождество! — закричала она. Вино-то ведь я раздобыла!..

Ей самой хмель тоже ударил в голову. Резко взмахнув рукой, она задела бутылки, которые полетели на пол. В следующий миг все трое уже резво ползали по полу, пытаясь спасти напитки. Это был мир, скрепленный общим старанием подхватить бутылки, не дав пролиться бесценной влаге, и поскорей убрать битое стекло.

Суета на полу соединила их. Что-то в этом напоминало прежние дни. Потом они сидели, отдуваясь, совершенно протрезвев. Роберт проговорил примирительно:

— Просто я не терплю, когда умаляют геройские подвиги вроде того, что произошел у границы!

И тут же от собственных слов кровь снова бросилась ему в голову. Он стал вспоминать другие героические подвиги — и вспомнил. Роберт обожал героические подвиги, и обожал дружеские споры о принципиальных вопросах — он был теперь заклятый враг всяческого оппортунизма. Он унизил себя, согласившись встретить рождество в обществе сомнительного субъекта, который к тому же признает себя таковым. Что ж, зато он с пылом ринется в бой за великое дело.

Роберт вспоминает: ведь он чуть-чуть не позвонил кое-кому насчет Вилфреда. Наверно, так и надо было сделать, посоветоваться, что ли... Именно так ведь и делают. Старая дружба не в счет, если только этот Вилфред и вправду... Он уже мысленно называл его «этот Вилфред». Хорошо так вот сидеть и быть беспощадным. Иные семьи теперь расколоты, супруги — по разные стороны баррикады... В этот миг беспощадной справедливости Роберт ощутил высокий подъем духа:

— Мы выказываем терпимость уже одним тем, что выслушиваем тебя...

Вилфреду нечего возразить. В самом деле...

— У нас нет никаких гарантий, что.. продолжал Роберт. Он все время не заканчивал фразы. Сейчас он угрожал тому, другому, но был слишком хитер, чтобы запутаться в сетях собственных слов. Он говорил «мы» — как бы от имени многих других. Роберт великодушно включил в это «мы» и Селину, хотя за последний год почти потерял ее из виду.

Заботливо, как положено хозяйке, она произнесла:

— Наверно, пора нам что-нибудь поесть.

И они едят — острое, быстро состряпанное блюдо: рыбу, запеченную до неузнаваемости.

Но Роберт возбужден собственными речами.

— Я не позволю насмехаться над «внутренним фронтом»! — заявляет он, прожевывая рыбу. Он весь дрожит от приятного возбуждения. Сейчас бы хорошую драку!

И Вилфред тоже дрожит — от досады, вызванной этим потоком слов, от усталости. Черт побери, зачем только они его разбудили?

Он мог бы пойти к своей матери на Драмменсвей, хоть сегодня мог бы туда пойти. Но, кажется, его визиты ее не радуют. Она догадывается, что у него дурные связи, что он ведет жизнь, которая сама по себе уже измена, что он распространяет вокруг

себя яд. Как-то раз он имел неосторожность заметить: «Смешно, что дядя Мартин, прежде всегда недовольный системой правления да и всем прочим в стране, стал теперь таким ревностным демократом!» Ему не следовало бы это говорить, но ведь раньше мать никогда не любила громких фраз. Она ответила: «Теперь другое время». Она никогда не ныла. Но, кажется, не преминула позаботиться кое о каких благах. Что ж, героический голод не для нее...

— Твоя рука.. настойчиво пыталась вернуться к прежнему разговору Селина. Она теперь уже с трудом ворочала языком. Она ведь никогда не любила закусывать после выпивки. Вилфред не стал прятать руку. Он то поднимал ею бокал, то свертывал сигарету. Селина со страхом коснулась этой руки. Он быстро вскинул ее, словно желая ответить на прикосновение легкой лаской, но Селина отшатнулась.

— Черт с ней, с рукой этой! — грубо оборвал ее Роберт. Мы не о том сейчас толкуем! Про эту руку рассказывают много: будто эта самая рука...

Он по-прежнему не заканчивал фраз. Он понял вдруг, что может сейчас вывести этого типа на чистую воду и, когда пройдет час, это зачтется ему. Может, тот ничего еще не совершил, может, не все правда, что про него болтают, но рассуждает он как предатель и этого уже довольно, чтобы расправиться с ним. Роберта вдруг осенило: сейчас нельзя выпускать этого типа из дома — так велит ему долг...

Мысленно он исторгал у него немое признание: «Да, я нацист, нацист душою, короче — человек, который презирает людей, и я презираю тебя... Некоторые люди рождены властвовать над другими — рабский дух они обращают в его противоположность и благодаря этому властвуют, и ты знаешь это, и я это знаю, и черт бы взял твою жалкую ложь насчет достоинства человека... И еще потому я нацист, как ты молча именуешь меня, что я поклоняюсь самому дешевому мифу, предпочитая его мутному интеллектуализму... и плевать я хотел на твою демократию и на социализм, все это лишь ярлыки, мы, избранные, одинокие и безжалостные, нуждаемся в поклонении и мы приучаем к нему глупцов, используя их рабский дух...

Так пей же, черт побери, жалкий обманщик, и пусть вино придаст тебе смелости пойти к телефону и позвонить приятелю или знакомому, из тех, кто связан с тобой этой самой вульгарной общностью, а затем — поспеши пристукнуть человека, который не прочь покончить счеты с жизнью, только что ему са-

тому неохота с этим возиться... Так ступай же к телефону, черт бы тебя взял, не забудь понизить голос, а после возвратись с оружием под плащом, как делали убийцы во все времена... Но поспеши, пока похоть и водка не привлекли твой взгляд к прелестям Селины, которая в рассеянности уже сбросила с себя кое-что из одежды. Поторопись же... Потому что я — воплощение всего, что ненавидишь ты, защищая свою дурацкую любовь к человеку. Одним моим существованием я отрицаю твою веру — твой оптимизм вянет, у тебя опускаются руки и иссякают силы... Так будь же героем, братом людей, а главное — правоверным!..»

Они свирепо, с пьяным трагизмом, буравили друг друга взглядами в безмолвном споре, где подсудимый вдруг вырос в обвинителя; но, сознавая всю тщету слов, продолжали хранить враждебное, нескончаемое и загадочное молчание: один — настороженно-выпытывающее, другой — дерзновенно-вызывающее в своей саморазоблачительной ярости; и оба прекрасно понимали друг друга...

«А может, ты и прав, ты вкупе со всеми прочими правоверными! Что может породить презрение? Лишь ответное презрение. Но заслуживает ли твой «человек» любви? Те, кто стремится к власти, кому охота ее осуществлять, сами берут ее себе, вам же остается смиренно сидеть в своем углу и, гордясь своим человеческим званием, прислушиваться к свисту кнута... Они умеют использовать свой материал — человеческий материал, для них все одно — что люди, что муравьи: отработав, пусть себе подышают и те и другие, муравей сделал свое дело — и конец!.. А я? Я плевать хотел и на господ, и на рабов, но сердцем и умом я на стороне господ. Одиноким всегда беспощаден, и мир принадлежит ему, а не мученикам и угнетенным!..»

Роберт, устав от всех этих невысказанных слов, спросил:
— Когда же ты стал таким?

— Почему *стал!* Я всегда *был* таким...

Роберт сидел не шевелясь... Он растерянно оглядывался вокруг, раздраженный, недовольный собой. Настало время решиться. Но все вокруг него сделалось смутно и темно. И он остался сидеть, зная, что должен был бы решиться...

Селина уже успела снять с себя почти все. Очевидно, ложно истолковала яростные взгляды, которыми жгли друг друга противники.

— А что, если оба? — радушно предложила она. Селина воображала, что вся ссора — из-за нее...

Оба яростных противника устало улынулись. Первый как бы сказал второму: «Возьмите меня, я признался во всем, я виновен — по крайней мере для вас, судящих человека за его мысли».

Другой ответил: «Мы возьмем тебя, когда придет срок».

Многие вот так затаились и подстерегают друг друга. Кто-то сейчас водит хоровод вокруг елки за темными шторами в отблеске рождественских свечей. Кто-то спешит от дома к дому, в городах или селах, выполняя мелкие задания, имеющие, однако, важный смысл...

Гнусный зверь протер лапы от одного берега к другому, через все горные хребты. Он не замечает булавочных уколов, или все же, может, замечает? Он ведь бдительно следит за всем. И может, чувствует боевой пыл, и оттого земля страны, на которой он разлегся, кажется ему жесткой и неудобной.

Никто ничего не знает наверняка, и это-то рождает у иных сомнения: а стоит ли игра свеч, стоит ли приносить жертвы: ведь всякий раз, когда кто-то ударит его ножом, зверь лишь занесет тяжелую лапу, одну из многих, и бьет...

Никто ничего не знает наверняка. И от этого растет накал, и он виден на лицах, даже в отблеске рождественской елки.

7

Консул Мартин Мёллер принадлежал к числу тех, кто сильно сдал за годы войны. Когда он поднимался по низким ступенькам лестницы в квартиру своей сестры Сусанны Саген на Драмменсвей — в этот февральский вечер над голыми деревьями аллеи висели свинцово-серые тучи, — ему казалось, будто и небо давит на него своей тяжестью. Все давило на него. Может, оттого он и ссутулился, подобно многим другим в лихие нынешние времена. Куда девался природный румянец щек, почтенная округлость живота, даже холеные руки?.. Вместо того чтобы выставить все это напоказ, тело консула с годами согнулось в дугу. На площадке перед дубовой парадной дверью он остановился перевести дух. Ему не хотелось признаваться себе, что сердце и легкие нынче вели себя предательски.

Дверь ему открыла пожилая горничная, и это было для него некоторым утешением — будто повеяло дыханием минувших

дней: горничная в белоснежном чепце на седых волосах. Этой женщине была совершенно чужда развязная бойкость и суетливость, которые царили теперь повсюду: сколь ни трогательна человеческая солидарность, нынешние времена породили не сколько тягостное единение между верхами и низами в этом вывернутом наизнанку обществе.

На секунду консул задержался у зеркала в просторном холле с неизменно зажженным камином (где только по нынешним временам раздобывала его сестра такие березовые поленья?) и решил, что зеркало — не слишком объективный прибор. Его ссохшаяся фигура смотрела на него из старого, хорошо знакомого зеркала, оно словно смеялось над ним, дразнило воспоминаниями, и в гладкой стеклянной поверхности, казалось, скрывался отблеск всех пролетевших дней. С ужасом разглядывал он морщины на своем лице, свое усохшее тело. Одно дело — мимоходом взглянуть в случайное зеркало, другое — стоять перед вот этим: старые зеркала хранили все прежние образы и воспоминания, все, что принято называть атмосферой, — с годами это стало мукой.

И когда пожилая горничная распахнула двери в гостиную, ему вдруг показалось, будто все вновь повторяется с подлой дошностью: его визит к младшей сестре, его тревога, которой он считал необходимым с ней поделиться, — казалось, все это лишь насмешливый отзвук былого. Все чаще и чаще возникало у него подобное чувство. Он был склонен объяснять его возрастом: все уже когда-то изведено и пережито. Но объяснение не удовлетворяло его, словно какая-то часть тайны так и не раскрылась до конца; осталась тревожная догадка, что уже само повторение былого подтверждает самые худшие опасения.

И вот он снова прилетел сюда как зловещая птица, как вестник из того бурного мира, от которого его очаровательная, но слишком беспечная сестрица так мастерски умела отгораживаться. Он всегда восхищался этой ее способностью. Спокойно смотреть, как мир катится в пропасть, коль скоро ты все равно не в силах этому воспрепятствовать, пожалуй, для этого нужно своего рода мужество. И без того хватит нытиков, надеющихся от чего-то застраховаться своим нытьем, уйти от ответственности...

Мысль эта неприятно поразила его. Он стоял в раскрытых дверях — волнующий миг — и старался не допускать в свое сознание истину, что, может, сам он не мужественный человек. *Еще* секунда — и он увидел сестру, вышедшую ему навстречу.

Он поймал себя на том, что пылливо всматривается в ее лицо — все нынче взяли себе неприятную привычку пристально изучать друг друга. Он и прежде этим грешил — теперь он мог в этом признаться, теперь все видишь, как говорится, новыми глазами... Но то, что должно было его успокоить, возымело обратное действие: сестра почти не изменилась, ее формы сохранили приятную округлость, возможно, она даже несколько располнела, несмотря на скудость нынешних трапез. Ее цветущий вид был сейчас неприличен. Как и эта обворожительная ее улыбка — будто насмешка над его собственной и всеобщей непрестанной тревогой.

— Господи, братец, — сказала она все с той же улыбкой, которая вызвала у него прилив раздражения, — ты стоишь здесь как олицетворение всех современных бед... Располагайся, прошу тебя, садись.

Она позвонила. Вошла пожилая горничная. Она уже несла поднос. Быстрым взглядом он невольно подметил невероятную, доисторическую прочность хрусталя — этот хрусталь он хорошо помнил.

Когда же его усадили в кресло и он отпил первый глоток, с наслаждением чувствуя, как виски освежает сухую гортань, он поднял глаза на сестру и чуть ли не с упреком спросил:

— Но это же виски, настоящее виски, не понимаю, откуда?..

— Стоит ли так уж огорчаться из-за этого? — шутливо проговорила она. Конечно, хорошо, что Лондон сейчас нас с тобой не видит.. И, заметив его удивленный взгляд, продолжала: — Я только что слушала одну из этих наводящих ужас передач: оказывается, мы терпим жестокую нужду!

Он приподнялся в кресле, на этот раз и впрямь рассердившись:

— Милейшая Сусанна! Мы и в самом деле терпим нужду. В описании ужасов нет ни малейшего преувеличения. Не понимаю только, как ты...

Но укор его как-то поблек оттого, что совсем против воли он снова нырнул в старомодный огромный, как ванна, стакан для виски и после со вздохом наслаждения вынырнул из него.

— Кроме того, — не дал он ей вставить легкомысленное возражение, которое — он знал — уже готово слететь с ее уст, — сколько раз тебе надо говорить, чтобы ты сдала свой радиоприемник? Эти аппараты нужны людям, которые используют их для общего блага... А ты сидишь здесь, ничем не рискуя, и слушаешь Лондон и весь мир как ни в чем не бывало.

Она ответила, и притом серьезно, хотя все тем же поддразнивающим тоном, который всегда служил ей защитой от неугомонного брата, вечно чем-то встревоженного...

— Я сдала радиоприемник. Откуда им знать, что у меня есть второй? К тому же я ничем не рискую, как ты совершенно справедливо заметил. У кого поднимется рука на пожилую вдову? А уж тебе, во всяком случае, не к лицу сетовать, что твоя легкомысленная сестрица будет иметь хоть какое-то представление о событиях. В прежние времена ты не раз меня корил за то, что я далека от жизни.

Он рассеянно перелистывал английский журнал, который она читала перед его приходом. Он взглянул на дату: октябрь 1939 года. Значит, так вот она купалась в прошлом, в беззаботном прошлом, и в одиночестве забавлялась новостями английского высшего света, слушая в то же время сообщения об ужасах, творившихся в мире.

«Все матери, которым предстоит впервые вывести дочь в свет, сталкиваются со сложной проблемой. Однако не нужно впадать в панику. Надо лишь последовательно и заблаговременно продумать план действий. Первым делом надо определить дату дебюта. А это, уж во всяком случае, следует сделать заблаговременно. Ведь в сезоне не так уж много свободных вечеров. Если ваш бал намечается на нынешний год, вам следует определить дату немедленно. Миссис Кенуорд из журнала «Тэтлер» окажет вам в этом содействие. Она в курсе всех светских событий. Самое лучшее — устроить бал на дому. Ничто не сравнится с домашней обстановкой. Но сначала посоветуйтесь с архитектором. Старые лестницы могут подвести вас, не выдержав напора сотни ног. Следующий по важности вопрос — это украшение дома...»

Отложив в сторону журнал, Мартин Мёллер вздохнул. Горничная принесла содовую и вышла, но он этого не заметил. Он заметил лишь, что его обворожительная сестрица снова наполнила его стакан все тем же возмутительным напитком.

— И вот такие вещи ты сейчас читаешь...

Но и на этот раз укор прозвучал не слишком-то убедительно, потому что консул снова нырнул в огромный стакан с приятной живительной влагой.

Она спросила:

— Ты о Вилфреде хочешь со мной говорить? — Он вздрогнул, пораженный ее неожиданной пронизательностью. Она продолжала: — Заметил ли ты, дорогой братец, что все в жизни

повторяется? Я думаю, может, это просто возрастное явление? Может, мы и в самом деле уже испытали все, что уготовано нам судьбой?..

На этот раз ему не удалось скрыть своего удивления. Такая уж эта Сусси: казалось бы, вовсе ничего не смыслит ни в чем, совсем не от мира сего, и тут же выясняется: ничего подобного — ее быстрый ум цепко схватывал все, что происходило кругом.

— Возьми, к примеру, твой сегодняшний визит, — продолжала она, — все это уже было тридцать лет назад. Ты пришел ко мне тогда на правах крестного отца и опекуна мальчика, Вилфреду было четырнадцать лет. Ты считал своим долгом разъяснить мне кое-какие вещи. Всерьез озабоченный, ты укорял меня. В ту пору речь шла о его успехах в школе, и помнишь ли ты, чем все это кончилось? Я показала тебе письмо его учительницы... господи, я теперь уже стала забывать имена и все такое, но письмо говорило, что он прекрасный ученик...

— Да, только письмо это, судя по всему, написал он сам...

Он сразу же пожалел о своих словах. Но сестрица снова проявила себя с неожиданной стороны:

— Этого я не знаю. Но зато я знаю, что он окончил школу с прекрасными отметками. А когда старый добрый Рене, над которым ты всегда втайне потешался — да, да, не отмахивайся я, — когда Рене сказал, что у него необычайный талант живописца, то и эта оценка впоследствии оправдалась. И неужели ты станешь отрицать, что книги, которые он написал...

Он остановил ее движением руки.

— Я ничего этого не отрицаю, все достоинства Вилфреда мне известны. Ты вообще заблуждаешься, полагая, будто я недооцениваю дарования нашего мальчика. Все дело лишь в том, что наш талантливый мальчик с тех пор уже вырос и достиг со-рокачетырёхлетнего возраста, он мужчина. А от мужчины требуется известная доля ответственности, честности в отношениях с людьми...

Все обернулось не так, как он задумал. Как и не раз в прошлом, он пришел к сестре с самыми благими намерениями, не сомневаясь, что ход беседы будет определять он. Но все обернулось иначе. Вот он сидит перед ней и вынужден оправдываться. И главное — у него уже вырвалось обвинение, которое он думал придержать на самый конец.

— Я знаю, что ты имеешь в виду, — серьезно произнесла фру Саген — Я знаю, что болтают о нем.

Она поднялась и встала у окна — темный силуэт в слабом свете заката. Когда она обернулась к брату, во взгляде ее и в облике была властность, которой он прежде не знал за ней...

— Мартин, — начала она, подавляя волнение, — я хочу сказать тебе одну вещь, пусть неприятную... Когда ты и все прочие добрые патриоты разгуливаете по улицам словно бы с дипломом, удостоверяющим ваше патриотическое поведение, тебе, очевидно, невдомек, что тем самым вы становитесь совершенно непригодны для той скромной деятельности, которой, говорят, вы занимаетесь? Можно ли сомневаться, что наши хитрые враги следят за каждым сколько-нибудь известным деятелем нашей крохотной столицы со всем ее патриотическим великолепием? Как ты не понимаешь: в неравной борьбе, которая, возможно, даже и не борьба, а лишь своего рода демонстрация — впрочем, не з н а ю , — пользу могут принести лишь те люди, которых вы называете сомнительными, кто одной ногой стоит в одном лагере, а другой — в противоположном, по крайней мере так это может показаться? Как ты не понимаешь, что именно они... Возможно, наши враги доверяют им...

Она села, быстро и неловко, по-прежнему вся дрожа от распивавшего ее негодования, вперив взгляд в тяжелое небо над Оскарсхаллом. Этот идиллический пейзаж показался ей полным внутренней противоречивости: роскошный замок времен веселых королей — какой анахронизм в этом гнетущем мире рабских умов и темных поступков...

Он сказал, подавляя удивление:

— Не знаю, дорогая Сусанна, кто вбил тебе в голову подобные рассуждения, и даже не хочу этого знать. Но ты должна понять, что это смертельно опасные рассуждения.

— Для кого — смертельно опасные?

Он не привык к столь быстрой реакции с ее стороны. Консул мельком взглянул на английский журнал. Ему показалось, будто, помимо их двоих, в гостиной еще находится кто-то третий — в этой восхитительной гостиной, где некогда царили легкость мысли и крепкое вино и где до сих пор витал аромат того и другого.

— Я не знаю, видишься ты с ним или н е т , — уклончиво ответил он. — Но в случае, если все же его увидишь, скажи ему, что... понимаешь ли, мы же не знаем... люди ничего не знают наверняка. Однако нынче эти люди, случается, действуют чересчур поспешно, подчас без достаточных оснований.

Она метнула на него испуганный взгляд. Он не хотел этого

говорить, совсем не хотел. Он жалел, что разговор принял такой оборот. Он снова сердито нырнул в стакан.

— Неужели ты хочешь сказать...

— Я ничего определенного не утверждаю. Я хочу лишь сказать, что нынче нас всюду подстерегает опасность. И человек, уже взятый на заметку, пусть даже причиной тому непостижимая двусмысленность поведения, такой человек рискует вдвойне.

Он отставил стакан.

— Словом, игра эта может оказаться весьма опасной.

— Ты хочешь сказать, что Вилфреда считают изменником родины, или как это у вас называется?

Так впервые было произнесено это слово. Он удивленно взглянул на нее. Откуда только брался пыл у его оборотительной и столь далекой от жизни сестрицы? То ли мальчик заморочил ей голову, то ли вопреки всему он и впрямь?.. Мартин Мёллер отогнал эту мысль. Какие-то вещи решались раз и навсегда, однажды названные своими именами, иначе теперь нельзя. Мыслимое ли дело, положившись на слово легковверной матери, просто вот так взять и перетасовать всю колоду друзей и врагов. Он стал ошупью искать сигару, будто палку, чтобы опереться, но сестра уже пододвинула ему нераспечатанный ящичек отменного качества сигар, каких теперь не увидишь.

— Где только ты раздобываешь эти вещи? — спросил он, на этот раз с откровенной досадой. — Может, это?..

— А если и так? Ну, знаешь ли.. Она отодвинула изящный ящичек в сторону. Нельзя навязывать патриоту товар, добытый с черного хода.

В ее тоне вдруг проступила враждебность. Он пожал плечами. Казалось, сегодня все несуразности долгой жизни сплывались воедино. Его сестрица Сусанна всегда была глуха к доводам, касающимся общности людей. Казалось, ей от природы недоступны некоторые азбучные истины.

Он начал:

— Это ты произнесла слова «изменник родины». Я не берусь судить других. Но нельзя безнаказанно нарушать общепринятые нормы поведения.

Фру Саген встала у окна в эркере. Теперь она уже не скрывала негодования. Шагнув к брату, она снова заговорила, и он подумал, что эту непривычную властность сестра, должно быть, переняла у кого-то и сейчас копировала поведение других людей в сходных обстоятельствах.

— Ты сказал — «люди». Ты намекаешь, как это теперь делают многие, что не лишен связей с так называемыми внутренними силами. Я не знаю, чем ты занимаешься, и, бог свидетель, не хочу этого знать. Но почему ты так легко готов осудить того или иного из твоих ближних? Не потому ли, что их уже осудила кучка безответственных людей, точнее, говоря без обиняков, кучка «патриотических» кумушек?

Это не был вопрос — она высказала свое убеждение. Но ей ли принадлежали эти слова? Это был голос прослойки, которая не принималась в расчет, — прослойки скептиков. А может, это попросту голос разъяренной тигрицы-матери? Консул тоже встал. Неприятно было сейчас смотреть на нее снизу вверх. Он тоже поднялся по ступенькам к окошку в эркере. На душе стало как-то легче.

— Ты могла бы по крайней мере проявить понимание, — проговорил он.

Но она мгновенно парировала:

— В чем — понимание? Может, согласиться шпионить за ним?

— Называй это, как хочешь. Я бы назвал это — спасти его.
— От чего спасти?

Он снова пожал плечами. Слишком уж прямолинейно она ставит вопрос. Чужой дух витает в этой гостиной.

— Люди могут прибегнуть к крайним мерам, — сказал он. Теперь он снова увидел на ее лице испуг. Она спросила:

— А если он скроется?

— Его найдут, куда бы он ни бежал.

— Ну и что же? Когда-нибудь ведь все разъяснится...

Он стоял, глядя на залив, расстилавшийся внизу, на мутную темную воду, где отражалось небо, вдруг показавшееся ему совершенно безрадостным.

Он пробормотал:

— Ты думаешь, ему удастся оправдаться?

Досада захлестнула его. В одной из листовок нынешние времена выспременно именовались временем великого очищения. А не обстояло ли дело как раз наоборот? Может, это время очернения, время смутного недоверия и скоропалительных приговоров?

— Почему Вилфред не может быть прост, как другие? — мягко проговорил консул Мёллер. Старый усталый человек, он устал от скверной пищи, от бездеятельности, от несвойственного ему альтруизма.

Сестра тронула его за плечо:

— Мне не нравится твой вид, Мартин. По-моему, ты сильно сдал. Почему бы тебе не уехать? Говорят, в высокогорных отелях и теперь можно отлично отдохнуть.

Она снова отошла к большому окну, выходящему на залив. За окнами быстро темнело. Вдоль насыпи у железной дороги лежал грязный снег. Она резко обернулась.

— А знаешь ли ты, что у Вилфреда в Париже сын?

У него перехватило дыхание. Он представил себе младенца с темными кудрями.

— Ему восемнадцать лет. Он работал в театре, кажется, писал декорации. Немцы бросили его в тюрьму, но он бежал. Думают, что он в маки.

Мартин Мёллер почувствовал себя в западне. Здесь его потчевали убедительными сомнениями и неожиданными вестями. Его обвинениями не интересовались. Угощали странными фактами. Он спросил:

— А фамилия у него чья?

— Он носит фамилию матери. Она французенка. Кстати, зовут его Рене.

Будто по волшебству, из шкатулки появилась фотография. Мартин увидел высокого подростка лет пятнадцати-шестнадцати. Он был в чем-то вроде комбинезона и стоял, прислонившись к мачте яхты, он обладал тем небрежным изяществом, которое — все хорошо это помнили — было свойственно Вилфреду в бытность его подростком. Черты его лица, безупречно правильные, поражали неправдоподобной красотой, но взгляд был какой-то бескрылый.

Мартин Мёллер застыл с фотографией в руках — будто хотел вырвать у нее все тревожные тайны Вилфреда. Наконец он сказал:

— Он похож на...

— Да, я и сама это вижу. Он похож на отца Вилфреда. Сам Вилфред не так уж сильно похож на отца. Сходство проявилось лишь в его ребенке.

Сусанна протянула руку, словно желая погладить фотографию, которую держал ее брат, но все же не коснулась ее. Он вернул ей снимок. Она взяла фотографию в руки, будто распятие...

Мартин Мёллер стоял перед ней пристыженный, и доводы его тоже словно бы увяли.

Защитная реакция вдруг пробудила в нем раздражение, как всегда, когда он чего-то не понимал.

— Какого черта, почему наш Вилфред всегда и во всем ведет себя двусмысленно! Если и впрямь дело обстоит так, как ты намекаешь, если он вправду...

Он провел рукой по лбу.

Она спросила:

— А знаешь ли ты, как он заполучил эту руку, точнее, потерял свою?

Он порывлся в памяти. Так много всего приключилось в ту пору. Взять, к примеру, торговые его дела. Да и вообще все это было так давно.

— Кажется, на карусели?

— Да, на карусели. Там была карусель. И ребенок.

— Вот этот мальчик? Рене?

— Он тогда даже еще не родился. Был другой ребенок, чужой. И Вилфред его спас.

Опять шквал неожиданностей, опять скрытый укор обвинителю.

— Кто сказал, что Рене в маки?

— Люди сказали... там, видно, то же, что и здесь.

Она неопределенно улыбнулась.

«Люди», «они», как теперь принято выражаться, казалось, отступают тебя со всех сторон. Кто они, все эти люди, создающие определенное мнение?.. Что ж, если все, что говорят о Вилфреде, основано на заблуждении...

— Так как насчет сигары? спросил он.

Она пододвинула ему ящичек. Наверно, давно уже держала его наготове. Она не улыбалась. Ему просто необходимо ухватиться за что-нибудь, ей это было ясно.

— Не з н а ю , — проговорил он, словно беседуя с самим собой. Его стакан вдруг снова оказался полон до краев отличным виски. На Бюгдэ рано спустился вечер: все словно сговорилось прогнать нынешний день, чтобы память спокойно вернулась к былым временам.

— Когда Вилфред возвратился из Парижа.. снова начал о н , — я имею в виду его первое возвращение.. дядя Мартин сладострастно выпускал изо рта кольца ды м а , — мы все думали, что он сошел с ума.

— Ты так думал.

— Все так думали. А что еще прикажешь думать? У него было несколько выставок.. что ж, я в этой живописи ничего не смыслил ни тогда, ни теперь, но раз знатоки провозгласили его художником...

Теперь он опять был прежний «дядя Мартин»; когда он произносил эти слова, казалось, будто он берет живопись кончиками пальцев и поднимает вверх, выставляя ее на всеобщее обозрение и осмеяние. Выпрямившись в кресле, он заговорил с пылом:

— Я хочу сказать, это было нечто реальное, осязаемое — общественное положение или называй, как хочешь. Вилфред получил признание, и даже больше того. Право, я гордился им, читая в газетах отзывы критиков. Ведь я был его опекуном, не так ли? Я...

Под наплывом внезапной досады он вновь рухнул в кресло.

— И вдруг он посылает домой... и, боже милостивый, заполняет весь Стекланный зал безумными этими холстами... Все эти штуки какой-то тамошний проходимец вбил в голову молодежи... как бишь, его звали?

— Андре Бретон. Да только ты неправ.

— М-да.. Мартин Мёллер вскинул брови. Удивительно, до чего же непогрешима эта дама, когда-то бывшая его младшей сестренкой, удивительно, сколь прочно она удерживает в памяти чепуху, которую другие, естественно, тут же забывают и выбрасывают из головы.

— Что ж, изволь, назовем их всех экспрессионистами, сюрреалистами... да, да, как я уже говорил, в живописи я ничего не смыслю. Но ведь и сам Вилфред отверг все это потом, у него появились иные кумиры.

— Кандинский. Клее.

Мартин Мёллер сдался — он продолжал курить. Будто два пушечных залпа, прогремели сухие, короткие пояснения его сестрицы: запас ее знаний об этих комедиантах в мире искусства, о которых в ту пору подробно писала отечественная печать, казался воистину неисчерпаемым.

— И тут, черт возьми, наш мальчик одним ударом, одним бессовестным ударом, разрушил положение, которое сам создал себе первыми своими картинами, вернее, — ты уж прости меня — первой своей мазней, можно подумать, что она не была достаточно новомодна...

Он подался вперед в кресле.

— Сусси, милейшая моя Сусанна, будь столь любезна и не пытайся уверить меня, будто ты что-то в этом поняла, даже в его первых работах, хотя, возможно, в них было своего рода искусство, а уж эта новая мазня в стиле мсье, как бишь его там...

Она не курила. И не пила. От этого положение гостя, на-

слаждавшегося сигарой и виски, становилось еще более неловким. Безмерная горечь захлестнула его.

— Какой смысл, черт побери, всю свою долгую жизнь вести честную торговлю? Какой смысл трудиться в поте лица? Появится такой лодырь и шалопай, ты уж прости меня, Сусанна, но будем называть вещи своими именами, и с помощью блефа добывается известного признания, а затем — тут же — чистейшего скандала, который вдобавок затрагивает его близких, сама ведь знаешь... Но зато *их помнят*, странно, почему-то *их помнят*, шарлатанов этих. Будто они совершили какой-то подвиг!

Он отвлекся от главного. Она не стала его этим корить. Он всегда восхищался умением сестры тактично не замечать чужих оплошностей.

— Ты хочешь сказать, — тихо произнесла она, — что ты тогда не понимал его и теперь не понимаешь.

Он помешкал немного, нежась в кресле. Вообще-то здесь очень уютно.

Все реже и реже навещался он теперь сюда. Но всегда ему приходилось — неизменный проклятый его удел — вносить в этот дом тревогу.

Что ж, кто-то ведь должен это сделать, кто-то должен взять на себя труд спасти этого вечного вундеркинда, если и впрямь он неповинен во всех тех ужасных грехах, которые ему приписывают.

Милосердное виски помогло ему успокоиться, и Мартин добавил:

— Ты же сама была в отчаянии, когда он устроил выставку своих безумных картин?

— Какие слова ты употребляешь, — спокойно возразила она. — Да, слово «безумные» в ту пору меня потрясло. Кто-то из критиков так написал. Я тогда ужасно перепугалась. Печатное слово всегда пугало меня. Я, вообще-то говоря, плохо разбираюсь в живописи, ты прав, Мартин. Но слова пугают меня. Столько новых слов вошло в моду в те годы, когда Вилфред был за границей, все рассуждали о подсознании, точно всю жизнь только это и делали. Даже страшно стало. Но слова эти не проникли мне в душу.

Он вскинул голову, просяял:

— Да, не правда ли? Слова! Слова! Зачем, черт возьми, говорить вслух про всякие непристойности? Мы привыкли набрасывать покров на многое, и слава богу, если хочешь знать мое мнение...

— Но когда я увидела эти картины, да, милый Мартин, я говорю о тех самых *последних* несуразных холстах, о тех несуразно больших холстах, на которых было изображено нечто недоступное мне...

Будто что-то оборвалось у нее внутри. Будто порвалась последняя, натянутая до предела струнка... Он поднял голову. Ощущение уюта рассеялось. Он поймал настороженный взгляд сестры. Она взглянула на тикающие часы. Потом посмотрела на залив под окнами. Мимо шел поезд. Кажется, уже спустилась ночь.

— Ты утверждаешь, будто что-то поняла?

— Вилфред объяснил мне эти картины. Он сказал, что действительность...

— И ты попала на эту удочку? — Мартин Мёллер искренне негодовал. Теперь он снова был прежний дядя Мартин, мужчина, глава семьи.

— Господь наградил нас пятью органами чувств, дорогая Сусанна, и я полагаю, этого достаточно!

Поезд исчез, умчался к центру города. Оба повысили голос, стараясь заглушить отдаляющийся шум. Он подумал: в былые дни поезда ходили здесь гораздо реже. И когда поезд появлялся, было даже приятно: всякий раз это вносило какое-то разнообразие. Нескончаемая круговерть мыслей... как она раздражала его! Мартин Мёллер презирал всяческие сантименты.

— Он сказал, что действительность не так проста, как кажется, — закончила она.

Снова откинувшись в кресле, дядюшка Мартин заговорил с обидой и с торжеством:

— И всю эту чушь ты приняла всерьез двадцать лет назад! А сегодня ограждаешься ею, как щитом...

Ему снова было все совершенно ясно: слава богу, он еще многих может научить уму-разуму!

— Ты приняла на веру всю эту модную болтовню тех лет! Помнится, тогда толковали про какое-то раздвоение... к чертям весь этот вздор! Ты же хочешь с его помощью оправдать по меньшей мере странное поведение нашего мальчика в нынешние времена, когда нужна лишь однозначность. Здоровый инстинкт, Сусанна, таится в сердце каждого норвежца!

Она взглянула на графин, Мартин смутился. Он сказал примирительно:

— Ты же сама понимаешь: сегодня всем нам лучше вести себя так, чтобы избежать кривотолков!

Она снова заговорила:

— Еще одно. Когда он вернулся домой без руки — а ты ведь знаешь, что он много лет не притрагивался к клавишам, — поставь себе, он снова стал играть! Одной левой рукой. Он навещал Пауля Витгенштейна — знаешь, того австрийского пианиста, что потерял правую руку в годы прошлой войны, — он снова завоевал успех у публики пьесами для левой руки. И Вилфред разучил их, помню, как он играл концерт Равеля и несколько вещей Рихарда Штрауса...

— Но что ты, собственно, хочешь всем этим доказать?

— Доказать...

У сестры был усталый вид. Мартин досадовал теперь на свою резкость. Какого черта он всегда вмешивается в чужие дела? Этот порочный мальчишка был когда-то его подопечным, но с тех пор прошло много лет. Мальчик стал взрослым. А сам Мартин стал стариком. И снова его охватило гнетущее чувство, будто жизнь замерла на месте или, того хуже, клочками возвращалась вспять. Да, было время, когда Вилфред завоевал успех — пробился, как теперь говорят... А сейчас? Если только это правда, что мальчик тайне совершает какие-то добрые дела... Что ж, пусть сам смотрит! Ему жить!

Но с другой стороны: все бытие ведь перевернуто вверх дном! Распушенность, разврат перестали быть личным делом каждого, теперь они становятся опасными для жизни. Нежелательные знакомства, дурные наклонности могли толкнуть человека на измену родине, а это влечет за собой презрение, месть, высшую кару. Опасность подстерегает на каждом шагу — все это столь непривычно... столь противоестественно в маленькой стране, некогда дышавшей миром, почти не знавшей бурь...

Он прислушался. В доме родной сестры он стоял и прислушивался. Она тоже прислушалась. Он заметил у нее на лице испуг.

— Неужели он здесь?

— Не знаю. У него есть ключ. Я никогда не знаю, где он. Он мне не говорит.

Все прежнее негодование разом вспыхнуло в нем:

— Так он приходит сюда?

— Я же сказала: я ничего не знаю. Он почти никогда здесь не бывает. А тебе сейчас лучше уйти.

Ему следовало бы обидеться. Он чувствовал, что имеет на это право. И в то же время у него есть долг: он обязан помочь сестре.

Но лицо ее выражало такую отрешенность, что и обида, и чувство долга тут же угасли.

— Сейчас тебе лучше уйти. И спасибо за все.

8

С моря бастион был невидим: столь естественно он сливался с берегом. С суши сюда не было доступа, но тот, кто вздумал бы подняться на невысокую соседнюю гору, увидел бы внизу череду бункеров в паутине колючей проволоки...

Берег был голый и необжитый. Но в долине фьорда стоял старый хутор с перестроенным на современный лад жилым домом, где расположилось командование укрепленной зоны. Идеальное место для воинской части — незавершенные, но уже устаревшие укрепления, более пригодные для устрашения, нежели для боевых действий. В низких строениях между скалами рядовой состав части сменялся каждый месяц, и с каждой смелой присылали все меньше людей.

Мориц фон Вакениц стоял у окна жилого дома и разочарованно глядел в туманную даль зимнего дня: затеплившийся свет вскоре поглотила серая мгла. Ни один день не оправдывал надежд, которые сулило утро. Час за часом фьорд монотонно вспенивался зеленой с белым гребнем волной, бился о мрачные скалы, хлюпал в темных ложбинах, пока власть моря не изгоняла его оттуда, и вновь отступал, обессиленный, оскудевший от прорыва своего в недра гор. Снег мутными пятнами еще лежал на скалистых склонах. Крутые ущелья, узкие лощины повсюду прорезали берег, отчего он казался неприветливым и безрадостным. И небо будто вечно текло на землю, мглистое и сырое, временами обрушивая на нее холодные валы мокрого снега.

Такова, значит, эта страна — хмурая и неприступная, совсем иная, чем он себе представлял, совсем не та, что жила в буйных воспоминаниях о веселой поездке сюда когда-то в детстве, в дни школьных каникул. Для Морица то лето навсегда воплотилось в яркие картинки с преобладанием синего цвета, будто вобравшие в себя всю прелесть природы, которая околдовала его, — самое прекрасное лето в альбоме его детства. Во время той поездки он немного выучился здешнему языку и впоследствии тоже продолжал его изучать: он взял себе за правило развивать все свои знания, ничего не забывая из того, что довелось ему когда-либо прочитать или услышать.

Его всегдашняя грусть была всего лишь пряной приправой к будням там, в Померании, на залитых солнцем равнинах, с таким многоцветьем красок, будто в каком-нибудь Арле. Здесь же мрачное состояние духа стало фоном, который с каждым днем все больше подтачивал его силы. Служебные обязанности его на этом случайном клочке береговых укреплений были немногочисленны и однообразны, большую часть работы можно было без ущерба для дела переложить на плечи двух его подчиненных, живших в бывшей людской. Оттого у Морица всегда была под рукой рюмка, которую он то и дело наполнял мозельским вином. Он пил его без жадности, не спеша, но за долгий пасмурный день выпивал две-три бутылки. Однако вино было ему необходимо: оно спасало его от страха.

Он ждал уже долго. Он начал сегодня ждать с самой зари. За Вилфредом послали машину к станции: по пути он должен был прихватить с собой Марти. Мориц решил, спокойствия ради, поселить ее в другом месте, подальше от побережья. Вечно во всех поступках своих он балансировал на грани запретного. Но при этом он ведь солдат, да, с виду он настоящий солдат.

Он поправил на себе мундир и почувствовал себя солдатом. Он был не из тех, кто расстегивает воротник удобства ради, дает себе поблажку. Совсем напротив, отправляясь проверить укрепления, он всякий раз натягивал темно-зеленые перчатки, а для любого смотра — светлые; безупречным блеском сверкали его ботинки, которые не менее пяти раз кряду он возвращал денщику для повторной чистки, когда ему присылали на эту должность нового парня. Не потому, что ботинки могли засиять еще ярче, а потому, что так велел обычай.

На кухне все уже было готово к завтраку — сегодня ожидалось изысканное угощение. Люди в этой стране придают большое значение еде, они привыкли к добротной пище и любят вкусно поесть. Мориц задумался о своем друге Вилфреде: он был словно кусок его самого, словно брат, — теплый цветок, давший втайне неожиданные ростки, орнамент, сложный узор которого ускользал от взгляда...

У Морица было мало друзей — так сложились обстоятельства. Он встречал лишь коллег, погрязших в казарменном бытe, — общество их тяготило его.

Внутренне оставаясь холодным, он был по-своему благодарен этой Марти, которая связалась с ним, не задумываясь над тем, что творит, но сохраняя какое-то изящество в своем падении — дар, на его взгляд, присущий всем европейцам. И это

тоже он не рассчитывал встретить в стране, которую им рисовали как своего рода природный заповедник, населенный примитивными, но добродушными особями.

Он услышал, как кто-то бежит по гравию между домами. В прихожей он столкнулся со своим денщиком Хайнцем, тот уже держал в руках форменную фуражку, светлые перчатки и стек — все, что Мориц сделал частью своего обмундирования. Машина развернулась у дома и стала. Из нее выпрыгнул шофер и застыл у дверцы по стойке «смирно». Мориц, подтянутый, щеголеватый, вышел на обитое железом крыльцо. Чуть располневшая в последнее время от сытной еды, с легким загаром, никогда не сходявшим с ее лица, Марти выглядела великолепно. Вилфред — он вылез из машины следом за ней — рядом с Марти казался особенно бледным, но улыбался своей всегдашней невозмутимой и насмешливой улыбкой.

Застолье разворачивалось с точностью военной операции. Хозяин дома восседал спиной к огромному окну, чтобы на него не давила свинцово-серая природа, словно бы вплывавшая в комнату; к тому же отсюда он лучше видел своих гостей. Чтобы в комнате стало повеселей, зажгли высокие свечи на столе, где в зеленом блюде атели раки. На всей картине была печать сознательного смешения свежести, источаемой дарами природы, с уютным теплом домашнего очага, особенно приятным в пасмурную погоду. Хайнец в белых перчатках разливал вино и подавал гостям обед, как истый метрдотель, каким он вот-вот должен был стать, когда началась война. Он поставил перед каждым чашку дымящегося бульона — единственная дань погоде, — все же прочее угощение составляли холодные блюда, малыми порциями, но подобранные со вкусом и знанием дела. Морица забавляло выражение лица Марти. При виде всех этих вкусных блюд — ни дать ни взять картинка из довоенного журнала, — на нем проступило детское вожделение.

Потом они пили кофе и коньяк в каменной беседке. Небо чуть посветлело. Они сидели, закутавшись в пальто и пледы, для поддержания тепла на спиртовке грелся кофе. Гости бурно радовались крепкому черному кофе, совсем не похожему на мутное пойло, которое по воле злого рока они пили ежедневно. Мориц радовался их радости. Он подумал: была бы возможность щедрее кормить этот народ — наверняка не возникло бы столь сильного недовольства. Недоедание и скверный кофе куда в большей мере, чем полагают, причина противоестественной стойкости здешнего Сопротивления.

Не то чтобы оно всерьез тревожило оккупантов, но покоренный народ необходимо привлекать на свою сторону с помощью жизненных благ, которые он ценит. Он вспомнил батраков в своем родовом поместье. Не изведав ничего лучше ржаного кофе, они были им довольны. Точнее — никто не спрашивал, довольны они или нет. Они работали, делали, что им велят, — на то они и батраки.

— Чудно, — сказала вдруг Марти, глядя в светлеющую даль на чаек, весело паривших на ветру, — чудно, что и природа, и ветер, и чайки... что все это осталось прежним, совсем как раньше...

Мориц рассмеялся:

— Птицы не замечают, что сейчас «решается судьба отечества», вы это хотите сказать?

Она с простодушной досадой уставилась на него. Мориц продолжал ее поддразнивать:

— Скажите, Марти, а вас это сейчас очень беспокоит?

Она беспомощно взглянула на Вилфреда: этот чужой человек, офицер, с которым она, случалось, делила постель, не хотел понять, что в душе она — патриотка... Вилфред пожал плечами. Нелепая чувствительность!

— А ты? — продолжал Мориц, обращаясь к Вилфреду: — Ты уже принял решение?

Вилфред взял сигару. Так мирно, уютно в этой беседке...

— Вы же все преисполнены идеализма. И твою позицию никто не поймет!..

В тоне Морица слышалось дружеское участие. Вилфред рассмеялся. Он низко нагнулся над столом, стараясь заслонить спичку от ветра.

Беседка была самая настоящая маленькая крепость — естественное скопление камней под крышей из дубовых досок, столь хитроумно встроенных в камень, что снаружи никто бы их не заметил.

— Зачем отравлять приятные минуты каверзными вопросами? — с улыбкой проговорил Вилфред, вдыхая сигарный дым. Его неугомонная левая рука недвижно покоилась на спинке кресла. И сам он сейчас весь отдался покою: ветер, вино, коньяк и тучи, стремительно плывущие по небу, привели его в блаженное состояние духа.

Втайне он развлекался назревающей ссорой между этими двумя столь несхожими друг с другом любовниками: он, всезнающий циник, изнывавший от скуки на своем невысоком посту,

с каждым днем все больше пренебрегая своими обязанностями; она, слабая, податливая женщина, охочая до лести и житейских благ, но отнюдь не лишенная притом искренней любви к своему униженному отечеству...

— Наша Марти просто дитя природы, как я понимаю, — сказал он, отхлебывая попеременно кофе и коньяк. Но Мориц не унимался.

— Ты упрощаешь! — заявил он. — Слишком уж просто ты хочешь все объяснить!

Оба сидели теперь и глядели на Марти, под их пристальным взглядом она вспыхнула, залилась краской.

— От нас,— устало, но настойчиво продолжал Мориц, — требуют, во-первых, дисциплины, необходимой в условиях войны, во-вторых, надменного снисхождения ко всем этим блошиным укусам, я имею в виду действия ваших патриотов. От вас мы требуем лишь одного: свыкнуться с нами, что, кстати, наилучший выход для вас самих — вы же разгуливаете с гневным видом, всячески стараясь показать, как вы страдаете за свое отечество... Но вот вы оба... как говорится, от ворон отстали, а к павам не пристали. А раз так — можно ждать удара с обеих сторон.

Марти хотелось вскочить и уйти. Она походила сейчас на обиженную школьницу. Она будто не понимала ничего, воображая, что все в полном порядке: как бы она себя ни вела, главное — сберечь в своем девичьем сердце искру всенародного гнева.

Но Мориц по-прежнему не унимался. Из сугроба под каменным столиком, за которым они сидели, он выудил бутылку ликера. Рассматривая ее против света, он вопросительно, не без кокетства поднял брови. Она кивнула. Марти нельзя было покорить силой оружия, но вот с помощью ликера...

— Да, вас не поймешь, — игриво продолжал Мориц. Он поднял рюмку. Марти послушно последовала его примеру. Нетерпимость — ваше национальное свойство.

Он откинулся назад в неудобном кресле, оформленном в виде дерева, с ветвями и почками на них.

— Все это могло бы быть смешно. Но, в сущности, в этом ваша сила. Когда вас, норвежцев, тем или иным способом настигает рок, вы делаете оскорбленную мину и говорите «нет!», не считаясь с безысходностью положения. Вы бы посмотрели на моих батраков в Померании — неужто вы воображаете, будто

им нравится война? Или, к примеру, мне самому? Она не нравится даже нашим политикам.

Он рассмеялся, но вдруг помрачнел:

— Но в тот же миг, как война стала фактом, вот бы вам взглянуть на них! Они явились все, как один, эти усталые горе-мышки, никогда не помышлявшие ни о благосостоянии, ни о чем другом, что составляет для вас смысл бытия, явились все, как один, в мундире, сразу усвоив военную выправку. Вы думаете, они рвались в бой? Ничуть. Но они были готовы к бою. К бою за родину? Да за что угодно, чем только их помянут — за родной дом, за церковь, веру, свободу, а можно и за отечество, не все ли равно, все это лишь символы, которые в тот же миг обрели для них смысл, совершенно определенный смысл для всех и каждого, сразу же, как только... Да кто они такие, эти люди, — им ли обижаться на неумолимый рок?

Он говорил так, будто все это его нисколько не интересовало, — просто хотел разъяснить некоторые очевидные истины существам с другой планеты — бесхитростным детям, вообразившим, что они смогут всю жизнь резвиться на лужайке только потому, что им разрешили поиграть там часок перед обедом.

— Хорошо, хорошо, — примирительно сказал Вилфред, ничем не выдавая, что чувствует на себе взгляд Марти: глаза ее вновь вспыхнули в последнем приступе возмущения, впрочем быстро погасшем под лаской ликера. А какую породу животных предпочитаешь ты?

— Я? Как человек, я ценю в других уступчивость, сговорчивость. Как офицер, я считаю это непреложным.

В его тоне не было угрозы. Но в самой любезности его скрывался вызов. Он продолжал, на этот раз даже с каким-то волнением.

— Говорят, мы живем во время, лишенное иллюзий. Что, собственно, это значит? Одна сторона дела ясна: надо принимать вещи такими, какие они есть... А впрочем... Люди и сейчас преисполнены иллюзий, и, если хотите знать мое мнение, слава богу! Но вот вы, вы живете *одними* иллюзиями, купаетесь в них, сменяя одну иллюзию другой. Прежняя звалась «Англия», впрочем, почему бы и нет?

Вилфред сидел, постукивая пальцами по каменной столешнице.

— Ты долго жил в уединении. Не думаешь ли ты...

— Ты заблуждаешься. Я по-своему связан с этой страной.

Я говорю на вашем языке. Возможно, только поэтому начальство явило снисхождение к моим грехам...

Он смущенно оглянулся, затем продолжал с улыбкой:

— Сто тридцать пять лет назад агрессором, а следовательно, извечным врагом, была Англия. В ту пору в Уллеволе правил проанглийски настроенный Юнас Коллет, прожигая жизнь с таким двором, который вы сейчас вряд ли потерпели бы у себя. Кто знает, может, он был твоим предком, я бы не удивился... Нет, нет, к чему этот изумленный вид? У меня тоже есть предки. Разве мое имя — фон Вакениц — не показалось тебе знакомым? Нет? Хотя, верно, ведь вы, норвежцы, не знаете собственной истории, за исключением ее героических эпох. Неужели ты не слышал про некоего Августа Фридриха фон Вакеница? Он был родом из Померании, в чине генерала служил в Шотландии под началом герцога Камберлендского. Но впоследствии он осел в твоей старой Христиании на правах ближайшего советника асессора Розенкранца — слабого и недалекого малого, весьма нуждавшегося в наставнике, который нашептывал бы ему на ушко разные разности. Почтенный асессор публично признался, что всякий раз, когда его разъедало сомнение по поводу какого-либо важного дела, а сомнения разъедали его беспрестанно, он спрашивал себя: «А как поступил бы в этом случае мой друг фон Вакениц?» Как видишь, нельзя сказать, что я ничем не связан с вашей страной. Положение в ней изменилось. Так почему бы не сменить иллюзии? Это же легче всего. Вы живете иллюзией, имя которой — национальная независимость, что бы там ни понимали под этим. Вы попросту закрываете глаза и видите лишь то, что хотите. В этом ваша сила, как я уже говорил, да, наверно, это так...

— Но действительность? — вставил Вилфред не без некоторого волнения. Вот сейчас ты уже приготовился сказать: но действительность... не так ли?

— Да, пожалуй, что так. Действительность... правда, вы употребляете это слово в самом элементарном его смысле, понимая под ним то, что мы чувствуем, едим и так далее... Иногда, напротив, вы ударяетесь в метафизику и принимаетесь рассуждать об истинной действительности, скрытой за внешней... В зависимости от того, как вам удобней в данный момент...

Вилфред выпрямился на своем сиденье.

— А сам ты что думаешь?

— Действительность, разумеется, относительна. Моя действительность не имеет ничего общего с действительностью батра-

ков, о которых я вам рассказывал. Действительность, очевидно, некая постоянная величина для каждого, не правда ли? В общем, некая сумма фактов.

Вилфред не мог сдержать улыбку.

— А мне показалось, что ты не всегда склонен признавать факты. В частности, такой факт, как положение в этой стране...

Мориц поднял брови. Он не оглянулся на собеседника, хотя настроенно ловил его слова.

— Все дело в методах, милый друг. Из пузатой бутылки он налил гостям коньяку. В форме, в различии между тонким вкусом и безвкусицей. Нет, нет, не улыбайся! Кажется, мы живем в среде, лишенной формы, но это лишь кажется так. Чужеземное всегда во всех своих проявлениях раздражает и оскорбляет местных жителей, а вот этого-то и следовало бы нам избегать. Ты ведь сам хорошо знаешь, что такое форма, знаешь, что сплошь и рядом именно она определяет и видоизменяет содержание, короче — *формирует* его. Конфликты всегда вызываются формой. Что же касается действительности — она попросту неизбежна.

Ветер наскоками врывается в беседку, обжигал ледяным дыханием... В его вой вполетались громкие крики чаек, доносившиеся с моря. Что-то зловещее вдруг проступило в этой картине. Марти вновь захотелось встать и уйти. Но Мориц склонился над бутылкой и сам поднял бокал. И крепкий, густой, веселящий ликер снова пролился в ее гортань. Все силы тотчас покинули ее — на смену пришло тихое веселье.

— Послушать тебя, мы будто не люди, а какие-то животные, — вяло пробормотала она.

— Нет, нет, совсем не животные. Люди.. Мориц вновь откинулся в кресле, следя за полетом чаек. Мы всегда так нелепо рассуждаем о людях, — продолжал он. — Что можно сказать о человеке? Он склонен к обману, ищет наслаждений, жаден, скуп или же труслив, в нем обитают господь и дьявол одновременно. Немногие люди — гении, но не о них речь. Когда люди произносят слово «человек», они обращают свой взор к небу, как бы надеясь заполучить оттуда коллективную индугенцию... Дорогая Марти, я очень люблю людей, или, если вам угодно, человека, но ведь все хорошо в меру, не так ли? Я не обращаю при этом взор к небу и не забываю о земле, по которой все мы ползаем.

Вилфред спросил:

— Ты думаешь, вы выиграете войну? — Вопрос прозвучал грубо, хотя Вилфред спросил как бы вскользь.

— Ты прекрасно знаешь, что я этого не думаю. Я никогда в это не верил. Зато я думаю, что мы выиграем мир. Американцы... Впрочем, дело не в этом. Неужели ты воображаешь, будто работники мои, о которых я тебе рассказывал, *верили* все это время — или хоть когда-нибудь — в счастливый исход войны? Да их никто и не спрашивал. Вопрос этот занимает народ, ведущий настоящую войну, куда меньше, чем принято думать. Это вас он занимает — тех, кто, как говорится, может «сделать ставку». Это вам необходимо знать, каков будет исход.

— Но почему же тогда? Вилфред осекся: не стоило рассуждать о таких вещах в присутствии Марти. Оба одновременно взглянули на нее. На лице ее была блаженная вялость, по она не спала.

— У меня на родине заявила о себе оппозиция, — сухо произнес Мориц, — тебе известно мое отношение к ней, она меня не интересует, отчасти потому, что я сдержанно отношусь к политике вообще. Но эта оппозиция не стремилась во что бы то ни стало обеспечить победу, она пыталась лишь умерить масштабы беды, как сказал бы ты.

Ветер дул еще резче, еще холодней стало его дыхание. Марти мужественно терпела холод. Теперь, когда они повели ее к дому, она будто легко плыла по земле. Мориц проводил ее наверх: ей хотелось отдохнуть. Вилфред прошел в библиотеку — смотрел, как за окном сгущались сумерки.

Комната была частично приспособлена под кабинет. Стоя лицом к зеркалу, Вилфред наблюдал, как умирает день. Он видел свой силуэт на фоне окрестного пейзажа, силуэт дрожал и колебался. Мориц бесшумно спустился вниз и встал за его спиной, почти рядом.

— Ты совершенно прав, — сказал он.

Вилфред поймал его взгляд в зеркале, глазами спросил, о чем он.

Тот сказал:

— У тебя ведь тоже нет ни братьев, ни сестер?

— Есть сводный брат. Я с ним не знаком. Он оскорбил мое одиночество самим фактом своего существования.

— Я был в этом уверен. Я распознаю единственное дитя на любом расстоянии.

— Но ты ведь не это хотел сказать?

— Я хотел сказать, что твое положение... что вообще такие,

как мы... нет, я вовсе не утверждаю, что твоя гибель предрешена изначально. Но в сложившейся ситуации...

— Ты хочешь сказать, что некоторые люди неизбежно делают ошибочный выбор?

— Да, что-то в этом роде... Нет, посмотри, у тебя волосы светлые, у меня темные, а так, честное слово, почти никакой разницы!

Он рассмеялся.

Его присутствие вдруг стало физически неприятно Вилфреду. Ему не нравилось, когда его мысли высказывались другими людьми. Все же он не сдвинулся с места. Его взгляд был словно прикован к двойному отражению в зеркале на фоне темнеющего неба.

Мориц заметил его реакцию и сказал с легкой усмешкой:

— It is a humiliating confession, but we are all of us made out of the same stuff *.

Вилфред поморщил нос.

— Оскара Уайльда можно цитировать по любому поводу. Он еще говорит, что раньше или позже неизбежно приходишь к той омерзительной общности, которая зовется человеческой природой. Если это правда и ты этому веришь, почему же ты не пустишь себе пулю в лоб вместо того, чтобы жонглировать подходящими к случаю цитатами?

— Кто знает? Наш общий друг говорит, что только поверхностным людям дано познать самих себя...

Он вновь рассмеялся. Зазвонил телефон. Вилфред быстро прошел в гостиную и оттуда, из-за закрытой двери слышал, как Мориц отвечал по телефону. Очевидно, служебный звонок. Вилфред старался отойти как можно дальше от двери, чтобы не слышать разговора. Эти людишки с убийственной серьезностью толкуют о вещах, уже не имеющих ровно никакого значения. Покой, которым он еще недавно наслаждался, сменился немым отчаянием... Однажды он уже стоял в железнодорожном туннеле и в смертельном испуге прижимался к стене, и мимо него с грохотом мчался поезд, а ведь тогда он твердо решил лечь на рельсы и дать себя переехать. Теперь он снова оказался в туннеле — в тупике, в ловушке, как всегда видится в детских снах, со всех сторон опутан сетями...

* Признаваться в этом унижительно, но все мы сделаны из одного и того же теста (*англ.*).

Однако сейчас он думал не только о себе, он хотел слиться со всеми — может, даже со всем, — словно бы сделавшись воплощением искусства, которое в свое время творил, разумеется искусством беспредметного... В былые времена он был одержим жаждой власти — ею одной, властитель не терпит родства, он враг братьям своим... Вилфред стоял в полутемной комнате и сжимал кулаки так, что побелели косточки пальцев. Властители убивали своих братьев, если требовалось... А Мориц... неужели брат? Что ж, брат как брат, — лучше, во всяком случае, чем этот Биргер, которого он презирал и по которому тосковал... Да, было не слишком приятно видеть свое собственное «я» отраженным в облике этого Морица, увидеть нетронутую копию, когда сам ты с такой одержимостью уродовал свое лицо, что, казалось, его уже невозможно узнать... Он поднял искусственную руку: это была часть его существа, более подлинная, чем другая рука и ноги, которые остались ему от далеких времен невинности и страсти. И Мориц верно сказал о нем: он уничтожил свою форму, а значит, и свою сущность...

Мориц стоял в дверях.

— До поры до времени отечество спасено! Ты, конечно, предпочитаешь виски... как прирожденный британец!.. Но, увы, тебе придется довольствоваться немецким коньяком, три звездочки как-никак, хотя и звездам приходится доверять все меньше и меньше...

Все свое обаяние этот человек вкладывал в подобного рода безопасные остроты на военные темы... До чего ж все-таки он наивен...

— Ты хотел знать, с кем я? Не слишком ли это прямой вопрос? Хотя ты, возможно, и мой двойник...

Мориц подался вперед. Они сидели у камина в библиотеке.

— Тебе никогда не бывает страшно?

— Нет, почему же, когда меня преследуют...

— Но... вообще... ты же способен представить себе... Твое положение...

— У меня нет никакого положения. Я человек без статуса.

— Вот именно. Будто лесная дичь. Ох, тебе стоило бы хоть разок побывать на охоте с трещотками, да, да, на настоящей охоте с загонщиками, которые трещотками вспугивают дичь и гонят ее то туда, то сюда. И когда начинается стрельба, право, это даже менее страшно, чем все прочее. Война, что бы там ни говорили, в общем, разумное явление, только не позиционная война. Война действенная и вправду способствует разумному

прогрессу. Психологи всегда отрицают это. Но они ошибаются. Писатели понимают это... иногда.

Вилфред коротко засмеялся:

— Я сам был немного писателем...

Но тот, другой, снова оборвал его с прежним сдержанным пылом, неожиданным, даже приятным в нем.

— Почему ты говоришь: «был» и «немного»? Я прочитал твои книги — все три, когда их перевели у нас. Есть какая-то трусость в твоём кокетстве...

— Значит, наверно, ты сам не пытался писать. В писательстве есть что-то мучительное.

Мориц нетерпеливо прервал его:

— Я тоже писал книги. Надо ли говорить, что они в чем-то родственны твоим? И я прекрасно понимаю, что ты имеешь в виду, когда говоришь о мучительности этого ремесла.

Мориц сидел не шевелясь. Сигара обожгла ему пальцы, и он бросил ее в камин. «Там осталось достаточно табаку, чтобы какой-нибудь норвежец, жадный до курева, но лишенный его, мог набить себе трубку», — подумал Вилфред. Посторонние мысли вновь бесшумно вторглись в круг сознания. Он подумал: «Да, будь моя правая рука настоящей рукой, а не механизмом... но ведь я должен был спасти того ребенка, это был не просто рефлекторный жест с моей стороны — человеческие руки всегда нужны — руки, умеющие спасти других, руки, всегда готовые это сделать». И еще думал: «У меня был отец и брат. Но пусть бы сыном моего отца был не Биргер — Биргера я ненавижу, ему нет места в моей душе... У меня есть другой брат, вот он сидит рядом со мной, и в нем нет простоты, а есть двуликость, даже — многоликость. Пока еще у меня нет к нему ненависти, но, если его присутствие станет более навязчивым, мы не сможем оба остаться жить, он будет угрожать моему одиночеству...»

И слово «изменник» тоже всплыло в круг сознания, вытеснив другие мысли. «Я все читаю на его лице, *он* думает, что и в этом мы схожи с ним — мы, потенциальные изменники, — изменники вообще: по отношению к миру, к своей среде и к людям, к таланту; мы составляем с ним некий тайный клуб из двух человек — клуб людей, всегда желающих для себя иного, чем другие. Да, мне случилось спасти людей, это в природе вещей, кого-то мы спасаем, чтобы создать равновесие всякий раз, когда лодка грозит перевернуться... Жил-был когда-то человек с сигарой, и, где бы он ни появлялся, его всюду сопро-

вождал рок, и почему бы ему не быть отцом Морица?...» Мысль эта рассмешила его...

Мориц спросил:

— Когда ты родился?

Но нет, он не позволит этому двойнику, явившемуся невесть откуда, навязать ему свою близость. Он свыкся с болью, поселившейся в его сердце, он хотел изведать ее до конца. Кто сказал: «Испить чашу до конца...»?

Вилфред сказал:

— Пусть даже мы родились бы в один и тот же день, тебе с твоим германским мистицизмом все равно не удалось бы извлечь из этого мнимого сходства больше, чем оно того заслуживает. Мы оба не способны верить, это своего рода яд, вот и все.

Пространство вокруг них наполнилось невидимыми существами, простыми душами, которые обвиняли и задавали вопросы. Мориц встал и долго глядел на темные облака, плывшие с моря. Вилфред видел его в зеркале: Мориц все время держался с несколько искусственной чопорностью, как офицер, как *хозяин*...

Мориц обернулся. Сделав несколько шагов, он выскользнул из зеркала. Вилфреду стало не по себе, страх охватил его.

Тот, другой, сказал:

— Я всегда ощущал родство с существами, с явлениями, умеющими сберечь свою сущность. Поэтому война с ее чудовищным расхищением сил противна мне даже с чисто практической точки зрения... Мой рационализм пошел на пользу моему имению. Но одновременно я ощущал ущербность всего рационального, и это никак не пошло на пользу мне самому. Сначала я надеялся, что мне поможет писательство...

Он вдруг умолк, шагнул к камину и, остановившись у него, любуясь пляшущими змейками пламени, зажег сигару.

— Разрыв между рациональным — целевой задачей — и бесцельными, если хочешь, разрушительными устремлениями, обратился в пропасть. Я был в той пропасти — душой я был там. Вряд ли это пошло моей душе на пользу. Я был женат. Это длилось недолго. Нельзя обитать в пропасти вдвоем.

Вилфред сидел и глядел в огонь. Он почувствовал на себе взгляд того, другого, но не хотел попадать к нему в плен.

— Эта мятежная тяга к одиночеству, — продолжал т о т , — обращается в свою противоположность — в требование властителя, чтобы его приняли в сообщество на его собственных условиях...

Вилфред вскинул голову, будто что-то подтолкнуло его.

— Конечно, — сказал он Дальше!

— Я почти все уже сказал... Знакома ли тебе досада, порождаемая совпадением мнений — твоего и мнения другого человека, исходящего притом из совершенно иных предпосылок? Представь себе, что к тебе в дом пришел друг, которого ты глубоко уважаешь... О чем бы он ни рассуждал: о национал-социализме, об угрозе с Запада или с Востока, о расовой проблеме — человек этот приятен тебе. Но тебе неприятно, что он так думает. Или же — тебе неприятны его мысли, хоть они и совпадают с твоими. И ты начинаешь ненавидеть его самого, или его мысли, или то и другое вместе...

— Ребяческий дух противоречия!.. Кто-то сказал однажды: «Человек, ни разу не сидевший у постели своего больного ребенка, не правомочен высказывать свое мнение о чем бы то ни было».

— Ошибаешься. Я сидел у постели своего больного ребенка. У нас ведь было двое сыновей.

Еще и это! Что ж, значит, хоть в чем-то они отличаются друг от друга: у Морица было когда-то двое детей.

Но он не хотел распалиться из-за того, что затронуло его больше всего другого.

— Ты совершенно правильно сказал насчет стремления — твоего и подобных тебе — добиться своеобразной общности в условиях одиночества в той самой пропасти. Ведь ты, кажется, обитал в пропасти?

Мориц прошелся по комнате, вышел из светового круга. Он ступал бесшумно, как зверь.

— Ты нарочно дразнишь меня, нарочно отталкиваешь меня. В известном смысле это дерзость с твоей стороны, ты многим рискуешь, превращая меня в своего врага, но не это сейчас занимает меня. Я знаю — ведь и ты тоже такой!

— Думаешь, угадал?

— Да.

— Но ты неверно угадал. Я ценю свое одиночество превыше всего.

— Но ты же приходишь ко мне в гости?

В его словах звучала мольба. Но это могла быть и угроза...

Мориц продолжал:

— Главное в одиночестве — не изоляция, а надежда, что изоляция будет сломлена. Ты, к примеру, с кем только ни водишь компанию, один бог знает, какие люди вокруг тебя... Я же обречен на своего рода коллективное бытие как офицер и как че-

ловек. И это общение усугубляет одиночество, делает его полным.

Вилфред нетерпеливо дернулся:

— Ты что, совсем не умеешь пить, не впадая в философию? Неужели ты не можешь помолчать?

— Нет. Я разговариваю сам с собой все дни напролет — в этом проклятом бастионе. Все, кто предрасположен к писательству, разговаривают сами с собой. Во всяком случае, это лучше невыносимого панибратства с кем попало. К тому же я не выношу, когда со мной спорят.

— Раз нельзя спорить, значит, нельзя и согласиться с тобой!

Тот, другой, продолжал беспокойно кружить по комнате. Он то брал рюмку и снова ставил на стол, то хватал сигары и тут же снова клал их назад. Огоньки сигар мерцали в потемках.

— Вот ты презрительно отозвался о мистике, о германском мистицизме... Я и мой род не совсем германского корня, у нас в роду кельты, славяне и прочие. Мистика — это всего лишь логический противовес рационализму, которого, как ни крути, умному человеку мало. Вы, жители этой страны, культивировали личную свободу как некую анархическую святыню, без каких-либо обязательств по отношению к кому бы то ни было, лишь к индивиду, как таковому... Вам, наверно, даже не понять страданий мыслящего немца, колеблющегося между почтением и бунтом, откуда бы он ни был родом, пусть даже из Померании или, к примеру, из Вюртемберга, где родилась моя мать. А тебе тоже недостает чувства меры... Да, да, я знаю, ты мечешься от одной крайности к другой, от одной неудовлетворенности к другой — в этом мы с тобой схожи. Дело здесь не в неумении влиться в общество: такие люди, как мы с тобой, можем влиться в общество только с виду. Но наша любовь к независимости даже тюремную камеру превратит в королевство.

— Или же в пропасть, где, по твоим словам, обитаешь ты сам?..

— Нам ничто не поможет. Даже если б мы властвовали над вселенной. Потому что наша человеческая сущность не дает нам достичь величия, попросту дорасти до него. Что же делаем мы? Стараемся уничтожить эту человеческую сущность, как только можем. В ту пору, когда я писал картины...

Вялость мигом слетела с Вилфреда. Он напряженно слушал, стараясь уловить не столько слова собеседника, сколько отзвуки, которые они будили в его душе... Ведь были же счаст-

ливые времена, дни, недели в ту пору, когда он еще был жив. Он бросил рассеянный взгляд на свою искусственную руку. Столько всего вдруг обступило его, что он не мог с этим совладать. Он заставлял себя выбраться из этого водоворота воспоминаний, еще не успевших проясниться, но уже поглощенных чем-то куда более отдаленным и... пустым: ты будто летишь в нескончаемое пространство, в бездонность, но тебя все равно поймут, перебросят из одной сети в другую, одна прорвется, не удержав тебя, но и другая прорвется тоже, нигде нет опоры, ничего прочного... и все равно ты будешь в ловушке... Он был сейчас близок к сути вещей, к которым его влекло, которые толкнули его на долгие странствия прочь от берегов, где, возможно, свободно дышалось всем, кто создал свою общность с другими людьми. Безграничная тоска захлестнула сердце — тоска по человеку... и жажда бежать от него.

Они прислушались. Наверху проснулась Марти. Послышались шаги — от кровати к туалетному столику. Мориц криво усмехнулся:

— Надеюсь, ты извинишь меня...

Отзвук его голоса по-прежнему жил в комнате. Было почти совсем темно, лишь от камина падал отблеск на пол. Вилфред смешал себе коктейль. Остаться на ночь здесь не хотелось. Призраки наступали на него со всех сторон. Он мог выйти на дорогу и шагать куда глаза глядят, только бы прочь отсюда. Но мог и заночевать где-нибудь в лесу, ему случалось поступать так раньше.

Комната все еще была полна отзвуками голоса Морица; голос был звучный, красивый. Доводы его Вилфред полностью разделял, но верно и то, что родство отдаляет. Рассуждения Морица сейчас показались ему отвратительными. А может, сам Мориц показался ему отвратительным...

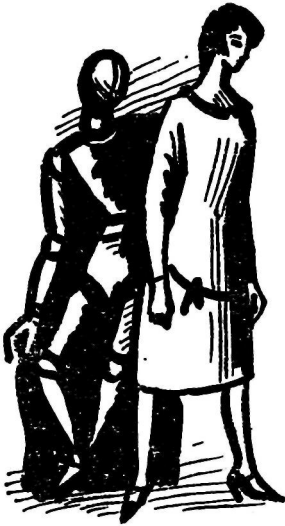
Какого черта этому типу понадобилось навязывать Вилфреду тождество или по меньшей мере родство, когда оно и так столь очевидно? Когда две селедки случайно встречаются в море, разве они останавливаются, помахивая плавниками, и спрашивают: «А что, ты тоже селедка?» Сердце ныло, но ему было хорошо сейчас, он чувствовал, что его начал обволакивать хмель... Каждый сам кузнец своего несчастья.

Он вспомнил вдруг месяцы, некогда проведенные в Париже, тогда все было иным, почти все, тогда он ощущал в себе беспредельность... И сразу нахлынули воспоминания. Нежное чувство прокралось в душу Мириам. Он подумал: «Я должен сей-

час уйти, я должен уйти раньше, чем тот тип вернется сюда. Потому что, если он вернется, что-то непременно произойдет... Нельзя встречать самого себя в другом. Но, может, он так увлечен прелестями Марти... Нет, мне надо бежать отсюда...»

Он остался сидеть в кресле, притворяясь, будто размышляет о чем-то. Но он не размышлял ни о чем. Он сидел и разглядывал свою руку, желтую, как воск. Мысленно он вернулся сейчас назад в мир, где, может, ему лучше было остаться. Но он и в ту пору не весь отдавался ему. Все в силу этой самой человеческой природы, кто тут только что рассуждал о человеке? Он и в ту пору тоже бежал от всего навстречу катастрофе в собственной душе, прочь от того, что могло быть, что уже было. Он сидел, вдруг с беспощадной ясностью осознав все. Но ведь теперь уже поздно. Господи, слишком поздно!..

МИРИАМ



9

Таковы были дни моего счастья — бесконечные и бесконечно щедрые, будто маки, кивающие головками под солнцем и теплым ветром, — сплошное поле кивающих маков на заре, в сверкающий полдень, на закате с быстрыми длинными тенями, — маки, омытые росой, маки, колеблемые ветром, маки, прокаленные солнцем.

Дни моего счастья? Не мне выпали они — другой, во всем похожей на меня, человеку, каким, возможно, я стала бы, если бы не...

Дни?.. Нет — недели, годы. Я совсем потеряла счет времени, в ту пору всегда был день, и была осень — мягкая осень с утренними туманами в парках и над мостами, любимыми им и потому любимыми мною, были ослепительно-ясные дни, когда стирались все расстояния, и рядом мнились Эйфелева башня и Сакре-Кёр — никаких расстояний, ничего, кроме мерцающего воздуха, в котором парили мы, — снежинками под высоким небом, полным света, бесконечного света. Светлые были все дни, чуждые страха, а ночи — напевно теплые, прорезаемые лишь гудками автомобилей и скрипом тормозов, ночи тоже дышали радостью, радостью и желанием.

Все началось без начала и кончилось без конца. Моя жизнь, дни моего счастья...

Вилфред знал, что я в Париже, но я не знала, что он это знал. Он приехал сюда по вызову своего чудаковатого дяди Рене, который увлекался музыкой, живописью, одним словом — искусством, этот божьей милостью дилетант. Когда же радость встречи несколько поостыла, Вилфред переключился на обычный образ жизни всех северян в Париже: ночные злачные места, ночные развлечения. Мог бы придумать что-нибудь получше. Все города одинаковы по ночам.

Откуда я узнала об этом? Во всех колониях земляков за границей существуют свои тайные барабаны джунглей. И даже я, сторонившаяся соотечественников и коллег, кое-что слыхала о Вилфреде — совсем немного, но этого было довольно, чтобы я вновь впала в прежнюю высокомерную отчужденность. Откуда взялось во мне это высокомерие? Теперь я знаю откуда, знаю, почему тогда чуждалась всех. Правда, один любезный здешний критик написал обо мне, что со времен Уле Булля и Томаса Теллефсена еще ни один скандинавский музыкант не покорял Парижа так, как это сделала я, но никто другой вслед за ним не повторил этих слов. И сама я знала, что это ложь. Никого я не покорила. Когда из концертного зала принесли ко мне домой цветы, пианино стало похоже на катафалк. Ненадолго я обманулась, поверив в свой успех. Но скоро поняла, что на самом деле до успеха далеко.

Какой же лукавый случай привел меня на похороны старого дядюшки Вилфреда, да и как я вообще узнала о его смерти? Да нет, какой уж там случай. Я прочитала о несчастье в «Ле журнал»), в длинной, набранной мелким шрифтом колонке под рубрикой «Автомобильные катастрофы»...

Несчастье произошло на тихом перекрестке. Очевидно, старый дядюшка попал в беду по рассеянности. И не случай привел меня на его похороны. Я сама разузнала, где и когда они состоятся. Стоя за углом маленькой красной часовенки, я видела, как оттуда вынесли гроб. И я увидела *его* среди тех, кто провожал покойного в последний путь: были там два господина из посольства, знающих толк в похоронных делах, священник да пяток кумушек из норвежской колонии, из тех, что годами бездельничают в Париже под предлогом изучения того или иного великого искусства. Потом я снова увидела его у могилы уже одного. Все прочие всхлипывали и рыдали. А он — нет. Он стоял под золотой листвой, и лицо его казалось таким же бледным, как шелковая лента на венке, который он по-прежнему держал в руках. Когда-то я любила его красоту. Но

только ее. Его я не любила. А сейчас? Сейчас он уже не был так красив, как прежде. И ведь я знала, что безупречная правильность его черт, пронизывавшая весь его облик гармония скрывали недобрый, беспокойный дух. Помню, когда мы оба были детьми, или почти детьми, дома, в Норвегии, и вместе учились в консерватории на улице Нурдала Бруна, он почему-то не выносил лебедей; однажды, когда мы с ним забрели в парк, он так злобно говорил о них. Да он и вообще глумился над чем угодно, даже над музыкой, которую боготворил, над всем искусством, которому поклонялся. Одновременно боготворил и глумился. Из-за этого он тогда стал мне противен.

Теперь он стоял у гроба столь одинокий, что щемило сердце: стыдно, подло подглядывать за ним. Ведь я именно это и делала. Подглядывала за ним. В этот золотой день ранней осени, стоя чуть поодаль, я следила за ним, как я думала, против воли. Я не собиралась показываться ему.

Впрочем, наверно, все-таки собиралась. И оттого, что я видела себя насквозь, он снова стал мне противен. Стоит себе тут, напрашиваясь на сострадание, что же, слов нет, горе лишь красит его, как, впрочем, все, что ни возьми, всегда лишь красит его. К лицу ему и скорбь, скорбь и одиночество на публику. Сама себе я тоже была противна оттого, что пришла посмотреть эту комедию: позер низводит до своего уровня и зрителей.

Прилетела птица — скворец. Опустившись на край могилы, он поклевывал землю. Вилфред подался вперед и положил венок на могилу. Скворец скакнул к нему, склонил набок голову. Вилфред шевелил губами, но ни звука не донеслось до меня. Скворец подскочил к его руке, положил головку к нему на ладонь. Я растрогалась — совсем против воли. Вилфред знал подход к птицам и к людям тоже: все они льнули к нему, ели у него из рук. Но он ничего не мог им дать. Руки его были пусты. Такое проклятье, видно, лежало на нем. Он не заманивал их, они сами тянулись к нему. Вилфред выпрямился. Скворец отлетел в сторону, но уселся неподалеку. Он опустил на крест одной из ближних могил и вновь призывно склонил набок головку. «Это самка, — подумала я, — не скворец, а скворчиха, не птица, а потаскуха какая-то, вроде тех, какими он привык себя окружать...» Что заставило его полюбить этого дядю, столь безоглядно поклонявшегося искусству? Сам он всегда искренен во всем, даже в своем презрении. Искренен он и в своем таланте, в своих многочисленных талантах. Настолько искренен, что порой поворачивается к ним спиной. С ленивым зевком пово-

рачивается спиной к своим удачам — всякий раз, когда ему и впрямь удастся что-то. Его успехи были для меня мукой. Но я гордилась ими. Он мгновенно заражал меня своей раздвоенностью — той, что зачеркивала его труд и даже величайшим удачам придавала видимость обмана.

Нет, я не хотела показываться ему, не думала выходить из-за спасительной стены часовни. Назад он пойдет другим путем. И мы расстанемся, не повидавшись.

И тут я выступила вперед. Серdito взглянула я на скворчиху — другую легкомысленную особу, искавшую его общества. Я видела, как птица озлилась. Сидя на могильном кресте, надменно вскинула свою шальную головку.

Но тут же вскинул голову сам Вилфред. Впрочем, в тот миг я не видела его лица. Солнце обвело его голову золотым венцом. И венец я видела — не его самого.

Но когда он двинулся мне навстречу своей всегдашней легкой походкой — о, как хорошо я помнила эту легкость, ведь она тоже была мне противна, — я впилась глазами в его лицо, в стройное его тело, столь удручающе готовое к чему угодно — обнимать, ласкать или принимать ласки. Я подумала: он ведь был чем-то вроде альфонса, всего лишь несколько лет назад. Тогда, в Копенгагене, когда он ввалился ко мне в артистическую уборную при концертном зале, весь избитый, в крови. Он был так жалок тогда, и я помогла ему. Но мне больше не хотелось его видеть. Мне и сейчас не хочется его видеть.

Так думала я, а сама между тем сделала несколько шагов к нему. Совсем немного шагов пришлось мне сделать. Потому что он быстро шел мне навстречу, точнее, мчался. И когда он схватил меня в объятья — там, на усыпанной гравием дорожке под низкими листовенницами у могилы, — я все еще старалась хранить суровость, но, как видно, не преуспела в этом. Наши губы слились против пашей воли. Оба мы были застигнуты этим врасплох. Кладбищенский сторож заставил нас очнуться. Мы не слышали, как он подошел, хотя гравий, должно быть, скрипел под его шагами. Он схватил нас за плечи и в буквальном смысле слова оторвал друг от друга. Вот чем обернулось все это. Он был оскорблен, он негодовал: мыслимо ли столь непристойно вести себя на освященной земле...

Вилфред попросил у него прощения. Он просил прощения с той детской серьезностью, перед которой никто не мог устоять. Сторож перестал браниться. Совсем напротив, он вдруг произнес нечто вроде пожелания, которого я не поняла, — видела

лишь, что губы Вилфреда дрожат от сдерживаемого смеха. После, когда я спросила его об этом, он ответил, что такие слова говорят в мужской компании, они непристойны, но их употребляют не в прямом смысле.

Помню наше медленное шествие мимо желтых гипсовых ангелов, кипарисовых рощиц, мимо сверкавших на солнце гранитных крестов.

Медленное шествие к выходу. Каждый шаг был напоен ожиданием следующего волшебного шага бок о бок с ним. Он поддерживал меня за локоть, чуть заметно прижимая его к себе, и уже это само по себе было лаской, сама близость его была лаской, как и смутное, молчаливое взаимопонимание между нами, столь долго искавшими друг друга. Когда мы наконец вышли на улицу, я будто впервые увидела его. Он похудел, под глазами круги, но в глазах был яркий блеск, словно его взору без конца представлялись прекрасные видения.

— Ты очень любил его? — спросила я.

Он слегка помедлил с ответом:

— Да, наверно, очень.

Какое-то озорное, лихое чувство подхватило меня, кажется, я чуть приревновала его, как тогда — к скворчиче. Я спросила:

— А что, он был хороший художник? — разумеется, не без ехидства.

Он ответил:

— Какой уж там художник. Он был просто любитель. Верный любитель, поклонник искусства. Ему я обязан всем, что умею, если вообще считать, что я умею что-то...

Мы спустились вниз по улице Рокет, потом шли другими улицами, которых я не знала. Мне впервые довелось гулять по этим улицам, и все было мне в диковинку: церковь и фонтан, подсвеченный солнцем. Но ведь я вообще впервые в жизни гуляла. Мои крепкие ноги все эти годы мчали меня то туда, то сюда, но разве я гуляла? Разве я ощущала когда-нибудь, как проникают в меня соки земли — сквозь асфальт и все прочее, — наполняя все мое существо сладостной негой?..

Никогда. Никогда. Потому что меня не было до этого дня, я еще не жила. Я шла рука об руку с ним и рождалась на свет. Но я не находила слов выразить мою радость, потому что радостью дышал вокруг нас воздух, и радостью дышали голуби, срывавшиеся вниз с карнизов домов, и пели о ней машины вместо меня, выпекали радость мелодичными гудками, и

светились радостью люди, шедшие нам навстречу, — ярким светом светились их лица, говорившие то, что мне уже не нужно было говорить. Самые вдохновенные слова поэтов померкли, забылись. Слово поэта должен бы сказать он, ведь он был поэт — и поэт тоже. Но я не хотела нарушать его скорбь... Тут вдруг он остановился и сказал — но, право, это не было слово поэта:

— Наверно, ты тоже чертовски голодна?

Конечно же, он знал кафе тут неподалеку. Почему — конечно? Потому, что в тот день все складывалось само собой. Он не искал, не расспрашивал, не выбирал. И не было нужды с озабоченным видом изучать меню. Он угадывал мои вкусы, а официант угадывал его желания. В нем жила та радость, что сообщается другим без слов, и властность, которой покорялись все. Все покорялись ему; казалось, мы произвели переворот в маленьком ресторанном мире, мы — двое скромных, нетребовательных жителей огромного города. Приветливость и дружелюбие звучали в его словах, и, согретые ими, люди наперебой старались ему угодить. А он будто излучал свет, и все они ощущали это — и тот, что наполнял вином наши бокалы, и тот, что подавал нам обед, и цветочница, продававшая фиалки, и уличный певец, которого поначалу хотели прогнать... Мы видели, как официант на бегу чмокнул в щеку буфетчицу.

— Это моя жена, — извинился он, проносясь мимо нас.

— А это — моя! — сказал Вилфред и вытер мне рот салфеткой, прежде чем запечатлеть на нем долгий поцелуй...

— Тебя здесь знают? — спросила я. Я не могла говорить ни о чем серьезном, — только о совершеннейших пустяках, лишенных значения. И то, о чем я спросила, тоже не имело значения, разве что ревность снова кольнула в сердце.

— Тебя знают! — весело ответил он. Знают двух счастливых мошек...

— Мне всюду мерещатся скворцы, — сказала я, — противные скворцы!

— Мы шли на запад, — сказал он, — и солнце светило нам в глаза. Все от солнца...

Он заметил, что мы шли на запад. Подозрительность снова шевельнулась во мне. Значит, он сохранил ясность мысли, когда я вся была будто в тумане.

— Даже когда меня повезут на кладбище, я и то буду знать направление, — сказал он. И я вспомнила его дар угадывать чужие мысли и чувства.

— После,— сказал он,— когда я буду провожать тебя домой, мы пойдем еще дальше на запад.

Я подумала: «Он проводит меня домой... сегодня вечером; неужто это все тот же день? Неужто это тот же самый день, когда я стояла перед зеркалом и пудрилась в коридоре английского пансиона на улице Президента Вильсона? Тот же самый день, когда я решила пойти на похороны — просто, чтобы присутствовать там, может, даже, чтобы увидеть Вилфреда, только, уж конечно, не для того, чтобы он увидел меня, и, уж конечно, не для того, чтобы встретиться с ним, а может, все же, чтобы встретиться с ним, поздоровавшись, выразить сочувствие и затем сразу уйти, ну, самое большее, минуту поговорить с ним у какой-нибудь могилы, в крайнем случае вместе пройти мимо памятников к выходу, все время сохраняя рассеянную отчужденность, — так обычно старые друзья вместе покидают кладбище после утраты... Неужто это все тот же день? И он сказал: «Домой»...

Мы вместе пошли «домой» — к дому, который уже был мной покинут, который — я это знала, скоро будет покинут, — как только он меня позовет. Я самостоятельный человек, артистка. Я была самостоятельным человеком, сколько себя помню. Но теперь вдруг утратила всю свою самостоятельность. И все же, когда он хотел было взять такси, у меня достало воли сжать его руку, чтобы удержать его, впрочем, он этого и ожидал. Он знал, что я люблю ходить пешком. Он сам любил ходить пешком. Мы с ним только и делали, что вместе ходили пешком в ту пору нашего первого знакомства. Как-то раз в парке, позади Ураниенбургской церкви, мы вдвоем любовались Северным сиянием, и оно будило в наших душах тоску. Он поцеловал меня, а когда кончился поцелуй, оказалось, что мы стоим по колено в снегу.

А потом — потом была одна грусть. Нет, разве? Мои успехи... я даже забыла о них. Каждый из нас в своей области понемногу шел в гору, и каждый оступался и падал. Только, пожалуй, я шла упорней, во всяком случае, ровнее его, потому что он оступался так часто...

Он сказал:

— Я был на твоём концерте.

— Я знаю.

— Ты видела меня?

— Я знала, что ты там. И что, тебе не понравилась моя игра?

— Ты робела. Какая-то скованность мешала тебе. В Лондоне ты была смелее.

— Я играла, как ученица.

— Кроме «Рондо». Тут ты осмелела.

— Да, я осмелела. Ты и это расслышал?

— И увидел тоже. По тебе ведь все видно. Когда ты шла мне навстречу на кладбище...

— Что же ты не договариваешь?

— Ты меня ненавидела!

Я сказала, подумав:

— Не очень сильно!

— Но все же немножко.

— А ты знал, что я на кладбище?

Теперь пришел его черед задуматься.

— Знал ли я? Нет, пожалуй.

— А ты ждал, что я приду?

— Нет.

— Но ты чувствовал это? Догадывался?..

Он надолго погрузился в раздумье:

— Нет.

И он обнял меня.

— Париж не завоеуешь в один день, — сказал он. Я подняла на него глаза. Может быть, он хотел меня утешить. Но он продолжал говорить в деловом тоне, без сюсюканья, к какому обычно сводятся все утешения: — Париж таит в себе много разочарований для музыканта. Достаточно вспомнить историю музыки. Я часто сопровождал дядю Рене на концерты. И много раз мы наблюдали одно и то же. Артисты, на чьем счету были одни победы — словно жемчужины на нитке, — здесь вдруг как-то тускнели. Дядя Рене говорил, что... в общем, тут комплекс причин. Лондон покорить легче. Тамошняя публика много податливей здешней. А Париж внушает музыкантам трепет. Наверно, великими своими традициями, — говорил дядя Рене.

Та же мысль мелькала и у меня. Первое, что приходит на ум. К тому же это самый простой способ утешиться. Но теперь я *знала*, что моя догадка верна. И сразу поняла, что это правда. Я узнала ее от человека, который сам ничего похожего не пережил.

— Твой дядя, — спросила я, — наверно, он был очень умен?

— Да нет, — ответил он. И рассмеялся. — Ни необыкновенного ума, ни дарований у него не было. Что же тогда привлека-

ло меня в нем, спросишь ты? Что-то другое, нечто чрезвычайно редкое. Я не знаю, как назвать это свойство. Только оно встречается очень редко...

Не сговариваясь, мы свернули вправо и скоро увидели свод Триумфальной арки на площади Звезды, позолоченной вечерним солнцем. Потом мы сидели на скамейке в парке Монсо, глядя на улицу, сверкающую вереницами машин. Вилфред положил теплую руку на мой затылок. Было что-то дружеское в этом целомудренном касании, будившем во мне благодарность и безмолвное обещание: «После!» Я подумала: он угадал мою неопытность, столь обременительную в среде искушенных. Теперь я рада ей. И он ей рад.

День медленно угасал у нас на глазах. Один из тех сентябрьских дней, когда осень весеннее самой весны. Пичужки, мошара вдруг стали виться вокруг пас как одержимые. Всюду кипела жизнь, но тяжелая листва источала столь безмерный покой, что мы сочли себя обязанными перейти на шепот.

— В ту пору, когда ты нанизывала успехи,— спросил он, — ты никогда не сомневалась в себе?

Я не знала, я не помнила никаких успехов. Я вообще ничего не помнила из того, что было прежде.

— Просто я старалась играть в меру моих сил.

Ответ прозвучал так нарочито, деланным простодушием.

— Не верю,— сказал он. — Не верю, что можно играть в меру своих сил, в искусстве это невысказано. Артист или превосходит себя, или играет ниже своих возможностей.

Но я страшилась разговоров об искусстве. Знали бы люди, сколько в нем труда, самого обыкновенного механического труда.

— Словом, я усердно работала.

— В прошедшем времени?

Его рука еле ощутимо сжала мой затылок. Рука эта будто догадывалась, сколь радостно мне это касание. Конечно, догадывалась. А не то — не могла бы дарить мне такую радость.

— Я и сейчас усердно работаю. И буду усердно работать.

Вблизи жужжанье шмелей и пчел, вдаль — жужжанье машин... Его рука на моем затылке. И на его затылке моя рука. С властной нежностью он повернул мою голову к себе:

— Будешь не только работать...

Он улыбнулся. Он нарочно надевал на себя маску грешника, хуже того — искусителя. Я тронула его подбородок, уже слегка шероховатый.

— Ты бы лучше отрастил бороду, сейчас многие носят бороду.

— Я уже пробовал. Она рыжая.

Мы болтали о пустяках, глядя, как клонится к закату солнце. Теперь оно уже почти скрылось между деревьями ближе к Нейи. Мы болтали о пустяках, но в них было то, что всего важнее в жизни. Я почувствовала, что озябла, и в тот же миг он поднялся с места. Я спросила, не озяб ли он.

— Не я, а ты, — ответил он спокойно.

Он был так спокоен, а во мне билась тоска, может, он смеется надо мной? Нет, не смеется. В его спокойствии — уважение, род заботы. Я ощутила эту заботу, когда он переводил меня через площадь, с ее бурным движением. Последний луч солнца коснулся вершины Триумфальной арки. Он размывал очертания, придавал им зыбкость.

Зыбкость была разлита во всем, когда мы спускались вниз по строгой улице Марсо, столь непарижской в своей размеренности. Тень была так глубока, будто мы брели под водой. Он вывел меня к моей улице. Метнул быстрый взгляд на дом со скромной вывеской пансиона. Насмешливая улыбка скользнула по его лицу. И сразу же меня сковала усталость. Лестница... Обычно я пешком поднималась на пятый этаж, перескакивая через две ступеньки. Сейчас я с благодарностью вспомнила о лифте.

Его руки легко коснулись моих плеч. Обещание? Уговор?

Во всяком случае, никакого иного уговора между нами не было. Он все еще стоял внизу, когда я проходила мимо окна на первой лестничной площадке, потом — на второй, на третьей. Потому, что я все-таки не стала подниматься на лифте. А он стоял, будто осиянный золотом, хотя солнце уже зашло.

10

Как хрупка наша память! Я говорю: помню... Смысл: я знаю, что это было. Но хранит ли память зрительный образ — тот, что вошел в меня, и живет во мне, и с тех пор стал частью моего существа?

Потрясение, которое вызвал на другое утро телефонный звонок — телефон звонил в конце покрытого лаком узкого коридора, — во всяком случае, запомнилось мне навсегда. Наша хорошенькая горничная Нелли выбежала мне навстречу с вестью,

которую я уже знала. Ее любопытное личико светилось восторгом сопричастности:

— Мадемуазель, вас к телефону!

Словно она не знала, что я уже это знаю. И я подумала: надо будет непременно что-нибудь подарить ей.

После, стоя у окна, я увидела, как подъехал маленький зеленый «ситроэн». Вилфред высунул голову и помахал мне, а потом я села в машину так, будто всю жизнь сидела рядом с ним в его машине...

Потом был переезд — как-никак набралось пять больших и два маленьких чемодана — и он спросил: может, я возьмусь отгадать, где он живет, и я сказала: в одной из кривых улочек позади Сен-Сюльпис, и — отгадала!

Было душно и сыровато в этой улочке, глубокой щелью пролеглая между угрюмых домов, но за сводчатыми воротами открывался двор — двор с желтой водоразборной колонкой, окаймленный цветником. Наверху — две крошечные комнатухи, заставленные вразброс нелепой мебелью, и еще огромная пустая комната с мольбертом и двумя табуретками, выпачканными краской. Он думал съехать с этой квартиры. А я хотела здесь жить. Я уже жила здесь, я всю жизнь только здесь и жила. Он ласкал меня так, что мне хотелось здесь жить, ласка его таила знание — знание взрослого мужчины о женщине, которая неопытна не по годам. Благодаря ему «первое объятие» не испугало меня, да оно и не было первым, а казалось естественным продолжением мечты, которой, сама того не зная, я жила. И когда его ласка погасила во мне смятение, он встал во всей светлой своей наготе и, подойдя к смешному маленькому фортепьяно с желтыми клавишами, сыграл «Марсельезу», да так громко, что женщины на дворе отставили в сторону ведра и, застыв вокруг бьющей струи, в ужасе слушали музыку. Когда инструмент так сильно расстроен, как тот, пожалуй, выходит даже красиво, вроде трогательных криков ребенка.

— А знала ты, — спросил он, отойдя от фортепьяно, — в чем секрет восхитительных французских гармоник? Они настроены на полтона ниже, чем положено.

Потом была лодочная прогулка в Шарантоне; шальное катанье в Венсенском лесу, который мы исколесили вдоль и поперек; пешие прогулки вдоль Марны с корзинкой для завтрака... Нет, нет, все это — не в один день, не в одну неделю. Может, прошли секунды, а может, годы. Но все они — часть моего существа, одно слитное воспоминание, моя жизнь...

Был непреременный визит к моему брату, к его французскому семейству в уютной квартирке на улице Бак. Прежде я обедала там каждую пятницу, но теперь я уже забыла брата, всех забыла, даже малютку Жака, семилетнего мальчугана, соединявшего мечтательную библейскую красоту с благовоспитанной французской веселостью. Помню, как счастлива я была, что Вилфред с первой минуты завоевал расположение Жака. И еще помню деликатное любопытство Эмилии, ее недоуменный взгляд в сторону мужа: прилично ли такое? И веселые глаза брата — будто мы снова стали детьми, как некогда дома, в Христиании, где все члены семьи нежно любили друг друга... И глубокое волнение Вилфреда, когда после мы вдвоем побрели к Сене, мы шли на север, он научил меня определять направление, надо всегда знать направление, всегда знать, куда идешь, говорил он, и он рассказал, как некогда поразила его сплоченность нашей семьи в ту пору, когда мы с ним были подростками и учились в консерватории на улице Нурдала Бруна, рассказал, как она поразила и взволновала его... Факты, давно забытые мной, по оставившие острый след в его сердце, о чем я не подозревала, крупницы меня самой, долгие годы хранившиеся его памятью, выплескивались наружу и вновь становились мною, обретая новый смысл. Да, смысл. Он даровал смысл всему, что я едва замечала, давал ответ на невысказанные вопросы. Он сделал меня вместилищем любопытных свойств, и это было лестно. Поначалу я думала, что это лесть, хотя в душе и она была мне сладка и приятна, но потом я поняла, что ошиблась: просто любовь его пробудила во мне взрыв собственного достоинства, знание о себе самой, которое уже было достоинством. И помню мое волнение, когда как-то раз — наконец-то! — он повернул некоторые из картин в своей мастерской ко мне лицом, сделал он это с легким смущением, может, даже с грустью — хотя это я поняла лишь много позже, — словом, он повернул картины лицом ко мне и потом одну за другой водружал на мольберт, а некоторые клал на табуретки. Все это заняло лишь мгновенья — казалось, он в одно и то же время хотел и не хотел показывать их, и я стала смотреть — не то чтобы я очень много смыслила в живописи, — но я — нет, не смотрела, — я впитывала их, я ими жила... И он остановил меня быстрым движением руки, будто приложил палец к губам: «Тс-с, только не вздумай ничего говорить...» Он почувствовал мой восторг, но не понимал, что я не найду верных слов, и сам он нуждался в моем восторге, но не хотел его принимать.

Значит, он и тогда не допускал меня к себе, но он мгновенно смягчил неловкость пожатием плеч, как бы сказав мне: «Это всего лишь некоторые из моих работ, все это пустяки», а взгляды его говорил: «Все это пустяки. Решительно все — важно лишь то, что я тебя люблю». Но он не произнес слова «люблю». Тогда не произнес. Только много позднее он произнес его. И я не услышала в нем ни торжества, ни ликования, одно лишь благоговение перед тем великим, чем богат мир.

Только много позднее он показал мне огромные полотна, которые чуть не убили меня. Но это было уже в другом месте, в другом конце города и вообще много, много позднее...

А наши полные детского веселья вылазки на окраинные ярмарки, увлекательные приключения под музыку карусели, в свете огней, наши прогулки теплыми вечерами, когда над ленивыми кронами деревьев грозно нависали дождевые тучи, но тучи никогда не отдавали земле больше сотни капель, — теплых капель, которые ложились в пыль темными пятнышками и быстро сжимались на глазах у всех. А ловкость Вилфреда... удочкой, с петлей на конце, он выуживал из закутка толстые бутылки с сомюрским вином. Я предпринимала одну за другой тщетные попытки, мы ухлопали на это кучу денег, зато он вытаскивал бутылки одну за другой, при этом лишь слегка кивая головой, он работал, как профессионал, будто всю свою жизнь только и делал, что вытаскивал бутылки из закутков, и владелец аттракциона предложил ему сто франков отступного, чтобы только он перестал доставать бутылки, и Вилфред взял деньги! Все вокруг смеялись. И мы ели жареный картофель и пили красное вино за четыре франка из премиальной сотни в киоске, где торговала толстуха, которая оказалась женой владельца бутылки, и все смеялись из-за этого тоже. И мы растратили наш капитал, без счета вертясь на карусели, которой распорядился брюнет с сальными кудрями, оказавшийся зятем владельца бутылки, и все вокруг тоже узнали это, и все смеялись. «Деньги останутся в семье!» — сказали они. А на карусели мы садились в самолетик, который с каждым оборотом взлетал все выше и далеко-далеко в сторону, как казалось, над крышами домов, и я при спуске чуть не лишалась чувств, чего, впрочем, и ждали от меня.

А после он стоял у киоска, в руках у него было пять пачек сахара, и бутылки, и игрушечные медведь и обезьянка, умевшая лазать, и мы подарили все это богатство первому попавшемуся нам семейству, которое тоже чуть не лишилось чувств,

подарили все, кроме обезьянки: она со мной и сейчас, она всегда со мной — а когда мы подошли к автомобилю, Вилфред обернулся, чтобы оглядеть все, с чем мы только что расстались: карусель, колесо счастья, качели и американские горы — все сверкало в ночи маленькими манящими огоньками, и он сказал с непонятной грустью:

— Эти карусели — моя судьба.

Память!.. Что из сонма ничтожных мелочей, составляющих день, отложится в ней? Что — мелочь, а что, напротив — важно? Я забыла многое из того, что важно, все забыла, что важно...

Потом я узнала, что важно прошлое. Ничто нельзя вырвать из взаимосвязи, как бы ты этого ни хотел. Кажется, в тот же день — впрочем, у меня смешались все дни — он рассказал мне, что скоро станет отцом. Ему придется ненадолго уехать — навестить женщину, которая вот-вот родит от него ребенка. Я испытала двойственное чувство: сначала я не слишком удивилась этой вести, во всяком случае, не считала себя обязанной выказать удивление, но в то же время весть эта поразила меня. Потом я вознегодовала: жаль было брошенную молодую женщину. Но Вилфред успокоил меня. Он говорил об этом без цинизма. Она полюбила другого и собирается за него замуж... Мне было досадно оттого, что он так легко вышел из положения, но я умолкла, когда он спокойно, с тихой грустью сказал:

— Я уже и сейчас люблю этого ребенка. Я мечтал бы взять его к себе...

Да, важно прошлое и важна взаимосвязь. А нам ведь так хотелось, чтобы паше маленькое бытие было чем-то исключительным в мире, без какой-либо связи с прошлым и будущим, но этого не получилось. Никогда ничего не получается так, как мы хотим. Я сидела и слушала, как он рассказывал мне про ребенка, и думала, что только сейчас стала взрослой, вот сейчас, в этот самый миг — да, наверно, это было так. Раньше я думала, что жизнь — это упражняться каждый день по четыре часа и затем час отдыхать, а вечером ехать на концерт. Наверно, я думала так. И еще, наверно, думала, будто каждый человек обрамлен рамкой, как картина, и развивается внутри ее по своим собственным законам, словно вокруг нет большого, огромного мира.

Однажды мы сидели вдвоем в пустой комнате, служившей ему мастерской. Тут только я заметила, что картины исчезли. Я быстро начала подсчитывать в уме, когда же я видела их в последний раз. Мы редко заходили в мастерскую: здесь всегда было сыро и холодно. Вилфред смущенно объяснил: картины он отослал на родину, на выставку. Спустя несколько дней после того, как я их увидела, он наконец решился: послал их туда. Там, у нас на родине, как раз освободился выставочный зал. С тех пор как он их отослал, уже прошел месяц. Даже и тут я не удивилась, только подумала: месяц, значит, мы уже месяц...

Он обласкал меня улыбкой. Он тоже подумал, что вот уже месяц... Меня вдруг осенило: значит, выставка там, на родине, уже открылась! Я ни о чем не смела спросить. Я вспомнила странную книгу, которую он выпустил в свет нынешней весной. Он не знал, что я ее читала, он ни разу не спросил об этом. Дома он ее не держал, я искала ее и не нашла. Я снова натолкнулась на стену, ограждавшую его одиночество, как в ту пору, когда мы были детьми. Он вдруг спросил:

— А ты бывала когда-нибудь в Бретани? Едем в Бретань!

Он принял решение мигом — только бы избежать моих впросов о выставке. Значит, отзывы о ней были не столь уж лестны, может, его упрекали за излишний экспрессионизм, или как он там называется. А я знала, что картины его хороши и выразительны. Хороша была и книга его «Измерения». Книгу эту перевозили до небес, но при этом толковали ее не так, как сделала бы я. Мне о многом хотелось его спросить. Но он стоял у окна, и лицо его было сумрачно, хотя в мастерскую струился с улицы холодный свет. Я молила небо о чем-то — я точно не знала, о чем, — о том, чтобы он допустил меня в свое одиночество. Он объявил:

— Предсказывают новую волну жары. Завтра же едем в Бретань.

11

Был ли тот случай первым знаком, предвестьем того, что должно случиться с ним — с нами? Нет, не думаю. Сколько счастья подарило нам бабье лето — жаркое бабье лето у моря. И как лжива память: не одни золотые дни дарили счастье. Но тот день запомнился навсегда.

В тот день... не правда ли, воспоминания всегда окрашены в определенный цвет?.. Память удержала картину: ядовито-зеленое море мелкими сердитыми волнами колыхалось под солнцем, простершим сквозь грозовые тучи лихорадочно-жгучие щупальца. И не только море — вся картина выдержана в зеленом, но не в том приветливом зеленом, который дарует отдохновение, — зловещий зеленый цвет отдавал фаянсом. Даже в маленьком рыбацком поселке у моря всюду разлит зеленый отблеск — женщины, будто деревянные идолы, стояли там на перекрестках с вязаньем в руках, женщины в строгих черных платьях с высоким лифом, в накрахмаленных чепцах, похожих на сахарные головы: чепцы кивали степенно, в такт редким словам, которыми перебрасывались вяжущие рыбачки. Лица женщин, даже белые конусы чепцов, виделись будто в зеленом тумане. И Вилфреда тоже угнетал зеленый туман, он ушел в дюны — сделать несколько набросков, но скоро возвратился домой в нашу маленькую гостиницу.

— Один день здесь все лиловое, — улыбаясь, сказал он мне, — а на другой день — все зеленое...

Он посмеивался над собственной удрученностью, надомной — я положила скрипку назад в футляр, так ничего и не сыграв. Он хотел, чтобы мы вместе пошли на жаркий пляж, но я в тот день не могла купаться.

— Когда же наконец будет у тебя ребенок? — небрежно обронил он — и это тоже с кокетливой обидой. Но, может, он и вправду хотел ребенка? Думаю, что хотел. Но я этого не хотела. Тогда не хотела. Я сказала:

— У тебя ведь есть ребенок! — Напрасно я это сказала, но он и тут рассмеялся. Это был один из его легковесных дней, я немного страшилась их.

— Хорошо, — сказала она, — я один буду купаться с мола.

Мы пошли вниз по улице к морю.

Вечер был густо-зеленый. Лишь редкие вязальщицы оставались теперь на улице. Остальные пошли домой, чтобы приготовить обед для мужчин, которые возвращались с ловли сардин перед закатом, — красивые, статные парни в синих блузах, кто без руки, кто без ноги... Почти все участвовали в битве за Дарданеллы, и битва эта пометила их на всю жизнь.

Они сейчас в море. На молу — никого. Всего через каких-нибудь несколько часов мол превратится в огромный рынок — когда вернутся лодки с серыми, голубыми и горчично-желтыми

парусами, парусами цвета охры решительно всех оттенков — тогда на торжище сбегается весь поселок, приходят сюда и важные матроны — скупщицы рыбы для фабрик. Прочно припаявшись к тумбам причала, они стоят, наперебой предлагая свою цену, пока подсчитывается улов. Женщины предлагают низкую цену, а рыбаки — высокую, но сходятся всякий раз на одной цене: той же, что и вчера. Каждый день на закате разыгрывался один и тот же спектакль, и всякий раз мы наблюдали его с волнением.

Был прилив, когда Вилфред нырнул с мола. После я вспомнила, что заметила сверху на столбах причала узкий влажный манжет: вода вдруг быстро начала опадать. Скоро низкий, уютный мол будет торчать словно башня над морем сплошного песка...

Каким образом впоследствии вспоминаешь то, что раньше заметил, но не осознал? Потому что я и вправду это заметила. Но много ли толку от наблюдений того, кто не знает моря и не может сделать из увиденного верный вывод?..

Скоро я поняла все. Голова Вилфреда вынырнула далеко впереди в широком просторе залива. Голова темная, блестящая, мокрая, словно у моржа. Как могло случиться, что он уплыл так далеко за такое короткое время? Я видела, как он плыл — быстрыми, сильными саженками. Будто летел на крыльях. Ядовитые лучи солнца — точно сноп света сквозь витраж — выхватили вдруг сверкающую от влаги голову там, впереди. И теперь голова казалась просто темной точкой.

Тут только я поняла, что начался отлив... Вилфред, с его безошибочным чувством времени, с его кровной связью с природой, на этот раз позабыл обо всем — то ли так торопился скорей очутиться в море, то ли был так подавлен зеленым маревом, почему я знаю? Заметил ли он, как далеко заплыл? Тут он обернулся назад, и я увидела, безошибочно поняла по какому-то признаку, я не могла видеть его лица — но я увидела, как его охватил страх, увидела это по тому, что он вдруг повернул в другую сторону — в его движениях появилась целеустремленность — и поплыл к мысу, лежащему далеко вправо. Это была его последняя надежда. Впереди расстилалось открытое море, без каких-либо прибрежных островков — сколько раз мы любовались этой картиной с пляжа!

Я стремглав ринулась вверх по улице — к первому кружку вяжущих женщин на углу, но, не понимая моего французского языка, они лишь подняли головы от своего вязанья и вяло, бес-

страстно разглядывали меня. Но в следующий же миг они испуганно и взволнованно обернулись к морю. Тут только я заметила, что прижимаю к груди синий купальный халат Вилфреда. *Его* они увидели и поняли все.

Рыбачки, в тяжелых черных юбках, напоминающих стога сена, вдруг заметались, забегали. Они хрипло кричали друг другу что-то на непонятном бретонском наречии. В окнах, в воротах показались люди. Рыбачки заполнили всю улицу, быстро кивая сахарными чепцами, они стрекотали, квохтали, вскрикивали надрывно. Одна из них выбежала на мол, но у причала не было ни одной лодки. Я уже и раньше это заметила. Выходя на промысел поутру, рыбаки всегда уводили с собой на буксире и маленькие лодчонки. И весь долгий день напролет поселок был отрезан от моря.

Сумятица не стихала. Все мы думали об одном и том же — об этом, наверно, и кричали рыбачки: как добраться до мыса, ведь путь туда бесконечно долог! Сначала вверх по длинной улице, до самого ее конца, потом — перелеском, и дальше — берегом моря, которое здесь образует большую бухту; когда они ездят туда за водорослями на примитивных телегах, запряженных тощими конягами, это занимает целый день. Мыс казался мне самым отдаленным местом на земле. И рыбачки кричали то же самое. Я обернулась к морю. Там, впереди, между разрозненных вспышек, которые зажигало солнце на вспенивающихся волнах, поблескивала его голова. Невооруженным глазом было видно, сколь неравны силы в борьбе между морем и им. С мола доносился теперь ровный гул отлива, мощного потока воды, стремительно увлекаемого в океан. Хлюпанье волн о столбы причала переросло в шум водопада. Вода бурлила, вспениваясь черными вихрями, которые тут же поглощали волны, свирепо вздымавшиеся навстречу отливающим водам.

И тут новый звук ворвался в шум водопада — звук, исполненный благословенной надежды, — треск мотора. Из одних ворот выехала женщина на мотовелосипеде. Это был старый, видавший виды велосипед почтальона, тот самый, что по утрам распугивал всех прохожих, когда его хозяин спешил за почтой в ближайший городок. А сейчас машину оседлала сама почтариха, она ехала на велосипеде, подогнув под себя широкие юбки, из которых торчали две тощие ноги в черных чулках. Все это я видела, но мысленно была там, в волнах, всем телом осязая, как Вилфред отчаянно борется с морем, чтобы достичь мыса на западе — последняя его надежда...

Почтариха сражалась с тяжелым велосипедом, бесновавшимся, точно необъезженный жеребец под неумелым всадником. Она что-то крикнула мне, но я уже бежала к ней. В тот же миг, как я вскочила в седло, чудище с ревом сорвалось с места. Все кипело вокруг, зелеными вихрями клубилась пыль, рыбачки неуклюже кидались в сторону, дома мчались мимо нас — и над всем стоял зеленый отсвет, зловещий спутник этого дня. Поселок неожиданно кончился, велосипед, нырнув в жидкую рощицу, неровными скачками перелетал с кочки на кочку. Я вцепилась в седло, то есть сперва в седло, потом — в мощное тело почтарихи, сидевшей впереди. Она же вцепилась в руль, к которому были прикреплены ручки газа и зажигания. Буйным фейерверком пронесился велосипед между тонких стволов. Раз он упал плашмя на землю, лежал, яростно рыча, толчками выпуская дым и пар. Но нам удалось вновь поставить его на колеса. И бешеная гонка продолжалась с кочки на кочку, через ямы, сквозь кучи торфа, выставленного для просушки. Мы прорывались насквозь, облако торфяной пыли летело за нами, но мы все равно прорывались, минуя кучу за кучей, будто сквозь груды желто-зеленой шерсти.

Вдруг за подпрыгивающим в тряске плечом, в которое я вцепилась, я увидела море. Бескрайнее, в мелкой ряби, море, грозившее унести Вилфреда в свой открытый простор. Только внутри бухты, где отлив был всегда сильнее, бурно ходили волны. Но открытое море расстиралось вдаль, сверкая почти ровной гладью, — безжалостное и бесконечное.

Женщина впереди меня с силой повернула велосипед к берегу, теперь дело пошло легче. Перелески, торфяные болота сменил волнообразный песок, покрытый местами жесткой травой. Впереди были песчаные дюны, в рыхлой почве могли увязнуть колеса. Но там, за дюнами, ближе к морю, нас снова ждала твердая дорога.

Наш велосипед, словно бешеное чудище, мчался к берегу, взрывая песок, его шатало и бросало из стороны в сторону. Но могучая женщина впереди меня обуздала его. Не умением — силой. Впрочем, за время нашей отчаянной гонки она успела кое-чему научиться. Всякий раз, когда казалось: мы вот-вот перевернемся и упадем, она мгновенно выравнивала машину. Такую гонку я видала в кино: разъяренное животное всеми силами старалось сбросить тяжелую ношу — упорного седока. Но на этот раз седоки не дали себя сбросить! Они вцепились в своего разъяренного скакуна и мчались, живя одной надеждой...

Надеждой на что? Впервые я вдруг поняла в этот миг, что даже если мы вовремя поспеем к мысу...

Я не смела додумать до конца. Может, у бесстрашной женщины есть какой-то план? Но какой? Мне уже виделось, как мы стоим на мысу — две женщины на крайней оконечности суши, отважившиеся на поединок с немилосердным потоком, который пронесет пловца мимо нас, словно бутылку, кем-то брошенную в воду.

Рыхлый песок был уже позади. Теперь, когда под колесами стлалась твердая почва, велосипед покатил к морю на бешеной скорости. Мы обе вскрикнули одновременно. Что мы кричали? Может быть: «Вот! Вот он!» Но, скорее всего, это был просто вопль, какой вырывается у человека в час страшной беды — во все времена люди вопили так в час беды. Почтариха напропалую гнала машину к мысу. Мыс был окутан тенью. Но за ним в быстром потоке волн снова переливался ядовитый желто-зеленый свет. Там вдалеке я увидела... или, может, я ничего не увидела? Может, просто море злобно всплескивалось в бухте, где особенно силен был отлив? Снова громко крикнула женщина впереди меня. Но на этот раз она кричала не просто так. Я всем существом слушала, смотрела. Да, чуть влево от мыса, под ярким солнцем стояла у своей углой старой телеги сборщица водорослей. Она стояла в воде до самых бедер и прутом секла жеребца по самому чувствительному месту — брюху; как я порой ненавидела за это бедных женщин, занятых таким тяжелым трудом! И вот сейчас судьба Вилфреда зависела от этой женщины. Я увидела, как, взмахнув в очередной раз толстым прутом, она вдруг уронила его и прислушалась то ли к шуму мотора, то ли к крикам почтарихи...

Обе женщины, кажется, поняли друг друга. Где уж мне было знать, что кричали друг другу эти морячки, день-деньской выполняющие мужскую работу! Сборщица водорослей, та, что стояла по самые бедра в море, вдруг опустила руку с ненавистным прутом и этой же жестокой, беспощадной рукой заслонила глаза. Она увидела что-то. Она увидела то, что уже видела или, может, не видела я. И тут она сделала неожиданное — летя к ней с нашим ревушим мотором, мы видели все отчетливей с каждым мигом: она стала поворачивать повозку. Прикрикнув на жеребца, она подставила плечо под телегу, по ступицу увязшую в песке и в водорослях. Ей уже удалось наполовину повернуть ее — в сторону моря. Теперь она снова принялась хлестать жеребца по брюху. Но сейчас я уже не жалела коня, ни-

кого вообще не жалела — только его одного, того, что далеко в море сражался с волнами один на один.

Как мало сил, должно быть, у него осталось... Нет, сейчас не до жалости — одну багровую ярость ощущала я, ярость борьбы против зеленого чудовища, колыхавшегося впереди и грозившего нас засосать.

В тот же миг, когда прекратилась гонка, я услышала шум отлива в бухте: низкий, булькающий звук выдавал его зловещую мощь. Женщина и конь там, впереди, попали в водоворот. отмель, на которой они стояли, далеко заходила в море. Я знала об этом по рассказам. Но дальше дно круто обрывается к проливу, который проходим для судов, только вот песчаные дюны часто меняют место. Почтариха ринулась туда, к водоворотам. Я — за ней, вырвалась вперед. Мы словно бы стояли на страже — трое жалких, бессильных часовых, готовые поймать его, не ведая, куда же его прибудет, если вообще его прибудет куда-нибудь. Теперь я тоже отчетливо видела его. Он был еще далеко в проливе, и относило его далеко в сторону от нас — троих беспомощных баб. Но одновременно я поняла, что и он тоже увидел нас, я увидела, что он вдруг обрел надежду, что он не сдастся. Наши крики бессильно стелились над грохочущим морем. Вряд ли он слышал нас. Но зато он нас видел. Он переменил тактику. Теперь он плыл прямо навстречу отливу, надеясь, может быть, выиграть один метр расстояния против каждого пяти метров, на которые отлив относил его в море. Я подумала: какой математик жил в этом человеке, столь часто рассуждавшем о математике в живописи, о математике во всем. Да, он был наделен математическим инстинктом настолько, что порой от этого стыла кровь в жилах женщин. Математика была для него жизненным принципом. Теперь от нее зависела его жизнь. Только бы хватило сил...

Он стал понемногу выигрывать в расстоянии, он уже заметно приблизился к суше. Не сговариваясь, мы разошлись в разные стороны, чтобы увеличилось шансы поймать его. Я оказалась на крайней точке мыса. Почтариха предостерегающе вскинула руку: дальше нельзя! Я стояла теперь по пояс в воде, с трудом выдерживая могучий натиск отлива. И я знала: если его пронесет мимо, если его подведут силы, зачеркнув мудрый расчет, тогда я тоже оттолкнусь от дна и поплыву ему вслед, чтобы в последний раз обнять его, когда нас поглотит море.

И тут случилось незабываемое. Его поединок с волнами пришел к концу. Мы видели, как его голова дважды исчезла в бур-

ной стремнине. Когда голова показалась во второй раз, он уже сдался. Я тогда не могла размышлять — я просто увидела... увидела, что сила отлива ослабла. Сборщица водорослей и я стали с разных сторон прорываться сквозь массы воды — к нему. Но всего ближе к нему оказалась почтариха. Мы видели, как его, бездыханного, будто пробку, мчала вода, как его отнесло в более тихую часть бухты у побережья. Мы видели, как почтариха, похожая на большого зверя, на лосиху, пробивающую себе дорогу сквозь подлесок и заросли кустов, все глубже и глубже заходила в воду. Мы видели наконец, как грузно подавшись вперед в своем громоздком платье, она наклонилась и схватила его за плечи и долго удерживала его одна, борясь с отливом, и мы видели, что силы ее на исходе. Но тут подоспели мы. Мы подхватили, поволокли, все дальше и дальше оттаскивая тяжелое, как свинец, тело. Мы волочили его, а сами неотрывно глядели на берег. Расстояние от моря до берега было теперь больше, чем прежде от берега к морю. Вода прибывала. Она поднималась все выше и выше. Нам предстояла новая гонка не на жизнь, а на смерть. Мы видели, как море заливает отмель, где стоял наш велосипед. Еще совсем недавно там была суша. Но новый натиск безжалостного врага придал нам силы. Скоро мы выбрались на отмель. Мы поволокли тяжелое тело к берегу, куда уже тоже прихлынула вода. Наконец мы втащили его на мыс. Сюда уже не могло добраться море. Я перевернула Вилфреда на живот, головой вниз. Теперь я вдруг оказалась одна. Я положила его на песок, а сама, стоя над ним на коленях, начала растирать его отяжелевшее тело. Я видела, как почтариха уводила от моря велосипед, изо всех сил толкая вперед грузное чудище. Вдруг тело подо мной забулькало, зашевелилось, только в тот миг я осознала, что на песке лежит *он* — мужчина, человек, которого мы спасли! Он отдал морскую воду через рот и сам перевернулся на спину. И раскрыл глаза.

Тут раздался вопль оттуда, с моря, точнее, два вопля: вопль женщины и конское ржанье. Сборщица водорослей еще раньше покинула нас. Она стояла в волнах с конем и повозкой. Коняга в воде по самую шею, повозка — словно волнорез во вспененных водах прилива. И снова заржал жеребец. Заржал, оскалив желтые зубы. Но женщина схватила толстый прут или, может, все время сжимала его в смуглой руке, похожей на коготь... Вода мешала ей хлестать животное по брюху. Сунув руку под воду, она ткнула его прутом. Жеребец снова заржал: удар попал в цель и конь заметался в оглоблях. Но женщина не зевала, она

дергала ремни, с криком тянула к себе упряжку. Мы увидели, как жеребец вырвался из упряжки. Но у него не было сил бороться с приливом. И снова хозяйка метнулась к нему, ткнула его прутом. Снова отчаянно заржал жеребец, боль вернула ему силу. Два-три коротких судорожных — от боли — скачка а, — и он вырвался из водного плена. Женщина погнала его к берегу жестокими ударами прута и ласковыми словами.

Вечером мы сидели с Вилфредом на молу, башней высившемся над влажным песком; я не отпускала его рук, по-прежнему холодных, словно все тепло от моих ладоней утекало впустую. Тогда, на берегу, вдвоем с почтарихой, мы долго терли и мяли его тело, стараясь во что бы то ни стало его согреть, хоть и сами вымокли до нитки. Весь поселок живописной толпой высыпал нам навстречу, когда мы, ковыляя, вели его домой. Велосипед мы бросили на берегу: почтариха больше не хотела к нему прикасаться, как ни разу не прикасалась до сегодняшнего дня. Она просто вспомнила, что проделывал с велосипедом ее муж всякий раз на рассвете, когда она стояла и засовывала сверток с едой в его сумку, — каждое утро, год за годом. Так оседают в нашем сознании впечатления, чтобы вдруг ожить в миг острого страха, когда человек может больше, чем может...

Дружный стон вырвался из груди всех женщин, когда волны подхватили и погнали в открытое море брошенную на произвол судьбы телегу, и она потонула у нас на глазах. Вся картина казалась высеченной в зеленом камне.

Но когда после того нескончаемого дня мы сидели вечером на молу, как сидели после прилива каждый вечер, желто-зеленый туман наконец рассеялся. Далеко впереди расстилалось море, словно покрытое черным лаком, невозмутимо дожидаясь часа, когда силой луны оно вновь отхлынет от берега. Рыбаки уже разошлись по домам, а не то проследовали в погребок, в своих деревянных башмаках, гулко стучавших по круглым камням мостовой. Из погребка доносились звуки гармоник: деревенская музыка искрилась в клубах табачного дыма; усталые рыбаки грузно склонялись над некрашеными столешницами, где вокруг стаканов расплзались винные лужи. За стульями, за спиной мужчин стояли женщины, распаленные случившимся, они верещали без умолку, снова и снова рассказывая мужьям историю про сумасбродного скандинава, которого унесло в море.

Болтовня и музыка долетали до нас в потемках, звук усиливался всякий раз, когда в погребке распахивали дверь. Тогда мы знали: значит, еще одного рыбака увела домой заботливая жена, позволявшая ему стакан-другой кальвадоса — но уж никак не три — после долгого дня работы в море, на дальних отмелях, там, где небо сливается с землей и где с зари до заката рыбак одной рукой управляется с неводом.

Из окон гостиницы падал свет, играя в бурых сетях, вывешенных для просушки на берегу, на палках у самой воды. И отсюда тоже к нам притекали звуки в этот вечерний час: вода уходила, а лодки, привязанные у берега, будто усталые звери, опускались на песок, одна за другой, с тихим вздохом. Завтра на рассвете звери снова проснутся, медленный прилив поднимет их на воду, и снова они будут медленно и терпеливо покачиваться на ней, удерживаемые якорем на дне и привязью на берегу. Вздохи лодок, волшебные сети на берегу, искристая музыка, летевшая к нам с улицы всякий раз, когда распахивалась дверь погребка, — все это слилось в единую песнь на молу — песнь наших рук, которой мы клялись: никогда не умирать, никогда не попадать в беду, никогда не расставаться...

12

Катерина, почтариха, была столь же проста, сколь ловка и решительна, она и не думала в будни играть роль скромной героини. Она держала прачечную, славившуюся на всю округу, к ней приезжали из самого Кемперле, чтобы накрахмалить чепец... Катерина словно не признавала за собой никаких заслуг, кроме рабочей доблести. Но когда мы явились к ней — спросить, не пришел ли для нас денежный перевод, она встретила нас величественно, словно мы были ее детьми, а она — нашей матерью, величественной матерью из какой-нибудь античной драмы.

— Парень уже забросил бы вам бумажку, если бы что пришло, — только и сказала она.

Это мы понимали, знали и то, что «парнем» она зовет мужа — разговорчивого почтальона, повелителя велосипеда, но уж никак не супруги своей, Катерины; во всем мире ему бы подвластен один велосипед, даже свой речевой поток он и то не мог удержать, когда, случалось, повстречаешься с ним на улице.

— Так что, уж если бы вам пришел денежный перевод...

Мы получили норвежскую газету. Я прочла в ней, что шесть картин из тех, что Вилфред послал на выставку, купили у нас на родине. Может, сам он уже давно знал об этом? «После блестящих отзывов...» — писала газета. Может, он и об этом тоже знал? Я сама распечатала бандероль с газетой, а Вилфред тогда был на пляже и болтал с рыбаками, все толковал о чем-то с этими грубыми, просоленными морским ветром парнями и старался выучиться их диковинному языку.

Я выбежала ему навстречу, встретила его на улице у гостиницы, мне не терпелось сказать: «Картины проданы, и отзывы о тебе самые, самые...»

Лицо его светилось покоем. Он шел от своих приятелей рыбаков, видно, долго толковал с ними на скупом, суровом их языке. На родине о нем говорили, что у него нет друзей, а тут выходило, будто все здешние жители — его друзья. Все льнули к нему, не только женщины. Нет, мужчины добивались его дружбы, и он радостно отдавал себя им на пляже, в погребке — всюду, я видела, как ему приятно...

— Картины...

Он не дал мне договорить. На виду у всех, прямо посреди улицы, он привлек меня к себе и расцеловал. Рыбачкам эти поцелуи были не по душе. Я знала, что они им не по душе. Он рассмеялся. Рыбачки по обе стороны улицы, чтобы не смущать нас, отступили к стенам домов. Он снова поцеловал меня. Я не смогла выговорить ни слова — про газету, про отзывы, про то, что кончились деньги: мы уже за месяц задолжали в гостинице. Я сказала, что он опоздал к обеду и хозяйка сердится. Рыбачки стояли вдоль узкой улочки у стен домов и все слышали. Я сказала то, что — я знала — придется им по душе. Все они недолюбливали хозяйку: родом она была не из здешних мест.

— К черту хозяйку! — засмеялся он; вот этот язык — веселый, лихой — был им понятен, они и сами были веселые и лихие, стоило им на миг вылезть из своей скорлупы.

«К черту хозяйку!» — повторили рыбачки и тоже рассмеялись. Они знали, что мы задолжали ей денег, все-то они знали. И про то, какие мы недотепы: кто станет купаться при сильном приливе, ведь разница в уровнях воды — больше девяти метров! Отчего они смеялись, когда смеялся он? Отчего они любили его, а меня — нет? Снова я ощутила нелепую ревность. В тот же миг ревность сменилась отрадой. Что ж, пусть любят его, да, *его* пусть любят, а не женщину, которая вешается на шею полубогу...

Однажды он рассказал мне про свою учительницу, как он забавы ради доводил ее до белого каления, так что она готова была проглотить его живьем, он вообще многое рассказывал мне, все сплошь невинные вещи. Когда-то ему нравилась девушка, которая стояла в моторной лодке, подставляя солнцу лицо, радугой сверкала она в водяных брызгах. Он проиграл ее приятно в карты. Сказал он об этом так: ей, мол, повезло. А про ту, другую, что скоро родит от него ребенка, он сказал: «Так уж она решила», и, значит, в проигрыше остался он? Но он рассказывал об этом весело, всегда и обо всем — весело. А я — в тот раз на улице — так ничего и не сказала ему про то, что кончились деньги и мы задолжали за квартиру и хозяйка при встрече со мной свирепо поджимает губы. Правда, его встречали, как миллионера. Зависть боролась во мне с материнской радостью за него...

А тут еще эта Катерина, с ее прачечной и знаменитой глательней. Да, она была истинным художником. Немыслимые башни-чепцы в ее руках превращались в сказку, в торт из марципана. Она гордилась своим искусством. Нимало не кичась тем, что своей отвагой спасла человеку жизнь, она требовала, чтобы без конца восхищались ее крахмальными чепцами. Чепцы были повсюду — они стояли, лежали, висели, куда ни повернись, в ее просторной рабочей комнате с почтовым окошком, будто глазком, в который можно было подсмотреть всю эту роскошь.

— А не приходило ли для нас письмо с денежным вложением?

Она огляделась вокруг в своей сверкающей белой кондитерской из чепцов... огляделась без особого интереса.

— Письмо с денежным вложением? Да, теперь вспомнила: кажется, раз пришел какой-то толстый конверт, на той неделе, что ли, впрочем, не з н а ю . — Она начала рыться в грудях льняных наволочек и других ослепительно-белых вещей, навалом лежавших на полках и столах. Да, в самом деле. Вот оно. Она вытащила письмо из-под груды белья. У него был такой вид, будто его прогладили утюгом. Катерина с трудом, по складам, прочитала адрес: разбирать буквы, известно, нелегкое дело. Почтариха устало протянула нам конверт. Может, это и есть то самое письмо?

Вилфред рассмеялся. Он стоял, держа в руках целое состояние, и отрешенно смеялся. Величественная почтариха широко раскрыла глаза: пачка с деньгами, да еще совсем непохожими на те, что она привыкла держать в руках.

— Хотите, парень прихватит эти ваши бумажки с собой в город и обменяет их на порядочные деньги?..

Вилфред смеялся. Просунув голову далеко в глубь почтового окошка, он заливался хохотом. Катерина вторила ему. Я боялась, как бы она не обиделась, что он так смеется над ее оплошностью. Но она и сама тоже развеселилась. Она даже не поняла своего промаха. Ее дело — гладить белье. А разные письма приходят все время, на то и почта...

Спустя полчаса весь поселок знал, что скандинавские гости разбогатели. На всех улицах вязальщицы, завидев нас, поднимали от работы глаза и провожали нас почтительными взглядами.

Может, уже тогда меня что-то кольнуло в сердце? Это беспредельное легкомыслие. Не то чтобы я особенно чтילה деньги, но я любила порядок во всем и привыкла уважать хлеб насущный.

Он сказал:

— Ты уж прости меня. Я не знал, что ты всерьез тревожилась о деньгах.

Да, он и тут верно угадал и вообще был необыкновенно внимателен. Но, видно, моя озабоченность в свою очередь его раздражала. Можно ли свыкнуться с тем, что двое самых близких людей столь по-разному смотрят на житейские вещи? Он сказал и вновь угадал — до жути верно:

— Завтра ты снова сможешь играть!

— Откуда ты знаешь...

Он подмечал мои чувства лучше меня самой, и мне это было неприятно.

— Милая,— проговорил он , —я люблю тебя. А разве знать и любить — не одно и то же?

Мы снова стояли посреди улицы, на виду у всего поселка. И снова он на виду у всех обнял меня. Но теперь, когда мы сделались богачами, это не покорило никого. Он засмеялся и, взяв меня под руку, повел домой.

— Вот видишь, мы их уже многому научили, — сказал он.

Мы подошли к гостинице. Хозяйка, улыбаясь, стояла в дверях. Ей уже сообщили великую весть. Любые вести мигом облетали поселок. Хозяйка поочередно обняла нас. Втроем мы болтали, как школьники в первый день каникул. А из ее уст беспрерывно сыпались похвалы — похвала обеда, который она сию минуту нам принесет, похвалы нам, ей самой, погоде нынешней, всему поселку и всей планете.

А в жаркий час полудня, когда сквозь открытые окна проникали к нам крики чаек, долетавшие до кровати, где мы лежали, я задала ему вопрос:

— Скажи, чего ты больше всего боялся тогда, в море?

Приподнявшись на локте, он взглянул на меня сверху вниз.

— Я уже думал об этом,— ответил он. — По правде сказать, я за обедом только об этом и думал. Кажется, я больше всего боялся умереть счастливым.

Но я пребывала в том тягостном состоянии духа, когда нужно непременно все знать, когда душа не может смириться с тем, что ее не допускают к другой душе.

— Но разве не лучше умереть, пока человек счастлив? Раз уж все равно надо умирать...

— Ты говоришь «пока»? Значит, ты ждешь, что...

— Нет, нет! Ты прицепился к слову. Раз уж ты заставляешь облекать в слова смутные мысли...

Он сел на кровати:

— Что за страсть все облекать в слова!..

— Допытываться до сути!

— Облекать в слова.

— Ты хочешь сказать: въедаться в душу?

— Я хочу сказать то, что сказал. Неужели ты никогда не замечала, насколько велик разрыв между мыслью и словом?

— Ты думаешь, что слова не объемлют мысли?

Я была полна злого задора, того, что всегда только все портит и разрушает.

— Дело не в том, что слова не объемлют мысли. Совсем напротив. Этим они и опасны. Мысли должны оставаться при тебе.

Мы лежали, и каждый прислушивался к дыханию другого. Старая игра. Разве не всегда влюбленные играли в нее? Наверно, всегда, когда один жаждал полностью раствориться в другом, а тот, другой, ограждал свою свободу. Оттого, наверно, слияние душ и подменяли слиянием тел. И сейчас я ждала его, ждала его тела. Но он не обнял меня. Я склонилась над ним. Он спал. Спал самым настоящим крепким сном. Мимолетная обида скоро сменилась любопытством. Я стала разглядывать его лицо.

Оно выражало полный покой. От носа до уголков рта уже пролегли еле заметные линии. Какими они станут через несколько лет, не проглянет ли в них угрюмство, побуждающее человека замкнуться, любой ценой отгородиться от всех —

любимых, ненавистных, все равно, бежать от них в свой собственный уединенный мир, куда нет и не будет доступа чужим?!

Ледяной ветер ворвался в окно. Чайки все кричали и кричали. Значит, близость между двумя людьми невозможна? Чужая... вот, значит, кто я для него. Разве не из-за этого веками страдали люди, не этого разве они боялись, не потому ли лишали себя жизни?..

Я снова легла. Мысли мои потекли в ином направлении. До сих пор я полагала, что я сама — кузнец своего счастья. Господи, какой уж там кузнец. И какое уж там счастье? Я жила честолюбием, маниакальным стремлением к совершенству, но ведь и оно лишь мечта, вечная мука артиста. И тут в мою жизнь пришел он... нет, не то. Я пришла в его жизнь. Опять не то. Я всегда была в его жизни. Как и он в моей! Страх снопом белых ножей впился в тело. Ничего не доказано. Он был в моей жизни всегда, хотя бы как тайный источник вдохновения. Но была ли я в его?..

Неужели он и вправду обладал этим покоем, который сам по себе есть совершенство?.. Я взглянула на его руки. Они свободно лежали на одеяле, и в них тоже был тот полный покой, который приводил бы меня в ярость, если бы... если бы я не любила его. Неужто я бы предпочла, чтобы он жил в душевном разладе, как некогда в прошлом, в таком разладе вечно противоречивой души, что его называли нравственным калекой. Господи, ведь это же дело моих рук, плод нашей любви, что он переменился, и зачем только я коплю зловещие предчувствия, когда этот мир столь прекрасен, когда наша любовь возвысила моего любимого, исцелив его мятушуюся душу, как я однажды исцелила раны, которые он нажил в своих постыдных скитаниях среди темного сброда...

И снова я склонилась над ним в порыве столь безмерного счастья, что не утерпела и невольно стала гладить его лицо. Он мгновенно проснулся и взглянул на меня ясными глазами.

Когда мы вышли на улицу, легко ступая по ее колдобинам и кочкам, женщины прильнули к стеклам окон, женщины стояли в дверях домов, а во мне будто пела радость, и, казалось, всюду звенят бубенцы. Мы несли купальники, хотя отлично знали, что будем совсем одни на нескончаемом берегу по другую сторону мыса и что никакая сила в мире не заставит наши грешные тела облачиться в них. Но знали мы и то, что весь поселок следит за нами: берем ли мы с собой купальники или

нет, а после, когда мы вернемся, захочет знать, вымокли ли они...

Но там, на мысу, мы и впрямь оказались одни на свете, в нам было отрадно видеть друг друга обнаженными, голыми на голом берегу, где над голым морем кружились под солнцем чибисы...

Рука в руку мы медленно двигались навстречу морю, покуда ледяная вода не закрыла нас по пояс, и, отдавшись на волю моря, ощутили один и тот же восторг. И я думала: «Нет, он неправ, я хочу умереть счастливой. Пусть, если надо, хоть сейчас». Но море приняло нас в свое лоно, и мы затерялись, будто песчинки, и я подумала: «Нет, нет, я не хочу умирать, счастливой или несчастливой, я хочу жить, сейчас, здесь и во веки веков. Я сейчас поплыву за ним и в воде обниму его, и мы начнем тонуть, а потом будем, смеясь, отбиваться от волн и переводить дух. И я хочу жить, жить, жить...»

13

Люди, которые приезжают из отпуска... где их дом! Громыханье большого города обрушилось на нас еще на Монпарнасском вокзале. Деловитая суета, царившая кругом, была укором всякому, кто непростительно погружен в себя. Улицы кишели людьми, целеустремленно сновавшими взад и вперед, мы же привыкли к людям, которые *глядят* на тебя... Сотни голов на улицах казались заблудившимися небесными телами в бескрайнем пространстве, наполненном вечным движением. Теперь мы, старые парижане, снова сидели по вечерам в кафе и, словно новички, беспрерывно изумлялись всему. Уличные музыканты по-прежнему наигрывали «Валенсию» — вот уже полгода, как эта песня звучала повсюду.

Наши земляки, теряясь в толпе, удивленно раскрывали глаза...

А я — давний житель Парижа, уютно окопалась в моей привычке к нему, впрочем, именно сейчас, загорелая, пышущая здоровьем, я все же чувствовала себя чужой в анемичной здешней атмосфере с постоянными толками об искусстве, с беспрерывным смакованием ничтожных происшествий. Скрипачку Мириам Стайн после отпуска дома ожидало письмо, извещавшее, что ее ходатайство, поданное через международную организацию музыкантов, удовлетворено: она принята в постоянный оркестр при парижском муниципалитете. Хоть я и не была

музыкантом с мировым именем, меня если и не зазывали наперебой, то, во всяком случае, принимали. Так, значит, я принята!

Вскинув брови, Вилфред взглянул на меня тем самым умирительным дедовским взглядом, когда, казалось, ему не 27, а все 54, мне же не 24, а всего 12. Он радовался моей удаче и сказал весело:

— Ты добилась признания. Это не так легко — добиться признания.

Я настороженно искала в его взгляде и тоне следы иронии, но не нашла. Я подумала вдруг, насколько чуждо должно быть ему подобное честолюбие. Но разве его самого не хвалили за все, чем бы он только ни занялся?.. Я не знала, к чему он стремится.

Со сдержанным напряжением выслушивал он комплименты по случаю выставки его картин на родине: дескать, выставка эта — пощечина тем траченным молью старым критикам, которые не доросли даже до фовизма. Вилфреда наперебой приглашали в разные мастерские на чердаках — смотреть самые что ни на есть авангардистские картины, ровным счетом ничего не изображавшие. На бульваре Распай в ту пору открылась выставка Боннара; впрочем, Боннара эта публика сторонилась, даже почтенную голову Матисса и то готовы были снести. «А знаете ли вы болгарского художника Папасова? — спрашивали нас. — Он всегда пишет исключительно телеграфные столбы, зашифрованные телеграфные столбы, никто и не догадается, что это такое». Одна восторженная дама с прической под малярную кисть, глубоко заглянув Вилфреду в глаза, попросила у него совета.

— Напишите корову! — сказал он ей. И когда смех заглох: — Я всерьез вам это говорю, попробуйте написать корову в точности такой, какая она есть, и вы увидите, как это трудно.

Дама смущенно уставилась на него. Что он — смеялся над ней, над ними всеми или же попросту был старомодный натуралист, ненадолго увлекшийся экспрессионизмом? Что он хотел сказать этим советом? Зачем ей корова? Какой от нее прок?

— Делайте с коровой, что хотите, — сердито ответил Вилфред, — но сначала научитесь ее рисовать.

Когда мы остались одни, он сказал с досадой:

— Подумать только — эта шайка готова скомпрометировать все, чего истинные художники добились с помощью революции в искусстве!..

Он постарался скорей позабыть об этом случае. Мы вообще старались обо всем забывать. Горластые разносчики газет выкрикивали между взвизгами трамваев, что Германию приняли в Лигу Наций. Мы и это тоже постарались забыть, как и то, что Бриан согласился встретиться с Муссолини...

Меня пригласили на первую репетицию. Предстоял публичный концерт в честь президента Пуанкаре. Вилфред проводил меня к унылому дому в стиле девяностых годов у Люксембургского сада, где должен был состояться смотр наших сил. Мы вошли в темный коридор и ошупью искали дверь или человека, который бы нам помог.

Когда глаза наши привыкли к потемкам, мы разглядели слабую полоску света в конце коридора. Оттуда, изнутри, до нас доносился голос. Почему-то мы вдруг застыли на месте. Плылся мужской голос:

— Опять эти чужаки тут как тут! Будто наши собственные музыканты не терпят нужду!

Мы замерли, слушая, что будет дальше. Какая-то женщина подхватила пронзительным голосом:

— И уж, конечно, еврейка. Эти евреи всюду пролезут...

Вилфред схватил меня за руку. Так крепко, что я ощутила это, хотя вся оцепенела почти до бесчувственности. Я смутно различала его лицо во тьме коридора. Он так загорел, что лицо его почти сливалось с мраком. Я стояла и думала: «Я впервые переживаю это». Конечно, я слыхала о таких вещах: дома, на родине, многое рассказывали. Я вдруг отчетливо услышала отцовский голос: «...только никогда не подавать виду... ни-почем не поддаваться...» И бурные возражения моих братьев... И снова низкий, спокойный голос отца: «Ни за что не поддаваться!»

Я стояла и думала: «Вот теперь и мне довелось это пережить. И мне тоже». Одна лишь эта мысль вертелась у меня в голове, и казалось — я всегда знала, что раньше или позже *это* непременно случится, просто сама оттягивала, из трусости. У меня вырвался тихий стон, потом Вилфред заговорил, и я слышала слова, какими он утешал меня, но не различала их — слышала только звук, нежный, утешительный звук — лучшее средство от слез.

Разговор в зале смолк. Я прошептала:

— Я не пойду туда...

Он шепотом ответил:

— Ты должна. Ты должна сквозь это пройти. Не пройдешь сейчас...

Странно было слышать от него такие слова. Счастье борьбы как будто никогда не вдохновляло его. Впрочем, что я знала о нем?

Но я все стояла, до одурения повторяя: «Я не могу, не пойду». Все завертелось вокруг меня. Я прижала к себе футляр со скрипкой, который Вилфред отдал мне, когда мы вошли в дом. Он предполагал тут же уйти, но почему-то решил проводить меня до самого зала. Может, лучше бы ему не слышать этого? Но, может, он догадывался о том, что меня ждет? Он же всегда обо всем догадывался. Мне вспомнились вдруг газетные заголовки: «Демонстрации против засилья иностранцев». «Туристский автобус на Елисейских полях опрокинут». «Спекулянты валютой...»

Может, то была лишь случайная, вздорная вспышка ненависти к иностранцам в этом гостеприимном городе с неожиданными его причудами? Минувшим летом, в короткий период правления Эррио, франк резко упал в цене. Отдельные американские туристы вели себя вызывающе. Но, конечно, дело совсем не в этом. Не в том, что мы иностранцы...

Растерянно стояли мы в коридоре.

— Если мы сейчас отсюда уйдем,— сказал он , — битва будет проиграна навсегда, ты никогда не станешь выше этого. Ступай сейчас же в зал, а я подожду снаружи, пока не кончится репетиция.

Он говорил со мной, как человек, исполненный зрелой мудрости и заботы, но не как взрослый с ребенком. Я подумала: «Он заслужил, чтобы я его послушалась». Мы по-прежнему растерянно топтались в коридоре. Вдруг распахнулась дверь парадного. Оживленно болтая, вошли оркестранты, они смеялись, шутили. Наткнувшись на нас в темном коридоре, они испуганно отпрянули в разные стороны, извинившись тем детски игривым тоном, каким любят изъясняться французы в ситуациях, представляющихся им пикантными. Нас оттеснили к самой двери, которая вела во внутренние помещения. Поток внес меня в зал, Вилфред едва успел пожать мне руку. Моя рука была холодна как лед.

В зале устроили перекличку, потом очень долго обсуждали репертуар — в течение осени предполагалось дать три концерта, распределили голоса для первой репетиции. Во время пере-

клички я узнавала имена многих талантливых музыкантов, о которых читала в музыкальном журнале, но большинство имен были мне неизвестны. Нас познакомили, все сердечно приветствовали меня. Все весело беседовали друг с другом. Обменивались воспоминаниями.

Я украдкой оглядывалась вокруг, пыталась догадаться — кто же мог произнести те жестокие слова: среди всех этих улыбающихся, бледных, даже измученных лиц я не увидела ни одного, способного внушить подозрение... Может, все это просто мне приснилось?

Но левая рука еще ныла — так иступленно вцепился в нее Вилфред. Сияк на руке долго будет напоминать, что все это и вправду приключилось со мной. А здесь, в зале, я обрадовалась их приветливости и сама была с ними столь же приветлива, и меня осыпали комплиментами за мой красивый загар. Музыканты были будто дети, встретившиеся после каникул. Но когда я, оглядевшись, увидела все эти бледные лица, я сама почувствовала себя чужеродным телом, барыней среди работяг. Я сказала: «В Бретани», и уже от одного этого слова повеяло роскошью. Одна оркестрантка проговорила: «Да, везет некоторым...» Остроносая, маленькая оркестрантка с кларнетом в руках. Может, это она... Я не хотела знать, не хотела больше отгадывать.

Потом, когда я вышла из зала — Вилфред все это время стоял в коридоре или вышагивал по нему взад и вперед, — все увиделось мне в ином свете. Беззаботный Буль-Миш, который всегда навевал на меня веселье... Теперь, казалось, я должна заново исследовать его дома, прохожих, прежде всегда представлявшихся мне друзьями. Я боязливо вглядывалась в лица, подмечая удивленные ответные взгляды.

Вилфред успокоительно похлопывал меня по спине, когда мы спускались вниз по бульвару:

— Неужто все еще саднит?

— Разве ты не видишь — они глядят на меня?

Я заметила, что говорю шепотом. Но он рассмеялся:

— Неудивительно! Ты же пялишься на них так, будто они — злые духи!..

Но он не мог мне вернуть мой прежний Париж.

Мы спешили на свидание с городом, но Париж не шел к нам. Или, может, мне это лишь мерещилось? Море, своеобразные жители моря — все это не отпускало меня. Проснувшись порой по ночам, я слышала шум моря и крики чаек. Но в действитель-

ности по улице грохотал мусоровоз, а крики чаек оказывались отдаленными гудками автомобилей в городе, никогда не знавшем покоя.

Потом я подолгу лежала без сна, мечтая о «потерянном крае» — стране моего счастья, о морском крае счастья с его немеркнущим блеском.

Вилфред ничего подобного не ощущал. Он чувствовал себя в этом городе привольно, будто рыба в воде. Париж был истинным его домом. Прежде Вилфред много работал здесь, но теперь нежилась в объятиях лени. Париж сделал его другим человеком — уравновешенным, знающим себе цену...

И снова я пытливо вглядывалась в его лицо, когда он спал. И все больше и больше сомневалась, что он обрел душевное равновесие.

Однажды, прохладным осенним днем, гуляя, мы забрели на правый берег. Пересекли бульвар Пуассоньер. Вилфред шел, оглядывая дома, номера домов. Наконец он вытащил из кармана клочок бумаги — обрывок газеты.

— Вот странное дело, — нервно проговорил он, — ночью мне приснилось, будто какие-то люди изобрели новый способ ходьбы — «свободную походку», и кто ходит такой походкой, освобождается от всего, что его удручает, — представляешь, какая чепуха? И хочешь верь — хочешь нет, только я раскрыл газету, как сразу увидел вот это объявление...

И в самом деле! Я не поверила ему. Я поняла, что он лжет. Я стояла на узком тротуаре посреди снующих взад и вперед людей и впервые в жизни — в этой моей новой, истинной жизни — сознвала, что он лжет...

— Зайдем посмотрим, — сказал он. Я взглянула ему в глаза, надеясь увидеть обычную иронию. Но глаза его горели нездоровым любопытством к этой дешевой мешанине из мистики и рационализма, столь модной в то время. В дверях нас встретил жирный зазывала в униформе с галунами.

Все помещение было серое, цементного цвета. От стены к стене тянулись три висячих мостика, будто в тренировочном зале цирка. По колеблющимся мостикам шагали люди — по одному на каждом мостике, — и ледяной женский голос командовал: «Стой! Вперед! Стой! Вперед!.. Кругом!..»

Во мне все переворачивалось: я очень мало знала о декадансе, а также о всяких программах здоровья, порожденных декадансом; я была молода, влюблена, возбуждена счастьем и стра-

хом перед бедой, которая может разразиться вдруг, как гроза в солнечный день.

Пригласили следующую тройку. Вилфред поднялся по металлической лестнице. Я видела, как он вышел на висячий мостик и зашагал по нему уверенными, танцующими шагами. Он остановился, потом сделал поворот и еще один поворот, пошел дальше и снова остановился. Глаза его сверкали, отражая холодный свет, лившийся с потолка, с холодного, серого, как цемент, потолка.

Все переворачивалось во мне. Но я услышала одобрительные возгласы хозяйки аттракциона: «Вот так новичок! Взгляните-ка на мсье! Вот пример для вас, господа! Истинный мастер!..»

А он... кажется, он млел от восторга, под градом похвал, которыми осыпало его это ущербное существо. Словно он только и делал в жизни, что шагал, освободившись от всего, по висячим мостикам. Отвращение сменилось глухим отчаянием. Я думала: «Вилфред бывал здесь раньше, овладел этой походкой. Он лишь забавляется всем и лжет, лжет, все время лжет...»

Он взял меня за руку. Я высвободилась. Он заботливо вывел меня на улицу. Он тихо смеялся. Потом сказал: «Прости меня». Он видел, что я плакала. Что-то, а это он умел — просить прощения, кротко заглядывать в глаза. Он обронил:

— Ты слишком долго не была в Париже.

Я ответила:

— В этом Париже я никогда и не была! В фальшивом Париже, столь любезном твоему сердцу, ущербном, рабски приерженном очередной моде...

Он сказал:

— Почему бы не поиграть в игру? Ты тогда и чарльстон не хотела танцевать, помнишь?

Да, я помнила, и воспоминание саднило душу. Я и вправду тогда не захотела танцевать чарльстон. Это было в кафе «Селект», или как оно еще там называлось. Танцевали чарльстон, мне даже понравилось. Все это было до Бретани. Мужчины обычно начинали приплясывать сидя — у них чесались ноги — и, уже танцуя, подходили к дамам. Но и тем уже не сиделось на месте — они напоминали самок в пору течки. Дамы вскакивали на ноги и тоже начинали выкидывать антраша под возбуждающую музыку. Вдруг Вилфред поднялся, приплясывая, как все. Отвращение захлестнуло меня. Он испытующе поглядывал на меня: может быть, я совладаю с собой? Но я не могла! Не хотела и не могла, я возненавидела чарльстон и все связанное

с ним. Я возненавидела его, хотя всего секунду назад была готова танцевать. Почему? Из глубокого отвращения ко всякой пошлости.

Он не стал меня попрекать. Но и не сел на место с виноватым видом. Он исполнил великолепный сольный танец, настолько виртуозный и полный выдумки, что все остальные сошли с танцевальной площадки и, встав в круг, хлопали ему в такт музыке. Хозяин ночного клуба прислал даровое шампанское...

Когда мы вышли на улицу, я спросила:

— Может, вернешься к своим приятелям и еще раз пройдешься по мостику?

И высвободила свою руку.

У него сделался такой обиженный вид, что я подумала: «Да он же просто дитя. Избалованное дитя, я сама его избаловала, его нельзя не баловать».

Потом его взгляд ожесточился, погас. В моей голове лихорадочно пронеслось: «Как нежно заботился он о тебе! Что будет с его любовью, с твоей любовью?.. Мыслимо ли, вот так, на тротуаре, среди спящих людей, разом все потерять?..»

— Конечно, это глупо, — потухшим голосом проговорил он, — но мне это в самом деле приснилось.

Снова дитя. Дитя, которое могло быть моим, если я захочу. Я хотела...

Я взяла его под руку. Вокруг нас искрился, переливался свет. Легкий туман рассеялся, ушел.

— Я виновата.

— Нет, я виноват.

— Нет, я!

— Прости меня...

Но это было уже слишком, он явно переигрывал.

— А что мне тебе прощать?

— Мне хотелось бы показать тебе мои картины, — сказал он.

— Разве я их не видела?

У него сделалось сердитое лицо или, может, просительное, не знаю.

— Ах, ты о тех...

Картины его занимали меня. Все, что касалось его, занима-

ло меня. Значит, у него есть другие картины? И он прятал их от меня?

Мы пошли дальше — на север. Мне было неприятно думать, что он ведет меня к месту нашей первой встречи. Он повернул на северо-восток. Да-да, он научил меня чувствовать направление. Но сейчас он вел меня сам.

И тут вдруг из какого-то заведения послышалась музыка, было это на какой-то тихой улочке. Проклятая «Валенсия», опять она — будто звуковая чума. Он шел рядом со мной, держа меня под руку. И ноги его шли, точнее, плясали... Он шел рядом со мной, приплясывая так легко и ритмично, будто какой-нибудь... какой-нибудь из этих...

Такси подъехало тут же, как только я махнула шоферу.

14

В такси стоял душный запах табака и пудры. Я сидела, глядя, как мимо проплывают знакомые улицы и дома. Все вокруг нас казалось мне зловещим. Я уже давно не ездила одна в такси. Мне так покойно было сидеть рядом с Вилфредом в его зеленом маленьком автомобиле...

Я дала шоферу адрес пансионата на улице Президента Вильсона, но, передумав, попросила повернуть в другую сторону и высадить меня у церкви Сен-Сюльпис. Не могла же я в самом деле вернуться в мой прежний пансионат, как провинившаяся школьница. Я страшилась жалостливых и любопытных глаз Нелли, чей взгляд сказал бы мне: «Ага, недолго же это продлилось!»

Потом я бродила по узким улочкам вокруг нашего дома, но не смела вернуться: вдруг там никого не будет? Моросило. Тонкая пелена окутывала старомодные уличные фонари, и, казалось, вся улица тоже спряталась под пеленой... Внезапно передо мной точно из-под земли вырос Вилфред. Он взял меня под руку, но не робко, словно бы выясняя, в каком я расположении духа, а спокойно и уверенно, будто ровно ничего не случилось:

— Я вышел встретить тебя...

Он не хотел объяснений, взаимных покаянных признаний своей вины.

— Завтра, — сказал он, — я должен снова заняться работой. А ты ведь пойдешь на репетицию, не так ли?

Мне не нужно было на репетицию. И он это знал. Значит, хотел удалить меня из дома, хотел остаться наедине со своим мольбертом.

— У меня тысяча разных дел,— сказала я. — Квартира весь день будет в твоём распоряжении.

Я вспомнила, что уже век не навещала брата, отделалась несколькими открытками, посланными из Бретани малютке Жаку. Меня тут же охватила острая тоска по близким.

Он рассмеялся:

— Наоборот. Весь дом в твоём распоряжении... Я делаю эту работу в другом месте.

И снова — укол ревности, потребность все знать о нём. Он и прежде как-то дал мне понять, что работает в другом месте. Но мы с ним не расставались день и ночь начиная с августа, теперь же стоял октябрь. Выходит, я ничего не знаю о том, что, может, занимает его больше всего?

Мы вошли в нашу маленькую, заставленную мебелью квартиру. Стол накрыт, а на нём — угощение: лангусты, холодный цыпленок, салат, белое вино. У меня прямо дух захватило.

— Я забежал в магазин Жоржа на углу и купил кое-какую снедь.

Снова кольнуло в сердце: значит, он был уверен, что я вернусь домой...

— Знаешь, от волнения на меня нападает зверский голод, — сказал он оправдываясь.

Я тут же кинулась к нему на шею. Вот, значит, как легко было меня пронять: школьница, а не взрослая женщина — сначала обиделась, потом ударилась в сентиментальность. А ведь я годами стояла на подмостках — известная скрипачка, не из самых великих, зато из растущих...

— Где же ты работаешь? — спросила я. И тут же поняла, что лучше было мне прикусить язык. Но он не выпустил меня из объятий. Он сказал:

— Да там... — и неопределенно кивнул головой куда-то в сторону.

— Можно мне посмотреть картины?

Он пожал плечами.

Но мы не пошли туда завтра и на следующий день тоже. Нас будто вновь забрал в плен этот город, дивный самовлюбленный город, в котором мы жили. Какое-то беспокойство все-

лилось в нас, без слов передаваясь от одного к другому. Вдвоем бродили мы по городу, томимые жаждой, — жаждой объятий, еды, вина и снова еды. Короткие полосы дождя с ледяным ветром, предвещавшим осень, сменились жарой, столь сильной, что плавился асфальт, и от домов, окон, статуй струился свет, будто в первый день творения, — сверкающий город казался написанным кистью шального пуантилиста... Мы были богачи, вхожие в оазисы, разбитые для богачей в бедных кварталах, — богачи, начисто лишённые совести. Мы установили доверительные отношения с официантами, и они поили нас чудесным вином, какое припрятывали для немногих избранных. К нашему столику то и дело подходили в белых колпаках виртуозы поварского дела, с простодушной гордостью рассказывая о своих блюдах, как мать об удачном дитяти. О вы, дни моего счастья, наполненные голодом, жаждой и вожделием! Я так долго жевала серые отбивные в пансионате на улице Президента Вильсона. Я так долго была уверена, что скрипка — это и есть вся жизнь... В газетах писали, будто франк неуклонно падает. А нам было и горя мало. Будто зелёный побег извечной людской надежды и веры, наш маленький «ситроэн» пробивал себе путь в джунглях радостных дней, светившихся отраженной радостью, взятой у нас. Мы чувствовали себя туристами, с присущей туристам радостью открывания, обладая в то же время знанием посвящённых. Мы встречали всюду уйму единомышленников, философствующих гурманов, постоянно возвращавшихся — будто привидения — в храмы чревоугодия: мы вступили в своего рода тайный клуб, члены которого, свободно переходя от столика к столику, вместе осушали последний бокал на рассвете, а рассветало теперь все позже. Но, разглядывая себя в зеркале на другой день, я не чувствовала стыда. Из зеркала на меня смотрели глаза, не заплывшие с похмелья, а незнаваемо лучистые. Загар не сменился малокровной бледностью. Молодость наша не знала тоски похмелья. Непокоренные дети счастья, мы готовы были одарить им всю землю. Я порхала на крыльях легкомыслия. И крылья мчали меня, куда хотели. Это меня-то, всегда тащившую на себе бремя заботы и чувства долга.

Однажды утром зарядил дождь. Он лил и лил, и, казалось, над городом опустился занавес. Дождь сказал нам: конец.

Было утро, накануне мы рано легли, трезвые как стеклышко. Мы оделись. Вилфред сказал:

— Сегодня.

— Можно мне с тобой?

Вилфред долго смотрел на меня, потом пожал плечами. Будто годы прошли с той минуты, как я спросила.

Он не захотел взять такси:

— Там такой бедный квартал...

Называлось то место Фальгьер, оно находилось где-то за Монпарнасским вокзалом. Мы шли туда, словно по дну океана. Дождь лил с какой-то ожесточенной яростью, от стен домов отскакивали брызги. Мы остановились у большого серого здания. Вилфред отпер маленькую железную дверь, и мы поднялись вверх по узкой железной винтовой лестнице. Пахло пустотой и цементом. Наши шаги гулко отдавались в пустом доме. Мы поднялись в маленькую каморку без всякой мебели. Я вздрогнула: на полу, чуть прислонясь к стене, в неестественной позе мертвеца сидела кукла-манекен. Вилфред напряженно улыбнулся. Неужто я первый раз вижу подобный манекен? Скульпторы иногда пользуются ими, и художники тоже. Вилфред казался мне каким-то чужим. А манекен что-то упорно мне напоминал.

Мы вымокли насквозь. Я озябла. Вилфред помог мне сбросить громоздкий плащ — он уступил мне свой. Потом он открыл маленькую дверь. Мы вышли на галерею: она огибала три стены зала, широкой бездной зиявшего внизу.

Не помню, увидела ли я сперва этот зал, или же мой взгляд скользил по узкой галерее, прилепившейся к серым бетонным стенам.

Как бы то ни было, прошло некоторое время, прежде чем я обнаружила картины. Настолько они были велики, даже огромны, что взгляд, должно быть, не сразу мог объять их. Они не сразу воспринимались как картины. Поначалу они мнились лишь частью этого холодного как лед пространства, частью пустого зала. Должно быть, я сначала увидела лишь фрагменты — клинья, круги, что-то плоское и скучное, без перспективы, немилосердно упорядоченное, без глубины — без смысла. Дрожая от холода, я стала смотреть вниз — на унылую свалку, громоздившуюся на полу. Громадные волны упаковочной бумаги вздымались там, повсюду валялись орудия ремесла, там и тут стояли узкие стремянки, ведра с краской... Мой взгляд вновь устремился к стенам и, прилепившись к ним, растворился в беспощадном строе фигур, на миг обрадовавшем меня контрастом с пугающей свалкой на полу. Но и на стенах взгляд не обрел опоры, а был заморожен узором — порождением жестокого упорядочивающего начала. Повинуясь излучаемой им властной

силе, взгляд следовал за углами, которые открывались и смыкались перед ним, порой давая ему отдохнуть на успокоительных окружностях, в свою очередь прерываемых прямоугольниками, может, не совсем ровными, но, во всяком случае, изначально задуманными как прямоугольники, и лишь изредка в этом месиве мелькала искра — след человечности, тут же угасавшая, умерщвленная в самый миг сотворения.

Страх охватил меня, ледяным дыханием тронул душу, и, казалось, душа тоже распадется на части, подчиняясь загадочному закону, — распадется, чтобы возникнуть в новом образе волей неведомого мне существа...

И тут вдруг случилось тягостное: меня вырвало.

Потом полились слезы.

Вилфреда не было со мной. Его силуэт неясно маячил где-то внизу. Я дала волю слезам, долго плакала, неслышно и без стыда. Я видела маленькую железную лесенку, что вела из зала на галерею. Слышала, как барабанят по крыше из стекла и железа тяжелые капли дождя. Какие только пустяки не вплетались в мое сознание, словно бы стремясь отвлечь меня от всего, что глаза страшились увидеть, но к чему все равно тянулись. Я стояла, чувствуя, как в душу вползает ненависть и еще другое — отчаяние, бесконечное и безысходное. И против воли в сознании всплыло слово «предательство»...

Потом я снова подняла глаза и *смотрела*, смотрела так долго, сколько хватило сил. И я подумала: если это — искусство, я должна умереть.

Мой взгляд упал на Вилфреда — он по-прежнему стоял там, внизу... В тот миг и он тоже представился мне неким «элементом» — о, как я ненавидела это словцо, которым так охотно щеголяли представители разрушительного эпигонского искусства, из тех, кого нам часто доводилось встречать, поскольку Вилфред водил с ними знакомство: они сумели навязать нам свой жаргон.

Но, стоя там внизу, он и вправду был лишь элементом целого, тростинкой на фоне огромных фигур, громадного пространства зала, и оно поглотило его — жуткое целое, созданное им самим на обломках взорванного, разрушенного мира, со всех сторон обступавших меня.

Он поднял глаза, по его лицу скользнула робкая улыбка. Но он не пошевелинулся, не оставил точки, входившей в неведомое мне математическое построение. Мы молча спорили друг с другом. Да, да! Я видела их всех, изучила их — Брака, Пикассо,

Кандинского, Клее, — «поняла», мгновеньями даже растворялась в них, испытывая пьянящий экстаз. И если поэт и волшебник Брак, единственный, что-то говорил моему сердцу, то выдумщик Пикассо находил отклик в моем темпераменте. Но все они одинаково раздирали на части, разрушали привычный мир предстанный и властно требовали покорности.

Я видела их холсты на выставках минувшей весной и почувствовала, что готова поддаться их влиянию, но сумела вырваться. В конце концов все эти художники были мне глубоко чужды и к тому же заняты другим видом искусства. И вот теперь Вилфред... Не то чтобы он походил на других, нет, он ни на кого не похож. На его холстах нет ни единого элемента, который был бы взят из природы, пусть даже до неузнаваемости деформированного. Нет здесь даже яростной страсти к разрушению, одновременно пугавшей и привлекавшей меня в отдельных его картинах, какие хранились дома, в домашней мастерской, и какие я бы назвала модернистскими.

Бесплодная мужская математика, но, может, также своего рода геометрическая поэзия? Пламень его поэзии не грел, лишь наводил жуть. Окоченевшие видения взорванного мира. Круги и снова круги, зеленые, оранжевые и черные, будто погасшие светила; круги, вспоротые углами и треугольниками... и неподвижная круговерть теней, будто поклявшихся безвозвратно сгубить человеческую душу. И еще этот вызывающий размер!

Может, именно это переполнило чашу... Картины словно говорили, — нет, кричали мне: «Мы не оставим тебе ни малейшей лазейки — вложить в нашу математическую монументальность мир твоей мечты, твою мещанскую тягу к заветному, сокровенному — выжжем дотла, ничего тебе не оставим, чтобы ты оскудела душой, и тепло стало льдом, — и там, где прежде ты пресмыкалась, упиваясь ассоциациями и воспоминаниями, там теперь откроется тебе объективная истина»... Столь нарочито вызывающей была эта демонстрация бессердечности, столь назойливой в своем всеведении...

Вилфред поднялся на галерею и подошел ко мне. Наверно, увидел, что я плачу. Мне захотелось крикнуть ему, чтобы он вернулся назад, туда, где был лишь элементом организованного хаоса... Гений Сезанн устранил в мотиве все случайные эффекты света и воздуха. Да, Сезанна я понимала, он открыл людям глаза — и мне тоже, — он помог мне видеть. Но неужели его отказ от всего случайного должен был в конце концов при-

вести к насилию над случайностью, зовущейся человеком, к насилию надо мной? Черета королей — династия разрушителей, со своими, ими самими сотворенными законами престолонаследия... неумолимые диктаторы, превратившие мой цветочный сад в глыбу льда, — Мондриан, Вантонгерло, ван Дусбург... я видела их работы, с их неопластизмом, и даже иногда сладострастно вздрагивала при виде самоубийственных их усилий. Но они не были так беспощадны!

А здесь, в этих картинах, был момент сознательной злобы, расправы уже не с одним общепринятым, но и с чужим бунтом.

— Это предательство! — прошептала я. Я хотела остановить слезы. Мне претила роль бессильной жертвы, обреченно застывшей перед насильником. Я хотела быть обвинителем, — впрочем, нет, я была равнодушна, глуха к этому антимиру — отрицанию самой нашей сущности, нашей любви.

Я ушла от него с пустотой, со льдом одиночества в сердце, и возвратилась в каморку. И снова я вздрогнула при виде куклы, столь «естественной» в своей застывшей распластанности... неподвижности манекена.

Я рванула к себе негнувшийся плащ, но от прикосновения к нему содрогнулась, словно и он был частицей всего этого обескровленного антимира.

Я видела, как он побледнел, когда я произнесла слово «предательство». И сразу вспомнила его рассказ — про ребенка, про то, что все повторяется, про стеклянное яйцо, в котором он жил. И что-то он тогда говорил про предательство... Все это вдруг сделалось мне безразлично.

У меня не было чувства, что я покидаю его, когда под дождем я быстро зашагала по улице. Он сам покинул меня — не только меня одну, — он покинул все: жизнь, себя самого... Очевидно, потому женщины «покидали» его, даже та, что родила ребенка. Я мысленно послала им привет.

Вдруг я остановилась. Дождь сыпал так часто, что я смутно различала противоположную сторону улицы. Я не заметила, куда шла, между редкими домами тянулись пустыри. Многоэтажные дома для бедноты казались высеченными из льда. Может, их населяли манекены? Но я не хотела давать волю навязчивым представлениям. Я здоровый живой человек, я вырвалась из мира больших фантазий. Мне сейчас полагалось бы быть на репетиции. Я уже пропустила несколько репетиций из-за наших иступленных легкомысленных развлечений.

И снова меня захлестнул страх: что, если я не отделаюсь от кошмара? А ведь это и вправду кошмар, он не отпускает тебя, хоть ты и знаешь, что уже не спишь...

Да, вот что приключилось со мной. Страх захлестнул меня. Ни души на пустынных улицах; дважды мимо прогромыхали фургоны с окнами, слепыми от дождя, — великаны, посланные к неведомой цели таинственным повелителем. Вокруг меня был мир, слепо подчинявшийся невидимой воле. Я пощупала собственный пульс, биение крови показалось мне благословенным счастьем, доказательством бытия. Доказательством того, что я жива.

Только удержать эту спасительную мысль никак не удалось, отрадное чувство нипочем нельзя было удержать. Мою душу исполосовали плетьюми. И всюду теперь виделись мне раны, ведь я и ожидала увидеть раны. Я вспомнила картину Иеронима Босха: совы и змеи копошились в теле больного человека. Но все же это были настоящие совы и истинные змеи!.. Может, на человечество надвигается некое новое средневековье, выражающее себя в неясных символах?..

Мимо меня прошли строем солдаты. Небольшой отряд марокканцев, огромных, черных, как ночь. За ним показался еще один отряд, солдаты маршировали как заводные и скрылись в тумане на пустыре между низких домов. Дома тоже сомкнулись строем — квадратные, бесчеловечные. Война. Квадраты, треугольники. Проходили еще марокканцы, поодиночке, вяло волочившие ноги, — видно, отстали от колонны. Наверно, где-то рядом казарма. Я могла бы спросить, как пройти к ближайшей станции метро, но нет, только не это, под землей не могу... Но можно спросить о чем угодно, просто, чтобы услышать голоса, видеть мимику человеческих лиц.

У меня не было голоса. Не было ни ног, ни рук, ни тела. Они бросили меня, пока я стояла в тумане. Все бросили меня. Кругом один лишь дождь. Черный, как ночь, великан вдруг возник предо мной. Все, что еще оставалось во мне живого, задрожало от страха. Марокканец улыбнулся, о чем-то спросил меня. Я зашевелила губами, хотела переступить с ноги на ногу, но ног не было. Ничего не было — лишь треугольники кружились в холодном безграничном пространстве.

Когда я очнулась, Вилфред был рядом. Я очнулась в пункте «скорой помощи», где-то совсем далеко на окраине. Меня отвезли туда на армейской машине два сердобольных негра. Вилфред все выяснил. И вполголоса, деловито рассказывал мне об этом.

Он не стал живописать собственные волнения, просто рассказал все, как было. Он вышел из дома в Фальгьере, но не мог меня найти. Дождь шел сплошной стеной. Под проливным дождем он кинулся в северные кварталы — туда, откуда мы пришли. Потом позвонил в полицию, на станцию «скорой помощи». Служба информации хорошо поставлена в этом городе. К тому же в моей сумке было удостоверение личности...

Нет, он не корил меня за свои волнения, просто понимал, что я хочу все знать. Душу мою грызла тоска, будто с похмелья, и жалкое чувство вины. Все это было так тягостно...

Но об огромных холстах я теперь могла думать без боли. Я поняла, что это их он собирается отправить на выставку в Норвегию — там их будут показывать в каком-то громадном Стеклянном зале; он упоминал об этом прежде, но тогда я не знала, о каких картинах идет речь. Холсты эти будили во мне острую тревогу — тревогу за все, что он разрушил в себе, но уже не наполняли меня столь беспредельным физическим отращением.

Вошла сиделка. Вилфреду разрешили взять меня домой — надо было лишь подписать кое-какие бумажки. Но сначала он долго сидел у моей кровати и рассказывал. Только о картинах он не сказал ни слова. Не пытался оправдываться. И я не пыталась. Когда он вез меня домой, уже рассвело и снова лил проливной дождь. Вилфред успел позвонить в репетиционный зал — сказать, что я заболела. Он обо всем успел подумать и позаботиться. Дома он дал мне снотворное, и я проспала до вечера.

Дни моего счастья! Теперь их настигла осень, не знающая пошады, с дождем и ветром на улицах и сквозняком в доме. Мы дружно работали на репетициях — словно все слились в одно целое, в семью. Наш первый концерт состоялся в огромном зале с искусственными деревьями. Теперь мы были уже не французы и иностранцы, а инструменты и голоса, и дирижер

был старый человек, спасительно опытный. От него тянулись к нам нити, невидимые для публики...

Вилфред тоже работал. Одновременно мы покидали наш дом. Я знала: он улаживал последние мелкие дела, связанные с отправкой и страховкой картин, перепиской и коммерческой стороной затеи. Но он уже не излучал радости, как прежде. Его загар быстро бледнел, а на лице проступало уныние и усталость. Во всей повадке его теперь сквозил вызов, словно он знал, что восстанавит против себя весь небольшой замкнутый мирок. Он был мне теперь еще дороже прежнего.

Я думала: над ним не властно время; наверно, думала я, так было с ним всегда. Подростком он не казался юным. А, сделавшись взрослым, вел себя порой как ребенок. Я думала, что теперь хорошо знаю его, и дивилась собственной слепоте в те счастливые дни, когда я тешила себя мыслью о том, что он обрел внутреннюю гармонию.

Но, может, все наладится между нами теперь, когда мы так правдивы, так откровенны во всем? Он продал маленький автомобиль. Мы мало выходили из дому и никогда уже больше не забредали в роскошные кафе и рестораны, где радушные официанты и повара столь по-детски гордились своей кухней. Всему этому словно настал конец, не только для нас двоих — для всех. Неужто и вправду еще существовали все эти шумные места, куда день за днем наведывались одни и те же жадные до удовольствий люди? Мы не выходили из нашего квартала, лишь изредка заглядывая в маленькие скромные кафе на Сен-Жермен-де-Пре. И здесь тоже мы завели шапочные знакомства с людьми, которые жили и думали так же, как и мы, в большинстве своем молодыми, как и мы. Когда выдавалась теплая погода, те же пары прогуливались по бульвару Мишель — они шли, обнявшись, — рука на талии, рука на затылке, — казалось, они цепляются друг за друга в надежде, что все это будет длиться вечно...

Как-то раз мы снова прошли мимо того жалкого заведения, где нелепые афиши рекламировали «свободную походку». Тот же самый зазывала маячил у входа. Бледный как смерть, он уже не так бодро и самоуверенно окликал прохожих, как прежде...

Странная перемена вдруг сказалась в походке Вилфреда, неприметно преобразившейся в пляску: он слегка покачивал

бедрами, вертел ногами. Я верю, что сам он этого не замечал. Но эта пляска претила мне... Ложная ее веселость была словно яд...

Он спросил:

— А может, в порядке исключения пойдем куда-нибудь?

Да, я и вправду была не прочь поразвлечься. Мы вели такой суровый образ жизни, а я все еще была слаба. В ту минуту я поняла, как я слаба.

— Выбирай ты, — сказал он.

Я понятия не имела, что выбрать. Я не из тех, кто знает толк в развлечениях. Пять-шесть концертов, действительно представлявших интерес, мы уже слышали. В конце концов мы отправились в некое заведение под названием «Лоран». Мне стало противно, едва мы туда вошли. Вилфреду тоже, казалось, зал не пришелся по вкусу. Повсюду за столиками сидели педерасты. Мы уже не в первый раз встречали подобную публику. Они не смущали нас, но Вилфред все же предложил уйти.

В тот же миг поднялся занавес над маленькой сценой сбоку. Вышел негр. Я же была полна благодарности к неграм после того случая на пустыре, в туман и дождь. Он объявил, что сейчас мы увидим танец под названием «Блэк боттом» — последний крик моды! Посмеиваясь, негр исполнил соло... Смотреть на это было забавно, музыкальная акробатика, доступная только негру. Наградой ему были аплодисменты.

На сцену вышла женщина — огневая партнерша. И в тот же миг мужчина преобразился: танцор, полный ленивой грации, сменился задыхающимся самцом. Совсем иной танец запылялся на сцене. Вначале он чем-то напоминал чарльстон, так же болтались словно вывихнутые из суставов руки и ноги при неподвижных бедрах. Танец этот был мне противен. Я взяла руку Вилфреда, я искала опору, защиту от чего-то, что оскорбляло меня...

Я хотела уйти, как вначале предложил Вилфред. Но, казалось, стул вцепился в меня и не отпускал, и столик тоже удерживал меня — весь зал заявлял на меня свои права, поглотил меня. И тут рука Вилфреда заплясала в моей руке, и это тоже было мне противно. Я хотела вырваться, но не могла, хотя Вилфред не стискивал моей руки.

Но теперь я знала, чем мне противен танец: на сцене привиделась мне кукла — тот самый манекен с всамделишными руками и ногами, но бесплотным телом. Кукла из дома в Фальгере...

На сцене были два тела, лишенные души, два тела, жившие по законам... Да, да! По законам тех громадных картин... Двое на сцене уже перестали быть человеческими существами, да и вообще живыми существами... они были всего лишь фигурами, произвольно менявшими объем и форму по собственной воле, но и по заказу, диктуемому музыкой, ритмом, желанием, долетавшим к ним из зала...

Я вдруг услышала собственный стон — я сидела и стонала, в этом раззолоченном светлом зале, полном бледных людей с напряженными лицами; но мой голос потонул в общем стоне — стоне сладострастия и ужаса. Теперь я четко ощущала судорожные подергивания руки, которую держала. С трудом преодолевая завораживающую власть музыки и пляски, я повернулась, будто придя к нему откуда-то издалека, и взгляделась в него.

У меня похолодело сердце... Он обернулся и тоже посмотрел на меня... Оцепенелый взгляд наркомана. Лицо его состарилось, превратилось в угрюмую маску — ту, что прозрела в нем моя тревожная любовь в те далекие дни в Бретани, когда я вглядывалась в сонные его черты... Он улыбнулся. Но вышла не улыбка — гримаса. Он сжал мою руку... Я закричала. Я услышала собственный голос, он тоже был искажен, но в нем звучал страх, жажда бегства, отчаянная человеческая тоска. Опрокинулся стул. Вилфред по-прежнему улыбался. Цепляясь за меня, он встал. Вдвоем мы пробирались между столиками мимо людей, не замечавших нас, людей с устремленным на сцену оцепенелым взглядом.

Очувтившись на улице, мы продолжали бежать. Дождь уже перестал. Мы бежали по хорошо знакомым улицам. Но мы не узнавали их, как не узнавали прохожих, то и дело мелькавших мимо. Потому что сейчас мы не видели в этих людях людей. Случайные сцепления туловищ и конечностей, они казались несовершенным подобием человека.

Потом мы умерили шаги. Мы будто слились в одно существо. Мы устали. Нам трудно было дышать. Мы молча ходили по улицам, постепенно вновь принимавшим знакомый облик. И все так же молча мы направили наши шаги к кварталу, где был наш дом, где молодые, бедные, простые люди молча бродили в тени старых зданий, каждым камнем знакомых им. Но мы были будто предатели среди них...

Мой английский импресарио прислал мне письмо, предлагая весной выехать на гастроли в Англию и Шотландию. Он считал, что в Лондоне, где хорошо отзывались о моей игре, мне гарантирован наилучший прием. В первом отделении он рекомендовал играть Стравинского, который никогда не был мне особенно близок, во втором — двух английских модернистов, о которых я и слыхом не слыхала.

На другой день пришла бандероль с нотами — сочинения одного из двух модернистов. Я проиграла их с листа. Это была какая-то тревожная музыка, пожалуй, атональная, но без той чрезмерной ломкости, которая так пугала меня, навевая тоску и усталость. И все равно — как обрадовала меня эта весть, привет из настоящего мира — моего мира! Но зачем только мне предложили именно это? Меня подмывало тут же послать отказ. Да у меня и не было сил выехать на гастроли. Я теперь страшилась всего.

В один прекрасный день появился автор — композитор Ивлин М., тихий молодой человек в потертом, но безукоризненно отутюженном костюме. Он походил на конторщика из Сити, какими я их себе представляла. Ивлин аккомпанировал мне дома, в мастерской наверху, ведь теперь Вилфред работал в Фальгере, а она почти всегда пустовала. Композитор был скромный, учтивый молодой человек, однако на редкость упрямый. Он не принадлежит ни к одному из существующих направлений, сказал он мне. Я невольно улыбнулась. До чего же все они старались быть уникальными, неповторимыми...

Неспешно, почти против воли, я в перерывах между репетициями начала готовить программу. Она могла быть готова через какие-нибудь полгода, если, конечно, я буду напряженно работать и если достанет сил...

Потертый Ивлин с его учтивыми манерами и обликом конторщика, со всем его непостижимым упрямством вскоре отбыл в Италию. Исчез столь же внезапно, как и появился... Но он настаивал, чтобы я играла его музыку, хоть она была мне чужда.

Раз Вилфред принес с собой домой газету «Л'Энтрансижан». Он с торжеством показал мне новость: художники и скульпторы тридцати шести стран решили способствовать подъему франка. Газета писала, что художники благодарны Парижу, городу, который неизменно дарил им вдохновение... Все события совер-

шались в этом городе. Всем художникам случалось здесь жить. Статья пестрела громкими именами — словно пробег сквозь историю искусства. Художники тридцати шести стран, поддерживавшие эту инициативу, перечислялись поименно. Ждали еще и других добровольцев. Задумали не то распродажу произведений искусства, не то лотерею — разыгрываться должны были вещи, приносимые благодарными художниками в дар Парижу. Японец Фудзита уже приготовил афишу.

Новость слегка ошеломила меня. А что, Вилфред тоже примет в этом участие?

Если только его пригласят! Глаза его лучились. Я не совсем понимала его. Он ни разу не выражал никаких чувств благодарности Парижу, о которых так красноречиво говорилось в газете. Да, он любит этот город, он удивительно хорошо знает его, словно провел здесь всю свою жизнь. В нем живет неутолимое любопытство к будням его, к его живописным уголкам и закоулкам, к здоровому его пульсу и к болезненным наростам. Восторженность Вилфреда испугала меня. Чем бы ни увлекся он — он всему отдавался душой и телом. В ту пору он часто бывал на могиле своего дяди в углу кладбища Пер-Лашез. Как-то раз я проводила его туда. С волнением стояла я под проливным дождем в том же самом месте, где мы встретились с ним на похоронах. Здесь началось наше счастье.

Но он уже не отгадывал мои мысли, как прежде, — только веления плоти: когда я была голодна, утомлена, когда мне хотелось пойти куда-нибудь или, наоборот, отдохнуть. Он поощрял меня в моей работе, помогал в переговорах с дирижером оркестра. Со временем я решила принять предложение о гастролях в Англии. Я больше не смела рассчитывать на Париж.

А не угадывал Вилфред того, что я была в разладе с самой собой, что мои порывы противоречили друг другу, подтачивая мою волю, обрекая меня на бесконечные колебания.

Впрочем, может, он это и понимал. Может, он уже знал то, в чем впоследствии я убеждалась столь часто, — нельзя поддаваться робости, раздвоенности в тебе самом. Нет большего несчастья для человека.

Как возникла между нами эта стена? Я не хотела знать то, что я знала. Его картины. Его странная восторженность. Танец в тот вечер в кафе «Лоран». Все вместе взятое. Одна мысль донимала меня: «Ему недоступна цельность», я всеми силами

сдерживала отчаяние, которое она вызывала во мне. Но мысль эта засела в душе незаживающей раной.

Стена, выросшая между нами, мешала мне открыться ему. Мое одиночество — теперь я уже цеплялась за него — служило мне точкой опоры. Он же в своем одиночестве был надменен, более того — агрессивен.

Его нежность не могла растопить эту стену, да теперь и нежность его тоже страшила меня. Внезапно он начал твердить, что мы должны пожениться, родить детей, непременно кучу детей. Он был бы рад, если бы я родила их тут же, на месте. Он приносил домой книги по уходу за детьми и детской психологии, брошюры и толстые фолианты, которые лихорадочно листал, записывал то, что в них открыл, и спустя несколько дней уже знал все это наизусть. Но весь этот пыл казался брызгами водопада, выплескиваемыми засасывающей и неукротимой силой, когда струя грозит увлечь тебя в водоворот.

Он стал ребячлив и в выборе развлечений. Он водил меня на всякого рода народные увеселения, ярмарки. Может, он хотел возродить нашу с ним запоздалую весну, ту, что пришлась на раннюю осень? «Нельзя изменять простоте в сердце своем», — говорил он. Но говорил он это с ожесточением, и простота угадывалась плодом рассудка. Потому что, в сущности, он совсем не знал детства. Он говорил: «Игра... игра нужна и в искусстве тоже, — ее упустили, забыли о ней. Любое искусство должно быть прекрасной игрой...»

Но, рассуждая об игре, он походил на смертника. Он говорил: «Нельзя изменять простоте», и мнились за этим мрачные омуты памяти, волны мятущейся совести.

То было время последних ярмарок — этих передвижных увеселительных парков, которые возникают на окраинах с весны, шумят все лето напролет и исчезают глубокой осенью, когда скоморохи уползают под крышу.

Был студеной вечер. В этот день долго моросил дождь, но потом выглянуло прохладное ноябрьское солнце, свежий ветер разогнал тучи. Город, будто новорожденный, встал из тумана, отряхивался от дождя. Пыл Вилфреда заразил меня. Меня тоже потянуло на улицы — к людям, к веселью... Он хотел, чтобы мы вышли с ним прогуляться. Мы долго бесцельно бродили по

старым улицам в нашем Левобережье. Потом перешли реку у Сите. Долго смотрели мы в убывающем свете дня на собор Нотр-Дам — мы будто видели его впервые. В известном смысле так оно и было. В тот вечер все казалось новым и зловещим. Косые лучи солнца освещали западную сторону собора. Под ярким светом лучей резко сгустились тени, и он высился перед нами будто горный хребет, с острыми скалами, с глубокими ущельями между ними. Никогда еще Нотр-Дам не казался мне столь полным жизни.

Потом мы пошли на север, а после — на восток. Скоро мы поднялись вверх к тускло-серой Менильмонтан и оказались неподалеку от злосчастного кладбища. Я теперь не любила эти места. Там встретились мы с ним. И память об этом дне была мне отраднa. Но я не хотела вспоминать. Не хотела, чтобы меня к этому принуждали...

Ярмарку разбили на пустыре, впрочем, часть его больше походила на парк. Шум разносился далеко вокруг. Музыка карусели врывалась в улицы мощными толчками, резавшими ухо. Я невольно вспомнила слова Вилфреда: «Карусели — моя судьба». Почему-то от этих слов больно щемило сердце. Правда, я любила эти фальшивые звуки, но во всей нашей затее была какая-то нарочитая детскость. Мне уже не хотелось идти на ярмарку. Вилфред предложил прогуляться вдоль фургонов, просто посмотреть, как веселится народ...

Ярмарка вынырнула из-под чахлах деревьев, с бледными от фабричной копоти листьями, — хилыми, вялыми листьями, тихо покачивавшимися на тонких ветвях. И дети на ярмарке тоже были хилые, вялые — уныло сновали они между фургонами, — у них не было денег на развлечения. Толпа посетителей давно поредела. Владельцы аттракционов без дела слонялись вокруг своих киосков и ширм. Оказалось, это наши старые знакомые. Встретили нас так тепло: как воспитатели — бывших воспитанников детского сада. Я не без грусти подумала: «Может, они и есть наши истинные друзья, единственные наши друзья в этом городе, где все лишь мелькают, проносятся мимо друг друга».

В одном месте одиноким, покинутым чудовищем высилась карусель. Она стояла между деревьев, пустая, будто окостеневшая в своем одиночестве. Вздрыбленные кони, коровы, зебры большими печальными глазами смотрели на нас под ожерельем

огней. Краска облупилась с величественных лебедей, что, взмахнув крыльями, взлетали над сиденьями, заслоняя клиентов от посторонних глаз. Лебеди всегда привлекали влюбленных — жителей здешних окраин: примостившись в колясках между крыльями, скрытые от взглядов людей, они врасос целовались под музыку карусели. Лебеди были нарасхват.

Но сейчас опустели и эти коляски. Карусель с пустыми сиденьями крутилась, еще и еще, в надежде зазвать публику. Наконец она остановилась со стоном, со скрежетом в старом, изъезженном механизме. Словно всему этому вертящемуся зоопарку впору было погрузиться в спячку где-то вдали от городской суеты, чтобы по весне восстать от сна и вновь вывести на парад сверкающих свежей краской лебедей, похотливых жеребцов и всех этих печальных животных, пахнувших свежим лаком, который всегда прилипает к одежде первых посетителей ярмарки.

Вилфред взглянул на меня:

— Прощальный круг!

Но я не хотела и не могла себя заставить. Рядом стояла девчушка лет пяти, тщедушная, в красном бумажном платице. Вилфред взглянул на меня, на нее: если я ничего не имею против...

Господи, если уж он настолько сентиментален...

Девчушка обернулась к нему сперва растерянно, изумленно, потом просияла, но тут же нахмурилась: с опасливостью пролетарского ребенка она не верила в неожиданный подарок.

Он покорила ее за один миг. Худенькое детское личико будто налилось соком, глазки заблестели. Она улыбнулась ему, потом — несмело — мне, потом — снова ему. Неужто это правда? Да, правда. Бережно взяв девочку за руку, Вилфред подвел ее к сказочному оленю. Но олень не пришелся ей по душе. Она оглянулась кругом, цепenea от муки выбора. Вилфред осторожно спрашивал:

— Хочешь корову? Нет? Лебедя? Автомобиль?

Она выбрала коня, блестящего, ослепительного коня, свежее-выкрашенного, сверкающего в ряду других коней, как новый золотой зуб во рту. Наверно, старый конь рухнул под тяжестью многих тысяч ребячьих тел, и хозяин вывел из конюшни и поставил на карусель нового...

Вилфред осмотрелся кругом. Хозяин карусели куда-то ушел. Устав от безделья, он, видно, отправился в ближайшее кафе пропустить стаканчик живительного. Но Вилфред знал,

как завести карусель. Войдя под маленький балдахин, скроенный из потрепанной занавески, он запустил чудовище. Он вышел из-под балдахина в самый раз, чтобы успеть вскочить в седло. Под ним оказался олень, отвергнутый девчушкой...

Одинокое чудовище странным образом казалось еще более одиноким, заброшенным с этими двумя, столь разными пассажирами, кружившимися сейчас в свете фонариков.

Еще и теперь, стоит мне захотеть, — а сколько раз против воли, — передо мной возникает эта картина: карусель и на ней, на фоне ясного осеннего неба, два всадника — худенькая, длинноногая девчушка, и верхом на олене — Вилфред, странно возбужденный, с застывшей улыбкой. Карусель вертелась все быстрее и быстрее. Вот уже второй раз они промчались мимо меня, в третий... На лице девчушки все ярче расцветало блаженство, счастье, торжество, она весело кричала что-то своим друзьям — ребятишкам, следившим за ней с пригорка.

В четвертый раз промчались они мимо: девчушка на своем ослепительном жеребце, гордо запрокинув головку, за ней Вилфред на своем облезлом сказочном олене. Я видела, как карусель набирает ход. Но что-то как раз тогда отвлекло меня, и я на миг отвернулась в сторону. Я заметила лишь, что девчушка, не в силах сдержать восторг, повернулась на своем жеребце, очевидно, что-то крикнула Вилфреду...

Потом был вопль — вопль детей, но и взрослых тоже... И по-прежнему грохотала музыка, гремела и грохотала, а потом резко стихла...

Я выбежала вперед. На деревянном настиле, под застывшими в неподвижности конями, будто мертвец, лежал Вилфред. Руки его были где-то под балдахином, скрывавшим заводной механизм. Он не кричал — кричали другие: публика, дети, взрослые. Откуда их столько набежало сюда?..

Упавшая девчушка вскочила на ноги и вышла из-под коня... А он по-прежнему лежал не шевелясь...

Он не кричал, не издавал ни звука. И все знали, что случилось с ним; оказывается, они все видели и готовы были рассказать. Все видели, кроме меня. Они видели, как девчушка верхом на коне повернулась, закачалась и упала, видели, как Вилфред спрыгнул с оленя и подхватил ее в тот самый миг, когда подол ее платица попал в мотор карусели. Все видели это.

Но я помогала высвободить его тело из-под мотора. Пришлось вытаскивать его осторожно. Руку его придавило коле-

сом — острым, жестким железом, еще и сейчас издававшим скрежет.

Я помогала, и вот мы вытащили его. Но правая его рука утопала в крови, превратилась в месиво из крови и лохмотьев пиджака, и в ней торчал маленький острый кусок железа. Вилфред был в сознании. И смотрел мне прямо в глаза. Он не сказал ни слова. Но улыбнулся мне.

17

Всегда ли только задним числом свершившееся представляется игрой судьбы, предопределенной каким-то высшим началом? Всегда ли только потом вырисовывается взаимосвязь?..

Дни счастья моего... все, что привело их к концу, было связано между собой точно кусочки мозаики!..

Картины — как забыть тот первый раз, когда я увидела и х, — всю их громадность, извращенную громадность, и его страсть, знакомую восторженную страсть к извращенному, к разрушению естественных форм жизни и природы... И мое восхищение его руками, особенно правой рукой, столь искусной и ловкой. И вдруг она изуродована, разрушена — и она тоже...

Он и прежде твердил мне: надо спасать детей. Он страдал за них. Когда-то, так он мне рассказывал, был ребенок, он упал, его не убергли. Все дети падают — это у него была навязчивая идея. И всегда должны найтись руки, чтобы подхватить ребенка — спасти.

Мне претило разрушение... Не поэтому ли он прятал от меня в больнице свою перевязанную руку? Он всякий раз быстро прятал ее от меня, преодолевая боль, я видела это. Но он не хотел моей жалости, а в один прекрасный день не захотел, чтобы я приходила.

Сам он себя не жалел. Беда не ожесточила его. Он был теперь спокойней, чем когда бы то ни было раньше. Он прочитал в газете о новых усилиях, предпринятых художниками всего мира ради спасения франка. Но он не стал участвовать в распродаже картин, хоть его и пригласили. Наверно, за это время узнал из газет о том, как приняли его громадные холсты в Норвегии. Я тоже читала об этом, и мне было невыразимо больно за него. Но я уже не могла ему этого сказать. Он прислал мне письмо, написанное левой рукой. В нем говорилось лишь о моих лондонских гастролях. Вилфред хвалил своеобраз-

ные произведения англичан. Он написал мне: «Прощай!» И подчеркнул это слово.

Сейчас я сижу в его комнате, в доме на Пилестреде. Я жду его. Он не знает об этом. Но он придет. Потому что я хочу, чтобы он пришел. Должен же человек наконец найти путь, даже если он заблудился. Как далеки теперь дни моего счастья, хотя двадцать лет они живут во мне, и столько раз обдуман каждый миг... Двадцать лет. Но, кажется, все это было вчера. Ничего не изменилось с тех пор. Я даже не состарилась. Люди, которым не для кого жить, долго не старятся.

Я живу для моего искусства! Как он потешался над такими высказываниями! Смеялся без умолку. Пока в смехе не появилось нечто злое. Он переигрывал в этом — и в этом тоже...

Но ведь только потом вырисовывается взаимосвязь всех событий...

А женщина, что родила от него ребенка?.. Я как-то встретила ее по чистой случайности. Она и вправду ушла от него, он не солгал. Это была простая душа, веселая, довольная жизнью натура. Он напугал ее. «В Вилфреде как будто всегда жило разом несколько человек», — сказала она. И, зная, что я захочу ей возразить, она тут же добавила: «Нет, нет, конечно, другие люди тоже оборачиваются разными гранями. Но хоть бы минуту побыл только тем, кого я выбрала, или тем, кто выбрал меня!»

Она показалась мне милой и славной женщиной. Значит, она лучше меня разгадала его — сплошь и рядом таково свойство простых душ. Она рассказала, что кормится ремеслом — разрисовывает на дому посуду для фабрики.

Ее он выбрал. И меня тоже. А я выбрала его. Он многих выбирал, я же — его одного.

ТЕПЕРЬ
ЕМУ
НЕ УЙТИ



18

Комната была длинная и узкая, с небольшим окном в эркере, нависавшим над тесным колодцем двора. От двери к окну по линолеуму вытоптали дорожку. Весенний ветер врвался со двора — с этого двора с двумя выходами в противоположных концах, вечно пронизанного сквозняком, — ветер вздымался вверх и дергал крючки на окнах. Будто вихрь в горном ущелье, поднимался он, принося с собой запахи, притекавшие от бочек с селедкой и ящиков с сыром, которые годами складывали у черного входа бакалейной лавки, принося также запахи уборной, находившейся во дворе, где торопливо справляли нужду ночные прохожие, забредавшие сюда с этой единственной целью или в лучшем случае чтобы распить бутылку, которую потом с шиком разбивали о ступу дома.

Так комната стала как бы частью двора; она вбирала в себя все его запахи и шум. И сама она казалась недреманным окном, денно и ночью следящим за всеми дворовыми происшестввами.

Роберт протиснулся мимо плотного клубка людей в подворотне. Народ толпился здесь с самого утра, дожидаясь, когда касирша столовой на втором этаже, окнами выходявшей на улицу, спустится вниз и вывесит на парадной двери сегодняшнее меню. Как раз в эту минуту появилась касирша. Роберт остановился: через головы ожидающих он стал наблюдать за церемонией вы-

вешивания меню. Поднявшись на цыпочки, он прочитал его: сегодня давали рыбный суп, тушеную брюкву и мусс — продукт военного времени, столь хорошо знакомый завсегдатаям: бледно-сиреневого цвета, похожий на взбитый белок, вот только что яйцами там и не пахло. На новом меню были точно такие же пятна жира, как и на прежнем, которое унесла кассирша. Известно, других жиров в этом меню не отыщешь, подумал Роберт, как всегда стараясь скрасить шуткой невзгоды нынешних дней. Тихий вздох разочарования прокатился в толпе ожидающих, но эти забытые люди тут же покорно выстроились в очередь, вернее, она сложилась как бы сама собой...

Роберт пересек двор и бросил торопливый взгляд на окно в эркере. Никого. Отлично. Он ведь строго наказал «тому типу», чтобы не смел подходить к окну. В силу давней привычки Роберт всегда старался во всем отыскивать повод для радости. В ту минуту он еще не хотел признаваться себе, что с равным успехом это могло означать: «того типа» просто нет дома.

Он стал подниматься по лестнице, одолевая разом по две ступеньки и думая о том, кого теперь привык называть «тот тип». Не для того ли, чтобы в душе еще больше принизить его и убедить себя в одном: если в нынешнее опасное время он представил тому типу убежище, то сделал это лишь из скрытых патристических побуждений, а отнюдь не из дружбы, вечной и неистребимой, пусть даже друг стал врагом.

На последних двух лестничных пролетах дело замедлилось. Странно, он ведь похудел, почти совсем бросил курить — вынужденная добродетель, порожденная недостатком курева, — а все равно будто свинец в руках и ногах. Истощение? Недоедание? Или, может, просто старость?.. Он отогнал эту мысль. Думать о старости — значит думать о смерти. А Роберт не любил давать волю неприятным мыслям.

Он трижды размеренно постучал в дверь и стал ждать. Потом повторил условный стук. Затем вынул из кармана оба ключа: один к главному, другой к дополнительному замку. Торжественная процедура. Он разыгрывал маленькую комедию для себя самого — всякий раз одну и ту же. Вилфред поселился здесь неделю назад. Одно время в этой комнате скрывался Биргер, тот самый, что в былые дни развозил сосиски в тележке Роберта. Минувшей зимой Биргер участвовал в дерзком налете на бюро выдачи продовольственных карточек. Знал ли Вилфред, что его сводный брат, восставший из мира теней, был одним из самых активных бойцов подполья? Когда-то он живо интересовался

им. Потом интерес полностью исчез. А недавно исчез и сам Биргер: как многих других, враги бросили его в тюрьму.

Да, Биргера нет теперь с ними. С каждым днем редели ряды верных труженников, неустанно сражавшихся с могучим врагом, изводивших его бесчисленными булавочными уколами, хотя время шло, а враг по-прежнему держал страну под своей пятой: по крайней мере он ничем не выказывал, что силы его подточены. Решающие события разыгрывались где-то в далеком мире. И все же, когда оттуда долетали радостные вести, от которых тайным торжеством распирало грудь, то думалось: бесчисленные булавочные уколы, нанесенные здесь, на обочине главных событий, тоже были небесполезны, и, значит, не зря смельчаки изводили ими могучего зверя.

Но за это приходилось расплачиваться. С каждым днем за это приходилось расплачиваться все дороже. Кое-кто говорил, что игра не стоит свеч... Всегда находились охотники разглагольствовать о результатах, те самые, что предоставляли другим таскать для них из огня каштаны, а сами сидели сложа руки в ожидании часа свободы, который неминуемо пробыет в свое время.

Подойдя к окну, Роберт глянул вниз в мрачный провал двора, где в вихре ветра, дувшего из обеих подворотен, кружились бумага и упаковочная стружка, выхваченные им из захламленных подвалов бакалейной лавки. Да, подворотнями как раз и был удобен двор. Всякий, хорошо знающий здешние места, мог незаметно выбраться через любой из двух выходов — то ли на улицу Пилестреде, то ли на Акерсгате. А если подняться на верхний этаж, там нетрудно было бы отыскать лестницу, ведущую на чердак, а оттуда — спуститься по другой лестнице к другому выходу. Словом, ловкий человек здесь не пропадет: он должен лишь все время сидеть лицом к зеркалу, вделанному в потолок прямо против окошка в эркере. Так можно увидеть всех, кто бы ни забрел во двор, а самому при этом оставаться невидимым.

Роберт там и уселся и принялся наблюдать за жизнью двора. Бог ты мой, конечно же, прибор этот сооружен не для него, впрочем, и не для Вилфреда тоже — придумал его квартирант, скрывавшийся здесь до Биргера. А теперь Роберт поселил в здешней каморке своего старого друга... и разве он не имел на это права? Ведь в последние два года он сам оплачивал эту конуру, как обычно, под чужим именем, но что уж значит имя по нынешним временам? Хозяин дома был свой человек, честный

бакалейщик, старавшийся как можно лучше обслужить старых клиентов, да в придачу еще горстку новых, которых он прежде никогда и в глаза не видал и которых, как он сам понимал, ему не суждено было сохранить.

Бодрое настроение Роберта улетучилось, сменившись тревогой и раздражением. А вдруг того типа схватили... каждая из сторон могла сделать это. Нет, невозможно. Наверно, он просто шатается где-то, верный своей привычке, бредя куда-то загадочными и нелепыми своими путями, не понимая, что за ним охотятся. А впрочем, может, и вправду никто за ним не охотится, может, никто даже не следит за ним. А все же эти проклятые бессмысленные скитания куда как опасны... особенно сейчас. Потому что чувства у всех накалены и нервы напряжены до предела. Развязка уже близка. И кто может поручиться, что его опрометчиво не порешат... те, на кого возлагают подобные дела.

Вилфред всегда обладал губительным даром вызывать к себе сочувствие и интерес других людей. Он не напрашивался на это, совсем напротив, за дружескую заботу он всегда платил оскорбительной иронией, но друзья все равно не оставляли его: не считаясь ни с какими расходами, пренебрегая опасностью, они всеми силами старались его спасти...

А вдобавок еще эти картины, проклятые картины, они запали в душу Роберта, до того не имевшего ни малейшего отношения ни к живописи, ни к искусству вообще... картины эти чуть ли не превратили его в расхлябанного неврастеника без точки опоры в реальной жизни, хотя он всем сердцем ненавидел их, в особенности те огромные несуразные холсты, которые Вилфред тогда прислал из Парижа. На них нельзя было даже разобрать, где низ, где верх, а безграничная претенциозность заставляла публику разевать рты и с отвращением отворачиваться. Неужто задача искусства — навязывать людям ощущение тревоги, ощущение распада мира, в те годы — много, много лет назад — лучившегося уютом, прочностью и покоем... И неужто задача искусства — безобразно обнажать все, что, возможно, таилось и тлело в душе каждого, но что лучше было бы не осознавать, не выпускать на свет божий, если хочешь и впрямь наслаждаться покоем и счастьем?..

А скитания эти! Зачем только этот тип сбежал из своего убежища, коль скоро уж кто-то взял на себя труд позаботиться о его безопасности...

Фру Саген... Роберту лишь дважды приходилось с ней говорить за все эти долгие годы, в первый раз — много лет назад

во время случайной встречи на выставке тех самых картин — и вторично уже теперь, в нынешнюю войну; совсем недавно она тайно послала за ним и пригласила его к себе домой на Драмменсвей: она ломала руки — да, да, именно ломала свои красивые белые руки, никогда не знавшие грубой работы... Одинокая страдальница-мать, изнеженная женщина, в свою очередь изнежившая ребенка, который и не был ребенком, когда им был, но и не сделался взрослым с тех пор...

Наверно, мольбы испуганной матери и толкнули Роберта на эту idiotскую жертву — отдать свое тайное убежище, принадлежащее не только ему, но и всей группе, в распоряжение неблагодарного обманщика, даже не считавшего нужным извещать его о своих отлучках, куда бы он ни умчался в погоне за ответом на загадки, которые сам себе загадал, хотя, даже если он отыщет разгадку, ни одному человеку на свете не будет от этого ни малейшей пользы.

Поднявшись с места, Роберт стал беспокойно кружить по каморке. Да, комнатка была невелика, и, может статься, тот тип ощущал себя здесь узником в еще большей мере, чем если бы... но вся беда в том, что он не понимает, каково на самом деле быть узником, будто и не страшится этого, не боится, что его и впрямь могут схватить. Не боится? Но разве он не был во власти страха? Конечно, был — в ту ночь, когда попросил приюта у Роберта, уж конечно, что-то он тогда натворил...

Снова вдруг вспомнились те самые картины. Господи, ведь этот тип сам говорил в ту пору, что они ровным счетом ничего не означают. У него не было ни малейшего намерения, заявлял он, символически отобразить ничтожество человека, его страх. Кстати, произнося слова: «символически отобразить», этот тип насмешливо кривил рот и гримасничал, лентясь подыскивать собственные слова, чтобы заклеить простодушные выводы собеседника.

И вот теперь он, Роберт, хоть, может, и над ним самим тоже нависла угроза, должен сидеть здесь, теряя драгоценные часы и к тому же еще размышляя о том, что же этот гений двадцать лет назад хотел сказать своими картинами, — всей этой мазней, разозлившей порядочных людей, любящих в жизни гармонию и красоту.

Этот тип вообще не заслужил, чтобы его старались спасти. Сам он ничего дельного не предпринимал, только шатался где-то без всякой цели, бежал из города, припадая к природе, забивался в какую-нибудь дыру, где мнил себя в безопасности или,

напротив, где ни в чем не мог быть уверен, бродил и искал, по его словам, нечто такое, что нежная его душа некогда утратила в былом, ныне исчезнувшем мире...

Роберт взглянул на часы. Он подождет еще минут пятнадцать. Сядет спиной к окошку и уставится в зеркало, следя за всем, что творится во дворе, но только ровно пятнадцать минут, и ни минуты дольше. Ему нужно уладить уйму дел, встретиться с разными людьми. Ведь он живет реальностью, и будни его увлекательны. Он трепетал от радости, от сдерживаемого торжества, предвкушая новости из Лондона, которые он скоро услышит — в другом доме, куда допускаются лишь посвященные. Он радовался будням, подарившим ему подлинную жизнь. Такие будни надо беречь — наполненные дружеской близостью и общностью с настоящими людьми, чей каждый день насыщен трудом и мукой, уж они-то не бросятся в погоню за химерами, созданными собственным воображением.

Еще четверть часа — и конец. Конец всему, даже если им когда-нибудь еще суждено встретиться — здесь ли, на улице или где бы то ни было. И без того его измучила совесть: ведь он позволил подлому изменнику родины — если, конечно, правда все, что о нем говорят, — воспользоваться приютом, предназначенным для более достойных людей. Да, если этот тип сию секунду появится в дверях, Роберт скажет ему несколько суровых слов. К черту реверансы, к черту всю эту жалость!

Хотя... сам-то он в конце концов ничего толком о нем не знает, да и как-никак они — старые друзья.

Нет, он подождет еще четверть часа, и ни минуты больше. Вдруг Роберт вздрогнул. Может, ему лишь показалось, будто в зеркале, вделанном в потолок, мелькнул знакомый силуэт? Карикатура... В следующую секунду он уже был у окна и, перегнувшись через подоконник, глянул вниз. В провале двора он увидел Вилфреда, это несомненно был он. Очевидно, преломление света в зеркале так исказило его облик. И все же что-то странное, непривычное померещилось Роберту и в самой художавой фигуре, маячившей там, внизу, в колодце двора. Затем силуэт исчез.

Подойдя к двери, Роберт стал прислушиваться. Ждать пришлось долго. Шаги медленно поднимались по лестнице. В тот самый миг, когда «этот тип» должен был взяться за ручку двери, Роберт рывком распахнул ее. Вилфред сказал своим обычным надменным тоном, который облегчал задачу порвать с ним раз и навсегда:

— Как называется игра, в которую ты сейчас играешь? Наверно, «Патриот и изменник родины»?

Они стояли друг против друга. Вся решимость Роберта покинула его... Тон у Вилфреда был прежний, но сам он изменился до неузнаваемости. Роберту он напомнил людей, изображенных на снимках, которые тайком выносили на волю из концентрационных лагерей. Глаза в огромных глазницах были естественно велики. Черты лица заострились. Светлые волосы, тронутые сединой, мертвыми прядями свисали со впалых висков, а рука, которую он протянул Роберту, походила на коготь. В его худобе было что-то зловещее.

— Очень мило с твоей стороны — дожидаться меня здесь, наверно, я доставил тебе уйму хлопот... — Вилфредогляделся: — А эта комната... конечно, она нужна вам для более важного дела, зачем ей пустовать, раз я все равно здесь не живу.

Он бросился на кровать.

— Нет ли у тебя чего-нибудь выпить? Сейчас главное — выпить. А после ты избавишься от меня. И спасибо тебе за все.

Вилфред выпалил эти слова будто урок, будто желая во что бы то ни стало опередить собеседника. Значит, и на этот раз он обо всем догадался. Роберт вновь почувствовал прилив раздражения. Вечно он перехватывает у него инициативу — всегда, при каждой встрече, — этот старый друг, которого он сейчас почти ненавидел. И все же невольно Роберт уже полез в карман мягкого плаща, который постоянно носил, и вытащил бутылку. Вилфред, не глядя, протянул руку, схватил бутылку и отпил из нее большой глоток. Роберт заскрежетал зубами, с трудом сдерживая раздражение. И тут она очутилась перед ним — Вилфред, опять же не глядя, протянул руку, Роберт должен был взять бутылку, но не взял — этот тип мог бы потрудиться и вернуть ее другу с большей учтивостью.

Тогда желтая, как воск, рука описала дугу и вновь поднесла бутылку ко рту. Роберт увидел, как водка в ней убывает. Он подошел к Вилфреду и грубо выхватил у него бутылку.

— По-моему, довольно с тебя!

— Еще бы! Свиное пойло!

Роберт прокашлялся.

— Ты не ошибся, я хотел говорить с тобой о комнате...

Но Вилфред перебил его:

— Знаешь, это излишний разговор. Через полчаса я уйду, — ничего, не задержу тебя? А сейчас — или поговори о чем-нибудь другом, или вообще заткнись.

Он улегся на бок и тяжело задышал.

Роберт взглянул на часы. Намеченные им пятнадцать минут давно прошли. Он попытался овладеть собой:

— В любом случае — сейчас не время укладываться спать...

Вилфред на кровати поднял правую руку.

— Заткнись наконец, черт бы тебя взял, хоть на одну минуту! — И тотчас же притворился, что спит. Вилфред всегда притворялся, что спит, чтобы его оставили в покое. Прошло совсем немного времени, и он вскочил с кровати.

— Ну, что ты молчишь? Давай, теперь выкладывай! К тому же я не прочь выпить еще.

Роберт протянул ему бутылку и снова увидел, как быстрыми рывками стала убывать водка. Вилфред тяжело опустился на край кровати.

— Ты, конечно, хотел бы кое-что узнать от меня, — сказал он, — кое-что узнать в награду за твои благодеяния. Первое: есть такой молодой человек по имени Кнут Люсакер, студент, только не притворяйся, будто с трудом припоминаешь, о ком я говорю... Вы должны непременно спрятать его. Он слишком долго исполнял задания, сейчас пора его спасать.

Роберт забыл всю свою досаду.

— Так ты думаешь...

— Не важно, что думаю я. *Они* взяли его на заметку. У них есть люди, которые подосланы к здешним патриотам... нет, нет, не воображай, будто я хочу втереться в доверие... мне оно ни к чему...

— Ты точно это знаешь?

— Да, точно. У меня есть немецкий друг, брат. Нет, нет, опять ты не то подумал... он самый обыкновенный прохвост, хотя, впрочем, может, и не такой уж обыкновенный, я же сказал тебе, что он мой брат...

— Как это так — брат?

— Самый настоящий брат, какого человеку, не знавшему ни братьев, ни сестер, может, удастся обрести раз в жизни, а откуда он — из Пенсаколы или с Марса, — уж это не имеет ровно никакого значения. Когда-то, может, помнишь, меня очень интересовал парень по имени Биргер, да, конечно, я знаю, что он один из ваших людей, вот он настоящий брат по крови — мой сводный брат. Сверх этого что-то роднило нас, и уж одно смутное это родство пугало меня. Оно делало меня сентиментальным... словом, он угрожал моему одиночеству — ты же знаешь, я хотел, чтобы оно было полным... Дай-ка сюда бутылку.

И снова Роберт протянул ему бутылку, но на этот раз Вилфред лишь пригубил водку и вздрогнул от отвращения!

— Как только вы пьете этакую гадость!.. Да, ведь мы толковали о Биргере. Он досаждал мне одним фактом своего существования. Да, я знаю, он арестован. Да, я слегка к этому причастен. Да, да, можешь глазеть, сколько хочешь. Не будь войны, кто знает, может, я убил бы его. Потому что, даже будь мы друг от друга на расстоянии тысячи миль — все равно слишком велика была моя тоска по брату, чтобы я мог примириться с тем, что он существует, разумеется, когда понял, что у нас нет ничего общего, что мы рознимся в самом главном...

Роберт с отчаянием проговорил:

— Может, его все равно бы арестовали...

— Несомненно. Но я *хотел* быть к этому причастен, понятно? Хотя мы только что говорили о другом. О моем немецком друге. Ты не знаешь его, пусть он останется безымянным, как все, кто носит мундир. Я сейчас отправлюсь к нему. Не знаю, что из этого выйдет. Но я должен видеть его еще раз, говорить с ним. Я должен узнать, одно ли мы с ним существо или же нас двое, верно ли, что мы с ним — порождение чьей-то грозной и тайной воли, пожелавшей, чтобы родились два одинаковых существа, и что миллионы людей должны были умереть ради того лишь, чтобы пересеклись наши пути...

Роберт сказал:

— Ты устал. Можешь отдохнуть здесь — до завтра.

— Ты думаешь, что я сошел с ума, но ты ошибаешься... Впрочем, вряд ли тебе все это интересно.

— Отчего же, по старой дружбе...

— Нет, нет. Я охотно останусь здесь еще часа два-три, может, даже до утра, не знаю. Не забудь, что я сказал тебе про того студента. Он помог спасти группу беженцев — сам знаешь какую. Может, он и есть тот герой, о котором, помнишь, вы все толковали, тот, что совершил подвиг у границы. Кнут Люсакер сделал свое дело. А теперь — переправьте через границу его самого и пусть он прихватит с собой Лилли и ее мужа, того, что все зовут Л о с е м, — надеюсь, ты помнишь Лилли, бывшую нашу горничную в доме на Драмменсвей, о которой я тебе рассказывал? Когда-то я чуть не извел ее своими проказами. Но она еще жива! Студенту все известно про нее и про Лося. Прими меры немедленно, сегодня же вечером или ночью. Сейчас граница трещит по всем швам. Дело идет к концу, говорю тебе.

Роберт слушал его будто замороженный. Раздражение оттого, что он должен вот так сидеть, выслушивая распоряжения изменника, смыла огромная теплая волна надежды...

Роберт поднялся:

— Можешь оставаться здесь, сколько хочешь...

— Только до вечера или самое большее до утра. Я должен встретиться с ним, с братом моим, и что-то непременно произойдет при этом. Только ты уходи сейчас, я захмелел и хочу спать. Ступай, говорю тебе, отыщи этих твоих друзей. Вот тебе ключи от комнаты, возьми их сейчас, а я просто захлопну дверь. Ступай, сказал я. Ты мне надоел. К тому же я пьян, ну и дрянью же ты меня накачал!..

Роберт слегка помешкал. Он увидел, как голова друга откинулась на подушку. Лицо его походило на маску мертвеца. Взяв ключи со стула, Роберт тихо подошел к двери.

19

Мерзкий зверь по-прежнему держит в когтях страну. Но порой люди забывают об этом: кому не хочется глубоко вздохнуть посреди забот и ощутить в своем сердце радость? Подчас она незаметно прокрадывается в душу, чтобы затем уже прочно поселиться в ней. Так остро нужна человеку радость, что порой она сама приходит к нему незваная — как спасение.

Стоит ясная апрельская ночь. Светлая радость может сейчас прихлынуть к кому угодно — хотя бы уже потому, что зимняя тьма отступила, и велик ли грех, замечтавшись, спутать эту тьму с самым мерзким зверем, что налег на страну всей своей тяжестью, — тьму да холод, еще недавно кусавший мочки ушей. Холод отступил под напором теплого воздуха с юга, хотя порой еще налетает ледяной северный ветер. А все же что-то носится в воздухе — не то тоска по несбывшемуся, не то угроза... Сплошная холодная мгла, без начала и без конца, дала трещину.

В городе, где пламенеет надеждой рассветный луч, блеснувший на каком-нибудь старом карнизе, изъеденном многолетней пылью, и на побережье, над фьордом, у выхода к открытому морю, где замирает шторм, — повсюду в шуме ветра слышится иная музыка — уже не прежний однообразный рев, будто из глотки взбешенного безумца, волнующий смутный свет напоен звуками, сливающимися в песнь тоски и надежды, она летит

над пустынными грядами холмов, что тянутся миля за милей мимо редких скоплений домиков, пугливо теснящихся друг к другу, притихших, с темными окнами: кажется, будто они сбегались сюда, гонимые одним и тем же страхом, да так и застыли на месте, не смея разойтись.

Зато внизу, в лощинах городских улиц, по-прежнему притаился густой мрак. Ночь почти не знает прохожих. Ничто не манит человека на улицу, отовсюду грозит опасность. А те редкие прохожие, что все же бредут ночным городом, жмутся к домам, возле них им не так страшно. Безжизненно распростерты улицы, взрезанные рельсами, изуродованные разбитыми тротуарами. Над ними фонари с приглушенным светом, будто глаза слепца. Страшно брести в этом полумраке, который может скрывать все что угодно. У самых домовых стен и вовсе темно. Но там как-то покойней, словно ты уже вошел в дом.

А в доме покойно, для многих почти безопасно; но для других еще страшней, чем на улице, да только все равно надо ведь где-то быть.

Дома порой так жутко, что даже стены не защищают, а будто таят угрозу. Если не дай бог случится что-то, они помешают бежать. Если вдруг задребезжит звонок или тяжелые удары в дверь возвестят, что *они* уже здесь. Все слышали резкие крики в ночи, в страхе прислушивались и наконец успокаивались на том, что, видно, пришли к соседям, словно *это* менее жутко... и многие прятались под одеяло, утешаясь мыслью, что пришли не за ними.

Конечно, они стыдились этого, стыдились столь позорного утешения. У них нет зла на соседей, напротив, соседи — милейшие люди, с которыми им не раз случалось перемолвиться несколькими словами на лестнице. И все равно хорошо, что пришли за ними, то есть это ужасно, но все же лучше, чем если бы пришли за тобой. Своя рубашка ближе к телу.

А то нет, что ли? Однако многим это утешение не впрок. Некоторые сочувствуют страждущим так горячо, будто беда настигла их самих. Но от этого страждущим не легче.

Есть и такие, что спешат по улицам, прижимаясь к стенам домов, чтобы спрятаться в их тени, скрываясь от зорких, высматривающих глаз. Для этих своя рубашка не ближе к телу. Получив сведения из тайных источников, люди эти держат путь к другим — незнакомым людям, чтобы их предостеречь. Иные из них вооружены — те, кому поручено свершить возмездие или же угрозой добиться своего; но, может, они несут кому-то

весть о его родных или же другую весть из большого мира — не-утомимые люди, которым «ближе к телу» чужое горе, по крайней мере в эту ночь.

И ночь эта затаила угрозу. Опасность подстерегает прохожих на каждом шагу. Многие считают, что так или иначе близок конец. Но это не уменьшает угрозу — напротив, умножает ее, однако людям, чей ум затуманен тайной радостью, опасность кажется меньше. И оттого они бывают неосторожны. Многие исчезают в такие ночи. Исчезают, даже не успев замести следы, а значит, ставят под угрозу других...

В свете тоже разлита угроза — в свете, который предвещает весну, и в ответе объятого огнем мира, где совершается главное, где уже предreshен конец... Много знают люди такого, что наполняет сердце надеждой и торжеством. Но ведь так бывало и раньше. Каждая новая весна приносила с собой мимолетную надежду и радость. Но то был обман. Слишком рано начали надеяться люди. А это опасно — начать надеяться слишком рано и поступать, вдохновляясь ложной надеждой. Гнусный зверь не сдвинулся с места. И повсюду простер свои щупальца.

Многие люди не знают. Кажется, зверь повсюду простер свои щупальца, недремлющим оком следит он за всеми и каждым. Но внезапно случится такое, что поневоле поверишь, будто зверь уже сдался или попросту уснул. И тут вдруг он опять занесет одну из своих страшных лап и ударит.... Никогда нельзя знать...

Может, напротив, следует ждать беды. Грязный зверь может еще больше расшаркать, поняв, что дни его сочтены. Часто слышишь теперь: то одного, то другого из лагеря зверя нашли ночью где-нибудь под забором, валялся, будто порожний мешок: «наложил на себя руки». Вот только что проку от этого? У зверя столько щупалец, их и не сосчитаешь. И не могут же *они* все сами покончить с собой.

Нет, зверя не прогонишь весенним ветром, полоской света. Надежда и тоска — неверные предвестники счастья. Люди, просыпающиеся ночью в своей кровати, быстро переворачиваются на другой бок и баюкают себя надеждой. Но в следующий миг ее уже нет как нет, а люди лежат, чутко прислушиваясь к шагам, раздавшимся где-то вдалеке, то приближающимся, то снова тонущим в других звуках; люди лежат и прислушиваются, не раздадутся ли опять шаги. И надежда тает с каждым мигом, хоть люди всеми силами и цепляются за ее тень. И скоро ничего уже не остается от прежнего света — предвестника покоя и счастья,

маленькой звездочки, зажженной человеком в собственном сердце.

Звездочка гаснет, а люди лежат, вглядываясь в немую тьму, и видят, что ночь медленно отступает. Тут они и замечают расцвет за окном. Конец сну, конец ложным надеждам. Что ж, по крайней мере хоть забрезжил день. Он медленно набирает силу.

А быстрые шаги во тьме, чьи они? Может, это спешат верные люди, чтобы выполнить тайное задание? Или же то зверь рассылает свои патрули, и об их злодействах мы узнаем на другой день из сообщений, составленных в непререкаемом тоне: «Понесли заслуженную кару...»

«А ты знал его?» — «Так я же только на той неделе его видел!» — «Господи, у него ведь четверо детей...»

Дрожь ужаса пробирает людей, беда кажется еще более непостижимой оттого, что «они ведь знали его». Но если они не знали «его», — все равно это непостижимо. Он же однофамилец такого-то и тезка кого-то другого, он же носил коричневые ботинки и фетровую шляпу. И сразу вспоминаешь других, у кого тоже четверо детей. Одни вдруг начинают страшиться каждого своего шага, уничтожают какие-то письма и бумаги. Воровато оглядываются по сторонам у себя на фабриках, в конторах. Совершая обычные покупки, ведут себя более робко и приниженно, чем вчера. Они рады бы превратиться в маленьких серых мышек, тех, что могут спрятаться в расселинах стен.

Другие, напротив, совсем утратили осторожность. Впереди еще много дел. И сейчас надо торопиться больше прежнего именно потому, что произошло что-то ужасное.

Значит, это они спешат по ночам вдоль улиц, прижимаясь к стенам домов. Это те, кому своя рубашка отнюдь не всегда ближе к телу, те, кто не верит, что все само собой обернется к лучшему. Они хотят подтолкнуть время вперед, навстречу тому, чего все ждут, — навстречу Концу!

Дальше этого никто не смеет заглядывать... Люди лежат по ночам с пересохшим горлом и прислушиваются. Там, за окнами, творится многое, о чем они могут только догадываться, о чем знают лишь понаслышке. К счастью, о многом часто можно узнать от людей. И оттого — хорошо собираться вместе: на службе, в очередях, даже если при этом воровато оглядываешься по сторонам: «Нет, кто бы подумал, что вот тот или вот этот...»

А все же поверить можно: чего только не услышишь нынче! Зверь добился своего. Он заронил яд в тело, которое он сосет... Пора наступить концу.

Эти апрельские ночи, как вынести их, как вытерпеть? Они такие долгие, куда дольше зимних ночей, ведь в апреле светает рано, а день все равно наступает поздно. Днем люди встречаются и заводят тихий разговор, стараясь ободрить друг друга, особенно после такой ночи, когда зверь нанес очередной удар. Они подбадривают друг друга, хоть и говорят о свершившейся беде — тем лишь, что люди говорят с людьми.

Сейчас в центре города стоит точно такая ночь. Улицы почти пустынные. А когда свет начинает ласкать изъеденные временем карнизы, словно бы сотворяя их из ночи, люди и по-прежнему стремятся укрыться в домах — даже самые деятельные из них и отважные, не оставляющие своей бескорыстной работы и теперь, хотя кругом происходят такие ужасные вещи.

Из одного дома в центре города небрежной походкой, с независимым видом вышел худощавый мужчина. Шагая по самой середине улицы, он то осматривался кругом, то глядел на часы, очевидно, спешил к раннему поезду. Он будто бросал вызов вызову из камня и стен, пытавшемуся притвориться безвинным, но притом скованному страхом. Если кто-то стоит сейчас у окна, за темной шторой, лишь у самого подоконника оставившей узкую щель, то, наверно, он подумает: куда спешит этот человек в столь ранний час, что он замыслил? Доброе или злое дело? Кто он — охотник или дичь?

Человек шел по улице свободным и вольным шагом — казалось, он принял решение, сбросил с себя гнет страха. Он спокойно шел по середине улицы и держал путь к вокзалу.

20

Прогулка вдоль побережья была великолепна. Каждый миг ее будто воскрешал благословенное прошлое — все, что некогда было и ушло. Силой мысли он пытался его удержать, однако оно ускользало, всякий раз ускользало... Но даже боль эта была сладка.

Над морем висел голубой туман — будто дым господней сигары. Ветер приносил с суши пряные запахи земли. Светлые березовые рощи навевали легкую радость, уготованную всем, кто бы ни шел своим путем в этом благодном мире.

Но никого больше не было — был один-единственный человек в этом счастливом мире, где за каждым поворотом дороги ждали путника новые радости.

Счастье нового дня поселилось в его душе с той самой первой минуты, когда он сошел с автобуса, весело помахав на прощание шоферу, который тут же повернул свою выдавшую виды машину, чтобы повести ее назад, к унылой будничной службе в маленьком городке. Вилфред шел по дороге между холмов, и кровь его пела. Будто каждый камень, мокрый от росы, тихо говорил с ним неслышной речью — на языке, понятном лишь им обоим.

Мягкие волны накатывали на песчаный берег, шепотом поверяя ему свои тайны, бурые водоросли качались на них взад и вперед, смиренно и ровно, точно говоря: да, здесь наша жизнь и мы ею довольны. С горизонта поднималась смутная дымка, она быстро таяла под крепнущими лучами солнца. Чайки выписывали свой белый узор на сини неба, будто усеянной жемчугом, — это море отражало прохладные лучи солнца, с каждым мигом набиравшего силу...

Неужели эти жемчужные россыпи обрамляют картину мира, полного страха и злобы? Даже его собственные легкие шаги по тропке, казалось, опровергали это. Неведомая даль дарила ему загадочное ощущение счастья, и оно несло его вперед, между пологих холмов к морю, где слышался равномерный плеск ленивых утренних волн, холодными языками лизавших гладкие прибрежные камни. А с другой стороны — с суши — эти терпкие запахи, эта песнь пробивающейся листвы, свежий пар от скудного мха на скалах, отточенных до совершенства...

Никто не отозвался на его стук, когда он подошел к дому. Раз-другой он подал голос, надеясь, что его услышат, и все время чувствовал, что за ним следят. Он обошел вокруг дома, поочередно подходя к каждому окну, и сквозь стекла разглядывал одну комнату за другой. Увидел погасший камин, у которого стояли низкие кресла так, как будто большая компания гостей только что встала и покинула их. Но не было ни рюмок, ни другой посуды на столах, ни вообще каких-либо следов пребывания людей. На кухне чисто вымытые тарелки и чашки стояли на обычных местах. Вилфред знал педантизм Морица, его любовь

к порядку. Неужели он уехал — бежал от опасности и беды, не дав себе даже труда известить об этом друга, более того — спасителя?

Все это время его не покидало гнетущее чувство, будто за ним наблюдают из какой-то совсем близкой точки, посмеиваясь над его тщетной беготней вокруг дома. Будто сам он подглядывает чужую жизнь, но кто-то в то же время подглядывает за ним, а за этим вторым человеком подглядывает вся окрестная природа, полная знания всех унижительных человеческих тайн... У него мелькнула мысль, что его могут подстрелить; что ж, если кто-то сейчас выстрелит в него сзади, без промаха попадет ему в спину, чувствующую угрозу, что ж... может, это и будет желанное избавление, которого жаждет все его существо?..

Со стороны моря донесся резкий смех. Он обернулся. Каменная беседка. Ну, конечно же. Мориц сидел в этой маленькой естественной крепости с видом на море, где в гребне каждой волны сверкали огни отраженных лучей солнца, рассеивающего дымку утреннего тумана, в крепости с видом на море, откуда просматривалась также и суша, где стоял дом...

Вилфред быстро сбежал по склону холма к беседке. Она была обращена открытой стороной к морю, а закрытой — к суше, и случайный путник не мог бы сверху увидеть того, кто в ней расположился. Сойдя вниз по пяти каменным ступенькам, Вилфред очутился у фасада, обращенного к морю. На каменной скамье сидел Мориц. Он сидел в своей излюбленной позе, расслабившись и одновременно настороже, будто зверь, готовый сорваться с места при малейшем шорохе. Перед ним на каменном столике стояли бутылка мозельского и две рюмки. Вилфред огляделся вокруг.

— А где Марти?

— Она ушла месяц назад, даже не простившись со мной.

Он холодно взглянул на Вилфреда: казалось, был доволен, что тот так и не понял, в чем дело. Вилфред недоуменно посмотрел на вторую рюмку.

— Это для тебя — на случай, если ты зайдешь. Или для кого-нибудь другого. Сюда ведь не часто кто-нибудь забредает. А ты был похож на вора, да, на взломщика, когда крался вокруг дома, заглядывая в окна.

— Ты мог бы окликнуть меня. Я не люблю, когда за мной следят.

— Никто не любит! — коротко и холодно отрезал его собеседник. Он налил гостю вина. Бутылка была уже наполовину

пуста. Словно в ответ на немой вопрос, Мориц наклонился и выудил из густой тени под столом вторую бутылку.

— Неужели она ушла без всяких объяснений? Не оставила даже записки?

— Записки не было. Твое здоровье!

Мориц поднял рюмку. Прохладное мозельское вино, будто огнем, опалило ему глотку.

— Одним врагом больше, — сухо произнес Мориц. — Одним опасным врагом больше. Кстати, почему ты так беспокоишься о Марти? Простой вежливости ради следовало бы сначала спросить, как поживаю я!

Они сидели друг против друга, как много раз за время их знакомства. Прекрасное свежее утро, казалось, вобрало в себя все сущее — теперь Вилфред даже не мог вспомнить, что вообще привело его сюда.

— А сам ты как поживаешь? — спросил Мориц.

Как он поживает? Он ушел в подполье, как теперь принято выражаться, скрывается — прячется, попросту говоря...

Мориц спросил:

— Но ты по крайней мере хоть жив?

Странный вопрос. Вилфред ведь и вправду жил как бы вне мира. Вся его прежняя энергия, казалось, покинула его. Он нашел приют в маленькой каморке на улице Пилестреде. Прятался там, как мелкая зверушка в норе, и не искал связи с миром.

— У тебя скверный вид. Не побывал ли ты часом в тюрьме? Теперь ведь такая мода...

Да, он побывал в тюрьме — своей собственной. Он долго был там. А теперь его расспрашивают об этом, и в вопросе — одновременно озабоченность и насмешка. Вилфред покачал головой. Он думал о Марти. Он слышал о ней от Роберта, тот рассказывал, что она пошла по рукам и вообще чудит — просто совсем опустилась.

Мориц устало улыбнулся.

— Похоже, нам обоим приходится худо. Я получил новое назначение, вот-вот смоюсь. Злые языки утверждают, что мы все вообще скоро смоемся отсюда.

Да, злые языки это утверждают. Роберт так и сиял от восторга, предвкушая эту минуту. А вообще-то, что стал бы делать Вилфред без Роберта все это время и почему именно Роберт так печется о нем?

Мориц поднял рюмку:

— Ты что, приехал сюда, чтобы не раскрывать рта?

Вилфред часто задумывался об этом. У Роберта есть все основания поступать прямо противоположным образом... Неужели и впрямь существует нечто зовущееся дружбой?

Он заставил себя поднять рюмку.

— Я приехал повидаться с тобой.

Он понял вдруг, что ненароком сказал правду. Чудесное утро вдруг застыло, оцепенело, новый день будто затаил дыхание в недобром предчувствии. Конечно, не мог же он приехать сюда без всякого дела.

— Ты явился, как говорится, к самому отходу поезда...

Дорогой Вилфреду мнилось, что его влечет сюда некая определенная цель, но все это отошло куда-то далеко. Все, что терзало его день и ночь в унылой каморке на Пилестреде. Он должен избавиться от чего-то... Но сейчас его мучило смутное чувство вины перед Робертом: вот Роберт не умеет долго ненавидеть кого-нибудь...

— Из Германии приходят дурные вести, — продолжал Мориц.

Вести — вот что сейчас больше всего занимало Роберта. Как он радовался им и как горевал, когда удар настигал кого-то из его товарищей по борьбе. И все же горе не убивало его. У некоторых всегда есть в запасе радость — спасение...

— ...Так что, наверно, это наша последняя встреча.

Вилфред слишком долго жил взаперти и теперь никак не мог сбросить оцепенение. Морица тянуло на исповедь. Но между ними стояла стена. Всем существом своим Вилфред был сейчас в каморке на Пилестреде — куда больше, чем во все то время, когда он и вправду там был.

— Враг? — повторил он, вдруг возвращаясь к прежнему разговору — разговору о Марти: — Да что ты, ей все безразлично, она просто дура!

Но Мориц, казалось, только и ждал повода заговорить о ней:

— Ты ошибаешься. И вообще все эти слова — умный, дурак — ничего не значат. Марти — артистическая натура, а значит, впечатлительна и в некотором роде творческая личность. К тому же она лжива, впрочем, одно без другого не бывает. Она лжива и притом простодушна, а простодушный лжец сплошь и рядом говорит правду, как она, к примеру, сказала мне правду о тебе.

— Ты что, сегодня настроен философствовать?

— Да, я настроен философствовать. Все это время я много размышлял. И решил принять кое-какие меры.

— И какие же меры ты принял?

— Да никаких...

Они избегали смотреть друг на друга. Они глядели на сверкающую гладь фьорда...

— Вы что, поссорились с Марти?

Мориц отпил из рюмки, потом прижал прохладное стекло ко лбу.

— С Марти невозможно было поссориться. Она сама говорила все, что хотела, а ответов не слушала. Просто мы оба были в скверном расположении духа.

— Причина?

— Не было никакой особой причины. Просто в одно прекрасное утро мы проснулись в скверном расположении духа, оно возникло, как возникает день. А потом от него не отделаешься, пока не зайдет солнце. Но скверное настроение не покидало нас при солнце, как и при луне. Так мы и жили. Я тоскую по ней...

— Почему ты называешь Марти артистической натурой?

Вилфред отвел взгляд от смутной линии горизонта, который, казалось, то отдалялся, то приближался по воле волн, игравших светом, волшебным преображавших все расстояния. Его собеседник сидел, вертя в руке рюмку, — в худой, но крепкой жилистой руке.

— Разумеется, Марти не «интересовалась», как принято говорить, каким-либо видом искусства, это не в ее стиле. Она не принадлежит к числу дам, без которых не обходится ни одна генеральная репетиция, ни один вернисаж. Дамы эти бездумно вращаются в кругу, не имеющем ничего общего с искусством. Твой друг Роберт — вот он человек искусства. Наверно, он не в состоянии отличить Боннара от Пикассо, но зато у него есть личность, которую он стремится выразить, и для этого есть по меньшей мере две возможности.

— Почему ты вдруг заговорил о Роберте? Вот уж совсем безобидный человек.

— Не может быть безобидным тот, кто сам обижен. Откуда мне знать, во что мог ввязаться такой человек, как он? Большинство людей лишь в последний момент вспоминают, что надо спасать свою шкуру... Впрочем, речь не об этом, я просто хотел сказать, что он поразительно свободен от утомительной тяги к идеализации всего и в с я, — право, есть что-то болезненное в этой извечной германской черте. Вот англичане смотрят на все с практической стороны... Черт побери, отчего ты не остановишь меня? Мне так недоставало тебя все это время!

Только теперь Вилфред заметил, что в нескольких шагах от них в траве лежали, сверкая на солнце, пустые бутылки. Значит, мрачное глубокомыслие Морица — всего лишь плод долгого общения с отменным немецким вином...

— Ты ведь, кажется, говорил о Марти?

— Да, все было связано между собой: Марти и нынешнее положение в мире... В простодушии Марти, в ее серьезном отношении к мелочам я чувствовал, признаюсь, какую-то силу. Это смущало меня. Я должен сказать тебе одну вещь... — Мориц подался вперед и с нарочитой доверительностью продолжал: — Я по-своему любил эту женщину. Ее простодушная лживость, нелепая вера в добро — все это трогало меня, а ее провинциальная порочность словно бы возвращала невинность мне самому...

Вилфред пожал плечами: какой смысл обсасывать пустячные переживания — но, казалось, Мориц отрешенно готовится к чему-то, чего уже нельзя избежать.

— Почему ты говоришь в прошедшем времени? — спросил Вилфред. — Будто все у нас уже позади...

Мориц коротко рассмеялся:

— А разве не так?

В тот же миг в руках у него оказался револьвер; очевидно, он незаметно вытащил его из кармана.

— Комедиант! — сказал Вилфред. Ему нравилось дразнить Морица. За беседой они уже почти до дна распили вторую бутылку. Ясное утро постепенно сменялось пасмурным днем. Радостное настроение улетучилось.

Мориц наполнил его рюмку, затем вынул из-под стола третью бутылку.

— А что, люди вроде нас с тобой — всегда комедианты. Не то чтобы мы стояли в стороне от жизни, мы по-своему участвуем в ней, но разве мы вкладываем в это душу?

Отставив бутылку, Мориц снова взял в руки револьвер; теперь он вертел его в руках.

— Взять, к примеру, тебя: ты вечно перегибаешь палку, ты злоупотребляешь выигрышем, которым наградил тебя случай. Ты вызволил меня из беды, правда, не ради любви ко мне. Впрочем, мне безразлично, почему ты это сделал. Но шло время, и глянец на подвиге твоём поистерся. Сам понимаешь, не могу же я день за днем надраивать мою благодарность к тебе, чтобы она сверкала вечно новым блеском?

Вот это разговор начистоту! Раньше или позже он должен был состояться. Нельзя безнаказанно отвергать дружбу чело-

века, который вынужден насиловать свою природу, чтобы вступить в общение с другим. Вилфред вздохнул с облегчением, он будто снова обрел под ногами твердую почву.

— А это значит, — спросил он и с насмешливой серьезностью поднял рюмку, — что отныне ты отказываешь мне в верности и дружбе?

— Ты угадал.

Мориц снова отложил в сторону револьвер. На его вялом лице блуждала улыбка, чувственная и обманчивая, как все в этом человеке, разыгрывавшем комедию.

— Твое положение двусмысленно: с кем только ты не водишься! Хуже того — сам факт твоего существования способен кое-кого раздражать.

— И ты полагаешь, что это можно исправить?

Мориц отрешенно глядел в весеннее небо. Черные тени промчались над фьордом, зловеще кричали морские птицы. Какая-то ложная торжественность сквозила во всей этой сцене, и казалось, вокруг — наспех сколоченные декорации, реквизит театральной техники, который будет выброшен на свалку, как только окончится представление.

— Вся эта природа действует мне на нервы... — Подняв рюмку, Мориц снова поставил ее на каменный стол. — Я обдумал создавшееся положение, — сказал он по-прежнему таким тоном, словно самому ему все глубоко безразлично.

— Ты хочешь извиниться?

Мориц раздраженно покачал головой:

— Мы действуем решительно и быстро. Странные вы люди, вы, жители этой миролюбивой страны. Вы до сих пор не поняли, что в критической ситуации высшая справедливость требует решительных действий. Реальность, как и прежде, вам чужда.

Вилфред уже раскрыл рот, чтобы ответить, но отвечать не хотелось. Револьвер на столе словно дразнил его. Стоит ему сейчас протянуть руку и попытаться его схватить — но, как бы молниеносно он ни проделал это, Мориц опередит его и к тому же это послужит оправданием поступка, в котором, в сущности, ему и не надо будет оправдываться.

Вилфред опустил обе руки на холодную столешницу. Мориц не сдвинулся с места. Его длинные пальцы теребили знаки различия на воротнике мундира, словно он хотел этим сказать: «Видишь, я убрал руки от револьвера — пользуйся случаем!»

А если револьвер не заряжен? Если вся эта мелодраматическая сцена — лишь повод подтолкнуть Вилфреда на дурацкий и

необратимый жест? В рукопашной схватке Мориц легко возьмет над ним верх... Вилфред не слишком искушен в обращении с огнестрельным оружием, да и кто, глядя на револьвер — орудие смерти, — возьмется определить, хранит ли оно сейчас в себе эту смерть или же нет...

Мориц вдруг протянул руку и схватил... рюмку. Вилфред чуть было не попался на удочку, но, уж верно, ангел-хранитель вовремя удержал его.

Мориц поднял рюмку и кивнул с одобрительной улыбкой.

— Недурно, недурно! — пробормотал он.

— Лучше не бывает! — Это могло относиться и к вину. — Наверно, с интендантского склада?

Кокетливо приложив два пальца к губам, Мориц вскинул брови.

Да, наверно, вот так он сидел и забавлялся день за днем. А теперь у него появился зритель...

— Слишком поздно... — вдруг тихо произнес Вилфред. И поскольку тот, другой, не отозвался, он продолжал: — Я полагаю, это в природе вещей. Человек взрослеет рывками. И причины, побудившие нас в свое время сделать то-то и то-то, впоследствии уже недействительны, да их даже и не вспомнишь! Кажется, будто все предопределено заранее.

Мориц холодно рассмеялся:

— Ты вечно думаешь лишь о самом себе — о том, чтобы возвыситься над обыденным... — Он сидел, вертя в руках револьвер. — Я же сказал: мы с тобой братья, — продолжал он, — мне ли не знать, что такое сомнение? Большинство наших поступков мы совершаем случайно. Преднамеренность мертвит — в ней уже зачаток малокровной рефлексии. Важнее наших раздумий и решений — условия, случайные обстоятельства, которые вынуждают нас действовать... Как-то раз на Украине, в боях за некую речушку, со мной приключилась забавная история. Прилетела вдруг темненькая пичужка, не знаю, какой уж породы, но я невольно заприметил ее. Артиллерия расчистила нам путь, мы могли свободно пройти к реке, но почему-то замешкались. И тут откуда ни возьмись появился вдруг партизанский отряд, из тех, что сильно донимали нас в тамошних краях, и открыл по нашим силам огонь из автоматов и пулемета, может, даже из двух. Ну конечно, тут вступили в дело наши танки, и скоро стрельба у речки стихла, но, пока партизаны вели огонь, пули сбили всю листву на деревьях, окаймлявших реку, так что под конец всюду торчали одни голые сучья, а де-

ревья стали похожи на веники. А та крохотная пичужка прямо-таки заворожила меня; дожидаясь минуты, когда мы сможем выступить вперед, я не отрывал от нее глаз: по мере того как ветви обламывались под ней, она перескакивала с ветки на ветку, с дерева на дерево. Сорвет пуля одну ветку — пичужка тотчас перелетит на другую. Над нами было светлое небо, с серебристым туманом над речкой, но всюду стоял дым, и еще помню грязную темную полосу земли вдоль речки. Но пичужка оставалась целехонька — казалось, весь наш смертоносный грохот бессилен против нее. Под конец меня стала так раздражать эта пернатая озорница, что я вытащил револьвер и пристрелил ее. Вот тут-то меня и ранило, после чего меня прислали сюда. Я тогда совсем забыл о себе, мне бы укрыться где-нибудь, а не стоять на месте. И если бы в ту пору от моего присутствия духа зависел исход войны, то и тогда я, наверно, не смог бы оторваться от этой проклятой птицы.

Мориц небрежно раскачивался на стуле, лениво свесив по бокам руки. Он рассказывал про пичужку, но невидящий взгляд его был устремлен в пространство. Вилфред читал в его глазах решение, которое вот-вот созреет...

— Ты верно сказал: сейчас уже слишком поздно, — продолжал Мориц. Он снова протянул руку к револьверу. — Единственное, что меня забавляет, — удар одновременно поразит и тебя. Мой денщик и второй солдат находятся сейчас вон в том сарае. Ты отверг мою дружбу. Вот почему я пригрозил тебе. Ты отверг своего единственного брата.

Он вскинул руку с револьвером. Рука была уже на уровне головы... Только теперь Вилфред вспомнил, что приехал сюда с определенной целью. Но он не солгал Морицу — просто всегда случается не то, чего ждешь. Он медленно встал, так, будто эта игра совсем не касалась его. И вдруг, резко подавшись вперед, схватил Морица за руку. Рюмка опрокинулась, из нее полилось вино. Пуля попала Морицу в правый глаз. Он рухнул на стол и мгновенно как-то усох, так что казалось, на столе валяется один мундир. Рюмка покатилась по столешнице и бесшумно свалилась в траву.

Только теперь Вилфред спохватился, что он держит в руках револьвер. Стрелял не он. Мориц сам застрелил себя. Он лишь дождался зрителя — уж таков был этот позер.

Но как-никак Вилфред держал в руках дымящийся револьвер... Он находился на месте преступления и стоял с револьвером в руках...

Никто не шел. «Они в сарае,— подумал он. — Но еще минута — и они будут здесь». Издали могло показаться, будто Мориц уснул.

Он быстро наклонился над мертвецом. Кровь темным пятном расплзлась по столу. Никто не шел. Вилфред хотел бросить револьвер, но пальцы не разжимались. Какая-то смутная мысль закопошилась в его мозгу: может, даже неплохо иметь при себе оружие. И одновременно прихлынуло новое чувство — новое и непривычное, — чувство безмерного облегчения, словно все двойственное и чужеродное в нем самом умерло вместе с Морицем. Азарт предстоящего бегства захлестнул его, точно блаженный хмель. Теперь во всем окрестном пейзаже был разлит какой-то нездешний покой: мертвец у стола и кругом — трава, лес со светлыми пятнами зелени...

Он ринулся к берегу, где стояли лодки. Моторная лодка никак не заводилась, и Вилфред перескочил из нее в шлюпку, отвязал ее и стал грести изо всех сил — она невыносимо медленно шла по воде. Крепко упершись ногами в шпангоут, Вилфред налег на весла с такой силой, что потемнело в глазах. Он грел, не отрывая глаз от лодки, чтобы только не смотреть на берег и не видеть, как медленно он уплывает прочь. Когда же он все-таки наконец поднял голову, устав смотреть на скамью, покрытую растрескавшейся зеленой краской, взгляд его упал прямо на каменную беседку. Как-никак она уже сместилась в сторону и с каждой секундой отдалялась все больше, почти сливаясь с пейзажем. Над морем кружили чайки. Из отдаления беседка напоминала древний храм. Вилфред ясно различал силуэт человека, припавшего к крышке стола, очертания его плеч на фоне светлого неба между каменными столбами. Беседка, ее деревянный остов и даже фигура над столом — все будто высечено из прибрежных скал. Картина эта могла быть также частью гобелена с романтическим рисунком. Но где же убегающий олень в глубине, где собаки? И где вышитый шелком рыцарь с румяными, как яблоко, щеками? Весь узор выполнен в сером камне... Вдруг случилось неожиданное: из оголенного леса левее усадьбы вышел олень. Стремительно выбежав из-за деревьев, он замер, пригнувшись, и затем не спеша направился к «храму». Потом зверь снова застыл, вскинув точеную головку, пригнувшись к ветру. И тут же бросился назад, к лесу, откуда пришел.

Вид убегающего оленя вернул Вилфреда к действительности. Куда бежал он? Как хорошо, что ему не удалось завести моторную лодку. Она привлекла бы внимание всех жителей побе-

режья, а куда же ему деваться, если не в другие селения на берегу, где его подстерегают новые опасности? Уходить все дальше в море от места происшествия теперь уже бессмысленно.

Волны беспощадно швыряли утлый челнок в устье фьорда. Предельное напряжение сил дарило Вилфреду неясное чувство свободы, он радовался тому, что все было так, как оно было. Скоро за ним начнется погоня, две охотничьи партии, наверно, уже выступили в поход: пусть они враждуют между собой, но, так или иначе, обе гонятся за ним.

Волны заставили его снова взять курс на берег. Вечно одно и то же. И в море не найдешь покоя — покоя нет нигде. И все же он смутно осознавал, что не беспредельная его незащищенность дарит ему благодатное чувство свободы. Нет, исток всего — само убийство, потому что это все же было убийство, преступление, совершенное двумя людьми: провокатором и тем, у кого был револьвер. Не только от Морица из Померании — циника, игравшего своей жизнью, теперь избавился Вилфред. Потому что кто такой в конечном счете этот Мориц? Он был частью его самого, его вторым «я», а может, и третьим — призраком его детства, мнившегося ему неискоренимым, — зато теперь он искоренил его одним-единственным движением руки, пытавшейся предотвратить... Предотвратить? Как знать... Это было делом здоровой руки...

Здоровой руки? Вилфред взглянул на свою руку, сжимавшую весло. Она показалась ему сейчас чуждым предметом, куда более чуждым, чем протез, полученный в награду за минутный жертвенный порыв под звуки карусельной музыки. «Если рука твоя соблазняет тебя...» — мысль эта вызвала у него приступ веселья. Весь он сам себя соблазняет — так что ж, руби, секи, уничтожь самого себя, коль скоро ты сам себя соблазняешь. Только сейчас он спохватился, что револьвер по-прежнему лежит у него в кармане.

— Нет! — театрально выкрикнул он в лицо ветру, который быстро свежел и швырял в лодку сверкающие брызги соленой морской волны. «Уж этого я не сделаю,— подумал о н , — ни за что!»

Волны все упорней гнали лодку к берегу — хорошо хоть не уносит в открытое море. Вилфред греб как осатанелый, избрегая один за другим хитроумные планы. Планы быстро менялись: сначала он думал как можно скорей сойти на берег, пока его не заприметило слишком много людей, пробраться к беседке с суши и, если повезет, насладиться минутой, когда солдаты

обнаружат труп... Но, едва успев придумать какой-нибудь план, он сразу же его отвергал. Да, нужно лечь курсом к берегу, что верно, то верно, коль скоро у него уже нет сил грести. А сойдя на землю, он бросится бежать, спасая свою жизнь, как тот самый лесной олень.

Чуткий, пугливый зверь, вечно мчащийся куда-то на быстрых ногах, — это и есть истинный его брат; зверь, от рода обреченный на бегство, — вот с кем ему суждено породниться навек. Беглец — вот кто он теперь, дичь, которой не от кого ждать пощады.

Мысль эта привела его в восторг. Он повернул к берегу.

Впервые в жизни он был самим собой, впервые в жизни — совершенно одинок.

21

Однажды, выйдя из густого сосняка, он оказался в саду при какой-то вилле. Сад открылся ему столь внезапно, что он не успел повернуть вспять. Из шезлонга раздался сытый, ленивый голос; кто-то замахал сигарой:

— Что вы, что вы, заходите! Мы не ставим заборов!

Он уже давно не слышал человеческого голоса. Вилфред остановился, разглядывая скульптуру, высившуюся на лужайке. Он увидел нечто огромное, будто выкопанное из бронзового века. Нечто неожиданное, диковинное в этом пустынном краю. Скульптура напоминала чуть стилизованную и слегка деформированную фигуру человека, устремленного к свету и изготовившегося к борьбе, которая представлялась заведомо безнадежной ввиду некоторой вялости борца. Но напоминала она и обыкновенный гигантский корень.

— Да, это и есть корень, — добродушно продолжал тот же голос. — Я просто покрыл его лаком. Не знаю, правильно ли я сделал. Ну что, по-вашему, он изображает?

— А ничего, — ответил Вилфред. Он вдруг почувствовал сильное волнение. — Он сам по себе — совершенство.

Человек неожиданно вскочил с шезлонга. Голос его и вся фигура разом утратили сытую вялость.

— Господи! — воскликнул он. — Вы первый, кто верно ответил на этот вопрос!

Глаза его сверкали. Теперь, когда он стоял, выпрямившись во весь рост, он вовсе не казался таким уж тучным, это голос

его ввел Вилфреда в заблуждение — у людей в шезлонгах де-лаются сытые голоса.

— Лаура! — позвал он и в два прыжка очутился у дома. В окне показалась головка молоденькой девушки. У нее были светлые пепельные волосы и темные глаза — в точности как у человека в шезлонге.

— Это моя дочь Лаура.

Он выжидающе взглянул на Вилфреда — тот назвал свое имя, фамилию. Их звучание поразило его самого — он уже от-вык от своего имени. Он и не рассчитывал, что оно произведет впечатление. Хозяин виллы был слишком взволнован, чтобы переключить свое внимание на что-либо иное.

— Лаура, — крикнул он, — ты не поверишь: вот этот чело-век, наш гость, первый, кто не счел нужным утверждать, будто наша скульптура напоминает то-то и то-то! Господи, — сияя улыбкой, он обернулся к Вилфреду, — вы не представляете себе, чего только мои друзья и все прочие, кого бы я ни спросил, не приписывают этому прекрасному произведению искусства... А вы что, просто прогуливаетесь здесь?

Впрочем, это не был вопрос в прямом смысле слова, один из тех назойливых вопросов, которые задают гостю, алчно следя за ним глазами, непременно желая знать, чем живет человек. Спу-стя секунду на маленьком столике, окруженном желтыми садо-выми стульями, уже стояли бутылки и рюмки. Хозяин виллы перенес сюда свой шезлонг. Девушка, которую звали Лаурой, сказала с улыбкой:

— Папа все время сидит в шезлонге... И всюду носит его с собой...

Человек в шезлонге засмеялся счастливым смехом. Он крик-нул дочери, чтобы подавала обед, они как раз собирались обе-дать, как приятно, что к обеду есть гость! И он так спокойно уселся в шезлонге, словно они были единственными людьми в этом мире, не ведающими ни соседей, ни угрозы с чьей-либо стороны...

Хозяин стал рассказывать про окрестные леса. К северу от здешнего идиллического уголка лежат леса, дикие ущелья, о ко-торых почти никто ничего не знает.

— Разве не удивительно? Здесь вьется фьорд, окаймленный молодыми рошицами, распаханными полями, приветливыми до-миками с крепкими причалами у воды, изредка вдоль берега курсирует старый рейсовый катер — и я помню эти катера, лод-ки, причалы, сады и дома с тех самых пор, как ребенком рос на

хуторе — там, поближе к поселку. А путь подалее — непроходимые леса, настолько густые и неоглядные, что даже человек, хорошо знающий здешний край, и тот непременно заблудился бы, случись ему ненароком туда забрести. Уроливый лес, попросту сказать безобразный, — как только природу угораздило такое создать!

Вилфред старался не показывать, как он голоден. Он не хотел, чтобы эти люди изумлялись, мучительно сдерживая любопытство: лучше не будить его, силой воли подавив голод.

Хозяин сказал, угощая гостя:

— От этих прогулок разыгрывается аппетит...

И сами слова эти — «прогулка» и «аппетит» — звучали очевидной неправдой, предназначенной ввести необычный случай, которому никто не хотел искать объяснения, в рамки обычного.

Хозяин и сам был не любитель лишних объяснений. Вилфред вынес из застольной беседы, что они с дочерью сейчас живут здесь вдвоем, но прежде семья была больше. А виллу, судя по всему, перестроили из просторного крестьянского дома, видно, здесь когда-то стоял обыкновенный хутор...

— Ребенком,— рассказывал хозяин, — я был одержим страстью отыскивать корни, похожие на кого-нибудь: одни напоминали троллей, другие — известных политиков, третьи — мою старую тетку, жившую в этом же доме, впрочем, почти все корни напоминали ее, да будет земля ей пухом, она прожила больше ста лет, все бродила здесь, нащупывая палкой дорогу. Странное дело, про людей, которым выдается прожить долгую жизнь, говорят, будто они впали в детство, — что ж, может, это так и есть. Но, по-моему, когда людям выпадает долгий век, и притом им удается избежать старческого слабоумия, они подчас просто становятся совсем другими людьми, чем прежде. Будто истинная их личность, прежде скрытая от глаз, все их дарования ныне просятся наружу, стремясь выявиться во всей полноте. Наша престарелая тетюшка начала вдруг писать картины, когда ей уже перевалило за девяносто, нет, нет, не думайте, что она взялась за эту наивную живопись, которую превозносят, когда ею занимаются старики, — нет, из-под ее рук выходили вещи скорее кубистского толка, вот только что в миниатюре. Сам Клее не постыдился бы признать себя автором одной из них...

Лаура (она сновала взад и вперед — разве лишь изредка присядет на миг) проговорила:

— Отец сам стал художником в пятьдесят лет... Но только я боюсь, не слишком ли мы утомили разговорами господина...

— Сагена. Меня зовут Вилфред Саген.

Он вторично назвал свое имя, которое сделалось ему чужим. Назвать его было приятно, оно прозвучало чуть ли не как признание. И на этот раз оно произвело впечатление. Мужчина вынул изо рта сигару, так и не закурив, и вместо этого замахал ею, как дирижерской палочкой.

— Тот самый? Художник?

— Да, когда-то я был художником.

Хозяин тихо присвистнул. Потом посмотрел на дочь. Не таилось ли в этом взгляде что-то недоброе? Отложив сигару, хозяин сказал:

— Прошу прощения...

Вилфред встал. Он хотел уйти. Его имя, как видно, неприятно подействовало на этих людей. Быть может, он был для них олицетворением самого большого зла в этом злобном мире, от которого они столь искусно отгородились. Он ответил:

— Я же не хотел вам навязываться. Вы сами пригласили меня...

— Прошу прощения, — повторил хозяин. Он тоже хотел было встать с шезлонга, но скоро отказался от этой невозможной задачи. — Я вдруг понял, сколь наивен и глуп я был, поверяя вам мои мысли и радуясь, что вы так отлично все понимаете.

Вилфред крепко сжал спинку стула. Он никак не ожидал, что его имя могло быть принято и таким образом. Так давно ведь все это было. Сытная пища и выпитое вино на миг окутали его странной пеленой — чужеродным облачением, под которым, казалось, было сокрыто иное существо, выше, значительнее его самого. И тут же он вспомнил: когда-то кто-то сказал — ну да, это же была тетя Клара!.. — она сказала тогда, что в малом подчас сокрыто большое. Но все это было так давно. Однако те слова взволновали его. На глаза навернулись слезы...

Потом он изготовился к прыжку, к скачку в неизвестность:

— Не скажете ли вы мне, что... так неприятно поразило вас в моем имени?..

Хозяин рассмеялся:

— Кому приятно оплошать! Я сидел и рассуждал о вещах, известных вам несравненно лучше моего. Да что об этом толковать! Мы рады вам, хотите, слушайте мою болтовню, даже если она вам наскучит. Нет, нет, только не вздумайте уверять, будто я вам не надоел! Не часто нам теперь доводится принимать в нашем доме художника!

Вино, обед, неожиданное гостеприимство... случай свел его с просвещенными людьми, которые не рассуждали наперебой лишь о смерти и патриотизме... Вилфред почувствовал, как на глаза навертываются слезы — заклятые его враги с детских лет.

— Простите м е н я , — сказал, он, — я долго был один...

Вилфред переводил взгляд с отца на дочь. Участие их не было назойливым, как и их жажда самовыражения; потребность творчества, воссоздания всего сущего воодушевляла этих двоих людей, живших среди клубничных грядок, плодовых деревьев и зеленой травы... Он учтиво осведомился у дочери:

— Может быть, и вы тоже пишете картины?

По лицу девушки промелькнула тень.

— Я писала картины, также играла немного. Я жила целый год в Париже...

Увидев огорчение на ее лице, он спросил:

— Вас подавило обилие впечатлений?..

Лицо ее сразу же посветлело.

— Просто я поняла: все уже сделали до меня. И гораздо лучше... Мне было четырнадцать лет, когда я увидела ваши картины на выставке в Стеклянном зале. Они-то и зажгли во мне этот огонек.

Все звенья времени, все слои бытия сомкнулись вдруг в одно, словно части единого, громадного и необозримого механизма. На мгновение Вилфреду показалось, будто возник какой-то порядок в хаосе без начала и без конца, будто он обрел крошечную точку опоры, высоту, на которую вознесли его внешние силы без всякого старания с его стороны.

Лаура рассмеялась:

— Обыватели с артистическими претензиями всегда невыносимы...

Она подлила себе вина, на миг позабыв о своей роли хозяйки. Но даже не пригубила его. И потому, что она не пригубила вина, а против воли задумалась о чем-то, прошлое снова ожило в уме Вилфреда. Явления и судьбы, прежде, возможно, никак не связанные между собой, вдруг обрели смысл, точнее, не смысл, а взаимосвязь...

Он встал:

— Я бесконечно благодарен...

Из глубины шезлонга хозяин ворчливо перебил его:

— Вы останетесь у нас на ночь. И вообще оставайтесь у нас, сколько захотите. Лаура покажет вам вашу комнату.

И сам тут же уснул. Дымящаяся сигара упала в траву.

Он стоял у раскрытого окна, выходявшего на фьорд. Уже спустилась ночь. Над полями был свет, он шел с моря. Где-то, видно, уже лопнули почки на плодовом дереве, и в комнату текли терпкие запахи. Потайные источники в душе Вилфреда звенели, разные мысли, важные решения зрели в ней... Он стоял, содрогаясь от противоречивых желаний, признательность и раздражение боролись в его сердце. Дом, притаившийся на берегу, будто ждал своего часа, этого часа из всех часов. Он словно возник на заре в силу одной лишь этой причины, выступив из мрака по воле того, кто сотворил и дом, и самого Вилфреда, и положение, в котором он очутился...

Он тихо закрыл окно и бросил полный ненависти взгляд на нетронутую, под белым покрывалом кровать. Спустившись с лестницы, он увидел, что дверь в гостиную открыта. Он прокрался к ней на цыпочках, иногда застывая на месте и корча рожи, глумясь над всем этим незащищенным уютом, над креслами, ублагодворявшими не одно поколение обитателей дома, над старомодным буфетом с его неисчислимыми полками и фамильным серебром, над комнатным цветком с алыми бутонами, что стоял на подоконнике, над странными картинами на стенах — все было здесь, даже пикантная приправа к самодовольному строю жизни буржуа, который так ловко умел маскироваться под нечто другое.

Вилфред быстро пересек гостиную и подошел к буфету. В верхнем отделении были два графина, он вынул пробку из того, что казался полней. Запах виски вновь возбудил в нем прежнюю тягу к неожиданным выходкам. Приятно было обмануть доверие этих милых людей, оставить им в подарок горький опыт, небольшое разочарование, которым они будут упиваться, сидя вдвоем за ужином. Вытащив из буфета графин, Вилфред торопливо прошел в коридор. Все повторялось, он хотел, чтобы все повторилось.

На дворе теперь было уже почти совсем светло. Он увидел дерево, на котором уже распускались почки, маленькую вишню с короной из прозрачного тюля. Все запахи разом потекли ему в ноздри. Бронзовый корень зловеще сверкал в своей загадочной немоте. А вот желтые садовые стулья, на которых сидели днем...

В душе его звенела радость. Каждая былинка была ему другом, отзывавшимся на его шаги, радостно подтверждавшим, что все рошнее он видит сегодня в последний раз.

Лес... лес, страшное, жуткое урочище, о нем рассказывал ему хозяин виллы... Вилфред понял вдруг, что вплотную подошел к диким ущельям...

Вилфред шагал на запад, заря занималась у него за спиной, и, сколько бы он ни шел, даже освещенное пространство оставалось темным. Темным был мох между темными стволами густого ельника, и там же, между стволами, земля вспарывалась глубокими расселинами, местами переходившими в лощины, в сырые овраги, где под склонами мертвых кустов, деревьев, рухнувших под бременем лет, мрачно поблескивала вода. Кое-где по краям оврагов виднелись скалы: они будто подстерегали кого-то, может, тоже ждали своего часа.

Вилфред шагал на запад, заря занималась у него за спиной, и, сколько бы он ни шел, даже освещенное пространство оставалось темным. Темным был мох между темными стволами густого ельника, и там же, между стволами, земля вспарывалась глубокими расселинами, местами переходившими в лощины, в сырые овраги, где под склонами мертвых кустов, деревьев, рухнувших под бременем лет, мрачно поблескивала вода. Кое-где по краям оврагов виднелись скалы: они будто подстерегали кого-то, может, тоже ждали своего часа.

Он пришел в этот край — усталый, разбитый, каким всегда бывает человек перед восходом солнца. В правой руке он держал графин — в правой, искусственной руке; пальцы этой руки отличались мертвой хваткой, уж они-то не разожмутся. Спустившись в первый овраг, он поскользнулся на влажном камне, спрятавшемся под мхом, проехался на каблуке и мягко упал навзничь, однако не выпустил графин из рук, а, напротив, поднял его, словно бы подставив зеленоватым солнечным лучам.

Край мрачных кошмаров, край низких пригорков и коварных расселин простерся вокруг него, обступил его; лес негостеприимен и хмур, и земля дышит сыростью. Нет под сенью деревьев ни единого места, где бы люди захотели сказать: «Здесь мы останемся, здесь будет наш дом».

Никто не захотел здесь остаться. Те, кто здесь побывали — если вообще кому-то довелось здесь бывать, — ненароком забредя в этот край, стремглав бежали отсюда. А деревья, закрывавшие темные провалы расселин, рухнули сами собой.

Он долго лежал в том месте, где поскользнулся. Спешить больше некуда. Он достиг цели. Он лежал на сыром мху и чув-

ствовал, как сырость просачивается сквозь одежду. Перед ним белело легкое снежное пятно, медленно таявшее под бледным солнцем. Осторожно вынув из графина стеклянную пробку, он поднял его так высоко, что зеленые лучи солнца сразу заиграли в хрустале. Затем отхлебнул из него немного виски. Встав на ноги, огляделся вокруг.

Да, то не был мираж. Возможно ли, что спустя столько лет он наконец нашел край, который искал? Значит, это всего лишь непроходимый лес, край, покинутый богом и людьми, куда не ступит человеческая нога...

Не над этой ли расселиной поднимал его мужчина с сигарой?.. Нет-нет, ведь оттуда открывались дали, и было где побегать взапуски, и было лесное озеро...

И все же это был край, который он искал! Он огляделся вокруг: край без начала и без конца, стволы и стволы без числа — безрадостный край. Он вспомнил вдруг ребенка, которого встретил в Копенгагене в Росенборгском парке. Как-то раз он сидел там на скамейке. За его спиной под деревьями копошилась маленькая девочка, она сновала от куста к кусту, заглядывала за каждую скамейку, не пропуская ни одной, и все время слышался звон бутылок. Иногда она показывалась между скамейками, но тут же убегала назад, к деревьям на газоне, и вскоре вновь выходила из тени, неся охапку бутылок, которые сверкали и переливались на солнце. Видно, ребенок знал, где искать бутылки, оставшиеся со вчерашнего дня; девочка была худа и бледна, истинное дитя трущобы, свою добычу она складывала в грязный фартук. Один раз, когда она вновь вынырнула на слепящий солнечный свет, он увидел, что она отхлебывает по глотку из каждой бутылки: подержав ее против света, она допивала вино. Шатаясь, девочка побрела к Вилфреду в ярких лучах солнца и, опустившись на землю, где резко скакали воробьи, рассмеялась. Она была пьяна. Она сказала: «Весь мир мой!»

Вилфред начал спускаться со склона, то и дело скользя, глубоко увязая ногами в зеленой тине, а спустившись, стал взбираться на противоположный склон. В желтой, как воск, искусственной руке он по-прежнему держал графин. Когда он был на вершине холма, его настигло солнце. Но впереди зиял новый враг, бездна, казавшаяся еще темней оттого, что кругом было солнце. Если бы исповедаться природе, сбросить бремя с души! Значит, это и есть тот край, к которому он когда-то стремился. Теперь он нашел его. Здесь он может просто *быть*. И он всем

сердцем благодарен за это. Под наплывом чувств он вновь опустился на землю, по-прежнему крепко сжимая в руке графин: виски в нем почти не убавилось. Он увидел, как ширится свет, как пробираются между стволами солнечные лучи. А край столь же безрадостен, как и прежде.

— Рыдать хочется мне, рыдать, оплакивая уходящую жизнь, — вслух произнес Вилфред.

Он сказал это без самолюбования, даже без пафоса — просто сказал то, что есть. Он встал и снова побрел дальше, скользя по кочкам, проваливаясь в колдобины. И дальше те же овраги, темные бездны обрывов. Он поднял голову, но увидел лишь скупые проблески синевы между кронами деревьев, будто назло всему живому застилавшими небо. Безутешный край, подумал он, безотрадней. Он встал на колени. Большими глотками начал пить из графина. Все вокруг дышало отчаянием. Крошечные пичуги бесшумно порхали с ветки на ветку в мертвенном свете солнца, не дарящем тепла. От влаги, просочившейся сквозь тонкий мох, намокли колени. Куда бы ты ни ступил — всюду вода, но ее не слышно. Лишь однажды зазвенели ручьи, и ему почудились в звоне моцартовские мелодии. Встряхнув графин желтой, как воск, рукой, он прислушался к звукам, но они стихли. Он отпил еще немного.

Отчего в здешнем лесу не слышно детского плача?

Слишком поздно. Слишком поздно для плачущих детей, он хотел спасти их, спасти побеги, которым не суждено было вырасти. Сняв мертвую руку с сырого мха, он приложил ее к холодному хрусталу графина. Рука и хрусталь слились в одно, казалось, он одинаково осязал и то и другое. Но, свалившись на бок в скудный мох, он почувствовал у себя в кармане револьвер и рассмеялся. Как легко все казалось когда-то, он думал, что это легко... Он стоял в туннеле и ждал поезда. Рельсы дрожали, чувствуя приближение смерти. Он думал, это так легко! Отложив в сторону револьвер, он снова рассмеялся — столь нелепо выглядело оружие в зеленом мраке.

«Здесь мой дом!» — повторил Вилфред на разных языках. Он скользил по склонам, спотыкаясь, весело чертыхался и вновь без всякой цели взбирался на скалы. Все тело его промокло, продрогло, и здоровая рука онемела. Теперь обе руки одинаковы. Вилфред тихо хлопнул одной о другую: обе теперь сравнялись. И ноги тоже, видно, скоро онемеют в этой сырой мгле, ноги в

тонких, разъезжающихся ботинках. Пусть кто хочет придет за ним сюда, пусть будет его гостем, кто бы ни пожелал, пусть ищет его в этих зеленых безднах — безднах его души. Он примет все с благодарностью...

Нет, он никогда не бывал в этом краю. Куда-то исчезли деревья, прежде застилавшие небо, но все небо в тучах. Вилфред тяжело брел по болоту, высоко вздымая вверх руку с графином; теперь — ближе к вечеру — в хрустале уже не играло солнце. Это его первый день в здешних местах, и он уже угасает. Почти весь день Вилфред все шел и шел, но дикий край словно шел за ним следом. И снова впереди овраги. Вилфред упал — рухнул в один из них и долго лежал на дне в грязи. Затем отхлебнул из графина, расплескав виски. Небывалая жажда томила его: сколько воды кругом, а напиться нечем...

Он пососал грязную траву на дне оврага и так и остался лежать с гладкими стеблями во рту.

23

Случались дни и часы, когда он ясно помнил, что все это однажды уже было с ним, что тогда он тоже искал и куда-то все шел и шел... Разница лишь в том, что теперь он узнал свой край, что, быть может, теперь ему уже не надо искать.

Графин был пуст, и теперь ему неоткуда было черпать силы. Он оставил графин на вершине пригорка, чтобы заметить по нему, если он возвратится вспять. Но сколько он ни ходил, он ни разу больше не видел его. Почему-то ему было приятно знать, что графин стоит на вершине холмика, сверкая прозрачным хрусталем, и каждое утро первым ловит лучи солнца еще до того, как оно взмост вверх, рассеивая пары, поднимающиеся над этой промозглой землей. Будто это вовсе и не графин, а гномик: стоит на холме гномик, стоит и оглядывается вокруг одним глазом.

Но скоро силы совсем оставили его, и он уже не мог идти, только полз понемногу вперед с долгими передышками. И всюду он видел все тот же пейзаж. Он уже знал наперечет эти острые скалы, склоны, покрытые скудным мхом, и расселины, подстерегавшие путника. Он перестал их бояться. Он теперь ничего не боялся. Он надолго впадал в забытие, лежа на земле, и во сне к нему приходили всякие люди и звери. Больше он не разговаривал с самим собой, теперь в нем не совмещалось несколько

разных людей. Он был един, он обрел цельность и простоту. Стал почти ничем.

Но однажды он вдруг приподнялся с земли в какой-то сырой дыре и стал ощупывать свои руки и ноги, проверяя, слушаются ли они его. Они не слушались. Тогда он рассмеялся и, нарушив безмолвие, много дней стоявшее вокруг, вспомнив маленькую пьяную девочку в парке, воскликнул:

— Весь мир мой!

24

Однажды вечером перед ним возникла тропинка. Возникла из ничего в ранних сумерках, и вдруг прихлынули силы. Он зашагал по ней. Эту тропинку протоптали люди, плотно утрамбовав землю, — она отчетливо видна в светлых сумерках. Иногда тропинка вдруг исчезает, и тогда он не старается ее отыскать — у него нет воли искать ее. Но тропинка возникает снова и бежит дальше, и у него нет воли с ней расстаться. Тропинка, возникшая из ничего, обрела над ним странную власть, оживив его онемевшие ноги, она вилась, оставляя какой-то след в нем самом... И он бредет, словно к некоей цели, оттого, что тропинка вьется и, значит, ей ведомо нечто, что она хочет ему открыть.

Но сумерки скоро сгустились, заморосило, и он перестал различать тропинку, он совсем не видит ее, только н о г и видят или, может, угадывают ее, ноги идут протоптанной лентой. То под горку сбегает она, то снова взбирается вверх, но тут ногам уже трудно угнаться за ней: чуть ли не вся сила ушла из них. Тропинка сама волочит их за собой... А ноги еле-еле волочат его самого и даже взносят на пригорок вслед за тропинкой. Она почти все время петляет по пологим холмам, и тут дело спорится само собой: он шагает мелкими деревянными шажками, разве что порой его заносит то в одну сторону, то в другую. А что — чем плохо, когда тебя ведут за собой. Он по-прежнему не смеет узнать, куда ведет эта тропка, но идти стало легко. Будто чья-то чужая воля сейчас движет им, и он бредет, распрямившись во весь рост. Лишь иногда, случается, он вдруг рухнет оземь и, пытаясь подняться, елозит по земле руками. Но и руки тоже чувствуют власть тропинки, даже искусственная рука и та чувствует. И он ползет по тропинке на четвереньках, предоставив ей вывести его к цели. Наверно, так зверь находит свою нору.

Тропинка вывела его. Блаженное ощущение покоя охватило его: наконец-то! Он подполз к отвесной горной стене, где зияла дыра, и пробрался внутрь. Знакомый запах встретил Вилфреда, но мозг его тоже будто омертвел. Странное дело, мысли мгновенно ускользают куда-то, стоит ему попытаться на чем-то их остановить...

Когда он очнулся, ему показалось, будто он видит сон. Он узрел картину, знакомую издавна: солнце играло в нитях паутины. Безупречное, сверкающее кружево паутины, усеянное в лучах утреннего солнца бисером росы, закрывало вход в пещеру. Он сразу узнал эту пещеру, еще даже не осознав, что сам он — внутри нее. Это же та самая пещера, где он некогда прятался мальчишкой, здесь он сидел когда-то, сжимая стеклянное яйцо, которое дала ему фру Фрисаксен.

Но в пещере холодно. Тело его потянулось к теплу и свету. Он пополз, медленно, с бесконечной осторожностью и, подобравшись к паутине, замер, страшась разрушить чудо — бусинки росы опадут, и сверканье погаснет... Все силы напрог он, чтобы порвать лишь те немногие нити, которые не мог не порвать оттого, что тело его тянулось к теплу и свету. Но, коснувшись паутины, понял, что это невозможно. Он порвал сперва одну нить, затем другую. Посыпался бисер! На миг вся великолепная тончайшая сеть повисла в утреннем солнце. В следующий миг ее уже не было — он разрушил ее. Тело добилось своего. Теперь только бы лечь, растянуться. Солнце поднимается все выше.

Когда он проснулся, над ним стоял великан. Вверху торчала маленькая головка, почти что рыжая — мальчишеская голова. Великан что-то говорил ему.

Потом Вилфред поел немного и вновь провалился в сон, а когда открыл глаза, великан снова стоял над ним, но уже не казался столь огромен: просто крупный мужчина, его могучий торс венчала мальчишеская голова. Это был Том, ну конечно же, Том, сын садовника, приятель его детских лет. Том наклонился и проговорил что-то вроде того, что, дескать, наконец-то ты пришел в себя... И только тогда Вилфред понял, что и сам он тоже присутствует здесь, он — Вилфред. И лежит в незнакомой комнате.

Том сказал:

— А я уж думал, ты отдал концы!..

Потом прошло несколько дней, и вот они сидят лицом к лицу, расположившись на ящике с надписью «Искусственное удобрение». Том говорил без умолку, сыпал словами, которые не так-то легко было разобрать. Они пили кофе. Вилфред опустил взгляд: на нем были чужие ботинки, чужие брюки, он слышал, как Том сказал: «Настало время». Но Тома будто не радовало, что оно настало.

— Ты должен знать правду,— сказал он, — тебя разыскивают.

— Зачем же ты подобрал меня?

— Сам не знаю. Просто так: смотрю — лежит человек. Мы же с тобой вроде земляки. А вообще-то, скоро все это кончится.

Да, скоро все это кончится. Неужели Вилфред не знает? Неужели не следит за событиями? Разгром немцев уже стал фактом — или вот-вот станет.

— Мы готовимся взять власть в свои руки!

— Мы?..

Конечно, Вилфред все это знал, не знал лишь, что крах столь близок.

Веснушчатое мальчишеское лицо Тома залилось краской. Из тех лиц, что с годами не меняются. Том был теперь огромный мальчишка лет сорока с лишним... женат на голландке, у него четверо детей. Вдвоем с женой он превратил запущенное садоводство в первоклассное хозяйство. Брат жены участвовал в Сопrotивлении и погиб смертью храбрых. Том рассказывал о себе неохотно — не с другом ведь говорил...

Том ответил:

— Мы — это все, кто с нами. — Он мог бы добавить: «Вот ты, к примеру, не с нами». — А вообще-то, ты ведь, помнишь, спас меня, когда я тонул.

Но даже и эти слова Том произнес с какой-то детской злостью, которую не умел или не хотел скрыть. Вилфред скорчил одну из своих всегдашних гримас. И будто кто-то насильно дернул чужую кожу. Он коснулся своего лица здоровой рукой — ощущение было ужасным. Чужое лицо. Не успел он осознать, что он — это он (впервые за долгий срок), как вот показался самому себе чужим...

— Ведь, правда же, ты это сделал? — настойчиво допытывался его собеседник.

— Что я сделал?

Это чужое лицо, которое он нащупал... Вилфред поискал глазами зеркало. Но зеркала не было. Была нарядная мещанская

гостиная с мебелью орехового дерева и кучей безделушек, а посреди всей этой роскоши — ящик, на котором они сидели.

— Как что? Спас меня, черт побери! — Том со злостью взглянул на него. — Я, кажется, с тобой разговариваю!

Кто-то разговаривает с ним. Том. Кто такой Том? Сын садовника. Как же была их фамилия? Впрочем, в ту пору у них вообще не было фамилии. Это же такие были люди — ну, словом, из низов. Таких людей всегда звали по их ремеслу, говорили: «Садовников Том...» Вилфред вновь овладел собой:

— Да. Только это было давно.

— Может, тебе неприятно об этом вспоминать? Ты же был герой — герой тогдашнего лета! Только вот потом люди говорили, что не известно, точно ли ты хотел меня спасти.

Вилфред изо всех сил старался поддерживать разговор.

— Какие люди?

— Неважно. Они говорили, будто ты, наоборот, хотел меня утопить, что ты сначала нарочно оставил меня под водой и только потом вытащил меня и привел в чувство лишь для того, чтобы выставиться перед другими, когда все сбежались на место происшествия. Кстати, это Андреас сказал.

— Андреас, Андреас... — Да, теперь он вспомнил. Андреас, мальчик с бородавками, тот самый, кому он помогал делать уроки, недалекий Андреас с его плебейской завистливостью. — Кажется, Андреас взял себе новую фамилию... помнится, что-то птичьё...

— Эрн его фамилия. Эрн. Эрн — значит «орел». Это шведская фамилия. Дворянская.

Глаза Тома извергали огонь, будто пушечные жерла. Да, Том вошел в силу. Теперь настал черед Тома. И Андреаса. Пусть.

— Знаю, ты скажешь: Андреаса при этом не было. Он, мол, не ездил с нами на острова. Ты прав. Это она рассказала ему.

— Кто «она»?

Комната поплыла перед ним — мебель орехового дерева, безделушки...

— Как кто? Эрна, черт побери, кто же еще? Не притворяйся, будто не можешь вспомнить, что Андреас в свое время отбил у тебя твою старую любовь... Разве ты не знаешь, что они женаты? Неужто ты вправду не знаешь этого?

Все поплыло. Все закружилось вокруг. Он изо всех сил хотел сосредоточиться на том, что говорил ему садовников Том, но все завертелось вокруг.

— Поздравляю, — неуклюже произнес он. Он вовсе не думал издеваться над кем бы то ни было. Но Тома охватила ярость. И теперь его понесло.

— Может, и Эрны тоже там не было? Может, не ты ухлестывал за ней каждое лето? Не ты, может, завязал ей руку шнурком? Только вот она заметила кое-что в день той поездки на острова, сначала она видела, как ты сбежал от остальных, и потом, как ты стоял и удерживал меня под водой, но тут она вышла на гребень холма, и тогда ты засуетился, но даже и потом ты не захотел передать меня тому большому парню, который умел делать искусственное дыхание. Тебе надо было сначала меня доконать, а потом выставляться, что ты меня спас.

Что-то ныло, ныло в душе. Да, теперь он вспомнил их всех. Только они были все будто в какой-то дали. Завистливый маленький Андреас с его бородавками — случалось, Вилфред зло потешался над ним, но он же помогал ему сдавать экзамены. Ага, значит, Андреас этого не вынес. Люди не выносят, когда их выручают из беды, по крайней мере не выносят того, кто их выручил. А Эрна, бедная, честная, привязчивая Эрна со свежими губами, солеными от морской воды... Значит, они сплотились против него — это была самозащита, они защищали свое право быть наверху, и вот почему они...

Вилфред собрал для ответа все силы:

— Неужели ты вправду в это веришь?

Том не отвел глаз. Он насмешливо откинул назад голову.

— Этими старыми трюками ты теперь меня уже не проймешь... Я верю в то, что знаю. И зачем только мне понадобилось оживлять твой труп. Что ж, по крайней мере они порадуются, когда тебя схватят.

Так — теперь наконец ему ясно все. Его считают изменником, хуже того, его уже разыскивают, так, кажется, сказал Том? Значит, друзья детства, собираясь за затемненными окнами, всякий раз не забывали посудачить, поиздеваться над ним. Мысленно возвращаясь в прошлое, они отказывали ему во всех достоинствах — в больших, как и в малых, зачеркивая все, что было приятно зачеркнуть. Собравшись вместе, они преображались в карательный отряд и много раз на досуге расстреливали его.

— Да, да, ты прав, — пробормотал он. Он хотел встать, но пол качнулся ему навстречу...

И снова над ним висится Том. В руках у Тома мокрое полотенце.

— Я жалею, что сказал про это — будто ты хотел меня утопить, — говорит Том. А все же он хмур, как и прежде. Справедливость превыше всего, читается на его детском лице. Том продолжает: — Андреас, может, немного злопамятен, но вообще-то, он славный парень. Ты знаешь, что он вышел из тюрьмы?

— Том, — начал Вилфред, — ты, кажется, говорил, что твоя жена с детьми уехала в город, они продают там цветы, не так ли? И что сегодня они должны вернуться. Тебе, наверно, хочется, чтобы я убрался отсюда до их приезда?

Том помог ему подняться с пола и сесть на диван.

— Ты всегда все угадывал, — ответил он. Краска то и дело заливала его детское лицо. Сейчас это была краска стыда.

— Я ненавижу тебя, — сказал он.

Да, вот так. Стоит перед ним молодой садовник, который его ненавидит. Впрочем, не такой уж молодой. Все они уже не столь молоды...

— Ладно, Том. Стоит ли волноваться из-за пустяков. Не о чем тебе больше думать, что ли...

Том, снова залился краской — на этот раз от ярости.

— Пошел ты к черту! Меня теперь такими штучками не проймешь! А я и тогда уже тебя ненавидел, и родители мои тоже, все ходили к вам, благодарили, кланялись, а сами ненавидели вас — и тебя, и мамашу твою.

Господи, еще и это. Но Вилфреду слова Тома придали силы.

— Хорошо, Том, я сейчас уйду...

— Да, уходи! Уходи!

Степennyй мальчуган с мужской статью разъярился вконец. Он так ждал драматического эффекта. А Вилфред посмеялся над ним. Схватив исхудалого гостя за плечи, Том вытолкнул его из дома — в беспощадный свет дня. Вилфред изумленно огляделся кругом. Пустынное болото и зеленые холмы превратились в дачный поселок. Низенькие коттеджи с плоскими крышами стояли в ряд лицом к морю, а на некоторых участках еще только шло строительство.

— Да, мы еще перед войной разбили землю на участки. Раньше-то мы не понимали, что и здесь земля представляет ценность. Думали, ценится только земля на той стороне, где вы, господа, жили в ваших старых коробках, куда нас не пускали даже на порог!

Все былое возвратилось к Вилфреду. Конечно, не могло обойтись без перемен. Но сразу так много всего... И свет этот... Он протянул руку вперед, левую руку. Но в ту же минуту земля ушла у него из-под ног... После он миролюбиво сказал:

— Спасибо, Том, ни пуха тебе ни пера!

— И тебе тоже!

Тому пришлось наклониться к нему, потому что он упал на колени. Но он не хотел стоять на коленях. Он встал.

— А хижина фру Фрисаксен сгорела,— проговорил Т о м . — Там жил всякий сброд. Вот она и сгорела...

Дверь захлопнулась. Над морем кричали птицы. Вилфред был один. Черные вороны налетели с суши и вились над морем. Том сказал «всякий сброд» — значит, ставил самого себя неизмеримо выше тех людей. Н-да.

Птицы теперь низко кружили над его головой и сердито кричали. Он вспомнил: нынче пора высиживания птенцов. Вот почему так злобятся птицы: всякое существо, возвышающееся над землей, мнится им смертельной угрозой. Он замахал руками, пытаясь отогнать птиц. Из дома позади него донесся смех. Птицы налетали на него со всех сторон.

Он заковылял к мысу, осаждаемый тучей белых и черных птиц. Он брел мимо участков, заваленных строительным мусором. Между рядами домов поблескивало море. И вспомнился, нет, снова ожил тот день, много-много лет назад, когда он вот так же брел по этим местам, только в зиму, в метель.

Та-та-та-там...

Наконец-то. Как и в тот раз: Симфония Судьбы... Тогда он, утопая в снегу, ходил по кругу.

Ледяные ноги фру Фрисаксен в кровати. Она была мертва. Где-то лаяла собака.

Лает собака. Кто-то заговорил с ней, успокаивая ее. Наверно, голландка — жена Тома — вернулась домой. Собака лаяла залихватно и восторженно. Вилфред побрел дальше между участков, теперь он уже не шатался на ходу. Том накормил, обогрел его — это придало ему сил. Том — добрая душа, он отблагодарил Вилфреда за то, что тот хотел его утопить.

Та-та-та-там...

Все повторялось, он думал об этом, подходя к краю мыса. Все повторялось.

А вот — новое: пепелище — почти ничего не осталось от дома фру Фрисаксен, только железная печка и еще кусок обгоревшей и свалывшейся сети, похожей на паутину... Силы снова оставили его.

Не позвали ли его с пепелища: «Входи»? Он пошарил руками в золе. Нет, кто мог бы здесь звать его...

Не выйдет ли вдруг к нему сейчас женщина, протягивая портрет — фотографию юнги на улице Опорто...

Но никто не вышел к нему. И никто его не звал. Морские птицы кричали над его головой, метались над мысом. Здесь между камнями были их гнезда, он не держал на них зла за то, что они налетали на него с высоты, клевали в голову. Они так наседали на него, что он лег на землю — не от слабости, а спасаясь от них. Его рука нащупала в золе какой-то предмет. Он поднял его, чтобы рассмотреть, это было яйцо, стеклянное яйцо с белым домом внутри. Он сразу узнал его. И он подумал, всем существом своим понял: значит, вот оно где, это яйцо, ты здесь, яйцо... Он поднял его и стал разглядывать против света. Стоило повернуть его, и внутри начинал валить снег. На стекле была выцарапана буква «С».

Все вспомнилось ему. Он перестал различать *тогда* и *теперь*. Острая боль захлестнула его, но он старался не терять нить мысли. Птицы взмыли в небо и полетели над морем. Теперь, когда он лежал ничком на пепелище, он не казался им опасным. Подняв яйцо двумя руками, он смотрел, как в нем переливается свет. Это яйцо держал в руках отец, когда его нашли, — его отец, человек с сигарой.

Он снова повернул яйцо так, чтобы в нем повалил снег. Когда-то он жил в этом яйце, оно вобрало его в себя, но как же сделалось, что он вышел из него и пустился в путь, который в конечном счете снова привел его сюда?..

Со стороны садоводства к нему шагал мальчик — крепкий мальчуган с веснушчатым лицом. Вилфред привстал с пепелища — не хотел, чтобы ребенок видел его лежащим. Но мальчику было все равно, сидит он или лежит. Он протянул Вилфреду деньги — бумажкой.

— Отец сказал, чтобы ты уходил отсюда. Говорит, нечего тебе здесь ошиваться.

Мальчуган тотчас зашагал назад не оборачиваясь. Веснушчатое его лицо было жестким и замкнутым, как орех. Теперь Вилфред сидел на пепелище с деньгами и стеклянным яйцом в руках, точнее, в одной здоровой руке, — соседство казалось не-

лепым. Здоровая рука была теперь не очень здорова, она позеленела, распухла и сильно ныла. Теперь обе его руки никуда не годятся. Но ноги еще держат его, нужно лишь терпение, они могут доставить его к пригородной станции — в сторону, противоположную морю. Интересно, следят ли за ним сейчас из окон дома? Голландка — жена Тома, у которой убили брата... может, она сейчас стоит у окна, испытывая минутное удовлетворение при виде его, подобно тому, как испытал его Том, а еще раньше — Андреас. Даже тем Андреас возвысился в собственных глазах, что женился на Эрне, которая тоже нуждалась в утешении, — в том, чтобы вырасти в собственных глазах...

Но Вилфред не мог заставить себя подняться.

Проклятые ноги, они разъезжаются в стороны всякий раз, как только он пытается встать. Если домочадцы садовника следят за ним из окон, они, наверно, подумают, что он нарочно не уходит отсюда, что он валяется здесь им назло.

Оставалось лишь набраться терпения. Была уже середина дня. Наконец ему удалось встать на ноги и, пошатываясь, сделать несколько шагов. В тот же миг чайки налетели на него. Теперь они снова видят в нем угрозу, надо уходить. И он ушел. Он шел, ища защиты у низеньких домов, слепыми окнами смотревших на него. Потом ему предстояло пересечь открытый участок — тут птицы снова его увидят. Он взглянул на свои ноги в чужих ботинках — ботинки были ему велики. Птицы галдели, верещали вокруг него, но, по мере того как он уходил от моря, их становилось все меньше и меньше. Только не оборачиваться, не размахивать руками — и так он с трудом удерживает равновесие. Он должен успеть к поезду, ему сказали, что он должен успеть к поезду. У него не было своей воли — он подчинился приказу, не рассуждая.

Чужая воля, жившая в нем, гнала его к перешейку. Дорога вела с полуострова к летним дачам. «Старые коробки», — называл их Том. Когда-то они были для него пределом мечтаний, сыну садовника они казались королевским дворцом, воплощением грез. Теперь же Том видел в них старые коробки. Дачи стояли на самой вершине холма. Наверно, сын Тома, тот, что лицом похож на орех, когда-нибудь купит их старую коробку в Сковлю, снесет ее и построит на ее месте новую дачу. А может, даже сам Том купит ее или Андреас! Да, Андреас купит ее и метр за метром будет пожирать пейзаж, пока не насытится им. Он скажет: вот эта старая сосна закрывает мне вид —

подать сюда топор! И, чувствуя самого себя — ведь он сидел в тюрьме за родину! — он скажет гостям: «Да, вот так мы валили деревья в концлагере...» И на миг он придаст своему лицу трагическое выражение, показывая, что рад бы забыть, да не может. А гости будут смотреть на него как замороженные и в душе торжественно вздымать флаг на мачту...

Ирония не помогала, никакие уловки больше не помогали. Ведь те люди правы, они всегда были правы. Все чрезвычайно просто. Шагая по перешейку, он спотыкался на гладких камнях и до боли кусал пальцы на здоровой руке, которая была отнюдь не такая уж здоровая. Все дело в этом: в сущности, все чрезвычайно просто! Все просто для того, кто сам прост душой, у кого нормальные инстинкты, вычитал он в одной из тех газет, что нашел у Роберта. Может, Роберт это и написал. А прост ли сам Роберт? И что значит это слово? Значит ли оно, что все явления — суть лишь то, что видно на поверхности, и ничего больше, вроде солнечного заката на картинах художников известного толка, тех, что пишут лодку у моста и дом на фоне леса, а сверху — небо, где положено заходить солнцу?

Что-то хлопнуло о выступ скалы слева, что-то с плеском упало в воду рядом. Острый предмет больно ударил его в затылок. В мозгу вспыхнула мысль. Она приказала ногам: бегите! И ноги бросились бежать. Но они позабыли прихватить с собой его самого, и он упал. Он услышал вопль, радостный мальчишеский вопль. Еще один камень упал в воду, обрызгав лежащего человека грязной водой. Боль расползлась от затылка по всему телу. Он лежал не шевелясь, боль то приливала, то отступала. Вокруг него упало еще несколько камней.

Странно, что камень попал в него всего лишь раз. Когда он сам был мальчишкой, он неделями упражнялся, чтобы попасть в цель, и кидал камни, пока не научился. Он попадал в любую цель, какую ни наметит. Пальцы его безошибочно ударяли по клавишам рояля, он находил ответ на любой вопрос. До одурения читал он разные толковые словари, уйму книг и там находил ответы, чтобы затем ошеломить ими кого-нибудь. И он стал первым учеником в классе. Из всех — первым. «Ваш сын очень быстро схватывает, фру Саген, он необычайно быстро схватывает, но...»

Но...

Но!

«Я думаю, что моя душа — темный лес».

Конечно, это же написал тот самый Лоуренс. Значит, он

думал так, черт возьми. Неужели кто-то думает иначе? Да — простые, чистые люди, чистые сердцем. Они думают иначе. Они думают, что их душа — проезжая дорога. Снабженная указателями, не дающими сбиться с пути.

Камень ударился в дерево с другой стороны. Потом обстрел прекратился. Вилфред медленно встал и подошел к дереву, здоровой рукой ощупал кору. Когда-то это дерево было волшебным: оно обозначало *границу*, впрочем, в ту пору все обозначало ее. Здесь была граница между дачниками и туземцами, теми, у кого не было даже фамилий. Бог ты мой, он знал их всех как облупленных, играл с ними и даже иногда спасал их, когда в этом была нужда. Но считал ли он их, в сущности, людьми?

Мориц — да, вот кто любил рассуждать о людях. Голубая кровь... Он не хотел держаться проезжей дороги. Это и убило его...

А дерево это... как часто Вилфред стоял здесь в былые дни. Дорожка здесь разветвлялась, направо — к большому миру, к станции, налево — к летним дачкам, к летней его стране. Ноги сейчас влекли его туда. Но сам он не хотел туда идти. Он напруг всю свою волю.

Может, те — простые душой — даже не ведали искушения, может, их даже не тянуло сделать дурной выбор?

Та-та-та-там... та-та-та-там... Вот она опять, проклятая симфония. Кто-то назвал ее Симфонией Судьбы. Эти продажные писаки, они что хочешь переиначат по-своему. Какое отношение имеет судьба к его ногам? Ногам хотелось свернуть палево от этого дурацкого дерева, сам же он хотел идти направо — ведь ему приказали туда идти да еще дали денег. Та-та-та-там... Эта мелодия уже вела его однажды. Все повторялось. Стеклояное яйцо. Он нашупал его в кармане, обворожительно округлое и гладкое. Хорошо жить в таком яйце. Он овладел своим телом, не знавшим, куда податься, и заставил его зашагать в сторону станции. Они правы, всегда и во всем. И в том, что касалось спасения Тома. Была доля истины в злобной версии, которую они состряпали: да, правда, Вилфред хотел тогда все сделать сам, он рисковал затянуть дело так, что Тому это могло стоить жизни. И все равно: они лгали. Зерно истины — еще не вся истина. А вся истина — разве она существует? Разве ее можно найти?

Теперь, когда он удалился от моря, идти стало легче. Его

уже не заносило куда не следует. До станции, кажется, километров пять или около того. Надо лишь верно распределить силы и не сбиваться с пути.

Ему больше не хотелось спастись бегством; чем бежать от опасности, уж лучше шагнуть ей навстречу. Воля Тома вела его, Том ведь дал ему деньги. К тому же тропинка расширилась, теперь это уже дорога, но вот она стала еще шире, можно шататься на ходу, не рискуя наткнуться на дерево, не спотыкаясь о корни. Навстречу шел человек, его румяное лицо, освещенное вечерним солнцем, растянулось в добродушную улыбку. Он не осуждал подвыпившего соотечественника, ведь не каждый день приносит такие хорошие вести. Разгром врага стал фактом, так ведь сказал Том. Теперь возрадуются все сердца, все сердца, все сердца... Тихо напевая, он разминулся с прохожим. Здесь нет злобных птиц, встречный прохожий приветлив, нет ни злобных слов, ни острых камней. Он ощупал затылок — на нем запеклась кровь. Удивительно, как распухла его здоровая рука, толстая рука на худом теле. Он рассмеялся. Прохожий обернулся ему вслед, Вилфред догадался об этом по звуку шагов. А вот в поезде лучше поостеречься, чтобы не показаться людям чудачком, — в этой стране люди, едущие в поезде, всегда серьезны, полагается вежливо отвечать, если тебя о чем-нибудь спросят, но лишнего не болтать...

Надо идти и не давать воли мыслям. Надо спешить туда, куда послал его чужой приказ. Пока человек жив, он не может ручаться за себя. Мало ли что взбредет ему в голову... В кармане у него яйцо, это хорошо, приятно трогать его, в нем какая-то благодатная завершенность. Ноги идут и идут.

25

Все переменялось в этом городе, пусть самую малость, но перемена заметна во всем, особенно в лицах людей: они светятся затаенным счастьем.

Везде запустение, уродство. Солнце первых майских дней безжалостно обнажило его, но в самом запустении этом будто сквозит гордость. Облупившиеся, неухоженные дома улыбкой оскалились на улицы с разбитой мостовой; страшные, худые люди спуют из дома в дом, будто с сиянием над головами, каждый словно несет другому благую весть. Прежде, собираясь группками на углах, говорили тихо, нынче голоса звучат звон-

че, свободней. Но по-прежнему люди торопливо и настороженно оборачиваются и оглядываются вокруг. Над ними высятся деревья с их дерзко зазеленевшими стрелками — будто фанфары, громкой светлой песней своей возвещают они всеобщую радость.

Люди стали стремительнее в движениях. Не то чтобы им было куда особенно торопиться. Но они могут позволить себе стремительность — и в ней тоже будто скрыт молчаливый вызов. Люди так долго сдерживали свои чувства, сдерживали даже шаг, чтобы никто не подумал, будто они спешат куда-то по важному делу. Спешить куда-то по важному делу было просто опасно. Теперь необузданная надежда воплотилась в слова: «сбросить иго». «Иго» — слово это вдруг обрело смысл, из разряда абстракций перешло в разряд вещественно-осязаемого, чтобы затем вновь стать всеобъемлющим — синонимом безмерно тяжкого бремени.

Лица людей тронуты первым загаром. Лица — изможденные, но уже не серые, как прежде, и в этом тоже своего рода вызов, за который, по счастью, не сажают в тюрьму. На солнце, слава богу, запрета нет — отчего бы не подставить ему лицо?

Хотя для среднего человека условия жизни почти не изменились, все же каждый упоен близостью счастья. А оглянувшись вокруг, нетрудно заметить, что на улицах почти не видно прежних зеленых — защитного цвета — пятен, лишь на деревьях сверкает чудесная молодая зелень. Молодая зелень возоблудала! Мерзкий зверь под градом ударов втянул щупальца, но не уползает, дожидаясь поворота событий — там, в большом мире, охваченном огнем, бушующим нынче всюду.

Многое известно активным борцам, тем, что принадлежат к «внутренним силам». О переговорах долгое время ходили лишь слухи. Но сейчас точно известно, что они ведутся. Высокое начальство из лагеря оккупантов беспрестанно колесит по стране, выезжает нередко даже за ее пределы, чтобы встретиться с какими-то лицами, тоже занимающими высокие посты.

По нынешним временам высокий пост — помеха. Начальство помельче все же глядит веселей.

У кое-кого из посвященных прибавилось хлопот. К примеру, Роберт, один из деятелей «внутренних сил», не то чтобы уж очень известный, но весьма уважаемый, уже хлопочет о флагах. Если слухи не лгут, все может произойти внезапно, в любой день, не сегодня-завтра, на этот случай нужно иметь в за-

пасе флаги. И флагов должно быть много. Роберт также неутомимо следит за правильной политической оценкой событий — как в своем кругу, среди соратников по борьбе, так и среди многочисленных знакомых, которых завел за эти годы. И всегда подчеркивает, что Освобождение — плод многих усилий: вехи его — и Сталинград, и Эль-Аламейн, особенно — Сталинград...

Когда-то у Роберта наряду с прочим была небольшая фирма, торговавшая типографской краской. Наверно, скоро понадобятся плакаты, а для плакатов понадобится красная краска. Теперь и Роберт тоже колесит по стране в заботах о типографской краске. У него редкий дар сочетать возвышенное с полезным.

Рассказывают, будто из тех, кто в свое время покинул страну, спасаясь от расправы, сейчас уже сформированы и ждут своего часа передовые отряды — это не только солдаты, обученные за рубежом, но и другие, кто своими делами заслужил право первыми вернуться на родину, чтобы помочь опьяненным радостью соотечественникам навести у себя порядок, поддержать их физически и духовно. Среди этих людей — скрипачка Мириам Стайн. На чужбине имя ее не поблекло — напротив, слава ее лишь возросла, и не только музыкальная: артистка прославилась и как добрая самаритянка, как деятельный человек, готовый отдать все силы новому обществу. Одно лишь слово на устах у многих: «благоденствие» — емкое слово, радующее слух после стольких лет горя и разорения...

Вилфред Саген вошел в город как обыкновенный человек среди других таких же людей. Он не стал плутать по пути с вокзала, а двинулся напрямик через город. В приливе минутной слабости — или, может, силы? — он подумал, не явиться ли прямо в потайную каморку на Пилестреде; но это было выше человеческих сил — одна лишь мысль об этом заставила его пошатнуться. А шататься на ходу сейчас нельзя. У него и без того скверный вид, не хватало еще свалиться в канаву.

И все же он шел — шел с вокзала напрямик через город. Долго стоял он в потемках около дома на Драмменсвей и прислушивался. Все здесь казалось пусто: ни света, ни звука. Как уже не раз в жизни, он порылся в своем багаже, который весь умещался в карманах, заменивших ему чемодан и рюкзак, и нащупал ключ. Может, удастся прокрасться в дом, если только собрать все силы? А кое-какие силы все-таки есть — во всяком

случае, довольно, чтобы чувствовать голод и жажду — простейшие признаки жизни. На своем веку ему много раз доводилось тайком пробираться в дома, для него это было привычным делом. И если в этом путешествии по хорошо знакомой лестнице, сквозь знакомые двери, по знакомым коврам он и ощутил что-нибудь, кроме жадных голодных судорог — какое-нибудь движение души, — то, во всяком случае, он успешно его подавил. Мысли его были лишь о себе, о самых простых потребностях тела. Дальше мысли не шли: для этого он был слишком слаб.

Потом он снова брел через весь город — на восток. Он брел, на ходу пожирая то, что нашел в доме на Драмменсвей, ел открыто при всех, не прятался под деревьями. Редкие прохожие, оказавшиеся в этот час на улице, занятые каждый своими заботами, бесшумно скользили мимо — пожалуй, так все же было спокойней. Он брел, пережевывая пищу на ходу, глотал и снова засовывал ее в рот. Где-то он немного вздремнул, присев на скамейку. Но, едва очнувшись, сразу же снова начал есть, понемногу запивая снедь из бутылки, которую всякий раз бережно прятал во внутренний карман пиджака. Его карманы заметно распухли от всего, что он прихватил с собой. Выглядело это не слишком красиво, но что поделаешь?

Тьма скоро рассеялась, ночи стали уже совсем короткие, и птицы рано запели в кронах деревьев. Когда он дошел до Старого города, было уже почти светло. Он почувствовал необычайный прилив сил, может, от мысли, что скоро отдохнет от всех мытарств. Что он будет делать в здешних краях? Да ничего... Ни в одном краю в этом мире его больше не ждут дела.

Потом он вышел к причалам, там, где прежде была Грэнли, и, оттого что он узнал эти места, решение, казалось, вдруг родилось само. Зелень отсюда теперь почти исчезла, и почти исчез горный склон. Но в раннем свете утра он увидел Экебергский лес на взлете холма, где когда-то пережил безмерное унижение. И этот холм блестел зеленью — клочок природы, выживший наперекор рельсам и пустынным причалам. Нет, здесь ему нечего делать, как, впрочем, и во всех других местах. Но что-то шевельнулось в его сердце — оттого, что пришло узнавание. Какой-то отзвук будило в нем это место — похожее чувство охватило его при виде тропинки, избежавшей вдруг из проклятого края, где он обрел свою душу...

Какое выпретенное выражение! И смехотворное — откуда только оно взялось? Но разве он и впрямь не обрел там свою душу? Вздор. Человеку в его положении не до души...

У одного из причалов стояла лодка. Осмотревшись, он бесшумно спрыгнул в нее. Никого. Весла на запоре — обвязаны обрывком цепи; Вилфред вновь выбрался на берег — поискать что-нибудь, чем можно отбить замок. Но нигде не оказалось ни камня, ни куска железа. Он вспомнил про револьвер. Он даже не осматрел его и не знал, заряжен он или нет. Что ж, теперь наконец-то он пригодится. Снова спрыгнув в лодку, Вилфред рукояткой револьвера ударил по замку. Тот мгновенно раскрылся. Вилфред сразу налег на весла, он быстро вел лодку вперед — весла мощно раздвигали жирную воду клоаки. Отзвук... отзвук, со всех сторон его обступали отзвуки. Здоровая рука ныла. Уже светло, нельзя, чтобы его сейчас заметили, сейчас он не хочет брани, насилия, ударов. Где угодно пусть схватят его, лишь бы не здесь, в этой грязной сточной воде.

Вилфред повернул к Большому острову. Светлая тихая рань, впереди незамутненная гладь моря. В верхней части города в окнах вспыхнуло солнце. Набережные и дома еще спят.

Причалив к крутому восточному склону острова, он привязал лодку и сошел на берег. С деревьев навстречу ему грянул хор птичьих голосов — будто фистулой зазвенел безумный орган, во всю свою мощь возвещающий ликование. Вилфред стал медленно взбираться на холм. Здесь, на острове, стояли бараки, осталось также несколько старинных домиков, среди них — диковинное строение с островерхой крышей, напоминавшее не то барский дом, не то церковь. Наверно, в нем расположились офицеры, а в бараках — солдаты. Значит, и этот остров превратили в военный лагерь, в крепость, а может, в последнее прибежище зверя. Здесь был враг. Вилфред не стал искать прибежища у врага, еле слышно побрел он по мягкой тропке, скрытой густыми кронами деревьев, — брел словно по воде. С утренним теплом к нему притекли запахи из самого сердца острова: воздух был напоен ароматом чужестранных растений. Раньше здесь жили и усердно трудились монахи. Здесь они возделывали свои грядки с целебными травами, на веки вечные обогатив островную флору инородными видами. Остров казался отдельной страной — тоже оккупированной, но с клочками ничейной земли.

Он подошел к низенькому строению вроде павильона — порождение изысканного вкуса былых времен. Долго стоял он снаружи, заглядывая в щелку между куском картона, заменяющим оконное стекло, и рамой. Потом он с силой налег на дверь — будь что будет. Но сила оказалась ненужной. Под его

напором трухлявая дверь сразу подалась и открылась настолько, насколько позволял перекос. Он вошел внутрь. Здесь жили люди. На скамье стоял примус; на полу валялся кофейник. И Вилфред снова подумал: «Будь что будет». От усталости у него уже начались галлюцинации. Опускаясь на пол, он сунул руку в карман, за съестным. Но он даже не успел вынуть еду: уснул, положив голову на скамью.

Когда он проснулся, был уже вечер. Он сразу же вспомнил, где он. Ему снилось, что он снова бродит в том безрадостном лесном краю, но это не испугало его. Теперь он носил этот край в себе, он принес его с собой сюда — в светлый лес, с его неземной красотой, и край этот был с ним в сыром павильоне. Живая рука отчаянно ныла, он подмял ее под себя, когда во сне рухнул на пол, и теперь он стал растирать ее мертвой рукой. Он лежал, сквозь дверную щель наблюдая за светом. Смеркалось быстро. Птичье пение уже смолкло. Лишь издали доносился тихий плеск легких волн о берег. Значит, погода стоит по-прежнему ясная, и волны тихо набегают на берег, гонимые южным ветром.

В ожидании темноты он поел. Зачем он ждал темноты? Просто так. Он ничего здесь не искал. Он просто хотел здесь жить, просто быть.

Он ясно видел теперь — как странно, что прежде он до конца не сознавал этого, — он ясно видел связь между обрывками детства и редкими мгновениями *самосушности*, даруемыми человеку потом. Он был будто в лихорадке — главное сейчас найти верные слова для своих дум. *Самосушность?* Минуты абсолютного времени, мгновения *бытия* — не повседневной жизни, родственные другим минутам, когда символические фигуры, сливаясь на полотне, создавали совершенный узор, некогда воплощавший в себе его — Вилфреда — стремление к совершенству.

Тьма не сгустилась до черноты. Стояли серебряные сумерки. Скоро птицы опять запоют. Он доел остатки еды и выпил немного вина. Затем осторожно выбрался из павильона. Подойдя к странному дому с островерхой крышей, он увидел за стеклами приглушенный свет. До него донеслись голоса. Прижавшись к стене, он стал слушать. Он думал, что люди разговаривают друг с другом, но слышался только один голос — голос диктора по радио. Приемник был включен на полную мощность, но звук

плохо проникал сквозь стены... Слышны были лишь отдельные слова, диктор говорил по-немецки. Он расслышал слово «капитуляция», потом имя «Дениц». И еще расслышал «на всех фронтах». Диктор много раз повторял одно и то же. И слова его, сплетаясь воедино в великую, ликующую весть для мира, с волнением ожидавшегося рассвета, прорывались сквозь стены, отдавались у Вилфреда в ушах.

Он спустился в долину, открывавшуюся в самом сердце острова. В серебристо-сером свете ночи перед ним выросли развалины монастыря. Здесь царило безмолвие. В ноздри ударил густой запах ревеня, принесенный прохладным ночным ветром. Он вспомнил легенду о потайном ходе из монастыря до крепости Акерсхус, будто бы прорытом под морским дном. Все может быть, значит, и это. Почему бы монахам в коричневых рясах не выйти вдруг из серебристого мрака и не заняться привычными хлопотами?.. Картины, созданные воображением, в эту ночь реальнее самой грубой реальности. В далеком мире свершаются решающие события, а в соседнем доме побежденные строят планы почетного отступления — это их последние планы. Мир лежит в развалинах — может, иной мир восстановит из них? А те, которым принадлежит будущее, собираясь вместе, изучают сводки, карты и телеграммы. И сама ночь будто серебристый плод, созревший для тех, кому принадлежит будущее.

Он долго стоял, разглядывая строгие очертания руин. Он хорошо знал их. Когда-то — школьником — он часто бывал здесь: всем классом они приезжали сюда изучать редкие виды растений. Дрожа от страха, стояли ученики у стеблей вышиной почти в человеческий рост, трогали липкие листья. Когда учительница объяснила, что это белена, один мальчик тут же рухнул оземь, сраженный то ли острым ядом, то ли испугом. Точно так же пугал их тогда вид монашеской обители. Теперь он узнал ее, узнал отзвук былого. Вдруг ему послышались чьи-то шаги на тропинке, по которой он сам сюда пришел. С быстротой молнии метнулся он за развалины монастырской стены. Из тьмы выплыла тень, посеребренная сумерками. Может, это призрак отца Гамлета, в своем безвинном сне отравленного беленой, неприкаянно бродит в здешних местах?

Блаженный ты или проклятый дух,
Овеян небом иль геенной дышишь?.. *

* Здесь и далее перевод М. Л. Лозинского.

Тень замерла на холме у входа в разрушенный монастырь. Вилфред даже не был уверен, что и впрямь ее видит. На миг она привлекла его взор, теперь же мысли его, тягучие и неспешные, обратились к другим предметам. Время, место — все потонуло в ночной мгле. Действительность сменилась игрой воображения...

Нащупав в кармане стеклянное яйцо, он ухватился за этот гладкий шар, словно в нем было спасение, разгадка всех тайн. Казалось, он держит в руке свой собственный, усталый, измученный мозг, стараясь выжать из него последний стук мысли, чтобы объять ею судьбу некоего человека... что, если он сам — всего лишь отзвук этой судьбы? Не примешивается ли ко всем ночным запахам аромат сигары? А легкий пар над лугами — вдруг это лишь дым от сигары, выдохнутый в мир человеком, который покинул его, так и не изведав покоя, навсегда уйдя от его поисков и расспросов, со своей печальной и лукавой тайной?

А игра длилась в выжатом мозгу, в глубоком отчаянии рождавшем слова:

Отец, державный Датчанин, ответь мне!
Не дай сгореть в неведение: скажи,
Зачем твои схороненные кости
Раздрали саван свой...

Сквозь тонкую дымку над морем проглянула бледная луна. Он увидел плотного низенького человечка в мундире фельдфебеля. Застыв у входа в монастырь, фельдфебель сопя принюхивался к ночному воздуху, будто зверь. Затем, судя по звуку, он справил малую нужду и, повернувшись, исчез.

Наполовину высунувшись из-за стены, Вилфред в раздражении скорчил гримасу: школьную премудрость и театр, реминисценции — все к чертям! Что вдруг привиделось ему в этой фигуре? Призрак... Наверно, многие, подобно ему, беспокойно бродят вокруг в эту ночь, принюхиваясь к воздуху, ища для себя выход, словно ночь может дать им ответ. Но ночь ничего не сулила одинокому фельдфебелю, да и Вилфреду тоже. Она несла счастливую весть победителям, всем, кто ходил сейчас с гордо поднятой головой, и праведным людям, что скрывались в лесах, дожидаясь сигнала. Скоро настанет их время, может, в эту ночь, может, завтра. Час освобождения близок — он уже слышал эти слова.

Кажется, где-то бьют часы? Нет, это подает голос буй-ревун на фьорде: баюкаемый ночью, он накрылся волной, будто одеялом...

Вилфред выпрямился во весь рост и прислушался к звукам вселенной. Он услышал напев надежды, ночная дымка таяла и отступала. Скоро наступит час, когда призракам пора возвращаться в землю, и ему тоже — пора.

Уже светляк предвозвещает утро
И гасит свой ненужный огонек...

Чары рассеялись. Вилфред бесшумно зашагал по траве — к югу. Когда-то здесь был ручей — серебряная нить под нависшей листвой берез. Вспомнились и пологие горы, ближе к проливу. Едва завидев рощу плакучих берез в лунном свете, он свернул на юго-восток. «Может быть, там найдутся мидии», — подумал он.

Он и вправду нашел их, спустившись к отмели, но с берега было не так легко их взять. Быстро скинув с себя одежду, он вошел в воду и горстями начал выбрасывать мидии на берег. Потом он быстро оделся, весь дрожа от холода. Хорошо бы укрыться где-нибудь в доме. Его путешествие в потерянный край, его жалкое возвращение к навсегда потерянному еще не завершено. Какая-то сила гонит его вперед, повелевая делать то-то и то-то. Может, это и есть здоровый инстинкт? Здоровый или больной — он подчинился ему. Он еще не обессилел вконец, но воля еле теплится в нем, если вообще это воля, и притом — его воля.

Свет медленно просеивался сквозь дымку. Снова сбросив с себя рубашку, Вилфред завернул в нее мидии. Когда он побрел по опушке леса, из крон деревьев послышались первые ликующие голоса птиц. Предрассветные сумерки отступали; подобравшись к павильону, он осторожно заглянул внутрь. Никто не заходил сюда в его отсутствие. Он притворил дверь так плотно, как только мог — он озяб. Разжечь огонь он не смел, да и не было спичек. Вскрыв раковины сломанным ножиком, который нашел на скамье, он жадно проглотил мидии. «Устрицы с белым вином», — насмешливо подумал он и вспомнил про бутылку. Он долго приберегал ее. Сейчас она будет в самый раз. Мидии хороши, а под коньяк особенно. Он пил из бутылки маленькими глотками и подолгу удерживал жидкость во рту. Он поступал так из экономии — коньяк надо беречь,

Впрочем... надо ли? Он отпил несколько глотков, уже не думая о бережливости. Сел на пол и стал лить коньяк в глотку. Мгновенно всплыли откуда-то видения и звуки, заполнили собой сырую каморку. Жаль, что нет здесь музыкального инструмента — он безмерно тосковал сейчас по музыке. Попробовал даже спеть, но вышло не очень удачно... Что, если кто-нибудь его услышит? Да что там, где уж расслышать одинокого певца, когда тысячи звонких голосов распевают в деревьях. Уже грянул ликующий птичий хор. Снова утро! Он поднял бутылку, чтобы отхлебнуть из нее, но уже не мог этого сделать. Милосердное беспамятство сошло к нему и вновь унесло его на крыльях сна...

Дважды в этот день он просыпался, приподнимался на полу и прислушивался, цепenea от страха. Мнилось ему, будто сотни трубачей с трубами и литаврами маршируют сквозь дом, через лес. Но шум был лишь в его собственной голове, и всякий раз он заглужал его глотком из бутылки.

Потом бутылка опустела. Он лежал, обеими руками сжимая ее, лежал на полу в блевотине и грязи. Когда он проснулся в третий раз, снова была ночь. Он проснулся с уже готовым решением, встал на ноги и, шатаясь, вышел из дома. Холодный ветер разом стряхнул с него хмель, в самом прикосновении ветра была ласка. Он постоял, наслаждаясь ею, ждал, что она повторится.

Но ласка не повторилась. Ночной ветер уснул. Был лишь он один, и была его воля, но она не была *его*. Он ощутил подъем, почти что радость. Мириам... когда-то он искал ее на станции, там, в долине, в маленьком домике пригородного вокзала. Но она не пришла — впрочем, это было давно. Тогда она спасла бы его. Теперь — поздно.

Теперь он знал — судьба снова гонит его вперед, и это последний отрезок пути. Радость охватила его. Он быстро зашагал вниз по склону к лодке.

26

В город. Или, может, прочь от города?..

В город!

Но он устремился прочь от города.

Сомнения раздирали его...

Еще когда он плыл на лодке с острова, он видел отблески костров над центром города, слышал отдаленные крики — но не ужаса, а радости.

Сейчас он увидел людей на холме у Мореходного училища. Может, его заметили? А может, обнаружили пропажу лодки?..

В полутьме он зашагал прочь от города. Вскоре, свернув в сторону, он начал подниматься в гору, дорога терпеливо вела его к взлету холма. В домах теперь горел свет: освещенные окна весело смотрели в ночь. Люди стояли, размахивая руками, на фоне яркого света. Все было ново и непривычно. Что это за костры?..

И вдруг на его пути вырос такой костер — бесстрашно раскинулся он посреди дороги. Вокруг костра, прямо на развилке путей, кружились в радостной пляске дети и взрослые. Теперь он понял, что это были за костры: жгли маскировочные шторы! Люди то и дело выбегали из домов с новым запасом хрустящих штор — призрачными тенями мелькали они во тьме, но, подбегая к костру, попадали в полосу света, и лица их смеялись. Какой-то ребенок закричал: «Ура!» Взрослые зашикали было на него, но сами подхватили его возглас. Седой мужчина в пижаме под зимним пальто раскупоривал бутылки шампанского — пробки щелкали одна за другой.

Вот, значит, какие это костры и какие люди вокруг! Костер вдруг полыхнул ярким пламенем, и Вилфред неожиданно оказался в полосе света. Его тотчас окликнули, люди с сияющими лицами окружили его, наперебой весело что-то кричали; другие по-прежнему сновали взад и вперед, подбрасывая в костер разный хлам — теперь уже не только шторы. Он не успел моргнуть, как его справа и слева схватили за руки, и вместе со всеми он закружился в пляске вокруг костра.

Кто-то запел: «Мы победили!..» Пламя вдруг резко спало, из дома начали скликать детей; с балкона кто-то крикнул: «Погодите до утра — оставьте праздник на завтра!..»

Вилфред вышел в открытый простор, к полям, окутанным дымкой. Он все еще ощущал прикосновение чужих рук, теплых человеческих рук, в порыве радости протянутых ему, он ощущал их тепло в *обеих* руках — невыносимый огонь из глубины лет.

Рождественская елка в доме на Драмменсвей... тогда все брали друг друга за руки, и горничные в свежeweыглаженных

фартуках тоже приходили сюда, и все руки смыкались — нежные пальчики смыкались с грубыми заскорузлыми руками, и это было ему противно, и противны были ласковые слова...

Теперь его обступила природа. Он снова был полон сил. Выйдя к опушке леса, он присел отдохнуть — ведь он сейчас полон сил, мог позволить себе передышку. К чертям рождественские елки в доме его детства! Что прошло, то прошло. Он блаженно медлил сейчас, ибо *знал*: конец близок.

На опушке леса вдруг появились люди. Они переговаривались, оглядываясь назад, и тут же подошли еще люди, растянулись в цепочку. Прозвучала команда, но не из тех, прежних — резких, презрительных, грозных. Одно слово носилось в воздухе: «Друзья!» Он услышал его, не ушами — всем телом.

Потом сквозь дымку он увидел тех же людей: выстроившись в затылок, они шагали куда-то. Но не в сторону города — они шли к хутору, смутный силуэт которого угадывался в тумане. Он сразу понял, кто эти люди. Они шли исполнять приказ — долго ждали и дождались своего часа.

Он тоже ждал. Чего же ждал он? Он резко обернулся: над ним пронеслись птицы. Потом он стоял, глядя на город, расстилавшийся внизу, и душой принял свой выбор. Он поднял над светлой пропастью в глубине свои жалкие мертвые руки. Долго глядел он на здоровую руку, размышляя о том, чем, в сущности, отличаются они друг от друга — рука и протез, живая рука и рука мертвая.

Среди низких домов в Старом городе по улицам бродили старые люди, и тех было немного. К Вилфреду подбежала женщина, схватила его за руку. Она хотела поцеловать его руку, здоровую руку, но, тут же выпустив ее, отшатнулась в страхе. Он пошел было за ней к узким воротам, но она бросилась бежать. Вилфред остановился, потом тоже пробежал несколько шагов, хотел окликнуть ее... Он огляделся вокруг. Никого. Может, женщина учуяла какой-то запах? Что-то испугало ее... Он зашагал быстрее к западной части города, туда, где были люди. Люди, в чьих глазах светилась надежда, — он хотел их видеть.

И вдруг он увидел их, они были повсюду, они шли толпами и пели, строем шагали по темным улицам с песней, с сияющими лицами. Они шли к центру города — женщины, мужчины и бледные дети. Над городом еще стояла ночь, лишь на северо-востоке открылась на небе кромка зари. Но люди высыпали на

улицу, многие пели, другие просто стояли на углах, на краях тротуара — и у всех лица светились тем же особым светом. Свет, шедший изнутри, будто пронизывал их насквозь. Никогда еще Вилфред не видел людей такими. Казалось, они и сами этим изумлены, будто в них вселилась какая-то нездешняя радость. Впрочем... Он видел такие лица на полотнах художников средневековья. В его мозгу всплыло слово «блаженные».

Да, блаженными казались все эти люди. Может, взгляд их прозревал иные миры? Он вспомнил себя ребенком, вспомнил, как отчаянно резвились дети на улицах в первый день каникул. Кто-то из них придумал, будто они стали птицами и умеют летать. И все дети разом сбросили с себя ранцы, замахали руками, и, кружась, все кричали: «Я лечу! Лечу!»

Такими же были люди, которых он видел сейчас. Они будто вознеслись над землей. Духом своим вознеслись они над миром, и все ликovalo, пело у них внутри: «Я лечу! Лечу! Я лечу над миром!»

Он вновь очутился у своего дома на Драмменсвей. И здесь, в окнах, обращенных к заливу, был свет. Стоя на нижней ступеньке лестницы, он видел, как чья-то дородная фигура снует за легкими занавесками. Наверно, дядюшка Мартин — да, теперь даже можно расслышать его голос — наверно, дядюшка Мартин объясняет что-то сестре, усиленно размахивая при этом руками.

Он стоял в самом низу лестницы, смотрел и слушал. Одолеl две ступеньки и снова остановился, пошарил в карманах, нет ли карандаша или ручки — написать несколько слов, но ничего не нашел. Тогда, бессильно уронив руки, он перестал прислушиваться и смотреть. Он все отсек от себя... Медленно спустился он вниз по ступенькам. Теперь уже рассвет набрал силу.

Вилфред быстро шагал к центру города. Улицы теперь заметно опустели. Но просветленность в облике людей сохранилась, ощущалась в каждом их жесте, в походке. Он увидел догоравшие костры в Студенческом городке, на площади перед университетом. Некоторые из блаженных по-прежнему стояли у костров, замороженно глядя на тлеющую бумагу. На площади перед университетом мужчина примерно одних лет с Вилфредом стоял между двумя статуями, застыв, подобно им, и плакал; его смуглое лицо, обращенное к светлому небу, под слезами блесло как бронза.

Скорей — под любую крышу, в любой дом, только бы уйти от всей этой просветленной радости... В любой дом... Понурав голову, он шел быстрым шагом. Он шел к тому подъезду на Пилестреде, где ежедневно вывешивали на двери скудное меню. Однажды он летел на крыльях к желтому строению пригородного вокзала, с последней, отчаянной надеждой на спасение, в которое сам не верил. Теперь же он был свободен — свободен от надежды, как и от всех сомнений...

Войдя во двор, он метнул взгляд в верхнее окно дома. В окне не было света, маскировочная штора опущена. Вся сила, переполнявшая Вилфреда, когда он бродил по холмам, теперь иссякла, с каждой ступенькой сил становилось все меньше. И с каждым этажом все трудней становилось идти. Неужели когда-то было всего пять этажей?

Когда он распахнул дверь, посреди комнаты стояла Мириам. На ней была военная форма. В волосах — седая прядь. Она не улыбалась, но и ее лицо тоже светилось изнутри. Шагнув к нему, она замерла. Казалось, она не очень удивлена.

Лица эти — будто лица блаженных...

Оба долго стояли, не шевелясь, друг против друга. Сердце бешено заколотилось в груди Вилфреда, отнимая у него последние силы. Тут она будто наконец увидела его. Взгляд ее, соскользнув с его лица, охватил всю его фигуру и снова поднялся вверх, словно она боялась смотреть. А он думал об одном: только бы не упасть. Когда-то он обладал великолепным даром притворства, которое всякий раз противопоставлял натиску обстоятельств, теперь он его лишился. Теперь он был один на один со своим внутренним «я». «Мориц... — подумал о н , — может, я умер вместе с ним. Почти все во мне умерло». И еще он подумал: «Простота... мне она недоступна...»

В его мозгу четко вспыхнула эта мысль и еще другая: «Обстоятельства ни при чем... только бы устоять на ногах, не рухнуть на пол».

— Роберт... — начала она , — твой друг Роберт... Я только что вернулась назад, перешла границу вместе с передовым отрядом. Роберт сказал, что, может быть, ты...

Жестом руки он не дал ей договорить. Ее взгляд упал на его руки и заметался от одной к другой, будто гадая.

— Руки твои...

Слова эти вырвались у нее. Она пыталась улыбнуться. Но улыбка не получилась. Взгляд ее снова ощупал его лицо, всю его жалкую фигуру. Слезы выступили на глазах Мириам. Шаг-

нув мимо нее к окну, он отстегнул кнопки маскировочной шторы и поднял ее. В комнату ворвалось утреннее солнце: сноплучей, похожих на сверкающие ножи. Вилфред обернулся: вокруг Мириам был ореол света, казалось, к нему сошел ангел с какой-нибудь старой картины, весь высвеченный снаружи и изнутри, — ангел в мундире цвета хаки.

Теперь пришел его черед улыбнуться, но повиновалась ему лишь одна половина лица. Это было столь непривычно, словно воля уже не управляла телом. Счастье еще, что он стоит спиной к свету.

Мириам машинально повторила:

— Роберт сказал, что, может быть, ты...

— Спасибо,— ответил он. — А ты ведь нарушила дисциплину, придя сюда, не так ли? Ты же несешь службу...

Теперь улыбнулась она. Ей вдруг это удалось:

— Ты всегда верно угадывал.

Она сказала: «Угадывал». Может, он и вправду уже умер? Он ощупал себя, все тело его застыло, почти онемело, как бывает после слишком длительного заплыва.

Вот оно что! Он слишком долго плыл. Он все плыл и плыл. Пора уже опуститься на дно.

— Я пришла к тебе, — сказала она. Все слова были не те. Он знал это, он всегда угадывал верно. Ей хотелось сейчас сказать ему нечто важное, такое, что бы обязывало, что разбудило бы его, заставило очнуться.

Она заплакала, в точности как тот мужчина на улице. По чистому лицу ее струились слезы, и она не смахивала их.

— Ты, наверно, устала, — проговорил он и подвел ее к кровати. Сам он тоже хотел присесть на кровать, но вдруг почувствовал, что это невозможно, нельзя им вот так сидеть рядом. Он встал перед ней на колени. Но когда ее руки коснулись его головы, он отпрянул назад. А вот его руки... когда он простер их к ней, он увидел, что они в грязи: мертвая желтая рука и другая — распухшая левая...

— Тебе нельзя здесь оставаться,— сказал он. — Здесь своего рода явочная квартира, сюда могут прийти.

— Кто?

Он пожал плечами.

— Они знают, где кого искать.

Подняв голову, она прислушалась. Он встал. Теперь он тоже слышал — громкий шум, будто взрыв голосов. Сейчас это уже не был обман слуха — шум в собственных его ушах. И еще раз

взрыв голосов ворвался в комнату, затем распался на отдаленные, но все же внятные человеческие голоса. В такт шагам звучали те же возгласы, что он слышал минувшей ночью:

«Мы победили! Мы победили!»

И снова взрыв голосов, казалось, где-то сверху гул встречает препятствие, свод, от которого он отражается эхом. Обернувшись, он увидел на лице Мириам улыбку — блаженную, неземную.

Улыбка эта... будто условный знак между посвященными, будто картина в доме его детства, в комнате служанок — изображение Судного дня. Так улыбались праведники в белых одеяниях, те, что держали верную сторону...

Улыбка Мириам погасла. Ее взгляд упал на него.

— Это тебе нельзя здесь оставаться! — прошептала она. Он покачал головой, и в ответ в глазах ее вспыхнула искра — жажда действий пробудилась в ней: — Ты должен спрятаться... до той поры, пока все не разъяснится!

Он снова покачал головой.

— Мириам, — проговорил он, — господь тебя благослови...

— Ты же не веришь в бога.

— Да, не верю.

Она подошла к нему, встряхнула его за плечи:

— Я сказала, ты должен уйти. Ты *обязан* уйти. Обо всем прочем мы поговорим... после.

Она уже не плакала. Торопливо вытерла лицо руками. Перед ним вновь стояла юная Мириам — деятельная, добрая Мириам, с лицом, исполненным прелести и спокойной силы.

— Когда мы бежали отсюда... — прошептала она, — это ведь ты спас нас?..

Он покачал головой. Вскинув руки, обе несчастные руки, будто два символа унижения, он властно обхватил ее голову и отстранил от своей, долго изо всех сил удерживал ее так. И снова до них долетели возгласы, шум, колокольный звон и пение флейт. Из всего этого моря звуков вдруг вырвались крики, крики радости и страха.

— Признайся, ведь это был ты тогда, у границы, я знаю, что это был ты!

В ее мольбе тоже были радость и страх:

— Ну, скажи же!

Он слышал ее слова. Но не воспринимал их. Он держал ее в объятьях. Но она оставалась для него недостижимой.

И тут послышались голоса из холодного провала двора. Оба застыли на месте. Мириам быстро шагнула к окошку в эркере — в конце узкой комнаты. Он подошел к кровати. Теперь голоса уже доносились со двора, он слышал топот сапог. Распахнув окно, Мириам высунулась наружу — посмотреть, кто идет. Он торопливо зашарил руками в обоих карманах. И каждая рука нашла свое: одна — стеклянное яйцо, другая — револьвер. Он подумал, что до сих пор не знает, заряжен револьвер или нет. Он поднял его к голове, а сам продолжал следить за Мириам, как она стоит и смотрит во двор. Теперь спина ее распрямилась. Она уже увидела, что идут сюда. Шаги раздавались на лестнице, в самом низу. Чуть помедлив, он нажал на спуск.

Она метнулась от раскрытого окна, будто ее тоже подстрелили. Кинувшись к нему, распростертому у кровати, ощупала его голову, обе руки — одну со стеклянным яйцом, другую — с револьвером. Револьвер еще дымился.

Она снова подхватила его голову; бережно приподняв ее, взяла с кровати подушку и подложила ему под затылок. Затем приложила ухо к его рту — рот был открыт и слегка перекосился. Лишь теперь она заметила, что и нос тоже слегка скошен. Он резко выступал на худом лице. Лицо. Его лицо. Каким же было его истинное лицо? Она все лица его любила. Раньше она не знала об этом!

Прильнув губами к его губам, она не целовала его — лишь пробовала ртом, дышит ли он еще. Она тихо всхлипывала и стояла, а гул голосов снова вздымался с улиц. Будто людское счастье вралось сюда к н и м , — к ней.

«Ко мне, — подумала она. — Я ведь теперь одна».

Тут она услышала на лестнице, этажом ниже, топот, скрип приближающихся сапог, шагавших, однако, вразброд. Кто-то шел впереди — человек этот ступал легче других, быстро переходил от двери к двери. Вот теперь шаги уже на пятом... Она сидела на полу и слышала, как шаги шли к ней...

Молодой человек с повязкой на руке распахнул дверь. У него было бледное, усталое лицо. Она заметила искру изумления в его глазах, когда он увидел ее на полу в военной форме. Знаком руки она остановила его. За его спиной слышался топот ног.

Человек быстро отпрянул, на миг закрыв глаза. Затем он обернулся к тем, кто шел следом.

— Теперь ему не у й т и , — сказал он.

СОДЕРЖАНИЕ

Э. Панкратова.	Предисловие	5
	Маленький Лорд	18
	<i>Перевод Ю. Яхниной</i>	
Часть первая.	Маленький Лорд	21
Часть вторая.	Стеклянное яйцо	131
Часть третья.	Вилфред	238
	Темные источники	290
	<i>Перевод Ю. Яхниной</i>	
Часть первая.	Светлые источники	293
Часть вторая.	Темные источники	415
Часть третья.	Сам по себе	517
	Теперь ему не уйти	558
	<i>Перевод С. Тархановой</i>	
Часть первая.	Эхо	561
Часть вторая.	Мириам	644
Часть третья.	Теперь ему не уйти	701

Юхан Борген

МАЛЕНЬКИЙ ЛОРД
ТЕМНЫЕ ИСТОЧНИКИ
ТЕПЕРЬ ЕМУ НЕ УЙТИ

Составитель

Константин Израилевич Телятников

ИБ № 4832

Редактор С. С. Белокриницкая
Художник В. И. Кириллов
Художественный редактор А. П. Купцов
Технические редакторы С. Л. Рябинина,
Л. Н. Шупейко
Корректор Н. И. Шарганова

Сдано в набор 13.11 1978 г. Подписано
в печать 23.04 1979 г. Формат 60X84^{1/16}.
Бумага типографская № 1. Гарнитура
нов. обыкновенная. Печать высокая. Усл.
печ. л. 44,64. Уч.-изд. л. 45,71. Тираж
250 000 экз. (1-й завод 1—100 000 экз.)
Заказ 3360. Цена 5 р. 10 коп.

Издательство «Прогресс» Государствен-
ного комитета СССР по делам издательств,
полиграфии и книжной торговли. Москва,
119021, Зубовский бульвар, 17

Ордена Октябрьской Революции и ордена
Трудового Красного Знамени Первая
Образцовая типография имени А. А. Ждан-
нова Союзполиграфпрома при Государ-
ственном комитете СССР по делам изда-
тельств, полиграфии и книжной торговли,
Москва, М-54, Валуевская, 28